Ю.М. ЛОТМАН

Карамзин

«Сотворение Карамзина»

Статьи и исследования
1957–1990

Заметки и рецензии

Николай Карамзинъ.

Ю. М. ЛОТМАН

Карамзин

Сотворение Карамзина

Статьи и исследования
1957—1990

Заметки и рецензии

Санкт-Петербург
«Искусство—СПБ»

Вступительная статья *Б. Ф. Егорова*
Художник *Д. М. Плаксин*
Макет альбомной части *Н. Н. Барановой, А. В. Дзяка, Н. Г. Николаюк*
Фотоработы *М. В. Скомороха*

На фронтисписе:
А. Г. Венецианов. Портрет Н. М. Карамзина. 1828

Л $\frac{4603010000-002}{025(01)-97}$ без объявл.

ISBN 5-210-01517-3

© М. Ю. Лотман, текст, 1997 г.
© Б. Ф. Егоров, вступительная статья, 1997 г.
© Н. Г. Николаюк, составление альбома иллюстраций и комментарии к ним, 1997 г.
© Д. М. Плаксин, внешнее оформление, 1997 г.
© Издательство «Искусство—СПБ», состав, 1997 г.

Биография души

Как меняются в истории понятия! В начале пушкинской эпохи «карамзинист» — значит писатель, последователь творческих принципов Карамзина, в противовес «шишковистам», сторонникам «архаической» школы. В наши же дни это просто исследователь Карамзина. Но просто ли? Вернее — просто ли быть исследователем Карамзина?

Юрий Михайлович Лотман известен широким кругам читателей прежде всего как теоретик литературы и пушкинист. Можно подумать, что карамзинские штудии не находились на магистральном пути ученого. На самом деле Ю. М. Лотман занимался Карамзиным всю свою творческую жизнь. Демобилизовавшись после шести лет армейской службы (из которых четыре приходятся на передний край фронтов Великой Отечественной войны), Ю. М. Лотман вернулся в 1946 г. в родной Ленинградский университет, где начинал учиться еще в 1939 г., и поступил в спецсеминар профессора Н. И. Мордовченко, замечательного ученого и замечательного человека, отличавшегося кристальной честностью, отзывчивостью и внимательно-терпимым отношением к индивидуальным склонностям учеников. В семинаре Мордовченко Юрий Михайлович в 1947 г. написал курсовую работу о журнале Карамзина «Вестник Европы», а в 1948 г. — большое исследование «Карамзин и масоны».

Вульгарно-социологическое отношение к Карамзину как к «монархисту» и «реакционеру» протянулось, к сожалению, в советской науке до первых послевоенных лет. Нужна была научная принципиальность Н. И. Мордовченко и заведующего кафедрой русской литературы профессора Г. А. Гуковского (вскоре его сменил на этом посту Н. И. Мордовченко), чтобы положительно оценить интерес молодого ученого к сложному и немодному писателю, одобрить первые труды Ю. М. Лотмана. Г. А. Гуковский, тогда — ответственный редактор сборников «XVIII век», принял работу о Карамзине и масонах к печати в 3-й том этого издания, но в последующие трудные годы рукописи обеих статей Ю. М. Лотмана были утрачены. Частично материалы были в дальнейшем использованы автором в работах о друге Радищева — А. М. Кутузове и новиковском кружке.

В 1957 г. вышла статья Ю. М. Лотмана «Эволюция мировоззрения Карамзина» (Ученые записки Тартуского университета, вып. 51), где впервые, если не считать краткой, но ценной статьи Б. М. Эйхенбаума 1916 г., Карамзин как мыслитель и писатель был рассмотрен в процессе становления и изменения. В 1961 г. в статье «Пути развития русской прозы 1800—1810-х гг.» (там же, вып. 104) впервые был поставлен вопрос об «Истории государства Российского» как о своеобразном художественном произведении. В «Ученых записках Тартуского университета», слава Богу, можно было относительно свободно печатать научные статьи о Карамзине (партийное руководство университета было занято борьбой с эстонским «национализмом», ему было не до трудов по русской филологии, тем более что местные партийные боссы наивно полагали, что приехавшие из Ленинграда литературоведы проводят нужную начальству линию...). Зато скольких усилий стоило Лотману печатать статьи об идеалисте и монархисте в Москве и Ленинграде, сколько нервов себе и ближним он потрепал, когда издавал в Большой серии «Библиотеки поэта» «Полное собрание стихотворений» Карамзина (М.; Л., 1966) и в серии «Литературные памятники» — «Письма русского путешественника» (Л., 1984). Им был опубликован еще целый ряд прямо и косвенно посвященных Карамзину работ. Так что «карамзинский» путь ученого — отнюдь не периферийный. Ю. М. Лотман стоит у истоков современного карамзиноведения, он первооткрыватель «настоящего» Карамзина, точнее, он реабилитировал выдающегося русского писателя. Венцом изысканий Лотмана стала обобщающая книга «Сотворение Карамзина», с которой и начинается предлагаемый читателю том.

Это не исследование творчества Карамзина в целом и не биография в смысле перечня *внешних* фактов его жизни. Это *биография души*, попытка раскрыть внутренний пафос исканий писателя, который, как считает Ю. М. Лотман, всю жизнь выковывал себя. Есть писатели, стихийно идущие по жизни, есть, наоборот, сознательно творящие свою личность, не только художественную, но и человеческую, житейскую. Есть и литературоведы, пренебрегающие этим и даже отрицающие сознательное становление личности большого писателя, есть, наоборот, очень последним интересующиеся. К таковым относится Ю. М. Лотман, который даже у Пушкина раскрыл подобное становление. Тем большие основания для такого подхода дает Карамзин. Отсюда и название книги «Сотворение Карамзина», взятое у П. Я. Чаадаева, подчеркнувшего в 1830-х гг. в письме к А. И. Тургеневу, что Карамзин — талантливый человек, который «сотворил себя писателем» (цитата из этого письма взята эпиграфом к книге).

Смысл книги — в показе исторической значительности морального «самосотворения».

Но проникновение во внутренний мир — всегда реконструкция. И Ю. М. Лотман не скрывает этого, а принципиально делает реконструкцию своим методом. Одновременно он враг домыслов и вымыслов. Проникнуть во внутренний мир можно лишь через изучение внешней биографии и творчества. И такая работа была проделана в течение многих лет. Автор воистину стал карамзинистом.

В «Сотворении» биография Карамзина во многом оставлена *за* текстом. Объективная трудность для всех изучающих жизнь и творчество писателя заключается в том, что Карамзин не вел дневников, писем его сохранилось немного, а официальных документов о событиях его жизни тоже почти нет: ведь он не арестовывался, не ссылался, не был под полицейским надзором. А русский писатель, как правило, получал биографию только в этих случаях. Ю. М. Лотман отметил в одном докладе, что самые спокойные русские писатели — Крылов и Карамзин — с биографической стороны нам фактически неизвестны. Так, например, когда исследователи Карамзина подходят к заграничному периоду его жизни, то они просто пересказывают «Письма русского путешественника», видя в этом сугубо литературном произведении лишь биографический источник.

Поэтому Ю. М. Лотман вынужден был искать новые источники. Им были, например, обнаружены важная политическая статья Карамзина (1797) во французском журнале, издававшемся в Гамбурге, «Le Spectateur du Nord» («Северный зритель»), и уникальная, сохранившаяся в одном экземпляре, французская брошюра, изданная Карамзиным в Москве в 1797 г. и содержащая неизвестные тексты.

А внимательное прочтение ряда известных источников позволило увидеть их в новом свете. Так, например, именно представление, что «Письма русского путешественника» являются продуктом свободного литературного творчества, позволило на их основании создать совершенно новую картину — «Карамзин в Париже», а это повлекло за собой пересмотр проблемы «Карамзин и французская революция».

Реконструкция внутреннего мира человека, очевидно, невозможна без своеобразного синтеза научного и художественного подхода, и «Сотворение Карамзина» — явление особого жанра научно-художественной литературы. Однако синтез творчества писателя и ученого бывает разный. Писатель может художественно сочинить те недостающие факты, которые призваны осветить и объяснить туманное, выстроить хаос дошедших до нас реальностей в стройную систему. Так, Тынянов для убедительной мотивировки тегеранской трагедии («Смерть Вазир-Мухтара») выдумал любовь престарелого евнуха к пятнадцатилетней девочке или (в неоконченном романе) придал крайне сомнительной версии «утаенной любви» Пушкина к Карамзиной статус чуть ли не реального факта.

Ю. М. Лотман этот путь решительно отвергал. Он избрал метод, предложенный самим Карамзиным, который создал свою «Историю государства Российского» на основе тщательно проверенного фактического материала. Возможность вымысла он принципиально отвергал (за что его упрекал декабрист М. Ф. Орлов!). Но сам Карамзин называл свою историю «поэмой», и мы с основанием видим в ней научно-художественное произведение. Художественность «Истории» достигается стройной группировкой фактов, ибо искусство всегда «стройнее» жизни, и наглядностью изложения.

С. М. Соловьев в своей «Истории» с презрением отверг «литературность» Карамзина и... утонул в подробностях, массе тропинок и перепутий. А В. О. Ключевский, вернувшись к «искусству композиции» реальных фактов,

вновь сделал историю художественной. Работая над обобщающей книгой о Карамзине, ее автор позволял себе реконструкции и композицию фактов, но решительно отвергал выдумку, даже «художественную», оставаясь на твердом фундаменте реальной истории.

Книга Ю. М. Лотмана *исторична* и в других аспектах: и в смысле вписывания жизненного и творческого пути Карамзина в сложную историю России и Западной Европы конца XVIII — начала XIX в., и в перспективном отношении (показана роль Карамзина в истории русской культуры), и в связывании времени (автор размышляет на существенную тему: чем вызвана нынешняя растущая популярность Карамзина, обусловившая своеобразный издательский «бум», когда непрерывно выходят в свет однотомники и двухтомники писателя и проектируется издание многотомной «Истории государства Российского»).

Характерно, что сугубо историко-литературные исследования, составившие второй раздел этого тома, не отстоят от *биографии души*, раскрытой в «Сотворении Карамзина». Достоинство и честь как духовный вектор личности, ее внутренний пафос и энергия самостроительства — эти дорогие для Ю. М. Лотмана идеи присутствуют в каждой его статье о Карамзине, сколь бы узкого аспекта она ни касалась. Это тем более удивительно, что собранные под одним переплетом работы писались в разные периоды — некоторые еще в «сталинское» время и в первые годы хрущевской «оттепели». Тогда над многими честными гуманитариями тяготел груз марксистской методологии (представлений о решающей роли классовой борьбы и т. п.). И все же, в отличие от проходимцев, готовых прикрываться «нужными» цитатами и пассажами о революционно-освободительной борьбе, лишь бы это было актуально, такие ученые, как Ю. М. Лотман, и в рамках неизбежной нормативности оставались настоящими исследователями, не оскорблявшими истину и превозмогавшими своим талантом установленные догмы.

Читателю стоит обратить внимание на раздел «Приложения», где публикуется давняя работа Лотмана об А. С. Кайсарове, принадлежащем к раннеромантическому кругу мыслителей и литераторов, ставшем профессором Дерптского (Тартуского) университета, а в Отечественную войну 1812 г. — организаторе походной типографии при штабе М. И. Кутузова; он был убит, увы, в партизанском отряде, действовавшем в тылу наполеоновской армии. Кружок Кайсарова «Дружеское литературное общество», который он создал вместе с Андреем Тургеневым, ярко подсвечивает околокарамзинское литературное пространство начала XIX века.

Б. Ф. Егоров

Сотворение Карамзина

...Чего стоит у нас человеку, родившемуся с великими способностями, сотворить себя хорошим писателем.

Чаадаев о Карамзине

Роман-реконструкция

На зеленый остров посреди темно-синего моря пришел человек. Он решил здесь поставить храм. Он ломал и возил глыбы мрамора, тесал их, резал капители и фризы, возводил колонны и стены. Но до этого он построил храм в своем воображении, и все, что он возводил в камне, было лишь воссозданием созданного им идеала. Идеал этот не был мертвым и неподвижным: в голове строителя роились планы, варианты теснили друг друга, вид с вершины холма или форма мраморной глыбы вносили поправки в планы строения или фигуру бога. Строитель был связан и свободен: он строил не первый храм и в многолетних странствиях обошел сотни строений, созданных другими гениями. Он знал, как надо строить храмы, и уйти от этого знания никуда не мог. Но он знал и то, что чужой опыт не только помогает, но и связывает. А он хотел создать *свободный* храм, такой, какого еще не было. Росло здание, но рос, менялся и идеал, который недостижимо — впереди замысла.

О чем думал строитель, что привело его на остров, что хотел он сказать своим трудом, и к кому он обращался? Это могут понять лишь те, кто вместе с ним шли по трудным и пыльным дорогам его жизни, в долгие ночи передумали его думы, пережили его потери и надежды, тяжелые унижения и высокое горение души...

Прошли века. Храм упал, зарос, обломки занесло землей, и на его месте возвысился зеленый холм.

На зеленый холм посреди темно-синего моря пришел человек. У него были книги, карты, лопата. Он решил восстановить храм. Он копал, извлекал и расчищал куски стен и статуй, раскладывая на зеленой поляне сверкающие обломки мрамора. Он был ученый и знал цену прозаическому труду. До этого он совершил промеры пропорций многих других храмов. Он понимал язык чертежей, такой сухой для непосвященных, для тех, кто требует результатов и не хочет знать, какой ценой они добываются. И вот теперь, когда все, что можно было извлечь из земли, она отдала, надо было сложить разбросанные части воедино.

Но в руках у человека — лишь жалкие остатки: многого недостает — на берегу выросла целая деревня, выстроенная из камней бывшего храма, а

десятки колонн разбили в щебень, когда строили автомобильное шоссе. Труд человека получает название — «реконструкция». Чтобы обломки обрели вновь единство, надо увидеть мысленным взором храм в его целостности. И здесь требуется союз самого точного расчета, многочисленных «скучных» профессиональных навыков и воображения, иногда даже фантазии. Реконструкция никогда не бывает бесспорной и окончательной: ведь надо восстановить не типовую казарму, а создание индивидуального гения, угадать не только то, что́ было сделано строителем, но и то, что́ он отверг, не захотел сделать или хотел, но не смог. Построенное было лишь частью непостроенного, воплощенное — невоплощенного. Труд реконструктора — сотворчество. Для того чтобы восстановить храм, ему надо воссоздать и весь душевный мир строителя. *Воскресить его.*

Человек, «родившийся с великими способностями», решил «сотворить себя хорошим писателем». Этому предшествовал долгий путь размышлений и поисков. Но и решение это было лишь началом. Последовали годы работы. Он строил себя как храм, ломал и тесал камни, резал карнизы, возводил стены. А воображение и мысль развивали и изменяли планы, заставляли ломать уже построенное и начинать все заново. Он часто отвергал сделанное, как тот строитель, который отбрасывал как ненужный камень, коему предназначено в будущем стать краеугольным, ибо здание культуры никогда не строится одним и никогда не бывает законченным. Но вот он умер и унес с собою большинство своих замыслов, свою личность, которая и есть тот храм, который он строил всю жизнь и который придавал единство и смысл его сочинениям.

...Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал...

Но рано или поздно приходит биограф. Он тщательно собирает источники: листы книг, писем, дневников, листы воспоминаний современников. Но это не жизнь, а лишь ее отпечатки. Их еще предстоит оживить. И биограф становится реконструктором. Он встает на трудный и опасный путь воссоздания утраченного целого, реконструкции личности по документам, всегда неполным, двусмысленным, всегда несущим в себе субъективную позицию своего создателя. Филигранный труд интерпретатора здесь должен сочетаться с умением найти детали ее место. А это достигается сочетанием точного знания с интуицией и воображением. Исследователь и романист на равных правах соавторствуют в создании биографического романа-реконструкции. И оба они находятся в необычных условиях. Исследователь, вооруженный привычными навыками анализа документа, все время должен помнить о синтезе, соединять свои наблюдения в единое и живое целое. И методы работы у него синтетические — весь круг «наук о человеке» не должен быть ему чужд. Но и романист в необычном положении. Он не имеет права создавать — он должен воссоздавать.

Когда-то наивные историки докритической эпохи расцвечивали свой текст «речами», которые они влагали в уста историческим деятелям, или даже

описаниями невысказанных мыслей. Автор биографического романа может позволить себе эту роскошь. Он имеет право измышлять детали, речи и мысли. Так, Ю. Н. Тынянов в своих романах, для того чтобы объяснить роковое для Грибоедова и русского посольства решение приближенного шахского евнуха Мирза-Якуба (урожденного Маркаряна) попросить убежище в русской миссии, имел право создать фигуру влюбленного евнуха, а сердечную жизнь Пушкина построить вокруг «утаенной любви» к Карамзиной. Автор романа-реконструкции таких прав не имеет. Он не может дополнять нехватающие куски колонн камнями своего производства, как бы он ни был убежден в том, что верно угадал потерянное. Его творчество имеет иную природу и совершается в другой сфере: активность его направлена на воссоздание того целостного идеала личности, который создавал в своей душе герой биографии. Это был план, по которому он строил себя. Мы должны раскрыть, обнаружить этот план, угадать его среди других, возможных и невозможных, тех, которые следует отбросить, потому что они не были реализованы, и тех, которые по этой самой причине заслуживают особого внимания, и этим оживить сохранившиеся обломки, придать им смысл, заставить заговорить.

Реконструктор не измышляет — он ищет, сопоставляет. Он похож на кропотливого расшифровщика. И вот под его руками разрозненное и лишенное жизни и смысла обретает целостность, наполняется мыслью, и мы вдруг слышим пульс того, кто давно уже ушел из жизни, физически рассеявшись в биосфере, а духовно влившись каплей в поток культуры.

Итак, роман-реконструкция — особый жанр. Сюжет его создается жизнью и только жизнью. Домысел в нем не может иметь места, а вымысел должен быть строго обоснован научно истолкованным документом. Документальные, имеющие характер разысканий и исследований, главы в нем неизбежны и закономерно чередуются с такими, где анализ должен уступить место воображению. Может быть, лучше всего было бы писать произведения этого жанра в форме диалога между ученым и романистом, попеременно предоставляя слово то одному, то другому.

Роман-реконструкция строже и в чем-то беднее биографического романа. Но у него есть одно существенное преимущество — стремление максимально приблизиться к реконструируемой реальности, к подлинной личности того, на ком он сосредоточил свое внимание.

Роман-реконструкция — археология культуры. Он призван воссоздать с максимально доступной полнотой ее ушедшие и растворившиеся в небытии звенья. Но культура — это и произведения искусства, и работа рук, ума, души целых поколений, общественных групп и течений. Ее изучают различные науки, стремящиеся в своих описаниях дать полную и объективную картину того или иного явления. Но культура — это и люди, живые человеческие личности. И как судьба Гамлета или Отелло, занимающая всего несколько часов сценического времени, подобна и равнозначительна судьбе всего человечества, так и участь одного деятеля культуры равна по значению судьбам всей культуры в целом.

Важно понять, что самые общие исследования исторических процессов и самое конкретное описание мыслей, чувств и судеб человеческой единицы — не высшее и низшее звенья постижения прошлого, а два плеча одного рычага, невозможные друг без друга и равные по значению. И тогда труд биографа перестает быть второстепенным и вспомогательным. В общем строительстве культуры он получает достойное место.

Но чем ближе к отдельной человеческой личности, тем важнее роль интуиции, то вторжение тщательно контролируемого воображения, без которого реконструкция невозможна. И одновременно, чем важнее роль интуиции, тем строже, точнее, научнее должны быть контролирующие ее тормоза.

Биографическая реконструкция имеет еще один смысл — нравственный. В свое время Владимир Маяковский в поэме «Про это», не без влияния идей Н. Ф. Федорова, мечтал о воскрешении:

Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
«Вся земля», —
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?
— Маяковский вот...
Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив. —
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
— Не листай страницы!
Воскреси!

К сожалению, надежды на «большелобого химика» плохи. Чудо воскрешения должен совершить историк. И произойдет оно не в тигле или колбе, а на страницах биографического романа-реконструкции.

Жанр этот по-настоящему еще не родился, и автор далек от честолюбивой надежды считать, что ему удалось «воскресить» Карамзина — одного из сложнейших и тончайших деятелей русской культуры. Но если читателю, который возьмет на себя труд досмотреть книгу до конца, Карамзин предстанет чуть-чуть «более живым», автор будет считать свою задачу выполненной.

Не унижая своей личности...

Эрнест Ренан в «Диалогах и философских фрагментах» сказал: «Цель человечества — создавать великих людей». Карамзин был современником великих исторических событий: первые его сознательные впечатления были связаны с восстанием Пугачева, предсмертные размышления — с 14 декабря 1825 г. Решающий этап его политического развития совпал с Великой французской революцией. Возвышение и падение Наполеона совершилось на его глазах. Убежденный противник войн, он готовился сражаться у стен Москвы и был в числе последних, покинувших ее стены.

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.
То был век богатырей![1] —

писал Денис Давыдов. Пушкин мог иронизировать над тем, что «мы все глядим в Наполеоны», или над преклонением перед «историческими личностями»:

Что нет, к тому же, перевода
Прямым героям; что они
Совсем не чудо в наши дни —

и лукаво оправдываться:

Иль разве меж моих друзей
Двух, трех великих нет людей?[2]

Однако и сам он в дни своей романтической юности завидовал участи вождя греческого восстания, который «отныне и мертвый или победитель принадлежит истории».

Друзья Карамзина, его единомышленники и ученики, равно как и его враги, недоброжелатели или завистники, делили свою жизнь между искусством и государственной службой. Поэты Державин и Дмитриев были министрами, видный литературный деятель, противник Карамзина, адмирал Шишков в разное время занимал посты государственного секретаря, члена Государственного совета, министра. Литература тех лет одета в гвардейские мундиры и дипломатические фраки. На этом фоне «безмундирная» фигура Карамзина резко выделяется. Прослужив лишь год в Преображенском полку, он восемнадцати лет снял зеленый мундир преображенца, чтобы никогда уже не облачаться в форменную одежду. На самые лестные служебные предложения, которые делал ему в дальнейшем Александр I, он неизменно отвечал отказом.

---

[1] *Давыдов Д. В.* Соч. М., 1962. С. 158.
[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Л., 1948. Т. 5. С. 102.

Его общественным идеалом была независимость, его представление о счастье неизменно связывалось с частным существованием, тесным кружком друзей, семейной жизнью. В эпоху, когда самый воздух был пропитан честолюбием, когда целое поколение повторяло слова Наполеона о том, что «гениальные люди — это метеоры, предназначение которых — жечь, чтобы просветить свой век», когда с прибавкой эпитета «благородное» честолюбие становилось неотделимым от патриотизма и борьбы за свободу, Карамзин мог бы подписаться под словами, сказанными другим поэтом через сто тридцать лет после его смерти: «Быть знаменитым некрасиво».

Но отказ от роли «великого человека» не лишает ли Карамзина права «иметь биографию»? Вопрос, на который биограф Карамзина должен ответить. К счастью, Карамзин на него ответил сам. За несколько месяцев до смерти он писал бывшему министру иностранных дел России графу Каподистрия: «Приближаясь к концу своей деятельности, я благодарю Бога за свою судьбу. Может быть, я заблуждаюсь, но совесть моя покойна. Любезное Отечество ни в чем не может меня упрекнуть. Я всегда был готов служить ему не унижая своей личности, за которую я в ответе перед той же Россией. Да, пусть я только и делал, что описывал историю варварских веков, пусть меня не видали ни на поле боя, ни в совете мужей государственных. Но поскольку я не трус и не ленивец, я говорю: „Значит так было угодно Небесам" и, без смешной гордости моим ремеслом писателя, я без стыда вижу себя среди наших генералов и министров»[1].

Первая из глубоких мыслей этого письма — утверждение литературы как высокого патриотического дела. Жизнь, отданная литературе, — общественное служение, которое ставит человека выше государственных служб. Однако Карамзин высказывает здесь и другую мысль: соглашаясь на унижение своей личности, человек совершает преступление не только перед собой, но и перед своей родиной. Россия нуждается в человеческом достоинстве, и именно ей — никакого более низкого суда он в этом случае не признает — он, Карамзин, даст отчет о том, не унизил ли он когда-либо своей личности.

Но для того, чтобы так высоко поставить достоинство человека, надо было, пользуясь словами Чаадаева, «сотворить себя» — и не только хорошим писателем, но и человеком в самом высоком значении этого слова. Художественное усовершенствование писателя и этическое самосовершенствование личности были для Карамзина всегда неразрывны. В 1793 г. он писал: «Говорят, что Автору нужны таланты и знания: острой, проницательный разум, живое воображение, и проч. Справедливо; но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе нежное сердце, естьли он хочет быть другом и любимцем души нашей; естьли хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; естьли хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Творец всегда изображается в творении, и часто против своей воли»[2].

---

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 134. Оригинал на французском (перевод мой. — *Ю. Л.*).

[2] *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 3. С. 370.

Жизнь Карамзина — непрерывное самовоспитание. Духовное «делание» и историческое творчество, сотворение своего «я» и сотворение человека своей эпохи сливаются здесь воедино.

Карамзин всю жизнь «творил себя».

Этому и будет посвящен наш рассказ. Внешние же обстоятельства его биографии потребуются нам лишь как описание мастерской, в стенах которой это творчество совершалось.

Карамзин творит Карамзина

Почти все произведения Карамзина воспринимались читателями как непосредственные автобиографические признания писателя. Даже шуточное стихотворение с рефреном «лишась способности грешить» Андрей Тургенев и его молодые друзья сочли подлинным свидетельством и противопоставляли «истощенного Карамзина» полным мужской мощи героям штюрмерской литературы и молодого Шиллера. Даже в Эрасте «Бедной Лизы» усматривали черты автора повести. Современники, начиная с Н. И. Новикова, и исследователи вплоть до наших дней безоговорочно приравнивают путешественника из «Писем русского путешественника», Филалета или Мелодора из их переписки, Чувствительного из очерка «Чувствительный и Холодный», «я» повествователя из «Сиерры-Морены» и «Острова Борнгольм» — автору (столь же определенно видят не только в Агатоне из «Цветка на гроб моего Агатона», но и в Мелодоре и Леониде («холодном») прямые портреты Петрова). И Карамзин, безо всякого сомнения, не только предчувствовал, но и стимулировал такое восприятие.

Однако Карамзин завещал русской культуре не только свои произведения и не только созданный им новый литературный язык — он завещал ей свой образ, свой человеческий облик, без которого в литературе пушкинской эпохи зияла бы ничем не заполнимая пустота. Природа этого образа была весьма сложной. Внутренняя сфера личности Карамзина герметична. Почти никого из своих современников и друзей он не впускал в святая святых своей души. Можно полагать, что туда был открыт доступ Катерине Андреевне — второй жене писателя, однако это навсегда останется областью предположений. Парадоксально, но один из самых нуждавшихся в дружбе русских писателей, писатель, создавший подлинный культ дружбы, всегда окруженный учениками и поклонниками, не только был глубоко одинок — это удел слишком многих, — но и был чрезвычайно скуп на душевные излияния и ревниво хранил свою душу от внешних, даже дружеских, вторжений. Представлять себе Карамзина «сентименталистом жизни» — значит глубоко заблуждаться. Карамзин не

вел дневников. Письма его отмечены печатью сухости и сдержанности. На любые душевные излияния или отвлеченные рассуждения в них наложен запрет. Но все современники чувствовали, что за этим опущенным забралом таится трагическое лицо, холодно-спокойное выражение которого говорит лишь о силе воли и глубине разочарования.

Как это ни покажется странным, но по тому, как соотносятся его внутренняя и внешняя биографии, Карамзин был близок к, казалось бы, самому далекому из своих современников, к тому, кто во всех отношениях скорее мог бы считаться его антиподом, — к Крылову. Оба были писателями, обращавшими свой труд к наиболее широкому для того времени читателю. Ни тот ни другой не писали «для немногих» (Жуковский). Карамзин даже в большей мере, чем Крылов. От «Московского журнала» до «Вестника Европы» и «Истории государства Российского» он стремился к тому, чтобы число «пренумерантов» (подписчиков) постоянно росло. И как журналист, и как писатель он был профессионалом и умел обеспечивать себе широкую аудиторию. И одновременно оба они берегли свою душевную закрытость. Ни «простодушие» Крылова, ни «нежность» Карамзина не означали, что доступ в их внутренний мир был легким. Показателен отзыв о Карамзине проницательного и глубокого наблюдателя, который, однако, во-первых, встречался с Карамзиным очень краткое время, то есть мог схватить именно внешние и наиболее бросающиеся в глаза черты, и, во-вторых, полностью был свободен от гипноза обожания, которым был окружен Карамзин в эту пору. Речь идет о Жермене де Сталь. Изгнанная Наполеоном из Франции, писательница посетила в 1812 г. Россию, была в Москве и встречалась с Карамзиным. В своей записной книжке она оставила слова: «Сухой француз — вот и всё». Поразительно здесь и то, что французская писательница упрекает одного из первых русских писателей словом «француз». Причем она имеет в виду не то, что вложили бы в это слово Шишков или Сергей Глинка, — спор «галлорусов» и «славян» ей, конечно, просто не известен. Суть в другом: автор книги «О Германии» видела в северных народах носителей духа романтизма. Французы же для нее были заражены рационализмом и скепсисом, испорчены логикой Кондильяка и «бездушием» Гельвеция. Она простила бы московскому писателю самую экзальтированную фантастику, самый необузданный алогизм, любые оригинальные чудачества, но не могла простить сухости хорошего тона, отточенности сдержанной речи, всего, что отдавало слишком известным ей миром парижского салона. Москвич показался ей французом, а чувствительный писатель — сухим. Карамзин не выставлял душу напоказ — Жермена де Сталь решила, что у него нет души.

Совпадение упреков, которые адресовали Карамзину столь несходные между собой литераторы, как г-жа де Сталь и адмирал Шишков («француз»), слишком знаменательно, чтобы мы могли просто пройти мимо.

Как мы уже говорили, современники легко переносили особенности литературной позиции Карамзина на его человеческую природу. Так, когда Карамзин готовился вступить в свой первый брак (с Елизаветой Ивановной Протасовой), А. С. Кайсаров, член Дружеского литературного общества,

кружка начинающих московских литераторов, воспитанных на произведениях Карамзина и ревниво его критиковавших, с пылом, с каким дети осуждают своих родителей, написал пародию «Свадьба Карамзина». Вся она представляла чин свадебного богослужения, смонтированный из стихотворений жениха. Поэзия Карамзина непосредственно переносилась на его личность.

«Новобрачные имели в руках по букетику ландышей. Жрец Природы, предшествуя им, пел с обеими ликами следующий псалом с припевом:

Лишась способности грешить.
И другу, недругу закажем
Кого нибудь в соблазн вводить;
Лишась способности грешить,
Прямым раскаяньем докажем,
Что можем праведными быть,
Лишась способности грешить.
Отныне будет все иное,
Чтоб строгим людям угодить,
Лишась способности грешить,
Мужей оставим мы в покое,
А жен начнем добру учить,
Лишась способности грешить <...>

По окончании слова жрец вопросил:

Кроткий юноша! хочешь ли ты соединить судьбу свою с судьбою этой прекрасной девицы?

На что К<арамзин> отвечал:

Чином я не генерал,
И богатства не имею;
Но любить ее умею.

Потом жрец вопрошал о том же и невесту.

Тут прекрасная вздохнула,
На любезного взглянула,
И сказала: я т в о я! <...>

После чего жрец читал следующее воззвание к Купидону:

Жрец: *Природе помолимся!*
Лик: *Мать любезная, помилуй!*
Жрец: Очарован я тобою
Бог играющий судьбою,
Бог коварный — Купидон!
Ядовитою стрелою
Ты лишил меня покою.
Коль ужасен твой закон,
Мудрых мудрости лишает! —

И паки другое воззвание к природе.

Жрец: *Природе помолимся!*
Лик: *Мать любезная, помилуй!*
Жрец: Священная природа!

Твой нежный друг и сын
Не винен пред тобою.
Ты сердце мне дала;
Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! ты хотела,
Чтоб я ее любил.

По окончании воззваний две горлицы принесли венки для новобрачных. <...>

Абие малая эктения и Грации приносят чашу с слезами чувствительности. Жрец Природы подносит ее трижды сперва мужу, а потом жене, в которую нежные их сердца прибавляют еще по нескольку капель сего небесного дара. — Грации отдают чашу зефирам, которые и относят ее в святилище. <...>

По сем жрец ведет их вокруг жертвенника и поет настоящие тропари, а за ним и оба лика:

Тропарь глас А. вместо *Исаия ликуй!:*

Пора, друзья, за ум нам взяться,
Беспутство кинуть, жить путем,
Не век за бабочкой гоняться,
Не век быть резвым мотыльком.

Иний тропарь. Глас Д. вместо слава тебе и проч.

Какой закон святее
Врожденных сердца чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Иний тропарь. Глас N. вместо святии мученици.

Я неволен,
Но доволен,
И желаю пленным быть...»[1]

Слияние биографически-документальной личности автора и чувствительного героя лирики порождало первое из лиц Карамзина, обращенных к читателю, — чувствительное: «нежной женщины нежнейший друг», удалившийся от государственной службы, честолюбия и чинов, но также удаленный от общественной борьбы и ее страстей. Однако это не была просто литературная маска или пародийный образ, созданный полемистами. В биографии Карамзина такой человек вполне реален. Таким его знали и любили Плещеевы. Для Настасьи Ивановны Плещеевой, с которой Карамзин в юные годы был связан нежной платонической дружбой и сестра которой стала первой женой писателя, это и был истинный Карамзин. И когда, после возвращения писателя из европейского путешествия, она увидела другие черты его личности, ей показалось, что подлинный «лорд Рамзей» затерялся

[1] *Фомин А. А.* Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров: Новые данные о них по документам архива П. Н. Тургенева // Рус. библиофил. 1912. № 1. С. 36—38. Ср.: Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). Л., 1960. С. 193—198.

под какими-то чужими и наносными чертами. Она винила путешествие, «проклятые чужие краи». Однако тот идиллический Карамзин не исчез бесследно. Отступив на задний план, он остался в личности Карамзина, как остается молодость в личности повзрослевшего человека. Но враги Карамзина — литературные и личные — долго еще будут полемически отождествлять *этого* Карамзина с Карамзиным как писателем и личностью. В пародиях и памфлетах его будут выводить под именем Ахалкина.

Другой облик получил Карамзин в читательском сознании после публикации «Писем русского путешественника». Это произведение для создания «карамзинского мифа» было особенно важно. Не случайно слово «путешественник» сделалось надолго полемической кличкой, которой наделяли Карамзина его враги. Одновременно и сам Карамзин, видимо, пользовался этим псевдонимом.

«Письма русского путешественника» создали особенно емкий и сложный образ повествователя. Оценить его в полной мере мы сможем только после того, как попытаемся реконструировать факты реального путешествия писателя и на их фоне обнаружить природу литературного замысла и структуры текста. Пока лишь отметим некоторые очевидные тенденции. Карамзин до заграничного путешествия во всех сферах жизни занимал позицию ученика. Из самоуверенного щеголя, каким его застал в Симбирске И. И. Дмитриев («играл ролю на себя надежного»), он, переехав в Москву, круто превратился в ученика. Настасья Ивановна учила его искусству нежной дружбы. Она как бы продолжала ту роль более взрослой женщины, друга и учителя, с которой познакомила мальчика Карамзина их соседка по мнению, графиня Пушкина. Томная сладость этих отношений была связана с тем, что юноша играл роль мальчика, а его наставница примешивала к нежной дружбе нежную строгость матери.

В кругу Н. И. Новикова и А. М. Кутузова он тоже был учеником. Здесь его учили науке самопознания, готовили к принятию мудрости и ко вступлению на путь добродетели и общественного служения. Даже дружба была окрашена в тона учительства. Ближайший друг Карамзина этих лет А. А. Петров был старше возрастом и опытнее как литератор. Он давал Карамзину уроки литературного стиля и вкуса. Склонный к язвительной насмешке, он порой больно задевал самолюбие друга, принимая откровенно дидактический тон.

Бесспорно, одним из импульсов к путешествию было стремление Карамзина порвать эту сеть опек и самостоятельно определять свое поведение.

Однако для конструкции литературного путешествия поза ученика оказалась весьма удобной. Прежде всего, за ней была литературная традиция: юный герой, совершающий путешествие в поисках истины и странствующий от одного великого мужа к другому, — эта фигура была знакома читателям по многочисленным романам — от Фенелона и «Нового Кира наставления» Рамзея до «Путешествия юного Анахарсиса» Бартелеми. Последнее было особенно важно. Героем этого романа был юный скиф, посещающий мудрецов Греции. За юным героем вставала юная нация, вступающая на путь европейского просвещения. Этот образ легко накладывался на биографию юного

москвича, отправившегося в заграничное путешествие, и столь же легко мог стать стержнем этого путешествия.

Путешественнику в «Письмах русского путешественника» Карамзин сознательно придал подчеркнутые черты молодости. Характерно для его психологической установки: отмечая свой день рождения («Женева, Декабря 1, 1789. Ныне мне минуло двадцать три года!»), Карамзин — быть может, подсознательно — убавил себе год и в следующих изданиях книги был вынужден внести поправку.

Молодость путешественника как бы объясняла его беспечность, способность от одной увлекающей его мысли легко переходить к другой. Герой «Писем» как бы ослеплен калейдоскопом событий, встреч и достопримечательностей, со всех сторон бросающихся ему в глаза, в уши, в объятья. Каждое новое сильное впечатление, кажется, бесследно вытесняет предшествующие или, по крайней мере, отодвигает их. Молодость объясняла несколько поверхностный взгляд путешественника: из текста он встает перед нами скорее как человек чувствительный, чем глубокомысленный. Ни наклонности к усиленным размышлениям, ни привычки к постоянному, непрерывному умственному труду — и то и другое составляло характернейшие свойства биографической личности Карамзина! — путешественнику не дано. Зато, особенно во время путешествия по Германии и Швейцарии, в его образе подчеркнуты свойства *ученика*. Отчетливая и часто сквозящая в подтексте параллель между путешественником и юным Анахарсисом из романа Бартелеми позволяет видеть в юности и ученичестве героя две стороны: это юный представитель юной цивилизации, прибегающий в поисках мудрости к старым мыслителям старой Европы.

Позже Пушкин подхватит этот образ, создавая в стихотворении «К вельможе» обобщенный тип русского путешественника в Европе XVIII в.:

> ...И скромно ты внимал
> За чашей медленной афею иль деисту,
> Как любопытный скиф афинскому софисту.

Тип этот был новым для русской литературы. Он сменял устойчивую для XVIII в. сатирическую маску щеголя, набивающего пустую голову «парижским воздухом». Такой образ был закреплен сатирами Фонвизина и Новикова. Молодой российский «поросенок», поехавший «для просвещения ума и сердца» в Париж и вернувшийся оттуда «совершенной свиньей», был настолько распространенной маской, что образ его вставал за *каждой* фигурой «россиянина в Европе», если это не был герой заграничных писем Фонвизина — Стародум, мудрец, Диоген, умудренный годами и жизненным опытом, критическим оком взирающий на европейскую «ярмарку тщеславия».

Путешественник Карамзина сменил литературный образ странствующего петиметра фигурой чувствительного россиянина. Однако, сменив, он не отменил его и не вычеркнул из памяти читателей. Отождествление сентиментального путешественника и пустоголового щеголя, слияние этих двух литературных масок в одну и перенесение их на биографическую личность Карамзина сделались устойчивым полемическим приемом его противников.

Начало этому положил А. М. Кутузов, едко высмеявший Карамзина в эпистолярном памфлете под именем Попугай Обезьянин.

Карамзин не только предвидел такую возможность, но и сознательно подыграл ей. Черты щеголя действительно проступают в образе его путешественника. Они видны в его речи, пересыпанной иностранными словами, в легкости переходов его мысли, в приверженности к «пустякам» и уклонении от «важных» размышлений. Однако, приняв щит и герб этого осмеянного персонажа, Карамзин повязал его шлем совершенно неожиданным шарфом: его щеголь, странствующий российский петиметр, неожиданно оказывается достойным собеседником не только швейцарских трактирщиков и парижских «нимф радости», но и Канта и Виланда, Бонне и Лавуазье, Платнера и Гердера. Он неожиданно обнаруживает массу учености, энциклопедическую образованность. Мы нигде не видим его работающим — он порхает по дорогам Европы, гостиным и ученым кабинетам. Но плоды огромного умственного труда он как бы невзначай рассыпает на каждой странице своих писем. Как бы подключая к его образу черты еще одной сатирической маски — педанта, Карамзин влагает в его уста целые страницы из путеводителей и ученых описаний путешествий. Причем источники эти не только обнажены, но порой и прямо названы — опознание их входит в авторский расчет. Таким образом как бы сочетаются в одном лице литературные амплуа чувствительного человека, щеголя и педанта. Уже сама несовместимость такого совмещения делает его исполненным значения. А кроме того, это дает создаваемому таким способом образу большую внутреннюю свободу, непредсказуемость его поведения для читателя.

Карамзин всю жизнь был сторонником прогресса. У него бывали периоды сомнений и даже отчаяния, и все же он упорно возвращался к вере в постепенное улучшение человека и человеческого рода. Однако само содержание понятия «прогресс» у него менялось. В период жизни в Москве, в кружке Новикова — Кутузова, он разделял мнение своих наставников о том, что прогресс — это улучшение рода человеческого путем нравственного возрождения каждого отдельного человека. К этой вере, хотя и в несколько других формулировках, он вернулся в конце жизни. В речи при приеме его в Российскую академию Карамзин сказал: «Жизнь наша и жизнь Империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь всё для души, всё для ума и чувства: всё бессмертно в их успехах!»[1]

Однако в начале 1790-х гг. Карамзин думал иначе. Исторический прогресс мыслился им не как суровое моральное восхождение, а как путь к счастью. Основным двигателем здесь является не мораль, а искусство. Именно искусство, приобщая человека к прекрасному, делает его добрым и общественным. Роман более способствует прогрессу человечества, чем проповедь; художник успешнее действует на людей, чем моралист. Но если моралисту приписывалось суровое и героическое поведение (равно как и почтенный возраст), то художник виделся в облике беспечного ребенка — увлекающийся, легко

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 654.

Однако историческая обстановка менялась с кинематографической скоростью. «Великая весна 90-х годов», как назвал эту эпоху надежд А. И. Герцен, сменилась временем глубокого разочарования. Казнь Робеспьера была воспринята Карамзиным как торжество эгоизма над республиканской утопией. Но и утопия оказалась неожиданно кровавой. Европа была ввергнута в войну. Смерть Екатерины II, столь долгожданная, связанная с надеждами на воспитанника Никиты Панина великого князя Павла Петровича, в котором мечтали найти монарха прямого и честного, просвещенного врага деспотизма и — может быть — конституционалиста, не принесла облегчения. Надежды не сбылись — на троне оказался психически больной человек, пораженный страхом, мучимый комплексом неполноценности, добрая натура которого была безнадежно изуродована годами унижений, испуга и ожидания. Бесконтрольность российского деспотизма довершила остальное.

Читателю явился новый Карамзин — Карамзин «Аглаи», «Аонид» и «Пантеона иностранной словесности». А еще дальше — Карамзин молчащий, принужденный цензурными преследованиями сделаться переводчиком Мармонтеля и практически прекратить литературную деятельность.

Это был Карамзин разочарованный, пронизанный горьким скептицизмом. Проповедник горьких утешений, которые могло дать неучастие в общем безумии:

Глупцы Нерону не опасны:
Нерон не страшен и для них...
...Они судьбу благословляют
И быть умнее не желают.
Раскроем летопись времен:
Когда был человек блажен?
Тогда, как, думать не умея,
Без смысла он *желудком жил*
Для глупых здесь всегда Астрея
И век златой не проходил

(*Гимн глупцам*)

Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом;
Мы все, мой друг, лжецы:
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.

(*К бедному поэту*)

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.

(*Послание к Дмитриеву*)

Но мы допустили бы большую ошибку, если бы решили, что реальный Карамзин жил в это время именно по такой программе. Напротив. Именно в труднейших условиях 1793—1801 гг. он проявляет исключительное упорство в борьбе за сохранение себя как писателя, проявляет цепкость и мастерство журналиста. В годы павловского царствования число журналов и альманахов резко сократилось: всего их выходило менее десятка, и четыре наименования из них («Аониды», «Аглая» — второе издание, «Пантеон иностранной словесности», «Пантеон российских авторов») публиковались Карамзиным или при самом ближайшем его участии. Кроме того, он еще публиковал свои произведения в интересном журнале «Муза». Он завязал отношения с выходившим в Гамбурге французским журналом «Le Spectateur du Nord» («Северный зритель») и, очевидно, связывал с участием в нем определенные планы. Он перепечатывает старые произведения, выпускает вторым изданием «Детское чтение» — перед нами картина активной деятельности профессионального журналиста и писателя.

Но вот Павел Первый во гробе. На престоле Александр Павлович. И перед читателем — новый Карамзин. Это — homo politicus. Автор политических статей, для которого литература — нечто второстепенное. И в том, как глубоко и тонко он разбирается в оттенках европейской политики, как компетентно судит о первом консуле Бонапарте и о волнениях в Турции, и о событиях в Швейцарии, и о прениях в английской Палате, виден человек, давно и много интересовавшийся этими вопросами. Никто и не подозревал в беспечном госте швейцарских пастухов или разочарованном отшельнике, проповедующем сельское уединение, одного из компетентнейших и осведомленнейших политиков России.

И наконец, перед читателями появляется Карамзин-историк. То простодушный Нестор-летописец, неведомыми судьбами заброшенный в XIX в., то гневный Тацит, судящий царей-тиранов. «Бессмертный гений», «наш Тацит», «быта русского хранитель», «один из великих наших сограждан» — так называл Карамзина в разное время Пушкин.

Трудно найти другого писателя, чья внутренняя жизнь была бы от нас настолько скрыта и чей образ так последовательно подменялся бы образами его литературных созданий. Грибоедов еще в 1819 г., когда воинский начальник в еще персидской Эривани сказал ему восточную любезность, пометил в путевом дневнике: «Карамзин бы заплакал»[1] — он все еще отождествлял автора IX тома «Истории государства Российского» с повествователем «Бедной Лизы». И их обоих с Карамзиным-человеком!

Карамзин творил Карамзина. Творил всю свою писательскую жизнь. Творил сознательно и упорно. Создавая произведения и создавая читателю образ их автора, он одновременно создавал читателя. Он создавал тип нового русского культурного человека. Ценность этого творчества неизмерима. Поколению Толстого и Достоевского повести его уже казались наивными и архаическими. Но его человеческий облик и созданный им чита-

[1] *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 3. С. 47.

тельский образ вошли в личности людей русской культуры последующих эпох.

При этом замечательно, что уже для младших современников Карамзина определяющей чертой его личности сделалась именно цельность. Разные лики слились, спаялись в единство. Основой его было единство писательской и читательской честности. Карамзин вошел в русскую культуру как писатель и человек, не подверженный обстоятельствам и стоящий выше их.

Два путешественника

18 мая 1789 г. (ст. ст.) по петербургской дороге из Москвы выехала карета. В ней сидел молодой путешественник. До петербургской заставы его проводил друг. Расстались они в слезах. «Колокольчик зазвенел, лошади помчались...» Что было дальше, читатель знает и сам: все очень просто, надо взять в руки «Письма русского путешественника» Карамзина и листать книгу. Но именно здесь и придется остановиться. Дело в том, что в карете, хотя всем кажется, что там сидит один пассажир, на самом деле находятся двое. Один из них вполне реален: в кармане у него лежит выданный московским губернским правлением паспорт на имя Николая Михайловича Карамзина, дворянина, отправляющегося в чужие края. Именно его провожал друг — молодой литератор Александр Андреевич Петров, именно его видит, когда оборачивается с козел, крепостной слуга Илья («добродушный Илья», как его называет Карамзин в «Письмах»). Однако в карете незримо присутствует и другой. Верней, еще не присутствует. Скорее всего, только тень его слабо мелькает где-то в глубинах сознания Карамзина.

Но через некоторое время он превратится в реальность и начнет свое путешествие — путешествие по тем же почтовым станциям и городам, но уже превращенным в страницы книги. Это будет литературное путешествие, и сам он — его герой — будет литературным путешественником. На первый взгляд может показаться, что оба путешественника — двойники. У них одно имя. Хотя литературный путешественник всегда говорит о себе в первом лице, но от читателя не скрывают, что тот, кого женевские синдики в выданном ими паспорте именуют «г-н К*» (в журнальной редакции было «г-н N N»), «русский дворянин, 24-х лет от роду», носит то же имя, что и его реальный двойник. На них, судя по иллюстрациям, сделанным к немецкому переводу «Писем» и одобренным автором, одинаковые фраки, и в груди их бьется одно и то же сердце. Любая хирургическая операция, целью которой было бы рассечь их на два независимых существа, видимо, обречена на провал.

И все же они разные. Начать с того, что литературный путешественник сентиментален. Он часто вспоминает в трогательных выражениях своих московских друзей и при каждом удобном случае пишет им письма. Именно эти письма и составят потом «Письма русского путешественника». Реальный путешественник — Николай Михайлович Карамзин, — наверное, тоже с нежностью вспоминал своих московских друзей, но писал им редко и, судя по всему, не те большие письма, описывающие дорожные впечатления и европейские достопримечательности, на которые был так щедр его литературный двойник, а сухие записки. 20 сентября (1 октября по европейскому счету), то есть четыре с лишним месяца спустя после отъезда Карамзина, ближайший друг его А. А. Петров писал Карамзину, что получил от него письмо — из Дрездена. Письмо это, видимо, было весьма кратким. Это видно из слов Петрова: «Я не ожидаю от тебя подробных описаний твоего путешествия»[1]. Другой ближайший друг — поэт Иван Иванович Дмитриев — получил за все время одно письмо — из Лондона, написанное за несколько дней перед отъездом на родину. Все описание путешествия уместилось здесь в несколько строк: «Я пишу к вам на скорую руку, только для того, чтобы подать вам о себе весть, будучи уверен, что вы, друзья мои, берете участие в моей судьбе. Я проехал через Германию; побродил и пожил в Швейцарии, видел знатную часть Франции, видел Париж, видел *вольных* французов, и наконец приехал в Лондон. Скоро буду думать о возвращении в Россию»[2].

Несколько больше писем, видимо, получила семья Плещеевых: Алексей Александрович Плещеев был близким приятелем Карамзина, а жену его Настасью Ивановну с писателем связывала длительная и нежная сентиментальная дружба. Но и Плещеевы жалуются на редкость и краткость писем Карамзина-путешественника. 7 июля 1790 г. Настасья Ивановна писала Карамзину (письмо было отправлено в Берлин через их общего друга А. М. Кутузова — Плещеевы даже не знали, где находится Карамзин[3]): «...я уверена и уверена совершенно, что проклятые чужие краи сделали с тебя совсем другого: не только дружба наша тебе в тягость, но и письма кидаешь, не читав! Я в том столько уверена, как в том, que j'existe[4], потому что с тех пор, как ты в чужих краях, я не имела удовольствия получить ни единого ответа ни на какое мое письмо; то я самого тебя делаю судьею, что я должна из оного заключить: или ты писем не читаешь, или так уже презираешь их, что не видишь в них ничего, достойного ответа»[5].

---

[1] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 509. Далее ссылки на это издание даются в тексте (в скобках указан номер страницы). В этом издании (серия «Литературные памятники») дана подробная мотивировка, почему необходимо сохранять орфографию и графический облик сочинений Карамзина (с. 516—524).

[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 14.

[3] Карамзин этого письма, видимо, не получил: 15 июля он уже прибыл в Россию. До нас дошла копия, тайно сделанная в полиции, следившей за перепиской всего новиковского круга лиц.

[4] Что я существую (*фр.*).

[5] *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII века. 1780—1792 гг. Пг., 1915. С. 2.

Но самое поразительное, что эти путешественники вернулись на родину не одновременно: литературный путешественник прибыл в Кронштадт в сентябре, а его создатель сошел на родную почву уже в середине июля. Дальше мы выскажем предположения, почему писателю потребовалось создание своего творческого воображения задержать на лишние месяц-полтора в чужих краях. Но сейчас для нас важен сам факт: «я» карамзинского произведения — совсем не реальная, эмпирическая личность автора, а «Письма русского путешественника» — не дорожные письма Карамзина. Последнее было установлено еще сто лет тому назад В. В. Сиповским[1]. Однако стремление отождествить путешествие по листам бумаги с реальным странствием по дорогам Европы было настолько сильным, что Сиповский выдвинул осторожную гипотезу о существовании дорожного дневника Карамзина, который мог лечь в основу «Писем русского путешественника»[2]. А некоторые современные исследователи уже безо всяких оговорок говорят о некоем «путевом журнале» Карамзина, в котором он, «подражая Стерну, записывал все, что видел, слышал, о чем думал и мечтал»[3].

Внимательное чтение «Писем русского путешественника» убеждает и в том, что маршруты обоих путешественников также не всегда совпадали: иногда автор посылал своего героя туда, где не бывал сам, иногда же предпочитал не пускать его как раз в те места, которые наиболее привлекали его самого.

Главное же различие между двумя путешественниками заключается в их духовной зрелости: хотя по возрасту они ровесники, но по страницам книги путешествует милый, любознательный, но довольно легкомысленный молодой человек, с живыми, но не глубокими интересами. Сам же Карамзин в эту пору был уже много передумавшим и перечитавшим человеком, проявлявшим важнейшую черту духовной зрелости — самостоятельность интересов и суждений. Герой книги только начинает жизненный путь — никаких решений не принято, ничего еще не определилось. Он, как уже говорилось, странствует от мудреца к мудрецу, подобно героям философских романов XVII—XVIII вв., вроде Телемака Фенелона или Кира Рамзея, в поисках жизненных руководителей и благих советов. Автор же книги только что принял и твердо осуществил важное решение — порвал с мудрецами-руководителями из кружка Новикова и московских масонов, определил свой собственный жизненный путь и решительно на него вступил.

---

[1] См.: *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899.

[2] Гипотеза вполне правдоподобная, но ни подтвердить, ни опровергнуть ее нет возможности: все бумаги Карамзина до 1812 г. сгорели в огне московского пожара.

[3] *Кислягина Л. Г.* Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина (1785—1803 гг.). М., 1976. С. 35, 77. Впрочем, эта неточность, возможно, есть результат общей небрежности этой, имеющей ряд достоинств, книги: так, здесь поэт Виланд превращен в философа (с. 51), роман «Кадм и Гармония» назван трагедией, С. Т. Аксаков из Оренбургской губернии по воле автора переместился в Симбирскую, известное сочинение С. Мерсье «Картины Парижа» названо «Контрасты Парижа», спутаны многие даты и т. д., и т. п.

Карамзин отличался свойствами характера, делавшими его прирожденным ученым: склонностью к усидчивому систематическому труду, постоянством интересов, умственной самостоятельностью и необычайным умением быстро накапливать знания. Так, не получив никакого специального образования историка, он позже за несколько лет овладел не только обширным кругом источников, в ту пору в основной массе не опубликованных, но и сложными навыками во вспомогательных дисциплинах: палеографии, хронологии, археографии, нумизматике, генеалогии, исторической географии, истории языка. За четыре года, проведенные им в Москве в доме Типографической компании Новикова, молодой симбирский франт превратился в образованного человека, начитанного и в философии, и в художественной литературе на немецком, французском и английском языках, живо осведомленного, «своего человека» в умственной жизни России и Европы того времени.

Отношения двух путешественников, как мы сказали, были непростыми. Из окна почтовой кареты нам показывается то одно, то другое лицо. Часто один из них как бы выглядывает из-за плеча другого. А иногда еще сложнее: черты одного как бы проступают в лице другого. В этом таятся для нас многие трудности. Но это же и источник материалов для биографа, если уметь их искать.

Целые периоды в жизни Карамзина остаются для нас совершенно темными. К ним относится его заграничное путешествие. Основной источник здесь — «Письма русского путешественника». Исследователи так и поступают — видят в этой книге документальное свидетельство о реальном путешествии писателя, забывая, что «Письма» — литературное произведение со всеми характерными чертами художественного текста: замыслом и вымыслом, комбинацией и перестановкой реальных впечатлений в угоду идейно-художественным задачам, композицией и законами жанра, стилизацией, цензурными соображениями и т. п. Чтобы стать источником биографических сведений, «Письма» должны быть подвергнуты сложной процедуре дешифровки. И тогда многие привычные представления, возможно, придется пересмотреть.

Для современников, знавших Карамзина лично, бывших в курсе причин и обстоятельств его путешествия, реальностью был Карамзин, а герой книги — его тенью, созданием его пера. Для последующих поколений читателей все произошло как в сказке Андерсена: литературный персонаж стал реальностью, и реальностью единственной, как только речь заходила о «заграничном» периоде жизни Карамзина, а сам реальный автор как бы превращался в его тень. Второй путешественник вытеснил первого и, развалясь на подушках кареты, отправился в путь по стране, именуемой история русской литературы.

Попытаемся пристальнее всмотреться в оба лица.

Перед отъездом

Один из путешественников — беззаботный юноша, чувствительный и добрый, отправляющийся путешествовать без какой-либо ясно обдуманной цели. В душе его господствует нежная меланхолия, вызванная разлукой с «милыми». Настроение другого, надо думать, более серьезное и более сложное. Прежде всего, решение его отправиться в «вояж» ускорено какими-то неизвестными нам, но, видимо, весьма неприятными обстоятельствами. Об этом писала его «нежный друг» Настасья Плещеева в Берлин Алексею Михайловичу Кутузову: «Не все <...> вы знаете причины, которые побудили его ехать. Поверите ль, что я из первых, плакав пред ним, просила его ехать; друг ваш Алексей Александрович <Плещеев> — второй; знать сие было нужно и надобно. Я, которая была вечно против оного вояжа, и дорого мне стоила оная разлука. Да, таковы были обстоятельства друга нашего, что сие непременно было должно сделать. После этого скажите, возможно ли мне было и будет любить злодея, который всему почти сему главная причина? Каково расставаться с сыном и другом и тогда, когда я не думала уже увидаться в здешнем мире. У меня тогда так сильно шла горлом кровь, что я почитала себя очень близкой к чахотке. После этого скажите, что он из упрямства поехал». И приписала: «А того, кто причиной сего вояжу, вообразить без ужаса не могу, сколько я зла ему желаю! О, Тартюф!»[1] Даже если сделать скидку на то, что Настасья Ивановна была женщина эмоциональная и чувствительная, ситуация, предшествовавшая заграничной поездке Карамзина, рисуется в достаточно драматических тонах. Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, кого Плещеева называла «злодеем» и «Тартюфом», но мы вряд ли ошибемся, если предположим связь этих событий с гонениями, обрушившимися в это время на московский круг единомышленников Н. И. Новикова, к которому принадлежал и Карамзин.

Связи Карамзина с этим миром к моменту его отъезда за границу сделались запутанными и мучительными.

Пушкин писал о той эпохе: «В то время существовали в России люди, известные под именем *мартинистов*. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философского вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, к которому они принадлежали»[2].

Именно с этим кругом было связано начало литературной деятельности Карамзина.

Карамзины происходили от татарского князька Кара-Мурзы, который, как многие его собратья, «вышел» в Москву, крестился и был «испомещен»

---

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 5—6.

[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 31—32.

московскими великими князьями. В начале XVI в. Карамзины числились костромскими помещиками, но в 1600 г. они уже владеют поместьем в Нижегородской губернии. Отец писателя служил капитаном в Оренбурге, в полевом батальоне при известном Неплюеве, выученике Петра Великого, до конца дней своих благоговевшем перед его памятью. За службу отец писателя получил поместье в Симбирской губернии, где и прошло детство Карамзина.

Мир, давший Карамзину первые сознательные впечатления, был коренной мир русской провинции, и в будущем Карамзин всегда ощущал свое родство с московской и провинциально-дворянской образованной помещичьей средой. Придворно-чиновный Петербург был ему чужд даже в те — последние — годы, когда занятия историей и воля императора приковали его к Петербургу. Мир, окружавший Карамзина в детстве, был красочен: связанный с национальными традициями, с няньками и дядьками, с тщательным соблюдением церковной обрядности, церковных и календарных праздников, он был одновременно овеян воздухом новой культуры. Здесь мы встречаем и раннее обучение немецкому языку у местного медика, и француза-гувернера, и — особенно — обильное раннее чтение: в доме много книг — от рано умершей матери осталась библиотека романов, образованный сосед Пушкин дает мальчику «Древнюю историю» Ш. Ролленя в 10 томах, «ныне с французского переведенную чрез Василия Тредиаковского, профессора элоквенции и члена Санктпетербургския имп. Академии Наук».

Провинциальные дворяне, наполнявшие в дни праздников дом отца будущего писателя, не были ни богаты, ни знатны. Они не принадлежали к тем «новым людям», которые в XVIII в. роились около двора, быстро богатели, хватали в передних Зимнего дворца чины, деревни, ленты и ордена. Но это была среда, где любили учиться, много думали (не случайно из нее вышли родственники Карамзина — поэт И. И. Дмитриев, известный издатель П. П. Бекетов, потомки которого стали людьми науки: ботаниками, химиками, а один из них, Андрей Николаевич Бекетов, был ректором Петербургского университета и дедом по матери Александра Блока). Здесь служили, но не любили прислуживаться. Не случайно в автобиографической повести «Рыцарь нашего времени» Карамзин изобразил общество провинциальных дворян конца XVIII в., заключивших между собой «братский договор», по которому они обязывались «не бояться ни знатных, ни сильных, а только Бога и государя; смело говорить правду губернаторам и воеводам; никогда не быть прихлебателями их и не такать против совести»[1].

Карамзину шел 14-й год, когда возможности провинциального образования оказались исчерпанными и его отправили в Москву, в пансион Шадена, вместе с братьями П. П. и И. П. Бекетовыми. Около трех лет провел Карамзин в пансионе. Обучение было гуманитарным — в основном изучались языки: немецким и французским он овладел в совершенстве, читал по-английски и по-итальянски, занимался древними языками. Карамзин ходил слушать какие-

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 263.

то лекции в университет. В эту же пору он познакомился с молодым литератором А. А. Петровым.

По обычаю тех лет Карамзин был записан в службу еще при рождении — в гвардейский Преображенский полк. Вспомним рассказ Гринева из «Капитанской дочки»: «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта и дело бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук»[1]. Это узаконенное обычаем злоупотребление избавляло имеющих в столице протекцию дворянских сынков от положенной по петровским законам солдатской службы: они сразу получали стаж, необходимый для первого офицерского звания. По окончании пансиона Карамзин явился в полк, но военная служба, видимо, его не привлекала — он тут же взял годичный отпуск.

Однако в 1782 г. ему все же пришлось надеть мундир.

Дмитриев, с которым Карамзин сошелся в эту пору (Дмитриев служил в Семеновском полку), вспоминает его как «румяного, миловидного юношу»[2]. Юноша этот еще только раздумывал над возможностью литературного труда, который, по представлениям того времени, ни в коем случае не мог быть ни профессией, ни источником существования. Пусть потомки видят его в лавровом венке — для современников нужны мундир и орденские ленты. Но именно они-то не прельщали Карамзина. Сохранился рассказ о том, что военный пыл Карамзина охладила неудачная попытка перевода в действующую армию. Вот что рассказывает об этом ранний биограф Карамзина М. Погодин, имевший возможность опираться не только на документы, но и на устные рассказы современников: «В то время такое назначение зависело много от полкового секретаря, а секретарь брал взятки, и от того назначение доставалось всегда только богатым офицерам. Он, к счастью, отказал Карамзину, не могшему располагать лишними деньгами. У него было всего на все сто рублей в кармане, с трудом сбереженных. Неудача, благотворная для Карамзина, охладила его воинский жар. К тому же у него не было возможности сшить себе хороший офицерский мундир»[3].

Рассказ этот красочен, но едва ли до конца достоверен. Карамзин, видимо, действительно был стеснен в средствах, однако уже то, что он был записан в первый полк гвардии, свидетельствует, что у него были в столице покровители, которые могли бы оказать ему, незначительную в сущности, материальную поддержку. Между тем продолжение службы в гвардии сулило блестящую карьеру.

Но в том-то и дело, что ни карьера, ни придворная атмосфера, ни все те блага, которые мог ему предложить екатерининский Петербург, Карамзина не привлекали. Зная его характер и всю последующую жизнь, можно с

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 8. Кн. 1. С. 279.

[2] *Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1893. Т. 2. С. 24.

[3] *Погодин М. П.* Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии. М., 1866. Ч. 1. С. 22.

уверенностью сказать, что сколько бы денег ни было у Карамзина в кармане, он не дал бы взятки ни полковому секретарю, ни кому-либо другому, ибо путь взяток не был его путем. Характер Карамзина еще не сложился, твердые убеждения ему еще предстояло выработать. Но ту нравственную брезгливость, которая заставляла его инстинктивно сторониться моральной грязи, он вынес из дома. Жизнь в соответствии с нормами чести была для него не поступками и действиями, совершаемыми сознательно, а условием существования, естественным, как дыхание.

Воспользовавшись первым же предлогом (в 1783 г. скончался отец Карамзина), он вышел в отставку и уехал в Симбирск[1].

«Малый» свет привлекал его больше, чем «большой». Он уехал в провинцию.

Дмитриев, встретившийся после этого с Карамзиным в Симбирске, увидал новое его лицо; перед ним был светский лев и салонный оратор: «Я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в обществе: опытного за вистовым столом; любезного в дамском кругу и оратором перед отцами семейств, которые, хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали»[2]. Эта способность меняться, гибкость, позволяющая быть в мире с миром, оставаясь при этом собой, также была характерной чертой личности Карамзина. И именно она позволила Карамзину быстро и без какого-либо внутреннего излома сменить жизненную колею.

В Симбирске он встретился с масоном и суровым моралистом Иваном Петровичем Тургеневым, отцом четырех братьев[3] Тургеневых, известных по истории русского освободительного движения и пушкинской биографии. Тургенев увез Карамзина в Москву.

В Москве Карамзин оказался в кругу, так выразительно охарактеризованном Пушкиным. Здесь господствовали серьезность, строгие правила морали, работа над собой и искание истины. В центре кружка стоял Николай Иванович Новиков.

Новиков соединял в себе практика и мечтателя. Любое дело горело в его руках. Он умел и любил заниматься практическим организаторством, создавал типографии и журналы, научные общества и аптеки. Практическая хватка его была исключительной. Он мог, начав с копейки, взятой в долг, в короткий срок организовать дело, оборот которого исчислялся сотнями тысяч. Однако вся эта кипучая практическая деятельность имела для него смысл лишь потому, что с ее помощью он надеялся превратить Россию в прекрасное царство просвещения и братства. Просвещая помещиков и крестьян, распространяя нравственность, приучая всех и каждого видеть в другом человеке брата, а в своей душе — поприще для непрерывных подвигов самовоспитания, Новиков надеялся мирно, без крови и ненависти, решить общественные

---

[1] Аониды. 1796. Кн. 1. С. 218.

[2] *Дмитриев И. И.* Соч. Т. 2. С. 25.

[3] В 1784 г. еще только родился второй из них — Александр, в будущем поклонник и верный друг Карамзина.

вопросы, грозно выступавшие на горизонте России и Европы конца XVIII столетия.

Новиков по характеру и складу личности был, прежде всего, общественным деятелем. Люди, воспитанные Петровской эпохой, считали, что служение обществу и государственная служба — одно и то же. Новиков не предполагал, что польза общества требует борьбы с государством. Он исходил лишь из того, что следует научиться в жизненно важных вопросах обходиться без помощи дворянской государственности. Его лозунг — общественная самодеятельность, идущая не за и не против, а *мимо* государственной машины. Но именно этого ему не могла простить Екатерина II. Вся государственная пирамида с нею во главе оказывалась даже не врагом. Она — и это делалось очевидным — была просто лишняя, нужная лишь самой себе. С ее помощью нельзя было сделать для общества ничего. Деятельность Новикова была эффективна и утопична — противостоящая ей государственность реальна, но бесплодна и фантасмагорична.

Новиков был прирожденный организатор. Замыслы один шире другого непрерывно кипели в его голове. И он умел их претворять в жизнь — он был именно организатор, а не прожектер. Его практическая хватка опиралась на фундамент бескорыстного и пламенного энтузиазма. Он умел увлекать людей жарким красноречием. Но не красноречие привлекало к нему его последователей, а необычность пути, который он открывал перед ними. Он практик, хозяин, даже делец. Его обвиняют в корыстолюбии, и он, действительно, умеет зарабатывать деньги не хуже гоголевского Костанжогло. Но только с одним условием: тут же отдать эти деньги в бесплатную аптеку, на производство книг, доходы от продажи которых пойдут на стипендии студентам училищ и переводческой семинарии, на обучение в заграничных университетах бедных, но способных молодых людей, на помощь голодным. Он богатеет, оставаясь сам почти нищим. И этот энтузиазм добра, добра деятельного и практического, составляет основу его обаяния. Так, например, сын разбогатевшего и ставшего миллионером уральского ямщика Г. М. Походяшин, увлеченный речью Новикова, передал ему огромные суммы на помощь голодающим, а затем на типографские расходы и другие общественные начинания (всего, видимо, около миллиона рублей). После ареста Новикова и конфискации его книг и типографского имущества Походяшин разорился и умер в нищете. Но до последних минут он считал встречу с Новиковым самым большим счастьем в жизни и скончался, умиленно глядя на его портрет.

Организаторские способности Новикова сказались и в другом: он умел находить и привлекать к себе талантливых людей. Пожалуй, во всей русской истории XVIII в. только Петр I мог соперничать с ним в умении с одного взгляда определить, в чем состоит талант человека и к какому делу его лучше всего привлечь. Именно эта способность помогла Новикову разглядеть в приехавшем из Симбирска молодом человеке писателя-журналиста.

Однако Новиков был не только практиком. Он не был бы человеком XVIII в., если бы его не манили таинства Натуры и загадки судеб человечества. Все это в конечном итоге привело Новикова в ряды масонов. Здесь сказались

утопическое стремление мирно достичь на земле царства всеобщей гармонии и братства путем просвещения и самовоспитания, а также вера в мощь объединенных неофициальных усилий.

Новикову удалось сплотить в Москве тесную группу единомышленников. Их соединяла общая вера в необходимость просвещения народа, личного усовершенствования, практической филантропии. Все они отрицали насилие — и правительственное и революционное — и стремились заменить политическую борьбу моральным воспитанием. Искренняя религиозность сочеталась в их кругу с мистическим интересом к «таинствам Натуры». К французской материалистической философии, вольтерьянству и вообще к французскому влиянию на русскую культуру они относились враждебно. Гуманность и альтруизм, любовь к ближнему и патриотическое воспитание призваны были, по их мнению, разрешить противоречия русской жизни[1]. На деньги организованной на счет «братских» пожертвований Типографической компании был куплен в Кривоколенном переулке дом, где находилась типография и проживали многие «братья». Здесь помещались С. И. Гамалея, А. М. Кутузов, А. А. Петров и нашедший приют у московских масонов полубезумный немецкий поэт, друг Шиллера и Гёте, Якоб Ленц. Здесь же, в мансарде третьего этажа, разделенной перегородками на три светелки, вместе с А. А. Петровым поселился Карамзин.

Карамзин оказался в кругу совершенно новых для него людей. Масонским наставником его был С. И. Гамалея, о котором красочно пишет В. Ключевский: «...для изображения Сем. Ив. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика». И далее: «Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 р. на табак, которую считал похищением у бедных»[2].

Но особенно большую роль в жизни Карамзина сыграл Алексей Михайлович Кутузов. Радищев назвал его «сочувственником», подчеркивая общность

---

[1] Исследование общественной деятельности Н. И. Новикова, начатое Н. С. Тихонравовым, П. П. Пекарским, М. Н. Лонгиновым, Г. В. Вернадским и другими учеными во второй половине прошлого века, получило совершенно новые импульсы в работах Г. А. Гуковского и особенно Г. П. Макогоненко (см.: *Макогоненко Г. П.* Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.; Л., 1951). Итоги работы исследователей были подведены П. Н. Берковым в статье «Насущные вопросы изучения общественной позиции Н. И. Новикова» (XVIII век. Сб. 11: Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976. С. 5—15).

[2] *Ключевский В. О.* Очерки и речи: 2-й сб. ст. М., 1913. С. 270.

чувств при различии мнений, и посвятил ему две свои главные книги. Сам Кутузов так писал о своей дружбе с Радищевым Екатерине Ильиничне Голенищевой-Кутузовой, жене своего дальнего родственника, будущего фельдмаршала Михаила Илларионовича: «Радищев <...> был со мною вместе пажом, в Лейпциге и в сенате с которым был я 14 лет в одной комнате»[1]. Между Радищевым и Кутузовым возникла искренняя и глубокая дружба. Затем судьба их развела: Радищев женился, а Кутузов поступил в армию под начало М. И. Голенищева-Кутузова, который тогда командовал пикинерским полком. Когда-то, студентами Лейпцигского университета, друзья вместе переводили Гельвеция и штудировали французских материалистов. Теперь воззрения их начали расходиться: Кутузов все больше склонялся к агностицизму, его влекли моральные вопросы, Радищева — социальные. Друзья переписывались. Их обширная философская переписка не найдена. Кутузов писал: «Не взирая, что во время нашей разлуки образ наших мыслей сделался весьма различен, однако ж мы спорили, но тем более друг друга любили, ибо оба видели ясно, что разность находилась в наших головах, а не в сердце»[2].

Характеры друзей были различны. Радищев — статный красавец, соединявший независимую гордость античного республиканца с живостью философа XVIII в., любивший женщин и любимый ими[3]. Когда Радищев был схвачен, он был вдов. Свояченица его бесстрашно бросилась в дом к следователю-палачу Шешковскому, при одном имени которого бледнели и нетрусливые мужчины (Потемкин называл его кнутобойцем). Говорили, что, отдав Шешковскому все свои драгоценности, она спасла Радищева от пытки. А затем она приехала к нему в Сибирь, презрев сплетни и церковное осуждение, запрещавшее браки при такой степени родства, стала его второй женой и нашла себе могилу в сибирской земле.

Достаточно сравнить гордый, порывистый и нетерпеливый, размашистый почерк Радищева с мелким, филигранным, скорей похожим на какой-то таинственный узор и заставляющим часто прибегать к увеличительному стеклу почерком Кутузова, чтобы почувствовать разницу характеров. Кутузов, которого Карамзин называл «любезный меланхолик», был застенчив и склонен к печальным размышлениям. Через всю жизнь он пронес одну неразделенную любовь — к Екатерине Ильиничне Кутузовой, жене своего полкового командира. Екатерина Ильинична писала ему чувствительно-кокетливые письма, упрекала за молчание («Молчание ваше не есть целительное средство для чувствительных нерв моих, которые и так довольно уже расстроены»[4]), советовала, «чтоб вы были благополучны», жениться, но тут же, переходя

---

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 65.

[2] Там же.

[3] Один из сыновей Радищева позже вспоминал об отце: «Он был среднего роста и в молодости был очень хорош, имел прекрасные карие глаза, очень выразительные, был пристрастен к женскому полу» (Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.; Л., 1959. С. 98).

[4] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 77.

на французский язык, добавляла: «Je sens que je parle contre moi»[1]. «С некоторого времени, я не знаю отчего, je me reproche de vous savoir si isolé commes vous étes, vous qui méritez tant á avoir une compagne á vivre heureux»[2]. Кутузов так и остался до смерти холостяком. Свое печальное одиночество он скрашивал сентиментальной дружбой с семьями Плещеевых и Голенищевых-Кутузовых, в каждой из которых у него было по «невесте» 6—8 лет, писавшей ему сентиментальные французские письма.

Кутузов был одним из образованнейших людей своего времени: знаток философии и литературы, он был поклонником английского предромантизма, переводчиком Юнга, пропагандистом Шекспира, Мильтона в ту эпоху, когда ни знание английского языка, ни влияние английской литературы еще не было распространено в России.

Кутузов оказал сильное воздействие на молодых литераторов Петрова и Карамзина, для которых он, несмотря на разницу возраста, скоро сделался не только «братом» и масонским наставником, но и близким другом. Именно благодаря ему, в доме Типографической компании установилась предромантическая атмосфера и определилось направление литературных вкусов.

С Александром Петровым Карамзин познакомился, вероятно, еще во времена пребывания в пансионе Шадена. Есть основания полагать, что они вместе бегали в университет слушать лекции Шварца по философии и педагогике, о которых тогда говорила вся Москва. Петров был старше Карамзина, и его литературные вкусы сложились раньше. У него был бесспорный талант критика, чему способствовал острый, насмешливый ум и развитое чувство иронии, которой явно не хватало «чувствительному» Карамзину. От Петрова осталось лишь несколько переводов и 9 писем к Карамзину. Архив его был сразу же после его ранней смерти сожжен его братом — осторожным чиновником. Шел 1793 год, и хранить дома лишние бумаги не рекомендовалось.

Бывают яркие таланты, обещающие много, но мало или почти ничего не успевающие создать. Тепло и свет их таланта передаются потомству не прямо, а через творчество тех, кто зажег от них свой огонь. Таков был Андрей Тургенев, таковы были Станкевич и отчасти Веневитинов. Таков был и Александр Андреевич Петров.

Предромантическую атмосферу «масонского дома» поддерживал и доживавший там полугений-полуюродивый, друг Гёте, ученик и поклонник, а потом враг и противник Канта, литературный бунтарь и демократ Якоб Ленц. Разговоры с ним донесли до Карамзина ту живую, непосредственную атмосферу, тот «воздух» бурлившей тогда немецкой литературы, который не передается через страницы книг, а постигается лишь в непосредственном общении.

Организационный талант Новикова проявлялся, как мы уже сказали, в том, что он умел найти каждому именно то место, на котором тот мог лучше всего развернуть свои способности. Карамзина он привлек к участию в

---

[1] Я чувствую, что говорю против себя самой (*фр.*).

[2] Я упрекаю себя за то, что вы, который в такой мере заслуживаете иметь супругу и счастливо жить, пребываете в таком одиночестве (*фр.*). (*Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 76—77).

составлении и редактировании первого русского журнала для детей «Детское чтение». Соредактором Карамзина был Петров.

Но у Новикова был еще один талант — тактичность. Его бурная активность не тяготила его друзей, поскольку не теснила ничьей воли. В хаосе крепостнического деспотизма, стяжательства, погони за чинами, той узаконенной безнравственности, о которой писал Фонвизин:

> ...всякий, чтоб набить потуже свой карман,
> За благо рассудил приняться за обман[1], —

мир Новикова — Кутузова представлял нравственный оазис. Бескорыстие было здесь естественной нормой, самопожертвование — бытовым явлением. То, что Кутузов отдал *все* свое имущество Новикову на общее дело (после ареста Новикова он умер в Берлине в долговой тюрьме — не в переносном, а в прямом смысле от голода!), или то, что он, когда Радищев, посвятив ему «Путешествие из Петербурга в Москву», отрезал тем самым ему пути возвращения на родину (его было велено арестовать на границе), не только не упрекнул своего друга, а имел смелость посылать ему письма в Сибирь и в других письмах, зная, что их читают в «черном кабинете», писать: «Я разлучен от моего друга, может быть, навсегда; но его дружба пребывает со мною»[2], — никого не удивляло.

Когда позже Карамзин, сам находясь в весьма стесненных материальных обстоятельствах, отдал почти все свое состояние попавшему в долги Плещееву (Карамзину пришлось продать братьям свою часть имения), хлопотал по этому делу и после никогда об этих деньгах не вспоминал, когда, находясь уже в разладе с Новиковым и масонами, он единственный имел смелость печатно возвысить голос в защиту гонимого Новикова, и всякий раз, когда он обнаруживал благородство, вошедшее в самое сущность его натуры, мы невольно вспоминаем атмосферу новиковского окружения в Москве 1780-х гг.

Литературных занятий Карамзина никто не стеснял. Карамзин переводил для «Детского чтения», писал стихи, перевел и опубликовал «Юлия Цезаря» Шекспира и «Эмилию Галотти» Лессинга. Но более всего он учился.

Позже М. Погодин, понимая, какие знания нужны историку, недоумевал, как светский писатель, историк-дилетант, никогда не получивший никакого специального образования, сделался высоко профессиональным историком: «Что другой узнавал двадцатилетним опытом, при пособиях бесконечной начитанности, с советами целых факультетов, в ученой атмосфере, то Карамзин схватывал на лету, усматривал сразу, счастливо угадывал. Между тем *он* беспрестанно учился»[3]. И дальше: «На удивительные, необыкновенные способности Карамзина, в этом отношении, не было обращено у нас достаточного внимания»[4].

---

[1] *Фонвизин Д. И.* Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 211.
[2] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 81.
[3] *Погодин М. П.* Указ. соч. Ч. 2. С. 30.
[4] Там же. С. 55.

Четыре года в новиковском кругу были заполнены для Карамзина упорной работой по самообразованию, и, когда он отправился в заграничное путешествие, в почтовую карету сел не робкий ученик, школяр, отправляющийся «людей посмотреть, себя показать», а молодой литератор, которому «удивительные, необыкновенные способности» помогли «в просвещении стать с веком наравне».

Но четыре года — долгий срок. Этот срок на четыре года приблизил Великую французскую революцию — в истории часто приходится вести отсчет от событий *назад* для того, чтобы восстановить правильную перспективу.

В России крестьяне бунтовали, императрица старела, Радищев писал «Путешествие из Петербурга в Москву»...

Над домом в Кривоколенном переулке собирались тучи.

В то время, как в кругу московских мартинистов радели о просвещении и искали глубокие истины, в мире европейского масонства кипели интриги. Разнообразные возникавшие «системы», как правило, оставались на бумаге или в воспаленных головах их фантастов-сочинителей. Однако масонские ложи, которые часто представляли собой нечто вроде филантропических клубов или своеобразного развлечения пресыщенных вельмож и ищущих смысла жизни интеллектуалов, вбирали в себя и авантюристов, и просто обманщиков, и честолюбцев, стремившихся таким образом сблизиться с влиятельными «братьями», и, наконец, фанатиков-мечтателей. Русские ложи в середине XVIII в. придерживались «английской системы» и находились под руководством поэта и вельможи И. П. Елагина. Немецкие ложи, стремясь утвердить в России свое влияние, направили в Россию барона Рейхеля. В 1776 г. «елагинская» и «рейхелевская» системы объединились. Наместным мастером был избран Н. И. Панин. В том же году приближенный и друг Павла Петровича кн. А. Б. Куракин привез из Стокгольма «шведскую систему», в которую был посвящен братом короля Карлом, герцогом зюдерманландским.

Новиков, который вступил в масонство еще в 1775 г., вместе с другими московскими «мартинистами», видимо, тяготился этими связями. В результате за границу был послан профессор Иван Егорович Шварц с целью добиться для русского масонства статуса самостоятельной провинции. В 1782 г. конвент в Вильгельмсбадене провозгласил Россию самостоятельной масонской провинцией, освободив ее от шведского «ига». Однако положение московских искателей истины от этого только ухудшилось: они оказались в зависимости от берлинского масонства, во главе которого стояли честолюбивые проходимцы Вёльнер и Бишофсвердер. После скоропостижной смерти тридцатитрехлетнего Шварца связи с Берлином оказались в руках темного авантюриста барона Шредера.

Екатерина II давно уже не любила Новикова. Его стремление к общественной деятельности, независимой от правительственной бюрократии, его энергия и эффективность его мероприятий (в частности, широко поставленная и исключительно успешная помощь голодающим в неурожайные годы), резко оттенявшая бездеятельность и неспособность государственных чиновников,

казались ей опасным подрывом правительственного авторитета. Тем более важно было попытаться дискредитировать его, обвинив в корыстолюбии, жажде личного обогащения или в преступных связях с иностранными государствами. Чем лживее были обвинения, тем более правдоподобный вид им следовало придать. С середины 1780-х гг. начали все чаще проявляться симптомы надвигающегося разгрома.

Но главная причина тревог и сомнений, охвативших новиковский круг во второй половине 1780-х гг., заключалась в предчувствии грозных исторических катастроф. Давно уже сказано, что великие исторические события бросают тень впереди себя. Тень Французской революции легла на Европу.

События надвигались с угрожающей быстротой. Руссо писал в 1762 г.: «Вы полагаетесь на существующий общественный порядок, не думая о том, что этот порядок подвержен неизбежным революциям и что вам невозможно ни предвидеть, ни предупредить ту, которая заденет ваших детей. Великий становится малым, богатый — бедным, монарх — подданным. <...> Мы приближаемся к кризису и к веку революций. Кто может ответить на вопрос, что станется с вами тогда?»[1] А в начале 1788 г. Казот, по уверению Лагарпа, уже предсказал обществу парижских дам и философов гибель на эшафоте.

Напряжение, охватившее чуткие души, особенно острым было для тех, кто чаял мирного преобразования и хотел бы построить храм мудрости, избежав насильственного разрушения существующего. Именно в таком положении был круг Новикова — Кутузова. В. Ключевский исключительно точно и образно сказал, что для своего строительства соратники Новикова не могли «ничего найти на Западе... кроме раскаленной лавы да гнилых развалин»[2]. Раскаленная лава идей, подготовивших революцию, так же не могла их привлечь, как и гнилые развалины старого порядка. А между тем время требовало ответов — и не теоретических раздумий, а практических действий. Это заставляло хвататься за утопические проекты. Утопия всеобщего самовоспитания стала дополняться утопиями мистического общественного преобразования.

Трезво мыслящему гельвецианцу Радищеву таинственные поиски масонов казались «бредоумствованием». Современный читатель недоумевает, как мог образованный и умный человек, вроде Новикова, Кутузова или Тургенева, всерьез заниматься «герметическими науками»: алхимией, поисками гомункулуса (искусственного человека).

Однако не следует забывать, что в перспективе научных воззрений XVIII столетия не все выглядело так абсурдно, как оно стало представляться позитивному мышлению XIX в.[3] В научном отношении идея трансмутации

---

[1] *Руссо Ж.-Ж.* Эмиль, или О воспитании. СПб., 1913. С. 182.

[2] *Ключевский В. О.* Указ. соч. С. 273.

[3] На связь алхимии с утопическими учениями средневековья указывал Ф. Энгельс, писавший в полемике с Дюрингом, что «алхимия в свое время была необходима» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 277); современную научную оценку алхимии как культурного явления см.: *Рабинович В. Л.* Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.

элементов еще не была окончательно опровергнута. Однако важнее ее социально-экономический аспект: представление о том, что изобилие золота может стать ключом для решения проблемы бедности и богатства и тем самым устранить трагические противоречия общества, казалось в XVIII в. вполне убедительным. Когда Джон Ло изобрел ассигнации, современники ликовали, считая, что с бедностью навсегда покончено. Гёте во второй части «Фауста» сделал Мефистофеля изобретателем бумажных денег, прямо связав это «чудо» с алхимией. Карамзин в Париже стал свидетелем веры в магическую силу изобилия денег как экономической панацеи: «В тот самый день, когда Собрание определило выдать ассигнации, я был в театре. Играли старую оперу *башмачника*, которому во втором акте надлежало петь известный *водевиль*. Вместо того он запел новые стихи, в похвалу Короля и Народного Собрания, с припевом:

L'argent caché ressortira
Par le moyen des assignats[1].

Зрители были вне себя от удовольствия и заставили актера десять раз повторять: l'argent caché ressortira. Им казалось, что перед ними уже лежат кучи золота!» (с. 319).

Если мы вспомним, что исчезновение золота, опустошенность государственной казны, частные и государственные долги были наиболее бросающимися в глаза признаками общего кризиса феодальной Европы и проблема налогов и государственных финансов стала непосредственным предлогом начала Французской революции, то попытки решить социальные проблемы с помощью алхимии покажутся нам наивными, но не необъяснимыми. Что же касается опытов с гомункулусом, то они были связаны с многовековой мечтой о создании робота, искусственного интеллекта, усовершенствованного человека. Это мечта о чистом и прекрасном человеке, который заменит отягощенного «животностью» реального человека. Гёте во второй части «Фауста» отнесся к этой идее без тени насмешки как к научной мечте:

Нам говорят «безумец» и «фантаст»,
Но, выйдя из зависимости грустной,
С годами мозг мыслителя искусный
Мыслителя искусственно создаст.

Такова была историко-психологическая основа поисков мудрости в «тайных науках». Кроме того, поскольку предполагалось, что человек («микрокосм») и вселенная («макрокосм») изоморфны, то таинства Натуры помогут понять тайну человеческой души, а психология поможет проникнуть в сокровенные тайны Природы. Результатом будет разумное и гармоническое преобразование земной жизни без какого-либо насилия.

Разнообразные линии силового напряжения сходились в доме в глубине сада на Кривоколенном переулке: надо было отбиваться от правительственных преследований, надо было выплачивать значительную сумму потребовавшему

[1] Спрятанные деньги вновь появятся с помощью ассигнаций (*фр.*).

обратно свои деньги Шредеру (это был удар в спину, нанесенный в самую трудную минуту), надо было посылать в Берлин Кутузова для контактов с прусскими «братьями» — Шредеру уже нельзя было верить. А главное, возникали глубокие сомнения в правильности избранного пути и — на этой почве — личные конфликты, недоверие, ссоры. Атмосфера отравлялась.

В этих условиях Карамзин принял смелое решение: он порвал с масонством и со всем новиковским кругом. Разрыв был корректным, но твердым. Карамзин сохранил навсегда новиковский вкус к просветительству, распространению знаний, уважительное и серьезное отношение к популяризаторству, влечение к профессиональному труду писателя и журналиста, но решительно отказался от любых форм тайной организации и вручения своей воли какому-либо руководству. Кроме того, он разуверился в действенности моралистических проповедей. Искусство — от высших созданий гения до самых плохих романов — больше приносит добра и лучше воспитует гуманные чувства, чем самая искусная дидактика. Он отверг мистицизм и поиски таинственной истины ради истины явной и ясной, свет, который получают из рук «просвещенных начальников» в награду за слепую веру, — ради света, который ищут и который рождается из сомнений.

Свое право сомневаться он не хотел уступать никому.

Он перестал себя чувствовать учеником — он понял, что он писатель.

Начало пути

Самый простой и безболезненный вид разрыва был отъезд. Тем более что планы путешествия Карамзин строил давно, и эти планы были известны в масонской среде и даже, видимо, первоначально одобрялись. Первый биограф Карамзина, опиравшийся, в частности, на устную традицию, А. Старчевский, упоминал об участии Гамалеи в выработке плана путешествия, а Ф. Глинка даже ссылался на слова самого Карамзина, якобы доверительно сообщавшего ему, что он был направлен за границу на деньги масонов[1]. Последнее более чем сомнительно: даже следствие над московскими масонами, упорно искавшее улик причастности Карамзина к их заграничным связям, должно было признать, что он путешествовал «не от общества», а вольным «вояжером» — на собственные деньги. Однако разрыв, видимо, произошел вполне мирно. Карамзин даже говорил Гречу: «Сожалели, но не удерживали, и на прощание дали мне обед. Мы расстались

[1] См.: *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1970. Т. 19. Вып. 2. С. 150.

дружелюбно»[1]. Это существенно отметить, потому что вскоре мы увидим открытую вражду московских мартинистов к Карамзину.

Итак, когда автор «Писем русского путешественника» садился в почтовую коляску, это не был тот любознательный, чувствительный юноша, делающий первые шаги в жизни, каким был его литературный двойник. Перед нами — рано созревший, много передумавший и избравший уже жизненный путь молодой писатель. И отправляется он в мир, трагическое положение которого не скрыто от его умственного взора так же, как и богатство его вековой культуры.

Путь лежит в Петербург...

Кстати, почему в Петербург? Карамзин объяснит это своим читателям желанием отправиться морем. Однако довольно подозрительно, чтобы человек, прибывший в столицу с единственной целью сесть на корабль, не разузнал заранее в Москве, какие для сего потребуются формальности и, потратив время и деньги на совершенно излишнюю поездку, с такой легкостью отказался бы от этого плана и отправился в карете, что вполне можно было предпринять и прямо в Москве.

Что делал в Петербурге литературный путешественник?

Он был печален.

«В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д**, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он нещастлив!» (с. 6). «Открыть сердце» другу сделалось в дальнейшем штампом сентиментального поведения. Пушкин из Одессы писал брату: «Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет — напр. он пишет в П<етер> Б<ург> письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и port-feuille — любовь и пр. — фраза, достойная В. Козлова»[2]. Василий Иванович Козлов — поэт плохой, и Пушкин над ним смеялся. Карамзинский стиль победил, и образы его сделались общими местами.

А кто такой Д**? Это Александр Иванович Дмитриев, брат поэта И. И. Дмитриева. Он в эту пору был влюблен в М. А. Пиль, на которой позже женился. Чувство это считалось в дружеском кругу эталоном нежной страсти. «Нетерпеливо желаю знать историю его нежного сердца», — писал позже Карамзин Дмитриеву[3].

Трудно предположить, однако, что у реального Карамзина не было в Петербурге других дел и для того, чтобы А. И. Дмитриев открыл ему свое сердце, стоило делать крюк в несколько сотен верст, тем более что денег у Карамзина было в обрез.

Здесь мы можем только гадать. Однако очевидно, что пускаться в такой путь, да еще с намерением проникнуть в дома европейских знаменитостей, нельзя было, не запасшись рекомендательными письмами. Одно, по крайней мере, можно предположить: в Лондоне Карамзин был принят в доме русского

---

[1] *Погодин М. П.* Указ. соч. Ч. 1. С. 69.

[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 67.

[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 49.

посла Семена Романовича Воронцова сразу же как близкий и заслуживающий доверия человек. Никаких данных о предварительном знакомстве Карамзина с Воронцовым у нас нет, а положение и состояние начинающего писателя не давали ему никаких прав на столь высокое знакомство. Поэтому вполне вероятно, что в Петербурге Карамзин получил рекомендательное письмо от достаточно близкого лондонскому посланнику человека. Это мог быть брат его Александр Романович, вельможа, президент коммерц-коллегии, человек богатый, образованный и, как и его брат, критически настроенный по отношению к личности и политике правящей императрицы. Рекомендательное письмо было Карамзину тем более нужно, что Англия была «любимой мечтой» путешественника, и, видимо, в Лондоне он собирался пробыть достаточно долго. Плещеев писал Кутузову 7 июля/18 июля 1790 г.: «Любезный наш Николай Михайлович должен уже месяц назад быть в своем любезном Лондоне». А 22 июля/2 августа: «Наш Николай Михайлович уже, надеюсь, возвращается от англичан к русским»[1]. То есть по расчетам друзей, бывших, бесспорно, в курсе планов путешествия, составленных в Москве, Карамзин рассчитывал пробыть в Англии месяц-полтора или даже два.

Однако разница в социальном положении, возрасте, несоприкасаемость миров, в которых вращались Воронцов и Карамзин, была столь велика, что для встречи с А. Р. Воронцовым тоже нужен был посредник.

Имя этого посредника легко предположить.

В Берлине путешественник встретился с неким Д***. Они быстро сдружились. Мотивы были следующие: «Он любит свое отечество и я люблю его; он любит А*** (то есть А. М. Кутузова. — *Ю. Л.*), и я люблю его» (с. 34). В Петербурге был человек, про которого можно было сказать то же самое: это был А. Н. Радищев. Если справедлива поговорка «друзья наших друзей — наши друзья», то Карамзину надо было больше мотивов, чтобы не встретиться с Радищевым, чем чтобы с ним увидаться: оба они были ближайшими друзьями Кутузова, для обоих Кутузов был самым близким человеком. Кроме того, они принадлежали к одному кругу: Радищев был членом Общества друзей словесных наук в Петербурге, а общество это в значительной мере состояло из воспитанной Новиковым молодежи; оба они были масонами, хотя оба уже полностью охладели к этим увлечениям. Наконец, Карамзин собирался ехать за границу морем, и на бирже он искал английских моряков, которые взяли бы его на борт. И в этом отношении приезжему москвичу было естественно обратиться за помощью и советом к видному и опытному чиновнику петербургской таможни[2].

---

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 1, 7.

[2] В. П. Семенников предположил, что Радищев и Карамзин могли познакомиться у Кутузова в Москве, куда, по некоторым предположениям, Радищев приезжал, пытаясь найти издателей для «Путешествия из Петербурга в Москву». От этого заманчивого предположения следует отказаться: если попытка обратиться в этой связи к Н. И. Новикову и Н. С. Селивановскому действительно имела место, то она должна была состояться уже *после* отъезда Кутузова в Берлин, а Карамзина в путешествие. См.: *Семенников В. П.* Радищев: Очерки и исслед. М.; Пг., 1923. С. 450—452.

Не нужно думать, что Карамзин в мае 1789 г. видел в Радищеве того, кто возникает в нашем сознании сразу же при упоминании этого имени: «Путешествие из Петербурга в Москву» было написано, но еще не напечатано, и Радищев не имел никаких резонов посвящать в эту тайну мало знакомого ему молодого человека из Москвы. Карамзин, если их встреча и состоялась, видел перед собой человека, старше себя возрастом и чином, о каких-то сочинениях которого он слыхал, но вряд ли их читал, уважаемого за образованность и твердость характера, известного своей неподкупностью и республиканским нравом, друга своего друга. Предполагать более тесное сближение у нас нет оснований. Однако нельзя не заметить, что имя Радищева нет-нет да и выплывет в дорожных впечатлениях Карамзина. В Лейпциге он будет в беседе с профессором Платнером вспоминать о студенческих годах Радищева и Кутузова, в Париже он сойдется с приятелем и корреспондентом Радищева П. П. Дубровским, известным собирателем рукописей, замышлявшим в 1789 г. основать в Париже русскую типографию и... печатать в ней «Декларацию прав» на русском языке![1]

Однако наиболее убедительный довод в пользу предположения о том, что в Петербурге Карамзин как-то соприкоснулся с кругом Воронцова — Радищева, ждет нас не в Лейпциге и не в Париже, а значительно ближе.

Литературный путешественник пережил следующее происшествие: «На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: Г. З**, едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека».

Попытаемся реконструировать, что же произошло с реальным путешественником.

Прежде всего, кто такой этот З**? Личность его расшифровать легко: это Василий Николаевич Зиновьев, товарищ Радищева и Кутузова по Лейпцигскому университету. Запись туманна: неточно, что встреча З** и путешественника произошла как бы случайно на почтовой станции. Обращает внимание и нарочито небрежное «на одной станции за Дерптом». Зиновьев возвращался из-за границы вместе с известным Родионом Александровичем Кошелевым и его женой Варварой Ивановной. Кошелев — вельможа, барин, масон, долгие годы проживавший в Париже. Е. Ф. Комаровский, в будущем генерал-адъютант, любимец Александра и Константина, воплощенная заурядность, а в ту пору — молодой офицер-измайловец, ездивший курьером в Париж, перечислял в своих записках русский аристократический Париж 1780-х гг.: «Княгиня Н. П. Голицына с мужем и со всем семейством, — я у нее несколько раз обедал, — Р. А. Кошелев с женою, В. Н. Зиновьев, А. П. Ермолов, бывший фаворит, и граф Бобринский (сын Екатерины II и

[1] См.: Вольная русская печать в Российской Публичной библиотеке. Пг., 1920. С. VIII; *Семенников В. П.* Указ. соч. С. 213; *Алексеев М. П.* Из истории русских рукописных собраний // Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX веков. Из ленингр. рукописных собраний. М.; Л., 1960. С. 38; Каталог писем и других материалов западноевропейских ученых и писателей XVI—XVIII вв. Из собрания П. П. Дубровского. Л., 1963. С. 11.

Г. Орлова. — *Ю. Л.*)»[1]. Между Ригой и Нарвой Варвара Ивановна заболела, Кошелев уехал в Петербург, а Зиновьев остался с больной. 31 мая Карамзин был уже в Риге, следовательно, встреча его с Зиновьевым произошла до этого числа. Но, согласно ведомости петербургского обер-полицмейстера Рылеева, «из Риги отставного гвардии ротмистра Кошелева жена Варвара Ивановна» прибыла в Петербург «сентября 8 дня 1789»[2]. По данным дневника Зиновьева, около месяца пришлось задержаться в Нарве. Следовательно, «за Дерптом» Зиновьев провел с больной женщиной около двух месяцев. Если учесть, что Зиновьев был родственником Воронцовых (С. Р. Воронцов доводился ему свояком) и был, несмотря на разницу возраста, в тесной дружбе с братьями, то естественно предположить, что встреча была предусмотрена еще в Петербурге.

А им было о чем поговорить на темы, о которых лучше было не уведомлять посторонних.

Литературный двойник беседовал с З** о плохих дорогах, Карамзин и Зиновьев имели более важные темы для разговоров. Дело было не только в том, что Карамзин отправлялся в Европу, а Зиновьев ее всю изъездил, и даже не в том, что оба они приходились друзьями А. М. Кутузову, на свидание к которому Карамзин спешил. Они были людьми одного круга и сходных интересов. Как и Карамзин, Зиновьев пережил сближение с масонством и сейчас был охвачен сомнениями. Кроме того, хорошо осведомленный в политической жизни Европы, Зиновьев, как свидетельствует его путевой дневник, был полон серьезных раздумий о будущем России.

В тот год, когда Карамзин родился, Зиновьев одиннадцатилетним мальчиком был послан в Лейпцигский университет учиться. Он был самым юным среди товарищей: Радищева, Кутузова, Ушакова и других. В Лейпциге молодые люди читали и обсуждали Гельвеция, Руссо, Мабли. Ко времени отъезда Радищева и Кутузова из Лейпцига Зиновьеву исполнилось шестнадцать, и, вероятно, в первую очередь именно к нему относятся слова Радищева в «Житии Федора Васильевича Ушакова»: «Дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна»[3]. Однако вряд ли в этом возрасте его увлечение энциклопедистами и материалистической философией могло быть глубоким. Тем более что жизнь, казалось бы, готовила ему поприще отнюдь не философское: двоюродный брат фаворита Г. Орлова, он мог рассчитывать на быструю придворную карьеру и пустую и беспечальную жизнь «случайного человека», как называли в XVIII в. фаворитов и их родню.

Жизнь готовила ему иное.

Сестра Зиновьева Екатерина, фрейлина Екатерины II, беззаботная хохотушка, которой Екатерина II в шутливой записке сулила «смерть от смеха»[4], сделалась жертвой придворных нравов. По словам кн. Щербатова в трактате

---

[1] *Комаровский Е. Ф.* Записки... СПб., 1914. С. 10.

[2] ЦГАДА. Госархив XVI, № 534 1а. Л. 102.

[3] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 163.

[4] *Екатерина II, имп.* Сочинения... на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина. СПб., 1907. Т. 12. С. 658.

«О повреждении нравов в России», Г. Орлов «тринадцатилетнюю двоюродную сестру свою Екатерину Николаевну З<иновьеву>[1], иссильничал, и, хотя после на ней женился, но не прикрыл тем порок свой, ибо уже всенародно оказал свое деяние, и в самой женитьбе нарушал все священные и гражданские законы»[2]. Слова о нарушении «священных законов» имеют серьезный смысл: православная церковь не признает браков между двоюродными родственниками. Орлов венчался летом 1776 г. Брак этот вызвал скандал. Синод принес императрице официальную жалобу, и дело разбиралось в Совете. Однако подоплека дела была не морально-религиозная, а придворно-политическая: «случай» Орлова кончился, на царскосельском небосклоне взошла звезда Потемкина. Одновременно произошел резкий конфликт Орлова с Екатериной. Об этом рассказывает анонимный его биограф: «Когда ее величество Зиновьеву, бывшую при дворе фрейлиной, за ее непозволительное и обнаруженное с графом обращение при отъезде двора в Сарское Село с собою взять не позволила, то граф был сим до крайности огорчен и весьма в том досадовал. Так, что однажды при восставшей с императрицею распре отважился он выговорить в жару непростительно грубые слова, когда она настояла, чтобы Зиновьева с нею не ехала: „Чорт тебя бери совсем“»[3].

Члены Совета, мстя павшему временщику, требовали развода супругов и церковного покаяния для обоих. Екатерина разрешила им выехать за границу, где Екатерина Орлова умерла. Ее похоронили в Лозанне.

Смерть сестры так подействовала на Зиновьева, что он круто переменил стиль жизни, удалился от света и погрузился в поиски тайны жизни и смерти. Он уехал за границу и вскоре вступил в масонскую ложу.

Зиновьев был хорошо принят при прусском дворе, и его орденские связи вначале были прусскими. В масоны его принимал сам герцог Брауншвейгский, бывший в то время великим мастером всего европейского Востока. Однако вскоре дух политического интриганства и темное шарлатанство, господствовавшие здесь, его оттолкнули: он переехал в Лион, где сблизился с тем, кто сам себя именовал Неизвестным Философом и по имени кого Новикова и его друзей прозвали «мартинистами» — с Луи-Клодом де Сен-Мартеном. В «Письмах русского путешественника» сказано, что З** едет из Италии, но обойдено молчанием, что это путешествие он совершил в обществе не кого иного, как именно Сен-Мартена. Более того: он стал за это время ближайшим другом и доверенным собеседником Неизвестного Философа. Это не могло не заинтересовать Карамзина. Ведь это был тот самый Сен-Мартен, книга которого «О заблуждении и истине, или Воззвание человеческого рода ко

---

[1] В списке, по которому трактат был опубликован Герценом, фамилия Зиновьевой дана без сокращения. См.: *Щербатов М. М.* О повреждении нравов в России. Лондон, 1858 (в конволют с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева). С. 82.

[2] *Щербатов М. М.* Соч. СПб., 1898. Т. 2. Стб. 229.

[3] Анекдоты жизни князя Григория Григорьевича Орлова // ЛОИИ АН. Архив Воронцовых. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 756/362. Л. 30 об.—31. Существует немецкое издание этой рукописи: Anekdoten zur Lebensgeschichte der Fürsten Gregorius Gregoriewitsch Orlow. Frankfurt; Leipzig, 1791.

всеобщему началу знания», изданная «иждивением Типографической компании» в типографии И. В. Лопухина в 1785 г., была настольным сочинением всего кружка московских мартинистов, а в 1786 г., в самом начале преследований, была изъята по требованию церковных властей. И конечно, Карамзин и Петров были ее внимательными читателями.

Попытаемся реконструировать гипотетическое содержание разговора Карамзина с Зиновьевым. Прежде всего, речь, вероятно, зашла о Сен-Мартене. А Неизвестный Философ переживал в этот период крутую и весьма любопытную для Карамзина ломку взглядов. Если в книге «О заблуждении и истине» (французский текст опубликован в 1775 г.) он категорически осуждал любой бунт против властей и считал, что воля Провидения говорит с народами устами властей, то в «Письмах к другу» (1795), в шуточной «поэме» «Крокодил, или Война Добра и Зла в царствование Людовика XV» (1792) он утверждал, что Революция — это меч Провидения, обрушивающийся на нечестивые правительства, своекорыстно задерживающие движение народов к совершенству. В одном из итоговых своих произведений, опубликованном лишь в 1961 г., «Мой портрет», Сен-Мартен писал: «Все наши преимущества, все наши доходы должны быть плодами наших трудов и талантов; и наша Революция, разрушив богатства, приближает нас к естественному и истинному состоянию, заставляя стольких людей пускать в ход их способности и умения»[1].

Во время путешествия с Зиновьевым по Италии Сен-Мартен находился в процессе перестройки своих воззрений. Особенно же могло заинтересовать Карамзина то, что именно в этот момент Неизвестный Философ, авторитет которого среди его сторонников был так же велик, как авторитет Вольтера в противоположном лагере, почувствовал необходимость резко сменить свое окружение: он порвал с лионскими масонами, тяготился масонскими связями вообще и явно обратил свои взоры к России, в бурном движении которой он усматривал очевидный перст Провидения. Исследователи Сен-Мартена не обратили внимание на явное стремление его в этот период окружить себя русскими. В дневниковой книге «Мой портрет» Сен-Мартен писал: «Кашелов (конечно, Кошелев. — *Ю. Л.*), князь Репнин, Зиновьев, графиня Разумоски (Разумовская. — *Ю. Л.*), другая княгиня, о которой мне говорил Д. в одном из своих писем (вел. кн. Мария Федоровна, жена Павла Петровича, в будущем императора. — *Ю. Л.*), двое Голицыных, господин Машков, господин Скавронский, посол в Неаполе, господин Воронцов, посол в Лондоне — таковы главные русские, которых я знал лично, исключая князя Репнина, с которым я был знаком лишь по пере-

[1] *Saint-Martin L.-Cl.* Mon Portrait historique et philosophique / Ed. Juillard, publié par R. Amadou. Paris, 1961. P. 303. Об отношении Сен-Мартена к революции см.: *Chagrin N.* Le citoyen Louis-Claude de Saint-Martin, théosophe-révolutionnaire // Dix-huitiéme siécle. 1975. N 6; *Sekrecka M.* Louis-Caude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, l'homme et l'oeuvre. Wroclaw, 1968; *idem.* La nouvelle vision de la Révolution dans l'oeuvre de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu // La littérature des Lumiéres en France et en Pologne. Acta Universitatis Wratislaviensis, N 339. Warszawa; Wroclaw, 1975.

писке»[1]. Машков — первый секретарь русского посольства в Париже, с которым Карамзин сблизится во время пребывания в столице Франции, о близости Карамзина к С. Р. Воронцову речь пойдет в дальнейшем[2].

Зиновьев был настроен критически по отношению к берлинским связям московских масонов и, видимо, советовал Карамзину не заезжать в столицу Пруссии, а ехать через Вену. Вероятно, так следует понимать слова в тексте «Писем» о том, что он «стращал» путешественника плохими «песчаными Прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу на Вену».

Однако разговор естественно должен был коснуться и другого вопроса: Карамзин выехал из Москвы поклонником Англии и собирался провести там много времени. Зиновьев был знатоком английской жизни и хорошо изучил разные ее стороны. И сейчас он, после поездки по Италии, заехал в Англию, где способствовал сближению своего друга и родственника С. Р. Воронцова с Сен-Мартеном.

Что мог рассказать Зиновьев Карамзину, можно реконструировать на основании дневника, в котором он изложил итоги своих мыслей о различиях в путях России и Европы. Дневник Зиновьева (в форме писем Воронцову) сохранился в копии в архиве «Русской старины», однако опубликован он с купюрами. Поэтому обратимся к архивному тексту:

«Гантгет 16/27 июля 1786-го г.

Обещал тебе сказать о желании моем видеть мануфактуры в нашем отечестве и несколько дней назад, быв в Шефильде, я очень сожалел, что туда наше железо привозят, оное там обрабатывают, обратно к нам присылают и с нас вдесятеро, а может и более, за самое то же железо берут; но теперь я, по некоторым рассуждениям, которые мне представились, совсем иного об оном мнения, и именно, что в нашем отечестве, в его теперешнем положении совсем иной главный предмет быть должен, нежели мануфактуры или торговля. Забудем сие и следуй, пожалуй, порядку моих мыслей. Итак, я скажу тебе, что бы ты со мной предпринял, что мы в колонию приехали на пустынный остров; я спрошу тебя: о чем будет состоять наше первое попечение на нашем пустынном острове с нашею колониею? Без всякого сомнения, мы примем меры завести хлебопашество и будем стараться приискать лучшие средства для умножения оного[3]. Вот, любезный мой, положение нашего отечества, и оно в рассуждении сего совершенно на предположенный мной

---

[1] *Saint-Martin. L.-C. de.* Mon Portrait historique et philosophique (1789—1803). Paris, 1961. P. 129.

[2] Об отношении Карамзина и Воронцовых см.: *Лотман Ю. М.* Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг.: К генезису ист. концепции Карамзина // XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе, конец XVIII — начало XIX в. Л., 1981. С. 102—131.

[3] Нельзя не отметить, что способ мышления, построенный на «робинзонаде» и общий для большинства просветителей XVIII в., заставляет здесь Зиновьева текстуально приблизиться к Радищеву: «Представим себе мысленно, мужей, пришедших в пустыню, для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую злаком землю» (*Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 314).

остров походит». Из этого Зиновьев делал вывод о том, что «первый по сему предмет нашего правительства я поставляю, чтобы оно устремляло всю свою власть поощрять и размножать хлебопашество». А для этого «все меры правительство должно взять, чтобы <...> сделать учреждение, которое бы препятствовало помещикам употреблять во зло их власть и быть губителями и тиранами их подданных». Далее Зиновьев настаивал на облегчении рекрутской повинности и улучшении условий содержания солдат, что позволит, сократив армию, улучшить положение крестьян.

Из политических вопросов Зиновьева более всего волновала необходимость твердых, непременных и ясных законов, то есть конституционного порядка. Отсутствие их порождает, подчеркивает он, в России состояние беззакония: «Тебе известно, что у нас тьма законов, между которыми немалое число противоречащих, что, напр<имер>, гражданина судят часто по морским или военным уставам, что законы ни судье, ни преступнику, ни большей части публики, ни самим стряпчим секретарям очень часто неизвестны и что они чрез беспорядок как бы находятся в закрытии и, по моему мнению, некоторым образом, на инквизицию походят»[1].

Зиновьев — ненавистник деспотизма; стоит ему увидеть, что «во дворце Harwood одна из зал украшена бюстами Карракалы, Коммода, Гомера и Фаустина», как он разражается тирадой: «Есть ли тут какой-нибудь смысл, видеть в Англии двух чудовищ рода человеческого и делать ими украшение великолепной комнаты! Досадно! До крайности досадно! Что я с бюстами сих тиранов и оным подобными сделал бы — писать здесь длинно (сказывается опыт: запись сделана в Англии, в городе Лидсе, обращена к другу и единомышленнику С. Р. Воронцову, хранится в интимных бумагах — а все же осторожность не мешает! — *Ю. Л.*); но не лучше ли было бы вместо двух сих possédés[2] поставить бюст л<орда> Чатама и достойного его сына В. Питта, а вместо Гомера и Фаустина — Мильтона и королевы Елизаветы?»[3]

Но приверженность к конституционности английского типа и сознание, что Россия находится в начальной стадии своего развития, не наносит ущерба патриотическим чувствам Зиновьева, писавшего в итоге рассуждений о необходимости ограничить крепостное право: «Я нахожу весьма сходным состояние нашего государства с пустым островом; но обесчестив, так сказать, свое отечество сим сравнением, быв гражданином оного и далеким о<т> сожалений об оном, — напротив, по своей воле ни за что не соглашусь оное на другое переменить»[4].

Можно предположить, что размышления Зиновьева встретили сочувствие Карамзина: по крайней мере, даже краткие заметки о Лифляндии свидетельствуют о внимании к участи крестьян.

---

[1] РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 1. № 21. Л. 108 об. — 110 об.
[2] Одержимых (*фр.*).
[3] РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 1. № 21. Л. 114.
[4] Там же. Л. 110.

Среда, с которой Карамзин, видимо, соприкоснулся перед началом путешествия, внимательно следила за положением крестьян в Прибалтике, поскольку видела здесь модель рабства в чистом виде: разноплеменность прибалтийского «рыцарства» и крестьян — эстонцев и латышей, с одной стороны, и эффективность использования рабского труда, с другой, являли собой как бы модель крепостничества как такового. А. Р. Воронцов еще в 1784 г., когда он в составе сенатской комиссии был командирован в Лифляндию для расследований обстоятельств крестьянского бунта, повлекшего кровавые жертвы, непосредственно наблюдал крестьян в Прибалтике. Архивы Воронцовых в Ленинграде и генерал-губернатора Рижского и Ревельского Броуна в Тарту хранят переписку, исполненную сведений об этом[1]. Возможно, под влиянием прибалтийских впечатлений Воронцова вопрос этот заинтересовал и Радищева. В «Памятнике дактилохореическому витязю» Радищев писал, что Простаковы переселились в Прибалтику. «Итак, известные лютым своим обхождением с крепостными своими в одном углу Российского пространного государства, жили как добрые люди в другом углу и, сравнивая обряды новые, которым они учились у своих соседей, с обрядами тех мест, где они жили, они находили (по мнению своему), что они оглашены в жестокостях несправедливо»[2].

Карамзин так охарактеризовал положение крестьян в Прибалтике: «Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на леность и называют их сонливыми людьми, которые по воле без принуждения[3] ничего не сделают: и так надобно, чтобы их принуждали, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии, или в Эстляндии, приносит господину вчетверо более нашего Казанского или Симбирского» (с. 9 и 395—396). В русском тексте Карамзин называет прибалтийских крестьян «бедные люди, *работающие господеви со страхом и трепетом* во всем будничные дни» (с. 9). Эта фраза — переделка стиха из второго псалма: «Работайте господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом» — в авторизованном немецком переводе была, явно самим Карамзиным, высказана неприкрыто: «работающие <...> из нужды и по принуждению».

Конечно, можно было бы спросить: каким образом Карамзин успел получить эти сведения, если, как это следует из «Писем», между Нарвой и Ригой у него не было остановок? Когда у него успело сложиться то отрицательное отношение к Ливонии, о котором сообщал Кутузову Багрянский:

---

[1] См.: Государственный исторический архив ЭССР (далее — ЦГИА ЭССР), Тарту. Ф. 291. № 1322 («О полках, командированных в Лифляндию»). См. также: *Дебюк Е. Ф.* Крестьянское движение в Лифляндии во второй половине XVIII в. // Ист. зап. 1942. № 13. С. 175—206; *Thransehe-Roseneck.* Gutsherr und Bauer in XVII und XVIII. J. Strasburg, 1890. S. 189.

[2] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 203.

[3] Цит. по второму изданию «Московского журнала» и «Писем русского путешественника» (в первом издании того и другого было «понуждения»). Начиная с 1803 г. Карамзин вообще снял слова «без принуждения» (с. 397).

«Бедную Лифляндию он [Карамзин] третирует до последней степени. Ее надо проехать, говорит он, зажмурив глаза»?[1]

Ответом на эти вопросы будет резонное предположение, что в Дерпте Карамзин задержался. Для этого были основания. В Москве, как мы уже отмечали, Карамзин длительное время жил в одном доме с Якобом Ленцем. Исследователь жизни Ленца М. Н. Розанов, анализируя текст «Писем», пришел к убедительному выводу, «что Карамзин слышал из уст Ленца много рассказов об его жизни. Ему известны и лифляндские его родственные связи, и дружба с Виландом и Гёте, и то, что Ленц подружился с Гёте в Страсбурге, и то, что он жил при веймарском дворе; известны и интимные дела его сердца»[2]. Надо иметь в виду, что разговоры с Ленцем производили на Карамзина глубокое впечатление. Если мы застаем его широко и не по-книжному, а как-то лично, «по-домашнему» осведомленным в немецкой литературной жизни, свободно ориентирующимся в оттенках мнений и программ, то тут, кроме гениальной легкости усвоения, составлявшей черту таланта Карамзина, чувствуются и многие беседы с живым участником литературного процесса. Именно пламенный и полусумасшедший Ленц был способен перенести под крышу дома Типографической компании дыхание штюрмерства и атмосферу уже откипевших для веймарских советников горячих споров их юности.

В какой мере произведения Ленца — не те, без упоминания которых не обходится ни одна солидная история немецкой литературы, а мелкие и мельчайшие, мало известные современникам и забытые историками, — были на памяти Карамзина, свидетельствуют две детали. Первая: в письме из Риги, помеченном «31 маия 1789», он упоминает «Поэму шестнадцатилетнего Л**» (с. 9). Эта написанная в 1769 г. поэма «Народные бедствия» была в 1780-е гг. уже забыта даже на родине поэта. Вторая: в 1792 г. скончался А. А. Петров, и Карамзин посвятил его памяти прочувствованную элегию в прозе «Цветок на гроб моего Агатона». Однако исследователи не заметили, что заглавие произведения — перекличка с затерянным на страницах провинциального немецкого журнала «Для читателей и читательниц», выходившего в Митаве, надгробным словом, которое Ленц посвятил своему другу барону Фитингофу, «Нечто о Филотасе. Фиалка на его гроб» (скрытая смысловая игра: имя Филотаса отсылает к одноименной драме Лессинга, а Агатона — к роману Виланда «История Агатона»).

Когда Карамзин покидал Москву, Ленц направил в Дерпт брату письмо с просьбой: «Если проедет господин Карамзин, то окажи мне дружбу, дорогой мой, и постарайся сделать ему, насколько возможно, пребывание совершенно приятным. Он особенно любит немецкий язык; говорит и пишет на нем, как природный немец»[3]. Вряд ли будет слишком смело предположить, что и Карамзин получил рекомендательное письмо для вручения брату Ленца. Для

---

[1] *Бирсков Я. Л.* Указ. соч. С. 86. (Оригинал на фр. яз.)

[2] *Розанов М. Н.* Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц, его жизнь и произведения: Критич. исслед. М., 1901. С. 486.

[3] Там же. С. 487.

встречи была специальная причина: больной и одинокий Ленц в Москве страшно бедствовал. Через несколько лет он умер буквально под забором — труп был утром найден на улице. Между тем брат его Фридрих-Давид был человеком хорошо обеспеченным, и напомнить ему о горестной участи несчастного «бурного гения» было бы естественным для московских друзей Ленца. Проехать же через Дерпт и даже не попытаться встретиться с Фридрихом-Давидом было бы со стороны Карамзина более чем странно.

В «Письмах» по этому поводу встречаем лишь лаконичную фразу: «Здесь-то живет брат нещастного Л***. Он главный Пастор, всеми любим, и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата?» (с. 9). Последнюю фразу можно истолковать, зная карамзинскую манеру всячески избегать прямых осуждений кого бы то ни было, как утверждение, что брат *забыл* Ленца. При таком истолковании можно предположить, что Карамзин виделся в Дерпте с Фридрихом-Давидом, но не добился успеха в своей миссии[1].

Ленц был другом Гёте, Шиллера, Виланда и Лафатера, одним из «бурных гениев», потрясших немецкую литературу в конце XVIII в. Но он же был уроженцем Лифляндии, юные годы его прошли в Тарту, а последние дни — в Москве. Своей судьбой он как бы связывал тот мир, который Карамзин покинул, и тот, в который он стремился.

Наконец и Лифляндия осталась за спиной — русский путешественник вступил на земли Германии. Мы вправе сказать «*на земли* Германии». Мы прекрасно помним, что Германии как единого политического тела в конце XVIII в. не существовало — политической реальностью были многочисленные королевства, княжества и герцогства. Однако немецкая литература и немецкая философия уже сделались фактом европейской культуры именно как нечто единое. И именно это царство — царство Мысли в первую очередь интересовало Карамзина. К встрече он был хорошо подготовлен.

В Петербурге Карамзин, надо полагать, запасся рекомендательными письмами и адресами, которые могли пригодиться за границей юному путешественнику. Но гораздо более важный пропуск он подготовил себе еще в Москве. Пропуск этот был — широкое знание текущей европейской литературы, та глубокая внутренняя культура, которая делала его *понимающим собеседником* мыслителей разных направлений и открывала перед ним двери ученых кабинетов, мастерские художников и рабочие комнаты писателей. Чехов занес в записную книжку пословицу: «Умный любит учиться, дурак учить». Любить учиться не только признак ума — это признак культуры. Именно потому, что Карамзин еще до поездки был уже на уровне современной ему европейской культуры, он готов был учиться. Он ехал свободным от догм и предубеждений, открытым для новых мыслей и впечатлений.

---

[1] Косвенным свидетельством встречи Карамзина в Дерпте с Фридрихом-Давидом Ленцем являются весьма точные сведения, сообщаемые им об эстонском языке (см.: *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. С. 614). Фридрих-Давид Ленц, который был первым лектором эстонского языка в университете и считался в свое время его знатоком, мог быть для Карамзина источником сведений в этом вопросе.

Отправляясь в путешествие, Карамзин сравнивал себя с Дон Кихотом и называл «рыцарем веселого образа». Действительно, в отличие от ламанчского рыцаря, он был молод, здоров и весел. Но и у него была своя Дульцинея. Она называлась вера в человека, его доброе сердце и высокий Разум. Он ехал на свидание со своей Дульцинеей.

В Германии у Канта

В том, что свое интеллектуальное путешествие Карамзин начал именно с Канта, был глубокий смысл. Конечно, здесь играли роль и географические обстоятельства. Но и для художественной композиции книги, и для идеологической «композиции» реального путешествия такое начало было знаменательно. В конце концов, можно было отправиться, как советовал Зиновьев, в Вену. Да и вообще, какой бы он ни избрал путь, Кенигсберг, скорее всего, лежал у него в стороне, а не на дороге. Но для того, чтобы рассуждать о том, что было «по пути», надо представить себе этот «путь», то есть восстановить маршрут, сложившийся в голове путешественника в начале его «вояжа». Как мы увидим, обстоятельства, которых Карамзин не мог предполагать в Москве, внесли в его планы существенные коррективы. Об этом речь пойдет в дальнейшем. Но ведь и маршрут — дело производное. Определяется он задачей, которую ставит перед собой путешественник. Какую же цель имел Карамзин, какую задачу он перед собой ставил? И вот у читателя, задумывающегося над этим, возникает впечатление, что цели-то определенной и не было, что вместо осознанной задачи было любопытство, то есть чувство поверхностное и довольно праздное. Попробуем разобраться...

Отступление о праздном любопытстве

«...Да скажите пожалуйте, как вы к нам заехали?»

— Из любопытства, сударыня.

«Надобно, чтобы вы были очень любопытны». (За две мили от Дрездена 10 июля, 1789.)

«...Желание видеть вас привело меня в Веймар, — сказал я. „Это не стоило труда!“ — отвечал он с холодным видом и с такою ужимкою, которой я совсем не ожидал от Виланда» (Июля 21. 1789).

Надо думать, что выслушивать подобные вопросы и встречать такой прием Карамзину доводилось довольно часто. Д. Д. Благой заключает: «Карамзин без всяких церемоний являлся к тому или другому прославленному европейскому культурному деятелю и, настойчиво преодолевая подчас имев-

шееся противодействие, как это было в случае с Виландом, добивался знакомства и бесед с ним»[1].

Создается образ настойчивого, но не очень вдумчивого и неразборчивого в средствах собирателя впечатлений. Приходят на память сегодняшние коллекционеры автографов. Нечто неприятно-туристическое начинает мелькать для современного читателя в образе карамзинского путешественника. И когда тот же Д. Д. Благой пишет про Карамзина (он не отличает его от литературного героя «Писем»): «Своим путешествием он продолжал давнюю традицию, начатую еще нашими путешественниками петровского времени»[2], мы вправе не согласиться с ученым автором. Путешественник Петровской эпохи, посланный за границу «железной волею Петра» и часто мечтавший лишь о том, чтобы возвратиться в родную семью, от которой он был насильно оторван, был служилым человеком на государевой и государственной службе. Он искал не впечатлений, а пользы, знания его интересовали практические, а праздное любопытство он почитал убытком казенному интересу. Петровский путешественник получал инструкцию вроде той, которую царь своей рукой написал 24 января 1715 г. Конону Зотову: «Все, что ко флоту надлежит, на море и в портах, сыскать книги, также, чего нет в книгах, но чинится от обычая, то помнить и все перевести на славянский язык нашим штилем, а за штилем их не гнаться»[3].

Но и сменивший петровского путешественника молодой «российский парижанец» второй половины XVIII в. мало походил на карамзинского путешественника: он спешил в Париж, чтобы за зеленым сукном Пале-Рояля и в объятиях «нимф радости» растратить оброк калужских или ярославских крестьян. У него была ясная цель — Париж, и всякую задержку в пути он почел бы досадной потерей времени.

Карамзинского путешественника можно было бы назвать отдаленным предшественником современных туристов. Но и это сопоставление режет глаз неточностью. Чтобы разобраться, видимо, прежде всего надо понять цель, которую имел в виду Карамзин, отправляясь в реальное путешествие.

Некоторые московские друзья Карамзина планов отправиться в путешествие не одобряли. Кутузов был убежден, что сосредоточенное самонаблюдение, требующее пребывания на месте, — лучшая форма воспитания души и разума. С этой точки зрения, «вояж» Карамзина был делом «щегольским» и легкомысленным. Плещеевы, со своей стороны, боялись, что чувствительный молодой человек, «сын и друг», как его называла Настасья Ивановна, развратится и что «проклятые чужие краи» сделают из него «совсем другого»[4].

Легкомысленным выглядело путешествие Карамзина, если мерить его мерками учено-образовательных поездок, которые предпринимали стремящиеся к наукам молодые люди. В этом случае молодой человек поступал в

---

[1] *Благой Д. Д.* История русской литературы XVIII века. М., 1945. С. 391.

[2] Там же. С. 390.

[3] *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1. С. 157.

[4] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 2.

какой-либо прославленный университет или записывался слушать курсы лекций у каких-либо известных ученых. Так, например, в это самое время два пенсионера новиковского кружка: Невзоров и Колокольников — изучали медицину в Страсбургском университете. Когда юный Павел Строганов со своим воспитателем, математиком и философом, а в будущем знаменитым якобинцем, Жильбером Роммом, осенью 1786 г. приехал в Женеву, он начал немедленно брать приватные уроки истории у престарелого Верне и записался на курсы химии и физики, к которым вскоре прибавилась астрономия. Карамзин, если верить «Письмам», провел в Женеве длительное время, но никаких сведений о его систематических ученых занятиях у нас нет.

И все же то, что мы знаем об итогах путешествия и о его роли в быстрой эволюции писателя в последующие годы, противоречит тому облику поверхностного наблюдателя, который возникал в сознании современников и которому, в определенной мере, способствовал текст «Писем». Но тут же следует отметить одну важную особенность этого произведения Карамзина: писатель не фотографирует действительность, а творчески ее переосмысляет, группирует фигуры, подмалевывает декорации и — вдруг — как бы невзначай отводит уголок этой декорации, позволяя внимательному оку взглянуть за нее и увидеть не стилизованные, а подлинные события. Так, прощаясь с Гердером, он сказал: «Дух ваш <...> известен мне по вашим творениям; но мне хотелось иметь ваш образ в душе моей, и для того я пришел к вам — теперь видел вас, и доволен» (с. 75).

Здесь приоткрывается интересная и необычная особенность «легкомысленного» вояжера: при каждой из встреч его со знаменитыми деятелями культуры выясняется, что путешественник уже предварительно прочел все важнейшие сочинения этого автора и теперь хочет дополнить знание его идей впечатлением от его личности. Не говоря уж о том, что такой замысел требовал колоссальной предварительной подготовки (достаточно хотя бы составить перечень книг, знакомство с которыми обнаруживает путешественник, беседуя с их авторами, чтобы понять: четыре года в доме Типографической компании были потрачены не только на составление статей о кофе и табаке для «Детского чтения»), он обнаруживает последовательный и весьма оригинально осуществленный принцип: оценивать теории и системы в связи с оценкой личности их авторов.

На этом принципе следует задержаться.

Потребность «посмотреть в глаза» писателя, «который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям» (с. 75), имеет глубокий смысл. Блок однажды написал: «Конечно, и Достоевский, и Андреев, и Сологуб — по-одному — русские сатирики, разоблачители общественных пороков и язв; но по-другому-то, и по самому главному, — храни нас господь от их разрушительного смеха, от их иронии; все они очень несходны между собою, во многом — прямо враждебны. Но представьте себе, что они сошлись в одной комнате, без посторонних свидетелей; посмотрят друг на друга, засмеются и станут заодно... А мы-то слушаем, мы-то верим»[1].

[1] *Блок А. А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 348.

Недоверие и вера не случайно имеют общий корень: там, где нет веры, не может возникнуть и недоверие, боязнь того, что вера окажется обманутой, доверие — поруганным. Вера — безоговорочное вручение себя в чью-то власть, и с ней органически связано желание понять: в чью власть я себя вручаю?

Петровские реформы резко изменили строй русской культуры. Но чем резче бросаются в глаза внешние перемены, тем порой глубже неизменность скрытого ядра. В русской средневековой культуре высшим авторитетом было боговдохновенное слово. Оно выражалось в текстах, святость которых ставила их истинность вне сомнения и обеспечивала церковной культуре иерархически высшее место в духовной жизни общества. Реформы Петра секуляризовали культуру. Церковь потеряла монополию духовного авторитета. Однако именно в вихре всеобщих перемен обнаружилась устойчивая черта русской культуры: изменилось все, но авторитет Слова не был поколеблен. По-прежнему на вершине духовной жизни стояло Слово. Это привело к совершенно неизвестному в Европе авторитету словесного искусства — литературы.

В Европе литература числилась в ряду свободных искусств и, подобно им, составляла род ремесла. Начиная с Ренессанса искусный поэт, как и искусный художник, предлагал свои услуги «потентату», менял меценатов в зависимости от выгод, которые ему сулило пребывание при том или ином дворе. На хранящейся в Эрмитаже картине Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» капризный тиран развалился на троне, вельможа Меценат с брезгливой гримасой показывает ему на угодливо расположившихся у подножья его престола живопись, музыку и др. в образах придворных дам, склонившихся в глубоких реверансах. А над всей группой возвышается Гомер — грязный и ободранный слепой старик с мальчиком-поводырем. Оба они также выражают позами готовность развлекать цезаря своим искусством.

Конечно, было и искусство бунтарское, приводящее на эшафот. Искусство, как и наука, имело своих мучеников. Но противопоставление поэзии как высокого занятия другим видам художественной деятельности Европе неизвестно. Между тем именно это было характерно для послепетровской культуры России. Если занятия живописью, музыкой, архитектурой или ваянием в России XVIII — начала XIX в. осознаются как профессии и ремесла и в этом качестве передаются или наемным иностранцам, или выученным ими крепостным интеллигентам, то поэзия — не ремесло, а призвание, не профессия, а дар свыше. Она становится на освободившееся место божественного Слова. Высший общественный авторитет передается Слову человеческому.

С этим связано то преувеличенное значение, которое придается в русской культуре XVIII — начала XIX в. поэтическому Слову. Утверждение, что поэт — пророк истины, а поэзия — язык богов, бывшее в западной культурной традиции чаще всего стершейся метафорой, которой придавали не больше реального значения, чем «амурам», «стрелам любви» или «богиням красоты», в России воспринималось буквально.

Но представление о том, что поэзия — не профессия, не источник существования, не игра или забава, а миссия, ко многому обязывало. За

высокий авторитет надо было дорого платить. В средние века вместилищем, «сосудом божественного Слова», мог быть не всякий — только строгая, святая жизнь, вплоть до мученичества, давала право на боговдохновенное Слово. В новой, полностью мирской, человеческой культуре XVIII — начала XIX в. это представление о том, что право на Слово покупается столь высокой ценой, сохранилось.

В западной культурной традиции XVIII в. текст мыслился как отделенный от автора. Враги упрекали Вольтера во многих человеческих слабостях, смешных, а иногда и жалких поступках, но это не вредило ни его славе, ни его высокой общественной роли единоборца с предрассудками. Жизнь Вольтера воспринималась как легкая интермедия, которая дается в промежутках между сценами высокой трагедии его гения. Недоброжелатели могли бросить Руссо упрек в том, что он, автор глубоких и темпераментно изложенных педагогических идей, отдавал своих детей в воспитательные дома и никогда не интересовался их дальнейшей судьбой. Но читатель «Эмиля» никогда не отбрасывал книги со словами: «Не верьте этому человеку: он проповедует одно, а делает другое!»

Между тем по отношению к русскому писателю вопрос «како живеши?» был неотделим от «како веруеши?».

Рылеев в итоговой думе «Державин», посвященной роли поэта, писал:

О так! нет выше ничего
Предназначения Поэта:
Святая правда — долг его;
Предмет — полезным быть для света.
Служитель избранный Творца,
Не должен быть ничем он связан;
Святой, высокий сан Певца
Он делом оправдать обязан.

Ему неведом низкий страх;
На смерть с презрением взирает,
И доблесть в молодых сердцах
Стихом правдивым зажигает.

То, что поэт должен «делом оправдать» свою миссию, что он «на смерть с презрением взирает», — цена, которую он платит за право «глаголом жечь сердца людей». «Зри, что может слово», — писал Радищев, но тотчас же добавлял: «Но се слово мужа тверда». И это справедливо не только для писателей-революционеров: и Гоголь, и Лев Толстой не сомневаются, что только соответствие Слова и Жизни делает их достойными их миссии и читательского доверия. Пушкин выходит на дуэль потому, что убежден: «Имя мое принадлежит России».

Поэтому, только посмотрев в лицо того, кому доверено Слово, узнав Человека, можно поверить Поэту.

Карамзин отправился в путешествие, чтобы заглянуть в лицо европейской культуры. Его интересовали не знаменитости. Он не был туристом, спешащим увидеть неизвестное. Ему надо было увидеть хорошо известное, поверить впечатления от книг личным знакомством так же, как он поверял хорошо

изученные по книгам и описаниям пейзажи и исторические памятники непосредственными впечатлениями. Отправляясь в путь, он уже *знал* Европу. Надо было выяснить, можно ли ей *верить*.

Но у Карамзина была и более непосредственная цель. Когда он стучался в дверь столь неприветливо принявшего его вначале Виланда, он не просто был уже внимательным читателем его произведений. Своего лучшего друга он в честь героя романа Виланда именовал Агатоном. А сам этот Агатон-Петров в письмах к Карамзину, подразумевая «Историю абдеритов» Виланда, уподоблял весь мир виландовской Абдере — царству дураков. Когда Петров поступил секретарем к некоему сенатору, то Карамзину он писал: «Абдеритской мой сенатор был некогда крайне обижен, и с горя частенько попивает» (с. 507). А сообщая о скупости и лицемерии одного из масонских «братьев», который «почитался за философа», он, по собственным словам, «восклицает»: «О проклятыя лягушки! зачем выгнали вы абдеритов из их гнезда и заставили рассеяться по всему свету!» (с. 508). (В финале «Истории абдеритов» Виланда жители города дураков, абдериты, изгнанные из родного города войной мышей и лягушек, расселяются по свету.)

И вот в этой книге Карамзин прочел строки, глубоко его взволновавшие. Виланд описывает свидание двух философов: Демокрита и Гиппократа, встретившихся в стране дураков: «Их взаимное удовольствие от этой неожиданной встречи было достойно величия их обоих, и Демокрит выражал его тем более оживленно, что в своем уединении он уже давно был лишен возможности общения с человеком, близким ему по духу».

Существует род людей, «которые без всякого договора между собой, без орденских отличий, не будучи связанными ни ложей, ни клятвами, составляют своеобразное *братство*, объединенное прочней, чем какой-нибудь орден в мире». Если встречающиеся два члена братства мудрых, «один — с Востока, другой — с Запада, впервые видят друг друга», они «сразу становятся друзьями. И не благодаря какой-нибудь тайной симпатии[1], существующей, вероятно, лишь в романах, и не потому, что их связывают принесенные ими обеты». «Их сообщество не нуждается в том, чтобы отделить себя от непосвященных всякими таинственными церемониями и устрашающими обрядами». «Их дружба не требует времени, чтобы укрепиться, она не нуждается в испытаниях. Она основывается на самом необходимом из всех законов природы — на необходимости любить себя в том человеке, который духовно ближе всего к нам самим»[2].

Карамзин, видимо, затвердил это место наизусть. По крайней мере, в 1803 г. он, конечно, не по книге процитировал его в своей повести «Рыцарь нашего времени», сказав о своем герое: «...долго сердце его не отвыкнет от милой склонности наслаждаться собою в другом сердце»[3].

---

[1] Симпатия — здесь: мистическое влечение, таинственно связывающее членов одного ордена, «посвященных».

[2] *Виланд К. М.* История абдеритов. М., 1978. С. 75—76.

[3] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 246.

Особенно же должна была привлечь внимание Карамзина мысль о тайном союзе мудрецов: число их «во все времена было очень невелико», но «несмотря на *незаметность* их сообщества, они оказывают влияние на ход вещей во всем мире, и следствия этого влияния прочны и устойчивы, потому что совершаются без всякого шума и достигаются средствами, внешние проявления которых вводят в заблуждение профанов»[1].

Можно представить, с каким чувством читали это рассуждение Карамзин и Петров в мансарде московского «масонского» дома. Прежде всего, их должна была поразить острая насмешка над масонскими ложами и их тщетной таинственностью. А затем внимание их, конечно, привлекла мысль о том, что писатели всего мира составляют братство, дружно работающее на пользу человечества. И не моральные сочинения и таинственные обряды, а создания художественного вкуса и таланта, «внешние проявления которых вводят в заблуждение профанов», исподволь исправляют человечество.

Идея братства людей культуры, республики философов в XVIII в. носилась в воздухе. Об этом писали и Клопшток, и Лессинг. Однако для Карамзина было важно, что сходные идеи высказывал и Э. Рамзей, имя которого Карамзин носил в дружеском кругу именно потому, что был увлечен утопической картиной такого союза. Позже Карамзин в письме, посвященном парижской Академии, писал, варьируя мысль Виланда: «Я всегда готов плакать от сердечного удовольствия, видя, как Науки соединяют людей, живущих на севере и юге; как они, без личного знакомства, любят, уважают друг друга. Что ни говорят Мизософы, а Науки святое дело!» (с. 259)[2].

Понятно, с каким чувством вступал Карамзин на порог дома Виланда и как был поражен, когда автор «Истории абдеритов» не встретил его как Демокрит Гиппократа, а облил ушатом светской холодности.

Итак, в то время, когда литературный путешественник удовлетворял свое любопытство лицезреть знаменитых современников, Карамзин был занят мыслями значительно более важными и намерениями более серьезными. С этими мыслями и намерениями он вступил на крыльцо Канта.

Один из авторитетных исследователей литературы XVIII в. так оценил этот визит: «Он [Карамзин] считает своим непременным долгом посетить, проезжая через Кенигсберг, того же Канта, которого он даже называет, с чужих слов, „всесокрушающий Кант", но кантовская философия ему трудна и непонятна»[3]. Однако исследователь, сделавший этот вопрос предметом специального рассмотрения, приходит к другим выводам. Ганс Роте убедительно показывает, что Карамзин был хорошо подготовлен для кенигсберг-

---

[1] *Виланд К. М.* Указ. соч. С. 76.

[2] Мизософ — противник наук, здесь Руссо (ср. «Нечто о науках, искусствах и просвещении»). Показательно, что здесь Карамзин, споря с Мизософом-Руссо, отсылает читателей к Виланду: «Я не знаю, кто более имеет причин любить и защищать свое отечество, сын Софронисков или какой-нибудь Абдерит» (*Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 391).

[3] *Благой Д. Д.* Указ. соч. С. 392.

ского свидания. Роте напоминает, что Ленц, которого он однажды в своей работе даже именует «ментором» Карамзина, был в 1769—1770 гг. учеником Канта. Он считает не подлежащим сомнению, что Ленц познакомил Карамзина с сочинением Канта «Грезы духовидца, объясненные грезами метафизика» (1766)[1]. Этот памфлет, направленный против Сведенборга, был не только манифестом чистого эмпиризма, но и произведением, которое, едко высмеивая самое возможность мистического опыта, было весьма актуально для молодого адепта розенкрейцеров. Роте отмечает, что письма Карамзина к Лафатеру позволяют утверждать, что еще до путешествия он читал «Иерусалим» Мендельсона (знакомство его с «Федоном, или Бессмертием души», печатавшимся в «Утреннем свете» в переводе А. М. Кутузова, бесспорно) и, следовательно, был в курсе философской полемики Канта и его автора. К этому можно было бы добавить, что вопрос, с которым обратился Карамзин к Лафатеру в письме 20 апреля 1787 г.: «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они из совершенно различных стихий?» (с. 468) — именно тот, который ставил Кант в «Грезах духовидца», выводя из него отрицание всякого телесного общения с духами. «Связь между духом и телом непонятна; основания этой непознаваемости неопровержимы»[2]. Собранный Роте материал показывает, что интерес к Канту не ослабевал у Карамзина и в дальнейшем.

Попытка реконструкции разговора Карамзина с Кантом должна включать три вопроса:

— что Карамзин мог читать из сочинений кенигсбергского философа к тому времени, когда переступил порог его дома?

— о чем Карамзин мог спрашивать Канта?

— с какой целью он наносил ему визит?

Для ответа на первый вопрос у нас есть следующие основания. В «Письмах» сказано: «Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал». Далее следует «Критика практического разума» и «Метафизика нравов». Последнее — конечно, «Основы метафизики нравов», вышедшие в Риге в 1785 г.: работа под заглавием «Метафизика нравов» была опубликована Кантом позже, лишь в 1797 г.

Указание на то, что́ Карамзин из произведений Канта в 1789 г. *еще не читал*, можно рассматривать как косвенное свидетельство того, что другие сновные работы философа из числа опубликованных к этому времени были ему известны. По крайней мере, «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1764), «Критику чистого разума» (1781) и «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» (1783) Кант не стал записывать на бумажке юному москвитянину. Вероятно, он убедился, что эти произведения ему в какой-то мере известны.

---

[1] *Rothe H.* N. M. Karamzins europäische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Philologische Untersuchung. Bad Homburg; Berlin; Zürich, 1968. S. 70.

[2] *Фишер К.* Иммануил Кант и его учение // История новой философии. СПб., 1910. Т. 4. С. 289.

Считать, что Карамзин переступил порог Канта любопытным скифом, лишь понаслышке судящим о философии хозяина дома, видимо, нет оснований.

Однако к данным, свидетельствующим о знакомстве Карамзина с сочинениями Канта еще в Москве, следует сделать одну коррективу: общее отношение к философии Канта в московском окружении Карамзина было безусловно отрицательным. Конечно, Ленц был некогда учеником Канта, но в дальнейшем он сделался ярым его противником. В кругах же московских мистиков философия Канта встречала безусловное осуждение[1]. Можно полагать, что идея обратиться за решением философских проблем к «южному магу» Лафатеру была подсказана Карамзину его наставниками отчасти с целью отвратить молодого адепта от скептической философии. По крайней мере, «Утренний свет» еще в 1780 г., используя цитаты из Бэкона, выступал против «скептицизма»: «Из всех скептиков несноснее были те, кои не соглашались полагаться на верность чувств. Ибо кого мы в свидетели примем на место оных?»[2] Тем более нетерпимо было скептическое сомнение в таинствах потустороннего мира и в бессмертии души. Между тем накануне путешествия Карамзин был настроен в этих вопросах весьма скептически. Он ужаснул Плещееву, сказав ей: «Я вас вечно буду любить, ежели душа моя бессмертна». Настасья Ивановна в ужасе писала Кутузову: «Вообразите ж, каково, ежели он в том сомневается! Это „ежели" меня с ума сводит!»[3]

В полемике с Кантом Мендельсон и Лафатер пользовались безусловными симпатиями московских «братьев». И хотя ни тот ни другой не были масонами, их философия играла важную роль в масонских теориях, которым скептицизм Канта наносил сильнейшие удары.

Лафатер и сам однажды побывал в России и через своих швейцарских корреспондентов (пастора Бруннера, многочисленных учителей-швейцарцев) поддерживал связи с культурными кругами Москвы. Вспомним, с каким пиететом И. П. Тургенев писал Лафатеру: «Мне чрезвычайно лестно быть поводом ваших выгодных суждений о всей русской нации, нации, которая достойна во многих отношениях привлечь внимание столь чтимого мужа, как вы. Русские и вправду начинают чувствовать то высокое призвание, для которого создан человек. Они близятся к великой цели — быть людьми»[4]. Если к этому прибавить, что Лафатер был в тесной связи с вюртембергским двором, с родителями Марии Федоровны, что во время путешествия «графа Северного» вел. кн. Павел Петрович нанес ему визит и был потрясен физиогномическими откровениями швейцарского философа, то станет понятно направление его авторитета в

---

[1] Утверждение Г. Роте, что Шварц читал лекции о Канте, основано на недоразумении, неточном чтении источника.

[2] Утренний свет. 1780. Июнь. С. 148.

[3] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 2.

[4] *Dickenmann.* Ein Brief Johann Turgenevs an Kaspar Lavater // Festschrift für Dmytro Čyževśkyj. Zum 60 Geburtstag. Berlin, 1954. S. 100. Оригинал письма по-немецки.

России[1]. Таким образом, посещение Канта как *первый пункт* европейского путешествия не было нейтральным жестом — данью туристическим страстям. Кант и Лафатер как бы замыкали две границы философского пространства эпохи. И одновременно, представляя две тенденции — критическую философию и мистический энтузиазм, допускающий творение чудес и общение с душами, — кенигсбергский философ и цюрихский физиогномист принадлежали все же одной эпохе — великой эпохе немецкой культуры между Лессингом и Гегелем. Карамзин остро чувствовал не только противоположность, но и единство их как современников — людей эпохи брожения умов и философских поисков.

И тут проявилась характерная черта позиции Карамзина — результат необычной даже для блестящих умов зрелости в раннем возрасте. Карамзин хотел выслушать обоих и не подчинить себя ни одной из точек зрения. Он не торопился встать в ряды каких бы то ни было приверженцев. Он выше всего ценил независимость мысли.

В «Письма» он ввел эпизод, литературное происхождение которого не вызывает сомнений: в Мейсене, в почтовой карете, путешественник сделался участником философского спора. Собеседник его, «прагский студент», — сторонник Канта и оппонент Мендельсона и Лафатера. Сам путешественник отвечает ему цитатой из письма Лафатера, «случайно» оказавшегося у него с собою. Можно только изумляться, с какой точностью Карамзин, якобы понаслышке знавший Канта, смог выразить мысли обоих философов, построив своеобразный спор-диалог. А в том месте, где надо было какой-либо стороне отдать пальму первенства, он по-стерниански оборвал эпизод: «Прагской <студент>, который сидел подле меня, тотчас вступил со мною в разговор — о чем, думаете вы? Непосредственно о Мендельзоновом Федоне, о душе и теле. „Федон, сказал он, есть может быть самое *остроумнейшее* философическое сочинение; однакожь все доказательства бессмертия нашего основывает Автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых Философов!“ — Надобно искать его в сердце, сказал я. — „О! государь мой! возразил Студент: *сердечное* уверение не есть еще *философическое* уверение; оно не надежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, а доказательства на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечныя, необходимыя истины. Сего-то уверения ищет Метафизик в уединенных сенях, во мраке ночи, при слабом свете лампады, забывая сон и отдохновение. — Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа

[1] См.: *Heier E.* Das Lavaterbild im Russland des 18. Jahrhunderts // Kirche im Osten. Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde, Göttingen, 1977. Bd 20; *Strahlmann B.* Johann Kaspar Lavater und die «Nordischen Herrschaften» // Oldenburger Lahrbuch. 1959. Bd 58. Teil 1. Марии Федоровне Лафатер присылал целый трактат в письмах о состоянии души после смерти. См.: Johann Kaspar Lavater's Briefe an die Kaiserin Maria Feodorowna, Gemahlin Kaiser Pauls I von Russland, über den Zustand der Seele nach dem Tode. St.-Ptb., 1858.

сама в себе, то нам все бы открылось; но" — — — Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал Студенту следующее:

„Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах[1]. Чувство бытия, личность, душа — все сие существует единственно по тому, что вне нас существует, — по феноменам или явлениям, которые до нас касаются". — „Прекрасно! сказал Студент, — прекрасно! Но естьли думает он, что" — Тут коляска остановилась; Шафнер отворил дверцы и сказал: „Госпожи и господа! извольте обедать"» (с. 57).

Нельзя не отметить безукоризненность русских эквивалентов для основных понятий Канта: «понятия чистого разума», вещь «сама в себе». Что касается отрывка из письма Лафатера, то Карамзин, переживший бурное увлечение Шекспиром, почувствовал здесь, вероятно, цитату:

> Ведь даже красоту свою познать
> Мы можем, лишь увидев отраженной
> В глазах других. И даже самый глаз
> Не может, несмотря на совершенство
> Строенья, видеть самого себя...
> ...Ведь и познанье не в самом себе,
> А в том, что познает, черпает силу[2].

На стороне Канта — «чистый разум», на стороне Лафатера — поэзия и авторитет Шекспира. Конфликт не решается, а снимается выходкой в духе Стерна.

Теперь нам сделалось яснее, зачем явился Карамзин к Канту. Естественно предположить, что одной из первых тем их разговора был Лафатер. Это тем более вероятно, что если московский путешественник носил в кармане (или, что вероятнее, в своей памяти) письма Лафатера, то Кант в это время обдумывал трактат «Антропология с прагматической точки зрения», где, в связи с физиогномикой, Лафатеру уделялось немало внимания. Текст «Писем» позволяет полагать, что Карамзин прямо спросил Канта о его отношении к философии Лафатера. Ответ в «Письмах» выглядит так: «Он знает Лафатера и переписывался с ним. „Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, говорит он: но имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит Магнетизму и пр."» (с. 21). В «Антропологии» Кант выразился резко и определенно, назвав физиогномику Лафатера «бывшим долгое время очень популярным» «дешевым товаром». «От нее ничего не осталось». Нет оснований думать, что Кант не выразил своих взглядов с такой же определенностью в устной беседе. Это существенно для того, чтобы понимать, что, когда литературный путешественник сентиментально бросался в объятия Лафатеру, его автор уже нес в себе заряд критики. Так объясняются и

---

[1] В журнальной редакции Карамзин привел здесь немецкий текст: «Unser Ich siehet sich nur im Du» (с. 415).

[2] *Шекспир У.* Троил и Крессида / Пер. Т. Гнедич // Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 5. С. 401.

иронические интонации, которые нет-нет да и проглянут в характеристике цюрихского «мага».

Но тут же выступает еще одна сторона дела: убеждение скептика Карамзина в относительности теорий дополняется верой в безусловность человеческой доброты. Это качество подчеркнуто и в Канте, и в Лафатере.

Разговор о Лафатере должен был связаться с верой в сверхъестественное: эта проблема интересовала и Карамзина, и Канта. Карамзину важно было получить поддержку в своих сомнениях, которые он, видимо, собирался изложить в Берлине Кутузову. Кант же был раздражен цензурой и препонами для критической мысли, насаждавшимися тем самым Вёльнером, которого философ знал как прусского министра, а Карамзин — как друга и покровителя московских розенкрейцеров. Кант, который еще в 1766 г. в письме Мендельсону называл мистику «мнимой наукой с ее столь отвратительной плодовитостью»[1], в «Антропологии» специально оговаривал, что чтение книг не может быть причиной безумия, оно не в силах «расстроить душу», «если только она уже до этого не была извращена и потому пристрастилась к мистическим книгам и к откровениям, которые выходят за пределы здравого человеческого рассудка. Сюда же относится и склонность заниматься чтением книг, содержащих благочестивые назидания»[2].

У этого вопроса был еще один поворот, который не мог не волновать Карамзина: атмосфера, в которой Карамзин жил в Москве, была пронизана духом авторитета и подчинения авторитету. Власть нравственных требований и интеллектуального руководства наставника для ученика была безусловной. Поэзия подчинения своей воли — воле, разлитой в таинственной иерархии ордена, была выражена безымянным масоном, который после приостановки деятельности масонов горько жаловался в одном рукописном сборнике: «Скорбит сердце мое, видя, сколь тягостно без сей священной цепи, без сей подчиненности»[3]. Весь же пафос философии Канта был в праве человека на духовную и интеллектуальную самостоятельность. В 1784 г., отвечая на вопрос одного журнала: «Что такое просвещение?», он писал: «Имей мужество пользоваться *собственным* умом! — таков <...> девиз Просвещения». «Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою <...> то мне нечего и утруждать себя»[4].

Мыслить собственным умом — это было именно то, ради чего Карамзин порвал с друзьями и наставниками и отправился в путешествие. И утверждение, что ни наставник, ни книга не заменят собственного опыта и размышления, также соответствовало его умонастроениям.

Наконец, судя по «Письмам», разговор перешел в область этики и коснулся того, что более всего интересовало Карамзина, — деятельности. Можно только удивляться умению Канта затронуть именно то, что наиболее волно-

---

[1] *Кант И.* Трактаты и письма. М., 1980. С. 515.
[2] *Кант И.* Соч. Т. 6. С. 459.
[3] РО ИРЛИ. Альбом Ланского. Шифр 1880/XXV, О. С. 159.
[4] *Кант И.* Соч. Т. 6. С. 27.

вало его русского собеседника, а Карамзина — ясно и кратко резюмировать мысли своего собеседника.

Карамзин вышел из дома Канта, видимо, полагая, что философская траектория его путешествия завершится в домике Лафатера в Цюрихе. История распорядилась иначе: диалог с критической философией был продолжен в зале заседания Национальной ассамблеи в Париже.

Дорога...

Путешествие по Германии, по крайней мере до Лейпцига и Веймара, видимо, протекало по плану, разработанному еще в Москве. Вернее, по планам, поскольку, вероятно, их было несколько, не полностью между собой совпадавших. Можно предположить, что встреча с Кутузовым была предметом разговоров как в кругу новиковских друзей и наставников Карамзина, так и в семье Плещеевых. Планы посещения Канта и Виланда должны были обсуждаться с Петровым, Веймар же не мог не стать предметом бесед с Ленцем. Насколько можно судить, на этом отрезке пути описание путешествия близко к реальному.

В Берлине путешественник посетил Николаи, Рамлера, Морица, то есть деятелей умеренного бюргерского Просвещения. Сочинения их ему были хорошо известны, и он занял по отношению к ним довольно независимую позицию. Уже то, что он полностью обошел масонские круги Берлина (а в этом, располагая данными перлюстрации масонской переписки, не приходится сомневаться), было демонстративным шагом. Тем более значимы контакты с кругом, который в это время вел войну на два фронта: с одной стороны, против иезуитов, а с другой — против их противников масонов. Однако в кругу этих «просветителей» ему бросилась в глаза узость, нетерпимость к чужим мнениям и догматизм. На этом фоне еще резче оттенялась терпимость и широта взглядов Канта.

Из Берлина путешественник отправился в Саксонию: посещение ученых заведений — университета и книжных лавок — Лейпцига и художественных сокровищ Дрездена, конечно, входило в обдуманный в Москве план.

Следующим этапом, также продуманным, был Веймар. Карамзин заранее обдумал список лиц, которых он хотел повидать. Это Виланд, Гердер и Гёте. В Веймаре Карамзин не случайно сразу же вспомнил о Ленце: предромантическая культура Германии была ему хорошо знакома. Он тонко оценил зависимость «Вертера» от Руссо, знал драмы Шиллера. Однако показательно, что Гёте стоит у него на третьем месте и что никакой настойчивости в попытке встретиться с автором «Вертера» он не проявил. Он ограничился

тем, что мельком увидел Гёте с улицы в окне. За время пребывания в Германии путешественник не сделал также никаких попыток встретиться с Шиллером. Зато к Виланду он почти вломился и, несмотря на более чем холодный прием, добился повторного свидания и откровенного разговора. Проявил он настойчивость и домогаясь встречи с Гердером. Это не было результатом неосведомленности или провинциальности вкусов: насколько тонко понимал Карамзин логику творческого развития Гёте, свидетельствует, что уже в 1789 г. он чутко отметил едва обозначившийся поворот Гёте от штюрмерства к винкельмановскому классицизму. В авторе «Вертера» он разглядел «дух древних греков», а о мелькнувшем в окне профиле сказал: «Важное греческое лицо!»

И все же философская проблематика Гердера и скептицизм Виланда ему были ближе.

Веймар был поворотным пунктом маршрута. Здесь следовало окончательно решить, ехать ли в Вену, откуда открывались пути в Италию, Швейцарию и южную Францию, или во Франкфурт-на-Майне, куда звал Карамзина Кутузов и откуда открывались две дороги: в Швейцарию или в Париж. Решение было принято бесповоротно. Достаточно сопоставить месяцы, проведенные Карамзиным в Женеве или Париже, и всего два дня в Веймаре, чтобы понять, какое нетерпение им владело. Он был охвачен горячкой путешествия, его влекла дорога — это стало потом наследственной болезнью русских писателей: Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Толстого...

Рамзей и Велокс

Когда Шварц привез из Вильгельмсбадена розенкрейцерство, избранные члены московского кружка, допущенные в розенкрейцерскую степень, получили тайные масонские имена: Новиков стал Коловион, Лопухин — Филус, Тургенев — Вегетус. По иронии судьбы медлительный и меланхолический Кутузов получил имя Велокс — по-латыни «быстрый».

Кутузову в жизни не везло. Человек большой и широкой эрудиции (даже тупой московский главнокомандующий Прозоровский был поражен его ученостью), он не оставил значительных сочинений; верный друг, человек единственной, трогательной и неразделенной любви, он всю жизнь грелся у чужих огней. Его господствующим настроением была грусть, а самопожертвование — естественным движением души. В истории русской культуры он занимает видное место в биографиях Радищева и Новикова, Карамзина и фельдмаршала Кутузова, но собственной биографии как бы не имеет.

Он прожил одинокую жизнь и умер бездомным и безвестным узником в долговой тюрьме, куда попал за чужие долги, отдав все, что имел, другому.

В июне 1789 г., когда Карамзин подъезжал к Берлину, Кутузов находился за границей. Уже несколько лет как он был послан московскими «братьями» в Берлин затем, чтобы выяснить, наконец, в чем состоят «тайные знания», которыми их манил Вёльнер, и в чем состоят гораздо более реальные тайные финансовые махинации Шрёдера. Трудно было найти менее подходящую кандидатуру. Можно предположить, что жребий пал на Кутузова не только из-за его прекрасного знания немецкого языка (он свободно владел несколькими новыми и древними языками), но и потому, что никто не хотел браться за это хлопотное и неприятное поручение: Новиков был связан издательскими делами, Лопухин служил, все были обременены семьями и житейскими заботами. Кутузов не был далек от истины, когда позже с горечью писал, что его принесли в жертву. К этому можно лишь добавить, что и сам он себя с готовностью всегда предлагал на роль жертвы. И, как часто с ним бывало, Кутузов оставлял свое подлинное дело — перо писателя и философа — ради деятельности, в которой никак не мог надеяться на успех. Когда-то он, не имея ни склонностей, ни природных данных для военной службы, поступил в пикинерский полк М. И. Кутузова, чтобы быть ближе к той, в которую был безнадежно влюблен. Теперь он считал долгом дружбы отправиться в Берлин. Между тем доверчивый, энтузиастический, жаждущий дружеских привязанностей и совершенно неспособный разбираться в хитросплетениях интриг и коварства Кутузов не был способен распутать ни политические сети Вёльнера, ни финансовые аферы Шрёдера. Он ехал, чтобы погибнуть.

Даже по тексту «Писем», несмотря на то, что и как подозреваемый по делу Радищева, и как член новиковского кружка Кутузов был вдвойне подозрителен для властей и всякое упоминание о нем в печати было рискованным, видно, что свидание с ним составляло одну из важных целей «вояжа» Карамзина.

Подъезжая к Берлину, он видит его во сне: «Я так ясно представил себе любезного А*, идущего ко мне на встречу с трубкою и кричащего: *кого вижу? брат Рамзей в Берлине?*» (с. 32), боится с ним разъехаться, цитирует его письма к себе. То, что перед нами не литературный вымысел, выясняется из сопоставления с документами. Плещеева писала Кутузову в марте 1791 г. о Карамзине: «Сердце его так хорошо, что не может притворяться. Он ехал с горестию оттого, что расстается с нами. Лучшие разговоры при отъезде были те, как он вас увидит; одним словом, все составляло его удовольствие, — мы, а потом — вы. Совестно[1] вам скажу, он более здесь ничего не оставлял; прочие его друзья так называемые, как скоро он им сказал, что он едет, то явным образом его возненавидели»[2]. Свидетельство очень важное. Из него вытекает, что Карамзину важно было встретиться с Кутузовым, но что встреча эта не была каким-либо конфиденциальным поручением от

[1] То есть «по совести», «искренне».

[2] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 108.

«братьев». С ними Карамзин уже порвал и доверие их утратил. Зато Петров был в курсе его планов и спрашивал в сентябре 1789 г.: «Я весьма любопытен знать, виделся ли ты с А. М. [Кутузовым]?» (с. 509).

Встретился ли Карамзин с Кутузовым во время своего путешествия? Текст «Писем» на этот вопрос отвечает категорически: нет! Карамзин подробно сообщает читателю, что в Берлине он с огорчением узнал, что Кутузов накануне покинул столицу Пруссии: «Я бросился на стул и готов был заплакать» (с. 33). В Лейпциге, согласно «Письмам», путешественник окончательно узнал, что свидание с «любезным другом» не может состояться. И все же есть достаточные основания сомневаться в этом категорическом утверждении.

Если внимательно рассмотреть несколько дошедших до нас писем, которыми обменялись Кутузов и Карамзин и Кутузов и Плещеевы в ноябре — декабре 1790 г., то нельзя не изумиться странности их содержания. Прежде всего, еще до возвращения Карамзина из-за границы Кутузов, который якобы там с ним не встречался, каким-то образом знает о намерении своего молодого друга издавать журнал. Плещеева пишет Кутузову 10 ноября 1790 г.: «Предвидели вы и то, что журнал он выдавать станет»[1]. Обычно считается, что причиной разрыва, окончательно разрушившего связи Карамзина с масонами, было объявление в «Московских ведомостях» о выходе «Московского журнала», задевавшее масонские издания ироническим отзывом. Таким образом, получалось, что Карамзин первым бросил перчатку своим бывшим наставникам. Однако, хотя отзывы московских «братьев» на газетное объявление и первые номера журнала действительно были очень враждебными, нападки их на Карамзина начались раньше, — как только сделалось известным его намерение издавать журнал. Создается впечатление, что сама идея подобного предприятия их не на шутку испугала. В. В. Виноградов имел основание писать: «Больше всего масоны боялись появления „Писем русского путешественника“, описания заграничной поездки Карамзина»[2]. Что же их могло испугать?

Следует иметь в виду, что слово «журнал» имело в XVIII в. два значения: им обозначали периодическое издание, журнал в современном смысле этого слова, и дневник (от французского le jour — день). Таким образом, первые же слухи об издании журнала, видимо, были восприняты как свидетельство намерения опубликовать путевые записки. И вот тут начинаются странности. Кутузов пишет Карамзину 17/28 декабря 1790 г., опасаясь публикации «журнала»: «Впрочем, опасно связываться с вашею братиею, авторами, тотчас попадешь в лабет[3]. Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки; что ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистью»[4].

Сразу же возникает вопрос: как мог Карамзин, описывая свое заграничное путешествие, «искусною кистью» изобразить недостатки Кутузова, *если они*

---

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 29.

[2] *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 285.

[3] Лабет — карточный проигрыш; «попасть в лабет» — «попасть в дураки».

[4] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 55.

не встречались? И второй вопрос: все, что мы знаем о Кутузове, говорит, что он менее всего опасался обличения своих личных недостатков: покаянная исповедь — обычное содержание его писем и главный тон его переводов и сочинений. Видимо, он боялся чего-то другого, на что многозначительно намекнул в английской приписке к этому же письму: «There are four good Mothers, of whom are often born four unhappy Daughters, Truth begets Hatred, Happiness Pride, Security Danger, and Familiarity Contempt. Прости, любезный друг, ожидаю с нетерпением, что ты мне скажешь».

Поскольку почт-директор И. Пестель — организатор перлюстрации писем в России — не владел английским языком, для него в «черном кабинете» был сделан перевод: «Четыре хорошие матери производят на свет часто четырех несчастных дочерей; истина нарождает ненависть, счастье — спесь, беспечность — опасность и вольность обхождения — презрение».

Со своей стороны, Карамзин письмом Кутузову также задал нам загадку. Текст его письма более чем странен. Он пишет: «О себе могу сказать только то, что мне скоро минет уже двадцать пять лет и что в то время, как мы с вами расстались, не было мне и двадцати двух»[1]. Кутузов не понял смысла этого письма: «Признаюсь, что восемь начертанных тобою строк суть для меня истинная загадка. Сколько ни ломаю мою голову, не могу добраться до истинного смысла»[2]. Смысл же карамзинских строк мог быть только один — предупреждение не забывать, что *за границей они не встречались* и что их последнее свидание произошло *до* отъезда Кутузова в Берлин. Напоминать об этом в момент, когда над кружком Новикова начали сгущаться тучи и Прозоровский повторял, по словам И. В. Лопухина, «ложные заключения», «что Карамзин ученик Новикова и на его иждивении послан был в чужие краи, мартинист и проч.»[3], надо было бы лишь в том случае, если бы на самом деле *встреча имела место*. И Карамзин должен был намекнуть Кутузову, что в условиях очевидной перлюстрации он не может сказать яснее: «В речах моих, любезнейший брат, не умышленная неясность»[4]. Намеки на заграничную встречу содержатся и в других письмах. Так, И. В. Лопухину 3/14 декабря Кутузов пишет: «Скажи, где Багрянский и Карамзин. Сии путешественники, по возвращении их, совсем умолкли»[5]. Значит, *до* возвращения они «не умолкали», и Кутузов имел о них сведения. Из контекста может создаться впечатление, что это были эпистолярные известия, однако перед нами — сознательная маскировка факта: о Багрянском Кутузов знал не из писем — они вместе ездили в Париж (а до этого проделали совместный путь через всю Европу). Случайно ли Багрянский и Карамзин поставлены рядом? Постараемся дальше подкрепить предположение, что здесь Кутузов именует *двух своих парижских спутников*. Наконец, в письме Плещеевой, обсуждая причины «вояжа» Карамзина, Кутузов пишет: «Хотя сказанное в

---

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 30.
[2] Там же. С. 55.
[3] Там же. С. 89.
[4] Там же. С. 110.
[5] Там же. С. 48.

прежнем вашем письме и было несколько темно, однако ж соображая со словами, вырвавшимися, так сказать, у общего нашего приятеля, догадывался я о предполагаемой вами причине его поездки»[1]. Но все письма Карамзина из Москвы Кутузову перлюстрировались, и с них снимались копии, которые до нас полностью дошли. Следовательно, содержание московских писем 1790—1791 гг. Карамзина Кутузову нам известно. Никаких «вырвавшихся слов» в них не содержится. Видимо, и здесь Кутузов имеет в виду что-то сказанное Карамзиным в устной беседе.

Итак, анализ писем Кутузова и к Кутузову позволяет предположить, что встреча его с Карамзиным за границей состоялась. Но чтобы это предположение сделалось более вероятным, необходимо проанализировать, во-первых, где и при каких обстоятельствах они могли встретиться и, во-вторых, почему и Кутузов, и Карамзин так тщательно это скрывали.

Как мы уже отмечали, Карамзин буквально горел желанием разыскать Кутузова. Зачем? Вспомним, что он совсем недавно разочаровался в масонстве и масонах и порвал с ними. Кутузова он любил искренне и не мог не видеть его жертвенной роли и уже явной к 1789 г. опасности его положения. Вероятно, он мог надеяться увлечь Кутузова своим примером, оторвать от берлинских «братьев» и ближе ознакомить его с опасной ситуацией, сложившейся в России за время его отсутствия. В эти планы, бесспорно, была посвящена и им сочувствовала Плещеева, стремившаяся в письмах воздействовать на Кутузова в том же духе. Интересно, что, видимо, до самого ареста, со своих позиций, стремился воздействовать на Кутузова и Радищев, у которого шла длительная философская переписка со старым другом.

Однако Карамзин Кутузова в Берлине не застал. Из Берлина Карамзин направился в Дрезден и Лейпциг. Это могло означать, что дальнейшее движение мыслилось на Вену, откуда открывался путь в южную Европу: Италию и средиземноморское побережье Франции. Есть основания полагать, что первоначальный план включал именно такой путь: Швейцария, Италия, южная Франция — и лишь потом Париж, в котором Карамзин, видимо, не собирался задерживаться, и — одна из главных целей — Лондон. То, что, уезжая из Петербурга, Карамзин запасся векселями на имя голландских банкиров, заставляет полагать, что в какой-то из вариантов плана путешествия входила и Голландия. Такой план гипотетически реконструируется по ряду мелких деталей. И если намерение посетить Италию проблематично, то часть маршрута: Вена — Швейцария — южная Франция (Карамзина, видимо, особенно привлекал Воклюз, связанный с именем Петрарки) и затем уж Париж — подтверждается рядом намеков в тексте «Писем».

Но в Лейпциге планы путешествия неожиданно переменились: Карамзин получил письма от Кутузова. В «Письмах» по этому поводу читаем: «Ныне получил я вдруг два письма от А*, которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель, и хочет, чтобы я дождался его в Мангейме или в Стразбурге; но мне

---

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 58.

никак не льзя исполнить его желания» (с. 69). Отрывок этот явно вставлен, чтобы скрыть подлинное положение дел. Но, как это часто бывает в таких случаях, своими неувязками этот текст позволяет выяснить многое именно о том, что он призван скрыть. Прежде всего возникает вопрос: если Карамзин собирался из Берлина во Франкфурт-на-Майне, где он якобы рассчитывал встретиться с Кутузовым, то нельзя не признать, что он избрал не самый прямой путь, отправившись в Саксонию. «Письма» выходят из этого затруднения, представив поездку в Лейпциг как экспромтом принятое и для самого путешественника неожиданное решение, результат берлинской тоски: «Что же делать? спросил я сам у себя. <...> Минуты две искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей; в третью нашел его — сказал: *поедем далее!*» (с. 49). Однако если принять эту версию, то делается непонятным, каким образом Кутузов узнал, что писать Карамзину надо именно в Лейпциг? Приходится предположить, что маршрут Карамзина был Кутузову хорошо известен и что посещение Лейпцига было заранее предусмотрено. А то, что Кутузов не оставил Карамзину письма перед отъездом в Берлине, а прислал его из Франкфурта, позволяет полагать, что предварительно он получил от Карамзина письма из Берлина. Далее: Кутузов якобы просит Карамзина отправиться в Страсбург или Мангейм и там его ждать, чего «никак не льзя исполнить». Однако тут же Карамзин отправляется именно в эти города. Почему встреча все же оказывается невозможной при многократно заявляемом страстном желании свидания и отсутствии у путешественника каких-либо не зависящих от его воли ограничивающих обстоятельств?

Для того, чтобы попытаться рассеять мрак вокруг этого эпизода, необходимо попробовать решить вопрос: чем же была вызвана неожиданная поездка Кутузова во Франкфурт — Страсбург — Париж?

Домосед, мечтатель и философ, Кутузов не был любителем путешествий и не искал новых дорожных впечатлений. В свое время Н. И. Плещеева, осуждая его поездку в Берлин (как и вообще его масонские связи), писала ему, героически преодолевая трудность выразить свою мысль по-русски, — Кутузов был настроен патриотически, не выносил тона светской переписки и даже дамам писал по-русски, вероятно, и их вынуждая к отказу от французского языка: «Как вы спрашиваете, то я жадна отвечать. Вот, что я думаю, цель вашего вояжу была, есть и будет — пустые ваши воображения, которые только могут мысленно существовать, а реализоваться никогда не могут. Я не умела по-русски сказать»[1]. Кутузов отвечал, что к отъезду его вынудили важные причины: «Горы, реки, озера, моря и наипрекраснейшие ландшафты в мире не были и, надеюсь, не будут никогда предметом моего путешествия»[2]. Еще меньше могли соблазнить Кутузова парижские веселости, привлекавшие в столицу Франции легкомысленных путешественников со всей Европы. Видимо, у него были более серьезные основания, чтобы отправиться в путь. Следует заметить, что путешествие это держалось в величайшей тайне, о нем

[1] *Брасков Я. Л.* Указ. соч. С. 28.
[2] Там же. С. 58.

старались не упоминать вообще, ни сам Кутузов, ни его друзья. Поэтому сведения наши об этом эпизоде ничтожны.

Можно предположить, что поездка Кутузова была связана с кризисом масонства в Германии, недовольством в Москве односторонними берлинскими связями и желанием переориентироваться и выйти из-под тягостной опеки Вёльнера. Маршрут его не случаен: он проходит через разные центры оппозиции берлинскому розенкрейцерскому мистицизму и обскурантизму. Видимо, Кутузов пытался завязать связи с «реформаторами», стремившимися усилить гуманистические и просветительские тенденции и ослабить ритуалистику и мистику. Во Франкфурте-на-Майне находилась «ложа „Единение" (Zur Einigkeit), которая ставила своею целью способствовать братскому единению разумных людей на началах нравственности, была чужда всякого властолюбия и не допускала в свою среду никаких искателей приключений и шарлатанов»[1]. Она сделалась одним из инициаторов создания антиберлинского «Эклектического союза». Страсбург, также включенный в маршрут, был резиденцией Сен-Мартена, порвавшего со старыми масонскими связями в Лионе и искавшего новых путей. Наконец, если лионский «Восток» признавал верховное гроссмейстерство герцога Брауншвейгского и берлинскую диктатуру, то Париж был в центре новых социально-утопических и либеральных веяний. Если в ложах берлинских собраний розенкрейцеров сходилась пестрая толпа ищущих таинств мечтателей и самых беспардонных авантюристов, обманщиков и политических интриганов, то парижский «Восток» скорее напоминал клубы вольномыслящих интеллектуалов. Так, когда известный астроном Лаланд основал ложу наук (позже — «Девяти сестер»), то в списках ее оказались Вольтер, Франклин, Кондорсе, Дюпати, Дантон, Камилл Демулен, Кабанис, Сийес, Ромм, академики, художники, скульпторы. Одновременно Фоше и Н. Бонневиль стремились слить масонство с социально-утопическим движением, написав на знаменах девиз — борьба с неравенством и деспотизмом.

Все сказанное позволяет, не рискуя далеко отклониться от истины, предположить цель парижского «вояжа» Кутузова. Это была официальная миссия, санкционированная Новиковым, явно пытавшимся отделаться от тягостных и опасных берлинских связей. Свидетельство тому — что в поездку Кутузов отправился не один, а совместно с М. И. Багрянским, лицом, особо приближенным к Новикову: он единственный из «братьев» добровольно последовал в Шлиссельбургскую крепость за другом и руководителем и, сославшись на то, что он «личный врач», заключил себя в одну камеру с Новиковым на все годы его тюремного сидения. Одновременно он был близким другом и Кутузова, с которым совместно переводил книги. Участие Багрянского в поездке Кутузова потом тщательно скрывалось, и на вопросы следствия он отвечал, что изучал в Париже акушерство.

Но полученные Карамзиным в Лейпциге письма, в том виде, как они им изложены, содержат еще одно неясное место: мы знаем уже, что Кутузов

---

[1] *Перцов В. Н.* Немецкое масонство в XVIII в. // Масонство в его прошлом и настоящем / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. СПб., 1914. Т. 1. С. 104.

ехал в Париж. Франкфурт и Страсбург были лишь промежуточными пунктами. Более чем странно было бы с его стороны приглашать Карамзина дожидаться здесь его возвращения. Гораздо естественнее предположить, что Кутузов звал Карамзина в Париж. Это требовало пересмотра всего плана поездки, и Карамзин, видимо, колебался.

Но тут произошли совершенно непредвиденные события. Приехав во Франкфурт, Карамзин узнал из газет (а также из новых писем Кутузова) о начале Французской революции. Кутузов неожиданно стал в Париже свидетелем штурма Бастилии и массовых народных выступлений середины июля 1789 г. Даже скупое описание первых впечатлений от этих новостей в «Письмах» свидетельствует, что Карамзин понял масштаб событий: он кинулся в городскую библиотеку и потребовал драму Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» — пьесу о революционной политике и революционной морали. Живейший интерес Карамзина к парижским событиям бесспорен: он подтверждается многими фактами. Выяснению подлежит другое: что предпринял Карамзин, получив парижские новости?

Согласно тексту «Писем», Карамзин пересек границу Франции, приехал в Страсбург, но, вдруг свернув с дороги на Париж, отправился в Швейцарию. В тексте «Писем» это решение, по сути, никак не мотивировано. В автореферате «Писем» (в том числе и в их тогда еще не опубликованной части) для журнала «Le Spectateur du Nord» Карамзин попытался увязать противоречивые данные: «Во Франкфурте-на-Майне он (Карамзин пишет о себе в третьем лице. — *Ю. Л.*) узнал о французской революции. Это известие глубоко его взволновало. Он направляется в Эльзас, видит лишь беспорядки, слышит разговоры только о грабежах и убийствах и бежит в Швейцарию, чтобы там дышать воздухом мирной свободы» (с. 452). В соответствии с таким освещением событий, Карамзин усилил краски в изображении страсбургских волнений: в журнальной редакции говорилось, что «уличный шум» доносился в театральную залу. В позднейших обработках он превратился в «шум пьяных бунтовщиков».

Однако, всмотревшись в события, мы, с одной стороны, вспоминаем, что Карамзин совсем не был так труслив и, как мы увидим дальше, часто любопытство будущего историка влекло его в гущу весьма бурных сцен революционной жизни. С другой стороны, мы с удивлением узнаем, что в Страсбурге в период пребывания там Карамзина было довольно спокойно и причин для столь поспешного бегства решительно не было. Так, в Страсбурге именно в это время безо всяких помех учился ряд русских студентов, а осенью 1790 г. приехавшие в этот город учиться медицине два пенсионера Новикова и Лопухина, Колокольников и Невзоров, писали своим покровителям в Москву, что им будет «в теперешних обстоятельствах Франции безопасно. Чужестранцы все, как в здешнем городе, так и во всей Франции, не только никакой, как сказывают, не имеют опасности, но еще особенно обезопашиваются»[1]. Это мог подтвердить Карамзину и Григорий Базиле-

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 37.

вич — в будущем первый клинический профессор из русских, а в это время студент Страсбургского университета, защитивший тут же в 1791 г. диссертацию на степень доктора медицины.

Но самое интересное, что именно с этого момента Карамзин куда-то исчезает минимум на две недели. Если до этого в тексте «Писем» мы имеем дело с точными датами, то далее числа становятся какими-то неопределенными: нередко указан час, но пропущено число. Во многих письмах числа вообще отсутствуют — обозначается лишь место написания. Но важнее другое: в тех случаях, когда мы можем сопоставить литературные даты с реальными, обнаруживается расхождение весьма значительное. Так, в письме, помеченном «Горная деревенька в Pays de Gez, Марта 4, 1790, в полночь», читаем: «Ныне после обеда поехали мы из Женевы» (с. 189). Можно было бы, опираясь на недвусмысленное свидетельство самого Карамзина, полагать, что выехал он из Женевы 4 марта 1790 г. Однако недавно было найдено рекомендательное письмо женевца Кунклера в Париж к Жильберу Ромму, которым Карамзин запасся перед отъездом из Швейцарии (об этом важном документе еще пойдет речь). Под письмом стоит дата 10 марта. Следовательно, 10 марта Карамзин еще был в Женеве. Наконец, в архиве Лафатера сохранилось прощальное письмо Карамзина из Женевы, помеченное 14 марта, в котором Карамзин сообщает, что *завтра* выезжает из Женевы. Предположение, что дело в расхождении русской и западноевропейской датировки (оно в XVIII в. составляло 11 суток), следует отбросить: пока путешественник проезжал русскими землями, письма датировались по принятому в России юлианскому календарю. В Паланге — на границе тогдашней Курляндии и Польши — Карамзин обозначил письмо двойной датой: 3/14. Письмо кончалось: «Завтра будем обедать в Мемеле». Но Мемель помечен уже только по грегорианской, принятой в Европе, системе: 15 июля. В дальнейшем все «европейские» даты помечаются так же. Такое решение Карамзин нашел не сразу: оно четко проведено лишь в книжной публикации. В журнале до Берлина давались двойные даты.

Но хронологические загадки на этом не кончаются. Согласно «Письмам», путешественник прибыл в Париж 2 апреля 1790 г. 4 июня того же года Карамзин написал Дмитриеву письмо из Лондона. Если считать, что путь из французской столицы в английскую занимал минимально около четырех дней[1] (Стерн проделал тот же путь в противоположном направлении за две недели), то путешественник пробыл в Париже около двух месяцев. Однако в упомянутом выше автореферате в немецко-французском журнале, примечательном тем, что он, опубликованный анонимно на французском языке в Гамбурге, позволил автору быть более откровенным, чем в русских изданиях, Карамзин писал: «Проведя *четыре месяца* (курсив мой. — *Ю. Л.*) в Париже (которые ему показались очень короткими), наш путешественник пакует свои

[1] Путь от Парижа до Кале дилижанс проделывал за двое с половиной суток (см.: Etat Général des Postes de France... pour l'année 1788. Paris. P. 124). Поскольку Карамзин заночевал в Кале и Дувре, то в Лондон он, видимо, прибыл на пятые сутки.

чемоданы» (с. 455). Нам еще предстоит попытаться определить место этих «пропавших» двух месяцев в Париже в реальном путешествии Карамзина. Пока отметим лишь: предположив, что Кутузов звал Карамзина не в Страсбург, а в Париж, что Карамзин откликнулся на это предложение и что почтовая карета, в которой сидел русский путешественник, выехала из столицы Эльзаса не через южные ворота по базельской дороге, а через западные по парижской, мы сразу получим ответы на ряд вопросов.

Прежде всего, положительно решается вопрос о встрече Карамзина и Кутузова за границей. Попутно мы получаем еще один ответ. Мы знаем, что в момент отъезда Карамзина из Москвы отношения его с Кутузовым можно было охарактеризовать как самую тесную дружбу. Ко времени его возвращения из вояжа, как это видно из их писем, они превратились в холодно-вежливые со стороны Карамзина и обиженно-насмешливые со стороны Кутузова. Если принять версию, согласно которой они за границей не встречались, время, место и причина ссоры остаются необъяснимыми. При противоположной гипотезе эти вопросы легко находят ответы.

Однако необходимо попытаться дать ответ на другой вопрос: в чем причина такой строгой конспирации? Почему Карамзину надо было столь тщательно скрывать следы своего (первого, как мы увидим) пребывания в Париже и встречи там с Кутузовым?

Приезд Кутузова в Париж, как мы знаем, совпал с первыми бурными днями революции: уличные беспорядки, штурм Бастилии, провозглашение Бальи мэром Парижа, а Лафайета — командующим национальной гвардией, самосуд над Фулоном и Бертье. Если Карамзин действительно отправился из Страсбурга в Париж, то он должен был оказаться там около 10 августа: дорога от одного города до другого в почтовой карете занимала пять дней. К этому времени обстоятельства как будто предвещали мирное превращение Франции в умеренную конституционную монархию. 17 июля король приехал в Париж, отвергнув планы придворной камарильи бежать в Мец и формировать там армию для похода на столицу. В ратуше он был восторженно принят, и Бальи — мэр взбунтовавшегося Парижа — поднес ему трехцветную кокарду, которую король, при взрыве энтузиазма, прикрепил к своей шляпе. 8 августа экстренные выпуски газет сообщили, что в итоге заседания, длившегося всю ночь с 4-го на 5 августа, Национальное собрание отменило все феодальные права и привилегии. Феодализм как юридическое понятие перестал существовать. На заседании царила атмосфера энтузиазма. Современникам казалось, что они присутствуют при великом торжестве Разума над Предрассудками, предсказанном философами XVIII в., при рождении нового мира. По очереди на трибуну поднимались представители привилегированных сословий и торжественно отказывались от своих давних прав, которые они именовали вековыми злоупотреблениями. Виконт де Ноай предложил объявить все особые права феодалов навек утратившими силу. Его поддержали герцог д'Эгийон, герцог дю Шатле, маркиз Кюстин, Монморанси, герцог де Монтемар и другие представители высшей знати. Затем на кафедру взошли князья церкви и в свою очередь сложили все церковные привилегии. Александр де-ла-Мотт призвал к равенству католиков и протестантов. Уже занялось

утро, когда депутат Лалли-Толлиндаль предложил поднести Людовику XVI титул «восстановителя свободы». Сообщая об этом заседании, журналист газеты «Journal de France» восклицал: «Какая разница между нынешним положением дел и тем, что происходило три недели тому назад, в ночь с 14 на 15 июля!» А английский посол Дорсет доносил своему правительству: «С этого момента мы можем рассматривать Францию как свободную страну, короля как монарха, чьи полномочия ограничены законами, а дворянство как низведенное до уровня нации».

6 августа, в тот день, когда Карамзин прогуливался по улицам Страсбурга, депутаты Франции приняли краткое решение: «Национальное собрание полностью отменяет феодальный режим». Начались прения по проекту конституции. Решение 6 августа было опубликовано газетами в тот день, когда Карамзин, согласно нашему предположению, вступил на мостовую Парижа.

Если Карамзин пробыл в Париже хотя бы неделю, то он мог присутствовать 17 августа на знаменитом заседании, на котором Мирабо сделал доклад о декларации прав человека, выработанной Комитетом пяти.

Легко представить себе, как эта атмосфера могла подействовать на Карамзина. Ведь это было именно то «важное соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью», о котором мечтали они с Петровым, надеясь, «что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума (характерное соединение просветительского оптимизма и кантианской терминологии! — *Ю. Л.*), начнут исполнять их в точности»[1].

Однако как ни поразительны были эти события для юного москвича, само присутствие в Париже в это время не представляло собой ничего криминального в глазах петербургского правительства. В Париже в это время находилось много русских, и никакого беспокойства, до определенного момента, русские власти по этому поводу не выказывали. До бегства в Варенн, ареста и последующей казни короля Екатерина II была убеждена в том, что «французский развратный пример» не опасен для ее империи. Беды Людовика XVI, которого она не любила, вызывали у нее скорее злорадство, чем сочувствие, а из внутренних неурядиц и ослабления международной роли Франции она надеялась извлечь военно-политические выгоды. В этом смысле скрывать пребывание в Париже в августе 1789 г. у Карамзина не было никаких оснований.

Совершенно иначе смотрели в Москве и Петербурге 1791—1792 гг. на зарубежные масонские связи. На родине на Карамзина пало подозрение в том, что он ездил и вернулся как масонский эмиссар. Только единодушное свидетельство всех допрошенных, что он ездил вольным вояжером на свой кошт, спасло его от репрессий, хотя и не избавило от подозрений. Кутузов же, как прикосновенный одновременно и к делу Радищева, и к делу Новикова, и к заграничной дипломатии московских мартинистов, был лицом втройне криминальным. Друзья в письмах настойчиво предупреждали, что ему «по слабости его здоровья» не следует возвращаться в Россию: был известен

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 2. С. 438.

приказ арестовать его сразу же на границе. Его ждала или Сибирь, как Радищева, или крепость, как Новикова. Эту связь, конечно, надо было скрывать самым тщательным образом. Карамзин получил хороший урок, и позже, уже во время Александра I, когда все гонения на масонов прекратились и, напротив, участие в ложах сделалось великосветской модой, он тщательно зачеркивал в своих письмах к Петрову самые малейшие намеки на причастность к кругу московских мартинистов.

В Париже Карамзин, с одной стороны, и Кутузов и Багрянский, с другой, не только встретились, но и решительно охладели друг к другу. Причину нетрудно предположить: Карамзин потерял всякий интерес к масонским делам — парижские события, вероятно, не вызвали энтузиазма у Кутузова. Миссия Кутузова, можно думать, не увенчалась успехом. Он обреченно возвращался в постылый Берлин, где его ждали одиночество и голодная смерть в долговой тюрьме. Багрянский спешил на родину — его ждала камера Шлиссельбургской крепости. Карамзин отправился в Швейцарию.

В Швейцарии

Поездка в Париж могла быть только импровизацией, внезапным уклонением от продуманного маршрута. Надо было возвращаться к плану: Швейцария — южная Франция — Париж. Это было необходимо хотя бы потому, что в условленных пунктах его должны были ждать письма и деньги с родины. Более основательное знакомство с Парижем приходилось отложить на будущее — Карамзин отправился в Швейцарию. Когда-то Руссо проделал прогулку из Солера близ Берна до Парижа за две недели. В конце XVIII в. дилижанс проделывал этот путь за пять — шесть дней.

Швейцария была в плане путешествия с самого начала. Путешествие, если судить по характеру интересов Карамзина в 1780-е гг., задумывалось как некая дуга с двумя основными точками опоры: Швейцарией и Англией. Первое печатное произведение Карамзина была книжечка «Деревянная нога, швейцарская идиллия гос<подина> Геснера. Переведено с немецкого Никол<аем> Карамз<иным>, СПБ, 1783». А через три года Карамзин издал прозаический перевод поэмы другого швейцарского поэта, Галлера, «О происхождении зла» — теперь уже в Москве, в типографии новиковской Типографической компании. И переписка с Лафатером, и интерес к «Вильгельму Теллю» Шиллера — все это рисует постоянный и устойчивый интерес к Швейцарии. Швейцария и Англия как бы олицетворяли для Карамзина две возможности развития человечества, между которыми колебались симпатии

Карамзина в то время, когда он готовился к путешествию. Швейцария рисовалась в тонах поэмы Галлера «Альпы» как патриархальная идиллия, а сочинения Руссо и Шиллера придали этим представлениям окраску гордого свободолюбия. В «Письмах» Карамзин отметил свой приезд в Швейцарию такими словами: «И так я уже в Швейцарии, в стране живописной Натуры, в земле свободы и благополучия! (в первой журнальной редакции было «свободы и щастия», в дальнейшем Карамзин, видимо из цензурных соображений, убрал «свободу»: «в земле тишины и благополучия», «в земле мира и щастия», но с наступлением более спокойных времен «свободу» восстановил; правда, теперь он уже сомневался в возможности счастья где бы то ни было и заменил его скептическим «благополучием». — *Ю. Л.*). Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверх, и я с радостию помышляю о своем человечестве (то есть о достоинстве человека; последние слова в промежуточном издании были убраны! — *Ю. Л.*)» (с. 97, 425).

Патриархальности Швейцарии противостоял идеал «просвещенности» — Англия. В конечном счете это была антитеза общественных устремлений Руссо и Вольтера. Карамзин испытал сильное влияние и того и другого, и желание произвести «следствие на месте» над идеями двух апостолов Просвещения XVIII в. было одной из побудительных причин путешествия.

Но если сквозь призму общественных идей XVIII в. Швейцария и Англия выглядели как антиподы, то в литературном отношении они сближались как два крыла предромантического и антифранцузского фронта. В стихотворении «Поэзия», написанном незадолго перед путешествием, в центре европейской поэзии поставлены именно английская и швейцарская: первая представлена именами Оссиана, Шекспира, Мильтона, Юнга, Томсона, вторая — Галлера и Геснера, при том что из немецких поэтов назван лишь Клопшток, а из французских и русских — ни одного имени!

Правда, такое — дерзкое по своей тенденциозности! — распределение мест на лестнице славы отражает, в значительной мере, влияние на Карамзина вкуса и уроков Кутузова (стихотворение написано в 1787 г.). Если в философском отношении Карамзин, видимо, перед путешествием испытал воздействие критических идей Канта, то на социологические и культурно-исторические концепции «Писем» легла тень другого великого скептика — Вольтера. Цитаты, реминисценции, намеки на тексты Вольтера составляют активный пласт «Писем» и свидетельствуют о хорошем знакомстве с произведениями «фернейского мудреца». Это было полезное противоядие мистическим увлечениям «братьев» и «наставников». Не случайно из живых немецких поэтов его, собеседника Ленца, «великого жени»[1], как иронически именовал Карам-

[1] «Жени́» — в языке немецких предромантиков галлицизм, означающий гениальную личность, для которой нет законов, наделенную врожденным даром творчества, странным для мещан поведением, стоящую выше предрассудков; и в другом значении — добрый дух, ангел, персонаж аллегорической живописи и эмблематики эпохи барокко, крылатая фигура.

зина Петров, используя штюрмерский жаргон, более всего привлек скептик и насмешник Виланд, в кабинете которого он увидал бюст Вольтера.

В Германии путешественник спешил на свидания с философами и поэтами — в Швейцарии его собеседниками, на свидание с которыми он торопился через всю Европу, были Альпы и «поселяне» — швейцарские «пастухи», воспетые любимыми им поэтами, Натура, прославленная Жан-Жаком.

Однако и в Швейцарии были люди, встречи с которыми предусматривались еще в Москве. Среди них на первом месте следует назвать Иоганна Каспара Лафатера. Можно полагать, что наивное восхищение «южным магом» (как называли Лафатера по аналогии с предромантическим философом-интуитивистом И. Г. Гаманном, прозванным «северным магом»), свойственное Карамзину в те годы, когда он направил первое письмо в Цюрих, уже прошло. Карамзину, который в эту пору уже был внимательным читателем Вольтера, Кондильяка, Канта, который прочел критическую брошюру Мирабо против Лафатера, наивная религиозная философия и вера в чудеса, защищаемая Лафатером, не могли не казаться архаичными. К Лафатеру его привлекали симпатичные черты личности: патриархальная простота обращения, практическая филантропия, столь ценимая в московских масонских кругах, сентиментально-идиллический быт, царивший в доме цюрихского пастора.

Но и в философии Лафатера были стороны, бесспорно привлекавшие серьезное внимание Карамзина.

В эпоху, когда на одном полюсе философии выкристаллизовалось требование критической проверки всех основ знания, а на другом — бушевала вера в интуицию, мистический опыт и бесконтрольная «философия чувства», одной из решающих сделалась проблема отношения души к телу. Именно она вызывала в немецкой литературе всего за несколько лет до вояжа Карамзина бури вокруг имени и учения Спинозы. В 1785 г. философ-предромантик, интуитивист, близкий к «штюрмерам», и друг Гёте Якоби опубликовал книгу «Об учении Спинозы. Письма к Мендельсону», в которой изображал Спинозу сторонником материалистического монизма. В защиту Спинозы выступил Гёте в оде «Прометей». Сообщение Якоби о том, что Лессинг перед смертью одобрил «Прометея» Гёте и признал себя спинозистом, так потрясло Мендельсона, что, по мнению современников, даже послужило причиной его смерти. Исключительно значимым для современников было выступление в защиту Спинозы Гердера в книге «Бог» (1787). Карамзин еще в Москве был в курсе этой полемики, разделившей немецких предромантиков на два лагеря. Вспоминая свою встречу с Гердером в Веймаре, он замечает: «Я читал его *Бога*, одно из новейших сочинений, в котором он доказывает, что Спиноза был глубокомысленный Философ и ревностный чтитель Божества, от пантеизма и атеизма равно удаленный» (с. 71). Кант писал Мендельсону еще в 1766 г.: «По моему мнению, вся задача заключается в том, чтобы найти данные для разрешения проблемы: *каким образом душа может находиться в мире, присутствуя и в существах материальной природы, и в других существах, подобных ей?* Необходимо, следовательно, найти силу внешнего действия, а также рецептивность, т. е. способность воспринимать

извне, в такой субстанции, соединение которой с человеческим телом есть только особый вид <соединения>. Мы не располагаем никаким опытом, на основе которого мы могли бы познать такой субъект в различных отношениях, которые единственно только и были бы пригодны к тому, чтобы раскрыть его внешнюю силу или способность; гармония же с телом представляет собой лишь отношение внутреннего состояния души (мышления и хотения) к *внешнему* состоянию материи нашего тела и, следовательно, не раскрывает отношения одной *внешней* деятельности к другой *внешней* деятельности, а потому вовсе не пригодна для разрешения поставленной проблемы. Вот почему возникает вопрос, возможно ли вообще при помощи априорного суждения разума раскрыть силы духовных субстанций»[1].

Скептическая позиция Канта не могла удовлетворить читателей, лишенных глубокой философской культуры и одновременно проникнутых чувствительным культом сердца. А именно такова была предромантическая культура в своей массе. Таковы же были и московские масоны, которых вопрос соединения души и тела глубоко волновал. Карамзин опубликовал в «Московском журнале» в 1792 г. стихотворение «Странные люди», где игроки в карты иронически уподоблялись масонской ложе, в которой

> О камне мудрых рассуждают?
> Или хотят узнать, как тело в жизни сей
> Сопряжено с душей?

Однако еще в 1787 г. Карамзин совершенно серьезно обращался к Лафатеру с вопросом: «Каким способом душа действует на тело, посредственно или непосредственно» (с. 468). Лафатер, отвечая, отговорился незнанием. Но вся разрабатываемая и пропагандируемая им система физиогномики призвана была дать пусть примитивные, но наглядные объяснения этой трудной проблемы. Именно простота и наглядность ответов привлекала. Физиогномика Лафатера пыталась установить соотношение между чертами лица и свойствами души. В идею цюрихского философа органически входила важная для культуры предромантизма мысль о неповторимости человеческой индивидуальности: как неповторимы черты лица, так и бесконечно своеобразны характеры. Поэтому проникновение физиогномиста в душу пациента — всегда акт интуитивного вживания. Карамзин не случайно назвал Лафатера «физиогномическим колдуном». Не один Карамзин пережил сначала увлечение физиогномикой, а затем разочарование в ней. Молодой Гёте не только увлекался ею, но даже напечатал в книге Лафатера характеристики Гомера, Цезаря, Брута, Ньютона и др. Как далеко заходил скептицизм Карамзина в этих вопросах, видно из отрывка «Разные мысли. Из записок одного молодого Россиянина», опубликованного им в «Московском журнале» в 1792 г., но написанного, по всей вероятности, в 1790—1791 гг. Здесь Карамзин характеризует природу соединения духовной и материальной субстанций совсем не в лафатеровском, а скорее в гельвецианском духе: «На систему наших

[1] *Кант И.* Трактаты и письма. С. 516—517.

мыслей весьма сильно действует обед. Тот час после обеда человек мыслит не так, как перед обедом».

Однако особенно интересна в «Разных мыслях» система скептической аргументации, настолько напоминающая ход рассуждений Канта, что невольно возникает предположение, что и этот вопрос обсуждался ими во время посещения Карамзиным кенигсбергского философа:

«Как может существовать душа по разрушении тела, не знаем, следственно не знаем и того, как она может мучиться и блаженствовать. <...> Естьли железные стены, отделяющие *засмертие* от *предсмертия*, хотя на минуту превратились для меня в прозрачной флер и глаза мои могли бы увидеть, что с нами делается *там*, то я охотно согласился бы расстаться навсегда с Кантами, Гердерами, Боннетами. Все, что о будущей жизни сказали наши философы, есть чаяние, потому что они писали *до смерти* своей, следственно еще *не зная* того, что ожидает нас за гробом. Все же известия, которыя выдают за газеты того света (сноска Карамзина: „Например Шведенбурговы мнимые открытия"), суть, к сожалению, — *газеты* (то есть басни)».

Но у физиогномики была еще одна сторона, кроме философской, — психологическая. Она связана была с культурой наблюдения мимики и навыками психологического анализа.

Куда может завести физиогномика

Вставная глава

С физиогномическими опытами Лафатера связан один эпизод, который должен был привлечь и, весьма вероятно, привлек внимание Карамзина.

Осенью 1789 г. создалась иллюзия возможности мирного развития революции. Иллюзия эта захватила даже таких убежденных республиканцев, как Радищев. С одной стороны, сказалась разница между республиканскими умозрениями философов XVIII в. — чисто теоретическими убеждениями, возможность осуществления которых относилась в далекое будущее или усматривалась в столь же далеком прошлом, — и непосредственными политическими решениями, на основе которых следовало строить сегодняшний день. С другой стороны, сами события складывались так, что казалось, будущее обещает быть мирным. Переход от деспотического абсолютизма к конституционной монархии английского типа казался достигнутой реальностью. Возможность такого хода событий связывалась с доброй волей короля. Для благоприятного развития мирной революции в 1789 г., казалось, необ-

ходимы мудрые политики, которые выработают конституцию, и король, который согласится ее принять. Осенью 1789 — весной 1790 г. такие настроения охватили Европу от Парижа до определенных кругов в Петербурге.

Авторитетные исследования Олара показали, что республиканские настроения в этот период не были характерны для деятелей революции. «Никто не требовал республики; существовало общее желание сохранить монархию. Но как следовало организовать эту монархию? По этому вопросу возникли разногласия. Никто не требовал восстановления абсолютизма; но существовала целая градация мнений, начиная с идеи об очень сильном короле, участвующем в изготовлении законов и обладающем последним словом во всех вопросах, до идеи о короле, лишенном всякой власти, напоминающем президента республики.

Что в 1789 г. Франция не желала республики, это не подлежит ни малейшему сомнению»[1]. Тот же автор показывает, что подобные настроения характеризуют не только депутатов Собрания: «...агитаторы Палэ-Рояля, Сент-Юрюж, Дантон? Они были роялистами, так же как и народ, страсти которого они возбуждали. А Марат? Марат имел мало влияния тогда; но так как скоро его влияние сделалось громадным, то нам необходимо отметить его тогдашний образ мыслей. Марат набрасывает проект конституции, и эта конституция оказывается монархической»[2]. Робеспьер еще в речи 13 июля 1791 г., произнесенной в Якобинском клубе, сказал: «Меня обвиняют в том, что я республиканец; мне оказывают слишком большую честь — я им не являюсь»[3].

В этих условиях вновь встал вопрос, который теоретически — в общем виде — давно уже был пройденным этапом; о личности того монарха, от намерений и просвещенности которого во многом зависело, пойдет ли прогресс путем катаклизмов или движение вперед совершится мирно и в законных формах. Это особенно волновало русских наблюдателей европейского политического театра. В русском обществе — от писателей до либерально настроенных вельмож — имелось достаточно людей, которые устали от деспотизма Потемкина, калейдоскопа фаворитов, расточительности и капризов стареющей императрицы и хотели бы, чтобы идеи Монтескье с полок их библиотек перешли в политическую жизнь их родины. Недовольство к 1789 г. сделалось весьма широким, и оттенки мнений, разделявшие поклонников вечевой республики и сторонников английской конституции, стали казаться чем-то второстепенным и теоретическим. Вряд ли можно считать, что сближение Радищева и А. Р. Воронцова, Фонвизина и братьев Паниных (и, как увидим дальше, Карамзина и С. Р. Воронцова) имело чисто личный характер. И поскольку французский опыт как бы убеждал в том, что мечты эти могут обратиться в реальность лишь при соглашении идеологов и монарха, взоры

---

[1] *Олар А.* Политическая история Французской революции: Происхождение и развитие демократии и республики, 1789—1804. 4-е изд. М., 1938. С. 69.

[2] Там же. С. 70.

[3] *Aulard A.* Les orateurs de la Révolution. L'assemblée constituante. Paris, 1905. P. 539.

вновь обращались к наследнику престола Павлу Петровичу. О нем знали мало, но сведения были в основном благоприятными. Воспитанник Панина и враг Потемкина возбуждал надежды.

Карамзин не был далек от этих вопросов. Ведь еще в новиковском кругу он должен был слышать о попытках наладить связи с наследником престола, чью изоляцию от русского общества Екатерина II тщательно поддерживала. Можно полагать, что Карамзин специально интересовался, какое впечатление произвел Павел, когда под именем графа Северного вместе с Марией Федоровной путешествовал по Европе. И здесь ему много интересного мог сообщить Лафатер. Великий князь встретился в Цюрихе с физиогномистом. Их долгий разговор дошел до нас в записи Лафатера. Есть все основания полагать, что Карамзин выслушал этот рассказ, а может быть, и был допущен к чтению самого текста.

Лафатер записал сначала вопрос Павла Петровича о принципах физиогномики. Услыхав, что в основу суждений о характере Лафатер кладет конфигурацию лба, он, положив руку на свой лоб, спросил с улыбкой, которую цюрихский философ назвал «непередаваемой» и в которой выразилась та мучительная неуверенность в себе, то глубочайшее убеждение в своей отверженности, которые лежали в основе характера Павла: «„Ну, как же обстоит дело здесь? Надеюсь, что достаточно плохо?"

„Монсеньор, — отвечал я, весело улыбаясь. — У вас нет никаких причин быть недовольным ни своим лбом, ни своим лицом".

Он: „Я ожидал от вас не комплиментов".

Я: „Я не стану, разумеется, делать вам комплименты. Это совсем не мое дело. Прямодушие — мой характер. Я говорю сейчас, поверьте мне, не с Великим князем, а с человеком, которого вижу перед собой".

Весьма удовлетворенный таким ответом, он сказал мне: „Вполне серьезно, мое намерение таково, чтобы принять от вас добрые поучения. Вы видели меня сейчас. Дайте этому лицу несколько поучений или советов, которые ему приличествуют".

„Но, Монсеньор, не станете же вы сомневаться, что я пришел сюда не для того, чтобы наставить вас, а чтобы насладиться веселым видом хороших людей. Вы должны заметить по моему виду, что ваше присутствие и близость мне весьма приятны. И вы, конечно же, легко заметили бы по мне, если бы мне при этом было не по себе. Каждый, кто беседует со мной, всегда может прочесть свое лицо на моем, а мое внутреннее суждение о своем характере узнать по веселому или удрученному состоянию моего даже слишком открытого лица".

Он улыбнулся и отвечал неким весьма веселым манером: „Но друг мой, вид всей Швейцарии запечатлен на моей физиономии. Все то прекрасное, естественное и духовное, что я недавно видел, делает мое лицо сейчас таким оживленным... Если вы сотрете все это с моей физиономии и сбросите со счета, то останется не так уж много хорошего".

Я: „Я очень рад, Монсеньор, что вы так довольны Швейцарией. Впрочем, на вашем лице есть и такие черты, в которых Швейцария, со всеми ее естественными и духовными красотами, не может иметь никакого участия".

(Я должен был бы добавить, если бы был находчивее: „Черты, без которых вы бы не увидели ничего из всех этих красот". Но я этого не сказал). „Впрочем, — продолжал я, — запомните это общее замечание: каждый человек может быть доволен своим лицом.

Природа не пристрастна ни к кому в отдельности. Пусть лишь каждый будет тем, что он есть; пусть лишь каждый не выступает из предначертанной ему сферы — все зло в мире оттого, что человек хочет быть чем-то иным, чем тем, для чего создала его Природа. — Каждый, кто имеет большие достоинства, имеет одновременно и противостоящие им, почти неразделимо связанные с этими достоинствами слабости, и наоборот. Никому не положено больше, чем он может нести — и каждый, в силу своей физиономии, имеет присущие ему наследия и собственные, присущие ему страдания. Вы, Монсеньор, созданы природой лучше, чем тысячи других. Оставайтесь всегда так же хороши, как того хотела Природа. Природа умеет удержать нас без ущерба от всего, к чему мы неспособны. Пусть лишь каждый стремится познать, оценить и использовать то, что ему дано, и более обращать внимание на то, что он имеет".

Он: „И все же я серьезно прошу вас, скажите мне то, что мне по моему характеру и темпераменту особенно полезно".

Я: „Без настоятельного побуждения, Монсеньор, я, конечно, ни одному человеку ничего не скажу в лицо о его лице: и менее всего тому, кого я имел возможность видеть лишь несколько мгновений. Я нахожу это крайне нескромным — бранить человека, не имея на то ни права, ни необходимости".

Он: „Я очень хорошо понимаю это. Однако я пришел сюда, чтобы с вашей помощью лучше узнать себя. Так будьте же любезны исполнить мою просьбу. Мне важно это для улучшения себя самого. Вы не можете мне отказать в этом".

Я: „Что ж, пожалуй... Вы даете мне побуждение, которому я не могу противиться. Только облегчите мне дело посредством простых и определенных вопросов — тогда я буду как честный человек перед Богом отвечать на них".

Он: „Браво! Итак — позвольте мне спрашивать: склонен ли я к гневу?"

Я: „Да, Монсеньор, и даже в очень высокой степени — у вас, вероятно, есть причина быть настороже... (или что-то в этом роде)".

Он: „Как вы это усматриваете?"

Я: „По вашим глазам, по цвету и разрезу их".

Он: „Это правда; вы правы. — Далее: у меня много темперамента?"

Я: „Много, очень много!.. Вы крайне вспыльчивы, стремительны, бурны".

Он: „Вы совершенно правы. Далее: я веселого нрава (de bonne humeur, gay, — кажется, так он выразился)?"

Я: „Природа сделала вас веселым, ибо вы добродушны. Но вы, должно быть, часто подвергаетесь плохому расположению духа; должны были легко и часто погружаться в ужасную пропасть замешательства — смущения, которое иногда граничит с отчаянием. Ради бога... не падайте духом в такие мгновения!.. Не делайте в эти моменты никакого шага! Тотчас призовите к себе свою супругу! Обопритесь на нее! Темная грозовая туча вскоре пройдет

мимо... Скоро, скоро сможете вы снова воспрянуть, если только ненадолго представитесь самому себе".

Он казался столь же удивленным, сколь и растроганным. „Ваши слова — не что иное, как истины, и очень важные истины. И все же это удивительно, как вы все это так быстро могли увидеть. Скажите мне, откуда?"

Я: „По морщинам на вашем лбу. Вы, должно быть, невыразимо много страдали и боролись. Однако ваше доброе сердце все пересилило".

Тут к нам приблизилась Великая княгиня, которая между тем беседовала с Г. Геснером. Великий князь воскликнул ей навстречу с полуулыбкой: „Сей любезный друг говорит мне здесь важные истины — и как раз о том, о чем ты сама меня много раз сердечно просила".

Невозможно было выразить прямее, наивнее и сердечнее, чем то было высказано. Он протянул к ней руку, привлек ее немного к себе и поцеловал ее так, что и в почтенной бюргерской семье мне не доводилось видеть поцелуя между супругами скромнее и сердечнее. А между тем в комнате присутствовало десять-двенадцать человек. <...>

Тем временем геснеровские пейзажи были осмотрены, один из них был выбран, и господа сгруппировались снова вокруг меня.

Я наклонил голову и обернулся к Великому князю, который с наивной, льстиво-выведывающей и одновременно выискивающей новых открытий полуулыбкой смотрел на меня и спустя немного времени, когда я с веселым и почтительно услужливым видом улыбнулся ему в ответ, стал немного серьезнее, отвел меня в сторону и с выражением доверительности и простосердечия, приличным более простейшему из партикулярных, с каким обращаются к задушевному другу, желая ему показать свое уважение, тихо спросил: „И все же скажите мне серьезно, не правда ли, у меня отталкивающая, гнусная физиономия?"

Я отвечал: „Будьте покойны, Монсеньор, прямодушие может жить в любых формах лица. Искренность и сердечная доброта, которыми несомненно наделила вас Природа, и наделила щедрой рукой, и которые каждый человек, обладающий здоровыми глазами, прочтет на вашем лице, должны сохранить вас от страха и озабоченности. — Ваша доброта скроет и поглотит в вашем лице все, что может казаться несовершенным. Тот, кто добр, должен быть вам хорош. Если бы у вас было то, что собственно называют гнусной физиономией, я не смог бы, как я уже сказал, быть таким веселым в вашем присутствии и, конечно, не сказал бы вам то, что было сказано. Ваше лицо для меня — новое доказательство одной старой истины, которую физиогномика, чтобы не стать врагом человека и убийцей, как можно громче должна высказывать и подтверждать примерами; я разумею истину, о которой я только что говорил, — честь, доброта, справедливость и любезность могут жить во всех, даже несовершенных формах лица. — Все рисовавшие вас хотели вас приукрасить. Однако простосердечия, главной черты вашего лица, нет ни в одном портрете, из всех когда-либо попадавшихся мне на глаза. Стало быть, никогда не испытывайте недоверия, не верьте в какую-то гнусность вашего лица. Ваша доброта, честность сможет пересилить все, что называют «гнусностью». Оставайтесь, я прошу вас, всегда верным вашему

лицу! Природа не обошла вас стороной. Будьте лишь всегда тем, кем вы должны и можете быть по вашему облику. Вы никогда не сделаете зла, никогда не станете злым человеком! Вы сотворите много добра, и тысячи возрадуются, если только вы не станете действовать хуже, чем честность и доброта вашего лица позволяют мне надеяться, с уверенностью ожидать того. У вас черты лица, в которых, я хотел бы сказать, покоится счастье миллионов!"

Он был очень возбужден и, казалось, крайне растроган, почти до слез, ибо я произнес это с теплотой и дружелюбием, с ободряющей доверительностью. „О, вы добры! — или что-то подобное сказал он. — Так вы полагаете, вы верите, что я, как я того желаю, еще смогу стать добрым, полезным человеком?"

Это было сказано с полной серьезностью.

Своей ладонью, — в тот момент, в той, если можно так сказать, ситуации это было в высшей степени естественно, — итак, ладонью своей руки я притронулся к его груди и сказал:

„Монсеньор! Я верю, что вы богобоязненны, почитаете добродетель и жаждете бессмертия. При таком образе мыслей вы не должны ничего страшиться, у вас никогда не возникнет причины для отчаяния! Здесь, в вашей груди, вы имеете наилучшего из друзей! Повинуйтесь всегда только ему, ему одному, повинуйтесь ему полностью, ему — и никому другому, кто противоречит ему! И тогда да не убоитесь вы ничего в этом свете. Если этот друг за вас, кто может быть против? Никогда он не присоветует вам ничего, что не вело бы к добродетели, богу и бессмертию!.."

Нужно было видеть — это не поддается описанию, — с какой искренностью, простотой и чистосердечием воспринял он это поучение.

„Несомненно, дорогой Лафатер! Я богобоязнен и моя жена тоже. Не правда ли, любовь моя?" Он подозвал ее кивком... „Несомненно, вы не услышите о нас ничего, что было бы противно религии и богопочитанию, — и обратившись к Великой княгине: — O ce bon ami m'a rendu á moi-même, — или, может быть: — 'm'a fait cadeau de moi-même. О если б мы только могли подольше быть вместе! Вы ведь, должно быть, не приедете в Петербург!"»[1]

При скептическом уже в эту пору отношении Карамзина к «физиогномическому колдовству», рассказ этот не мог его не взволновать: эпизод ярко рисовал наследника престола мятущимся, неуверенным в себе, что выгодно контрастировало с самоуверенностью и самовлюбленностью его матери. Рассказ Лафатера, рисуя Павла Петровича человеком, стремящимся к самоусовершенствованию, твердо выслушивающим поучения из уст «мудреца», ищущим руководства со стороны того, кто мог бы указать ему на его недостатки, импонировал оппозиционерам, поскольку заставлял вспомнить известные ситуации в политических трактатах и философских романах XVIII в.

---

[1] *Strahlmann B.* Johann Caspar Lavater und die «Nordischen Herrschaften» // Oldenburger Jahrbuch. 1959. Bd 58. Teil 1. S. 204—210. Автор благодарит С. Г. Барсукова за перевод этого отрывка.

Карамзин не упомянул в «Письмах» о своей беседе с Лафатером на эту опасную тему, но в другом месте, верный своему принципу оставлять наводящие следы интересовавших его серьезных вопросов, показал, с каким вниманием и осведомленностью собирал он данные о путешествии Павла по Европе. Посетив Шантильи, он «вспомнил то великолепное, беспримерное зрелище, которым принц Конде веселил здесь Северного Графа. Ночь превратилась в день» (с. 312).

В этих поисках Карамзин мог натолкнуться еще на один источник. Как будет далее видно, Карамзина в Париже весьма интересовали салоны, которые доживали в это время свои последние дни. Среди прочих его внимание привлек салон дочери знаменитой мадам Жоффрен, маркизы Ферте-Эмбо. Участники салона были объединены в Высокий Орден Лантюрлелю. Члены Ордена, который был определен в его конституции как общество песен и шуток, делились на «простых лампонов» (слово из припева одной шуточной песенки, превращенной в гимн Ордена) и «рыцарей Лантюрлелю». Сама маркиза носила титул «Ее Экстравагантнейшего Величества лантюрлелийского, Основательницы Ордена и Самодержицы всех безумств». Орден был не лишен некоторого налета оппозиционности, но еще более противопоставлял себя знаменитому «философскому» салону матери маркизы, г-жи Жоффрен, что, впрочем, не мешало вездесущему Гримму посещать оба. Салон г-жи Жоффрен был в весьма дружеских отношениях с Екатериной II. С самой хозяйкой салона Екатерина находилась в переписке, салон посещался энциклопедистами, членом его было и такое близкое к русской императрице лицо, как Станислав-Август Понятовский. Последний называл г-жу Жоффрен «маменькой». Орден же Лантюрлелю русской императрице явно не импонировал: когда Гримм приехал в Россию, первый раздраженный вопрос, который ему задала Екатерина, был об этом обществе.

В Орден входили знатные русские: князь Барятинский, граф А. Строганов, такие противники «философов», как кардинал Берни, правда, здесь можно было видеть и г-жу де Сталь.

Приехав в Париж, Павел не только посетил салон маркизы Ферте-Эмбо, но счел нужным принять сан рыцаря и принести письменную клятву на верность Самодержице всех безумств. Поскольку в Ордене педантически велись протоколы, текст клятвы Павла Петровича сохранился (в русских исторических трудах он никогда не упоминался до сих пор):

«Поскольку Ваше Величество располагает неистощимыми сокровищами, превосходящими все, что имеют величайшие персоны мира, и поскольку ее империя есть царство Разума, наступления которого должно чаять, чтобы все державы мира возродились, мы считаем себя счастливыми войти в пределы ее царства и сделаем, чтобы процветание и власть Ее Величества и ее империи длились сколь можно долго.

Павел — Мария»[1]

[1] *Ségur P. de.* Le royaume de la rue Saint-Honoré. Madame Geoffrin et sa fille. 3-t éd. Paris, 1897. P. 393—394.

Если эти строки, что весьма возможно, попали на глаза Карамзину, то можно вообразить, с каким любопытством читал он обещание Павла способствовать распространению царства Разума с помощью игры и безумства.

Надо помнить, какие надежды возлагались на Павла Петровича в кругу Новикова, с одной стороны, и Зиновьева — Воронцова, с другой, надо иметь в виду, что Карамзин в этот период разделял подобные надежды, чтобы представить себе, в какой мере «русский путешественник» был заинтересован подобными рассказами.

Для того, чтобы предположить, что Лафатер не только рассказал Карамзину о свидании с «графом Северным», но и показал относящиеся к этому сюжету материалы своего архива, у нас есть и специальные основания.

В 1796 г. Карамзин приветствовал воцарение Павла I «Одой на случай присяги...», где говорил о новом императоре:

Он хочет счастья миллионов,
Полезных обществу законов...

Если второй из этих стихов намекал на конституционные мечтания уже покойного Никиты Панина и здравствующих братьев Воронцовых, то первый воспроизводил слова, настойчиво повторявшиеся Павлу Лафатером:

Sie haben Gesichteszüge, in denen, mögt' ich sagen, das Glück von Millionen liegt...
...Das Glück von Millionen...

(У вас черты лица, на которых покоится счастье миллионов...
...Счастье миллионов...)

«Ода на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому» представляет собой развернутую декларацию. Прежде всего она содержит понятный современникам намек на то, как долго Павлу пришлось дожидаться принадлежащей ему по праву короны (попутно — опровержение слухов о существовании акта, лишавшего Павла престола):

Итак, на троне Павел Первый?
Венец российския Минервы
Давно (курсив мой. — *Ю. Л.*) назначен был ему...

Показательно многозначительное многоточие после этой строки. В оде начертана обширная программа. Прежде всего — твердые законы, конституция («полезные обществу законы»), пролагающая черту между монархией и деспотизмом. Затем — судебная реформа:

В руках его весы Фемиды:
От сильных не страшусь обиды,
Не буду винен без вины.

Напомним, что граф Головкин отказался вернуться в Россию, пока не будут отменены две пословицы: «Все божье да государево» и «Без вины виноват». В последней поговорке люди XVIII в. видели как бы квинтэссенцию деспотизма. Особенно важна мысль о равенстве перед законом:

Ему все дети, все равны...

Следующий пункт программы — просвещение:

Ликуйте [музы]! Павел вас прославит,
В закон учение поставит
.....
Любовь невежд кому завидна?

И наконец — утверждение европейского мира:

...все на свете победить,
И... мир всеобщий заключить.

На осуществлении этой программы, по мнению автора, будет покоиться взаимная любовь монарха и подданных. Нетрудно заметить здесь те черты монарха, которые создавала французская публицистика 1789—1790 гг., рисуя вслед за Вольтером идеальную фигуру Генриха IV. Но этот же портрет вполне отвечал чаяниям русской оппозиции.

Чем оптимистичнее были надежды на новое царствование, тем неприглядnее выглядело прошедшее.

В № 2 за 1797 г. гамбургского журнала «Le Spectateur du Nord», с которым Карамзин был в это время тесно связан, опубликована на французском языке статья, посвященная итогам царствования Екатерины II. Есть все основания предполагать, что она принадлежит перу Карамзина[1].

«Письмо в „Зритель“ о Петре III
Г-н Зритель!
.....[2]

Вы открываете в Вашем журнале, так сказать, многие двери для всего того, что может быть интересно или поучительно: я заметил одну, через которую охотно проникли бы благонамеренные обозреватели, принося разнообразные дани мудрых и острых мыслей и живые, одушевленные картины, которыми так прославлен «Английский Зритель» — драгоценный сборник, в котором Англия находила столько приятных уроков вкуса и полезных наставлений в нравственности. Правда, что превосходные авторы этого издания не оставили ни в одной стране последователей. Но, хотя кажется, что французская республика разрушила республику словесности, еще имеются писатели, способные вместе с вами выполнить эту часть ваших намерений. В ожидании их появления примете ли вы краткую заметку правдивого путешественника? Ваши читатели потерпят ее за необычность и в силу обстоятельств.

---

[1] Доказательства в пользу этого предположения см.: *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка С. 124—131.

[2] Многоточие объясняется следующим редакторским примечанием в начале статьи: «Публикуя в этом журнале обращенные ко мне письма, если они входят в начертанный мною план журнала, я сохраняю за собой право исключать то, что ему не соответствует, и, в особенности, похвалы в мой адрес. Сколь бы они мне ни льстили, мне представляется непристойным быть их издателем. Именно из этих последних соображений я позволил себе убрать первый абзац публикуемого ниже письма. Оно прислано нам некоей особой, которая живо разделяет проявленное Павлом I желание реабилитировать память своего несчастного отца».

O caecas hominem mentes...[1]

Иногда следовало бы изобразить Славу, как и Фортуну, с завязанными глазами. Она торопится распространять то, что только что узнала, и сама ее скорость препятствует ей видеть и уточнять детали сведений, которые она распространяет, детали, без которых невозможно хорошо понять и оценить факты. Если каждому возможно прийти к этому заключению в условиях самых обыкновенных, то наибольшей меры истинности оно достигает в обстоятельствах, касающихся вельмож и царей, которые как бы бронзовой стеной укрыты от взоров истины. Прошло более тридцати лет с той поры, как печальной памяти Петр III сошел в могилу; и обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила, звалась — слабость. Он получал разнообразные указания на заговор, который плелся против него: покойный посол Пруссии граф Гольц многократно его предупреждал об этом от имени своего государя: «Если вы хотите быть в числе моих друзей, не говорите мне более об этом», — отвечал он графу Гольцу.

Между тем заговор разразился. Низкие орудия мятежа и предательства, которые еще накануне звались его гвардией, в боевом порядке двигались по дороге на Ораниенбаум, где он тогда находился с частью своего двора. При этом известии император, слишком поздно выведенный из заблуждения, смутился и растерялся. Напрасно храбрый и верный полк гольштинцев предлагал ему идти навстречу мятежникам и, если потребуется, умереть за него. Он не осмелился поверить своим защитникам, число которых, действительно, не соответствовало опасности.

Кронштадтский порт, куда нельзя пройти по суше, казался ему более надежным прибежищем. В сопровождении своего двора он прибыл ко входу в порт и потребовал, чтобы ему открыли барьеры. Назвав себя, он получил ужасный ответ: «Императора больше не существует!» Ему даже пригрозили пустить на дно яхты, если они немедленно не выйдут в открытое море. Яхты подчинились, они принялись блуждать в широком устье Невы. Кто поверил бы, что в этот печальный момент одна из дам, сопровождавших императора, решилась пародировать остроту из комедии: «За каким чертом пошли мы на эту галеру?»[2] История не должна упускать подобных черт — они рисуют многое в малых словах.

Самодержец всея России не находил аршина земли, на который он мог бы беспрепятственно поставить свою ногу. Престарелый маршал Миних, прославленный своими победами, двадцатилетней ссылкой в Сибири и уважаемый за свой великий ум, ему предлагал поднять паруса и отправиться в Германию, где ему было бы легко собрать огромную армию, во главе которой он смог бы в несколько месяцев вернуться в свою империю триумфатором

---

[1] О, слепота человеческих мнений! (*Лат.*)

[2] Несколько измененные слова Жеронта из комедии Мольера «Проделки Скапена», который, в свою очередь, цитирует комедию Сирано де Бержерака «Притворный педант».

и основать свою власть на надежном фундаменте силы. Петр III, погруженный в пучину своих мыслей, видел в этом проекте только трудности; он колебался, и вскоре ему блеснула надежда полюбовной сделки — он за нее ухватился и избрал тот единственный путь, которого ему следовало избегать: он сдался своим врагам.

Государь, который уже не был более государем, вскоре после этого подписал в тюрьме акт своего отречения. Можно ли его осуждать — это было сделано под угрозой силы и преступления. Говорят, что Петр III должен был предпочесть смерть такому унижению — многие люди имеют жестокую наклонность сурово судить несчастья, которые им самим никогда не могут грозить. Сердце Петра III не могло подозревать предательства: он, без сомнения, надеялся, что насилие этим ограничится и что раскаяние или время рано или поздно изменят его участь... Оборвем рассказ на ужасной катастрофе, которая его увенчала.

За время своего краткого царствования он довел до предела свое восхищение Фридрихом Великим, но это восхищение перед столь могущественным государем может быть осуждено лишь за его преувеличения. Те же, кто его знал, могли оценить его редкую доброту. Она была полезна России: благодеяния, действие которых не прекращается, требуют за себя вечной благодарности.

Екатерина II взошла на царство, и слава ее наполнила мир. Философы были глашатаями этой славы. Друг истины не должен против этого возражать. Но разве ему не позволено счесть число мужчин, женщин и детей, которые заплатили жизнью за тридцать лет этого славного царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и более всего в России? Он пытается счесть ужасное число этих жертв и находит их столь же бесчисленными, как и количество ассигнаций, — мрачное свидетельство богатств, поглощенных блеском этого прекрасного царствования.

Примите и проч.

Путешественнику»[1]

Принадлежность статьи Карамзину весьма вероятна. Прежде всего следует отметить, что «Le Spectateur du Nord» был прочно связан с Карамзиным. Журнал заказал ему и опубликовал обзорную статью о русской литературе. Статья начиналась сенсационным сообщением о находке «Слова о полку Игореве», а заканчивалась подробным авторефератом «Писем русского путешественника», причем еще не вышедшие части Карамзин с необоснованным оптимизмом перечислил вместе с опубликованными как уже вышедшие. Редакция журнала представляла европейскому читателю Карамзина, который в России все еще считался начинающим литератором, как главу русского Парнаса. На страницах журнала была опубликована в переводе Буйи повесть Карамзина «Юлия», которую переводчик снабдил лестным для автора французским стихотворным посвящением:

[1] Le Spectateur du Nord. 1797. № 2. P. 282—288.

Примите этот труд, писатель-чаровник,
Успеха коего вы лестная причина;
Вот — Юлия. Она, переменив язык,
Отныне говорит на языке Расина.
О если б на нее, с улыбкой бросив взгляд,
Словами нежного привета и признанья
Сказали вы: «Переменив наряд,
О Юлия, и так ты все ж *мое* созданье!»

В предисловии Буйи называл Карамзина соперником Флориана и Мармонтеля, что было в устах французского писателя конца XVIII в. высшей похвалой.

Под статьей стояла подпись «Путешественник», что в свете недавно опубликованного журналом подробного реферата «Писем русского путешественника» и указания, что она прислана из России, делало псевдоним совершенно прозрачным.

Существенным аргументом является также совпадение основных мыслей статьи с известными высказываниями Карамзина.

Статья примечательна во многих отношениях. Петр III избран героем не случайно: такие законодательные акты правительства, как указ о вольности дворянской, уничтожение тайной канцелярии, прекращение гонений на старообрядцев, создали ему популярность в самых различных слоях населения. Имя его было присвоено рядом самозванцев, два первых указа вызвали в 1803 г. слова Карамзина: «Я, как русской и дворянин, желал видеть место, которое нравилось Петру III: он подписал два указа, славные и бессмертные!»[1]

В уничтожении тайной канцелярии видели меру, направленную против произвола. На смену кровавому веку Петра, когда «жестокие обстоятельства заставили <...> прибегнуть к жестокому средству», когда исторический прогресс сочетался с деспотизмом и беззаконием, должен прийти век просвещенной мягкости нравов и законности. В специальной заметке «О тайной канцелярии» Карамзин писал: «Я чувствую великие дела Петровы и думаю: „Счастливы предки наши, которые были их свидетелями!“ однако ж — не завидую их счастию!»[2]

В указе же о вольности дворянства видели зародыши русской конституции. Идеализация Петра III была выражением надежд на Павла I.

Однако период надежд был недолговечным: «чаемое царство Разума» уже очень скоро обернулось разгулом такого деспотизма, от которого в царствование Екатерины II русские подданные уже отвыкли и который скорее напоминал тиранию поздних римских императоров, чем власть европейского монарха на рубеже XVIII и XIX вв. Уже в 1797 г. Карамзин написал стихотворение «Тацит», в котором утверждалось право на сопротивление тирании. Последний стих:

Терпя, чего терпеть без подлости не можно! —

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 1. С. 451.
[2] Там же. С. 425.

Вяземский цитировал в 1826 г. как оправдание антидеспотических устремлений декабристов.

Наконец в 1811 г. в «Записке о древней и новой России» Карамзин подвел итог: «...что сделали Якобинцы в отношении к Республикам, то Павел сделал в отношении к Самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных, претерпенных им неудовольствий, он хотел быть Иоанном IV»[1].

Физиогномические опыты Лафатера интересовали Карамзина и как писателя: внешние выражения чувств, психологический язык мимики привлекали его не меньше, чем философский аспект возможности соединения бессмертной и невещественной души со смертным и вещественным телом. Внимание Карамзина к внешним проявлениям душевных движений вызвало даже протест Кутузова, который хотел бы вообще изгнать из литературы интерес к «внешнему», сосредоточив все внимание на «внутреннем человеке». Плещееву он писал: «Может быть занимаешься чтением лорда Рамсея, и к сему не прилепляйся слишком <...> сие не есть упражнение человека, старающего шествовать к цели человека».

В этом эпизоде рядом с Карамзиным-политиком и Карамзиным-писателем рисуется еще одна тень: Карамзина — будущего историка. Размышления над психологией Павла ему пригодятся при построении образа Ивана Грозного.

Продолжение путешествия по Швейцарии

Однако забыл ли Карамзин среди долин и гор патриархальной Швейцарии о парижских происшествиях? Если судить по тексту «Писем», да. Но как было в жизни? Попытаемся реконструировать некоторые события.

В Швейцарии Карамзин познакомился и тесно сошелся с тремя датчанами. Двое из них: Йенс Баггесен и Адам Готтлоб Мольтке — оставили след в датской литературе. Карамзин провел в их обществе значительную часть своего швейцарского путешествия и, видимо, много с ними беседовал. Отзывы о них в «Письмах» неизменно дружественны. Содержание своих разговоров с датчанами Карамзин передает исключительно сдержанно: «Граф любит исполинския мысли!»; «Датчане Молтке, Багзен, Беккер и я были ныне поутру в Фернее, — осмотрели все, поговорили о Вольтере» (с. 183).

[1] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 42.

Даже из этих скудных заметок можно сделать вывод о некотором единомыслии между Карамзиным и теми, кого он избрал в свои спутники от Цюриха до Женевы, в чьем обществе посещал Лафатера и Бонне, принимая участие в сватовстве Баггесена к внучке Галлера и в дорожных радостях и неприятностях молодых датчан. Дружба с Беккером продолжалась и в Париже.

Баггесен позже в одном из своих сочинений описал настроения, которые владели им в эту пору: «В Фридберге принесли весть о взятии Бастилии. „Хорошо! Справедливо! Прекрасно! Чокнемся, почтальон! Долой все Бастилии! За здоровье разрушителей!“»[1] Карамзин сообщает, что его датские друзья из Женевы «ездили на несколько дней в Париж» и что «Граф с восхищением говорит о своем путешествии, о Париже, о Лионе, о проч.» (с. 183). Из материалов Баггесена мы узнаем, что датчане были в Париже шестнадцать дней, с 13 по 29 января, и ряд других важных подробностей. Они смотрели в театре трагедию М.-Ж. Шенье «Карл IX» (о значении этой постановки см. дальше), Баггесен под аплодисменты собравшихся французов плясал на развалинах Бастилии[2]. Баггесен позже так суммировал свои впечатления: «Париж в настоящее время можно сравнить с женщиной, мучающейся в родах — Assemblée nationale — акушерка. Но сравнение будет правильнее, если скажу: Париж — девица, для которой наступило время рожать и дитя которой имеет несколько отцов». «Еще не было известно, спал ли супруг своим последним сном, будет ли новорожденный сыном или дочерью — и сможет ли акушерка вывести на свет божий ребенка целым и здоровым и без вреда для матери. Дом, однако, был, как обыкновенно в таких случаях, в крайнем беспорядке. — Так я нашел Францию при своем приезде в начале 1790 г.»[3] Так писал Баггесен, когда ретроспективно описывал свои настроения начала революции: сочувствие сохранилось, энтузиазм несколько умерился. Но летом — осенью 1789 и зимой 1790 г. и он, и Мольтке были самыми пламенными почитателями французских «разрушителей».

Сведения эти интересны нам еще и с другой стороны: поездка из Женевы в Париж и обратно, видимо, была делом обычным и несложным. Это надо помнить, когда мы в недоумении останавливаемся перед некоторыми странностями периода, определенного в «Письмах» как женевский. Если верить «Письмам», Карамзин пробыл в Женеве пять (!) месяцев: перое литературное «письмо» из Женевы помечено 2 октября 1789 г., а покинул он ее, как мы помним по тем же письмам, 4 марта (фактически еще позже, в середине марта 1790 г.). Беспрецедентная длительность пребывания в одном месте может быть сопоставлена лишь с краткостью и бессодержательностью писем этого периода. Карамзину решительно нечего делать в Женеве!

Сравним: за три года до Карамзина в Женеву приехал 22-летний П. А. Строганов со своим воспитателем, философом и математиком Жильбером Роммом. Строганов сразу же записался слушать лекции у нескольких

---

[1] Цит. по: *Тиандер К.* Датско-русские исследования. СПб., 1912. Вып. 1. С. 20.
[2] Там же. С. 48 и 65.
[3] Там же. С. 65—66.

профессоров. В первом же письме он сообщал отцу: «Мы здесь будем ходить на химические и физические курсы три раза в неделю». А через полгода он писал: «Мы здесь начали ходить в один астрономический курс; сия наука очень приятна, но и очень трудна; однако мы до сих пор с помощью господина Ромма все превозмогли» («мы», так как вместе с Павлом Строгановым курс наук проходил крепостной человек Строгановых, в будущем знаменитый архитектор Воронихин)[1].

Карамзин никаких курсов не посещал. Все, что мы знаем о Карамзине, свидетельствует о том, что он не был способен к бездеятельной жизни. Но и для уединенных мечтаний Женева была наименее пригодным во всей Швейцарии местом. Именно в это время в Женеве кипели политические страсти: влияние французских событий здесь сказывалось значительно сильнее, чем в других кантонах Швейцарии.

Присутствие Карамзина в Женеве 26 сентября 1789 г. и 14 марта 1790 г. засвидетельствовано его письмами к Лафатеру. Но был ли Карамзин между этими датами постоянным жителем Женевы? Не здесь ли следует искать два «пропавших» месяца его пребывания в Париже? По крайней мере, пример его датских друзей показывает, что 626 километров, отделявших Женеву от столицы Франции, не были непреодолимым препятствием. Ряд «дорожных эпизодов» в «швейцарском» разделе «Писем», звучащих откровенной литературой, позволяет, однако, предположить стоящие за ними какие-то реальные впечатления. Так, в письме из Базеля Карамзин описывает чувствительную сцену: почтенная пара — старик, кавалер ордена Св. Людовика (явная реминисценция из «Сентиментального путешествия» Стерна!), с женой — бросаются в объятия молодых людей. Это нашедшие друг друга дети и родители, бежавшие из Франции, из своего охваченного пламенем замка, спасаясь от восставших крестьян.

Вся сцена носит неприкрыто театральный характер, и вряд ли ее можно отнести к реальным дорожным впечатлениям. Однако *за ней* стоят впечатления вполне реальные и особенно актуальные для русского наблюдателя, для которого крестьянский бунт был перспективой значительно более близкой, чем третьесословная революция.

Отказ депутатов-аристократов от всех феодальных прав и отмена Национальной ассамблеей феодальных установлений, описывавшиеся публицистами тех дней в тонах римской гражданственности, протекали на фоне бурной аграрной революции. 18 августа 1789 г. газеты опубликовали специальное извещение от имени короля, в котором крестьян призывали не верить утверждениям «смутьянов», что сожжение замков и феодальных архивов совершается ими в согласии с намерениями короля. Через день был опубликован принятый 10 августа декрет Национальной ассамблеи «О восстановлении общественного спокойствия», также направленный против волнений в сель-

[1] *Николай Михайлович, вел. кн.* Граф Павел Александрович Строганов (1774—1817): Историческое исследование эпохи императора Александра I. СПб., 1903. Т. 1. С. 350 и 352.

ских местностях. Сообщениями об этом были полны газеты, они же, видимо, были предметом слухов и разговоров в Париже во время пребывания там Карамзина.

Еще более показателен другой эпизод. В письме с пометой «Лозана» Карамзин пишет: «Я завтракал у Г. Левада с двумя Французскими Маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о Парижских дамах, сказав, что некоторые из них, видя нагой труп нещастного дю-Фулона, терзаемый на улице бешеным народом, восклицали: *как же он был нежен и бел*! И Маркизы рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом!! У меня сердце поворотилось» (с. 154).

Хотя даты над лозаннским письмом нет, по общей логике оно должно относиться к концу сентября 1789 г. В дни, когда Кутузов (и, полагаем, Карамзин!) были в Париже, самосуд над Фулоном был одной из самых волнующих новостей и предметом всеобщих разговоров. Неукротимость народной ярости, от которой защитить Фулона оказались бессильны тогдашние кумиры Парижа Лафайет и Бальи, явилась первым раскатом грома, предвещавшего размах приближающейся грозы. Генеральный контролер финансов, человек, устанавливавший налоги, Фулон был ненавистен парижскому народу особенно за свои слова о том, что голодающие могут жрать сено. Толпа схватила Фулона, вырвала из рук властей, пытавшихся успокоить народ обещаниями законной расправы, и разорвала на куски. Его отрубленную голову со ртом, набитым сеном, носили по улицам Парижа. О потрясающем впечатлении этого самосуда свидетельствует то, что 28 июля газета «Journal Général de France» опубликовала официальную версию, которая должна была снять ответственность за происшедшее с новых, созданных после взятия Бастилии, властей. Сначала Лафайет выступил перед народом, заполнившим зал ратуши: «Ничто не может описать истину мыслей, изящество выражений, правдивость душевных движений — все средства красноречия, с помощью которых этот оратор-герой умел более двух часов торжествовать над этим многочисленным собранием». Но когда он выступил перед собравшейся на площади толпой, его голос заглушили шум и крики: «Площадь ничего не желала слушать»[1]. Фулон был взят силой и выволочен из ратуши, писала газета. Переписка современников отразила общественный шок, вызванный этим событием. Бабёф в письме невесте резко осудил самосуд, но обвинил в нем политику тиранов, превратившую народ в зверей. А Жильбер Ромм в письме Дюбрейлю оправдал народный гнев, но высказался все же в защиту законной судебной процедуры[2].

Когда Карамзин находился в Лозанне, гибель Фулона уже была устаревшей новостью. Ее заслонили новости более актуальные. Трудно представить себе, что парижские маркизы явились в Швейцарию, чтобы позволить Ка-

[1] Journal Général de France. 1789. N° 20, du mardi, 28 juillet. P. 374.

[2] *Galante-Garrone A.* Gilbert Romme. Storia di un rivoluzionnario. Ed. Einaudi, 1959. P. 214—215.

рамзину ввести этот эпизод в свою книгу. Вероятнее, что Карамзин вспоминал здесь толки, которые он слышал не в Лозанне, а в Париже.

Когда Карамзин обдумывал в Москве планы путешествия, как мы уже отмечали, Париж не занимал в них, видимо, выдающегося места. Никто не мог предвидеть, что через очень краткий срок Франция и ее столица из места паломничества щеголей и петиметров всего мира, центра тех удовольствий, которые мог богатый иностранец получить за зеленым сукном и у «нимф» Пале-Рояля или в театрах Бульвара, превратится в место, где испытываются и куются судьбы мира.

События не могли не повлиять на планы путешественника. Швейцария должна была смениться южной Францией или, может быть, Италией. Длительное пребывание в Женеве, возможно, говорит о колебаниях в выборе дальнейшего пути. Женева в этом отношении была особенно удобна: она позволяла совершать наезды в Париж и не порывать с планами, пока еще не отброшенными, южного путешествия.

Женевские знакомства открывали Карамзину возможность более глубокого проникновения в толщу парижских событий. Швейцарцы из Женевы и особенно Фрибурга находились в тесных связях со своими парижскими земляками. В 1790 г. в Париже возник Гельветический клуб, организованный Рулье и вдохновляемый Лустало[1]. В дни, когда Париж торжествовал возвращение швейцарца Неккера на пост главы правительства как победу революции над королевской властью, рекомендательное письмо из Швейцарии могло открыть многие двери. Особенно же существенными стали связи между швейцарскими и французскими протестантами: первые месяцы революции были временем ожесточенной борьбы за веротерпимость, отделение церкви от государства и признание за протестантами равных гражданских прав. В Париже споры кипели в Национальном собрании, на юге Франции они вышли на улицу, переходя местами в открытую гражданскую войну. Сторонники сохранения за католицизмом статуса государственной религии вошли в лагерь защитников старого порядка, защитники веротерпимости поддерживали революцию. Швейцария была традиционным убежищем кальвинистов, гонимых во Франции после отмены Нантского эдикта. Родственные и религиозные связи парижских и швейцарских протестантов могли также помочь молодому москвитянину проникнуть в гущу политической жизни Парижа.

В «Письмах» возникает образ путешественника, равнодушно взирающего на политические споры французов. — как скучающий зритель, он смотрит из партера на пьесу из совершенно чужой жизни. Большинство исследователей полагает, что это и есть истинное отношение Карамзина к парижским событиям в 1789—1790 гг.

---

[1] См.: *Méaudis A.* Le Club hélvétique de Paris (1790—1791) et la diffusion des idées révolutionnaires en Suisse. Thèse présentée à la Faculté de lettres de l'Université de Neuchâtel pour obtenir la grade de docteur des lettres. Neuchâtel, 1969; *Fazy H.* Genève de 1788 à 1792. Genève, 1917.

В 1982 г. сотрудница Ленинградского отделения Института истории АН СССР И. С. Шаркова обнаружила в фонде Жильбера Ромма рекомендательное письмо от женевца Кунклера Жильберу Ромму[1]. Документ этот важен. Приведем строки, посвященные Карамзину:

«Женева 10 марта <1790>

Сударь!

Пользуюсь отъездом г. Карамзина, москвитянина, чтобы Вам послать историческую справку о жизни и трудах проф. г. Верне, которая только что появилась. <...> Русский, который Вам ее передаст, — писатель, который был рекомендован моему отцу г. Лафатером. Я думаю, что он пробудет в Париже некоторое время. Мои родители берут на себя смелость Вам его рекомендовать».

Далее в письме содержатся приветы Павлу Строганову и вопросы о работе Национальной ассамблеи и об успехах революции[2].

Поскольку письмо находится в архиве Жильбера Ромма, то, как справедливо полагает И. С. Шаркова, оно было вручено адресату. Следовательно, свидание Карамзина и Ромма в Париже состоялось. О значении этой встречи речь пойдет ниже. Сейчас укажем лишь, что у нас нет оснований полагать, что письмо к Ромму было единственной рекомендацией, которой запасся Карамзин в Женеве. Если такие письма были — в чем, как мы увидим ниже, почти не приходится сомневаться, — следы их нужно искать в архивах деятелей Французской революции. Пока отметим лишь желание Карамзина получить «пропуска» в революционный лагерь. Отметим попутно, что к Канту, Виланду или Гёте он отправлялся без всяких рекомендаций, хотя, конечно, мог их легко получить в Москве, например, от того же Ленца.

В Лионе

Описание Лиона прекрасно показывает механизм превращения в «Письмах» Карамзина действительности в литературу. Еще женевские письма от-

[1] *Шаркова И. С.* Фонд Жильбера Ромма // Рукописные источники по истории Западной Европы в архиве Ленинградского отделения Института истории СССР. Л., 1982. С. 175.

[2] Архив Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН. Зап.-Европ. секция. Фонд Ж. Ромма. Ед. хр. 34/372. Л. 1—1 об.

разили планы путешествия по югу Европы: «Главное мое упражнение состоит теперь в том, чтобы рассматривать ландкарту и сочинять план путешествия. Мне хочется пробраться в южную Францию и видеть прекрасные страны Лангедока и Прованса» (с. 187). Рассматривание карты, конечно, подразумевает, что выбор еще не сделан, а также известную обширность планов: отправляясь на два-три дня в поездку по недалеким окрестностям, нанимают карету, не рассматривая карты.

Однако Карамзину не было суждено отправиться на юг: «Гробница нежной Лауры, прославленной Петрарком! Воклюзская пустыня, жилище страстных любовников! шумный, пенистый ключь, утолявший их жажду! я вас не увижу!.. Луга Прованские, где тимон с розмарином благоухают! не ступит нога моя на вашу цветущую зелень!.. Нимский храм Дианы, огромный Амфитеатр, драгоценные остатки древности! я вас не увижу! — Не увижу и тебя, отчизна Пилата Понтийского! не взойду на ту высокую гору, на ту высокую башню, где сей нещастный сидел в заключении; не загляну в ту ужасную пропасть, в которую он бросился из отчаяния! — Простите, места любопытныя для чувствительного путешественника!» (с. 210—211).

Слова «где тимон с розмарином благоухают» напоминают другие: «где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена» (повесть «Сиерра-Морена»)[1]. Повести «Сиерра-Морена» и «Остров Борнгольм», написанные одновременно в 1793—1794 гг., дают еще одну — романтическую версию странствий «русского путешественника», их крайнюю южную и крайнюю северную точки. Для нас этот замысел особенно интересен: он свидетельствует, что, по крайней мере в мечтах, Карамзин не исключал возможности посещения Испании. Однако, приспосабливая свои мечты и планы к сюжету «Писем», он сократил их до намерения посетить юг Франции.

Чем же был вызван отказ от планов, надежд и предположений? В «Письмах» мотивировкой служит чувствительная сцена. В Лионе путешественнику предстояло расстаться со своим датским другом: Беккер должен был ехать в Париж. «Несколько минут я сражался с самим собою, сидя в задумчивости перед камином. Любезный Датчанин разбирал между тем свой чемодан, в котором лежали некоторыя из моих вещей. *Вот твои книги*, говорил он — *твои письма — твои платки — возьми их! Может быть мы уже не увидимся.* — *Нет*, сказал я, встав со стула и обняв с чувствительностию Беккера, — *мы едем вместе*!» (с. 210).

Можно предположить, что в решении Карамзина участвовали и не столь трогательные мотивы. Юг Франции в эти дни был охвачен огнем. В Авиньоне, в окрестностях которого находится Воклюз — первый пункт намеченного Карамзиным маршрута, — произошла муниципальная революция. Авиньон, купленный в 1348 г. папой Клементом VI у герцогов Прованса, принадлежал папскому престолу до 1791 г., когда революция воссоединила его с Францией. Однако с 1789 г. в городе начались волнения. Был избран новый муници-

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 139.

палитет, который ввел двойную присягу — Отечеству и св. престолу, отменил инквизицию и пытался провести ряд других реформ. Папа отказался признать новый муниципалитет и его реформы. В городе началась гражданская война, увенчавшаяся присоединением его к Франции[1].

Карамзин собирался посетить Ним, но именно в эту пору в городе вспыхнули кровавые беспорядки. Конфликт между католиками и протестантами, спровоцированный правыми элементами, вылился в ряд кровавых инцидентов. Став жертвами расправ, протестанты Нима обратились за помощью к единоверцам из Женевы. Прибывшая из соседних городов (Бокера, Тараскона и др.) национальная гвардия пыталась остановить кровопролития. Кровавые столкновения происходили и в Марселе. Кроме кровопролитий на религиозной почве, юг был охвачен крестьянскими волнениями: горели замки, по дорогам бесчинствовали вооруженные отряды. Карамзин знал об этом, и, вероятно, не только сентиментальная дружба к Беккеру заставила его переменить планы путешествия.

Однако и в Лионе он не избегнул зрелищ, напоминающих, что он находится в стране, охваченной революцией. Вот как представлено дело в «Письмах»: «*Смотри! смотри!* закричал мой Беккер. Я бросился к окну и увидел, что вокруг ратуши толпится шумящий народ. Что это значит? спросили мы у слуги, который прибирал мою комнату. *Какое-нибудь новое дурачество*, отвечал он. Но я любопытен был знать это дурачество и вместе с Беккером пошел на улицу. У пяти или шести человек спрашивали мы о причине шума: но все отвечали нам: qu'en sais-je? (*почему мне знать?*) Наконец дело объяснилось. Какая-то старушка подралась на улице с каким-то стариком; понамарь вступился за женщину, старик выхватил из кармана пистолет и хотел застрелить понамаря; но люди, шедшие по улице, бросились на него, обезоружили и повели его... à la lanterne (на виселицу); отряд национальной гвардии встретился с сею толпою людей, отнял у них старика и привел в ратушу — вот что было причиною волнения! Народ, который сделался во Франции страшнейшим деспотом, требовал, чтобы ему выдали виновного, и кричал: à la lanterne» (с. 109).

А как обстояло все на самом деле? Свидетелем чего был Карамзин в Лионе 1790 г.? Лион сохранил до самого начала революции особую, сложившуюся в прошлом олигархическую форму правления: власть в городе находилась в руках трех консулов, представлявших наиболее богатые фамилии. Сформированная летом 1789 г. национальная гвардия была буржуазной по составу и поддерживала городское управление. 7 февраля 1790 г. произошли кровавые столкновения между народом и национальной гвардией. Народ захватил арсенал и вооружился. Между отрядами добровольцев «из хороших семей» и городским плебсом завязались подлинные бои, в результате произошли коренные перемены в городском самоуправлении: был избран новый муниципалитет, значительно более демократический по составу и на основах, принятых в

[1] См.: *Morin J.* Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789. Paris, 1845. T. 1. P. 147.

других городах Франции[1]. Карамзин представил лионскую ситуацию — гражданскую войну между народом и буржуазной национальной гвардией — в облегченно-курьезном виде. Однако вряд ли он воспринимал ее так сам. Его изложение подчинено общей задаче — отделить мирный процесс глубокого преобразования жизни, совершающийся во Франции (а в 1790 г. казалось, что этот процесс будет мирным и выльется в борьбу парламентских ораторов), от буйных проявлений улицы и бунтов плебса. К первому он относился хотя и с долей скептицизма, но безусловно положительно, ко второму столь же безусловно отрицательно. Однако ему было важно отделить для русского читателя эти две стихии одну от другой и не допустить их смешения. Одновременно Карамзин, как чуткий сейсмограф, хотя и смягчал характер событий, но точно указывал на их эпицентры. Другим таким эпицентром лионского напряжения был театр, и Карамзин повел своих читателей в лионский театр.

Историк Лиона времен революции пишет, что в результате аграрных волнений и кровавых событий в мелких городах юга Лион «увидел в своих стенах стечение толпы лиц, скомпрометированных связями со старым режимом или спасавшихся от взрывов народного гнева. Этот род внутренней эмиграции придавал определенным слоям лионского населения оттенок контрреволюционности. В общественных местах, гостиницах, за табльдотами, в кафе только и слышались что пересуды против нового режима. В театре, где эти легкомысленные пришельцы господствовали, этот дух, в связи с намеками на современность, содержащимися в пьесах, порождал шумные манифестации»[2].

Карамзин показывает нам ряд театральных сцен, служащих как бы иллюстрацией к этим словам и понятных только в связи с ними. Только зная положение, создавшееся в Лионе и вызывавшее конфликты между теми, кого Ж. Морен называет «легкомысленными пришельцами» («ces étrangérs oisifs»), и демократической публикой, заполняющей партер, можно понять страницы «Писем» Карамзина.

В театральной зале Карамзин, прежде всего, отмечает отсутствие почтения народного зрителя к публике «из хороших семей»: «Необыкновенная вольность удивила меня. Естьли в ложе или паркете («паркет» — отгороженная передняя часть зрительной залы, в которой ставились кресла и которая считалась привилегированным местом; за паркетом находился партер, в котором стояли и места в котором были дешевы. — *Ю. Л.*) какая нибудь дама вставала с своего места, то из партера кричали в несколько голосов: *садись! прочь!* à bas! à bas! Вокруг нас было не много порядочных людей, и для того уговорил я Беккера итти в паркет» (с. 195). Затем Карамзин вводит

[1] *Motléon A. Q. de.* Mémories pour servir à l'histoire de la ville de Lyon pendant la Révolution. Paris, 1824. T. 1. P. 51; *Charléty S.* Histoire de Lyon depuis les origines jusqu'à nos jours. Lyon, 1903. P. 195—206; *Steyert A.* Nouvelle Histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais—Forez—Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes. Époque moderne. Lyon, 1899. T. 3. P. 432—472.

[2] *Morin J.* Op. cit. T. 1. P. 148—149.

двух щеголей, едущих из Парижа, но сами они — что особо оговаривается — не лионцы, а жители Лангедока. Это и есть те аристократические беглецы из охваченных волнениями провинций юга, нашествие которых придает контрреволюционный налет лионскому обществу. Соединение традиционной маски петиметра с чертами защитника старого режима показывает не только знакомство Карамзина с памфлетной публицистикой и карикатурами тех дней (об этом речь пойдет ниже), но и говорит о художественном использовании им этой, революционной по своей природе, литературы.

«*Один.* Куда вы едете?

Я. В Париж.

Другой. В Париж? Браво! браво! Мы сей час оттуда. Что за город! А, государь мой! Какия удовольствия вас там ожидают! удовольствия, о которых здесь в Лионе не имеют понятия. Вы конечно остановились в Hotel de Milan? и мы там же. (*Своему товарищу.*) Mon ami, nous partons demain? (Мы завтра поедем?)

Один. Qui.

Другой. Правда, надобны деньги — — —

Один. Что ты говоришь! Руские все богаты как Крезы; они без денег в Париж не ездят. <...>

Один (*просыпаясь*). Браво, браво, Вестрис! (*стучит палкою в декорацию*). Он первый танцовщик во вселенной! (*Задумывается и вздыхает*). Умирая, могу сказать, что я наслаждался жизнью; все видел — — —

Другой. Все видел и все испытал! Примолви это, мой друг! ха! ха! ха!

Один. Mais qui, qui! Правда! — Вы верно знаете того Руского Графа, который нынешнюю зиму провел в Монпелье?

Я. Графа Б..? по слуху.

Один. Он у меня обедал в загородном доме. Brave homme! (*Задумывается и храпит*)» (с. 196—197).

Весь разговор этот тем более интересен, что он очевидно вымышлен. Русский граф Б... — это, конечно, побочный сын Екатерины II Алексей Григорьевич Бобринский, который, находясь в Париже, по словам известного Е. Ф. Комаровского, «вел жизнь развратную, проигрывал целые ночи в карты и наделал множество долгов»[1]. Кроме того, что само упоминание это было крайне неприятно Екатерине II[2], болезненно переносившей скандальное поведение своего «сына любви», к которому она никаких материнских чувств не питала (вообще это чувство, видимо, было ей незнакомо), подобный разговор попросту был невозможен: граф Бобринский не мог обедать «нынешней» (то есть 1789/90 г.) зимой у лангедокского щеголя, так как Екатерина II, выведенная из терпения его мотовством и скандалами, вытребовала

---

[1] *Комаровский Е. Ф.* Записки. С. 10.

[2] Видимо, с целью цензурной маскировки Б<обринский> назван здесь графом: этот титул он получил позже. Однако никакой другой расшифровки аббревиатуре Б, которая соответствовала бы данному контексту, привести нельзя. Речь явно идет об очень известном лице: путешественник узнает его, хотя французы не назвали фамилию, и называет ее сам.

его в 1788 г. домой и безвыездно заперла в Ревеле. Упоминание это нужно Карамзину, чтобы традиционной сатирической маске щеголя придать злободневное звучание и определенный социальный колорит.

Театральные соседи Карамзина включили в поток своих штампованно-сатирических речей, доставшихся им от литературной традиции XVIII в., признаки времени: они болтают и передают пустые слухи о революционных событиях:

«*Один.* Граф Мирабо имел дело (то есть дуэль. — *Ю. Л.*), сказывают — —

Другой. С Маркизом — —

Один. За что?

Другой. Маркиз зацепил его за живое в Национальном Собрании» (с. 196).

Тема театральной болтовни двух щеголей была волнующей: она касалась распри и взаимной ненависти двух кумиров Парижа этих дней: Лафайета и Мирабо. Лафайет, окруженный ореолом героя американской революции, соединявший утонченность аристократа, свободомыслие ученика просветителей XVIII в. и славу защитника свободы, поставленный первыми волнами революционной бури во главе национальной гвардии, как бы олицетворял для Парижа 1789—1790 г. союз Свободы и Порядка, столь привлекательный для тех, кто считал, что революция уже сделала свое дело и пора остановиться. Личная честность, безупречное следование принципам морали так же, как и аристократическая опрятность одежды, привлекали сердца парижан к этому, по сути дела, ограниченному человеку и совершенно бездарному политику. Прямо противоположной фигурой был маркиз Габриэль Оноре-Рикети де Мирабо. Сын известного экономиста, соединявшего в своем лице философа XVIII в. и феодального тирана-сеньора, он долгие годы волей отца-феодала просидел в тюремной камере, бежал, был вновь арестован и вновь заключен на годы в крепость, прославился как публицист — автор скандальных обличений всех европейских монархов (Екатерина II находила, что он «не единой, но многие висельницы достоин») и только в дни революции нашел применение своим гениальным способностям, своему неукротимому честолюбию и столь же неутолимой жажде наслаждений. Рябой, неопрятный в одежде, вульгарный в обращении, он сумел, однако, стать первым из плеяды гениальных ораторов, выдвинутых революцией и открывших секрет колебать мир словом. Своим «львиным ревом» (Пушкин) он потрясал стены Национальной ассамблеи и сердца всей Европы. В первом революционном форуме Франции он был передовым бойцом революции. Именно он наносил самые страшные удары старому режиму и его защитникам. И одновременно это был чёстолюбец, глубоко захваченный коррупцией, ведший тайные переговоры с двором и упорно рвавшийся к власти и деньгам: он любил роскошь, и долги его душили. Он умер вовремя, и его похоронили как героя Свободы. В период диктатуры Неподкупного его голова украсила бы не Пантеон, а гильотину.

Условная форма беседы случайных знакомых позволила Карамзину включить в текст «Писем» слухи и разговоры — устную стихию истории. К ней Карамзин прислушивался с интересом. Никакой дуэли между Мирабо и

Лафайетом не было, но передававшиеся из уст в уста слухи не были полностью безосновательными: несмотря на попытки скрыть от публики подлинную сущность их отношений, Мирабо и Лафайет не могли утаить взаимной неприязни. Попытки образовать тактический блок в борьбе за власть не увенчались успехом. Осенью 1789 г. Лафайет предложил Мирабо пост посла и пятьдесят тысяч ливров на уплату долгов. Мирабо деньги принял, но от посольства отказался, надеясь занять более высокое кресло — жажда министерского портфеля заставила народного трибуна войти в весьма сомнительные отношения с двором.

Письменные источники сохранили множество слухов о вражде Лафайета и Мирабо. Лафайету приписывали слова: «Я победил мощь короля Англии, власть короля Франции, ярость народа — мне ль отступать перед Мирабо»[1]. Мирабо насмешливо прозвал Лафайета «Кромвель-Грандиссон», намекая на стремление играть одновременно две роли: революционного диктатора и сентиментального героя добродетели. Сам Мирабо «уж верно был не Грандиссон». В салонах повторяли такой разговор между Мирабо и Лафайетом:

«— Я знаю, г-н Мирабо, что вы мой давний враг!

— Если вы в этом убеждены, г-н Лафайет, что ж вы до сих пор не приказали меня убить?»[2]

В театральной сцене, нарисованной Карамзиным, имеется деталь, проходящая мимо внимания современного читателя: случайные собеседники автора хотя и превозносят танцевальные таланты Вестриса, неожиданно резко отзываются о нем в целом: «Жаль, что он превеликая скотина. Я его знаю» (с. 196). Это тем более бросается в глаза, что тут же сообщается о величайшем энтузиазме, который вызывает парижский танцовщик у лионского плебса: «Энтузиазм был так велик, что в сию минуту легкие Французы могли бы провозгласить Вестриса своим Диктатором» (с. 438). В дальнейшем Карамзин смягчил эту решительную формулировку, вставив при переизданиях осторожное «могли бы, думаю, провозгласить...» (с. 198).

Современный нам читатель видит в этих словах лишь иронию: танцовщика за легкость ног («прыгал как резвая коза» — с. 195) готовы произвести в политики и государственные деятели. Однако современники Карамзина не только в Париже, но и в России имели основания понять скрытый смысл этих слов: знаменитый танцор Мари-Огюст Вестрис-Аллар (известный также как Вестрис-сын) прославился не только легкостью ног и изобретением пируэтов и сложных антраша. Он снискал популярность Парижа, первым превратив балет из «королевского зрелища» в «зрелище для народа». Осенью 1788 г. он демонстративно отказался танцевать для коронованных шведских гостей королевы. Отказавшись выполнить приказ, а затем и личную просьбу Марии Антуанетты, он был подвергнут аресту и по приказу короля полгода просидел в тюрьме[3]. Освобожденный после решительных народных протестов, Вестрис сделался видной фигурой не только художественной, но и полити-

[1] *Bardoux A.* La jeunesse de la Fayette, 1752—1792. Paris, 1892. P. 292—293.

[2] *Rousselot J.* La vie passionée de la Fayette. Paris, 1957. P. 202.

[3] См. об этом: *Lifar S.* Auguste Vestris, le dieu de la dance. Paris, 1950.

ческой жизни Франции, сцена, описанная Карамзиным, — один из примеров тех «шумных манифестаций», о которых говорит Ж. Морен.

Когда Карамзин издавал полный текст «Писем», он знал уже и дальнейший путь Вестриса. Ему было известно — поскольку об этом сообщалось в европейской прессе, за которой Карамзин пристально следил, — что Вестрис принял активное участие в ряде художественных начинаний революции, сделался кумиром санкюлотов, танцевал карманьолу не только на балетных подмостках, но и под окнами заключенной в Тампль Марии Антуанетты. Он не вычеркнул этой сцены, передающей атмосферу Лиона весной 1790 г., однако политический смысл имени Вестриса ему был понятен. Недаром, переиздавая в 1803 г. стихотворение «Филлида», написанное в 1790-м и содержавшее строки:

Прыгунья Терпсихора,
Как Вестрис, пред тобою
Пляши, скачи, вертися... —

он предпочел их исключить явно из цензурных соображений.

Карамзин ввел в театральный мир своего Лиона еще один эпизод — постановку пьесы М.-Ж. Шенье «Карл IX, или Варфоломеевская ночь». По имеющимся у нас — к сожалению, неполным — сведениям, Карамзин мог действительно видеть эту пьесу в Лионе. Не будем, однако, забывать, что Мольтке и Баггесен (может быть, и Карамзин?) видели ее в Париже. Наконец, постановка этой пьесы была столь важным событием в общественной и театральной жизни Франции, вызывала столь шумные толки, что автор «Писем» мог посмотреть ее дважды.

Включение эпизода с пьесой М.-Ж. Шенье именно в лионские письма имело глубокий смысл. «Карл IX» был одним из наиболее ярких явлений театра революции, и нам еще придется вернуться к нему. Сейчас отметим лишь один, исключительно важный для Карамзина, аспект: в пьесе Шенье старый режим представлен в двух лицах — королевского деспотизма и религиозного фанатизма. Причем именно этот последний — наиболее активный носитель зла старого мира. Такая точка зрения, восходившая к Вольтеру и просветителям XVIII столетия, была близка Карамзину: терпимость и гуманность для него — основы человеческого общежития. Однако эти общефилософские вопросы получали особый смысл в условиях реальной ситуации французского юга первых лет революции. Вспышки нетерпимости и фанатизма, активная роль католической церкви в защите феодальных установлений, кровавые эксцессы, развертывавшиеся перед глазами Карамзина, придавали «Карлу IX» в Лионе в 1790 г. особую, местную, актуальность.

Не случайно в центр лионского эпизода Карамзин поставил посещение путешественником госпиталя. Огромный госпиталь был одной из муниципальных достопримечательностей Лиона, предметом гордости горожан. Для Карамзина он становится символом гуманности и взаимопомощи людей, особенно важным в атмосфере насилия и ненависти, окружающих путешественника в Лионе.

В письмах из Лиона содержится еще один привлекающий внимание эпизод: посещение скульптора, который до приезда во Францию «в Италии образовал

В тексте «Писем» приложено много усилий для того, чтобы представить пребывание в Париже увеселительной прогулкой беспечного вояжера. Попытаемся, насколько это возможно и ни на минуту не теряя из виду гипотетического характера наших реконструкций, все же восстановить биографическую реальность пребывания Карамзина в Париже.

Мы уже знаем, что в Женеве Карамзин запасся рекомендательным письмом к Жильберу Ромму. Свидание Карамзина с Роммом и, бесспорно, с Павлом Строгановым состоялось.

Какие впечатления мог Карамзин вынести из этой встречи? Кто встретил Карамзина, когда он переступил порог парижского дома Жильбера Ромма?

Мы уже говорили, что Жильбер Ромм был ученый математик и суровый республиканец. Это была одна из натур, взращенных эпохой «соединения теории с практикой, умозрения с деятельностью». А это — люди, для которых идеи просветителей не были уже открытиями, потрясающими своей новизной. Для них это были истины, вошедшие в плоть и кровь, истины, естественные, как дыхание. Более того, принципы свободы и равенства, римской гражданственности, чести и героизма для них перестали быть книжными абстракциями. Подражание Бруту или Гракхам сделалось нормой каждодневного поведения. Но в толпе деятелей революции, среди которых были титаны и пигмеи, «апостолы свободы» и «духовники гильотины», неподкупные и весьма даже подкупные, герои-стоики и честолюбцы-сибариты, рыцари человечества и кровожадные любители звонкой фразы, Ромм выделялся твердостью принципов и какой-то младенческой чистотой души. Античный идеал гражданина, принципы стоика и характер героя соединялись в его личности с редкой мягкостью. Ум ученого и душа древнего римлянина каким-то чудом умещались в его слабом и небольшом теле с крупной головой и высоким лбом. Он был добр и обаятелен — всю жизнь его окружала атмосфера дружеской откровенности и свободы. Приняв приглашение отправиться в далекую Россию воспитателем Павла Строганова — сына богача и вельможи барона Александра Строганова, — он сумел поставить себя в доме магната не как наемный учитель-француз, а как равный, как античный мудрец или идеальный воспитатель из «Эмиля» Руссо, взявшийся по дружбе образовать человека из ребенка, отданного ему в полное и безотчетное распоряжение.

С начала революции мы видим Ромма и его воспитанника в Париже, в самой гуще событий, участниками штурма Бастилии и пламенными сторонниками наступившей эпохи[1].

---

[1] О Жильбере Ромме см.: *Николай Михайлович, вел. кн.* Указ. соч. Т. 2; *Galante-Garrone A.* Gilbert Romme. Storia di un revoluzionario; *Holbrook William C.* Tisso, premier historien des derniers Montagnard // Annales de la Révolution Française. Paris, 1937. Ò. 40. P. 448—459; *Perroud.* Gilbert Romme en 1790 et 1791 // La Révolution Française. Paris, 1910. Ò. 59. P. 522—530; *Vissac M. de.* Un Conventionnel du Puy de Dôme, Romme, le Montagnard. Clermont- Ferrand, 1883; Gilbert Romme (1750—1795) et son temps // Actes du colloque tenu à Riom et Clermont les 10 et 11 juin, 1965. Presse Universitaire de France. <Paris> 1966.

В начале 1790 г. Ромм организовал общество «Друзей закона». «Одним из главных заданий общества, — как оповещало оно в своей программе, — будет знакомить публику с работами Национальной ассамблеи», «следовать день за днем за ее трудами», обращая особое внимание на споры «о свободе печати и слова»[1]. Ромм рассматривал посещение заседаний Ассамблеи как практический курс политической науки для своего воспитанника, который отказался от фамильного имени и титула и принял «революционное» — гражданин Отчер (по названию одной из уральских деревень Строгановых). 8 сентября 1789 г. Ромм писал Дюбрейлю: «С некоторых пор мы самым точным образом посещаем заседания Национальной Ассамблеи. Она мне кажется превосходной школой прав для Отчера, который проявляет к ней живейший интерес. Она заполняет наши беседы. Образование, которое мы получаем в ее стенах, касается всех сторон и всех великих вопросов политической конституции. Она столь сильно поглощает все наше внимание, что какие-либо другие занятия нам сделались почти невозможными»[2]. Чтобы представить себе атмосферу дома, в который вошел Карамзин, приведем письмо, которым Павел Строганов в ноябре 1790 г. отвечал Демишелю, гувернеру его двоюродного брата, предупреждавшему «Отчера» из Петербурга об опасности его парижских увлечений:

«Сударь, я только что получил письмо, которое Вы написали г. Ромму. Хотя вы заявили, что все, что вы пишете, это только лишь предположения, они достаточно основательны для того, чтобы мы предприняли все, что в наших силах, чтобы предотвратить готовую разразиться грозу. Вследствие этого мы принимаем официальное предложение, которое вы нам делаете. Вы пишете в своем письме, что я обвиняюсь в том, что я, вместе с некоторыми русскими, подписал письмо в Национальную ассамблею с просьбой предоставить нам место в амфитеатре на празднике Федерации, и прибавляете, что если обвинение окажется обоснованным, въезд в Россию мне будет запрещен. Обвинение ложно, так как я узнал о существовании адреса только после того, как он был прочитан у решетки Национальной ассамблеи[3]. Если же избирают этот предлог за неимением других, то их вполне достаточно: я член якобинского клуба, дважды я участвовал в депутациях у решетки Национальной ассамблеи <...>, я присутствовал почти на всех заседаниях Национальной ассамблеи и протоколировал их и вообще все мое поведение с момента начала Революции (Строганов пишет это слово с большой буквы. — *Ю. Л.*) слишком ясно обозначает мой образ мыслей. Итак, если хотят меня окончательно обвинить, то оснований для этого достаточно». Далее Строганов пишет, что, хотя он всей душой предан принципам революции, но ясно понимает их неприменимость на своей родине. Но в равной мере он и не видит там для себя поприща. Поэтому он готов, отказавшись от

[1] *Galante-Garrone A.* Gilbert Romme et les débuts de la Société des «Amis de la loi» // Gilbert Romme et son temps. P. 95—96.

[2] *Galante-Garrone A.* Gilbert Romme. Storia di un revoluzionario. P. 219.

[3] Место, с которого народные и общественные депутации подавали петиции в Национальную ассамблею.

своего имущества в России, остаться во Франции, чтобы зарабатывать себе хлеб своим трудом[1].

Замыслы эти не осуществились: отец Строганова, по категорическому требованию Екатерины II, прислал за ним кузена Новосильцева, который увез «гражданина Отчера» подальше от парижской заразы. Пути Строганова и Ромма разошлись. Строганова ждали дружба с наследником императора Павла Александром Павловичем, участие в Негласном комитете и «республиканских мечтах» «дней Александровых прекрасного начала», сражения с Наполеоном и пышные похороны в день, когда молодой Пушкин, окончив Лицей, впервые самостоятельным человеком прибыл в Петербург. Смерть Ромма была столь же сурово-героической, как и его жизнь. Активный участник якобинского правительства (он был членом Комитета образования и просвещения), он стал «последним монтаньяром», принял участие в неудачной попытке «прериальского восстания» (1795), был вместе с другими обвиняемыми приговорен к смертной казни. Свое последнее слово на суде он закончил восклицанием: «Я пролью свою кровь за Республику, но я не доставлю тиранам этого удовольствия»[2]. Все обвиняемые по этому делу покончили с собой, по очереди передавая друг другу один и тот же тайком пронесенный в тюрьму кинжал.

Легко можно представить себе, что́ Карамзин мог услышать от Ромма, Павла Строганова, Воронихина и других членов кружка «Друзей закона» (на заседаниях кружка Карамзин должен был видеть знаменитую «деву Революции» Теруань де Мерикур, которая была «архивариусом» общества и в которую был влюблен Строганов).

По крайней мере, нет сомнений, что здесь Карамзин мог получить подробные сведения о работе Ассамблеи и завязать знакомства в этом — весьма его интересовавшем — мире.

Было ли письмо к Ромму единственным? Запасся ли Карамзин в Швейцарии еще какими-либо рекомендациями? Последнее предположение весьма вероятно.

В тексте «Писем» дана следующая картина того, как рассказчик попал в Национальное собрание. Напомним, что эпизод этот помечен неопределенной датой «Июня... 1790» и помещен в 127-е письмо, которым завершается пребывание путешественника в Париже. Таким образом, у читателей создается впечатление, что, осмотрев все достопримечательности французской столицы, побывав в Пале-Рояле и театрах, побродив по бульварам и историческим местам в окрестностях Парижа, путешественник лишь напоследок из любопытства забрел в Национальное собрание.

«Скажу вам нечто о Парижском Народном Собрании, о котором так много пишут теперь в газетах. В первый раз пришел я туда после обеда; не знал места, хотел войти в большие двери вместе с Членами, был остановлен часовым, которого никакия просьбы смягчить не могли, и готовился уже с

---

[1] *Николай Михайлович, вел. кн.* Указ. соч. Т. 2. С. 301—302.
[2] Gilbert Romme et son temps. P. 199.

досадою воротиться домой; но вдруг явился человек в темном кафтане, собою очень некрасивый; взял меня за руку, и сказав: allons, Mr., allons! ввел в залу. Я окинул глазами все предметы <...>. Наконец тот самый человек, который ввел меня (к этому месту Карамзин сделал примечание: «Это был Рабо Сент-Этьен». — *Ю. Л.*), подошел к Президентскому столу, взял колокольчик, зазвонил — и все, закричав: *по местам! по местам!* разбежались и сели« (с. 317). Описанная Карамзиным сцена не могла произойти по очень простой причине: действие у Карамзина совершается в июне, когда он покидал Париж, а председателем Национальной ассамблеи оказывается Рабо Сент-Этьен. Однако Рабо Сент-Этьен председательствовал в Ассамблее с 16 по 30 марта 1790 года[1]. Карамзин приехал в Париж, видимо, 27 марта. Следовательно, он буквально прямо из кареты должен был броситься в зал Ассамблеи, чтобы попасть на заседание, в котором председательствовал Рабо Сент-Этьен. Видимо, так оно и было. Можно, однако, сомневаться в том, что встреча его с председателем Собрания была случайностью, а не назначенным свиданием. Рабо Сент-Этьен в 1789—1790 г. был весьма видной фигурой. Известный исследователь Французской революции А. Олар в книге «Ораторы Революции. Конституанта» (1905) включает Рабо Сент-Этьена в список 14 наиболее популярных ораторов вместе с Бальи, Барнавом, Мирабо, Робеспьером, Сийесом и др. Родом из Нима на юге Франции, Рабо Сент-Этьен происходил из протестантской семьи. Борьба за веротерпимость была делом его жизни. Олар дает ему такую характеристику: «Рабо Сент-Этьен прибыл в Генеральные Штаты, уже имея устойчивую репутацию человека красноречивого и героического. Его исследования религиозных войн, „Письма к Бальи о первоначальной истории Греции" и особенно его „Рассмотрение прав и обязанностей третьего сословия" дали ему имя среди писателей и политиков»[2]. Далее тот же автор пишет, что в отчаянную минуту начала революционных событий, «когда Ассамблея была отдана на произвол штыков, он проявил спокойное мужество, уверенность невозмутимую в сочетании с постоянной улыбкой. Он казался специально рожденным и созданным для того, чтобы предложить клятву против тирании в зале для игры в мяч. Он имел счастье и славу увенчать свои усилия, заставив Ассамблею одобрить принцип свободы совести»[3].

Карамзин не мог присутствовать на заседании 23 августа, на котором Рабо Сент-Этьен произнес громовую речь против религиозной нетерпимости и требовал свободы мнений и равенства для граждан любых вероисповеданий. Однако вопрос этот Карамзина глубоко волновал, и нет сомнений, что он прочел в газетах изложение этой речи.

Как кальвинист и защитник политических прав протестантов, Рабо Сент-Этьен был связан с либеральными кругами в Женеве, и более чем вероятно, что Карамзин явился к нему с рекомендательным письмом в кармане.

---

[1] См.: Oeuvres de Rabaut St.-Étienne. Paris, 1826. T. 2. P. 412—413.

[2] *Aulard A.* Op. cit. P. 432.

[3] Ibid. P. 433.

Если Карамзин отправился в Национальное собрание сразу по приезде в Париж, если находившиеся в Париже русские, с которыми он столкнулся, не пропускали в эти месяцы ни одного заседания, то мы вправе предположить, что путешественник посещал Ассамблею многократно.

Имеет смысл попытаться восстановить, что же он мог там услышать.

Весна — лето 1790 г. были временем относительно мирного развития событий в Париже. Всего за несколько дней до приезда Карамзина в Париж, 23 марта Павел Строганов в письме успокаивал отца: «Почти вся Европа в беспокойстве, а мы здесь в превеликом мире»[1]. Король присягнул конституции и, как могло показаться, собирался добросовестно выполнять обязанности конституционного монарха. В начале 1790 г. Радищев издал брошюру «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», которая заканчивалась известным отрицанием совместимости суверенных прав народа и самого факта существования самодержавной власти. Радищев решительно отрицал возможность мирного перехода от деспотизма к народовластию: «Нет и доскончания мира, примера может быт<ь> не будет чтобы Царь упустил добровольно что ли из своея власти, седяй на Престоле»[2]. «Письмо к другу» Радищев написал в начале 1780-х гг. (после 7.VIII. 1782 — даты открытия фальконетовского памятника Петру, чему посвящено «Письмо»). Публикуя процитированные выше строки в 1790 г., Радищев добавил к ним примечание: «Если бы сие было написано в 1790 г., то пример Лудовика XVI дал бы сочинителю другие мысли»[3].

Таким образом, даже Радищев в эти дни допускал возможность мирного развития событий и чистосердечного превращения христианнейшего короля в конституционного монарха французской нации.

Одновременно и Учредительное собрание, казалось, овладело ходом событий, взяв в свои руки народные общества и стихийное возмущение парижан. Имена Лафайета и Мирабо, несмотря на нападки Марата, еще ассоциировались с революцией. Силы, стремившиеся толкнуть события резко вправо или влево, до «бегства в Варенн» действовали за кулисами. Париж кипел от дебатов в Собрании и клубах, от брошюр и листовок. Однако казалось, что эти споры перерастут в «нормальные» парламентские прения, а не в эксцессы насильственных действий. Конечно, это был не мир, а перемирие: бежавшие за границу эмигранты посылали народу Франции проклятья и грозили повторением варфоломеевской ночи. Маркиз де Фаврас — эмиссар эмигрировавшего графа Прованского (будущего Людовика XVIII) и доверенное лицо королевы — плел заговор с целью похищения короля. В Париже шептали, что Мирабо, подкупленный деньгами Марии Антуанетты, был причастен к заговору. В мае 1790 г. вернулся из Лондона, куда он вынужден был бежать после того, как опубликовал памфлет против Неккера, Марат. Он сразу же начал энергичную кампанию по разоблачению связей Мирабо со двором.

---

[1] *Николай Михайлович, вел. кн.* Указ. соч. Т. 2. С. 360.

[2] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 151.

[3] Там же.

«Дело Марата», когда Байи и Лафайет, нарушая свободу слова, подвергли «друга народа» угрозе ареста и тюремного заточения, получило широкий отклик не только в Париже, но и в России. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» в главе о цензуре писал о «несообразности разума человеческого»: «Мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их Государь, насильственно взяли печатную книгу, и сочинителя оной отдали под суд, за то что дерзнул писать против народного собрания. Лафайет был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей»[1].

Карамзин, видимо, не был во время «дела Марата» в Париже, однако круг его знакомств оказался причудливо переплетен с теми, от кого он мог получить самую полную информацию об этом, взволновавшем Радищева, эпизоде.

Сразу же по прибытии в Париж Карамзин отправился к «Брегету, который живет не далеко от Нового мосту» (с. 215). Сюда ему присылали письма и деньги. Выбор такого комиссионера не случаен: известный часовой мастер Бреге был швейцарцем из Невшателя, жена его — уроженка Женевы, и естественно было договориться в Швейцарии, чтобы именно сюда пересылали корреспонденцию «русского путешественника». Видимо, к Бреге у Карамзина были рекомендательные письма.

Однако именно он, этот Абрам-Луи Бреге, был не только земляком, но и близким другом и душеприказчиком Марата. Во время январских преследований он спрятал Марата в своем доме (именно том, куда направился Карамзин сразу же, как попал в Париж), а потом, переодев «друга народа» в женское платье, вывел его сквозь патрули национальной гвардии[2]. В мае об этом уже можно было рассказывать.

При попытках реконструировать впечатления Карамзина от посещения Национального собрания необходимо учитывать следующее: «Московский журнал» прекратился прежде, чем Карамзин дошел до парижских сцен. Впервые «парижские письма» были пересказаны в авторецензии «Le Spectateur du Nord». Здесь читаем: «Наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальном собрании, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори, глядя на них, как на Ахиллеса и Гектора» (с. 453). В тексте русского издания, появившегося лишь в 1801 г., эпизод изложен так, чтобы предельно снизить его значение: «...в другой раз высидел <я> в ложе 5 или 6 часов, и видел одно из самых бурных заседаний. Депутаты Духовенства предлагали, чтобы Католическую Религию признать единственною или главною во Франции. Мирабо оспоривал, говорил с жаром, и сказал: „я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медицис стрелял в Протестантов!“ Аббат Мори вскочил с места и закричал: „вздор! ты отсюда не видишь его“. Члены и зрители захохотали во все горло.

[1] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 347.

[2] См.: *Марат Ж. П.* Избр. произведения. М., 1956. Т. 2. С. 290; *Chapuis L. O.* Bréguet pendant la Révolution. Neuchâtel, 1953.

Такия непристойности бывают весьма часто. Вообще в заседаниях нет ни малой торжественности, никакого величия; но многие Риторы говорят красноречиво. Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор» (с. 318—319).

Из этих цитат следует сделать вывод, что Карамзин был на знаменательном заседании 13 апреля 1790 г., во время которого обсуждались претензии католического клира на прерогативы государственной церкви Франции. Именно на этом заседании Мирабо произнес одну из своих самых блистательных речей. В заключительной главе «Путешествия из Петербурга в Москву» (не позже ноября 1789 г.) Радищев писал: «Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, изторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его ожидает плескание рук или посмеяние горшее самыя смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие»[1]. Отрывок этот вызвал особенное раздражение Екатерины II, которая заметила на полях книги: «Тут вмещена хвала Мирабо, который не единой, но многие висельницы достоин». Екатерина считала Мирабо своим личным оскорбителем. Еще до начала революции русский посол в Париже, ограниченный и исполнительный дипломат эпохи кабинетных интриг Симолин с ужасом доносил Безбородко о книге Мирабо «Секретная история берлинского двора»: австрийский император «назван коронованным палачом и унижен ужасным образом. Прусский король выставлен самым большим дураком. <...> Его [Мирабо] перо, полное желчи и всякой мерзости, не пощадило даже лица, занимающего самое высокое положение»[2]. «Лицо» это, то есть Екатерина II, отплатило Мирабо взаимной ненавистью. Понятно, какой характер принимало всякое упоминание его имени в русской печати, даже в период, когда бурный поток революционных событий отодвинул имя Мирабо в тень. Поклонник «самого большого дурака» — прусского короля — и патологический враг Французской революции Павел I также не имел причин хорошо относиться к Мирабо. Естественно, что хвалить Мирабо в русской подцензурной печати, даже как красноречивого оратора, ни при Екатерине, ни при Павле было невозможно. Очевидно, что осторожные слова о том, что «многие Риторы говорят красноречиво», относятся, в первую очередь, к Мирабо. В речи 13 апреля 1790 г. Мирабо обрушился на средневековый фанатизм и церковную исключительность, в защиту свободы совести. Зная отношение Карамзина к этим вопросам, нельзя сомневаться в его сочувствии оратору. Речь эта запомнилась Карамзину настолько, что через несколько лет, скорее всего по памяти, он смог ее довольно близко пересказать. Отвергая ссылку на отмену Нантского эдикта Людовиком XIV как на юридическую и историческую основу прав католической церкви, Мирабо сказал: «Я считаю, что воспоминания о том, что

[1] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 387.
[2] Лит. наследство. 1937. Т. 29/30. С. 389.

творили тираны, не могут служить образцом для представителей народа, желающего быть свободным. Но поскольку в данной связи прибегли к ссылкам на историю, я тоже позволю себе одну: вспомните, господа, что отсюда, с этой самой трибуны, на которой я сейчас говорю, я вижу то окно дворца (глаза и жест рукой указывают направо), из которого заговорщики, подменяя своими корыстными интересами самые священные интересы религии, вложили в руки слабого короля роковой мушкет, давший сигнал варфоломеевской резне»[1].

Но выступление Мирабо касалось не только свободы совести: в Париже говорили о том, что придворная камарилья готовит новую варфоломеевскую ночь патриотам. Угроза расправы нависла над Генеральными штатами с того самого момента, когда они выказали непокорность. Именно тогда образ варфоломеевской ночи обрел актуальность. Еще 12 июля 1789 г. в своей знаменитой речи в Пале-Рояле Камилл Демулен крикнул собравшейся толпе: «Может быть, уже в эту ночь они замышляют или даже уже организуют варфоломеевскую ночь для патриотов!»[2] Когда Национальная ассамблея, окруженная войсками и, как казалось, обреченная на гибель, в ночь на 14 июля 1789 г. с тревогой ожидала новостей из Парижа, а во дворце королева и принцы устроили бал для офицеров контрреволюционных полков и из казарм неслись песни швейцарских гвардейцев, которых поили придворные, Мирабо, напутствуя делегацию Собрания к королю, сказал: «Такова была прелюдия к варфоломеевской ночи»[3]. Карамзин уже видел «Карла IX» М.-Ж. Шенье, и именно эта сцена — подготовка варфоломеевской ночи — его потрясла более всего. В апреле 1790 г. образы придворно-клерикального заговора, слабого короля, уступающего давлению заговорщиков, резни, учиненной фанатиками, вызывали не только религиозные, но и политические ассоциации. Карамзин сидел в зале Ассамблеи, дышал ее наэлектризованным воздухом. Вряд ли он разделял в эту минуту иронические интонации своего литературного двойника.

Насколько внимательно следил Карамзин за речами Мирабо, показывает один факт. В сентябре 1789 г., когда в Национальной ассамблее дебатировалось право вето, Карамзин, насколько можно судить, находился в Швейцарии. Но парижские газеты, материалы, собранные Роммом в Обществе друзей закона, протокольные записи заседаний, которые вел Павел Строганов, и большое число других источников позволяли и издалека следить за прениями в Собрании.

Много лет спустя, в болдинской глуши, Пушкин сделал запись: «Один из великих наших сограждан сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспоривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь»[4]. Ни

---

[1] Chef-d'oeuvres de Mirabeau ou choix des plus éloquents discours de cet orateur célèbre. Paris, 1822. T. 1. P. 369—370.

[2] Oeuvres de Camille Demoulins. Paris, 1890. T. 2. P. 91—92.

[3] *Aulard A.* Op. cit. T. 1. P. 98; *Thiers M. A.* Histoire de la Révolution Française. Paris, 1845. T. 1. P. 100.

[4] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 167.

поэт, ни его комментаторы не заметили, что Карамзин перефразировал запомнившуюся ему с 1789 г. фразу Мирабо: «Я считаю королевское вето настолько необходимым, что, если бы его не было, предпочел бы жить в Константинополе, а не во Франции»[1].

Слова о том, что Мирабо и Мори «*вечно* единоборствуют, как Ахиллес и Гектор», заставляют нас попытаться определить, какие еще заседания Ассамблеи Карамзин посетил и при каких «единоборствах» он присутствовал. Таким было, например, заседание 19 апреля 1790 г., обсуждавшее вопрос о границах власти Национальной ассамблеи. Мори, аббат, основной оратор клерикалов и роялистов, спросил, по какому праву депутаты, собранные с целью решать проблемы налогового обложения, присвоили себе полномочия представителей нации и образовали Национальный Конвент. Мирабо бросился к трибуне: «Я отвечаю: с того самого дня, как мы нашли зал, в котором должны были собираться, запертым, ощетинившимся и осквернённым штыками, мы устремились к первому попавшему месту, в котором могли соединиться, и поклялись скорее погибнуть, нежели терпеть подобный порядок вещей. С этого дня мы сделались Национальным Конвентом, даже если не были им прежде». Речь Мирабо, утверждавшая революцию как исторический и юридический факт, была произнесена с огромной силой. Карамзина она могла привлечь еще и потому, что в ней Мирабо затронул интересовавшую русского путешественника тему — неизбежность языковых перемен в условиях исторических катаклизмов: «Стоит ли останавливаться на странном упреке в том, что мы пользуемся новым слогом, чтобы выразить новые чувства и новые принципы, новые идеи и новые установления. Пусть поищут в пустом словаре публицистов определение такого слова, как Национальный Конвент!»[2] 5 мая произошла острая дискуссия между Мирабо и Мори — о том, кому принадлежит право назначать судей: королю или народу в лице его представителей. Спор шел о границах суверенитета. Вероятно, присутствовал Карамзин и на заседании 20 мая, во время которого разгорелся спор между Мирабо и Мори. И снова нет сомнений, что симпатии его были на стороне Мирабо. В 1790 г. из-за конфликта в Калифорнии вспыхнула война между Испанией и Англией. Франция была связана с Испанией «семейным договором». Возник вопрос о вступлении Франции в войну, вызвавший в Национальном собрании дебаты о праве короля объявлять войну. Мирабо произнес громовую речь против агрессивных войн, которые ведутся в защиту семейных интересов тиранов, и провозгласил миролюбие свободных народов. Переход власти в руки народов, по его словам, навсегда уничтожит войны между нациями и положит основание вечному миру. Под возмущенные выкрики аристократов Мирабо заявил, что король, выступающий как инициатор агрессии, должен быть судим как преступник, виновный в оскорблении нации (измененный термин «оскорбление величества»). Достаточно знать, сколь

[1] *Aulard A.* Op. cit. T. 1. P. 95; Общий очерк личности Мирабо см.: *Манфред А. З.* Три портрета эпохи Великой французской революции: Ж.-Ж. Руссо, О.-Г. Рикети де Мирабо, М. Робеспьер. М., 1978. С. 97—252.

[2] Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau... T. 1. P. 372, 374.

устойчивы были пацифистские настроения Карамзина, чтобы представить себе его чувства во время этой речи. Не случайно вскоре после этого он провозгласил в Лондоне тост за вечный мир. В свете устойчивой политики Екатерины II — постоянно расширять границы с помощью победоносных агрессивных войн — такой тост имел отчетливо оппозиционный характер. Выступление Мори, отвечавшего Мирабо ссылками на «исторические права» короля, вряд ли показалось Карамзину столь же убедительным.

Однако споры Мирабо и Мори, происходившие на глазах Карамзина, дали ему еще один урок. Он видел перед собой маркиза Мирабо, ведущего роскошный образ жизни, аристократа, отпрыска старинного семейства, мота и расточителя, честолюбца и циника, с трибуны Конституанты проповедующего идеи демократии и играющего роль народного трибуна. Одновременно он имел возможность наблюдать его противника аббата Мори. Выходец из бедной семьи сапожника-гугенота, лично испытавший гонения фанатиков и препятствия, которые ставил старый режим на пути одаренного человека из народа, Мори, обладавший способностями богослова и общественного деятеля и талантом оратора, был снедаем неуемным честолюбием. Ему приписывали фразу: «Тут я погибну или добуду себе кардинальскую шляпу». Зрелище аристократа, выступающего от имени народа, и выходца из низов, защищающего папство и корону, толкало Карамзина к тому, чтобы за пафосом политических деклараций различать борьбу честолюбий, жажду власти и успеха. Позже Карамзин писал: «Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Вы все Авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод»[1].

Именно поэтому, видимо, внимание Карамзина привлек тот из политических деятелей Национального собрания, которого нельзя было упрекнуть в недостатке личной честности и который позже стяжал прозвище «Неподкупного».

Оляр дал яркую характеристику Робеспьера этого периода, того Робеспьера, которого видел и слушал Карамзин: «Быть верным морали — в этом для него заключалась вся политика». «Его красноречие — это быть честным со всеми и против всех». Близорукий, с тихим голосом, низко наклоняющий голову в очках над исписанными листками, Робеспьер выглядел в Ассамблее робким провинциалом и скучным моралистом. Он вызывал насмешки. Оляр назвал его Альцестом Национального собрания, раздраженным сарказмами политических Филинтов. Оляр воспользовался образами Мольера: Альцест — мизантроп, влюбленный в добродетель, Филинт — просвещенный оппортунист в вопросах морали и светский скептик. Действительно, с позиций салонных философов и благородных или циничных учеников XVIII в., всех, кто рассчитывал, что дело ограничится реализацией идеалов, провозглашен-

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. I. С. 194.

ных Монтескье или «Энциклопедией», Робеспьер был просто смешон, «но Мирабо не ошибся в нем, когда повторял: „Он пойдет далеко — он верит в то, что говорит“»[1]. Карамзин слышал Робеспьера многократно. В те дни, когда русский путешественник бывал в Конституанте, Робеспьер «не переставал говорить. Он брал слово во всех дискуссиях, стоявших в повестке дня. <...> Он долго говорил по всем вопросам, столь различным по своему характеру. И тем не менее его не могли, как это было с аббатом Мори, упрекнуть в пустых декламациях, так как целью его было не столько глубокое обсуждение вопроса, сколько обнаружение того, в каких отношениях он находится к принципам нравственности». «Он хотел быть в Конституанте адвокатом бедных и униженных»[2].

Именно таким его запомнил Карамзин.

Но Карамзин мог слушать Робеспьера не только в Национальном собрании. Теперь, когда мы знаем, что в Париже он встречался с Роммом и Строгановым — оба были активными членами Якобинского клуба, не будет слишком рискованным предположить, что Карамзин посетил и этот клуб. Ведь, конечно, не для однократной беседы запасался он рекомендательным письмом к Ромму — он, уже, видимо, бывавший в Париже или, хотя бы со слов своих датских друзей, осведомленный о положении в столице революции. Ему хотелось проникнуть с помощью Ромма в те круги, в которые для него других путей не было. В центре этих кругов, бесспорно, находился Клуб якобинцев. Здесь обсуждались те же вопросы, что и в Ассамблее, но страсти были более накалены, высказывались мнения более крайние, а реакция слушателей была более непосредственной. Здесь можно было ощутить политический пульс Парижа. Клуб еще не приобрел того лица, которое определилось позже и превратило его в штаб революции. Тут выступали и лукаво игравшие с революцией братья Ламеты, гремел голос Мирабо, который мог в это время еще подниматься на трибуну то в Клубе якобинцев, то в политически противоположном ему Клубе фельянов. Но голос Робеспьера звучал здесь громче и увереннее, чем в Конституанте. Именно здесь начал вырисовываться масштаб его политической роли.

Карамзин наблюдал.

То, что он видел, его, вероятно, ужасало, но и влекло. Можно думать, что в вихре политических мнений, в потоке слов (не случайно позже он объединял кровь, проливаемую в гражданских распрях, и политические декламации: «Боюсь крови и фраз», — говорил он по поводу испанской революции) магнитной стрелкой для него была личная честность говорящих. С этим связана неожиданная, но засвидетельствованная достоверными и близко знавшими Карамзина мемуаристами — в частности, декабристом Н. И. Тургеневым — глубокая человеческая привязанность его к Робеспьеру. Николай Тургенев вспоминал: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина (видимо, И. И. Дмитриев. — *Ю. Л.*) рассказывали, что, получив

[1] *Aulard A.* Op. cit. T. 1. P. 526.
[2] Ibid. P. 528—529.

известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи»[1]. Мнение это тем более должно было удивить Николая Тургенева, что сам он к Робеспьеру относился весьма отрицательно. Однако этому не следует удивляться: декабрист Тургенев, когда думал о Робеспьере, видел перед собой исторического деятеля, известного ему по страницам книг и брошюр. Он оценивал политическую программу и историческую роль вождя якобинцев. Карамзин видел перед собой человека, его жесты и позу. Это совершенно иной тип знания, личный, интимный, который в принципе противоположен традиционно-историческому. Что же касается политических воззрений Робеспьера, то Карамзин в них видел, по всей вероятности, несбыточную утопию, мечту, обреченную на гибель. Отношение Карамзина к утопическим учениям было сложным. На протяжении почти всей его жизни мы обнаруживаем в его высказываниях борьбу утопических и скептических настроений. Его и влечет картина всеобщей гармонии, и мучают сомнения, и пугает образ суровой надличностной дисциплины, которая для него неотделима от утопизма. Утопия для него связана с республикой в духе Платона и подразумевает, с одной стороны, жесткую регламентацию сверху, а с другой — высочайшую и практически в современном обществе невозможную степень добродетели в каждом гражданине. На добродетели же строится добровольное подчинение человека общему благу. С утопическими учениями Карамзин познакомился еще в кругу Новикова — Кутузова. Именно тогда он заслужил прозвище Рамзея. Однако внимание на книгу Томаса Мора он, видимо, обратил в Париже. «Journal Général de France» (№ 111, 15 sept. 1789) — газета, которую Карамзин должен был читать в Париже уже потому, что она давала наиболее подробные отчеты о заседаниях Национальной ассамблеи и о событиях в стране, — сообщала под рубрикой «Новые книги» о выходе книги:

«Du meilleur Gouvernement possible, où la nouvelle Isle d'Utopie de Thomas Morus; traduction nouvelle, seconde édition, avec des notes, par M. T. Rousseau, A Paris, 1789». (О лучшем из возможных правлений, или Новый остров Утопия Томаса Мора. Новый перевод, второе издание с примечаниями г-на Т. Руссо, Париж, 1789).

Мы имеем много свидетельств того, с какой жадностью ловил Карамзин в Париже новые книги. Однако, по всей видимости, не только у него книга Мора связалась с парижскими событиями: если первое издание этого перевода (оно появилось в 1780 г.) прошло в России незамеченным, то второе сразу же было переведено на русский язык. В том же году в Петербурге появилось издание: «Картина всевозможно лучшего правления, или Утопия. Сочинения Томаса Мориса, канцлера аглинского в двух книгах. Переведена с аглинского на французский г. Руссо, а с французского на российский. СПб., на иждивении

[1] *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 1915. Т. 1. С. 342.

И. К. Шнора, 1789». В следующем, 1790 г. нераспроданная часть тиража появилась под несколько измененным названием: «Философа Рафаила Гитлодеа странствование в Новом Свете и описание любопытства достойных примечаний и благоразумных установлений жизни миролюбивого народа острова Утопии. Перевод с аглинского языка сочинения Томаса Мориса. СПб., 1790».

Обычно перепечатка титульного листа имела коммерческий смысл: читатель воспринимал книгу как новое издание. Однако в данном случае очевиден маскировочный характер этого действия: книга стилизовалась под путешествие, а ложное указание на перевод с английского должно было отвести опасные ассоциации.

Карамзин поместил в «Московском журнале» (1791. Ч. 1. С. 359) принципиально важную рецензию на «Утопию» (также воспроизведя более «безопасный» титульный лист русского перевода книги Мора 1790 г.). «Сия книга, — подчеркивал Карамзин, — содержит описание идеальной республики, подобной республике Платоновой», но отмечал, что «многие идеи» английского философа «вообще никогда не могут быть произведены в действо». Сославшись на то, что «краткое извлечение из книги может быть не противно читателю», Карамзин приводит цитаты, которые в 1791 г. звучали достаточно злободневно: «В главный город ежегодно съезжаются депутаты из каждого города по три человека и рассуждают о делах Республики». Особо выделена свобода религиозных убеждений и равенство граждан перед законом: «Они смеются над Европейской пышностью, над дворянскими генеалогиями» (с. 363).

Революция воспринималась Карамзиным как попытка реализовать утопию. Разочарование в ней он оценил как разрушение утопических надежд:

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет, —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

(*«Послание к Дмитриеву»*)

В рецензии на «Путешествие младого Анахарсиса по Греции» Бартелеми Карамзин писал о «Платоновой республике мудрецов»: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине, и при конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее»[1]. А когда в 1796 — начале 1797 г. восшествие на престол Павла I временно возродило оптимистические надежды, Карамзин писал А. И. Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей *Утопии*. Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства». Сообщая в этом же письме о своих творческих планах, он писал, что «будет перекладывать в стихи Кантову Метафизику с Платоновою республикою»[2].

---

[1] Московский журнал. 1791. Ч. 3. С. 211.
[2] Русский архив. 1872. № 7/8. С. 1324—1325.

Республика для Карамзина — «Платонова республика мудрецов». Это проясняет своеобразие «республиканизма» Карамзина. Республика для Карамзина, прежде всего, не столько некий общественно-политический строй, сколько царство добродетели, платоновский идеал общественного порядка, дарующего всем блаженство ценой отказа от излишеств личной свободы. Это строй, основанный на государственной добродетели и диктаторской дисциплине. Это необходимо учитывать, чтобы правильно понять слова Карамзина о том, что он «республиканец в душе», или высказывания вроде: «Без высокой добродетели Республика стоять не может. Вот почему монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падают»[1]. Республика оставалась для Карамзин на протяжении всей его жизни пленительной, но недосягаемой мечтой. Но это не была ни вечевая республика — идеал Радищева, ни республика народного суверенитета французских демократов XVIII в., ни буржуазная парламентская республика «либералистов» начала XIX столетия. Это была республика-утопия платоновского типа. Утопизм, несбыточность идеалов, обреченность не снижали для Карамзина образа республиканца, если деятельность его была отмечена личным бескорыстием и добродетелью. Это, возможно, объяснит «странное» отношение Карамзина к Робеспьеру. Можно предположить и личное знакомство русского путешественника и Неподкупного. Доступ Карамзина к Ромму позволяет нам не считать это предположение невероятным. При этом надо иметь в виду, что политическое размежевание еще не произошло, Якобинский клуб до раскола и ухода фельянов летом 1791 г. еще не приобрел демократической репутации, а Марат в «Друге народа» за 18 мая 1790 г., среди самых выдающихся членов Национальной ассамблеи, «имен, дорогих свободной Франции», называл Барнава, Петиона, Ламетов и Робеспьера[2]. По крайней мере, Карамзину были известны и скромные условия жизни Робеспьера, и характер будущего якобинского диктатора.

В свое время Пушкин сказал о Радищеве: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра»[3]. Парадокс истории заключается в том, что о Карамзине справедливым было бы прямо противоположное высказывание. От Мирабо Карамзина отталкивал именно тот «уклад жизни», с которым контрастировал «скромный домашний обиход» Робеспьера[4].

---

[1] Вестник Европы. 1803. № 20. С. 319—320.

[2] L'Ami du Peuple. N CVI. Du mardi 18 mai 1790. P. 4.

[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 34.

[4] О том, что Карамзин продолжал пристально следить за деятельностью Робеспьера и после того, как покинул Францию, и насколько осторожно надо подходить к его высказываниям относительно парижских событий, свидетельствует один эпизод. В 1794 г., в ч. 2 сборника «Мои безделки», Карамзин опубликовал стихотворение «Песнь божеству» с пометой: «Сочинена на тот случай, как безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: „Нет Бога!"». Для любого читателя эти слова могли звучать как полемика с «безбожными» революционерами и выпад против революции как таковой. Однако при более близком знакомстве все оказывается сложнее: Карамзин

Карамзин искал в Париже римлян. Для всех его современников в Петербурге и Москве и уж тем более для поколения Пушкина и декабристов деятели революции — это набранные типографским шрифтом имена, условные знаки определенных идей и программ. Карамзин видел лица своих знакомых, тех, кого он встречал в Национальной ассамблее, в кафе и на улицах бурлящего Парижа. Он знал, что говорит о них молва. Критерии оценки были у него совершенно иные.

Вот любопытный пример.

В апрельском (без даты) письме Карамзин, впервые подробно говоря о Французской революции, рассказывает следующий эпизод:

«Один Маркиз, который был некогда осыпан Королевскими милостями, играет теперь не последнюю роль между неприятелями Двора. Некоторые из прежних его друзей изъявили ему свое негодование. Он пожал плечами и с холодным видом отвечал: „que faire? j'aime les te-te-troubles!" *„что делать? я люблю мяте-те-тежи!"* Маркиз заика.

Но читал ли Маркиз историю Греции и Рима? помнит ли цыкуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства» (с. 226). Отрывок этот, так же как и следующие за ним слова о том, что «каждый бунтовщик готовит себе эшафот», несут на себе печать более поздней авторской редактуры: здесь обнаруживается знание будущих судеб тех, кого Карамзин видел на заседаниях Национальной ассамблеи, — опыт более позднего времени. Однако, в первую очередь, важно выяснить, кого автор именует «Маркизом».

П. Н. Берков предположил, что здесь имеется в виду маркиз Лафайет[1]. Это предположение следует отвергнуть, так как оно не соответствует характеристике «Маркиза» в тексте Карамзина. Во-первых, Лафайет никогда не был «осыпаем милостями короля», во-вторых, его никак нельзя было назвать одним из руководителей «неприятелей Двора». Все помнили, что в драматическую минуту, когда разъяренный огнем швейцарской гвардии народ, перебив защитников дворца, ворвался в Версальский замок, только находчивость

имеет в виду выступление Дюмона *против Робеспьера* и нападки первого на идею культа Разума. Андрэ Дюмон, «бешеный», член Конвента и убежденный участник движения «дехристианизации», был заклятым врагом Робеспьера. В дальнейшем он сделался термидорианцем. Сменив знамена, он не сменил предмет ненависти. Неприятелем Робеспьера он был всегда (ср.: «Андрэ Дюмон считался эбертистом, но после Термидора он открыто перешел на сторону правых и сделал в их рядах карьеру». *Manfred A. Z.* Zum Meinungsstreit über Robespierre (*Манфред А. З.* К борьбе мнений вокруг Робеспьера) // Maximilien Robespierre, 1759—1794. Berlin, 1961. S. 529). Если к этому прибавить, что и «Песнь божеству», и опубликованная рядом «Молитва о дожде», обращенная к весьма сомнительному, с точки зрения православной ортодоксии, адресату («Мать любезная, Природа!»), вполне выдержаны в духе руссоистского деизма и тесно связаны с «Исповеданием веры савойского викария», то картина получается достаточно выразительная. Таким образом, и в 1794 г., по крайней мере, некоторые стороны деятельности Робеспьера находили у Карамзина одобрение.

[1] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 1. С. 798.

и лояльность Лафайета спасли жизнь королевской семьи. Именно эти постоянные попытки примирить короля и революцию и спасти монархию привели к падению авторитета Лафайета. В-третьих, упоминания цикуты и Тарпейской скалы не имели никакого смысла применительно к Лафайету — одному из немногих лидеров революции, уцелевших в ее бурях. В-четвертых, Лафайет не заикался. Он был превосходным оратором, и когда он, пытаясь спасти Фулона, несколько часов удерживал своим красноречием разъяренную толпу, газеты сравнили его с римскими трибунами.

Под «Маркизом» в тексте «Писем», видимо, следует понимать Антуана-Никола маркиза де Кондорсе. Этот известный ученый, математик и философ, непременный секретарь Французской академии, в молодости, не располагая никаким состоянием, получал королевскую пенсию. С самого начала революции он сделался ее активным участником, был заметным членом Конституанты, в 1791—1792 гг. принадлежал к виднейшим политическим лидерам. Однако Кондорсе был плохим оратором. Кабинетный ученый, смелый мыслитель на бумаге, он смущался, выступая перед толпой, терял дар речи, заикался от смущения. Его биограф пишет: «Застенчивость и крайняя слабость легких, неумение сохранять хладнокровие и быстроту соображения посреди шума, волнений и смуты <...> заставляли его держаться вдалеке от трибуны»[1]. Оляр, говоря о Кондорсе, задает вопрос: «Но был ли он в какой-либо мере оратором?» — и отвечает: «Безо всякого сомнения он не имел для этого физических данных. Его вошедшие в пословицу неловкость и боязливость восходили еще к тем временам, когда, ребенком, предназначенный для духовной карьеры, он до двенадцати лет носил платье девочки». «Насмешки товарищей сделали его недоверие к себе и страх публики неизлечимыми»[2]. Выяснение, кого Карамзин подразумевал, говоря о некоем маркизе, делает понятной еще одну деталь — упоминание цикуты. Хотя текст «Писем» имитирует эпистолярную прозу, Карамзин многократно, невольно или преднамеренно, обнаруживает в них знание событий, совершившихся значительное время спустя. Путешественник, несмотря на маску странствующего скифа-щеголя, чувствительного юноши из далекой Московии, довольно часто проявляет не просто политическую проницательность, а прямо-таки пророческий дар. Путешественник в мае 1790 г., конечно, не мог знать, что летом 1794 г. Кондорсе, объявленный якобинцами, как один из теоретиков и вождей Жиронды, вне закона, примет яд («цикуту»), чтобы избежать ареста и гильотины. Но автор «Писем», когда предлагал их в начале XIX в. читателю (а «парижские» письма увидели свет только тогда), прекрасно знал все последующие события и легко мог выступить «пророком, предсказывающим назад», как сказал Пастернак, ошибочно приписавший Гегелю это, на самом деле принадлежащее Фридриху Шлегелю, высказывание. Но намек на гибель Кондорсе Карамзин контаминировал с другим эпизодом. Упоминание Тарпейской

[1] *Arago Fr.* Biographie de Condorset // Mémoires de l'Académie des Sciences. Paris, 1849. T. 20. P. LXXII.

[2] *Aulard A.* Les orateurs de la Révolution. La législative et la convention. Paris, 1906. T. 1. P. 263.

скалы отсылало к одному из наиболее драматических заседаний. В конце мая, когда Карамзин еще был в Париже и посещал Национальное собрание, разыгрались события, взволновавшие весь Париж. В Собрании шли напряженные прения: обсуждался вопрос о праве короля на ведение тайной дипломатии и объявление состояния войны. 20 мая Мирабо в обширной речи доказывал, что право войны принадлежит в равной мере и королю, и Национальному собранию, что же касается договоров, то право это принадлежит королю с последующей санкцией собрания. 21 мая Барнав — тот самый Барнав, давний противник Мирабо, который вместе с Александром Ламетом и Адриеном Дюпором закрыл Мирабо дорогу к министерскому портфелю, проведя через Конституанту 7 ноября 1789 г. закон, запрещающий депутатам садиться в министерское кресло, — обрушился на Мирабо с трибуны Собрания, в то время как на улицах Парижа пустили в продажу инспирированный Ламетом памфлет: «Великое предательство графа Мирабо». 22 мая Национальное собрание было окружено толпой в 50 000 человек. Мирабо долгое время не давали начать ответной речи, заглушая его голос криками, а когда он направлялся к трибуне, Вольней крикнул ему: «Мирабо, вчера в Капитолии — сегодня на Тарпейской скале». Мирабо в патетической речи ответил: «Мне не надо этих уроков, чтобы помнить, что от Капитолия до Тарпейской скалы один шаг!»

Так за отдельными словами и намеками текста «Писем» перед нами возникает облик той жизни, в которую Карамзин, в отличие от своего литературного двойника, погрузился в Париже.

Однако если вернуться к bon mot маркиза-заики, то естественно возникает источниковедческий вопрос: откуда Карамзин мог почерпнуть этот анекдот? Его нет в доступных нам письменных источниках. Можно предположить, что Карамзин опирался на какие-то устные сведения. Источниками устных сведений в 1790 г. могли быть, кроме клубов и речей в Конституанте, о чем мы уже говорили, доживавшие свой век салоны и переживавшие бурный расцвет кафе. Попытаемся гипотетически реконструировать круг тех и других, оказавшихся в поле зрения путешественника.

В «Письмах» говорится, что путешественник посещал салон госпожи Гло**, причем к господину Гло**, сообщает путешественник, «было у меня письмо из Женевы» (с. 222). Последнее свидетельство ценно: видимо, Карамзин в Женеве тщательно обдумал, в какие круги он хотел бы проникнуть, и запасся необходимыми рекомендациями. Так, он сообщает, что «еще было у меня письмо к Господину Н*, старому Прованскому дворянину, от брата его *Эмигранта* (с которым я познакомился в Женеве в доме госпожи К*)»[1]. Далее фигурирует некий «аббат Н*», к которому путешественник привез «письмо из Женевы от брата его, Графа Н*» (с. 224). Как видим, рекомендательных писем было немало, и не обо всех из них Карамзин, вероятно,

[1] Если К* следует, как мы теперь можем полагать, расшифровывать как Кунклер, то перед нами любопытный пример «шифровальной лаборатории» Карамзина: он действительно привез рекомендательное письмо из дома г-жи Кунклер, но адресовано оно было не прованскому дворянину, а якобинцу Жильберу Ромму.

склонен был заявлять печатно. В тексте «Писем» посещению дома господина и госпожи Гло** отведено полстранички, однако в автореферате этого сочинения, писанном для европейской читающей публики и опубликованном в «Le Spectateur du Nord», Карамзин уделил посещению салонов выразительные строки и, что особенно существенно, прямо противопоставил их, как центр отживающей культуры, Национальному собранию. Сразу после отрывка: «Наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальном Собрании...» — сказано: «Его вводят в некоторые парижские общества, и он застает еще милых маркизов, обворожительных аббатов, женщин-писательниц. Он слушает их рассуждения об *экспансивной* чувствительности и жалобы на разрушение хорошего общества, как на *самое гибельное* последствие революции. Он порядочно скучает в их кружках и бежит, чтобы рассеяться, в театры, спектакли которых его восхищают» (с. 453).

Здесь знаменательно многое. И посещение ряда салонов, и противопоставление культурных форм «старого режима» кипящей жизни революционного Парижа (Ассамблея, театр) с явным предпочтением второй. В выборе между культурными обломками вчерашнего дня и бурлящим сегодняшним Карамзин не сомневается: он «восхищается талантами Мирабо», «спектакли его восхищают» (с. 453), но в салонах «он порядочно скучает». И все же даже из текста «Писем» видно, что жизнь парижских салонов эпохи 1789—1790 гг. занимала Карамзина и он отдал ей долю внимания.

Упоминание в автореферате о том, что в салонах Парижа путешественник слушал «рассуждения об *экспансивной* чувствительности», следует сопоставить с известием в «Письмах» о «чтении» в салоне г-жи Гло**: «Аббат Д* привезет *мысли о любви*, сочинение сестры его, Маркизы Л*» (с. 287). Из этого можно сделать вывод, что под салоном г-жи Гло** подразумевается некое реальное литературное общество, посещавшееся Карамзиным. Вместе с тем, зная поэтику Карамзина, который в «Письмах» никогда не выступает как фактограф, фиксирующий реальные эпизоды, а всегда мешает правду и вымысел, факт и обобщение, то есть *создает образы*, можно предположить, что и салон г-жи Гло** объединяет и сгущает впечатления от нескольких собраний этого рода. Это предположение поддерживается тем, что в поисках исторического его прототипа мы обнаруживаем явную контаминацию черт нескольких парижских салонов эпохи революции.

Салону г-жи Гло** Карамзин дает такую характеристику: «Госпожа Гло** есть ученая дама лет в тридцать, говорит по-Английски, Италиянски, и (подобно Госпоже Неккер, у которой собирались некогда д'Аланберты, Дидроты и Мармонтели) любит обходиться с Авторами. Мы начали говорить о Литературе, и с жаром, потому что Госпожа Гло** противоречила всем моим мнениям. Например, я сказал, что Расин и Вольтер лучшие Французские Трагики; но она, по благосклонности своей, открыла мне, что Шенье — есть бог перед ними. Я думал, что прежде писали во Франции лучше, нежели ныне; но она сказала мне, что в доме у нее собирается около двадцати сочинителей, которые все несравненны. Я хвалил дю-Пати: она уверяла, что его в Париже не читают; что он был хороший Адвокат, но худой Автор и наблюдатель. Я хвалил Драму Рауля: она говорила о ней с презрением.

Одним словом, наши несогласия никогда бы не кончились, естьли бы слуга не растворил дверей, и не уведомил Гж. Гло** о приезде гостей. Через несколько минут наполнилась горница Маркизами, Кавалерами Св. Людовика, Адвокатами, Англичанами; каждый гость подходил к хозяйке с холодным приветствием. После всех явился хозяин, и завел разговор о партиях, интригах, декретах Народного собрания <...> Стол был очень хорош; но Риторы не умолкали. Между прочим отличал себя один Адвокат, который хотел быть Министром единственно для того, чтобы в 6 месяцев заплатить все долги Франции, умножить втрое доходы ея, обогатить Короля, духовенство, дворянство, купцов, художников, ремесленников... Тут Господин Гло** схватил его за руку и с важным видом сказал: довольно, „довольно, о великодушный человек!" Я засмеялся — к щастию, не один» (с. 222).

Прежде всего, отметим, что в салоне г-жи Гло** обсуждаются не только литературные, но и злободневные политические вопросы: прения в Национальном собрании, декреты, борьба партий. Салон, аристократический по составу, имеет либеральный характер: революционный драматург Мари-Жозеф Шенье, вокруг пьесы которого «Карл IX» именно в это время идут жаркие споры, которые как индикатор делят общество на партии, — здесь бог. Здесь публицистов и памфлетистов 1789 г. ставят выше классиков XVII в. и даже Вольтера. Через несколько страниц путешественник в этом же салоне встретит «грозного Аристарха» аббата Д*, который подвергнет уничтожающей критике всю французскую литературу от Расина до Вольтера.

Общее отношение путешественника к салону г-жи Гло** ироническое, что проявляется и в тоне повествования, и во введении анекдотического эпизода об адвокате, бравшемся чудесно решить финансовые проблемы Франции. Прежде всего, следует иметь в виду, что именно финансовое банкротство государства было непосредственным поводом всех событий 1789 г. и продолжало оставаться животрепещущей темой обсуждений до самого падения монархии. Когда в 1788 г. уже невозможно было скрыть, что государственный долг превысил 140 миллионов ливров и казна пуста, король вынужден был созвать Генеральные штаты. Если прибавить, что в салон г-жи Гло** Карамзин вводит брата Неккера — швейцарского финансиста, которого король то призывал занять министерский пост, поручая ему решение финансовых проблем, то отставлял, уступая давлению королевы и придворной камарильи, серьезность темы разговора делается очевидной. Однако серьезная тема решается в салоне с анекдотическим легкомыслием. Для демонстрации этого Карамзин использовал забавлявший Париж анекдот, превратив его в якобы произошедший в его присутствии случай (прием, которым, как увидим, он пользовался весьма часто). Некто шевалье д'Арлаш в газете «Petites-Affiches» еще в 1789 г. опубликовал заявление: «Я намерен доказать самым ясным образом, 1) что за год, считая со дня, когда мой план будет принят и утвержден, существующий дефицит будет восполнен; 2) что расходы будут приведены в соответствие с доходами и что избыток в 200 миллионов <ливров> ежегодных будет

использован на оплату национального долга»[1]. Карамзин, конечно, не мог в апреле слышать повторение этого, сделанного год назад, хлестаковского заявления из уст его автора. Он просто повторил дошедший до него анекдот, превратив его в деталь, характеризующую легкомысленную атмосферу салона.

Хозяйки литературного салона 1790 г., которую можно было бы безоговорочно отождествить с г-жой Гло**, обнаружить не удается, хотя, судя по контексту, речь идет об одном из самых видных салонов. Очевидно, созданный Карамзиным образ салона имеет собирательный характер и отражает впечатления русского путешественника 1790 г. от всех подобных обществ.

Какие же салоны Карамзин мог посетить и какие реальные факты стоят за явно литературной картиной салона г-жи Гло**?

Одним из последних салонов Парижа, хранивших в 1790 г. традиции «золотого века салонов», был салон г-жи Неккер, жены финансиста и министра швейцарца Неккера и матери известной писательницы Жермены Сталь[2]. На ассоциации с этим салоном должны намекать настойчивые упоминания Карамзиным фамилии Неккеров: в салоне присутствует брат министра, а сама г-жа Гло** «есть ученая дама» и полиглот, «подобно Госпоже Неккер» (с. 222). Перенесение же Карамзиным салона Неккер в прошедший век «даланбертов и дидротов» — не более чем обычная для него маскировка: салон г-жи Неккер в 1790 г. не только не был далеким прошлым, а, напротив, являлся одним из последних и крупнейших явлений этого рода. Рядом с ним существовал салон ее дочери Жермены де Сталь. Черты этих двух салонов писательница отразила в своем романе «Коринна», рисуя парижский быт 1791 г.: «Я был поражен простотой и свободой, царившими в парижских салонах. Самые важные вопросы обсуждались без тени легкомыслия, но и без малейшего педантства: самые глубокие мысли высказывались в непринужденной беседе, и, казалось, величайшая в мире революция совершилась лишь затем, чтобы придать еще больше приятности парижскому обществу. Я знал высокообразованных и чрезвычайно одаренных людей, скорее одушевленных желанием нравиться, чем приносить пользу; они искали аплодисментов в салоне после того, как срывали их на трибуне»[3].

Нетрудно заметить, что Сталь и Карамзин наблюдают одно и то же явление. Но оценки их противоположны. Именно стремление превратить величайшие исторические события в предлог сорвать аплодисменты в салоне вызывает раздраженную иронию Карамзина. В воздухе Национальной ассамблеи, в парижских кафе и театрах ему дышится лучше. И тем не менее именно салоны позволяли увидеть лидеров политической жизни вне обстановки политической декламации и не на трибуне. Если Карамзин бывал в

---

[1] См.: *Saint-Germain J.* La vie quotidienne en France à la fin du Crand Siècle. D'après les archives, en partie inédits du lieutenant général de police Marc-Rene Argenson. Paris, P. 69.

[2] См.: *D'Haussonville, vicomte.* Le Salon de Madame Necker d'après de documents, tirés des archives de Coppet. Paris, 1882; *D'Haussonville, comte.* Madame de Staël et M. Necker. D'après leur correspondance inédite. Paris, 1925.

[3] *Сталь Ж. де.* Коринна, или Италия. М., 1969. С. 199.

салонах г-жи Неккер и ее дочери (а именно к ним, корифеям парижско-швейцарского общества, было естественнее всего доставать рекомендательные письма в Женеве или Лозанне), то мог встречаться там с постоянными их посетителями: Сийесом, Кондорсе, Талейраном. Здесь он мог услышать и анекдот о заикающемся маркизе, может быть, слышать это острое слово из уст самого автора.

Однако вероятно соприкосновение Карамзина и с другим из «великих» салонов этой эпохи. Исследовательница архива Ж. Ромма отмечает давние связи его в «философско-литературных салонах Парижа, в частности в салонах мадам Гельвеций и мадам д'Арвилль»[1]. Салон мадам Гельвеций, знаменитый Отейль, с наибольшей полнотой воплотил в себе тот классический тип салона XVIII в., который, очевидно, интересовал Карамзина. Салон ее называли генеральными штатами разума. Некогда в нем собирались Даламбер и Дидро, Тюрго и Кондорсе, Гальяни, Кабанис, Беккария, Мармонтель, Мореле, Дюкло, Сен-Ламбер. Здесь была более непринужденная обстановка, чем у госпожи Жоффрен или госпожи Неккер. В начале революции состав гостей был уже иным: здесь постоянно бывали Вольней, Сийес, Шамфор, которые почти жили в Отейле[2]. Когда 15 июля 1789 г. в зале Национальной ассамблеи появился Кабанис с известием о падении Бастилии, Вольней и Гара подвели его к Мирабо. В дальнейшем Мирабо и знаменитый врач-просветитель тесно сошлись. Кабанис лечил в 1791 г. (правда, не очень удачно) предсмертную болезнь Мирабо. День посетителей Отейля распределялся в 1789—1790 гг. так: утром у Мирабо в его роскошных апартаментах на улице Шоссе д'Антен, днем в Национальной ассамблее, вечером — в салоне г-жи Гельвеций. Утром — политический интриган, днем — народный трибун, вечером — философ XVIII в. — так распределялся день Мирабо, гостя госпожи Гельвеций, в салоне которой Шамфор редактировал некоторые его речи для издаваемой Мирабо «Газеты генеральных штатов».

Здесь можно было видеть многих политических деятелей «весны революции». Кондорсе и Кабанис были женаты на сестрах Груши́ (брат их стал потом наполеоновским маршалом), за госпожой Кондорсе ухаживал в свое время аббат Фоше — политический мистик и утопист, вероятный собеседник Кутузова в Париже, серьезно влюблен в нее был Анахарсис Клоотц, именем которого в пушкинском лицее дразнили Кюхельбекера. Дядей девиц Груши́ был Дюпати, литературный авторитет которого защищал Карамзин в салоне г-жи Гло**. А по соседству с Отейлем (парк г-жи Гельвеций непосредственно переходил в английский сад герцога де Бюфлера) собирались убежденные защитники старого порядка; здесь по дорожкам парка бродил Ривароль, острые слова которого потом переводили и повторяли Пушкин и Вяземский. С рекомендацией Ромма, Шамфора или Мармонтеля Карамзин мог появиться в Отейле, и вряд ли он пропустил эту возможность.

---

[1] *Шаркова И. С.* Указ. соч. С. 159.

[2] См.: *Guillois A.* Le Salon de m-me Helvétius. Cabanis et les idéologues. Paris, 1894. P. 72.

В салонах путешественник знакомился с человеческим обликом тех, кого днем видел трибунами и законодателями в Национальной ассамблее. Здесь же он собирал обильную дань устных слухов, разговоров, наблюдал борьбу мнений. Однако это была умирающая культура, и она была чужда Карамзину. И в «Письмах», и в автореферате их он поспешил подчеркнуть свою отчужденность от этого мира. Нет оснований этому не верить.

Если в парижских салонах 1790 г., в отличие от героя «Коринны», Карамзин скучал, то салон XVII — начала XVIII столетия как явление «золотого» века французской культуры его явно интересовал. Он видел в нем средоточие уже прошедшей культурной эпохи и явно собирал сведения об этой уходящей жизни, последние отсветы заката которой он наблюдал в Париже ораторов, клубов и брошюр, в Париже, освещенном лучами утренней зари нового века.

В «Письма» вводится некий «аббат Н*», который должен познакомить путешественника со сведениями, собранными Карамзиным, наверное, в десятках разговоров.

Расцвет культуры салонов — XVII век. «Аббат Н* (к которому привез я письмо из Женевы от брата его, Графа Н*) признался мне, что французы давно уже разучились веселиться в обществах, так как они во время Людовика XIV веселились, на пример в доме известной Марионы де-Лорм, Графини де-ла-Сюз, Нинoны Ланкло, где Вольтер сочинял первые стихи свои; где Вуатюр, Сент-Эвремон, Саразень, Граммон, Менаж, Пелиссон, Гено блистали остроумием, сыпали Аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса» (с. 224).

В XVIII в. культура салонов переживает закат. А революция завершила ее упадок. «Здесь — сказал мне Аббат Н*, идучи со мною по улице St. Honoré и указывая тростью на большие домы, которые стоят ныне пустые, — здесь, по Воскресеньям, у Маркизы Д* съезжались самые модныя Парижския Дамы, знатные люди, славнейшие *остроумцы* (beaux esprits); одни играли в карты, другие судили о житейской философии, о нежных чувствах, приятностях, красоте, вкусе — тут, по Четвергам, у Графини А* собирались глубокомысленные Политики обоего пола, сравнивали Мабли с Ж. Жаком и сочиняли планы для новой Утопии — там, по Субботам, у Баронесы Ф* читал М* примечания свои на Книгу Бытия, изъясняя любопытным женщинам свойства древнего Хаоса, и представляя его в таком ужасном виде, что слушательницы падали в обморок от великого страха. Вы опоздали приехать в Париж; щастливыя времена исчезли; приятныя ужины кончились; *хорошее общество* (la bonne compagnie) рассеялось по всем концам земли. Маркиза Д* уехала в Лондон, Графиня А* в Швейцарию, а Баронесса Ф* в Рим, чтобы постричься там в монахини. Порядочный человек не знает теперь, куда деваться, что делать и как провести вечер» (с. 224).

Отрывок этот в высшей мере примечателен. Прежде всего, он демонстрирует значительный интерес Карамзина к салонам XVII—XVIII вв. как к явлению истории культуры. Только в результате большого изучения можно было так лапидарно и сконцентрированно охарактеризовать основные черты салона той поры. Кроме того, он прекрасно иллюстрирует художественный

метод Карамзина, его принципы превращения исторического факта в факт литературы, в элемент художественного текста. Прокомментируем инициалы этого отрывка. Они легко поддаются расшифровке и, видимо, на это рассчитаны.

Улица Сент-Оноре в свое время была местом расположения знаменитых салонов[1]. Пьер Сегюр назвал ее «царством салонов». Здесь находились, в частности, салоны г-жи Жоффрен и дочери ее маркизы Ферте-Эмбо. Когда процитированное место было Карамзиным представлено читателям, он уже, весьма вероятно, связывал с улицей Сент-Оноре и другие ассоциации: именно здесь с августа 1791 г. до самых роковых дней термидора и гильотины жил у столяра Мориса Дюпле Робеспьер. Одна скромная комната в деревянном флигеле дома простого работника так же вошла в миф о Неподкупном, как подвалы Марата, Царское Село Екатерины II или Версаль Людовика XIV. Здесь протекала мещански-скромная жизнь Робеспьера, здесь же развертывался его аскетически-«римский» роман с Элеонорой Дюпле — весь тот «скромный домашний обиход», который изумлял и привлекал Карамзина. Свидетельство Николая Тургенева показывает, что именно частная жизнь якобинского вождя интересовала Карамзина. Следовательно, улица Сент-Оноре вызывала у него двойные воспоминания. И если пустующие дворцы аристократии (а эта деталь была ему важна, судя по тому, как тщательно он над ней работал, переделывая от издания к изданию) в 1790 г. воспринимались как свидетели старого порядка в новом, революционном Париже, то в 1801 г., когда этот текст был опубликован, заколоченный деревянный флигель дома Дюпле также не был немым для историка. Улица Сент-Оноре знала шаги истории. Когда по ней мимо флигеля Робеспьера везли в тележке на гильотину Дантона, он крикнул: «Максимилиан, ты следующий!»

Карамзин все это знал и помнил.

А путешественник стоял ночью на улице Сент-Оноре, ничего не зная о будущем, и слушал рассказ аббата Н*.

Имена владелиц салонов, скрытые в рассказе аббата Н* под заглавными буквами, легко расшифровываются: маркиза Д* — госпожа Мари де Вишу-Шамрон дю Дефан, графиня А* — Луиза-Фелисите Эгийон (по-французски начинается с А — Aiguillon), баронесса Ф* — Мария-Тереза Ферте-Эмбо. Не только инициалы, но и очерченный Карамзиным точный профиль салонов позволяет дать именно такую расшифровку. У маркизы Д* собирается смешанный круг из людей высшего общества и «славнейших остроумцев». Именно таков был состав салона дю Дефан. Первоначально в нем царили энциклопедисты. Центром салона был любимец хозяйки Даламбер, Монтескье был его постоянным посетителем до самой своей смерти. Здесь бывали Тюрго, Мармонтель, Лагарп. Одно время дю Дефан пыталась привлечь в стены своей гостиной и Руссо. В «Исповеди» автор ее писал об этом: «Сначала я очень заинтересовался г-жой Дюдефан, которую утрата зрения делала в моих

[1] *Ségur P. de.* Le royaume de la rue Saint-Honoré. Paris, 1897; Glotz, Marguerite, Maire, Madéleine. Salon du XVIIIe Siècle. Paris, 1945.

глазах достойной сострадания; но ее образ жизни, столь противоположный моему (я вставал почти в тот час, когда она ложилась спать); ее безудержная страсть к пустому остроумию; значение, придаваемое ею, в хорошем или в дурном смысле, всякому появившемуся грязному пасквилю; исключительная пристрастность, не позволявшая ей говорить ни о чем уравновешенно и спокойно; невероятные предрассудки, непреодолимое упрямство, нелепое сумасбродство, до которого доводила ее упорная предвзятость суждений, — все это скоро отвратило меня от желания оказывать ей услуги. Я отдалился от нее; она это заметила; этого было довольно, чтобы привести ее в ярость; и хотя мне было достаточно ясно, до какой степени может быть опасна женщина с подобным характером, я все же предпочел бич ее ненависти бичу ее дружбы»[1].

Живя в Швейцарии, в Ферне, Вольтер не мог бывать у госпожи дю Дефан, но они постоянно обменивались письмами, и мраморный бюст его стоял в ее кабинете. Но в 1764 г. мадемуазель Леспинас «похитила» Даламбера. Он «изменил» салону на улице Сен-Жозеф. Умер Монтескье, умер президент Эно, долголетний друг дю Дефан. Состав салона менялся. Философы умирали — в их кресла садились родственники хозяйки, принадлежавшие к высшей знати. Салон принял именно тот эклектический великосветски-философский характер, который точно отметил Карамзин.

Герцогиня д'Эгийон, известная своим умом и безобразием, превратила свой салон не только в место постоянных сборов философов-энциклопедистов, но и в убежище для тех, кто опасался преследования властей.

О салоне Марии-Терезы Ферте-Эмбо мы уже говорили. Карамзин и здесь не уклонился от истины, подчеркнув католический характер этого салона.

Однако целью Карамзина было не перечислять какие-либо конкретные детали — его поэтика в «Письмах» подразумевала создание на реальной основе пластических образов, наполненных историческим содержанием. И в данном случае картина, им нарисованная, сгущена, факты сдвинуты и доведены до уровня исторических обобщений. Создавая обобщенную картину: светский салон маркизы, философский — графини и религиозный — баронессы, он, прежде всего, ради законченности ряда: «маркиза — графиня — баронесса» (который, превратившись в устойчивый образ дореволюционной аристократии, повторялся в комедиях и публицистике тех дней, став сатирическим штампом) сдвинул факты: г-жа Эгийон была герцогиней, а не графиней, Ферте-Эмбо была не баронессой, а, как и дю Дефан, маркизой. Желая подчеркнуть, что мир салонов принадлежит аристократической культуре, Карамзин вообще не упомянул о «понедельниках» и «средах» г-жи Жоффрен, матери маркизы Ферте-Эмбо. Г-жа Жоффрен, урожденная Тереза Роден, была дочерью лакея и женой богатого буржуа. Именно выдающиеся личные качества сделали ее хозяйкой самого культурно-значительного салона в Париже XVIII в. Даламбер, Дидро, Морелли, Мармонтель, Гальяни, Рейналь, Гельвеций, Гольбах, Тюрго были посетителями ее салона и склонялись

[1] *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 483.

перед волей требовательной и державшей беседу в строгих рамках благопристойности хозяйки. Она ссорилась с Вольтером и Монтескье, дипломаты наносили ей визиты как главе государства. Екатерина II, с которой г-жа Жоффрен поддерживала живую переписку, называла ее «друг мой», а Станислав Понятовский именовал «маменькой» (когда он был избран королем Польши, он писал ей: «Дорогая маменька, вот я и король, не сердитесь, пожалуйста»). Недаром ее прозвали «царицей Парижа» (слово это писалось la tsarine, как подчеркнутый руссизм).

Карамзин, конечно, знал о салоне г-жи Жоффрен, и умолчание о нем было намеренным. Характерный для него прием: заменив г-жу Жоффрен *маркизой* Д<ю Дефан>, он поместил, однако, последнюю на улицу Сент-Оноре. Между тем первые годы существования ее салон помещался на улице Бон, расцвет же ее «четверги» переживали, когда она переехала на Сен-Жозеф. На Сент-Оноре жила г-жа Жоффрен, и именно на ее особняк указывал путешественнику аббат Н*. Здесь в течение почти пятидесяти лет находилось «царство» царицы Парижа. Здесь же в боковом крыле особняка был салон ее дочери Ферте-Эмбо — салон, враждебный миру энциклопедистов, антагонистический салону матери.

Но Карамзин и хронологически сдвинул картину для того, чтобы придать ей резкость исторической ретуши. Маркиза дю Дефан не уехала в Лондон, а умерла задолго до революции. Однако эта деталь не была произвольной, а, как всегда у Карамзина, опиралась на некоторую реальность: кроме общеизвестной склонности маркизы к англофильству, мысль Карамзина отправлялась от поздней и последней любви уже престарелой дю Дефан к Орасу Уолполу, который, хотя был на двадцать лет ее моложе, приезжал в Париж с единственной целью повидать уже совершенно слепую дю Дефан. Карамзин, автор «Острова Борнгольма», внимательный читатель «готических» романов конца XVIII в., конечно, знал «Замок Отранто», нашумевший роман Уолпола, положивший начало «черному роману» предромантизма[1]. Видимо, в Париже он собирал материалы о дю Дефан[2].

Маркиза Ферте-Эмбо не уезжала «в Рим, чтобы постричься там в монахини». Но и здесь сведения, сообщаемые Карамзиным, не были лишены

---

[1] См.: *Жирмунский В. М., Сигал Н. А.* У истоков европейского романтизма // Уолпол Гораций. Замок Отранто. Казот Жак. Влюбленный дьявол. Бекфорд Уильям. Ватек. Л., 1967. С. 249—284; Lettres de la marquise du Deffand à Horace Walpole. T. 1—2. Paris, 1864; *Gross A. G.* N. M. Karamzin, a Study of his Literary Career (1783—1803). London; Amsterdam, 1971. P. 113.

[2] Об этом свидетельствует отрывок из «Писем», посвященный чуду св. Дионисия: «Католическия Легенды говорят, что он после казни стал на ноги, взял в руки отрубленную голову и шел с нею версты четыре. Одна Парижская Дама, рассуждая о сем чуде, сказала: cela n'est pas surprenant, il n'y a que le premier pas qui coute» («это не удивительно: стоит лишь сделать первый шаг»). «Одна парижская дама» — дю Дефан, именно этими словами она ответила кардиналу Полиньяку, произнесшему в салоне герцогини дю Мен патетическую речь о чуде св. Дионисия. *Bellissort A.* Le salon de M-me du Deffand // Les grand salons littéraires (XVII-e et XVIII siècle). Conférence du musée Carnevalet (1927). Paris, 1928. P. 154.

оснований. В 1789 г. королева «Ордена Лантюрлелю» «отреклась от престола». В дни революции орден распался, многие его члены уехали в эмиграцию. «Рыцарь Лантюрлелю» Берни, достигший в эту пору уже кардинальской шляпы, который в это время находился в Риме и носил звание папского протектора французской церкви, звал ее покинуть Париж и эмигрировать в Рим. Но она отказалась и в 1791 г. скончалась в Париже.

Салон XVIII в. не был только местом встреч, ужинов или даже бесед — он был формой организации культуры, особым родом общения, искусством и жизнью одновременно. Исследовательницы салона и его роли в культуре Франции XVIII в. приводят характерные слова Жермены де Сталь: «Разговор — это свободное искусство, не имеющее ни цели, ни результата. <...> Беседа не является для французов средством сообщать мысли, чувства или деловые сведения, нет — это инструмент, на котором любят играть и который воодушевляет умы как музыка у одних народов и крепкие напитки у других». «Как искусство, беседа приобретает, — продолжают мысль мадам де Сталь Маргарита Глоц и Мадлен Мер, — особый характер, она призвана придать форму сопротивляющейся теме. Предоставим снова слово мадам де Сталь. Ничей свидетельский голос не может иметь бóльшую цену, чем мнение этой изгнанницы, когда она ностальгически припоминает в своей книге «О Германии» парижские салоны, в которых прошла ее молодость: «Род удовольствия, который дает испытать одухотворенная беседа, не заключается, собственно говоря, в содержании разговора; идеи и сведения, которые в нем можно развить, не составляют главного его интереса. Это утверждение, на первый взгляд, изумляет. В такой же мере профанам не дано постичь, что в живописи, скульптуре, поэзии содержание — дело второстепенное. Знаток, прежде всего, ценит формальное совершенство произведения. Вопрос: „Что по какому-либо поводу сказали Даламбер, г-жа дю Дефан, де Гибер?“ — должен быть дополнен другим: „Как они это сказали?“ Ответ не вызывает сомнений: „Самым непредвиденным и неожиданным образом“»[1].

Однако, как мы видели, именно эти стороны «искусства беседы» были отталкивающими для Руссо. Карамзину также они показались мертвыми обломками ушедшего века[2]. Его более интересовали в Париже театры, кафе, которые в 1790 г. сделались местами шумных прений, брошюры и газеты — все, что несло на себе печать тех бурных событий, в центре которых он неожиданно оказался.

---

[1] Цит. по: *Glotz M., Maire M.* Op. cit. P. 57—588.

[2] Высказав свое холодное отношение к салонной культуре, как в тексте «Писем», так и в их автореферате, Карамзин, однако, воспроизводя свою беседу с Мармонтелем, привел его мнение о том, что «в доме Г-жи Неккер, Барона Ольбаха, шутили столь же остроумно, как и в доме Ниноны Ланкло».

В театральных креслах Парижа

Карамзин не был театралом. Знаток и ценитель драматургии, переводчик Лессинга и Шекспира, он редко бывал в театре. Перед «вояжем» он находился среди людей, которые вообще к театру относились с предубеждением. После возвращения мы его видим чаще в уединении Знаменского, в тишине рабочего кабинета, вечерами — у камина или в избранном кругу знакомых дам и друзей-литераторов. В театре он появляется редко. Даже переехав в Петербург, где посещение театра входило в почти обязательный ритуал светского общения, Карамзин оставался редким гостем театральных кресел.

Тем более бросается в глаза его, в буквальном смысле слова, упоение парижскими театрами. «Целый месяц быть всякой день в спектаклях! быть, и не насытиться ни смехом Талии, ни слезами Мельпомены!.. и всякой раз наслаждаться их приятностями с новым чувством!.. Сам дивлюсь; но это правда» (с. 231).

В «Письмах» путешественника привлекает во французском театре, прежде всего, роскошь постановок и актерское мастерство. «Все сие так живо, так естественно, что я тысячу раз забывался и принимал искусственное подражание за самую натуру. Едва могу верить глазам своим, видя быструю перемену декораций. В одно мгновение рай превращается в ад; в одно мгновение проливаются моря там, где луга зеленели, где цветы расцветали и где пастухи на свирелях играли; светлое небо покрывается густым мраком, черныя тучи несутся на крыльях ревущей бури, и зритель трепещет в душе своей; еще один миг, и мрак исчезает, и тучи скрываются, и бури умолкают, и сердце ваше светлеет вместе с видимыми предметами» (с. 232).

Карамзин был тонким ценителем актерской игры, и его описания исполнительской манеры Ларива, Рокур и других артистов, виденных им на парижской сцене, неоднократно уже использовались историками театра как правдивые и компетентные свидетельства.

«Ла-Рив царь на сцене», — писал Карамзин. Игра Ларива в заглавной роли вольтеровского «Эдипа» так описана Карамзиным: «...ла-Рив вышел, в великолепной Греческой, белой одежде, распустив по плечам русые волосы, и гордо-смиренным наклонением головы изъявил публике благодарную свою чувствительность. — В течение всех пяти актов громкая хвала не умолкала. Ла-Рив старался всеми силами заслужить ее, и как Французы говорят, превосходил в искусстве самого себя, не жалея бедной своей груди. Не понимаю, как он мог выдержать до конца трагедии; не понимаю, как и зрители не устали от рукоплескания. В той сцене, где Эдип узнает, что он умертвил отца; что он супруг своей матери; узнает, и страшным образом проклинает судьбу, я почти оцепенел. Никакая кисть не изобразит того, что свирепствовало на лице ла-Рива в сию минуту: ужас, грызение сердца, отчаяние, гнев, ожесточение, и все, все, чего не могу выразить словами. Зрители ахнули, когда он, терзаемый Фуриями, бросился со сцены и ударился головою о

перистиль, так что все колонны задрожали. Вдали слышны были его стенания» (с. 235—236).

Впечатление от игры парижских трагических актеров Карамзин передает в таких словах: «Вот декламация! вот *действие!*[1] Благородство в виде, величавость в поступи, ясность, чистота в произношении, и в каждом слове душа, то есть всякая Поэтова мысль оттенена, всякая мысль выражена свойственным ей тоном, и в гармонии с игрою глаз, с движением руки: везде живопись, везде картины — и естьли зритель, не смотря на сие утончение искусства, остается холоден, то конечно не актеры виноваты» (с. 235). Исследователь истории французского театра эпохи Великой революции замечает по поводу слов Карамзина: «Нам ничего не остается добавить к этим кратким, но очень ярким характеристикам. Русский путешественник весьма удачно схватил и передал своим читателям наиболее показательные элементы двух видов высокого трагического стиля актерской игры, главенствовавшего на подмостках старого театра. Не забудем, однако, что Карамзин видел выдающихся актеров своего времени, что такие трагики, как Ларив, насчитывались единицами. Средний же трагический артист превращал высокое трагическое действие, благородство, величавость и условную выразительность классической игры в манерность, слащавость и вычурность»[2].

Однако Карамзин не случайно заметил, что, несмотря на мастерскую декламацию, зрители высокой трагедии остаются холодными. Ему, поклоннику Шекспира и переводчику «Эмилии Галотти», классические декламации не трогали сердца. Как видно из его споров с г-жой Гло**, его больше привлекала мелодрама и театры, в которых мастерство актеров следовало заветам Дидро. Карамзин в Париже регулярно посещал многие театры. Пять из них он называет «главными». Это Королевская академия музыки, которую он, следуя обычному выражению парижан, именует «Большой оперой», Французский театр (или Французская комедия), Итальянский театр (Итальянская комедия), Театр господина брата короля (Карамзин называл его «Театр графа Прованского») и «Веселое варьете». Все эти театры были расположены в центре города, в людных богатых кварталах Парижа, в треугольнике, один угол которого образовывали Тюильрийский дворец и Пале-Рояль, другой — бульвар у Сен-Мартенских ворот, где помещалась Королевская академия музыки, и Сен-Жерменское предместье у Люксембургского дворца, где находилась Французская комедия — третий угол этого треугольника.

Однако в Париже 1789—1790 гг. всего насчитывалось, по крайней мере, шестнадцать театров, и многие из них русский путешественник, вероятно, также не обошел своим посещением. Во всяком случае, его сведения о них точны и изобличают очевидца: «Кроме сих главных пяти Театров есть в Париже множество других в Palais Royal, на *булевирах*, и для всякого спектакля

---

[1] Выделив это слово курсивом, Карамзин хочет сказать, что отсутствие действия — одного из основных положений эстетики новой драмы — трагедия классицизма компенсирует разработанной традицией артистической декламации. Показательно, что во всех изданиях до 1814 г. в этом месте значилось: вот *действие! жесты!*

[2] *Державин К. Н.* Театр французской революции, 1789—1799. Л.; М., 1937. С. 264.

находятся особливые зрители. Не говоря уже о богатых людях, которые живут только для удовольствий и рассеяния, самые бедные ремесленники, Савояры, разнощики, почитают за необходимость быть в Театре два или три раза в неделю; плачут, смеются, хлопают, свищут и решают судьбу пиес». «Я часто удивлялся верному вкусу здешних партеров, которые по большей части бывают наполнены людьми низкого состояния. Англичанин торжествует в Парламенте и на бирже, Немец в ученом кабинете, Француз в Театре» (с. 241). Следовательно, путешественник посещал демократические театры на бульваре Тампль. Даже такой мало заметный в общей театральной жизни Парижа ансамбль, как «Театр Серафена» (Театр китайских теней), привлек его внимание. Привлек — и произвел столь глубокое впечатление, что образ иллюзорного мира «китайских теней» сделался для него неким философским символом. Определение жизни как «китайских теней», создаваемых воображением, станет позже излюбленным образом Карамзина-скептика.

Театральная жизнь Парижа в 1789—1790 гг. бурлила и кипела. Она менее всего напоминала спокойный и безмятежный храм искусства. Порой было трудно различить, где кончается заседание Национального собрания и политических клубов и начинается спектакль в театральном зале. В Национальном собрании обсуждали вопрос гражданских прав артистов (в жарких прениях аббат Мори и епископ Клермонский отстаивали исключение актеров из общественной жизни как людей «безнравственной» профессии, в защиту гражданских прав актеров выступал Робеспьер) и привилегий «королевских» театров, такие эпизоды, как борьба за и против постановки «Карла IX» Мари-Жозефа Шенье, выходили далеко за рамки театральной жизни. Одновременно политические дискуссии проникали на сцену и вспыхивали в зрительном зале. Накаленная атмосфера революции господствовала и здесь.

К. Н. Державин пишет: «Чем ближе надвигается 1789 год, тем эти аплодисменты (речь идет об отмеченной С. Мерсье возрастающей активности зрительного зала. — *Ю. Л.*) становятся все более настойчивыми и красноречивыми, превращаясь в политические манифестации и свидетельствуя о революционизирующемся сознании зрителей театрального партера». «Политическая линия, проводимая тем или иным театром, выступает как фактор расслоения зрительного зала и как фактор его консолидации. Самое общее сравнение поведения публики в дни постановки „Карла IX“ со спектаклями „Друга законов“[1] показывает нам, как за короткий сравнительно срок углубляются противоречия в рядах театрального зрителя <...> Театр революционной эпохи, — и это отмечают все его историки, — превращается в политический клуб, где развертывается борьба различных партий»[2].

---

[1] Комедия Лэйа «Друг законов» была поставлена на сцене «Театра нации» (так была переименована в 1789 г. Французская Комедия) 2 января 1793 г. Современники восприняли ее как памфлет на Марата и Робеспьера. По приказу Коммуны пьеса была снята, что вызвало протестующие демонстрации зрителей, столкновения в зале и перед театром. По требованию жирондистов в Конвенте пьеса была восстановлена и вновь снята самим театром после бурных сцен в зале.

[2] *Державин К. Н.* Указ. соч. С. 117.

Сходство театра с политическим клубом (отметим и в «Письмах», и в их автореферате устойчивое сопоставление Национального собрания с театром) поддерживалось одним обстоятельством: начало революции сопровождалось массовым развитием ораторского искусства. Этот взрыв красноречия, который на последующих этапах исторического движения покажется увлечением фразеологией, на самом деле имел глубокий смысл: нация, молчавшая много веков, обрела речь. Слово, в точном значении, стало делом. Именно слово за исторически кратчайший срок переделало дух и сознание народа и сделало невозможной реставрацию старого порядка. Законы революции можно было отменить — вернуть старое сознание было невозможно. Революцию умов сделали ораторы. Старый порядок был основан на молчании и тайне: молчании королевских «закрытых писем», по которым люди бесследно исчезали в Бастилии, замке острова Ифф или за рвами и бастионами Венсенского замка, на тайне королевских расходов и королевской дипломатии. Новый порядок начался с гласности. В салонах была принята журчащая речь, король никогда не повышал голоса. Революция началась с львиного рева и театрального жеста Мирабо. Глубоко символично, что маркиз де Дре-Брезе, обер-церемониймейстер двора, которого король послал 23 июня 1789 г. к депутатам с требованием подчиниться его приказу прекратить общие собрания и заседать по сословиям, обладал тихим, почти шепчущим голосом, а Мирабо ответил ему громовым отказом и жестом римского трибуна указал на дверь.

Один из участников этой сцены вел себя как пронизанный идеей приличия придворный, другой — как римский трибун.

Последнее сопоставление не случайно: образцом поведения для людей революции был республиканский Рим. Но где они черпали представления о том, как ведут себя, как говорят, поступают и жестикулируют римские республиканцы? Проницательный ответ на этот вопрос дал Г. В. Плеханов: «Революционная эпоха сразу выдвинула множество замечательных ораторов. Мирабо, Барнав, жирондисты и многие из монтаньяров были настоящими мастерами слова. У кого учились они своему искусству? У великих французских трагиков, доведших до совершенства l'art de bien dire»[1].

Театральность пронизывала жизнь Парижа 1789—1790 гг., и Карамзин не случайно нашел для описания наблюдаемых им событий театральный образ: «Не думайте <...>, чтобы вся нация (характерно, что даже в этом высказывании Карамзин употребляет такое типично революционное слово, как «нация». — *Ю. Л.*) участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре» (с. 226).

Для того, чтобы воспринять революцию как театр, надо было увидеть театр как революцию. И дело было не в отдельных афоризмах, бросаемых со сцены и вызывавших в партере взрывы аплодисментов или свистки, а в

[1] Искусство красноречия (*фр.*). *Плеханов Г. В.* Об экономическом факторе // Литература и искусство. 1930. № 3/4. С. 14.

том, что Белинский назвал «римской помпой» и что составляло душу и театра, и политической жизни тех дней.

Однако что же из театральной жизни Парижа бесспорно оказалось в поле зрения Карамзина? Здесь прежде всего следует упомянуть о событиях, связанных с постановкой пьесы Мари-Жозефа Шенье «Карл IX». Путешественник утверждал в «Письмах», что смотрел эту постановку в Лионе. Мы говорили об обстоятельствах, которые могли заставить Карамзина перенести этот эпизод из Парижа в Лион. Но даже если первое знакомство с пьесой для русского путешественника действительно произошло в Лионе, то тем больше интереса должны были вызвать у него события, волновавшие столь длительное время весь театральный мир Парижа. Пьеса Шенье, написанная еще до революции, по цензурным условиям, конечно, не могла увидеть света рампы. Но в обстановке 1789 г. она оказалась исключительно созвучной общественным настроениям. Разоблачение коварства церковных фанатиков, жестокости придворной камарильи, образ слабого короля, ставшего игрушкой в руках хитрых врагов народа, просвещения и свободы, защита веротерпимости и пунктиром намеченный образ доброго короля — Генриха IV, — все это отвечало самым злободневным идеям 1789 г. А эффектные мелодраматические сцены и громкие монологи, облекающие актуальный политический памфлет в пышную фразеологию просветительской трагедии, делали «Карла IX» сценическим вариантом прений в Национальном собрании.

Однако путь на сцену для трагедии оказался закрытым. Труппа Французского театра продолжала ощущать себя «актерами его величества». Мемуары актера Флёри ярко рисуют враждебность основного состава труппы «духу партера», требовавшего революционных пьес, и солидарность сцены с аристократической частью зала. Театр положил пьесу под сукно. Немецкий путешественник, известный педагог Иоахим-Генрих Кампе, оказался осенью 1789 г. в Париже. Свои впечатления он изложил в книге «Письма из Парижа во время революции». Сочинение это пользовалось таким успехом, что уже в 1790 г. в Брауншвейге вышло «третье исправленное издание» ее. Книга эта, конечно, была Карамзину известна: Кампе был очень популярный в новиковском кругу писатель и педагог, и сам Карамзин неоднократно обращался к его авторитету. По парижским письмам Кампе Карамзин мог поверять и свои собственные воспоминания.

Последнее письмо немецкого путешественника датировано 26 августа 1789 г. Оно описывает впечатление от посещения Французского театра за два дня до этого. Следует отметить, что Кампе оказался в театре 24 августа, то есть в 217-ю годовщину варфоломеевской ночи (24 августа 1572 г.). Как сообщает Кампе, в театральном зале он был оглушен криками публики, которая не давала актерам играть: «„Карл IX“! „Карл IX“! раздавалось от партера до галереи <...> Я воспользовался минутой перерыва, чтобы спросить у соседа, что все это означает, и в особенности, чего добиваются этими криками о Карле IX-м? Ответ его был таков: уже около года, как создана трагедия под таким названием. Автор ее г-н Шенье, а предмет — варфо-

ломеевская ночь»[1]. Далее Кампе узнал от соседа, что труппа не хочет ставить пьесу, а публика ее требует.

События на этом не остановились. 19 сентября 1789 г. публика прервала постановку трагедии Фонтенеля «Эрисия». Актеры почти бежали со сцены. Для объяснений вышел Флёри. Из партера на сцену вскочил оратор (по традиции считают, что это был Дантон) и объявил, что «время, когда деспотизм осуществлял цензуру над театрами, кончается». Вопрос был перенесен в парижский муниципалитет, а затем — в Национальное собрание. 4 ноября 1789 г. пьеса была, наконец, поставлена и прошла с небывалым успехом. Кассовый сбор был невиданным — 5018 ливров. «Карл IX» вызвал поток откликов, от негодующих воплей справа (Ривароль в «Актах апостолов» — ультрамонархической газете — называл пьесу написанной чернилами из чернильницы сатаны) до восторженных отзывов Камилла Демулена и Дантона, которому приписывали слова: «Если „Фигаро" убил дворянство, то „Карл IX" убьет королевскую власть». Впрочем, последнее высказывание мало достоверно: в 1790 г. никто, даже Марат, не собирался «убивать королевскую власть».

Карамзин застал эти споры и, по собственному признанию, в них участвовал. Тем более не мог для него пройти незамеченным драматический эпизод, разыгравшийся в дни, когда он, по собственному признанию, ежедневно бывал в театре. 12 апреля театр открывал сезон после перерыва на время поста. Речь, которой по традиции должен был открываться спектакль, поручена была молодому Тальма. Текст для актера написал М.-Ж. Шенье. Аристократическая верхушка труппы забраковала речь и передала слово другому актеру. Шенье напечатал текст речи и, сопроводив пометой о запрете, распространил в зале театра. В зале началась драка. Дальнейшее происходило уже после отъезда Карамзина: борьба против попыток снять «Карла IX» с репертуара связана была с вмешательством Мирабо и марсельских патриотов, дракой за кулисами между Тальма и актером Нодэ и последующей дуэлью между ними и, наконец, уходом Тальма и всей «красной эскадры» патриотически настроенных актеров из театра. Таким образом, борьба вокруг трагедии Шенье была сенсацией театральной жизни на всем протяжении пребывания писателя в столице Франции. Она, конечно, принадлежала к значительнейшим театральным впечатлениям Карамзина в Париже.

Карамзин в «Письмах» засвидетельствовал свои театральные интересы, но предпочел весьма скупо отозваться о том, какие именно пьесы привлекали его внимание. Однако для выяснения этого у нас есть достаточно материалов: мы знаем общий характер его интересов и воззрений, располагаем репертуаром парижских театров этого периода. Кроме того, вернувшись в Москву и начав в 1791 г. издавать «Московский журнал», Карамзин посвятил в нем специальный раздел «Иностранным спектаклям». Раздел этот включал в себя переводные рецензии и в основном был посвящен французскому театру.

[1] Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution / Geschrieben von Joachim-Heinrich Campe. Dritte verbesserte Auflage. Braunschweig, 1790. S. 307.

Данные черпались главным образом из «Mercure de France», но подбор и редактура ясно обнаруживали позицию издателя. Кроме того, в ряде случаев Карамзин прямо ссылался в этом разделе на собственные парижские впечатления.

Прежде всего в поле его зрения должны были оказаться пьесы, обличающие фанатизм, преследования протестантов, церковную нетерпимость, инквизицию, злоупотребления, творящиеся под маской ханжества, насильственное пострижение в монашенки и пр.

Другим предметом обличения в революционном театре были герои старого порядка. В трагедии это был образ тирана, короля-деспота, гонителя добродетельных защитников прав человека, в комедии — воспитанный старым порядком дворянин, который попадает в смешные положения в новом мире свободной Франции.

В «Московском журнале» Карамзин, несмотря на то, что цензурные условия после дела Радищева, по мере развития событий в Париже, становились все более угрожающими, счел возможным указывать читателям на пьесы, типичные для революционного театра 1789—1791 гг. Он рецензирует такие спектакли, как «Монастырские жертвы» (Les victimes cloitrees)[1] Монвеля. Карамзин воспользовался тем, что обличение инквизиторских порядков *католического* монастыря в России не вызывало цензурных придирок, а отвлеченная критика фанатизма уже столько раз встречалась в сочинениях просветителей, что к ней привыкли, и подробно прореферировал боевик революционной сцены 1791 г. Пьеса Монвеля шла в Париже с потрясающим успехом. Козни кровожадного и сластолюбивого монаха, ужасы монастырской тюрьмы, куда героев замуровывают заживо, доводили зрителей до такого состояния, что театр счел нужным предупреждать, что в одной из лож постоянно дежурит врач со всем необходимым для приведения в чувство слабонервных патриоток. Критик «Gazette Nationale, ou Universel» даже вынужден был заметить, что «опасно приучать публику к слишком сильным волнениям»[2]. Публикуя рецензию, Карамзин без каких-либо комментариев знакомит читателя с сюжетом пьесы, где рядом с злодеем патером Лораном выведен отрицательный образ спесивой аристократки, а отряд национальных гвардейцев играет роль deus ex machina, спасающего героев. Показательна одна небольшая деталь: театр, который Карамзин в «Письмах» (в отрывке, опубликованном в 1794 г. в «Аглае») именует традиционным названием Французский театр, в рецензии 1791 г. он называет в соответствии с «революционным» переименованием «Театр национальный»[3]. Рецензия на «Монастырские жертвы» не была единственной или случайной: ей предшествовала рецензия на поставленную Итальянским театром пьесу Бретона «Монастырские жестокости», где сцена «представляет молодую девушку, тиранскою властию осужденную посвятить небу то сердце, которое она для

[1] Карамзин переводил название более точно: «Заключенные в монастырь жертвы». Мы пользуемся общепринятым переводом.

[2] Цит. по: *Державин К. Н.* Указ. соч. С. 141.

[3] Московский журнал. 1791. Ч. V. Кн. 3. С. 342.

мира и любви назначала»[1]. Если Карамзин настойчиво привлекал внимание русских читателей к пьесам такого рода в Москве 1791 г., то странно предположить, что он упустил возможность посмотреть их в Париже 1790-го.

Из антидеспотических пьес Карамзин, судя по тексту «Писем», видел «Тарара» Бомарше с музыкой Сальери. Назвав пьесу Бомарше «странной», Карамзин, однако, отметил, что автор сумел ею «вскружить голову Парижской публике» (с. 220). Написанная еще до революции (первая постановка в 1787 г.), пьеса Бомарше — Сальери была, по словам К. Державина, «принята публикой едва ли не с большим энтузиазмом, чем „Свадьба Фигаро“»[2]. Поразила зрителей она не только необычностью сюжета: в ней действовали духи, гении, воскресающие тени и пр. — но и политической смелостью: резкий образ тирана Атара вызывал у зрителей вполне актуальные ассоциации. Тирану противопоставлен вождь народного восстания Тарар, которого в конце пьесы народ возводит на престол покончившего с собой Атара.

Популярным героем пьес, шедших в начале революции, был Генрих IV. Только восстание 10 августа 1792 г., когда все статуи королей в Париже были сброшены с пьедесталов, нанесло удар по культу Генриха IV.

Но это время еще не наступило. Пока что образ, вдохновивший Вольтера на «Генриаду» и закрепленный авторитетом философов-просветителей, господствовал на парижской сцене так же, как и в сознании Карамзина, сделавшего вольтеровский идеал сквозным подтекстом парижской части писем.

Антиподом театрального тирана в пьесах начала революции был добродетельный монарх, король-гражданин, философ на престоле и отец своих подданных. Такое противопоставление не только удовлетворяло поэтике мелодрамы с ее обязательным контрастом черного и белого и тяготением массового зрителя к счастливым концам, оно соответствовало политической температуре времени. Идея республиканского монархизма, получая различные оттенки, входила в 1790 г. в программу самых разных и борющихся между собой политических группировок. Не разделяли ее только закоренелые сторонники старого режима, голос которых отчетливо звучал в Кобленце, но был не слышен в Париже. Не только умеренные монархисты и умеренные республиканцы предпочитали сохранить «доброго короля». Даже Марат и Робеспьер не выдвигали в эту пору лозунга республики. Еще в период вареннского кризиса Робеспьер колебался, боясь, что уничтожение королевской власти приведет не к демократической республике, а к олигархии и сыграет на руку аристократии[3]. Наконец, идея короля-гражданина имела богатое прошлое в просветительской публицистике XVIII в. Культ Генриха IV, основания которому были заложены Вольтером, получил широкое развитие на сцене 1790 г.

---

[1] Московский журнал. 1791. Ч. II. Кн. 1. С. 70.

[2] *Державин К. Н.* Указ. соч. С. 173.

[3] Цит. по: *Олар А.* Указ. соч. С. 282.

Подобные представления были близки и Карамзину. Они ассоциировались с надеждами русских оппозиционеров на наследника престола и вызывали в памяти образ Петра Первого.

Не случайно из всей массы парижских спектаклей Карамзин выделил оперу Гретри (по комедии Буйи) «Петр Великий».

Карамзин подробно пересказал в «Письмах» сюжет оперы. Это имело для него серьезный смысл, далеко выходящий за рамки незначительной комедии Буйи. Идеализированный образ царя-реформатора приобретал в Москве иной смысл, чем в Париже. На сцене Итальянского театра король-гражданин олицетворял мирную революцию и единение сословий — популярные лозунги 1790 г. В России царь-реформатор воспринимался как фигура, которая откроет историческому прогрессу путь, альтернативный революции. В прогресс же Карамзин глубоко верил. Это было одно из самых заветных, самых задушевных его убеждений. Тем больнее он переживал в дальнейшем периоды разочарования в способности людей и народов, изменяясь к лучшему, двигаться к прекрасному будущему. И даже в самые мрачные минуты отчаяния и скепсиса эта вера до конца его не покидала, и он ее стыдливо прятал в глубинах души как наивную детскую мечту, верить которой стыдно, а расставаться с которой означает душевно умереть. Однако само содержание идеи прогресса претерпевало в его уме сложную эволюцию. Что понимал он под прогрессом, когда в 1794 г. публиковал отрывок о парижских театрах в альманахе «Аглая» (в целом «парижские» письма появились в печати значительно позже, и их ранний текст нам неизвестен), видно из одной любопытной детали.

В опере Гретри — Буйи Лефорт исполняет песню, посвященную заграничному путешествию Петра. В прозаическом переводе с французского текст ее выглядит так:

«Некогда один славный император доверил заботы о своей империи мудрому советнику, чтобы объехать мир с целью образования.

Сокровища, высокое положение и величие не всегда составляют счастье (эти слова образуют припев, который повторяется хором. — *Ю. Л.*).

Чтобы скрыть свое происхождение, он оделся плотником и обошел всю Англию и Францию вплоть до последней хижины. Сокровища... и т. д.

Сгибаясь под тяжелой ношей, покрытый потом и пылью, он целый год работал моряком. Сокровища... и т. д.

Вместо скиптра и короны он взял топор и молоток и сумел построить корабль, красота которого привлекала и изумляла. Сокровища... и т. д.

Великие цари и высокие владетели! Оставьте ваши дворы и короны! Так же, как и он, покидайте свое отечество ради путешествий и трудов, и вы увидите, что величие не всегда составляет счастие».

Буйи в своей характеристике Петра I следовал традиции Вольтера, а тот, в свою очередь, объединил просветительскую концепцию просвещенного монарха с ломоносовской идеей царя-труженика. В хранящейся в Праге французской рукописи «Апофеоз Петра I», которую с основанием считают частью материалов, подготовленных Ломоносовым для Вольтера, читаем о том, что Петр «как простой плотник нанялся в Голландии в Индийскую

компанию и не пренебрегал с топором в руках работать на верфи, строя корабль в качестве обыкновенного рабочего»[1]. Карамзину же версия царя-плотника была хорошо известна по стихам Ломоносова и Державина:

Рожденны к скипетру простер в работу руки...

(Ломоносов)

Оставя скипетр, трон, чертог,
Быв странником, в пыли и поте,
Великий Петр, как некий бог,
Блистал величеством в работе...

(Державин)

Тем более заметно, что под видом перевода романса Лефорта Карамзин дал в «Письмах» совершенно иную версию прогресса:

Жил-был в свете добрый Царь,
Православный Государь,
Все сердца его любили,
Все отцом и другом чтили.

Любит Царь детей своих;
Хочет он блаженства их:
Сан и пышность забывает —
Трон, порфиру оставляет.

Царь как странник в путь идет,
И обходит целый свет.
Посох есть ему — держава,
Все опасности — забава.

Для чегожь оставил он
Царский сан и светлый трон?
Для чего ему скитаться, —
Хладу, зною подвергаться?

Чтоб везде добро сбирать,
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами.

Для чегожь ему желать
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами?

Чтобы мудростью своей
Озарить умы людей,
Чад и подданных прославить
И в *искусстве жить* наставить.

---

[1] *Černý V.* L'apothéose de Pierre le Grand etc. Trois écrits historiques inconnus, présumes de M. V. Lomonosov, destinés à Voltaire. Prague, 1964. P. 80.

О Великий Государь!
Первый, первый в свете Царь! —
Всю вселенную пройдете,
Но другова не найдете (с. 239—240).

Искусство плотника, царственная наука, которой учатся «в пыли и поте», заменены «искусством жить», которое Карамзин выделил курсивом. Прогресс — успехи цивилизации, просвещения. А это подразумевает «везде добро сбирать». Стремлению овладеть европейской техникой, ремеслом, искусством строительства кораблей противопоставлено стремление стать частью мировой культуры. Культура же — единое духовное развитие человечества.

То, что Карамзин наблюдает во Франции, еще в 1791 г. представляется ему вполне согласным с духовным прогрессом: начальная работа революции по расчистке авгиевых конюшен истории вызывает у него сочувствие. Слово «традиция» еще не имеет над ним той волшебной власти, которую оно приобретает, когда он досмотрит историческое действо до коронации Наполеона и Бородинского сражения. В 1790 г. он еще с удовольствием смотрит комедии друга Дантона и Камилла Демулена Фабра д'Эглантина (голова которого 16 жерминаля II года республики — 5 апреля 1794 г. — упадет под ножом гильотины вслед за головой Дантона). Более того, в 1791 г. он поместит в «Московском журнале» подробную рецензию на комедию Фабра «Аристократ, или Выздоровевший от знатности» (Карамзин в рецензии приводит лишь краткое французское заглавие «Le convalescent de qualité»). Прошлое представлено здесь как царство смешных предрассудков, избавление от которых есть выздоровление. Карамзин предлагает читателям «Московского журнала» солидаризироваться с такими взглядами: «Один знатный человек был болен подагрой, которую усиливал он беспрестанным своим сердцем (то есть гневом. — *Ю. Л.*). Доктор, взявшись его вылечить, послал его в 1788 году в отдаленную деревню, лежащую у подошвы гор, и не велел ему ни с кем иметь сообщения, выключая своего поверенного, который, способствуя скорейшему его излечению, говорил только ему угодное. Революция сделалась; он не знает об ней ни слова, и возвращается в Париж, когда его там совсем не ожидали. Вообразите его удивление: все переменяют с ним обхождение; все говорят с ним новым тоном — а как никто не подозревает, чтобы происшедшие перемены были ему неизвестны, то долгое время остается он в неведении. Один богатый мещанин приходит сватать дочь его за своего сына, ее любящего и ею любимого. Знатный господин хочет приказать слугам своим выбросить мещанина в окошко; пишет письмо к Lieutenant de Police и требует от него lettre de cachet, чтобы и отца, и сына посадить в *Бастилию*; бранит дочь свою за то, что она полюбила мещанина и даже вздумала выйти за него замуж. Сей г. Маркиз должен 200 тысяч ливров. Заимодавец требует их; но он, чтобы его удовольствовать, обещает сыну его прибыльное место при откупах, племяннику приорство, а дочери пенсию на лунный свет. <...> Наконец приходит доктор и объясняет все своему больному, который стал *больнее* прежнего»[1].

[1] Московский журнал. 1791. Ч. III. Кн. 3. С. 331—332.

Процитированный Карамзиным отрывок в нескольких словах сконцентрировал черты быта, отмененного революцией. Lieutenant de Police — ненавистная парижанам должность начальника королевской полиции была воплощением произвола старого режима («Верните нам Ленуара» — сделалось карикатурно-ностальгическим воплем старой аристократии в годы революции; Пьер Ленуар был последним начальником полиции до революции); lettre de cachet («запечатанное письмо») — королевский указ о ссылке или заключении в тюрьму кого-либо без суда и следствия. Эти указы король раздавал своим фаворитам и придворным с пропуском фамилии жертвы, предоставляя им самим таким образом расправляться с личными врагами. Именно на основании lettre de cachet родной отец заточил Мирабо в крепость на острове Ре. Откупа также были типичным злоупотреблением старого режима: это были щедро раздававшиеся двором монополии, доходные для откупщиков и разорительные для народа. Раздача приорств в равной мере принадлежала к числу типичных злоупотреблений двора: речь шла о фиктивной должности главы какого-либо монастыря, на деле лишь означавшей право получать часть монастырских доходов, ведя в Париже жизнь «светского аббата». Пенсии на лунный свет, sur le clair de la Lune, представляли следующее: во время лунного сияния парижские улицы по ночам не освещались. Однако деньги, определенные на освещение улиц, продолжали выдаваться. Из этих сумм назначались пенсии, обильно раздававшиеся придворной камарилье.

Парижская публика хохотала, слыша со сцены эти, когда-то грозные, но уже потерявшие устрашающий смысл, слова. Бастилия была разрушена, королевскую полицию сменила национальная гвардия. Но Карамзин предлагал посмеяться над старым аристократом и *русскому* читателю, которому, чтобы присоединиться к веселью парижан, надо было *вообразить*, что предрассудки и злоупотребления *ушли в прошлое*.

В другом месте Карамзин перепечатал в «Московском журнале» парижскую рецензию, называющую Фабра д'Эглантина — уже видного члена Якобинского клуба — «надеждой» французского «комического театра».

По тому, как упорно информирует Карамзин своих читателей в 1791 г. о таких пьесах, как «Последние минуты Ж.-Ж. Руссо», «Тень графа Мирабо», и о других однодневках революционной сцены, можно заключить, что он не пропускал в Париже и такие спектакли. Неудивительно, что, попав в английский театр, куда, московский поклонник Шекспира, он когда-то стремился, как в храм Мельпомены и Талии, Карамзин был разочарован. Шекспир и Шиллер для него по-прежнему выше всех французских трагиков вместе взятых, но после накаленной атмосферы парижского театра лондонские спектакли кажутся ему бедными и холодными.

Действительно, театральный сезон Парижа 1789/90 г. был исключительным: роскошь и традиционное мастерство королевских театров еще сохранялись, а отмена привилегий вызвала бурный рост искусства и значения других театров. Соединение старой театральной традиции и царившей в зале новой атмосферы, постоянное балансирование на грани спектакля и митинга, политический жар актеров и театральное поведение, жесты и монологи публики, порой выделяющей из своих рядов ораторов, состязающихся с

артистами в искусстве красноречия, — все это делало театр Парижа тех дней незабываемым.

Шум города

Итак, днем в Национальной ассамблее, вечером в театре. Но где же Карамзин был по утрам? «Возвратимся опять в городской шум», — писал он. «...Вот как можно весело проводить время и тратить не много денег:

Иметь хорошую комнату в лучшей *Отели*; поутру читать разные *публичные листы*, журналы и газеты (в первом издании 1801 г. «публичные листы» отсутствовали, в Собрании сочинений 1803 г. Карамзин их восстановил, но в последующих снова убрал; о смысле этого колебания см. ниже. — *Ю. Л.*), где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное; и между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии; потом кликнуть парикмахера, говоруна, враля, который наскажет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаете; намажет вашу голову Прованскими духами и напудрит самою белою, легкою, пудрою; а там, надев чистой, простой фрак, *бродить* по городу, зайти в Пале-Рояль, в Тюльери, в Елисейския поля, к известному Писателю, к художнику, в лавки, где продаются эстампы и картины, — к Дидоту, любоваться его прекрасными изданиями классических Авторов, обедать у Ресторатёра[1], где подадут вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом; посмотреть на часы, и расположить время свое до шести (то есть до театра. — *Ю. Л.*), чтобы, осмотрев какую-нибудь церковь, украшенную монументами, или галерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться, с первым движением смычка, в Опере, в Комедии, в Трагедии, пленяться гармониею, балетом, смеяться, плакать — и с томною, но приятных чувств исполненною душою отдыхать в Пале-Рояль, в Cafe de Valois, de Caveau, за чашкою *бавaруаза* (напиток из сладкого чая, кофе или шоколада с молоком и специями. — *Ю. Л.*); взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, алей в саду; вслушиваться иногда в то, что говорят тамошние глубокие Политики; наконец возвратиться в тихую свою комнату...» (с. 244—245).

[1] И слово, и понятие были еще непривычны для русского читателя, и Карамзин вынужден был сделать примечание: «Ресторатёрами называются в Париже лучшие трактирщики, у которых можно обедать. Вам подадут роспись всем блюдам с обозначением их цены; выбрав, что угодно, обедаете на маленьком, особливом столике» (с. 245).

О кафе следует сказать особо. В кафе парижанин тех лет начинал и кончал свой день. Так же поступали и иностранцы. Курьер русского двора, а в будущем приближенный вел. кн. Константина Павловича и императора Александра I, начальник внутренней стражи, генерал граф Комаровский вспоминал о своем пребывании в Париже (за год до Карамзина): «Поутру ходил я завтракать au Café de Foi, бывшем тогда в большой моде, или в другой кофейный дом <...> После обеда кофе пить я ходил au Café mécanique»[1].

Карамзин посвятил в «Письмах» несколько строк кафе как особой достопримечательности Парижа: «Ныне более 600 кофейных домов в Париже (каждый имеет своего Корифея, умника, говоруна), но знаменитых считается 10, из которых пять или шесть в Пале-Рояль: Café de Foi, du Cavot, du Valois, de Chartres» (с. 269). Кроме того, в числе популярных кафе Карамзин называет Le Café de la Régence и Прокопа.

Чем же были примечательны парижские кафе в 1790 г.? «Период с 1789 по 1799 г., — пишет исследователь повседневной жизни Парижа Анри д'Альмера, — был золотым веком кафе. Во многих кафе, превратившихся в политические клубы, читали вечерние газеты, спорили, произносили речи, подготовляли возмущения»[2]. Карамзин осторожно и с полным пониманием направлений разных кафе подобрал названия тех, которые он включил в свой текст: Café de Foi, расположенное в Пале-Рояле, было местом сбора наиболее демократически настроенных патриотов. Здесь собирались эбертисты, заходили депутаты Коммуны. На столики этого кафе часто вскакивали ораторы, произносившие зажигательные речи. В пестроте Пале-Рояля это был полюс мятежей. Не случайно в период термидора власти закрыли это кафе.

Кафе Прокоп было якобинским[3]. Здесь можно было видеть Дантона, постоянным посетителем и оратором («говоруном», по терминологии Карамзина) этого кафе был Камилл Демулен. Заходила сюда Люси Демулен, красавица, которая через три с небольшим года в белом, похожем на подвенечное, платье взойдет на гильотину. Café du Valois, de Chartres были роялистскими. Что же касается Cavot, то его посещала смешанная публика. Здесь вслух обсуждались не политические, а театральные новости, а шепотом передавались городские сплетни, совершались спекулятивные сделки.

Пале-Рояль находился почти на равном расстоянии от Национальной ассамблеи и Якобинского клуба, если пойти по улице Сент-Оноре в сторону Елисейских полей, и Ратуши, где помещалась Парижская коммуна, мятежное сердце Парижа. Но рядом были и Тюильри, и роскошные магазины и

---

[1] *Комаровский Е. Ф.* Указ. соч. С. 9—10.

[2] *D'Alméras H.* La vie Parisienne sous la Révolution et la Directoire. Paris, 1909. P. 67.

[3] Кафе Корацца сделалось прибежищем монтаньяров и крайних демократов – Шабо, Лазовского, Варле, Колло д'Эрбуа — позже. Весной 1790 г. оно еще было типично аристократическим, и Карамзин, и так уже назвавший два центра роялистов как места, которые он посещал, мог не умножать списка: поза подчеркнутой внепартийности требовала строгой пропорции, и автор «Писем» неизменно ее соблюдал, независимо от того, перечислял ли он ораторов, знакомых или кафе.

рестораны, привлекавшие тех, у кого были деньги и кому не было дела до политики и революции. В весенние дни 1790 г. столики кафе стояли под открытым небом вдоль тротуаров. Споры в тех или иных кафе собирали вокруг гуляющую публику, перерастали в митинги и столкновения между публикой различных кафе.

Русский путешественник в кафе Пале-Рояля, конечно, не только попивал свой баваруаз или любовался прохожими и витринами магазинов, но и «вслушивался», «что говорят тамошние глубокие Политики». Политические споры и пламенные речи неслись не только с трибуны Национальной ассамблеи и звучали со сцен театров — они наполняли возгласами электрическую атмосферу кафе. Только воспроизведя в своем сознании эту реальность, можно оценить подлинный смысл идиллической картины прогулок беззаботно фланирующего путешественника, нарисовав которую Карамзин заключал: «Так я провожу время».

Однако любопытство путешественника, видимо, не исчерпывалось стремлением прислушаться к шуму мнений в кафе разных оттенков и выслушать «говорунов» всех партий: сразу после описания парижских кафе Карамзин включает в 108-е письмо странный раздел «Смесь» (словно перед нами журнал, а не имитация частной переписки). Здесь читаем: «Я желал видеть, как веселится Парижская чернь, и был нынешний день в *Генгетах*: так называются загородные трактиры, где по Воскресеньям собирается народ обедать за 10 *су* и пить самое дешевое вино. Не можете представить себе, какой шумный и разнообразный спектакль!» (с. 269).

Вылазку эту весной 1790 г. можно назвать лишь экскурсией в мир санкюлотов. Здесь Карамзин видел не треуголки и фраки, а красные колпаки и карманьолы. Он, видимо, был поражен, услышав не мрачные и кровожадные разговоры, а став свидетелем простодушного и почти детского веселья: «Кричат, пляшут, поют». Между тем впечатление его не обмануло: многочисленные свидетельства подтверждают, что революционная толпа Парижа в 1790 г. была *веселой*. Вспышки ярости в хлебных и продуктовых очередях начались позже. Никто в апреле 1790 г. не мог бы предсказать ни восстание 10 августа 1792 г., ни сентябрьские убийства, последовавшие за ним. Даже еще во время чисто народной демонстрации 20 июня 1792 г., когда толпа парижан, в основном санкюлотов, женщин, детей, не предводимая никем из политических лидеров, ворвалась в Тюильри, настроение ее было скорее веселое, чем озлобленное. Раздавались выкрики против «австриячки», но к Людовику XVI демонстранты относились с грубоватым почтением. А когда он, взяв у одного из санкюлотов, надел на голову красный колпак, раздался единодушный крик восторга. Толпа пела и приплясывала. Потребовались голод, интервенция, поражения на фронтах, мятежи в провинции, угрозы эмигрантов и герцога Брауншвейгского разрушить Париж, чтобы настроение парижской толпы сделалось мрачным и подозрительным. Карамзин этого уже не видел.

В конце 97-го письма Карамзин поместил сцену в придворной церкви, когда он вблизи видел короля и королеву. Смысл этой сцены как части идейно-художественного целого «Писем» прежде всего определяется тем, что

в момент, когда русский читатель держал в руках страницы, описывающие народную любовь к Людовику XVI, все упомянутые в этой сцене прошли длинной чередой по помосту гильотины. И заключительная фраза, в прямом смысле относящаяся к тому, что «все с радостью окружили» дофина: «Народ любит еще кровь Царскую!» — приобретает зловещий второй смысл. И «еще», и «кровь» звучат как мрачные предсказания.

Сцена эта полна намеков и умолчаний. Так, фраза: «На Короле был фиолетовый кафтан» — ничего не говорит нашим современникам, но прекрасно понятна была читателям Карамзина. Фиолетовый цвет — траур королей. Действие, видимо, происходит в марте 1790 г. Фиолетовый кафтан короля и траурные платья королевы и дам — это вызов: двор в трауре по маркизу Фаврасу, казненному в феврале на Гревской площади, формально — за попытку похитить короля, а фактически — за организацию побега. На самом деле это была конспирация с участием королевы, графа Прованского и, вероятно, Мирабо, Фаврас взял на себя вину, и заговор остался нераскрытым. Однако в Париже циркулировали слухи, — возможно, Карамзину известные, — что Фаврас был обманут своими высокими покровителями и до последней минуты надеялся, что приговор не будет приведен в исполнение. Уже на эшафоте он хотел сделать какие-то важные разоблачения. Но народ, ослепленный ненавистью и желанием видеть редкое зрелище (первый случай повешения аристократа), заглушил его слова криками: «Прыгай, маркиз!»[1] В этих условиях, когда говорили, что казнь Фавраса вызвала вздох облегчения у его друзей в большей мере, чем у его врагов, траур двора приобретал двусмысленный характер.

Однако вся эта сложная ткань намеков и недомолвок, дающих ключи к тексту «Писем», относится к поэтике произведения Карамзина. Если же говорить о реальной бытовой сцене, послужившей для нее основой, то она отнюдь не выглядит неправдоподобной. С одной стороны, Карамзин отмечает холодность части публики к королю. С другой, по всем источникам, в народе Парижа 1790 г. еще отсутствовали республиканские эмоции. Выражение «наш добрый король» употреблялось повсеместно. Народная масса отделяла короля от двора и королевы и видела в нем «монарха-гражданина» и «отца французов». Появление его неизменно вызывало приветственные крики.

Взгляд, брошенный путешественником на королевскую чету, дополняет обзор всего спектра политических деятелей, привлекающих его внимание. Он видит их живые лица, наблюдая тех, кто для русских читателей Карамзина — от первых публикаций «Писем» до наших дней — были и остаются лишь громкими именами на страницах истории, — в жизни: на трибуне и в салоне, в театральной ложе или партере, за столиком кафе или на молитве в церкви.

Но непосредственное, жизненное, устное общение не отвергало чтения. Более того: именно в это время Париж был наводнен целым потоком газет, брошюр, карикатур, афиш, эстампов. Кафе преобразились в читальные залы,

[1] Цитата из комедии Мариво «Игра любви и случая», где, в свою очередь, цитируется «Игрок» Реньяра.

стены домов напоминали тумбы для афиш. Не случайно Анахарсис Клоотц однажды у решетки Конвента потребовал национальных почестей памяти Гутенберга. Франция обрела свободу печати и пользовалась ею с не меньшим жаром, чем свободой слова.

Карамзин был всю жизнь человеком книги. Чтение было его трудом и отдыхом. Он читал в почтовой карете и на альпийских ледниках, с пером в руках в рабочем кабинете и вслух в будуаре «милой женщины».

Время, проведенное в Париже, не было им потеряно для чтения. И конечно, не последнее место занимала здесь летучая литература революции, ее пресса и публицистика. Не случайно, рисуя свой распорядок дня, Карамзин писал: «...поутру читать разные *публичные листы*, журналы, газеты, где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное» (с. 442, 244). Прежде всего, любопытство вызывают «публичные листы». Упоминание о них фигурировало в первых изданиях, появившихся в условиях облегчения цензурного режима «дней александровых прекрасного начала», но Карамзин в дальнейшем почел за благо его убрать. Дело в том, что если о журналах и газетах можно было уверять простодушного читателя, что путешественник брал их в руки в Париже 1790 г. с целью найти что-либо «занимательное, жалкое, смешное», то применительно к тому, что он именует «публичными листами», это выглядело уже насмешкой над читателем. Правильное протоколирование заседаний Национальной ассамблеи было установлено далеко не сразу: долгое время различные газеты публиковали отчеты разной степени подробности и точности. Зато скоро установился обычай: те речи, которые Собрание признавало особенно важными, по специальному решению, принимаемому путем голосования, публиковались (это облегчалось тем, что импровизация не была в обычае; даже Мирабо, часто к ней прибегавший, многие свои выступления готовил заранее — некоторые из них ему готовил Шамфор Публиковались они на отдельных листах и в ряде случаев перепечатывались газетами. Листы с публикациями, также по особому решению, рассылались «народным обществам». К тому же порядку стали скоро прибегать и клубы, собрания секций и различные общества граждан. Кроме того, все эти организации и отдельные лица печатали воззвания, обращения к народу и манифесты. Эта масса печатных листов расклеивалась на стенках и раздавалась прохожим, заваливала столики кафе, скоплялась в мелочных лавочках, где ее и получали любопытные. Это был живой пульс революционного Парижа, бившийся ускоренно и лихорадочно. Ничего «занимательного, жалкого, смешного» для «чувствительного путешественника» здесь не было. Зато было много животрепещуще интересного для того, кто «ухо приклонил к земле».

Читал ли Карамзин какие-то определенные газеты или черпал информацию из тех, которые попадались под руку, сказать невозможно. Однако то, что Карамзин интересовался революционной прессой, не только засвидетельствовано им самим, но и устанавливается на основании текста «Писем». Дело в том, что, вынужденный в книге, предназначенной для русского читателя,

[1] См.: *Guillois A.* Op. cit. P. 76.

скрывать многие встречи и вполне реальные парижские впечатления, он компенсировал это чисто литературными эпизодами, а материалы для них черпал порой из газетных происшествий. Вот любопытный тому пример. В письме, помеченном «Париж, Июня...», читаем: «Однажды Бидер (слуга путешественника в Париже. — *Ю. Л.*) пришел ко мне весь в слезах и сказал, подавая лист газет: „Читайте!“ Я взял и прочитал следующее: „Сего Маия 28 дня, в 5 часов утра, в улице Сен-Мари застрелился слуга господина N. Прибежали на выстрел, отворили дверь... нещастный плавал в крови своей; подле него лежал пистолет; на стене было написано: quand on n'est rien, et qu'on est sans éspoir, la vie est un opprobre, et la mort un devoir; а на дверях: aujourd'hui mon tour, demain le tien[1]. Между разбросанными по столу бумагами нашлись стихи, разныя философическия мысли и завещание. Из первых видно, что сей молодой человек знал наизусть опасныя произведения новых *Философов*; вместо утешения, извлекал из каждой мысли яд для души своей, необразованной воспитанием для чтения таких книг, и сделался жертвою мечтательных умствований. Он ненавидел свое низкое состояние, и в самом деле был выше его, как разумом, так и нежным чувством; целые ночи просиживал за книгами, и покупал свечи на свои деньги, думая, что строгая честность не дозволяла ему тратить на то господских. В завещании говорит, что он *сын любви*, и весьма трогательно описывает нежность *второй матери* своей, добродушной кормилицы; отказывает ей 130 ливров, отечеству (en don patriotique[2]) 100, бедным 48, заключенным в темнице за долги 48, луидор тем, которые возьмут на себя труд предать земле прах его, и три луидора другу своему, слуге Немцу, живущему в *Британской Отели*. Комиссар нашел в его ларчике более 400 ливров“. — „Три луидора отказаны мне, сказал чувствительный Бидер: он был с ребячества другом моим и редким молодым человеком“» (с. 306—307).

Весь этот эпизод, который автор «Писем» представляет читателю как реальное событие, имеет чисто литературную природу. Ничего подобного с Карамзиным не происходило и не могло произойти. Карамзин заимствовал весь эпизод из «Газеты европейских революций в 1789—1790 гг.», где он помещен в первых числах апреля 1790 г., а само событие датируется 30 марта, то есть днем, когда путешественник едва переступил границу Парижа. Чтобы придать событию вероятность, автору «Писем» пришлось перенести то, что в газете датировалось 30 марта, на 28 мая.

Поскольку текст газетной заметки показывает приемы, с помощью которых Карамзин конструировал «эпизоды», приведем его полностью: «30 марта на улице Сен-Мерри было совершено одно из тех обдуманных самоубийств, примеры которых мы находим только в Англии.

Некто Вилетт, слуга, в возрасте 26 лет, примерной честности, был человек прилежный в выполнении всех своих обязанностей. Не имея никаких склон-

[1] Когда нет ничего и надежда потеряна, жизнь — позор, а смерть — долг; сегодня — я, завтра — ты (*фр.*).

[2] Как патриотический дар (*фр.*).

ностей, он накопил довольно значительные сбережения. Он никогда не выходил из дома и проводил то свободное время, которое у него оставалось от исполнения своих обязанностей, за чтением книг хорошего содержания. 10-го последнего месяца он написал завещание и приложил к нему письмо, в котором объявлял, что он незаконнорожденный, что его воспитала бедная женщина, вскормила вместе со своими детьми, что он благодарен ей и что он помогал ей всеми возможными для него средствами. В одном диалоге своей души с Богом[1] он мотивирует свое решение покинуть жизнь соображениями, которые находятся у Руссо и Сенеки. Он сообщает, что свое состояние слуги он переносил с отвращением, поскольку считал его бесконечно унизительным. Он прощается с великодушным третьим сословием, дворянством, которое должно быть счастливо милосердием своих победителей, и духовенством, которое он призывает отвергнуть свои одеяния и свои привилегии. Он заключает благодарностью своим господам, к которым он очень привязан за их заботы и их внимательность. В адрес своих хозяев он произносит настоящий панегирик. В день его смерти ни в выполнении им своих обязанностей, ни в его лице не было заметно никаких изменений. Когда хозяева улеглись, он удалился в свою комнату. Он привел свои дела в полнейший порядок и положил на стол запечатанное завещание, в котором он назначил своим наследником одного из детей своей приемной матери, которого он называет своим братом. Утром он написал ему, сообщая о своей смерти. Своей матери, которой, как он писал, он более благодарен, чем ее собственные дети, он послал 132 ливра. Совершив все распоряжения, он взял лист бумаги и твердой рукой внес дополнения в свое завещание. Он назначил 100 ливров на патриотические цели, 48 ливров обществу материнства, 48 для бедняков дистрикта, 48 ливров на пропитание заключенным в тюрьмах, 12 ливров на чай тем, кто будет предавать его тело земле. Он положил каждую сумму серебром в отдельный ящичек. Внизу листа он приписал слегка дрожащей рукой: «Скорее, должно отправляться в путь». Затем он размозжил себе голову из пистолета. Он запер дверь на задвижку, но сначала прикрепил к дверям снаружи листок с надписью крупными буквами: «Самоубийца».

Несчастного обнаружили распростертым на полу, плавающим в крови, с пистолетом в руке и прикрепленной к нему запиской:

Quand on n'est rien et qu'on est sans espoir,
La vie est un opprobre et la mort un devoir[2].

---

[1] В этом сочинении содержатся весьма разумные мысли. Например, среди прочих: «Мудрый отец должен оставить своим детям или состояние, или участок земли для возделывания».

[2] Неточная цитата из трагедии Вольтера «Меропа» (д. 2, явл. 7). Стихи эти многократно переводились в XVIII в. В переводе А. В. Храповицкого они звучат так:

Всего лишенным быть, надежды не иметь —
Поносна жизнь тогда и должно умереть!

Цит. по: [*Дрё дю Радье*]. Любовный лексикон / Пер. А. В. Храповицкого. 2-е изд. М., 1779. С. 69.

Другой пистолет с таким же девизом был наготове. На стене комнаты было написано крупными буквами: „Сегодня моя очередь — завтра твоя“»[1].

Обнаружив источник, мы можем сразу же сделать несколько выводов. Прежде всего, это подтверждает, что Карамзин в Париже читал газеты. В том же номере сообщалось о прениях в Национальной ассамблее и публиковался подробный отчет заседания. Кроме того, выясняется, что Карамзин читал в Париже и *старые* газеты. Он стремился не только узнать новости, но и представить себе весь ход событий. Это чтение будущего историка. Более того, Карамзин, видимо, читал газеты с карандашом и пером в руке. Сообщение о слуге-самоубийце он явно пересказывал не по памяти. В этом убеждает то, что он сохранил ошибку в цитировании Вилеттом хрестоматийно известных строк из Вольтера, точность в перечислении завещанных сумм и проч. Однако сомнительно, чтобы Карамзин вез с собою в Москву все прочтенные им парижские газеты. А еще В. В. Сиповский бесспорно установил, что текст «Писем» создавался в Москве. Вывод может быть только один: читая газеты в Париже, Карамзин делал заготовки — выписки или вырезки — для будущей книги. Он не «просматривал» газеты, а работал над ними.

Наконец, сопоставляя эти тексты, мы попадаем как бы в творческую лабораторию Карамзина. Кроме уже отмеченного — конструирования якобы реальных эпизодов на основании книжных и газетных источников, мы можем наблюдать, *как* Карамзин перестраивал и преображал исходный текст. Почему Карамзина заинтересовал именно этот эпизод и как он связан с его размышлениями о проблеме самоубийства, речь пойдет далее.

Кроме газет, Карамзина, очевидно, интересовали книжные новинки. Представив его роющимся в книжных лавках Парижа, листающим выложенные на прилавках букинистов вдоль Сены тома и набивающим карманы брошюрами и альманахами, мы не рискуем погрешить против истины.

Рассказ Ф. Глинки о том, как Карамзин показывал ему прекрасную библиотеку, якобы собранную им в Париже на деньги, сэкономленные ценой отказа от ужинов, следует считать апокрифическим: Карамзин, конечно, привез из-за границы книги, но Федор Глинка их видеть не мог, так как познакомился с Карамзиным в конце 1810-х гг. в Петербурге, а все книги писателя сгорели в 1812 г. в Москве. Карамзин мог только вспомнить о своей старой библиотеке, показывая Глинке в Петербурге новую. Однако и упоминания книг в тексте «Писем», и критический отдел «Московского

---

[1] Journal des Révolutions de l'Europe en 1789—1790. T. 8. A Neuwied sur le Rhin et à Strasbourg, 1790. P. 50—52.

В 1984 г. в «Литературной России» (6 июля. С. 24) появилась заметка А. Мосина, сообщавшая, что в университетской библиотеке Свердловска хранится конволют брошюр, газет и листовок, вышедших во Франции с июля по середину августа 1789 г. Книга принадлежала библиотеке Нижнетагильских заводов, основанной А. Н. Карамзиным, сыном писателя, то есть, возможно, попала туда из семьи Карамзиных. А. Мосин высказал предположение, что сборник составлен Карамзиным во время пребывания в Париже.

журнала» ясно свидетельствуют о том, с какой жадностью Карамзин следил за каждой книжной новинкой.

Видимо, не меньше Карамзина занимали сатирические эстампы, в большом количестве издававшиеся в Париже тех лет. По крайней мере, ряд «сценок», якобы подсмотренных путешественником на улицах французской столицы, на самом деле оказываются описанием карикатур и сатирических эстампов той поры. Так, рисуя парижские бульвары, Карамзин пишет: «Тут молодой растрепанный *франт* встречается с пожилым, нежно-напудренным *петиметром*, смотрит на него с усмешкой и подает руку оперной девице». Эта, казалось бы, бытовая сценка — воспроизведение гравюры Шатинье, на которой франт и «оперная девица» (определение основано на том, что она смотрит на свою престарелую соперницу через театральную зрительную трубку) с насмешкой глядят на чету престарелых щеголей в костюмах эпохи Людовика XV. Подписи под молодыми франтами: «Какая древность!», под престарелыми петиметрами: «Какая безумная новизна!» Влияние летучих карикатур 1789—1790 гг. ощущается и в других местах «Писем». Уже в Твери на почтовой станции Карамзин заметил на стене «карикатуры Королевы Французской и Римского (то есть Австрийского. — *Ю. Л.*) императора» (с. 6). Сатиры на «австриячку» и ее брата, императора Иосифа II, — излюбленная тема революционной публицистики. Даже в 1789—1790 гг., когда авторитет «доброго короля» еще редко подвергался публичным нападкам, противопоставление его «австрийской пантере» было почти всеобщим. То, что привлекло внимание Карамзина на почтовом дворе между Петербургом и Москвою, не могло не заинтересовать его в Париже.

Но еще больше его интересовала сама улица, город, где здания, как овеществленная история, соединялись с сегодняшним днем Парижа — шумной толпой, в которой он искал тайну национального характера — ключ к соединению прошедшего с будущим.

«Нынешний день — угадайте, что я осматривал? Парижския улицы; разумеется, где что нибудь случилось, было или есть примечания достойное. Забыв взять с собою план Парижа, который бы лучше мог быть моим путеводителем, я страшным образом кружил по городу, и в скверных фиакрах целый день проездил» (с. 259—260).

Вновь мы сталкиваемся с соединением реальных впечатлений и скрытого, но хорошо продуманного литературного расчета. Карамзин, конечно, действительно странствовал по парижским улицам, ища в их извивах исторических впечатлений и пищи для волновавших его мыслей. Прогулки по улицам Парижа, конечно, навевали совсем другие мысли, чем странствия в окрестностях Лозанны или путешествия через альпийские глетчеры. Там мысли обращались к вечности, на память приходили Геснер и Руссо, здесь все было история и все современность. Здания были оклеены плакатами и призывами клубов, секций разнообразных обществ. Листки эти спорили друг с другом, перед ними шумели толпы читателей и к знаменитым «крикам Парижа» — голосам разнообразных бродячих торговцев, громко нараспев выкрикивавших песни и прибаутки, служившие и анонсом, и рекламой продаваемых ими

товаров, — прибавлялись выкрики непрерывного митинга, который тек по улицам столицы Франции.

Но дома говорили и другими голосами — беззвучными голосами прошедших веков. А русский путешественник упорно искал корни тех событий, которые так шумно развертывались перед его глазами. Он уже был убежден в том, что настоящее — порождение прошлого. И именно прошлому он задавал свои вопросы.

Осмотр улиц, видимо не случайно, привел путешественника туда, где история и сегодняшний день Парижа 1790 г. соприкасались особенно тесно.

«Я не хотел бы жить на улице *Ферронери*: какое ужасное воспоминание! Там Генрих IV пал от руки злодея — seul roi de qui le peuple ait gardé la mémoire[1], говорит Вольтер. Герой великодушный, Царь благотворительный! ты завоевал не чужое, а свое государство, и единственно для щастия завоеванных! <...> Кучер мой остановился и кричал: „вот улица де-ла-Ферронери!" *Нет*, отвечал я: *ступай далее*! Я боялся выттти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком» (с. 262).

Смысл этого отрывка оживает лишь в контексте того культа Генриха IV, который был свойствен антидеспотической публицистике 1789—1790 гг. В пьесах[2], стихах, памфлетах Генриху IV придавались черты демократического короля. Даже после революции 10 августа 1792 г., монархия была низвергнута и все статуи королей в Париже опрокинуты, Секция Генриха IV (позже переименованная в Секцию Нового моста) некоторое время пыталась сохранить его бюст. 14 августа у решетки Законодательного собрания представители Секции заявили: «Добродетели Генриха IV останавливали нас некоторое время; но мы вспомнили, что он не был конституционным королем. Мы увидели в нем только деспота, и его статуя была немедленно опрокинута»[3]. Для того, чтобы «вспомнить» о том, что «добрый король» Генрих IV на самом деле не был ни вольтеровским идеальным монархом, ни конституционным королем 1789 г., потребовалось, чтобы наступила грозная осень 1792 г. Карамзин в Париже видел совершенно иные настроения. Образ же «гнусного Равальяка» напоминал об опасности церковного фанатизма, всегда глубоко затрагивавшей Карамзина. У этого эпизода «Писем» был еще один смысл: когда читатели Карамзина получили в руки эти страницы, голова Людовика XVI давно уже скатилась в корзину гильотины. Пример убийцы Генриха IV показывал читателю, что не только революция, но и религиозный фанатизм смел поднимать руку на «священную главу» монарха, и включал гибель последнего Бурбона в историческую цепь, первым звеном которой было убийство «первого Бурбона» — Генриха IV. Вся история династии представлялась как измена принципам ее основателя и деспотическая дегра-

---

[1] Единственный король, о котором народ сохранил память (*франц.*).

[2] К. Н. Державин пишет: «Генрих IV появляется во многих пьесах неизменно в самом идеализированном облике короля-демократа, который борется со злом, причиняемым народу корыстолюбивыми и злыми министрами и высокомерными аристократами» (*Державин К. Н.* Указ. соч. С. 117).

[3] Цит. по: *Олар А.* Указ. соч. С. 282.

дация. А это неизбежно вызывало мысль о закономерности событий, развертывавшихся перед глазами Карамзина. Для парижан 1789 г. Людовик XVI был «восстановителем свободы» (этот титул ему торжественно поднесла Конституанта), но для начала XIX в., когда эта часть «Писем» появилась в печати, он уже был

> ...мученик ошибок славных,
> За предков в шуме бурь недавних
> Сложивший царскую главу.

Убийство Генриха IV, отмена Нантского эдикта, преступления династии, казнь короля — такова цепь, каждое звено которой связывает прошедшее и будущее. Именно о первом звене ее думал Карамзин на улице Ферронери.

На той же странице «Писем», сразу после улицы, вызвавшей у Карамзина воспоминания о фатальном преступлении фанатика, в чью руку кинжал вложили иезуиты, следует другой исторический экскурс. «*Улица храма*, rue du Temple, напоминает бедственный жребий славного Ордена Тамплиеров, которые в бедности были смиренны, храбры и великодушны; разбогатев, возгордились и вели жизнь роскошную. *Филипп Прекрасный* (но только не душею), и папа Климент V, по доносу двух злодеев, осудили всех главных рыцарей на казнь и сожжение. Варварство достойное 14 века! Их мучили, терзали, заставляли виниться в ужасных нелепостях: наприм<ер> в том, будто они поклонялись деревянному болвану с седою бородою, отрекались от Христа, дружились с дьяволом, влюблялись в чертовок, играли младенцами как мячом, то есть, бросали их из рук в руки, и таким образом умерщвляли. Многие рыцари не могли снести пытки, и признавали себя виновными; другие же, в страшных муках, на костре, в пламени, восклицали: *Есть Бог! Он знает нашу невинность!* Моле, Великий Магистр Ордена, выведен был на эшафот, чтоб всенародно изъявить покаяние, за которое обещали простить его. Один ревностный Легат в длинной речи описал все мнимые злодеяния Кавалеров Храма, и заключил словами: „вот их начальник! слушайте: он сам откроет вам богомерзкие тайны Ордена".

...*Открою истину*, сказал нещастный старец, выступив на край эшафота, и потрясая тяжкими своими цепями: *Всевышний, милосердый Отец человеков! внемли клятве моей, которая да оправдает меня пред Твоим небесным судилищем!.. Клянусь, что рыцарство невинно: что Орден наш был всегда ревностным исполнителем Христианских должностей, правоверным, благодетельным; что одне лютыя муки заставили меня сказать противное, и что я молю Небо простить человеческую слабость мою. Вижу яростную злобу наших гонителей; вижу меч и пламя. Да будет со мною воля Божия! Готов все терпеть в наказание за то, что я оклеветал моих братий, истину и святую Веру!* — В тот же день сожгли его. Старец, пылая на костре, говорил только о невинности рыцарей и молил Спасителя подкрепить его силы. Народ, проливая слезы, бросился в огонь, собрал пепел нещастного и унес его как драгоценную святыню. — Какия времена! какие изверги между людьми! Хищному Филиппу надобно было имение Ордена» (с. 262—263).

Современный читатель склонен расценить эти строки как интересный экскурс в «историю улиц». Связь между далекими событиями XIV в. и современностью 1790-х гг. уловить трудно. А между тем она была.

Легенда о тамплиерах, пущенная в оборот Эндрю Рамсеем, была хорошо известна Карамзину, так как занимала видное место в масонской мифологии. В начале Французской революции XVIII в. она приобрела новую актуальность. Сначала она циркулировала в масонских кругах: в революции французские масоны усматривали историческое возмездие за преступление Филиппа Красивого. Однако роль масонов во французской революции, как установили специально посвященные этому вопросу исследования, была незначительной[1]. К 1792 г. деятельность большинства лож вообще прекратилась. Когда в 1794 г. Тальма играл ведущую роль в пьесе Рейнуара «Тамплиеры», тема уже не выделялась среди общего потока антидеспотических или антиклерикальных пьес революционного театра.

Однако тамплиерская легенда неожиданно получила, в противоположном освещении, популярность совсем в других кругах. В 1792 г. аббат Лефранк, а в 1798 — иезуит Баррюэль (брошюра последнего вышла в Гамбурге и легла в основу всей цепи легенд, созданных ультраправыми эмигрантами) объявили революцию реализацией «адского плана» масонов. Но еще до того, как появиться на страницах иезуитского памфлета, версия: «революция — месть тамплиеров» — зазвучала в контрреволюционных салонах. Здесь упрямо отказывались взглянуть правде в глаза. В поисках того, кто «погубил Францию», аристократия не решалась взглянуть в зеркало. Легенды о том, что революция — это месть гугенотов или месть тамплиеров, переплетались и пользовались одинаковой популярностью. Отголоски этих разговоров мы находим в «Воспоминаниях» маркизы Креки, принадлежавшей по мужу к одному из древнейших аристократических родов Франции, прожившей всю революцию в своем парижском особняке на улице Гренель-Сен-Жермен и скончавшейся почти столетней старухой, полной, однако, живости и остроумия, в первый год империи. Вольтер переписывался с ней, а Наполеон добивался чести быть принятым в ее доме. Маркиза Креки так передает разговоры в своем салоне: «Кардинал Берни (поскольку Берни уже в начале революции перебрался в Рим, слова его, сказанные в доме г-жи Креки, должны относиться ко времени пребывания Карамзина в Париже, выражая мнение, которое автор „Писем" вполне мог слышать в посещавшихся им аристократических салонах. — *Ю. Л.*) не далек от того, чтобы приписать переживаемые нами политические волнения и начальные преступления революции злобе и мстительности протестантов, изгнанных при Людовике XIV. Из этого можно сделать вывод, что если французские кальвинисты могли нанести столь опасный удар по спокойствию государства, то Людовик XIV

[1] Литература по проблеме «Французская революция и масонство» огромна, однако весьма низкокачественна и в массе научной ценности не имеет. Критический анализ см.: *Soboul A.* La franc-maçonnerie et Révolution française // La Pensée. 1973. Août, N 170. См. также специальный номер: Annales historiques de la Révolution française. 1969. N 3 (La franc- maçonnerie et la Révolution française).

имел все основания изгнать их из королевства. Но если допустить, что горсточка торговцев, рассеянная по лицу Европы, могла передать своим потомкам жажду убийства и мощь, способную поколебать империи, то не следовало бы возражать против того, что Людовик XVI отменил отмену Нантского эдикта. К несчастью для нас, деятельность кальвинистов сделалась настолько свободной, что г. Неккер, кальвинист и республиканец из Женевы, был министром короля в годы, предшествовавшие резне католических священников в Сен-Жерменском аббатстве[1]. Г. Бюрк был убежден, что существует большое сообщество революционеров, восходящее к четырнадцатому веку. Но, не приводя здесь всех подробностей, которые он сообщал о преступлениях и осуждении тамплиеров, перейдем к тому, что было найдено в бумагах Калиостро, касательно учреждения масонства». Далее передаются слухи о том, что масоны, ложи которых были организованы Жаком Моле незадолго до казни, поклялись отмстить за тамплиеров и «разрушить власть папы, истребить потомков капетингов, уничтожить везде королевскую власть, возбуждать народы к восстанию и учредить всемирную республику». Кола ди Риенцо, пытавшийся в середине XIV в. восстановить Римскую республику, и Кромвель, «конечно», были масонами. Якобинцы — на самом деле тамплиеры. Масонами-тамплиерами в салоне Креки называли Лепелетье, Клоотца, аббата Сийеса, Мирабо и Робеспьера и герцога Орлеанского. Распри между Горой и Жирондой — лишь прикрытие тайной солидарности масонов. «Французская революция началась взятием Бастилии по указке масонов <...> потому, что Бастилия была местом заключения их вожака»[2].

Разговоры эти были известны не только Карамзину, но и читателям его «Писем». Мы уже упоминали, что в оде «Вольность» Пушкин обронил, что Людовик XVI «сложил голову» «за предков», а декабрист М. А. Дмитриев-Мамонов, призывавший в агитационной брошюре своих единомышленников не размышлять «женоподобно о делах мужества», писал: «Вспомни Храмовников, певших гимны хвалебные на костре, кости их сжигавшем»[3].

Но Карамзин, как и его читатель, при упоминании улицы Тампль в момент выхода «Писем» вспоминал и другое. Именно на этой улице находился Тампль — замок, превращенный в тюрьму, куда были заключены переведенные после революции 10 августа 1792 г. из Тюильри Людовик XVI и Мария-Антуанетта. Отсюда они отправились на гильотину. Экскурсии по парижским улицам не были беззаботными: по мостовым Парижа слышалось эхо шагов истории.

---

[1] Речь идет об убийстве католических священников 2 сентября 1792 г., за ним последовали стихийные самосуды, во время которых было перебито более полутора тысяч заключенных в тюрьмах «подозрительных». См.: *Ревуненков В. Г.* Парижские коммуны. 1792—1794. Л., 1976. С. 25—26.

[2] Souvenirs de la marquise De Créquy de 1710 à 1803. Paris, s. a. T. 4. P. 116—121.

[3] *Лотман Ю. М.* «Краткие наставления русским рыцарям» М. А. Дмитриева-Мамонова: Неизвестный памятник агитационной публицистики раннего декабризма // Вестник Ленинградского ун-та. 1949. № 7. С. 138.

Может быть, однако, самое разительное для Карамзина заключалось в том, что приближающийся гром исторических событий смешивался с веселым шумом парижских улиц, но не заглушал его. Так же весело и празднично гудела толпа в Пале-Рояле, и жалобы на то, что герцог Орлеанский при перепланировке сада, занимавшего внутреннее пространство этого центра парижских развлечений, приказал срубить знаменитое «Краковское дерево», раздавались не менее громко, чем сообщения о новой речи Мирабо. Карамзин с изумлением видел, что в великих исторических событиях можно участвовать, можно не участвовать, а можно их просто не замечать. Пока подземные толчки не превратились в извержение вулкана, можно затыкать уши и убеждать себя в том, что ничего не происходит. Более того, отсвет приближающегося и, как все втайне чувствовали, неизбежного взрыва отражался на лицах каким-то особенным весельем. Современники свидетельствуют, что никогда Париж так не веселился, как весной 1790 г. Но переживший это веселье узнает то, чего нельзя почерпнуть из книг. Он

...слышит Клии страшный глас...

(Пушкин)

Именно здесь, в Париже, Карамзин услышал голос Клио, голос Истории. С тех пор он уже не переставал звучать в его ушах.

Земляки

Описывая свой отъезд из Парижа, Карамзин заметил: «Почти все мои земляки провожали меня» (с. 322). Восстановить имена тех членов русской колонии, с которыми общался Карамзин в Париже, очень трудно. «Письма русского путешественника» дают для этого слишком скупой материал. Следует, однако, отметить, что с «великосветским» русским Парижем (князья Голицыны, кн. Шаховская и др.) Карамзин, видимо, не встречался вообще. Не представлялся он русскому послу Симолину, который, видимо, даже не знал о его пребывании в Париже. Однако у Карамзина в Париже был круг земляков, с которыми он встречался, делился впечатлениями и обменивался мнениями.

Находка рекомендательного письма к Ж. Ромму позволяет ввести в круг парижских земляков и собеседников Карамзина П. А. Строганова и А. Н. Воронихина. Воспитатель Строганова Ромм не только записал своего ученика в Клуб якобинцев, но и водил его и Воронихина на собрания «бешеных». Как часто встречались они в Париже с Карамзиным и какой характер имели их встречи, мы не знаем. Если между ними и не возникло близости, то нет

оснований подозревать антагонизм между экстравагантным графом-якобинцем и русским путешественником. В один из дней Карамзин отправился за 30 верст от Парижа в Эрменонвиль поклониться праху похороненного там Ж.-Ж. Руссо. В «Письмах» он рассказывал: «Туда спешат добрые странники, видеть места, освященныя невидимым присутствием Гения, — ходить по тропинкам, на которых след Руссовой ноги изображался — дышать тем воздухом, которым некогда он дышал — и нежною слезою меланхолии оросить его гробницу» (с. 307).

7 августа 1790 г. П. А. Строганов, принявший имя гражданин Отчер, получил диплом члена Якобинского клуба. На дипломе стояла подпись Барнава и печать, на которой красный колпак еще не сменил королевскую лилию, но сама эта лилия была осенена якобинским девизом «Жить свободными или умереть».

Любопытно, что вызванный по приказу Екатерины II в Россию, Строганов не уничтожил этот диплом. И позже он, вельможа, приближенный Александра I, генерал 1812—1813 гг., бережно хранил его в своем архиве. Это можно сопоставить со свидетельством его тестя, что «под влиянием воспоминаний о молодых годах, Павел Александрович становился странен, чудил, и вдруг ни с того, ни с сего уходил в комнаты своих слуг, садился с ними запросто обедать и наслаждался равенством»[1]. Это тайное «наслаждение равенством» умилительно.

Свое вступление в Якобинский клуб Строганов отпраздновал как «добрый странник» Карамзина. Как сообщила газета «Революции Парижа» (№ 57, 7—14 августа 1790 г.), «Жильбер Ромм, Отчер, Вороникэн (историк Клод Перу замечает меланхолически: „Кто был этот Вороникэн, мне неизвестно“[2]) отправились в Эрменонвиль поклониться праху Руссо и для сбора денег на памятник этому философу». Такое времяпровождение Карамзин, безусловно, одобрил бы.

В «Письмах» Карамзин упоминает некоторых своих земляков: «В 9 часов утра наш Посольской священник, Г. К.*, Руской Артист с великим талантом, и я пришли на берег Сены...» (с. 292). Здесь названы двое: «русский артист» (слово «артист» употреблялось в значении: «деятель искусств»). К* — это скульптор М. И. Козловский, жалобы которого на то, что он должен отвлекаться от ваяния для того, чтобы нести службу в революционной национальной гвардии, Карамзин использовал в лионском эпизоде. «Посольский священник» — Павел Васильевич Криницкий. Личность этого священника примечательна. События Французской революции захватили его настолько, что он поднял в посольстве настоящий бунт против посла Симолина. Последний доносил в Петербург, что Криницкий ведет себя «самым порочным и соблазнительным образом», «со времени же здешней революции Права человека вступили ему в голову, <так> что он более ни приходить ко мне на требования

[1] *Николай Михайлович, вел. кн.* Указ. соч. Т. 1. С. 216.

[2] *Perroud Cl.* Gilbert Romme en 1790 et 1791 // La Révolution française, revue d'histoire moderne et contemporaine. T. 59. 1910, décembre. P. 525.

по церковным делам, ни повиноваться не хочет; на возражения же мои отвечает, что он позовет меня к суду в здешний <трибунал>»[1]. Русский православный священник, вызывающий российского посла, тайного советника (притом лютеранина, сына шведского пастора), на суд революционного трибунала в Париже 1790 г., потому что «права человека вступили ему в голову», — конечно, фигура, не лишенная колорита. Добавим, что мятежные настроения не помешали будущей карьере Криницкого: в дальнейшем мы видим его протопресвитером, духовником Марии Федоровны и детей императора Павла. Именно он крестил вел. кн. Александра Николаевича, будущего Александра II. Сейчас мы застаем его плывущим по Сене с Карамзиным и блуждающим в парках Версаля, насильственно покинутых королевской семьей.

Еще из русских знакомцев в Париже Карамзин называет «Секретаря М* и Г. У*, с которыми вижусь не редко» (с. 275).

М* — секретарь посольства Машков (или Мошков). О нем мы знаем исключительно мало, но имя его фигурирует в списках парижских масонских лож, а Сен-Мартен включил его в число своих интимных друзей последнего периода. Он был связан с Семеном Романовичем Воронцовым и Кошелевым.

Что же касается «господина У*», то под этим тщательно зашифрованным инициалом скрывается Петр Петрович Дубровский, коллекционер, собиратель книг и рукописей, человек исключительно интересной биографии. Он был опытным дипломатом и выполнял многие деликатные поручения. При этом Дубровский был знаком с Руссо, который дарил ему книги, сопровождал Павла Петровича, когда он как граф Северный путешествовал по Франции, переписывался с Радищевым. Он, конечно, мог многое порассказать Карамзину[2].

Круг парижских земляков Карамзина был узок. Как мы видим, Карамзин вращался в кругу людей, живо интересовавшихся парижскими событиями.

---

[1] Лит. наследство. 1937. Т. 29/30. С. 440.

[2] Александр Машков, 1766 г. р., первый секретарь русской миссии в Париже, числился масоном в ложе «Объединенных искусств», «Объединенных друзей» и «Объединенной иностранной ложи». См.: *Le Bihan Alain.* Franc-maçons Parisiens, du Grand Orient de France (Fin du XVII[e] Siècle). Paris, 1966. P. 344; Каталог писем и других материалов западноевропейских ученых и писателей XVI—XVIII вв. из собрания П. П. Дубровского / Под ред. акад. М. П. Алексеева. Л., 1963. С. 8—9.

Мечтатели

Представим себе майский вечер 1790 г. в Париже. Комната в Лондонском отеле. За столом сидят три молодых человека. Все трое иностранцы. Один из них датчанин, другой немец, третий «московит» — русский путешественник. Всех ждет различное будущее: первый станет профессором химии в Копенгагенском университете, второй — советником веймарского двора, третий — русским писателем и историком.

Однако сейчас они настроены мечтательно и энтузиастически. Одному из них — барону Вильгельму фон Вольцогену — Карамзин посвятил последние строки своих парижских «Писем», живо рисующие атмосферу, царившую в небольшом дружеском кружке: «Прости, любезный Париж! прости, любезный В<ольцоген>! Мы родились с тобою не в одной земле, но с одинаким сердцем; увиделись, и три месяца[1] не расставались. Сколько приятных вечеров провел я в твоей Сен-Жерменской *Отели*, читая привлекательныя мечты единоземца и сочлена твоего Шиллера, или занимаясь собственными нашими мечтами, или философствуя о свете, или судя новую Комедию, нами вместе виденную! Не забуду наших приятных обедов за городом, наших ночных прогулок, наших рыцарских приключений, и всегда буду хранить нежное, дружеское письмо твое, которое тихонько написал ты в моей комнате за час до нашей разлуки. Я любил всех моих земляков в Париже; но единственно с тобою и с Б<еккером> мне грустно было расставаться» (с. 321—322).

В 1799 г. Вольцоген принял участие в сватовстве веймарского кронпринца к дочери русского императора Марии Павловне, сестре будущего императора Александра I. В связи с этими хлопотами он приехал в Петербург и тотчас же возобновил знакомство с Карамзиным. 11 июля 1801 г. Карамзин откликнулся письмом, в котором писал:

«Ваше известие, мой дорогой друг и барон, мне напомнило увлекательный период моей жизни, тот, когда моя душа, юная и чувствительная, жадно стремившаяся к наслаждениям и образованию, рыскала по свету почти наугад, чтобы обогатить себя мыслями и впечатлениями. Некое взаимное сходство наше в чувствах сблизило нас в Париже и привело к тому, что я стал предпочитать ваше общество обществу моих сограждан. Я никогда не забуду очаровательных вечеров, когда, выйдя из Французской Комедии, мы прово-

[1] Опять хронологическая загадка! Карамзин *три месяца* не расставался с Вольцогеном. Но встретились они только в Париже. Следовательно, Карамзин был в Париже три месяца, по крайней мере. Между тем по тексту писем он прибыл в Париж 27 марта, а 4 июня уже писал Дмитриеву из Лондона (значит, выехал не позже конца 20-х чисел мая). В этот раз он был в Париже только два месяца. Отъезд из Женевы, как мы уже отмечали, реально произошел лишь в середине марта, поэтому прибыть в Париж ранее конца этого месяца Карамзин не мог. Следует предположить, что один месяц Карамзин «не расставался» с Вольцогеном в какой-то другой приезд. Вольцоген, будучи на дипломатической службе, находился в Париже с 1788 г.

дили время за чтением «Духовидца» Шиллера и стольких других произведений вашей литературы. Я тщательно храню письмо, которое вы мне написали в день моего отъезда. После этого вы не будете сомневаться в том, какую цену для меня должна иметь ваша дружба, украшенная столькими милыми воспоминаниями. Да, мой дорогой барон, мое сердце всегда будет ее ценить и я прошу вас хранить ее, где бы вы ни были. Вы один из тех людей, про которых я могу сказать, что отечество наше — вселенная»[1].

Письма эти воскрешают атмосферу романтической дружбы и тот дух энтузиазма, которым были овеяны месяцы, проведенные Карамзиным в Париже. Вольцоген был в это время влюблен. Пламенные письма шли к нему из Рудольштадта, где проживала его невеста, в будущем довольно известная писательница Каролина фон Вольцоген. Вольцоген отвечал чувствительными посланиями. Но энтузиазм свободы не противоречил в 1789—1790 гг. нежным чувствам, а Каролина была «современной» женщиной. Еще осенью 1792 г. она писала своему жениху, находившемуся тогда в Швейцарии: «Рассчитываешь ли ты, что тебя снова пошлют в Париж? Политические события интересуют меня несказанно»[2].

Но немецкая почта приносила Вольцогену и другие волнующие известия. Парижский приятель Карамзина был школьным товарищем Шиллера. А сейчас завязывались новые связи: Шиллер давно уже находил приют от бедности и гонений в семье невесты Вольцогена. И вот 9 марта 1790 г. сестра Каролины Лоттхен (Шарлотта) пишет Вольцогену: «Теперь ты должен знать, что я уже 14 дней как жена Шиллера. И поскольку нас связывает самая сердечная, задушевная любовь, ты можешь представить себе, как мы счастливы»[3]. Письмо, вероятно, прибыло в Париж почти одновременно с Карамзиным, и в дальнейшем друзья получали регулярные известия из Иены, куда Шиллер был приглашен профессором истории. «Шиллеровские» настроения окрасили парижский период Карамзина. Немецкий исследователь темы «Шиллер в России» заключает: «Когда Карамзин поздней осенью 1790 года возвратился через Петербург в Москву, он знал уже не только «Дон Карлоса» и «Заговор Фиеско в Генуе», но также «Духовидца» и, по всей вероятности, еще многие произведения Шиллера, которые можно было найти в сборниках «Талия». С достоверностью это можно утверждать о песне «К Радости», следы которой обнаруживаются в двух стихотворениях Карамзина»[4].

Песнь «К Радости», видимо, особенно была созвучна настроениям Карамзина. По крайней мере, в 1792 г., публикуя в «Московском журнале» «Разные мысли (из записок одного молодого Россиянина)», Карамзин писал: «Естьли бы я был старшим братом всех братьев сочеловеков моих и естьли бы они послушались старшего брата своего, то я созвал бы их всех в одно место, на какой-нибудь большой равнине, которая найдется, может быть, в

---

[1] Literarisches Nachlaß der Frau Caroline von Wolzogen. Leipzig, 1867. Bd 2. S. 423—424.
[2] Ibid. S. 141.
[3] Ibid. S. 187.
[4] *Harder H.-B.* Schiller in Rußland: Materialien zu einer Wirkungsgeschichte 1789—1814. Bad Homburg; Berlin; Zürich, 1969.

новейшем свете — стал бы сам на каком-нибудь высоком холме, откуда бы мог обнять взором своим все миллионы, биллионы, триллионы моих разнородных и разноцветных родственников — стал бы и сказал им — таким голосом, который бы глубоко отозвался в сердцах их — сказал бы им: *братья!..* Тут слезы рекою быстрою полились из глаз моих; прервался бы голос мой, но красноречие слез моих размягчило бы сердце и Гуронов и Лапландцев... *Братья!* повторил бы я с сильнейшим движением души моей: *Братья! обнимите друг друга с пламенною чистейшею любовию, которую Небесный Отец наш, творческим Перстом Своим вложил в чувствительную грудь сынов своих, обнимите и нежным лобзанием заключите священный союз всемирного дружества!* — и когда бы обнялись они, когда бы клики дружелюбия загремели в неизмеримых пространствах воздуха, когда бы житель Отаити прижался к сердцу обитателя Галлии и дикой Американец, забыв все прошедшее, назвал бы Гишпанца милым своим родственником, когда бы все народы земли погрузились в сладостное, глубокое чувство любви: тогда бы упал я на колена, воздел бы к небу руки свои и воскликнул: *Господи! ныне отпущаеши сына твоего с миром! Сия минута вожделеннее столетий — я не могу перенести восторга своего — прими дух мой — я умираю!* — и смерть моя была бы счастливее жизни Ангелов! — мечта!»[1] Последнее скептическое восклицание можно отнести к настроениям 1792 г., но весь отрывок, бесспорно, отражает энтузиазм более раннего периода.

Здесь можно было бы вспомнить, что Кант при известии о начале Французской революции снял профессорскую шапочку и повторил слова евангельского Симеона: «Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко!» Но непосредственно ближе всего к карамзинскому отрывку, конечно, песнь «К Радости» Шиллера с ее рефреном:

Обнимитесь, миллионы!

Именно восстанавливая уже ушедшую в прошлое атмосферу парижских бесед, Карамзин называл Вольцогена в 1801 г. «гражданином вселенной». При первом известии о взятии Бастилии, еще не выехав за пределы Германии, Карамзин бросился читать «Заговор Фиеско в Генуе», в Париже он жил в атмосфере бесед о Шиллере и чтения его произведений. А шиллеровские взгляды на развертывавшуюся перед глазами поколения историческую драму были сложными и совсем не укладывались в ту примитивную схему (сначала прекраснодушный энтузиазм, а потом, когда революция вступила в решительную стадию, филистерский испуг), которую часто им приписывают.

Для Шиллера политика и нравственность были неразделимы. Предметом его постоянных раздумий была этическая цена, которую придется заплатить за свободу. Аморальная тактика ведет к деградации самой идеи. Никто так остро не ставил вопрос о нравственной цене тактики, как Шиллер. Одновременно именно в 1790 г. Шиллер вплотную подошел к *историческому* взгляду на события. Не случайно он уже автор «Истории отпадения Нидерландов» и профессор истории в Иене. Он пытается понять события, отойдя

[1] Московский журнал. 1792. Ч. VI. Кн. 1. С. 72.

от них, осмыслить их через призму нидерландской революции. Этот глубокий и несколько отстраненный взгляд имеет, однако, и другую сторону; профессорская кафедра, молодая жена, слабое здоровье, крошечные немецкие княжества, газеты как посредники между мыслителем и историей — все это скрадывает остроту, располагает к созерцанию. Мысль делается глубокой и всеохватывающей, но теряется непосредственное ощущение «минуты роковой», неотступно надвигающейся катастрофы.

В этом отношении позицию Карамзина можно было назвать счастливой: он дышал одновременно и «воздухом Шиллера», и электрической атмосферой Национального собрания, клубов, дыханием предгрозового веселья Парижа 1790 г. Поднимаясь на вершины истории, он не спускал глаз с ее пропастей.

Знаменательно, что трое парижских мечтателей зачитывались не только Шиллером. В поле их зрения оказался еще один автор, и этот автор был Габриель-Бонно Мабли.

Чем был вызван интерес к Мабли? Чтобы ответить на этот вопрос, сделаем одно наблюдение. В 1789 г. Франция была буквально затоплена потоком брошюр, трактатов, книг. Типографские станки стучали без устали, и публика жадно расхватывала все, чему открыла ворота свобода печати. В этом потоке легко можно было пропустить то или иное издание. Сказанное вполне относимо к двум публикациям: в 1789 г. в Париже вышло второе издание (первое появилось в 1780) французского перевода «Утопии» Мора и новое издание собрания сочинений Мабли. И то и другое привлекло внимание Карамзина. Уже это подсказывает угол зрения, под которым Карамзин читал Мабли. «*Утопия* будет всегда мечтою доброго сердца» (с. 227) — юные мечтатели читали Томаса Мора и Мабли. Но Мабли был не только коммунист и утопист. Он был еще пророк-провидец. Не дожив четыре года до начала революции, он предсказывал и созыв Генеральных Штатов, и ждущие Францию катастрофы. Его называли «пророк бедствий». Соединяя в одном лице, что очень редко бывает, социолога-утописта и профессионального историка, Мабли мрачно смотрел на грядущие судьбы своей родины. Враг собственности, идейный противник физиократов, он возражал против частных реформ: «Зачем чинить эту старую машину — ее следует перевернуть», — говорил он. В Булонском лесу, сидя у корней деревьев, под сенью майской листвы молодые люди читали двухтомную книгу Мабли «Размышления об истории Франции» и его же «О способе писать историю». От страниц веяло отчаянием...

Но настроены они были не так мрачно.

Кругом зеленела молодая листва старого парка.

Вдали шумел Париж.

Мир, казалось, рождался заново.

История человечества перевернула страницу, и они были свидетелями этого, они посетили сей мир в его минуты роковые...

Карамзин покидал Париж. Он не уносил с собою ни отстоявшейся, целостной системы взглядов, ни готовой *идеи* — если пользоваться его лексиконом — того, свидетелем чего ему довелось быть. В голове и сердце его сталкивались надежды и опасения, прочитанное из книг и увиденное в

жизни. Увиденное было грандиозно и страшно, величественно и несколько театрально, книги пророчили всеобщее счастье и всеобщую гибель. А на душе было молодо, мечталось, ясно было, что жизнь вся впереди, что ни один решительный выбор еще не сделан.

Время надежд.

В Париже лето было в разгаре. Двигаясь на север, Карамзин — второй раз в 1790 г. — переживал весну: «В Иль-де-Франсе плоды уже зрелы — в Пикардии зелены — в окрестностях Булони все еще цветет и благоухает» (с. 323). Кругом была снова весна...

«Великая весна девяностых годов» — назвал Герцен это время.

В Англию

Даты отъезда Карамзина из Парижа и прибытия в Англию неизвестны. Последняя парижская запись помечена: «июня... 1790», первая лондонская — «июля... 1790» (путевые письма из Кале, Дувра и с борта пакетбота помечены только часами: ни дней, ни месяцев на них не обозначено). У читателя должно было создаться впечатление, что Карамзин выехал из Франции в конце июня и прибыл в Лондон в начале следующего месяца. Однако у нас есть основания сомневаться в такой датировке. Дело в том, что мы располагаем реальным письмом Карамзина к Дмитриеву, отправленным из Лондона 4 июня 1790 г. В этом письме Карамзин сообщает: «Скоро буду думать о возвращении в Россию»[1]. По «Письмам русского путешественника» путешественник покинул Лондон в сентябре. По бесспорным документальным свидетельствам, Карамзин вернулся в Петербург 15 (26) июля 1790 г.[2] «Плавание продолжалось около двух недель», сообщает Погодин, черпавший сведения из бесед с Дмитриевым и другими осведомленными современниками[3]. Следовательно, Карамзин покинул Лондон около 10 июля. Если верить в определении даты его прибытия туда «Письмам», то получится, что пребывание его в Англии не превышало десяти дней. Вероятнее, что он приехал в Лондон несколько раньше обозначенного в книге срока. Однако это последнее

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 14.

[2] *Шторм Г. П.* Указ. соч. С. 150. В определении хронологии Духова дня 1790 г. и пребывания Карамзина в Англии в комментарии к «Письмам русского путешественника» (*Карамзин Н. М.* Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 653 и 622) мной допущена ошибка, явившаяся результатом ошибочного прочтения источника.

[3] *Погодин М. П.* Указ. соч. Ч. 1. С. 164.

предположение требует разобраться в еще одном хронологическом вопросе. В главе «Тюльери» (помеченной: Париж, Маия...) автор описывает орденский праздник Св. Духа как зритель и соучастник этого события. Высший орден королевской Франции — Св. Духа — отмечал свое празднество в день Св. Духа (в русской традиции — Духов день), который приходится на второй день Троицы, то есть 51-й день после Пасхи. В 1790 г. Троица приходилась по европейскому календарю на воскресенье 30 мая. Следовательно, Духов день отмечался 31-го. Таким образом, если автор «Писем» в последний день мая был еще в Париже и если учесть время на дорогу, то окажется, что Карамзин провел в Англии четыре-пять недель.

Однако очень вероятно, что эпизод с посещением орденского праздника вообще имеет литературный характер. Есть основания полагать, что праздник кавалеров ордена Св. Духа в 1790 г. не состоялся вообще[1]. Очень может быть, что Карамзин знал, что церемония *должна* состояться, и описал ее со слов своих посольских знакомых Мошкова и Павлова, наблюдавших ее в предшествующие годы. Если бы он 31 мая (Духов день) был еще в Париже, то выехать из него он мог бы только 1—2 июня. В этих условиях писать 4 июня из Лондона невозможно. Дорога из Парижа в Кале занимала два с половиной дня. Полтора дня отняла дорога до Лондона. А письмо Дмитриеву явно написано не в первый день приезда.

Мы не имеем в настоящее время данных для того, чтобы распутать этот узел, но одно ясно: по сравнению с Парижем, пребывание Карамзина в Лондоне было весьма кратким. Конечно, здесь сыграли роль внешние причины: путешествие обошлось Карамзину в 1800 рублей — при его ограниченных средствах сумма немалая, а Карамзин был крайне щепетилен в денежных вопросах и не любил делать долгов. Обычная в дворянском кругу XVIII в. манера легко и беспечно одалживать деньги и не заботиться об отдаче была ему совершенно чужда. Видимо, средства реального путешественника к лету 1790 г. истощились, и он, в отличие от своего литературного двойника, должен был подумывать о возвращении. Однако дело явно к этому не сводится. Совершенно очевидно, что за время путешествия в интересах и планах Карамзина произошли значительные сдвиги: если прежде душа его стремилась в Лондон, то теперь Париж его интересовал гораздо больше. Это отразилось не только на краткости пребывания в столице Англии, но и на поведении путешественника. Если в Германии, Швейцарии и Франции путешественник решительно переступает пороги различных знаменитостей, посещает общественные собрания, стремясь к непосредственным знакомствам и с простыми пастухами, и с выдающимися мыслителями, и со знаменитыми политическими деятелями, то английские рецензенты «Писем» ядовито упрекали автора, что бóльшую часть лондонского пребывания провел в обществе чиновников русского посольства[2] и слишком поверхностно описал английскую

[1] *Комаровский Е. Ф.* Указ. соч. С. 8.

[2] См.: *Cross A. G.* Whose Initials? Unidentified Persons in Karamsin's Letters from England. Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter, No 6. P. 27.

жизнь (характерно, что отзывы французских литераторов на «Письма» были в общем сочувственными)[1].

М. А. Арзуманова, опубликовавшая по русскому переводу из архива адмирала Шишкова издевательский отзыв на «Письма» из «Эдинбургского обозрения» (рецензентом был Генри Брум, по словам Т. А. Быковой, «один из наиболее острых и сатирически настроенных сотрудников журнала»[2]), считает, что одна из причин неприязни кроется в том, что английский перевод был сделан с якобы искаженного немецкого перевода Рихтера. Но, во-первых, перевод Рихтера был *авторизован Карамзиным*; следовательно, об искажающем характере его (на основании некоторых сокращений, вероятно санкционированных автором) говорить не приходится. Кроме того, у немецких читателей и критиков эти «искажения» никаких возражений не вызвали. Ссылки на устарелость для английского читателя «стернианской» традиции также многого не объясняют: Генри Брум и не думал требовать от неизвестного ему русского путешественника литературных откровений. Дело в другом: ни в какой части «Писем» давление литературных штампов не сказывается с такой силой, как в английской. Причем это штампы представлений об английской жизни, возникшие в литературе континентальной Европы, в основном во французской. И это, естественно, раздражало английских критиков.

Еще в Кале, описывая первую встречу с англичанами, Карамзин заставляет их неумеренно пить вино и восклицать «Год дем» (с. 325). Выражение это после «Женитьбы Фигаро» стало в литературе континента своеобразной эмблемой англичанина. Вспомним:

«*Граф*. Во-первых, ты не знаешь английского языка.

Фигаро. Я знаю god-dam.

Граф. Не понимаю.

Фигаро. Я говорю, что знаю god-dam.

Граф. Ну?

Фигаро. Дьявольщина, до чего же хорош английский язык! Знать его надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить god-dam, тот в Англии не пропадет <...> god-dam составляет основу их языка»[3].

Приведем еще один пример явной подмены реальных впечатлений готовыми литературными штампами. Переехав через Ламанш, Путешественник «сел отдыхать на вершине горы, и великолепнейший вид представился глазам моим. С одной стороны вся Кентская провинция с городами и деревнями, рощами и полями; а с другой бесконечное море, *в которое погружалось солнце* (курсив мой. — *Ю. Л.*), и где пестрели разноцветные флаги; где

---

[1] См.: *Cross A. G.* Karamzin and England // The Slavonic and East European Review. December 1964. Vol. 43. No 100. P. 111—112; *Арзуманова М. А.* Перевод английской рецензии на «Письма русского путешественника» из бумаг А. С. Шишкова // XVIII век. Сб. 8: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л., 1969. С. 309—323; *Быкова Т. А.* Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе // Там же. С. 324—342.

[2] *Быкова Т. А.* Указ. соч. С. 335.

[3] *Бомарше П.* Избр. произведения. М., 1954. С. 419—420.

белелись парусы и миллионы пенистых валов» (с. 328). Этот чисто литературный пейзаж мог возникнуть в воображении писателя только в Москве: сидя на дуврских скалах, на *западном* берегу Ламанша, Путешественник не мог видеть, как солнце опускается в море — на запад от него должно было бы простираться зеленое пространство Восточной Англии. Море же было к востоку от него. Показательно, что это место привело английского рецензента в совершенное недоумение, и он, желая понять его смысл, предложил совсем уж фантастическое толкование. Не менее характерно, что русский переводчик рецензии (им был «беседчик» М. Шулепников; возможно, что интересующая нас запись была сделана Шишковым), в свою очередь, не понял причины недоумения англичанина. Рецензент «Эдинбургского обозрения» заметил, что «нет обыкновения на восточной стороне канала св. Георгия заходящему солнцу поклоняться». Русский же переводчик снабдил эти слова примечанием: «Я не мог отыскать, к какому месту подлинника сие относится»[1]. Дело в том, что Генри Брум, конечно, зная, где в Англии можно видеть солнце, садящееся в море, и, вероятно, не очень вчитываясь в текст раздражавшей его книги, перенес действие на берег «канала св. Георгия». Канал св. Георгия — южный пролив Ирландского моря — омывает *западный* берег Великобритании, и Брум представил себе Карамзина сидящим на скалах западных мысов Уэльса. Русский же переводчик рецензии Брума, естественно, не мог найти у Карамзина этого места.

Недостаток реальных наблюдений Карамзин скрывал, включая в письма обзорные статьи, такие, как «театр», «литература», «семейная жизнь», явно основанные на книжных источниках и даже имеющие заглавия на манер журнальных статей. Там же, где описываются встречи и беседы, якобы происходившие в действительности, литературная природа их очевидна внимательному читателю. Так, писатель передает любезный разговор, который вел Путешественник с французской маркизой, поднимаясь на вершину башни собора св. Павла. «...Что может быть прелестнее печали очаровательной женщины. — И все ее страдания лишь для того, чтобы служить его величеству мужчине. — Этого владыку часто свергают с престола, сударыня. — Как нашего доброго, бедного Людовика XVI, не так ли? — Почти, сударыня» (текст у Карамзина на французском, с. 347). Лондонская знакомая Путешественника должна была обладать недюжинной проницательностью, чтобы в июле 1790 г. (этой датой помечено письмо) говорить о свержении Людовика XVI с престола. В исторической реальности событие это произошло полтора года спустя — 21 сентября 1791 г. В Виндзоре Путешественник видел портрет Петра I, писанный в Лондоне Неллером. «Император был тогда еще молод: это Марс в Преображенском мундире!» (с. 353). И хотя Путешественник пишет, что он «долго смотрел на портрет», можно, зная безошибочность памяти Карамзина, который до самой старости не забывал раз увиденного, сомневаться в этих словах или же предположить очень беглое, торопливое посещение галереи: дело в том, что на этом — ныне очень известном —

[1] *Арзуманова М. А.* Указ. соч. С. 323.

портрете Петр изображен не в преображенском мундире, а в фантастических декоративных латах. Конечно, современному читателю такая ошибка не покажется чем-то значительным, но не следует забывать, что Карамзин сам некогда носил преображенский мундир. В XVIII в. такие вещи не путали.

Чем же объяснить эти особенности именно английской части «Писем»? Мы уже говорили об относительной краткости пребывания. Сказался, конечно, и языковой барьер. Карамзин свободно и много читал по-английски и любил английскую литературу, но в устном общении, видимо, испытывал затруднения. По крайней мере, когда ему надо было спросить, как пройти, прохожие его не понимали, он «дурно выговаривал имя своей улицы» (с. 334). В Германии и Франции он привык к свободному и беспрепятственному общению. В Лондоне было иначе: «Я осмелился с одной из них (англичанок. — *Ю. Л.*) заговорить по-Французски. Она осмотрела меня с головы до ног; сказала два раза oui, два раза non — и больше ничего. Все хорошо-воспитанные Англичане знают Французской язык, но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю Английской. Какая розница с нами! У нас всякой, кто умеет только сказать: comment vous potrez-vous? без всякой нужды коверкает Французской язык, чтобы с Руским не говорить по-Руски; а в нашем так называемом *хорошем обществе* без Французского языка будешь глух и нем» (с. 338).

Насколько сильны были в английском обществе антифранцузские настроения, показывает рассказ Комаровского, побывавшего в Лондоне за год до Карамзина: «Вот доказательство той народной ненависти, которая существовала тогда у англичан против французов. Мы трое шли вместе по улице — граф Бобринский, Вертиляк и я. На мне с графом Бобринским был фрак английского покроя и круглые шляпы, а на французе парижский полосатый фрак и треугольная шляпа; мы примечаем, что за нами множество бежит мальчишек и поднимают грязь с улицы; один из них закричал: french dog, и вдруг посыпался град комьев грязи на бедного Вертиляка, и он насилу скрылся в одну кондитерскую лавку, случившуюся на дороге; мы же двое шли тихим шагом, и ни одного кусочка грязи на нас не попало»[1].

Естественно, что возможности контактов для Карамзина в Лондоне были более ограниченными, чем в Париже. И тем не менее дело нельзя свести к языковым трудностям. Обращает на себя внимание, что в Германии, Швейцарии и Франции основное окружение Карамзина — иностранцы. В Лондоне он окружен русскими, причем — более узко — служащими русского посольства. И здесь прежде всего речь должна пойти о Семене Романовиче Воронцове. Ни до, ни после в «Письмах» не упоминается о связях Путешественника с каким-либо русским вельможей столь высокого ранга.

Воронцовы принадлежали к «новой знати». Все попытки связать их родословную с угасшим во время гонений Ивана Грозного родом бояр Воронцовых оказались безуспешными. Они вынырнули из мутной воды дворцовых переворотов и интриг послепетровских десятилетий. Первые видные

[1] *Комаровский Е. Ф.* Указ. соч. С. 18.

представители рода: канцлер Елизаветы Михаил Илларионович и его старший брат Роман, заслуживший по своей неслыханной жадности даже в этом мире корыстолюбивых авантюристов прозвище «Роман — большой карман», — отличались лишь невежеством и стяжательством. Государственных качеств они не обнаружили. Зато к 1801 г. семья Воронцовых владела более чем 27 000 крепостных душ и 271 363 десятинами земли в 16 губерниях империи[1]. Дети Романа Илларионовича: сыновья Александр и Семен и дочь Екатерина (знаменитая княгиня Дашкова) — люди совсем другого склада. Государственно одаренные, широко образованные, независимые во мнениях и суждениях, они привыкли считать себя не только первыми вельможами России, но и членами интеллектуальной элиты Европы. И дружба Александра Романовича с Радищевым, и беседы Екатерины Романовны с Дидро или Семена Романовича с Карамзиным дают им право на упоминание не только в политической, но и в культурной истории России и Европы. Члены этого поколения семьи Воронцовых охотно причислили бы себя к типу французских просвещенных вельмож эпохи Людовика XV — поклонников Вольтера, кабинетных ниспровергателей или просвещенных английских аристократов, гордых сознанием своих исторических прав и гарантированной независимости. Но на самом деле это были люди совсем другого закваса. Первое поколение получило меткую характеристику Герцена: «Семья Воронцовых принадлежала к тому небольшому числу олигархического барства, которые вместе с наложниками императриц управляли тогда как хотели Россией»[2]. Второе поколение дало людей другого типа: они еще могли принадлежать к поколению гвардейских бунтарей, которые слишком часто сбрасывали царей и цариц и сажали новых, чтобы верить в старые сказки о божественной природе власти монархов. Не случайно Воронцовы породнились с Орловыми (Н. К. Загряжская однажды восхитила Пушкина, сказав: «Орлов в душе был цареубийцей, это было вроде дурной привычки»). А сентиментальный фаворит Екатерины II Завадовский именовал С. Р. Воронцова Сенюшей и другом любезным.

В день «дворцовой революции» 1762 г. брат и сестра — Екатерина Дашкова и Семен Воронцов — оказались во враждебных лагерях, но оба приняли в событиях активное участие. Дашкова поставила на Екатерину II и выиграла, а С. Воронцов на Петра III и проиграл, но это не меняло того общего, что оба были готовы вести отчаянную игру и ставить на кон голову против успеха.

И все же это было другое поколение: пройдя начальную школу своего политического образования в кривых переулках петербургских дворцовых переворотов, они доучивались на уроках европейского Просвещения. Чувство собственного достоинства и права человека не были для них пустыми словами, а дружбу Радищева они могли поставить выше благосклонности императрицы.

---

[1] *Индова Е. И.* Крепостное хозяйство в начале XIX века. По материалам вотчинного архива Воронцовых. М., 1955. С. 28.

[2] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 12. С. 369.

Революционные идеалы были им глубоко чужды, но то, что старый мир стоит на грани разрушения, не вызывало у них никакого сомнения.

Странна и почти символична судьба рода Воронцовых. Третье поколение было представлено Михаилом Семеновичем, тем самым Мишенькой, над которым Зиновьев, когда мальчик был болен, производил в Лондоне какие-то мистические эксперименты, которому Карамзин посвятил стихотворение «Мишенька». Он сначала вписался в круг героев 1812 года — был ранен на Бородинском поле, Жуковский прославил его стихами:

Наш твердый Воронцов, хвала!
О, други, сколь смутилась
Вся рать славян, когда стрела
В бесстрашного вонзилась,
Когда полмертв, окровавлен,
С потухшими очами,
Он на щите был изнесен
За ратный строй друзьями.

Потом он вписался в ряды либералов «дней Александровых прекрасного начала»: командуя русским корпусом во Франции в 1815 г., уничтожил, впервые в царской армии, телесные наказания, обучал солдат грамоте. Затем не менее успешно, почувствовав поворот в придворных веяниях, стал делать быструю карьеру администратора-бюрократа и при Николае сделался типичным николаевским сановником — жестоким исполнителем самых нелепых распоряжений, ловким карьеристом, соединявшим петербургское бессердечие с внешним лоском джентльмена. Затем род вымер...

Эфемерное создание императорского периода России, род Воронцовых вынырнул из небытия и растворился в тумане сумерек империи.

Карамзин, видимо, еще в Петербурге запасся рекомендательными письмами к Семену Романовичу Воронцову. Причем письма эти были такого свойства, что обеспечили молодому, небогатому и нечиновному человеку не просто краткую аудиенцию у вельможи, а радушный прием, приглашения посещать и в лондонском доме, и на даче в Ричмонде и даже, видимо, конфиденциальные беседы. Такие рекомендации мог дать лишь близкий человек. И опять выплывает круг имен: Радищев, Александр Романович Воронцов, Зиновьев, Кутузов...

Семен Романович был один из наиболее опытных и тонких дипломатов Европы. Начав карьеру в Италии, он уже много лет занимал пост полномочного посла (тогда это называлось «полномочный министр») России в Англии. Он свыкся с Англией, полюбил ее быт и проникся политическими идеалами английской аристократии. Он был патриотом и зорко следил за дипломатическими выгодами России, но самодержавие презирал как варварство, к личности Екатерины II и к ее политике относился критически. В 1790 г. он, как многие русские либералы тех лет, возлагал надежды на наследника престола. Французские события его отталкивали, но он ими живо интересовался, скупая через комиссионеров политические брошюры Парижа. Понятно, что его привлекали беседы с умным и наблюдательным свидетелем, каким был Карамзин.

О чем же беседовали Семен Романович Воронцов и Карамзин в июне 1790 г. в Лондоне? Конечно, содержание их бесед историк никогда не узнает. Но все же одна небольшая ниточка есть — постараемся ее не упустить.

В «Письмах» читаем: «Обхождение Графа приятно и ласково без всякой излишней короткости. Он истинный патриот, знает хорошо Рускую Историю, Литературу, и читал мне наизусть лучшие места из Од Ломоносова» (с. 338).

Какие из од Ломоносова могли настолько затронуть С. Р. Воронцова, что он стал их декламировать русскому путешественнику в промежутках между рассказами о французском Национальном собрании? Научные оды Ломоносова вряд ли волновали стареющего дипломата, который предупреждал в письмах канцлера Безбородко о возможности революции и в России. Оды в честь цариц также, насколько можем судить, не должны были его вдохновлять. Но среди одического наследия Ломоносова были «лучшие места», которые вполне могли прозвучать в 1790 г. актуально. Речь идет об оде 1762 г., связанной с «дворцовой революцией», возведшей на престол Екатерину II.

Пушкин считал этот момент поворотным в истории новой России и все свои размышления — в «Дубровском», в «Капитанской дочке», в «Моей родословной» и «Езерском» — начинал с этой даты. Разговоры об этом пункте русской истории неизменно возникали сразу же, как только ставился вопрос о законности пребывания императрицы у власти и политическом будущем России.

Ода 1762 г. примечательным образом стоит особняком в творческом наследии Ломоносова. В ней, отчасти воспользовавшись возможностями, которые невольно давал правительственный манифест 6 июля 1762 г., объяснявший свержение Петра III вредностью для государства его политики, а отчасти следуя логике эволюции своих политических воззрений, Ломоносов впервые заговорил об *обязанностях* монарха перед подданными и, следовательно, провел черту между самодержавием и деспотизмом. Воплощенные в естественных правах человека «святые законы» обязательны и для монарха. Нарушая их, он теряет право на престол:

Услышьте, Судии земные,
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте...

Только поддержка подданных, покоящаяся на безмолвном, но тем не менее вполне реальном договоре, обеспечивает монарху беспрепятственное и безопасное владение престолом:

О коль велико, как прославят
Монарха верные раби!
О коль опасно, как оставят,
От тесноты своей, в скорби!

Ломоносов ловко использовал вынужденные и исключительно опасные для самодержавного правительства строки из манифеста 6 июля, которые

утверждали, что «самовластие, не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною»[1]. Однако, как показал в тонком анализе этой оды С. Н. Чернов, Ломоносов значительно переставил акценты правительственного манифеста: в манифесте все государственные беды были воплощены в лице уже убитого к этому времени Петра III, Ломоносов, который совсем еще недавно посвятил Петру III хвалебную оду, «не выступил с прямым личным осуждением низвергнутого императора, как человека и правителя, но все же дал понять, что считает его виноватым и ответственным и, можно сказать, вдохновенно высказал целый ряд общих суждений о правителях, делах правления и основах всякой правительственной деятельности»[2].

Как справедливо отметил тот же автор, то, что в манифесте звучало личным упреком Петру III, в оде было переосмыслено как наставление Екатерине II. Сам же свергнутый монарх скорее выглядел слабым, чем преступным.

Эта концепция, высказанная Ломоносовым в 1762 г., приобрела особый смысл в 1790-м. Теперь она звучала как напоминание невыполненных обещаний и торжественно взятых обязательств. Ода недвусмысленно указывала на то, что только соблюдение монархом определенных условий, даже если он самодержец, делает его власть законной и прочной. Идея эта, конечно, не могла считаться новой или смелой на фоне развивающихся в Европе второй половины XVIII в. политических теорий. Но политические концепции не обладают абстрактной абсолютной ценностью. Более смелые теории энциклопедистов мало тревожили русское правительство, потому что их очевидная неприложимость к русским условиям придавала им чисто кабинетный характер (по крайней мере, пока гильотина не превратила эти лекции в практические занятия). Между тем идея договора о взаимной пользе между самодержавным правителем и его подданными и права последних свергать нарушителя этого договора звучала как практический лозунг и могла к 1790-м гг. объединить столь различных по существу мыслителей и деятелей, как Панин и Фонвизин, Радищев и Воронцов.

В февральском номере «Le Spectateur du Nord» за 1797 г. появилось письмо из России, подписанное «Voyageur» (то есть «путешественник»). Письмо было посвящено Петру III и затрагивало болезненный вопрос — переворот 1762 г., возведший на престол Екатерину II. «Путешественник» не был сторонником Петра III — он видел в нем слабого и нерешительного человека, лично доброго, но плохо подготовленного для управления огромной страной. Но в дворцовом перевороте он видел преступление, а о Екатерине II отзывался следующим образом: «Екатерина II взошла на престол, и слава ее наполнила мир. Философы были глашатаями этой славы. Друг истины не должен против

[1] Цит. по: Осмнадцатый век: Ист. сб. / Изд. П. Бартеневым. М., 1869. Т. 4. С. 217.
[2] *Чернов С. Н.* М. В. Ломоносов в одах 1762 г. // XVIII век. Сб. ст. и материалов. 1935. Т. 1. С. 106.

этого возражать. Но разве ему не позволено счесть число мужчин, женщин и детей, которые заплатили жизнью за тридцать лет этого славного царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и более всего в России? Он пытается счесть ужасное число этих жертв и находит их столь же бесчисленными, как количество ассигнаций, — мрачное свидетельство богатств, поглощенных блеском этого прекрасного царствования».

У Карамзина, как мы увидим дальше, были тесные связи с этим журналом, подпись «Путешественник» также указывала на него, именно так его называли в литературных кругах. Наконец, содержание статьи перекликается, естественно, с более завуалированными высказываниями в русских статьях Карамзина (особенно периода «Вестника Европы»). Все это убеждает в авторстве Карамзина, особенно если учесть, что ни о каких связях какого-либо другого русского литератора с этим немецким журналом ничего не известно.

Статья «Путешественника» ведет нас к лондонским беседам Карамзина и С. Р. Воронцова.

Не следует забывать, что именно с переворотом 1762 г. связывал в дальнейшем Пушкин роковой перелом в русской истории XVIII в. В «Моей родословной» он связал упадок старинного рода Пушкиных с тем, что дед поэта, как и С. Р. Воронцов, не изменил Петру III и не переметнулся на сторону победителей:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый,
И я родился мещанин.

Именно в 1762 г. вышел в отставку и вынужден был поселиться в деревне благородный отец Дубровского, а в гору пошел родственник княгини Дашковой Троекуров. Гринев-старший, живущий в опале в своем поместье, также вышел в отставку в 1762 г. Его карьера сломалась, тогда же в гору пошли выскочки и фавориты. От размышлений Карамзина протягивается нить к Пушкину.

Семен Романович Воронцов был умен и опытен. Он сам был живая эпоха. Беседа с ним должна была быть увлекательной. Он был врагом деспотизма и считал, что между народом и властью всегда существуют взаимные обязательства. «Народ», конечно, должен быть представлен просвещенным меньшинством, но никакая власть не имеет права быть безграничной. Карамзину, только что слышавшему с трибун Национального собрания руссоистские идеи в устах Робеспьера и Барнава, было интересно внимать дворянскому руссоизму Воронцова.

Вряд ли случайно, что идея обязанностей, которые имеет перед подданными даже самодержавный монарх, будет нам постоянно встречаться в политических размышлениях Карамзина. Уже в обращенном к Екатерине стихотворении «К милости», написанном по поводу дела Новикова, предан-

ность подданных царю представляется как результат взаимного выполнения обоюдных обязательств:

Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах;
Пока доверенность к народу
Видна во всех твоих делах, —
Дотоле будешь свято чтима...

В оде, посвященной восшествию на престол Павла, и двух одах, которыми Карамзин приветствовал Александра, влияние поэтики од Ломоносова тем более очевидно, что жанр похвальной оды в принципе подвергался карамзинистами осмеянию. Но еще более ощущается идейное воздействие оды 1762 г. Можно думать, что внимание Карамзина на ее политическую концепцию обратил именно Семен Романович Воронцов.

Но если признать это предположение вероятным, то мы сможем сделать второй шаг в реконструкции бесед старого дипломата и молодого писателя. В нашем распоряжении есть текст воспоминаний Семена Романовича о своем участии в роковых событиях 28 июня 1762 г. Вряд ли, рассуждая об отклике на них Ломоносова, Воронцов не коснулся своих личных впечатлений, тем более что, как мы увидим дальше, он не был склонен скрывать их от близкого друга. Ввиду важности этого текста позволим себе большую цитату[1]. Вначале Воронцов сообщает, что с раннего возраста стремился к военной славе. Быв долгое время пажом Елизаветы, он должен был быть выпущен поручиком в гвардию, но императрица скончалась за неделю до выпуска. Петр III, который «был всегда», по его словам, к нему «добр», определил его в гренадерскую роту Преображенского полка. Узнав, что война с Данией решена, С. Р. Воронцов отпросился в предназначенную к действию армию Румянцева, и Петр III, одобрив это решение, определил его командированным в распоряжение командующего.

«Был дан приказ числить меня в полку *в посылке*. Это было за три дня до революции.

Накануне этого ужасного дня я распростился со своими родителями, с тем чтобы на следующий день в 8 часов утра отправиться в Ораниенбаум, где в ту пору находился император, для прощальной аудиенции и получения приказов для графа Румянцева. Затем я должен был направиться через Нарву, Ригу и т. д., и т. д. Этот проклятый «завтрашний день» был днем отвратительного переворота. Я уже собирался сесть в карету, как один из моих родственников, проживавший в доме моего отца, сообщил мне, что императрица находится в Измайловском полку, который, в беспорядке окружив ее, с криками радости провозглашает ее царицей и готов принести ей присягу, что целые толпы семеновцев бегут в том же направлении и присоединяются к мятежникам, что он видел все это собственными глазами и что нет никаких сомнений в том, что это обдуманный и заранее подготовленный мятеж. Мне

[1] Весь текст написан по-французски. Слова, которые в оригинале написаны по-русски, передаем курсивом.

было лишь 18 лет. Я был быстр как француз и вспыльчив как сицилиец. Я пришел от этого известия в невыразимое бешенство. Передо мною раскрылась вся безмерность предательства, смысл которого я, знавший некоторые эпизоды предшествующих царств, понимал лучше моего собеседника. Убежденный тем не менее в том, что Преображенский полк сохранит верность, я не верил в победу мятежников. Я поскакал крупным галопом, чтобы присоединиться к своему полку, и нашел его уже собранным, в полном порядке и готовым выступить колонной. В ста шагах от моей роты, которая стояла во главе полка, я встретил множество офицеров, стоящих группой. Среди них были *Бредихин, Баскаков, князь Ф. Барятинской*. Этот последний был прапорщиком в моей роте. Я их спросил, знают ли они о мерзостях, которые творятся в двух других полках, и высказал все, что крайняя живость моего характера заставляла меня чувствовать по отношению к бунту. К этому я добавил, что льщу себя надеждой, что наш полк покажет другим войскам города образец верности.

Они, обменявшись взглядами, ничего мне не отвечали, но были бледны, с искаженными лицами. Я их почел лишь трусами, не зная, что все они были соучастниками преступления. Я повернулся к ним спиной и бросился в объятия моего капитана *Петра Ивановича Измайлова*, одного из самых честных и преданных подданных нашего несчастного монарха. Он обнаружил отвращение к поступкам противной стороны, полный готовности умереть, храня верность присяге, и надежды, что полк проявит себя с лучшей стороны. Мы сговорились по-французски призывать наших гренадеров к верности, и мы прошли по рядам, увещевая сохранять верность законному монарху, которому они присягали. Мы напоминали, что он племянник императрицы Елизаветы, сын старшей дочери Петра I-го и, следовательно, внук этого истинного основателя сияния империи, что лучше умереть честными подданными и верными солдатами, чем присоединяться к подлым предателям, которые будут побеждены, так как пример нашего полка воодушевит другие полки гвардии на выполнение своего долга. *Мы умрем за него* — был ответ наших гренадеров, и это нас утешило свыше всякой меры.

В это же время секунд-майор полка *Петр Петрович Воейков*, человек, достойный самого высокого уважения и глубоко преданный своему законному повелителю, скакал вдоль фронта, повторяя: *Ребята! Не позабывайте вашу присягу к законному вашему государю императору Петру Федоровичу, умрем или останемся ему верны!* Он остановился, чтобы переговорить с нами, протянул нам руку и плакал от радости, найдя в нас то же чувство чести, которым и он был одушевлен. После этого он вскричал: *Ступай!* — и мы выступили к *Казанской* церкви, где, как нам сообщили, уже находились мятежники и императрица и где совершалось богослужение. Мы: секунд-майор, капитан и я — надеялись, что на первое же: «Стой, кто идет!» — полк единым голосом грянет: «Император Петр III!» — и что после первого же выстрела по нам со стороны мятежников мы, не имея возможности стрелять (так как проспект, по которому мы продвигались, нам позволял итти только колонной), их атакуем штыками всей силой нашей колонны. Мы надеялись сделать из них кашу и полностью истребить, поскольку они

пребывали в полном беспорядке, не соблюдая ни рядов, ни шеренг, как согнанные в кучу крестьяне. К тому же они были в большинстве пьяны, в то время как мы находились в образцовом порядке.

Но Провидение распорядилось иначе.

Проклятый князь Меньшиков, премьер-майор нашего полка, скотина от природы, которого пьянство превратило в совершенного идиота, который никогда не показывался в полку и на самом деле ничем не командовал, но которого император по милости и доброте не оставлял, позволяя прозябать при полку, вдруг прибыл, подстрекаемый кем-то из заговорщиков, и, появившись в хвосте колонны, закричал: *Виват императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица!* Этот подлый крик был как удар электричества. Вся колонна его повторила. Секунд-майор, капитан и я делали невозможное, чтобы остановить эту заразу. Мы были уже в каких-то 50 шагах от двух других полков! Все наши усилия были тщетны, и я не пойму, почему нас тогда не убили. *Воейков*, оскорбленный происходящим, швырнул свою шпагу, крича изо всех сил: *«Ступайте к чорту, канальи, е.... м..., изменники! Я с вами не буду!»* Повернув лошадь, он направился к себе домой, где и был вскоре арестован, как я узнал позже.

Как я ни был молод, а к тому же, находясь от всего, что я видел, в припадке бешенства, я все же имел благоразумие тотчас же подумать о выходе для себя. Я отшвырнул свое ружье гренадерского офицера, сбросил каску и попытался пробраться сквозь толпу, чтобы со всех ног броситься к реке, где я мог бы ценой 10 или 12 империалов, которые были у меня в кармане, нанять первую же шлюпку, которую встречу, и приказать матросу везти меня в Ораниенбаум. Там находился император, у которого еще не были исчерпаны все возможности, если бы он захотел добраться до Нарвы, где он мог бы найти войска, которые он воодушевил бы своим присутствием и которые, по крайней мере, могли бы прикрыть его отступление, если бы он принял решение быстро присоединиться к армии, которая была за границей и находилась под командой человека столь возвышенного величия и верности, как граф Румянцев. Задумав это, я начал тотчас же пробираться через толпу. Но тут я почувствовал, что меня схватили за воротник. Я выхватил шпагу, повернулся и ударил наотмашь наглеца. Шпага скользнула по шляпе и ударила его по плечу. Я заметил, что это был один из офицеров Измайловского полка, кричавший: *«Схватите его!»* Я был окружен и схвачен унтер-офицером и 6 мушкетерами этого полка. Офицер крикнул: „Отвезите его в Зимний дворец и держите под караулом“»[1].

Приведенный колоритный рассказ явно перекликается со статьей, посвященной дворцовой революции 1762 г. и опубликованной в «Le Spectateur du Nord» за подписью «Voyageur». Еще более примечательно другое: процитированный текст — часть автобиографии, написанной С. Р. Воронцовым в форме письма к Ф. В. Растопчину. Внизу текста поставлена дата: 8 февраля 1797 г. В февральском номере «Le Spectateur du Nord» 1797 г. появилась

[1] Архив князя Воронцова. М., 1876. Кн. 8. С. 3—6.

упомянутая выше статья, авторство которой, по нашему мнению, принадлежит Карамзину. Если у нас нет прямых оснований утверждать, что автобиография Воронцова была откликом на публикацию в «Северном зрителе», то даже при крайней осторожности трудно отказаться от мысли об определенной связи этих документов и об их общем корне — лондонских беседах летом 1790 г.

Перед глазами Карамзина вставали два образа: народная революция в Париже и «дворцовая революция» в Петербурге. И то и другое он отвергал. И одновременно приходил к выводу, что и тут и там причиной были злоупотребления и ошибки власти, недостаток просвещения, отсутствие твердых законов. Более того, Французская революция отталкивала, но и привлекала страшным величием грандиозного исторического события, зрелище которого показывает наблюдателю тайны истории, как злой дух показал Христу с вершины горы «все царства мира». «Дворцовая» же «революция» Екатерины II на этом фоне выглядела жалкой комедией.

Почти одновременное написание С. Р. Воронцовым своей публицистической автобиографии, «Путешественником» (Voyageur) статьи о «революции 1762 года» и приветственной оды Карамзина Павлу не было случайностью: все эти выступления приходились на тот краткий период, когда надежды на Павла еще не сменились сначала недоумением, а затем горьким разочарованием. В частности, приближение к императору Растопчина — креатуры С. Р. Воронцова и друга Плещеевых и Карамзина — казалось хорошим знаком. Ренегатство этого прирожденного интригана, циника, готового менять любые маски, обнаружилось позже. Сама идея реабилитации памяти Петра III, которую историки воспринимают сквозь призму уродливо-издевательских ритуалов похорон Екатерины II и других порождений болезненной изобретательности Павла I, имела вполне рациональную основу: осуждался фаворитизм и дворцовые перевороты, принявшие характер постоянно действующих институтов. Им противопоставлялся легитимизм — принцип законности в рамках самодержавия.

Петр III был груб, плохо воспитан, отталкивал как личность, но, оскорбляя людей, уважал законы. Екатерина II была лично обаятельна и прекрасно владела искусством «привлекать сердца», но возвела беззаконие в принцип, а безответственность фаворитов и всего аппарата от генерал-губернаторов до последних чиновников — в основу государственной машины. От Павла ожидали, что он соединит положительные качества своих предшественников, — он взял от каждого худшее, прибавив от себя каприз, возведенный в закон. Быть самодержцем для него означало быть непредсказуемым. Он хотел, чтобы пути его были неисповедимы, как пути Господа Бога, но добился лишь того, что алогичные проявления добрых порывов и неожиданное рыцарство мало радовали его окружающих, а бессмысленные и немотивированные опалы потеряли характер сдерживающей угрозы.

Но это все было впереди. А пока что в лондонском доме Воронцова и на его даче в Ричмонде Карамзин выслушивал критику фаворитов императрицы (Семен Романович не скрывал своей неприязни к Потемкину) и обсуждал вредные последствия беззакония.

Вокруг С. Р. Воронцова группировались молодые единомышленники: Зиновьев, Синявин, Кочубей, Ростопчин и чиновники посольства из разночинцев. Заметным лицом в этом кругу был Василий Федорович Малиновский, в будущем первый директор Царскосельского лицея (брат его, Алексей, потом сделался близким приятелем Карамзина). А. Кросс, раскрыв инициалы, которыми Карамзин скрыл имена некоторых своих лондонских знакомцев, установил, что русский путешественник общался с посольским священником Яковом Смирновым, личностью весьма примечательной[1], а возможно, и с его братом[2], со Степаном Семеновичем Джунковским[3] и Григорием Александровичем Демидовым. В этом кругу было принято усваивать английские бытовые привычки. Ростопчин учился боксу, «Рейн (известный боксер. — *Ю. Л.*) совершенно выздоровел. Ростопчину вздумалось брать у него уроки; он нашел, что битва на кулаках такая же наука, как бой на рапирах», — с изумлением писал Комаровский[4]. Григорий Александрович Синявин (Сенявин), на сестре которого женился С. Р. Воронцов, не только служил в английском флоте и плавал в Индию и по всем морям мира, но и усвоил замашки английского моряка: когда он с Комаровским нанял шлюпку и неожиданно попал под проливной дождь, «Синявин оттолкнул их обоих (гребцов. — *Ю. Л.*), снял с себя фрак и начал сам грести». Очутившись на берегу, «он предложил нам заехать в Орендчь, кафегауз, где собираются большей частью морские офицеры, велел себе подать пуншу гаф-энд-гаф, то есть половина рому и половина французской водки, выпил онаго пребольшую кружку, и как ни в чем не бывало»[5].

Англоманство, распространенное в этом кругу, не шло, однако, в ущерб патриотизму, а, напротив, подразумевало горячую любовь к родине, и Платон Зубов был глубоко несправедлив, когда позже упрекал С. Р. Воронцова в том, что ему интересы Англии ближе, чем России. Если современному нам читателю сочетание англоманства и русского патриотизма может показаться парадоксальным, то для XVIII в. оно было вполне естественным. В то время как под знаменем галломании проповедовалось принятие французских норм жизни как единственно «европейских» и цивилизованных, знамена англофилов освящали требование национальной оригинальности. Под этими знаменами шла борьба с галломанией. В 1796 г. в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» анонимный автор, который в 1789—1790 гг. находился в Англии и явно принадлежал к окружению Воронцова (возможно, это был В. Ф. Малиновский), опубликовал серию очерков «Россиянин в Англии». Здесь, в частности, проводится параллель между русскими и анг-

---

[1] *Cross A. G.* Jakov Smirnov: a Russian Priest of Many Parts // Oxford Slavonic Papers, New Series. 1975. Vol. 8. P. 37—52.

[2] См.: *Cross A. G.* Whose Initials?..

[3] *Cross A. G.* By the Banks of the Thames. Russian in Eighteenth Century Britain. Newtonville, Mass., 1980. См. по именному указателю.

[4] *Комаровский Е. Ф.* Указ. соч. С. 20.

[5] Там же. С. 21; о Синявине см.: *Cross A. G.* By the Banks... P. 164—165 (возможно написание *Сенявин*, которое и принял Кросс) и Архив Воронцова по росписи томов.

личанами: «Мы, живучи в суровом климате, имеем в своем сложении твердость и крепость, и Англичане по свойству своего печальны и мрачны <...> Они мне нравятся своею вольностию. — Мы бы лучше сделали, если бы заняли у них, а не у французов. — Надо сказать, мы, то есть люди большого света[1], сходнее с французами — но я уверен, что народ наш более бы нашел удовольствия в аглинском вкусе, потому, что он натуральнее»[2]. Рассуждения Карамзина о патриотизме англичанок, не желающих говорить по-французски, относятся к тому же кругу идей. В тех же очерках «Россиянин в Англии» подробно описана процедура гласного суда присяжных. Отдельные места очерков поразительно напоминают страницы из «Писем» Карамзина, что позволяет говорить о каком-то общем круге устных источников и единстве настроений.

Когда амбициозный, самоуверенный и глупый Платон Зубов — молодой любовник старой императрицы — попытался руководить дипломатией и присылать С. Р. Воронцову приказы, а потерпев афронт, обвинил старого дипломата в отсутствии патриотизма, он, конечно, был далек от истины. Однако сам этот эпизод примечателен, поскольку показывает, в какую сторону менялась психология русских людей XVIII в., дышавших воздухом умеренной парламентской монархии, даже если в политике они оставались лояльными подданными своей государыни. Зубов задумал прислать в Англию миссию французских эмигрантов во главе с герцогом д'Артуа — братом казненного Людовика XVI, будущим Карлом X. С. Р. Воронцов пытался разъяснить самодовольному фавориту не только политическую бестактность, но и прямую невозможность этой акции. Герцог д'Артуа числился в Англии несостоятельным должником, и как только он поставил бы ногу на британскую почву, он был бы арестован и препровожден в долговую тюрьму. Напрасно Воронцов разъяснял Зубову, что в Англии избавлены от судебных преследований только король и члены палат парламента, что даже сыновья короля, если они не принадлежат палате лордов, наделав неоплатных долгов, будут немедленно арестованы. Зубов *не верил* и настаивал, что «воля ее императорского величества должна выполняться всеми» (подразумевалось, и в Англии). Независимый суд был для него чем-то вроде персонажа волшебной сказки — тем, про что можно прочесть в книжке, но что, конечно, не существует в реальности. Русские люди в Англии XVIII в. видели недостатки в ее нравственном и политическом порядке, приезжая в Россию, они часто становились ретроградами, бюрократами (наглядный пример — «полумилорд» М. С. Воронцов), но психология их уже не была психологией Платона Зубова: они *видели* то, во что он *не верил*.

Карамзин смотрел и сравнивал: перед глазами проходили «два города» (следуя названию романа Диккенса), но мысли шли дальше — к судьбам России, к судьбам Европы, к судьбам мира...

---

[1] Полагаю, что наивно заключать из этих слов, что анонимный автор действительно принадлежал к большому свету. Из людей «большого света» в Англии в то время находился В. П. Кочубей. Однако о его литературном творчестве мы ничего не знаем.

[2] Приятное и полезное препровождение времени. 1796. Ч. 11. № 60. С. 99.

В 1790 г. в загородном доме С. Р. Воронцова В. Ф. Малиновский начал писать свою книгу «Рассуждение о мире и войне». Здесь была закончена ее первая часть. В свет книга вышла в России в 1803 г. Книга содержала резкие филиппики против войн и призыв к вечному и всеобщему миру: «Привычка делает нас ко всему равнодушными. Ослеплены оною, мы не чувствуем всей лютости войны. Если же бы можно было, освободившись от сего ослепления и равнодушия, рассмотреть войну в настоящем ее виде, мы бы поражены были ужасом и прискорбием о несчастиях, ею причиняемых. Война заключает в себе все бедствия, коим человек по природе своей может подвергнуться, соединяя всю свирепость зверей с искусством человеческого разума»[1]. Споры о вечном мире, видимо, не проходили без участия Карамзина. Не случайно на обеде у русского консула в Лондоне Бакстера — тоже человека из ближайшего окружения С. Р. Воронцова — Карамзин провозгласил тост: «Вечный мир и цветущая торговля» (с. 338).

Идея вечного мира была характерным порождением просветительского оптимизма. Казалось бы, история, стиравшая безжалостной рукой радужные краски с просветительской веры в разум, должна была бы перечеркнуть эти надежды. Еще Руссо писал по поводу вечного мира Бернардена де Сен-Пьера: «Пусть не говорят, что его система не может быть одобрена потому, что она плоха, — пусть говорят противоположное: она слишком хороша, чтобы быть принятой <...> будем восхищаться столь прекрасным проектом, но утешимся тем, что не увидим его реализации, так как все это можно сделать лишь прибегая к средствам насильственным и опасным для человечества. Все федеративные объединения создавались с помощью революций, и в силу этого принципа мы не смеем сказать: следует ли желать общеевропейской лиги или опасаться ее. Может быть, она в один момент причинит больше зла, чем с ее помощью надеются избежать в течение столетий»[2]. И все же споры в Лондоне и Ричмонде летом 1790 г. между будущим автором «Истории государства Российского» и будущим директором Лицея не были попыткой возродить старые иллюзии. Они питались другими источниками. Малиновскому было 25 лет, Карамзин был на год его моложе. Но оба они заглянули в лицо истории в ее «минуты роковые» и, чуткие наблюдатели, оба ощутили приближение новой эпохи, эпохи «больших войн», большой крови. Приближавшаяся общеевропейская война, первые раскаты которой прозвучали через два года, а последние громы — в 1815 г., война, которая залила кровью Европу от Москвы до Сарагосы, уже бросала перед собой свою страшную тень.

---

[1] Рассуждение о мире и войне. СПб., 1803. Т. 1. С. 1—2; ср.: *Малиновский В. Ф.* Избранные общественно-политические сочинения. М., 1958. С. 41. О связях идей Малиновского с просветительской концепцией вечного мира см.: *Алексеев М. П.* Пушкин: Сравнит.-ист. исслед. Л., 1984. С. 206—211; о воздействии идей Малиновского на Карамзина см.: *Cross A. G.* Whose Initials?.. P. 31.

[2] *Rousseau J.-J.* Oeuvres complètes. Paris, 1824. T. 6. P. 449—450.

Домой

Что же вынес Карамзин из путешествия и с чем он вернулся домой? Ответить на это не так просто. О Париже 1790 г. он рассказал лишь в 1801 г. Но тогда он о многом уже думал иначе. Здесь придется взглянуть не только на то, что он *написал* о своем путешествии, но и как он *жил* после его завершения, поскольку создание своего литературного образа, открытого взорам читателей, и построение собственной личности были для Карамзина двумя различными сторонами одной и той же медали. Прежде всего необходимо отметить, что Карамзин *вернулся писателем*. Все, что он в дальнейшем ни писал и ни предпринимал, было связано в единый узел размышлениями о том, кто такой писатель, какова его роль в мире, «зачем он послан». Через десять с лишним лет в статье «Что нужно автору?» Карамзин выразил мысли, которые, может быть, не в столь четких формах, появились у него, конечно, раньше. Сущность статьи — в утверждении мысли о неразделимости *автора* и *человека*. Поэтому воспитание писателя есть самовоспитание человека. «Творец всегда изображается в творении, и часто против воли своей»[1].

Но человек неотделим от человечества: «Ты хочешь быть Автором: читай историю нещастий рода человеческого — и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо, — или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей»[2].

Итак, решив стать писателем, Карамзин намеревался испытывать свое сердце, воспитывать себя, учить читателей, воспитывать в них добрые чувства и плакать над бедствиями человечества? Наблюдая первые его шаги на родине, нельзя не признать, что для *такой* цели он избрал довольно странные средства.

Поведение прибывшего из-за границы молодого Карамзина было вызывающим. Все читатели, которые знают Карамзина по отзывам Жуковского или Пушкина, по общеизвестным фактам его биографии и держат в своей памяти образ человека меланхолического, благородно-сдержанного, чувствительного и холодноватого одновременно, уклоняющегося от литературной борьбы и полемики, всегда спокойно-доброжелательного, врага крайностей, должны будут представить себе совершенно другой его облик. Поведение Карамзина в это время нельзя назвать иначе, как экстравагантным. Особенно это должно было бросаться в глаза тем, кто помнил, каким был Карамзин в масонско-новиковском кругу. Дмитриеву он тогда запомнился как «благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека»[3]. А вот как описал, со слов того же Дмитриева, Бантыш-Каменский облик Карамзина, вернувшегося из-за границы: «Возвратясь в Пе-

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 370.
[2] Там же. С. 371.
[3] *Дмитриев И. И.* Соч. Т. 2. С. 26.

тербург осенью 1790 года в модном фраке, с шиньоном и гребнем на голове, с лентами на башмаках, Карамзин был введен И. И. Дмитриевым в дом славного Державина и умными, любопытными рассказами обратил на себя внимание. Державин одобрил его намерение издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочинения. Посторонние лица, посещавшие Державина, гордясь витиеватым, напыщенным слогом своим, показывали молчанием и язвительною улыбкою пренебрежение к молодому франту, не ожидая от него ничего доброго»[1].

Есть и другие свидетельства вызывающего «щегольского» поведения Карамзина после возвращения из-за границы. Причем характерно, что ближайшие друзья Карамзина: Настасья Плещеева, А. М. Кутузов, который именно в эту пору (1791) написал на Карамзина злой памфлет, изобразив его в виде щеголя Попугая Обезьянина, подчеркивали, что стиль поведения Карамзина, во-первых, новый, а во-вторых, вывезенный им из-за границы. Это же мнение потом, как эхо, многократно повторялось противниками писателя.

Между тем, как можно полагать, оба эти утверждения отражают не истину, а впечатление современников. И, как мы увидим, впечатление, сознательно стимулируемое самим Карамзиным. Богатое собрание свидетельств, показывающих, что «щегольское поведение», в определенной мере, было свойственно Карамзину и в самом начале его творческого пути, и, по крайней мере, на всем протяжении 1790-х гг., продемонстрировано в книге Б. А. Успенского[2]. К тому же у нас нет никаких оснований полагать, что Карамзин, нанося визиты Канту, Гердеру или Лафатеру, посещая Национальное собрание или загородный дом в Ричмонде, был одет экстравагантно, эпатируя окружающих бросающимся в глаза щегольством одежды или манер. Ни один из заграничных собеседников Карамзина не видел в нем Попугая Обезьянина, русский вариант парижского щеголя. Есть и прямые свидетельства того, что в Англии Карамзин носил обычный синий фрак английского покроя со светлыми пуговицами. Есть и еще одно — косвенное, но не лишенное интереса — свидетельство: немецкий перевод Рихтера «Писем русского путешественника», авторизованный Карамзиным и готовившийся под его наблюдением, был снабжен иллюстрациями. Они были выполнены художником Кюнелем и гравировались швейцарским приятелем Карамзина Липсом. Липс, который видел автора в Швейцарии, придал путешественнику на своих гравюрах черты портретного сходства. На гравюрах хорошо виден костюм путешественника: обычные дорожные фрак, панталоны, сапоги, принятые в те годы во всей Европе. Никаких оснований полагать, что во время путешествия костюм Карамзина отличался каким-либо утрированным щегольством, у нас нет.

Итак, остается сделать вывод, что утрированный костюм, который так запомнился Дмитриеву, был частью какой-то обдуманной программы, жестом,

---

[1] Цит. по: *Погодин М. П.* Указ. соч. Ч. 1. С. 168.

[2] См.: *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985. С. 46—48.

рассчитанным на эпатирование, на то, чтобы сознательно скандализировать определенные общественные и литературные круги.

Нельзя не заметить, что такая же установка сразу проявилась в направлении литературной деятельности Карамзина.

Издание журнала было уже давно задумано. Еще в разговоре с Виландом Карамзин определил свое будущее как будущее литератора: «Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с Натурою и добрыми, любить изящное и наслаждаться им». Мы не знаем, таков ли был ответ Карамзина Виланду на вопрос, как он мыслит себе свое будущее. Однако таким он был представлен читателям «Московского журнала». И в этом уже крылось противоречие: ответ рисовал литературные занятия как дело сугубо личное, адресованное к самому себе и имеющее целью услаждение собственной души. Но слова эти публиковал Карамзин-журналист, то есть тот, кто заведомо обращается к публике, к читателю и имеет в виду удовлетворение интересов и запросов других людей, а не самого лишь себя. Деятельность журналиста есть общественная деятельность, и Карамзину, собирающемуся стать журналистом, предстояло выбрать себе определенную *общественную* позицию.

Литература в России традиционно пользовалась высоким общественным авторитетом: писатель воспринимался как учитель общества. Особенно же это относилось к печатному слову. В XVIII в. печатное слово воспринималось читателем как некая санкционированная истина. Провозглашать эту истину надо было иметь право. Поэтому журналист — человек, обращающийся к публике с печатной речью, — мыслился как лицо, наделенное какими-то особыми полномочиями. Полномочия эти могли даваться государственной инстанцией — журнал мог издаваться каким-либо авторитетным учреждением: Академией наук, университетом, тем или иным официально утвержденным обществом. Щит учреждения, звания и должности издателя или «участвующих именитых особ» защищали журнал от критики. Еще в 1828 г. издатель «Вестника Европы» профессор Московского университета М. Т. Каченовский в полемике с «Московским телеграфом» противопоставлял себя как чиновного издателя полуофициального журнала своим «бесчинным» критикам. Как иронически писал Пушкин, «оскорбленный как издатель „Вестника Европы“, г. Каченовский решился требовать защиты законов как ординарный профессор, статский советник и кавалер и явился в цензурный комитет с жалобой...»[1]. Это напоминало запрет свистеть и шикать актерам *императорских* театров.

Другим источником авторитета могло быть издание журнала от лица какого-либо общества или группы литераторов. Авторитет коллективности увеличивал право издателей на читательское доверие. Об этом сообщалось в объявлении, извещавшем об издании нового журнала, или в предисловии к первому номеру. Так, в 1777 г. в предисловии к «Санктпетербургским ученым ведомостям» Новиков писал: «Общество наше, из нескольких человек

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 79.

состоящее, предприняло издавать на сей год периодические листы...» Если же издателем был какой-либо один литератор, то, если речь шла не об эфемерном или чисто коммерческом предприятии, литературное приличие требовало, чтобы это был известный публике и авторитетный писатель. Во всех случаях от издателя, особенно если он собирался еще быть и критиком, требовались скромность и смирение, уничижительность в самооценках и обещание снисходительности в суждениях.

Желание Карамзина издавать журнал не встретило бы раздражения у литераторов, если бы он скромно именовал себя в издательских декларациях новичком, ищущим покровительства именитых литераторов, и спрятался под защиту чьих-либо привычных авторитетов. Карамзин поступил диаметрально противоположным образом: он не только объявил, что сам будет вести и направлять журнал, но и в резко непочтительных тонах отозвался о масонских, нравоучительных сочинениях, издаваемых его вчерашними наставниками.

Не успел Карамзин вернуться в Москву и поселиться в доме Плещеевых, на Тверской, в приходе Василия Кесарийского, как в № 89 «Московских ведомостей» от 6 ноября 1790 г. появилось объявление: «С января будущего 91 года намерен я издавать журнал, если почтенная публика одобрит мое намерение. Содержание сего журнала будут составлять:

1. Русские сочинения в стихах и прозе, такие, которые по моему уверению могут доставить удовольствие читателям. Первый наш поэт — нужно ли именовать его? — обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни. И другие поэты, известные почтенной публике, сообщили и будут сообщать мне свои сочинения. Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, — который внимание свое посвящал натуре и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, — намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей.

2. Разные небольшие иностранные сочинения в чистых переводах, по большей части из немецких, английских и французских журналов, с известиями о новых важных книгах, выходящих на сих языках. Сии известия могут быть приятны для тех, которые упражняются в чтении иностранных книг и в переводах.

3. Критические рассматривания русских книг, вышедших и тех, которые впредь выходить будут, а особливо оригинальных; переводы, недостойные внимания публики, из сего исключаются. Хорошее и худое замечаемо будет беспристрастно. Кто не признается, что до сего времени весьма не многие книги были у нас надлежащим образом критикованы.

4. Известия о театральных пиесах, представляемых на здешнем театре, с замечаниями на игру актеров.

5. Описание разных происшествий, почему-нибудь достойных примечания, и разные анекдоты, а особливо из жизни славных новых писателей.

Вот мой план. Почтенной публике остается его добрить или не одобрить; мне же в первом случае исполнить, а во втором молчать.

Материалов будет у меня довольно; но если кто благоволит прислать мне свои сочинения или переводы, то я буду принимать с благодарностию все хорошее и согласное с моим планом, в которой не входят только теологические, мистические, слишком ученые, педантические, сухие пиесы. Впрочем, все, что в благоустроенном государстве может быть напечатано с указного дозволения, — все, что может нравиться людям, имеющим вкус; тем, для которых назначен сей журнал, — все то будет издателю благоприятно.

Журналу надобно дать имя; он будет издаваем в Москве, итак имя готово: *Московский журнал...*» Далее шли коммерческие условия подписки.

При комментировании этого объявления обычно обращают внимание на злой выпад в адрес «теологических, мистических... пиес», явно направленный против масонских изданий. Это справедливо и очень важно. Однако не менее важно перенестись в 1790-е гг., представить себе тогдашний ритуал литературных отношений и понять всю меру дерзости тона объявления в целом. Молодой и никому не известный литератор брался, полагаясь на свой собственный вкус, единовластно решать, что следует считать хорошим, а что дурным, утверждал, что критики до сих пор не было, и брался ее создать, предлагал обширный план, требующий многих знаний, и заявлял, что он единолично способен этот план выполнить, и, наконец, давал ясно понять, что и литературная часть журнала будет, в основном, заполняться им единолично (при тесности тогдашнего литературного мира слова о приятеле-путешественнике никого не обманывали и не должны были обмануть); другие поэты назывались не как постоянные сотрудники, а лишь как участники, чьи труды «украшают» журнал, но не определяют его лица. Так оно и оказалось на самом деле.

Дерзкий, эпатирующий тон объявления заставляет вспомнить другую резкую декларацию Карамзина — стихотворение «Поэзия», начатое еще до путешествия, но завершенное и опубликованное в «Московском журнале» в 1792 г. Здесь Карамзин изложил свое понимание природы поэзии и ее истории. Концепция его была не просто дискуссионной, а непосредственно провоцирующей на литературный скандал. Уже то, что он включил Библию в историю поэзии, было смело. Но далее он после античной поэзии, демонстративно минуя всю французскую и итальянскую литературу, переходит к Шекспиру, Мильтону, Юнгу и Томсону и выдвигает английскую поэзию на первое место:

Британия есть мать поэтов величайших...

Отбор имен соответствует предромантической перспективе. Однако прямотаки скандально должно было прозвучать для современников полное игнорирование русской поэзии. О ней сказано лишь:

О Россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет

В*** [Москве] блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать...[1]

Из этих стихов читатель должен был естественно заключить, что русской поэзии еще нет (это после Ломоносова, в период высшей славы Державина!), что ее предстоит создать и что она в ближайшее время будет создана, что в Москве (читай: в творчестве Карамзина) уже блестит утренняя заря мировой славы русской музы. Назвать такую позицию скромной никак нельзя! Но нельзя также подозревать, чтобы Карамзин не сознавал вызывающего характера своих заявлений, чтобы им двигала, как его упрекали сразу сделавшиеся многочисленными враги, легковесная страсть к успеху, что он и в самом деле забыл о Ломоносове, чьи оды ему читал в Лондоне Воронцов, или о Державине, талант которого он высочайше ценил, о котором он всегда отзывался с нежной почтительностью и чьим участием в «Московском журнале» он в высшей мере дорожил. Им двигал какой-то умысел. А понять этот умысел мы сможем, лишь ознакомившись ближе с его программой, как увидим, весьма продуманной.

В работе Б. А. Успенского, посвященной истокам языковой программы Карамзина, убедительно показана связь его установок с «щегольской культурой». Если избавиться от оценочного привкуса, который невольно вкладывается в этот термин, то речь идет о культуре дворянской элиты, нашедшей свое выражение в языке и в поведении, выработанных в русском элитарном салоне XVIII в. Тот же автор показал, что в исторической перспективе и более широком общеевропейском контексте принципы этой языковой программы восходили к французскому прециозному салону, а через него — к ренессансной установке создания литературного языка на базе устной стихии народной речи, а не ученой традиции латинской письменности[2].

Парадокс заключался в том, что ориентация на устную речь салона приводила в конечном итоге к выработке общенационального литературного языка на базе стихии разговорности, в то время как лозунг национальной ориентации, реализуемый на базе письменной церковнославянской стихии, канонизировал лишь одну из жанрово-стилистических возможностей литературного языка. Б. А. Успенский пишет: «Вообще „щегольское наречие“ — это явление, целиком относящееся к разговорной сфере, поэтому в целом ряде моментов оно может смыкаться с просторечием. О близости „щеголь-

[1] Стихотворение опубликовано было с пометой: «Сочинена в 1787 г.» (отрывок появился в «Детском чтении». 1789. Ч. 17). Однако есть все основания полагать, что текст дорабатывался в 1790—1791 гг. Полный текст опубликован в «Московском журнале» (1792. Ч. 7).

[2] См.: *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка... С. 3—70; *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1975. Вып. 358. С. 168—322; *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. С. 525—606.

ского" языка к народному просторечию писал П. С. Бицилли: «В сущности, оба эти <...> языка были одним и тем же языком: „щегольской" отличался от „деревенского" только примесью варваризмов»[1]. Исключительно яркую иллюстрацию к этому тезису дает тонкий знаток языка И. С. Тургенев, воспроизводя речь типичного «щеголя» — Павла Петровича Кирсанова в «Отцах и детях»: «Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли, одни — *эфто*, другие — *эхто*)». И одновременно речь Павла Петровича изобилует варваризмами, что тут же вызывает реплику Базарова: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы <...> подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны»[2].

Итак, позиции Карамзина в момент его возвращения из-за границы был свойствен сознательный вызов, причем не только в литературном, но и в бытовом, «поведенческом» плане. В чем же был смысл этого своеобразного бунта?

Ориентации в области языка на стихию устной речи соответствовала в более широком литературно-культурном контексте канонизация игрового поведения в качестве культурной нормы. Вызов бросался «педантизму», «угрюмости», назидательности, «скучным жанрам». Глубокомыслие отделялось от учености и в особенности от ученого педантизма, от профессионализма в области культуры. Это не мешало тому, что именно Карамзин, по сути дела, первый превратил литературу в профессию и сделал исключительно много для профессионализации писательского труда, превратив писание в важнейший источник своего существования. На знамени его и его школы писался дилетантизм. Именно здесь создавался идеал писателя — «ленивца праздного», «баловня муз», пишущего не ради денег, а лишь в надежде на улыбку прекрасных читательниц. Расхождение между декларациями, литературной и жизненной позой и даже субъективно-искренним самоосмыслением своей установки и объективным смыслом деятельности в истории литературы не только постоянно встречается, но и представляет своего рода закон. Так, молодой Пушкин утверждает «светский» и даже дендистский идеал поэта:

Молись и Кому и Любви,
Минуту юности лови
И черни презирай ревнивое роптанье.
Она не ведает, что можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом
И ум возвышенный и сердце можно скрыть.

---

[1] *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка... С. 46; *Бицилли П.* К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время // Годишник на Софийския университет. Ист.-филол. фак. 1936. Кн. 37. № 4.

[2] *Тургенев И. С.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1954. Т. 3. С. 212—213.

Но свободный игровой характер такого идеала позволяет ему оторваться от непосредственно-бытового значения этих слов и вместить в себя и эпикурейское вольнодумие, и свободолюбие, и еще целый мир тонких смысловых оттенков. А в «Евгении Онегине» стихи:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей —

уже расширяют сферу игры, обращая ее на самое высказывание, которое одновременно должно восприниматься и как авторское утверждение (с проекцией на Чаадаева), то есть «серьезно», и как ирония над этим самым утверждением.

Пушкин очень точно определил связь «серьезной» поэзии с традицией XVIII в., противоположной карамзинизму, и игровой тип отношения к тексту у Карамзина и его школы: Катенин, писал он Вяземскому, «опоздал родиться <...> характером принадлежит он к 18 столет<ию>». «Мы все, по большей части, привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин напротив того приезжает к ней в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью»[1].

Бывают исторические моменты, когда личное поведение писателя становится неотъемлемой частью не только его человеческой позиции, но и самой литературной деятельности: оно входит в сферу творчества и воспринимается современниками как его органическая часть. Такое положение, как правило, свойственно ранним этапам литературных эпох, их «буре и натиску». Поведение романтика, нигилиста, футуриста и т. п. в момент зарождения этих явлений играет роль своеобразного опознавательного знака, знамени, эмблемы, по которым тот или иной деятель опознается друзьями и врагами и опознает сам себя. Тяготение Пушкина 1830-х гг. к простому поведению («зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает»[2]) и отрицание «поэтического поведения» как пошлости — свидетельство зрелости художественного сознания. Знаково-опознавательная роль поведения неизбежно приводит к его утрировке и той или иной форме щегольства. Нигилисты 1860-х гг. так же щеголяли длинными волосами и неопрятностью одежды и рук, как Чаадаев — утонченной простотой фраков и ухоженностью ногтей или Лермонтов — контрастом между потертостью ношеного мундира и тонкостью белоснежного белья из голландского полотна.

У Карамзина бывали периоды — например, в 1783—1784 гг., в Симбирске, когда Дмитриев запомнил его «играющим ролю надежного на себя в обществе», — светских увлечений, времени, отданного быстрым романам и карточной игре. Однако *знаком* некоторого социо-культурного самоопределения маска щеголя сделалась для него лишь в «штюрмерский» период формиро-

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 365—366.
[2] Там же. Т. 8. К. 1. С. 263.

вания его литературной позиции, то есть в 1790-е гг. Маска эта была частью его более общей культурной позиции.

Программа: прогресс и независимость

Как ни менялись воззрения Карамзина на протяжении его жизни, идея прогресса оставалась их прочной и постоянной основой. Выражалась она в представлении о непрерывности совершенствования человека и человечества. Не случайно, при всей существенности влияния «красноречивого» (выражение Карамзина) Руссо на «чувствительного» Карамзина, идеи Вольтера сыграли более значительную роль для «русского путешественника» и будущего автора «Истории государства Российского». Само содержание понятия «прогресс» менялось во времени, да и в один и тот же момент, в силу своей неопределенности, могло получать разный смысл. Оно могло означать непрерывность развития просвещения, наук и знаний в истории человечества, закономерность изменения понятий, оправданность эволюции языка, веру в рост начал гуманности и терпимости. Акцент мог ставиться на успехах цивилизации, включая рост комфорта или вежливости, или на совершенствовании душевных качеств отдельной человеческой личности. Однако все это были различные грани одной и той же идеи, основные же ее постулаты: представления об улучшении человека и человечества, о закономерности поступательного развития, о единстве исторического пути различных народов — оставались неизменными. Это был тот просветительский оптимизм, который наиболее полно выразил Кондорсе в «Опыте исторической картины прогресса человеческого разума», труде, написанном в 1793 г., когда сам автор был объявлен вне закона и скрывался в тайном убежище, чтобы спастись от смерти, избежать которой ему все равно не удалось. И как картины кровавой политической борьбы, свидетелем которой он в этот период был, и тень гильотины, нависшая над его собственной судьбой, не могли поколебать *исторического* оптимизма Кондорсе, так кровавые события революций и войн, свидетелем которых Карамзин стал, приглашенный «как собеседник на пир» истории, не могли в его глазах опорочить самое идею прогресса. Он мог переживать минуты отчаянья и сомнений, периоды пессимизма, но идея прогресса в конечном счете все равно торжествовала, как ultima ratio, в форме утверждения, что пути, по которым Провидение ведет человечество к высокому совершенству, остаются для людей тайной.

Идея прогресса органически связывалась с проблемой личности. Связь двух этих начал могла выражаться в философских размышлениях об отношении общего и частного, в дискуссиях о соотношении государственного начала и личной свободы. Она лежала в основе политической эволюции Карамзина и его разногласий с юным Пушкиным и Вяземским, критики, которой подвергали концепцию Карамзина декабристы.

Политические воззрения Карамзина изучены достаточно хорошо и, как самостоятельная тема, лежат вне плана данной книги. И все же один аспект ее необходимо отметить, тем более что он органически связан с биографической проблемой *формирования личности* писателя и слишком часто смешивается с общей характеристикой его идейной позиции. Проблема политической свободы никогда не сливалась для Карамзина с проблемой личной независимости. Если политическая свобода определялась для него как отношение человека к государству, и здесь, в определенные моменты, он склонен был признавать приоритет государства как выразителя общих интересов, то независимость — право человека думать и говорить то, что думает, одеваться и вести тот образ жизни, который ему свойствен, иметь *свою* систему ценностей, не отчитываться в своих эстетических или моральных предпочтениях ни перед кем, кроме своего Разума и Бога, быть самим собой — была для него неотъемлемой от самого понятия *человек*. Если отказ от политической свободы, в определенных условиях, — героическая жертва, которую гражданин приносит общей пользе, то отказ от личной независимости, *отказ от себя* превращает человека в раба.

Карамзин высоко ценил свою личную независимость и ни ради чего ею не поступался. Он мог огорчить либерального Александра I своими консервативными суждениями, а Аракчеева — нежеланием нанести ему визит, но не мог сказать не то, что считал истиной.

Защита своей независимости порой заставляла мягкого по характеру Карамзина совершать поступки, которые воспринимались как вызов и плодили ему врагов. Так, например, не следует забывать, что ранний выход в отставку не был в ту пору нейтральным или незаметным поступком. Если он прощался юному магнату, владельцу тысяч душ, то со стороны «нищего» (по представлениям той поры) молодого офицера такая «беспечность» и презрение к общепринятым путям воспринимались как вызов. Общество не любит тех, кто уклоняется от торных дорог. Для Карамзина 1790-х гг. это стало жизненным принципом. Напомним, что, когда Новиков на листе допроса написал, что вышел в отставку гвардии поручиком, то Екатерина II сбоку приписала: «Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку пошел молодой человек... следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству»[1]. Карамзин же дерзко бравировал ранней отставкой, поместив в «Послании к женщинам» стихи:

...в войне добра не видя,
В чиновных гордецах чины возненавидя,

[1] Цит. по: *Новиков Н. И.* Избр. соч. М.; Л., 1951. С. 606.

Вложил свой меч в ножны
(«Минерва, торжествуй, —
Сказал я, — без меня!»)

Поскольку Минерва — общепринятая в поэзии тех лет персонификация Екатерины II, дерзость этого стиха превосходила все допустимое[1]. Столь же вызывающей демонстрацией была публикация в «Московском журнале» оды «К милости» в защиту Новикова и его друзей. При этом следует подчеркнуть, что Карамзин уже идейно и лично разошелся с этим кругом и слышал от бывших наставников только едкие насмешки. Да и сам он был под подозрением по делу московских масонов. Казалось бы, ни честь, ни соображения простого благоразумия не требовали демонстрировать близость, которой уже не было. Но чувство независимости порой презирает «благоразумие».

Погодин, с характерной для него нечуткостью, недоумевал, «каким образом и Екатерина, следившая зорко за всеми явлениями литературы, принимавшая даже сама деятельное участие в ее успехах, не обратила своего внимания на Карамзина». И заключал: «Невнимание должно было огорчать и смущать Карамзина»[2]. Трудно быть дальше от истины!

Подобные демонстрации Карамзин устраивал не только при Екатерине II, но и в гораздо более опасное время — при Павле. Когда московский военный губернатор Иван Архаров (в отличие от своего брата, знаменитого сыщика Николая Архарова, он пользовался в Москве популярностью) неожиданно подвергся опале и дом его на углу Пречистенки и Старой Конюшенной наполнился солдатами, которым было приказано в 24 часа отвезти несчастного в тамбовское имение (всего несколько месяцев назад он получил чин генерала-от-инфантерии и на коленях благодарил императора за пожалование Ордена Александра Невского), собравшаяся толпа с изумлением увидела, что к дому подкатила коляска из которой вышел молодой человек с большим мешком. Это был Карамзин, который привез опальному генералу запас книг, «дабы в ссылке иметь ему развлечение чтением»[3]. Поступок был настолько неожиданным, что превратился в своего рода легенду.

Вот еще один пример «неосторожного» поведения Карамзина: во многих работах о Карамзине повторяется описание эпизода, который случился после возвращения писателя из-за границы в доме Державина. Вот его изложение: «Когда Карамзин, возвращаясь из своего заграничного путешествия, три недели оставался в Петербурге (в сентябре 1790 года), то Дмитриев ввел его в дом Державина. Поэт пригласил приезжего к обеду. За столом Карамзин сидел возле любезной и прекрасной хозяйки. Между прочим речь зашла о французской революции; Карамзин, недавно бывший свидетелем некоторых явлений ее, отзывался о ней довольно снисходительно. Во время этого разговора Катерина Яковлевна несколько раз толкала ногою своего соседа,

---

[1] В следующих изданиях, выходивших уже после смерти Екатерины, Карамзин изменил стих на: «Россия, торжествуй...», что также звучало очень смело.

[2] *Погодин М. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 214.

[3] Архив кн. Воронцова. М., 1879. Т. 14. С. 507—508; ср. Архив кн. Воронцова. Т. 32. С. 273.

который однако ж никак не мог догадаться, что бы это значило. После обеда, отведя его в сторону, она ему объяснила, что хотела предостеречь его, так как тут же сидел П. И. Новосильцов, петербургский вице-губернатор (некогда сослуживец Державина). Жена его, рожденная Торсунова, была племянницей М. С. Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника могли в тот же день дойти до сведения императрицы»[1].

Эпизод этот вполне достоверен: он дошел до нас в двух пересказах — Блудова и Сербиновича. Оба, видимо, восходят к самому Карамзину. Однако некоторые, до сих пор еще не сделанные, несмотря на частое цитирование, комментарии к нему представляются необходимыми. Прежде всего следует отметить ошибочную датировку эпизода. Она основана на том, что публикаторы (а дата принадлежит им) исходили из времени возвращения, указанного в «Письмах русского путешественника». Но, как мы теперь знаем, даты там сдвинуты: реально Карамзин вернулся в столицу 15 июля 1790 г. Поскольку сведение о том, что в Петербурге он пробыл около трех недель, подтверждается, то время, когда могла произойти встреча с Державиным, следует отнести к 16 июля — 8 августа. Вероятнее всего, она состоялась в конце июля или в начале следующего месяца.

О чем говорил в это время Петербург?

В то время, когда Карамзин плыл из Лондона в Кронштадт, в Петербурге, в Петропавловской крепости, Степан Шешковский (которого Пушкин называл «кровавым» и «домашним палачом кроткой Екатерины»[2]) допрашивал Радищева. 15 июля, в день возвращения Карамзина на родину, Палата уголовного суда начала рассмотрение дела автора «Путешествия из Петербурга в Москву». 24 июля Палата вынесла смертный приговор, который на следующий день был представлен в сенат для утверждения. 7 августа сенат утвердил решение Палаты.

Таков был фон, на котором происходил обед в доме Державина. В Петербурге были потрясены, поскольку никто не ждал, что дело примет такой крутой оборот. Из письма А. А. Безбородко В. С. Попову от 16 июля видно, что тот самый Безбородко, который подписал жестокое решение Государственного Совета по делу Радищева, вначале не считал его столь важным. Казнь за книгу, к тому же прошедшую цензуру, была в России вещью совершенно неслыханной. Но скоро стало ясно, что императрица смотрит на дело иначе и что Радищева ждет жестокое наказание. В высших правительственных сферах появление «Путешествия из Петербурга в Москву» связывали с событиями во Франции. В том же письме Безбородко писал, что Радищев, «заразившись как видно Францией, выдал книгу». Для того, чтобы судить о мере осведомленности Карамзина в радищевском деле, надо помнить, что, вероятно, Карамзин привез письмо от С. Р. Воронцова к его брату Александру Романовичу, бывшему другом и покровителем Радищева и не покинувшему его в беде. Но если даже письма не было, то после

---

[1] *Державин Г. Р.* Соч. / С объясн., примеч. Я. Грота. СПб., 1880. Т. 8. С. 606—607.
[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. [Т. XVII] С. 58; там же. Т. 11. С. 16.

лондонских контактов визит к А. Р. Воронцову был минимальным жестом вежливости. Кроме того, в Петербурге находился в это время Зиновьев, бывший в самом центре дружеских связей Воронцова, Радищева, Кутузова и Карамзина.

Волнения не обошли дом Державина: Радищев прислал Державину в знак уважения экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву», и «певец Фелицы» был сильно встревожен этим. Он не только поспешил передать крамольную книгу властям предержащим, но и написал на Радищева злую эпиграмму, в которой именовал его «русский Мирабо». В этих условиях разговоры о Французской революции приобретали особый смысл. Обычная интерпретация этого эпизода такова: молодой путешественник, привыкший за границей не сдерживать язык, не сориентировался в обстановке и попал в смешное положение. Как мы видели, трудно предположить, чтобы Карамзин не знал о событиях, волновавших его близких знакомых и весь литературный и политический Петербург. Если же Карамзин был в курсе обстановки, то версию о простаке-путешественнике следует решительно отбросить: мы видели, как умело и безошибочно он ориентировался в самых различных общественно-культурных кругах во время путешествия. Ум и такт, глубоко свойственные Карамзину, на всем жизненном пути помогали ему неизменно находить нужный тон и безошибочно выбирать тип поведения. Предполагать, что эти качества вдруг изменили ему в державинском доме, у нас нет оснований. А в таком случае приходится предположить, что Карамзин сознательно шокировал своих собеседников, следуя избранной им методе независимого поведения.

Не менее существенным в вызывающе независимой позиции Карамзина была шокирующая откровенность в трактовке им любовной тематики. К концу XVIII в. лирика накопила уже обширный арсенал выразительных средств. Сложились устойчивые каноны элегии, песни и других лирических жанров. И, что особенно важно, определилась структура отношений поэтико-эротического текста к реальным чувствам и вообще к миру действительных любовных отношений.

Все теоретики XVIII в. вслед за Буало повторяли, что любовная лирика должна отражать непосредственные чувства поэта:

> Признаться, мне претят холодные поэты,
> Что пишут о любви, любовью не согреты,
> Притворно слезы льют, изображают страх
> И, равнодушные, безумствуют в стихах[1].

Однако в реальности отношения поэзии и жизни строились не так прямолинейно. В основе этого отношения лежала оппозиция условного — безусловного. Мир любовной поэзии имел свои четкие границы, отделяющие его от жизни, свой поэтический язык, систему образов, узаконенных чувств. Только перевод внутренних переживаний поэта на этот условный язык открывал им дорогу в мир стихотворения. По мере того, как средства, строившие жанр

[1] *Буало Н.* Поэтическое искусство. М., 1957. С. 68. Перевод Э. Л. Линецкой.

лирики, застывали, превращаясь в повторяющиеся из элегии в элегию формулы, отношение поэзии к жизни делалось все более условным. Соблюдение этой условности воспринималось как обязательное приличие, в то время как нарушение ее казалось выражением нескромности, неприличной разнузданности чувств. Реальным чувствам отводилась область интимного, поэзии — публичного. Для того, чтобы реальные эротические переживания сделать предметом поэзии, из них надо было изгнать «неприличную» интимность, перевести глубоко личные чувства на язык жанровых формул.

Карамзин демонстративно приравнял интимное открытому и гласному. Его любовные признания в стихах и прозе, произносимые печатно со страниц периодических изданий и сборников, воспринимались как скандальные именно потому, что грань между интимным и литературным публично отменялась. С одной стороны, внесение в реальный любовный быт литературных имен и моделей — так в реальной жизни Карамзина появляются «Аглаи» и «Нанины», а с другой — превращение реальных признаний в литературный жанр.

Читатели были убеждены, что все нежные признания, которые в изобилии попадались им на страницах карамзинского текста, как бы вырываются из литературы в область действительности. Это создавало Карамзину успех среди читательниц и молодежи и одновременно раздражало литераторов и критиков как нескромное нарушение приличий.

Когда Карамзин завершил «Послание к женщинам» стихами:

Нанина! десять лет тот день благословляю,
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз;
Гармония сердец соединила нас
В единый миг навек...
. . . . . .
Но знай, о верный друг! что дружбою твоей
Я более всего горжуся в жизни сей
И хижину с тобою,
Безвестность, нищету
Чертогам золотым и славе предпочту.
Что истина своей рукою
Напишет над моей могилой? он любил,
Он нежной женщины нежнейшим другом был! —

то даже Державин, который, казалось бы, сам склонен был сообщать в стихах сокровенные подробности своего быта, нашел, что Карамзин перешел границу допустимого, поверяя читателям слишком интимные переживания своего сердца. Он ответил на стихотворение эпиграммой:

ДРУГУ ЖЕНЩИН

Замужней женщины прекрасной
Кто дружбу приобресть умел
Для толков, для молвы напрасной
Тот лучше бы стихи ей в честь не плел

Как хладный ветерок — чума для нежных роз,
Так при муже и друг вмиг отморозит нос[1].

Говоря об этой стороне литературно-биографической позиции Карамзина 1790-х гг., необходимо иметь в виду еще одно: литература, посвященная темам любви, — как поэзия, так и проза, — обладала в XVIII в. устойчивым, но весьма ограниченным набором сюжетных ситуаций: это были счастливая, несчастливая любовь, измена, соперничество и еще некоторые, многократно повторявшиеся положения. Такие темы, как «падение» женщины, самоубийство от любви, любовный треугольник или инцест, оказывались вне литературной любви, которая напоминала сборник шахматных этюдов. Карамзин (следуя за Руссо и предромантической литературой) широко вводил в свои произведения тематику «заблуждения сердца». В просветительском духе любовь, как естественное чувство (даже если это любовь брата к сестре, как в «Острове Борнгольм»), оказывалась выше бесчеловечной аскетической морали. Читатели 1790-х гг. воспринимали это как головокружительную смелость автора.

В 1833 г. в статье «Клятва при гробе Господнем. Соч. Н. Полевого» Александр Бестужев-Марлинский мог вдоволь смеяться над «Бедной Лизой»: «Карамзин привез из-за границы полный запас сердечности, и его „Бедная Лиза", его чувствительное путешествие, в котором он так неудачно подражал Стерну, вскружили всем головы. Все завздыхали до обморока; все кинулись <...> топиться в луже»[2]. Это говорит лишь о быстром развитии русской литературы и потому — быстрой потере понимания предшествующих эпох. Между тем, даже если не касаться социальной проблематики «Бедной Лизы», нельзя забывать, что самоубийство было категорически осуждено церковью. То, что добровольная гибель героини не вызывает у автора никакого осуждения, уже само по себе было «модным» взглядом, более связанным с «Вертером», чем с традиционными представлениями. И уж совсем неожиданными были заключительные слова: «Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там*, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!»[3] Современные нам читатели не чувствуют степени вызывающей кощунственности этих слов, в которых «новую жизнь», то есть душевное спасение, Карамзин своей волей дарует самоубийце, окончившей жизнь без покаяния и похороненной в неосвященной земле. Самый вид самоубийства, избранный бедной Лизой, — утопление в пруду — вызывал определенные ассоциации, ведущие скорее к предромантической литературе, чем к русскому быту.

Исследовательницы парижских салонов XVIII в., отмечая интерес к «сплину» как черте национальной оригинальности и английского «местного колорита» в литературных кругах Парижа конца XVIII в., пишут: «У барона Гольбаха в салоне весьма гордились тем, что залучили к себе некоего

[1] *Державин Г. Р.* Указ. соч. СПб., 1866. Т. 3. С. 363.
[2] *Бестужев-Марлинский А. А.* Соч.: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 589.
[3] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 24.

неврастеника отца Хупа и учились у него, в чем заключается «сплин» — странная болезнь англичан. Вернувшись из Англии, барон разъяснял завсегдатаям салона, что скука часто приводит англичан «в Темзу, если они не предпочитают зажать между зубов дуло пистолета», и что „в Сен-джемсском парке имеется специальный пруд, на который дамы имеют исключительную привилегию: тут они топятся“»[1]. Со сплина, который довел англичанина до самоубийства, Карамзин начал описание Англии (Пушкин позднее пересказал это место в «Евгении Онегине»), о нем же подробно писал автор «Россиянина в Англии».

Можно было бы привести еще много примеров сознательной необычности как суждений, так и поведения Карамзина в начале его литературного пути. Однако следует подчеркнуть, что внутренняя независимость и оригинальность как мерило ее органически связывались для Карамзина со служением прогрессу.

Здесь кончалось внешнее сходство со щеголем и сказывался «новиковский заквас». Но одновременно проявлялось и глубокое различие: Карамзин не верил в спасительность назиданий и проповедей. Возвышению человека служит искусство. Только оно развивает душу и распространяет добро не как внешний императив, а как внутреннюю потребность. Нравы улучшаются романами, а не нравоучениями, словом художника, а не проповедью аскета или рассуждениями педанта. Отсюда двойной парадокс: Карамзин против того, чтобы смотреть на искусство как на прикладную мораль, но именно такое, свободное от морализаторства искусство и способно морально воспитывать читателя. Искусство должно быть беззаботным, светским, приятным дамам и свободным от всякого педантизма, и тогда оно сделается серьезной культурной силой.

Это определило и человеческую позицию писателя:

Любезных Прелестей любезный обожатель[2], —

так определил Карамзина Державин — и одновременно: труженик, профессиональный журналист, потом историк, человек, которого окружала слава «ахалкина» и «сердечкина» и который был одним из наиболее трудолюбивых, непрерывно работающих писателей. И еще одна черта — популяризатор, всегда имеющий в виду воспитание читателя, но воспитание, искусно скрытое от воспитуемого изящной игрой, кажущимися «безделками».

[1] *Glotz M., Maire M.* Salon du XVIII[e] siècle. Paris, 1949. P. 36.
[2] *Державин Г. Р.* Указ. соч. Т. 3. С. 508.

«Московский журнал»

Приехав в Москву и обосновавшись в доме Плещеевых на Тверской, Карамзин немедленно приступил к работе — деятельной подготовке к изданию «Московского журнала». В январе вышла первая книжка. Ей предшествовала напряженная деятельность издателя.

Карамзин любил становиться в позу дилетанта, «друга Милых», светского человека, иногда — кабинетного мудреца, юного стоика, поклонника богини Меланхолии. Все эти роли он охотно выставлял напоказ и именно в таком образе рисовался он друзьям и читателям. Но стоит внимательно присмотреться, и перед нами раскрывается еще один — довольно неожиданный — образ: образ человека, умело берущегося за дело, исключительно быстро овладевающего необходимыми профессиональными навыками, не гнушающегося никакой, в том числе и самой черновой, работой. И как в дальнейшем никто не заметил, когда Карамзин овладел вспомогательными историческими дисциплинами, научился палеографии, хронологии почерков и бумаги, критике источников и анализу языка — все на высоком профессиональном уровне своего времени, — так и в начале 1790-х гг. мы не можем определить момента, *когда* Карамзин становится профессиональным журналистом: мы сразу застаем его во всеоружии навыков и как бы изначально вооруженного опытом.

Для того, чтобы издавать журнал, надо было организовать подписку, рассчитать финансовые средства, договориться с типографиями, выбирать шрифты, подбирать и заказывать виньеты, вести переписку с авторами, подбирать материалы, переводить и писать, писать, писать... Достаточно посмотреть на дошедшие до нас корректуры, правленные рукой Карамзина, чтобы убедиться, что все стороны профессионального труда делались им con amore[1]. Во вторую половину жизни официальное звание историографа узаконит эту сторону деятельности как равноправную с другими («историограф» звучит для привыкшего к табели о рангах уха как нечто чиноподобное; не случайно на одном из балов лакей провозгласил: «Карамзин, граф истории!»). Но сейчас идет борьба за право на совмещение в одном лице столь разных ролей. А журналистика преподносится как частное дело частного человека, развлечение мечтателя или каприз дамского поклонника. Не случайно первый сборник избранных сочинений выйдет под заглавием «Мои безделки» (название тотчас же превратится в жанр — сборник И. И. Дмитриева будет озаглавлен: «И мои безделки»).

А за этим фасадом происходит работа по «сотворению» профессионального литератора — работа, завершенная Пушкиным.

Как тип журнала «Московский журнал» глубоко двойственен. И двойственность эта — отражение двойной задачи, которую ставил перед своим

[1] С любовью (*ит.*).

изданием Карамзин. Слово «журнал» (от французского journal — «ежедневник», от корня jour — день) имело два значения. Одно, как и во французском языке, сохраняло семантику ежедневных записей и значило то же, что «дневник». Другое, означая во французском языке газету, пережило сдвиг значения и сделалось названием периодического издания журнального типа. Карамзин и его современники употребляли это слово в обоих значениях. «Московский журнал» как бы старался соответствовать обоим смыслам своего названия. С одной стороны, издание как бы представляло московский дневник издателя, намекая на то, что ему предшествовал другой — заграничный. Конечно, в издании сотрудничали и другие авторы, и их участие подчеркивалось как способ привлечь «субскрибентов» (подписчиков). Однако перу издателя принадлежало 9/10 материалов, и это, в сочетании с нескрываемым личным тоном редакционных материалов, придавало всему журналу характер лирического единства. С другой стороны, журнал явно ориентировался на читателя и совсем не был изданием «для немногих». Стремление замкнуться в небольшом круге избранных было принципиально чуждо Карамзину-журналисту. О стремлении Карамзина расширять круг читателей свидетельствует его обращение к ним в конце первого года издания. Здесь, между прочим, читаем: «Если бы у меня было на сей год не 300 (фактически по спискам подписчиков, публиковавшимся в журнале, их было в 1791 г. 258; однако для XVIII в. это была вполне удовлетворительная цифра. — *Ю. Л.*) субскрибентов, а 500, то я постарался бы на тот год сделать наружность журнала приятнее для глаз читателей; я мог бы выписать хорошие литеры из Петербурга или из Лейпцига; мог бы от времени до времени издавать эстампы, рисованные и гравированные Липсом, моим знакомцем, который ныне столь известен в Германии по своей работе»[1]. Стремление же привлечь читателя и ответить на его запросы требовало разнообразия материалов, смены тона, привлечения других известных имен. Как и конфликт между установками на дилетантизм и профессионализм, это противоречие составляло не слабую, а сильную сторону в позиции Карамзина: именно оно способствовало тому, что новая литературная школа очень скоро овладела умами читателей и что в течение какого-нибудь десятилетия программа Карамзина не только победила, но уже сделалась тривиальной — знак стремительности литературного развития.

Оценивать историко-литературное значение «Московского журнала» не входит в нашу задачу, тем более что это уже неоднократно делалось. Нам интересно проследить, как на этом этапе строилось литературное самосознание писателя и каким образом это влияло на формирование его личности.

«Московский журнал» был построен исключительно искусно: несмотря на обилие материалов, почерпнутых из различных источников, он воспринимается как единый монолог издателя. Вкрапленные в карамзинский текст произведения других авторов воспринимаются как несобственно-прямая речь

[1] Московский журнал. 1791. Ч. IV. № 11. С. 245. В дальнейшем ссылки на «Московский журнал» даются в тексте сокращенно (МЖ), с обозначением части (римскими цифрами), номера и страницы (арабскими).

или отсылки к чужому мнению, делаемые все тем же издателем. Притом если речь идет о переводных произведениях, то стиль переводчика — того же Карамзина — еще более подчеркивает единство всего текста журнала. Однако господство монологической стихии не приводит к монотонности. С одной стороны, разнообразие достигается умелой смесью разных жанров и интонаций повествования. С другой, что еще важнее, Карамзин сознательно подбирал материалы так, чтобы образовывались противоречия во мнениях и точках зрения.

Так, например, уже в первом номере журнала в разделе «О книгах» помещена обширная рецензия на роман Хераскова «Кадм и Гармония». Херасков был чуть ли не единственным в масонском кругу, кто отнесся положительно и к проекту Карамзина издавать журнал, и лично к вернувшемуся из-за границы писателю. Это определило исключительную осторожность оценки Карамзина. Кроме того, сказывались, с одной стороны, принцип Карамзина-критика сосредоточивать внимание на положительном[1], с другой — возраст Хераскова и общее уважение, которым он был окружен в это время как признанный глава русской литературы. Херасков доказывает спасительность самодержавной власти, и Карамзин включил в рецензию обширную цитату — речь Кадма к фессалийцам в защиту единодержавия. Необходимость самодержавия обосновывается порочностью и слабостью отдельного человека, его неспособностью самому определить свою истинную пользу и отделить добро от зла: «Тогда Кадм вещал <...> попечителям и судьям нужна глава, выше законов поставленная, могущая охранять святость законов, наблюдать целомудрие судей, общее благосостояние, нерушимость и единообразие судопроизводства, а паче всего добро от зла, истину от коварства, тщательность от лености отличать могущая. Сия-то глава есть царь самодержавствующий подданным» (МЖ, I, 1. С. 88). Однако в том же номере Карамзин поместил рецензию на французскую книгу «Путешествие г. Вайана во внутренние области Африки через мыс Доброй Надежды в 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 и 1785 гг.». Рецензия была переводная и заимствована из «Mercure de France», но это не отменяло ее личного характера для издателя журнала. И автор книги Вайан, и его рецензент Шамфор были личными знакомыми Карамзина. Перевод рецензии оживлял воспоминания. Но читатель помнил и другое. Помещение в «Московском журнале» рецензии, подписанной именем человека, который участвовал в штурме Бастилии и был ближайшим соратником Мирабо, не являлось нейтральным актом. Однако в данном случае существенно не только это: вся рецензия Шамфора — апология доброй природы человека и, следовательно, опровержение рассуждений Хераскова. Ссылаясь на этнографов, Шамфор пишет: «Путешественники говорят противное прежним, описывающим самыми гнусными красками

[1] Позже Карамзин советует критику «быть не столько осторожным, сколько человеколюбивым. Для истинной пользы искусства артист может презирать некоторые личные неприятности, которые бывают для его следствием искреннего суждения и оскорбленного самолюбия людей: но точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры» (Вестник Европы. 1802. № 1. С. 2).

человека дикого или натурального». «Бакон говорил что надобно *снова начать действия разума человеческого*... Также бы может быть надлежало начать снова и наблюдения, на которых иные философы основывают свои идеи о натуре человеческой и представляют ее злою и не могущею никогда перемениться» (МЖ, I, 1. С. 114—115). После слов о естественной нравственности «диких», бесспорно, смело звучало, что «автор не приметил даже в них никаких идей, относительных к Религии» (там же. С. 118).

Не менее интересен факт публикации в «Московском журнале» переводной статьи «Жизнь и дела Иосифа Бальзамо, т. н. графа Калиостро». Статья в условиях 1791 г. звучала необычайно остро: она содержала обвинения против масонов как инициаторов Французской революции и явно восходила к слухам, распространяемым в то время иезуитами. «Египетское масонство служило ему [Калиостро] к распространению сих возмутительных идей <...>. Мы не знаем, имело ли все сие какое-нибудь влияние на французскую революцию, однако ж удивительно то, что он в сем письме[1] предсказывает разрушение Бастилии и собрание Государственных Чинов». О каких «возмутительных идеях» идет речь, автор статьи пояснил в самом ее начале, заявив себя противником просветительской философии: «Невежество древних было гораздо безвреднее, нежели многоведение новых. Человеколюбие, экономия, общественная свобода, равенство людей, общее благосостояние <...> суть обольщающие имена, которыми украшают всякое преступление» (МЖ, V, 1. С. 75; IV, 11. С. 205). Последние слова Карамзин снабдил примечанием, равного которому по резкости мы не встречаем в «Московском журнале»: «Да, г. Патер (или как тебя зовут иначе!) тебе очень досадно, что люди стали умнее и что вы не можете ныне делать того, что прежде делали» (МЖ, IV, 11. С. 205).

Свое отмежевание как от масонов, так и от их гонителей Карамзин проводил в журнале осторожно, но упорно. Бросается в глаза, что в том же номере, где опубликована первая часть статьи о Калиостро, помещен список особ, подписавшихся на журнал в сентябре — октябре 1791 г., и на первом месте поставлен Н. И. Новиков. В январе 1792 г., когда тучи над головой Новикова и его друзей уже сгустились и гром готов был грянуть, в том же номере, где печатался отрывок «Жизни и дел Иосифа Бальзамо», содержащий опасные обвинения в связях масонов с парижскими событиями, без подписи было опубликовано стихотворение Карамзина «Странные люди»[2]. Стихотворение замаскировано подзаголовком «Подражание Лихтверу»[3] и начиналось

---

[1] Речь идет о подложном документе, который циркулировал в 1790 г. в роялистских кругах как признание, сделанное Калиостро перед инквизиционным трибуналом в Риме.

[2] Авторство Карамзина установлено В. В. Виноградовым: Неизвестное стихотворение Н. М. Карамзина: Проблемы атрибуции анонимного текста и его истолкования // Учен. зап. Саратовского ун-та. 1957. Т. 56. Вып. филол. С. 19—35. Перепечатано: *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.

[3] Сопоставление с басней Лихтвера сделано В. В. Виноградовым. См. примеч. 2. Там же анализ стихотворения.

стихами, которые осведомленный читатель должен был безошибочно связать с путешествием Карамзина и осложнением его отношений с новиковским кругом:

Клеант объездил целый свет
И, видя, что нигде для смертных счастья нет,
Домой к друзьям своим с котомкой возвратился.
Друзья его нашли, что он переменился
Во многом, но не в дружбе к ним...

Далее, после рассказов о разных диковинных племенах и народах, Клеант сообщает о «странных людях»:

От утра до ночи сидят они как сидни,
Не пьют и не едят,
Не дремлют и не спят,
Как будто нет в них жизни.
Хотя б над ими гром гремел
И армии вокруг сражались;
Хотя б небесный свод горел,
Трещал и пасть хотел, — они б не испугались
И с места б не сошли, быв глухи и без глаз.
Хотя по временам они и повторяют
Какие-то слова, при коих всякий раз
Глаза свои кривляют;
Однако же нельзя совсем расслушать их.
Я часто подле них
Стоял и удивлялся,
Смотрел и ужасался.
Поверьте мне, друзья, что образ сих людей
Останется навек в душе моей.
Отчаяние, ярость,
Тоска и злая радость
Являлись в лицах их. Они казались мне
Как Эвмениды злобны,
Платоновым судьям угрюмостью подобны
И бледны, как злодей в доказанной вине.
«Но что же ум их занимает? —
Спросили все друзья. — Не благо ли людей?»
«— Ах, нет! О том никто из них не помышляет».
«— Так, верно, мыслию своей
В других мирах они летают?»
«— Никак!»
«— И так
О камне мудрых рассуждают?
Или хотят узнать, как тело в жизни сей
Сопряжено с душей?
Или грустят о том, что много нагрешили?»
«— Нет, все не то, и вы загадки не решили».
«— Так отчего ж они не пьют и не едят,
Молчат и целый день сидят,

Не видят, не внимают?
Что же делают они?» — «Играют!!!»[1]

В период преследования московских масонов в обществе ползли слухи о необычном поведении их, и весь кружок Новикова называли «странными людьми». По этому поводу Лопухин писал Кутузову 7 ноября 1790 г.: «Что ж принадлежит до странности, то я, право, не знаю с чего мы им странны кажемся, разве у них мальчики в глазах[2]? Не ходя далеко, посмотрю на себя, вспомню тебя: молодцы, право, перед теми, которые нас странными называют. Полно, для здешней публики немного надобно, чтоб разжаловать из умных в дураки и сему подобное <...> Какая же вывеска, что не мартинист? Это я собою испытал. Прошлого году случилось мне в одной веселых приятелей беседе много пить и несколько подпить; так один из них (люди же были не без знати в публике) говорит мне с великою радостию, как бы город взял: „какой ты мартинист, ты наш!“ Я согласился. Правда, говорю, вздохнув про себя, особливо на сейчас»[3]. Карамзин в басне делит общество на две категории: одни игроки, убивающие все время за карточным столом, а другие заняты благом людей, «мыслию в других мирах летают», «о камне мудрых рассуждают» «или хотят узнать, как тело в жизни сей / Сопряжено с душей» — перечислена важнейшая проблематика масонских философских размышлений. Истинно «странными людьми» оказываются обвинители масонов, сами же они — мудрецами.

При этом, проявляя умную тактичность, Карамзин дал представленным в выгодном свете героям заботы, которые, будучи характерными для масонов, занимали одновременно и всю философию XVIII в. в целом, и этим представил их не отщепенцами, а представителями века Просвещения. Это как бы и объясняло его с ними солидарность, и затрудняло официальную критику их интересов. Только поиски философского камня («камня мудрых») составляли специфически-масонскую проблему, будучи органически связаны с их социально-утопическими воззрениями[4]. Вопрос о том, как связаны между собой душа и тело, духовные и физические начала человека, был острым для всей философии XVIII в. Он волновал Канта и Радищева, Карамзин о нем спрашивал Лафатера, в том же «Московском журнале» появился обмен мнениями на эту тему между Бейлем и Шефтсбери. Остро он обсуждался и в масонской среде — им занимался, в частности, А. М. Кутузов. Тем более рассуждения о благе людей не давали возможности охарактеризовать друзей

---

[1] Показательно, что позже Карамзин никогда не включал ни «Странных людей», ни «Поэзию» в свои собрания сочинений.

[2] «Мальчики в глазах» — рябит, зеленеет (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. М., 1881 (фототипическое переизд. М., 1979). Т. 2. С. 293.

[3] *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII-го века, 1780—1792 гг. Пг., 1915. С. 26.

[4] См.: *Лотман Ю. М.* «Сочувственник» А. Н. Радищева А. М. Кутузов и его письма к И. П. Тургеневу // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1963. Вып. 139. С. 293—294.

Новикова как «секту» или «новый раскол» — выражения, употреблявшиеся Екатериной II с целью оправдать гонения, которые она обрушила на поборников просвещения и филантропии.

Стихотворение «Странные люди» было смелой и одновременно тактически продуманной акцией в защиту вчерашних наставников от преследований. В этом отношении «К милости» не было единичным и неожиданным выступлением, а представляло собой завершение важной для Карамзина линии действия. Но Карамзин был уже далек от масонства. Нельзя согласиться с мнением В. В. Виноградова, писавшего: «Изучение „Московского журнала" (1791—1792) Карамзина приводит к выводу, что этот журнал в основном был органом группы масонов-отщепенцев во главе с Карамзиным и примкнувших к ним деятелей русской литературы — Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева и др. Связь Карамзина с масонской средой в это время была довольно близкой; основные сотрудники „Московского журнала", как уже было указано выше, принадлежали к масонству или тяготели к нему (М. М. Херасков, Ф. П. Ключарев, Д. И. Дмитревский и др.; ср. в VI ч. „Московского журнала" заметку И. П. Тургенева, принявшего Карамзина в члены масонского ордена: „К портрету кн. М. Н. Волконского"»[1]. Однако к этому времени А. А. Петров отошел от масонства, видимо, так же, как и Карамзин, разочаровавшись в нем. О сколь-либо серьезном участии Ф. П. Ключарева и тем более И. П. Тургенева (если инициалы «И. Т.» действительно скрывают его), опубликовавшего в журнале всего несколько строчек, говорить не приходится. Участие Хераскова также было ограниченным и ни количественно, ни качественно не может быть сопоставлено с вкладом Державина или Дмитриева, никакого отношения к масонству не имевших и никогда к нему не «примыкавших».

Главный же вопрос — это позиция самого Карамзина. Как мы постараемся показать, она была весьма далека от масонской.

Не менее интересна и сложна позиция журнала в отношении к Французской революции.

То, что в «Московском журнале» нет прямых суждений на эту тему, нельзя отнести только за счет цензурных трудностей, хотя и забывать о них не следует. Видимо, прямые политические высказывания вообще не входили в план издания. Кроме того, Карамзин слишком близко видел Французскую революцию, чтобы иметь о ней определенные суждения в период, когда события продолжали развертываться с такой быстротой. Однако очевидно, что ни о каком благочестивом ужасе или хоть относительном сближении его с официальной точкой зрения говорить не приходится.

И вновь мы сталкиваемся с системой продуманных намеков и как бы невзначай оброненных суждений. В июльском номере «Московского журнала» за 1791 г. Карамзин поместил рецензию на французское издание «Путешествия

---

[1] *Виноградов В. В.* Указ. соч. С. 273, ср. с. 249—251. С этим мнением согласна Н. Д. Кочеткова. См. ее статью «Идейно-литературные позиции масонов 80—90-х годов XVIII в. и Н. М. Карамзин» (Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.; Л., 1964. С. 189).

младого Анахарсиса по Греции в середине четвертого века перед Рождеством Христовым». Рецензия была переведена из иенской «Allgemeine Literatur-Zeitung»[1]. В ней цитируются слова автора «Анахарсиса»: «Пример нации, предпочитающей смерть рабству, достоин всего внимания и умолчать о нем невозможно». Карамзин снабдил их кратким, но тем более выразительным примечанием: «Г. Бартелеми прав» (МЖ, III, 7. С. 103). Для того, чтобы понять, *как* прозвучали эти слова летом 1791 г., следует вспомнить, что положение во Франции после смерти Мирабо резко обострилось: в Мантуе Леопольд разработал план вторжения во Францию со стороны Фландрии, Эльзаса, Швейцарии, Савойи и Испании. 21 июня король бежал вместе со всей семьей, переодевшись лакеем и с подложным паспортом. Это должно было стать сигналом начала вторжения и гражданской войны. В Варенне королевская семья была задержана и, сопровождаемая грозным молчанием народа («ни приветствий, ни оскорблений — таков был призыв»), водворена в Париж.

Наиболее удобным способом выражать свое отношение были рецензии. «Странные люди» уже показали, как Карамзин средствами весьма точного перевода текста, имеющего в оригинале совсем другой смысл, может высказать свое мнение, умело создавая актуальный для русского читателя контекст. Рецензии также часто были переводными (речь идет о рецензиях на иностранные книги и спектакли). Это не мешало им выражать мнение издателя.

В январе 1792 г., когда события во Франции принимали все более радикальный характер и отмена королевской власти была поставлена в повестку дня, «Московский журнал» в рубрике «О иностранных книгах» опубликовал следующую краткую рецензию: «I. Les Ruines, ou Méditation sur les Révolutions des Empires, par M. Volney. A Paris, août 1791, то есть Развалины, или размышления о революциях Империй, соч. Г. Вольнея. II. De J.-J. Rousseau etc. par M. Mércier, A Paris, juin 1791, то есть Жан-Жак Руссо и проч. соч. г. Мерсье.

Сии две книги можно назвать важнейшими произведениями французской литературы в прошедшем году» (МЖ, V, 1. С. 150—151).

Краткость рецензии объясняется весьма просто: ни о каком реферировании этих произведений в русской прессе не могло быть и речи. Даже полное название второй из них привести оказалось невозможно. Во французском оригинале книга называлась: «О Ж.-Ж. Руссо, рассмотренном как один из первых творцов (французское «auteur» допускает значения: творец, создатель, виновник, инициатор) революции». Обе книги принадлежали к наиболее ярким созданиям революционной публицистики не только этого года, но и всего первого этапа революции. Вольней, принадлежавший к младшему поколению французских просветителей, стал активным деятелем революции, участником Национального и Законодательного собрания. Философские воззрения Вольнея эклектически сочетали гельвецианскую апологию разумного

[1] См.: *Cross F. G.* N. M. Karamzin and Barthélemy's «Voyage du jeune Anacharsis» // The Modern Language Review. Vol. LXI. July 1966. N 3. P. 468.

эгоизма как основы морали и руссоистский культ доброй природы человека. Однако сила и значение книги Вольнея были не в новизне философских предпосылок, чего не было, а в пафосе, вере в наступление нового счастливого века и в безусловном признании права народа на революционное насилие. В патетической декламации Вольней восклицал: «Неужели же на земле не подымутся люди, которые отомстят за народы и накажут тиранов! Кучка грабителей разоряет народные массы, которые позволяют пожирать себя! О, народы, впавшие в ничтожество, вспомните о своих правах! Всякая власть исходит от вас, всякое могущество есть ваше могущество. Напрасно цари повелевают вам от имени бога, опираясь на оружие. Солдаты, не повинуйтесь!» В отличие от Руссо, Вольней, как и Кондорсе, полон оптимизма. Вера в то, что век Разума наступает для всего человечества, — основа всей его книги: «Да, глухой шум уже доносится до моего слуха. Клич свободы, родившийся на отдаленных берегах, проносится по древнему материку. Этот клич, этот тайный ропот против угнетения раздается в глубинах великой нации. Народ возмущается своим бедственным положением. Он спрашивает, *что он есть, чем он должен быть* (намек на известную брошюру Сийеса. — *Ю. Л.*)... Еще один день, еще один порыв мысли — и прорвется великое движение. Начнется новый век — век восторга для народа, неожиданности и ужаса для тиранов, освобождения великой нации, надежды для всей земли!»[1]

Мерсье в своей книге подверг наследие Руссо интерпретации, которая превращала автора «Общественного договора» в прямого предшественника революции. Мерсье выделяет Руссо, ставя его выше всех писателей XVIII в. и противопоставляя энциклопедистам. С сочувствием выделяет он намерение Руссо «опровергнуть книгу Гельвеция „Об уме“ — книгу опасную во многих отношениях»[2]. Вместе с тем в духе наиболее радикальной публицистики тех месяцев он пишет, что «можно было бы упрекнуть Руссо в том, что он не говорил о *восстании*, этом законном праве угнетенного народа, признанном самим Создателем, который дал силу человеку, как когти животному, чтобы защищать себя от врага. Восстание народа! Это удар хвоста кита, разбивающий шлюпку гарпунщиков. Восстание, оно спасло недавно Париж от резни и Францию от разрушения. Это первейшее, самое прекрасное и самое неоспоримое право оскорбленного народа»[3].

Особо следует подчеркнуть, что обе книги задевали русское правительство: Вольней резко осудил русско-турецкие войны и попов, которые в обеих враждующих армиях благословляют оружие убийства. Мерсье высказался еще резче: «Народы Европы! Последуйте нашему примеру, примеру нашей революции! Поставьте в порядок дня быстрый переход от деспотизма к свободе. Человек родился сокрушать тиранов, сражать любые дряхлые и высокомерные правительства, сколь бы жестоки, яростны и коварны они ни

---

[1] Цит. по: *Вольней К. Ф.* Руины, или Размышления о революциях империй. М., 1928. С. 57 и 61.

[2] *Mércier.* De J.-J. Rousseau, considéré comme l'un des premiers auteurs de la révolution. Paris, 1791. P. 65.

[3] Ibid. P. 60—61.

были»[1]. «Цепи народов были разбиты на площади Победы. Это прелюдия к низвержению тронов всех деспотов. Народы будут плясать на развалинах всех бастилий, всех шпандау[2] и в Сибири»[3].

Таковы были книги, которые Карамзин называл «важнейшими произведениями французской литературы» 1791 г. Такая характеристика, особенно при отсутствии реферата этих книг, звучала как приглашение их прочесть. Это было не очень трудно: французские книжные магазины продолжали получать литературу из Парижа[4]. Надо иметь в виду при оценке этих, казалось бы, слабых следов сочувственного интереса к развитию событий в Париже, что отношение правительственных сфер к Франции менялось быстро. Уже в 1791 г. все отзывы о парижских событиях стали строго контролироваться. Высказывать враждебность по отношению к революции стало ритуально обязательным. В декабре 1791 г. русскому послу И. М. Симолину было приказано покинуть Францию.

На этом фоне следует оценивать и рецензии на парижские спектакли, публиковавшиеся на страницах «Московского журнала». Сочувственный отзыв о «Жестокостях монастыря» Ретифа де ла Бретона, подробный пересказ одной из популярнейших пьес революционной сцены «Исцеленный от дворянских предрассудков» Фабра д'Эглантина и с успехом шедшей в Париже драмы «Руссо в последние минуты своей жизни», пересказ «Монастырских жертв» (см. предыдущую главу) не оставляли сомнений в позиции рецензента.

Как же согласовать появление на страницах одного и того же издания цитат из «Кадма и Гармонии» и явно сочувственных намеков на парижские события?

Мы не поддадимся соблазну прибегать под защиту формул о некоей амбивалентности или диалогичности позиции Карамзина. Формулировки эти возникли на другом материале и мало что могут объяснить в нашем.

Стремление к совмещению противоположных точек зрения имеет у Карамзина другую основу. Свое кредо Карамзин выразил словами: «Тот есть для меня истинной философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и тех, которые с ним разно думают» (МЖ, I, 3. С. 345). Основой важнейших для Карамзина положительных свойств человека: терпимости, толерантности, отсутствия фанатизма — является скепсис. Истина ускользает от человека.

---

[1] *Mércier.* De J.-J. Rousseau... P. 122.

[2] Шпандау — пригород Берлина, где находилась тюрьма для государственных преступников.

[3] *Mércier.* De J.-J. Rousseau... P. 188.

[4] См.: *Штранге М. М.* Русское общество и французская революция, 1789—1794 гг. М., 1956. С. 54—55. Летом 1792 г. московский генерал-губернатор А. А. Прозоровский писал, что в Москве «все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрытно купить можно» (Русская старина. 1899. Т. 98. С. 164). Надо учитывать, что Прозоровский, из карьеристских соображений запугивая правительство, запугивал и сам себя. Все его сообщения страдают гиперболизмом в тех случаях, когда не являются прямой выдумкой. Однако какая-то доля истины в этих словах, безусловно, есть, судя по составу русских библиотек. См.: *Штранге М. М.* Указ. соч. С. 116—117.

Поэтому односторонность и фанатизм наиболее далеки от нее, а одновременное сведение противоположных воззрений порождает сомнение в своей правоте, что, в свою очередь, имеет следствием терпимость по отношению к противоположным убеждениям. А это для Карамзина — гносеологическая основа доброты. Поскольку же исторический прогресс для него есть прогресс доброты, то именно таким образом, а не убежденностью в единственной истинности *своего* воззрения, достигается общий прогресс человечества.

В этом отношении принципиальной является публикация-перевод двух писем: Бейля Шефтсбери и Шефтсбери Бейлю. Бейль раздираем сомнениями. Невозможность познания истины приводит его к трагическому пессимизму. При этом задаваемые им вопросы — это все те же «вечные вопросы», которые тревожат и Карамзина и с которыми мы уже многократно сталкивались в его сочинениях:

«Когда есть Бог, то от чего происходит зло в мире? Какая есть невидимая и непонятная связь между телом и душею <...> Вот какие важные вопросы остаются у меня без ответа при конце жизни». Для Бейля, который видит смысл жизни в познании, отсутствие ответа лишает жизнь смысла: «Итак мне можно думать, что весь план жизни моей был нехорош. Может быть надлежало бы мне знать с самого начала, что истина есть вымышленная богиня, которая ни мало не чувствует приносимых ей жертв» (МЖ, III, 8. С. 151).

Ответ Шефтсбери пронизан оптимизмом, поскольку сомнение в той или иной системе не означает для него сомнения в поиске истины, а поиск истины имеет для него, прежде всего, моральный смысл: ищущий усовершенствует свою душу и нравственно возвышается, выполняя тем самым высшую цель человека.

«Знаем мы, какое есть намерение божественного плана, но каким образом исполнение соглашается с целию, сие часто бывает для нас таинством. Первое читаем мы в мысленном мире, который нам ближе, ибо мы находим его в своей внутренности, а второе в чувственном мире, в котором видим только наружную скорлупу. Испытатель старается соединить обе нити своего познания и переходить из одного мира в другой. Если находит он затруднения, которые кажутся ему непреодолимыми, то не лучше ли будет ему остаться при том, что он признает верным, а в рассуждении прочего не беспокоиться».

Подвергая сомнению любую из философских систем, Шефтсбери тем не менее подчеркивает нравственную пользу поиска истины: «Довольно, что существо наше становится возвышеннее и благороднее от распространения сил и познаний наших» (МЖ, III, 8. С. 157—164).

Такое построение текста задает композиционную схему собственным произведениям Карамзина, таким как «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору». Вспомним и стихотворение Карамзина «Кладбище» (в «Московском журнале» под названием «Могила»), в котором перекличка голосов также дает две противоположные точки зрения.

Что такое человек?

Итак, все вопросы: вопрос судеб цивилизации, вопрос «что такое литература и зачем она нужна?» и, наконец, вопрос о том, что *я* есть и чем *мне* следует быть, сводились для Карамзина, приехавшего из Европы и оглядевшегося вокруг, к этому — поставленному в заглавии — вопросу. Вопрос волновал не его одного — это был вопрос эпохи.

Огромные общественно-исторические перемены конца XVIII в. сопровождались ломкой идейно-теоретических представлений. Век Просвещения отбросил идеал человека-аскета, высмеял представление о жертве как основе морали. На смену им было выдвинуто понятие разумно понятого эгоизма как надежной связи человеческого общества. Эгоизм превращается в антиобщественную силу лишь в обществе, основанном на угнетении, — в справедливой общественной организации человек, заботящийся о своей пользе, одновременно приносит пользу и другим людям. Следуя гельвецианской морали, Радищев писал: «Все деяния человеческие не суть бескорыстны»; «причина к общежитию есть единственна, а именно собственная каждого польза». И далее: «Для того, что человек есть существо самолюбящее и все свои деяния по своей пользе размеряющее, и нужно деяния его наклонять к общему»[1]. Приведем еще суждение Вольнея в «Руинах». Оно показательно именно потому, что Вольней не был оригинальным философом и выражал общераспространенную просветительскую доктрину.

«Себялюбие, стремление избежать страданий, желание обеспечить себе благополучие — таковы были прочные и мощные рычаги, поднявшие человека из его дикого и варварского состояния, в котором он находился по воле природы». «Себялюбие, основа всякой мудрости, стало движущей силой промышленности». «Да привет тебе и уважение, о, человек-творец! Ты измерил небесное пространство, исчислил вес звезд, похитил молнии среди туч, укротил моря и бури, поработил себе стихии»[2].

Просветительская теория разумного и общественно-полезного эгоизма создавала и соответствующий идеал практического поведения. Целью человеческой жизни объявлялось счастье. Оно, как единственная чувственно воспринимаемая реальность, противостояло химерам аскетизма, долга, предрассудков и метафизики. Как писал Добролюбов, основа морали сводится к «реальному требованию человеческого блага, к одной формуле: человек и его счастье»[3].

Однако если в проекции на феодальную действительность теория эта была источником мощных освободительных идей, то, преломленная в прак-

---

[1] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 3. С. 30—31.

[2] *Вольней К. Ф.* Указ. соч. С. 39—40.

[3] *Добролюбов Н. А.* Русские классики: Избр. лит.-крит. ст. М., 1970. С. 223.

тической жизни, она легко вырождалась в оправдание гедонизма и поверхностного культа чувственных радостей.

Приближение эпохи великих самопожертвований, эпохи революций, войн, времени, выразителем которого был герой, а не эпикуреец, а смерть гораздо чаще посещала молодых, чем стариков («сама смерть помолодела, и в старость никто больше не верил», Мюссе), потребовало другой морали и другого идеала человека. Героизм искал своей теории, и поиски Радищевым бессмертия[1] и культ Разума Робеспьера были выражением потребности в новой морали, морали, которая бы учила человека не счастливо жить, а бестрепетно погибать.

Но у этики счастья был глубокий корень, и справиться с ней было не так легко. Корень этот — представление, согласно которому любое философское и социологическое рассуждение должно начинаться с отдельной изолированной человеческой личности. Человечество — это лишь много людей. Поэтому благо человечества — это благо отдельного человека, многократно умноженное. Если оставаться в пределах этой концепции, — а другой в арсенале философии той поры не имелось, — то оправдание смерти надо было найти также в рамках индивидуального бытия. И здесь лучшей точкой опоры в истории философии оказывалось учение стоиков. Не случайно к этике стои фактически обращаются и Шиллер, и Кант, и якобинцы типа Жильбера Ромма. Герои прериаля, «последние монтаньяры» не были поклонниками робеспьеровской религии — их идеалами были Катон и Брут, а школой этики — стоя[2].

Идеи неостоицизма хорошо гармонировали с культом античных добродетелей, героической гибели и, в целом, с культурой неоклассицизма. Поскольку героическое провозглашалось нормой человеческого поведения, единственно достойным человека состоянием, в быт и обыденную жизнь переносились нормы, слова, интонации и жесты, заимствованные из Плутарха и Тацита. Быть человеком — означало быть «римлянином». Не только в Париже, но и в Петербурге и Москве жажда героизма порождала «римскую помпу» (Белинский). Воспитанник кадетского корпуса С. Н. Глинка вспоминал: «Голос добродетелей древнего Рима, голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных душах кадет <...> Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал я под каким живу правлением, но знал, что вольность была душею римлян. Неведал я ничего о состоянии русских крестьян, но читал, что в Риме и диктаторов выбирали от сохи и плуга. Не

---

[1] О связи идеи бессмертия души у Радищева с теорией подвига см.: *Лотман Ю. М.* Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века. 1. Спор о бессмертии души и вопросы революционной тактики в творчестве Радищева // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965. Вып. 167. С. 6—17.

[2] См.: *Andrews R.* Le néo-stoicisme et le législateur montagnard. Considération sur le suicide de Gilbert Romme // Gilbert Romme (1750—1795) et son temps. Actes du Colloque tenu à Riom et Clermont les 10 et 11 juin 1965. Presses Universitaires de France. <Paris>, 1966; *Dantry J.* Réflexion sur les martyrs de Prairial. Sacrifice héroïque et mentalité révolutionnaire // Op. cit.

понимал я различия русских сословий, но знал, что имя римского гражданина стояло на чреде полубогов. Исполинский призрак древнего Рима заслонял от нас родную страну»[1]. В. Оленина, близко знавшая декабриста Никиту Муравьева, вспоминала: «Занявшись особенно историею, натурально предпочел <он> римскую другим, как ближе к нашему времени и его характеру»[2]. Это представление, что римская история «натурально» ближе к характеру событий начала XIX в., чем, например, история средних веков, европейская или русская, поистине замечательно!

Такие идеалы порождали в практическом поведении, с одной стороны, героизм, стоическое отношение к гонениям, уважение к бедности и культ «римского» самоубийства. Примером этого может быть Радищев или Жильбер Ромм и другие «последние монтаньяры», заколовшиеся одним кинжалом, передавая его друг другу, чтобы не отдать себя в руки палача. Но, с другой стороны, оно же легко вырождалось в декламацию, театральность поведения, презрение к обыденности и простоте[3].

Карамзин, современник и почитатель Шиллера, усердный посетитель Национальной ассамблеи, конечно, знал и наблюдал этот тип поведения. В определенные моменты его героическая красота захватывала Карамзина. В начале 1790-х гг. красноречие оратора еще способно было его увлечь. И все же его поиски человеческого идеала и нормы, по которой он хотел бы равнять свое собственное поведение, шли иным путем.

Театр и для него был важным ориентиром в этих вопросах. Поэтому особенно интересно посмотреть, чего же Карамзин наиболее настойчиво требует от игры актеров. Оказывается — естественности и простоты! Надо, однако, выяснить, что же вкладывает он в эти понятия. Героический стоицизм исходил из того, что настоящий человек есть человек необыкновенный, человек *выше человека*. Слабость унижает «римлянина» и должна быть ему чужда. Карамзин кладет в основу своих убеждений мысль о том, что именно обыкновенный, наделенный всеми слабостями, вынужденный бороться с недостатками человек и есть человек в подлинном значении этого слова. В «Московском журнале» он опубликовал отрывки «Из записок одного молодого россиянина». Еще В. В. Виноградов указал на принципиальную значимость этого текста[4]. Здесь находим такое суждение: «„Я почитал и любил Руссо от всего моего сердца, — сказал мне барон Баельвиц[5], — влюблен был в Элоизу, с благоговением смотрел на Кларан, на Мельери и Женевское озеро, но его „Confessions“ прохладили жар мой, и я перестал почитать

---

[1] *Глинка С. Н.* Записки. СПб., 1895. С. 61—63.

[2] *Оленина В. А.* Письма П. И. Бартеневу // Летописи Гос. лит. музея. 1938. Кн. 3: Декабристы. С. 484.

[3] См.: *Лотман Ю. М.* Театр и театральность в строе культуры начала XIX века // Semiotika: structura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Warszawa 1973. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, PAN, 1973.

[4] См.: *Виноградов В. В.* Указ. соч. С. 246—323.

[5] Баельвиц, барон — воспитатель принцев Шварцбургских и заграничный знакомый Карамзина, о нем писатель рассказывает в «Письмах...» (с. 195).

Руссо". А я, NN (под этими буквами скрылся сам Карамзин. — *Ю. Л.*), смотревший на Кларан, хотя и не с благоговением, но по крайней мере с тихим чувством удовольствия, прочитав „Confessions" полюбил Руссо более, нежели когда-нибудь. Кто многоразличными опытами уверился, что человек всегда человек, что мы имеем только понятие о совершенстве и остаемся всегда несовершенными, — в глазах того наитрогательнейшая любезность в человеке есть мужественная, благородная искренность, с которою говорит он: „Я слаб!" (то есть *я человек*!). Но кто имеет надутые понятия о добродетели, о мудрости человеческой, тот обыкновенно презирает сего искреннего мужа» (МЖ, VI, 4. С. 67).

Человеческие слабости привлекательнее, чем нечеловеческие добродетели. В этом отношении показательны два стихотворения Карамзина: «Странность любви, или Бессонница» и «Протей, или Несогласия стихотворца». В первом из них автор говорит о своей возлюбленной. Привлекательность ее заключается в слабости, *отсутствии красоты* и каких бы то ни было «необыкновенных» качеств.

...нимало не важна
И талантов за собою
Не имеет никаких;
Не блистает остротою,
И движеньем глаз своих
Не умеет изъясняться;
Не умеет восхищаться
Аполлоновым огнем;
Филосóфов не читает
И в невежестве своем
Всю ученость презирает.
...Не Венера красотою —
Так худа, бледна собою,
Так эфирна и томна,
Что без жалости не можно
Бросить взора на нее.

Смысл стихотворения двойной: с одной стороны, речь идет о странности и внелогичности любви, а с другой — о том, что обычные человеческие свойства милее автору, чем сверхчеловеческие достоинства. Человек, сознающий себя далеким от совершенства, по мнению Карамзина, будет чужд и суровости и фанатизма, столь часто сопутствующих добродетели и героизму. Зато он будет отличаться добротой и терпимостью. Культурный прогресс и нравственное совершенство, с ним связанное, состоят не в создании идеального человека (Кутузов в погоне за этой химерой занялся поисками гомункулуса — искусственного человека, свободного от слабостей и пороков), а в росте терпимости, «совместимости» с другими людьми.

С этим связано стремление Карамзина в «Бедной Лизе» и других повестях изображать «заблуждающихся» героев. Другим следствием такого взгляда явилось резко отрицательное отношение к морализации и морализирующей литературе. Цитируя Бутервека, он писал в «Московском журнале»: «А ты,

благочестивый моралист, перестань шуметь без пользы и с сей минуты откажись от смешного требования, чтобы Поэты не воспевали ничего, кроме добродетели! Разве ты не знаешь, что нравоучительное педантство есть самое несноснейшее и что оно всегда вреднее для самой добродетели? Разве ты никогда не чувствовал скуки, когда тебе всё одно твердили?» (МЖ, VIII, 10—11. С. 130). Здесь пролегла глубокая грань, отделявшая журнал Карамзина от масонских изданий и не позволяющая согласиться с В. В. Виноградовым, называвшим «Московский журнал» «органом масонов-отщепенцев». Искусство для масонов — лишь педагогический прием, тактическая уступка «чувственному человеку». Карамзин убежден, что именно искусство воспитывает. Разработка, усовершенствование душевной тонкости человека достигается эстетическими средствами. Красота — лучший воспитатель. «Сократ говорил, что красота телесная всегда бывает изображением душевной» (МЖ, VIII, 10—11. С. 23), — писал Карамзин в «Наталье, боярской дочери». Поэтому и любовь — Карамзин считает это чувство эстетическим по существу — не порок и не слабость. Цель масонских журналов — нравоучение, цель «Московского журнала» — художественное наслаждение. Цитируя того же Бутервека, Карамзин писал: «Поэзия есть роскошь сердца. <...> Сие наслаждение возбуждает в нас чувство внутреннего благородства — чувство, которое удаляет нас от низких пороков. Благодарите, смертные, благодарите Поэзию, за то, что она возвышает дух и приятным образом напрягает силы ваши!» (МЖ, VIII, 10—11. С. 130).

Но если человечность заключается в слабости и быть человеком — это не походить на идеал, то разнообразие характеров становится законом человеческой природы. Образец — един, уклонения от него — множественны. Героические характеры неоклассицизма тяготеют к идеальным архетипам: Бруту, Катону, Регулу, Эмпедоклу и т. д. «Человеческие» герои литературы должны демонстрировать разнообразие душевных свойств. Писатель изображает эти изгибы характеров. Карамзин нашел для него точное определение: «Сердценаблюдатель по профессии» (МЖ, II, 4. С. 85).

Так определяется личность Поэта. Он должен быть человек, то есть не чуждаться слабостей. Для того, чтобы понимать людей, он должен быть сам человеком. От простых людей он отличается лишь способностью к перевоплощению, даром вмещать в себя не один, а бесчисленное множество характеров. Этому посвящено программное для Карамзина стихотворение «Протей, или Несогласия стихотворца».

Стихотворению предпослана реплика автора: «Говорят, что поэты нередко сами себе противоречат и переменяют свои мысли о вещах. Сочинитель отвечает:

Ты хочешь, чтоб поэт всегда одно лишь мыслил,
Всегда одно лишь пел: безумный человек!
Скажи, кто образы Протеевы исчислил?
Таков питомец муз и был и будет ввек.
Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка как воск, как зеркало ясна,
И вся Природа в ней с оттенками видна.

Нельзя ей для тебя *единою* казаться
В *разнообразии* естественных чудес
. . . . . .
В душе любимца муз такое ж измененье
Бывает каждый час; что видит, то поет,
И всем умея быть, всем быть перестает.

Далее не только все разнообразие поэтических жанров, но и переход от одной философской системы к другой представляется как смена настроений в душе поэта. Героическое допускается в нее на равных правах с идиллическим. И высокая поэзия гражданского служения, и стоическая мораль доступны вдохновению поэта, но не исчерпывают его поэтического мира и воспринимаются им эстетически. Он видит в них красоту, а не истину:

В сей хижине живет питомец Эпиктета,
Который, истребив чувствительность в себе,
Надежду и боязнь, престал служить судьбе
И быть ее рабом. Сия царица света
Отнять, ни дать ему не может ничего:
Ничто не веселит, не трогает его;
Он ко всему готов. Представь конец вселенной:
Небесный свод трещит; огромные шары
Летят с своих осей; в развалинах миры...[1]
Сим страшным зрелищем мудрец не устрашенный
Покойно бы сказал: «Мне время отдохнуть
И в гробе Естества сном вечности заснуть!»
Поэт пред ним свои колена преклоняет
И полубога в нем на лире прославляет:
Великая душа! что мир перед тобой?
. . . . . .
И с тою ж кистию, с тем самым же искусством
Сей нравственный Апелл распишет *слабость* вам,
Для стоиков порок, но сродную сердцам
Зависимых существ, рожденных с нежным чувством...
Ах! *слабость жить мечтой*, от рока ожидать
Всего, что мыслям льстит, — *надеяться, бояться,*
От удовольствия и страха трепетать,
Слезами радости и скорби обливаться!..
«Хвалитесь, мудрецы, бесстрастием своим
И будьте камнями, назло самой природе!
Чувствительность! люблю я быть рабом твоим...

Такая позиция дает нам ответ на вопрос: почему разнообразие материалов «Московского журнала» не мешает их единству и почему обилие разножан-

[1] Стихи представляют собой не лишенный иронии пересказ стихотворений Боброва:

Падут миры с осей великих,
Шары с своих стряхнутся мест...
(Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 82)

Об этих стихах Карамзин иронически писал в предисловии ко второй части «Аонид» (1797) — см.: *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 2. С. 88—89.

ровых отрывков, часто восходящих к весьма отдаленным источникам и содержащих противоречия в оценках и мнениях, не противоречит восприятию всего журнала в целом как единого текста — монолога издателя.

Своеобразно-лирический характер этого монолога поддерживается тем, что через весь журнальный текст, как бы прошивая его единой нитью, проходят, с одной стороны, интимно-биографические обращения издателя к друзьям своего сердца, а с другой — идущее из номера в номер автобиографическое (как казалось читателям) повествование: «Письма русского путешественника». Так, например, в апрельском номере «Московского журнала» за 1791 г., кроме отрывка из «Писем русского путешественника», читатель находил стихотворение «Мишеньке», обращенное к сыну С. Р. Воронцова и напоминавшее о заграничном странствии издателя, и лирический отрывок «Невинность» — дань восхищения Аглае:

«Когда смертные повиновались гласу благодетельной Природы и жили в любви, тишине и мире, тогда Невинность на земле обитала... Но, когда человек, в гибельный час заблуждения восхотел быть мудрее Природы: тогда Невинность возвратилась на небеса в свое отечество. С этого времени она уже редко посещает землю и редко бывает видима оку смертного: но я видел ее — в образе любезной Аглаи». Подпись «К» уничтожала всякие сомнения относительно авторства и смысла этого отрывка.

Автобиография и построение самого себя

Непосредственно автобиографические тексты образуют в «Московском журнале» два несмыкающихся и параллельно текущих потока. Один — повествование, погруженное в бытовую обстановку с конкретными приметами места и времени и реальными именами. Другой, также имеющий все приметы автобиографического повествования от первого лица, переносит нас в условно-поэтическое пространство, и действуют в нем аглаи, агатоны, леоны. Однако у этих имен есть «ключи» — читатели, большинство из которых так или иначе было знакомо с издателем или соприкасалось с кругом его знакомых, без труда подставляли под эти имена знакомые образы из реальной жизни издателя.

Чем вызвана такая двойственность?

В свое время А. М. Кутузов убеждал Карамзина не посвящать свое перо описаниям внешнего реального мира — единственная цель писателя есть изображение внутренних душевных состояний: «Не наружность жителей, не

кавтаны и рединготы их, не домы, в которых они живут, не язык, которым они говорят, не горы, не моря, не восходящее или заходящее солнце, суть предметы нашего внимания, но человек и его свойства. Все жизненные вещи могут также быть употребляемы, но не иначе, как пособия и средства»[1]. Литературная деятельность Карамзина, казалось, оправдала опасения Кутузова: «Он не может описывать ничего иного, как внешнего внешним образом»[2]. Между тем Кутузов был неправ. Карамзин стремился описывать внутренний мир человека, но не в отрыве, а в связи с внешним. Для него была близка позиция Шефтсбери, который в цитированном уже письме Бейлю утверждал, что «испытатель старается соединить обе нити своего познания (эмпирического — внешнего и умозрительного — внутреннего. — *Ю. Л.*) и переходить из одного мира в другой». Но акцент мог меняться. В одном случае «сердценаблюдатель» проникал во «внутреннее» через «внешнее», в другом — во «внешнее» через «внутреннее». Однако в обоих случаях Карамзин периода «Московского журнала» мыслил человека в связи с окружающей его жизнью. В этом смысле характерна поправка, которую он внес в концепцию кантианца Бутервека. К словам: «Кто хочет быть Поэтом, тот более всего должен любить человеческую натуру; ибо она пребывает всегда главным предметом Поэзии» — Карамзин сделал примечание: «Человечество и Натура суть *два* (курсив мой. — *Ю. Л.*) великие предмета Поэзии. Тот единственно может быть Поэтом, кто взором своим проницает в Человечество и в Натуру глубже нежели другие» (МЖ, VIII, 10—11. С. 125).

Первое из двух автобиографических направлений представлено «Письмами русского путешественника» — одним из центральных произведений Карамзина, произведением, которое составило эпоху в русской культуре.

Мы видели, что «Письма русского путешественника» можно было бы принять за мистификацию, если бы читатель интуитивно не чувствовал серьезность и значительность этого произведения. Текст преподносится читателю как письма, но фактически письмами не является. Текст, который читатель должен был воспринять как автобиографию, не был автобиографией в том смысле, что, как мы имели возможность убедиться, совсем не преследовал цели рассказывать о событиях жизни автора. Перед нами — художественное произведение, умело «притворяющееся» жизненным документом. Конечно, как мы также могли убедиться, стремление скрыть определенные факты своего реального путешествия появилось у Карамзина, видимо, под влиянием автоцензуры и условий, в которых происходила публикация «Писем». Однако было бы крайне легкомысленно видеть в этом основную причину. Карамзин, бесспорно, предпочел бы вообще не публиковать своего произведения, чем печатать текст, в котором он должен был бы говорить не то, что считал нужным. Различие между биографической и художественной реальностями говорит о том, что для глубинного замысла Карамзина следо-

[1] *Барсков Я. Л.* Письма А. М. Кутузова // Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1/2. С. 135.

[2] *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов... С. 100.

вание подлинным фактам его путешествия не было обязательно. Нужно раз навсегда отрешиться от представления о том, что перед нами — биографический документ, и видеть в «Письмах русского путешественника» художественное произведение, определенное характером замысла, построенного по законам искусства, как их понимал автор.

Каков же был замысел этого произведения?

Цель «Писем» была тесно связана с более общими задачами, которые Карамзин в этот период ставил перед собой. Отношение Карамзина в 1790-е гг. к реформам Петра I было безусловно положительным. И в «Письмах», и в планах «Похвального слова Петру I» (1798) Карамзин подчеркивает мысль о единстве путей прогресса для всех народов и, следовательно, о необходимости усвоить культурный опыт европейских государств. «Какой народ не перенимал у другова? и не должно ли *сравняться*, чтобы *превзойти*?» (с. 253). Петр разорвал «завесу, которая скрывала от нас успехи разума человеческого, и сказал нам: «смотрите; сравняйтесь с ними, и потом, естьли можете, превзойдите их!» Немцы, Французы, Англичане, были впереди Руских по крайней мере шестью веками: Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все жалкия *Иеремиады* об изменении Руского характера, о потере Руской нравственной физиогномии (в МЖ было: «Руской народной, моральной физиономии») или не что иное как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении (с. 254)[1].

Мысль Карамзина обращалась к Петру I на всем протяжении его жизни. Странно было бы предположить, что он не думал о нем, отправляясь за границу. По крайней мере в «Письмах» он уже в Нарве предается размышлениям на эту тему. Если Маяковский назвал цикл американских очерков «Мое открытие Америки», то Карамзин вполне мог озаглавить свое путешествие «Мое открытие Европы». И как «открытие Америки» обращало мысли к Колумбу, «открытие Европы» заставляло думать о Петре. Мы вряд ли ошибемся, если подумаем, что Карамзину не раз приходила на ум параллель между своим путешествием и «Великим посольством».

Однако полагал ли Карамзин, что дело Петра I уже завершено и не нуждается в продолжателе? Думаем, что нет. В процитированном отрывке задумаемся над словечком «почти»: «мы в несколько лет *почти* догнали их». Что же скрывается за этим «почти»? И был ли Карамзин убежден, что Петр и его реформы не нуждаются в коррективах? Присмотримся. В письме из Лиона от 9 марта 1790 г. Карамзин приводит большую выписку из Томсона

[1] Карамзин, видимо, ближайшим образом имел в виду слова Кутузова: «Желающие переделать француза в англичанина или россиянина в англичанина, немца или француза суть не что иное, как люди, бросающие в огонь хорошее целое платье и потом одевающиеся в шерсти, сшитые из лоскутков различного цвета» (*Барсков Я. Л.* Письма А. М. Кутузова. С. 132). Позже воззрения Карамзина отчасти сблизились с кутузовскими. Если в «Письмах» он писал: «Все *народное* (в МЖ — «национальное») ничто перед человеческим», то в «Записке о древней и новой России» (1811): «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр» (*Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. Спб., 1914. С. 28).

о Петре Великом и снабжает ее своим переводом, в котором обращают на себя внимание следующие слова о Петре: «Смирив жестокого *варвара*, возвысил он нравственность *человека*» (в МЖ было: «моральную натуру человека») (с. 199, 438). Мысль о нравственном возвышении человека как цели реформы запала Карамзину в сознание. Включив в «Письма» перевод слов арии Лефорта из оперы Гретри (текст Буйи) «Петр Великий», Карамзин решительно переосмыслил содержание песни. Наставлять современников «в искусстве жить» Карамзин, видимо, считал *своей* задачей. «Вторая петровская реформа», реформа не государственного быта, не внешних условий общественного существования, не техники или кораблестроения, а «искусства жить» — цель, которая может быть достигнута не усилиями правительства, а действиями людей культуры, прежде всего писателей. Если мы поймем, что реформа языка составляла для Карамзина важнейшую часть этого преобразования, то нам станет очевидным, что роль главного преобразователя Карамзин отводил себе. Тогда предположение, что свою деятельность он соизмерял с петровской, не покажется нам преувеличенным.

Карамзинская реформа мыслилась как продолжение петровской[1].

Петр осуществил секуляризацию культуры, изъяв ее из рук церкви и передав государству. Начиная с Сумарокова и, особенно, благодаря Новикову, культура ушла из-под власти государственной монополии, но она осталась прерогативой «серьезной» элиты, которая присвоила себе право учить общество. Культура, литература, мораль были переданы в руки избранных идеологов. Карамзин отказался от средств Новикова, но не от его целей. Слить культуру с общежитием, образование со светской беседой, дать обществу мораль без морализации. Как позже Пушкин и Чехов, он считал красоту и изящество основой нравственности. Если языковую реформу Карамзина можно рассматривать как дальнейшую секуляризацию языка, то преобразование культуры было дальнейшей ее «европеизацией». Это было сближение культуры с жизнью образованной части общества, борьба против «педантизма», ориентация на «дамский вкус». Подобно тому, как парижский салон XVII—XVIII вв. перевел науку, например астрономию, философию, поэзию, даже богословие, на язык светской дамы и, освободив культуру от цехового педантизма, сделал среднего образованного человека способным ориентироваться в бурном прогрессе, охватившем все области человеческого знания, задуманная Карамзиным реформа должна была создать нового человека культуры[2].

---

[1] В этом отношении связь языковой реформы Карамзина с деятельностью Тредиаковского, убедительно раскрытая Б. А. Успенским («Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века»), представляется глубоко закономерной.

[2] Не следует забывать, что стремление «перевести» достижения науки и культуры на общепонятный язык, пересказать их не только понятно, но и интересно, хорошим стилем, заинтересовать светских дам — все эти требования не имели в XVIII в. того смысла, который через сто лет стали вкладывать в понятие «салонность». На этих же принципах строилась «Энциклопедия» Дидро и Даламбера, популяризация Вольтером Ньютона, Фонтенелем — Коперника и т. д.

И здесь напрашивается параллель с молодым Тредиаковским. Переводя роман П. Таллемана на русский язык, Тредиаковский ориентировался на культуру «голубого салона» госпожи Рамбуйе. Однако в новых условиях все меняло свой смысл. Во Франции культура салона порождала прециозный роман, который мог жить лишь в контексте всей системы отношений и атмосферы, господствовавшей в салоне. Салон порождал роман. Переводя «Езду в остров любви», Тредиаковский рассчитывал, что роман в России породит салон как культурное явление, текст создаст себе культурный контекст[1].

Желая передать культуру в руки «светского человека», Карамзин имел в виду не реального человека дворянского света своей эпохи, а культурную личность, которой еще в жизни не было. Его воображению рисовался дворянский интеллигент пушкинской эпохи. Карамзин обращался к аудитории, которую еще *предстояло* создать. И эту работу по созданию нового типа культурной личности должны были выполнить тексты Карамзина, «Московский журнал» и, в особенности, «Письма русского путешественника».

Эта задача требовала трудного сочетания обширности и серьезности содержания с легкостью и увлекательностью изложения. Карамзин был высочайшим мастером популяризации: неизменно обращаясь к аудитории, которая была заведомо ниже его по культурному кругозору, и стремясь возможно расширить границы своей аудитории, он одновременно сохранял высокий уровень идей, умение не опускаться до читателя, а поднимать его до себя. Эта способность потом с блеском проявилась в его «Истории». Однако эта же задача требовала создания особого образа повествователя, образа, который как бы сделался посредником между автором и читателем. При этом надо было построить образ так, чтобы читатель принял его за самого автора, за Карамзина, и поверил бы в свою иллюзию так же, как он поверил, что читает подлинные письма бесхитростного путешественника, описывающего все, что попадает ему на глаза.

Карамзин разделял просветительскую теорию, согласно которой зритель будет сочувствовать героям пьесы и воспримет идеи автора, только если на сцене увидит себя или сможет вообразить себя в тех же положениях. Расширяя эту концепцию, он хотел, чтобы читатель увидал в «русском путешественнике» не Ментора, учителя с недосягаемым уровнем мудрости, а обычного человека, с которым мог бы сравнить себя. Это заставляло отвергнуть в качестве образца и любимого Карамзиным Стерна[2]. Стернианский повествователь был

---

[1] Подробнее см.: *Лотман Ю. М.* «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII в. // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 222—230.

[2] Отметим попутно, что противопоставление путешествия в духе Стерна путешествиям по образцу Дюпати, введенное Т. Роболи, не кажется нам плодотворным. Статья Т. Раболи «Литература путешествий» (Русская проза. Л., 1926), в свое время сыгравшая, бесспорно, положительную роль, вместе с тем породила традицию рассмотрения «Писем русского путешественника» как беллетризованного путеводителя. С этих позиций многие авторы упрекали Карамзина за то, что он не уделил достаточного внимания событиям, которые они на его месте описали бы более подробно и красочно.

слишком парадоксален, слишком капризен, слишком из всех рядов вон выходящим. Для избранной Карамзиным цели он не годился. Нужный ему образ повествователя Карамзин не мог найти готовым в литературе. Его приходилось создавать. Это должен был быть странный двойник: читателю надо было думать, что это сам Карамзин, а Карамзин считал, что это его будущий читатель.

Самое поразительное, что эксперимент удался. Карамзин создал не только произведение, но и читателя. У всякого, кто изучает читательскую аудиторию 1780-х и 1800-х гг., создается впечатление, что за эти двадцать лет произошло чудо — возник читатель как культурно значимая категория. В 1770-е гг. А. Е. Лабзина (тогда, еще по первому мужу, Карамышева), хотя и очень юная, но уже замужняя женщина, жена европейски известного ученого-геолога и воспитанница писателя Хераскова, еще не знала, что такое роман. Когда заходил литературный разговор о романах в доме Херасковых, ее высылали из комнаты, чтобы молодая женщина не развратилась. «Случилось, раз начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман, и я уже несколько раз слышала. Наконец, спросила у Елизаветы Васильевны (Херасковой — одной из первых женщин-писательниц в России. — *Ю. Л.*), о каком она все говорит Романе, а его никогда не вижу. Тут мне уж было сказано, что не о человеке говорили, а о книгах, которые так называются; „но тебе их читать рано и не хорошо“». Характерно поучение, которое ей сделал Херасков, считавшийся тогда «старостой русской литературы»: «Опасайся читать романы: они тебе не принесут пользу, а вред могут сделать»[1]. Достаточно сопоставить с этим духовный кругозор Татьяны Лариной, чтобы увидеть, какой скачок произошел в читательских интересах. При этом мы говорим именно о той «дамской» аудитории, на которую призывал ориентироваться Карамзин.

Русская литература знала писателей более великих, чем Карамзин, знала более мощные таланты и более жгучие страницы. Но по воздействию на читателя своей эпохи Карамзин стоит в первом ряду, по влиянию на культуру времени, в котором он действовал, он выдержит сравнение с любыми, самыми блестящими, именами.

Образ повествователя в «Письмах» очень сложен: он распадается на целую гамму отличных друг от друга и порой взаимоисключающих проявлений. В целом ряде эпизодов это — чувствительный юноша с теми признаками инфантилизма, которые после Руссо сделались знаком искренности и «естественности». Тип этот сохранился в системе романтизма. Выражения «ребенок», «дитя» как положительные оценки поэта (и особенно часто — женских персонажей) будут устойчиво сопутствовать одному из вариантов романтического героя[2]. Роль чувствительного молодого человека, вздыхающего над Стерном и плачущего, читая Вертера, была легкой, и сразу нашлось доста-

[1] *Лабзина А. Е.* Воспоминания, 1758—1828. СПб., 1914. С. 48 и 58.

[2] Ср., например, обращение А. Мюссе в «Исповеди сына века» к Гете и Байрону: «Простите меня! Вы — полубоги, а я только страдающий ребенок».

точно охотников примерить ее на себя. Для нас сейчас интересны не малодаровитые писатели типа Шаликова или Измайлова, принявшиеся усердно опошлять популярный жанр, а читатели. То, с какой легкостью «человек из партера» усвоил фразеологию, маску, роль «чувствительного путешественника», свидетельствует, что это было именно созревшее, уже ждущее своего выражения лицо времени. С одной стороны, это было просто и доступно для имитации, с другой, обыденная жизнь и обыденный человек получали своего литературного — следовательно, «благородного», культурно значимого — двойника. Это подымало читателя в его собственных глазах, внушало уважение к себе и приучало наблюдать себя со стороны в качестве достойного объекта литературы.

Так, уже в 1797 г. («Письма» еще не были полностью опубликованы!) оставшийся безымянным молодой человек записывал в своем дорожном дневнике[1].

Моя дорожная записка

> Увы! Сердце мое томится; слезы льются обильно из глаз моих; и я стеню с отчаяния, не видя впереди себя ничего, кроме мрака.
>
> *Вертер, письмо тридцать второе*

Предисловие

Моя дорожная записка мне нравится, может быть, для того, что *моя*, и что я могу смотреться в нее, как будто бы в зеркало.

<...> Может статься есть люди, которым минута уединения несносна! Что принадлежит до меня, мне приятно быть с самим собою. Я даю волю моему воображению; оно переносит меня от сцены к сцене, изображает живо в моей памяти прошедшие годы моей жизни, представляет мне отсутствующих любезных, и в то время, как нахожусь я с ними в разлуке, его обольщение дает мне вкушать приятность свидания!

Милая![2] Сколь часто воображение, льстя сильнейшей привязанности души моей, являет мне тебя! <...> Вертер! Я не удивляюсь, что конторщик отца твоей Шарлоты (так! — *Ю. Л.*) мог говорить с восторгом об времени, которое провел он на цепи в безумном доме. Он не чувствовал, что он лишен свободы: пружины его воображения были натянуты, страсть занимала всю его способность мыслить, дни, недели, месяцы протекали для него в мечтаниях.

---

[1] Автор дневника принадлежал к «европеизированному» кругу русского дворянства: он кузен кн. Гагарина, следовательно, в родстве с Куракиными, Паниными и др. Однако, видимо, беден — служит младшим офицером в захудалом Муромском полку. Это типичный «средний» человек.

[2] Типичный «карамзинизм». Слово это сделалось как бы паролем карамзинистов (ср. «Журнал для милых») и предметом насмешек над ними.

Далее наш автор застрял со своей коляской ночью в ледяной луже. В дневнике это отразилось так:

«Ночь была темная, ни одной звездочки не блистало на небе, ветер шумел уныло в сосновой роще; и в сию меланхолическую пору — между тем, как люди мои трудились около повозки — я сидел посреди рощи на льду... один... и думал.

Вы не угадаете, друзья мои, что занимало мои мысли. Я размышлял не о коловратностях судьбы <...> Нет, милые! Я думал, как живее и красноречивее представить вам мое похождение!»[1]

Еще привычнее чувствовал себя читатель, когда из-за плеча повествователя показывалось лицо модника и щеголя, дамского вздыхателя, любителя щегольнуть французским словцом или знанием светских обычаев. Охотно соединяя эти два типа поведения, читатель совсем уже чувствовал себя литературным героем. И одновременно он получал жест и язык. Жизнь его из безымянного существования превращалась в культурное бытие.

Но вдруг в тексте «Писем» следовал маленький, почти или совсем незаметный сдвиг — и повествователь оказывался на вершинах культуры своего века, равноправным собеседником величайших умов, зрителем важнейших событий. И неизменно он был на уровне своих собеседников и своей эпохи. В голове его вдруг обнаруживалась целая библиотека, история и философия уживались в ней с поэзией, романами и «дней минувших анекдотами». Но переход на эти вершины был столь пологим, путь — таким постепенным, что читатель, только что чувствовавший себя в привычном кругу, не замечал, как оказывался лицом к лицу с высочайшими собеседниками. И ему начинало казаться, что беседовать с Кантом или Гердером — просто и естественно, что и он может так запросто зайти в Национальную ассамблею и оценивать красноречие Мирабо или Мори, а потом зайти побеседовать с Лавуазье или Бартелеми, послушать, как заикается Кондорсе, восхититься Рейнским водопадом и подумать: не поехать ли в Италию? И главное, что он обладает для того, чтобы проделать этот путь вместе с «русским путешественником», необходимым культурным багажом и талантом. Именно в том, как тактично, *незаметно* поднимал Карамзин читателя до своего уровня, сказался его величайший такт культурного деятеля и талант популяризатора.

Петр I не только прорубил окно, но и открыл дверь в Европу: путешествие по миру европейской культуры было для дворянина XVIII в. вполне доступно и ни у кого не вызывало удивления. И все же число людей, видевших Европу своими глазами, по отношению к общей дворянской массе, было невелико. Человеку же свойственно особое переживание пространства: как подлинно реальное воспринимается «свое», домашнее, лично знакомое и привычное пространство. По мере отдаления слабеет чувство реальности. То, о чем только слышал, воспринимается как ирреальное, хотя и существующее. Даже Петербург для большинства московских и провинциальных жителей XVIII в. был чем-то не совсем реальным. Один философ сказал: «Мы знаем, что мы

[1] Дорожные записки 1797 года // Щукинский сб. 1903. Вып. 2. С. 216, 224—226.

умрем, но мы в это не верим». Подобно этому мы знаем, что существуют чужие земли как некоторая географическая реальность. Но *верить* в их существование мы начинаем, только повидав их и оставив там какие-либо дорогие или просто сильные воспоминания.

То, что Карамзин развернул перед читателем неофициальный облик европейской жизни и «неисторический» образ исторических событий, показав их глазами человека, который еще не разобрался, какие события исторические, а какие нет, заставляло читателя *поверить* в развернутую перед ним жизнь, пережить чувство очевидца.

И наконец, в глубине текста лежал общий замысел его построения, его художественная идея. Европа развертывается перед читателем не только как географическое пространство, но как мир древней культуры; это — *старая* Европа, каждый камень, каждая гора или башня которой отягчены историческими воспоминаниями. Обилие экскурсов, поминутное возвращение в прошлое пронизывают всю ткань «Писем». С одной стороны, это характеризует объем того культурного мира, который должен, как внушает Карамзин читателю, сделаться его миром, миром русского европейца. С другой стороны, это должно быть соотнесено с той антиисторической психологией, которая видела в истории лишь цепь роковых ошибок. Мерсье был истинный сын XVIII в., когда в книге о Руссо, рекомендованной Карамзиным русским читателям, восклицал: «L'histoire de France est à bruler et à recommencer» — «Историю Франции должно сжечь и начать заново»[1]. Путешественник Карамзина не жег историю — он жил *в ней*. Но в развернутой Карамзиным картине есть еще один структурный принцип, требующий от читателя погружения в идеи XVIII столетия. Над письмами витают два великих духа столетия: Вольтер и Руссо. Влияние Вольтера на идеи Карамзина начала 1790-х гг. очень велико, весьма значительно количество прямых цитат и еще больше скрытых реминисценций из самых разных сочинений Вольтера. Оценки Пруссии и Англии, Петра Великого и Людовика XIV, политические или философские высказывания путешественника часто ведут нас к мыслям и словам Вольтера. В данном случае для нас важно то, что, веря в прогресс и помещая счастливое состояние людей (если оно возможно) в будущем, а не в прошлом, Вольтер с одобрением смотрел на развитие наук, художеств, промышленности и цивилизации. Даже роскошь и контраст между бедностью и богатством находили у него одобрение. Он считал, что роскошь в определенном отношении полезна, поощряя соревнование талантов. Возврат к первобытному равенству он считал химерой, и само это равенство вызывало у него скептическую усмешку. Ньютон, Бэкон, свобода слова и печати, парламентская конституция и свобода торговли сделали для Вольтера Англию лучшей страной старого континента.

Руссо полагал, что свобода несовместима с богатством. Только бедные народы могут быть свободными (в этом с ним соглашался Мабли). Прогресс цивилизации есть прогресс неравенства, деспотизма и разврата. Только в

[1] *Mércier.* De J.-J. Rousseau... P. 194.

примитивных обществах, где жажда богатства не разжигает преступных страстей, возможно равенство и счастье. Цивилизация противоестественна, естественно же такое состояние общества, при котором каждый может все, что ему необходимо для жизни, сделать сам. Торговля и промышленность представляют собой такое же зло, как и роскошь, предрассудки и социальная несправедливость. Их надо обуздывать моральными законами и, если необходимо, государственным вмешательством. Симпатии Руссо вызывали кантоны Швейцарии с простым, близким к Природе бытом пастухов и суровореспубликанскими нравами горожан.

Карамзин, противопоставляя Англию и Швейцарию, не высказывается в пользу той или иной системы идей. В Швейцарии он одобряет ограничение роскоши, говорит о связи равенства и патриотизма, а в Англии пьет за вечный мир и свободную торговлю. Он не дает читателю решения, а вводит его в сущность идейной жизни эпохи.

В равной мере контрастируют Германия и Франция как царство умозрения и царство «искусства жить».

Карамзин вводил русского читателя в Европу не как любопытного варвара, а как европейца, полноправного владельца ее культурных сокровищ (не случайно его путешественник, глядя на различные достопримечательности, неизменно обнаруживает предварительное широкое знакомство с ними по книгам: он встречается с уже ему известным, а не с диковинными новинками). Но более того, раскрывая различные пути цивилизации и не вынося над ними окончательного суда, выделяя в каждом *его* положительную сторону, он оставляет окончательный суд за русской культурой, которая еще свободна в выборе своего пути. А для этого нужно Просвещение. Этой цели и призваны служить «Письма русского путешественника».

Однако, как мы уже отметили, в «Московском журнале» есть и другой ряд публикаций, также предлагавших читателю некий образ повествователя[1].

В мартовской книжке «Московского журнала» за 1792 г. помещено начало повести «Лиодор». Это один из первых опытов лирического повествования в прозе Карамзина. Перебиваемое обращениями к Аглае, оно отчетливо ритмизировано и пронизано аллитерациями. Слияние внешнего пейзажа и внутреннего настроения повествователя придают тексту подчеркнуто субъективный характер. «Уже холодные ветры навевали бледность и мрак на печальную природу, когда Агатон, Исидор и я поехали в деревню — наслаждаться меланхолическою осенью.

Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной. Никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие, унылые рощи — внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья, — чувствовали трепет в сердцах своих, и с красноречивым молчанием друг друга обнимали» (МЖ, V, 3. С. 305).

---

[1] *Виноградов В. В.* Указ. соч. С. 296.

Отношение повести к реальной биографии весьма сложно. С одной стороны, читатели тех лет уже умели прямо относить слова, обращенные к Аглае, в адрес Настасьи Плещеевой, что даже шокировало некоторых из них. В этом ключе отрывок «Невинность» читался как декларация возможности совершенно необычных, чистых и возвышенно-дружественных и одновременно чувствительно-близких отношений между поэтом и его вдохновительницей, между мужчиной и женщиной.

Так читал эти отрывки и Погодин, который, комментируя «Лиодора», уверенно заявлял: «Это было, следовательно, в сентябре 1791 года»[1], «Аглая есть Настасья Ивановна Плещеева»[2]. А приводя посвящение Аглае первой книжки «Московского журнала» на 1792 г., где говорилось: «Наступающий год не возвратит тебе того, чего лишилась ты в прошедшем», — поясняет, что речь идет об «Исидоре, который умер, следовательно, в 1791 году, по возвращении из деревни, где был осенью с Карамзиным и Агатоном»[3].

Однако такое конкретно-биографическое прочтение (безвкусицы перечисления в одном ряду таких имен, как Исидор или Агатон, и фамилии Карамзина Погодин, видимо, не ощущал) наталкивается на трудности и скорее характерно для определенной категории читателей, чем для художественной манеры Карамзина. Так, Настасья Плещеева имеет в творчестве Карамзина и другие поэтические имена, например Нанина. Более того, сам Погодин, встретив в «Лиодоре» упоминание могил Исидора и Агатона, должен был с недоумением признаться: «Я не понимаю этого места. Петров умер года через полтора: он читал еще „Лиодора“, напечатанного в марте 1792 года, и вызывал Карамзина к окончанию повести: следовательно Карамзин говорит здесь не об его могиле? Следовательно под Агатоном в этой повести разумелся не Петров. Но как же Карамзин мог назвать одним именем два лица, и в таком кратком расстоянии времени! Или это — предчувствие?»[4] Последняя фраза звучит комически.

Дело, конечно, в ином: «поэтические» варианты автобиографии следовали совсем другой логике и еще более свободно варьировали факты. Мы не знаем, каким должен был быть сюжет «Лиодора» (повесть не была окончена, но поэтика отрывка еще не оформилась, и Карамзин собирался ее дописать[5]). Видимо, речь должна была пойти о группе молодых людей, спаянных взаимной дружбой и любовью к поэзии. В № 11 «Московского журнала» за 1791 г. Карамзин писал: «Еслибы у нас могло составиться общество из *молодых*, деятельных людей, одаренных *истинными* способностями; еслибы сии люди — с чувством своего достоинства, *но без всякой надменности*, свойственной только низким душам — совершенно посвятили себя литературе, соединили свои таланты и при алтаре благодетельных муз обещались ревностно распространять все изящное, не для собственной славы, но из бла-

[1] *Погодин М. П.* Указ. соч. С. 191.
[2] Там же. С. 193.
[3] Там же. С. 200.
[4] Там же. С. 192.
[5] См.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 31.

городной и бескорыстной любви к добру, если бы сия *любезнейшая мечта моя* когда-нибудь превратилась в существенность...»

Осуществить эту мечту не удалось, и Карамзин решил реализовать ее в «автобиографическом» повествовании. Итак, проза дополняла жизнь, а жизнь строилась по законам прозы. Литературный герой и автор сливались. И для читателя, и для самого Карамзина.

Кризис

1792 год был для Карамзина трудным. Последовал разгром новиковского кружка. Сам Карамзин уцелел почти чудом. «Московский журнал» пришлось прервать, видимо, неожиданно для самого издателя. «Лиодор» так и не был дописан. «Письма русского путешественника» перестали публиковаться на пороге Парижа. Однако 1793 год был еще труднее. В марте скончался Петров. Одновременно события в Париже принимали все более грозный характер: измена Дюмурье, восстание в Вандее, убийство Марата, процесс жирондистов, якобинская революция в мае — июне — все свидетельствовало, что революция вступила в новую, кровавую, стадию. Закон о подозрительных от 17 сентября 1793 г. положил начало «большому террору».

...Лето и осень 1793 г. Карамзин провел в имении Плещеевых Знаменском. Здесь было написано историко-политическое размышление в двух письмах: «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору».

Произведение это, выражая душевное смятение его автора, имело, однако, глубокий теоретический смысл. Карамзин почувствовал, что великая эпоха, эпоха, которая открыла человечеству столько истин и возбудила столько надежд, — эпоха Просвещения, закончена. И тут же, не дожидаясь исторической дистанции, он попытался оценить происходящее.

Мелодор напоминает Филалету их общее увлечение идеями Просвещения, верой в прогресс и в добрую природу человека:

«Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в Истории все благородные черты души человеческой, питали в груди своей эфирное пламя любви, которого веяние возносило нас к небесам, и проливая сладкие слезы, восклицали: человек велик духом своим! Божество обитает в его сердце! <...> Кто более нашего славил преимущества осьмагонадесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности». «Конец нашего века почитали мы концем главнейших бедствий человечества, и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью; что люди, уверясь

нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их в точности, и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни»[1].

Слова эти — краткое, но исключительно выразительное резюме настроения людей эпохи Просвещения. Карамзин не излагает чьи-либо теории, а выражает *общее* настроение. Поэтому отголоски Руссо и Канта, да и многих других мыслителей здесь свободно соединяются. Берется общее: дух оптимизма, вера в преображение человечества не когда-либо, не в отдаленном будущем, а именно сейчас, на глазах живущего поколения. И это не только книжная идея — это живая вера поколения конца XVIII в., его религия, то, что давало цель и смысл жизни. И это настроение именно конца 1780-х — самого начала 1790-х гг. Философы XVIII в. парадоксально соединяли теоретический оптимизм с практическим пессимизмом. Они верили в человека, но не верили в осуществимость тех самых идей, которые считали единственно справедливыми. Ни Вольтер, ни Руссо, ни Мабли не подозревали, что взрыв так близок. Но те, кого штурм Бастилии застал молодыми, не только умом, но и всем существом своим поверили, что великое «соединение теории с практикой» настало, что им посчастливилось стать свидетелями конца «главнейших бедствий человечества».

Напрасно видеть в письмах Филалета и Мелодора воспроизведение точной биографической реальности, но «биография души» здесь воссоздана точно. Когда Карамзин писал эти строки, он, может быть, думал о разговорах с друзьями-датчанами в Швейцарии, с Вольцогеном в Париже или с Петровым в Москве или же вспоминал свои восторженные мысли при ночном чтении книг или во время прогулок по Елисейским полям после посещения Национального собрания. Но важно одно: он *сам* засвидетельствовал свою веру, свой энтузиазм. Он *сам* написал о том, что великие идеи века были для него не умственной забавой, не игрой пресыщенного воображения, не модой — как это было для очень многих, а воздухом, жизнью, религией.

Тем страшнее было разочарование.

«О Филалет! где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своем основании!»

Осьмойнадесять век кончается: что же видишь ты на сцене мира? — Осьмойнадесять век кончается, и нещастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!

«...Где люди, которых мы любили? Где плод Наук и мудрости? Где возвышение кротких нравственных существ, сотворенных для щастия? — Век просвещения! я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя!»[2]

Мы процитировали эти строки по собранию сочинений Карамзина. Но можно было бы выписать их и из другого источника — из «Писем с того берега» Герцена. Герцен — живой свидетель июньских дней в Париже 1848 г.,

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 438.
[2] Там же. С. 438—439.

переживший духовную драму разочарования в святых для него идеалах, выразил свою боль огромной выпиской из письма Мелодора к Филалету. «Эти выстраданные строки, огненные и полные слез, были написаны в конце девяностых годов — *Н. М. Карамзиным*»[1]. Курсивом Герцен как бы выразил свое удивление (интонационный адекват выражения «кем бы вы думали?»), настолько эти «огненные и полные слез» строки противоречили распространенным представлениям о Карамзине. Но мы видим, что они на самом деле не имели в себе ничего неожиданного. Обращают на себя внимание слова: «Где люди, которых мы любили?» Мы не можем ответить на вопрос, кого он вспоминал из тех, кого в Париже успел полюбить. К этому моменту уже *все* его знакомцы — от Лавуазье и Шамфора до Робеспьера — погибли. По крайней мере, можно утверждать, что в роялистском лагере у Карамзина не было ни одной *личной* привязанности.

Конечно, легко себе представить дело так: Карамзин, умеренный либерал, испугался, увидав реализацию своих кабинетных мечтаний, и «из республиканца становится убежденным монархистом»[2]. Выражение «испугался» слишком часто употребляется для характеристики взглядов Карамзина в этот действительно критический момент. Карамзин не был столь «пуглив»; в 1798 г. он набросал план похвального слова Петру I, где, в частности, писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместимо с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout[3]. Но иногда и чувствительность торжествовала»[4]. Вряд ли, когда Карамзин набрасывал эти пункты, он мог не думать о другом, более близком, примере «некоторых жестокостей», тем более что и здесь иногда «чувствительность торжествовала».

Чем же «испугала» якобинская диктатура[5] Карамзина, почему она оттолкнула Радищева? Дело, видимо, в том, что предшествующий этап революции воспринимался как реализация просветительских идей. Он был предсказан, ощущался как закономерный, к нему были психологически готовы. Более того, именно *за* ним ожидалось наступление царства Разума и Справедливости. Он усилил и довел до предела просветительский оптимизм. Новый этап представлял собой критику, которой действительность

---

[1] *Герцен А. И.* Указ. соч. Т. 6. С. 11—12. Герцен ошибся: Карамзин написал эти слова в начале 1790-х гг. (точнее, осенью 1793). Но ошибка знаменательна: сам Герцен написал бы их в конце.

[2] *Благой Д. Д.* История русской литературы XVIII века. М., 1945. С. 388.

[3] Великие люди видят только общее (*фр.*).

[4] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. С. 202.

[5] Мы употребляем здесь общепринятую формулу, хотя в таком виде она явно неточна. Идея диктатуры обсуждалась в парижской публицистике с первых дней революции и никого не пугала, так как с ней связывали отработанное в римском праве понятие временной военной власти в кризисных условиях. Такое понятие диктатуры только усиливало римский гражданственный колорит («Hannibal ante portas!»), так импонировавший деятелям революции всех направлений и, безусловно, не чуждый Карамзину. «Испугали» Карамзина, «оттолкнули» Радищева — «большой террор», события 4—5 сентября 1793 г., движение санкюлотов и восстание, руководимое Парижской коммуной, испугавшие и якобинцев.

подвергала идеи Просвещения. Приняв его, надо было признать вчерашнюю веру иллюзией. Надо было пережить то, что чувствует путник, который, проделав долгий и утомительный путь по снежной пустыне, видел уже огонь гостеприимного убежища и знал, что еще шаг — два, и все горести будут позади. И вдруг, подойдя к огню, увидал лишь догорающие бревна и понял, что он один в ледяной ночи, что путь только начинается, а куда идти — неизвестно.

Это было то чувство растерянности, которое охватывает путешественника, когда *карты кончились*. Такое чувство испытал Герцен, когда в Париже 1848 г. сделался свидетелем подавления буржуазией народного восстания. Но история человеческой мысли — не география, и у нее совсем другие карты. Идеалы Просвещения, его лозунги, его требования свободы и равенства, идея прав человека, его гуманность и вера в высокое назначение Природы человека сохраняли свою ценность, особенно в России и в странах, не переживших революции, даже тогда, когда оптимистические иллюзии просветителей подверглись разоблачению, а вечность и безусловность этих лозунгов сделались сомнительными. От того, что русский путешественник заглянул в будущее, настоящее не перестало для него существовать. Оно не стало прошедшим, как в Париже.

Показательно: Карамзин, как позже Герцен в «С того берега», для того, чтобы выразить свои чувства и мысли, должен был прибегнуть к форме диалога. Мысль ищущая монологически не выражалась. Чтобы «найти себя», определить *свое* отношение к разрушающимся на его глазах ценностям, ему следовало разделить себя на два «я» и дать им в споре искать дорогу в ночи. И вновь, строя свою личность, он создавал модель для современников, строил личность своего читателя. Художественной структурой этого диалога Карамзин — и тут вновь приходит на память «С того берега» — утверждал, что в некоторые моменты духовной истории раздвоение личности необходимо — только оно делает эту личность в какой-то мере адекватной окружающему ее миру.

Второе «я» — Филалет[1]. Филалет — путешественник, недавно вернувшийся в свое отечество. Это — автобиографично. Но путешествие его фантастично: он странствовал от Северного полюса до знойной Африки. Впрочем, мечты о далеких путешествиях не покидали Карамзина. Таким образом, и здесь автобиография, но «внутренняя», а не реальная.

Филалет утешает Мелодора. Утешение его — в создании другой, противоположной, концепции истории. Он продолжает верить в добрую сущность человека и в просвещение и прогресс как основные законы истории: «В одном просвещении найдем мы спасительный антидот (противоядие. — *Ю. Л.*) для всех бедствий человечества! — Кто скажет мне: *науки вредны, ибо осьмойнадесять век, ими гордившийся, ознаменуется в книге бытия кровию и*

[1] Филалет — с греч. «любитель истины», Мелодор — «имеющий дар песен» — поэт. Таким образом, диалог идет между философской и поэтической сторонами личности человека.

слезами; тому скажу я: „Осьмойнадесять век не мог именовать себя просвещенным, когда он в книге бытия ознаменуется кровию и слезами“»[1].

Подобно тому, как эксцессы фанатизма и религиозные преследования не пятнают самой веры, а свидетельствуют лишь о незрелости человеческого ее восприятия, события французской революции не могут бросить тени на способность людей к прогрессу, на ценность идей Просвещения и на веру в человека. Революция — эксцесс, прогресс — закон. Эта идея Филалета сделается на многие годы линией разделения между реакционной и либеральной мыслью в России. Первая будет утверждать, что революция есть плод «разрушительной философии», и требовать перенесения на Вольтера и Энциклопедию (а после 1812 г. и на всю французскую культуру) того отлучения, которому подверглись в официальной печати имена Мирабо, Робеспьера и Марата. Шишков в 1813 г. призывал своего клеврета Я. И. Бардовского, которого он прочил в историки 1812 г.: «Не худо кратким и нечувствительным образом войти в историческое рассмотрение нравственности галльского народа, где откроется широкое поле говорить о ядовитых книгах их, о развратных правилах, о неистовых делах, породивших чудовищную революцию»[2]. Что же касается до тех, кого Шишков считал «зараженными» французским влиянием (а к ним он, имея в виду Карамзина, относил тех, кто «твердит о словах эстетика, образование, просвещение и тому подобных»), то о них он писал: «Я бы ткнул их носом в пепел Москвы и громко им сказал: вот чего вы хотели!»[3]

Либеральная же концепция, которой потом, после 1812 г., станут придерживаться арзамасцы и будущие деятели декабризма, исходила из утверждений Филалета о том, что век Просвещения, Вольтер, Руссо, философы-энциклопедисты не несут ответственности за кровавые события конца века. Их мысль принадлежит человечеству, а не одной Франции, и недопустимо смешивать в одну кучу защиту семейства Каласа и Сервена и пожар Москвы. Все плохое в истории человечества происходит не от просвещения, а от его недостаточности. Филалет видит в прогрессе волю божества и космический закон вселенной. Знакомство Филалета с «Опытом исторического исследования прогресса человеческого разума» Кондорсе, этой итоговой книгой Просвещения XVIII в., сомнительно (книга вышла в 1797 г.). Тем более знаменательно совпадение хода мысли.

Итак — два голоса. То, что последнее слово остается за Филалетом, — не решение спора. Он не завершен. Показательно, что Герцен оспорил Филалета и присоединился к Мелодору. Филалет не принимает теории Вико об исторических циклах и восклицает: «Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества»[4]. А Герцен в «Эпилоге» «С того берега» цитирует Вико и пишет: «К концу XVIII века европейский Сизиф докатил тяжелый камень свой, составленный из развалин и осколков трех

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 454.

[2] *Шишков А. С.* Двенадцать собственноручных писем... СПб., 1841. С. 16.

[3] Там же. С. 13 и 17.

[4] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 455.

разнородных миров, до вершины». Но камень вновь сорвался, «а бедный Сизиф смотрит и не верит своим глазам, лицо его осунулось, пот устали смешался с потом ужаса, слезы отчаяния, стыда, бессилия, досады остановились в глазах; он так верил в совершенствование, в человечество, он так философски, так умно и учено уповал на современного человека. — И все-таки обманулся»[1].

Внутренняя жизнь требовала: обдумать, постараться понять.

Внешние обстоятельства говорили, что оставаться в Москве, на виду у властей, — небезопасно.

Карамзин уехал в орловское поместье Плещеевых Знаменское. Он выехал 22 июня 1793 г. и пробыл там до конца ноября. В апреле 1794-го он уже снова в Знаменском, проводит там лето. В начале мая 1795 г. он снова там — до зимнего пути, декабря 1795 г. Этот период его жизни может быть назван «знаменским».

В Знаменском

Екатерина II скончалась 6 ноября 1796 г. Когда Карамзин в июне 1793 г. удалился из Москвы, ей оставалось жить менее чем три с половиной года. «Конец ее царствования был отвратителен, — записывал Пушкин в дневнике 1834 г., — Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабку с графом Зубовым. Все негодовали»[2]. Рано одряхлевшая от беспорядочной жизни императрица теряла чувство политической реальности: ей мерещились якобинские или масонские эмиссары, собирающиеся якобы покушаться на ее жизнь. Государство было отдано в руки Платона Зубова, который в короткий срок получил вместе с братьями свыше трех с половиной миллионов рублей и огромные поместья, сделан сначала графом, потом князем. Список его должностей и званий выглядел так: «Светлейший князь, генерал-фельдцейхмейстер, над фортификациями генеральный директор, главнокомандующий флотом Черноморским, Вознесенской легкой конницы и Черноморского казачьего войска командир, генерал-от-инфантерии, генерал-адъютант, шеф Кавалергардского корпуса, Екатеринославский, Вознесенский и Таврический генерал-губернатор, член Военной Коллегии, почетный благотворитель Императорского воспитательного дома и почетный любитель Академии Художеств». Ему были пожалованы все высшие ордена Российской империи.

[1] *Герцен А. И.* Собр. соч. Т. 6. С. 110—111.
[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 329.

Только непредвиденный случай не дал ему получить звание фельдмаршала. А между тем это был невзрачный, глупый, необразованный, трусливый человек, отличавшийся лишь мужской неутомимостью. Он был на год моложе Карамзина. Ему было 23 года, когда он сделался любовником императрицы, которой в это время перевалило за 60. Жадный, спесивый, лишенный элементарного ума и такта, он пытался руководить государством, до предела усиливая царившую в стране реакцию: перлюстрация писем, цензура, преследования всякого проявления мысли, взятки и циническое нарушение всех законов фаворитом и его многочисленными клевретами, которые расхищали Россию, как завоеванную страну, — таковы были черты его внутренней политики. Во внешней он проявил себя фанатической поддержкой самой слепой части французской эмиграции, разделом Польши, дипломатическими провалами и бутафорски-грандиозными завоевательными проектами.

Литература сделалась трудным и опасным ремеслом. Цензурные и полицейские стеснения губили журналистику. Если в 1789 г., кроме уже выходивших, получили начало пять новых периодических изданий, то в 1794-м — одно, а в 1795-м — ни одного. Писатели шли на государственную службу и превращались в чиновников. Богданович перестал писать стихи, зато подал проект одеть писателей в мундиры и присвоить им чины соразмерно достоинству, чтобы литературные заслуги того или иного писателя не вызывали сомнений. Другие — разбегались. Крылов почел за благо скрыться на семь лет из столиц, практически прекратив литературную деятельность.

Карамзин уехал в Знаменское.

Об этом периоде мы снова вынуждены повторить слова: «Ничего достоверного нам неизвестно». Опять приходится прибегать к методу реконструкции, опираясь на литературные тексты и пытаясь восстановить на их основании биографическую реальность.

Не подлежит сомнению, что тяжелое настроение Карамзина в 1793—1794 гг. было связано не только и не столько с боязнью за свое личное благополучие. Необходимо было осмыслить происходящее, найти ему объяснения и определить свое место в этом, столь неожиданно показавшем свое трагическое лицо, мире. Таким образом, сразу же задана основная расстановка сил: скрыться в малом мире, чтобы осмыслить происшествия большого. 17 августа 1793 г. Карамзин писал Дмитриеву из Знаменского: «Я живу, любезный друг, в деревне с людьми милыми, с книгами и с природою (состав «малого мира» точно очерчен — «милые», книги, природа. — *Ю. Л.*), но часто бываю очень, очень беспокоен в моем сердце. Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю мою душу? Бегу в густую мрачность лесов — но мысль о разрушаемых городах и погибели людей теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю человечество!»

В этом письме характерно, что политические события вызывают ужас именно тем, что несовместимы с просветительской любовью к человечеству,

которая все же остается непоколебленным фундаментом воззрений. Письма на почте читаются, и это заставляет Карамзина говорить только об «ужасных происшествиях Европы». «Разрушаемые города», — конечно, в первую очередь Лион. Но не только. Молодой исследователь Е. В. Берштейн недавно убедительно показал, что Карамзин имел также в виду столицу немецких якобинцев Майнц[1]. Летом 1793 г. Майнц был сожжен и разрушен прусской артиллерией. И Лион, разрушенный комиссаром конвента Фуше, и Майнц, подожженный полководцем контрреволюции герцогом Брауншвейгом, были хорошо известны Карамзину: он посетил их в 1790 г. и запомнил цветущими, полными жизни городами. Карамзина «пугали» не якобинцы, а акты взаимной жестокости враждующих сторон. Нет никаких оснований считать, что симпатии его были на стороне роялистов и коалиции. Подводя итоги царствования Екатерины II, «путешественник» (мы старались доказать, что под этим псевдонимом скрылся Карамзин) спрашивал: неужели другу истины «не позволено счесть число мужчин, женщин и детей, которые заплатили жизнью за тридцать лет этого славного царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и более всего в России?» Когда Дмитриев написал оду на взятие Варшавы, Карамзин позволил себе (единственный раз за всю их сорокалетнюю переписку!) выразить прямое неодобрение: «Ода и „Глас Патриота" хороши *Поэзиею*, а не *предметом*. Оставь, мой друг, писать такие пиесы нашим стихокропателям. Не унижай Муз и Аполлона»[2].

За европейскими событиями он пристально следит. Брату он пишет о них тоном беспристрастного историка, не отдающего сердечного предпочтения ни той ни другой стороне. 1793 г. с его террором, гибелью поколения революционеров 1790-х гг., затем гибелью самих террористов, казнью Робеспьера убедил Карамзина в том, что реализация утопии не удалась. Идеалисты сошли со сцены, вперед вышли практики обоих лагерей, те, кто приходят на поле боя последними и делят окровавленные трофеи. Тех, кто лично волновал бы Карамзина своей судьбой, на политической арене больше не было. И все же он не может оторвать глаз от этой арены.

Из писем брату Василию Михайловичу:

«Село Знаменское, июня 24, 1795
...В Париже великий голод, и народ недоволен Конвентом. Французская республика, не смотря на свои победы и завоевания, может разрушиться очень скоро. Всё на волоске».

«Знаменское, 25 ноября 1795
...Французы вводят теперь у себя новое правление, или конституцию, но спокойствия все еще нет в их республике. Король имеет партизанов во всех провинциях, и в самом Париже, где недавно был бунт, и где перестреляли

[1] *Берштейн Е. В.* К вопросу об общественно-политической позиции Н. М. Карамзина в начале 1790-х годов // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 1987. Вып. 781. С. 124—126.
[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 42 и 50.

множество людей[1]. Однако ж по сие время республиканцы сильнее и держат в узде своих неприятелей. Кажется, что республика устоит. Что касается до Польши, то судьба ее решена. Россия, Австрия и Пруссия разделили *полюбовно* сию несчастную землю»[2].

И все же письма к Дмитриеву он помечает, как парижский республиканец: «Salut et fraternité!»

В Знаменском невесело: Плещеевы запутались в долгах, Алексей Александрович уехал в Москву искать выхода из денежных затруднений (из письма Дмитриеву: «Состояние друзей моих очень горестно. Алексей Александрович страдает в Москве, а мы здесь страдаем»[3]). Наконец Карамзин бросается в Симбирск, продает братьям всю свою часть имения (фактически все свое состояние) за 16 000 рублей, которые он тут же подарил Плещеевым (дал в долг и никогда больше о нем не напоминал). Настасья Ивановна болеет...

Карамзин — враг напыщенности, торжественности, «бомбаста» — одического парения в поэзии. Поэзия для него — синоним простоты. А это означает, что обыденная жизнь, жизнь в Знаменском, есть предмет литературы. Эту же задачу, но совершенно иными средствами, решал Державин. «Жизнь Званская», жизнь домашняя входят в его поэзию именно потому, что интимный мир ярче, красочнее, причудливее, чем мир официальный. Богатырство — а для Державина именно таково лицо поэзии — всегда индивидуально. И даже официальную тему, если ее надо представить поэтически, следует расцветить интимными красками. Для Карамзина поэтическое обыденно. Но для этого надо научиться смотреть на обыденность поэтически. Итак, простой знаменский быт вводится в литературу. Но по дороге он поэтизируется, стилизуется, и нам, чтобы обрести реальность, надо производить обратную работу дешифровки, «депоэтизации».

Первая стадия «олитературивания» — письмо: Карамзин описывает знаменскую жизнь Дмитриеву. В ход пущен риторический прием: не имеющее признаков описывается как столкновение контрастных признаков, белый свет разлагается на контрастные цветовые поля спектра.

«Здравствуй, мой любезный друг Иван Иванович! Я живу в деревне не скучно и не весело, имею удовольствия и неудовольствия, смеюсь и плачу, езжу верхом и хожу пешком, пишу и за перо не принимаюсь, читаю и не

---

[1] Карамзин имеет в виду «конституцию четвертого года республики» (1795) и роялистское восстание 13 вандемьера (5 октября) 1795 г. В связи с этими событиями Карамзин должен был впервые услышать имя Наполеона Бонапарта, который, командуя войсками Конвента, расстрелял картечью монархический мятеж и этим положил основание своей политической карьере. Письмо примечательно и как свидетельство неослабевающего внимания Карамзина к судьбам Французской революции, и прозорливостью его суждений: осенью 1795 г., когда эмигранты и шуаны почти открыто стали появляться на улицах и в салонах Парижа, а инициатива на фронтах начала переходить к коалиции, в контрреволюционном лагере ждали реставрации королевской власти с минуты на минуту.

[2] *Карамзин Н. М.* Письма к брату Василию Михайловичу Карамзину // Отд. оттиск из Приложения к протоколам Изв. ОРЯС. 1895. Т. 58. С. I—IV.

[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 48.

беру книги в руки, сплю и бодрствую, пью мед и ключевую воду — но никакой писатель не опишет всего, что я делаю, и чего не делаю»[1]. Эта жизнь с оглядкой на «писателя» характерна!

Вторая стадия: игра. В сочинениях Карамзина, начиная со 2-й части «Аглаи», печатается повесть «Дремучий лес. Сказка для детей», с подзаголовком: «Сочиненная в один день на следующие заданные слова» (следует список слов). Появление этого странного текста оставалось непонятным, и он не привлек ни разу внимания исследователей. Смысл его раскрылся довольно неожиданно. В справочнике русских изданий на иностранных языках Геннади зафиксирована брошюра:

Les amusemens de Znamenskoé. Lisez-le, ne lisez pas,
Moscow, chez Rudiger et Claudius, 1794.

Брошюру эту долго не удавалось обнаружить. Наконец единственный сохранившийся в библиотеках СССР экземпляр был обнаружен в Исторической библиотеке в Москве[2]. Брошюра примечательна: она содержит литературные игры — разумеется, на французском языке, — которым предаются в Знаменском летом 1794 г. Настасья Ивановна Плещеева, Карамзин, некая мадемуазель Полина и еще ряд лиц; в брошюре упоминаются Платон Бекетов и дети Плещеевых Александр и Александра. Значительное место среди литературных игр занимают рассказы, в которых надо было употребить заданные слова. Печатаются тексты на одни и те же слова, составленные Карамзиным и другими участниками кружка. Например, на слова: философ — Знаменское — Мискетти — Москва — трубка — куртка — корабль — бумага — пруд — Мишель — поле (все слова, как и весь текст брошюры, на французском) — Карамзин написал короткий рассказ, в жанре лирического монолога. Знаменская реальность переключается в идиллию.

Поскольку этот текст никогда не привлекался исследователями и до сих пор был неизвестен, приводим его в русском переводе:

«Да, друзья мои, я утверждаю, что можно быть счастливым в *Знаменском*[3], как и в *Москве*, лишь бы быть *философом* и уметь ценить жизнь. Без сожаления оставляю я городские удовольствия — я их нахожу много в моем сельском уголке. Они милы моему сердцу. Здесь я не слышу пения *Мискетти*, но слушаю песни соловья, и одно стоит другого (да простят меня виртуозы искусств!). Сидя на берегу прозрачного *пруда*, я мирно созерцаю его спокойные волны — разительный образ спокойствия моей души. Пусть благодетельная пыль навсегда покроет мое парадное платье! Я предпочитаю мою *куртку* из простого полотна, такую удобную и такую легкую. — И когда иду *полями*, устремляя мой взор то на ковры лугов, всегда столь прелестные, то на лазурный свод неба, всегда столь величественный, — великий Боже, что за сладкое и чистое наслаждение для моего чувствительного существа! — Здесь меня ничто не стесняет; я всегда сам себе господин, я могу делать все, что

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 46.

[2] В разыскании приняли участие З. Г. Минц и С. Г. Барсуков, которым автор выражает сердечную благодарность.

[3] Таково название нашей деревни. (*Примеч. Карамзина.*)

хочу; могу забываться в мечтах, курить мою *трубку*, хранить молчание целыми часами, читать или марать *бумаги*, чтобы немного развлечь моих друзей. Здесь я вижу только тех, кого люблю (исключая, если вам угодно, лишь г-на *Мишеля*[1], который отнюдь не любезен). Здесь у меня нет забот, и мой *корабль* в гавани»[2]. Подпись: г. К***. Та же подпись стоит под также написанной *на слова* сказкой «La forêt noire», русский вариант которой Карамзин позже опубликовал в «Аглае». Говоря об этих текстах, мы употребляли глагол «написал». Однако вернее, что французские тексты представляют собой записи устных импровизаций Карамзина. Во всяком случае, они — уникальные образцы французской прозы Карамзина. Сравнение с русским вариантом — сказкой «Дремучий лес» (первый отрывок не имеет такового) — очень интересно: во-первых, русский текст не перевод, а обработка французского. Однако особенно любопытно наблюдать, как Карамзин, сохраняя естественность и непринужденность русской речи, искусно использует французский строй фразы.

В брошюре есть и сочинения других авторов, домашние изделия дилетантов, милые и безыскусственные, как семейный альбом. Да брошюра и соприкасается с традицией альбома, литературы для «своего» круга, обретающей полный смысл лишь для тех, кто знает обстоятельства написания каждой вещи и связывает с ней внетекстовые воспоминания. Эта традиция «домашней литературы» раскрывается для нас в не лишенной интереса перспективе.

В пьесе Настасьи Ивановны «Желанное возвращение» — сама создательница пьесы и ее сын и дочь, ожидающие возвращения из Москвы Алексея Александровича Плещеева. Александру Плещееву в 1794 г. исполнилось шестнадцать лет. Карамзин, находясь в Знаменском, посвятил этому событию «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву». Стихотворение, хотя и было опубликовано в ч. I «Аонид», то есть обращено к читателю, не входящему в интимный кружок жителей Знаменского, несет все черты интимной поэзии. К стихам:

> Удалимся
> Под ветви сих зеленых ив —

Карамзин сделал примечание: «Сии стихи писаны в самом деле под тению ив», что заставляет воспринимать «сих... ив» как примету конкретного места. Указательное местоимение-жест «сих» обращено к тем, кто *видит* ивы. Читатель превращается в соучастника интимного кружка.

Александр Алексеевич Плещеев получил образование в знаменитом пансионе аббата Николя, затем легко и быстро поднимался по служебной лестнице, удачно женился и вышел в отставку. В домашнем кругу А. А. Плещеев был известен как поэт, легко писавший любительские шуточные стихи на русском и французском языках, музыкант, участник спектаклей и

---

[1] Мишель — это очень шаловливый мальчик, который провел с нами некоторое время. (*Примеч. Карамзина.*)

[2] Les amusemens de Znamenskoé. Moskow, chez Rudiger et Claudius, 1794. P. 7—9.

неутомимый выдумщик. Поселившись в своем поместье Чернь Болховского уезда Орловской губернии, Плещеев близко дружески сошелся с жителями недалекого (40 верст) Муратова — Екатериной Афанасьевной Протасовой и ее дочерьми Машей и Сашей. Особенно же тесной сделалась дружба его с Жуковским: совместные шуточные спектакли, обмен шуточными посланиями, издание журнала «Муратовская вошь», частые взаимные посещения сделали Плещеева и Жуковского приятелями и вдохновителями игровой атмосферы, царившей в Муратове и Черни. Жуковский именует Плещеева Плещуком, Плещепуповым, Александром Чернобрысовичем Плещепуповым, посвящает ему цикл стихотворений («О негр, чернилами расписанный Натурой» и др.)[1].

Атмосфера литературных игр, дружеского любительского поэтизирования и музицирования, домашняя культура — культура поэзии частной жизни, поднимающая ее на уровень лаборатории культурной жизни эпохи, создающая те островки духовной жизни, теплоты и поэзии, в которых будет вырастать поколение совершенно новых деятелей. Они впитают эту теплоту и поэзию, вырастут в ее одухотворяющей атмосфере и потом начнут в ней задыхаться как в искусственном воздухе теплиц и рваться из нее в большой и неуютный мир. Домашний очаг покажется им врагом, но они унесут с собой его тепло. Знаменское и Карамзин, Муратово и Чернь и Жуковский с Плещеевым, Прямухино и молодой кружок Бакунина и его сестер — это как бы три ступеньки одной лестницы. Но у знаменской идиллии есть еще одна перспектива: Жуковский вводит своего друга Плещука в «Арзамас», где он по цвету волос получает кличку Черный Вран. В доме Плещеева арзамасцы провожают уезжающего в Варшаву Вяземского.

Так игра в литературу перерастает в литературу игры.

В Знаменском Карамзин написал и подготовил к печати основные материалы двух томов альманаха «Аглая».

«Аглая» как совершенно новый тип издания в некотором отношении близка к брошюре «Les amusemens de Znamenskoé» — дух семейной интимности пронизывает альманах. Само название его, как и посвящение второго тома, обращено к Настасье Ивановне; обращение в стихах к Александру Алексеевичу, включение сказки «Дремучий лес», намеки на странствия Карамзина — все придает изданию интимный характер. Но «Аглая» адресована читателю, то есть к *чужому*, незнакомому человеку. Интимность здесь превращается в «как бы интимность», имитацию дружески-непосредственного общения. Между писателем и лично неизвестным ему читателем устанавливаются отношения, имитирующие дружескую близость. Создается тип отношения, который в будущем сделается обязательным для альманаха (некоторый оттенок «альбомности») и который в принципе отличен от функционирования книги.

«Альбомность», включение текста не в анонимную аудиторию книги, а в как бы интимный круг близких людей естественно придает авторскому «я»

[1] *Соловьев Н. В.* История одной жизни. А. А. Воейкова — Светлана. Пг., 1915. С. 25—26.

конкретно-биографический характер. Читатель, не колеблясь, отождествляет его с реальным Николаем Михайловичем Карамзиным. Это поддерживается тем, что в ч. 1 включен отрывок из «Писем русского путешественника» (из «английской» части — вся французская была в 1794 г. цензурно невозможной), а во 2-й — Письма Мелодора к Филалету и Филалета к Мелодору. Автобиографический характер этих произведений не вызывал у читателя сомнения.

И вдруг это авторское «я» начинает, к удивлению читателя, двоиться. Рассказчик — все тот же путешественник, но рассказ его приобретает лирические и романтические черты, проза начинает напоминать поэзию, а реальное путешествие все более явственно превращается в воображаемое. Автор, каким он создал сам себя в своем воображении, подается читателю как равноправный двойник реального писателя.

Повесть «Остров Борнгольм» предлагает читателю, который уже знаком с «Московским журналом» и первыми публикациями «Писем русского путешественника», верить, что Карамзин действительно, возвращаясь из Англии в Петербург, остановился на датском острове Борнгольм и пережил там таинственные встречи. Позже, когда «Письма» были опубликованы полностью, читатель получал две версии возвращения и мог выбирать любую в качестве «подлинной». Любопытно, кстати, отметить, что, возможно, *обе* являются плодом литературного вымысла. Г. П. Шторм, рассматривая списки прибывающих в столицу, подававшиеся полицмейстером Н. Рылеевым императрице, обнаружил такую запись: «Из Москвы отставной поручик Карамзин (первоначально описка: Карамзан. — *Ю. Л.*) и стал в той же части (то есть во 2-й полицейской части. — *Ю. Л.*) в доме купца Демута»[1]. На основании этого Г. П. Шторм приходит к выводу, что Карамзин приехал в Петербург 15 июля 1790 г. не морем из Лондона через Кронштадт, как это указано в «Письмах», а из Москвы сухим путем. Последнее представляется странным: если уж Карамзин вернулся из-за границы в Москву, ему решительно было незачем спешить в Петербург затем, чтобы обратно направиться в Москву. Такой странный вояж не мог бы остаться незамеченным Плещеевыми, Петровым, Дмитриевым, Державиным, с которыми Карамзин был тесно связан. Между тем ни в каких документах этого круга лиц он не нашел отражения. Можно было бы предположить, что «из Москвы» означает «москвич», если бы в записях этого рода не было обязательным указывать, откуда прибыло то или иное лицо, и делалось это именно такой формулой: из Москвы; из Новагорода, из чужих краев. Может быть, это ошибка, которую надо понимать так, что Карамзин, доехав по морю до какого-то порта (Любека, Кенигсберга или Ревеля?), прибыл в Петербург в карете и по неопытности назвал как место отбытия свой начальный пункт путешествия. Дежурный же унтер-офицер облек ответ в привычную формулу. Мы не можем сейчас решить этот вопрос окончательно, но маршрут прибытия на родину не только в

[1] *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине. С. 151. Подлинное дело хранится в ЦГАДА. Госархив. XVI. Ед. хр. 534. Ч. 1(2). Л. 127—127 об.

фантастическом «Острове Борнгольм», но и в «документальных» «Письмах русского путешественника» остается под сомнением до обнаружения каких-либо новых материалов.

Две части «Аглаи» заключают в себе цикл повестей («Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Афинская жизнь»), посвященный *воображаемым* путешествиям в географическом, культурном и временном пространстве. Их сопоставляют с «романом тайн» А. Радклиф, предромантической прозой, но нельзя отрешиться от воспоминаний об акмеистической прозе, которые невольно приходят на память, когда перечитываешь эти произведения. Та же условность мира, в который нас вводит поэт, в сочетании с тонкой стилизацией повествования и вниманием к вещности предметов, которыми автор заполняет свой совершенно призрачный мир; тот же лиризм повествования, ритмичность и звуковая насыщенность прозы и прозрачная ясность семантики слова, сочетание размытости и четкости, ирреальной реальности. Автор в этих повестях путешествует в пространствах, которые Карамзин заведомо не посещал: это Андалузия и рыцарская Скандинавия (на остров Борнгольм Карамзин не ступал даже в «Письмах», как же обстояло дело в реальности, мы вообще бессильны пока установить). Наконец «Афинская жизнь» прямо обнажает воображаемый характер путешествия автора в мир древних Афин. Противопоставление идеального мира, в который погружается автор, и трагического реального составляет основу композиции этой повести. Характерно, что в древнем мире выбран не Рим — отчизна гражданственности и героизма, а Афины, жители которых «везде и во всем искали <...> — наслаждения; искали с жаром страсти, с живейшим чувством потребности, как любовник ищет свою любовницу — и жизнь их была, так сказать, самою цветущею Поэзиею»[1]. Превращение жизни в поэзию — высшая цель. И другие повести посвящены тому же. Любовь в жизни то же, что поэзия в сфере искусства. И, как поэзия, она беззаконна и не подчиняется правилам. Брат любит сестру, покинутый любовник убивает себя на свадьбе неверной. Но, как и мир поэзии, мир страстей, любви и счастья иллюзорен. Повесть начинается словами: «...завертываюсь в пурпуровую мантию (разумеется, в воображении) — покрываю голову большою, распущенною шляпою, и выступаю, в Альцибиадовских башмаках, ровным шагом, с философскою важностию — на древнюю Афинскую площадь». Заканчивается повествование разоблачением иллюзорности этого мира. При этом сельское уединение, которое теперь противопоставляется не городу современному, а само воплощает современность и реальность в антитезе древности и мечте, из идиллического превращается в трагическое: «О друзья! всё проходит, всё исчезает! Где Афины? Где жилище Гиппиево? Где храм наслаждения? Где моя Греческая мантия? — Мечта! мечта! Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собою ничего, кроме догорающей свечки, измаранного листа бумаги и Гамбургских газет, которые завтра поутру (а не прежде: ибо я хочу спать нынешнюю ночь

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 411.

покойным сном) известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников»[1].

Эта принадлежность поэта двум мирам получает окончательное теоретическое обоснование в программном послании к Дмитриеву:

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет, —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
Ах! зло на свете бесконечно,
И люди будут — люди вечно.
.....
Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем переменить людей?
Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят что им угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов[2],
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли.

«Без страха и надежды» — предельно точная формула той позы, в которой находится теперь поэт в отношении к миру. Этому соответствует и декларативный отказ от литературной деятельности, как обращенной именно к этому миру: «На долго прощаюсь с Литературою», — пишет Карамзин Дмитриеву в начале 1795 г.[3] и одновременно развертывает исключительно активную деятельность профессионального литератора. В 1794 г. выходит первая часть «Аглаи», две части сборника «Мои безделки», куда вошли сочинения Карамзина в прозе и стихах, извлеченные из «Московского журнала», первая часть переведенных с французского «Новых Мармонтелевых повестей». Была написана повесть «Юлия», опубликованная в 1796 г. В 1795-м выходит второй том «Аглаи», Карамзин начинает сотрудничать в «Московских ведомостях», ведет там раздел «Смесь», в котором публикует 169 небольших статеек,

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 434—435.

[2] Мотив дома, скрытого дремучим лесом, характерен для Знаменского цикла и представляет собой символическое прочтение реального пейзажа (ср.: «Дремучий лес»).

[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 52.

отдельным изданием выходит перевод повести Ж. Сталь «Мелина». В 1796 г. вышла отдельным изданием повесть «Юлия» (и через год — во французском переводе), первая книга «Аонид», два тома «Аглаи» вторым изданием, отдельным изданием «Бедная Лиза» и в конце года — отдельным изданием «Ода на случай присяги московских жителей императору Павлу I».

Одновременно был написан ряд стихотворений (среди них программного значения), которые публиковались в 1797 г. и позже.

Если вспомнить, что вся эта писательская и издательская деятельность требовала постоянных связей с типографиями и книгопродавцами (печатать вторые издания имело смысл, лишь когда разошлись первые, надо было следить за спросом), чтения корректур. Издание «Аонид» потребовало большой организационной работы по приглашению авторов, отбору текстов, вплоть до заботы о шрифтах и бумаге. Из письма Дмитриеву: «Дней пять занимаюсь я новым планом: выдать к новому году русский Almanach des Muses в маленькой формат, на голландской бумаге, и проч. Надеюсь на твою Музу: она может произвести к тому времени довольно хорошего. Михайло Матвеевич <Херасков>, Нелединской и проч. что-нибудь напишут; а ты мог бы в Петербурге сказать о том Гав<риле> Романовичу <Державину>, Львову, Козодавлеву и прочим. Они бы также дали нам несколько пиес. Начнем — а другие со временем возьмут на себя продолжение. Откроем сцену для русских стихотворцев, где бы могли они без стыда показываться публике. Отгоним прочь всех уродов, но призовем тех, которые имеют какой нибудь талант! Естьли мало наберется *хорошего*, поместим *изрядное*; но подлого, нечистого, каррикатурного, нам не надобно. Таким образом всякой год могли бы мы выдавать маленькую книжечку стихов — и дамам нашим не стыдно б было носить ее в кармане»[1]. Замысел этот реализовался под названием «Аониды».

Перед нами — развернутая программа весьма существенного издания. Прежде всего само название, под которым фигурировал альманах в замыслах Карамзина, свидетельствовало, во-первых, о стремлении ориентировать русскую поэзию на европейскую традицию и, во-вторых, об установке на то, чтобы занять равноправное место среди европейских литератур. Дело в том, что под названием L'almanach des Muses во Франции с 1764 г. выходило издание, считавшееся эталоном достижений французской поэзии. В 1770 г. Геттингенское общество поэтов начало издавать Musenalmanach, а в 1796 — в один год с Карамзиным — начал выходить Musenalmanach Шиллера. Русская поэзия, по мысли Карамзина, должна была изданием такого альманаха заявить о своей культурной зрелости, равноправно войдя в семью европейских муз. Но достижение этой цели мыслилось путем подчинения поэзии критериям «дамского вкуса», ориентации на изящество и утонченность вкусов культурной элиты.

За этой программой стоял и определенный идеал поэтической биографии. Поэт должен совмещать в себе светского человека и мудреца, разделять

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 61.

человеческие слабости своей аудитории и, духовно над ней возвышаясь, быть ее культурным руководителем. Литература должна быть профессиональной, но литераторы не должны образовывать отдельной касты. Постепенность перехода дилетантской поэзии в профессиональную стирает различие между писателем и читателем. Читатель, погруженный в литературную атмосферу, культурно возвышается.

Культурная ориентация Карамзина была лишена какой-либо политической окраски — она имела эстетический и этический характер. Но нельзя не видеть ее глубокого и упорного противостояния реакции. Реакция имеет не только социально-политический аспект — она органически связана с развращением общества, с разложением человеческой личности. Карамзин упорно «строил» свою личность и личность своих читателей. Человек, который верит в свою духовную ценность и которому уважать ценность другого человека естественно как дышать, — уже не слуга Зубова и не «верноподданный раб». Пушкинская Татьяна нигде на протяжении романа не высказывалась в духе политических освободительных идей и, вероятно, очень удивилась бы, если бы ей предложили на эту тему высказаться. Но только существование таких людей, и в частности таких женщин, в России сделало возможным само движение декабристов, которое иначе повисло бы в безвоздушном пространстве.

Мы говорили уже о том, что сын Плещеева Саша, которому Карамзин в Знаменском писал напутственные стихи, стал потом товарищем Жуковского и членом «Арзамаса». Теперь можно было бы вспомнить, что его сыновья, внуки Настасьи Ивановны, Алексей и Александр были арестованы по делу декабристов и встретились в Петропавловской крепости. Один из них, Алексей, поручик лейб-гвардии конного полка, вступил в 1823 г. в Северное общество, а по показаниям Свистунова и Анненкова был также и членом Южного. Его брат Александр был знаком с А. Одоевским и слышал от него о существовании тайного общества, но не донес. По данным «Алфавита декабристов», «присягнул покойно и во время мятежа исполнил долг свой со всею точностию»[1].

Семья Плещеевых не давала культурных лидеров — члены ее неизменно оказывались на периферии общественных движений. Но в определенном смысле это даже интереснее: мы видим массовое явление в его типичных рядовых участниках. То, что мы находим сына Настасьи Ивановны в роли арзамасского «Черного Врана» (дочь ее Александра — девочкой шести лет играет в то, что она «невеста» сорокалетнего А. М. Кутузова, которому она пишет чувствительные французские записки в письмах матери), а внуков — собеседниками Пестеля, Свистунова и А. Одоевского, глубоко символично.

Реки культуры текут по извилистым руслам.

[1] Восстание декабристов. Материалы. Л., 1925. Т. 8: Алфавит декабристов. С. 150.

В павловское царствование...

12 ноября 1796 г. Карамзин писал Дмитриеву, находившемуся в саратовской деревне: «Любезнейший мой Иван Иванович! Екатерины II не стало 6 ноября, и Павел I наш император. Увидим, какие будут перемены»[1]. Мы видели, какие надежды возлагались на Павла в кругах, к которым Карамзин был близок. Поэтому неудивительно, что он был настроен оптимистически. В письме к брату — преувеличенные надежды. Из девиза: «жить без страха и надежды» он готов, кажется, выполнять лишь первую часть: «Государь хочет царствовать с правдою и милосердием, и обещает подданым своим благополучие; намерен удаляться от войны и соблюдать нейтралитет в рассуждении воюющих держав. — Трубецкие, И. В. Лопухин, Новиков, награждены за претерпение; первые пожалованы сенаторами, Лопухин сделан секретарем при императоре, а Новиков, как слышно, будет университетским директором. Вероятно И. П. Тургенев будет также предметом государевой милости, когда приедет в Петербург»[2]. Так Карамзин пишет брату 17 декабря 1796 г., выбирая из потока слухов самые благоприятные и преувеличенные в хорошую сторону. Но радужные надежды надеждами, а опыт берет свое. Привычка помнить, что письма на почте читают, уже сложилась. Он явно думает о Кутузове, возможно, и о Радищеве, но предпочитает по почте об этом не писать. Думает он и о себе, но обходит этот вопрос по другой причине. В письме Дмитриеву от 29 декабря того же года он пишет: «Я мог бы ехать в Петербург; но не скажут ли, что я еду искать, добиваться и пр.?»[3] Это очень важное свидетельство. Из него вытекает, что, во-первых, Карамзин считал себя также без вины пострадавшим и, следовательно, имеющим право на государеву милость «за претерпение», как тогда выражались в подобных случаях. Во-вторых, ясно, что он не хотел этим правом воспользоваться, не желая обменивать независимость на милость и тем более самому домогаться этой милости. Наконец, важно, «не скажут ли». Карамзину нужна была независимость, чтобы чувствовать себя человеком, но чтобы быть писателем, ему было необходимо, чтобы читатель знал о его независимости. По Державину, чтобы выполнить свой долг, писатель должен быть вельможей-гражданином, для Карамзина он должен быть частным лицом и честным человеком. Вопреки распространенному мнению, поза писателя — светского человека не была лишена гражданственности: она отрицала не гражданственность, а государственность поэзии. И позже Карамзин, когда он бродил по царскосельским паркам под руку с императором Александром I, беседовал в Твери с его сестрой Екатериной Павловной, был гостем на интимных вечерах вдовствующей и царствующей императрицы, он неизменно видел

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 70.
[2] *Карамзин Н. М.* Письма к брату... С. VI.
[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 71.

пред собой частных лиц и светских знакомых. Принцип «ничего не принимать в подарок», «получать меньше, чем заслуживаешь» — залог независимости — на протяжении всей жизни оставался для него незыблемым. И не случайно, когда Николай I, демонстративно и напоказ, оказал умирающему писателю неслыханно щедрую денежную помощь, Карамзин... рассердился. Он почувствовал себя оскорбленным. Царь щедрыми деньгами оценил то, что не продается[1].

Карамзин не поехал в Петербург, но тем энергичнее готовился к расширению писательской деятельности.

Карамзин активно стремился к тому, чтобы русская литература получила признание у европейских ценителей. Еще в 1796 г. он, получив из Швейцарии письмо, свидетельствовавшее о том, что патриарх немецкой поэзии Клопшток интересуется его творчеством, писал в «Послании к женщинам»:

> Славнейшие творцы
> И Фебовы друзья, бессмертные певцы
> Меня в любви своей, в приязни уверяют
> И слабый мой талант к успехам ободряют.

Не в силах скрыть своего удовольствия, Карамзин, публикуя стихотворение в первом томе «Аонид», сделал к этим строкам примечание: «Например, великий Клопшток, которого я никогда не видал, и никогда не беспокоил письмами, уверяет меня в своей благосклонности, и хочет, чтобы я непременно прислал к нему все мои безделки. Признаюсь в слабости: это меня очень обрадовало!»

В последние семь лет царствования Екатерины II всякие связи с заграницей сделались подозрительными — от них приходилось максимально воздерживаться. А установка на то, чтобы русский писатель стал равноправным сочленом семьи европейских поэтов, была для Карамзина принципиальной. Тем скорее он направил свою активность именно в эту сторону в начале павловского царствования, когда ему показалось, что ограничениям этого рода пришел конец. Карамзин завязал тесные связи с журналом «Le Spectateur du Nord», французским журналом, выходящим в Гамбурге. Выбор органа был осуществлен очень умело и свидетельствовал о хорошей информированности Карамзина в профилях различных изданий. Это важно подчеркнуть, поскольку в письме к Дмитриеву Карамзин, в соответствии с принятой им позой, небрежно характеризует эту связь как случайную и возникшую для него совсем неожиданно. На самом деле это было, конечно, не так.

«Le Spectateur du Nord» издавался вне пределов Франции и в этом отношении не мог вызвать опасений у властей в России. Но одновременно положенная в основу издания тенденция к примирению умеренной эмиграции с революцией (также в ее умеренных границах) приводила к тому, что долгое время журнал беспрепятственно распространялся во Франции. Вместе с тем журнал, выходя на французском языке, посвящен был литературе северной Европы: в программу его входило знакомить французов с литературой и культурой Англии, Германии и Скандинавии. Усилиями Карамзина к этому

[1] См. об этом: *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. М., 1983. С. 145.

списку была прибавлена Россия. Таким образом, во всех отношениях журнал стоял *между*: между революцией и эмиграцией, между Францией и неизвестными ей культурами северной Европы. Такая позиция более всего удовлетворяла Карамзина.

Со своей стороны, и журнал занял энергичную прокарамзинскую позицию, что, конечно, придавало вес избранному Карамзиным направлению уже в русском контексте. В февральском номере гамбургского журнала за 1797 г. книжку открывал перевод повести Карамзина «Юлия» (перевод Булье; в том же году вышел в Москве отдельной книжкой, вероятно, при участии Карамзина). Публикуя повесть Карамзина, издатель «Северного зрителя» писал: «В проспекте журнала я обещал только анализ этой повести. Но поскольку она невелика, известна только в России и неизбежно потеряет в разборе часть своей прелести, я даю ее здесь полностью. Я делаю это тем более охотно, что, имея литературную сторону, она имеет также и нравственную, что превосходно соответствует заявленным мной целям. Этой повести достаточно, чтобы увидеть, что в стране, которую во Франции еще не разучились рассматривать как варварскую, есть писатели, соперничающие с Мармонтелем и Флорианом».

Выход русской литературы на общеевропейскую сцену соответствовал принципиальной ориентации Карамзина. К сожалению, мы не можем сказать, была ли эта попытка единственной и кто выступал в качестве посредника между Карамзиным и «Северным зрителем».

В 10-м (октябрьском) номере журнала была опубликована статья Карамзина «Письмо в „Зритель“ о русской литературе». Статья эта важна во многих отношениях: в ней европейская публика уведомлялась о находке «Слова о полку Игореве», давался реферат еще не опубликованных до конца «Писем русского путешественника» — ценное свидетельство для истории текста произведения, содержалась уникальная оценка Французской революции без оглядки на русскую цензуру и т. д. Для нас сейчас статья любопытна как свидетельство оптимистического настроения, владевшего Карамзиным в начале павловского царствования. Карамзин настолько был уверен в том, что теперь все цензурные трудности позади, что объявил европейским читателям *как вышедшую книгу* «Письма русского путешественника» в *пяти томах*. Это означало, что он надеялся беспрепятственно опубликовать парижские письма. На практике об этом оказалось невозможным даже мечтать. В 1797 г. удалось напечатать только четыре части, то есть то, что уже появилось в «Московском журнале». Остальные — пятая и шестая части (материалу оказалось больше, чем на одну часть) — увидели свет лишь в 1801 г. 4 июля 1797 г. Павел подписал указ о введении в России цензуры, что привело к возникновению настоящего цензурного террора. Так московская цензура запретила в 1797 г. роман девицы Демидовой из Калуги. Дело пошло на утверждение в специально учрежденный Цензурный совет, который, подтвердив запрещение, постановил о романе, что «если он подлинно сочинен девицею, то занималась она делами, совсем до нее не касающимися»[1].

[1] Цит. по: *Скабичевский А. М.* Очерки истории русской цензуры (1700—1863 гг.). СПб., 1892. С. 82.

Однако в 1797 г. столкновения Карамзина с цензурой еще впереди. Пока он настроен оптимистически. Даже во Французской революции он готов видеть великое историческое событие — неизбежный этап на пути прогресса. Ни до, ни после Карамзин не писал об этом то, что было им опубликовано в гамбургском журнале и, вероятно, содержалось в подготовленном им тогда и не дошедшем до нас варианте «Писем русского путешественника»: «Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается: я ее вижу, но Руссо ее предвидел. Прочтите примечание в «Эмиле», и книга выпадет из ваших рук. Я слышу декламации и «за» и «против», но я далек от того, чтобы подражать этим крикунам. Я признаюсь, что мысли мои об этом не достаточно зрелы. События следуют друг за другом как волны взволнованного моря, и есть еще люди, которые считают, что революция уже окончена! Нет! Нет! Мы еще увидим много удивительных вещей. Крайнее волнение умов служит этому предзнаменованием». В этом контексте достаточно решительно звучит утверждение, что «французский народ прошел через все степени цивилизации, чтобы оказаться на той вершине, на которой он находится в настоящее время», и что русские могут гордиться «быстрым полетом нашего народа к той же цели» (с. 454 и 453). Конечно, под «вершиной» понимаются не политические события во Франции, а достигнутый ею уровень просвещения, но все же самый придирчивый читатель не усмотрит в этих словах попытки осудить избранный Францией путь.

Карамзин вынашивает много планов. Энергия переполняет его. Он берется быть издателем Державина (хлопоты с этим изданием доставили ему потом много неприятностей). В начале 1798 г. Карамзин сообщает Дмитриеву: «Месяца через два пошлю извлечение из нового Русского Романа, который может быть никогда не выдет на Русском языке... хочешь знать титул? Картина жизни; но эта картина известна только самому живописцу или маляру; и не глазам его, а воображению»[1].

Замысел этот не был реализован. Гибель архива Карамзина не позволяет судить даже о том, дошло ли дело до каких-либо набросков текста. Между тем указание на то, что роман не сможет появиться по-русски, интригует. Может быть, тщательное изучение французских изданий той поры поможет, как в случае со статьей о Петре III и знаменской брошюрой, что-нибудь узнать. Центральным предприятием Карамзина в 1798 г. был, бесспорно, «Пантеон иностранной словесности». Характеризуя план издания, Карамзин писал Дмитриеву: «Я также работаю, то есть перевожу лучшие места из лучших иностранных авторов, древних и новых; иное для идей, иное для слога. Греки, Римляне, Французы, Немцы, Англичане, Итальянцы: вот мой магазин, в котором роюсь всякое утро часа по-три! Мне надобно переводить для кошелька моего; а как благоразумие велит осыпать необходимость цветами, то я в рассуждении переводов сочинил для себя огромный и *новый* план, которой мне *пока* очень нравится и оживляет труд охотою. Посмотрим, каково будет Цицероново, Бюффоново, Жан-Жаково красноречие на Русском

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 91.

языке!»[1] Через некоторое время он писал Дмитриеву о «Пантеоне»: «Это род журнала, посвященного иностранной Литературе»[2]. Ту же мысль издатель подчеркивал в предисловии журнала, говоря, что цель издания популяризаторская: он обращен к читателям, не знающим иностранных языков и, однако, интересующимся иностранной литературой.

Это, конечно, правда. Но не вся.

Правда была еще и в том, что Карамзин рассматривал это предприятие как лабораторию русской стилистики, задумав переводить разнообразные образцы мировой прозы на русский язык.

Правда была и в том, что в план издателя входило соединение широкой популяризации мировой литературы («Даже и восточная литература входит в план») и знакомство читателя с злободневными новинками: иначе «знающие Французской и прочие иностранные языки не стали бы читать моего собрания»[3].

Таким образом, была поставлена широкая просветительная задача: усвоения русской культуре вершинных текстов мировой и выработки адекватных средств передачи этих избранных текстов на русском языке.

Однако и это не исчерпывало замысла издателя.

На протяжении 1790-х гг. в мировоззрении Карамзина нарастали элементы субъективизма. Если еще в вопросах, задаваемых им Лафатеру и Канту, виделся ученик А. М. Кутузова, для которого согласование внутреннего (априорного) и внешнего (чувственного) познания всегда было загадкой, то с годами противоречие между бесспорностью нравственных истин и сомнительностью опытного знания все более развивалось в систему субъективистских представлений.

В 1792 г. Карамзин напечатал в «Московском журнале» «сказочку» Петрова «Прогулка Арабского Философа Ал-Рашида», где мудрец, научившийся понимать язык насекомых, услышал речь «престарелого насекомого, которое сидело одно на листке и само с собою говорило следующее: «Славные мудрецы моего рода, жившие за многие часы прежде меня, утверждали уже, что бытие мира сего не более осмнадцати часов продолжается, и мне кажется, что они говорили правду <...>. Хорошо бы еслиб слава моя продолжалась, хотя часов тридцать или сорок!» Ал-Рашид усмехнулся, но, подумавши, должен был ужаснуться своей усмешки; ибо *часы* или *годы* не все ли равно?» (МЖ, VI, 4, с. 19—22). Теперь, в 1797 г., Карамзин сам занес в записную книжку: «Время это лишь последовательность наших мыслей»[4]. И далее: «Душа наша способна к самопогружению (contournable en soi- même); она сама может составлять свое общество»[5]. Ср. в «Пантеоне»: «Ты сам себе лучший друг»[6].

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 93.

[2] Там же. С. 99.

[3] Там же. С. 93 и 98.

[4] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. Ч. 2. С. 199. Запись Карамзина на французском.

[5] Там же. С. 203.

[6] Пантеон иностранной словесности. М., 1798. Кн. 1. Т. 1. С. 48. В дальнейшем ссылки на «Пантеон...» даются в тексте сокращенно (П) с обозначением тома (римскими цифрами) и страницы.

Субъективизм воззрений среди многих философских последствий имел и такое: окружающие события и литературные произведения воспринимались, достигали души человека лишь в той мере, в какой они могли быть результатами ее самовыражения. Человек представал как бы окруженным зеркалами, в которых он видел лишь самого себя. С этих позиций разница между своим и чужим принципиально снималась. Свои душевные переживания можно было выражать с помощью переводов, как это в дальнейшем и делал Жуковский, а дневник превратить в сборник цитат и выписок (ср. «Чужое — мое сокровище» Батюшкова). Карамзин пошел дальше: он не только составил три больших тома выписок из древних, новых и новейших авторов — по сути собственную лирико-философскую исповедь, отличавшуюся поразительным единством, но и предложил эту исповедь читателям, одновременно раскрывая перед ними свой душевный мир и давая им образец для самовоспитания их личности.

Наконец, у замысла была еще одна сторона, не первостепенная для Карамзина начала 1798 г., но все же важная: цитатное построение материала облегчало возможные цензурные трудности и было исключительно ловким тактическим ходом, обнаруживавшим в философе и мечтателе литератора с практическим чутьем.

«Пантеон» поражает умением Карамзина из самых разнообразных источников сделать *один* текст. В основе — утверждение релятивности знаний: «И как не обманываться? Заблуждение в нас; наши понятия несправедливы, мнения неосновательны, знания неверны» (П, I. С. 225). Карамзин перевел отрывок из «Естественной истории человека» Бюффона, избрав именно то место, которое, как заметили уже современники, напоминало ход рассуждений в «Трактате об ощущениях» Кондильяка; зависимость же последнего от Беркли была указана еще Дидро. Под заглавием «Мысли первого человека при развитии его чувств» читатель находил: «И теперь еще живо помню ту минуту радости и смятения, когда в первый раз ощутил я чудесное бытие свое. Не зная, что я, где я, откуда взялся, открываю глаза: какое неописанное чувство. Мне кажется, что все предметы во мне и составляют часть моего существования. Смыкаю глаза... кажется мне, что я лишился почти всего бытия своего». «Вдруг слышу звуки... Слушаю — слушаю долго и полагаю, что сия гармония есть я». И далее: «Устремляю взор на тысячу разных вещей и примечаю, что могу терять и находить их, что имею власть разрушать и снова производить сию любезную часть самого себя». «Вдруг легкий свежий ветерок навевает на меня благоухание цветов... Внутренность души моей растворяется для нового приятного чувства. Наслаждаюсь и в наслаждении *люблю самого себя*». «Рука кажется мне теперь главным орудием бытия моего». Ощупав свое тело, «примечаю, что бытие мое, которое прежде казалось мне неизмеримым в пространстве, имеет пределы» (П, II. С. 38—43).

На такой философской основе — постоянном балансировании между сенсуализмом просветителей XVIII в. (ср. в «Разных мыслях. Из записок молодого Россиянина»: «На систему наших мыслей весьма сильно действует обед. Тот час после обеда человек мыслит не так, как перед обедом» — сентенцию, возмутившую Петрова, который назвал ее «человекоугодничес-

кой») и агностицизмом с сильной солипсической окраской — строился «Пантеон». Если в «Письмах русского путешественника» Карамзин утверждал, что состояние души — зеркало окружающего пейзажа, то теперь пейзаж — зеркало душевного состояния: «Внутреннее расположение сердца изливается на все наружные предметы. Щастливый путешественник видит везде *романические* места, дороги, усеянные цветами, и светлые прозрачные ручейки, каждая хижина есть для него жилище спокойствия, каждый город — театр Искусств и веселия; щастие расписывает все предметы блестящими красками». Путешественник был печален, и все окружающее представляло ему одну картину горести: «Он путешествовал летом: поля были сухи, дорога пыльна, жар несносен. Бедные жнецы казались ему тружениками, которые изнурением сил платят дань общему бедствию человеческого рода. Везде представлялась ему скудность, на каждой перемене окружали его карету нищие» (П, I. С. 157—159).

Такая система воззрений просто снимала социальный аспект. То, что Радищеву представлялось коренным злом объективной социальной системы, представало в облике настроения, внутреннего излияния души на внешние предметы. Но, снимая социальный аспект, этот подход не противоречил ни политическому, ни этическому, то есть отрицал революционность, но служил основой либеральных воззрений. А в условиях павловского режима это совсем не означало общественной пассивности. Два аспекта: просвещение народа и требование личной независимости — составляли основу воззрений Карамзина, основу, от которой он никогда не отказывался и относительно которой он никогда не испытывал никаких колебаний. И это не только клало резкую грань между ним и реакцией всех оттенков, но и отнюдь не гарантировало его от преследований, особенно в условиях павловского терроризма. Безупречное личное благородство и высоко развитое чувство чести — вещи, при Павле опасные для человека любых общественно-политических воззрений, — делали его позицию еще более уязвимой.

Уже в «Аглае», полемизируя с Руссо, Карамзин в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» на самом деле направил свои стрелы против тех, кто использовал страх правительства перед французской революцией для того, чтобы наложить узду на просвещение. В «Пантеоне» защита просвещения — особенно просвещения для народа — сделалась одним из центральных мотивов. В отрывке, демонстративно озаглавленном «Просвещение», читатель находил:

«Визирь Муссафер спросил однажды у великого Аарона-Рашида, с каким намерением заводит он Академии, школы и распространяет науки? «Не думаешь ли, о калиф! что просвещенный народ будет лучше повиноваться тебе?» Без сомнения, отвечал Аарон-Рашид, потому что он лучше будет судить о справедливости моих законов. «Но охотнее ли станет платить подати?» — Конечно: он увидит, что я не требую ничего излишнего. «Воины твои лучше ли будут сражаться?» — Гораздо лучше, под начальством знающих предводителей. «Но твои умники, твои мудрецы не вздумают ли вмешиваться в правление? О, царь царей! Не дерзнут ли они искать ошибок в делах твоих?» — Пусть ищут и находят; пусть скажут их мне, чтобы я впредь

остерегался и поступил лучше. «Как, ты позволишь, о светильник мира! философам своим говорить смело обо всем, что им придет на мысль?» — Иначе они не могли бы просвещать людей» (П, I. С. 138).

Это читал читатель «Пантеона» в 1798 г.

Конечно, просвещение должно было нести людям не торжество над природой, а моральное совершенство. Но уже то, что оно связывалось со свободой мысли и слова, не могло не показаться — и, как мы увидим, действительно показалось опасным — деятелям реакции.

Столь же острым делался и вопрос свободы личности. Становясь единственной бесспорной реальностью, данной человеку, его личность приобретала особую ценность. Правда, с одной стороны, она часто ценила внутреннюю свободу выше, чем зависимость от внешних обстоятельств, но зато, с другой, она решительно противостояла деспотизму этих внешних сил всеми доступными ей средствами, вплоть до самоуничтожения. Обращаясь к античным источникам и писателям XVIII в., «Пантеон» превозносил героизм Катона и других героев древности, предпочитавших смерть отсутствию свободы. Так, из «Фарсалии» Лукана Карамзин опубликовал отрывок «Катон в Ливии». Здесь Катон обращался к тем, кто встал под его знамена «единственно для того, чтобы умереть истинными Римлянами, и не чувствовать ига Цесарева», и призывал их «не думать о жизни» и «всем жертвовать законам, всем жертвовать погибающей Республике». Подчеркивается субъективный аспект подвига — намерение, а не результат: «Блестящий успех возвышает ли истинное достоинство?» «Если добродетель ценится сама собою, не имею нужды в успехе». «Я лучше хотел бы славно пройти с Катоном чрез Ливию, нежели три раза торжествовать с Помпеем» (П, III. С. 2, 19, 22).

И «римский» колорит гражданственности, и стоическая мораль подвига не могли не вызывать злободневных ассоциаций: римский маскарад французской революции был еще слишком свеж в памяти.

До какой степени остроты могли в условиях павловского режима доходить тираноборческие настроения Карамзина, свидетельствует стихотворение «Тацит», опубликованное автором в третьем томе «Аонид» (1798—1799):

ТАЦИТ

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть о нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

Смысл стихотворения несколько закамуфлирован, и это позволило ему беспрепятственно пройти через цензуру. Но Вяземский имел основание сослаться в 1826 г. на последний стих этого текста как на оправдание выступления декабристов. «Какой смысл этого стиха? — писал он. — На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному». Далее он приводил

слова И. И. Пущина и, солидаризируясь с ним, заключал, что «мера долготерпения в России преисполнена и что без подлости нельзя не воспользоваться пробившим часом»[1]. Карамзин, конечно, не делал таких выводов, до которых дошел возмущенный казнью декабристов Вяземский. Но мысль о том, что есть предел, за которым терпение из добродетели превращается в подлость, была им выражена с большой силой.

Существование «Пантеона» в том виде, который был ему придан издателем, в обстановке 1798 г. способно вызвать удивление. И не случайно журнал очень скоро стал подвергаться цензурным преследованиям. Это новоучрежденное заведение не замедлило показать свои когти. 27 июля 1798 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Весело быть первым, а мне и последним быть мешает цензура. Я перевел несколько речей из Демосфена, которые могли бы украсить «Пантеон»; но цензоры говорят, что Демосфен был республиканец, и что таких авторов переводить не должно и Цицирона также — и Саллюстия также. <...> Что же выдет из моего Пантеона? План издателя разрушился»[2]. И 18 августа ему же: «Цензура как черный медведь стоит на дороге»[3]. Продолжение «Пантеона» сделалось практически невозможным. Однако дело этим не ограничилось. 12 октября 1798 г. Карамзин писал Дмитриеву: «...я, как автор, могу исчезнуть заживо. Здешние цензоры при новой эдиции Аонид поставили Х на моем *послании к женщинам*. Такая же участь ожидает и Аглаю, и мои безделки, и письма Руск<ого> Путеш<ественника>, то есть, вероятно, что цензоры при новых изданиях захотят вымарывать и поправлять, а я лучше все брошу нежели соглашусь на такую гнусную операцию; и таким образом через год не останется в продаже может быть ни одного из моих Сочинений. Умирая *авторски*, восклицаю: да здравствует Российская Литература!»[4]

Вскоре произошла еще одна неприятность: Ф. Туманский прислал в 1791 г. Карамзину в «Московский журнал» несколько стихотворений. Карамзин их не стал печатать, а в письме к Дмитриеву посмеялся над плохими виршами. В январской книжке «Московского журнала» за 1791 г. Карамзин напечатал рецензию В. С. Подшивалова на книгу «Палефата греческого писателя о невероятных сказаниях. Преложил и примечаниями своими изъяснил Федор Туманский». Рецензия была резкой. Перечислялись ошибки против языка и грамматики, утрата смысла оригинала. Туманский отвечал выпадами против Карамзина в своих изданиях.

Но вот наступило павловское время. Была учреждена цензура во всех портовых городах, организована проверка иностранных книг. В Риге гражданским цензором был назначен Ф. Туманский. На этом посту он проявил не только усердие, но и прямое самоуправство, упиваясь доставшейся ему властью. Безобидного пастора Зейдера, содержавшего под Дерптом неболь-

---

[1] *Лотман Ю. М.* П. А. Вяземский и движение декабристов // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1960. Вып. 93. С. 133.

[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 97.

[3] Там же. С. 99.

[4] Там же. С. 103—104.

шую частную библиотеку, за то, что в ней содержались невинные рассказы Августа Лафонтена — писателя для детского и юношеского возраста, — он представил в доносе опасным заговорщиком, распространителем запрещенной литературы. Зейдер был приговорен к наказанию кнутом и ссылке в каторжные работы. Когда вышел немецкий перевод «Писем русского путешественника», Туманский не только запретил ввоз книги в Россию, но и представил по начальству донос, указав опасные, как он считал, места в книге. Судьба пастора Зейдера вполне могла стать и судьбой Карамзина, поскольку доносы Туманского шли в Петербургский совет цензуры, а тот, насмерть перепуганный, раболепно передавал их самому императору. От каприза и настроения Павла могла зависеть судьба не только книги, но и сочинителя. По счастью, донос пошел к императору через Ростопчина, бывшего тогда в зените милости. А Ростопчин, женатый на двоюродной сестре Настасьи Ивановны Плещеевой (позже, когда Карамзин женился на сестре Плещеевой Елизавете, они стали свояками), просто задержал донос, чем сам хвастался в разговоре с Дмитриевым.

Но доносы на Карамзина поступали и с других сторон. Особенно старался московский сенатор и очень плохой поэт П. И. Голенищев-Кутузов.

Положение Карамзина сделалось исключительно опасным. Не всегда же Ростопчин мог перехватывать доносы и класть их в карман. Да вскоре он и сам, хотя был беспринципным и ловким интриганом, попал в опалу. Печатать стало невозможно.

Но можно было думать...

Писательская деятельность Карамзина почти прекратилась: в 1799 г. он выпустил в свет только третий том «Аонид» и второе издание «Детского чтения», а в 1800-м и в первые месяцы 1801-го — до гибели Павла — ничего. Карамзин «авторски умер».

Не менее мучительно складывалась и личная жизнь писателя в эти годы. Настасья Ивановна была чувствительна и капризна, а в девяностые годы ее терзали болезни и долги. Деньги, подаренные Карамзиным, сразу разошлись, а сын женился, сестры, а затем и дочери стали невестами. Нежная платоническая дружба, вся сотканная из полутонов и полупризнаний, плохо выдерживала напор житейских забот. Каждому дню довлела злоба его. Карамзин спасался в Знаменском от московских доносов и сплетен, ославивших его «опасным», а в Москве — от знаменских «кружений сердца».

Дружба Карамзина с Настасьей Ивановной Плещеевой и ее мужем началась около 1785 г. По крайней мере, в 1795 г. Карамзин в «Послании к женщинам» писал:

> ...десять лет тот день благословляю,
> Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз...

Правда, к концу 1790-х гг. наступило известное охлаждение. По крайней мере, 25 июня 1799 г. Карамзин писал Дмитриеву, что Настасья Ивановна «давно уже обходится со мною холодно»[1], однако он продолжает хлопотать

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 113.

об улаживании запутанных дел Плещеевых, а в 1801 г. женится на ее сестре Елизавете.

Сентиментальная дружба с Настасьей Ивановной занимает значительное место в биографии Карамзина, и это заставляет нас остановиться на природе этого чувства. Прежде всего, следует отметить, что сам Карамзин превратил его из факта своей интимной биографии в факт культуры своего времени и своей литературной деятельности. Он не просто подчеркивал свои нежные чувства к этой женщине, но демонстративно (под прозрачным поэтическим псевдонимом Аглая) посвящал ей свои труды, писал ее имя на титульном листе своего альманаха, публиковал посвященные ей стихотворения, называл себя нежным другом нежнейшей женщины. Когда Павел I избрал своей дамой сердца Анну Лопухину и сделал ее объектом, видимо, платонического рыцарского культа, он также афишировал публично свое преклонение: дознавшись, что имя Анна (Ханна) по-древнееврейски означает «благодать», он назвал этим именем военный фрегат, приказал написать «благодать» на гренадерских шапках и корабельных флагах. Это было публичное признание в любви, пусть даже рыцарской fin amor[1]. Между тем Карамзин, публикуя в «Московском журнале» отрывок «Невинность», как бы заверил читателя, что нежное чувство, испытываемое издателем к его «Аглае», не есть любовь в привычном и традиционном значении этого слова.

В эпоху романтизма немало было сказано презрительных слов в адрес сентиментальной дружбы между женщиной и мужчиной. Романтик, ценивший силу страстей и признававший только «пламенные» чувства, видел в ней лишь душевную дряблость, искусственность, ложные и лживые эмоции века фарфоровых пастушков или же лицемерное прикрытие для испорченных нравов века. Эти страстные инвективы перешли на страницы исторических трудов, и полемика младшего современника заменяет хладнокровный анализ историка. На самом деле, перед нами серьезный культурный феномен, и в нем стоит разобраться беспристрастно.

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что сам глагол «любить» подвергся в кругу людей, причастных к «чувствительной» культуре, семантическому расширению: он начал употребляться в значении сильной сердечной склонности и мог не иметь какого бы то ни было оттенка эротизма. Соответственно с него было снято табу: из редко и лишь в особых ситуациях употребляемого слова он сделался одним из наиболее употребительных. Настасья Плещеева пишет Кутузову: «Ежели и вы перестанете меня любить, то я не знаю, как возмогу я перенести сие. Хотя у вас я всегда в десятых была, но что делать, по нещастию вы у меня в сердце не десятый и очень, очень я вас люблю». Не получив несколько недель писем от Кутузова, она ему пишет, используя лексику, которая могла бы казаться свидетельством любовной досады, если бы характер отношений этих корреспондентов нам не был доподлинно известен: «Я ясно увидела, что в сем мире люди все одинакие человеки, и все равны, привержены к изменам и ко всему подобному.

[1] Чистая (благородная) любовь (*фр.*).

По нещастью, я еще не сыскала в здешнем мире такого, кто бы подобно мне, нежно любить мог[1]; но теперь я о сем и не тужу; всякий любит своим манером, и я должна быть довольна тем, что есть люди, которые любят меня бескорыстно, прямым сердцем столько, сколько могут, из которого числа вы теперь совсем исключены. Я совершенно уверена, что вы не только не любите меня, но совершенно никогда и не думали». В ответе Кутузов просит: «Бога ради, не предавайтесь меланхолическому вашему расположению, старайтесь рассевать мрачные мысли, рождаемые им, и не огорчайте черным воображением неоцененные сладости дружбы» (обратим внимание на то, что частное письмо к женщине-другу он пишет слогом литературного произведения!). И далее: «Я, со своей стороны, не взирая на сказанное вами, уверен, что вы меня любите и любите по-прежнему»[2].

Приведем большой отрывок еще одного ее письма, интересного тем, что одни и те же выражения употребляются ею в жалобах на мужа и на Карамзина, хотя очевидно, что речь идет о разных чувствах и отношениях. При этом следует не забывать, что Настасья Ивановна, по крайней мере (год ее рождения мне неизвестен), на 12 лет старше Карамзина и характер отношений между ними абсолютно исключает какую-либо двусмысленность, что Кутузову, строгому моралисту, к которому обращено цитируемое письмо, конечно, известно:

«Божусь вам, что я боюсь сойти с ума: можно ль, что я всех так люблю много, а меня никто? Алексей Александрович <Плещеев> любит меня, это правда, но не так, как я его. Его пасмурный вид меня сокрушает, как бы я на него сердита ни была, а ежели он огорчится, то я уже плачу и прошу прощения. Усмешка на его лице делает меня довольной. Я чувствую уже в сердце от горя облегчение, когда я его спокойна вижу. Но[3] это ж он как плотит? Это правда, что он редкий супруг; то делает, что редкие могут сделать; но нет в нем той нежности, которую я имею. Он может видеть меня грустною и не спросит меня, о чем грущу. Это будто любовь! А друг мой Николай Михайлович совсем переменился. Не только не находит со мною удовольствия, он уже всеминутно скучает <...> одним словом, я вижу совершенно, что я ему такая тягость, как камень на сердце. Много, много бы я с вами говорила и плакала; знаю, что вы, если не от дружбы, то бы из жалости выслушали меня, пожалели бы обо мне. А чувствительному сердцу и то великое облегчение». И далее: «Вот говорят, что дружбы ничего на свете нет лучше, что она вечная и измены в ней не бывает. А я, право, любви не знаю, как в ней люди страдают, и не ведаю, но от дружбы во век мой много страдала». «Кто думал, чтобы Николай Михайлович перестал любить меня. Ан, вот это случилось! Он меня иногда уверяет, что любит; но в самое то же время говорит, что он имеет понятие о лучшем друге и о живейшей дружбе, — то неужели я могу думать, что человек может быть

---

[1] Когда это пишется, Настасья Ивановна уже около пятнадцати лет замужем, нежно любит своего супруга (ср. ее пьесу: «Le retour desiré») и имеет троих детей.

[2] *Барсков Я. Л.* Письма московских масонов... С. 148, 188 и 198—199.

[3] Полагаем, что здесь ошибка перлюстратора (письма дошли в копиях, изготовленных для почт-директора И. Б. Пестеля) и следует читать «на это».

доволен этакой дружбой? Вообразите ж себе, каково все это сносить!» Далее идет характерное напоминание: «Помните, что и вас я считаю за драгоценную вещь (очевидный галлицизм — chose. — *Ю. Л.*), что дружба ваша есть неоцененна».

К этому, выдержанному в повышенно-эмоциональных тонах, письму приложена бытовая записка совсем иных интонаций: «Алексей Александрович, слава Богу, здоров, не пишет за хлопотами; ежели его и милорда Рамзея ждать, то век не писать. Они уверяют — в четверг (то есть в следующий почтовый день. — *Ю. Л.*) писать будут». И наконец, к письму следует еще одна приписка — от «жены» Кутузова (так называют в дружеском кругу восьмилетнюю дочь Плещеевых Александрину. — *Ю. Л.*). Девочка пишет Кутузову пресерьезные французские и французско-русские письма:

«Милый мой друг! Желаю тебе всякого блага. Сделай милость, напиши ко мне особливое письмо. Как приедешь, услышишь, что я говорю по французски. Mon cher ami, venez me consoler de votre absence. Adieu, mon ami, je suis votre amie[1] Александра Плещеева»[2].

Малолетняя «жена» Кутузова также владеет языком чувствительности. Еще за год до этого, видимо, семилетняя Александрина писала ему с нежной изысканностью: «Mon cher ami! Je vous aime et vous aime beaucoup, beaucoup. Je souhaite vous voir bientôt. Je vous suis toujours fidèle. Votre fidèle amie

Alexandre de Pleschejeff-Coutousoff»[3].

Достойно внимания, что серьезные чувства Настасьи Ивановны и игра ее дочери выражаются одними и теми же словами. Еще более примечательно, что если убрать в письме Настасьи Ивановны имена, то невозможно будет отличить, где она говорит о муже, а где о друге. Дружба и любовь выражаются одними и теми же словами. И это не потому, как можно было бы думать, что дружба есть форма любви, ее эвфемистическое название для случаев, когда прямое наименование чувства было бы неудобно. Не дружба есть разновидность любви, а любовь — разновидность дружбы. Дружба — более обширное чувство, занимающее на шкале культурных ценностей времени порой более высокое место, чем любовь. Дружба связывает людей — мужчин и женщин — в союз, более обширный, чем любовный, и, заимствуя лексику у любви, очищает чувство от чувственности. Дружеская лексика совершенно одинакова, независимо от того, мужчине или женщине-другу пишется письмо.

В чем же историко-культурный смысл таких отношений между женщиной и мужчиной, при которых взаимная нежность «очищена» от эротического момента? В чем для участников этой игры прелесть отношений, смысл и природу которых мы можем понять, сопоставив с романтической эпохой. Для последней мужчина и женщина — друзья — это или будущие, или

---

[1] Дорогой мой друг! Приезжайте утешить меня в вашем отсутствии. Прощайте, друг мой. Ваш друг (*фр.*).

[2] *Барсков Я. Л.* Письма московских масонов... С. 131.

[3] Мой дорогой друг! Я вас люблю, я вас очень, очень люблю. Я желаю поскорее вас увидеть. Я неизменно вам верна. Ваш верный друг Александра Плещеева-Кутузова (*фр.*). (Там же. С. 6).

бывшие любовники. Их ожидает или пылкая страсть, или отчуждение. Поэтому такая дружба кратковременна, неверна и почти всегда — притворство, уловка кокетства, столь ненавистного ценящим искренность выше всего романтикам.

Чувствительная дружба — не любовь, хотя и тешит себя опасной игрой приближения к ее краю. И все же ценится она именно тем, что это *не любовь*, что можно годами быть в переписке с женщиной, вечерами просиживать у камина, слушая ее игру на клавикордах, читать с ней «Вертера», совершать чувствительные прогулки *и не любить ее*, не быть ее любовником и не ждать от нее чувственной любви. Можно как бы не замечать ее пола (разумеется, только «как бы») и, жертвуя временем, покоем, иногда деньгами, видеть в ней лишь нежного друга. В этом освобождении женщины от альтернативы: быть или женой, или любовницей — и предоставлении ей третьей возможности — быть другом (само слово не имеет формы женского рода!) был исторический смысл, который нам, возможно, раскроется из некоторых параллелей.

Французский салон XVII в. выработал особый тип женщины, который получил наименование «прециозниц» и перешел к потомкам, осмеянный Мольером в «Смешных жеманницах». Между тем это было серьезное явление, заслуживающее внимания историка. Если оставить в стороне смешные преувеличения, естественное следствие моды, то в «прециозницах» можно заметить интересные черты. Эти царицы салонов, изящные красавицы чем-то неожиданно напоминают русских нигилисток 1860-х гг. (Особенно нигилисток не разночинного происхождения, например, сестер Корвин-Круковских и их подруг.) Они не хотят быть женщинами: елико возможно уклоняются от браков, иногда откладывая их на десять и более лет и приводя в отчаяние своих поклонников. Их привлекают «неженские» занятия: их идеал — ученая женщина. Из наук пользуются престижем именно «неженские»: математика, астрономия, естествознание. Они изучают древние языки. Они вмешиваются в политику.

Мазарини во время заключения Пиренейского мира жаловался испанскому послу дону Луису де Харо: «Как вы счастливы! У вас, как и повсюду, существуют две разновидности женщин: в изобилии кокетки и ограниченное число порядочных женщин. Первые думают лишь о том, чтобы нравиться своим любовникам, вторые тем же озабочены относительно своих мужей. И те и другие желают лишь роскоши и удовлетворения своего тщеславия. Наши напротив — будь то скромницы, старухи, молодые, дуры или умницы — хотят вмешиваться во все дела. Порядочная женщина не ляжет в постель со своим мужем, а кокетка со своим любовником, если они еще не обсудили сегодня все государственные дела. Они хотят все знать, во все вникать и, что хуже всего, во все вмешиваться и все портить. Среди них есть такие, которые ежедневно ставят нас в затруднения, каких не знал и Вавилон»[1].

[1] *Lathuillère Roger.* La préciosité, étude historique et linguistique. Position du problème. Genéve: Librairie Droz, 1966. T. 1. P. 652.

Это была, бесспорно, ранняя форма борьбы за женское равноправие. Не случайно Мари де Гурней назвала свой небольшой трактат, вышедший в 1622 г., «Равенство мужчин и женщин». В романе аббата дела Пюра, одном из наиболее существенных источников по истории «прециозниц», его героини вооружаются против брака, власти мужей и родителей и обсуждают проблемы развода и ограничения деторождения. Их любимое занятие — состязание с мужчинами в уме, находчивости, тонкости суждений или поэтическом даре. Современники с раздражением отмечали, что из трех кавалеров: сурового воина, изрубленного на войне, модного щеголя и ученого аббата, кокетливого и надушенного, но говорящего по-латыни и рассуждающего о строении вселенной или смысле строки древнего автора, именно этот последний более всего имеет шансов на успех.

«Прециозницы» XVII в. миновали вместе со своей эпохой, но наследницами их сделались хозяйки салонов Парижа в XVIII в. То, что хозяйка салона была, как правило, женщина в летах, часто старуха, не мешало ей быть притягательным центром определенного культурного круга. Она привлекала сердца любезностью, привязанностью к своим друзьям, умением управлять беседой «высшей образованности» (Пушкин).

В русском салоне XVIII в. эта сторона его культурного образца не получила развития, хотя определенные тенденции к культурной эмансипации можно видеть в появлении женщин-писательниц в кругах Хераскова и Княжнина. Однако в целом положение женщины в послепетровской культуре было иначе ориентировано. Основным противником были здесь не мужчины как таковые, с их стремлением к господству, а сторонники «старых нравов», отрицавшие за женщиной право на любовь по своему выбору. Естественно, что главные усилия направлялись в этих условиях на культивирование любви и утверждение мысли о том, что она-то и есть единственное предназначение женщины. Как позже романтики, люди «европеизированной» русской культуры полагали, что именно в любви женщина реализует свою свободу. И поскольку всякое явление культуры под влиянием моды и быта получает в реальности упрощенного двойника, кокетка XVIII в. не думала предпочесть платонического умника понятному и привлекательному для нее щеголю. Средние века ценили в женщине душу и с подозрением, если не ужасом, косились на ее тело. «Просвещенный» XVIII век хотел видеть в женщине именно женщину, ее тело (Гейне играл и дразнил своих читателей, когда писал:

Но ты мне душу предлагаешь —
На кой мне черт душа твоя! —

но для массовой культуры XVIII в. это была непреложная истина).

Сентиментальная дружба вытекала из убеждения в том, что самое высокое в человеке — это *человек*. И в женщине надо видеть *человека*. А это возможно, лишь потеснив любовь и отдав высшее место чувству, которое уравнивало бы женщину и мужчину, делая признак пола необязательной, хотя именно поэтому острой, приправой. Таким чувством была дружба.

И именно поэтому отношения со знаменскими друзьями были для Карамзина не просто фактом его интимной биографии — он демонстративно связал их со своим творчеством, придал им (для эпохи, когда количество читающих не превышало нескольких сотен) публичность. Настасья Ивановна не была ни прециозницей, ни ученой женщиной, да это и не было нужно. Это было бы даже вредно, поскольку *человек* — это совсем не тот, кто про себя говорит: «Мыслю, следовательно, существую». Человек — существо чувствующее и чувствительное, человеческое раскрывается не в исключительных представителях рода человеческого — чем обычнее, тем человечнее. И Настасья Ивановна вполне могла бы сойти за «автора», писательницу или «прециозницу» из Голубого салона г-жи Рамбуйе: она была образована лучше, чем обычные провинциальные помещицы, а пожалуй, — и московские дамы: хорошо говорила и писала по-французски, сочиняла на французском языке рассказы и пьесы, руководила домашним театром, а позже даже издала книгу[1]. Но не это культивировала она в себе, а чувствительное сердце. Она это делала в простоте женского инстинкта. Но для Карамзина это превращалось в программу: человек, существо чувствующее и чувствительное, именно этим отличается от минералов и животных. Самые слабости его — залог человечности. Женщина — самая чувствительная и слабая часть человечества. Следовательно, именно в ней человеческое сконцентрировано в наибольшей мере. Именно она, своим чутьем, становится нравственным компасом общества и его художественным законодателем. Ее надо воспитать, развив ум и чувства, но сохранив непосредственность и того и другого.

Женская дружба сыграла огромную роль в жизни Карамзина: он остался сиротой в младенчестве, и потребность материнства проявилась в его юношеском влечении к «женской дружбе». Однако для нас сейчас интересны не спорные тайны подсознания, а то, как биографический факт преломлялся в карамзинской программе строительства своей личности.

Представление о том, что именно дружба как высшее единение освящает узы брака, под непосредственным влиянием Карамзина вошло в сознание поколения, сделалось частью «программы поведения» его наиболее культурной части и, замыкая круг, реализовалось и в человеческой биографии Карамзина. Именно как высокая дружба строились его отношения со второй женой, Екатериной Андреевной (в девичестве Колывановой). Потрясенный неожиданной смертью своей первой жены, Карамзин, вступая во второй брак, дал себе слово никогда не разлучаться с Екатериной Андреевной. Только два раза он не смог выдержать свою клятву: когда, отправив семью из Москвы в 1812 г., собирался участвовать в ее обороне и когда повез первые 8 томов «Истории» царю.

И когда в русской литературе — от пушкинской Татьяны до тургеневских героинь — женщина выступает в роли высшего нравственного критерия и

---

[1] Это было типично «дамское» сочинение: перевод книги французской писательницы Ла-Пренс-де-Бомон «Училище бедных, работников, слуг, ремесленников и всех нижнего класса людей» (М., 1808. Ч. 1—2; в 1834 г. в Петербурге вышло второе издание). Жуковский в «Вестнике Европы» расхвалил эту книгу.

писательского идеала именно потому, что она совмещает в себе и романтическую силу чувства, и карамзинскую готовность не сводить к любви предназначение женщины, мы отчетливо видим сложные пути развития идей. Литературный генезис женского идеала в России XIX в. исключительно сложен. Он вобрал в себя и декабристскую гражданственность, и тютчевское начало, и многое другое. Но карамзинская струя влилась в эту реку и придала ей свой оттенок.

А между тем в жизни Карамзина была еще одна, и немаловажная, сторона. Мы почти ничего не знаем о его сердечных увлечениях. А их было немало. Глухие отклики в письмах Дмитриеву говорят об этом красноречиво. 17 июня 1797 г. он пишет Дмитриеву: «Мне что-то все очень грустно». «Желаю только спокойствия Настасье Ивановне и семейству ее. Естьли жизнь моя нужна в свете, то разве для нее; не смотря на частые и смешные ссоры, она очень любит меня. Я также сердечно к ней привязан. Чрезмерно беспокоюсь, мой милый друг, о *другом* человеке; она поехала из Москвы больная, уверив меня самым нежным, самым трогательным образом в любви своей. Не знать, что с нею делается! жива ли, здорова ли она! Писать — но может быть ей не отдадут письма моего. Однакожь решусь. Часто вижу печальные сны, и делаюсь суеверным. Клянусь Богом, что готов отказаться от любви ее с тем условием, чтобы она была жива, здорова и щастлива»[1]. 10 августа 1797 г.: «Я, друг мой, надеюсь когда нибудь сделаться философом. Лет за десять перед сим, или больше, Н. И. Новиков, закладывая в воспитательном доме свой дом и деревню, просил меня быть в числе *личных* порук. Теперь выходит всей суммы около 150 000 рублей, и велено описать все наше имение; хотели даже описать и мои книги, и мои фраки. Таким образом я лишусь, может быть, и последнего. Поверишь ли, что это меня не трогает? Если бы только мои Плещеевы могли выпутаться из долгов, я согласился бы работать день и ночь для своего пропитания. — Прости, мой милой друг! Другое тревожит меня. Она живет или страдает в 10 верстах от Москвы, больна, кровь льется из груди, и я не могу видеть ее!»[2] Но уже 16 ноября в письме мелькает: «Я ныне *весь* в италиянском языке; сплю и вижу Метастазия; его Liberta знаю наизусть»[3]. «Liberta» — это свобода. Но «Liberta» Метастазио посвящено свободе любовника, расставшегося с ветреной любовницей и освободившегося от цепей страсти. И недаром — 10 декабря 1797 г.: «Милая и нещастная ветреница скатилась с моего сердечного горизонта без грозы и бури. Осталось одно нежное воспоминание, как тихая заря вечерняя»[4]. И тут же намек на какое-то новое увлечение. Летом 1800 г. меланхолическое письмо: «Прошли те лета, в которые сердце мое ждало себе в гости какого-то неописанного щастья; прошли годы тайных надежд и сладких мечтаний! Рассудок говорит, что мне уже поздно думать о приобретениях; даже и то, чем наслаждаюсь должно мало по малу исчезнуть. Так на шумном пиршестве утружденные

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 97.
[2] Там же. С. 79—80.
[3] Там же. С. 82.
[4] Там же. С. 83.

гости один за другим расходятся; музыка умолкает; залы пустеют, свечи гаснут, и хозяин ложится спать — один! Природа очень многое хорошо устроила; но для чего сердце не теряет желаний с потерею надежды? Для чего, например, перестав быть любезным, хотим еще быть любимыми?»[1] 15 ноября 1800 г.: «Настасья Ивановна скоро едет в Петербург. Ты не забудешь моей просьбы: ни слова, ни слова о моем расположении к известной тебе девице! Она есть ничто иное как страшная, безрассудная кокетка. <...> С княгинею я почти расстался. Суди теперь, на какую погоду указывает барометр моего сердца!»[2] С Настасьей Ивановной нельзя говорить на эти темы не только щадя ее чувство нежной дружбы. Есть и другая причина: Карамзин уже *почти* влюблен в ее младшую сестру Елизавету, которую знает еще ребенком, на которой женится в апреле 1801 г. и которая, родив ему дочь Софью, умрет через год после свадьбы.

«С бледным лицом, открытой головой, шел он около пятнадцати верст до Донского монастыря (от Свирлова под Москвой, где скончалась Елизавета Ивановна, до Донского монастыря, где ее похоронили. — *Ю. Л.*) подле печальной колесницы, положа руку на гробницу; сам опускал ее в могилу; бросил первую горсть земли. Друзья подошли к нему, предлагали ему место в карете. „Оставьте меня одного, — отвечал Карамзин, — приходите завтра. Присутствие ваше будет необходимо“»[3].

Мы остановились на этой стороне жизни писателя не случайно: для Карамзина любое разграничение биографии на «важные» и «неважные» ее стороны искажает перспективу (фактически такое разграничение, конечно, остается — уничтожить его невозможно: это означает лишь, что возведение того, что прежде считалось «неважным», «частным», в ранг основного составляет сознательную установку писателя). В связи с этим меняется и место, которое отводится «личным» чувствам и главному из них — любви к женщине. Как мы уже говорили, любовь в системе Карамзина стоит рядом с искусством. Можно вспомнить пушкинское:

> ...Из наслаждений жизни
> Одной любви Музыка уступает;
> Но и любовь мелодия...[4]

Любовь, как и искусство, является воспитателем, цивилизатором. Поэтому центр внимания переносится на ее одухотворение, «воспитание воспитателя». XVIII век узаконил место «страсти нежной» среди чувств, дозволенных человеку и являющихся предметом литературы и философии. Однако в борьбе

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 117.

[2] Там же. С. 119.

[3] *Бантыш-Каменский Д. Н.* Словарь достопамятных людей русской земли. СПб., 1847. Т. 2. С. 134.

[4] В альбом П. А. Бартеневой Пушкин записал другой вариант этих строк:
> Из наслаждений жизни
> Одной любви музыка уступает
> Но и любовь Гармония.

(Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 661.)

со средневеково-религиозными концепциями любви «небесной» или аскетического торжества над этим чувством вперед выдвинулось представление о любви-счастье и любви-наслаждении. Сенсуалистическая философия придавала теории страстей чувственный (в философском, а не бытовом значении этого слова) характер. Так, Кондильяк в «Трактате об ощущениях» утверждал, что мы любим то, что приятно действует на наши органы чувств, и сильнее любим то, что сильнее и приятнее на них действует. Переходя со страниц книг в сферу реального поведения людей, идея чувственности теряла свой философский характер и обретала упрощенно-бытовой. В соединении с общим моральным упадком «старого общества», «новая» философия давала порой неожиданные плоды, реализуясь в уродливых гримасах светского поведения.

Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя,
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшалых слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.

В воспоминаниях А. Е. Лабзиной есть любопытный рассказ о разговоре ее с ее первым мужем, известным химиком и естествоиспытателем А. М. Карамышевым. Когда она стала его упрекать в том, что он заводит любовниц, он ей отвечал: «Разве ты думаешь, что я могу тебя променять на тех девок, о которых ты говоришь? Ты всегда моя жена и друг, а это — только для препровождения времени и для удовольствия». — «Да что ж это такое? Я не могу понять, как без любви можно иметь любовниц? Ежели бы со мной сие случилось, то я бы перестала тебя любить, но это выходит — скотство и грех перед Богом и нарушение тех клятв, которые ты давал мне перед Евангелием! Остерегайся, мой друг, чтоб правосудие Божие не постигло тебя!» Он засмеялся и сказал: «Как ты мила тогда, когда начинаешь философствовать! Я тебя уверяю, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное, и я не подвержен никакому ответу»[1]. Превращение «наслаждения натурального» в одухотворенное культурой чувство ставит его в один ряд с высшими проявлениями духовной жизни. Отсюда в любви ценятся черты, удаляющие ее от непосредственно физического влечения. Высокую оценку получает страдание. Это сближает любовь с гражданскими чувствами, где также способность страдания — критерий высоты и достоинства. Как Катон в «Пантеоне» (из Лукана) призывал «терпеть величайшие бедствия» и слова «счастливый человек» употреблял уничижительно, так и «героизм любви» проявляется в самопожертвовании и готовности к бедствиям.

[1] *Лабзина А. Е.* Воспоминания. СПб., 1903. С. 77.

В искусстве карамзинисты ценят «элегантность» (ненавистное Шишкову слово!), в любви ей соответствует «деликатность», тонкость чувства, способность воспринимать оттенки и степени его. Как и в искусстве, законодателями в любви должны быть в данной системе культурных ценностей женщины. «Дамский вкус» и здесь признается высшим авторитетом. Более того, женщине отводится высокая общественная роль воспитателя. Именно она одухотворяет общество и облагораживает чувства мужчин.

И здесь проявляется еще одна существенная сторона позиции Карамзина. Когда он апеллировал к дамскому вкусу в литературе или к языку светского общества, он имел в виду не реальных дам и не реальное светское общество своей эпохи: в свете говорили по-французски, а современницы Карамзина русских книг не читали.

Чувственная любовь всегда направлена на объект, сентиментальная любовь-дружба была адресована *другой личности*, самостоятельному субъекту чувства. Монолог сменялся диалогом, подавление — равноправием. Ослаблялась энергия чувства, но увеличивалась его толерантность. «Рёва», «плакса» — новая маска в новом любовном сценарии.

Он имел в виду общество, которое еще предстоит создать усилиями литературы, в первую очередь его, Карамзина, собственным творчеством (литература должна учиться языку у общества, но сначала нужно это общество создать!). В равной мере дамский вкус должен стать законодателем в литературе, но предварительно литература — его, Карамзина, произведения — должна воспитать этот самый дамский вкус.

Точно так же и в любви. Женщины — воспитательницы чувств. Но их чувства следует воспитать. И это достигается собственным поведением поэта, которое, превращенное в его поэзию и воспринимаемое сквозь призму его поэзии, делается образцом «чувствительной» любви.

Воспитание чувств, культура душевной жизни для Карамзина единственно реальный путь прогресса. Поэтому разграничение общественного и личного для него совершенно бессмысленно: только в личном совершается общественное. Но как писатель может воспитывать общество, когда цензура принуждает его к молчанию? Карамзин ищет путей. Он пытается одухотворить жизнь салона, превращая его в оазис культуры, напоминающий блестящие кружки Ренессанса или философские салоны XVIII в. Неподвластная цензуре устная культура салона — смесь игры и философии — исподволь подчиняется общественно-воспитательным задачам. Карамзин, страстный сторонник замены в светском обществе французского языка русским, готов даже стать французским писателем, чтобы приохотить русских дам к литературе и выиграть сражение на поле противника. В этом смысле интересен один загадочный эпизод из творческой биографии писателя.

В письме из Парижа, помеченном «июня...», «Писем русского путешественника» Карамзин поместил сцену в салоне госпожи Гло*. Путешественник узнает, что завтра в салоне «будет *чтение*. Аббат Д* привезет мысли о любви, сочинение сестры его, Маркизы Л*». «В 9 часов хозяйка вызвала аббата Д* на сцену. Все окружили софу. Чтец вынул из кармана розовую тетрадку, сказал что-то забавное и начал. <...> Жаль, что я не могу от слова до слова

пересказать вам мыслей Автора». Далее идут отрывки, «которые остались» у путешественника «в памяти». «Слушатели при всякой фразе говорили: *браво*! c'est beau, c'est ingénieux, c'est sublime[1], а я думал: *хорошо, изрядно, высокопарно, темно, и совсем не женской язык*!» (с. 289). Письмо это относится к той части «Писем», корректуру которой Карамзин читал летом 1796 г. Книга вышла в конце января 1797 г. (объявление о выходе см. в «Московских ведомостях» от 28 января). А в письме Дмитриеву от 10 декабря 1797 г., признаваясь в новых любовных увлечениях («Боюсь кораблекрушения, но распускаю парусы! Досадное сердце не слушает рассудка»), он посылает на французском языке обширный текст «Несколько мыслей о любви» и сопровождает его следующим примечанием: «Прилагаю Quelques idées sur l'amour. Не сказывай никому, что эта пиэса моя. Я назвал ее сочинением одной дамы; и так не противоречь мне»[2].

Текст, посланный Дмитриеву, — другой по сравнению с опубликованным в «Письмах». Естественно возникает вопрос: что такое «Несколько мыслей о любви» и с какой целью они написаны? В письме Дмитриеву, писанном в последний день 1797 г., видимо, отвечая на недоуменные вопросы или критику корреспондента, Карамзин писал: «Мысли мои о *любви* брошены на бумагу в одну минуту; я не думал писать трактат, а хотел единственно сказать, *по тогдашнему моему чувству*, что любовь сильнее всего, святее всего, *несказаннее* всего»[3]. Слова эти, представляющие «Мысли» некоторым лирическим излиянием, непроизвольным голосом влюбленного сердца, противоречат тому, что Карамзин приписал авторство некоей неизвестной нам даме и достаточно широко распространял. Последнее вытекает из просьбы не разоблачать в Петербурге затеянную Карамзиным в Москве литературную мистификацию. Просьба эта могла иметь смысл, только если Карамзин распространял или собирался распространить свое сочинение в определенном кругу.

Какую цель могли иметь эти действия?

Парижская дама (вероятно, также вымышленная Карамзиным), по его же оценке, изъяснялась «высокопарно, темно» и употребляла «совсем не женской язык». Можно предположить, что в «Мыслях» Карамзин хотел дать образец языка подлинной страсти. В письме к Дмитриеву он настойчиво противопоставлял «рассуждение о страсти», «философию» — голосу страсти, излиянию чувства: «Философия и страстная любовь не могут быть дружны», «рассуждать о страстях может лишь равнодушный человек»[4]. Еще важнее было другое: Карамзин, видимо, хотел дать образец «женского языка».

Это был замысел педагога и популяризатора: от женщин зависит воспитание. Следовательно, надо воспитывать женщин. А для этого их надо приохотить к литературе и одновременно облечь их чувства в благородные книжно-письменные формы выражения и тем самым облагородить самые

---

[1] Прекрасно, остроумно, возвышенно (*фр.*).

[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 84.

[3] Там же. С. 89.

[4] Там же.

чувства. Все это будет достигнуто, если женщины сделаются писательницами. Не беда, что сначала они будут писать по-французски. Ведь еще летом 1824 г. Пушкин считал этот язык естественным для выражения женской любви:

Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски.

Если мы правильно расшифровали замысел Карамзина, то делается понятным и его желание скрыть свое авторство за вымышленным лицом мифической дамы — следовало показать пример и убедить, что женщина *может* быть изящным сочинителем. Требование русской речи придет позже. Итак, мы снова перед парадоксом языковой программы Карамзина: ориентироваться на читателя и одновременно создавать своего читателя. И здесь мы вновь видим ученика Новикова — воспитателя, продумывающего поэтапность воспитания с тем, чтобы каждый раз давать воспитуемому посильное и понятное, последовательно усложняя задачу. Но здесь и разница: Новиков воспитывает нравственность, накладывая на души учеников возрастающее «бремя неудобь носимое», Карамзин — культуру, искусство жить и чувствовать, стремясь сделать бремя легким и приятным, соответствующим слабостям человеческой натуры.

Последние годы века были для Карамзина тяжелыми, и успехи в московских салонах не могли их украсить. История загадывала кровавые загадки Сфинкса и, подобно Сфинксу, грозила пожрать неспособных разгадать ее тайны. Личная жизнь была тяжела и запутана. Путь был уже избран — профессиональный писательский труд. Но как идти по этому пути с поднятой головой, не жертвуя ни независимостью, ни честью, ни убеждениями? Как быть литератором, когда литература «лежит под лавкой»?

Но именно в это трудное время шло напряженное созревание писателя, трудное «сотворение себя».

Период сотворения собственной личности завершился для Карамзина тяжелым катарсисом. Не только мрачные переживания, но и тяжелая физическая болезнь отмечают рубеж, который делит его жизнь на две большие полосы. 7 февраля 1799 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Я не задохнувшись не могу взойти на самое низкое крыльцо, бледнею, худею, и плачу от истерики, как женщина». А в октябре 1799 г.: «Желаю только одного: умереть покойно»[1].

Он считал, что умирает.

Он не умер. Но начало нового века было для него и началом новой жизни. Период «строительства» своей личности завершился. Карамзин вошел в девятнадцатый век другим человеком.

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 109 и 113.

На рубеже

Карамзин не умер — ему предстояло еще четверть века жить, творить и быть свидетелем, «собеседником на пиру богов» — участником величайших событий. Путь продолжался.

Было бы ошибкой думать, что произошло чудесное мифологическое превращение; и «новый» Карамзин был совсем другим человеком, ничем не связанным со «старым». Путь был единым, и по нему шел все тот же человек. Он по-прежнему ощущал себя путешественником. Только если в 1790-е гг. путешественник по Европе сменился путешественником в мир фантазии, то теперь это был трезвый и строгий путешественник в царство политики и истории.

Карамзин — не старик. Он начинает новую жизнь: заново женится и избирает совершенно новое поле деятельности, поле, требующее не только таланта и труда, но и совсем новых знаний и навыков.

Пушкин, отмечая, что Карамзин в зрелых годах и на вершине славы как бы начал второй раз юношеский труд учения, писал: «У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина, — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты (то есть примечания. — *Ю. Л.*) *Русск<ой> ист<ории>* свидетельствуют обширную ученость Кар<амзина>, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению»[1].

Карамзин не мог бы начать этой второй жизни, если бы не прожил первой. И все же он другой человек. Карамзин XVIII в. весь пронизан был игрой. Его личность могла себя выразить только в многоликости. А господство эстетического подхода позволяло ему примерять различные и взаимоисключающие маски и жесты.

Противоречий сих в порок не должно ставить
Любимцам нежных муз; их дело выражать
Оттенки разных чувств, не мысли соглашать;
Их дело не решать, но трогать и забавить.

Этот облик личности не исчез, но отступил глубоко на задний план. И. И. Дмитриев связал в свое время многообразие личности с сентиментальной чувствительностью, сочинив подпись к портрету Карамзина:

Он дома — иль Шолье, иль Юм или Платон[2];
Со мною — милый друг; у Вейлер — селадон;

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 305—306.

[2] То есть поэт, или историк, или философ.

Бывает и игрок — когда у Киселева[1]
А у любовницы — иль ангел, или рева[2].

Пародисты и литературные неприятели еще продолжали по старой памяти именовать его Ахалкиным или Новым Стерном. Но Карамзин был уже другим. Утративший иллюзии, сдержанный, внешне суховатый, запретивший себе мечты о счастье, постоянно погруженный мыслями в судьбы народов, он уже не был ни «селадоном», ни «ревой».

Вспомним впечатление Жермены де Сталь, которая встретилась с Карамзиным в Швейцарии и оставила в своей записной книжке краткую строку: «Сухой француз — вот и всё»[3]. Госпожа де Сталь привыкла к поклонению и настроена была романтически. Она простила бы любую экзотику, любой эксцентризм поведения «московита» — но встретила человека, которого уже нельзя было удивить ничем, в том числе ни блестками салонного красноречия, ни даже ореолом жертвы наполеоновских гонений. Забавно слушать от нее слово «француз» как осуждение, но Карамзин давно уже был выше того, чтобы напоказ украшать себя каким-либо «местным колоритом».

В 1790-е гг. Карамзин сделался свидетелем крушения надежд целой исторической эпохи. Он вышел из этого горнила закаленным, но и с душой, покрытой шрамами. Отпала игра, отброшено было все показное. В его характере не осталось ничего, что можно было бы назвать суетностью. Появилось величие. Он ничего не ждал от жизни *для себя*.

Характер сложился, но развитие личности не остановилось. Да и не мог остановиться мыслящий и чувствующий человек, которому предстояло быть свидетелем событий, ждавших Карамзина впереди.

Новый век начался новым царствованием. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Павел I был убит. На престоле оказался Александр I. Жители столиц ликовали. В Карамзине проснулся дух политика.

В 1801 г. Карамзин приветствовал нового императора политическим нравоучением:

Сколь трудно править самовластно,
И небу лишь отчет давать!..
...Но можно ли рабу любить?
Ему ли благодарным быть?
Любовь со страхом не совместна;
Душа свободная одна
Для чувств ее сотворена.

Тогда же, на рубеже двух веков и двух периодов своего творчества, он написал «Историческое похвальное слово Екатерине II». Тема была подска-

---

[1] Д. И. Киселев, московский барин, живший открытым домом, «старый, добрый приятель» Карамзина (см.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 289). По утверждению М. Н. Лонгинова, «в его доме много играли в карты».

[2] *Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 335.

[3] *Balayé Simone.* Les carnets de voyage de Madame de Staël. Contribution à la genèse de ses oeuvres. Genève, Droz, 1971. P. 292.

зана тем, что Александр I в манифесте, объявлявшем о вступлении его на престол, обещал царствовать «по законам и по сердцу августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины Вторыя». Каким Карамзин представлял себе царствование Екатерины II, он сам сказал Александру I позже, в 1811 г., в безжалостной «Записке о древней и новой России». Сейчас он предпочел под именем Екатерины начертать идеальный образ, своего рода монархическую утопию.

«Историческое похвальное слово Екатерине II» противоречиво — это произведение переходной эпохи. Карамзин защищает самодержавие как единственно подходящую форму для обширной империи и для нынешнего состояния нравственности. Это не мешает ему подчеркивать, что в идеале, для общества, воспитанного на гражданской добродетели, республика предпочтительнее. Но «Республика без добродетели и геройской любви к отечеству есть неодушевленный труп»[1]. Это была формула «республиканизма в душе», к которой Карамзин впоследствии прибегал неоднократно и которая не могла убедить его революционных современников. Однако поражает тон сочинения. Оно начинается обращением не к «любезным читателям», а так, будто ее предстоит читать перед многолюдным собранием патриотов: «Сограждане!» Это, вероятно, первый случай, когда русский писатель так обращался к своим читателям. Так защищать самодержавие мог только человек, впитавший красноречие Национального собрания. Карамзин защищал власть, ограничивающую свободу, но защищал ее как свободный человек.

Да и самодержавие в его изложении выглядело необычно. Это не был безграничный деспотизм. Свобода и безопасность отдельной личности, частного лица была той стеной, перед которой должна была остановиться власть любого самодержца. Екатерина, в изображении Карамзина, «уважала в подданном сан человека, нравственного существа, созданного для щастия в гражданской жизни». «Она знала, что личная безопасность есть первое для человека благо, и что без нее жизнь наша, среди всех иных способов щастия и наслаждения, есть вечное, мучительное беспокойство»[2]. При этом Карамзин ссылается на первый манифест Екатерины II и на ее Наказ — оба документа, как он, конечно, знал, были негласно дезавуированы самим правительством.

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 1. С. 297.
[2] Там же. С. 302—304.

Политик

Карамзин не любил политики. Для философов XVIII в. слово «политика» звучало как нечто тайное, основанное на коварстве и порожденное злоупотреблениями абсолютизма. Ей противостояли открытая речь оратора к народу или публичная дискуссия народных представителей. «Политика гораздо в большей мере имеет источником извращенность человеческого ума, чем его величие», — писал Вольтер (позже в тон ему Бальзак скажет: «Великий политик должен быть негодяем, погруженным в абстракции»). Карамзин разделял эти представления. В опубликованной в 1798 г. части «Писем», описывая могилу Ришелье, он замечал: «Я представил бы Кардинала не с Христианскою, святою Религиею, а с чудовищем, которое называется *Политикою*, и которое описывает Вольтер в Генриаде:

Дщерь гордости властолюбивой,
Обманов и коварства мать,
Все виды может принимать:
Казаться мирною, правдивой,
Покойною в опасный час;
Но сон вовеки не смыкает
Ея глубоко-впавших глаз;
Она трудится, вымышляет;
Печать у Истины берет
И взоры обольщает ею;
За Небо будто восстает,
Но адской злобою своею
Разит лишь собственных врагов» (с. 282).

Тем более удивляет решение Карамзина издавать (неслыханная в России вещь!) политический журнал. Подобно тому, как прежде он стремился формировать вкусы читателей, теперь он ставит перед собой цель образовывать их политические воззрения, создавать в России общественное мнение. Желание «построить тихий кров / За мрачной сению лесов», кажется, забыто. 9 октября 1801 г. в № 81 «Московских ведомостей» появилось объявление, уведомлявшее читателей от имени Карамзина: «С будущего Января 1802 году намерен я издавать Журнал, под именем Вестника Европы, которой будет извлечением из двенадцати лучших Английских, Французских и Немецких журналов. Литература и Политика составят две главных части его». Уже в первом номере обнаружилось, что именно раздел политики — основа журнала: другой раздел назывался «Литература и смесь», и, несмотря на то что в нем за два года было опубликовано несколько важных повестей издателя, основной материал раздела составляли мелкие заметки и переводы из Жанлис, Дюкре-Дюмениля, Гарве — писателей, которых Пушкин в 1830 г. назвал грибами, «выросшими у корн<ей> дубов»[1]. Зато в разделе политики систематически

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 496.

печатались программные статьи самого издателя. Это было решительным новшеством. В России политических журналов доселе не бывало вообще. Правда, в 1790 г. ученик Новикова П. А. Сохацкий начал издавать «Политический журнал» (с переменой названия выходил до 1830 г.), но это было полностью переводное предприятие — дословная копия гамбургского консервативного издания. Никакой роли в русской общественной жизни журнал этот не сыграл. Кроме того, Сохацкий издавал свой журнал по инициативе куратора московского университета Мелиссино, то есть от имени авторитетного учреждения, а на титуле значилось, что и в Гамбурге изданием ведает «Общество ученых мужей». «Политический журнал» был официальным изданием. Карамзин же был частное лицо, и решение его издавать политический журнал воспринималось если не как дерзость (времена все же были либеральные), то, по крайней мере, как смелость.

Успех превзошел все ожидания: число подписчиков достигло огромной по тем временам цифры в 1200 человек. Первую книжку журнала, которая вышла, когда подписчиков было 580 (Карамзин и тогда считал, что «пренумерантов немало»), пришлось допечатывать.

Политическая позиция издателя была ясно заявлена уже в первом номере. Здесь было опубликовано «Письмо к издателю» (автором был сам Карамзин), в котором выражалась надежда, что «вся Европа, наскучив беспорядками и кровопролитием, заключает мир, который, по всем вероятностям, будет тверд и продолжителен». Время смут и мятежей окончилось. Наступило время мира и спокойствия.

События конца XVIII в. были, по мнению Карамзина, попыткой воплотить в жизнь утопии республики или идеального романтического самодержавия. И то и другое обернулось кровью. «Что сделали Якобинцы в отношении к Республикам, то Павел сделал в отношении к Самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного»[1].

Робеспьер хотел сделать французов римскими республиканцами, Павел русских — идеальными вассалами рыцарских романов или оловянными солдатиками прусского короля. И то и другое были химеры. Теперь наступил век трезвой реальности, и «мечтательная» философия уступает место политическому реализму. Политический реализм — программа Карамзина в период «Вестника Европы».

Весь материал «Вестника» строго организован вокруг двух идеальных центров: положительного образа государственного мужа — практика, твердо направляющего к общему благу легкомысленных и эгоистичных людей, от которых он не требует чрезвычайных добродетелей и слабостями которых умеет пользоваться, и гибельного образа мечтателя на престоле, самые добрые намерения которого обращаются во вред государству.

Первый образ устойчиво связывается с фигурой Наполеона Бонапарта, первого консула Французской республики.

«Вестник Европы» Карамзина — журнал откровенно бонапартистский.

---

[1] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 42.

Для современного нам читателя это звучит странно. В 1802 г. это выглядело иначе. С. Н. Глинка, известный патриот, провозглашавший в 1812 г. Наполеона людоедом и сыгравший своим журналом «Русский вестник» немалую роль в возбуждении «отечественнолюбивого духа» в русском обществе, на рубеже веков был пламенным бонапартистом. Эти чувства разделял с ним его друг А. А. Тучков, в будущем герой Бородинского сражения, погибший со знаменем в руках у Семеновского редута. С. Глинка позже вспоминал: «С отплытием Наполеона к берегам Египта мы следили за подвигами нового Кесаря; мы думали его славой; его славой расцветала для нас новая жизнь. Верх желаний наших было тогда, чтобы в числе простых рядовых находиться под его знаменами. Но не одни мы так думали и не одни к этому стремились. Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом». «На чреде консула он казался нам потомком Камиллов, Фабрициев и Цинцинатов»[1].

Л. Н. Толстой, глубоко проникший в неуловимые оттенки духа времени, порой ускользающие от внимания историков, не случайно сделал в первых главах «Войны и мира» и князя Андрея Болконского, и Пьера Безухова бонапартистами.

Уже в первом номере «Вестника» Карамзин опубликовал «Всеобщее обозрение», ясно выражавшее программу издателя: «Кто не занимался ею (французской революцией. — *Ю. Л.*) с живейшим чувством, кто не желал ревностно успехов той или другой стороне (какой стороне желал успехов сам издатель, благоразумно не уточняется. — *Ю. Л.*)? И многие ли сохранили до конца сей войны то мнение о вещах и людях, которое имели они при ее начале?» Положение Франции оценивается сквозь призму представлений о принципате Августа или идей «республиканской монархии» Руссо: «Франция, несмотря на имя республики, есть теперь в самом деле ничто иное, как истинная монархия». В свете этого дается и деятельность первого консула: «Он, конечно, заслуживает признательность Франции и почтение всех людей, умеющих ценить чрезвычайные действия геройства и разума. Его внешняя политика и внутреннее правление достойны удивления не менее Маренгской победы»[2]. Особо выделяется «надпартийность» первого консула, его стремление выбирать сотрудников, руководствуясь практическими соображениями их годности, а не доктринами: «Бонапарте не подражает Директории, не ищет союза той или другой партии, но ставит себя выше их и выбирает только способных людей, предпочитая иногда бывшего дворянина и Роялиста искреннему Республиканцу, иногда Республиканца Роялисту»[3]. Вообще же отношение к роялистам, находящимся в эмиграции, не примирившимся с Францией и мечтающим о реставрации, более чем прохладное: «Роялисты должны безмолвствовать. Они не умели спасти своего доброго короля, не хотели погибнуть с оружием в руках, а хотят только возмущать умы слабых людей гнусными клеветами <...> Франции не стыдно повиноваться Наполеону

[1] *Глинка С. Н.* Указ. соч. С. 194 и 214.
[2] Вестник Европы. 1802. № 1. С. 66—78.
[3] Там же. № 9. С. 66.

Бонапарте, когда она повиновалась госпоже Помпадур и Дю-Барри». «Мы не знаем предков консула, но знаем его — и довольно»[1].

Абсолютная власть в руках первого консула позволяет ему выступать в роли примирителя и возвышаться над эгоизмом отдельных воль частных лиц и политических деятелей. «В консульском совете ему смело противоречат, он слушает, доказывает и делает по-своему, когда уверен, что лучше других видит». «Всякий благоразумной уверен в необходимости консульской власти, которая должна *все соглашать и все устремлять к общей цели* (курсив мой. — *Ю. Л.*). Бонапарте пользуется талантами людей, не принимая никаких внушений личной вражды и не думая о их частном образе мыслей. Таллеран не любит Фуше, Фуше не терпит Таллерана, но оба они министры». Политика Бонапарта — не политика его кабинета: «...великая душа Консула, желая блага Французам, желает его, конечно, и всему Человечеству: вот разница между Бонапартиевой и Таллерановой политикой. Таллеран извивается умом своим как змея, а Бонапарте — как молния!»[2]

Идея сильной власти, поставленной выше всех общественных институтов, имеет философскую основу: она базируется на представлении об антиобщественном эгоизме как врожденном свойстве человека. Вера в человека сменилась горьким презрением к низким свойствам души, не исправленной патриотизмом и просвещением. Поэтому презрение к людям, которое демонстрирует порой Бонапарт, не дискредитирует его. Оно лишь характеризует его как трезвого политика, видящего перед собой реальных людей, а не иллюзорные химеры философов. На вопрос, почему Бонапарт уничтожает республиканские институты, следует ответ: «Не многие имели в свете такие средства возвысить человечество (то есть возродить республику. — *Ю. Л.*), но для сего нужно уважать людей, а противники его говорят, что он презирает их. Мудрено ли, когда Бонапарте видит столько низости в душах?»[3]

Если облечь высказывания «Вестника Европы» 1802—1803 гг. в определенную политическую формулу, окажется, что реальным содержанием монархизма Карамзина в этот период было президентское правление с очень сильной властью президента как в исполнительной сфере, так и в области законодательной инициативы. Главе государства принадлежала высшая воинская власть и роль конечного арбитра во всех государственных вопросах. Однако сохранение ряда республиканских институтов, выборность законодательных органов и свобода печати (попытки ограничить ее во Франции вызывают в «Вестнике» осуждение) не дают превратиться этому правлению в деспотическое. А сила правительства — гарантия от анархии.

---

[1] Вестник Европы. 1803. № 17. С. 79. Такие высказывания следует помнить, когда, говоря о приверженности Карамзина идее абсолютной власти, сближают его с идеологами типа Жозефа де Местра или Шатобриана. Обоснования сильной власти имеют у Карамзина всегда чисто политический и прагматический характер и полностью лишены мистической или легитимистской окраски.

[2] Вестник Европы. 1802. № 10. С. 178.

[3] Там же. № 9. С. 65.

Тень принципата Августа ложится на эти идеалы и облекает их в «римскую помпу», все еще не потерявшую для Карамзина обаяния.

О том, что идеалы издателя «Вестника» следует толковать именно так, свидетельствует интересный пример: в номере втором журнала за 1802 г. было опубликовано «Письмо из Соединенных Американских Областей», в котором дается портрет президента Джефферсона — идеального главы государства. Портрет этот текстуально близок к характеристикам, которые даются в «Вестнике» Бонапарту. Даже вождь гаитянского восстания негров Туссен-Лювертюр получает в «Вестнике» положительную характеристику, пока кажется, что он способен ввести восстание в рамки порядка, и пока его поддерживают бонапартистские газеты Франции: «Туссен-Лювертюр есть, как Бонапарте, победитель и примиритель» (1802. № 3. «Письмо из С.-Доминго»). Одновременно постоянную иронию издателя вызывает английский парламентаризм. В нем подчеркивается купеческий или аристократический эгоизм и отсутствие подлинной демократии.

Такая позиция была очень своеобразна: она ставила Карамзина вне рядов русского англоманского либерализма начала века и еще в большей мере отгораживала его от тех, кто оставался верен традициям философии XVIII в. с ее верой в доброту человека и народный суверенитет. Но не менее чужды были издателю «Вестника Европы» любые оттенки идеологии эмигрантов, сторонников Бурбонов и теоретиков легитимизма. Показательно, что, процитировав отрывки из «Гения христианства» Шатобриана («Вестник Европы». 1802. № 11. С. 242), Карамзин комментировал: «Мы не умеем вообразить ничего нелепее такой нелепицы. Вот как пишут во Франции некоторые новые литераторы».

Другой смысловой центр журнала — образ слабого правителя, который, поддавшись корыстным увещеваниям окружающих его вельмож, облекавших свой эгоизм в либеральную фразеологию, превратил верховную власть в фикцию, передал ее в руки честолюбцев, создал вместо провозглашенной демократии аристократическую олигархию и погубил свое государство. Так, в № 4 «Вестника» за 1802 г. было опубликовано «Письмо из Константинополя». Оно начинается, казалось бы, оптимистическим сообщением: «Нынешнее Турецкое правление есть уже не древнее деспотическое, на темном Алькоране и воле султана основанное». Далее говорится, что два верховных советника «Рашид Рейс Эффенди или министр иностранных дел и Челеди-Эффенди или собиратель налогов» «в тишине» сочинили конституцию и «в тишине произвели ее в действо». Однако умаление власти султана лишь увеличило власть вельмож: «Последствие доказало, что такая Аристократия не годится для Турецкого народа». Вспыхнули восстания, и вождь бунтарей Пасван-Оглу заявил, «что он готов покориться Султану, если Селим захочет *сам собою царствовать* (курсив мой. — *Ю. Л.*), но что собрание 10-и разбойников не должно располагать имением и жизнью правоверных». Началась гражданская война, но солдаты «не чувствуют большой ревности сражаться за 10 Аристократов, ни мало не заслуживающих любви народной»[1].

[1] Вестник Европы. 1802. № 4. С. 82.

С этим «Письмом из Константинополя» интересно сопоставить статью Карамзина (подпись: *О. Ф. Ц.*) «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича». Здесь, как и в известии о бунте Пасван-Оглу, говорится о том, что передача власти в руки вельмож вызвала народный мятеж. Попытка ослабить монархическую власть лишь утяжелила участь народа и гнет несправедливостей. Уничтожение олигархии успокоило мятеж. «С этого времени царь Алексей Михайлович начал *царствовать сам собою* (курсив мой. — *Ю. Л.*; характерно точное совпадение формулы с «Письмом из Константинополя»)». «Он видел, сколь опасно для монарха излишне полагаться на бояр»[1].

В «Вестнике» много и других примеров этого рода (материал черпается из известий о гражданских раздорах в Швейцарии, Гаити и других иностранных сообщений). За образом доброго, но слабого и неопытного монарха, уступающего власть честолюбивым вельможам, легко просматривался Александр I. Слухи о деятельности Негласного комитета, в котором Строганов, Новосильцев, Чарторижский и Кочубей, как Рашид Рейс Эффенди и Челеди Эффенди, «в тишине» «сочиняли» конституционные реформы, распространялись в это время достаточно широко, и конституционные планы Александра I ни для кого не были секретом. Ссылаясь на мемуары Адама Чарторижского, вспоминавшего, что тайны Негласного комитета «вскоре стали всем известны»[2], А. В. Предтеченский заключает: «Да и невозможно было сохранить в полной тайне само существование комитета, коль скоро к его работе привлекался довольно значительный контингент лиц»[3]. В числе лиц, хорошо осведомленных о деятельности комитета, А. В. Предтеченский называет А. Р. Воронцова, Н. С. Мордвинова, П. А. Зубова, П. В. Завадовского, Д .П. Трощинского, М. М. Сперанского, Г. Р. Державина, Н. П. и С. П. Румянцевых. Вероятно, осведомлен был и И. И. Дмитриев. Трудно представить, чтобы Карамзин не был в курсе обсуждавшихся в Зимнем дворце планов.

Антитеза Наполеон — Александр I составляла организующую нить политической позиции «Вестника Европы». Это делается особенно очевидным, когда мы сверяем тексты, которые редактор «Вестника» представляет как переводы, с их реальными оригиналами. Нам удалось, хотя Карамзин нарочито туманно указывает на источники, установить большое число статей, «переводы» которых публиковались в «Вестнике Европы». Обзор этих материалов делает очевидным, что мы имеем дело с программными статьями, выражающими позицию самого издателя. Например, «Письмо из Константинополя», конечно, писалось не в столице Оттоманской империи. Это комбинация отрывков из книги «Путешествие в Оттоманскую империю, Египет и Персию, произведенное по приказу правительства в период шести первых лет республики Г. А. Оливье, членом национального института и проч., и проч., т. 1, Париж, девятый год республики» (на французском) и «Полити-

[1] Вестник Европы. 1803. № 18. См.: *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 1. С. 418.

[2] Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. М., 1912. Т. 1. С. 235.

[3] *Предтеченский А. В.* Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957. С. 92.

ческого журнала», октябрь 1801 г. (Карамзин, видимо, пользовался немецким оригиналом, а не позже появившимся русским изданием). Сопоставление убедительно показывает свободу и субъективность интерпретации Карамзина. Например:

«ПИСЬМО ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ» КАРАМЗИНА:	«ПУТЕШЕСТВИЕ» ОЛИВЬЕ:
О Пасване-Оглу	
Сим первым успехом он прославился по всей империи, и народ, почти везде недовольный *новой* системой Дивана, явно желал Пасвану дальнейщего счастья, считая его великим воином и другом старинных обычаев.	Его первые успехи создали ему репутацию талантливого полководца и заставили видеть в нем человека, целиком преданного делу народа (перевод мой. — *Ю. Л.*).

Тенденциозность перевода очевидна.

«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»	«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
Последствие доказало, что такая Аристократия не годится для Турецкого народа.	Неоспоримо выводимое из того следствие, что для турок годится только деспотический образ правления (перевод П. А. Сохацкого).
Причины реформы	
«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»	«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
...мать добродушного Селима III <...> была встревожена слухами (ложными. — *Ю. Л.*) о всеобщем неудовольствии народа, о разных бунтах в провинциях и предложила сыну своему сей новый план хитрых честолюбцев, как самое лучшее средство успокоить империю. Селим принял его охотно, уступая часть власти своей для государственного блага.	Селим хотел вместо сонного правления своего предшественника вновь ввести строгость военной власти. Дикое рвение его завело его слишком далеко. Он боялся своих вельмож... (перевод мой. — *Ю. Л.*).

Испуганный восточный деспот, уступающий угрозам дворцовых заговорщиков, конечно, не мог вызвать никаких ассоциаций с Александром I 1802 г. Но перед русским читателем предстал молодой и поддающийся влияниям самодержец, которого хитрые честолюбцы убеждают ограничить свою власть ради «государственного блага». Точно такой же стиль работы над источни-

ками можно было бы продемонстрировать и на примере других статей «Вестника Европы».

Значительной темой «Вестника» была проповедь просвещения. Она тесно связывалась для Карамзина с решением крестьянской проблемы. «Вестник» решительно высказывался (в статье «Письмо сельского жителя») против планов немедленного освобождения крестьян, но категорически настаивал на широком просвещении народа, которое должно предварить и подготовить отмену крепостного права: меру необходимую и справедливую, но требующую нравственной и просветительской подготовки.

Попытки реализовать химеру теоретиков могут прикрывать или благородство трагически обреченных мечтателей, или своекорыстный эгоизм честолюбцев — и тем и другим противостоит осторожная мудрость государственных практиков. Таков конфликт между благородной носительницей идеалов новгородской свободы, «Катоном своей республики» Марфой, идеалов, уже преданных и обреченных на гибель падением нравов и эгоизмом новгородцев, и суровым орудием государственной пользы Иоанном в повести «Марфа Посадница».

Весь «Вестник Европы» — это как бы единый монолог издателя, выражающий его политическую программу. Карамзин не доверял государственным способностям Александра I, хотя и верил в его «прекрасное сердце». Он надеялся на длительный мир и союз с Бонапартом.

Приступая к изданию «Вестника», Карамзин был настроен оптимистически. Одну из программных статей журнала он назвал «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени». Но жизнь снова готовила ему разочарования. Не последним из них было разочарование в Бонапарте. В связи с провозглашением первого консула императором он писал брату: «Наполеон Бонапарте променял титул великого человека на титул императора: власть показалась ему лучше славы»[1]. Надежды на прочный и длительный мир также не оправдались. Все больше становилось ясным, что Александр I не собирается ограничивать самодержавия и тем не менее ведет именно ту политику химер и «мечтаний», против которой предупреждал редактор «Вестника». Наконец, как политик Карамзин оказался одиноким. Консерваторы видели в нем опасного якобинца, либералы «дней Александровых прекрасного начала» — закоренелого ретрограда. Читатели охотно покупали «Вестник», но смотрели на журнал как на интересное чтение, свежую, прекрасно изложенную информацию. «Парадоксы Карамзина», как назвал Пушкин идеи редактора «Вестника», оставляли читателя равнодушными.

Карамзин положил перо журналиста. Он взял перо историка.

[1] Атеней. 1858. Ч. 3. С. 255.

Отрывки из документов

1 июля 1810 г. Карамзин получил при милостивом рескрипте Александра I орден Владимира 3-й степени. Через несколько недель попечитель Московского учебного округа П. И. Голенищев-Кутузов написал новоназначенному министру народного просвещения графу Разумовскому письмо, *отправив его с оказией:*

«Милостивый государь граф Алексей Кирилович!

Имея толь верный случай, решился писать к в<ашему> с<иятельству> и о том, чего бы не хотел вверить почте. Ревнуя о едином благе, стремясь к единой цели, не могу равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям г. Карамзина; вы знаете, что оные исполнены вольнодумческого и якобинского яда. Но его последователи и одобрители подняли теперь еще более голову, ибо его сочинения одобрены пожалованием ему ордена и рескриптом его сопровождавшим. О сем надобно очень подумать, буде не для нас, то для потомства. Государь не знает, какой гибельный яд в сочинениях Карамзина кроется. Оные сделались классическими. Как могу то воспретить, когда оные рескриптом торжественно одобрены. Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать, а давно бы пора его запереть; не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь. Вы не по имени министр просвещения, вы муж ведающий, что есть истинное просвещение, вы орудие Божие, озаренное внутренним светом, и подкрепляемое силою свыше; вас без всякого искания сам Господь призвал на дело его и на распространение его света; в плане неисповедимых судеб его вы должны быть органом его истины, вопиющим против козней лукавого и его проклятых орудий. И вы, и я дадим ответы пред судом Божиим, когда не ополчимся противу сего яду, во тьме пресмыкающегося и не поставим оплота сей тлетворной воде, всякое благочестие утопить угрожающей. Ваше есть дело открыть государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготе, яко врага Божия и врага всякого блага и яко орудие тьмы. Я должен сие к вам написать, дабы не иметь укоризны на совести; если бы я не был попечитель, я бы вздыхал, молился и молчал, но уверен будучи, что Богу дам ответ за вверенное мне стадо, как я умолчу пред вами, и начальником моим, и благодетелем. Карамзина превозносят, боготворят! Во всем университете, в пансионе читают, знают наизусть, что из этого будет? Подумайте и попечитесь о сем. Он целит не менее, как в Сиесы или в первые консулы — это здесь все знают и все слышат. Я молчу и никому о сем ни слова не писал, ни говорил, а к вам я обязан это сделать. Пусть что хотят, то делают, но об университетах надобно подумать и сию заразу как-нибудь истребить. Вы меня благоразумнее, опытнее; вы мудрости и доброты более меня в тысячу раз преисполнены! Попекитесь о сем. Тут не мое частное благо, а всеобщее! В том вам сам Господь поможет. Умолять же о том его милосердие не престанет и о вас яко о благодетеле тот, который с сердечною привязанностию, глубочайшим почитанием и беспредель-

ною благодарностию есмь и всегда пребуду М. Г. В. С.[1] преданнейшим и обязательнейшим слугою П<авел> Г<оленищев-> К<утузов>».

Тогда же на Карамзина поступило еще несколько доносов. В одном он обвинялся в общении с иностранцами и вынужден был оправдываться.

Работа над Историей была в разгаре. Летом 1808 г. был закончен IV том, когда находка одного из важнейших источников — Ипатьевской летописи — потребовала новых дополнений к уже сделанному. К лету 1812 г. история дошла до царствования Ивана III. В работе был VI том. Началась война. Неприятель приближался к Москве. Стихийный исход московских жителей, гибельность которого для французов раскрылась позже, казался Карамзину, как и многим современникам, трусостью. Коренной москвич, он не хотел покидать Москвы и готовился погибнуть в ее стенах. Отправив семью, он переселился в дом московского военного губернатора Ростопчина, куда поступали самые верные новости из армии. Питаться городскими слухами было невыносимо. Отпуская в действующую армию молодого историка Калайдовича, Карамзин сказал, что, если бы имел взрослого сына, он также отправил его в бой[2]. Благословил на гибель отправившихся участвовать в Бородинском сражении Жуковского и Вяземского и сам готовился пойти в ряды ополчения.

В доме Ростопчина в Сокольниках после известия о Бородинском сражении произошел важный разговор, содержание которого мы знаем в пересказе А. Я. Булгакова. При известии об отходе армии присутствующих охватила паника. Булгаков писал: «Я никогда не забуду пророческого изречения нашего историографа, который предугадывал уже тогда начало очищения России от несносного ига Наполеона. — Карамзин скорбел о Багратионе, Тучковых, Кутайсове, об ужасных наших потерях в Бородине и наконец прибавил: «Ну, мы испили до дна горькую чашу... Но зато наступает начало *его* и конец наших бедствий. Поверьте, граф, обязан будучи всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет!» — Казалось, что прозорливый глаз Карамзина открывал уже в дали убийственную скалу Св. Елены! В Карамзине было что-то вдохновенного, увлекательного и, вместе, отрадного. Он возвышал свой приятный мужественный голос, прекрасные глаза его, исполненные выражения, сверкали. В жару разговора он часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, все говоря; и опять садился. Мы слушали молча...»[3] Карамзин оставался в почти пустой Москве. 30 августа он писал жене: «Вижу зрелище разительное: тишину ужаса, предвестницу бури. В городе встречаются только обозы с ранеными и гробы с телами убитых»[4]. Он выехал из Москвы 1 сентября, захватив лишь рукописи «Истории». Дом, библиотека — все сгорело, но он и не думал об этом заботиться.

---

[1] Эпистолярная формула: «милостивый государь, вашего сиятельства...».

[2] Судьба все же потребовала этой жертвы — любимый сын Карамзина Андрей умер в эвакуации, видимо, от плеврита. Это был уже второй ребенок, которого Карамзины схоронили.

[3] Цит. по: *Погодин М. П.* Указ. соч. Т. 2. С. 99.

[4] Там же. С. 102.

«Накануне, или в самый день приближения французов к Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав. Там неожиданно он увидел С. Н. Глинку, который подле заставы, на груде бревен сидел, окруженный небольшою толпою, разрывал и ел арбуз, бывший у него в руках, и ораторствовал, обращаясь к окружавшим его. Завидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему: «Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды и бежите от своих возлюбленных! Ну, с богом! Добрый путь вам!» Карамзин прижался в уголок своей коляски и, раскланиваясь с Глинкою, спешил удалиться, боясь, что он сделает с ним какую-нибудь историю. Этот анекдот слышал я от А. С. Пушкина, которому рассказал его сам Карамзин»[1]. Сергей Глинка был честный и добрый, но экспансивный и взбалмошный человек, и его неосторожные выкрики могли стоить Карамзину жизни — всего через несколько часов толпа разорвала перед домом Ростопчина купеческого сына Верещагина, когда Ростопчин крикнул, что это предатель и из-за него погибает Москва.

Из писем Карамзина П. А. Вяземскому:

«*21.VIII.1818* ...Не мешаю другим мыслить иначе. Один умный человек сказал: «Я не люблю молодых людей, которые не любят вольность». Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить меня, а я вас. Потомство увидит, что лучше или что *было* лучше для России. Для меня, старика, приятнее итти в комедию, нежели в залу Национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец и таким умру».

«*11.XII.1818* ...Не знаю, когда мы будем вольны оставить Петербург; а я люблю свободу, хотя и не либеральность».

«*26.VIII.1819.* Так водится в здешнем свете: одному хорошо, другому плохо, и люди богатеют за счет бедных. Шагнуть ли из физического в свет политический? Раздолье крикунам и глупым умникам; не худо и плутишкам, а нам с вами что? Не знаю...»[2]

Из писем Александра Тургенева:

«Вчера Карамзин читал нам покорение Новгорода и еще раз свое предисловие. Право нет равного ему историка между живыми <...> Его Историю ни с какою сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России, т. е. она излилась из материалов и источников, совершенно особенный, национальный характер имеющих. Не только это будет истинное начало нашей литературы; но история его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического чувствования и Бог даст русской *возможной конституции.* Она объединит нам понятия о России или,

[1] *Полевой К.* Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого // Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 251.

[2] *Карамзин Н. М.* Письма к князю П. А. Вяземскому, 1810—1826. (Из Остафьевского архива.) СПб., 1897. С. 60, 68, 84.

лучше, даст нам оные. Мы узнаем, что мы были, как переходили до настоящего status quo и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным преобразованиям...

...Истинно Грозный Тиран, какого никогда ни один народ не имел ни в древности, ни в наше время — этот Иоанн представлен нам с величайшею верностию и *точно русским, не римским тираном*. И этот Карамзин не член Российской Академии!»[1]

Из письма Карамзина Вяземскому 17 декабря 1819 г.:

«Хочу в торжественном собрании пресловутой Российской Академии читать несколько страниц об ужасах Иоанновых: президент счел за нужное доложить о том через министра государю!»

Из письма Дмитриеву 29 декабря 1819 г.:

«Что, еслибы Академия Наук или Российская задала ученым решить: в каком отношении находится размножение кабаков к успехам просвещения, нравственности и веры христианской? Это показалось бы дерзостью в век либеральной. Не знаю, дойдут ли люди до истинной гражданской свободы; но знаю, что путь дальний и дорога весьма не гладкая. — Естественным образом переходя от таких умствований к Рос. Академии, скажу, что ее торжественное собрание должно быть 8 ген<варя>, в день нашего семейственного праздника (моей женитьбы): я вызвался читать о царе Иване из своего девятого тому. Докладывали государю: он позволил, в чем и нельзя было сомневаться; но видишь, как любезной Александр Семенович осторожен!»

Из воспоминаний митрополита Филарета в письме Ф. П. Литке 5 мая 1867 г.:

«<Карамзин> читал из своей истории царствование Иоанна Грозного. Читающий и чтение были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более бы покрыла тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя»[2].

Из писем Александру Тургеневу:

«Село Остафьево. 17 ноября 1815 года

Любезнейший Александр Иванович! Десять дней тому, как мы погребли милую нашу дочь Наташу, а другие дети в той же болезни, в скарлатине. Не скажу ничего более. Вы и добрый Жуковский об нас пожалеете. — Это не мешает мне чувствовать цену и знаки вашей дружбы. Только не легко говорить. Отвечаю на главное на наше omnis morior[3]. *Жить* есть не писать историю, не писать трагедию или комедию: а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душею к его источ-

[1] РО ИРЛИ. Тургеневский архив. Ф. 309. Ед. хр. 124. Л. 272; Ед. хр. 382. Л. 135.

[2] *Карамзин Н. М.* Письма к П. А. Вяземскому. С. 14; Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 278—279; Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. М., 1880. Кн. 4. С. 12.

[3] Всем должно умереть (*лат.*).

нику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, — не исключая и моих осьми или девяти томов. Чем долее живем, тем более объясняется для нас цель жизни и совершенство ее. Страсти должны не счастливить, а разрабатывать душу. Сухой, холодный, но умный Юм, в минуту невольного живого чувства, написал: douce paix de l'ame, résignée aux ordres de la Rrovidence![1] Даже Спиноза говорит о необходимости какой-то неясной любви к Высшему для нашего благоденствия! — Мало разницы между *мелочными* и так называемыми *важными* занятиями; одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте, что и как можете: только любите добро; а что есть добро — спрашивайте у совести. Быть статс-секретарем, министром или автором, ученым: все одно! Обнимаю вас в заключение. Пока живу и движусь, присылайте мне относящееся к русской истории».

«Москва 13 апреля 1816 года

...Я не мистик и не адепт[2]; хочу быть самым простым человеком, хочу любить как можно более, не мечтаю даже и *о возрождении* нравственном в теле. Будем в среду немного получше того, как мы были во вторник, и довольно с нас ленивых!»

«Ц<арское> С<ело>. 6 сент<ября> 1825 год

...Для нас, Русских с душею, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России...»[3]

Одинокое путешествие

В России все совершается быстро...

Казалось, еще вчера Карамзин был молодым человеком, подающим надежды литератором, которого учили, журили, поощряли. И вдруг он обнаружил, что пришла слава и ушла молодость, что даже враги признают его мэтром и главой литературы, что он историограф и надворный советник (чин, конечно, небольшой, равный армейскому майору, но друг Дмитриев уже был сенатором, а Карамзин, «в чиновных гордецах чины возненавидя», хотел бы вообще избегнуть этого необходимого в России украшения) и что

[1] Сладостный мир души, вверившей себя установленному Провидением порядку (*фр.*).

[2] То есть не масон.

[3] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 735—740.

уже подросло молодое поколение, которое видит в его новизне старину, стоящую поперек *их* дороги. Шишков по старой памяти продолжал твердить, что на его, Шишкова, стороне «многие духовные и светские особы, службой, летами и нравами почтенные», и именовал Карамзина и его сторонников: «господа журналисты и большая часть молодых людей (нынешнего образа мыслей)»[1], но отныне для Карамзина нападки стариков дополняются критикой из лагеря молодых.

Еще в конце 1790-х гг. юноша Андрей Иванович Тургенев — старший из четырех братьев Тургеневых[2], встретя Карамзина в московской книжной лавке, написал ему отрочески-восторженное письмо, которое так и не решился отправить, но уже в марте 1801 года на заседании «Дружеского литературного общества» он со всем пылом ниспровергателя авторитетов объявил влияние Карамзина вредным. Здесь в самом начале нового века в полуразрушенном домике около Новодевичьего монастыря в Москве, где собирались молодые члены общества, впервые были произнесены обвинения, которые потом неоднократно предъявляли Карамзину «молодые якобинцы» (выражение Пушкина): «Скажу откровенно: он более вреден, нежели полезен нашей литературе, и с тою же откровенностию признаюсь, что и сам я и, может быть, не я один лучше желал написать то, что он, нежели все эпические наши поэты. Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее, не столько применялись к мелочным родам, пусть бы мешали они с великим уродливое, гигантское, чрезвычайное...» Тот, кто, по мнению Андрея Тургенева, даст русской литературе новый толчок вперед, «должен быть теперь второй Ломоносов, а не Карамзин. Напитанный русской оригинальностью, одаренный творческим даром, должен он дать другой оборот нашей литературе; иначе дерево увянет, покрывшись приятными цветами, но не показав ни широких листьев, ни сочных питательных плодов»[3].

Отныне все, с кем Карамзин будет встречаться, беседовать, спорить, все, чьим мнением он будет дорожить: Жуковский и Александр Тургенев, Чаадаев и Вяземский, Пушкин и декабристы, Александр I и Блудов, — все моложе его.

Слава несет с собой много опасностей. Среди них есть и такая: имя писателя начинает повторяться все чаще и чаще, его сторонники создают канон преклонения, а противники — памфлеты и пародии. И то и другое легко превращается в застывшие маски, которые заслоняют от современников

---

[1] *Шишков А. С.* Двенадцать собственноручных писем... С. 13.

[2] Андрей Иванович Тургенев, блестяще одаренный поэт и критик, умер очень молодым, не успев реализовать своих гениальных способностей. См.: Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971; *Фомин А. А.* Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров // Русский библиофил. 1912. № 1; *Лотман Ю. М.* Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его роль в «Дружеском литературном обществе» // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 372—389.

[3] *Фомин А. А.* Указ. соч. С. 27—28.

скрытое под ними живое лицо. Маска проще лица, и она всегда неизменна. У нее нет неожиданных выражений, она неподвижна и не знает игры оттенков. Поэтому с ней легче вести тот мнимый диалог фиктивного общения, которым подменяют мучительно-трудный процесс контакта с яркой и своеобразной чужой личностью. Враги поносят славного писателя, друзья — прославляют. Но и те и другие мумифицируют его. Так им удобнее «общаться». И именно в зените славы великий поэт чаще всего чувствует вокруг себя нарастающий холод одиночества. Карамзин не избежал этой участи.

Именно в начале XIX в. создаются те пародийные или апологетические маски, которые надолго заслонят реальное лицо Карамзина.

Отношения со старым — и единственным из поколения сверстников — другом И. И. Дмитриевым застывают и приобретают черты ритуала. Многолетняя переписка сохраняет идеальную видимость дружеской близости и хранит застывшие формы культа дружбы. Но реальной близости нет, и когда Карамзин и Дмитриев после долгих лет нежной переписки встретились, то выяснилось, что писать им легче, чем говорить: в письме отработанные формы и обороты легко изображают близость и дружество, но, когда глядишь в глаза бывшего друга, выясняется, что ничего этого уже давно нет. Дмитриев с горечью вспоминал об этом единственном свидании в Царском Селе: «Здесь я бывал с ним по нескольку дней неразлучным, но не помню, чтоб хотя четверть часа мы были без свидетелей. Казалось, будто мы встречались всё мимоходом. Двор, изредка и слегка история, городские вести были единственным предметом наших бесед, и сердце мое ни однажды не было спрошено его сердцем. Я уверен был и тогда в его любви, а чувствовал грусть и не мог вполне быть довольным»[1].

Переезд Карамзина в 1816 г. в Петербург связан был со сменой его окружения. Вместо Дмитриева, В. Л. Пушкина, Шаликова теперь его слушатели и собеседники — арзамасцы. В письмах жене он выделяет их из всей массы новых петербургских знакомцев: «Здесь из мужчин всех любезнее для меня Арзамасцы: вот истинная Русская Академия, составленная из молодых людей умных и с талантом!» Правда, тут же добавляет: «Жаль, что они не в Москве или не в Арзамасе»[2]. Последнее многозначительно. Первый слой смысла связан с тем, что Петербург — город придворный, и встречаться с «любезными Арзамасцами» можно только живя в Петербурге и приняв условия жизни в столице. Но, возможно, есть здесь и другой оттенок. Карамзин не уставал подчеркивать, что он частное лицо, и принципиально чуждался государственной службы. Арзамасцы были не только служилые люди, но и прочно стояли на дороге карьеры — бюрократической или придворной. В трудную минуту, когда Карамзин привез в феврале 1816 г. первые восемь томов своей «Истории» в Петербург для получения разрешения и средств на их печатанье, а царь «душил его (по выражению Карамзина) на розах» — не давал аудиенции, держа писателя в неизвестности и вынуждая его пред-

---

[1] *Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1893. Т. 2. С. 150—151.
[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. С. 160.

варительно смирить свою гордость и нанести визит Аракчееву, встречи и беседы с арзамасцами были истинной отдушиной. «Здесь, — писал он жене, — не знаю ничего умнее Арзамасцев: с ними бы жить и умереть»[1].

И в дальнейшем этот круг оставался самым близким к Карамзину. Здесь создавали подлинный его культ. Это была основная часть его постоянной аудитории в последние десять лет жизни.

Однако была ли дружба? Дружбы не было уже потому, что не было равенства: Карамзин говорил — его благоговейно слушали. Но более того: не было ни единства мнений, ни единства или близости психологического склада. «Старшие» арзамасцы: Дашков, Блудов, Уваров — не уставали и при жизни Карамзина, и после его смерти клясться его именем и были при этом, конечно, искренни. Однако в политическом отношении они примыкали именно к той линии правительственного либерализма 1810-х гг., которую Карамзин не одобрял и в императоре. На первый взгляд Карамзин выглядел более «правым», а арзамасские «тори» — более «левыми» либеральными консерваторами. Однако имелась глубокая разница: Карамзин презирал либеральные фразы и высоко ценил человеческое достоинство. У него были твердые *собственные* убеждения. Не случайно, добившись наконец аудиенции, он в разговоре с царем предложил, как он пишет жене, «свои *требования*» (слово «требования» он подчеркнул). Речь шла о деньгах на издание и о праве издавать «Историю» *без цензуры*. И рядом в его требования входило «право быть искренним»![2] Арзамасские «тори» были ловкими карьеристами, лощеными бюрократами и собственного мнения не имели. Его заменяло изящество слога и европейские манеры. С переменой придворных веяний они меняли взгляды. Либералы александровского времени, они легко сделались судьями декабристов, министрами Николая I, а кто дожил — и Александра II. Раболепные перед старшими, наглые с подчиненными, они были сателлитами, а не друзьями. И сателлитами не бескорыстными: близость к Карамзину придавала «и в самой подлости оттенок благородства», что было полезно и в свете, и в службе.

Иными были отношения с Жуковским и Александром Тургеневым. Здесь было искреннее обожание со стороны младших и теплая «почти дружба» со стороны Карамзина. Но и здесь, видимо, были психологические барьеры, благодаря которым «почти» все же не исчезало. Жуковский писал Дмитриеву: «Можно сказать, что у меня в душе есть особенное хорошее свойство, которое называется *Карамзиным:* тут соединено все, что есть во мне доброго и лучшего»[3]. Помыслы Жуковского были чисты и возвышенны. Но Жуковский всю жизнь оставался ребенком; он мог совсем по-детски резвиться с павловскими фрейлинами, углубляться в мечтательный мистицизм при дворе, не замечая, по чистоте душевной, что, рядом с его порывами и сливаясь с ними, существует голицынское «мистики придворное кривлянье» (Пушкин). Карамзин же был деист и скептик. Он глубоко верил в Провидение, но от мистицизма

---

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 165.

[2] Там же. С. 180.

[3] Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву. М., 1868. С. 25—26.

излечился раз и навсегда, еще когда порвал с московскими наставниками в 1780-е гг. Пиетизм, возведенный в государственную политику, он осуждает, а придворное благочестие ему претит. Отношения с Голицыным очень натянутые (а Александр Тургенев — правая рука Голицына!), так что замечание в письме Дмитриеву от 23 апреля 1817 г.: «С. С. Уваров в большом кредите у князя А. Н. Голицына» — звучит иронически, тем более в соседстве с сожалением о том, что Стурдза «портит свой ум мистическою *вздорологиею*»[1]. И через несколько дней ему же: «Князь Голицын хороший человек и всегда учтив со мною, но я к нему совсем не близок и с Кошелевым (мистический друг Александра I. — *Ю. Л.*) не знаком; даже и текстами[2] не промышляю. Иногда смотрю на небо, но не в то время, когда другие на меня смотрят»[3]. И наконец — «Мнение русского гражданина», суровая отповедь Александру I в связи с превращением деятелями Священного Союза религии в политику: «Солнце течет и ныне по тем же законам, по которым текло до явления Христа-Спасителя: так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов; все осталось, как было на земле и как иначе быть не может: только возвысилась душа в ее сокровенностях, утвердилась в невидимых связях с Божеством, с своим вечным, истинным Отечеством, которое вне материи, вне пространства и времени. Мы сблизились с Небом в *чувствах*, но *действуем* на земле, как и прежде действовали. *Несмь от мира сего*, сказал Христос: а граждане и Государства в сем мире <...> Евангелие молчит о Политике; не дает новой: или мы, захотев быть Христианами-Политиками, впадем в противоречия и несообразности. Меня ударят в ланиту: я как Христианин должен подставить другую. Неприятель сожжет наш город: впустим ли его мирно в другой, чтобы он также обратил его в пепел?» Посетив Комиссию по составлению законов, Карамзин сказал: «Вы витаете на луне, не давая себе труда узнать Россию».

Атмосфера придворной мечтательности в конце 1810-х гг. не противоречила ни романтическому мистицизму Жуковского, ни филантропической суете Александра Тургенева, который постоянно кому-то помогал, за кого-то хлопотал, заступался перед «сильными мира сего» и пытался устроить мезальянс человеческой доброты и бюрократической псевдодеятельности.

Карамзин уже давно был человеком без иллюзий. В его политическом реализме была немалая доля цинизма, но не было ни обмана, ни самообмана. Он любил Жуковского («Сию минуту целую Жуковского, говоря с ним о тебе», — писал он жене. И добавлял: «Есть добрые люди на свете!»[4]), любил Александра Тургенева, но равенства чувств не было, и ощущение одиночества не исчезало, а росло.

Но сложнее всего складывались отношения с той частью молодого поколения, мнением которой Карамзин, вероятно, дорожил более всего, — с молодыми свободолюбцами: Вяземским, Пушкиным, Николаем Тургеневым,

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 212.
[2] Текстами — здесь: Священным Писанием.
[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 218.
[4] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 3—4, 156, 167.

Никитой Муравьевым. Ему казалось, что они лишь повторяют давно им пройденные уроки истории, а им казалось, что он безнадежно отстал, представляет собой «век минувший». Самое же обидное было в том, что они смотрели не внутрь, а как-то мимо него. Он искал, мучился, менялся, а они спокойно или насмешливо надевали на него (даже те, кто искренне его любил, как Вяземский, или соединял эту любовь с ревнивой жаждой иконоборчества, как Пушкин) какую-либо маску и считали, что он уже весь разгадан.

Сначала они, как Андрей Тургенев, видели в нем сентиментального вздыхателя, с которым не по пути героям будущих гражданских битв. Вместе с архаистами они предсказывали, что «История» Карамзина будет лишь вторым изданием «Бедной Лизы». В 1810 г. Марин, гвардейский сатирик поколения Дениса Давыдова, Милонова и Андрея Тургенева, участник переворота 11 марта 1801 г., жестоко израненный на Аустерлицком поле, писал:

Пускай наш Ахалкин стремится в новый путь
И, вздохами свою наполня томну грудь,
Опишет, свойства плакс дав Игорю и Кию,
И добреньких славян, и милую Россию[1].

А в первую половину апреля 1816 г., видимо, в связи с публикацией объявления в «Сыне отечества» о готовящемся выходе первых томов «Истории государства Российского»[2], Пушкин-лицеист писал в том же духе:

Послушайте: я сказку вам начну
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород и Царство Золотое,
А может быть про Грозного царя...
— И, бабушка, затеяла пустое!
Докончи нам «Илью-богатыря»[3].

Однако вскоре образ «Ахалкина» и «плаксы» был подменен в этих кругах другим, гораздо менее безобидным. Еще «История государства Российского» только печаталась, а декабрист Николай Тургенев, по пересказам брата Александра и впечатлению от бесед с историком, начал высказывать опасения относительно политического направления этого труда. 30 ноября 1816 г. он писал брату Сергею, занимавшему дипломатический пост в Константинополе: «Карамзина история началась печататься. Многие, в особенности брат Ал<ександр> Ив<анович> очень ее хвалят. Что касается до меня, то я ничего еще не читал, но посмотрев на Карамзина, думаю, что мы будем лучше знать facta русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для России творение распространило у нас либеральные идеи; боюсь даже противного»[4].

---

[1] *Марин С. Н.* Полн. собр. соч. М., 1948. С. 179.

[2] См.: *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. С. 733—734. Пушкин в Лицее познакомился с братом Марина и, вероятно, знал процитированные выше стихи (см.: *Марин С. Н.* Полн. собр. соч. С. 490).

[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 39.

[4] *Тургенев Н. И.* Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 203.

Молодые свободолюбцы ведут себя в обществе Карамзина совершенно иначе, чем благоговейно внимающие ему истые карамзинисты. Они спорят — и спорят решительно, даже дерзко. В том же письме Николай Тургенев продолжает: «Я осмелился однажды заметить на слова его: „Мне хочется только, чтобы Россия подоле постояла". — „Да что прибыли в таком стоянии?" и нашел сегодня в Арндте (далее по-немецки, даем в переводе. — *Ю. Л.*) „О крестьянстве": „Китайская неподвижность еще не счастье и лежит далее всего от государства, заслуживающего названия человеческого"»[1].

Но вот первые восемь томов «Истории» появились. И на фоне общего и бесспорного успеха (в двадцать пять дней продано 3000 экземпляров, «это хоть бы и не в России», — восклицал Николай Тургенев) раздаются критические голоса из декабристского лагеря. В 1818—1819 гг. Карамзину приходится пережить целую серию острых споров с наиболее близкими к нему представителями радикальной молодежи. Эти мальчики, выросшие на его глазах в семьях, в которых он был своим человеком и другом дома, в среде, в которой поклонение ему было нормой, а каждое слово — приговором, не подлежащим апелляции, голосами, еще не утратившими юношески резких интонаций, бросали ему страшные упреки или же насмешливо улыбались в ответ на его слова, будто они знали что-то такое, чего он не знал и узнать уже никогда не сможет.

Старший современник Карамзина Михаил Никитич Муравьев был его другом и отчасти покровителем. Как товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета он выхлопотал Карамзину звание придворного историографа. В 1807 г. он скончался, но с семьей — вдовой Екатериной Федоровной и подрастающими сыновьями — у Карамзина давние близкие отношения. В 1816 г. уже во втором письме из Петербурга он сообщает жене: «Я оставил мерзкую *отель-гарни* и переехал к доброй Катерине Федоровне Муравьевой, которая, узнав, что я буду в Петербурге, велела топить для меня свой верхний (то есть второй — на третьем жили сыновья. — *Ю. Л.*) этаж»[2]. «Милая, добрая Катерина Федоровна» ему как «сестра родная»[3]. А старший сын ее Никита — один из основателей и идеологов декабристского движения. Именно у него, у «беспокойного Никиты» (Пушкин), в том же доме, в котором Карамзин пишет свою «Историю» и читает корректуры, собираются «члены сей семьи».

Сразу же после выхода первых восьми томов Никита Муравьев погрузился в их чтение и начал писать опровержение. Прежде всего он защищает право молодого поколения *быть несогласными:* «Неужели творение сие не возродило многих различных суждений, вопросов, сомнений! Горе стране, где все согласны. Можно ли ожидать там успехов просвещения?»[4] Свой разбор предисловия к «Истории» Карамзина Никита Муравьев начал полемически: «История принадлежит народам» — и построил его как последовательное

---

[1] *Тургенев Н. И.* Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 203—204.

[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 143.

[3] Там же. С. 148.

[4] Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 582.

опровержение монархической концепции историка. Одновременно он приступил к систематическому анализу-опровержению карамзинской «Истории». Текст этого труда дошел до нас лишь в отрывках[1]. Зато сохранились и недавно были обнаружены маргинальные заметки Никиты Муравьева на тексте «Писем русского путешественника» (изд. 1814 г.). Замечания на «Историю государства Российского» готовились как программный документ и предназначались к общественному распространению. Они были предварительно показаны самому историографу, и он выразил согласие с тем, чтобы их «пустить в публику». Поэтому резкие по смыслу возражения были здесь облечены в корректную и уважительную форму. Иное дело — заметки на «Письмах русского путешественника». Они писались для себя, и здесь в полной мере сказалось представление молодого свободолюбца о своем умственном превосходстве над «устаревшим» писателем. Против рассуждений о Французской революции появляются пометы: «Так глупо, что нет и возражений», «неправда», «дурак»[2].

Еще более болезненными для Карамзина были отношения в 1818—1819 гг. с наиболее любимыми из молодого поколения — Вяземским и Пушкиным. Князь Петр Андреевич Вяземский — брат жены Карамзина и фактически его воспитанник — соединял преклонение перед литературным авторитетом и человеческим благородством Карамзина со свободолюбием, облекавшимся порой в формы крайнего бунтарства. В конце 1810-х — начале 1820-х гг. он находился в апогее своего радикализма и хотя не был членом тайных

---

[1] Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 586—598. Исписанные Н. М. Муравьевым тома «Истории государства Российского», по предположению Н. М. Дружинина, должны, вместе с архивом младшего его брата А. М. Муравьева, находиться во Флоренции (*Дружинин Н. М.* Революционное движение в России в XIX в.: Избр. труды. М., 1985. С. 79).

[2] *Верещагина Е. И.* Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на «Письмах русского путешественника» в девятитомном издании «Сочинений...» Карамзина 1814 года // Из коллекции редких книг и рукописей научной библиотеки Московского университета. М., 1981. С. 57—58. Анализ помет см.: *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. С. 105—109. Попутно отметим одну, как кажется, неточность в интерпретации Н. Я. Эйдельмана. На с. 107 читаем: «Дальше — особенно острые строки. *Карамзин*: „Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства". *Муравьев*: „Вероятно, мораль скверная". Ответ не очень уверенный, потому что и сам декабрист не хочет вовлекать народ в российскую революцию; но он все же находит *скверной* мораль, которую настойчиво выводит отсюда Карамзин». Маргиналию Муравьева следует читать иначе и в более полном объеме: «Все с<ie> [спра<ведливо>] вероятно. Мораль скверная» (ломаные скобки — конъектуры, квадратные — зачеркнутое Н. Муравьевым). То есть мысль о неизбежности гибели даже добродетельных руководителей революции вероятна (сначала более безнадежно: «справедлива»), но она не должна быть основанием для «скверной морали», осуждающей революцию. Таким образом, помету Муравьева, как кажется, следует понимать так: справедливость мысли об обреченности тех, кто подготавливает революцию, не должна вынуждать их к бездействию.

обществ, но, бесспорно, принадлежал к кругу ближайших к декабристам деятелей. Летом 1818 г. в Царском Селе и особенно интенсивно в январе — феврале 1819 г. в доме Е. Ф. Муравьевой Карамзин встречался с молодыми друзьями (в письме Дмитриеву: «Здесь у нас только молодые друзья»[1]). Здесь между Карамзиным, работавшим над IX томом, посвященным «ужасам» времени Ивана Грозного (слово «ужас» воспринималось как калька французского «террор», что придавало политическим разговорам определенную перспективу), Вяземским и Пушкиным протекали беседы, переходившие в острые споры. Есть основания полагать, что обсуждалась судьба Радищева[2]. Результатом явился болезненный конфликт — почти на грани разрыва — Вяземского с Карамзиным. Карамзин скрывал боль и обиду и писал Вяземскому спокойно-ласковые письма. Но Екатерина Андреевна во французской приписке к письму от 23 марта 1820 г. выразила боль за нанесенную мужу рану: «Г-н Тургенев, Александр отправился в Москву вместе со своим братом Сергеем. Последний, очевидно, не очень-то ценил общество моего мужа, поскольку, отправляясь в Константинополь на неопределенное время, он даже не дал себе труда зайти попрощаться. Кто знает, дорогой князь Петр, кто знает, может быть наступит время, когда, живя в одном городе, вы уж не захотите с нами встречаться, ибо для вас либералов не свойственно быть еще и терпимыми. Следует иметь те же взгляды, а без этого нельзя не только любить друг-друга, но даже встречаться».

Карамзин сделал приписку: «Обнимаю вас, любезнейшие друзья, прочитав не без улыбки, что пишет к вам жена о либеральных, которые не либеральны даже в разговорах»[3].

Очень острые формы принял конфликт с Пушкиным. В сохранившихся автобиографических отрывках Пушкина имеется сцена: «Однажды начал он [Карамзин] при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: Итак вы рабство предпочитаете свободе. Кара<мзин> вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Кар<амзину> стало совестно, и, прощаясь со мною как обыкно<венно>, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности. Вы сегодня сказали на меня <то>, что ни Ших<матов>, ни Кутузов на меня не говорили»[4]. Не всегда стычки завершались столь мирно. Еще в 1826 г. Пушкин с волнением писал Вяземскому: «Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить»[5]. Следствием была хлесткая эпиграмма, вполне гармонировавшая с критикой первых томов «Истории» «молодыми якобинцами»:

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 252.

[2] См.: *Лотман Ю. М.* Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822) // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 765—785.

[3] *Карамзин Н. М.* Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 98—99.

[4] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 306.

[5] Там же. Т. 13. С. 285—286.

В его «истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута[1].

А то, что говорят чацкие, повторяют репетиловы. Николай Тургенев с сарказмом записал клубный разговор: «В английском клобе» «об истории один любитель — карт и биллиарда — сказал мне: „Оно хорошо, да *робко* пишет“»[2].

Итак, реакция молодого поколения, с одной стороны, обнаружила расхождение историка со злобой дня его времени. Критика декабристов имела глубокие корни в «духе времени». На фоне умственной жизни декабристской эпохи сентенции Карамзина выглядели архаичными. Но, с другой стороны, она обнаруживала стремление упростить ситуацию, подменить реального Карамзина более удобной для полемики маской. Маска эта была «защитник самовластья» (Карамзин, раздраженный нетерпимостью своих оппонентов, бросил однажды: «Те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе»), «изящный писатель», «безнадежно отставший от умственной жизни века». Безапелляционный приговор Николая Тургенева («Хваленной их Карамзин подлинно кажется умным человеком, когда говорит о русской истории; но когда говорит о политике <...> то кажется ребенком»[3]) превратился в эпиграмму:

Решившись хамом стать пред самовластья урной,
Он нам старался доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать.

«Хам» на языке Николая Тургенева — крепостник; противопоставление прекрасного стиля «Истории» и слабости мысли ее автора — постоянный мотив оценок Николая Тургенева. Эпиграмма «явно вышла из тургеневского кружка», с основанием заключает В. Э. Вацуро[4].

На Карамзина надета новая маска: «„Молодые якобинцы“ зачисляют в „невежды“, сторонники рабства», — резюмирует Н. Я. Эйдельман[5]. И это в то самое время, когда он «пишет Ивашку», тот самый IX том своей «Истории», выход которого сразу превратит его в глазах левой молодежи в другого человека. Он сразу делается «наш Тацит» (Рылеев).

---

[1] Принадлежность эпиграммы Пушкину вызывала сомнения. Анализ проблемы с выводом в пользу авторства Пушкина был сделан Б. В. Томашевским. См.: *Томашевский Б. В.* Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Пушкин: Исследования и материалы. 1956. Т. 1. С. 208—215. См. также: *Вацуро В. Э.* Подвиг честного человека // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972. С. 59; *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. С. 111—112.

[2] *Тургенев Н. И.* Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 252.

[3] Там же. С. 200.

[4] *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Указ. соч. С. 59.

[5] *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. С. 111.

...Тацит-Карамзин
С своим девятым томом...[1]

Бестужев, Н. Муравьев, Штейнгель, Лорер восторженно отзываются о девятом томе «Истории». Не любивший Карамзина Кюхельбекер также считал, что «IX том „Истории государства Российского“ — лучшее творение»[2] его.

Оценки менялись, но взаимопонимания по-прежнему не было. Не менялось стремление вести диалог не с реальным писателем, а с его застывшим условным двойником. «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют», — писал Пушкин[3]. Карамзин не был глупцом. Время и опыт для него существовали. Карамзин менялся.

Чем дальше продвигался его труд, чем больше развивались события вокруг него, тем непонятнее становился ему их смысл. Он всегда верил в совершенствование человека и человечества, в прогресс и успехи разума. Он слишком был связан с восемнадцатым веком, чтобы легко отказаться от этой веры. Но время и опыт говорили о противном. Оставалась вера в то, что история *имеет свой смысл*, пусть и загадочный для человека. Историк наблюдает ее таинственное движение и, даже не постигая ее смысла, предчувствует его. Пушкинский Евгений в «Медном всаднике» восклицал:

...иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?[4]

Карамзин «Вестника Европы», Карамзин первых томов «Истории» ответил бы ему, что перед общим частное должно быть приносимо в жертву. Сейчас, в конце жизни, его ответ внешне исполнен смирения перед Провидением, но внутренне полон скепсиса и глубокого смятения. Он записывает (оригинал по-французски): «Бог — великий музыкант, вселенная — превосходный клавесин, мы лишь смиренные клавиши. Ангелы коротают вечность, восхищаясь этим божественным концертом, который именуется *случай, неизбежность, слепая судьба*»[5].

Итак, то, что гармония в некотором высшем, не доступном человеку смысле (а отнюдь не в смысле государственного приоритета общего над частным), то с человеческих позиций рисуется как бессмысленный случай и слепой рок. А поскольку автор IX тома, посвященного «тиранствам Иоанновым», и X, XI, рассказывавших о смуте, знал, что случай, неизбежность и слепая судьба не только слепы, но и кровавы, то доступность для человека наслаждаться таким концертом делалась весьма проблематичной.

---

[1] *Рылеев К.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 287.
[2] *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 332.
[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 34.
[4] Там же. Т. 5. С. 142.
[5] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 197.

Еще более примечательна другая запись этих же последних месяцев. Задумав «Историю» как историю государства, Карамзин исходил из просветительского представления о разумном начале как основном содержании истории. А поскольку Разум сосредоточивается в великих людях и актах управления, то история есть история государства.

В 1802 г. в первом же номере «Вестника Европы» Карамзин заявил: «Превосходные умы суть истинные герои истории».

Вера в «превосходные умы» (и, следовательно, в государственность) подорвана. Странно, но историк *государства* Российского явно не горит желанием добраться до Петра, собираясь закончить повествование смутой, то есть распадом государственности. Осенью 1824 г., еще до последней болезни и подкосивших его событий конца 1825 г., он уверенно сообщает Дмитриеву, что закончит «Историю» концом Смутного времени: «Еще главы три с обозрением до нашего времени, и поклон всему миру, не холодный, с движением руки на встречу Потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно»[1].

Этому настроению, этому пониманию истории соответствует запись: «Мы все как *муха на возу*: важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий!»[2] Если к этому изречению добавить, что носителем таинственной воли Провидения является стихийная, бессознательная жизнь народа, а не «муха на возу» — «превосходные умы», то перед нами будет нечто, очень близкое к толстовской философии истории периода «Войны и мира». Карамзин не говорит этого, но именно такова историческая перспектива движения его мысли.

И в другом он сближается с Толстым: смысл истории скрыт, но бесспорна, рядом с ее таинственной жизнью, ценность человеческой личности. А ценность эта — и здесь путь к позднему Пушкину — в уважении к себе, личной независимости как необходимом условии существования.

Последние десять лет Карамзин провел при дворе: он постоянный собеседник императора в его «зеленом кабинете», то есть во время утренних прогулок по аллеям царскосельского парка, частый гость у вдовствующей и царствующей императриц, великих князей и великих княгинь. Его ласкают, ему даже льстят. Он искренне любит Александра как человека, явно видя все его слабости, откровенен и прост с Марией Федоровной, Елизаветой Алексеевной. Но ни на минуту он не забывает, что он носит два высочайших звания: Человека и Карамзина. Он не борется за сохранение своего достоинства, как не борется за право дышать, — он неотделим от него.

Но то, что так естественно для него, совсем не таково для других: всю жизнь приходится плыть против течения. Особенно в последние десять лет. Он принципиально не вступает в полемики, не защищается от доносов[3].

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 380—381.

[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 197.

[3] Один только раз, когда в предгрозовой обстановке 1811 г. И. И. Дмитриев по секрету сообщил ему, что на него подан донос, обвиняющий в связях с французскими шпионами, он просил друга-министра сообщить императору, что удивлен «несправедливости московских донесений».

Дмитриев требовал, чтобы он защитил свою «Историю» от нападок Каченовского, напоминая о достоинстве звания придворного историографа. Карамзин отвечал: «Не стою ни за что, мне не принадлежащее; а что мое, того у меня не отнимут». «Ты говоришь о достоинстве *Историографа*: но Историограф еще менее Карамзина (между нами будь сказано)»[1]. Сообщая Дмитриеву же, что государь «велел заплатить 2000 рублей за домик» для Карамзиных «в Петергофе на 48 часов», он тотчас же добавляет: «Я не продам души за 2000 р.»[2].

Отношения с царем приобретают исключительную сложность: личная привязанность к Александру как человеку, вера в то, что бескорыстный голос честного человека, говорящего царю истину, нужен России, сочетается с ясным сознанием недостатков государя, отвращением ко двору, вельможам, свету.

«Мне гадки лакеи, и низкие честолюбцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить государя. К нему не лезу и не полезу. Не требую ни Конституций, ни *Представителей*, но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя Русского: вот противоречие, но только мнимое!»[3] «Республиканец по чувствам» (или, как Карамзин говорил в других местах, «республиканец в душе») имеет двойной смысл: в общественном отношении это означает признание, что в идеале республика есть лучшая форма государственного правления. Это мечта всякого честного человека. Но, как всякая мечта, она осуществима лишь в чрезвычайных условиях — требует добродетельного народа. Она не план для перестройки общества, а критерий его устроенности. Подобно тому, как высокие идеалы христианства, никогда полностью не реализуясь, сохраняют роль морального критерия, без которого общество потеряло бы нравственную ориентировку, идеалы республиканизма, оставаясь вне государственной практики, выполняют функцию политического критерия.

Но у этой формулы есть и личный аспект: республиканец, для Карамзина, — это человек античных добродетелей, стоик, патриот, «человек грядущих поколений», как говорил у Шиллера маркиз Поза. В этом смысле быть республиканцем можно при любом правлении. И в этом смысле верноподданный русского царя придворный историограф Карамзин, — конечно, республиканец.

Вельможи, окружающие императора, поражают его ничтожеством. Даже умнейшие из них застыли и отстали на десятилетия (странно читать такие упреки под пером того, кто слывет консерватором и ретроградом!). «...Видел Н. Н. Новосильцова: как он постарел! И все еще говорит об Адаме Смите <...>. Новосильцев еще орел в сравнении с другими; благороден душою, не лакей, и знает — Адама Смита!»[4] Из этих строк следует, что остальные душой неблагородны, лакеи и даже Адама Смита не читали. Эти слова

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 248.
[2] Там же. С. 243.
[3] Там же. С. 248—249.
[4] Там же. С. 214—215.

написаны в 1817 г. А вот в 1822-м: «Нынешние вельможи, буде их можно так назвать, не имеют в себе ничего пиитического, ни исторического»[1]. Много сил уходит на то, чтобы *ни в чем* не слиться с придворными. 10 июня 1819 г. Катерина Андреевна родила сына Владимира. Карамзину настойчиво дают понять, что следует «просить государя быть крестным отцом новорожденного». В 1817 г. Карамзин уже один раз отклонил эту честь («подарков не желаем»[2]) и теперь поступает по «старой системе». Царь «крестит обыкновенно у генерал-адъютантов, у придворных etc.; а мы не придворные: сердечно благодарим за всякой знак милости, а не просим или не напрашиваемся»[3].

Так складывается идеал жизни, в значительной мере предвосхищающий пушкинский идеал 1830-х гг. В центре мира Карамзина в петербургский период — семья, Дом. Здесь сосредоточены подлинные ценности, здесь человек обретает Независимость. Мир этот активно противопоставлен миру «лакеев», придворных искателей и вельмож. В дни, когда Карамзина настойчиво толкают к тому, чтобы он искал протекции у Аракчеева (царь без этого не принимает), когда Аракчеев через своего ставленника Пукалова прямо обещает помощь и содействие, Карамзин пишет жене: «Видишь, что муж твой Гурон (то есть дикарь. — *Ю. Л.*): не поехал к графу Аракчееву, не воспользовался даже и благорасположением Пуколова (Карамзин даже не дает себе труда правильно запомнить фамилию мужа фаворитки всесильного фаворита)! Чего же мне ждать? *Уважения твоего и собственного* (курсив мой. — *Ю. Л.*)[4]».

Для Пушкина Дом был звеном в цепи подлинно исторического существования, местом, где встречается прошедшее с будущим. Родовой дом на родовой земле с могилами предков и вместе с тем дом, в котором будут жить сыновья и внуки, становится символом непрерывности культуры. «Самостоянье человека», овладевшего «наукой первой» — «чтить самого себя», сливается с исторической жизнью народа и бессмертием Природы («Вновь я посетил...»).

Переживания Карамзина последних лет и сходны, и отличны. Для Пушкина этот символический образ имел и реальное бытие. Он был воплощен в образе Михайловского, и поэтически, и в планах, которые Пушкин пытался реализовать, противоположного «свинскому Петербургу». Карамзина не тянуло на родину, в деревню. Дмитриеву, уехавшему в деревню, Карамзин писал: «Любезный Симбирск, Волга, Свияга! мне уже, вероятно, не видать вас: признаюсь, и не желаю видеть!»[5]

Роль анти-Петербурга первые годы пребывания в нем играет Москва. Она отождествляется с миром частной жизни и собственного достоинства. «Надобно забыть Петербург: докажем, что и в России есть благородная и

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 336.
[2] Там же. С. 220.
[3] Там же. С. 265.
[4] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 170.
[5] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 398.

богу не противная гордость; продадим Вторускую деревеньку и станем век доживать в Москве»[1]. «Мысли мои стремятся под сень Кремля: там и дружба, и покой, и независимость». «Счастлив, кто независим; но как трудно быть счастливым, т. е. независимым»[2].

Но он и сам не верит, что будет доживать в Москве, и, по существу, она его не тянет так же, как и Симбирск. Дом и семья для него — понятия не пространственные: там, где Катерина Андреевна, дети, мир его мыслей и чувств, мир, в котором он чувствует себя любимым и свободным, — там и Дом. А вообще к месту он не привязывается. На месте его держит работа.

В душе же он все тот же путешественник, и как только мелькает мысль об окончании исторического труда, сразу же за ней — другая, о путешествии. Всего за месяц до смерти он с раздражением писал Вяземскому: «Как вы далеки от истины, думая, что мне трудно сдвинуться с места!»[3]

У Карамзина стихия истории — органическая часть его мира. Но у Пушкина Дом — звено Истории, у Карамзина — Дом на берегу Истории. А океан Истории бушует в кабинете историографа, шевелит бумаги на его столе. Это тоже непрерывное путешествие.

Когда-то он набросал по-французски предисловие к первому тому: «Вы хотите читать историю? Это будет долгое путешествие...»[4] А Пушкин нашел точный образ, который потом, повторенный Белинским, вошел в общее употребление: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом»[5].

Двойное зрение — взгляд частного человека, в мире которого нет ни чинов, ни рангов, и взгляд честного историка, который все оценивает нелицеприятным судом потомства, определяет и один из коренных вопросов жизни Карамзина в Петербурге — отношение к Александру I. Карамзин отказывается видеть в царе царя. Это или же добрый знакомый («вижу в нем более человека, нежели царя»[6]), или же историческое лицо, действия которого будет судить потомство.

В качестве первого он «любезный», «добрый». Он запросто заходит справиться о здоровье Катерины Андреевны, галантно танцует с ней на балах. «Государь расстался с нами очень ласково: был у нас; заглянул даже в кабинет, то есть в нашу спальню; подивился тесноте и беспорядку»[7]. Карамзин привязан к нему как к человеку, хотя и прекрасно видит его человеческие слабости.

Но когда Александр заходит ранним утром в китайский домик историографа, чтобы пригласить его на прогулку в «зеленом кабинете», по аллее

---

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 166.
[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 250—251.
[3] *Карамзин Н. М.* Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 173.
[4] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 206.
[5] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 57.
[6] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 315.
[7] Там же. С. 248.

Екатерининского парка Карамзин идет под руку с человеком истории. А у историографа для человека истории на языке может быть только историческая истина. И истина эта чаще всего горька.

Еще в 1811 г., едва познакомившись с Александром, Карамзин подал ему «Записку о древней и новой России», в которой, оценивая деятельность правящего императора, писал: «Здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину»[1]. Твердости духа ему хватало. 17 октября 1819 г., во время трехчасовой беседы в кабинете царя, Карамзин сказал Александру, оспаривая его политику в отношении Польши (свои слова он сам записал, придя домой, «для потомства», ибо разговоры исторических лиц принадлежат истории): «Я сказал ему по-французски (далее французский текст, даем в переводе. — *Ю. Л.*): Ваше величество, у вас много самолюбия... Я не боюсь ничего, мы оба равны перед Богом. То, что я сказал вам, я сказал бы вашему отцу... Я презираю скороспелых *либералистов*: я люблю лишь ту свободу, которой не отнимет у меня никакой тиран... Я не нуждаюсь более в ваших милостях»[2].

Это был не единственный подобный разговор.

Оценка историка была суровой, и Карамзин отказался после внезапной смерти царя писать что-либо о нем: «Нам лучше безмолвствовать красноречиво. От русской фабрики (то есть писаний в русской прессе. — *Ю. Л.*) меня тошнит. Я не напишу ни слова: разве скажу что-нибудь в конце XII тома или в обозрении нашей новейшей Истории — через год или два, если буду жив. Иначе поговорю с самим Александром в полях Елисейских. Мы многого не договорили с ним в здешнем свете»[3].

Но царь любил напомнить, что он царь. Он любил играть масками и резкими переменами условий игры обескураживать собеседника. Карамзин его привлекал именно тем, что в нем чувствовалась жизнь духа, недоступная ни царской милости, ни царскому гневу. Презиравший людей и поэтому любивший унижать тех, кто сам любил унижаться, он чувствовал, что над душой Карамзина власти не имеет. И все же постоянно пробовал доказать самому себе, что и Карамзин такой же, как все. Так, когда Карамзин привез первые восемь томов, чтобы получить высочайшее одобрение и средства на печатанье, Александр подверг его унизительнейшему испытанию: шесть недель царь не назначал аудиенции, томил слухами, дразнил ласковыми приемами у великих княгинь, назначал и отменял встречу, выдавливая из Карамзина согласие на унизительный визит к Аракчееву как предварительное условие приема. Карамзин выдержал этот мучительный искус: прождав бесполезно месяц, он вылил свое негодование в разговоре с сестрой царя вел. княгиней Екатериной Павловной: «Я сказал ей все», «я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом»[4]. Визит же к Аракчееву он сумел обставить так, чтобы

[1] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 49.
[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 9.
[3] *Карамзин Н. М.* Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 169.
[4] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 163.

ни йотой не поступиться собственным достоинством: временщик сам пригласил его и сам предложил помощь — Карамзин, как всегда, ни о чем не просил.

И сразу вдруг милости, любезность, щедрая помощь...

Александр и в дальнейшем «проверял» Карамзина. Карамзин горько недоумевал в 1818 г.: «Зачем *так часто* звали нас, не знаем; зачем некоторое время приметно (avec affectation[1]) охолодели к нам, не ведаем»[2].

Карамзин оставался неизменным. Частное лицо, честный человек, представитель потомства в современности.

Профессиональные историки последующих поколений были правы, указывая, насколько далеко их наука ушла вперед от Карамзина. Но не следует упускать из виду, что историограф и профессор-историк не совсем синонимы. Последний изучает историю, но ни Соловьеву, ни Ключевскому не пришло бы в голову считать себя равным историческим лицом в ряду изучаемых им деятелей. Историограф Карамзин — наблюдатель «минут роковых» и собеседник крупнейших исторических деятелей своей эпохи, судья, а не только знаток веков минувших, считал себя лицом, принадлежащим истории.

Гоголь подвел итог: «Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим <...> Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству»[3].

Итоги

Роль Карамзина в истории русской культуры не измеряется только его литературным и научным творчеством. Карамзин-человек был сам величайшим уроком. Воплощение независимости, честности, уважения к себе и терпимости к другому не в словах и поучениях, а в целой жизни, развертывавшейся на глазах у поколений русских людей, — это была школа, без которой человек пушкинской эпохи, бесспорно, не стал бы тем, чем он сделался для истории России. Не случайно декабристы, порой очень остро

[1] Мы бы перевели: подчеркнуто, демонстративно. — *Ю. Л.*

[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 247.

[3] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 266—267.

критиковавшие *сочинения* Карамзина, неизменно с высочайшим уважением отзывались о его *личности*.

И вместе с тем нельзя пройти мимо того, что своей жизнью Карамзин преподал и отрицательный пример, и когда подходишь к концу его глубоко героической жизни, охватывает скорее печаль, а не радость, которую естественно было бы чувствовать, думая о человеке, проявившем высокую красоту души и не сошедшем с избранного им пути.

Почему? Почему нет чувства победы?

Карамзин умер, не дожив до 60 лет. Конечно, в жизни его было много горестей и еще больше непрерывного труда. Конечно, потрясение и простуда, которых ему стоил день 14 декабря 1825 г., сыграли свою роль. И все же нельзя отделаться от мысли, что главная причина его ранней смерти коренилась глубже.

Карамзин был труженик и ценил свое здоровье как условие, обеспечивающее возможность напряженной работы. Он следил за собой, как спортсмен, и вел размеренный образ жизни. Живший с ним долгие годы в одном доме воспитанник и друг Карамзина П. А. Вяземский вспоминал: «Карамзин был очень воздержан в еде и питии. Впрочем, таковым был он и во всем в жизни материальной и умственной: он ни в какие крайности не вдавался; у него была во всем своя прирожденная и благоприобретенная диетика. Он вставал довольно рано, натощак ходил гулять пешком или ездил верхом в какую пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвратясь выпивал две чашки кофе, за ним выкуривал трубку табаку (кажется, обыкновенного кнастера) и садился вплоть до обеда за работу, которая для него была также пища и духовная и насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса, которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал его с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива, а стакан этот был выделан из дерева горькой Квассии. Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеных яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо, и преимущественно с гигиеническою целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда»[1].

Почему же здоровье Карамзина так скоро оказалось безнадежно подорванным?

Последние десять лет жизнь Карамзина протекала внешне в обстановке идиллии: любящая семья, круг друзей, работа, уважение, небольшой, но твердый материальный достаток — плод непрерывного труда. И все же, когда читаешь лист за листом документы, письма, воспоминания, вдруг начинает веять ужасом. Гостиная уютно освещена, но за окнами — тьма. Под тонкой корочкой бытового благополучия кипит мрак.

Карамзин построил свою жизнь так, чтобы жить, ни на что не надеясь. Жизнь без надежды...

---

[1] *Вяземский П.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 210.

В 1794 г. он призывал Дмитриева жить «без страха и надежды». В последнем номере «Московского журнала» Карамзин поместил переводной отрывок «Надежда»: «Жизнь есть обман — счастлив тот, кто обманывается приятнейшим образом. Надежда! Ты дщерь неба? сопутница горестных? утешительница несчастных? Нет! ты обманщица!» «Наконец — о блаженная минута! — являются душе страдальца картины радости и счастья; образ за образом пролетает мимо очей его — один другого светлее, один другого радостнее — какое прекрасное смешение цветов! Как все живо, естественно, правдоподобно!»

«...Но се приближается *угрюмая существенность* с медным жезлом своим и привидение скрывается — густая тьма поглощает свет и все прелестные образы..... и только одни слезы в очах остаются»[1].

Но тогда это была *литература* — немного игра, чуть-чуть кокетство. Потом это сделалось основной мыслью жизни.

Через всю жизнь Карамзин пронес один особенно ему близкий образ — образ Дон Кихота. В начале «Писем русского путешественника» он назвал себя «рыцарем веселого образа», вспоминая и героя Сервантеса, и Стерна, который также сравнивал себя с Дон Кихотом[2]. В дальнейшем он вспоминал этого героя неоднократно. 17 августа 1793 г. он пишет Дмитриеву: «Назови меня Дон Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество!»[3] А 12 апреля 1820 г., при известии о революции в Испании, писал Вяземскому: «История Гишпании очень любопытна. Боюсь фраз и крови. Конституция кортесов есть чистая демократия, á quelque chose prés[4]. Если они устроят государство, то обещаюсь итти пешком в Мадрит, а на дорогу возьму Дон Кищота и Кихота»[5].

Кстати, когда Карамзин называл сборник своих произведений «Мои безделки», он, конечно, помнил беседу Дон Кихота в барселонской типографии:

«— Как называется эта книга? — осведомился Дон Кихот. Переводчик же ему ответил:

— Сеньор, итальянское заглавие этой книги — La Bagatelle.

— А чему соответствует на испанском языке слово la bagatelle? — спросил Дон Кихот.

— La bagatelle, — пояснил переводчик, — в переводе на испанский язык значит *безделки*, но, несмотря на скромное свое заглавие, книга эта содержит и заключает в себе полезные и важные вещи».

---

[1] Московский журнал. 1792. Ч. VIII. Кн. 2. С. 206—207.

[2] Карамзин перевел для «Московского журнала» отрывок из «Сентиментального путешествия»: «Пусть назовут меня Рыцарем *печального образа*, ищущим меланхолических приключений, однако ж — не знаю от чего — только в минуты горести бываю я более уверен в существовании души моей» (Московский журнал. 1791. Ч. II. С. 180).

[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 42.

[4] Нечто подобное (*фр.*).

[5] *Карамзин Н. М.* Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 99.

Образ Дон Кихота принадлежит к тем персонажам мировой литературы, которые обладают способностью неожиданно выглядывать из-за плеча совсем далеких от них, казалось бы, людей.

Разговор Иешуа и Пилата в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»:

«— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова „добрые люди"? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете. <...>

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. <...> Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы»[1].

А вот эпизод из «Дон Кихота»: принятый как странствующий рыцарь в замке герцога, Дон Кихот подвергся оскорблениям со стороны священника, который называет его «пустой головой» и советует выбросить вздор из головы и убираться домой. На поток брани герой Сервантеса отвечает: «Я не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека[2]. Единственно, о чем я жалею, это что он не побыл с нами, — я бы ему доказал, что он ошибается»[3].

Булгаков любил роман Сервантеса, читал его в подлиннике, работал над сценарием по его тексту и, конечно, не случайно придал своему Иешуа черты ламанчского рыцаря.

Дон Кихот — воплощенная вера, на вере в торжество добра строится вся его жизнь. На вере и надежде стоит и Иешуа:

«— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат...»

Когда у Дон Кихота отняли надежду, он умер.

Карамзин был Дон Кихот, утративший надежду. Из трех христианских добродетелей он был щедро наделен любовью, принуждал себя иметь веру, но надежда его покинула на середине пути. Семья, работа, размеренный ритм жизни — все это была его крепость, но и его скала Святой Елены, стена, за которой он и спасался, и погибал.

Он был обречен, и это разрушало его здоровье.

Вокруг него царила атмосфера доброты. Но от этой доброты на энтузиастов, на тех, кто хотел действовать и предпочитал не углубляться во вчерашний день, чтобы не слишком ясно представлять себе завтрашний, веяло холодом.

---

[1] *Булгаков М. А.* Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. М., 1973. С. 444.

[2] Yo no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho (Miquel de Cervantes, Secunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, Madrid, 1967. P. 206).

[3] *Сервантес М.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 2. С. 267.

Несчастью верная сестра,
Надежда... —

сказал Пушкин. Карамзин никогда не повторил бы этих строк: «Несчастью верные сестры — работа, верность себе, чистая совесть, чувство собственного достоинства...»

Незадолго до смерти Карамзин записал уже цитированные нами горькие слова о том, что историей управляет не разум философа и даже не разум государя, а голая сила — «палица, а не книга». Правда, он сделал оговорку о том, что палицу в руки силе влагает бог, но сам в это вряд ли убежденно верил: ему доводилось видеть палицу в слишком многих руках, видеть, как она переходит из одного лагеря в другой, чтобы быть уверенным в том, что ею управляет высшая мудрость. В письмах к Дмитриеву и в других известных нам документах последних десятилетий всякий раз, когда в душе его возникает возмущение, несогласие, когда исторические события ставят его в недоумение или вызывают глубокую грусть, он гасит эти чувства ссылкой на загадочную волю Провидения. Но душа и ум его были чужды и наивной вере отцов, и мистицизму как Кутузова, так и Жуковского. Он был и оставался деистом и скептиком XVIII в., но скептиком, утратившим веру даже в скептицизм, сомневающимся даже в сомнении. Именно этим чувством продиктованы строки, вышедшие из-под пера, начертавшего некогда в предисловии к «Истории государства Российского», что «правители, законодатели действуют по указаниям истории».

«Аристократы! вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувство, а не теорию. — Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов; а другие смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга! — И так сила выше всего? Да, всего, кроме бога, дающего силу!

Либералисты! Чего вы хотите? Щастия людей? Но есть ли щастие там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти?

Основание гражданских обществ неизменно, можете низ поставить на верху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание.

Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый самому себе, с помощью божиею»[1].

Слова эти полны самого полного, самого горького разочарования. Последние иллюзии отброшены: политическая борьба рисуется не как столкновение порядка с беспорядком, не как борьба сомнительной новизны и хода вещей, освященного временем и традицией, а как непримиримый

[1] *Карамзин Н. М.* Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 173.

конфликт аристократии и народа, тех, кто владеет благами жизни, и тех, *кто их лишен. Это — столкновение интересов, прикрываемое «речами и* книгами». Освобождение от иллюзий доходит здесь до грани цинизма и одновременно политического ясновидения. Его можно сопоставить с жесткой трезвостью «Замечаний о бунте», представленных Пушкиным Николаю I вместе с «Историей Пугачева». Там Пушкин также мотивировал невозможность соглашения между дворянами и народом тем, что «выгоды их были слишком противуположны»[1]. К этому можно было бы прибавить, что слова: «Свободу дает не Государь, не Парламент» — нельзя не сопоставить с пушкинским:

Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать: для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Стихотворение «Из Пиндемонти», откуда взяты эти строки, относится к тому же периоду творчества Пушкина, что и «Замечания о бунте» (1835—1836).

Сходство формулировок не может заслонить глубины различий позиций Пушкина и Карамзина. И все же это не просто словесное совпадение: перед нами — разные моменты развития общей культурной традиции.

Бросается в глаза еще одна особенность процитированной записи Карамзина: аристократы (которые, кстати, определены и употребленным как синоним словом «сервилисты»; однако слово «сервилист», от латинского «servilis», «рабский», имеет резко оценочный и, бесспорно, уничижительный характер; словарь Д. Н. Ушакова определяет «сервильный» как рабски угодливый, раболепный) и демократы в равной мере осуждены Карамзиным. Но нетрудно заметить, что интонации осуждения их весьма различны: действия аристократов корыстны, действия демократов несбыточны. Слово «либералист» Карамзин произносил с иронической улыбкой, слово «сервилист» — с отвращением. Наконец, признавая, что сила — единственный критерий, применимый в истории, и оправдывая силу волей Провидения, Карамзин с его жизненным и историческим опытом не мог не думать о том, что сила, сегодня находящаяся в руках аристократов, завтра может перейти к их противникам. Он не мог забыть наглядных уроков истории, когда сила попеременно оказывалась в руках якобинцев, Наполеона, его противников. В чьих руках находится сила сейчас, в 1825 г., для вдумчивого историка было решить не так легко.

Запись показывает, что Карамзин зашел в своих исторических размышлениях настолько далеко, что его же собственные принципы, положенные им в основу «Истории», перестали казаться ему полностью удовлетворительными.

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 9. Кн. 1. С. 375.

Принято считать, что смерть оборвала работу Карамзина над его «исторической поэмой» (как он однажды назвал в письме к Вяземскому свой труд). Это противоречит решительному заявлению самого Карамзина, сделанному задолго до последней болезни, что труд историка он оставляет. Мало обращают внимания, что место русского консула во Флоренции, которого он добивался в последние месяцы своей жизни, одновременно означало отказ от должности историографа.

Это не были настроения минуты. Это были глубоко продуманные решения, принятые еще до неожиданной смерти Александра I. Последняя беседа Карамзина с царем 28 августа 1825 г. была с обеих сторон овеяна меланхолической грустью. И все же оба они (еще не зная, что это действительно их *последняя* встреча, что царь умрет через три месяца, а Карамзин менее чем через год) ясно видели, что это разрыв, окончательный и бесповоротный. Позже, в письме, обращенном к потомству, Карамзин с горькой откровенностью подвел бесплодный итог своих десятилетних попыток влиять на императора: «Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однакожь слушал их, хотя им, большею частию, и не следовал, так, что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эти милости и доверенности остались бесплодны для любезного Отечества»[1].

И тут последовали новые удары.

Смерть Александра I и 14 декабря, которое сами карамзинисты называли «вооруженной критикой на „Историю государства Российского“», его сломили. Ему вдруг захотелось совсем новой жизни. Он ведь был путешественник в душе и всегда мечтал о странствиях. В трудную минуту, в 1798 г., он писал Дмитриеву: «Когда русский мороз (мороз здесь — понятная и уже привычная метафора. — *Ю. Л.*) заставляет меня стучать зубами и стягивает неприятным образом все мои фибры, тогда живо представляю себе щастливый климат Хили, Перу, островов Св. Елены, Бур-Бона, Филиппинских, и веселюсь мыслию, что там будет покоиться прах мой, под сению вечно-цветущих, вечно-плодоносных дерев»[2].

И вот он, стоя одной ногой в могиле, хлопочет о месте дипломата в Италии. И когда близкие высказывают опасения относительно трудностей, связанных с путешествием, он, всего за три недели до смерти, раздраженно упрекает их в непонятливости. Только путешествие может вернуть его к жизни. Продолжать «Историю» он решительно отказывается. Он пишет Вяземскому: «С этого места сорвала меня буря или болезнь, и я имею неописанную жажду к разительно-новому, к другим видам природы, горам, лазури италианской etc. Никак не мог бы я возвратиться к своим прежним занятиям, если бы здесь и выздоровел»[3]. Нужно оценить силу выражений,

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 11.

[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 107.

[3] *Карамзин Н. М.* Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 173.

вырвавшихся из-под дрожащего от слабости пера, чтобы понять страсть охватившего Карамзина порыва. Это была именно жажда.

Захотелось разительно нового. Нового неба, новой земли.

22 мая 1826 г. Карамзин скончался.

В Кронштадте стоял готовый к отплытию фрегат, на котором русский путешественник должен был отправиться в свое новое путешествие.

Путь не был окончен. Он умер, сидя в кресле. Словно присел перед дорогой.

Эпилог

Карамзин не успел закрыть глаза, как началась работа по посмертной его канонизации, устранению из его облика всего смятенного, трагического, незаконченного и — следовательно — живого. Прежде чем внести в Пантеон, надо было превратить его в монумент. Мертвого стремились завербовать в союзники и его именем освятить суету своих дел и расчетов. Прежде всего в эту работу включился Николай I, уже показавший себя в 1826 г. не только бессердечным палачом, но и умелым комедиантом. Демонстративные милости были первым шагом к созданию официальной легенды о Карамзине. Именно «святого» Карамзина противопоставил царь «крамольному» Пушкину после смерти поэта: «Карамзин умирал, как ангел», а Пушкина, сказал Николай Жуковскому, «мы насилу довели» «до смерти христианской». Николай именем Карамзина упрекал уже мертвого Пушкина.

Именем Карамзина клялся Блудов, когда писал Вяземскому одно из самых подлых писем в истории русской литературы: выполняя поручение Бенкендорфа, вчерашний арзамасец, судья декабристов, уже ухватившийся за портфель товарища министра внутренних дел, написал Вяземскому — своему давнему другу — письмо, наполненное скрытыми за дружеским увещеванием угрозами («осторожность, — грозил он Вяземскому, — также обязательна, особенно для отца семейства»). Здесь русскому литератору предъявлялись дотоле неслыханные требования: объявлялось, что просто молчание недостаточно, отказ в раболепном служении правительству уже является преступлением. Похвалы Байрону и Руссо также дают повод для подозрений, поскольку Байрон «был отъявленным врагом всех существующих установлений». Даже занятия политической экономией возбуждают сомнение в лояльности. Вяземскому предлагалось оставить стремление к «эфемерной славе дерзости и оригинальности» (всякая оригинальность, даже в литературе, есть уже крамольная дерзость!). Письмо завершалось кощунственным соединением авторитета и памяти Карамзина с политикой III отделения по удушению лите-

ратуры. «Итак, я вам говорю и повторяю: будьте не только благоразумны и осмотрительны, но и полезны <...>. Этот совет я вам *передаю по повелению свыше*; но в то же время это и совет друга; я даю его шурину того, кто был... как бы выразиться?.. кто был почти совершенным, потому что в этом дольнем мире нет полного совершенства. Я говорил вам также и от его имени и хотел бы обладать его языком, если бы осмелился считать себя способным подражать ему»[1].

Но тот же Вяземский в дальнейшем использовал авторитет Карамзина как тяжелое орудие в борьбе с Полевым. Теперь уже именем Карамзина пользовались те, которые сами пострадали от подобных приемов. Профессор и цензор Никитенко записал городские слухи в связи с запрещением «Московского телеграфа» Н. Полевого: «Везде сильные толки о „Телеграфе". Одни горько сетуют, „что единственный хороший журнал у нас уже не существует". — Поделом ему, — говорят другие: — он осмеливался бранить Карамзина»[2]. Возможно, толки эти достигли даже слуха давно уже безумного Батюшкова, смешавшись с давними воспоминаниями о боях арзамасцев с шишковистами. По крайней мере, когда тот же Никитенко посетил больного через несколько месяцев после гибели «Телеграфа», то в безумном бреду он уловил, что Батюшков жаловался, «как кто-то влачил в пыли Карамзина и русский язык»[3]. Батюшков уверял, что сам это видел. Как позже вспоминал Аполлон Григорьев, «всякое критическое замечание насчет Карамзина считалось святотатством»[4].

А это, естественно, порождало противоположное движение.

Карамзина возносили на пьедестал и свергали с него. И не обращали внимания на то, что как-то незаметно писатель и человек, всю жизнь искавший и умерший, упав от изнеможения на пути, подвижник просвещения, достойный в этом отношении быть поставлен в одном ряду с Новиковым, реформатор языка и Колумб русской истории, был подменен мраморным двойником, одинаково удобным для преклонения и поношения.

Но история напоминает Мальстрем: то, что она поглощает, она возвращает обратно. Карамзин возвращается...

---

[1] Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 421—422. Цитируем в переводе М. И. Гиллельсона. Ср. также: *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». С. 143—146.

[2] *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 140.

[3] Там же. С. 158.

[4] *Григорьев А.* Литературная критика. М., 1967. С. 158.

Эпилог эпилога

Карамзин создавал себя — создавал писателя, создавал человека. И одновременно он создавал русской культуре образцы Писателя и Человека, которые входили в сознание поколения, формируя личности и биографии других писателей. Он создавал еще две важнейшие фигуры в истории культуры: русского Читателя и русскую Читательницу.

Влияние писателей на культурную жизнь может быть двояким. Наследие одних переходит потомству вместе с их именем. Каждая их строка напоминает о том или ином произведении. Как правило, это удел гениев. Их творчество глядит на нас собраниями сочинений с полок библиотек, а сами они — с монументов на площадях городов. Но есть и другая судьба, есть и другое влияние. Анна Ахматова сказала однажды о родной земле:

> ...ложимся в нее и становимся ею,
> Оттого и зовем так свободно — своею.

Эти писатели ложатся в землю родной литературы и становятся этой землей. Их наследие может утратить имя, перестать ощущаться как чье-то наследие. Оно делается почвой. Такова была судьба Карамзина во второй половине XIX—XX в. Его перестали читать — он сохранился лишь как детское чтение (поразительно, но с 1960-х гг. происходит ощутимый процесс возрождения Карамзина как активно читаемого писателя). Но в почве русской культуры продолжали жить, перерождаться, обретать новые виды и формы те элементы, которые были созданы им.

Карамзин создал стереотип русского путешественника по Европе. И десятки русских писателей — от Василия Львовича Пушкина до Достоевского — поверяли свои впечатления «по Карамзину», копировали или спорили, пародировали, но неизменно точкой отсчета своего поведения брали образ Карамзина. Читая рассказ Толстого «Люцерн», современный нам читатель не видит тени Карамзина, лежащей на его страницах. Но Толстой знал, с кем он спорит, и его читатели тех лет знали это тоже.

Маяковский, покидая Париж в 1925 г., написал:

Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
Если б не было
такой земли —
Москва.

Слово «сантиментальность» совсем не случайно у Маяковского: стихи эти — весьма точная цитата. «Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции», — писал Карамзин, расставаясь с Парижем. Маяковский не только наизусть помнил эти слова, но, прощаясь с Парижем, ощутил себя все тем же «русским путешественником» за границей. Параллель эта вызвала у него даже некоторую досаду, что видно из иронических в собственный адрес слов о сердце, расквашенном сентиментальностью.

Но у образа «русского путешественника» было еще одно будущее: он трансформировался в образ «русского скитальца». Не случайно Герцен в Париже 1848 г. вдруг так горячо перекликнулся душой с уже почти забытым им Карамзиным. Вряд ли случайно и то, что Достоевский, когда работал над «Подростом», «думая воскресить мечты детства», «читал Карамзина»[1]. Вообще в теме «Россия и Запад», как только она в той или иной форме возникает, неизменно мелькнет тень Карамзина.

Но и другие «роли», созданные Карамзиным, не пропали в человековостроении русской литературы. Они выступают в тургеневском сочетании глубокой скептической разочарованности с культом красоты, и слова: «Венера Милосская <...> несомненнее римского права или принципов восемьдесят девятого года» — таят в себе позу, генетически восходящую к Карамзину второй половины 1790-х гг. Достоевский это чутьем уловил, и именно «Довольно» инспирировало образ Тургенева — Кармазинова. Но еще глубже и органичнее связь Карамзина-историка и исторического мыслителя 1820—1826 гг. с автором исторических размышлений в «Войне и мире». Если Карамзин начинал свою «Историю» с твердой верой в государство и, следовательно, в силу правительственной деятельности, то занятия, размышления — особенно в связи с временем Ивана Грозного — все больше подводили его к мысли о загадочности исторических судеб народов и о фактическом бессилии личного начала.

Недавно А. Зорин[2] обратил внимание на возможность не только «ролевого», но и «ситуационного» поведения, когда определенная литературная маска прикрепляется не к лицу, а к некоторой бытовой ситуации. При перемене ситуации участники ее меняют литературный стереотип. Поясним эту мысль примером из пушкинской «Метели»: «„Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...“ (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже). „Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...“ (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux)»[3]. Бурмин, как и Онегин, цитирует героя «Новой Элоизы» Руссо не потому, что отождествляет себя с ним. Отожде-

[1] Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». Творческие рукописи // Лит. наследство. 1965. Т. 77. С. 342.

[2] См.: *Зорин А.* Новые аспекты старых проблем // Вопросы литературы 1985. № 7. С. 217.

[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 8, кн. 1. С. 85.

ствляется ситуация, что позволяет найти готовые формулы выражения чувств и дает общий «язык ситуаций», избавляя от непонимания.

И в этом случае роль Карамзина была огромна. Приведем лишь пример, когда карамзинский текст становится ситуативным кодом, позволяющим двум мальчикам, Герцену и Огареву, построить свои отношения. Вот отрывок из «Моей исповеди» Огарева: «Много я выстрадал внутреннего укора, прежде чем решился назвать тебя другом.

Решение мое пришло очень смешно. Запольский (учитель русской словесности. — *Ю. Л.*), который был уже и твоим учителем, дал и тебе и мне читать Карамзина. Нам очень понравилось: „Цветок на гроб моего Агатона". Ты мне сказал — не то, чтоб очень развязно: „Вам бы надо завести своего Агатона". Я не понял, и думал, что ты советуешь мне купить сочинения Карамзина, которых у меня в собственности не было. Ты захохотал. „Нет, вы меня не поняли, — сказал ты, — я говорю о друге".

Я сконфузился, покраснел до ушей от своей глупости и не отвечал. Долго после я думал о „моем Агатоне", думал, что тебе хочется, чтоб я так назвал тебя; меня мучила робость и непреодолимое влечение дать тебе это имя, которое, пожалуй, и забавно, но тогда вовсе не казалось смешным. Моя нерешительность сделала то, что дружба страстная, деятельная, ищущая ответа на все неясные стремления к мысли и подвигу, установилась между нами прежде, чем мы сказали друг другу *ты*»[1]. Если робость задержала переход на «ты», то сама возможность ранней осознанности сложного и страстного чувства оказалась возможной потому, что модель его уже была дана в культурной традиции. Карамзин дал двум мальчикам название для их «ищущего» чувства, модель отношений, помог превратить неясное движение молодой души в осознанный акт культуры. Точно так же, когда юным братьям Достоевским надо было найти адекватные их чувству слова, чтобы написать их на могиле матери, они нашли их у Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра». Позже эта надпись сатирически преломилась в рассказе «Бобок» — нить продолжала тянуться.

Однако это скрытое, так сказать анонимное, присутствие Карамзина в русской литературе на наших глазах сменяется личным возвращением его в число читаемых писателей прошлого. Михаил Михайлович Бахтин за несколько месяцев до своей кончины произнес замечательные слова: «Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения». Праздник этот приходит к Карамзину.

Закон возвращения к истокам — общий закон культуры.

Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветвь,
Найдут и воскресят.

---

[1] «Моя исповедь» Огарева / Статья и публ. М. В. Нечкиной // Лит. наследство. 1953. Т. 61. Кн. 1. С. 691—692.

В двадцатом веке произошло воскрешение многого из того, что предшествующее столетие безоговорочно относило к мертвому наследию, интересному лишь для историков и архивариусов. Читательски воскресли Державин и Баратынский, Тютчев стал одним из самых читаемых русских поэтов. На наших глазах произошло «воскрешение» древнерусской литературы, находящей себе читателей далеко за пределами круга специалистов. Казалось бы, нет ничего необычного в том, что теперь очередь дошла и до Карамзина и издания его произведений появляются одно за другим. И все же в «воскрешении» Карамзина есть одна ощутимая особенность, выделяющая его из всего ряда: Карамзин возвращается в литературу *как личность*. Его живое лицо, его душа, да простят мне это не очень модное понятие, едва ли не нужнее современной литературе, чем его произведения. Этому надо найти объяснение.

Бывают периоды, когда в литературе видят лишь определенное количество книг, нечто вроде библиотеки. Тогда возникают теории, согласно которым Гоголь был плохим мыслителем, но, вопреки этому, «Мертвые души» — гениальное произведение, Достоевский был реакционер, но, независимо от его личных устремлений, его романы содержат глубокую жизненную правду. Собственный путь писателя как бы отделяется от его литературного труда. В писателе видят только «представителя», а не ищущую личность. Тогда возникают попытки представить историю литературы как некий обезличенный процесс. Но любой взгляд на прошлое продиктован соображениями современности, поскольку вчерашний день неизбежно кончается сегодняшним.

В свое время Белинский в «Литературных мечтаниях» высказал глубокую мысль о том, что культура может иметь великих писателей и гениальные произведения и *не иметь литературы*. Литература не полка книг — она живой организм, и держится этот организм единством атмосферы, наличием определенных неоспоримых ценностей. После того, как мир средневековых культурных ценностей и моральных устоев сменился светской по своей природе культурой нового времени, литература — особенно это заметно в России — взяла на себя роль духовного и этического руководителя общественной жизни. Атмосфера честности, душевного благородства, бесстрашного поиска истины — воздух литературы. Без него она погибает.

А атмосфера эта создается лишь ценой величайших и трудных личных усилий.

Карамзин создал много произведений и среди них — замечательные «Письма русского путешественника» и великую «Историю государства Российского». Но величайшим созданием Карамзина был он сам, его жизнь, его одухотворенная личность. Именно ею он оказал великое моральное воздействие на русскую литературу. Постоянно «выковывая себя», он создал живой эталон русского писателя, эталон, в котором душевное благородство мыслилось не как высокое достоинство, а лишь как естественное условие человеческой жизни и минимальное из требований, предъявляемых к литератору. Высочайшие этические требования Карамзин ввел в литературу как обыденные. И когда Жуковский, Пушкин, а за ними и все великие писатели XIX в. продолжали строительство русской литературы, они начинали уже с заданного

Карамзиным уровня как с само собой разумеющейся основы писательского труда.

Читатель это чувствовал и отвечал литературе безусловным доверием. А это доверие также составляет основу атмосферы, в которой живет литература.

В этом — особенность и историческая необходимость воскрешения Карамзина. В этом его сегодняшняя нужность.

Чаадаев, который, пожалуй, ни в одном пункте не сходился с идеями Карамзина, однажды написал о нем: «С каждым днем более и более научаюсь чтить его память»[1]. С тех пор прошло много дней, но слова эти продолжают жить.

Ими и хочется завершить книгу.

[1] *Чаадаев П. Я.* Соч. и письма. М., 1913. Т. 1. С. 216.

Статьи и исследования

Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803)[1]

В 1843 г. В. Г. Белинский писал: «Весь период от Карамзина до Пушкина следует называть карамзинским»[2]. Еще более определенное суждение было им высказано за год до этого. «С именем Карамзина, — писал критик, — соединяется понятие о целом периоде русской литературы, стало быть, от девяностых годов прошлого столетия до двадцатых настоящего. Тридцать пять лет такой блестящей литературной деятельности и около сорока лет такого сильного влияния на русскую литературу, а через нее и на русское общество!»[3]

Трудно заподозрить в переоценке значения Карамзина Белинского, чей дебют как критика — «Литературные мечтания» — был последним и осудительным словом в борьбе с карамзинизмом, — борьбе, занимавшей более четверти века русскую критику. Речь шла не об идеализации Карамзина, а об определении его исторической роли.

Между тем задача эта не может считаться решенной и по настоящий день. Тот факт, что со времени выхода пятого тома академической «Истории русской литературы» (1941) по сей день, то есть в течение пятнадцати лет, в печати не появилось ни одной литературоведческой работы, посвященной творчеству Карамзина (исключая популярный очерк А. Я. Кучерова в книге «Н. Карамзин и И. Дмитриев. Избранные стихотворения». Л., 1953), а беглые упоминания в статьях, посвященных другим вопросам, часто лишены были научной объективности, — свидетельствует о своевременности изучения писателя, связи с творчеством которого (в форме ли полемики, преодоления влияния или продолжения традиции) знаменуют целый этап русской литературы.

---

[1] Настоящая работа, имея целью характеристику общих вопросов идейной эволюции, не ставит задачи монографического рассмотрения отдельных произведений писателя, как бы значительны они сами по себе ни были. Автор оставляет также в стороне вопрос о связях Карамзина с западноевропейской общественной мыслью его эпохи, надеясь посвятить этому специальный очерк.

[2] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М. 1955. Т. 7. С. 139.

[3] Там же. Т. 6. С. 321.

Литературная деятельность Н. М. Карамзина, если не считать ее предыстории — четырех лет, проведенных в масонском окружении, — а также времени работы над «Историей государства Российского», может быть разделена на три отчетливых периода: время издания «Московского журнала», творчество 1793—1800 гг. и период «Вестника Европы». Не ставя своей задачей дать исчерпывающий анализ всех произведений Карамзина, остановимся именно на вопросе его идейно-художественной эволюции, ибо даже в наиболее интересных, с нашей точки зрения, работах (цитированная статья Г. А. Гуковского в пятом томе «Истории русской литературы»; глава о Карамзине в докторской диссертации Н. И. Мордовченко; статья Б. М. Эйхенбаума в сб. «Сквозь литературу») творчество Карамзина неизменно рассматривается статически. Как мы увидим, именно динамика литературной деятельности Карамзина имеет первостепенное значение для выяснения судеб его школы.

Развитие творческих принципов Карамзина обычно изображается следующим образом: молодой писатель подвергся идейному влиянию кружка московских масонов. Четыре года он был их послушным учеником, но затем порвал со своими наставниками, уехал за границу. Развитие самостоятельного творчества, по мнению Н. С. Тихонравова и других исследователей, означало вместе с тем постепенное освобождение Карамзина от влияния «московских друзей». На самом деле, картина была несколько более сложной.

Молодой Карамзин подвергся воздействию двух противоположных систем воззрений. С одной стороны, на него влияла масонско-кутузовская идеология. Кутузовские воззрения имели в своей основе представление о субъективности человеческих познаний (признавалось их чувственное происхождение, но отрицалась возможность познания с их помощью «внешних вещей», то есть объективного мира), о независимости человека от воздействия внешней среды. Причиной социального зла объявлялась не общественная структура, а природа человека. Задача сводилась, при таком подходе, не к переделке общества, а к имманентному изменению человеческой психики: основной социально-этической проблемой А. М. Кутузов считал обуздание эгоизма, — коренного, по его мнению, свойства человеческой природы. Достигнуть этого масоны надеялись при помощи широкого просвещения. Главным объектом просвещения должен был быть народ, ибо именно его недовольство, объясняемое как результат «непросвещенного эгоизма», более всего пугало масонских идеологов. Философский субъективизм определил и систему эстетических требований. В центре изображения должен стоять внутренний мир человека (в первую очередь самого автора), изолированный от внешней действительности и ею не обусловленный.

«Не наружности искателей, — писал А. М. Кутузов, — не кавтаны и не рединготы их, не домы, в которых они живут, не язык, которым они говорят, не горы, не моря, не восходящее или заходящее солнце суть предметы нашего внимания, но *человек и его свойство*. Все жизненные вещи могут быть также употребляемы, но не иначе, как только пособия и средства»[1]. Подобный

[1] Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1—2. С. 134. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

подход обусловил отказ не только от открыто социальной тематики, но и от какого бы то ни было интереса к окружающему миру. Психологическое состояние одинокой, погруженной в себя человеческой личности, трагически переживающей близость смерти (отсюда бесконечные «Размышления на гробах», «Руины», «Сельские кладбища», наводнившие, вслед за кутузовским переводом «Ночей» Э. Юнга, литературу последних десятилетий XVIII в.) — характерная тематика кутузовского кружка. «Скажи, к какому предмету нерешимость выбора моего клониться долженствует. Важность размышлений о гробе, причина, для чего человеки убегают оного, ужасное рождение самоубийства, различные роды горести, слабости, старости и страшное свойство смерти — все сие песнь мою привлекает»[1]. Если прибавить к этому многократно повторяемое утверждение о независимости человека от внешней среды, об определяющем влиянии врожденных свойств на характер, и о злой, эгоистической природе человека, станет понятен смысл идейного воспитания Карамзина в период его жизни в масонском «енгалычевском» доме[2].

Однако существовала и иная оказавшая на молодого Карамзина влияние традиция — традиция просветительских идей и руссоизма. Расхождения между Руссо и энциклопедистами в данной связи не были существенны, поскольку и у того и у других Карамзин находил и отрицание врожденных идей, и мысль о зависимости человека от общественных условий (в этом смысле не столь значительно было, рассматривался ли человек как врожденно добрый или же не добрый и не злой по природе, ибо оба подхода возлагали ответственность за уродливое развитие человека на несправедливое общество).

О том, что в период идейного ученичества Карамзину еще не было ясно, сколь глубоко противоположны эти традиции (то есть, по сути, он еще не понимал ни той ни другой), свидетельствует любопытный факт. В 1786 г. была издана переведенная Карамзиным, видимо, по заданию Н. И. Новикова, книжечка «О происхождении зла, поема великого Галлера». Поэма А. Галлера полемически заострена против известной «Защиты пороков» Б. Мандевиля, характеризуя которую К. Маркс писал: «Свидетельством социалистических тенденций материализма может служить „Защита пороков“ Мандевиля, одного из ранних английских учеников Локка. Он доказывает, что в *современном* обществе пороки *необходимы и полезны*. Это ни в коем случае нельзя признать защитой современного общества»[3]. Из мысли Мандевиля о зависимости человека от общественных условий вытекало требование социальных перемен. Полемизируя с ним, Галлер, совпадая со взглядом деятелей кутузовского типа, доказывал, что зло — не в обществе, а в природе человека: «Я зрю

[1] *Юнг Э.* Нощи / Нощь пятая. Пер. А. М. Кутузова // Утренний свет. 1799. Ч. VI. Июль. С. 232.

[2] Следует отметить, что если Кутузову и удалось создать теорию предромантического искусства, влияние которой чувствуется в поэзии некоторых поэтов, то художественная практика писателей, связанных с масонством, оставалась традиционной.

[3] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 4. С. 160.

внутренний мир и *обретаю его аду подобным*»[1]. «Недовольный самим собою, каждый ищет спокойствия вне себя, спокойствия, которое ему никто, кроме самого его, доставить не может»[2]. Из этого следует и прямой вывод о злой природе человека. Автор решительно отвергает противопоставление «добрых дикарей» людям современного ему общества. Условия жизни не влияют на человека — человеческая природа всегда неизменна: «Ни время, ни страна, ни обыкновение не могут переменить натуру: источник течет везде, а токмо единый вид течения переменяется. Всуе какой-либо народ прославляет невинность нравов своих <...> Лапландцы <...> суть также рабы пороков. Они подобно нам нерадивы, исполнены скотских вожделений, суетны, корыстолюбивы, леностны, завистливы и злобны. Не все ли едино, рыбий ли жир или злато смертоносную вражду производит»[3]. Карамзин сопроводил эти слова сочувственным примечанием, видимо, не замечая разительного противоречия между ними и другим его же примечанием. На с. 11 переводчик в сноске писал о простой, «естественной» жизни альпийских пастухов: «Все слышанное мною от путешествовавших по Швейцарии о роде жизни их в восхищение приводило меня. Размышление о сих счастливых часто побуждало меня воскликнуть: „О смертные! Почто вы уклонились от начальной невинности своей! Почто гордитесь мнимым просвещением своим“».

Втянутый в орбиту масонского влияния, участник новиковской просветительной деятельности, Карамзин не сделался, однако, последовательным сторонником кутузовских идеалов. Просветительские идеи, видимо, имели для него достаточную притягательность, и отъезд молодого писателя за границу был воспринят в масонских кругах как свидетельство разрыва.

Демонстративное противопоставление Карамзиным (писавшим в «Московских ведомостях» о готовности печатать любое произведение, кроме «пиес» «теологических, мистических») своего журнала масонским изданиям общеизвестно. Гораздо любопытнее проследить, чем было вызвано это расхождение.

Центральным произведением Карамзина периода «Московского журнала» являются печатавшиеся из номера в номер «Письма русского путешественника». Произведение это нарушало основной принцип эстетики А. М. Кутузова. «Письма...» не были «картиной души», изображенные в них сцены отнюдь не являлись аллегорической персонификацией внутреннего мира автора: речь шла о реальных, вне писателя находящихся и от него не зависимых явлениях, событиях и лицах. Это не могло удовлетворить Кутузова, искавшего везде «лирический портрет». Он писал Карамзину: «Несправедливо говоришь ты, что твой журнал (то есть дневник, в данном случае — «Письма русского путешественника». — *Ю. Л.*) для меня не интересен; он должен быть мне интересен более, нежели многие другие, ежели не по содержанию, то потому, что *писан тобою*. Говорят, что *сочинения суть изображения внутреннего*

[1] *Галлер А.* О происхождении зла / Пер. с нем. М., 1786. С. 16. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[2] Там же. С. 17.

[3] Там же. С. 89.

нашего состояния; ежели это правда, то как бы хотелось мне <знать>, в каком ты ныне находишься». Сама форма описания реального путешествия, вместо аллегорического «странствия души», картины действительных событий, а не психологического «самораскрытия» личности брались под сомнение. «Иное дело путешествовать политику, военному человеку или художнику (то есть ремесленнику. — *Ю. Л.*); иное дело испытатель естества человеческого и нравоучитель; сии последние не имеют нужды выезжать из своего отечества; все то, что они ищут, найдут в самих себе...»[1]

Как ни поверхностно изображал Карамзин мир общественных отношений, само внимание к «внешнему» миру вызывало упреки Кутузова, горько осуждавшего в письме А. А. Плещееву от 1/15 марта 1791 г. художественную манеру писателя: «Может быть занимаешься чтением лорда Рамсая (прозвище Карамзина в масонском кружке. — *Ю. Л.*), и к сему не прилепляйся слишком. Он не может описывать ничего иного, как *внешнего внешним* образом»[2]. Понятно, что под пером выученика масонов, журналы которых не уставали твердить о том, что весь облик внешнего мира — лишь результат воображения моего «я» (ср.: чувства человека «сами дают те богатства, которыми оне наслаждаются, которые плодам даруют их приятность, а лесам доброгласие их, злату и пылающему источнику оного сообщают ослепительные лучи их и которые через малейшее отверстие, которое б единою песчинкою закрыть было можно, зрят земной шар света сего и половину из видимого им в чудесном свете сем едва ли не сами сотворили»[3]), высказывания вроде: «душа человеческая есть *зеркало окружающих его предметов*»[4] звучали вызывающе. В «Письмах...» встречаются и прямые выпады против масонов: одной из ведущих тем масонской литературы, распространившихся под ее влиянием очень широко в предромантических литературных кругах, было психологическое переживание бренности бытия, ужаса смерти. Не избежал этой темы Державин, Бобров создал целую своеобразную поэзию ужаса, кутузовский перевод «Ночных размышлений» Юнга весь был на ней построен[5]. В «Письмах...» Карамзин, говоря о счастливой, «естественной» жизни «швейцаров», писал: «Так, друзья мои! Я думаю, что ужас смерти бывает следствием развращения или уклонения от путей Природы. Думаю, и на сей раз уверен,

---

[1] Русский исторический журнал. 1917. № 1—2. С. 134. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[2] *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915. С. 100. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[3] Утренний свет. 1799. Ч. VII. С. 21. Ср. в письме А. М. Кутузова И. П. Тургеневу: «Натура же повинна следовать действиям своего владыки (то есть человека. — *Ю. Л.*): бывать во всякое время сообразно ему». Истолкование этой цитаты и характеристику философских воззрений А. М. Кутузова см.: *Лотман Ю.* Из истории литературно-общественной борьбы 1780-х годов // Радищев: Сб. статей. Л., 1950. С. 83.

[4] Московский журнал. Ч. VII. Кн. 2. С. 167. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[5] Ср., например: «Ежели при всем изобилии восхищений ваших конец страшить вас будет, тогда мерзкая сия мысль поглотит все ваши радости и обиталище света ужасным мраком исполнит» (*Юнг Э.* Нощи / Нощь первая. Размышление о жизни, смерти и бессмертии // Утренний свет. Ч. IV. С. 237).

что оно не есть врожденное чувство нашего сердца»[1]. Если для «Утреннего света» характерны рассуждения о «вредных сочинениях» «Руссо, Гельвеция и некоторых других новейших»[2], о философии, которая «древнейшие заблуждения света сего подкрепляет софическими парадоксами Руссо, соединяет с остроумием Вольтера, Беля, Ламетрия и с помощью пышного красноречия Гельвеция очи слаборазумных ослепляет»[3], то в «Письмах...» мы находим оценку Руссо как «величайшего из писателей осьмогонадесять века». Сочувственно отзывается автор и о Вольтере при посещении его домика в Ферне. Городок Треву служит поводом для следующего рассуждения: «Около вечера мы проплыли мимо города Треву, лежащего на правой стороне Сены. Боле всего известен он по „Memoires de Trevoux", антифилософическому, иезуитскому журналу, который, подобно черной молниеносной туче, метал страшные перуны на Вольтеров и д'Аламберов и грозил попалить священным огнем все произведения ума человеческого»[4]. Утверждая, в отличие от «Московских друзей», зависимость характера от обстоятельств, Карамзин не только проявляет интерес к этим обстоятельствам[5], но и говорит о «доброй природе» человека. Для «Утреннего света» «естественный человек» — необузданный эгоист[6], — в «Московском журнале» читаем рассуждения о «счастливых швейцарах». В духе поверхностного руссоизма написана песнь цюрихского юноши: «Мы все живем в союзе братском <...> Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. На что нам блеск искусства, когда природа нам сияет во всей своей красе»[7]. Ту же мысль Карамзин развивал и в рецензии на книгу «Voyage de Mr le Vaillaut dans l'intérieur de l'Afrique par Cap de Bonne Esperance». Здесь Карамзин резко напал на «иных философов», которые «представляют ее (натуру человеческую. — *Ю. Л.*) злою и немогущею никогда перемениться». «Путешественники говорят противное прежним, описывающим самыми гнусными красками человека дикого или натурального». «Я осмелюсь сказать, что если где-нибудь на сей земле уважают еще благопристойность в поведении и во нравах, то надобно идти искать храм ея среди пустынь»[8]. Особенно резко расхождение проявилось по одному из самых острых вопросов — отношению к французской революции.

---

[1] Московский журнал. Ч. IV. Кн. 2. С. 169. В дальнейшем в отдельном издании Карамзин смягчил полемическое звучание этого отрывка и выпустил «развращение».

[2] Утренний свет. 1778. Ч. III. Июнь. С. 162.

[3] Там же. Июль. С. 201.

[4] Московский журнал. Ч. VIII. Кн. 12. С. 318.

[5] Ср., например, в «Письмах...»: «Давай всякому то, в чем он на сей раз имеет нужду: не читай нравоучений тому человеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба» (Московский журнал. Ч. IV. Кн. 2. С. 196); «Цветущее состояние швейцарских поселян происходит наиболее от того, что они не платят почти никаких податей» (Там же. Ч. V. Кн. 1. С. 22).

[6] Он воплощен в образе обуянного страстями Каина, который сам признается: «Я вижу ясно сие, что несчастие мое не от вне происходит», причина «в собственном моем сердце» (Утренний свет. 1778. Ч. III. Май. С. 17).

[7] Московский журнал. Ч. IV. Кн. 2. С. 187.

[8] Там же. Ч. I. Кн. 1. С. 114—115.

При изучении этого вопроса следует не забывать, что обычно привлекаемый для определения отношения Карамзина к революционным событиям материал — парижская часть «Писем...» — известна нам в значительно более поздних редакциях: ни при Екатерине, ни при Павле она появиться не могла. Возможность каких-либо прямых высказываний в печати, бесспорно, была исключена. Однако даже скудный материал, находящийся в нашем распоряжении, позволяет создать картину не лишенной интереса эволюции взглядов. Даже если оставить в стороне любопытный, но, возможно, анекдотический эпизод, сообщаемый Гротом со слов Блудова и Погодиным со слов Сербиновича[1], необходимо сделать вывод, что в период 1791—1792 гг. отношение Карамзина к событиям во Франции не может быть охарактеризовано как односторонне-отрицательное. Любопытные отзвуки этого отношения находим и на страницах «Московского журнала». Оставаясь на позициях умеренного дворянского либерализма, Карамзин с брезгливым недоброжелательством отнесся к действиям французской «толпы» (в Страсбурге и Лионе), но это, тем не менее, не мешало ему, в этот период, сочувственно относиться к политическим идеалам жирондистского типа. В 1791 г., когда правительство взяло курс на союз с контрреволюционной коалицией[2], когда И. В. Лопухин писал Кутузову: «Что это, братец, делается во Франции-то? Гнев Божий»[3], а в центре внимания «„Ведомостей" (московских, контрреволюционный курс петербургских определился еще раньше. — *Ю. Л.*) становится разработка самодержцами всего мира плана интервенции во Франции и сообщения из Кобленца о подготовке принцев и эмигрантов к выступлению против мятежной Франции»[4], Карамзин находил возможным рецензировать постановки парижских театров, многие из которых, что и не удивительно для сцены периода революции, касались острых политических проблем. Среди них встречаем резко антиклерикальные пьесы: «Les rigueurs du clootre» Ретифа де ла Бретонна[5] и «Les victimes cloîtrées» Монвеля, где, наряду с антицерковными мотивами, выводятся пародийные фигуры аристократов[6]. Сочувственно пересказана антиаристократическая комедия Фабра д'Эглантина «Conva-

[1] *Державин Г. Р.* Соч. / Примеч. Я. Грота. Пб., 1880. Т. 8. С. 606—607.

[2] См.: Французская революция 1789 г. в донесениях Симолина // Лит. наследство. М., 1937. Вып. 29/30; *Алиференко П.* Правительство Екатерины II и французская буржуазная революция // Исторические записки. 1947. Т. 22.

[3] См.: *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов. С. 136. Следует учитывать, что друзья Кутузова были напуганы делом Радищева и, зная, что письма подвергаются перлюстрации, явно рассчитывали на постороннего читателя. Это отразилось на тоне, однако, ясно, что события во Франции и сами по себе были для них неприемлемы.

[4] *Каганова А.* Французская буржуазная революция конца XVIII в. и современная ей русская пресса // Вопросы истории. 1947. № 7. С. 88.

[5] Московский журнал. Ч. II. Кн. 1. С. 66.

[6] Там же. Ч. IV. Кн. 3. С. 342. Интересно, что, когда в 1798 г. в цензуре оказался текст драмы «Монастырские жертвы» (подан Н. Сандуновым, перевод С. Глинки), цензура нашла пьесу «сомнительной», и она, видимо, была запрещена. См.: ЦГИА. Ф. 1147. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 229.

lexcent de qualité»[1]. Особенно же интересна оценка Карамзиным одного из наиболее острых произведений революционного театра — пьесы М.-Ж. Шенье «Карл IX»[2].

Холодно оценив художественные достоинства пьесы (попутно противопоставляется Шекспир — классицизму), Карамзин отметил связь ее с современностью («автор имел в виду новые происшествия, и всякое слово, относящееся к нынешнему состоянию Франции, было сопровождаемо плеском зрителей») и сочувственно выделил наиболее заостренную политически сцену[3].

Не менее показателен характер рецензий на книги.

В первой книжке журнала за 1792 г. находим следующую краткую рецензию:

«О иностранных книгах:

I. „Les Ruines, ou Méditations sur les Revolutions des Empires" par M. Volney, à Paris, Août, 1791, то-есть „Развалины, или размышления о революциях империи", соч. Г. Вольнея.

II. De J. J. Rousseau etc par M. Mercier, à Paris, Juin. 1791, то-есть Жан-Жак Руссо и проч. соч. Г. Мерсье. Сии две книги можно назвать важнейшими произведениями французской литературы в прошедшем году»[4].

При первом взгляде на эту рецензию обращает на себя внимание ее краткость: отсутствует обычный для Карамзина пересказ содержания. Однако иначе и не могло быть: обе книги принадлежат к произведениям боевой революционной публицистики, и ни о каком пересказе их в русском журнале не могло быть и речи. Характерно, что во втором случае Карамзину невозможно было даже полностью привести ее название. За скромным «etc.» скрывалось «considéré comme l'un des premiers auteurs de la révolution». Особенной остротой отличалась книга Вольнея, заканчивавшаяся призывом к всемирной революции. Конечно, ни о каком единодушии Карамзина с авторами названных книг не приходится говорить, но бесспорно и то, что краткая рецензия «Московского журнала» была равносильна молчаливому приглашению читателям ознакомиться с содержанием «важнейших произведений».

---

[1] Смысл пьесы — в осмеянии старого аристократа, который, не зная о происшедших во Франции за последние два года событиях, настаивает на своих правах, не желая выдать свою дочь за богатого и добродетельного мещанина. «Знатный господин хочет приказать слугам своим выбросить мещанина в окошко, пишет письмо к „lieutenant de Police" и требует от него „Lettre de cachet", чтобы и сына, и отца посадить в Бастилию» (Московский журнал. Ч. III. Кн. 3. С. 331—332). Комизм состоит в том, что и Бастилия, и «Закрытые письма», к которым апеллирует аристократ, сметены революцией.

[2] О значении пьесы см.: *Державин К. Н.* Театр французской революции. 1789—1799. Л.; М., 1937. С. 66—70.

[3] «Одна только сцена тронула меня — та, где сонм фанатиков упадает на колени и благословляется злым прелатом; при звуке мечей клянутся они истребить еретиков» (Московский журнал. Ч. VIII. Кн. 1. С. 84). Ср.: «Самая сильная сцена в его [Шенье] трагедии — это благословение кинжалов заговорщиков кардиналом Лотарингским» (*Державин К. Н.* Театр французской революции. С. 70).

[4] Московский журнал. Ч. V. Кн. 1. С. 150—151.

Какова бы ни была степень умеренности либерализма Карамзина этих лет, она не только противоречила политике правительственной реакции, но и противостояла взглядам московских «мартинистов». Привлечение внимания к боевой публицистике, к революционной апологии Руссо[1] не совпадало с видами правительства. Еще в 1791 г. Екатерина II возмущалась тем, «что продают такие книги, которые против закона написаны, как например Эмилий Руссов»[2]. Аннотация Карамзина тем более была нежелательна правительству, что в Москве нетрудно было достать скрыто провозимую революционную литературу[3].

Все перечисленное свидетельствует о глубоких расхождениях между Карамзиным этих лет и его «московскими друзьями». В письме Плещеевой от 4 марта 1791 г. А. М. Кутузов тонко заметил: «Что делает наш Рамзей <...>. Видно, путешествие его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть и в нем произошла Французская революция»[4], а через месяц он советовал Трубецкому смотреть на Карамзина «не иначе, как на человека, одержимого горячкою». Ему же Кутузов прислал необычайно злую пародию на Карамзина, выведенного под именем «Попугай Обезьянин»[5].

«Письма русского путешественника», задуманные и, видимо, в значительной части написанные сразу же после возвращения из-за границы, отразили в наибольшей степени стремление Карамзина описывать «внешнее и через внешнее». Как мы увидим в дальнейшем, под влиянием нарастания революционных событий во взглядах писателя начали совершаться перемены, просветительские идеи постепенно уступали место агностическим и субъективистским представлениям. Взаимоотношения мировоззрения Карамзина и идей кружка Кутузова могут быть поэтому охарактеризованы не как расхождение (хотя именно такое представление утвердилось в научной литературе), а как весьма сложно протекающее сближение.

С принципами «Писем...» связана и такая повесть, как «Бедная Лиза». Прежде всего, следует отметить, что действие, описанное в повести, ее герои и их переживания имеют вполне «объективный» характер. Психологический аллегоризм позднего Хераскова, создавая условные фигуры вне времени и пространства, фактически сближался с отвлеченным рационализмом классицизма. Карамзин, метко это уловив, потребовал бытовой конкретизации действия.

---

[1] В «Московском журнале» была также подробно прорецензирована пьеса «J. J. Rousseau à ses derniers moments» — также типичное произведение революционного театра.

[2] Осмнадцатый век. М., 1868. Кн. III. С. 392. «Закон» в данном случае, как и вообще иногда в XVIII в., означает церковное учение. Ср. у Ломоносова: «Чтоб древний наш закон вредить».

[3] Прозоровский, прося Екатерину ввести на границе книжную цензуру, писал 20 мая 1792 г., что «все, какие только во Франции печатают книги, здесь скрытно купить можно» (Летописи русской литературы и древности. М. 1863. Т. 5. С. 41).

[4] *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов. С. 100.

[5] Там же. С. 70—73. См. также письмо Багрянского Кутузову (там же. С. 86). Известно, что Кутузов резко порицал участие Хераскова в «Московском журнале».

Рецензируя «Кадма и Гармонию», писатель в очень осторожной форме (как редактор, он очень дорожил сотрудничеством М. М. Хераскова) указал на необходимость соблюдения исторической правдоподобности: «Рецензент, читая Кадма, при многих местах думал: „Это слишком отзывает новизною. *Это противно духу тех времен, из которых взята басня*“ (курсив мой. — *Ю. Л.*)». Далее следовало примечательное сближение с произведением классицистической эпохи — «Странствиями Телемака» Фенелона. «Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова. Кто не чувствовал великой разности между ними. Возьми какого-нибудь пастуха — швейцарского или русского, все равно, одень его в греческое платье и назови его сыном царя итакского: он будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелонова воображения, которое есть ничто иное, как идеальный образ царевича французского, ведомого не греческою Минервою, а французскою философиею»[1]. Проявляя интерес к внешней обстановке действия и этим в корне противореча кутузовской эстетике, Карамзин писал в другой рецензии: «...кажется мне, что в пиесе надлежало бы многое переменить, когда господину переводчику непременно хотелось одеть ее в русское платье <...> У Зланета сгорел овин. „Это хорошо, говорит он, я давно не строился; надо будет заплатить работникам, но бедные люди этим хлеб промышляют“. *У наших дворян строят овины собственные их крестьяне, которым они ни за что не платят* <...> Зланет, лишась детей своих, хочет жить во всем умереннее и дает людям отпускные. Тут также видно что-то не русское. Если бы у нас обеднел дворянин, *то он продал бы своих слуг или отпустил бы их с паспортами, т. е. на время, а не навсегда*». И дальше: «*Драма должна быть верным представлением общежития*» (курсив мой. — *Ю. Л.*).

Осуществляя эти требования, Карамзин в «Бедной Лизе» окружает героев вполне конкретной бытовой и географической обстановкой. Идея противопоставления чистого сердца сельской девушки доброму «от природы», но испорченному молодому дворянину таила в себе возможность социального раскрытия темы. Однако здесь-то именно и проявилась вторая сторона позиции Карамзина. В понятие «внешнего» для Карамзина даже в этот период не входило представление об общественных отношениях людей. Поэтому, даже в период наибольших расхождений с эстетической программой Кутузова, внешний мир в произведениях Карамзина оказывался, фактически, лишь фоном, не являясь определяющим для действий и характеров героев. Достаточно сравнить Лизу с крестьянками Радищева (что неоднократно делалось в исследовательской литературе), чтобы убедиться в том, что в повести Карамзина социальная драма заменена психологической, а проблема социального неравенства — психологическим равенством героев, «ибо и крестьянки любить умеют».

Время между закрытием «Московского журнала» и выходом первых номеров «Вестника Европы» составляет для Карамзина существенный период творческой эволюции, основные вехи в котором — первый и второй тома альманаха «Аглая» и журнал «Пантеон иностранной словесности».

---

[1] Московский журнал. Ч. I. Кн. 1. С. 98—99.

Значительный интерес представляет напечатанная в первом томе «Аглаи» статья «Нечто о науках, искусствах и просвещении». В высшей степени знаменательно, что именно сейчас, весной 1793 г.[1], Карамзин почувствовал необходимость отмежеваться от демократических воззрений Руссо. Весь дух статьи определен временем ее создания — промежутком между казнью Людовика XVI и якобинской революцией 31 мая — 2 июня. Революция приближалась к своему апогею, но жирондисты были еще настолько сильны в Конвенте, что в апреле они попытались судебно расправиться с Маратом. Сложность исторического момента определила позицию Карамзина.

Статья исполнена исторического оптимизма. Автор защищает «осьмойнадесять век»[2] и просветительскую философию (по вполне понятным причинам имена французских просветителей обойдены, названы Бэкон, Локк, Ньютон, а из французов — лишь Кондильяк, но и в таком виде противопоставление позиции автора официально-реакционной точке зрения было достаточно очевидно). Вместе с тем не менее решительно Карамзин отгораживается от демократических воззрений Руссо. Счастливое состояние свободных, неугнетенных людей периода возникновения общества объявляется «приятным сном».

«Самые отдаленные времена <...> не представляют ли нам пороков и злодеяний»[3]. Свойственный Руссо демократический пафос отрицания всего несправедливого общественного уклада во имя доброй природы свободного человека Карамзину чужд. Следует отметить любопытную особенность. Защищая позицию умеренного крыла просветителей (именно в тот период, когда якобинская публицистика, создавая культ Руссо, остро критиковала Вольтера и энциклопедистов; см., например, памфлет Марата «Современные шарлатаны»), Карамзин постепенно соскальзывает на такое понимание лозунга просвещения, которое свойственно было масонам и носило, по сути, идеалистический, антипросветительский характер. Пропагандируемое знание понималось как самопознание, не как средство покорить окружающий мир, а как путь к овладению страстями, к альтруизму. Мораль объявлялась венцом

---

[1] Статья, как и вся первая часть альманаха, была подготовлена весной 1793 г. (вышла из печати в апреле 1794 г.; датировка первого тома «Аглаи» в монографии Погодина и статье Бестужева-Рюмина в «Русском биографическом словаре» ошибочна). На весну 1793 г. косвенно указывает сам автор в предисловии, об этом свидетельствует также датировка отдельных произведений. Так, «Цветок на гроб моего Агатона» датирован «Марта 28 [1793 г.]» (А. Петров скончался 21 марта этого года); «Весеннее чувство» — «Маия 1 1793 г.». Статья «Нечто о науках» не датирована, но в тексте ее находим указание, что она писана еще «при жизни Боннета». Шарль Бонне скончался 20 мая 1793 г.

[2] «Правда, что осьмойнадесять век просвещеннее всех своих предшественников, правда и то, что многие пишут на него сатиры, многие кстати и не кстати восклицают: „O, tempora, o, mores!“... Когда нравы были лучше нынешних? Ужели в течение так называемых средних веков, тогда, когда грабеж, разбой и убийство почитались самым обыкновенным явлением» (Аглая. Т. 1. С. 48—49).

[3] Аглая. Т. 1. С. 80.

науки[1]. «Просвещение есть Палладиум благонравия», — пишет Карамзин. «Мораль из наук важнейшая, альфа и омега всех наук и всех искусств»[2]. В первую очередь надо просветить крестьянина. Субъективистское истолкование знания как самопознания и самообуздания раскрывало свой смысл именно в понимании лозунга просвещения. Просвещенный крестьянин сделается *«спокойнейшим гражданином»*. «Просвещенный земледелец — я слышу тысячу возражений, но не слышу ни одного справедливого. Быть просвещенным — есть быть здравомыслящим»[3]. Не случайно проповедь просвещения сочетается с выпадом против «кровавых эшафотов».

Второй том «Аглаи» отделен от первого периодом якобинской диктатуры. Если еще весной 1793 г. Карамзин пытался противопоставить умеренное крыло просветителей — демократическому, то дальнейшие события обнажили тесную связь материалистической философии в любых ее разновидностях с революционной практикой и заставили писателя резко пойти на сближение с антипросветительской философией дворянских субъективистов и агностиков 1780-х гг. Центральными в идейном отношении для второго тома «Аглаи» являются два отрывка в письмах — «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» — и стихотворение «Послание к Д<митриеву>». От веры в добрую природу человека, защиты философии и «философского столетия» не осталось и следа: «О Филалет! Где теперь сия утешительная система. Она разрушилась в своем основании. Осьмойнадесять век кончается; и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтоб лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки»[4].

То, что было приемлемо для Карамзина в общетеоретической форме, осуществляясь практически, решительно его оттолкнуло. «Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя». Характеризуя это произведение в «Письмах с того берега», А. И. Герцен, в кризисную для себя эпоху, назвал его «выстраданными строками, огненными и полными слез»[5]. Исчезла вера в добрую природу человека. В «Сиерре-Морене» люди —

---

[1] Ср. примечание Н. И. Новикова к переводу И. П. Тургенева: «О Зеноне надобно судить не по физиологии его, а по морали — что в том пользы знать, что существо божие из ефира не состоит <...> Старые сии заблуждения не делают человека ни счастливым, ни несчастным. Но о началах нравов человеческих так судить не должно» (Утренний свет. 1778. Ч. IV. Ноябрь. С. 199).

[2] Аглая. Т. 1. С. 71—72.

[3] Там же. С. 67.

[4] Этому предшествует: «Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о моральном мире. Ловили в истории все благородные черты души человеческой, восклицали: человек велик духом своим, божество обитает в его сердце». И далее: «Кто более нас славил преимущества осьмагонадесять века: свет философии, смягчение нравов <...> конец нашего века почитали мы концом славнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное общее соединение теории с практикой, что люди, уверясь моральным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия насладятся истинными благами мира» (Аглая. Т. 2. С. 66—67).

[5] *Герцен А. И.* Собр. соч. В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 10, 12.

«безумные существа, человеками именуемые». «Ах, зло на свете бесконечно! И люди будут люди вечно», — писал Карамзин в «Послании к Д<митриеву>».

Прежде чем перейти к характеристике философской эволюции писателя в эти годы, необходимо отметить, что охарактеризованное в общих чертах его политическое развитие отнюдь не было прямолинейным. Достаточно было измениться политической ситуации в России (смерть Екатерины II) и во Франции, чтобы и Карамзин изменил тон высказываний о революционных событиях. Если в письме от 17 августа 1793 г. Карамзин писал Дмитриеву, что «ужасные происшествия Европы» заставляют его бежать в «густую мрачность лесов»[1], то новый оборот событий, воспринятый как признак «отхода от крайностей», изменил тон писем. Письмо А. И. Вяземскому от 2 октября 1796 г. звучит оптимистически: «История человечества становится век от века интереснее <...> важные великие перемены готовятся в политической системе Европы»[2]. В условиях режима последних лет царствования Екатерины II подобные мысли можно было высказывать только в конфиденциальной переписке, однако, стоило осенью 1796 г. императрице скончаться, как Карамзин сразу же попытался провести их в печать[3]. В статье «Lettre au Spectateur sur la litterature Russe», появившейся в октябре 1797 г. в «Spectateur du Nord», Карамзин весьма оптимистически оценил события во Франции, отметив «быстрое движение (vol rapide) нашего народа к той же цели». Статья любопытна и сочувственной цитатой из Руссо, и автопересказом тех глав из «Писем русского путешественника», которые непосредственно касались революционного Парижа и текст которых нам неизвестен, поскольку в журнальной редакции и в издании 1797 г.[4] автор не смог, а в 1801 г. не захотел публиковать их в первоначальном виде. Я имею в виду упоминание: «Наш путешественник присутствовал при шумных спорах в Национальной Ассамблее, восхищался талантом Мирабо» (о котором Екатерина II еще в 1790 г. писала, что он «не

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 42. М. М. Штранге ошибочно относит письмо к июлю 1793 г. Нельзя согласиться с методом исследователя, который, недифференцированно приводя высказывания разных деятелей от осени 1792 г., лета 1793 г. и 1795 г., создает мнимое впечатление единодушия лиц, занимавших весьма отличную позицию (см.: *Штранге М. М.* Отклики русских современников на французскую буржуазную революцию // Из истории социально-политических идей. К 75-летию академика В. П. Волгина. М. 1955. С. 346).

[2] Русский архив. 1872. № 7/8. Стб. 1324.

[3] Первые мероприятия правительства Павла I (возвращение из ссылки масонов, отказ от вмешательства во французские дела) были восприняты Карамзиным как свидетельство смягчения курса официальной реакции. См. письмо брату от 17 декабря 1796 г. (*Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 3. С. 711).

[4] Карамзин настолько был уверен в 1797 г. в смягчении цензуры, что во французской статье обозначил «Письма русского путешественника» как издание «en cinq vol. Moscou, 1797». На самом деле смогли появиться лишь четыре тома. Для настроений этих лет характерно признание Карамзина в письме Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей Утопии. Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив свое воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства» (Русский архив. 1872. № 7/8. Стб. 1324).

единой, но многие висельницы достоин»). Однако известное отклонение в настроениях Карамзина в 1797 г. осталось эпизодом, не оказавшим коренного влияния на дальнейшее развитие писателя.

Эволюция Карамзина в сторону сближения с субъективистским мировоззрением особенно четко проявилась в философии. А. А. Петров — друг и наставник Карамзина — еще в 1780 г. перевел статью, доказывающую, что «через чувственные орудия, которых учреждения соответствуют их расположению, внешние предлежащие вещи проникают до самой внутренности мозга и представляют в нем природу *не так, как она есть, но как ему в отношениях, в которых он находится с прочими существами, способно ее видеть* (курсив мой. — *Ю. Л.*)». Не отрицая чувственного происхождения человеческих знаний, Петров берет под сомнение их истинность, объективность. «Душа его [человека] рассуждает о воображениях, следующих друг за другом»[1]. Вспомним слова Ф. Энгельса, которые цитирует В. И. Ленин, о том, что агностик «также исходит из ощущений и не признает никакого иного источника знаний», но «когда он говорит о вещах или их свойствах, то он в действительности имеет в виду не самые эти вещи или их свойства, о которых он ничего достоверного знать не может, а лишь те впечатления, которые они произвели на его чувства»[2].

Еще в статье «Нечто о науках» Карамзин разделял общераспространенную в XVIII в. мысль о том, что «чувственные понятия» «суть не что иное, как непосредственное отражение предметов». Однако к концу 1790-х гг. эволюция его в сторону агностицизма завершилась. Эти годы характерны повышенным интересом писателя к философии. В цитированном выше письме Вяземскому он утверждает, что «лучше читать Юма, Гельвеция, Мабли, нежели в томных элегиях жаловаться на холод и непостоянство красавиц». То, что Юм и Гельвеций стоят в одном ряду, свидетельствует, что Карамзин не видит разницы между агностическим и материалистическим сенсуализмом. Свою собственную позицию писатель сформулировал довольно точно, говоря, что он в дальнейшем «будет перелагать в стихи Кантову метафизику с Платоновой республикой», то есть указав на соединение философского агностицизма с представлением о «республике мудрецов», достигаемой путем просвещения,— сочетание, характерное для «московских мартинистов» 1780-х гг. Примечательно высказанное в стихотворении «К бедному поэту» (1796) убеждение в том, что «непроницаемым туманом / Покрыта истина для нас»[3].

В «Пантеоне» Карамзин писал: «Окруженные предметами, которых существо нам неизвестно, сомнительный неверный ум наш только посредством некоторых слабых лучей отличает добро от зла, справедливое от несправедливого»[4]. Мысль эта устойчиво проходит через весь журнал. В статье «О заблуждениях» читаем: «И как не обманываться. Заблуждение в нас; наши

---

[1] Утренний свет. Ч. VIII. Кн. 1. С. 34. Идеей субъективности человеческих представлений проникнуты повести А. А. Петрова в «Московском журнале».

[2] *Ленин В. И.* Соч.: В 45 т. М., 1941—1967. Т. 14. С. 95.

[3] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 195.

[4] Пантеон иностранной словесности. 1798. Кн. II. С. 104.

понятия несправедливы, мнения неосновательны, знания неверны»[1]. Весь внешний мир — лишь зеркало внутреннего состояния наблюдающего. «*Внутреннее расположение сердца изливается на наружные предметы* (курсив мой. — *Ю. Л.*). Счастливый путешественник видит везде романтические места...» Правда, печальный герой повести встречает везде грустные картины, но зрелище нищеты и общественной несправедливости — лишь образ меланхолической души путешественника: «Он путешествовал летом: поля были сухи, дорога пыльна, жар несносен. Бедные жнецы *казались* ему тружениками, которые изнурением своим платят дань общему бедствию человеческого рода. Везде *представлялась* ему скудность...»[2] Достаточно сравнить приведенный текст с «Письмами русского путешественника» (не говоря уже о принципиально ином подходе к этому вопросу в таких произведениях, как «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева), чтобы заметить эволюцию, проделанную писателем за эти годы. Своеобразный итог философского релятивизма находим в заключении стихотворения «Протей, или Несогласия стихотворца», центральная мысль которого — отсутствие общеобязательной истины:

Предметы разный вид имеют здесь для нас.

Политические воззрения Карамзина также переживали соответственную эволюцию. Созрело убеждение в том, что «люди дурны»[3], и связанное с ним неверие в возможность спасительных социальных перемен. Еще во втором томе «Аглаи» Карамзин выразил уверенность в том, что «зло на свете бесконечно, / И люди будут люди вечно». Из этого делался вывод о бесцельности любых форм общественной деятельности:

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.

Автор проповедует спасение под «тихим кровом», где можно жить «без страха и *надежды*». Однако проповедь бегства от общественных вопросов не могла быть устойчивой для насквозь политического мышления Карамзина. В качестве средства преодоления эгоизма людей, их злой природы Карамзин в эти годы, как и в свое время московские масоны 1780-х гг., выдвигает требование просвещения. В переводном отрывке «Просвещение» проводится мысль о том, что «просвещенный народ будет лучше повиноваться»[4]. Свое-

[1] Пантеон... Кн. II. С. 225.

[2] Там же. С. 158 (курсив мой. — *Ю. Л.*). В том же духе выдержаны и заметки Карамзина в «Записной книжке» 1796 г.: «Время — лишь последовательность наших мыслей» (*Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 109).

[3] Там же. С. 54.

[4] Пантеон... Кн. 1. С. 136. Любопытно отметить, что в том же 1798 г. другой перевод этого отрывка появился в «Санкт-Петербургском журнале» И. П. Пнина. Трудно поэтому согласиться с преувеличенной оценкой этого очерка в книге В. Н. Орлова «Русские просветители 1790—1800-х гг.» (М., 1953. С. 98—99), прошедшего мимо факта почти одновременного опубликования его в журнале Карамзина, «писателя, враждебного по самому духу его деятельности» (Там же. С. 330) единомышленникам Пнина.

образие классово-дворянской позиции Карамзина, в данном случае, проявляется в том, что требование просвещения как «моральной узды» для народа сочетается с неверием в объективную истину, с апологией «приятного обмана»: «Заблуждение не только приятно, но и полезно»[1] (ср.: «Мы все... лжецы, простые люди, мудрецы» в стихотворении «К бедному поэту»). «Посмотрите, — пишет Карамзин, — на сердечное веселие простого народа, который живет во тьме невежества, и на печаль философа, который гоняется за светом истины»[2]. Проповедуя просвещение без веры в истину, Карамзин сделал и другой шаг: выступил с проповедью религии, хотя его вера в бога была разбавлена значительной долей скептицизма. Бытие Бога недоказуемо, но «люди, живущие в обществе, должны верить сердечно, что есть Бог... Кто не согласится, что такие чувства *весьма полезны* в обществе, где много зависит от совести, где гражданские законы без религии не всегда могут удержать людей от злых дел»[3].

Однако стремление найти политическую форму, которая гарантировала бы права одной человеческой личности от эгоизма другой, имело и иные последствия. Снимая вопрос о *социальном* порядке (так как причиной зла объявлялось не общество, а природа человека), оно привлекало внимание к *политическому* устройству. При этом возникал особенно острый в эпоху Павла I вопрос о границах прав верховной власти и человека, в случае превращения «спасительного самодержавия» в эгоистическую «тиранию». Тема эта в 1797 г., конечно, не могла подвергаться открытой дискуссии, однако Карамзин все же намекнул на нее в стихотворении «Тацит», говоря, что повиновение имеет границу, далее которой «терпеть без подлости не можно». Авторитетное истолкование этого стиха дал, сам карамзинист, П. А. Вяземский, который писал: «Какой смысл этого стиха. На нем основываясь, заключаешь, что есть мера долготерпению»[4]. Смысл высказывания Вяземского, не случайно связанного с оценкой событий 14 декабря 1825 г., ясен: из предпосылок Карамзина можно было сделать даже и тираноборческие выводы. Но не следует упускать и иного: подобная точка зрения исключала народ как исторический фактор.

Общеидеологическая эволюция определила и изменения в эстетике и художественной практике. Всякое представление о мире относительно, а поэтому цель поэта — не в изображении действительности, а в создании субъективно наиболее приятного ее образа:

---

[1] Пантеон... Кн. 1. С. 226.

[2] Там же. Ср. написанное позже, в 1802 г., стихотворение «Гимн глупцам».

[3] Там же. С. 106. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[4] Цит. по: *Кутанов Н.* Декабрист без декабря // Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 270. Вяземский сравнивал этот стих со словами Пушкина: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай». Любопытно, что кратковременные вспышки тираноборческих настроений по времени совпали у Карамзина с колебанием от агностицизма к соллипсизму. Ср.: «Мне кажется, что все предметы во мне и составляют часть моего существования» (Пантеон... Кн. III. С. 59). Переводной характер отрывка в данном случае не меняет дела.

Кто может, вымышляй приятно
Стихами, прозой, — в добрый час.
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? Искусный лжец.
Ему и слава и венец.

Это была принципиальная установка на антиреалистическое искусство. Поэзия из средства познания (ср. у А. Н. Радищева: «Истина пером моим руководствует») превращалась в своеобразную игру:

Мой друг. *Существенность бедна.*
Играй в душе своей мечтами,
Иначе будет жизнь скучна (курсив мой. — *Ю. Л.*).

С этим связано стремление к фантастическим сюжетам, уводящим от «существенности» в мир авторской фантазии:

Ах! не все нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов[1].

Принцип этот существенен и для сюжетной прозы Карамзина 1793—1800 гг., и для поэм типа «Илья Муромец», а в дальнейшем имеет прямое отношение к эстетике баллад Жуковского. С другой стороны, отношение к поэзии как к игре заставляло отказываться от серьезных сюжетов и теоретически оправдывало обращение к «безделкам», альбомным пустякам, культ акростихов, эпиграмм, impromptu и т. п. Философский субъективизм изгонял из художественного произведения объект, произведение превращалось в картину души автора. Единственный возможный объект — сам автор, а единственный возможный жанр — лирика. Как бы повторяя слова Кутузова, который в письме к Карамзину утверждал, что «сочинения суть изображения внутреннего нашего состояния», Карамзин в «Цветке на гроб моего Агатона» писал, что письма — «зеркало души». Позже, издавая в 1802 г. последние части «Писем русского путешественника», он подробно развил это определение[2]. Защите того же тезиса посвящена статья «Что нужно автору»: «Творец всегда изображается в творении и часто против воли своей»[3]. Произведение — «портрет души и сердца» писателя. Если в «Московском журнале» Карамзин назвал писателя «сердценаблюдателем по профессии», то теперь эта

[1] Ср. также: «Если прекрасное, как легкая тень, всегда от нас ускользает, уловим его, по крайней мере, в нашем воображении; устремимся в область сладостных призраков, набросаем прекрасный идеал, обманем сами себя и тех, кто достоин быть обманутыми» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 483. Пер. с фр. мой. — *Ю. Л.*).

[2] «Перечитываю теперь некоторые из своих писем: *вот зеркало души моей* в течение осьмнадцати месяцев! <...> а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя...» Как видим, подход принципиально иной, чем тот, который лег в основу центральной части текста «Писем». В автоцитате конца «Писем», которую находим в статье «Lettre sur la litterature russe», текст существенно отличается.

[3] Аглая. Т. I. С. 28.

формула могла бы быть перефразирована в «наблюдателя своего сердца». Охарактеризованные эстетические принципы легли в основу художественной практики писателя в эти годы. Более того, именно в художественной практике Карамзина новые принципы проявились прежде всего задолго до того, как они были теоретически осмыслены.

Если наиболее характерными для художественной манеры предыдущего периода были «Письма русского путешественника» с их обилием сведений по разнообразным вопросам, с событиями, закрепленными за твердыми, вполне объективными датами и местами, с множеством портретов и характеристик, с высказываниями различных лиц, которые не только не являлись формой выражения авторской индивидуальности, но зачастую противоречили ей, то теперь все большее значение начинает получать лирическая «исповедь» неопределенной формы, сначала вообще не имеющая подзаголовка, потом именуемая «отрывком» и, наконец, получающая уже полную жанровую определенность в «Аглае» подзаголовком «Элегический отрывок из бумаг N» («Сиерра-Морена»).

Появляются такие произведения, как «Разные мысли (Из записок молодого Россианина)» — лишенный сюжета отрывок, состоящий из размышлений автора на отдельные, не связанные между собой философские темы, фактически — страничка из записной книжки автора.

С известной определенностью эта тенденция начинает ощущаться в 1792 г., когда уже во 2-й книжке журнала был напечатан отрывок «Ночи», представляющий собой *описание чувств* влюбленного. Объектом изображения является субъективное состояние души человека, данное не извне, а в плане лирического монолога. Предметы в окружающем автора мире подчиняются не закону объективной причинности, а субъективным ассоциациям.

«Хлоя!.. Нет, это белый кролик, зефиром пробужденный. Но скоро она будет: *зефир всегда веет перед нею...* (курсив мой. — *Ю. Л.*)». Предметом изображения являются не события внешнего мира, а последовательная смена субъективных состояний автора. Для изображения ее приходится прибегать к своеобразному синтаксису — системе соединенных с помощью тире фраз, из которых каждая выражает не законченную мысль, а отрывочный намек.

«Радость, восхищение, сладостное безмолвие — руки наши сплелись — уста трепещут, сливаются — я прижимаю Хлою к горячей груди моей — она меня к своей прижимает — густой мрак покрывает глаза мои — тонкое пламя обнимает все существо мое, переливается из нерва в нерву — ноги мои подгибаются — я плаваю, утопаю в сладостях — забываю самого себя — душа моя соединяется с душею Хлои — замирает — и мы лишаемся чувства...»[1]

Центральным художественным произведением первого тома «Аглаи» является «Остров Борнгольм». Повесть эта интересна тем, что представляет первую, после незаконченного «Лиодора», попытку соединения бессюжетного

[1] Московский журнал. 1792. Ч. V. Кн. 2. С. 273. Ср. в воспоминаниях Н. И. Греча: «Он (Д. М. Кудлай, учитель словесности. — *Ю. Л.*) ...любил везде ставить тире, в подражание модному тогда Карамзину» (*Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., [1930]. С. 168).

лирического монолога (типа «Деревни», «Ночей» или «Цветка на гроб моего Агатона») с сюжетной повестью. Синтез приводит к созданию «лирической повести», главное в которой — не ход объективно происходящих событий, а смена связанных с ними настроений автора. Это подтверждается хотя бы тем, что центральный эпизод повести остается так и не рассказанным, излагаются только связанные с ним переживания автора[1]. То, что пейзажные описания употреблены здесь лишь как средство «самораскрытия» авторской субъективности, доказывается, например, такой характеристикой: «поют птички, — поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого». Субъективный характер изображаемого обеспечивался и рассказом от первого лица, и приемом фиктивного диалога.

Аналогично по подходу к материалу и стихотворение этого же альманаха «Весеннее чувство». Само заглавие показывает лирически-субъективный характер изображаемого. Интересно, что так же озаглавил позже одно из своих лирически-пейзажных стихотворений Жуковский.

Второй том «Аглаи» вышел в 1795 г. Тон сборнику задавало посвящение, написанное в характерной форме лирически-медитативного стихотворения в прозе. (Интересно, что оно распадается даже на своеобразные прозаические строфы, отделенные в тексте как строфы в стихотворении).

«...Мы живем в печальном мире, но кто имеет друга, тот пади на колени и благодари Всевышнего.

Мы живем в печальном мире, где часто страдает невинность, где часто гибнет добродетель; но человек имеет утешение — любить. <...> Исчезли призраки моей юности, угасли пламенные желания в моем сердце; спокойно мое воображение...» и т. д.

Центральными произведениями второго тома «Аглаи» являются «Сиерра-Морена» и «Афинская жизнь». Рассмотрение их убеждает нас в дальнейшем развитии субъективистских тенденций художественного метода писателя. Особенно характерна в этом отношении «Сиерра-Морена». Произведение, в соответствии с подзаголовком «Элегический отрывок», имеет характер элегии в прозе. Впечатление это достигается и усилением элементов ритма, и широко применяемыми эвфоническими приемами[2]. Конец отрывка:

Тихая ночь —
вечный покой,
святое безмолвие,
к вам простираю мои объятия, —

прямо перекликается с известным:

Звезды небес,
Тихая ночь, —

Жуковского.

---

[1] Традиционно мыслящий А. Т. Болотов наивно полагал, что Карамзин в дальнейшем опубликует продолжение, в котором удовлетворит любопытство читателей.

[2] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Карамзин // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. М.; Л., 1924.

Элегический характер отрывку придает единство лирического настроения. Субъективно-лирический, а не реально-предметный характер всех (кроме автора) героев подчеркивается обозначением их или прилагательными, знаменующими не столько объект, сколько отношение к нему автора («Там увидел я Прекрасную»), или условными именами вроде: Эльвира, Алонзо и т. д., сменившими Лизу, Наталью, Алексея ранних повестей. Само собой разумеется, что рассказ ведется везде от первого лица. Повесть распадается на две части, связанные лишь единством авторского настроения. Первая из них, сюжетная, только условно может именоваться таким образом, так как интерес автора устремлен не на мир действительности, а на оттенки субъективных переживаний.

Не менее характерна и вторая часть повести, представляющая лирическое размышление на философские темы. Человек (и именно авторское «я») одинок в мире. Слова: «Мертвое, страшное уединение окружало меня»[1] — звучат символически. Окруженный враждебным миром «безумных существ, человеками именуемых», он остро чувствует мгновенность, эфемерность своего бытия. Развалины Пальмиры наводят его не на мысли о необходимости социального переустройства мира, как это было у Вольнея, которого еще несколько лет назад Карамзин рекомендовал своим читателям, а на знакомые нам по масонской журналистике рассуждения о быстротечности бытия.

«Наконец я удалился от Сиерра-Морены — оставил Андалузию, Гишпанию, Европу, видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной — и там, опершись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине, царствующей в сем запустении, и одними громами прерываемой. Там, в объятиях меланхолии, сердце мое размягчилось — там слеза оросила сухое тление — там, помышляя о жизни и смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и сказал самому себе: „что есть жизнь человеческая, что бытие наше. Един миг и все исчезнет. Улыбка счастия и слезы бедствия покроются единой горстию черной земли“»[2].

То, что речь идет здесь не о реальных, а «лирических» развалинах, подтверждается не лишенным интереса местом из письма Мелодора к Филалету: «Тысячи мыслей волнуются в душе моей. Я хотел бы их вдруг перелить в твою душу, без помощи слов, которые искать надобно, хотел бы открыть тебе грудь мою, чтобы ты собственными глазами мог читать в ней сокровенную историю друга твоего и видеть — прости мне смелое выражение — видеть все развалины надежд и планов, над которыми в тихие часы ночи горюет ныне дух мой, подобно страннику, воздыхающему на руинах Илиона, стовратных Фив, или великолепного греческого храма, когда бледный свет луны освещает их»[3]. Отрывок этот знаменателен еще и тем, что в нем проявляется получившая потом столь сильное развитие в романтической

[1] Аглая. Т. 2. С. 16.
[2] Там же. С. 16—17.
[3] Там же. С. 64.

поэтике и тесно связанная с субъективистскими, агностическими представлениями идея невыразимости мысли в слове.

Повесть «Афинская жизнь» интересна как следующий этап в соединении сюжетного и лирического начала. Повесть имеет развернутую описательную часть, наделенную внешними признаками эпического повествования. Однако специфика повести в том, что вся ее сюжетная часть описывает не реальные жизненные факты, а условный мир, созданный произволом авторской фантазии. Автор посещает древние Афины, но, как предупреждает он сам, «разумеется в воображении». Повесть состоит из двух неравных частей: введение и заключение говорят об эмпирической, чувственно воспринимаемой действительности. Она, по мнению Карамзина, хаотична, текуча и трагична. Автор пробуждается от мечтаний: «Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собой ничего, кроме догорающей свечки, измаранного листа бумаги и гамбургских газет, которые завтра поутру (а не прежде: ибо я хочу спать нынешнюю ночь покойным сном) известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников». Философский субъективизм поворачивается здесь двумя сторонами: во-первых, этической: реальный мир — царство морального релятивизма, «доброго человека» автор обретает лишь в мечте; во-вторых, эстетической: чувственно-постижимое субъективно и, следовательно, раскрывая лишь настроения автора, не может дать основы для сюжета — цепи событий. В подобную рамку заключено описание прекрасного мира — мира условной гармонии, созданного фантазией автора и противостоящего миру реальному.

Таким образом, эстетическая система повестей Карамзина в эти годы — от элегической прозы, бессюжетной, насыщенной элементами ритма, аллитерациями, призванной уловить состояние души автора, до повестей типа «Афинская жизнь» — строится на основе противопоставления поэзии — жизни, объективной истине. Сюжетность не ведет к «объективизации». Она, как в дальнейшем в балладах Жуковского, складывается из двух элементов: во-первых, сюжет мыслится как описание неких фантастических, а не реально случившихся событий, во-вторых, сама эта фантастика снята авторским скепсисом. «Где храм наслаждения. Где моя греческая мантия. — Мечта! мечта!» — кончается «Афинская жизнь» (ср.: «О не верь сим страшным снам / Ты, моя Светлана» — у Жуковского).

Начало XIX в., создав новую ситуацию и в России, и в Европе, определило и характер нового — последнего в его писательской деятельности — этапа творчества Карамзина. Философский субъективизм был той формой неприятия действительности с позиций дворянского либерализма, за которой стояла боязнь и якобинской диктатуры, и режима Павла I.

Смена правительства 11 марта 1801 г., диктатура первого консула в Париже определили общую тенденцию Карамзина к оправданию и принятию действительности. Начало XIX в. — время наибольшей политической активности Карамзина. Готовившийся всего несколько лет тому назад «авторски умереть», писатель в этот период снова деятельно выступает на литературном поприще. Он делается известен не только как создатель художественной прозы, но и как публицист, автор статей на остроактуальные политические темы.

Основное направление развития философских взглядов Карамзина в разбираемые годы состояло в стремлении «оздоровить» систему крайнего субъективизма, характерного для периода второй книжки «Аглаи» и заметок в «Записной книжке», найти среднюю линию между стихийным реализмом каждодневного опыта и субъективизмом дворянского мировоззрения 1790-х гг. Важное место занимало и стремление к преодолению релятивизма в нравственных вопросах. Однако поскольку враждебность к демократическим идеям не ослабела, а усилилась, то именно в период перехода от «мятежного» субъективизма к агностицизму оформилась и эволюция от дворянского либерализма к умеренному консерватизму.

Понятно, что, оставаясь на прежних социальных позициях, невозможно было сколько-нибудь существенно изменить решение основных философских и общественно-политических проблем. Поэтому усилия Карамзина в этом вопросе сводились лишь к преодолению наиболее резких выводов из системы, а не к изменению коренных ее принципов. Это приводило к эклектизму, что было ясно и самому писателю.

«Они [добродетельные люди], — писал он в «Вестнике Европы», — составляют то же, что эклектики в философии»[1].

В политическом отношении центральной проблемой для Карамзина этого периода было отыскание формы государственного правления, которая согласовала бы представление об эгоистической, отгороженной чувствами от окружающего мира человеческой личности с фактом необходимости сосуществования людей в обществе. Поскольку дворянский характер мировоззренческих основ подобных построений бесспорен, нас не удивит тот факт, что искомый политический идеал оказался неограниченной монархией.

В отличие от А. М. Кутузова и его единомышленников, Карамзин в эти годы видит выход не в утверждении бессмертия души, а в требовании сильной монархической власти, заменяющей необходимость внутреннего морального императива внешним императивом силы, «которая, — как писал Карамзин, — должна все соглашать и все устремлять к общей цели»[2].

Строя теорию договорного государства на базе представления о моральном релятивизме злой человеческой личности, Карамзин приходил к утверждению строя, насильственно ограничивающего эгоизм каждого отдельного человека во имя «гражданского мира» и «блага общества». Очевидна клас-

---

[1] *Карамзин Н. М.* Хитрости лондонских журналистов // Вестник Европы. 1803. № 9.

[2] *Карамзин Н. М.* Письмо из Парижа // Вестник Европы. 1802. № 10. Карамзин, хотя и охотно ссылался на Бога, но, оставаясь на позициях философского скептицизма, мало доверял возможности использовать религию и идею бессмертия души как основные средства «обуздания»: «Солнце течет и ныне по тем же законам, по которым оно текло до явления Христа-спасителя, так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов...» «Мы сблизились с небом в чувствах, но действуем на земле, как и прежде действовали. Несмь от мира сего, сказал Христос: а граждане и государства в сем мире... Евангелие молчит о Политике» (Мнение русского гражданина // Карамзин Н. М. Неизд. соч. и переписка. Ч. I. С. 3—4).

сово-дворянская сущность понимания общей пользы как исконно-противоположной интересам каждого отдельного члена общества.

Антидемократический смысл подобной концепции станет особенно ясен, если мы сравним постановку вопроса в главах «Чудово» и «Спасская Полесть» «Путешествия» Радищева («когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями» и др.) — со словами Карамзина, который вкладывал в уста народа следующее обращение к царям: «блюдите нашу безопасность вне и внутри <...> *жертвуйте частью для спасения целого*»[1].

Общество мыслится Карамзиным как сумма беспорядочно борющихся эгоистов. Человек «считает себя единственным и отдельным от других существом», он «рад пожертвовать целым миром удовлетворению своей любимой склонности»[2].

Так вопрос о реальных классовых интересах подменялся рассуждениями о свойствах человеческой натуры вообще, а вооруженное подавление помещичьим государством крестьянских масс во имя классового эгоизма дворян объявлялось единственным и бескорыстным средством борьбы с эгоизмом людей во имя «общего блага», «тишины и устройства». Карамзин видел непримиримость интересов народа и его угнетателей, но, объявляя справедливые требования крестьян «эгоизмом» «непросвещенных людей», стремился доказать «необходимость самовластья и прелести кнута».

«Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов, а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законами или силой. Вот неоспоримое доказательство в пользу аристократии: палица, а не книга! — Итак, сила выше всего. Да, всего, — отвечает Карамзин, хотя и оговаривается, — кроме Бога, дающего силу!»[3]

В соответствии со своими общефилософскими посылками, Карамзин отрицал то, что, по выражению Фейербаха, «бывает не только одиночный или индивидуальный, но даже и социальный эгоизм»[4], — истину, в которой Радищев был убежден с конца 1780-х гг. Всякое действие человека сводилось им к эгоистическим страстям асоциальной и «для себя единственной» личности. Тем самым брался под сомнение сам факт существования социально-политических объединений. Признание таких объединений идеологами радищевского типа предполагало убеждение, что одинаковые условия жизни порождают одинаковые интересы, которые объединяют людей в идейные лагери. Для Карамзина интересы определяются не условиями жизни, а индивидуальным «темпераментом». Поэтому целью индивидуальной деятельности, по его мнению, может быть только личное благо, фатально противоположное интересам других людей. Карамзин не верит ни либеральным, ни

---

[1] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 25. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[2] Вестник Европы. 1802. № 12. С. 175.

[3] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 195.

[4] Слова Л. Фейербаха, снабженные пометкой В. И. Ленина: «Зачатки исторического материализма!» (см.: *Ленин В. И.* Философские тетради. М., 1947. С. 54.)

реакционным теориям, видя в них лишь маску, скрывающую *личный* эгоизм: «Аристократы, демократы, либералисты, сервилисты! Кто из нас может похвалиться искренностью. Все вы Авгуры и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, сервилисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод...»[1]

Отрицательное отношение Карамзина к политическим объединениям являлось, таким образом, следствием убеждения в невозможности «быть соучастником в благоденствии себе подобных». По мнению Карамзина, человек не может представлять интересов определенного круга людей, — все его побуждения диктуются личной корыстью. Это определило отношение Карамзина к возможным общественным переменам в России. Представительное правление объявляется фикцией, парламентская республика — олигархией, при которой тирания «единого» заменяется еще более гибельной тиранией многих. «Сирены могут петь вокруг трона — „Александр, воцари закон в России... и пр." Я возьмусь быть толкователем сего хора: Александр, дай нам именем закона господствовать над Россией, а сам на троне изливай единственно милости, дай нам чины, ленты, деньги»[2].

С точки зрения Карамзина — диаметрально противоположной пониманию Радищева, — эгоизм как свойство характера определялся не условиями жизни, а степенью образования, и поэтому наиболее нуждающейся в «обуздании» оказывалась наименее просвещенная часть населения, то есть крестьянство.

Вместе с тем, понимая непрочность господства «палицы», Карамзин не считал существующее положение идеальным. Стремление избавиться от угрозы крестьянских восстаний, которые понимались как стихийный взрыв «эгоизма», прорвавшего «спасительные препоны» власти, с одной стороны, и желание облегчить участь крестьян, не меняя социальных основ общества, — с другой, приводили к созданию своеобразной, реакционной в своей основе, утопии. Монархия объявлялась необходимой лишь как печальное следствие господства «необразованного» эгоизма. Всеобщее просвещение и образование людей (в том числе и крестьян), приучив членов общества к «самоограничению» и добродетели, сделало бы, по мнению Карамзина, излишней необходимость насильственного «обуздания», подготовило бы возможность «отмены» самодержавия и крепостного права и установления блаженной «республики мудрецов». Сближаясь с требованиями дворянских идеологов кутузовского типа, Карамзин настоятельно пропагандирует идею общесословного (и крестьянского в том числе) просвещения. Резкому отрицанию подвергается вся система современного ему «модного» дворянского воспитания.

Карамзин не остался пассивным созерцателем активизировавшейся в первые годы нового царствования общественно-литературной борьбы. Трибуной был избран журнал.

---

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 194—195.
[2] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 122.

Политическая программа «Вестника Европы» существенно отличалась от официального правительственного курса тех лет. Карамзин позволял себе делать порой достаточно резкие выпады против деятельности «Негласного комитета». Однако разногласия в данном случае сводились лишь к борьбе внутри одного и того же лагеря.

Литература, посвященная изучению «Вестника Европы», невелика. Кроме беглых оценок в ряде работ общего характера, она исчерпывается статьей В. В. Гиппиуса, уделившего около четырех страниц интересующему нас периоду[1].

Журнал обычно рассматривался как собрание извлечений из иностранных периодических изданий, преследующее чисто информационную цель. «Цель журнала, — писал М. Погодин, — знакомить читателей с Европой, сообщать им сведения обо всем, что там происходит значительного и любопытного»[2]. Высказанная Погодиным точка зрения на характер журнала дожила до наших дней. В новейшей работе читаем: «Большим достижением журнала был его политический отдел с постоянной, хотя и односторонней информацией об общественной жизни Запада и большими, разнообразными по темам статьями»[3].

Подобная оценка находит, на первый взгляд, подтверждение в карамзинском объявлении об издании журнала («Московские ведомости», 1801, № 92, 16 ноября) и в помещенной в № 23 за декабрь 1802 г. «Вестника Европы» заметке «К читателям Вестника». В последней Карамзин писал, что «Вестник Европы» будет «продолжаться и на следующий год и сообразно с его титлом содержать в себе главные европейские новости в литературе и политике». «Лучшие авторы Европы должны быть в некотором смысле нашими сотрудниками... а нам остается изображать их мысли как умеем. Многие хотят знать, что и как пишут в Европе: Вестник может удовлетворить сему любопытству». «Наконец, скажем, что мы издаем журнал для всей Русской публики и хотим не учить, а единственно занимать ее приятным образом».

Уже сама декларативность этого заявления возбуждает подозрения, а ближайший анализ обнаруживает его несоответствие действительным задачам журнала. В. В. Гиппиус пересмотрел традиционную точку зрения, доказывая, что у журнала была самостоятельная общественно-политическая программа. Однако и он считал, что в «Вестнике Европы» «тенденции проявляются не столько в подборе фактов, сколько в руководящих статьях»[4].

Анализ статей «Вестника Европы» Карамзина и изучение редакторских принципов последнего убеждает нас в том, что весь помещаемый в журнале материал посвящался обсуждению в косвенной форме остроактуальных, а

---

[1] *Гиппиус В. В.* «Вестник Европы» 1802—1830 годов // Учен. зап. ЛГУ. Серия философских наук. 1939. Вып. 3.

[2] *Погодин М.* Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Ч. I. С. 340.

[3] *Поспелов Г. Н.* Литературная борьба 1800—1810 гг. // История русской литературы XIX в. М., 1951. С. 18. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[4] *Гиппиус В. В.* «Вестник Европы»... С. 203. (См. также: Очерки по истории журналистики и критики. Л., 1950. С. 146—148, 177—179.)

иногда и опасных в цензурном отношении вопросов внутренней жизни России тех лет. Подобный характер журнала не остался секретом для современников. «Право, журнал хороший, *tendenz его прекрасная*», — писал Андрей Тургенев в письме от 9 марта 1802 г., отмечая, что «Вестник» *«дерзает иметь свое собственное о вещах мнение»* (курсив мой. — *Ю. Л.*).

Именно актуальностью затрагиваемых в «Вестнике Европы» вопросов следует объяснять его необычайную для того времени популярность.

В соответствии с новыми установками Карамзина, центр интересов журнала перемещается в область политики. «Вестник Европы» — журнал политический по преимуществу. Это определение характеризует не только отдел политики, но и весь журнал в целом: художественные произведения («Марфа Посадница», «Моя исповедь»), нравственно-моралистические статьи и переводы были подчинены общей системе политических взглядов издателя.

Другой важной особенностью было то, что, несмотря на декларации Карамзина, внешнеполитический материал служил издателю лишь предлогом для пропаганды своих воззрений на вопросы внутренней жизни России. Чтобы убедиться в этом, перейдем к рассмотрению материалов журнала.

С первых номеров «Вестника Европы» на страницах журнала начали обсуждаться те же самые вопросы, которые возбуждали в первые годы царствования нового императора интерес и горячие споры в обществе. Так, в № 3 (февральском) «Вестника Европы» за 1802 г. в разделе «Политика» была помещена статья, озаглавленная «Речь государственного советника Порталиса, которому поручено было от консулов представить на рассмотрение законодательному совету новый проект гражданского уложения для Франции». Прежде всего обращает на себя внимание дата помещения этой статьи. Речь Порталиса не была уже в феврале 1802 г. (№ 3 «Вестника Европы» вышел из печати 8 февраля 1802 г.)[1] новостью для русского читателя, так как еще в декабре 1801 г. она была перепечатана немецкими и русскими журналами (например, издававшимся в Москве «Политическим журналом», под заглавием «Порталис. Политические истины из Парижа»). Речь эта под заглавием «Discour prononcé dans la seance du frimaire par le cit. Portalis, orateur du gouvernement, en presentant de la premier loi du code civil» появилась 26 ноября 1801 г. (5 фримера, X год респ.) в официальном органе французского правительства «Gazette nationale ou le Moniteur universel».

Для какой же цели Карамзину потребовалось перепечатывать «новости» полугодовой давности? Ответ на этот вопрос дает рассмотрение самой статьи. Привлекает внимание следующее обстоятельство: почти одновременно с появлением в «Вестнике Европы» статьи о принципах французского кодекса в «Негласном комитете» обсуждаются проекты составления русского кодекса. Любопытные сведения по этому поводу дают бумаги гр. П. А. Строганова,

[1] См.: Московские ведомости. 1802. 5 февраля.

который вел протоколы заседаний комитета. На заседании 10 марта 1802 г. Чарторыжский говорил о письмах, которые он, по поручению императора, должен был разослать «всем знаменитым юристам Европы, с просьбою принять участие в составлении кодекса русских законов». На заседании 17 марта Чарторыжский читал уже проект программы для европейских юристов. «В этой программе князь Адам объяснил, что вся наша юриспруденция основана на огромной массе указов, изданных без всякой последовательности и нередко противоречащих один одному»[1].

Не лишено интереса, что, когда Чарторыжский предложил разослать приглашения во все государства Европы, кроме Франции, Александр I, возразив ему, персонально указал на необходимость привлечения Порталиса к работе над составлением русского кодекса.

Обращает на себя внимание и другая подробность. Название труда Порталиса «Project de la premier loi du code civil» переводится Карамзиным как «Проект гражданского уложения», что является весьма вольным воспроизведением французского текста, но зато дословно совпадает с названием проекта, над которым в это самое время трудился Радищев.

Трудно сказать определенно, в каком соотношении между собой находятся все эти факты, однако наличие связи между ними делается вполне вероятным после рассмотрения самого характера опубликованной Карамзиным статьи. Создается впечатление, что издатель «Вестника Европы», в какой-то мере осведомленный о готовящемся проекте и обеспокоенный как возможностью нежелательных ему общественных перемен, так и известием о привлечении Радищева к государственной деятельности, выступил со своим решением вопроса о характере нового русского «Гражданского уложения».

Речь Порталиса в «Вестнике Европы» изменена до неузнаваемости. Прежде всего, из нее выкинуты все абзацы, трактующие о республиканских законодательных институтах, о необходимости широкого обсуждения законов (вроде «Les lois sont toujour utilement discutés») и, наконец, о всеобщем равенстве граждан перед законом, как благодетельных последствиях революции. Исключены или сокращены до минимума также разделы, трактующие о конкретных сторонах законодательства: наследовании, браке, разводе и т. д.

Однако переработка речи Порталиса и приспособление ее к взглядам Карамзина не ограничились одними сокращениями.

Центральным местом речи, в карамзинской интерпретации, становится вскользь брошенная Порталисом фраза: «Можно быть уверенным, однако, что все частные интересы соединятся (встретятся), когда речь зайдет об общем благе» (On est donc sûr de rencontrer tous les intérêts privés, quand on s'avise de parler au nom de l'intérêt public), которая в карамзинском переводе неожиданно получает значение, диаметрально противоположное своему французскому оригиналу: «Благо общее всегда противно частному благу многих». Зато это

[1] *Николай Михайлович, вел. кн.* Граф Павел Александрович Строганов. СПб., 1903. Т. 2. С. 193.

положение находит полное соответствие в представлениях Карамзина о человеческом обществе[1].

Сделав указанный тезис центральным, Карамзин выбирает из текста статьи и старательно переводит отдельные высказывания, утверждающие вредность нововведений («Уверимся, что смелая новость бывает часто блестящим заблуждением»), необходимость просвещения как основы общественного благоденствия («От успехов просвещения рождаются понятия о благе общем и справедливости») и др., соответствующие карамзинской программе. В результате речь, носящая имя Порталиса, превращается в статью, отражающую основные требования программы самого Карамзина: сохранение неограниченной монархии, отказ от государственных преобразований, пропаганду народного просвещения.

Интересно, что статья неоднократно нападает на людей, привносящих в дело законодательства «дух системы». «Теперь ученые хотят, — читаем мы здесь, — метафизику свою сообщить гражданскому уставу». Следует отметить, что фраза эта вырвана из большого рассуждения Порталиса, целиком отброшенного Карамзиным, и переведена вольно: упоминания о «гражданском уставе» во французском тексте нет. Зато у русского читателя приведенные слова могли вызвать ассоциации со слухами о намерениях правительства, а может быть, и о законодательной деятельности Радищева.

Другим, не менее интересным, примером являются помещенные в № 4 февральского «Вестника Европы» за 1802 г. две статьи: «Пасван-Оглу» и «Письмо из Константинополя». Содержанием статей является изложение неудачной попытки введения конституции в Турецкой империи. Султан добровольно ограничил свою власть, подчиняясь воле нескольких советников, стремящихся ввести конституцию. Однако подобные попытки вызвали лишь усиление угнетения народа, которому пришлось покоряться вместо одного властителя — «десяти разбойникам», что окончилось восстанием и привело государство на край гибели.

Обращает на себя внимание почти полное совпадение ситуации в двух вышеизложенных статьях со статьей «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича»: царь передоверил управление боярам, которые в своих личных интересах, используя власть, довели народ до восстания.

Вспомним, что, с точки зрения Карамзина, любая форма представительного или конституционного правления приравнивалась к олигархии, к замене одного властелина (у которого, в силу его единственности, личный эгоизм совпадает с государственными интересами) сворой своекорыстных правителей: «Все склоняет их [государей] к правосудию и милости: собственная польза, слава и счастье. Личное благо людей самых знатных в государстве может

[1] Мы уже отмечали коренную противоположность понимания характера «общего блага» А. Н. Радищевым. Можно вспомнить, что еще Я. П. Козельский в «Философических предложениях» писал о «слабости законодавцев», которые «всегда полагают особенную пользу в противность общей пользе» (§ 392). Козельскому был ясен общественный смысл идеалистической трактовки этого вопроса: «...под видом искания общей пользы искусно утесняют своих ближних» (§ 427).

быть противно общему. Только один человек никогда не бывает в таком опасном искушении добродетели — и сей человек есть монарх самодержавный»[1].

Сопоставление заключения «Письма из Константинополя» с заключением «Московского мятежа» дает картину полной аналогии.

«С этого времени царь Алексей Михайлович начал *царствовать сам собой*, часто присутствовать в Совете и входить во все дела, ибо он видел, сколь опасно для монарха излишне полагаться на бояр, *которые для особенных ничтожных выгод своих могут жертвовать благом государства*»[2]. «Теперь будут вам ясны слова Пасвана-Оглу, повторенные в разных его манифестах, что он готов покориться Султану, если Селим захочет *сам собою царствовать*, но что собрание 10 разбойников не должно располагать именем и жизнию правоверных»[3]. Намек на конституционные попытки Негласного комитета, с одной стороны, и полное соответствие этих статей политическим взглядам Карамзина, с другой, настолько поразительны, что заставляют искать и исследовать их источники.

Статья «Пасван-Оглу», содержащая фактическую справку о восстании Виддинского паши и являющаяся вступлением к «Письму из Константинополя», подписана фамилией Оливье, вторая статья подписи не имеет.

Гильом Антуан Оливье, «член Национального Института сельскохозяйственного общества» и проч. и проч., совершил по поручению правительства республики поездку по Ближнему Востоку. Свои впечатления он изложил в книге: «Путешествие в Оттоманскую империю, Египет и Персию»[4].

На с. 199 первого тома французского издания находится текст, легший в основу статьи «Пасван-Оглу». Как уже было отмечено, здесь излагается история янычарского бунта Виддинского паши Пасван-Оглу против власти султана. Несмотря на сравнительно точный перевод, уже и здесь проявляется совершенно определенная тенденция. Пасван-Оглу в изложении Карамзина представляется как вождь народа, восставшего *против новшеств* правительства. Так, например, фраза: «Ces premièrs succès donnèrent une grande idée des talents militaires de Pasvan et le firent regarder comme un homme entièrement devoué aux intérêts du peuple» — переведена: «Сим первым успехом он прославился по всей империи, и народ, почти везде *недовольный новой системой* дивана, явно желал Пасвану дальнейшего счастья, считая его великим воином и

---

[1] О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича // Вестник Европы. 1803. № 8. С. 197. Ср.: «Государи... будучи, так сказать, вне обыкновенной гражданской сферы, вознесенные выше всех низких побуждений эгоизма, которые делают людей несправедливыми и даже злыми, наконец, *имея все* (курсив мой. — *Ю. Л.*), они должны и могут чувствовать только одну потребность благотворить» («Записка о древней и новой России»).

[2] Вестник Европы. 1803. № 18. С. 144. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[3] Там же. 1802. № 4. С. 82. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[4] «Voyage dans l'empire Othoman, l'Egypte et la Perse fait par l'ordre du gouvernement pendant les six premieres années de la Republique par G. A. Olivier» (Paris, an IX). Книга эта была переведена на немецкий язык и издана в 1802 г. в Веймаре под заглавием «Reise durch das Türkische Reich, Aegypten und Persien».

другом старинных обычаев (курсив мой. — *Ю. Л.*)». Делая из Пасвана врага[1] нововведений и конституционных изменений, Карамзин вообще пропускает фразу: «il [Pasvan] continua à flatter le peuple et à lui faire esperer des reformes utiles et fortement desirées». Желая изобразить конституционные реформы Селима как непосредственную причину народного восстания, Карамзин вынужден был отказаться во второй своей статье от описания этих событий у Оливье[2], где они изложены в довольно сочувственных по отношению к Селиму тонах, и искать других источников политической информации, более подходящих к его тенденции.

Несмотря на то, что «Письмо из Константинополя» помещено в «Вестнике» без каких-либо указаний, удалось установить, что источником его является статья, озаглавленная «Об особых причинах развала Оттоманской Империи в настоящее время. Новые события в турецких провинциях» («Über die besondern Ursachen der jetzigen Zerrüttung des Othomanischen Reich. Neuere Begebenheiten in den türkischen Ländern»), помещенная в «Politisches Journal nebst Anzeige von Gelehrten und andern Sachen» (Jahrgang 1801, Hamburg, 10 Stück, Oktober).

Обнаружение источника позволяет нам с полной уверенностью говорить о принципиальном значении переделок, которым подвергся первоначальный текст в ходе «перевода»[3].

Прежде всего, в написанном в Москве «Письме из Константинополя» кардинально изменен характер султана Селима. Описание его как сурового диктатора, хотевшего «statt der schlaffen Regierung seines Vorgängers die Strenge der militärischen Macht wieder einzuführen», которого «wilder Eifer führte <...> zu weit», совсем пропущено, но зато вставлена отсутствующая в подлиннике фраза: «Селим принял его [план реформы] охотно, уступая часть власти своей для государственного блага». Намек на либеральную маску Александра I не мог ускользнуть от современников.

Вместе с тем Карамзин старается доказать, что именно сохранение неограниченной монархии отвечало бы требованиям «общего блага». Интересно объяснение побудительных мотивов стремления к реформе: мать султана «была встревожена слухами о всеобщем неудовольствии народа, о разных бунтах в провинции и предложила сыну своему сей новый план хитрых честолюбцев, как лучшее средство успокоить Империю»[4].

---

[1] См.: «Всякая новость в государственном порядке есть зло, к которому надобно прибегать только по необходимости» (*Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 58).

[2] В «Вестнике Европы» (1802. № 7) помещен еще один, довольно точный, перевод из книги Оливье «О провинциальном начальстве в Турции».

[3] В октябре 1801 г. эта «новость» (Карамзин опубликовал ее в феврале 1802 г.) была перепечатана московским «Политическим журналом».

[4] Вестник Европы. 1802. № 4. С. 80. Ср.: «При всяком удобном случае государь выставлял принцип законности, которому охотно подчинял неограниченность своей собственной самодержавной власти» (*Шильдер Н. К.* Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. 3).

Таким образом, в переводе подчеркивается, с одной стороны, страх правительства перед народным восстанием, с другой — стремление «честолюбцев» использовать это в личных целях. Карамзин старается убедить читателей, что законодательные реформы не снимают, а увеличивают угрозу «возмущения» народа.

Видимо, во избежание открытой аналогии с русской действительностью «Staatsrath» везде переводится не как «государственный совет», а словом «диван», в немецком тексте отсутствующим.

Мы привели два наиболее ярких примера, характеризующих принципы перевода и подбора статей издателем «Вестника Европы». Неудивительно, что весь материал журнала обладает, несмотря на разную степень оригинальности, исключительным единством целенаправленности и полностью укладывается в политическую схему Карамзина.

Анализ различного рода статей и заметок, помещенных в номерах «Вестника Европы», позволяет установить, что за иностранной политической информацией, книжными рецензиями и переводами из иностранных журналов скрываются отклики на животрепещущие, волновавшие умы русской читающей публики, а иногда и на скользкие в цензурном отношении вопросы.

Такова, например, заметка «О самоубийстве», помещенная в № 9 «Вестника Европы» 1802 г. Статья эта, вероятно, представляет отклик на гибель А. Н. Радищева.

Наиболее полно отношение Карамзина к крестьянскому вопросу в период «Вестника Европы» выразилось в статье «Письмо сельского жителя», напечатанной в № 17 «Вестника Европы» за 1803 г. Содержание «Письма» таково: некто, от лица которого ведется рассказ, начитавшись философических книг, решил провести в своей деревне либеральные преобразования. Однако, вернувшись через некоторый промежуток времени в свою деревню, он застал там вместо ожидаемого процветания картину полного запустения: «Воля, мной им [крестьянам] дарованная, обратилась для них в величайшее зло: т. е. в волю лениться, предаваться гнусному пороку пьянства». На своем опыте автор письма (оно подписано псевдонимом Лука Еремеев) пытается подкрепить карамзинский тезис о гибельности освобождения «неподготовленного» народа. Требованию немедленного освобождения крестьян Карамзин противопоставляет пропаганду просвещения народа.

«С какой радостью читал я указ о заведении школ деревенских! Вот исполинский шаг к вернейшему благоденствию поселян», — восклицает Лука Еремеев. Сам он, не дожидаясь указа, организовал в своей деревне школу и преподавал в ней «катехизис сельской морали» собственного сочинения. Просвещение крестьян сделает, по его мнению, возможным освободить их.

Несмотря на кажущуюся «либеральность» подобных построений, смысл их был глубоко реакционным и антинародным. Интерес к народному просвещению был определен в системе Карамзина стремлением избежать революции. «Республиканец в душе», Карамзин был также лишь «в душе»

сторонником освобождения крестьян[1]. Однако перенесение решения крестьянского вопроса в отдаленное будущее на практике означало отказ от освобождения крестьян. Отмена крепостного права, по мнению Луки Еремеева, хороша, «если бы мы, приняв ее, могли заснуть с Эпименидом, по крайней мере, на целый век».

Связь подобных воззрений с корыстными интересами помещиков была столь очевидной, что даже Карамзин, устами автора письма, счел необходимым оговорить свое личное бескорыстие.

«Бог видит, люблю ли я человечество и народ русский, имею ли предрассудки, обожаю ли гнусный идол корысти. Но для истинного благополучия земледельцев наших желаю единственно того, чтобы он имел добрых господ и средство *просвещения, которое одно сделает все хорошее* (то есть освобождение крестьян. — *Ю. Л.*) возможным»[2].

Не только Радищеву, но и передовым деятелям демократического лагеря предшествующего поколения было ясно, что отмена крепостного права является не следствием, а непременным *условием просвещения крестьян*. Еще Я. П. Козельский в «Философических предложениях» писал, что «многие люди беспрестанно говорят, что облегчение делать невыполированному народу в его трудностях предосудительно; и я думаю, что некоторые из них говорят сие по незнанию, что выполировать народ иначе нельзя, как через облегчение его трудностей, а другие по неумеренному самолюбию, что почитают в неумеренном господстве над людьми лучшую для себя пользу»[3].

В центре повестей Карамзина этих лет стоят те же вопросы, которые мы находим в публицистических и политических статьях «Вестника Европы»: природа человека и связанный с этим вопрос политической структуры государства. Первому посвящены повести «Моя исповедь» и «Чувствительный и холодный», второму — «Марфа Посадница».

Касаясь природы человека, Карамзин вступает в полемику с Руссо, однако ведется она теперь уже не с тех позиций, с которых писалась статья «Нечто о науках». В № 9 «Вестника Европы» за 1803 г. была опубликована статья «Об учтивости и хорошем тоне». И сущностью, и формулировками статья противопоставлена Руссо. Исходя из мысли о доброй природе человека и о зле как последствии уродующего влияния несправедливого общества[4], Руссо обрушивался на вежливость и хороший тон как уловку для прикрытия

---

[1] Любопытно в этом отношении известное сообщение А. С. Пушкина: «Я сказал: Итак, вы рабство предпочитаете свободе. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души».

[2] Вестник Европы. 1803. № 17. С. 52. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[3] Философические предложения, сочиненные надворным советником правительствующего сената секретарем Яковом Козельским. СПб., 1768. § 420. С. 198—199.

[4] «Как смеют говорить, что они [первые люди] были испорчены во времена, когда источники испорченности не были еще изобретены» (Dernière réponse à M. Bordes // Oeuvres complètes de J-J. Rousseau. Paris, 1825. Vol. 1. P. 140). «Я, как всегда, чудовище, которое считает, что человек по природе добр, мои же противники, как всегда, честные люди, которые к всеобщему назиданию тщатся доказать, что природа его может сотворить только извергом» (Lettre à M. Philopolis // Ibid. P. 388).

общественных пороков: «Меня спрашивают, желаю ли я, чтобы пороки показывали себя открыто. Бесспорно, я этого хочу»[1]. Воспроизводя логику своего воображаемого оппонента, считающего, что «люди по природе злы», Руссо иронически пишет: «Вежливость <...> мешает людям обнаруживать себя такими, каковы они на самом деле; предосторожность крайне необходимая, чтобы дать им возможность терпеть друг друга»[2]. Статья Карамзина строится как сознательная полемика и с этим высказыванием, и с общим пониманием Руссо природы человека. «Эгоизм — вот истинный враг общества во всех его учреждениях!», «К несчастью везде и все эгоизм в человеке»[3]. Следовательно, природа человека антиобщественна. Причину этого писатель видит в субъективности всех, в том числе и моральных, представлений. «Разница выходит от того, что у всякого особенные глаза: смотрим на одно, но видим разное». Вежливость скрывает от людей их злые наклонности, не меняя (что, по мнению Карамзина, и невозможно) сущности человека, она «не истребляет, но скрывает» эгоизм. В хаосе всеобщего морального релятивизма вежливость «производит, наконец, какое-то единство». Интересно, что если в статье «Нечто о науках» Карамзин подчеркивал то, что отделяло Руссо от более умеренных философов-энциклопедистов, то теперь он, не делая разницы, борется и с тем и с другими. Отвергая представление о врожденной доброте человека, он одновременно обрушивается на мысль о том, что человек не добр и не зол, а воспитан окружающими условиями[4]. В очерке «Чувствительный и холодный» он писал: «Дух системы заставлял разумных людей утверждать многие странности и даже нелепости: так некоторые писали и доказывали, что наши природные способности и свойства одинаковы: что и случаи воспитания не только образуют или развивают, но и дают характер человеку». «Нет! — восклицает далее Карамзин, — одна природа творит и дает...»[5]

Идея врожденно злой природы человека лежит в основе повести «Моя исповедь». Еще несколько лет тому назад для Карамзина «я» было единственной, доступной пониманию человека реальностью и, следовательно, единственной возможной предпосылкой всех суждений («что человеку... занимательнее самого себя?»). Теперь, оставаясь на позициях непознаваемости объективного, Карамзин исходит из мысли о необходимости согласования в едином общественном организме этих многочисленных, враждебных друг другу людей-эгоистов. «Мир не для нас одних создан, а мысли и желания человека ограничиваются только его сердцем <...> Всякая особенная сила

---

[1] Réponse au roi de Pologne // Oeuvres complètes de J-J. Rousseau. Paris, 1825. Vol. 1. P. 123.

[2] Réponse à M. Bordes // Ibid. P. 145.

[3] Об учтивости и хорошем тоне // Вестник Европы. 1803. № 9. С. 57.

[4] Сторонниками подобного понимания были не только французские материалисты, но и А. Н. Радищев, которого Карамзин, вероятно, также имел в виду.

[5] Об эстетических последствиях подобного взгляда см.: *Лотман Ю.* О некоторых вопросах эстетики А. Н. Радищева // Научные труды, посвященные 150-летию Тартуского гос. ун-та. Таллин. 1952. С. 173—175.

стремится как можно далее расширить круг своего действия. Человек считает себя единственным и отдельным от других существом»[1]. Углубление в свое «я» теперь третируется как эгоизм, а любимая прежде самим автором характеристика внешнего мира как мира «китайских теней моего воображения» вкладывается в уста эгоиста — героя повести «Моя исповедь». Герой — молодой дворянин, получивший модное воспитание (характерная деталь: воспитатель его — женевец и свободолюбец[2]), смеющийся над любыми моральными нормами. «Весь мир казался мне беспорядочною игрою китайских теней, все правила — уздою слабых умов, все должности (то есть обязанности. — *Ю. Л.*) — несносным принуждением». Он учился в Лейпциге, «прыгая в контрдансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом», в Риме, «целуя туфель папы, укусил ему ногу». Лишенный сыновних чувств, патриотизма, каких-либо представлений о долге, стремясь «занять пустоту жизни», он разводится с женой, а потом, когда она выходит второй раз замуж, соблазняет ее, «будучи едва в силах удержаться от смеха, воображая странность победы своей». В конце повести герой становится ростовщиком, шутом и сводником.

Однако если для масонских идеологов борьба с эгоизмом сводилась к моральной проблеме, а в качестве силы, которая должна заставить человека добровольно пожертвовать личным благом во имя противоположных ему общих интересов, мыслилась идея бессмертия души и загробного воздаяния, то Карамзин не верил в способность человека-эгоиста пожертвовать своими интересами во имя отвлеченных религиозно-моральных норм и возлагал надежды на принудительную силу государства. Государственная теория Карамзина в эти годы полнее всего отразилась в повести «Марфа Посадница». Повесть с самого начала вызвала прямо противоположные оценки современников. Если для реакционеров типа П. И. Голенищева-Кутузова повесть была исполнена «яда якобинского», то радикальные круги почувствовали в ней те идеи, которые позже были охарактеризованы Пушкиным как проповедь «необходимости самовластья». Характерно, что, не удовлетворив ни тех ни других, она вызвала ультрареакционную переделку Павла Сумарокова и радикальную интерпретацию Ф. Иванова.

В центре повести — проблема самодержавия. В самом начале князь Холмский произносит речь, перекликающуюся с многочисленными высказываниями Карамзина по этому поводу.

«Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок, а нет порядка без власти самодержавной». Республика не может существовать без добродетельных граждан, способных подавить в себе свой эгоизм. Поэтому в Новгороде, где царствует корыстолюбие, народ порабощен еще более тяжелым бременем олигархии. «Вольность! <...> Но вы также рабствуете.

---

[1] Вестник Европы. 1802. № 15. С. 173.

[2] «Я родился в республике и ненавижу тиранство», — говорит женевец-гувернер герою повести.

Народ! Я говорю с тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь — ибо народ всегда повиноваться должен — но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым»[1].

Автор дает довольно прозрачно понять, что люди в Новгороде находятся на той степени нравственности, «на которой Республики падают»[2]. «Если, — говорит Марфа, — в самом деле гнусное корыстолюбие овладело душами новгородцев... если мы любим сокровища и негу более добродетели и славы: то скоро ударит последний час нашей вольности и вечевой колокол, древний глас ее, падет с башни Ярослава и навсегда умолкнет»[3]. После этих слов колокол чудесным образом падает с башни. Приговор Новгородской республике произнесен.

Марфа добродетельна и бескорыстна. «Катон своей республики», как называет ее автор, она жертвует личными привязанностями и семейным счастьем общему благу. «Если Новгороду должно погибнуть, то могу ли думать о жизни своей», — говорит она[4]. Но слабовольный народ, легко увлекаемый энтузиазмом, столь же легко переходит на сторону великого князя.

«Давно ли сей народ славил Марфу и вольность. Теперь он увидит кровь мою, и не покажет слез своих... И геройство пылает огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и всеми милыми радостями жизни... кому? неблагодарным»[5], — говорит Марфа перед смертью. Подобное состояние нравов, по мнению Карамзина, и обрекало Новгород на гибель, ибо, как писал он в «Записке о Польше», «республика без добродетели есть труп неодушевленный».

«Сопротивление новгородцев не есть бунт каких-нибудь „якобинцев“», — писал Карамзин, подчеркивая этим, что древнерусская республика не добивалась каких-нибудь новых прав, — «они сражались за древние свои уставы». Но старые права не соответствовали новым нравам. Недаром Холмский напоминает новгородцам, что они уже однажды «лобызали ноги своего отца и Князя, *который примирил внутренние раздоры... проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть Единого*»[6].

Центральная авторская мысль «Марфы Посадницы» заставляет вспомнить напечатанную Карамзиным еще в «Московском журнале» рецензию на «Путешествие младого Анахарсиса по Греции в середине четвертого века перед рождеством Христовым». Говоря о «Платоновой республике мудрецов», Ка-

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 3. С. 172.

[2] Вестник Европы. 1802. № 20. «Известия и замечания». Ср.: «Без высокой добродетели Республика стоять не может», — пишет он в № 20 «Вестника Европы» за 1802 г. В «Историческом похвальном слове Екатерине II» Карамзин утверждал: «Или людям надлежит быть ангелами, или всякое многосложное правление, основанное на действии различных воль, будет вечным раздором, а народ несчастным орудием некоторых властолюбцев, жертвующих отечеством личной пользе своей».

[3] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 183—184.

[4] Там же. С. 189.

[5] Там же. С. 233.

[6] Там же. С. 169.

рамзин писал: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине и по конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее»[1].

От утверждения «невозможности» республики Карамзин переходит к оценке Александра Македонского, поработившего Грецию, — оценке, невольно заставляющей вспомнить о «Марфе Посаднице»: «Читатель видит в нем [Александре] хитрого поработителя вольных народов, однако ж таких народов, которые уже недостойны были наслаждаться вольностью — и если в покорителе оных нельзя похвалить сердечной непорочности, то по крайней мере нельзя не признать его великого духа»[2].

Идея «Марфы Посадницы» определяется карамзинской позицией «республиканца в душе»[3]. Мы уже останавливались на том, что глубокой основой ее являлось стремление избежать революционного пути, а республиканские идеалы перенести в недосягаемое будущее. Для настоящего же Карамзин считал самодержавие лучшей формой политического управления. Основная мысль «Марфы Посадницы» такова: республика — мечта, в настоящее же время эгоизм людей делает самодержавие единственным средством «спасти народ от самого себя», как писал Карамзин в «Московском мятеже».

Исходя из идеалистического понимания общего блага — основы прав государства — как «всегда противного частному благу» (ср. противоположное утверждение Радищева: «Чем польза частная теснее союзна с пользою общею, тем общество назвать можно блаженнее»), Карамзин приходит к выводу: даже если новгородцы были правы, благородны и добродетельны, даже если вождь их — Марфа — образец республиканских доблестей[4], — несправедливость в отношении частного оправдана «общим», «государственным» интересом.

В «Записке о древней и новой России» Карамзин утверждал, что сам народ в первоначальном договоре с царями уполномочил их «жертвовать частью для спасения целого»[5]. Право лишать свободы гражданина во имя интересов дворянского государства, торжественно именуемых общим благом, распространяется и на отношения между государствами. «Мы взяли Польшу мечем: вот наше право, коему все государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний»[6]. Стоящая за Иоанном сила большого государства оправдывает, по мнению Карамзина, частную несправедливость —

---

[1] Московский журнал. 1791. Ч. III. Кн. 2. С. 211.

[2] Там же. С. 213.

[3] См.: Старина и новизна. Вып. I. С. 60; Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 248—249; и в парижском издании книги Н. И. Тургенева «La Russie et les Russes». 1847. P. 462.

[4] У П. Сумарокова Марфа вступает в предательский сговор с Литвой (так же утверждала и Екатерина II в пометках на полях книги Радищева, доказывая на этом основании, что Иоанн «казнил отступников и изменников»). «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей», — говорит Марфа у Карамзина послу Казимира.

[5] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 25.

[6] *Карамзин Н. М.* Мнение русского гражданина // Карамзин Н. М. Неизд. соч. и переписка. Ч. I. С. 5.

порабощение вольной республики. Циничная философия силы скрашивается требованием личной добродетели, для государя — ее носителя.

«Марфа Посадница» любопытна как завершение последнего этапа художественной эволюции Карамзина, подготовившей переход к эпическому стилю «Истории государства Российского». Субъективизм, лежавший в основе художественного метода периода «Аглаи», преодолен. Однако объективизм повести не имеет ничего общего ни с отражением объективного характера жизненных явлений, ни с классицизмом, с его верой в реальное существование объективных общих идей. Писатель отворачивается от мира действительности, по его мнению, текучей и неуловимой, «китайских теней» его (автора) воображения, и погружается в мир априорных моральных и политических доктрин, которые и персонифицирует в условных образах. Внешне напоминая классицизм, подобная система глубоко от него отлична, ибо строится не на рационализме, с его верой в умопостигаемость истины, а на агностицизме, будучи и генетически, и по существу связана с релятивистской эстетикой предшествующего периода.

Созданная Карамзиным идеолого-эстетическая система была для той эпохи наиболее полным выражением дворянского мировоззрения в искусстве. Именно этим определено ее значение. С этим связано и то, что без борьбы с этой системой или без определения своего отношения к ней не могло обойтись ни одно крупное литературное явление эпохи, охарактеризованной Белинским как «карамзинская».

Радищев, Крылов, Мерзляков, Андрей Тургенев, Грибоедов, Гнедич, Кюхельбекер, Рылеев, Пушкин, Полевой, Надеждин — имена людей, по-разному, на разных этапах исторического развития вступавших с ней в полемику. С другой стороны, Жуковский, Батюшков, Вяземский, а позже И. Киреевский, славянофилы, в какой-то мере Чаадаев, а в исторической перспективе — Достоевский — вот имена деятелей, которые так или иначе связаны с карамзинской традицией. Все это показывает историческую оправданность изучения деятельности Карамзина.

1957

Пути развития русской прозы 1800—1810-х гг.

Начало XIX в. было не только хронологической, но и идейно-художественной вехой в истории русской прозы. Перед каждым из основных литературных направлений и жанров открылись новые пути. Художественная проза: сатирический «журнал», «восточная» повесть, роман аллегорический, сатирический, моралистический, семейно-бытовой, авантюрный и др. — количественно самая обширная группа литературных произведений начала нового века. Вместе с тем роман и повесть оказались жанрами, по самой своей природе наиболее приспособленными для выражения того мироощущения, которому суждено было победить в середине XIX столетия.

Поиски нового остро проявились именно в прозаических жанрах начала XIX в. Особые изменения претерпел философский роман. Присущая ему двуплановость построения не была внешним художественным «приемом» — она вытекала из веры в возможность и спасительность полной замены всех существующих общественных отношений «естественными». С характерной для демократического сознания начала XIX столетия утратой веры в революционный путь разрешения общественных противоречий философский роман потерял свою стилеобразующую основу и начал исчезать из литературного обихода. Необходимо иметь в виду, что противоречия нового, буржуазного общества и ограниченность буржуазной идеологии раскрывались перед литературой постепенно. Даже во Франции длительное время после революции 1789—1793 гг. борьба с пережитками феодализма или попытками его реставрации оставалась одной из актуальнейших общественных задач. Тем более заметно это было в России, которая хотя и не могла остаться чуждой общеевропейскому идеологическому движению, подводившему итоги завоеваниям революционной эпохи, однако сама все же еще находилась в положении страны, для которой антифеодальная революция оставалась главной целью прогрессивного движения, а оправдывающая ее теория — самой передовой идеологией.

Это сложное положение приводило к тому, что одновременно имело место и преодоление традиций XVIII в. во имя более высокого этапа развития общественного сознания, и мощное влияние этой же традиции, которая оставалась живой и жадно усваивалась молодежью. В области художественной прозы это вело к своеобразному явлению: одновременно с поисками новых идейно-художественных форм построения романа не умирал читательский интерес к прозе Вольтера, Руссо, Рейналя, Радищева, русских сатирических журналов XVIII в., молодого Крылова и многих других писателей общеевропейского антифеодального лагеря XVIII в. Это необходимо учитывать при любой попытке восстановить картину взаимоотношений читателя и книги в интересующие нас годы. Дело даже не только в том, что произведения русских

просветителей XVIII в. широко переиздаются, а зарубежные — широко переводятся. Необходимо учитывать, что проза XVIII в. еще была доступна читателю в первоизданиях. Интерес читателей к прозаическим произведениям XVIII в. породил не только переиздания, но и подражания. Характерной попыткой воспроизвести традиции демократической прозы XVIII в. является «Путешествие критики» Савелия Фон-Ферельтца.

В качестве образца воспроизведения такого типического жанра прозы XVIII в., как сатирический журнал, можно назвать «Сатирический театр, или Зрелище людей нынешнего света. Ежемесячное издание на 1808-й год». Издание выходило анонимно, и хотя есть сведения о том, что издателем его был М. Ф. Меморский — автор нескольких популярных учебников и переводов, предпринятых явно с коммерческой целью, — однако проверить эти данные нам не удалось. Да и само имя Меморского настолько мало говорит даже исследователю-специалисту, что, по сути дела, ничего не дополняет к нашим сведения в этом вопросе. Вообще, это забытое, но интересное издание ставит перед исследователем много вопросов, ответить на которые пока еще далеко не всегда представляется возможным.

В предисловии издатель убеждал читателей в том, что основная часть материалов — переводы, хотя и признавался, что он «рассудил прибавить» в журнал и «несколько своих сочинений»[1].

Однако рассмотрение журнала убеждает в том, что количество помещенных в нем переводных текстов незначительно и они резко выделяются как по стилю повествования, так и по политической безобидности содержания. Зато бросается в глаза, что составитель, явно из цензурных соображений, старался придать оригинальным текстам характер переводных. Делал он это путем чисто внешнего словесного маскарада, заменяя попа — «пастором», поместья — «арендами» и т. д., но сохраняя всю картину типично русских общественных отношений и нравов своего времени. Например, в сентябрьской книжке журнала опубликован интересный сатирический отрывок, описывающий штат слуг дворянина-помещика.

«1-е. Учитель французского языка. Нанимается в год не менее, как от 500 до 2000 рублей; выбирается он большею частию неудачу <...>

2-е. Бедной дворянин. Однако всюду с собою возят; должность же его состоит в том, чтоб он во всем потакал и полыгал бы по своем господине, отправлял бы ремесло совершенного шута, для скуки умел бы играть в вист и шашки, раскуривал и подавал бы трубку и выходил бы сказать о подвезении к крыльцу кареты.

3-е. Пастор. Поступают с ним вопреки должного уважения; произносят сие имя всегда с презренным видом и стараются преклонить его к поступкам, которые всегда кончаются смехом на счет его.

4-е. Управитель. Оного должность состоит в беспрестанном упражнении, т. е. драке и разорении крестьян.

---

[1] Сатирический театр, или Зрелище людей нынешнего света: Ежемесячное издание на 1808-й год. М., 1808. Январь. С. 7.

5-е. Секретарь. Вся его должность состоит в написании в год от семи до десяти писем, в написании способов делать новые наливки и в беспрестанном списывании песен для барышень. Он также ведет расход и приписывает, заодно с управителем, число денег.

6-е. Дядька за детьми. Оного все попечение состоит в том только, чтобы от ушибу детей на лбах не вскакивали рога.

7-е. Садовник. Вся его должность состоит в том, чтоб ходить в зеленом кавтане и иметь в руках кривой нож, подрезывать сучья, лучшие плоды продавать на сторону, а пуки цветов отдавать за чарку вина.

8-е. Конюший. Смотритель над всеми конюхами, лошадьми и повозками, имеет сношение с кузнецами и коновалами и делится со всеми ими пополам.

9-е. Повар, который заодно крадет с управителем или столовым дворецким, берет от них много масла и, топя оное на сковородах, сгорелое продает на рынках вместе с салом.

10-е. Разные слуги, из коих одни должны век свой сидеть в передней, причесывать, ездить на запятках, смотреть за винами и разносить оные, резать кушанье; иные же — держать на своем отчете карты, столы и мел, некоторые — переносить вести, провожать, сажать, бегать, кричать; самые же несчастные — с обритою головою и в шахматном платье отправлять вечно роль шутов и дураков, и в сем страдательном и презрительном предопределении приучают их быть также каменными к ежедневным и от всех изобильно получаемым побоям.

11-е. Разные приказчики. Бурмистры, старосты, земские и выборные, должность их состоит в том, чтоб за одно с управителем обманывать господина и беспрестанно писать о неурожае хлеба и отдании в рекруты тех крестьян, которые или навлекли на себя гнев их, или по бедности не в силах их дарить.

12-е. Трубочист-немец, коего должность состоит в том, чтобы осмотреть, сколько сажи выметается из труб во время чищения»[1].

Эта весьма яркая сатирико-бытовая зарисовка интересна с точки зрения обычных для «Сатирического театра» приемов цензурной маскировки. Упоминание пастора дает издателю формальную возможность укрыться за авторитеты мнимых «оригиналов». Однако при этом автор не только сознательно сохраняет весь бытовой колорит русского помещичьего дома (без чего отрывок потерял бы весь смысл), но и дает читателю ключ к этому своеобразному маскараду. Благодаря упоминанию пастора, текст подносится как перевод, однако названный в первом пункте учитель французского языка, который противопоставлен своей национальностью и положением всем другим персонажам, исключает возможность осмысления отрывка как перевода с французского оригинала, а упомянутый в последнем пункте «трубочист-немец», естественно, указывает и на невозможность рассматривать текст как перевод с немецкого.

[1] Сатирический театр... Январь. С. 179—182.

Зато, хотя издатель этого никак не оговорил, нередки случаи прямых заимствований из русских литературных источников XVIII в., причем подбор цитат оказывается неслучайным. Это, как правило, тексты остросатирического характера. Например, без каких-либо оговорок в текст включен отрывок из «Сатирического вестника» Н. Н. Страхова о помещике — любителе собак и мучителе «несчастных и разоренных мужиков, на счет коих изобилия и гладу содержаны были сии резвобегающие твари». Чтобы достойно содержать собак, помещик «распродал крестьян» и «чрез то самое у малолетних отнял отцов, у жен похитил мужей, а у согбенных старостию — помощников их и питателей»[1].

Выбор был целенаправленным. По крайней мере, и другой отрывок из «Сатирического вестника» принадлежал к наиболее острым антикрепостническим выпадам журнала Страхова. Это известное место о помещице, запрещавшей девушкам-кружевницам выходить замуж[2]. Составитель, вероятно, не ставил своей целью вводить читателей в заблуждение — просто, понимая авторское право иначе, чем в XIX в., он собирал материалы, соответствовавшие его собственной позиции, не очень заботясь о том, распознает ли читатель источники подобных вставок. Так, в октябрьский номер он включил стихи «племянника» одного из героев — это не что иное, как «Вельможа» Державина. Конечно, рассчитывать, в данном случае, что от читателя укроется подлинное авторство произведения, издателю не могло даже прийти в голову[3].

Значительно интереснее то, что автор не только цитирует сатирические издания XVIII в., но и весьма удачно подражает им в своем собственном творчестве. Особенно близкой оказалась ему сатирическая проза Фонвизина и Новикова. Явно подражая фонвизинской переписке Стародума с помещиком Дурыкиным, издатель помещает в «Сатирическом театре» «Список разного звания людям, желающим занять учительскую должность в доме вашего превосходительства». Даже схема построения характеристик учителей копирует фонвизинскую:

«Молодой человек, лет 20, собою недурен, довольно учен, который, будучи у меня за столом, ел против троих; требует кроме обеда и ужина, хороший завтрак и, сверх того, по пяти кружек крепкого пива, деньгами же 50 рублей <...> Любезный щеголек, наряжается, как кукла. Одевается прямо по нынешнему вкусу или по последней моде <...> Прекрасно чешет волосы, чем может служить и вашим детям. Собою очень недурен, так, что нравится он иным из наших городских барынь, думаю, что и вашей супруге непротивен будет»[4].

---

[1] Сатирический театр... Июль. С. 61; Сатирический вестник. 1790. Ч. I. С. 59.

[2] Там же. Сентябрь. С. 202; Сатирический вестник. 1790. Ч. I. С. 35.

[3] Есть в журнале и совсем неясные моменты. Например, в февральском выпуске на с. 130—131 и 152—153 даются несколько разные редакции одного и того же текста, объемом около полустраницы. Трудно сказать, попали ли в печать, в результате оплошности редактора, два различных варианта оригинального текста, или мы имеем дело с разными переводами одного и того же произведения.

[4] Сатирический театр... Январь. С. 49, 53.

Однако еще более глубокая связь существует между построением «Сатирического театра» и приемами сатиры Новикова. Журнал построен в традиционной уже для сатирической периодики этих лет форме переписки. Корреспонденты резко делятся на две группы. С одной стороны, отрицательный персонаж — помещик NN — довольно традиционный образ крепостника, поклонника псовой охоты, с другой — выразители авторской позиции — Живописец и г. П. (видимо, следует расшифровать как «Правдулюбов»). Оба эти имени должны были напоминать читателю журналы Новикова. Автор, видимо сознательно, стремился поддержать эту ассоциацию, не давая Живописцу имени и отождествляя с ним все направление журнала. Новиков писал в свое время о нападках порочных людей на Живописца. В том же духе публикует материалы и «Сатирический театр»: «Петиметры говорят: что за Живописец проявился в городе, нельзя ли заставить его помолчать? Возможно ли, кричат они, чтобы этакая тварь осмеливалась опорочивать модное наше воспитание?» И в другом месте: «Живописца все начали ругать за его нескромность, а особливо те, которые подражают последнему вкусу моды: „Что за Живописец появился, — многие публично уже кричат, — какая ему до того нужда, кто как ни живет, у него никто советов требовать не расположен; следовательно эту язву, или, лучше сказать, бич противу нашего модного воспитания, должно искоренить“»[1].

В равной мере нападкам подвергается и господин П[равдулюбов]. Помещик NN пишет Живописцу: «Не знаю, право, кто такой твой друг г. П., которому, за предлагаемой мне совет, я бы не постыдился сказать, что он д<урак>. Как он осмеливался учить старика и притом почтенного и заслуженного генерала. Я думаю, он такой же маляр, как и ты; не забудь же ему напомнить, чтоб он никогда не смел обо мне говорить так без почтения, будто я не имею сердца к человечеству; попадись-ка и он ко мне на конюшню в благой час, то увидит и сам, что я оное имею. Не люблю спускать, если примусь, то так откатаю, что будет нёбу жарко. Подлец вздумал меня учить, как помогать бедным! Да кто кому велит быть бедным? Я знаю: ленивцы, пьяницы и игроки бывают только бедны; таким-то я буду помогать? Нет! Боже меня сохрани, мне лишний хлеб еще не наскучил; слава богу, у меня есть кого кормить — собак около полусотни, жена с детьми да служителей также довольно: все, мой друг, хотят хлеба. Вот какой еще проявился, знает сострадание к человечеству! Я, право, и теперь не понимаю, что значит сострадание, которого, по чести, и в глаза не видывал. Послушай, любезный, если ты хочешь, чтоб я тебя и напредь любил, то сделай одолжение, не показывай г. П. моих писем; я считаю его язвою для всех людей. Неужели ты не видишь, что нет почти состояния, которого бы он не осмеивал и притом так колко»[2]. Тексты, образы и жанровые формы разбираемых сатирических писем-статей прямо ведут к журналам Новикова. При этом автор писем не является переписчиком или беспомощным подражателем: двигаясь

[1] Сатирический театр... Февраль. С. 199; Март. С. 223.
[2] Там же. Апрель. С. 52—53.

по уже проложенным путям, он обнаруживает хорошее знание помещичьего быта, острый сатирический глаз, прекрасное владение оттенками бытовой речи.

Как бы продолжением «копий с отписок» и «помещичьего указа» из «Живописца» является письмо крестьян дальней вотчины помещику NN:

«Государь наш превосходительный барин N. N. и государыня наша превосходительная барыня А. С.! Бьют челом рабы ваши староста Матвей Артамонов, выборной Сысой Луппов и земский Поликарп Федотов со крестьяны. Внемли, родимый наш батюшко, воплю сирот, в дальной стороне от тебя живущих, преклони ушеса свои к молению сирых рабов твоих! Мы погибаем — нас живых съесть хотят, уездные последнюю шкуру с нас дерут <...> Вить ты, государь наш, сам ведаешь, что земли у нас полнивы на брата, и то совсем не хлебородная; оброк твоей милости платим необъятной; одним словом: пришло итти в мир с кошлем просить милостыни; а работаем только на проклятых комиссаров и на вашу господскую милость <...> Взгляни на нас, отец ты наш, милосердым своим оком, не дай вконец разориться; пришли к нам правое свое крылышко, твоего стряпчего Андрея Скудоумова, хоть бы он нас от бессовестных городских судей и подьячих немного защитил <...> и потерпи до осени оброк твой! Лёгко ли место; платим теперь за половину года двадцать талеров с тягла! <...> Где взять? Отец ты наш!.. Хоть ты нас побереги и совсем не сгложи — мы тебе еще пригодимся»[1].

Упоминания комиссаров и талеров (рядом с которыми фигурируют подьячие и алтыны) не могли скрыть от читателя типичности изображения русского крепостного быта. Помещик реагирует на крестьянские жалобы так же, как и в «Живописце», — он собирается съездить, чтобы «настрочить спины»: «Они, видно, ленятся работать. Добро, я с ними переведаюсь... Узнают, как барина почитать!.. Я и в самом деле погложу их»[2].

Автор журнальных статей, кто бы он ни был (трудно предположить, чтобы это обличающее уверенную литературную руку сочинение принадлежало бесцветному и ничем себя не зарекомендовавшему в литературе Меморскому), хорошо помнил сатиру Новикова и пытался продолжать ее традицию. Тем более примечательна несколько неожиданно вставленная в журнал история писателя, ставшего жертвою гонений. В августовском номере журнала помещен рассказ о судьбе человека, который нажил себе на службе врагов, не умея криводушничать и не терпя «ласкательства». Враги его, решив погубить, уговорили напечатать свои сочинения. «Сии бумаги содержали в себе некоторые мои замечания на тогдашнее время». Послушавшись коварных уговоров, он «отдал их в печать». «Вскоре потом проклятые мои злодеи перетолковали то совсем превратным образом и разгласили обо мне, будто бы я антигражданин <...> оболгали меня безбожником, деистом, и довели до того, что бумаги мои были сожжены публично чрез палача, имение мое описано и роздано моим злодеям»[3].

---

[1] Сатирический театр... Июль. С. 57—58.

[2] Там же. С. 59.

[3] Там же. Август. С. 82.

Дело, конечно, не в деталях этого рассказа, целиком относящихся к сфере художественного вымысла, а в общей его направленности. Писатель-правдолюбец, объявленный «антигражданином», деистом, безбожником, сочинения которого публично сожжены на эшафоте, — все это было в России XVIII в. чертами отнюдь не массовой, заурядной судьбы. И среди первых имен, которые могли вспомниться читателю в связи с этим эпизодом, конечно, было имя Н. И. Новикова. Автор, возможно, знал и о судьбе А. Н. Радищева и был знаком с его сочинениями. На это указывает переосмысленный пересказ им знаменитого отрывка о сне из «Спасской Полести». Живописец в письме рассказывает сон. Он встречает Нравственность «в человеческом виде»: «„Друг мой! Я удостою тебя теперь такого счастья, что ты увидить все части общественной жизни в настоящем их виде". Причем дала она знак Благомыслию, которая вынула одну золотую коробочку, содержащую в себе некую чистую и прозрачную мазь, и сказала мне с улыбкою: „Кто не есть друг Премудрости и Добродетели, тот не достоин моих даров и видит все вещи в превратном виде, но кто сих богинь почитает, того приводит остроумие сюда так, как и тебя". После чего протерла глаза мои мазью и велела посмотреть около себя. Живописец увидел все в настоящем свете: „...Куда девались люди? А, напротив того, здесь вижу я везде только одних животных. Благомыслие дала мне знать, что я вижу людей в настоящем их виде и каковы они в самом деле в общественной своей жизни"»[1].

При всем сходстве ситуации нельзя не заметить и различий в позициях автора «Сатирического театра» и Радищева. Первый также глубоко захвачен идеями просветителей: он не считает людей злыми по природе. Виной всему — общество и воспитание. Подводя итог журналу в специальном «Заключении Живописца», он пишет: «Человек рожден для общества <...> Но когда общество худое, то оно и самые лучшие нравы повредить может»[2]. Вместе с тем Живописец не поднимается до такого решительного обличения деспотизма, как в «Сне» Радищева. Его точка зрения ближе к фонвизинской с его Скотининым, Скотазом, «скотолюбием» царя, «знатными» и «подлыми скотами».

«Сатирический театр» — любопытный пример стремления продолжить в XIX в. традицию сатирической прозы предшествующего столетия. Однако простое повторение традиционных уже приемов сатиры XVIII в. не могло быть удовлетворительным художественным решением больных вопросов современности, — а именно такая задача стояла перед прозой начала XIX в.

Основным носителем зрелой просветительской философии в прозе был философский роман. Поэтому особенно интересно проследить судьбу данного жанра в первые годы нового столетия.

Философский роман продолжает возбуждать читательский интерес и в исследуемую эпоху. Об этом говорит, например, появление переводов таких произведений, как «Кум Матвей» Дюлорана и «Пифагор» Сильвеня де Ма-

[1] Сатирический театр... Сентябрь. С. 148—149.
[2] Там же. Декабрь. С. 145.

решаля. Продолжались попытки и русских писателей творить в этом жанре. Замысел философского романа, родившийся в голове Пушкина-лицеиста, не был чем-то необычным в литературе тех лет. Приблизительно в эти же годы замысел философского романа возник и у Н. Тургенева. В дневнике он записал: «При сем пришла мне <мысль> написать когда-нибудь какой-нибудь роман. Мне кажется, что в таком сочинении всего легче изобразить свои мысли о самых разнородных предметах. Мнение о жизни (Ansichten des Lebens) можно соединить с мнениями политики (Ansichten der Politik); говорить о характере людей, взятых в особенности (Individuen) и о характере народов и правительств»[1].

И все же очевидным фактом остается то, что значительных произведений, которые могли бы быть отнесены к жанру философского романа, в начале XIX в. уже более не появляется. Даже авторы, стремящиеся продолжить именно эту традицию, ищут новых путей. Чаще всего такими оказываются разнообразные попытки эклектического синтеза уже имеющихся в наличии традиционных форм романического повествования: семейно-бытового, авантюрного или даже «черного» романов. О «разбойничьем романе» — одном из наследников философского — я говорил в статье, посвященной ранним отражениям творчества Шиллера в русской литературе. Любопытной попыткой синтеза просветительского философского романа и семейно-бытовой прозаической традиции является неопубликованное произведение неизвестного автора «Преступник от любви, истинное происшествие, сочинение российское». В ГПБ им. Салтыкова-Щедрина хранится чистовой экземпляр рукописи этого романа, предназначенный для представления в цензуру. На рукописи имеется разрешение печатать, помеченное 5 апреля 1804 г. Однако роман не появился на свет — возможно, автора остановила боязнь осложнений, связанных с антикрепостническим содержанием произведения. Сюжетная схема несложна и, вероятно, в основных своих чертах подсказана какими-то подлинными событиями. Об этом говорит не столько подзаголовок «истинное происшествие» (он мог быть и фиктивным), сколько точность реалий и географического приурочивания (действие происходит на берегах Ворсклы под Харьковом). Сюжетная схема такова: некий помещик, обжора и любитель псовой охоты, дает соседям деньги в рост. Желая выручить ненадежный долг, он посылает за ним своего крепостного — образованного юношу Андрея, которому для вящего успеха вручает фиктивные бумаги дворянина и офицера. Андрей блестяще выполняет поручение, но по пути влюбляется и женится на дворянской девушке Надежде. По возвращении он возбуждает гнев помещика. Его сажают в погреб. Не зная тайны своего мужа и удивляясь его долгому отсутствию, Надежда отправляется на поиски. Попав случайно в поместье хозяина Андрея, она с ужасом узнает, что сама стала крепостной.

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 3: Дневники Н. И. Тургенева за 1811—1816 гг. СПб., 1913. Т. 2. С. 279.

Правда, видимо, стремясь не обострять ситуации, автор завершил все благополучным концом: Надежда угрожает помещику разоблачением тайны незаконных документов и он не только отпускает Андрея на волю, но и делает его своим наследником.

Весьма любопытно художественное решение, избранное автором. Демократически настроенный художник конца XVIII в. изложил бы сюжет характерным «двуплановым» методом: рисуя фабульную схему романа, он тем или иным способом напомнил бы читателю о правах человека и противоестественности общества, в недрах которого рождаются подобные конфликты. При этом, как бы ни были ограничены непосредственные выводы автора при таком построении романа (он, например, мог бы быть убежден в том, что просвещение и проповедь «естественных прав» человека могут мирно разрешить общественные противоречия), сам метод подобного мышления был глубоко революционным. И если эту революционность взгляда на жизненные факты можно было еще не замечать в 1770—1780-е гг., то после якобинской диктатуры связь просветительского мышления и революционной практики не была уже ни для кого секретом. Революция до конца прояснила смысл теоретических доктрин. Автор «Преступника от любви», будучи далек от революционных выводов, уклонился и от «двуплановой» структуры романа. Однако демократическое художественное мышление не выработало еще никаких новых форм, и он просто встал на путь эклектического соединения различных образно-стилистических решений. Помещик дан в ключе сатирико-бытового повествования. Ему сопутствуют пьянство и обжорство. То детально повествуется, как он в дороге распивает «полынную», то рассказывается, как он на постоялом дворе пьет «коричневую водку», закусывая курицей. Помещик постоянно ругает «холопов»: «Цыц, собака! — вскричал толстопузый барин. — Эка неуч!»[1] Показательно, что, как только помещику приходится, по воле автора, совершать добродетельные поступки, весь стиль повествования резко меняется.

В ином ключе ведется рассказ об Андрее. Он выдержан в «теоретическом» стиле, «очищенном» от бытовых реалий, насыщенном терминами, почерпнутыми из словаря просветительской публицистики. Кроме того, рассказу об Андрее придана окраска «бурного» стиля шиллеровских монологов. «Здесь начинается история сего молодого человека — вот она!.. И ежели вы рождены с чувствами, то постарайтесь пробежать ее — вы не напрасно потеряете время. Так, милые мои! Для чего природа сего молодого человека поставила в столь низком состоянии, наградив его обильно как разумом, так равно и приятным, любезным характером? Для чего она так жестоко поступила с ним: открывши все свои дары — отказала зависеть от самого себя. Для чего? Ах, не для того ли, чтобы, имея пламенное воображение, острый разум, от природы данной тонкой вкус во всем, чувствовал он свою тягость бытия своего? Не для того ли, чтобы, при случае блеснув умом своим и вспомня свое состояние, вдруг замолчать и повесить свою голову»[2].

[1] ОР РНБ. Ед. хр. Q. XV / 9, листы не нумерованы.
[2] Там же.

Черты «бурной» героини подчеркнуты и в образе Надежды. Просветительская традиция ценила в герое проявление свойств *человека*. Сама заурядность героев и ситуаций, изображаемых Ж. Б. Грёзом, рассматривается Дидро как торжество искусства. Предромантическая эстетика в ее «бурном», «штюрмерском» варианте осложняет это положение требованием исключительности, грандиозности изображаемой личности. Автор рисует Надежду именно в этом ключе, видимо считая его наиболее подходящим для изображения дворянки — возлюбленной крепостного: «Это правда, я женщина, но женщина-героиня! Женщина, говорю, с сильным энтузиазмом чувствующая всю цену бытия своего»...

«Преступник от любви» не обладает выдающимися художественными достоинствами, и тем не менее это произведение имеет многообразный литературный интерес. Сами трудности и неудачи автора, попытавшегося выразить идею социального равенства, отказавшись от хотя бы подразумеваемого теоретического «второго плана», соединить, хотя бы механически, романы социально-философский, любовно-семейный и сатирико-бытовой, в высшей степени примечательны — это те самые трудности, которые всего лишь через несколько лет встанут перед В. Т. Нарежным и определят его удачи и просчеты.

Дальнейшие судьбы «философского романа» связаны были с общими путями развития демократической мысли тех лет. Пока писатель-демократ верил в возможность близкого преобразования жизни на основе «естественных», «разумных» теорий, он создавал роман, в котором облик несправедливой реальности проектировался на заложенные в природе человека «естественные» возможности. В начале XIX в. в России для демократически настроенного писателя идеи равенства и справедливости не потеряли своего обаяния — родилось лишь сомнение в возможности осуществить эти идеи в русских условиях.

Отказавшись от сопоставления современной общественной жизни с «естественным порядком», писатели демократического лагеря в принципе не утратили веры в прекрасную и героическую природу человека. Это привело к характерному для литературы исследуемого периода разделению: повествование о нормах человеческого общежития перешло в эпическую поэзию, отделившись от связей с русской действительностью (перевод «Илиады»), рассказ же о реальной русской жизни утратил связь с «теоретическим планом»: произошло возрождение «эмпирического» плутовского романа.

Понимаемый в духе Гнедича эпос не имел ничего общего с эпическими поэмами классицизма и вырастал на антиклассицистической почве просветительских идей. За ним стоял интерес к жизни примитивной, но социально нормальной. Такой эпос немыслим вне руссоистской идеи о неразрывной связи социального равенства с простотой и примитивностью нравов, грубости чувств — с героическим величием духа.

Подобного рода эпопея, выраставшая в результате эволюции «теоретического» плана философского романа XVIII в., стремилась нарисовать эпическое полотно народной жизни, возведенной до степени идеала.

Развернувшийся в последнее время спор о том, является ли роман эпическим жанром, не может быть решен только в рамках рассуждений о жанровых категориях. Необходимо помнить, что эпос — понятие, не ограничивающееся суммой определенных жанровых признаков. Говоря о литературном эпосе, обычно выдвигают такие главные отличительные черты, как широта изображения, обилие действующих сил, преобладание массовых и народных сцен. В качестве признака эпоса выдвигается также тематический критерий: к нему относят произведения, изображающие народную жизнь. Не сбрасывая со счетов этих признаков, необходимо учесть еще один: эпос подразумевает особый, «эпический взгляд». Этот «эпический взгляд» на жизнь предполагает некую наивность в решении социальных вопросов. Эпическое мышление постигает острые и кровавые конфликты военного характера, но сохраняет патриархальную веру во внутринациональное единство общества. Этот взгляд не «прикрашивает» социальных противоречий — он их просто еще не видит. Эпическое мышление патриархально. Поэтому современное (в понятиях XIX в.) литературное произведение эпического характера должно не просто изображать народную жизнь — автору нужно принять в качестве своего собственного демократический и патриархально-упрощенный взгляд на мир, отбросить все, что выше этого взгляда, как излишнее, искренне верить в возможность решения конфликтов теми средствами, которые подсказывает эпическое сознание. И не случайно от эпоса XIX в., даже изображающего столь драматические и кровавые события, как, например, в «Тарасе Бульбе» или «Войне и мире», веет духом идиллии. Ведь идиллия, в том значении, которое вкладывал в этот термин Белинский, совсем не исключает трагизма и кровавых коллизий. Белинский был глубоко прав, называя «Песни западных славян» идиллиями. Поэтому же «Уэверли» Вальтера Скотта — роман, в котором горцы «поданы» глазами англичанина, — не эпичен в том смысле, в каком этот термин применим к «Тарасу Бульбе». Из сказанного следует, что понятие эпоса — это не комплимент, который применим ко всякому обширному по объему и значительному по своему месту и истории литературы роману. Эпический роман — лишь особая группа среди русских романов XIX в. И более того: он строго ограничен — в рамках истории русской литературы — хронологическими рамками дореформенной жизни. Любопытно, что Толстой именно после перехода на позиции патриархального крестьянства перестал создавать эпические романы. Дело в том, что в пореформенный период надежда на социальную гармонию была утрачена или исчезла даже в патриархально-народной среде. Эпоха эпического сознания кончилась вместе с рождением буржуазных отношений. Все эти соображения убеждают, что внешне тематическая связь Тараса Бульбы с «казацкими романами» Нарежного гораздо менее значительна, чем включение этого произведения в ту струю демократической культуры XVIII — начала XIX в., которая у истоков была связана с именем Руссо и провозглашала идеалом воинственную свободу первобытных племен. В русской литературе это будет нить эпических идиллий от переводов и сочинений Гнедича и Мерзлякова до «Будрыса и его сыновей» Пушкина (идиллия, по определению Белинского), «Тараса Бульбы», «Казаков» и «Войны и мира» Толстого.

***

«Современный» план философского романа лег в основу бытовой и сатирической прозы начала XIX в. При этом, утратив связь с критикой *обще*социальных основ, но вместе с тем углубляя свою конкретность, бытовая сатира начала XIX в. приобретает характер бытописания ради бытописания и сближается с возрождающейся в эти годы традицией «эмпирической» прозы XVIII в. Вместо бытовых картин, философски осмысленных (ср. «Путешествие из Петербурга в Москву»), появляются бытовые картины вне какого-либо теоретического истолкования. Характерно, что в этом случае писатель одинаково отвергает и художественные теории просветителей, и дворянскую эстетику как в карамзинской, так и в других ее разновидностях. Основными художественными средствами становятся пародия и яркое, но чисто эмпирическое бытописание.

К названному направлению примыкают П. П. Сумароков своими стихотворными пародиями и прозаическими переводами (например, «Барон Фельзен» Пигоде-Лебрюна), А. Ф. Кропотов и многие другие. Определенный интерес в этом отношении представляют сочинения Андрея Фроловича Кропотова — издателя незначительного журнала «Демокрит» (1815). Кропотов — заурядный писатель, когда он пишет в обычных традициях предромантической прозы, чувствительной повести[1]. Зато бесспорный интерес представляет его анонимная книжечка «Чрезвычайные происшествия. Угнетенная добродетель, или Поросенок в мешке». В той же книжке опубликована «История о смуром кафтане, которым обладатель не только что желал прикрыть собственные свои плечи, но и выкроить жене своей юбку». В начале его упоминается не вошедшее в печатный текст письмо «О страшном шуме и раздоре, произошедшем в нашем городе о старых поношенных плисовых штанах, которые повытчик Иван посудил десять лет тому назад нашему сторожу»[2]. Правда, последнее, возможно, и не было написано. Рассказ о поросенке в мешке еще вполне укладывается в рамки старого травестийно-пародического повествования в духе XVIII в. Содержание его — попытка лакея украсть поросенка шкиперши и история о том, как щенок отгрыз поросенку хвост. Здесь еще главная цель — комизм. Достигается он несоответствием между предметом и тоном повествования: «Он хочет воззреть на шкипершу и трепещет... справедливого ее гнева, он дерзает бросить взгляд на угнетенную участь поросенка и, терзаемый преступлением, содрогается, взирая на бесхвостую невинность»[3]. Вместе с тем задача литературной пародии начинает восприниматься как высмеивание литературности вообще. В первую очередь имея в виду пейзаж карамзинистов, автор пишет: «Уж Аврора

[1] См.: *К[ропотов] А.* Дух россианки, истинное русское происшествие. СПб., 1809. В той же книге — два прозаических отрывка: «Бурная нощь» и «Меланголия» (так! — *Ю. Л.*)

[2] Чрезвычайные происшествия. Угнетенная добродетель, или Поросенок в мешке: Русское сочинение. СПб., 1809. С. 27.

[3] Там же. С. 18.

отверзла врата востока и белизна утра смешалась с тем естественным цветом злата и лазури, которой предшествует колеснице неба. Звезды исчезли, и восход явился вскоре весь в пламени. Улыбающаяся природа баландалась в эфирных волнах благорастворенного воздуха, — бронзовые лучи Феба вальсировали по смутным стезям курчавого оризонта, птички испускали пленительную воркотню, игривые зефиры лобызали розу, роза разливала благовония, а благовоние порхало в нос, а нос сию приятную гармонию сообщал всему натуральному существу»[1].

Значительно интереснее «История о смуром кафтане». Содержание отрывка — описание быта и нравов чиновничьего мира, а деланная серьезность авторского повествования порождает общий тон иронии. Иронизируя над чувствами, мыслями и интересами своих героев, автор тем самым подчеркивает их мелочность, незначительность. И все же он избирает именно этот мир объектом художественного внимания, утверждая право незначительного на художественное изображение. Герой отрывка — канцелярский сторож Панфил, содержание — ссоры его с повытчиком и воеводою. Панфил — человек беспокойный и честолюбивый. Вначале предметом его вожделений и интриг была имевшаяся у повытчика Ивана «пара штанов, которые у Ивана были из черного плису и немного ношены <...> Панфил был из того рода людей, которые душевно любят утонченной кусочек, и желал лучше иметь обносок с высшей себя персоны, чем самую лучшую ткань трудов своей жены». Получив отказ, Панфил начал вести интриги, имеющие целью поссорить повытчика с воеводою. «Через шесть или восемь недель после сего вышла у повытчика Ивана ссора с прежним воеводою. Некто (думают, не кто иной, кроме Панфила) вперил воеводе в голову, что Иванов стол по крайней мере тремя вершками выше, чем ему быть должно, что ето оскорбительно и непристойно, потому что он равняется с воеводским столом. На сие воевода явно жаловался». Наушничая и интригуя, Панфил вкрался в доверие к воеводе, который наградил его кафтаном и старой шляпой. Возгордившись, он отказался от обещанных штанов: «Прах возьми, — отвечал Панфил (ибо Панфилова голова была вскружена новым нарядом), — прах возьми твои штаны, — сказал он. — Я бы не поднял оные, ежели бы они лежали подле моих дверей»[2].

Преподнесение ничтожных событий «крупным планом» поддерживается мнимой серьезностью авторского к ним отношения. Сентенциозный, «теоретический» тон авторского комментария как бы уравнивает в правах рассказ о ничтожных интересах ничтожных людей с изъятым из повествования высоким миром философских размышлений. Причину успеха интриг Панфила автор, например, объясняет следующим образом: «Прежний воевода мог иметь свои добродетели, но человеколюбие не было начальною чертою его характера»[3]. При этом необходимо иметь в виду, что все изображенное в «Истории» не имеет ни аллегорического, ни философского смысла. Частный

[1] Чрезвычайные происшествия. С. 15—16.
[2] Там же. С. 58, 59, 60.
[3] Там же. С. 60.

эпизод не поясняет какую-либо общую идею и ничего не иллюстрирует. Поскольку все эти эпизоды не служат никакой идейно-художественной цели, а сами являются целью, не может возникнуть и вопроса о композиционной стройности или даже вообще о каком-либо построении. Всякая структура, всякий подход к произведению как к определенному единству уже подразумевает наличие в нем той или иной организующей мысли. Стремясь выделить незначительность изображаемого, Кропотов строит повествование как демонстративно случайное сцепление эпизодов. Автор письма, в форме которого написана «История», как бы заговаривается, вспоминая совершенно посторонние вещи. Так, весь эпизод со штанами никак сюжетно не связан с основным содержанием — рассказом о том, как десять лет спустя Панфил просил у нового воеводы смурый кафтан, «из коего намерен он был выкроить теплую исподнюю юбку жене своей, а себе камзол с рукавами для зимнего времени, и просил о сем с самым жалобным тоном его высокоблагородие воеводу». Воевода, обладая чувствительным сердцем, а также «в награду за множество мелких услуг, кои ему Панфил оказывал», хотел удовлетворить просьбу, но, будучи новым человеком, боялся нарушить какое-либо неизвестное ему постановление о смуром кафтане. Панфил же «сделался вдвое неотступнее» и «расстроил почти здоровье бедного воеводы, который был очень слабой комплекции». Все дело расстроил обнаруженный воеводой memorandum о том, что «теплой серой кафтан был куплен за двести лет тому назад»[1] для служебного пользования. Панфил получил отказ, но кафтан уже был им раскроен. Все это вызвало распри и смуту в канцелярии.

В том же духе, однако со значительным ослаблением сатирического момента, написаны брошюрки М. С. Бранкевича — «Храбрый философ Лёв Андреевич Громин, сослуживец Силы Андреевича Богатырева» и «Кровопролитная война у Архипыча с Еремеевной, описана сочинителем Храброго философа».

«Храбрый философ»[2] — произведение, близкое по установкам к позиции А. Е. Измайлова. Но, будучи человеком неустойчивым и непоследовательным, Бранкевич в период Тильзита, как и С. Н. Глинка, резко пошел на сближение с дворянской реакцией. В «Храбром философе» Бранкевич осуждает помещиков, продающих крепостных. В разговоре крестьян говорится о барине, который «на собаку променял недавно повара»[3]. Между автором и старым суворовским солдатом — «храбрым философом» — приходит следующий диалог:

«Я: Почтенный воин <...> Ты почтеннее для меня всякого молодого генерала, который еще не родился, а уже служил в гвардии сержантом.

---

[1] Чрезвычайные происшествия. С. 30, 33, 35, 38.

[2] В предисловии автор предупреждает, что опубликованная им брошюра — отрывок из романа «Сновидение, или Путешествие на луну». Полный текст этого произведения мне неизвестен.

[3] *Бранкевич М.* Храбрый философ Лёв Андреевич Громин, сослуживец Силы Андреевича Богатырева. М., 1809. С. 1.

Он: <...> Много, ваше благородие, пережил я таких сержантов <...> Согрешил грешный! Подумаешь бывало: сидеть бы вам, дворянчики, дома, да хлебать суп, а от сухарей, право, живот заболит.

Я: А, вить, чай, туды же, храбрились иногда?

Он: Как же, ваше благородие! Много я видал их проказ. Бывало эти офицерчики поссорятся промеж собой, либо за карты, либо за какую-нибудь девчонку, либо за то, что один другому на ногу наступил; вить что ж? Тотчас на дуэль.

Я: Так это показывает, что они храбры и неустрашимы. А такие и надобны в военной службе.

Он: Какая, сударь, храбрость. Это какая-то дворянская завозная чума или дурь. В старину у нас совсем не слыхать ее было. Какая это храбрость — своих бить. Будь этакой храбрец полковником, беда, если на войне, поссорится он с шефом — не узнаешь, как и целый полк отдаст неприятелю. Много я видел, ваше благородие, как этакие дуэльщики во время стычки прячутся за солдат. Когда наши опрокидывают, и они из-за фрунта кричат: „ура!" А когда наших теснят — уже они за версту»[1].

Однако здесь же автор осуждает помещика не только за то, что он продал повара, но и за чтение книг, особенно «иностранных». Большая библиотека («посмотри-ка, сударь, сколько ящиков книг привезли к нему») и нарушение церковных обрядов («никогда не говеет») — достаточные основания, чтобы сказать, что помещик — «чернокнижник и фармазон» и чуть ли не предатель («книги-то, говорят, все не русские — так ему ль русских любить?»)[2]. В обстановке послетильзитских настроений Бранкевич, как и многие в те годы, валил в кучу просветительские идеи, наполеоновскую угрозу и барскую галломанию. Характерно, что такой наивный, незрелый и противоречивый демократизм политических воззрений сочетался у него со стремлением к эмпиризму в художественной практике. Это и было эстетическим выражением наивного, незрелого и стихийного демократизма.

Через год после «Храброго философа» появилась книжечка «Кровопролитная война у Архипыча с Еремеевной». Содержание ее — как и у Кропотова — бытовой анекдот, с легким, однако, налетом «криминальности» — «кровавым» концом. Старик и старуха решили «сыграть» в войну, разодрались, и старуха нечаянно убила старика. Старик не понимает, как можно воевать в хате, баба ему разъясняет: «Эх, старый хрыч! Какой ты бестолковый! Ну, мы разделим избу пополам; на моей стороне будет печка, а на твоей — стол. Я буду русской, а ты турка...»[3]

Эстетика философского романа XVIII в. давала бы прекрасную возможность истолковать подобный сюжет как рассказ о зарождении военного конфликта и осудить его нелепость. Однако автор далек от такого построения. Сосредоточив свое внимание на анекдотическом сюжете, эмпирически точном

---

[1] *Бранкевич М.* Храбрый философ Лёв Андреевич Громин... С. 30—33.

[2] Там же. С. 1—2.

[3] *Бранкевич М.* Кровопролитная война у Архипыча с Еремеевной, описана сочинителем Храброго философа. М., 1810.

воспроизведении народной речи, автор избегает *любых* обобщений. Таков был один из характерных путей развития недворянской литературы начала XIX в.

С поисками идейно-художественных путей развития прозы недворянского лагеря следует связать и сатирико-бытовой моралистический роман начала XIX в.

Таковы, например, романы А. Е. Измайлова «Евгений, или Следствие дурного воспитания и сообщества» и Н. Ф. Остолопова «Евгения, или Нынешнее воспитание».

«Повесть сия есть первое произведение пера моего», — предупреждал Остолопов читателя. И несмотря на это, произведение не лишено литературных достоинств, а позиция автора весьма определенна. Остолопов не только решительно отрекается от предромантической традиции, но и недвусмысленно указывает на избранный им путь. В обращении «К читателю» Остолопов говорит: «С некоторого времени все почти наши авторы пишут жалостное, печальное; все проливают чувствительные слезы и заставляют других плакать, как будто и без них мало у нас горестей. Но я не хочу им последовать, не буду водить читателя по кладбищам и пустым избушкам, а поведу его туда, где живут люди». Такое начало, в сочетании с эпиграфом: «Rien de surnaturel, voila la ce que j'aime», легко может подать основания для поисков в романе Остолопова «реализма». Однако подобное заключение было бы слишком поспешным.

Стремление Остолопова к «естественности», к изображению того, как «живут люди», направлено не только против карамзинского психологизма и предромантической «литературности», но и против теоретической насыщенности просветительской прозы. «Теории» заменялись у Остолопова требованием от литературы морализации, поучения как главных задач искусства. «Мне кажется, — писал он, — что такие плачевные сочинения хотя и трогают сердце, но не подают никакого нравоучения, не подают того, что всякий писатель должен иметь главнейшим своим предметом»[1].

Таким образом, лозунг «rien de surnaturel» практически реализовался как сочетание бытового эмпиризма в обычном для прозы конца XVIII — начала XIX в. духе с морализированием и сатирой — наследием сатирической журналистики. Ориентация на подобную традицию определила и сюжетную схему произведения Остолопова. Евгения, дочь рано умершего Честона, воспитывалась матерью своей Ветраной. Евгению с детства поручили иностранным учителям: «Тринадцати лет Евгения говорила по-французски как природная француженка, играла на фортепиано прекрасно, пела как италианка и танцевала так легко, что все ей завидовали»[2].

Другое воспитание получила ее двоюродная сестра — антипод Евгении — Софья, дочь Правдолюбова: «Учившаяся в С<мольном> М<онастыре>, вмес-

---

[1] *Остолопов Н.* Евгения, или Нынешнее воспитание. СПб., 1803. «К читателю» (листы не нумерованы).

[2] Там же. С. 18—19.

то того, чтобы заниматься танцеванием и пением, упражнялась только в чтении, в переводах и рукоделии»[1].

Судьба Евгении была ужасна: ее соблазнил и бросил француз Полиссон. Героиня бежит из дому, а затем умирает от стыда и горя.

С еще большей силой, чем у Н. Остолопова, тяготение к «характерному» быту проявилось в романе А. Е. Измайлова «Евгений, или следствие дурного воспитания и сообщества». Написанное во всех отношениях более зрело, чем роман Остолопова, произведение Измайлова отличается большей сатирической остротой (автор неизменно подчеркивает мысль — присутствующую, впрочем, и у Остолопова — о связи порочного воспитания и сословных дворянских предрассудков; не случайны «значимые» имена героев и героини этих произведений). Гораздо живее схвачены и черты быта. Бытовые сцены — что характерно для «эмпирического» романа и чуждо морализирующей прозе — порой даются вне связи с сюжетом и без поучительных выводов. Например, описание попа в романе Измайлова — не простая иллюстрация к мысли о необходимости просвещенных священников. Зарисовка «характерных» проявлений быта представляет для автора самодовлеющий интерес, дополняющий общий сатирический замысел: «Помолившись с важностию и дав всем желающим облобызать свою десницу, садится он под образа, выпивает с улыбкою во здравие хозяев и отъезжающего по поднесенной ему с причетом рюмке целительного ерофеича и говорит с приличным телодвижением, что мороз очень велик»[2]. Такую же роль играют бытовые сцены в упомянутом выше романе «Преступник от любви».

Мы видели, что традиции XVIII в. очень сильно ощущались в прозе 1800—1810-х гг. Однако то, что в просветительской идеологии прошедшего века выступало как органическое художественное единство, как выражение целостной системы мировоззрения, оказалось в начале XIX столетия разрозненным и отмеченным чертами эпигонства. В поэзии же все больше выдвигался вперед карамзинизм, открыто подчеркивавший свою свободу от связей с традицией XVIII в. В этих условиях предпринятая В. Т. Нарежным попытка синтезировать *все*, что завещал XVIII в. в области разных оттенков недворянской прозаической традиции, представляла грандиозный, хотя и эклектический опыт создания целостного эпического памятника демократической культуры.

К рассматриваемому времени Нарежный прошел уже через период увлечения «черной» литературой и шиллеровским бунтарством; им уже были оставлены и попытки создания национально-героической прозы на основе синтеза сказочно-рыцарской и любовно-психологической повествовательных традиций («Славянские вечера»). «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» выделяется из числа других произведений преддекабристской прозы именно стремлением дать целостную кар-

[1] *Остолопов Н.* Евгения, или Нынешнее воспитание. С. 20.
[2] *Измайлов А. Е.* Полн. собр. соч. М., 1890. Т. 3. С. 90.

тину *всей* русской жизни, использовав при этом синтез самых разнообразных повествовательно-стилистических средств.

В основу построения произведения Нарежный положил композицию плутовского, а не философского романа. Это имело глубокие причины: философский роман позволял создать синтетическую картину общества на экономном материале нескольких или даже одной изолированной человеческой судьбы. Однако такое построение требовало веры в просветительские теории, ибо «философский план» составлял основу всей композиции романа. Между тем, хотя Нарежный и не порвал прочных связей с демократической мыслью XVIII в., вера во многие основополагающие аксиомы «философского столетия» была в его сознании основательно поколеблена. В первую очередь, под сомнение была взята сама ценность теоретического мышления, вера в освободительную роль философии. «Метафизик», теоретик — в романе фигура неизменно комическая. Недоверие к освободительной силе теоретического мышления и даже сомнение в объективности истины были демонстративно выражены Нарежным в предисловии к роману. Если Радищев в знаменитом вступлении к «Путешествию из Петербурга в Москву» связал познаваемость истины с возможностью человека «соучастником быть во благоденствии себе подобных», то Нарежный в не менее категорической форме ставит вопрос прямо противоположным образом. Возможность постижения истины взята под сомнение: «Одну и ту же вещь, одно и то же чувствование, движение, желание, отвращение один называет полезными, другой — гибельными, один — приятным, другой — отвратительным». Поэтому автор не ставит перед собой цели судить и исправлять окружающую его жизнь, видя свое назначение лишь в том, чтобы развлекать: «Я спокойно предаю себя свободному суждению каждого, не заботясь много, то ли точно почтет он приятным и полезным, что мне таковым казалось»[1]. И хотя автор в своей практике весьма далеко отклоняется от прокламированной им позиции живописца нравов, не вдающегося в морализацию, однако происхождение подобных деклараций ясно — оно ведет нас к Чулкову с его установкой на эмпирическое бытописание.

Схема плутовского романа давала возможность нарисовать широкую картину русской жизни, проведя читателя по всем ее закоулкам. Но от плутовского романа Нарежный воспринял не только композицию — он усвоил и безбоязненное обращение к темным сторонам жизни, смелое введение читателя в мир пороков и преступлений. «Описывая жизнь человека в многоразличных отношениях, не мог я не показать и таких картин, которые заставят пожилых богомолов и богомолок хотя притворно застыдиться», — писал он в предисловии[2].

Перенесенная из плутовского романа концепция странствия героя по «морю житейскому», его постоянных взлетов и падений несла с собою философию слепого случая как основной силы, определяющей судьбы людей

[1] *Нарежный В. Т.* Избр. соч.: В 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 43.
[2] Там же. С. 44.

и ход истории. Эта концепция была направлена против просветительской веры в разумность человека и удобопонимаемость истории, но она же била и в адрес церковной идеи божественного предопределения и предустановленной гармонии. Усвоение стилистики плутовского романа определило и меру ограниченности этого демократизма.

Вместе с тем нельзя не видеть связей «Российского Жилблаза» и с просветительской прозой, что привело к значительной деформации под пером Нарежного самых основных принципов плутовского романа. Из произведения исчез центральный герой-плут. Место его заступил Гаврила Симонович *Чистяков* — человек, *чистый* сердцем, о чем говорит само его имя. Чистяков способен на крайние степени падения (развращаясь, например, под влиянием придворной среды), но это не затрагивает доброй природы его сердца, оставляя для героя возможность нравственного возрождения. Таким образом, это не герой плутовского романа — мошенник от природы: самые недостатки его человечны, ибо, свидетельствуя о человеческой способности к развращению, таят в себе и человеческую возможность совершенствования. Это типично просветительское убеждение в том, что заблуждающийся человек выше подавившего в себе все человеческое добродетельного героя классицизма, нашло свое отражение в эпиграфе романа: «Homo sum, humani nil a me alienum puto» — ср. у Державина:

...Падал я, вставал в мой век.
Брось, мудрец! на гроб мой камень,
Если ты не человек.

В «Российском Жилблазе» автор сознательно соотносит свои позиции с широким кругом литературных явлений предшествующей и современной ему эпох. Соотнесение это чаще всего отрицательное. Так, рыцарский и «волшебный» романы осуждаются как лживые и опасные для нравственности. Восточные повести характеризуются как «выдуманные». К числу «вздорных сочинений» отнесены и «трагедии, комедии и философские романы». В другом месте к «комедийкам и пустеньким романцам» приравнены «Модная лавка» и «Новый Стерн»[1] — произведения писателей, занимавших не столь уж далекие от Нарежного позиции. Можно было бы привести и другой пример: известно, каким глубоким было увлечение Нарежного творчеством Шиллера. Печать этого увлечения ощущалась на его произведениях вплоть до последнего — «Гарькуши, или Малороссийского разбойника». В кружке Андрея Тургенева Нарежный сделался причастным и увлечению Шекспиром. Все это отразилось и на его собственной практике как драматурга. Интерес к Шекспиру связывался писателем с борьбой за русскую национальную драматургию. И вместе с тем все эти прогрессивные и близкие ему самому тенденции Нарежный высмеял, введя образ свихнувшегося драматурга, который проповедует: «План трагедии готов. Она взята из жизни Иоанна Грозного и будет состоять из десяти действий и более. Я не люблю ни греческих, ни римских, ни французских трагиков. У них все как будто без души, — без вкуса, без

[1] *Нарежный В. Т.* Избр. соч. Т. 1. С. 134, 142, 146, 279, 48.

чувства. Мне нравятся одни немецкие, а более английские трагики. У них везде природа, да и какая еще природа? Natura naturans, а не naturata. Действующих лиц в трагедии моей будет до десяти тысяч человек <...> Далее откроется всеместный в Москве пожар, от которого сгорят две трети города, дворцы и соборы, меж тем как царская сродница, великая колдунья, вместе со своею дочерью летают по воздуху и раздувают пожар. — Не правда ли, что это совершенно по-шекспировски? Колдуньи летают по воздуху!»[1] В романе осуждается и французский классицизм, а заодно и культ античности. З. А. Буринский, близкий по кругу и настроениям к Нарежному, писал:

Воззрите! Се поэт перед лицем Эллады
С волшебной лирою, как некий бог, сидит;
Поет Иракла честь, поверженные грады,
И пламенный перун со струн его летит...
...Дивиться ль мужеству Филиппова нам сына?
Гомера он читал, поэзию любил![2]

А Нарежный в «Российском Жилблазе» утверждал: «Сделался ли кто-либо лучшим человеком, лучшим гражданином, прочитав в „Илиаде", как Ахилес, не хотя отдать Агамемнону пленной своей наложницы, называет царя царей пьяницею и сукиным сыном»[3].

Подобные примеры можно было бы умножать и дальше. Они не столько свидетельствуют об осуждении Нарежным той или иной конкретной литературной традиции, сколько говорят об его отрицательном отношении *к самому принципу «литературности»*. По сути дела, ни одна из литературных теорий XVIII в. Нарежного не удовлетворяет. А стремясь освободиться от устарелых теорий, он отворачивается от теории вообще. Не случайны столь едкие нападки его на «метафизиков» и «философов». Это стремление освободиться от ограниченности *любой* теории приводило писателя, демократического по всему кругу идей и представлений, к отрицанию и демократических теорий, а следовательно — к антидемократическим высказываниям. Так, в конце книги автор рассказывает о помещике, который решил претворить теорию равенства людей в практику: «Размышляя долго и притом по всем правилам логики, заключил я, что и крепостной человек есть точно человек, мне подобный, имеет все преимущества души и тела, точно как и я, пред другими животными, а потому бессмертную душу и свободную волю. Посему казалось мне, что стеснять последнюю — значит оскорблять первую и тем противиться высокому создателю и той и другой. Основавшись на таких глубокомысленных началах, хотел я исправить прежнюю несправедливость предков моих и в первый праздник сказал превитиеватую проповедь собравшемуся народу, в которой, объяснив им права их и преимущества, яко таких же человеков, просил не отягчать себя лишним повиновением моим прихотям и, буде я приказывать стану что-либо, не достойное человека, всегда напоминать мне,

[1] *Нарежный В. Т.* Избр. соч. Т. 1. С. 363.
[2] *Буринский З.* Поэзия. М., 1802. С. 9—10.
[3] *Нарежный В. Т.* Избр. соч. Т. 1. С. 369.

что они такие же чада господни»[1]. Результатом действий «теоретика» явилось всеобщее развращение крестьян: «Бесчинство, похабство, леность и вообще разврат воцарились в сельце моем». Разврат перешел в драки, неповиновение и закончился всеобщей анархией. «Начался бунт (бунт — здесь в значении «смута», «драка». — *Ю. Л.*), стоивший моим подданным много крови, волос, зубов, синяков, рогов и проч.». Имение взяли в опеку и передали его некоему «дьяку». Рассказчик, «желая сделать добро людям, наделал столько зол. Дьяк, как я слышал после, тут же пересек всех, правых и виноватых, не оставлял деревню посещать чаще, всякий раз сдирал кожи с крестьян и чрез два года сделал их по-прежнему трудолюбивыми и трезвыми крестьянами. „Боже мой, — говорил я, — неужели такова натура человека, что одним игом гнетущим можно заставить его идти прямою дорогою!“»[2]

Приведенный отрывок показывает, в какие глубокие противоречия со своими собственными антикрепостническими и демократическими воззрениями заводило Нарежного стремление встать в позу отрицателя *любой* теории. Не менее двойственный характер имеет и его критика масонства в «Российском Жилблазе». Исследователи обычно подчеркивают ее прогрессивные стороны. Однако не следует забывать, что Нарежный обрушивался на масонов и за практическую филантропию, и за идею избавления человечества от общественного зла, — то есть и за те стороны их деятельности, которые были близки декабристам.

Вместе с тем недвусмысленно ясен из всего текста романа демократический характер общей позиции Нарежного: его осуждение дворянства, сословных привилегий, кастового чванства, религиозного фанатизма. Нарежный восстает против просветительских теорий, но именно они составляют живую душу всего его мышления и проявляются в десятках конкретных высказываний писателя по вопросам социологии, политики и этики.

Позиция Нарежного глубоко противоречива, и это сказывается во многих его конкретных оценках и высказываниях. Так, он осуждает Вольтера и его «развращающую» «Орлеанскую девственницу», но он же, совершенно в духе «Кандида», издевается над формулой предустановленной гармонии мира: «Mundus hic est quam optimus».

Нарежный находится под сильным влиянием Фонвизина, местами откровенно ему подражая. Надгробная речь попа над телом князя Сидора Архиповича очень близка, например, к фонвизинским «Поучениям, говоренным в Духов день иереем Василием в селе П***». И вместе с тем явно полемически он называет положительного героя Простаковым. В последнем случае сказалось весьма существенное для Нарежного воздействие идей Руссо и убеждение в том, что не ум и наука, а природная доброта и чистота нравственного чувства составляют основу положительного характера. «Чувствительность есть истинное благородство человека». Зараженная дворянскими предрассудками суетная жена Простакова упрекает его: «Что ты все делаешь, не

[1] *Нарежный В. Т.* Избр. соч. Т. 1. С. 542—543.
[2] Там же. С. 543, 544—545.

подумавши?» «Я хочу делать почувствовавши», — отвечает положительный герой[1].

Эклектическое в своей основе мировоззрение Нарежного породило пестрый по составу стиль. Нарежный задался целью охватить в широкой сатирико-нравоучительной картине всю Россию. Но для этой задачи он не нашел синтетического, целостного художественного решения. Основная стихия повествования — сатирико-бытовая, причем сам быт трактуется как комический, низкий по своей природе[2]. Связанные с бытом герои принадлежат к отрицательному миру. Все их существование — цепь потасовок, нелепых происшествий. Другой ряд составляют положительные герои — они изъяты из грубого бытового контекста. Внутренний мир героев этих двух групп раскрывается совершенно различными средствами. У первых душевные движения раскрыты в нелепо-преувеличенных внешних проявлениях. Это должно свидетельствовать о господстве физического начала в натуре героев из отрицаемого Нарежным мира. Изумление, например, изображается так: «Я от приятного недоумения выпучил глаза и разинул рот». Ужас: «Довольно! — сказал я, щелкая зубами и потирая руки, как бы от страшного озноба, хотя пот лил градом с лица моего»[3] и т. д.

У героев «высокого» плана душевные движения тоже выражаются бурными внешними проявлениями, которые призваны, однако, в этом случае подчеркнуть грандиозность страстей, богатство внутреннего мира. Герой говорит, «скрежеща зубами», «нося в душе целый ад». «Волосы его стали дыбом; крутящиеся глаза налились кровью, на щеках выступил гнев в синебагровых пятнах. Он обратил к небу взоры, хотел что-то сказать, но губы его дрожали. Он скрежетал зубами и трепетал всем телом. Природа его не выдержала долго такого сильного борения; он застонал и пал на пол»[4]. Там, где положительный герой сталкивался с общественной несправедливостью, в уста его вкладываются монологи «бурного» шиллеровского стиля: «Я в таком был огорчении, что жадными глазами смотрел каждому прохожему в лицо, чтобы, узнав в нем вора, грабителя, убийцу, протянуть к нему руку и сказать: „Брат! Я товарищ твой! Станем вместе мстить сим извергам, сим чудовищам, которые называются честные люди“.

Видя везде кроткие лица, умильные взгляды, дружескую улыбку на губах, я говорил: „Нет, не обманете меня, крокодилы! Вы улыбаетесь, но зубы ваши и когти ужасны. Мне надобен друг, у которого бы мрачны были взоры, глаза кровавы, бледные, тощие щеки; чтобы волосы стояли дыбом. В нем познаю я подобного мне несчастного и кинусь в его объятия“»[5].

---

[1] *Нарежный В. Т.* Избр. соч. Т. 1. С. 51, 50.

[2] О роли изображения быта в рамках разных художественных методов см.: *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 146—148.

[3] *Нарежный В. Т.* Избр. соч. Т. 1. С. 119, 125.

[4] Там же. С. 254.

[5] Там же. С. 316.

Таким образом, «Российский Жилблаз» был последним словом демократической прозы преддекабристской эпохи. Он вобрал в себя все наследие XVIII в., но он же показал и недостаточность этого наследия. Для того, чтобы разнообразный художественный опыт, накопленный прозаическими жанрами XVIII — начала XIX в., смог стать материалом для реалистической живописи, необходимо было выработать принципиально новое, целостное, демократическое по своей природе мировосприятие. «Лоскутной» характер художественного метода Нарежного вскрывает основную слабость демократической мысли переходной эпохи — ее эпигонский, эклектический характер. Однако путь выработки целостного демократического мировоззрения был непрямым. Между началом века и сороковыми годами пролегла исторически необходимая эпоха романтизма, господства лирических жанров, отхода прозы на второй план.

Какую же роль играл эмпирический «реализм» в литературе начала XIX в.? Определить это однозначной формулой, по-видимому, невозможно, ибо историческое движение прозы к реализму гоголевской школы раскрывало на разных этапах разные и порой взаимопротивоположные стороны этого литературного явления. Определить природу эмпирического бытописания начала XIX в. можно лишь учитывая его отношение к демократической идеологии, в первую очередь — к просветительству. А как мы видели, функция просветительской традиции XVIII в. была в эту пору неоднозначной. С одной стороны, происходило плодотворное усвоение просветительского наследия XVIII в., с другой — преодоление его влияния во имя зарождения новой, более высокой стадии демократического сознания, опирающейся на историзм и диалектику. Несмотря на взаимопротиворечащий характер, оба эти процесса имели прогрессивный смысл.

В отношении к ним определяется и роль эмпирического бытописательства. Сначала оно играло роль предшественника просветительской прозы, затем его антипода и противника. В начале XIX в. функции его усложнились: противопоставляя «теоризму» просветительской прозы проповедь эмпиризма, оно могло становиться оружием в борьбе с демократической идеологией, вплоть до полного смыкания с реакцией. И вместе с тем оно могло становиться путем к поискам новой общественной теории, познающей мир с неизмеримо большей конкретностью, чем метафизическое мышление философов XVIII в. Взятое само по себе, требование отказаться от «теорий» во имя «здравого» житейского взгляда и практической мудрости не могло играть никакой роли, кроме реакционной. Но вместе с тем оно могло быть выражением возникающей потребности в теории, извлеченной из глубин самой жизни. Поэтому в период, когда на основе нового мировоззрения возник реализм гоголевской школы, «поэзия жизни действительной», он включил в себя и правду общего понимания природы человека и общества, и правду изображения эмпирической действительности.

Гоголевский реализм выступил наследником просветительской мысли XVIII в. и вобрал в себя завоевания «эмпирического» бытописательства. Не случайно Гоголь возродил и традицию плутовского романа, и традицию повести-анекдота, придав им новый, глубокий смысл.

***

Для того чтобы представить более или менее полную картину развития русского романа конца XVIII — начала XIX в., следует не упускать из виду, что просветительская проза не была единственным, а порой даже господствующим направлением его развития. Рядом с ней существовали типы романа, связанные с допросветительской или антипросветительской идеологией.

Мы уже говорили о том, что эмпирический «реализм» плутовского романа и породившее его наивно-реалистическое сознание представляли собой по отношению к зрелой демократической мысли предшествующий и отмененный ею этап. Более того, в период развития демократической идеологии все более раскрывались консервативные стороны этого стихийно-демократического художественного строя, который «потрафлял» массовому читателю, не возвышаясь над уровнем его политического сознания и интеллектуальных запросов. Недоверие по отношению к отвлеченным, абстрактным понятиям, прежде направленное своим главным острием против церковного аскетизма и государственного «долга» дворянских моралистов, теперь обращалось и против демократических теорий. Однако плутовской роман в старом его виде уже не удовлетворял читателей, и в конце XVIII в. мы не встречаем новых попыток продолжать чулковскую традицию, не подвергая ее тем или иным существенным изменениям.

В том и состояло новаторство Нарежного, что он слил плутовской роман с сатирико-моралистическим, резко отойдя от этического объективизма М. Д. Чулкова.

Один из путей дальнейшего развития традиции плутовского романа связан был чаще всего с насыщением его «ужасными» деталями, как правило — из криминальной хроники. Как тонко заметил В. Я. Пропп, «для примитивных натур щекотание страха заменяет эстетическое наслаждение»[1]. Сохраняя привязанность к протокольно точному описанию фактов, «эмпирический роман» начинает все больше тяготеть к изображению убийств, казней, сближаясь с уголовно-криминальной хроникой. Герой-плут превращается в героя — убийцу или сыщика. Особенно ярко этот новый, детективный элемент проявился в цикле анонимных произведений о Ваньке-Каине и в одноименном романе М. Комарова. С этим же связана и популярность (также фактологичных по своей природе) сюжетов о женщине, убившей любовника и сжегшей кабак, и т. п.

Вопреки распространенному мнению, описание убийств и «ужасных» происшествий не несет в данном случае социально-обличительной функции. Эти эпизоды должны были удовлетворить потребность невзыскательного читателя в захватывающем сюжетном интересе. Удовлетворяя низкопробному вкусу, они объективно отвлекали от размышлений над причинами общест-

[1] *Пропп В. Я.* Мотивы лубочных повестей в стихотворении А. С. Пушкина «Сон» (1816 г.) // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 536.

венного зла. Описание убийств и преступлений если и сдабривалось какими-либо общими рассуждениями, то это были, чаще всего, наивное морализирование, мысль о господстве неразумного случая над судьбой человека или рассуждения о злобных наклонностях людей. Ничего социально-воспитующего для демократического читателя подобные рассуждения не несли. Поэтому нельзя согласиться с В. Б. Шкловским, считавшим, что М. Комаров «пытается ударить не по Ваньке Каину, а по строю, который его создал, по крепостному праву, по приказным, по духовенству»[1]. Комаров ни по кому не «пытается ударить». Подобное стремление чуждо самой природе его творчества — он дает читателю занимательное чтение, стремясь уловить те эстетические формы, которые наиболее соответствовали бы вкусу его аудитории.

Тенденция к детективу наметилась еще в творчестве Чулкова. В исследовательской литературе неоднократно говорилось о сочувствии народным страданиям, проявившемся в повести «Горькая участь» («Пересмешник», вечер 98). У нас нет никаких оснований оспаривать это положение, однако оно должно быть существенно дополнено. Не говоря уже о том, что крестьянин для Чулкова отнюдь не является воплощением общественной «нормы» («зависть и ненависть те ж самые и между крестьянами, какие бывают между горожанами»)[2], необходимо подчеркнуть и то, что первая, социально-обличительная часть рассказа механически присоединена ко второй — повествованию об «удивительном сем в природе приключении», таинственном убийстве всех членов семьи. Загадочный детективный сюжет, «непроницаемый случай», разъясняется в конце «умными людьми», которые распутывают клубок: мальчик в лунатическом сне убил свою грудную сестру в люльке, потом с испугу забрался в печь, мать, затопив печь, сожгла сына, отец, свежевавший в сарае барана, вбежал с топором «и в запальчивости ударил безрассудно и неосторожно жену свою в голову» насмерть, после чего повесился сам.

Как мы увидим в дальнейшем, подобная кроваво-детективная проза повлияла на литературу начала XIX в. Будучи соединена с любовным сюжетом, она стала характерна для так называемой народной повести — произведений из крестьянской и мещанской жизни.

Если охарактеризованные выше произведения лишь объективно противостояли просветительской прозе, то можно указать на большую группу романов и повестей, имевших отчетливо антипросветительский характер. Здесь можно выделить три группы произведений: масонский аллегорический роман, например романы позднего Хераскова, лирическую прозу Карамзина периода «Аглаи» и «роман тайн» — рыцарский «черный роман».

Общим для всех этих направлений являлось стремление к иррациональному, борьба с верой в разумность человека и умопостигаемость действи-

[1] *Шкловский В.* Матвей Комаров житель города Москвы. Л., 1929. С. 76.

[2] Кстати, именно «эмпиризм» Чулкова позволяет ему здраво увидеть противоречия внутри крестьянства («съедуги» и бедняки), скрытые от просветителей.

тельности. Человек мыслится как врожденно злое, антиобщественное существо.

Масонский роман проделал путь от произведений, примыкавших к традиции «политического романа» классицизма, иллюстрировавших социально-философские концепции масонов, к роману-аллегории, в котором странствие героя превратилось в путешествие «внутреннего» человека по страстям. Внешний мир полностью исчезает из сферы внимания автора, движимого единственным стремлением — «познать самого себя».

Нарастанием субъективизма характеризуется также художественный метод Карамзина. В развитии русской прозы конца XVIII — начала XIX в. Карамзин занимает одно из центральных мест. Эволюции его творческого метода в пределах 1789—1803 гг. мы посвятили специальную статью[1], что освобождает нас от необходимости детального изучения этого вопроса в настоящей работе. Творчество Карамзина-прозаика после 1803 г. будет рассмотрено ниже.

«Роман тайн» в русской литературе начала XIX в. сыграл определенную и довольно значительную роль. Романы А. Радклиф, М. Г. Льюиса и ряда их подражателей доходили до русского читателя в многочисленных переводах. В романе В* З* (В. Ф. Вельяминова-Зернова) выведен образ читательницы произведений «Радклиф, Дюкредюмениля и Жанли, славных романистов нашего времени». Во время семейного несчастья героиня, «взяв наскоро „Удольфские таинства", забывает <...> непосредственно виденные сцены, которые раздирали душу ее сестры и матери, идет спокойно в столовую залу и там садится одна. За каждым кушаньем читает по одной странице, за каждою ложкою смотрит в разогнутую перед собой книгу. Перебирая таким образом листы, постепенно доходит она до того места, где во всей живости романтического воображения представляются мертвецы-привидения; она бросает из рук ножик и, приняв на себя испуганный вид, нелепые строит жесты»[2].

Романы Радклиф находили в русской романистике подражателей, на некоторых из них мы остановимся.

Просветительскому роману «роман тайн» противопоставлял запутанную, рационально не объяснимую интригу, таинственные происшествия с участием мертвецов и привидений, неожиданную, немотивированную развязку. Деление героев на добродетельных и злодеев также не соотносилось ни с каким — ни с социальным, ни даже с каким-либо иным — объяснением.

Особое место занимает образ отрицательного героя, который ненавидит добро и любит зло ради зла. Жизнь его — цепь многочисленных преступлений. Поскольку и влечение ко злу, и все другие страсти героя имеют своим источником не действительность, а глубокий, полный тайн и противоречий

[1] См. в наст. изд. статью «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803)».

[2] Князь В-ский и княжна Щ-ва, или Умереть за отечество славно. Новейшее происшествие во времена кампании французов с немцами и россианами 1806 года. Изданное В* З* российское сочинение. М., 1807. С. 60—61.

внутренний мир, естественно, что основное внимание перемещается с изображения действительности на описание души героя. Действительность низведена до материала для запутанных сюжетных эпизодов, причем критерий правдоподобия к ним не применяется. Напротив, в художественной системе «романа тайн» обычная и обыденная, жизненно реальная ситуация воспринимается как внеэстетическая.

Герой, впитавший в себя элементы субъективистской этики, свободен от нравственного суда — этические оценки к нему не применяются. Зато, для того чтобы быть достойным читательского внимания, он должен обладать одной чертой — исключительностью. Его пороки должны быть чрезвычайны, злодеяния — неслыханны, характер — титаничен. Обычные страсти и обыденная бытовая обстановка ему чужды. Чувства свои герой должен также выражать необычным языком. Появляется новый тип романа — роман о злодее.

Вместе с тем необходимо отметить, что действительность в произведениях подобного плана отодвинута на второй план, но не исчезает, как в лирической прозе Карамзина периода «Аглаи». Рассматриваемый роман эклектичен. Уже сама характеристика героя как «злодея» показывает, что нравственный суд окончательно не отброшен. Этому способствует и частое присутствие рядом с героем-злодеем героя или героини добродетельных, лишенных каких-либо пороков. Остановимся на некоторых оригинальных русских романах этого типа.

Прежде всего, следует указать на группу романов, слепо подражавших приемам повествования Радклиф. Художественное достоинство их обычно весьма низко. В качестве примера приведем книжку «Обольщенная жена. Российское сочинение» (М., 1804). Краткое содержание ее таково: русский граф З-ъ в Англии, после бегства его жены с неизвестным обольстителем, умирает от горести. Детей — Виллима и Луизу — он поручает своему другу «милорду». Виллим пропадает, Луиза ищет его. Далее следуют приключения с участием благородных, но гонимых негров, охотников, «терзаемых диким зверем»; упоминаются разрушенные замки, лабиринты, стража в масках. В подвале разрушенного замка Луиза находит свою мать с грудным младенцем, заключенную злодеем-соблазнителем в тюрьму. Следует бегство и благополучное возвращение в замок «милорда».

Произведение в художественном отношении исключительно беспомощно и несамостоятельно, но тем резче выступают его основные структурные принципы: сюжетная занимательность и полный отказ от интереса к характеру. Ни добродетели, ни злодеяния не мотивируются. Характерно, что в произведении нет даже образа злодея, занимающего обычно в романах такого типа значительное место. В этом смысле, другую разновидность представляет роман «Мщение оскорбленной женщины, или Ужасный урок для развратителей невинности», вышедший в Москве в 1803 г. Эстетика романа основана на «ужасном». Мрачные, трагические и таинственные происшествия следуют одно за другим, а в центре повествования находится образ «ужасной женщины» — г-жи Фаланзани. Роман начинается с характерного восклицания автора: «О вы! Мрачные произведения меланхолического духа обитателей

Англии — вы ничто иное, как одне только смешные басни перед тою повестию, в справедливости которой я могу ручаться. Какие ужасы! Какая цепь злодеяний!.. Не знаю, в состоянии ли будет перо мое начертать их?..» Госпожа Фаланзани была жестоко оскорблена своим женихом Морисом, обесчестившим ее и женившимся потом на ее сестре. Похищения, бегства, убийства, замки, привидения следуют одни за другими. Основу сюжета составляет осуществление ужасной мести героини. Действие осложняется любовью брата к сестре, дуэлью между матерью, переодетой в мужское платье, и не узнающим ее сыном и самоубийство сына-матереубийцы. Все герои погибают.

Люди в подобном романе предстают как существа, исполненные злодейских помыслов, или как игрушки в руках таинственных, неизвестных им сил. Для того чтобы понять антипросветительский характер подобного мышления, любопытно сравнить «Мщение оскорбленной женщины» с близким по теме и названию произведением Дидро «Удивительное мщение одной женщины»[1]. Повесть эта появилась на русском языке в 1796 г. без обозначения автора на титульном листе, но со следующим указанием переводчика: «Г. Дидерот есть автор сей повести. Она не напечатана в сочинениях славного сего писателя, а издана после его смерти. План, завязка и приятный слог живо являют в себе перо почтенного своего автора. Г. Шиллер перевел его на немецкий язык, а я решился перевести на русский». По исторической иронии автором перевода и этого похвального отзыва о Дидро и Шиллере был Д. Рунич, не ставший тогда еще печально известным мракобесом и мистиком.

Содержание повести также составляет месть женщины. Но вера просветителя в природу человека подсказывает иной сюжет. Маркиз А., любовник госпожи Д., охладел к ней, несмотря на ее добродетель, красоту и верность. Госпожа Д. решилась мстить: она нашла уличную женщину и перерядила ее в скромную провинциалку. В результате искусной интриги месть удалась: маркиз А., увидав ее, влюбился. Он женится. Но добрая природа человека сильнее, чем хитросплетения интриг, и судьба людей — не слепая игра случая и злонамеренных злодеев. Проститутка оказывается искренней, сердечной и душевно чистой женщиной, и маркиз находит с ней счастье. В изменившихся условиях «падшая» женщина изменилась сама, проявив вместе с тем душевные качества, отсутствующие у светских дам.

Спроектировав один сюжет на другой, можно отчетливей почувствовать антидемократическую сущность, пессимизм и иррационализм «романа тайн».

Тяготея к «ужасному», «роман о злодее» мог испытывать влияние культивировавшегося в низших слоях литературы детективного романа.

---

[1] Мщение оскорбленной женщины, или Ужасный урок для развратителей невинности. М., 1803. С. 1. «Удивительное мщение одной женщины» — это отрывок из «Жака-фаталиста». Шиллер опубликовал отрывок под названием «Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache» в 1785 г. в первом выпуске «Талии». Во Франции текст был опубликован лишь в 1796 г. См.: *Eggli Ed.* Diderot et Schiller // Revue littérature comparée. 1921. P. 72.

***

Общеевропейские события 1790-х гг. явились практической проверкой умозрительных построений теоретиков «философского столетия». Одним из величайших результатов критической переоценки всех идеологических завоеваний XVIII в. явилась выработка исторического мышления, пришедшего на смену революционно-метафизическому сознанию предшествующей эпохи. Ф. Энгельс писал об этом периоде: «История человечества уже перестала казаться нелепым клубком бессмысленных насилий, в равной мере достойных — перед судом созревшего ныне философского разума — лишь осуждения и скорейшего забвения, она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мыслителя свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей»[1].

Понятно, что историзм — одна из форм диалектического мышления — не мог выработаться в исторически краткие сроки. Лишь 1830-е гг. принесли ему торжество в Западной Европе и России. Первые два десятилетия XIX в. в русской литературе ознаменованы лишь осознанием неудовлетворительности нормативного метода мышления. Начались поиски. Предмет размышлений, тематика литературных произведений изменилась значительно быстрее, чем способ мышления, художественный метод. Поэтому совершенно закономерно, что широкий интерес к истории возник задолго до того, как появился подлинный историзм.

Новые веяния в художественной прозе раньше всего проявились в том особом значении, которое приобрел мало распространенный в литературе XVIII в. жанр — исторический роман. Потребность в таком жанре определялась поворотом к историзму мышления, ставшему характерной чертой прогрессивной общеевропейской идеологии первой трети XIX в. Для понимания же специфически русских путей становления исторической прозы особенно интересны первые опыты русских исторических романов — они позволят уяснить связь нового жанра со всей системой романической прозы тех лет.

Прежде всего, необходимо отметить, что само понятие «исторический роман» (вначале оно осмыслялось как «роман на тему, почерпнутую из истории») воспринималось в эпоху зарождения жанра как содержащее противоречие. Роман — за исключением «политического» романа, философского и аллегорического — считался жанром, лишенным важности, правдоподобия, имеющим целью простое развлечение читателя. История считалась сферой правды, роман — вымысла. История воспринималась как область политических и нравственных уроков, в романическом жанре на материале истории возможно было строить лишь утопию — произведение о нормативных идеалах общества. Столь популярный на западе «археологический роман» (типа произведений Бартелеми) в России не привился. Сказанное привело к тому, что интерес к глубочайшей старине, Киевской Руси, источниками сведений о которой были «Слово о полку Игореве» и летопись, отразился лишь в поэзии, почти не затронув романа. Первые русские исторические романы, появившиеся в начале

[1] *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг: Введение, общие замечания. М., 1950. С. 24.

XIX в., черпают темы из событий столетней, самое большее двухсотлетней давности. Образцом, давшим схему первым русским историческим романам, была «Наталья, боярская дочь».

Русский исторический роман на раннем этапе своего возникновения складывался на основе уже готовых повествовательных жанров. Это или семейно-бытовой, или сказочно-авантюрный рыцарский роман, действие которого переносилось в условную обстановку русской старины. Делалось это чаще всего при помощи простого наделения героев «древнерусскими» именами. Ни об изображении «характерного» древнерусского быта, ни о раскрытии своеобразия древнерусской психологии речи еще не идет. Как пример такого построения исторического романа интересна книга Н. Н. Муравьева «Всеволод и Велеслава. Происшествие, сохранившееся в письмах». Это хорошо написанный, хотя и не очень оригинальный роман в письмах, в духе «Новой Элоизы». Из переписки действующих лиц выясняется сюжетная экспозиция: герой — человек низкого звания — учитель в доме знатного и богатого барина. Он влюбляется в свою ученицу. Объяснение произошло во время чтения «повествования об Элоизе и Абелярде»[1]. Между тем героиню сватают за знатного вельможу. Герой вызывает его на поединок и тяжело ранит. В день свадьбы рана открывается, и на свадебном пиру жених умирает. Героиня, вдова-девица, удаляется с тетушкой в монастырь, продолжая переписку со своим возлюбленным, между тем как сам он поступает в слуги к ослепшему отцу своей возлюбленной. Трогательной заботой о нем герой вызывает любовь знатного боярина и получает согласие на брак с его дочерью.

Несмотря на традиционность сюжетных ходов, роман Муравьева написан вполне профессионально и не без тонкости психологического анализа. Не подымаясь до «плебейского» радикализма Руссо, автор не чуждается, однако, осуждения сословных предрассудков. Социальное неравенство двух любящих сердец дает основание осудить боярские причуды отца героини: «Вельможническое свойство властвовать над низшими, с молоком кормилицы и с припевами нянюшек посеянное в душу, хотя и преодолевается силою разума в среднем возрасте, при старости, однакож, преобладает над всеми прочими свойствами. Этот горький плод воспитания, доколе люди будут небречь вскормлением и образованием юношей всякого состояния, будет между ими произрастать»[2]. Однако роман Муравьева остался бы в ряду заурядных литературных сочинений, если бы автор не задумал его как историческое произведение. Муравьев не указывает, в какую эпоху происходит действие в его книге. Однако место действия — Киев, и как можно предположить, древнейшей поры. На это указывают имена героев: отец героини назван боярином Гостомыслом, дочь его — Велеславой, герой — Всеволод, друг его — Боян. Поступая слугой, герой принимает имя Дружины. Ни Москва, ни тем более

[1] Всеволод и Велеслава. Происшествие, сохранившееся в письмах. СПб., 1807. С. 190. Вместо имени автора на титуле стоит сложная криптограмма, которая была расшифрована В. Саитовым в рецензии на первый том «Справочного словаря о русских писателях» Г. Геннади (Журнал Министерства народного просвещения. 1877. № 1. С. 137).

[2] Там же. С. 289.

Петербург не упоминаются — кроме Киева назван лишь Смоленск. И при всем том герои ездят в каретах, стреляются на дуэли и читают о страданиях Абеляра (уж не о популярной ли у русского читателя конца XVIII в. «героиде» Колардо идет речь?). Ничего «древнерусского» нет и в нравах. В данном случае даже нельзя говорить об анахронизмах. Перед нами не отступление от историзма, а полное его отсутствие. И это тем более знаменательно, что роман написан вполне на уровне квалифицированной, хотя и не перворазрядной литературы тех лет. Не открывая новых путей, автор умело пользуется тем, что уже вошло в литературную традицию, и его неудача показывает, что вопрос соединения исторического сюжета с психологизмом повествования уже возник, но еще не мог быть решен.

В 1807 г. появился в печати роман Петра Казотти «Бояра Б...в и М...в, или Следствия пылких страстей и нарушений обета. Российское происшествие, случившееся в царствование царя Алексея Михайловича». Содержание этого ученической рукой написанного романа (автору было восемнадцать лет) — смесь традиционных картин семейного и авантюрного романов. Мы находим здесь обязательные похищения, любовные драмы и исправление преступников. Боярин М...в женится на четырнадцатилетней Марии. После рождения дочери он, не соблюдая данного обета, отправляется не на богомолье, а в Москву. За преступлением следует кара — малолетняя дочь Лиза таинственно исчезает. Между тем друг М...ва, боярин Б...в, соблазняет Марию и, гонимый совестью, удаляется «в леса». Роман кончается тем, что М...в с женою отправляются, наконец, на богомолье в Киев, по пути находят Лизу, которая воспитана добродетельным крестьянином Фролом и счастливо живет в замужестве за простым землепашцем. Находится и соблазнитель, Б...в, который, прожив одиннадцать лет крестьянином, все еще мучается раскаянием и готов покончить с собой. Роман завершается всеобщим примирением.

Художественная беспомощность романа П. Казотти очевидна, но именно она позволяет резче подчеркнуть структурные принципы раннего русского исторического романа: вся схема произведения традиционно повторяет штампы семейно-нравоучительного романа тех лет. Исторический колорит — лишь в том, что герои названы «боярами», а вступление уточняет время действия: «Когда на Российском престоле царствовал мудрый монарх Алексей Михайлович, когда истина и добродушие блистали во всем величии в сердцах русских, когда богатый боярин беседовал без гордости с поселянином и в дружеских разговорах проводил время, язык их говорил то, что говорило сердце; они в это время позабывали свои степени и были истинными ближними. Пенный мед лился в уста их и придавал более веселья и более искренности в беседе»[1].

Вслед за Карамзиным в «Наталье, боярской дочери» автор видит в прошлом эпоху социальной гармонии: «Не стыдился богатый юноша, видя утопающего, броситься помочь ему; когда дело служило в пользу ближнего,

[1] *Казотти П.* Бояра Б...в и М...в, или Следствия пылких страстей и нарушений обета. Российское происшествие, случившееся в царствование царя Алексея Михайловича. М., 1807. С. 2.

он позабывал свой род и достоинство. Тогда молодая девица воспитывалась не у француженок, не у танцмейстеров, но образовывали ее ум и сердце родители и старые мамушки»[1].

Такой взгляд на «старину» приводил, во-первых, к тому, что «историческое время», время действия романа, не рассматривалось как имеющее черты бытового или нравственного своеобразия: это была произвольно сконструированная утопия без каких-либо примет времени. В этом смысле гораздо больше «исторического», то есть эпохально-конкретного, было в соотнесенном с подобным историческим романом моралистическом романе о современности. Прошлое время — идеал, поэтому роман о прошлом писал об идеальных, то есть о нехарактерных нравах и развязывался благополучно. Морализующий роман о современности писал об отрицательном, то есть о характерном жизненном материале, обильно впитывая элементы сатиры и эмпирического бытописания. Здесь «страсти» проявлялись в своих «ужасных» действиях и концовки часто были трагическими. Однако, в отличие от «эмпирической» и криминально-детективной прозы тех лет, в анализируемых произведениях автор всегда стоит в позе нравоучителя — он не забавляет, а морализирует.

***

Особое место в истории русской прозы преддекабристского периода занимает литературная деятельность Н. М. Карамзина. Въевшаяся в сознание поколения школьная традиция прочно связала имя Карамзина с «Бедной Лизой» как основным прозаическим произведением писателя. Замечательные и чрезвычайно важные для дальнейших судеб русской прозы повести «Рыцарь нашего времени» и «Моя исповедь» часто забываются даже в специальной литературе. Несколько больше «повезло» «Марфе Посаднице». Однако и здесь исследователей привлекала скорее возможность проанализировать на материале произведения политическую позицию автора, чем изучение художественной структуры повести. Общераспространено мнение, что начало работы Карамзина над историей является вместе с тем и концом его биографии как писателя. Д. Д. Благой в содержательном обзоре творчества Карамзина пишет: «С начала века он все больше отходил от художественной литературы»[2]. На «обращение Карамзина к прошлому, к истории, приведшее его в конце концов к отходу от литературы», указывал и Г. А. Гуковский в своем тонком анализе творческого пути писателя[3].

Видимо, с этим связано и отсутствие специальных работ по изучению «Истории государства Российского» как литературного произведения и места его — априорно можно сказать, очень значительного — в литературном процессе 1820-х гг. Этого вакуума не заполняет краткая и чрезвычайно

---

[1] *Казотти П.* Бояра Б...в и М...в ... С. 2—3.

[2] *Благой Д. Д.* История русской литературы XVIII века. М., 1951. С. 638.

[3] *Гуковский Г.* Очерки по истории литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938. С. 307.

наивная по исследовательским приемам работа Х. В. Дьюи «Сентиментализм в исторических трудах Н. М. Карамзина»[1].

Между тем историк литературы мог бы найти в этом вопросе надежную точку опоры в высказываниях В. Г. Белинского. Белинский не склонен был преувеличивать историческое значение Карамзина, порой весьма сурово высказываясь о его произведениях, в частности об «Истории государства Российского». И все же Белинский не только неизменно указывал на большое значение этого произведения в истории русской литературы, но и выделял его как основной труд Карамзина-художника, особый этап в его писательской деятельности. Он писал: «Слог „Истории российского государства“ — это дивная резьба на меди и мраморе, которой не сгложет ни время, ни зависть и подобную которой можно видеть только в историческом опыте Пушкина — „История Пугачевского бунта“». «„История государства Российского“ есть творение зрелое, монумент прочный и великий»[2]. Правда, оба эти высказывания несут на себе отсвет полемики с Н. А. Полевым, чрезмерно унижавшим заслуги Карамзина-историка, но Белинский, в основном, не менял своей точки зрения и в дальнейшем. Так, в 1841 г. в рецензии на IX, X, XI тома «Сочинений Александра Пушкина» он писал: «...его [Карамзина] проза до издания „Истории государства Российского“ уступает сладостной, гармонической прозе Жуковского и Батюшкова, — зато в русской литературе нет ничего выше его исторической прозы, кроме „Истории Пугачевского бунта“, пером Тацита писанной на меди и мраморе!» Мысль об «Истории государства Российского» как литературном произведении, качественно отличном по своей природе от предшествующего творчества писателя, развивалась Белинским и в дальнейшем: «„История“ Карамзина навсегда останется великим памятником в истории русской литературы вообще и в истории литературы русской истории». Карамзин, «лишь только проза его сделалась образцовою и начала развиваться далее содействием Жуковского, как он сам отрекается от нее и в своей „Истории“ силится создать совсем другого рода прозу»[3].

Однако Белинский не остановился на этом: в ряде высказываний он проявил глубокое понимание художественной природы «Истории» Карамзина, даже в тех случаях, когда высказывал осуждение приемов Карамзина-историка. С одной стороны, Белинский сблизил «Историю государства Российского» с эпической поэмой. Эта мысль была в дальнейшем, как нам кажется, оценена лишь Б. М. Эйхенбаумом, писавшим: «История государства Российского, — конечно, не столько история, сколько героический эпос»[4]. С другой стороны — и мимо этого положения великого критика последующая научная литература прошла вообще, — Белинский настойчиво подчеркивал внутреннюю эволюцию писательских приемов Карамзина по мере перехода от тома к тому. Уже в самом раннем высказывании — в «Литературных мечтаниях», — при общей безжа-

[1] *Dewey H. W.* Sentimentalism in the Historical Writings of N. M. Karamzin // American Contributions to the Fourth International Congress of Slavists. 1958.

[2] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М. 1953—1959. Т. 3. С. 513; Т. 4. С. 23.

[3] Там же. Т. 5. С. 274; Т. 7. С. 135; Т. 11. С. 224.

[4] *Эйхенбаум Б.* Сквозь литературу. Л., 1924. С. 38.

лостности оценок, свойственной этой статье, Белинский, подвергнув творчество Карамзина суровой критике, указал очень глубоко на динамизм пути писателя. «В „Истории государства Российского" слог Карамзина есть слог русский по преимуществу; ему можно поставить в параллель только в стихах „Бориса Годунова" Пушкина. Это совсем не то, что слог его мелких сочинений; ибо здесь автор черпал из родных источников, упитан духом исторических памятников, здесь его слог, за исключением первых четырех томов, где по большей части одна риторическая шумиха»[1]. Позже критик писал об «Истории» Карамзина: «Слог ее не исторический: это скорее слог поэмы, писанной мерною прозою, поэмы, тип которой принадлежит XVIII веку». «Сначала его история — поэма, вроде тех, которые писались высокопарною прозою и были в большом ходу в конце прошлого века. Потом, мало-помалу входя в дух жизни древней Руси, он, может быть, незаметно для самого себя, увлекаясь своим трудом, увлекался и духом древнерусской жизни <...> К этому присоединяется еще мелодраматический взгляд на характеры исторических лиц. У Карамзина нет середины: у него нет людей, а есть только или герои добродетели, или злодеи»[2].

Белинский был глубоко прав, указывая на принципиальное отличие «Истории государства Российского» от всего предшествующего творчества Карамзина. На этом вопросе следует задержаться.

К моменту оформления своих исторических интересов Карамзин проделал уже значительную эволюцию[3].

Прославившие Карамзина «Письма русского путешественника» и «Бедная Лиза»[4] знаменовали собой первый и сравнительно быстротечный этап его деятельности как художника. Творчество середины и конца 90-х гг. XVIII в. — периода «Аглаи» и «Пантеона иностранной словесности» — отмечено чертами нарастающего субъективизма в мировоззрении и художественном методе писателя. И общественная проблематика, и весь объективный мир оказались заслоненными внутренними переживаниями поэмы. Проза периода «Аглаи» тяготеет к бессюжетности, лиризму. Мир для Карамзина этих лет — «китайские тени моего воображения». В 1797 г. он отметил в записной книжке: «Le temps n'est que la succession de nos pensées», «nous avons aune âme contournable en soi-même; elle se peut faire compagnie»[5]. Издавая в 1801 г. последнюю часть «Писем русского путешественника», Карамзин добавил к ним, совсем не в духе этого произведения, явно позднейшую приписку — декларацию субъективизма художественного метода: «Перечитываю теперь некоторые из своих писем: вот зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцев! Оно через 20 лет (если столько проживу на свете) будет для меня приятно — путь для меня одного; а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого

[1] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 60.

[2] Там же. Т. 7. С. 135, 509.

[3] См. в наст. изд. статью «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803)».

[4] Любопытное свидетельство популярности «Бедной Лизы» — зафиксированный А. Ф. Мерзляковым разговор двух крестьян на берегу «Лизина пруда» (см. в наст. изд. заметку «Об одном читательском восприятии „Бедной Лизы" Н. М. Карамзина»).

[5] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. Ч. I. С. 199, 203.

себя... Почему знать? Может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах; может быть, и другие... но это их, а не мое дело»[1].

Подчеркнутый субъективизм 1790-х гг. был обоюдоострым оружием: в первую очередь, он был направлен против просветительского мировоззрения и материалистических представлений. В этом смысле, конечным выводом из него был отказ от общественной борьбы, от идеи разумного переустройства мира. Однако вместе с тем субъективизм связан был и с определенным неприятием действительности. Жизнь, в том числе и политическая, представляется царством зла. Отказываясь от борьбы с этим злом, Карамзин не отказывается от его осуждения. Самим фактом своего неучастия в политической жизни современности писатель выносит ей приговор. В этом смысле характерно «Послание к Дмитриеву». Поэт отказывается от борьбы и объявляет всякую надежду на лучший жизненный порядок химерой. Но вместе с тем он не приемлет и существующий порядок: «мрачный свет» находится в руках у «злых и невежд».

Ах! Зло под солнцем бесконечно,
И люди будут — люди вечно.
Когда несчастных Данаид
Сосуд наполнится водою,
Тогда, чудесною судьбою,
Наш шар приимет лучший вид:
Сатурн на землю возвратится
И тигра с агнцем помирит;
Богатый с бедным подружится,
И слабый сильного простит[2].

Новый этап, наступивший после 1801 г., ознаменовал изменение всей творческой позиции Карамзина.

Не останавливаясь на деталях идеологической эволюции Карамзина в 1802—1803 гг.[3], отметим лишь, что смысл ее заключался в переходе от дворянского либерализма к умеренному консерватизму. Отказавшись от крайностей субъективизма, от солипсизма[4] и его отражений в сфере политических и эстетических идей, Карамзин утвердился на позициях агностицизма.

---

[1] Ср. в переводной статье Карамзина: «Мне кажется, что все предметы во мне и составляют часть моего существования» (Пантеон иностранной словесности. Кн. III. С. 59).

[2] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 137.

[3] См. в наст. изд. статью «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803)».

[4] В конце XVIII в. солипсизм получил некоторое распространение в России. Вяземский писал: «Итальянец Тончи, живописец, особенно известный портретом Державина, был еще замечательный поэт и философ. Философское учение его заключалось в том, что все в жизни и в мире призрачно, что нет ничего положительного и существенно-действительного. По системе его человек не что иное как тень, как призрак, которому что-то грезится и мерещится; одним словом, он преподавал, что все, что есть, не что иное как ничего <...> Были у него и адепты, между прочим, помнится, генерал Саблуков, а положительно и Алексей Михайлович Пушкин. Он говаривал на своем смелом языке, что система его сближает человека с создателем с глазу на глаз (nez à nez avec dieu)» (*Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 201).

В области политики это приводило к сочетанию убеждения в злой природе человека с требованием совместить в едином общежитии взаимоисключающие интересы людей-эгоистов. Орудием соглашения враждебных интересов объявляется воля самодержавного монарха.

Решительной трансформации подверглась художественная система Карамзина-прозаика. Перед ним возникли вопросы, которые не ставились в творчестве предыдущего периода: построение объективного характера, отличного от образа автора-рассказчика, создание сюжета. Если эволюция от «Писем русского путешественника» к «Острову Борнгольму», «Сиерре-Морене» и «Цветку на гроб моего Агатона» заключалась в отказе об объективных элементов повествования, в превращении повествовательной прозы в лирико-психологические отрывки элегического типа, то теперь происходит обратный процесс: повесть восстанавливается в своих правах, вновь появляются признаки «объективности» — сюжет и герои, не зависимые от настроений и переживаний автора. «Чувствительный и холодный» и «Моя исповедь» весьма показательны для определения новых принципов изображения человека в карамзинской прозе XIX в. Его позиция в этом вопросе направлена против просветительской традиции XVIII в., Радищева и особенно Руссо. В очерке «Чувствительный и холодный» (направленность этого произведения подчеркнута подзаголовком: «Два характера») Карамзин демонстративно утверждает врожденную природу человеческого характера, независимость его от внешних условий. Не случайно очерк начинался прямой полемикой с просветительской точкой зрения: «Дух системы заставлял разумных людей утверждать многие странности и даже нелепости: так, некоторые писали и доказывали, что наши природные способности и свойства одинаковы; что обстоятельства и случаи воспитания не только образуют или развивают, но и дают характер человеку, вместе с особенным умом и талантами <...> Нет! одна Природа творит и дает: воспитание только образует. Одна Природа сеет: искусство или наставление только поливает семя, чтобы оно лучше и совершеннее распустилось. Как ум, так и характер людей есть дело ея: отец, учитель, обстоятельства могут помогать его дальнейшим развитиям, но не более». Вся судьба героев очерка, Эраста и Леонида, определена не средой, не воспитанием, а врожденными свойствами. Даже политические воззрения героев определены их врожденными темпераментами: «Эраст обожал Катона, добродетельного самоубийцу — Леонид считал его помешанным гордецом. Эраст восхищался бурными временами греческой и римской свободы — Леонид думал, что свобода есть зло, когда она не дает людям жить спокойно»[1].

Однако особенно резко новый способ построения характера проявился в повести «Моя исповедь», своеобразном «Анти-Эмиле». В научной литературе это произведение обычно обходится, видимо потому, что слишком резко противоречит обычным представлениям о Карамзине — авторе «чувствительных» повестей. В академической «Истории русской литературы» повесть не упомянута, так же как и в первом томе одноименного трехтомника под редакцией Д. Д. Благого (М.; Л., 1958). Короткая характеристика в статье

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 3. С. 618—619, 622.

Б. М. Эйхенбаума «Моей исповеди» как произведения, в котором «с большим мастерством создан образ вольнодумца и повесы, для которого мир есть «беспорядочная игра», и потому даже собственное его «я» не представляет для него никакой нравственной ценности»[1], до сих пор остается одним из наиболее развернутых исследовательских высказываний по интересующему нас поводу. Между тем «Моя исповедь» не только представляет сама по себе историко-литературный интерес, но и является необходимым звеном в творческом развитии Карамзина. И легкость, с которой это звено игнорируется, свидетельствует лишь о крайней суммарности исследовательских представлений по данному вопросу. Повесть Карамзина направлена и против «Эмиля», и против «Исповеди» Руссо, и — шире — против идеи врожденной доброты, а следовательно, внутренней значительности человеческой личности. Однако, истолковывая природу человека как врожденно эгоистическую, злую, Карамзин выступает против подчеркнутого интереса человека к своей личности, против субъективизма, тем самым подымая руку и на собственное творчество предшествующих периодов. Именно в подобном смысле легко могли быть истолкованы слова: «Ныне путешествуют не для того, чтобы узнать и верно описать другие земли, но чтобы иметь случай поговорить о себе»[2]. Но это ведь те самые упреки, которые предъявляли самому Карамзину его многочисленные критики! Карамзин, однако, пошел еще дальше — он передал отрицательному герою свои собственные программные заявления 1790-х гг. В «Моей исповеди» отрицательный герой оправдывает свою страсть к самопризнаниям, свой интерес к описанию собственных чувств направлением современной ему литературы: «Ныне всякий сочинитель романа спешит как можно скорее сообщить свой образ мыслей о важных и неважных предметах. Сверх того, сколько выходит книг под титлом: „Мои опыты“, „Тайный журнал моего сердца“! Что за перо, то и искреннее признание»[3]. Но ведь это же те принципы, которые неоднократно декларировал сам Карамзин! В статье «Что нужно автору?» (1793) он писал: «Ты берешься за перо и хочешь быть Автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: „Каков я?“ Ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего»[4].

Карамзин передал герою «Моей исповеди» и свое любимое выражение: «Весь свет казался мне беспорядочною игрою китайских теней». «Я родился философом — сносил все равнодушно и твердил любимое слово свое: „Китайские тени! Китайские тени!“»[5] Но ведь читатель прекрасно помнил, что еще в 1801 г. Карамзин в заключении «Писем русского путешественника» так характеризовал мир в авторском тексте, от своего собственного лица!

Однако главный адресат полемики — все же не собственное творчество. Повесть, как уже отмечалось, направлена против принципов Руссо. И название ее — «Моя исповедь», и слова о том, что «нынешний век можно назвать

---

[1] *Эйхенбаум Б.* Сквозь литературу. Л., 1924. С. 45.
[2] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 504.
[3] Там же. С. 505.
[4] Там же. С. 371.
[5] Там же. С. 509, 515.

веком *откровенности* <...> Мы хотим жить, действовать и мыслить в прозрачном стекле»[1], не могли не навести мысль читателя на «Исповедь» Руссо. В еще большей мере острие повести направлено против «Эмиля». Перед читателем проходит жизнь героя, построенная как повествование о воспитании человека. Учителями героя были «природа», «естественное влечение» и воспитатель-швейцарец — персонаж, который пройдет в дальнейшем через ряд литературных произведений. Он мелькнет в черновиках «Евгения Онегина»: «Мосье швейцарец благородный», «Мосье швейцарец очень строгий», «Мосье швейцарец очень важный»[2]. В сочетании с такой характеристикой воспитателя формула:

Учил его всему шутя,
Чтоб не измучилось дитя,
Не докучая бранью шумной, —

становится описанием педагогики Руссо, основанной на отказе от средств принуждения. Воспитывать играя — один из принципов Руссо. Лишь в дальнейшем, когда воспитателем стал «француз убогой», весь отрывок переосмыслился. Швейцарец-воспитатель дожил до эпохи 1840—1850-х гг. Воспитатель-женевец, который «изучил всевозможные трактаты о воспитании и педагогии от «Эмиля» и Песталоцци до Базедова и Николаи»[3], определит годы ученичества Бельтова. «Молодой швейцарец» воспитывал и Лаврецкого.

Воспитатель в «Моей исповеди» — не только земляк Руссо, он вольнодумец и республиканец. «Я родился в республике и ненавижу тиранство», — говорит он[4]. Отправляясь учиться за границу, герой поехал в Лейпцигский университет. Эта деталь тоже, конечно, не случайна. О Лейпцигском университете Карамзин был, конечно, наслышан от А. М. Кутузова: имя Радищева было упомянуто при первом же его визите в университет. В сознании Карамзина это учебное заведение связывалось с идеями XVIII в. Таким образом, герой получает все, что, по системе Руссо, должно было обеспечить ему гармоническое развитие. Осуществляется принцип, согласно которому воспитание призвано сохранить в неприкосновенности естественные сердечные побуждения человека.

Однако, предоставленный «природе», воспитанный по просветительским рецептам, герой Карамзина вырастает эгоистом. Человек, по мнению автора, не может почерпнуть основ морали ни в своей природе, ни в своих разумно понятых интересах. Инстинктивные стремления его — антиобщественны. Не менее важно и другое: предоставленный самому себе, отделенный от всего «внеличностного»: морали, религии, народных обычаев, семейных привязанностей, — герой обречен не только на себялюбие, но и на неизбывную скуку — жизнь его делается пустой. Человек XVIII в., герой просветительских романов, убежденный в том, что «мораль — в природе вещей», уверенный в доброте и социальности неизвращенного человека, находил опору в самом себе. Именно через собственные «интересы» герой приобщался к народу и

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 504.
[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. [М.,] 1937—1949. Т. 6. С. 215.
[3] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1955. Т. 4. С. 90.
[4] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 506.

человечеству. Вместе с утратой веры в человеческую личность возникает стремление опереться на вне человека лежащие силы — прежде всего на традицию, обычай. Человек, оторванный от обычаев, мыслится как безнравственный и пустой, бессодержательный. Именно стремление заполнить душевную пустоту побуждает героя совершить ту цепь нелепых и безобразных поступков, которая составляет фабулу «Моей исповеди». Герой Карамзина, по сути дела, даже не эгоист, в понимании XVIII в., ибо не стремится к собственному благу. Убежденный в том, что счастья вообще нет, он хочет лишь развлечений, заполняющих жизнь. Суть же его забав не в том, что они доставляют ему счастье ценой притеснения других людей, а в циническом удовольствии осмеяния любых нравственных принципов. В этом смысле показательно поразительное совпадение «забав» героя «Моей исповеди» и Ставрогина, независимо от того, явилось ли это совпадение плодом случайности или означает сознательную перекличку.

Герой «Моей исповеди» «наделал много шуму в своем путешествии — тем, что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нарочно ронял их на землю самым непристойным образом; а всего более тем, что с добрыми католиками целуя туфель папы, укусил ему ногу и заставил бедного старика закричать изо всей силы»[1].

Это текстуально похоже на дерзости «совсем неслыханные», «совсем дрянные и мальчишнические», которыми развлекался «принц Гарри»: «Николай Всеволодович поднял мадам Липутину — чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно перед ним робевшую, — сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив, наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок»[2].

Эпизод с губернатором в «Бесах» разительно напоминает поступок карамзинского героя в Ватикане: «— Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, — угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. <...> Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того, чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался. — Nicolas, что за шутки! — простонал он машинально, не своим голосом»[3].

Достойно примечания, что если прежде просветительское мировоззрение отвергалось во имя романтического субъективизма, то теперь Карамзин принципиально не делает между ними различия: усмотрев в обоих направлениях интерес к личности (объективно — глубоко противоположный по

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 507—508.

[2] *Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 7. С. 51.

[3] Там же. С. 53—54.

своей природе), он осуждает и то и другое, видя в них проповедь эгоизма. Такой подход определил и отказ от повествовательных приемов периода «Аглаи» с их подчеркнутым субъективизмом, и поворот к бытовому правдоподобию описания. Однако очевидно, что и просветительский реализм прозы XVIII в. был Карамзину неприемлем — новые установки побуждали его к поискам новых творческих путей.

Поиски эти могли идти в двух направлениях: с одной стороны, «объективное» повествование могло быть развернуто как рассказ о человеке в его отдельности, с другой — об обществе людей. Первый случай подсказывал форму персонального романа, второй — политико-исторического. «Рыцарем нашего времени» и «Марфой Посадницей» Карамзин испытал оба эти пути. «Рыцарь нашего времени» — незавершенный, но в высшей мере значительный замысел. Определив в начале своего творческого пути писателя как «сердценаблюдателя по профессии», Карамзин остался до конца верен этой формуле. Однако на каждом новом этапе его творчества указанное положение приобретало особый смысл. По-новому оно обернулось и в «Рыцаре нашего времени». До 1800-х гг. «сердценаблюдение» истолковывалось как требование выразить свою душу — теперь речь идет об анализе сердечных переживаний героя, имеющего самостоятельное бытие и независимость от авторской воли.

«Рыцарь нашего времени» — психологическая повесть. В декларативном вступлении автор отказывается от ориентации на сюжетный интерес. Содержание повести составляют не события, а переживания. Поэтому в первых же строках своего произведения Карамзин отгораживает его от традиции «исторических романов» XVIII в.: «С некоторого времени вошли в моду *исторические романы*. Неугомонный род людей, который называется *авторами*, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и, пользуясь исстари присвоенным себе правом (едва ли *правым*), вызывает древних героев из их *тесного домика* (как говорит Оссиан), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная комедия!»[1] Сосредоточивая внимание на психологии героя, Карамзин предельно точно определяет жанр своей повести: «...вместо *исторического романа*, думаю написать *романическую историю* одного моего приятеля»[2].

По сравнению с героями «Сиерры-Морены» или других повестей периода «Аглаи», Леон — фигура вполне объективная. Образ его раскрыт не средствами эмоционально-напряженного, приближающегося к стихотворной речи монолога от первого лица. Герой включен в русскую бытовую действительность, описание которой никак не сводится к лирическому аккомпанементу его душевным состояниям. И все же коренные принципы субъективистской эстетики сохранились в творчестве Карамзина этого периода. Они проявились даже не в той подчеркнутой, в стернианском духе, роли повествователя-рассказчика, которая особенно чувствуется в первой части, датируемой 1799 г.

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 239.
[2] Там же. С. 240.

С наибольшей силой старые принципы дают себя чувствовать в том, что характер центрального героя по-прежнему существует вне воздействия внешних обстоятельств. Бытовая обстановка служит лишь фоном характера, но не влияет на него. Индивидуальность человека определяют врожденные страсти. Правда, решается этот вопрос иначе, чем в «Моей исповеди». Там утверждалась идея злой, иррационально-неразумной сущности человека, создавался образ отрицательного героя. Леон — фигура, бесспорно, положительная. Это не врожденно злой, хотя и не врожденно добрый человек. Оставаясь убежденным в «темпераментальной», а не социальной природе характера, Карамзин утверждает сложность, противоречивость человеческой души. Положительный герой — не герой добродетели. Еще в детстве он знает слабости — в зрелом возрасте его, видимо (роман не окончен), ждут и падения, и взлеты. Противоречивость и сложность — врожденная черта его характера: «В самую ту минуту, как первый луч земного света коснулся до его глазной перепонки, в ореховых кусточках запели вдруг соловей и малиновка; а в березовой роще закричали вдруг филин и кукушка: хорошее и дурное предзнаменование, по которому осьмидесятилетняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, с веселою усмешкою и с печальным вздохом предсказала ему счастье и несчастье в жизни, ведро и ненастье, богатство и нищету, друзей и неприятелей, успех в любви и рога при случае. Читатель увидит, что мудрая бабка имела в самом деле дар пророчества»[1]. Повесть — «романтическая история» одного человека — должна была, таким образом, решить вопрос создания психологической прозы, рассматривающей отдельную, изолированную человеческую личность.

Однако такая задача не покрывала полностью писательских интересов Карамзина. От стремления «построить тихий кров за мрачной сению лесов» в 1802—1803 гг. не осталось и следа. Трудно найти в эти годы писателя, столь проникнутого интересом к политической злобе дня, как Карамзин. В период «Вестника Европы» сама беллетристика сделалась для Карамзина средством иллюстрации его политических концепций.

Но решить эту задачу в рамках психологической повести, «истории» одного сердца было невозможно — возникла необходимость прозы, самим сюжетом и обликом героев приспособленной к постановке политических и общественных проблем. Традиция прозы XVIII в. подсказывала здесь и готовую художественную форму — политический роман с псевдоисторическим сюжетом, тот самый роман, о котором Карамзин столь пренебрежительно отозвался в «Рыцаре нашего времени». И Карамзин пошел по этому — недавно им самим осужденному — пути. Повесть «Марфа Посадница» не могла не оживить в сознании читателей начала XIX в. воспоминания о тех исторических романах, авторы которых «тревожат священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов...». И все же внешнее сходство не может скрыть от нас того, что по своей художественной структуре «Марфа Посадница» была своеобразным произведением.

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 241.

Карамзин сблизился с «политическим» романом XVIII в. по целому ряду художественно-структурных вопросов. Как и в «политическом» романе XVIII в., все построение произведения является не отражением наблюдаемой писателем объективной действительности, а воплощением авторской политической концепции. С этим связаны и неприкрытая условность «историзма» сюжета, и наделение героев произвольными, исторически невозможными для них «речами». Это был тот самый метод, который сам Карамзин осудил в «Рыцаре нашего времени» как «кукольную комедию»: «Один встает из гроба в длинной римской тоге с седою головою; другой в коротенькой гишпанской епанче с черными усами — и каждой, протирая себе глаза, начинает свою повесть с яиц Леды»[1].

Но сходство внешних признаков художественного построения не снимает глубоких эстетических отличий. Роман классицизма изображал абсолютные и абстрактные идеи, веря в их истинность и объективность. По отношению к эмпирической действительности они представали не только как нечто более ценное, но и как высшая реальность. Конструкция «политической» повести типа «Марфы Посадницы» возникает на другой основе — Карамзин по-прежнему убежден в относительности человеческих знаний. Оставаясь верным своему излюбленному философу Кондильяку, он убежден в том, что чувства господствуют над человеком, не веря лишь в их истинность и объективность. Логические построения, в частности политические концепции, отнюдь не выражают объективного разума мира — это априорные истины, извлекаемые из глубин человеческого ума. Они должны подчинить себе, «организовать» текучий мир, данный человеку в субъективных ощущениях. Так, идея государственности «организует» хаос человеческого общества. Этому подчинены и политическая, и художественная концепция «Марфы Посадницы».

В художественном отношении повесть построена в соответствии с общими представлениями Карамзина 1800-х гг. Поскольку речь идет об «идеальных», нормативных героях и ситуациях, все изложение сознательно противопоставлено реальности. Ни современно-бытовой, ни исторический облик действительности — такой, каким его можно восстановить по источникам, — Карамзина не интересует, так как любой облик эмпирически реальной жизни исполнен зла и неразумия. Теоретическая «норма» политической структуры общества дается априорно — дело писателя воплотить ее в человеческих образах и заставить торжествовать то, что он считает достойным победы. Художественная повесть — лишь иллюстрированная теория. А исход сюжетного развития полностью подчинен авторскому произволу.

Переход Карамзина к новому — последнему — периоду творчества связан был с дальнейшей идейно-художественной эволюцией. С одной стороны, Карамзин все больше отдалялся от передового лагеря и, улавливая даже в скептической и субъективистской философии ноты непринятия действительности, пытался (правда, безуспешно) найти пути к всестороннему оправданию существующего порядка. С другой стороны, сам этот процесс протекал столь

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 237.

сложными путями, что они порой позволяли Карамзину глубоко чувствовать и понимать противоречия окружающей его жизни. Сказанное позволило Карамзину сохранить свое место в русской литературе тех лет, а созданной им «Истории государства Российского» стать, по характеристике Белинского, самым значительным литературным произведением писателя. Наконец, необходимо иметь в виду, что взгляды Карамзина за длительный срок от 1803 по 1826 г., естественно, не оставались без изменений, а это не могло не отразиться и на «Истории» — произведении, которое, при всем идейно-стилевом единстве, отразило и определенную эволюцию писателя. Рассмотрение взглядов этого периода вне учета их изменяемости, а также распространение на весь данный этап, протянувшийся почти четверть века и заполненный бурными мировыми событиями и непрерывным напряженным литературным трудом, каких-либо отдельных конкретных высказываний — путь, таящий возможность упрощения. В этом смысле хотелось бы предостеречь от расширительного толкования «Записки о древней и новой России» как полного выражения воззрений Карамзина первой четверти XIX в. «Записка о древней и новой России» — произведение, в котором, помимо общих, постоянных его идей, очень резко выразились настроения временные, связанные с конкретными событиями дня. Для того чтобы это понять, необходимо учитывать обстановку 1811 г. и паническую боязнь, которую испытывал Карамзин, видя неизбежное приближение войны с Наполеоном. Преклоняясь перед военным гением Наполеона, крайне скептически оценивая государственные данные Александра, он считал новый Тильзит неизбежным. Поражение же в войне его пугало, прежде всего, угрозой «смутного времени» — массовых народных движений. Настроения эти прошли вместе с изменением политической ситуации, и тот самый Карамзин, который в 1811 г. считал, что только «сирены могут петь вкруг трона: „Александр, воцари закон в России“»[1], — 28 августа 1825 г., напомнив царю о неизбежности близкой кончины, вырвал у него обещание, «что непременно все сделает: даст коренные законы России»[2].

Приведенный пример показывает, что и в хронологических рамках работы над «Историей государства Российского» во взглядах Карамзина происходили перемены. Менялась и художественная концепция этого огромного эпического полотна — одного из самых монументальных произведений русской прозы первой четверти XIX в.

Каковы же принципы, которые легли в основу художественной концепции «Истории государства Российского»?

С начала 1800-х гг. усилия Карамзина были направлены на преодоление предромантического субъективизма, осуждение его рефлексов в области политики, этики и художественного творчества. Стремясь найти противодействие преувеличенному интересу к отдельной личности, Карамзин начинает видеть положительное начало в объективном. Объективное же воспринимается как противоположное личностному. Так, идеалу свободы человека начинает про-

[1] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 122.
[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. I. С. 12.

тивопоставляться идея растворения личности в истории, обычаях, национальной традиции. На этой почве происходит известное сближение Карамзина с дворянскими традиционалистами шишковского типа. Однако и здесь были существенные различия: Шишков стремился возродить старину, что практически означало попытку воплотить в жизнь реакционные утопии, — Карамзин осуждал реакционные теории в такой же мере, как и революционные. Относясь отрицательно к деятельности новаторов, например Петра I, он был противником и реставраторских тенденций. «Теперь поздно, — люди и вещи, большею частью, переменились; сделано столько нового, что и старое показалось бы нам теперь опасною новостию: мы уже от него отвыкли»[1].

За Шишковым стояла идеология откровенной реакции и ортодоксальной церковности, принципиально не отличавшей Канта и Юма от «разрушительных философов» XVIII в. Карамзин был и остался скептиком, и попытка прийти к «объективности» выводов не меняла основ его мировоззрения. Разочаровавшись раз и навсегда в освободительных теориях XVIII в., он разочаровался и в теоретическом мышлении вообще. Таким образом, дело для Карамзина сводилось совсем не к тому, чтобы заменить прогрессивные теории теориями реакционными — он сделался противником теорий вообще, считая самую попытку подгонять жизнь к определенным политическим идеалам (независимо от содержания этих идеалов) бесполезной. Идеалом становится эмпирическая реальность жизни. В понятие же «жизни» входит не политическая практика правительства, а стихийный ход развития, проявляющийся в поступках огромного множества людей. Политическими выводами из подобной установки было стремление не вести Россию в определенном направлении (безразлично, назад или вперед), а сохранить существующее, предоставив времени и стихийному ходу событий совершить постепенный и медленный прогресс. Это была точка зрения консерватизма, окрашенного в бледно-либеральные тона. Карамзин был даже согласен и на преобразования, лишь бы они совершались мирно, без крови и без теоретических деклараций — «фраз», по его терминологии. Когда произошла революция в Испании, привлекшая, на первых порах, всеобщее внимание легкостью, с которой восставшие, не пролив ни капли крови, добились конституции[2], Карамзин писал П. А. Вяземскому (12 апреля 1820 г.): «История Гишпании очень любопытна. Боюсь только фраз и крови. Конституция кортесов есть чистая демократия à quelque chose prés. Если они устроят государство, то обещаюсь итти пешком в Мадрид, а на дорогу возьму

[1] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 116.

[2] П. Я. Чаадаев писал брату 25 марта 1820 г.: «Еще большая новость — и эта последняя гремит по всему миру: революция в Испании закончилась, король принужден был подписать конституционный акт 1812 года. Целый народ восставший, революция, завершенная в 8 месяцев, и при этом ни одной капли пролитой крови, никакой резни, никакого разрушения, полное отсутствие насилий, одним словом, ничего, что могло бы запятнать столь прекрасное дело. Что вы об этом скажете? Происшествие послужит отменным доводом в пользу революций» (*Чаадаев П. Я.* Соч. и письма: В 2 т. М., 1914. Т. 2. С. 53).

Дон-Кишота или Кихота»[1]. В этой боязни «фраз и крови» выразился весь Карамзин с его «республиканизмом в душе» и скептическим неверием в возможность осуществления этих идеалов. Недаром он уже через месяц писал Вяземскому: «Гишпанцам желаю добра, а едва ли придется мне, и с вами, итти к ним пешком»[2].

Другим следствием общей позиции Карамзина явилось неверие в любые политические программы. Политическая деятельность сама про себе, вне зависимости от своей направленности, приравнивается к демагогии: «Можно ли в нынешних книгах или журналах (книги не достойны своего имени, ибо не переживают дня), можно ли в них без жалости читать пышные слова: настало время истины; истиною все спасем; истиною все ниспровергнем <...> Умные безумцы! И вы не новое на земле явление; вы говорили и действовали еще до изобретения букв и типографий! <...> Настало время истины: т. е. настало время спорить об ней!

Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностию? Вы все Авгуры и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод.

Аристократы! Вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. *Дайте нам чувство, а не теорию.* — Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов; а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга!»[3]

В том же духе он писал в 1819 г. Вяземскому: «Так водится в здешнем свете: одному хорошо, другому плохо, и люди богатеют за счет бедных. Шагнуть ли из физического в свет политический? Раздолье крикунам и глупым умникам, не худо и плутишкам, а нам с вами что? Не знаю»[4]. Считая, что

Зло на свете бесконечно
И люди будут люди вечно, —

Карамзин не верил в спасительность любых социальных перемен. Единственное доступное для правителей средство государственного благоденствия — подбор для управления лиц, одаренных высокими нравственными качествами. Политика заменена этикой. Петр «имел страсть к способным людям, искал их в кельях монастырских и в темных каютах: там нашел Феофана и Остер-

[1] Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826. (Из Остафьевского архива) / Предисл. и примеч. Н. Барсукова. СПб., 1897. С. 99.

[2] Там же. С. 101.

[3] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 194—195 (Курсив мой. — *Ю. Л.*).

[4] Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 83.

мана, славных в нашей государственной истории <...> да будет то же правило — искать людей!» «Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям»[1].

Такой подход требовал оценки исторических деятелей лишь с моральной точки зрения. Все прочее объявлялось несущественным. Политическая направленность, теоретическая программа того или иного деятеля отступает для Карамзина на второй план перед такими понятиями, как личная честность и бескорыстие. Искренность убеждений важнее, чем их содержание. В «Вестнике Европы» Карамзин опубликовал «Сравнение Дидерота с Лафатером», в котором подчеркнул несущественность политических различий в убеждениях честных людей: «Вольнодумец и теолог ревностно хотели распространить свои взгляды, считая их для людей полезными, а еще более любили благотворить нищете, утешать горестных. Когда надлежало помогать бедным, тогда атеист не стыдился кланяться набожным людям, а теолог — вольнодумцам»[2].

Этим же объясняется столь удивившая Николая Тургенева симпатия Карамзина к Робеспьеру. Сложность, однако, в том, что, рассматривая исторических деятелей исключительно с моральной точки зрения, Карамзин решительно отрицал морализм в политике и истории. История развивается не по законам нравственности, политики — циничны по своей природе. Всякая попытка руководствоваться моральными соображениями в государственной практике осуждается как слабость и лицемерие. В 1802 г. Карамзин резюмировал ход европейских событий следующим образом, полностью оправдывая диктаторский «реализм» дипломатии Наполеона: «Король Сардинский, герцог Тосканский и немецкие князья остаются жертвами общего покоя; они виноваты, ибо слабость есть вина в политике»[3].

Как известно, позже Карамзин отнесся весьма отрицательно к дипломатии Священного союза, прикрывающей политическую игру интересов туманными рассуждениями морально-религиозного характера. В 1819 г. в «Мнении русского гражданина» он писал царю по поводу проекта восстановления Польши: «Вера христианская есть тайный союз человеческого сердца с Богом; есть внутреннее, неизглаголанное, небесное чувство; она выше земли и мира; выше всех законов физических, гражданских, государственных — но их *не отменяет*. Солнце течет и ныне по тем же законам, по коим текло до явления Христа-спасителя; так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов; все осталось как было на земле и как иначе быть не может: только возвысилась душа в ее сокровенностях <...> Мы сблизились с небом в чувствах, но действуем на земле, как и прежде действовали. Несмь от мира сего, сказал Христос: а граждане и государства в сем мире»[4]. В «Марфе Посаднице» покорение Новгорода Москвой оправдывается как государственная необходимость. Политика сурова и не знает пощады. Между тем лично

---

[1] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 117.

[2] Вестник Европы. 1802, № 5.

[3] Там же. № 1.

[4] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 3—4. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

Иоанн — кроток, милосерд и как человек руководствуется соображениями морали и добродетели.

Этот двойной взгляд, по-разному освещающий деятельность людей и судьбы государств, был Карамзину глубоко органичен. С одной стороны, история представляется лишь рамой для характеров, для проявлений человеческой личности — этот аспект выступает в свете резких моральных оценок: «И жизнь наша, и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертно в их успехах!» (речь в собрании Российской академии 5 декабря 1818 г.)[1].

С другой стороны — государственная жизнь, которая строится на основе «интересов» и моральной оценке не подлежит. «Так, сила выше всего? Да, всего, кроме Бога, дающего силу!» — писал Карамзин в последний год жизни[2]. Подобная двойственность подготовила и двойную структуру повествования в «Истории государства Российского». С одной стороны, это должен был быть рассказ о психологии людей, с другой — о судьбах государства. Сам Карамзин отчетливо различал эти два пласта своей «Истории». В предсмертном письме А. Ф. Малиновскому (от 22 апреля 1826 г.) он говорил: «Мне писать еще две главы: наслаждаюсь мыслию изображать характеры и действия Российской Истории»[3]. Таким образом, история мыслилась как синтез психологического и сюжетного повествования.

Вместе с тем на структуру «Истории» Карамзина повлияла еще одна характерная черта его идейно-эстетической позиции этих лет. Интерес к человеческой личности, характеризующий творчество писателя на всех его этапах, в XIX в. повернулся неожиданной, негативной стороной. Стремление к преодолению субъективизма, к «объективному» взгляду на историю — ведущая тенденция в творчестве Карамзина последнего периода — сочетается с порожденными субъективистским мировоззрением представлениями о природе человека и человеческого общества. Как и прежде, человек, по Карамзину, бессилен понять окружающее, эгоистичен по природе, познает лишь свои намерения, а не объективные результаты действий. Противоречивость идейных предпосылок приводила и к противоречивости трактовки исторического материала. С одной стороны, внимание сосредоточено на субъективном элементе истории — психологии действующих лиц, их внутренней жизни. С другой — утверждалась идея невозможности переменить ход истории, бессилия личности перед властью стихийного хода событий, случайности и обычая. Так, утверждая, что «все для души», Карамзин считал: «Жить — есть не писать историю, не писать трагедию или комедию, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою и его источнику <...> Мало разницы между мелочными и так называемыми важными занятиями; одно внутреннее побуждение и чувство важно»[4].

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 654.
[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 195.
[3] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 742.
[4] Там же. С. 737.

Прямым выводом из такой предпосылки было убеждение в том, что основой истории является душевная жизнь меньшинства, наделенного богатством внутренней жизни, романтическое отождествление истории и рассказа о судьбах великих людей. Выражая эту точку зрения, Вяземский позже писал: «Народ в истории то же, что хоры в древней греческой трагедии; действие и содержание сосредоточиваются в действующих лицах, которые возвышаются над народом и господствуют над ним, хотя бы из него истекали»[1].

И вместе с тем, в отличие от романтиков 1820-х гг., Карамзин был убежден, что человеческая личность не меняет хода стихийных событий: «Мы все как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий!»[2]

Обращение Карамзина к истории Российского государства означало совершенно новый этап в его художественном творчестве.

Устойчивым представлением Карамзина о природе искусства была убежденность в противоположности мира, создаваемого писателем, миру реальной действительности. Задача поэта — «играть в душе своей мечтами», забываться «в чародействе красных вымыслов». Основа творчества — фантазия. Поэтому особое значение приобретает или бессюжетная лирика — исповедь, или сюжетное «волшебное» произведение, в котором автор отдается игре своей фантазии. Но и бытовое повествование — роман — воспринимается как произведение, сюжет и судьба героев которого находятся целиком во власти авторского произвола. Такое отношение к сюжету романа тоже было проявлением эстетики субъективизма — последовательность событий рассматривалась не как отражение явлений реального мира, а как игра авторского ума. В этом смысле роман и история воспринимались как антагонисты. В борьбе с субъективизмом, штюрмерским бунтарством предромантизма Карамзин обретал в истории ту форму художественной прозы, которая сразу же отсекала все формы авторского произвола. Сюжет был наперед задан, характер и события определены самой жизнью — автор мог проявить себя лишь в структуре стиля. Такого рода произведение для Карамзина — поворот к принятию действительности, и политически это связано с дальнейшим движением в сторону консерватизма. Но вместе с тем поворот к истории был и попыткой преодолеть субъективистскую эстетику. Говоря о том, что историк не может обращаться лишь к ярким и интересным сюжетам, ибо не свободен в выборе изображаемых событий, Карамзин писал: «*История не роман*, и мир не сад, где все должно быть приятно: *она изображает действительный мир*»[3].

В «Марфе Посаднице» Карамзин, рассматривая повествование как иллюстрацию к политической концепции, произвольно влагал в уста исторических действующих лиц вымышленные монологи. В этом отношении он, хотя и совершенно с других позиций, подходил к методам историков-просветителей

---

[1] *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. С. 126.

[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 197.

[3] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Издание второе, исправленное, иждивением братьев Слениных. СПб., 1818. Т. 1. С. XV. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

XVIII в. Мабли, считая историю лишь иллюстрацией к теории, специально оговаривал право историка вымышлять «речи». В «Истории государства Российского» Карамзин стоит на иной позиции, требуя от историка следовать за источниками. «Нельзя прибавить ни одной черты к известному, нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали нам современники; молчим, если они умолчали». Историк обязан «представлять единственно то, что сохранилось от веков в летописях и архивах. Древние имели право вымышлять речи согласно с характерами людей, с обстоятельствами <...> Но мы, вопреки мнению аббата Мабли, не можем витийствовать в Истории»[1]. Особенно любопытно то, что Карамзин противопоставляет историю и поэзии, и философии; первой — как царству фантазии, второй — как порождению человеческих «теорий». Историю гражданскую он сопоставляет с «историей естественной», то есть с науками, изучающими природу. Он стремится встать в позу естествоиспытателя, описывающего наблюдаемые феномены, но уклоняющегося от «фраз». «Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее [истории]; здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил дееписание от поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных героями веков. Самая прекрасная выдуманная роль безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы. Как естественная, так и гражданская история не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть могло». Историк — не поэт и не философ, «рассуждает только в объяснение дел <...> Заметим, что сии апофегматы бывают для основательных умов или полуистинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действий и характеров»[2].

Последнее указание особенно ценно. Оно очерчивает круг деятельности писателя, который, сковав себя требованием следования за источниками, все же рассматривает свой труд как литературное, художественное произведение. В чем же состоит его деятельность как писателя? Историку непозволительно «для выгод своего дарования» «мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясность, сила, живопись. *Он творит из данного вещества*»[3]. «Творить из данного вещества» становится ведущим художественным принципом Карамзина — автора «Истории». Показательно при этом, что, если в «Письмах русского путешественника» он, набрасывая проспект для будущего историка, советовал пропустить эпохи, бедные, как ему казалось, яркими индивидуальностями, то теперь он отстаивает соблюдение реальных пропорций в распределении материала. В «Письмах русского путешественника» он писал: «Можно выбрать, одушевить,

---

[1] *Карамзин Н. М.* История государства Российского С. XVIII, XIX.

[2] Там же. С. XXI.

[3] Там же. С. XX. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

раскрасить <...> Родословная князей, их ссоры, междоусобия, набеги половцев не очень любопытны, соглашаюсь; но зачем наполнять ими целые томы? Что не важно, то можно сократить, как сделал Юм в английской истории». В предисловии к «Истории государства Российского» тот же вопрос решен иначе: историк не имеет права произвольно менять «сюжет» своего повествования. «Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе государства, представить важные, достопамятнейшие черты древности в искусной картине и начать обстоятельное повествование с Иоаннова времени или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире; он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц, вместо многих книг трудных для автора, утомительных для читателя. Но сии обозрения, сии картины не заменяют летописей, и кто читал единственно Робертсоново Введение в Историю Карла V, тот еще не имеет основательного, истинного понятия о Европе средних веков»[1].

Как же проявлялась при этом авторская позиция? Постоянные нравственные сентенции и моралистические оценки, сопровождающие описание хода исторических событий у Карамзина, казалось, должны были бы привести к романтическому субъективизму — выдвинуть на первый план личность автора, превратив произведение в развернутый лирический монолог. Между тем, как мы видели, цель Карамзина была иной: он хотел преодолеть субъективизм, создать нечто полностью противоположное описанию «китайских теней своего воображения». Карамзин достиг этой целил, слив свою точку зрения с летописной. Из многочисленных документальных источников Карамзин почерпнул не только «сюжет» своего повествования — события и их последовательность, но и точку зрения, освещение. Восставая против философских «апофегмат», он сам совсем их не чуждался, однако стремился построить их так, чтобы они осветили события не светом философской теории XVIII в., а наивным толкованием летописца. Это очень тонко почувствовал Пушкин. Он писал: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апоффегмами хронике <...> Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи». В другом месте Пушкин вспоминал «трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным» [2].

Пушкин был глубоко прав. В своих оценках Карамзин стремился воспроизводить не только суровый морализм летописца, но и его политическую наивность, сознательно придавая забвению свой собственный опыт теоретического мышления человека, стоящего на вершине европейской культуры конца XVIII — начала XIX в. Достаточно вчитаться в текст «Истории», чтобы убедиться в том, что бесхитростность оценок автора явно нарочита.

[1] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. С. 16—17.
[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 120, 68.

Олег хотел «доказать, что казна робких принадлежит смелому». «Князь отвергнул то и другое (припасы и вино. — *Ю. Л.*), боясь отравы: ибо храбрый считает малодушного коварным». Игорь «отправился в землю Древлян», «забыв, что умеренность есть добродетель власти»[1]. *В* летописной манере Карамзин видит высшую форму исторического бытописания: летописец одновременно строго фактичен в своем повествовании («летописец наш не позволял действовать своему воображению и в описании древних отдаленных времен»[2]) и вместе с тем, носитель народной совести, вершит беспристрастный моральный суд.

Стремление растворить свое авторское «я» в стихии летописного повествования, бесспорно, обозначало сближение с народной точкой зрения[3]. Не случайно Белинский неоднократно отмечал, что именно в «Истории» Карамзин, «напитавшись» источниками, обрел тайну истинно русского слога. Современники также заметили перемену стиля Карамзина. Любопытны высказывания об «Истории» как образце национальной самобытности стиля. П. А. Вяземский писал об Александре I времени войны 1812 г.: «Малое, поверхностное знакомство с русским языком — тогда еще не читал он Истории Карамзина — вовлекло его в заблуждение»[4].

Однако достаточно сравнить установку Карамзина на сближение своей позиции с народной и аналогичные устремления Крылова, чтобы увидеть глубокое различие. Крылов слил авторскую точку зрения с народной, уловив в реальной стихии народной речи исторически сложившийся склад народного ума. При этом он был далек от мысли «очищать» или как-либо элиминировать те или иные элементы реальной народной точки зрения — он принимал ее полностью, во всей полноте и противоречивости.

Карамзина народ привлекает как носитель идеи патриархальности. Поэтому он берет в качестве нормы не современную народную точку зрения, а наивный взгляд летописца давно прошедших времен. Становясь на подобную точку зрения, он может не замечать в истории того, что, с позиций современного Карамзину сознания, было явственно видно и чего Карамзин не хотел бы замечать, — политической борьбы в обществе, социальных конфликтов. Слить авторскую точку зрения с позицией летописца — значило узаконить в качестве нормального общества общество патриархальное, не знающее трагических социальных коллизий. Но между намерением отождествить свой угол зрения с оценками летописца и осуществлением этого стремления оказалось довольно значительное расстояние. Предвзятый взгляд на природу летописных источников позволил Карамзину увидеть лишь одну сторону своего образца. Поэтому он не смог и полностью воспроизвести летописной стилистики, проникнуться ею до той степени, до которой Крылов

---

[1] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. 130, 133, 157.

[2] Там же. С. 135.

[3] См. об этом чрезвычайно интересную, хотя и не бесспорную статью: *Эйхенбаум Б. М.* Черты летописного стиля в литературе XIX в. // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР. М.; Л., 1958. Т. 14.

[4] *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. С. 260.

проникся стихией живой разговорной речи. Конечно, В. К. Кюхельбекер, вообще критически настроенный по отношению к Карамзину, преувеличивал, когда писал: «Страсть у Николая Михайловича наряжать наших древних славян во фраки! Доказательств, что эта страсть у него неисцелима, в 3-м томе довольно, напр. Мстислав Храбрый в летописи говорит: „Аще ныне умрем за Христианы, то очистимся грехов и бог вместит кровь нашу с мученики" etc. Но Николаю Михайловичу казалось неблагопристойным говорить о грехах, о мучениках и, перефразируя только конец речи старославянского витязя, он его из христианина грековосточной церкви 12 столетия жалует в философы 18-го и заставляет произнести следующую великолепную тираду: „За нас Бог и правда; умрем ныне или завтра; умрем же с честью!"»[1]

Кюхельбекер был прав, отмечая, что Карамзин определенным образом стилизовал летописный текст, совсем не ставя своей целью придерживаться его буквы, но он явно ошибался, полагая, что стилизация эта причесывала летописца под философа XVIII в.

Разница в отношении к стихии народной речи между Карамзиным в «Истории» и Крыловым в баснях не только в том, что первый берет за норму архаическую, уже не существующую речь (то есть архаический склад мысли), а второй ориентируется на живое словоупотребление: Крылов сохраняет реальный народный язык — Карамзин систематически видоизменяет стиль своих источников.

Карамзин систематически «психологизирует» находящийся в его распоряжении материал. Поскольку ситуации и действия даны — основной сферой творчества становится раскрытие психологии.

В IX томе «Истории», переходя к описанию царствования Ивана IV, Карамзин писал: «Вероятно ли, чтобы государь, любимый, обожаемый, мог с такой высоты блага, счастия, славы низвергнуться в бездну ужасов и тиранства? Но свидетельства добра и зла равно убедительны, неопровержимы; остается только представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях»[2]

В этом Карамзин и видит отличие истории от летописи — летописец дает последовательность событий, историк — раскрывает внутренние побуждения действующих лиц. Так, о Грозном он пишет: «Не вдруг, конечно, рассвирепела душа, некогда благолюбивая: успехи добра и зла бывают постепенны; но летописцы не могли проникнуть в ее внутренности, не могли видеть в ней борение совести с мятежными страстями: видели только дела ужасные»[3].

На всем протяжении «Истории» Карамзина можно проследить это стремление психологически мотивировать действие героев. Карамзин решительно отказался от летописного понимания природы человеческой личности (само это понимание не было неизменным и эволюционировало с веками)[4]. Считая, что человеческий характер неизменен на протяжении

---

[1] *Кюхельбекер В. К.* Дневник. Л., 1929. С. 139—140.

[2] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 9. С. 7.

[3] Там же. С. 20—21.

[4] См.: *Еремин И. П.* Повесть временных лет. Л., 1947; *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. М.; Л. 1958.

веков[1], Карамзин объясняет действия исторических лиц «вечными» страстями, рисуя неизменные, монументальные психологические типы. Черпая из источников данные о действиях героев, Карамзин систематически снабжает их мотивировками. Так, летописное известие о женитьбе Владимира на Анне трансформируется следующим образом. В летописи: «Она же не хотяше ити яко в полон», в «Истории»: «Анна *ужаснулась*: супружество с князем народа, по мнению греков, дикого и свирепого, *казалось ей* жестоким пленом»[2]. Карамзин внес описание внутреннего состояния Анны («ужаснулась»), превратил «объективное» сравнение, идущее от летописца, — «как в плен», в выражение субъективного состояния героини («казалось ей»), наложив это на общий психологический фон отношения греков к славянам. Подобные примеры можно было бы умножить. В истории Карамзин видит не закономерности, а людей и превращает повествование в цепь портретов, психологических характеристик: «Годунов еще томился душевным гладом и желал, чего не имел. Надменный своими достоинствами и заслугами, славою и лестию, упоенный счастием и могуществом, волшебным для души самой благородной; кружась на высоте, куда не восходил дотоле ни один из поданных в Российской державе, Борис смотрел еще выше, и с дерзким вожделением...»[3]

Даже в вопросах исторической критики источников, предпочитая ту или иную версию другой, Карамзин чаще всего исходил из критериев психологической вероятности действий и побуждений.

«История государства Российского», таким образом, обогатила русскую литературу нескончаемой цепью характеров. Перед писателями предстал грандиозный опыт психологических решений в самых широких масштабах, и опыт этот был учтен литературной традицией от Рылеева до А. К. Толстого.

Однако если, внося психологическую трактовку в духе литературы XIX в., Карамзин шел наперекор летописной традиции, то в определенном отношении он углублял, сгущал летописный стиль, резко разойдясь с традицией повествовательной прозы своего времени. Речь идет о морализации, сентенциозности стиля, тех «апофегматах», о которых говорил Пушкин.

Моралистические комментарии в историческом сочинении не были чем-либо новым в эпоху Карамзина — наоборот, подобный способ изложения был в XVIII в. общепринят. Однако именно в этом проявилась наиболее ярко позиция автора «Истории государства Российского».

И просветители XVIII в., и романтики начала XIX в. искали в истории «аллюзий» и «отношений», не мыслили ее вне связи с современностью. Первые вливали в исторический текст свои политические концепции, наделяли деятелей далекого прошлого философским мышлением XVIII в., вторые стре-

[1] Еще в 1786 г. Карамзин считал, что «ни время, ни страна, ни обыкновение не могут переменить натуру (человека. — *Ю. Л.*): источник течет везде, а токмо единый вид течения переменяется» (*Карамзин Н. М.* О происхождении зла. М., 1786. С. 89).

[2] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. 215, 176 (примечания). (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[3] Там же. Т. 10. С. 126.

мились найти в их душах выражение собственных эмоций. Подход Карамзина был иным — в летописном тексте он не искал своих мыслей и чувств. Наоборот, он усугублял в исторических источниках то, что, по его мнению, составляло их специфику, искал в них то, чего не мог найти в себе самом. Так, например, одним из наиболее острых для Карамзина вопросов была проблема объективных критериев добра и зла. Считая, что знания человека релятивны, он не мог найти в природе людей точки опоры для построения морали, различения истины и лжи, добра и зла. В этих вопросах он постоянно испытывал мучительные колебания. То ему казалось, что чуждые отдельному человеку объективные критерии морали должно диктовать государство. То он был склонен видеть основу морали в априорных, врожденных душевных задатках. Он писал А. И. Тургеневу: «Одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте что и как можете, только любите добро; а что есть добро — спрашивайте у совести!»[1]

В летописи и других древнерусских источниках Карамзин находил твердую разграниченность положительных и отрицательных оценок, веру в незыблемость и добра, и зла. «Не только описать факт, но и дать ему моральную оценку — правило, которому следовал летописец»[2]. И, сопровождая описание событий авторским комментарием, Карамзин строил его по типу рассуждений летописца. Весь текст «Истории» оценочен. Причем это оценки не такие, которыми сопровождает *историк* свое повествование, — по самой своей природе они однотипны замечаниям *современника*, оправдывающим или осуждающим тот или иной поступок правителей государства. В этом стремлении сурово оценивать власть имущих, вызывая на суд давно уже умерших, тоже было нечто от летописного подхода к материалу. «Самая доверенность Ярополка в чести Владимировой изъявляет доброе, всегда неподозрительное сердце; но государь, который действует единственно по внушению любимцев, не умея ни защитить своего трона, ни умереть героем, достоин сожаления, а не власти». «Сей варвар не боялся мести за свое вероломство»[3], и т. д.

Однако ориентация на летописный стиль не означала того, что Карамзин ставил перед собой неосуществимую задачу возрождения летописи как жанра.

Погодная система записи не была для летописи чем-то внешним — она отражала самую сущность мироощущения, воспринимавшего жизнь раздробленно, не в причинной, а лишь во временной последовательности событий. «Классическая» летопись по своей природе чужда эпосу — эпическому целостному взгляду на жизнь[4]. Между тем Карамзин стремился к созданию именно эпической картины прошлого Русской земли. Он писал: «Читатель заметит, что описываю деяния не врозь, по годам и дням, но

[1] *Карамзин Н. М.*. Соч. Т. 3. С. 737.

[2] *Еремин И. П.* Повесть временных лет. С. 11.

[3] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. 200; Т. 7. С. 78.

[4] Ср.: «Сборный характер летописного повествования — прямой результат его исконной „фрагментарности“» (*Еремин И. П.* Повесть временных лет. С. 70—71).

совокупляю их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний»[1].

Карамзин стремился придать своей «Истории» характер эпоса. Вопрос о том, что понимать в пределах литературы XIX в. под прозаической эпопеей, требует некоторого уточнения. Специально занимавшийся этим А. В. Чичерин дает приблизительно следующее определение романа-эпопеи: признак его — «громадность в глубину и вширь познавательных задач эпоса, который становится искусством поэтического понимания и изображения и отдельного типа людей и народа, и современности и истории, и мельчайшего предмета и мира в целом». «Первый признак этого жанра — полнота и огромный объем настоящего знания человека и общества». «Роман-эпопея — это произведение большого масштаба, в котором частная жизнь связана с историей народа. В романе-эпопее сопоставлены и противопоставлены разные классы общества»[2]. При этом остается неясным: если роман-эпопея — «естественное завершение ряда прозаических жанров», высший жанр реалистической прозы («роман-эпопея — это философия современной жизни, философия истории в повествовательной форме»), то чем объяснить тот очевидный факт, что развитие русского романа XIX в. не пошло по пути создания прозаической эпопеи? Сам А. В. Чичерин должен признать, что «в дореволюционной русской литературе „Война и мир“ — единственный пример романа-эпопеи. Никто ни в XIX, ни в начале XX в. не последовал по пути, открытому Толстым»[3]. К этому можно было бы прибавить, что не последовал по этому пути и сам Толстой. Если «роман-эпопея — крайнее и самое полное по своим возможностям проявление реализма»[4], то следует ли, что «Анна Каренина», «Воскресение», которые, по признанию самого А. В. Чичерина, не принадлежат к этому жанру (а можно было бы добавить — и повести Толстого 1890-х гг., и повести Чехова), — произведения менее глубокого реализма, ставят более мелкие темы или в них в меньшей степени «сопоставлены и противопоставленны разные классы общества»? Случайно ли то, что именно в период обострения своего социального критицизма, по мере проникновения в трагическую глубину общественных конфликтов Толстой отказался от эпической формы романа, как пришлось отказаться (на деле) от нее Гоголю при переходе от «Тараса Бульбы» к «Мертвым душам»? И не преувеличивает ли автор, говоря, что «возникновение романа-эпопеи в эпоху критического реализма в России в творчестве передового и гениального писателя придало „Войне и миру“ характер сурового разоблачения привилегированного класса, самодержавия, военных и гражданских властей»?[5] Разве Наташа, Николенька, старый граф Ростов, отец и сын Болконские не принадлежат к «привилеги-

[1] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. XXIII—XXIV.

[2] *Чичерин А. В.* Возникновение романа-эпопеи. М., 1958. С. 12, 14, 18.

[3] Там же. С. 22.

[4] Там же. С. 23.

[5] Там же. С. 19. Правильно, как нам кажется, вопрос этот освещен в кн.: *Билинкис Я. С.* О творчестве Л. Н. Толстого. Л., 1959 (глава «Мир в „Войне и мире“»).

рованному классу» так же, как Кутузов к «военным властям»? Не явно ли, что автор взял формулу, содержательную лишь в применении к более позднему периоду творчества Толстого, периоду, когда писатель не создавал эпических романов, и перенес ее на «Войну и мир»?

Одним из основных свойств эпической прозы — и это вполне подтверждается материалом и «Войны и мира», и «Тараса Бульбы» — является патриархальный взгляд на жизнь, взгляд, которому еще не раскрылся трагизм внутренних социальных конфликтов общества, а народ все еще мыслится как некое национальное единство. Не случайно в эпоху, когда Россия вступила на путь буржуазного развития и все конфликты времени обнажились, создание эпического романа стало невозможным. Социальный роман возникал как антитеза эпическому.

Именно в таком понимании термина «эпическая проза» можно говорить об эпической природе «Истории государства Российского».

Отказавшись от второго, «философского» плана просветительской прозы XVIII в., Карамзин объявил реальную историческую судьбу России и высшей теорией, и политической «нормой». Он склонился перед вековым укладом жизни, обычаями, даже суевериями («не боялся с важностию говорить о том, что уважалось предками»[1]), не подвергая их никакому суду. История была превращена в эпическую поэму в прозе — произведение, воспевающее русскую историю как эпически-патриархальную картину жизни государственного организма. Описание сложных общественных конфликтов XVI и XVII вв. не поколебало патриархальности взгляда на события. Карамзин рисует напряженные, драматические и кровавые события, но это не противопоказано эпосу. Патриархальность, эпичность общего взгляда автора проявляется даже не в том, что зло и добро получают хотя бы моральное — в оценке историка, но заслуженное воздаяние. Сами понятия добра и зла четко определены и просты по своему внутреннему содержанию. Социальные противоречия воспринимаются лишь как проявление борьбы добродетельных и злонравных людей.

Сознательное упрощение авторской позиции, стремление взглянуть на мир глазами средневекового примитивного сознания именно на рубеже XVIII и XIX вв. было вполне закономерно для определенной социальной позиции. В этом смысле представляет интерес сопоставление последнего произведения Карамзина и «Мучеников» Шатобриана.

Позиции Шатобриана и Карамзина в этих двух произведениях во многом сходны. Шатобриан, вначале задумавший типичный просветительский «философский роман» о счастливых и добрых дикарях, пережил затем идейный кризис[2]. Он разочаровался в просветительских идеалах, а следовательно, и в «философской» двуплановой прозе. На рубеже перехода от романа XVIII в. к романам новой эпохи Шатобриан обратился к проза-

[1] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. XXIII.

[2] Анализ «Мучеников» Шатобриана см. в кн.: *Реизов Б. Г.* Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958. С. 7—68.

ическому эпосу. Так возникли «Мученики». Причем, как и Карамзин, Шатобриан стремился противопоставить «философскому веку» не романтический субъективизм — он тоже казался «мятежным», — а власть традиции и примитива. Шатобриан не только воспел социальную примитивность патриархального гомеровского и раннехристианского общества (оба они сближены именно по принципу простоты общественных отношений, чуждых внутренних конфликтов), противопоставив их агонизирующему обществу обнаженных пороков, политической борьбы и враждующих страстей — Риму, — он обратился к примитивной стилистике, воспроизводя то приемы античного эпоса, то стиль средневековой агиографии. Этот сложный сплав составляет ткань авторского повествования и создает тем самым образ автора, возводящий примитивность мышления в норму. Это — автор, являющийся для Шатобриана идеалом, в точке зрения которого Шатобриан хочет растворить свою, избавиться от того трагического знания, которым обогатила людей конца XVIII — начала XIX в. эпоха французской революции. Конечно, этот условный автор, а не Шатобриан верит в непосредственное вмешательство ангелов и святых в земную жизнь, верит в добрых и злых советников, заменяет связь причины и следствия связью между чудом и его результатами. Достаточно обратиться хотя бы к знаменитой заключительной сцене гибели героев на сцене римского цирка, чтобы убедиться в том, как последовательно старался Шатобриан сделать средневековую наивную точку зрения своей. Встречаясь в минуту смерти со своей супругой во Христе, Эвдор обращается к ней с речью, прямо воспроизводящей агиографические каноны. Средневековая литература заменяет описание душевных качеств героя сравнением его с библейскими персонажами, наделенными теми или иными добродетелями. Так же поступает и Эвдор, восклицающий: «Прекрасна ты как Рахиль, мудра как Ревека, верна как Сарра»[1]. Неслыханная свадьба на арене цирка, перед разъяренной толпой гонителей, происходит при непосредственном вмешательстве небес: «В то же мгновение распахнутое небо восславляет эту святую свадьбу: ангелы воспевают свадебную песнь; мать Эвдора указывает Богу на своих соединенных детей, готовых появиться у подножия вечного трона, девы-великомученицы плетут Кимодокии свадебный венец, Иисус Христос благословляет блаженную чету и Святой Дух наделяет их даром неистощимой любви»[2]. Нетрудно почувствовать, что Шатобриан ориентируется здесь не только на средневековую агиографию, почти не знающую описания поз и жестов, но и на икону, застывшую динамику которой он воспроизводит почти зримо. От средневековой литературы идет и другое — активное действие принадлежит сверхъестественным силам, люди пассивны. И язычники-римляне могут совершать доброе дело, если становятся орудием святой силы: «Малое число (римлян. — *Ю. Л.*), внутренне подвигнутое

[1] Les Martyrs suivis des remarques. Par M. le vicomte de Chateaubriand. Paris, 1886. P. 382. (Перевод мой. — *Ю. Л.*)
[2] Ibid.

милосердным Богом, казалось, было растрогано юностью Кимодокии, они хотели пощады для этой христианки»[1].

Разумеется, Шатобриан был бесконечно отдален от наивной веры в чудеса. Вряд ли объяснит вопрос и чисто литературная проблема допустимости христианского миракля в эпопее. Автор «Мучеников» стремился сконструировать тот взгляд на события, утвердить то миросозерцание, которое не знало ни критицизма, ни сомнений, ни трагической разорванности человека начала XIX столетия. Именно этим он близок, при всем бросающемся в глаза различии, Карамзину — автору «Истории государства Российского». Сближает их и обращение к историческому материалу как высшей, по отношению к просветительским теориям, реальности. Эпопея Шатобриана имеет вымышленный сюжет, авторская фантазия не принесена здесь так решительно в жертву безличной стихии истории, но и Шатобриан неоднократно подчеркивал документальность, фактичность своего произведения. Это «полный свод подлинных документов, касающихся истории франков и галлов». «Все самые незначительные мелочи в „Мучениках" имеют свое реальное основание. Я убежден, что Вергилий и Гомер не придумывали ничего. Потому-то их поэмы в настоящее время и считаются историческими документами»[2].

Но и то, что Карамзин написал историю; а Шатобриан — лишь эпический роман с историческим сюжетом, тоже имело свои причины. Безусловное принятие истории, сама мысль о том, что реальный факт не нуждается в теоретическом оправдании, имели в России и во Франции разный смысл: Франция была страной, в которой *уже и революция успела стать историей*. Противопоставление теории и истории, свойственное просветителям XVIII в., приобретало совершенно новый смысл: теперь если «теоретики» оправдывали революцию в ее делах, то сторонники фактов, историки, говорили о ее неизбежности и принимали ее последствия. На долю феодальной реакции оставалась лишь химерическая надежда возрождения средневековья, загримированного под социальную утопию. Естественно с этих позиций ее стремление опереться не на летопись или хронику, а на житие и мистерию. Иным было положение в России — русская история все еще оставалась историей феодального государства. На нее можно было ссылаться как на аргумент, противопоставленный теориям социальной справедливости. С этим связан и особый — консервативный — «реализм» Карамзина, требующего от историка служить «не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы»[3]. Этим же объясняется, почему именно объективизм Карамзина в первых томах его «Истории» не удовлетворил декабристов, которые требовали не только изменения политической позиции автора, но и *большей субъективности*, упрекая Карамзина в холодности к родной истории.

---

[1] Les Martyrs suivis des remarques. P. 383.

[2] Цит. по: *Реизов Б. Г.* Французский исторический роман в эпоху романтизма. С. 42, 57.

[3] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. XIX.

Отношение декабристов к «Истории» Карамзина хорошо изучено[1]. К характеристике его, данной в исследовательской литературе, необходимо добавить лишь то, что в ходе изменений в позиции историографа, которая заметно чувствуется (хотя и не учитывается исследователями!) в IX—XIII томах, отношение декабристов к «Истории» менялось. Оценки делаются сочувственнее. Это тем более примечательно, что общая тенденция развития декабристской мысли этих лет шла в направлении все большего углубления критики карамзинизма.

Первые тома «Истории государства Российского» писались в исторических условиях, весьма отличных от времени их появления. 28 января 1818 г. вышло из печати (в продаже появилось 1 февраля) восемь томов «Истории». Закончены они были в декабре 1815 г. (дата под предисловием — 7 декабря, под посвящением — 8 декабря), а писались с 1803 г. Первые тома были написаны еще до войны 1812 г. В 1811 г. Карамзин уже читал царю описание татарского нашествия и Куликовской битвы.

Время создания этих томов не могло не отразиться на авторской позиции. Годы между Тильзитом и Отечественной войной были для Карамзина временем наибольшего сближения с лагерем реакции. Боясь для России военных испытаний, неизбежность которых он предвидел, Карамзин панически опасался поражения, которое должно было, по его глубокому убеждению, привести к внутреннему социальному кризису. Идея сильной государственности, определившаяся в сознании Карамзина еще в период «Вестника Европы», трансформировалась в оправдание безграничного самодержавия. В эти годы Карамзин уже не корректировал прославление безграничного абсолютизма своей любимой ссылкой на личную привязанность к свободе и республиканскому строю как пленительной, хотя и неосуществимой мечте. Разница между умеренным консерватизмом Карамзина и реакционностью шишковско-растопчинского лагеря почти стерлась. Внешне это выразилось в сближении писателя в 1811 г. с тверским двором Екатерины Павловны.

Окончательная доработка, написание предисловия и посвящения — все это относится к концу 1815 г. — времени завершения антинаполеоновских войн.

Счастливый ход событий поднял на своем гребне весьма низко упавший в критическую эпоху 1812 г. авторитет царя. Даже в передовых кругах Александр I был окружен ореолом освободителя Европы. Вспомним хотя бы праздник, данный в его честь московскими либералами (душой организации был кн. П. А. Вяземский). Пушкину, не устававшему, по собственному выражению поэта, «подсвистывать» царю до могилы, он запомнился в 1815 г. как

[1] См.: *Волк С.* Исторические взгляды декабристов // Вопросы истории. 1950. № 12; *он же.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958; *Кафенгауз Б. Б.* Об исторических взглядах декабристов // Доклады и сообщения Института истории. М., 1956. № 10; *Кафенгауз Б. Б.* Декабристы — критики «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59; *Кафенгауз Б. Б., Грумм-Гржимайло А. Г.* Декабрист А. О. Корнилович // Корнилович А. О. Соч. и письма. М.; Л., 1957.

Народов друг, спаситель их свободы...

В этой обстановке формулы посвящения «Истории» царю не производили впечатления расходящихся с господствующим настроением общества. Однако увидеть свет им предстояло в 1818 г., когда обстановка значительно изменилась. Черты послевоенной политики правительства выступили уже со всей определенностью, вместе с тем оформилось и конспиративное революционное движение. В этих условиях идеи первых восьми томов «Истории государства Российского» прозвучали резким диссонансом. «История» вызвала решительное осуждение передового лагеря.

Девятый и последующие тома писались в иных условиях, в годы мощного нарастания освободительного движения в Европе, усиления власти Аракчеева в России, резкого падения авторитета царя. Внимательный наблюдатель политической жизни, Карамзин в то же время подвергался непрерывному воздействию со стороны деятелей, соприкасавшихся с революционным движением. С ним спорят, опровергают его идеи, раскрывают свои собственные убеждения М. Орлов[1], П. А. Вяземский, Николай и Сергей Тургеневы[2], А. С. Пушкин[3], Н. И. Кривцов[4]. Взгляды Карамзина не менялись в своих основах, однако акценты существенно смещались. Карамзин сознательно стремится (правда, не всегда успешно) отделить себя от реакционного лагеря. В острый момент убийства Коцебу он оговаривает свою веру в пользу просвещения и университетов. Занимая типичную умеренно-либеральную позицию, он винит революционеров за то, что они толкают правительство на путь реакции: «Занд служил Стурдзе. Многие говорят теперь: „Стурдза прав!“ Не я. Если поживете лет сорок, много увидите и меня вспомните»[5].

Пушкин, совершенно в духе Н. Тургенева, в споре прямо приравнял «любимые парадоксы» Карамзина к реакционным взглядам: «Я сказал: итак вы рабство предпочитаете свободе. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев души прекрасной»[6].

В эти годы Карамзин все чаще повторяет мысль о том, что благо человека вообще не зависит от политического порядка. Он многократно подчеркивает свое убеждение в том, что истинная, необходимая человеку свобода состоит в личной независимости и уважении к самому себе. Никакой политический

---

[1] Ср.: «Орлов был у нас и спорил со мною, как прежде бывало» (Письмо П. А. Вяземскому от 15 марта 1817 г. // Письма Н. М. Карамзина князю П. А. Вяземскому. С. 26.

[2] См.: *Лотман Ю.* П. А. Вяземский и движение декабристов // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 98. 1960. С. 61 и др. О спорах и разногласиях с С. Тургеневым см. письмо Е. А. Карамзиной брату П. А. Вяземскому и ироническую приписку Карамзина «о либералах, которые не либеральны даже и в разговорах», датированную 23 марта 1820 г. (Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 181).

[3] Особенно острые дискуссии Карамзина с Пушкиным и Вяземским разгорелись в 1819 г. См.: *Томашевский Б. В.* Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1.

[4] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 293.

[5] Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 75.

[6] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 306.

порядок этого не может дать человеку. Подобную мысль можно было истолковать как направленную против революционных идей, утверждающую бесполезность любых форм политической борьбы, и она действительно имела подобный смысл. Но вместе с тем эта идея вступала в противоречие с неоднократно высказывавшимся Карамзиным прежде положением о спасительности самодержавия, которое ведь тоже явление политической жизни. И то, что Карамзин, продолжая отстаивать самодержавие в принципе, в последних томах «Истории» сосредоточил внимание не на угрозе «анархии», а на опасности деспотизма, знаменовало определенный и глубокий сдвиг в его миросозерцании. Показательно его сближение в эти годы с либеральной Елизаветой Алексеевной, гр. Каподистриа и упорное нежелание даже внешне продемонстрировать уважение Аракчееву. Резкое обострение политической активности Карамзина падает на осень — зиму 1819 г. 17 октября 1819 г. Карамзин читал царю «Мнение русского гражданина» и сказал ему в беседе: «Государь, у вас много самолюбия <...> Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. Что я сказал вам, я сказал бы вашему отцу <...> Я презираю скороспелых либералистов (liberalistes du jour); я люблю лишь свободу, которой у меня никакой тиран не в силах отнять». А в конце декабря он записал этот разговор, добавив: «Душа моя остыла (к царю. — *Ю. Л.*)»[1]. Не случайно в это же самое время он решился на необычный акт: приглашенный выступить на публичном чтении в Российской академии, он решил прочесть отрывок о деспотизме и зверствах Ивана Грозного. 17 декабря 1819 г. он писал Вяземскому: «Хочу в торжественном собрании пресловутой Российской Академии читать несколько страниц об ужасах Иоанновых: президент счел за нужное доложить о том через министра государю!»[2]

Видимо, по распоряжению царя чтение было допущено, и Шишков даже вручил Карамзину золотую медаль, однако общественный резонанс чтения раскрывает его подлинный смысл. Много лет спустя митрополит Филарет вспоминал в письме к Ф. П. Литке: «...[Карамзин] читал из своей Истории царствование Иоанна Грозного. Читающий и чтение были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более бы покрыла тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя»[3]. Даже умеренный Ал. И. Тургенев увидал в изображении Грозного «краеугольный камень» «русской возможной конституции»[4].

Сам Карамзин чувствовал, что нарушает свою же традиционную позу беспристрастного наблюдателя политической жизни. Так, в письме П. А. Вя-

---

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 9.

[2] Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 92.

[3] Чтения в Имп. московском Обществе истории и древностей. 1880. Вып. IV. С. 12.

[4] *Лотман Ю.* Проблема народности и пути развития литературы преддекабристского периода // О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. М.; Л., 1960. С. 43.

земскому от 21 января 1820 г., уговаривая его быть осторожнее в политических разговорах, писал: «Вы еще молоды, любезнейший: умеете блистать искренностью, а теперь в вашем дипломатическом элементе не худа и скромность». Но тут же спохватился и добавил: «Le Diable prêche l'Evangile; но я уже стареюсь: мне пора оказывать характер»[1].

Однако резче всего Карамзин «оказал характер» — вмешался в политическую жизнь — самим текстом IX тома «Истории». Оправдывая самодержавие, Карамзин старался отделить его от «тиранства». Тот факт, что самодержавный «правитель», по Карамзину, не может быть ограничен никакими политическими институтами, еще не значит, что власть его безгранична. Она ограничена государственной пользой и естественным правом человека на собственное достоинство. Нарушение их превращает самодержавие в деспотизм. Политическая концепция Карамзина, находившаяся на грани бледного либерализма и умеренного консерватизма, не была чем-либо новым в политической жизни 1820-х гг. Дело в ином. Читатель воспринимал не политические апофегматы Карамзина, а картину политического деспотизма, еще не слыханную в русской литературе. Острота ее усугублялась тем, что развернута она была на русском материале.

В предисловии к первому тому «Истории» Карамзин определял цель истории следующим образом: «Правители, законодатели действуют по указаниям истории и смотрят на ее листы как мореплаватели на чертежи морей <...> Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть уже обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье»[2]. Для массового читателя польза истории определялась следующим образом: «...и простой гражданин должен читать „Историю". Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках»[3]. Таким образом, подлинной аудиторией историка является правительство («история народа принадлежит царю»), рядовой читатель извлекает из нее лишь готовность примиряться с правительственными действиями. Важно и другое: источником основного зла в государстве — мятежей — является народ, а царь — сила, гарантирующая общественное благоденствие. В девятом томе польза истории определяется иначе: история предупреждает об ужасах тиранства, она — предупреждение самодержавию. По-прежнему считая самодержавную систему лучшей, Карамзин вместе с тем видит и зыбкость граней, отделяющих ее от деспотизма. Он ищет гарантий, которые могли бы предохранить самодержавие от деградации. Уже сама постановка вопроса знаменательна: прежде самодержавие само считалось высшей общественной гарантией — теперь Карамзин ищет гарантий от самодержавия. В 1802 г. он писал: «Власть есть

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 93—94. «Диавол проповедует Евангелие» (*фр.*).

[2] За этой формулой скрывается мысль об исконной враждебности интересов отдельных членов общества и о самодержавии как блюстителе общественных интересов.

[3] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. IX.

для народов не тиранство, а защита от тиранства <...> самое турецкое правление лучше анархии, которая всегда бывает следствием государственных потрясений»[1].

В девятом томе, в параграфе, специально озаглавленном «Польза истории», Карамзин ставит акценты иначе: «Жизнь тирана есть бедствие для человечества[2], но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною дееписатель может в правлении самодержавном выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны, но живые страшатся вечного проклятия истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления».

На протяжении многих страниц девятого тома Карамзин рисует ужасы деспотизма, прямо называя царя тираном. В условиях цензурного режима его эпохи это была совершенно неслыханная вещь. «Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы; но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим». Повествуя об успехах политики Иоанна IV, Карамзин добавляет: «Не доставало народу единственно любви к государю, а государю счастия: ибо его нет для Тиранов». Он говорит о «злобном своенравии Тирана»[3]. Особенно примечательно, что там, где самодержавие превратилось в деспотизм, Карамзин уже не считает повиновение безусловной обязанностью гражданина — он скорее изумляется ему, чем оправдывает. После сообщения об учреждении «опричнины» он с горечью замечает: «Никто не противоречил: воля царская была законом»[4]. Карамзин специально останавливается на отмене древнего права духовенства ходатайствовать за приговоренных к казни, истолковывая этот обычай как форму морального ограничения власти царя (в политические гарантии он не верит!): «Ходатаев уже не было! Духовенство могло только словами орошать алтари и воссылать теплые молитвы к Богу»[5].

Стремление опереться в своем осуждении деспотизма на какую-либо теоретическую систему заставило даже Карамзина повторить некоторые общераспространенные формулы демократической социологии XVIII в.

Так, определяя право человека хотя бы на пассивное сопротивление тирану — бегство, он пишет: «Бегство не всегда измена; гражданские законы

---

[1] *Карамзин Н. М.* Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени // Вестник Европы. 1802. № 12.

[2] В рукописи он заменил было «для человечества», поставив «для смертных». Но получившийся в результате оттенок религиозной, а не политической морализации его не устроил, и он вернулся к первоначальной формуле (РГИА. Ф. 951. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 60).

[3] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 9. С. 23, 42, 58.

[4] Там же. С. 82.

[5] Там же. С. 84.

не могут быть сильнее естественного: спасаться от мучителя»[1]. Это почти те же формулы метафизической этики, которые мы широко встречаем у философов XVIII в. Например, Радищев писал: «Не есть предатель, оставивший свое отечество». О том, что гражданское право не отменяет естественного, Радищев писал: «Закон положительный не истребляет, — не долженствует истреблять и немощен всегда истребить закона естественного». «Предписание же закона положительного не иное что быть должно, как безбедное употребление прав естественных»[2].

Такая точка зрения не только резко расходилась с многочисленными высказываниями самого Карамзина периода «Вестника Европы», но и не соответствовала его собственным «апофегматам» в других местах того же девятого тома[3]. Появление подобных аргументов — совсем не признак колебаний Карамзина в сторону демократической идеологии XVIII в. Оно лишь свидетельствует о глубокой растерянности автора перед изображаемой им картиной и о невозможности объяснить ее в рамках собственных политических концепций.

Наблюдение над сохранившейся частью рукописи девятого тома свидетельствует, что Карамзин, по мере обработки, усугублял, а не ослаблял антитиранические сентенции. Так, в изложение причин неудач в Ливонии Карамзин вставил на полях рукописи большое политическое рассуждение, в котором объяснил военное поражение деспотизмом Иоанна. Однако, не остановившись на этом, он обобщил эту мысль в вывод о гибельности тиранического правления для военной мощи государства и, противопоставив царя подданным, назвал его изменником: «Россия казалась слабою, почти безоружною, имея до осьмидесяти станов воинских или крепостей, наполненных снарядами и людьми ратными — имея сверх того многочисленные воинства полевые, готовые, устроенные на битву!

Зрелище удивительное, [чудесное][4], навеки достопамятное для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли; разительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе, и в государстве! Не изменились Россиане, но царь изменил им!»[5]

Вместе с тем некоторые высказывания пришлось при подготовке к печати ослабить. Так, после сообщения об убийстве царевича Иоанна Карамзин писал: «Есть, кажется, пределы во зле, коим уже нет истинного раскаяния; нет свободного, решительного возврата к добру <...> Исправление такого мучителя могло бы соблазнить человечество»[6]. Карамзин несколько ослабил значение сентенции, ограничив сферу развращающего влияния деспота:

---

[1] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 9. С. 58—59.

[2] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 3. С. 31, 10, 11.

[3] См.: *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 9. С. 167—168.

[4] Зачеркнуто в рукописи.

[5] РГИА. Ф. 951. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 15 об. Ср.: *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 9. С. 315—316.

[6] РГИА. Ф. 951. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 31.

в печатном тексте он угрожает политической нравственности не «человечества», а лишь «людей слабых». А следующий за этим текст: «Он [царь] как бы спешил облегчить свою горесть хвастливыми ее знаками и показным покаянием» — был вообще вычеркнут[1]. Но и в таком виде сентенция Карамзина поразила даже строго расположенного к нему Кюхельбекера. В крепости он записал в дневнике 18 сентября 1834 г.: «Сегодня я возвратился к старику своему Карамзину. Он редко бывает глубок. Вот почему меня особенно поразила следующая мысль, глубины ужасной». Далее следует приведенная выше цитата[2].

Изменение авторской позиции не могло не сказаться на деформации строя произведения. Переменилась конструкция того образа, от лица которого велось повествование, того идеального облика автора, который складывался из всей суммы оценок, сентенций и рассуждений историка. Если первые тома создавали образ простодушного летописца, главным положительным качеством которого объявлялась наивность, то теперь перед читателем возникал носитель высокого патриотического сознания, суровый гражданин, судящий царей беспристрастно и беспощадно. В своем лице он воплощает грозный для тиранов суд потомства, в котором Карамзин пытается найти точку опоры для государственной нравственности. В этом смысле показательна ясно прозвучавшая ориентация автора девятого тома «Истории» на повествовательные приемы Тацита.

Произведения Тацита были давно и хорошо известны Карамзину. Интересно, что впервые он обратил внимание на римского историка в годы павловского царствования, в то самое время, когда в творчестве его мелькали нотки протеста против тирании. В это время было написано стихотворение «Тацит», объявлявшее беспрекословное подчинение деспоту — подлостью: стих, полюбившийся П. А. Вяземскому и обращенный им потом против Карамзина.

В 1798 г. Карамзин издавал «Пантеон иностранной словесности», куда включил отрывок из Тацита (кн. III, с. 249—264), из Саллюстия о Катоне и Цезаре (кн. III с. 236—241) и отрывок из «Фарсалии» Лукана — «Катон в Ливии» (кн. III, с. 1—24). Особенно насыщенным материалами, так или иначе касающимися вопросов деспотизма и свободы в Риме, оказался третий том. Такой подбор материалов не был не замечен цензурой. Карамзин писал Дмитриеву: «Я перевел несколько речей из Демосфена, которые могли бы украсить „Пантеон“; но censoры говорят, что Демосфен был республиканец и что таких авторов переводить не должно и Цицерон также — и Саллюстий также... grand Dieu! Что же выдет из моего „Пантеона“? План издателя рушится»[3]. Видимо, из-за цензурных трудностей Карамзин прекратил издание. Тем более примечательно, что в 1818 г. он переиздал его второй раз. Это было то самое время, когда Карамзин писал В. Н. Каразину: «Теперь занимаюсь девятым томом, то есть ужасами тиранства»[4].

---

[1] РГИА. Ф. 951. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 31.

[2] *Кюхельбекер В. К.* Дневник. С. 212.

[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 97.

[4] Письмо от 25 мая 1818 г. (Архив ИРЛИ. Ед. хр. 61/14. Л. 3 об.)

В 1803 г. Карамзин писал: «Летописцы наши не Тациты: не судили государей, рассказывали не все дела их, а только блестящие»[1]. Ближайшее ознакомление с летописными источниками убедило Карамзина в том, что отличие летописного стиля от трудов римского историка заключалось в ином: летописец не скрывает дурных поступков, но главная сила осуждения его направлена не на человека, а на диавола, как на вечный источник зла. Это придает всему повествованию тон эпического простодушия. Сверх того, летописец в «Повести временных лет» видит историю как смену событий, а не борьбу характеров. Карамзин последовал данным источников, отказавшись от романтического воссоздания сильных и сложных характеров для древнейшего периода русской истории.

Первой яркой индивидуальностью в русской истории для Карамзина был Иван Грозный. В 1811 г. он писал И. И. Дмитриеву: «Готовлюсь описывать времена Ивана Васильевича. Вот прямо исторический предмет! Доселе я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собою песчаную степь Африканскую, а перед собою — величественные дубравы, красивые луга, богатые поля»[2].

Сочетание яркой живописи характеров с гражданственностью оценок, создающих образ повествователя — судьи тиранов, — именно таков был метод Тацита как писателя. Этим он привлекал Карамзина.

Параллель между Иваном IV и римскими императорами эпохи упадка составляет подтекст девятого тома. Говоря о степени достоверности обвинений, возводимых Курбским на Грозного, Карамзин заключает: «Или все злодейства Калигулы, Нерона суть басни, или Иоанновы жестокости не подвержены сомнению: доказательства первых не достовернее вторых»[3].

Карамзин не случайно обратился к Тациту: здесь он находил резкое осуждение тирании, проповедь гражданских добродетелей и, одновременно, неверие в возможность при современном уровне нравственности восстановления республики[4].

У Тацита Карамзин находил и образ историка-судьи, произносящего от лица потомства нравственный приговор деспоту: «Главная цель летописи (annalium), по мнению моему, в том заключается, чтобы добрые дела не были забыты, а речи и деяния, достойные осуждения, обуздать страхом позора в глазах потомков»[5].

Тацит не верил в жизненность республиканских идеалов и противопоставлял деспотизму личную добродетель граждан. Не в политических инсти-

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 1. С. 424.

[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 154.

[3] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 9. Примечания. С. 5.

[4] Говоря о лицемерной речи Тиберия над гробом Августа, Тацит пишет о «пустых и смехотворных помыслах восстановления республики и консулов» — «vana et toties irrisa revolutus, de reddenda republica, utque consules» (Annales C. Cornelii Taciti. L. IV, IX). Далее он говорит о том, что республику «легче хвалить, чем учредить, а если и учреждена будет — надлежит ей разрушиться» (Там же. XXXIII). Мысли эти явно импонировали карамзинскому «республиканизму в душе».

[5] Annales C. Cornelii Taciti. L. III, LXV.

тутах, а в «римской доблести» искал он положительного начала. Рядом с тиранами появляются образы «граждан»: «Это время не было, однако, лишено доблести и мужества. Еще являлись и славные примеры: матери сопровождали сыновей, убегавших от казни, жены отправлялись с мужьями в изгнание <...> Были знаменитые граждане, выдержавшие с великой твердостью жестокие преследования. Известны случаи отважной гибели, равные тем, которыми славны герои древности».

Так же строит свое повествование и Карамзин: «Еще некоторые говорили о долге и чести; их не слушали — но они говорили, что думали, и явили пример, достойный лучших времен Рима»[1].

Эту сторону последних томов «Истории государства Российского» современники живо почувствовали: реакция на их появление со стороны декабристов резко отличалась от отзывов о первых томах. Рылеев, прочтя девятый том, писал: «В своем уединении прочел я девятый том Русской Истории. Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита»[2]. «Тацит-Карамзин с своим девятым томом» упоминается в стихотворении Рылеева «Пустыня (К. М. Бедраге)»[3]. Кюхельбекер, очень холодно отнесшийся к началу труда Карамзина, писал: «Надобно сказать, что IX том „Истории государства Российского“ — лучшее творение Карамзина»[4]. Варшавский знакомец Вяземского поэт Фовицкий писал ему 24 июля 1821 г.: «9 том Истории Н. М. Карамзина я уже прочитал до половины. Боже мой! Что за зверь был Грозный! Вот вам — поэтам предмет! Зачем пугать призраками слабые души! Возьмитесь-ка восплакать над бедствиями России в царствование Грозного. Устрашите жестоких тиранов злодействами им подобных, пролейте слезы жалости и утешения для добрых, которых сердце вскипели негодованием на злодеяние, пролейте свет истины во мрак политических систем деспотизма и проч. и проч. Ах, если бы я был поэт!»[5]

Несмотря на свойственную ему нестойкость характера, Фовицкий по своим литературным взглядам, несомненно, принадлежал к околодекабристскому кругу. Не случайно он уговаривал Милонова не оставлять высокой обличительной сатиры[6]. Чувства, которые испытал Фовицкий, читая девятый том «Истории» Карамзина, с ним разделяли многие декабристы. Штейнгель вспоминал: «Между тем по ходу просвещения, хотя постепенно цензура делалась строже, но в то же время явился феномен небывалый в России — девятый том „Истории государства Российского“, смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих

---

[1] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 9. С. 286.

[2] *Рылеев К. Ф.* Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки. М., 1956. С. 363.

[3] Там же. С. 256.

[4] *Кюхельбекер В. К.* Дневник. С. 211.

[5] РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2951. Л. 5.

[6] Известно стихотворение Милонова «К И. М. Ф...у на вызов его продолжать мои сатиры» (Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михаила Милонова. СПб., 1819. С. 173—176).

царей открыто наименовавший тираном, какому подобных мало представляет история!» Штейнгель ставит девятый том «Истории» Карамзина в один ряд с произведениями, подобными «Волынскому, Исповеди Наливайки, Разбойникам-братьям»[1]. О громадном успехе чтения Карамзиным отрывков из девятого тома в Российской академии сообщал А. Бестужев[2]. А Лорер шутливо заметил в своих записках, что в дни продажи девятого тома была «в Петербурге от того такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного». Он же сохранил в своих воспоминаниях слова великого князя Николая Павловича, назвавшего автора девятого тома «негодяем, без которого бы народ не догадался бы, что между царями есть тираны»[3]. М. Бестужев перечитывал в крепости девятый том «Истории» и «предался чтению с каким-то лихорадочным чувством любопытства». На одной из страниц этой книги он начертил обожженным прутиком азбуку для перестукивания[4]. Именно чтение девятого тома послужило толчком для возникновения «Дум» Рылеева, как бы откликнувшегося на требование Фовицкого.

Таким образом, эволюция авторской позиции в «Истории государства Российского» обусловила сдвиг всей идейно-художественной системы, что было отмечено современниками. Нет, конечно, никаких оснований и в этот период видеть Карамзина единомышленником декабристов или даже «либералом 20-х годов». Но ведь в круг авторов, на творчество которых опирались декабристы, входили не только деятели тайных обществ или сочувствующие им. Декабристы опирались на всю прогрессивную литературную традицию от Тацита до Фонвизина. И если первые тома «Истории» были ими восприняты как произведение враждебное, то последние вызвали к себе совсем иное отношение.

Вместе с тем «История государства Российского» не породила непосредственной прозаической традиции. Этому были свои основания.

Обзор прозы преддекабристского периода убеждает в том, что пути, по которым шло развитие русской повести и романа в XVIII — начале XIX в., к этому времени оказались исчерпанными. Новый этап развития прозы должен был начаться со снятия эстетически-оценочного к ней отношения. Для того чтобы приспособить прозу для выражения новой, реалистической эстетики, надо было завоевать ей те сферы жизни, отражение которых считалось монополией поэзии.

Русская проза конца 1820-х — 1830-х гг. вырастала не из прозы предшествующего периода, а из поэзии. Три обширных эпических замысла — «Российский Жилблаз» Нарежного, «История государства Российского» Карамзина и перевод «Илиады» Гнедича завершают искания эпиков и прозаиков

---

[1] Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего. / Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906. С. 67.

[2] Соревнователь просвещения и благотворения. 1821. Ч. XIII. С. 309—311; Ч. XIV. С. 215—218.

[3] *Лорер Н. И.* Записки декабриста. М., 1931. С. 67.

[4] См.: Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 115, 117.

XVIII — начала XIX в. Только пройдя через период господства лирической поэзии, литература 1830—1840-х гг. смогла снова обратиться к традиции XVIII в., вбирая из нее художественный опыт философского романа (Герцен), плутовского («Мертвые души») и социально-психологического (Толстой, Достоевский).

1961

Поэзия Карамзина

Есть писатели, чьи художественные создания для многих поколений остаются живыми, полными современности и обаяния. Имена этих писателей известны всем, а книги их многие века привлекают читателей. Однако культура — это не только определенное количество результатов, достижений, которыми пользуются все, а литература — не просто сумма гениальных произведений, выдержавших испытание временем. Живая культура — это движение, связывающее прошедшее с будущим, это, по выражению одного из поэтов XVIII в., радуга, которая

> Половиной в древность наклонилась,
> А другой в потомстве оперлась.

Великие произведения искусства — предмет наслаждения для читателей разных поколений — не появляются неожиданно. Они органически вырастают в потоке движения, в котором главную массу составляют писатели и книги, быстро забываемые потомками. Но без понимания роли и значения этих не гениальных, забытых писателей теряется живое восприятие искусства. Оно превращается в собрание шедевров, гениальных в отдельности, но не связанных между собой логикой культурного движения.

К числу литераторов, направлявших в свое время развитие культуры, но далеких от эстетических представлений современного читателя, принадлежит и Н. М. Карамзин. Даже образованный человек наших дней знает Карамзина только как автора чувствительной и архаичной «Бедной Лизы», а его «Историю государства Российского» помнит по нескольким пушкинским эпиграммам. Канонизированный гимназическими и школьными учебниками «мирный» образ Карамзина противоречит тому, что мы знаем об исторической судьбе его наследия. Он не объяснит нам, почему на протяжении многих лет, перейдя за грани жизни писателя, творчество его вызывало страстное поклонение и пылкое осуждение, любовь и ненависть.

Молодой Пушкин осыпает Карамзина эпиграммами, а в 1836 г. пишет: «Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом <...> ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности»[1].

Современники, боровшиеся за окончание «карамзинского периода», отчетливо видели его недостатки, так же как они видели недостатки дворянского периода литературы в целом. Но не следует забывать ни того, что дворянский период русской литературы дал ей Пушкина, Грибоедова и декабристов, ни того, что у истоков этого периода стоял Карамзин.

Впрочем, значение Карамзина шире и сравнительно узких рамок «карамзинского периода», и дворянской эпохи в литературе. Карамзину по праву принадлежит место в ряду лучших представителей русской интеллигенции

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. [М.] 1937—1949. Т. 12. С. 72.

XIX в. Историк европейской цивилизации не колеблясь поставит ее в ряд с такими вершинными общественными явлениями, как кружки философов XVIII в. во Франции и деятельность великих гуманистов эпохи Возрождения. Писатель-профессионал, один из первых в России имевший смелость сделать литературный труд источником существования, выше всего ставивший независимость собственного мнения, видевший в этой независимости гражданское служение, Карамзин заставил окружающих, вплоть до Александра I, уважать в себе не придворного историографа и действительного статского советника, а человека пера и мысли, чье мнение и слово не покупаются ни за какую цену. Именно поэтому Пушкин называл Карамзина одним «из великих наших сограждан»[1], а его политические оппоненты из числа декабристов — Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов и другие — питали к нему глубокое уважение.

Жизнь Николая Михайловича Карамзина (1766—1826) была небогата внешними событиями. Он родился в семье симбирского дворянина, учился грамоте у сельского дьячка, а потом был отдан в московский пансион Шадена. Затем наступила служба в гвардии. Здесь он познакомился с уже писавшим стихи И. И. Дмитриевым. В 1784 г. Карамзин вышел в отставку с незначительным чином поручика и уехал на родину. Встреча со старым знакомым их дома, масоном И. П. Тургеневым, резко переменила ход его жизни: Карамзин переселился в Москву, вошел в круг сотрудников Н. И. Новикова, занялся литературной деятельностью. Четыре года, проведенных им в обществе московских масонов (1785—1789), оказались важнейшим периодом его творческого развития. Влияние нравственных идей и общественных убеждений Н. И. Новикова, философии А. М. Кутузова дополнялось широким знакомством с литературой европейского предромантизма. К этому же времени относятся первые выступления Карамзина в печати, среди которых следует отметить его сотрудничество (совместно с А. А. Петровым) в журнале «Детское чтение».

Разрыв с масонами и отъезд в 1789 г. за границу положил начало новому периоду жизни Карамзина. Путешествие молодого писателя по Германии, Швейцарии, Франции и Англии стало наиболее выдающимся событием в его жизни. Потратив год с небольшим на путешествие (в Петербург он вернулся осенью 1790 г.), Карамзин снова поселился в Москве и предался чисто литературной деятельности. В 1791—1792 гг. он издавал «Московский журнал», в котором печатались «Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и другие повести, принесшие ему литературную славу. Находясь с 1792 г. на положении опального литератора, он издал, однако, в 1795 г. альманах «Аглая» (кн. 1—2), а с 1796 по 1799 г. — три поэтических сборника «Аониды». Стремление Карамзина к журнальной деятельности смогло реализоваться только после изменения цензурного режима, последовавшего за гибелью Павла и воцарением Александра I. В 1802—1803 гг. Карамзин издавал журнал «Вестник Европы». С 1803 г. до самой смерти он работал над «Историей государства Российского».

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 167.

Если «внешняя» биография Карамзина небогата событиями и отличается спокойной размеренностью, столь часто вводившей в заблуждение как современников, так и исследователей, то его внутренняя жизнь как мыслителя и творца была исполнена напряжения и драматизма.

Мировоззрение Карамзина, переживавшее на протяжении его жизни существенную эволюцию, развивалось в сложном притяжении к двум идейно-теоретическим полюсам: утопизму и скептицизму — и в отталкивании от них. Утопические учения мало привлекали внимание русских просветителей XVIII в. Это явление легко объяснимо. Русская просветительская мысль XVIII в. усматривала основное общественное зло в феодальном насилии над человеком. Возвращение человеческому индивиду всей полноты его естественной свободы должно, по мнению А. Н. Радищева, привести к созданию общества, гармонически сочетающего личные и общие интересы. Законы будущего общества возникнут *сами* из доброй природы человека. Радищев считал трудовую частную собственность незыблемой основой прав человека. Этике его был чужд аскетизм — она подразумевала гармонию полноправной личной и общественной жизни. Такое умонастроение могло питать интерес к жизни «естественных» племен, к борьбе за свободу личности и народа. Стать основой интереса к утопическим учениям оно не могло.

Русский утопизм XVIII в. возникал в той среде, которая, отрицая окружающие общественные отношения и боясь революции, жаждала мирного решения социальных конфликтов и вместе с тем искала средств от зла, порождаемого частной собственностью. Эта двойственная позиция была слабой и сильной одновременно. Она была лишена и боевого демократизма просветителей, и их оптимистических иллюзий. Это была позиция, характеризовавшая то направление в русском дворянском либерализме XVIII в., к которому принадлежали Н. Новиков и А. Кутузов.

Первые шаги Карамзина как мыслителя были связаны именно с этими общественными кругами. Нравственное воздействие Новикова и Кутузова на молодого Карамзина, видимо, было очень глубоким.

Устойчивый интерес к утопическим учениям Карамзин сохранил и после разрыва с масонами. Борьбу между влечением к утопическим проектам и скептическими сомнениями можно проследить во взглядах Карамзина на протяжении многих лет. Так, в мартовской книжке «Московского журнала» за 1791 г. он поместил обширную и весьма интересную рецензию на русский перевод «Утопии» Томаса Мора. Карамзин считал, что «сия книга содержит описание идеальной <...> республики, подобной республике Платоновой», и тут же высказывал убеждение, что принципы ее «никогда не могут быть произведены в действо»[1]. Рецензия эта представляет для нас большой интерес. Во-первых, она свидетельствует, что для Карамзина мысль об идеальном обществе переплеталась с представлениями о республике Платона. Это было очень устойчивое представление. Позже, в 1794 г., характеризуя свое разочарование во французской революции, Карамзин писал:

[1] Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 3. С. 359.

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет...
<...>
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

(*«Послание к Дмитриеву»*)[1]

В рецензии на «Путешествие младого Анахарсиса по Греции» он писал о «Платоновой республике мудрецов»: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине, и при конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее»[2]. А когда в 1796 — начале 1797 г. восшествие на престол Павла I вызвало временное возрождение карамзинского оптимизма, он писал А. И. Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей Утопии. Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив свое воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства». Сообщая в этом письме о своих творческих планах, он писал, что «будет перекладывать в стихи *Кантову* Метафизику с Платоновою республикою»[3].

Установление того, что республика для Карамзина — это «Платонова республика мудрецов», весьма существенно. В понятие идеальной республики Карамзин вкладывает платоновское понятие общественного порядка, дарующего всем блаженство ценой отказа от личной свободы. Это строй, основанный на государственной добродетели и диктаторской дисциплине. Управляющие республикой мудрецы строго регламентируют и личную жизнь граждан, и развитие искусств, самовластно отсекая все вредное государству. Такой идеал имел определенные черты общности с тем, что Карамзин мог услышать из уст масонских наставников своей молодости. Все это необходимо учитывать при осмыслении известных утверждений Карамзина, что он «республиканец в душе», или высказываний вроде: «Без высокой добродетели Республика стоять не может. Вот почему монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падают»[4]. Республика оставалась для Карамзина на протяжении всей его жизни идеалом, недосягаемой, но пленительной мечтой. Но это не была ни вечевая республика — идеал Радищева, ни республика народного суверенитета французских демократов XVIII в., ни буржуазная парламентская республика «либералистов» начала XIX в. Это была республика-утопия платоновского типа, управляемая мудрецами и гарантированная от эксцессов личного бунтарства.

Вторая важная сторона социально-политических воззрений Карамзина состояла именно в *соединении* идей республики и утопии. Вопрос республиканского управления был для Карамзина не только политическим, но и

---

[1] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 137. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.

[2] Московский журнал. 1791. Ч. 3. С. 211.

[3] *Карамзин Н. М.* Избр. статьи и письма. М., 1982. С. 254.

[4] Вестник Европы. 1803. № 20. С. 319—320.

социальным. Его идеал подразумевал устранение социальной основы для конфликтов. При этом и в данном случае отсутствие регламентации ему представлялось большим злом, чем излишняя регламентация, и крепостное право страшило его меньше, чем свобода частной собственности. Не случайно в том самом письме, в котором он обещал А. И. Вяземскому воспеть «*Кантову* Метафизику с Платоновою республикою», он призывал «читать Мабли». Интересно, что, как это следует из «Писем русского путешественника», Карамзин перечитывал Мабли в революционном Париже. Волновавший всю Европу в годы французской революции вопрос равенства не мог не привлечь внимание Карамзина, размышлявшего о республиканской утопии. Если до поездки за границу Карамзин склонен был оправдывать неравенство в духе экономического либерализма физиократов и Монтескье, видеть в имущественном неравенстве проявление естественной свободы человека, неравномерности его способностей, то в годы революции его все чаще начинают привлекать эгалитаристские идеалы. Однако интересна сама природа этого эгалитаризма: равенство мыслится Карамзиным как насильственное ограничение, накладываемое суровыми законами на эгоистическую экономику. В духе «платоновского» республиканизма он понимает равенство не как особый экономический порядок, а как подавление экономики нравственностью. Показательно в этом отношении описание Цюриха в «Письмах русского путешественника»: «Театр, балы, маскарады, клубы, великолепные обеды и ужины! Вы здесь неизвестны <...> Мудрые цюрихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою республику. Мужчины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья, а женщины — ни бриллиантов, ни кружев; и даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы, для того что меха здесь очень дороги»[1]. Равенство для Карамзина — законодательное запрещение пользоваться благами богатства: в Берне «домы почти все одинакие <...> в три этажа, и представляют глазам образ равенства в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тенью колоссальных палат»[2]. Влияние эгалитаризма Руссо чувствуется в песне, которую Карамзин влагает в уста цюрихского юноши. В ней роскошь и искусство осуждаются как источники неравенства: «Мы все живем в союзе братском <...> Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. На что нам блеск искусств, когда Природа здесь сияет во всей своей красе — когда мы из грудей ее пием блаженство и восторг?» (с. 90). В этом свете понятно, почему утопические попытки правительства Робеспьера обуздать эгоизм буржуазной экономики вызвали у Карамзина, как мы увидим в дальнейшем, сочувствие, а не осуждение.

Уяснение того, что республика для Карамзина была не только понятием политическим, но и социально-утопическим, а реальное наполнение этого утопизма было навеяно идеями Платона, многое раскрывает в позиции

---

[1] *Карамзин Н. М.* Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 238—239.
[2] Там же. С. 249—250.

Карамзина. Оно объясняет отрицательное отношение писателя и к идее народоправства, и к деспотическому правлению. Напомним, что демократия и тирания, по Платону, — наиболее одиозные формы государственного управления. Идеи, близкие к этим, Карамзин мог найти и у Монтескье, и у русских дворянских либералов типа Н. И. Панина или Д. И. Фонвизина. С этой точки зрения делается понятным устойчивое отрицание Карамзиным в 1780—1790-х гг. идеи деспотического управления. В 1787 г. Карамзин опубликовал перевод «Юлия Цезаря» Шекспира, содержащий резкие тираноборческие тирады. Так, в одном из монологов Брут упоминает «глубокое чувство издыхающей вольности и пагубное положение времян наших» — результат «тиранства»[1]. А в 1797 г., в разгар павловского террора, он написал стихотворение «Тацит», в котором осуждал народ, разделенный на «убийц и жертв», но не имеющий героев. Не случайно П. А. Вяземский в дни суда над декабристами вспомнил это стихотворение Карамзина и увидел в нем оправдание «бедственной необходимости цареубийства»: «Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению *народному*»[2].

Для правильного понимания общественно-политической позиции Карамзина нужно учитывать еще одну сторону вопроса. Мировоззрение Карамзина никогда, а в первый период в особенности, не было построено на какой-либо жестко-последовательной доктрине. В 1803 г. он писал, что в политике добродетельные люди «составляют то же, что эклектики в философии»[3]. Широко начитанный, Карамзин еще в самом начале своей литературной деятельности соединял весьма противоречивые вкусы: он зачитывался Лессингом и Лафатером, Клопштоком и Виландом, Кантом и Руссо, Вольтером и Бонне, Стерном и Дидро, Гердером и Кондильяком, Даламбером и Геллертом. Привязанность к широким знаниям, стремление понять все точки зрения оборачивались не только терпимостью, но и эклектизмом. В частности, наряду с охарактеризованными выше взглядами, Карамзину в начальный период его литературной деятельности был свойствен широкий и политически довольно неопределенный «культурный оптимизм», вера в спасительное влияние успехов культуры на человека и общество. Карамзин уповал на прогресс наук, на мирное улучшение нравов. Он верил в безболезненное осуществление идеалов братства и гуманности, пронизывавших литературу XVIII в. в целом. Вступая в противоречие с привлекавшим его симпатии идеалом суровой «республики добродетелей», Карамзин готов был славить XVIII в. за освобождение личности, успехи цивилизации, торговли, культуры. В письме «Мелодор к Филалету» Карамзин писал: «Кто более нашего славил преимущества осьмого-надесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость Правлений и пр., и пр.? <...> Конец нашего века почитали мы концом

[1] Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекспира. М., 1787. С. 40.

[2] *Лотман Ю. М.* П. А. Вяземский и движение декабристов // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1960. Вып. 98. С. 133. (Труды по рус. и слав. филологии. Т. 3).

[3] Вестник Европы. 1803. № 9. С. 56.

главнейших бедствий человечества, и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностию: что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни»[1].

Таковы были взгляды Карамзина, определившие его отношение к основным событиям 1790-х гг. К числу центральных среди них, бесспорно, принадлежала французская революция XVIII в. Отношение к ней Карамзина было значительно более сложным, чем это обычно представляется. Решение этой проблемы невозможно в пределах отвлеченных формулировок хотя бы потому, что осведомленность Карамзина в парижских событиях была основательной. Надо подчеркнуть, что политическая жизнь Франции революционных лет отнюдь не представала перед Карамзиным как нерасчленимое целое. Следует напомнить, что наше определение слова «революция» очень далеко от того, которое употреблялось в XVIII в. В XVIII в. слово «революция» могло восприниматься как антитеза состоянию устойчивости, консерватизма (сохранения) или реакции (попятного движения). Именно потому, что со словом «революция» еще не связывалось понятие о революционной тактике, его можно было использовать как синоним понятия «резкая перемена». Именно такое понимание термина позволило Карамзину отделить в революции идею общественных перемен от тех реальных политических сил, которые ее осуществляли. Отношение Карамзина к этой идее было устойчиво положительным.

Прежде всего необходимо отметить, что такой существенный компонент революционных идеалов, как борьба с властью церкви и фанатичного духовенства, встречал со стороны Карамзина полную поддержку. Конечно, не случайно Карамзин прореферировал в «Московском журнале» такие постановки революционного парижского театра, как «Монастырские жертвы» («Les victimes cloîtress») и «Монастырская жестокость» («Le rigueur du cloître») Бретона. С особенной остротой эта сторона воззрений Карамзина проявилась в рецензии на один из наиболее ярких спектаклей этого театра — пьесу М.-Ж. Шенье «Карл IX».

Карамзин воспринимал революцию как «соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью», то есть как реализацию тех принципов равенства, братства и гуманности, которые провозгласили просветители XVIII в. Именно поэтому он счел возможным в январском номере «Московского журнала» за 1792 г. рекомендовать русскому читателю как «важнейшие произведения французской литературы в прошедшем году»[2] такие яркие произведения революционной публицистики, как «Руины, или Размышления о революциях империй» К.-Ф. Вольнея и «О Руссо как одном из первых писателей революции» С. Мерсье. Сочувствие к новому возникающему во Франции обществу сквозило и в рецензии на антиаристократическую комедию Фабра д'Эглантина «Выздоравливающий от дворянства».

---

[1] *Карамзин Н. М.* Избр. статьи и письма. С. 148—149.
[2] Московский журнал. 1792. Ч. 8. С. 150—151.

Однако революция не была простой инсценировкой идей просветителей XVIII в. Она с самого начала — и чем дальше, тем больше — раскрывалась перед современниками как историческая проверка и опровержение идей «философского века». Вера в господство разума, совершенствование человека и человечества, само представление просветителей о народе подверглись испытаниям. Та окраска революции, которую придавали ей санкюлоты, городской плебс Парижа, бурность, стихийность и размах народных выступлений были для Карамзина решительно неприемлемы. Они не связывались в его сознании с идеями XVIII в. Мысль о связи идей просветителей и революционной практики масс не укладывалась в сознании Карамзина. Но, внимательный наблюдатель современности, Карамзин различал во французских событиях не только тенденцию, восходящую к идеям XVIII в., и стихийную практическую деятельность масс. Он видел еще один существенный компонент событий: борьбу политических партий и группировок, деятельность революционных клубов, столкновение вождей. Отношение Карамзина к этой стороне революции также было далеко от того благонамеренного ужаса, который уже с 1790 г. официально считался в России единственно дозволенной реакцией.

Историк, который попытался бы реконструировать отношение Карамзина к этому вопросу, исходя из распространенного взгляда на писателя как на умеренного либерала с консервативной окраской, мог бы оказаться в затруднительном положении. Он должен был бы предположить сочувствие Карамзина революционным вождям первого периода и, естественно, умозаключить об отрицательном отношении его к вождям якобинского этапа. Это тем более было бы неудивительным, что даже Радищев относился к якобинскому периоду революции отнюдь не прямолинейно. Пушкин имел веские причины сказать о Радищеве: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра»[1]. Между тем реальный исторический материал дает иную и совершенно неожиданную картину. Явно сочувствуя революции в такой мере, в какой ее можно было воспринять как реализацию гуманных идей литературы XVIII в., Карамзин нигде не высказал никаких симпатий каким-либо политическим деятелям той эпохи. Более того, он отказывался вообще определять отношение к тому или иному современнику, исходя из его политических воззрений. В статье, опубликованной в 1797 г. на французском языке и предназначавшейся для европейского читателя, он писал: «Наш путешественник присутствовал в Национальной ассамблее во время пламенных споров, восхищался талантом Мирабо, отдавал должное красноречию его противника аббата Мори и смотрел на них, как на Ахилла и Гектора»[2]. В соответствующем тексте «Писем русского путешественника», предназначенном для русского читателя (он смог появиться только в 1801 г.), Карамзин замаскировал явно звучащую во французской статье бо́льшую симпатию к

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 34.

[2] *Карамзин Н. М.* Lettre au «Spectateur» sur la litterature russe // Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866. С. 479. Напомним: о Мирабо Екатерина II говорила, что он «не единой, но многие висельницы достоин».

Мирабо, чем к его реакционному противнику (русский текст гласит: «Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор»), но сохранил подчеркнутое равнодушие к политической сущности споров («Ни якобинцы, ни аристократы <...> не сделали мне никакого зла; я слышал споры и не спорил»). Это не случайно. Карамзин никогда не считал политическую борьбу выражением основных общественных споров, а политические взгляды — существенной стороной характеристики человека.

Вместе с тем совершенно неожиданным может показаться положительное отношение Карамзина к Робеспьеру. Можно было бы даже сомневаться в этом, если бы мы не располагали точными сведениями и от столь осведомленного современника, каким был многолетний собеседник Карамзина Н. И. Тургенев: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера...»[1]

Для того чтобы понять отношение Карамзина к Робеспьеру, нужно иметь в виду, что отрицательное отношение писателя к насилию, исходящему от толпы, улицы, шире — народа, не распространялось на насилие вообще. В 1798 г., набрасывая план работы о Петре I, Карамзин писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместно с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout <великие люди видят только общее>. Но иногда и чувствительность торжествовала»[2]. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что в правлении Робеспьера Карамзин усматривал опыт реализации социальной утопии, насильственного утверждения принудительной добродетели и равенства — того идеала платоновской республики, который и влек Карамзина, и казался ему несбыточной мечтой. Так сложилось то сочетание симпатии и скепсиса, которое определило отношение Карамзина к Робеспьеру.

Вряд ли от него укрылось и стремление правительства Робеспьера ввести народный натиск в берега якобинской политики. Между казнями, производимыми по решению правительства — а Робеспьер был его главой, — и по требованиям революционного народа для Карамзина пролегала глубокая грань. В первых можно было усмотреть суровую необходимость, которую осуществляет пекущийся об общем благе государства гражданин-республиканец, вторые истолковывались как проявление анархии частных, антигосударственных и антиобщественных устремлений. Робеспьер и санкюлоты не сливались в сознании Карамзина. Кроме того, внимательный наблюдатель событий, он, конечно, понимал зависимость политики террора от народных требований, и в частности от восстания 31 мая — 2 июня 1793 г. и «плебейского натиска 4—5 сентября 1793 года»[3].

---

[1] *Тургенев Н.* Россия и русские. М., 1915. С. 342.

[2] *Карамзин Н. М.* Избр. статьи и письма. С. 159.

[3] *Алексеев-Попов В. С., Баскин Ю. Я.* Проблемы истории якобинской диктатуры в свете трудов В. И. Ленина // Из истории якобинской диктатуры. Одесса, 1962. С. 140—141.

Отношение Карамзина к французским делам менялось, и в дальнейшем он охотно изображал дело так, будто именно насилие оттолкнуло его от революции:

Когда ж людей невинных кровью
Земля дымиться начала,
Мне свет казался адом зла...
Свободу я считал любовью!..

(*«К Добродетели»*, с. 293)

Правда, в этом же стихотворении, писанном в 1802 г., Карамзин не захотел отрицать своих былых надежд на события в Париже:

Кто в век чудесный, чрезвычайный
Призраком не обманут был?

(*Там же*)

Но обращает на себя внимание, что среди разнообразных, часто противоположных высказываний Карамзина по этому вопросу мы не находим порицания Робеспьера. Более того, если внимательно присмотреться к тем критическим суждениям, в которых Карамзин начиная с 1793 г. осуждал события в Париже, то можно сделать любопытные наблюдения. Так, Карамзин написал в 1793 г. (опубликовано в 1794 г.) стихотворение «Песнь божеству», снабдив его примечанием: «Сочиненная на тот случай, когда безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: „Нет Бога!"». Невнимательному глазу стихотворение это может показаться одним из обычных в ту пору выпадов против революции с позиций благонамеренности и религиозности. Однако следует вспомнить, что выступление Андре Дюмона — эбертиста и участника «движения дехристианизации» — в Конвенте было направлено против религиозной политики правительства Робеспьера, что ненависть Дюмона к Робеспьеру привела его через несколько месяцев (в то время, когда Карамзин печатал свое стихотворение против него) в ряды термидорианцев, среди которых он выделялся ненавистью к последователям Робеспьера. Само стихотворение — отнюдь не проповедь ортодоксального православия, а прославление философского деизма в духе Руссо, что в контексте полемики с врагом Робеспьера получает особый политический смысл.

В сознании Карамзина в годы революции борются две концепции. Первая концепция заставляла Карамзина прославлять успехи промышленности, свободу торговли, видеть в игре экономических интересов залог свободы и цивилизации. Вторая — третировать экономическую свободу как анархию эгоизма и противопоставлять ей суровую нравственность «общего интереса». Обе — исключали интерес к политике в узком смысле этого слова.

Первый период революции раскрыл несбыточность надежд на успехи прогресса, гуманности и мирной свободы человека, второй — завершился крахом упований на утопическую республику добродетели, завоевываемую путем диктатуры. Кратковременные упования 1796 г. на то, что революция, избавившись от крайностей обоих периодов, сохранит основу своих завоеваний, сменились в годы Консульства и Империи пессимистическим убеждением в неспособности людей к свободе. Лучшим правителем Карамзин признал опирающегося на военную силу политика, который строит свои расчеты на пороках, а не на добродетелях людей.

Все это обусловило сложное восприятие Карамзиным французской революции. Оптимизм сменялся отчаянием и снова уступал место надеждам. Общее доброжелательное отношение, вера в быстроту и безболезненность перемен, происходящих в Париже, свойственная Карамзину в 1790—1791 гг., сменились отчаянием к лету 1793 г. Именно в эту пору им была дана та характеристика нравственных итогов XVIII в., про которую А. И. Герцен сказал: «Выстраданные строки, огненные и полные слез»[1]. Не случайно эти слова Карамзина о том, что «осьмой-надесять век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки»[2], Герцен избрал, чтобы выразить свое трагическое разочарование в революции 1848 г. Однако в 1796—1797 гг. оптимистическая вера Карамзина в прогресс возродилась. Показательна цитированная выше французская статья. Говоря о том, что «французская нация прошла через все степени цивилизации, для того чтобы достичь вершины, на которой она ныне находится», Карамзин указывал на «быстрый полет нашего народа к той же цели» («vol rapide de notre peuple vers le même but»[3]). Конечно, было бы заблуждением предполагать, что Карамзин приветствовал приближение в России насильственной революции. Выступление народа он расценивал как «отклонение» от нормального развития революции, но ожидание благодетельных перемен (каких именно, Карамзин, видимо, сам представлял себе не очень ясно) отнюдь не было чуждо писателю в эти годы. И далее: «Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбу людей на протяжении многих веков. Новая эпоха начинается, я ее *вижу*, но Руссо ее *предвидел*. Прочтите одно примечание в „*Эмиле*“, и книга выпадет у Вас из рук[4]. Я слышу рассуждения за и против, но я далек от того, чтобы подражать этим крикунам. Признаюсь, что мои мысли на этот счет недостаточно зрелы. События следуют одно за другим, как волны будущего моря, а уже хотят считать революцию оконченной. Нет! Нет! Мы увидим еще много удивительных вещей; крайнее волнение умов является предзнаменованием этого. Опускаю завесу»[5].

В эпоху Карамзина общие политические убеждения людей тесно переплетались с их отношением к внутренним вопросам русской жизни.

Карамзин приобщился к общественной деятельности в том социально-философском, утопическом и филантропистском кружке, который сложился в 1780-е гг. вокруг Н. И. Новикова и московской организации масонов.

---

[1] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 12.

[2] *Карамзин Н. М.* Избр. статьи и письма. С. 149.

[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 478.

[4] Карамзин, видимо, имеет в виду примечание Руссо: «Я не считаю возможным, чтобы великие европейские монархии просуществовали еще долго: все они блистали, а блестящее состояние всегда канун упадка. Я имею и более специальные основания кроме этого правила, но их нет надобности приводить здесь, каждый видит их слишком ясно» (Emile ou de l'éducation par J.-J. Rousseau. Paris, 1844. P. 218). Интересно, что в цитате, на которую указывает Карамзин, говорится о гибели *всех* европейских монархий, а не только французской.

[5] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 480.

Близкая дружба с А. М. Кутузовым — человеком, которому Радищев посвятил свои основные произведения: «Житие Федора Васильевича Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву», — наложила глубокий отпечаток на формирующиеся взгляды писателя. Правда, и в эти годы Карамзин испытывал широкое воздействие идей просветителей XVIII в. Мистицизм, нравственный ригоризм, узкодидактический подход масонов к искусству оттолкнули Карамзина, и весной 1789 г. он отправился в путешествие по Европе в поисках не только новых дорожных впечатлений, но и собственного взгляда на окружающий его мир.

Нам уже известен общий характер воззрений Карамзина в 1790-е гг. Понятно, что молодой писатель, вступивший по возвращении в Россию на журнальное поприще, оказался в весьма сложных отношениях с официальным политическим курсом. Это сказалось и в краткости аннотаций книг Вольнея и Мерсье (подробный разбор оказался цензурно невозможным), и в том, что посвященные Парижу главы «Писем русского путешественника» не попали в журнальную публикацию и увидели свет лишь при Александре I — после двукратной смены царей и правительственных курсов. Однако запрещения, наложенные правительством Екатерины II в 1790-е гг. на определенные политические темы и идеи, не слишком волновали Карамзина: приступая в 1791 г. к изданию «Московского журнала», он и не думал касаться политической тематики. Его привлекала широкая деятельность независимого литератора, чуждающегося политики, но свободного в своих суждениях, близкого передовым направлениям европейской словесности и возглавляющего молодую литературу у себя на родине. Однако реализация и этого — политически весьма скромного — идеала в условиях режима, установившегося в екатерининской России 1790-х гг., оказалась невозможной. Карамзин был на дурном счету у правительства Екатерины II как выученик новиковского кружка, его пребывание в революционном Париже только прибавило оснований для подозрительности, а подчеркнутая независимость суждений «Московского журнала» еще больше настораживала власти. Конфликт обострился, видимо, в результате того, что, верный своему стремлению не сливаться с официальным курсом, Карамзин опубликовал в 1792 г. стихотворение «К Милости», в котором завуалированно призывал к помилованию Новикова и его соратников. Для того чтобы понять, как этот акт характеризует общую позицию Карамзина, нужно помнить, что, с одной стороны, он сам был под подозрением по новиковскому делу, а с другой — его личные дружеские связи с пострадавшими в эту пору сменились взаимным охлаждением. Известно, что в ближайшем окружении Новикова литературная деятельность Карамзина после его возвращения из-за границы вызывала насмешку и неприязнь.

Пушкин позже сказал об «Истории государства Российского», что она — «не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека»[1]. Пушкин хорошо знал Карамзина и точно чувствовал сущность его писательской позиции. Взгляды Карамзина претерпевали в промежутке между фран-

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 57.

цузской революцией и восстанием декабристов существенные изменения. Однако подход к деятельности писателя как к «подвигу честного человека» оставался неизменным. Именно ему следовал Карамзин, публикуя стихотворение «К Милости». Карамзин разделял широко распространенные в XVIII в. представления о том, что единственной целью существования власти является польза подданных, народа, о том, что свобода — нравственная и политическая — неотъемлемое и природное благо человека. Но особенность личной позиции писателя состояла в том, что заявить об этих убеждениях он решился в такой момент, когда все тактические соображения, казалось, толкали его на то, чтобы промолчать. Стихотворение «К Милости» звучало очень смело. Карамзин заявлял Екатерине II, что крепость ее власти обусловлена соблюдением прав народа и каждого человека.

Спокойствие твоей державы
Ничто не может возмутить (с. 111) —

до тех пор, пока императрица будет соблюдать предписания политической нравственности, утвержденной прогрессивной философской мыслью XVIII в.:

Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден;

Доколе гражданин довольный
Без страха может засыпать
И дети-подданные вольны
По мыслям жизнь располагать...
<...>
Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах;
Пока доверенность к народу
Видна во всех твоих делах... (с. 111)

Только до этих пор «трон вовек не потрясется». Не только содержание политической доктрины, развернутой Карамзиным, но сама обусловленность взаимных обязательств народа и власти общим благом звучала в России, после процессов Радищева и Новикова, в самый разгар французской революции, неслыханно смело. Стихотворение смогло быть опубликовано лишь с изменениями автоцензурного характера. Так, стихи:

Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден... —

были заменены на:

Доколе пользоваться будешь
Ты правом матери одной...

А. А. Петров писал Карамзину 19 июля 1792 г.: «Пожалуйста, пришли стихи „К Милости", как они сперва были написаны. Я не покажу их никому, если то нужно»[1].

[1] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 511.

Среди привлекательных для Карамзина идей XVIII в. следует отметить мысль о братском единении людей всего мира, которая истолковывалась как союз народов против разделяющих их невежества, суеверий и деспотизма. На этой почве вырастали идеи, вроде проектов «вечного мира» (В. Пенн, Б. Сен-Пьер, Ж.-Ж. Руссо, И. Бентам, В. Малиновский, А. Гудар), широко распространялись пацифистские настроения, возникали идеи общечеловеческого гражданства, пропагандировавшиеся в годы революции не только Анахарсисом Клооцем, но и, например, Вольнеем, которого Карамзин рекомендовал русским читателям. Эта идея для многих людей, сочувствовавших революции, в Италии, Германии или России была осуждением феодальных войн и оправданием войн, которые вела Французская республика. Эта сторона вопроса очень важна для Карамзина. В начале 1790-х гг. он, видимо, сочувствовал внешней политике Франции. В июле 1791 г. он помещает в «Московском журнале» пересказ-рецензию знаменитого тогда «Путешествия младого Анахарсиса по Греции», в которой встречаются такие цитаты из романа: «Пример нации, предпочитающей смерть рабству, достоин внимания, и умолчать о нем невозможно», сопровождаемые кратким замечанием Карамзина: «Г. Бартелеми прав». Ясно, что подобные высказывания в дни, когда сколачивалась контрреволюционная коалиция, а газеты помещали только сообщения из Кобленца, не могли не звучать как сочувственный намек на борьбу революционной Франции. Одновременно Карамзин не уставал подчеркивать свой пацифизм. В июле 1790 г. в Лондоне он провозгласил тост за «вечный мир». В 1792 г. он опубликовал в «Московском журнале» «Разные отрывки. Из записок одного молодого Россианина», в которых идеи пацифизма выражены с наибольшей силой. В начале 1792 г. Карамзин использовал заключение мира с Турцией для того, чтобы выразить эти идеи в «Песни мира», написанной под очень сильным влиянием «Песни к радости» захваченного аналогичными настроениями Шиллера[1]. Уже первый стих карамзинской «Песни мира»:

Мир блаженный, чадо неба (с. 106) —

напоминал:

Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium.

Однако особенно приближался Карамзин к Шиллеру, выражая идею братства народов:

Миллионы, веселитесь,
Миллионы, обнимитесь,
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ! (с. 106)

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!

[1] См.: *Neumann F. W.* Karamzins Verhältnis zu Schiller // Zeitschrift für slavische Philologie. Leipzig, 1932. Bd 9.

Brüder — überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.

Эти стихи Карамзина стоят у истока того любопытного направления в русской гражданской лирике конца XVIII — начала XIX в., которое связано с влиянием гимна «К радости» Шиллера и включает в себя «Славу» Мерзлякова, «Певца во стане русских воинов» Жуковского и ряд других стихотворений.

Политическое развитие Карамзина в 1790-е гг. не было прямолинейным. Надежды на постепенное возвышение человечества к будущей гармонии то оживали, то меркли. Под влиянием событий в Европе и России скептические настроения все больше брали верх. «Утопия», «Платонова республика мудрецов» остаются прекрасной мечтой, в осуществление которой Карамзин уже не верит. Когда после убийства Павла I Карамзин наконец смог опубликовать парижскую часть «Писем русского путешественника», неверие его в быстрый прогресс общества, осуществляемый путем преобразования политической системы, оформилось окончательно. Современные ему радикалы, считал он, — «новые республиканцы с порочными сердцами» — честолюбцы и преступники или добродетельные мечтатели, не понимающие суровых законов жизни. «Утопия»[1] будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, добрых нравов.

В политических размышлениях Карамзина все более выдвигается антитеза: политик — мечтатель (благородный, но обреченный на провал, руководимый теориями, высокоэтическими побуждениями, но приводящий государство к гибели). К мечтателям Карамзин относил многих симпатичных ему деятелей XVIII в., таким он, вероятно, видел и Александра I. Этому образу противостоял образ политика-практика, чуждого любых мечтаний, даже циника, равнодушного к этической стороне истории. Он противопоставляет прекраснодушию силу и добивается успеха[2]. Этот образ все чаще связывается с именем консула Бонапарта.

Карамзин все больше начинает подчеркивать глубокую стихийность исторического процесса, который не познается и не управляется человеком. Человек может вызвать событие, но не способен предугадать его последствий. Ни добродетельный мечтатель, ни политический честолюбец не достигнут своих целей: «Революция — отверзтый гроб для добродетели — и самого злодейства». Такова была общественная позиция Карамзина в годы, на которые падает его высшая активность как поэта. В конце жизни он записал сентенцию, предсказывающую исторические взгляды Л. Н. Толстого эпохи «Войны и мира»: «Мы все как *муха на возу*: важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий! — Велик тот, кто чувствует свое ничтожество — пред Богом!»[3]

---

[1] Или «Царство счастия», сочинение Моруса. (*Примеч. Н. М. Карамзина.*)

[2] Антитеза эта чувствуется, например, в «Марфе Посаднице».

[3] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 197.

Первый период деятельности Карамзина-поэта приходится на 1787—1788 гг., когда Карамзин находился под непосредственным воздействием идей новиковского кружка, особенно А. М. Кутузова. Если в общественной сфере масонские идеи раскрывались как утопические и филантропические, то в поэзии они характеризовались отрицательным отношением к рационалистическому искусству классицизма, вниманием к европейскому предромантическому движению. Французская литература привлекала гораздо меньше внимания А. М. Кутузова, чем английская и немецкая, большим знатоком которых он являлся. Кутузов требовал от поэзии психологизма, интереса к внутреннему миру человека. «Не наружность жителей, — писал он А. А. Плещееву, — не кавтаны и рединготы их, не домы, в которых они живут, не язык, которым они говорят, не горы, не море, не восходящее или заходящее солнце суть предмет нашего внимания, но человек и его свойства. Все жизненные вещи могут также быть употребляемы, но не иначе, как токмо пособствия и средствы»[1]. Психологизм в понимании Кутузова был неотделим от дидактического морализма. Познание себя — первый шаг к исправлению. Собственно художественные цели были для Кутузова всегда подчинены этическим. Его живо интересовала английская и немецкая эпическая поэзия от Дж. Мильтона до Ф.-Г. Клопштока, творчество которых он склонен был истолковывать как религиозно-моралистические аллегории.

Идеи эти оказали большое влияние на Карамзина, однако они не исчерпывали, даже на первых порах, его творческого кругозора, который складывался под влиянием очень широкого круга чтения. Вкусы начинающего писателя явно клонились к предромантизму. В этом отношении характерно стихотворение «Поэзия», написанное Карамзиным в 1787 г. Эпиграф из Клопштока и идея божественного происхождения поэзии восходят к литературным воззрениям московских масонов. Очень интересна историко-литературная иерархия этого стихотворения, демонстрирующая и антиклассицистичность позиции Карамзина, и его глубокое недовольство состоянием современной русской поэзии. Перечисление великих поэтов начинается с библейского Давида, затем идут Орфей, Гомер, Софокл, Еврипид, Бион, Феокрит и Мосх, Гораций, Овидий. Отсутствие в этом списке Вергилия, сочетание интереса к Гомеру и Феокриту и то, что история мировой поэзии начинается библейскими гимнами, — все это в высшей мере показательно.

Но еще более интересно то, что далее Карамзин, пренебрегая общепринятой в XVIII в. шкалой литературных ценностей, демонстративно игнорирует всю французскую литературу, прямо переходя от древности к английской поэзии. «Британия есть мать поэтов величайших...» И здесь вперед выдвинуты те поэты, творчество которых возбуждало интерес европейских предромантиков. Оссиан, Шекспир, которого Карамзин ставит особенно высоко, Мильтон, Юнг, Томсон. Далее упоминаются «альпийский Теокрит» Геснер, Клопшток. Не менее показательно, что из русских поэтов Карамзин не включает в свой перечень никого. Здесь проявляется отличие его позиции от

[1] Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1/2. С. 134.

взглядов А. Кутузова. Карамзин исключил, исходя из представлений предромантической эстетики, всю одическую традицию ломоносовской школы, отношение к которой и у Кутузова, видимо, было сдержанным. Однако не были названы и Сумароков, и Державин, творчество которых в кружке Новикова ценилось очень высоко, а также чтимый в масонской среде и за ее пределами — признанный глава русской поэзии — Херасков. В стихах:

О россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В <Москве> блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать... —

(*«Поэзия»*, с. 63)

чувствуется не только отрицательное отношение ко всей предшествующей русской поэзии, но и убеждение в том, что новый этап начнется с его, Карамзина, творчества. Это была нота, решительно неприемлемая для масонских наставников Карамзина, которые хотели видеть в поэте сурового моралиста, умудренного годами самонаблюдения. Карамзин, по их мнению, еще не обладал нравственным правом учить людей и, следовательно, мог выполнять литературные поручения наставников, но не становиться на путь самостоятельного творчества. Естественно, что начало самостоятельной деятельности Карамзина как прозаика, поэта и журналиста, деятельности, в которой сам он был склонен видеть переломный момент в развитии русской литературы, встречено было в масонских кругах крайне неодобрительно. «О Карамзине я истинно сердечно болезную, — писал Кутузов Трубецкому 2 апреля 1791 г., — и смотрю на него не иначе, как на человека, одержимого горячкою»[1].

Самостоятельное творчество Карамзина и как поэта, и как прозаика началось с 1789 г. — с момента его разрыва с кружком Новикова и московских масонов.

Несмотря на то, что пути эволюции прозы и поэзии Карамзина отличались, они имели общую внутреннюю логику и взаимодополняли друг друга в едином творческом развитии писателя. Понять Карамзина-прозаика, игнорируя Карамзина-поэта, нельзя.

Эстетическая позиция Карамзина в эти годы не отличалась монизмом. Интерес к окружающим жизненным явлениям, особенно к явлениям социального мира, повышенное внимание к человеку и его столкновениям с предрассудками, вера в просвещение шли в его творчестве от принципов просветительской эстетики, от масонского субъективизма — повышенный интерес к психологии, внутреннему миру человека, стремление рассматривать этот внутренний мир вне связи его с действительностью.

«Письма русского путешественника», первое крупное произведение Карамзина-писателя, характерно для начала его художественной эволюции.

[1] *Бирсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915. С. 106.

Исследователи, справедливо стремясь противопоставить метод «Писем русского путешественника» Карамзина и «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, утверждали, что Карамзин в своем первом произведении чуждался изображения действительности. С этим едва ли можно согласиться. Упрек этот трудно отнести к писателю, утверждавшему: «Драма должна быть верным представлением общежития»[1]. Однако понимание «общежития», которое следует изображать, и целей искусства у Карамзина было иным, чем у Радищева. В «Письмах русского путешественника» Карамзин не ставил своей целью показать читателю целый мир новых идей, привлекательность европейского просвещения. Цель его просветительная, но не революционная. Карамзин уделял также большое, хотя и не исключительное, внимание изображению психологии человека. В одной из рецензий 1791 г. он назвал писателя «сердценаблюдателем по профессии»[2]. Эту роль «сердценаблюдателя» в наибольшей степени тогда выполняла поэзия. Поэт «сердце для глаз изображает» («Дарования»). Проза и поэзия Карамзина в это время, взаимодополняя друг друга, составляли как бы два полюса — повествовательный и лирический — единой творческой позиции писателя.

Карамзин творил в годы мощного поэтического подъема в России. Его современниками были Державин, Крылов и Жуковский. Многие из поэтов второго ряда — от Капниста и Муравьева до Гнедича и Дениса Давыдова — казалось, могли бы затмить неяркую поэтическую звезду Карамзина. Особенно невыгодным для славы Карамзина-поэта было то, что на протяжении всего его творческого пути с ним шел рука об руку его друг и одномышленник, поэт par excellence И. И. Дмитриев. И все же поэзия Карамзина выдержала это соседство, и Пушкин 4 ноября 1823 г. писал Вяземскому, что Дмитриев «стократ ниже стихотворца Карамзина»[3]. Место Карамзина в истории русской поэзии находится не в первом ряду, но оно твердо ей принадлежит. И причину этого следует видеть в том, что, не будучи способен соперничать с Державиным, Карамзин тем не менее нашел и сохранил на протяжении всего творческого пути неповторимость, своеобразие, отличавшее его не только от неподражаемого Державина, но и от, казалось бы, близких к «карамзинизму» Муравьева, Нелединского-Мелецкого, Дмитриева. Оригинальность пути, избранного Карамзиным-поэтом, позволила ему не только сохранить свою самобытность, но и повлиять на таких ярких поэтов, как Жуковский, Батюшков, Вяземский, Пушкин.

Своеобразие Карамзина-поэта, в самом общем виде, можно определить как неуклонное стремление к поэтической простоте, смелую прозаизацию стиха. Если Карамзин-прозаик настойчиво «поэтизировал» свои повести, то Карамзин-поэт не менее упорно «прозаизировал» свои стихи. И в этом он шел гораздо дальше, чем Дмитриев или Нелединский-Мелецкий, нарочитая

---

[1] Московский журнал. 1791. Ч. 1. С. 234.

[2] Там же. Ч. 2. С. 85.

[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 381.

«простота» которых уже на современников производила впечатление кокетливого жеманства.

Карамзин вступил в литературу в разгар острой полемики о рифме. Критика поэтических канонов классицизма, поиски новых средств выразительности, обращение к народной поэзии, увлечение подлинной, а не подогнанной под нормы французских поэтик античностью заставили широкий круг европейских поэтов середины и конца XVIII в. заняться экспериментами в области белого стиха. В русской поэзии второй половины XVIII в. критика рифмы в первую очередь воспринималась как отказ от высокой одической поэзии, стремление пересмотреть утвердившиеся после Ломоносова нормы и правила стихосложения. С разных позиций употребление рифмы осуждали Тредиаковский, Радищев, Львов, Бобров. Дань безрифменному стиху отдали почти все поэты конца XVIII — начала XIX в. Позиция Карамзина в этом вопросе отличалась известным своеобразием.

Современники Карамзина обращались к белому стиху, стремясь подчеркнуть «важность», общественную значимость содержания, убежденные, что эпическая поэзия должна быть освобождена от внешних украшений и приближена к подлинным образцам античности. Введение безрифменной поэзии в поэму-сказку воспринималось как приближение к русской народной традиции. При всех отличиях в позиции, многочисленных противников рифмы в те годы сближало одно: отбрасывая ломоносовскую систему, они стремились поставить на ее место новый, уже оформившийся и эстетически вполне определившийся канон. Система Карамзина строилась иначе: она имела чисто негативный характер. Карамзин стремился не употреблять рифму, не употреблять метафору и весь арсенал тропов не только в духе «бряцающего» и «парящего» одического стиля Петрова, но и в духе державинской стилистики. Традиционным свойством поэзии считалось обращение к идеологически значимым, высоким темам (любовная лирика школы Сумарокова утверждала понятие о страсти, культуре чувства как высоких, следовательно, поэтических «материях»). Карамзин демонстративно отказывался от значительной тематики. Вопреки утвердившемуся взгляду на литературу как на долг и служение, Карамзин называл свои стихотворения «безделками», вызывая тем самым насмешки и нарекания не только эстетического, но и политического характера. Он стойко переносил упреки одних в недостаточном уважении к властям, а других — в недостаточном свободолюбии. Было бы в высшей степени ошибочным видеть в этой позиции поэта, казалось бы, построенной из сплошных «отказов», в этом демонстративном сочинении «безделок» общественный индифферентизм, стремление заключить поэзию в тесные рамки салонной игры. Карамзин, как и большинство поэтов его времени, писал альбомные пустяки, но нельзя не заметить, что общественно значимые стихотворения, насыщенные социально-философской, а часто и прямо политической проблематикой, занимают в поэзии Карамзина большое место. Для того чтобы понять смысл и значение поэзии Карамзина, следует попытаться заставить себя перенестись в ту эпоху и воскресить восприятие поэзии русским читателем конца XVIII — начала XIX в. Художественная система Карамзина-поэта отличается своеобразной смелостью: Карамзин систематически употребляет

средства, которые его современников поражали новизной, утраченной для читателя наших дней. Принято говорить, что Карамзин употреблял слова среднего слога. Это не совсем точно: слова высокого, среднего и низкого слога находились в поле стилевой оппозиции «высокое (поэтичное) — низкое (непоэтичное)». Писал ли поэт высоким — одическим, низким — бурлескным или средним — элегическим слогом, он перемещался по шкале ценностей внутри этой оппозиции, но не отменял ее. Сама поэтическая смелость Державина, ломавшего эту шкалу стилей и соединявшего с дерзостью гения высокое и низкое, могла восприниматься лишь читателем, в сознание которого прочно вошло противопоставление высокого и низкого как поэтического и находящегося вне поэзии. Включение в поэзию комических «антипоэтизмов» В. И. Майковым или макароническая поэзия И. М. Долгорукова также бессильны были поколебать эту основную антитезу стиля, которая в сознании людей XVIII в. казалась неотъемлемой от поэзии. В этом смысле больше сделали не смелые по стилистическим диссонансам оды Державина, а его анакреонтика, близко соприкасавшаяся со стилем лирики Карамзина.

Карамзин не разрушал антитезу высокого и низкого в поэзии, а игнорировал ее; поэзия Карамзина вообще с нею не соотносилась. Но дело не только в этом: снимая оппозицию «высокое — низкое» как основу поэтического переживания, Карамзин добивал уже поверженного врага, находил средство ниспровергнуть в стилевой фактуре лирики то, что в области общей теории литературы было уже развенчано усилиями эстетики Просвещения и подвергалось в те годы многочисленным атакам. Однако Карамзин стремился не только вывести поэзию за пределы этой оппозиции, но и поставить ее вообще вне системы заранее данных оппозиций и норм. Например, употребление белого стиха воспринималось читателем тех лет не только как разрушение привычных норм ломоносовского стиха. Соединяясь с каким-либо добавочным признаком, оно сигнализировало о принадлежности произведения к определенной традиции: белый стих в сочетании с гекзаметром включал произведение в эпическую традицию, в сочетании с сапфической и горацианской структурой — в ту разновидность поэзии, которая стремилась воссоздать дух античности, с четырехстопным хореем и дактилической клаузулой — в стилизацию под русскую народную поэзию. Каждая из этих систем (равно как и другие безрифменные жанры тех лет) была стилистически замкнутой, наличие одних признаков заставляло читателя ожидать появления других. Так, для белого стиха с горацианской строфической структурой были обязательными бытовые реалии из реквизита античной сельской жизни, апология простоты и безыскусственности, этика «золотой середины». Писатель получал не только определенный круг образов и стилистических средств, но и тему, определенную модель мира, в которую он включал и себя, и своего читателя. Белый стих Карамзина не вводил читателя ни в какую из готовых стиховых систем. В дальнейшем, особенно под пером учеников Карамзина, его система закостенела, выхолостившись до полной поэтической условности, и нам, наблюдающим ее сквозь призму дальнейшего поэтического движения, крайне трудно восстановить впечатление, которое производили эти стихи на читателей той поры. В этом смысле еще более интересные наблюдения можно

сделать, рассматривая не безрифмие, а рифму Карамзина. Карамзин имел смелость употреблять рифму, которая в поэзии XVIII в. традиционно считалась плохой, причем подчеркнуто избирал наиболее доступные, тривиальные рифмы. Белый стих в конце XVIII в. уже был введен в круг поэтических средств, но банальные рифмы были решительно запрещены: их употребляли только плохие поэты, не умеющие находить лучшие рифмы. Карамзин позволил себе их употребление:

Кто для сердца всех *страшнее*?
Кто на свете всех *милее*?
Знаю: милая *моя*!

«Кто же милая *твоя*?»

(*«Странность любви, или Бессонница»*, с. 124; курсив мой. — *Ю. Л.*)

Кто мог любить так *страстно*,
Как я любил *тебя*?
Но я вздыхал *напрасно*,
Томил, крушил *себя*!

(*«Прости»*, с. 112; курсив мой. — *Ю. Л.*)

Рифмы типа «моя — твоя», «милее — страшнее», «тебя — себя», «одному — никому», «нее — ее» встречаются у Карамзина подчеркнуто часто. В традиционной для XVIII в. поэтической системе подобные рифмы могли рассматриваться лишь как свидетельство авторского неумения, низкого качества стиха. Однако, овладевая структурой карамзинской поэзии, читатель убеждался в преднамеренности подобной рифмовки. А это влекло за собой уничтожение всей старой системы оценок. «Небрежные» рифмы допускались в песне и романсе и поэтами, исторически предшествовавшими Карамзину (например, поэтами школы Хераскова). Но то, что там было признаком определенного (невысокого) типа поэзии, здесь становилось свойством поэзии вообще, и это коренным образом меняло дело; простота и небрежность, безыскусственность становились синонимами поэтического.

Карамзин чуждался картинности стиля, нарочито избегая метафор. Мы у него почти не найдем оригинальных, резко индивидуализированных эпитетов, которыми так богат державинский стиль. На фоне поэзии Державина лирика Карамзина должна была производить впечатление обедненной. Но и здесь читатель легко убеждался, что эта нарочитая «бедность» входила в замысел автора, соответствовала его эстетическим требованиям. Но особенно полемически заостренным был самый предмет, который Карамзин избирал для своей поэзии, тем самым утверждая его как предмет поэтический.

Поэзия Карамзина вводит нас в новый и необычный мир. Привычные представления в нем смещены: все государственно значимое, обладающее властью, могуществом, освященное поэтической традицией, царственно красивое, безупречное — в нем лишено цены. Все обыкновенное, робкое, бледное — привлекательно и поэтично. Поэт повествует нам о своей любви. Но

его возлюбленная не только не отличается умом, красотой или величавостью — она робка, невзрачна.

...Она...
Ах! Ни мало не важна
И талантов за собою
Не имеет никаких;
Не блистает остротою... (с. 124)

После такой характеристики читатель должен был бы подумать, что автор подводит его к антитезе ума и красоты. Недостаток «аполлонова огня» возлюбленная поэта, ожидает читатель, искупит привлекательностью своей внешности, но автор спешит его разуверить:

Не Венера красотою —
Так худа, бледна собою... (с. 125)

Возлюбленная поэта не лицом и фигурой привлекает его любовь:

...без жалости не можно
Бросить взора на нее (с. 125).

Читатель, убедившись в том, что возникшая в его сознании антитеза «ум — красота» представляет своеобразный «ложный ход» автора, отбрасывает ее и уверенно подставляет на ее место другую: «холодные ум и красота — глубина и живость чувства». Подобное противопоставление читатель уже встречал неоднократно в той антиклассицистической литературе, с которой Карамзин был живо связан, и тем увереннее готов был именно так истолковать авторский замысел стихотворения. На возможность подобной антитезы читателю намекали в уже прочитанном тексте такие характеристики, как: «...в невежестве своем / Всю ученость презирает...» и «...так эфирна и томна». За ними он легко угадывал противопоставление блестящих, величавых учености и красоты — бедному, робкому, но чувствительному и любящему сердцу. Однако и эта догадка оказывается ложной: возлюбленная поэта

Нежной, страстной не бывала...
<...>
...В милом сердце лед, не кровь! (с. 125)

Все заранее приготовленные читателем противопоставления сняты. Композиция, к которой он внутренне приготовился («таковы недостатки моей возлюбленной, но это несущественно, ибо такие-то ее достоинства для меня важнее»), отброшена: достоинств у возлюбленной нет вообще, и стихотворение не строится по принципу двучленной оппозиции. Недостатки не искупаются достоинствами, а сами достоинствами являются. Поэт любит свою героиню за ее недостатки и не пытается сам рационалистически объяснить своего чувства: «Странно!.. я люблю ее!» Образ своей любви он находит в шекспировской Титании («Сон в летнюю ночь»), полюбившей ничтожного ткача Основу, наделенного вдобавок ослиной головой. Мир, в который вводит поэт читателя, с точки зрения рациональных норм, — «жалкий Бе́длам». Поэт не приглашает отбросить старое объяснение для того, чтобы принять новое: он убежден в тщетности любых логических объяснений.

Не только возлюбленная поэта, но и весь окружающий его мир и он сам не умещаются в границах логических антитез. В 1792 г. Карамзин опубликовал стихотворение «Кладбище», в котором продемонстрировал возможность рассказать об одном и том же с диаметрально противоположных точек зрения:

Один голос
Страшно в могиле, хладной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,
Белые кости стучат.

Другой голос
Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут (с. 114).

Этот разноликий мир, окружающий поэта, не есть, однако, царство абсолютного релятивизма. Он повернут своим хаотическим многообразием к миру рациональных норм. Однако сам для себя он не хаотичен. Не имея внутренней логики, он наделен гармонией. Поэтому при попытках рационального осмысления он предстает как абсурдный и неорганизованный, но, рассмотренный по своим собственным законам, он обнаруживает внутреннюю стройность. Этот мир, прежде всего, находится вне теорий и теоретического мышления. Это обычная жизнь, причем жизнь в тех ее проявлениях, которые не отмечены причастностью к истории, политике и государству. Как гармоническая, поэтически прекрасная предстает жизнь обычная, незаметная, жизнь сердца в ее обыденных, каждодневных проявлениях. Карамзин хорошо знал литературу «бури и натиска», но поэтический образ его лирики — не бурный гений. Это человек простых чувств, душевной ясности, чистосердечно признающийся в неяркости своего таланта:

Теперь брожу я в поле,
Грущу и плачу горько,
Почувствуя, как мало
Талантов я имею.

(*«Анакреонтические стихи А. А. П<етрову>»*, с. 69—70)

Не зная, что есть слава,
Я славлю жребий свой.

(*«Две песни»*, с. 147)

Это тем более интересно, что реальный Карамзин — начинающий литератор — совсем не походил на этот условный поэтический образ: он был весьма высокого мнения о своем литературном даровании и видел в себе человека, призванного реформировать русскую словесность. Как писал с раздражением М. И. Багрянский А. М. Кутузову в 1791 г. о Карамзине, «он себя считает первым русским писателем и хочет нас учить нашему родному языку, которого мы не знаем. Именно он раскроет нам эти

скрытые сокровища»[1]. Напомним, что сам Карамзин в стихотворении «Поэзия» связывал именно со своей деятельностью то, что в России «Поэзия начнет сиять».

«Простая жизнь» воспринималась как жизнь душевных переживаний, а не материальных забот. Герой освобожден от связей с гнетущим и противоречивым внешним миром. Это определило весь лексико-стилистический строй лирики Карамзина, которая соткана из подчеркнуто простых, обыденных слов и оборотов и одновременно чуждается предметно-вещественной лексики державинского типа. Это объяснялось глубокими причинами.

Державин уничтожил рационалистический дуализм «высокого» мира идей и «низменной» реальности, соединив понятия зримости, весомости вещественного мира с представлениями о поэзии и счастье. В сознании Карамзина мир снова разделился. Однако природа его дуализма совсем не походила на классицистическую. Поэт делил мир на внешний, вещественный, материальный, государственный — мир, отрицаемый им, царство дисгармонии и пороков, — и гармонический внутренний мир. По сравнению с радищевской позицией такая точка зрения могла казаться пассивной, но не следует забывать, что современники улавливали в ней протест против дворянской государственности, проповедь личной независимости и высокое представление о душевном достоинстве человека. На протяжении царствований Екатерины II и Павла I Карамзин слыл за подозрительного, недовольного и полуопального поэта.

Философской основой подобной позиции был сенсуализм в духе хорошо известного и одобряемого Карамзиным Кондильяка, двойственный по своей сути. С одной стороны, он соприкасался с философией Просвещения от Руссо до энциклопедистов, с другой — легко мог (за что критиковал Кондильяка Дидро) быть перетолкован в агностическом и субъективистском духе. Но сама эта двойственность была выражением не только слабости, но и силы: от метафизической прямолинейности в решении гносеологических вопросов она подводила к осознанию сложности отношений мира субъекта и объекта. В этом смысле историческая случайность, благодаря которой первый европейский визит Карамзина был нанесен Канту, приобретает символический характер.

Карамзин в конце 1780-х — начале 1790-х гг. не отрицает существования внешнего мира и даже не берет под сомнение его познаваемости, однако достоинство человека для него определяется не местом в этом мире (тем более не богатством или общественным положением), а душевными качествами.

В отличие от штюрмерского или — позже — романтического идеалов, эти душевные качества ценятся не за величие, колоссальность, индивидуалистическую активность, а за человечность и простоту. Оценка личности имеет ярко выраженный этический характер. В этот период Карамзин верит в доброту человека и ценит эту доброту. Если в оценках внешнего мира подчеркивается их релятивность, то критерии душевных переживаний носят безусловный характер и

[1] *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII века. С. 86.

ярко окрашены в этические тона. В этом смысле мир внешний, государственный, противопоставляется внутреннему, личному не только как хаотический гармоническому, но и как безнравственный — нравственному.

Из сказанного легко можно было бы сделать вывод о том, что социальная позиция Карамзина носила антиобщественный, индивидуалистический характер, что поэт проповедовал пассивность и чужд был гражданственности. Это утверждение, однако, было бы в высшей мере неточно. Оно находилось бы в прямом противоречии с простыми фактами: на всем протяжении поэтического творчества Карамзина — от «Песни мира», «К Милости» и «Ответа моему приятелю» до «Оды на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому», «Тацита», «Гимна глупцам», «Песни воинов», «Освобожденной Европы» — стихотворения с откровенно общественным звучанием составляют опорную нить в лирике Карамзина. На наличие в поэтическом наследии Карамзина «гражданско-патриотических стихотворений» обратили внимание авторы вступительной статьи к вышедшим Избранным сочинениям писателя[1].

Однако общественная позиция Карамзина была своеобразна, и, не отметив этого, мы не поймем специфики и его гражданской лирики. Политика и гражданственность в сознании Карамзина разделялись. Первая воспринималась как связанная с хаотическим внешним миром, вторая касалась души человека. Путь к общественности лежит не через государственные институты, а через личную добродетель. Поэтому для Карамзина проповедь ухода от политической борьбы не означала отказа от гражданственности. Скорей наоборот: со своей точки зрения Карамзин склонен был смотреть на всякого политика как на политикана — эгоиста и честолюбца, а античные гражданские добродетели находить в частном человеке, проникнутом заботой о своем ближнем.

Поэзию Карамзин считал проповедницей не политики, а общественности. О том, насколько плоско было бы на основании этого говорить об антинародности позиции Карамзина, свидетельствует то, что в этих суждениях Карамзин опирался на Шиллера. Исследователи не отметили любопытный факт: осуждая действия революционной толпы в Париже, Карамзин в конце 1780-х — начале 1790-х гг. противопоставлял ей совсем не идеал покоя и неподвижности, не идеологов эмиграции, а героическую гражданственность поэзии Шиллера. Известие о взятии Бастилии заставило его читать не контрреволюционные памфлеты, а «Заговор Фиеско». И выводы, которые он сделал, сопоставляя французскую действительность и слова немецкого поэта, в высшей мере примечательны. Узнав о взятии Бастилии, Карамзин не пошел уже в тот день ни к кому — он отправился в библиотеку и принялся за чтение Шиллера: «Публичная библиотека в трех шагах от трактира. Вчера я брал из нее „Фиеско“, Шиллерову трагедию, и читал ее с великим удовольствием от первой страницы до последней. Едва ли не всего более тронул меня монолог Фиеска, когда он, уединяясь в тихий час утра, размышляет,

[1] См.: *Берков П., Макогоненко Г.* Жизнь и творчество Н. М. Карамзина // Карамзин Н. М. Избр. соч. Т. 1. С. 30.

лучше ли ему остаться простым гражданином и за услуги, оказанные им отечеству, не требовать никакой награды, кроме любви своих сограждан, или воспользоваться обстоятельствами и присвоить себе верховную власть в республике. Я готов был упасть перед ним на колени и воскликнуть: „Избери первое!“»[1] Позже, в Париже, наблюдая события революции, Карамзин в обществе Вильгельма Вольцогена — школьного товарища Шиллера — провел много «приятных» вечеров, «читая привлекательные мечты» немецкого поэта. Это стремление воспринять французскую революцию «по Шиллеру», очень существенное для политической позиции Карамзина, определило и особенность стиля его гражданской поэзии: Карамзин в принципе отбрасывал противопоставление интимной и политической лирики. Обе разновидности поэзии говорят о человеке, о его душе и добродетели. Следовательно, для стилистического противопоставления их нет оснований. Это приводило к принципиальному отказу от архаизмов и «высокой» лексики. Наблюдение над общественно-политической поэзией Карамзина в 1789—1793 гг. позволяет сделать любопытные выводы. Карамзин решительно отказывается от традиционных форм политической лирики, от оды. Он подчеркивает, что власть не может стать предметом его поэзии и никакие личные злоключения, биографические обстоятельства не могут поколебать этого решения.

В 1793 г., когда положение Карамзина было весьма шатким и он «ходил под черной тучей», он написал «Ответ моему приятелю (видимо, И. И. Дмитриеву. — *Ю. Л.*), который хотел, чтобы я написал похвальную оду Великой Екатерине». Прикрывая свою позицию официальными комплиментами, Карамзин решительно отказывался прославлять императрицу.

Мне ли славить тихой лирой
Ту, которая порфирой
Скоро весь обнимет свет? (с. 126)

При этом гражданская тема не исключалась — исключалась лишь официальная ее трактовка. Не следует забывать, что незадолго до этого Карамзин создал стихотворение «К Милости». Отказываясь воспевать власть, он прославлял милосердие; отказываясь превращать музу в ходатая по своим делам, он не боялся использовать ее как заступника за других. Это было общественное выступление. Не облеченный никакими правами, кроме права поэзии, Карамзин публично возвысил свой голос, напоминая Екатерине II о человечности. Отрицая в теории любые программы, Карамзин превращал личную смелость и гражданственность в программу. Общественная позиция Карамзина питалась пафосом защиты человека от дворянского государства. Вместе с тем, однако, это делало ее не революционной, а лишь глубоко «партикулярной». Его отрицание дворянской государственности не перерастало в политический протест — оно выливалось в протест против политики. Из формулы «права человека и гражданина» значимой для Карамзина была лишь первая часть.

В эстетическом отношении гражданская поэзия и интимная лирика Карамзина стилистически были однотипны. Они изображали внутренний мир

[1] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 1. С. 189.

человека. Характерно, что Карамзин в эти годы отстранился не только от тематики, но и от всей стилистической и строфической структуры оды. Но если для И. И. Дмитриева, автора сатиры на одописцев «Чужой толк», отказ от оды был одновременно и отрицанием общественно значимой поэзии, то Карамзин стоял на иной позиции. Создавая «Песнь мира», он обратился к шиллеровской форме гимна, утверждавшего единство личности поэта (корифея) и идеализированного народа (хора).

Противопоставление внешнего и внутреннего миров, сложная диалектика их отношений составляют идейную основу, на которую опирается гражданская лирика Карамзина этих лет.

Однако между грубым, вещественным внешним миром и нравственным миром человеческой души есть пограничная сфера — это искусство. Искусство — место соприкосновения враждебных миров субъективного и объективного, человека и вещи.

Эта двойственность искусства определяет и двойную природу поэтического стиля: чем поэт глубже погружается в субъект, в мир внутренних переживаний, тем безусловней, однозначнее его поэтический мир. Законами творчества становятся простота и правда. Сердечные переживания и добродетели вечны, понятны для всех и не допускают множественности точек зрения. Так, создавая балладу «Алина», Карамзин подчеркнул, что в ней нет никаких «украшений». Стихам, включенным в текст «Писем русского путешественника», предпослан разговор автора с дамой, сообщившей ему их сюжет: «Дайте мне слово описать это приключение в русских стихах. — Охотно, но позвольте немного украсить. — Нимало. Скажите только, что от меня слышали. — Это слишком просто. — Истина не требует украшений». Разговор этот имеет, конечно, принципиальный характер. Карамзин считает художественную простоту, «невыдуманность» основой лирики. На этом строится и эстетика «отказов» — неупотребления привычных читателю художественных средств. На фоне читательского ожидания, очень активного, привыкшего к нормативной эстетике XVIII в., подобные «минус-приемы» (отказ от рифмы, отказ от метафор и т. п.) обладали высокой художественной значимостью. Проиллюстрируем это одним примером: в 1792 г. Карамзин по просьбе «одной нежной матери» написал несколько эпитафий на могилу ее двухлетней дочери. Первая из них звучит так:

Небесная душа на небо возвратилась,
К источнику всего, в объятия Отца.
Пороком здесь она еще не омрачилась;
Невинностью своей пленяла все сердца (с. 112).

Эпитафия написана в традиционной манере четырехстишия с перекрестными рифмами. Столь же традиционной является и композиция: эпитафия распадается на две части с переплетающейся двойной группировкой стихов — первый и второй могут быть композиционно противопоставлены третьему и четвертому, но существует и другая структурная антитеза: первый и третий — второму и четвертому. Не менее традиционна та сложная игра слов, которая устанавливает отношение между тремя понятийными центрами стихотворения:

небо — умершая — земля. Устанавливается связь первого и второго, поскольку душа умершей получает эпитет «небесная». Этим первый и второй смысловые центры отождествляются, родственность их подчеркивается и тем, что «источник всего» — «отец». Следовательно, приход души в его объятия — лишь «возвращение». С земным миром семантические связи строятся по прямо противоположному принципу: «здесь» — это царство «порока», но «небесная душа» им «не омрачилась». Композиция построена по всем правилам «остроумия» и должна производить на читателя впечатление глубокой продуманности. Когда Пушкин позже приветствовал «освобождение» поэзии «от итальянских concetti и от французских Анти-thèses»[1], он выступал именно против таких принципов стихотворного построения. Но Карамзин не остановился на этом тексте эпитафии и предложил еще несколько вариантов.

В объятиях земли покойся, милый прах!
Небесная душа, ликуй на небесах! (с. 112)

Этот вариант, более лапидарный, упрощен лишь в сравнении с первым: взятый сам по себе, он вполне удовлетворяет требованиям полноты, которые предъявлялись ему законами жанра. Он «достроен до конца». Двустишие для читателя, незнакомого с тем, что эпитафия первоначально представляла собой четырехстишие, было вполне завершенной и в данном случае «нормальной» формой. Завершенность подчеркивается парной рифмой. Что касается нарочитой продуманности композиции, то она даже стала более явной, поскольку антитеза первого и второго стихов приобрела обнаженный характер (земля и прах — небо и душа). Несмотря на краткость текста, он весь «построен»: отождествления «небесная душа — небо» и «прах — покойся» дополнены антитезами «покойся — ликуй», «прах — душа», «в объятиях земли — на небесах». Однако Карамзин не прекратил экспериментов и предложил другие варианты текста:

Едва блеснула в ней небесная душа,
И к Солнцу солнцев всех поспешно возвратилась.

и

И на земле она, как ангел, улыбалась:
Что ж там, на небесах?

Подчеркнутым принципом построения этих двустиший является неполнота, незаконченность. Это впечатление поддерживается отсутствием рифмы: «душа» — «возвратилась» и разным типом клаузулы — мужской и женской. Во втором двустишии Карамзин разрушает и ритмический изометризм стихов. Стих «Что ж там, на небесах?» сознательно оборван. Любопытным примером нарочитого разрушения структуры является и следующее: в тексте 1792 г. находим характерную игру понятиями: «к Солнцу солнцев всех». Позднее Карамзин упростил текст, отказавшись от словесной игры:

И к Солнцу всех миров поспешно возвратилась...

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 381.

И венцом всей этой сложной работы является последний текст:

Покойся, милый прах, до радостного утра! (с. 112)

Художественное восприятие этого моностиха подразумевает в читателе ясное чувство того, что перед ним в качестве законченного стихотворного произведения выступает отрывок, казалось бы лишенный всех внешних признаков поэзии, кроме ямбических стоп; основная единица поэтического текста — стих — здесь может сопоставляться с другими стихами лишь негативно. Даже заложенная в стихе сложная конструкция идей, из которой делалось бы ясно, что значат слова «утро», «покойся» в данном их употреблении, — вынесена за скобки. Она находится вне данного текста. Но поскольку в этом, лишенном почти всех признаков поэзии тексте читатель безошибочно чувствует поэзию, и очень высокую, автор тем самым утверждает мысль, что сущность поэзии вообще не в ее внешней структуре, что упрощение, обнажение текста поэтизирует его. Это отделяло лучшие лирические стихи Карамзина от салонной «простоты» поэзии Дмитриева, позволяя в нем видеть предшественника Жуковского. Идя по этому пути, Карамзин создал первые образцы русской лирической прозы и первое в русской поэзии стихотворение в прозе — посвящение ко второй книжке «Аглаи». Предшествующим опытом было создание песни цюрихского юноши, включенной в «Письма русского путешественника».

Но искусство не может отказаться и от изображения объекта, действительности, и вопрос этот неизменно волновал Карамзина. И как прозаик, и как поэт Карамзин неизменно обращался к изображению внешнего мира. Однако принципы художественного отображения действительности в его поэзии менялись.

«Письма русского путешественника», как и вся проза Карамзина этого периода, отмечены сильным влиянием эстетики Просвещения. Однако характерным для Карамзина было то, что, наряду с таким коренным вопросом, как отношение среды и человека в пределах изображаемого им мира, его всегда волновал вопрос отношения самого этого изображаемого мира к изображающему сознанию.

В течение первого периода творчества Карамзин решал антиномию объективного и субъективного следующим образом: предмет искусства во внешнем мире — то, что однотипно миру внутреннему. Изображая другого человека, писатель интересуется не материальными условиями его существования, а страстями, душевными переживаниями. Так возникали произведения типа баллад «Раиса» и «Алина». По отношению к нормам классицизма оба эти произведения осуществляли требование «простоты»: в них речь шла не о государственных страстях, а о чувствах разъединенных любовников или покинутой женщины. Однако характер разработки темы в них различен: первая ближе к штюрмерскому варианту трактовки свободы чувства — изображаются колоссальные страсти на фоне бурного ночного пейзажа. Описание чувств героини имеет характер нарочитого преувеличения:

С ее открытой белой груди,
Язвимой ветвями дерев,

Текут ручьи кипящей крови
На зелень влажныя земли.

(*«Раиса»*, с. 102)

Тема безграничной свободы чувства, бросающего вызов религиозно-моральным нормам, найдет в дальнейшем развитие в романсе молодого человека из повести «Остров Борнгольм». «Законы», с которыми там сталкивается «сердце» героя, — это не политические законы и не деспотическая власть родителей, а нормы религии и морали. Но и они объявлены тиранническими, поскольку ограничивают свободу, любовь и счастье человека.

В балладе «Алина» сюжет построен новеллистически, общий дух повествования приближается к «Бедной Лизе». Простота понимается здесь как бытовое правдоподобие. Одновременно нравственные нормы представляются чем-то безусловным и несомненным. Не случайно автор сообщает, что не украсил повествование ничем, кроме моральных рассуждений. Это убеждение в незыблемости морали как основы личности человека вообще было более свойственно Карамзину этих лет. Штюрмерская антитеза «свобода — мораль» его привлекала гораздо меньше, чем руссоистская: «нравственность человеческого сердца — безнравственность общественных институтов». На этой основе вырастал и своеобразный интерес к проблеме народа. Народ не противопоставлялся личности: он вместе с ней включался в мир простоты, безыскусственности и нравственности, которому противополагалась искусственность и ложность социальных институтов. А так как социальные институты воспринимались еще и как начало материальное (богатство, неравенство, жизненные блага), то «народ» воспринимался как категория антиматериальная (следовательно, не политическая, а этическая). Так создается тот идеал патриархального народа, который нарисован в «Письмах русского путешественника»: «Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу?»[1]

Стремление воспроизвести наивность народной поэзии наложило отпечаток на перевод «Графа Гвариноса» — произведения, отмеченного тем увлечением фольклором, которое было характерно для передового европейского искусства конца XVIII в.

Однако вопрос проникновения поэта в мир действительности не всегда представлялся Карамзину столь простым и легким. По мере нарастания элементов субъективизма в мировоззрении писателя проблема эта начинала ему представляться все более сложной, но и теперь Карамзин не отказывался от этой задачи. Он лишь начал подчеркивать тот плюрализм возможных оценок, ту относительность, которая царит в мире действительности. Если мир этики — мир человеческого сердца — безусловен и однозначен, то мир жизни разнолик и изменчив. Но искусство не может отказаться от изображения

[1] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 1. С. 214.

жизни. Следовательно, в отличие от этики, искусство ведет нас в страну относительного, изменчивого, многоликого — в страну игры. Истину можно требовать от моралиста, но не от художника. В этот период поэзия Карамзина двоится: на одном полюсе по-прежнему проникнутое этическим пафосом изображение жизни сердца, на другом — артистическая игра, находящаяся вне этических оценок.

В поэзии Карамзина рядом с лирическим образом мудреца, который укрывается от зла, господствующего в мире, от суеты государственных дел в незыблемую крепость частной жизни, уединения, дружбы, природы, в мир безусловных этических ценностей («Послание к Дмитриеву»), появляется другой авторский идеал: художник-артист, изменчивый, как Протей, отражающий в многоликой поэзии многообразие жизни.

Ты хочешь, чтоб Поэт всегда одно лишь мыслил,
Всегда одно лишь пел: безумный человек!
Скажи, кто образы Протеевы исчислил?
Таков питомец муз и был и будет ввек.
Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка, как воск, как зеркало ясна,
И вся Природа в ней с оттенками видна.
Нельзя ей для тебя *единою* казаться
В *разнообразии* естественных чудес.

(*«Протей, или Несогласия стихотворца»*, с. 242—243)

Сама по себе эта концепция не только не означала отказа от изображения объективного мира, а скорее подразумевала, что именно многообразие жизни составляет предмет поэзии:

...что видит, то поет,
И, всем умея быть, всем быть перестает (с. 243).

Однако бесспорно, что элементы гносеологического релятивизма наложили на эти представления свою печать. Не случайно по мере нарастания субъективизма в мировоззрении Карамзина второй половины 1790-х гг. представление об искусстве-игре все более устойчиво связывалось с идеями плюрализма, относительности истины. Это привело к решительной перестройке всей художественной системы. Прежде всего изменилось отношение к сюжету. Из рассказа о «подлинных событиях» («Алина») или о нравах героической патриархальной старины («Граф Гваринос») он превратился в игру воображения. Мерой достоинства становится не истина, а фантазия:

Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом;
Мы все, мой друг, лжецы:
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой, — в добрый час!
Лишь только б было вероятно.

Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!

(*«К бедному поэту»*, с. 195)

В этом же стихотворении впервые с такой прямотой прозвучало противопоставление «мечты и существенности» (Н. В. Гоголь), которое позже станет одним из ведущих мотивов романтического искусства:

Мой друг! существенность бедна:
Играй в душе своей мечтами... (с. 193)

В «Илье Муромце» — «богатырской сказке», которую начал Карамзин в 1794 г., отношение к сюжету иное, чем в «Графе Гвариносе». Карамзин обращается к русскому эпосу без желания проникнуть в его объективную художественную атмосферу. Поэзия — не истина, а игра:

Ложь, Неправда, призрак истины!
Будь теперь моей богинею... (с. 151)

Из этого вытекает антитеза: «трагическая и непостижимая жизнь — утешающее, иллюзорное искусство».

Ах! не всё нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов!

(*«Илья Муромец»*, с. 150)

Сомнения Карамзина в постижимости истины сопровождались в середине и второй половине 1790-х гг. призывами к уединению, уходу от «безумия» современников в мир частной жизни, покоя и искусства. Призыв этот окрашен в тона стоицизма и глубокого разочарования:

А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаться издали пороком...

(*«Послание к Дмитриеву»*, с. 138)

Стихи эти неоднократно истолковывались исследователями, в частности и автором этих строк, как призыв к антиобщественному индивидуализму, как отказ писателя от социальной активности. В это представление следует ввести коррективы.

Перелом во взглядах Карамзина в эпоху якобинской диктатуры и последующие годы углубил отрицательное отношение писателя к политике, но не подорвал его веры в человека и его нравственное достоинство. Поэт хочет жить без «страха и надежды», уходит от «злых и невежд», но верит в

добродетель и свободу и гнушается пороком. Все стихотворение пронизано этим этическим пафосом.

Герой гражданской лирики Карамзина 1793—1800 гг. стоит вне государства. Власть не может принести ему счастья. Карамзина привлекла надгробная надпись кордовского халифа Абдуррахмана III:

> С престола я свергал сильнейших из царей;
> Полвека богом слыл, был счастлив — десять дней.
>
> (*«Эпитафия калифа Абдулрамана»*, с. 128)

Однако поэт не стоит вне жизни людей, и его этические воззрения носят ярко выраженный общественный характер. Лирика этих лет создает идеал добродетельного стоика, не питающего надежд на личное счастье («Опытная Соломонова мудрость»), но проникнутого гордым чувством собственного достоинства и готового героически сопротивляться тирании. Субъективизм воззрений Карамзина не приводил его к примирению с деспотизмом. В мрачном 1795 г., когда политическая реакционность Екатерины II достигла апогея, он написал «Гектора и Андромаху» — апологию героя, идущего на смертный бой, а в 1797 г. ответил на деспотизм Павла I стихотворением «Тацит», о тираноборческом характере которого мы уже говорили.

Эволюция общественно-политической поэзии Карамзина на этом не закончилась. Совершенно неожиданно в творчестве уже зрелого поэта появляется ода в традиционном для этого жанра оформлении. И если на вторую половину 1790-х гг. приходится лишь одно стихотворение этого типа («Ода на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому»), то в начале XIX в. он создает три обширные торжественные оды («Освобождение Европы») и написанную традиционным одическим десятистишием «Песнь воинов». Если прибавить, что общее количество поэтических произведений Карамзина в эти годы было очень невелико (менее двух десятков стихотворений, включая альбомные «безделки», надписи, двустишия и т. п.), то мы вынуждены будем заключить, что одическая поэзия в творчестве этих лет занимает ведущее место. Это тем более заметно, что столь характерных для него лирико-гражданственных стихотворений он в эти годы не создает. Все это выглядит довольно неожиданно и нуждается в объяснении.

Несомненной является связь между изменением жанрово-стилистической природы ведущих произведений лирики Карамзина в начале XIX в. и общей эволюцией воззрений писателя.

Конец XVIII в. был временем подведения итогов. Радищев с горечью писал, что «сокрушен корабль, надежды несущий». Многое передумать пришлось и Карамзину. Отличительной, бросающейся в глаза чертой позиции писателя в эти годы было изменение его отношения к политике. Из литератора, демонстративно чуждающегося государственности, борьбы партий, Карамзин превратился в политического журналиста, издателя «Вестника Европы», в котором литературные материалы подчеркнуто занимали второе место. Теперь он — теоретик государственности, приступающий к работе над «Историей

государства Российского» и пишущий для правительства «записки» по вопросам общей государственной политики. С этим были связаны глубокие внутренние перемены. Вера в утопические идеалы долгое время поддерживала его надежду на близость спасительного перерождения людей и заставляла с упованием глядеть в будущее. Однако когда и эта вера начала меркнуть, Карамзин еще не полностью был захвачен пессимизмом: он все еще возлагал надежды на добрую природу человека, цивилизацию, улучшение нравов, отказываясь считать внешнее принуждение организующей силой человеческого общества. Именно в тот период, когда при Павле I государственное насилие стало открытым принципом управления, Карамзин противопоставлял ему веру во внутреннее достоинство человека вплоть до признания за отдельной личностью права на героическое сопротивление насилию.

Для людей XVIII в., с их невниманием к экономической стороне общественной жизни, французская революция закончилась совсем не свержением Робеспьера, — только единовластие Бонапарта, позже — императора Наполеона убедило современников в том, что период парижских Катонов и Брутов сменился временем Цезарей и Августов. Именно с этого момента революция начала восприниматься многими врагами старого порядка как неудачная и напрасная.

Карамзин принудил себя к трезвому отречению от всех утопий и всех надежд. Именно в это время Карамзин окончательно убеждается в злой природе человека («Моя исповедь») и, доводя эту идею до логического конца, приходит к выводу о необходимости политики — внешнего, насильственного управления людьми ради их же собственного блага. Если в начале 1790-х гг. он включил в «Письма русского путешественника» стихотворное описание «чудовища, которое называется Политикою», то теперь политические вопросы живо интересуют его самого. При этом следует иметь в виду семантику слова «политика». Заимствуя для характеристики деятельности Ришелье стихи из «Генриады» Вольтера, Карамзин имел в виду именно государственную политику, деятельность правителя, основанную не на морали, а на «интересах». Теперь он признает только такую государственную деятельность. Идеалом его становится политик-практик, цинически включающий в свои расчеты и глупость, и злость людей, — Бонапарт, сильной рукой утихомиривающий море эгоистических страстей. Политика оправдывается не моралью, а силой и успехом. Отрицательное отношение сохраняется лишь к тому значению слова «политика», которое появилось после революции во Франции и означало политическую борьбу партий и общественных групп. В ней Карамзин видит лишь борьбу «эгоистических воль» и ухищрения личного себялюбия. Даже бескорыстные порывы благородных утопистов, вроде Марфы Посадницы, на деле способствуют лишь «интересам» «бояр корыстолюбивых».

Это определило и отрицательное отношение Карамзина к либеральным планам правительства Александра I, и его паническую боязнь столкновения России с Наполеоном, которая сквозит в «Записке о древней и новой России». Карамзин прозорливо предчувствовал неизбежность войны с Францией и, невысоко ставя государственные качества Александра I, очень этого боялся. Обаяние Наполеона означало для Карамзина поворот от XVIII в. — века

систем и утопий — к эпохе политической реальности, освобожденной от иллюзий и фраз. В этом, как и в отношении к Наполеону, Карамзин был близок к настроениям Гёте в ту же эпоху.

Поворот к действительности приводил Карамзина к своеобразному «реализму» в политике, пониманию роли «интересов» в поступках людей.

«Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностию? Вы все Авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод <...> Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов; а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга! — Итак, сила выше всего? Да, всего, кроме Бога, дающего силу!»[1]

Эта позиция подразумевала и неприятие либерализма, как правительственного, так и антиправительственного, и отрицание реакционного утопизма тех, кто хотел вернуть Европу к предреволюционному порядку. В этой позиции были зерна историзма, и не случайно она привела Карамзина к труду историка.

В этих условиях Карамзин обратился к политической лирике.

Это была уже не поэзия гражданских добродетелей, воспевающая благородство внутреннего мира человека. Карамзина привлекает внешняя по отношению к человеческой личности сила — государственная власть. Именно ее он, разочаровавшись в человеке, воспевает и поэтизирует. Это и приводит к тому, что гражданское лирическое стихотворение свободной формы заменяется традиционной одой.

Обращение Карамзина к миру политики, внешнему по отношению к душе человека, изменило всю художественную систему. Рядом с торжественной одой появился другой, не менее чуждый для предшествующего творчества Карамзина жанр, — сатирическая басня («Филины и соловей, или Просвещение»). Однако, защищая идею сильной власти, Карамзин был далек от той мажорной веры в государственность, которая характеризовала, например, оды Ломоносова. Его политическая поэзия не свободна от скептической и пессимистической окраски. То, что представляется Карамзину прекрасным, он считает невозможным, а то, что возможно, рисуется ему отнюдь не в радужном свете.

Проповедь сильной власти была продиктована неверием в человека. Именно это скептическое отношение к добродетели — прекрасной, но зыбкой мечте — продиктовало ему стихотворение «К добродетели». Любопытно, что по форме оно представляет собой традиционную оду. Прежде Карамзин придавал гражданственной поэзии структуру интимной лирики. Теперь он отливает лирические стихи в «государственные» формы. Но и политический

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 194—195.

порядок — антитеза внутреннему миру человека — не представляется Карамзину привлекательным. Он издает политический журнал, размышляет с трезвостью государственного деятеля и редким умением охватить в единой картине огромную сумму пестрых фактов о современной жизни Европы и России, дает советы царю, проповедует политический реализм и — не может преодолеть чувства, что политическая жизнь не касается самых коренных вопросов бытия человека. Не случайно рядом с программными политическими одами он пишет в 1802 г. в форме оды «Гимн глупцам». Политический организм создан глупцами. Государство может лишить счастья человека с умом и сердцем, осчастливить же оно может только дурака.

> Глупцы Нерону не опасны:
> Нерон не страшен и для них (с. 288).

Эти окрашенные горьким скепсисом стихи свидетельствуют, что Карамзин — автор политических од — отнюдь не превратился в восторженного одописца.

Карамзин скоро убедился, что идея государственной власти, циничного в своем практицизме политического расчета, не может стать для него ни общественным идеалом, ни источником поэтического вдохновения. В поисках положительного начала Карамзин обратился к иному истолкованию проблемы государственности. Государство начало привлекать его не как форма политической власти, а как вековая, стихийно сложившаяся структура национального организма. Разочаровавшись в философских системах, он обратился к исторической реальности народной жизни. Так родился замысел «Истории государства Российского». Не анализируя подробно политической концепции этого огромного по размеру и по значению произведения, отметим, что историческая жизнь русской государственности таила в себе для Карамзина источник глубочайших поэтических эмоций. В этом смысле «История...» завершила сложную борьбу поэзии и прозы в творчестве писателя. Отказавшись от лирики и не найдя удовлетворения в одической поэзии, Карамзин обнаружил для себя источник поэтического вдохновения в том, чтобы слить свое «я» с русской историей, превратить свое повествование в огромную эпическую поэму в прозе. «Историю государства Российского» можно сопоставить с гнедичевским переводом «Илиады»: эти два колоссальных эпических труда, занявших многие годы жизни своих создателей, подводили итог литературе XVIII в., предпушкинской эпохе, впитав в себя огромное богатство дум, чувств, исторического и культурного опыта. «История государства Российского» в одинаковой мере венчает путь Карамзина-прозаика и Карамзина-поэта. Поэзия Карамзина неизменно развивалась в проекции на его прозу. «История государства Российского» в этом отношении — новый этап. Поэзия и проза перестали быть членами парной антитезы и слились в синтетическом единстве. Вместо поэзии, стремящейся к прозе, и прозы, которая сближается с поэзией, возник единый замысел грандиозной эпической поэмы в прозе. Не случайно Карамзин обратился к тому периоду русской литературы, который еще не знал ни понятия прозы, ни понятия поэзии в их современном значении, избрав древнерусское летописание не только как источник исторических материалов, но и в качестве образца для литературного подражания.

Пушкин, называя Карамзина последним русским летописцем, имел в виду особую, очень характерную черту во взглядах и художественной позиции автора «Истории государства Российского». Усвоив отрицательное отношение к историко-политическому мышлению XVIII в. с его подходом к истории как к иллюстрации общественно-экономических, государственных и моральных доктрин, Карамзин нашел в летописи образец совершенно иной исторической прозы. Его идеалом стал летописец, созерцающий, но не философствующий, который произносит моральный суд над действиями людей, но не над историей, общий смысл которой остается недоступным человеку и оценке не подлежит. Карамзин увидел общее между отношением историка (и его образца — летописца) к своему материалу и эпического певца к исполняемым им произведениям. Художник такого типа не является творцом в новейшем понимании. Он растворяет свою личность в воссоздаваемом им огромном полотне. Даже когда его субъективность проступает, она не похожа на лиризм поэта-романтика. Оценки — одобрение или гневное порицание — историк-летописец или эпический поэт выносят не от своего имени, а от лица традиции, обычая, веры, народа. Поэт отдает свой голос чему-то бесконечно более значительному, чем он сам.

Эта поэзия эпической стихийности захватила Карамзина, и он решил, что наиболее полное ее выражение он сможет осуществить в эпически образном полотне, написанном как поэма в прозе. Сколь ни глубоко различие между воззрениями Карамзина и Гнедича, которые были скорей антагонистами, чем единомышленниками, в век легкой поэзии их замыслы получали определенное типологическое сходство. На них вырастала та традиция русской эпической прозы — поэзии, которая усвоила поэзию патриархальности и представление об истории как стихийном потоке, не имеющем понятных человеку целей, и позже была представлена «Тарасом Бульбой» Гоголя и «Войной и миром» Толстого.

Без «Истории государства Российского» нельзя понять смысл общего движения поэтического творчества Карамзина.

В последние годы жизни Карамзин уже не воспринимался современниками как поэт в привычном значении этого слова.

Поэтическая деятельность его затухала. Он писал стихи лишь «к случаю», для домашнего употребления. Русская поэзия 1800—1810-х гг., многими корнями уходившая в творчество Карамзина 1790-х гг., развивалась теперь без него.

Карамзин не создал поэтических произведений, художественное значение которых пережило бы его время. Более литератор, чем поэт, он весь был в своей эпохе. Поэзия его мало что говорит чувству современного читателя, но без нее нельзя понять ни поэзии Жуковского и Батюшкова, ни лирики молодого Пушкина.

Не создав выдающихся по художественной ценности стихотворений, Карамзин «очинил перья» последующим поэтам: именно в его творчестве были намечены те принципы лиризма, которые разрабатывались в дальнейшем Жуковским, те представления о высоком значении культуры языка для национальной культуры и об определяющем влиянии «легкой поэзии» на язык,

которые свойственны были Батюшкову и «арзамасцам». Наконец, именно Карамзин поставил вопрос о соотношении лирического и эпического начал в поэзии, о создании баллады — и бытовой, и народно-поэтической, подготовив тем и баллады Жуковского, и в конечном итоге думы Рылеева, фактическое — конечно, не идейное — содержание которых черпалось также из творчества Карамзина, но уже не поэта, а историка.

Однако, понимая значение Карамзина как одного из родоначальников, стоящих у истоков русской поэзии начала XIX в. (подчеркивать эту сторону вопроса приходится потому, что значение Карамзина долгое время многими исследователями, в том числе и пишущим эти строки, преуменьшалось), не следует забывать, что само продолжение традиций Карамзина чаще всего протекало как их преодоление, борьба. И то, что борьба эта была напряженной, растянулась на многие годы и затронула самый широкий круг литераторов, — лучшее доказательство значительности наследия Карамзина в истории русской поэзии.

Кроме вопроса собственно художественного достоинства, при оценке лирики Карамзина необходимо иметь в виду и другое — роль его как стихотворца в истории русской образованности, в воспитании читательской аудитории. Культурное значение поэзии Карамзина, в частности роль ее в истории русского языка, трудно переоценить. Это значение Карамзина как цивилизатора живо ощущалось современниками, еще помнившими разницу между массовым дворянским читателем 1780-х и 1810-х гг.

Стихи Карамзина имели для современников еще одну грань, нами уже не воспринимаемую, — они связывались с личностью поэта, с его гражданской позицией. Карамзин был поэтом не только потому, что он писал стихи. Поэтический дар его, может быть, даже с большей силой проявлялся в прозе, в умении находить поэтическое, превращать в поэзию сюжеты, которые до него никто не решался рассматривать с этой стороны — от любви крестьянской девушки Лизы до истории русской государственности. Именно то, что Карамзин в своей прозе был поэтом, и то, что он был в первую очередь прозаиком, позволило ему сделать такой вклад в историю русской поэзии.

Культ «безделок», салонные интонации, жеманство, старающееся прослыть простотой, романсная чувствительность сближают поэзию Карамзина с творчеством других поэтов его школы и его эпохи. Но смелый выход Карамзина за рамки литературных норм, поэтизация прозы и прозаизм поэзии предваряют литературные искания пушкинской эпохи.

1966

Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг.

(К генезису исторической концепции Карамзина)

Политическая позиция Карамзина 1790-х гг. изучена все еще недостаточно. В особенности это справедливо, когда речь идет не о воззрениях и симпатиях, нашедших свое отражение в тех или иных литературных произведениях, а об анализе реального места Карамзина в политической жизни России 1790-х гг. Основная причина этого — отсутствие документальных материалов, которые могли бы пролить свет на этот вопрос. От обширного, как можно полагать, документального фонда Карамзина тех лет дошли лишь случайные обломки: почти никаких следов личного архива (можно полагать, что существовали дневники, записные книжки, выписки из прочитанных книг и проч.), незначительная часть эпистолярного наследия. Естественно, что в этих условиях основным источником для суждений делаются печатные литературные произведения. Однако следует учитывать то, что в силу печатного характера этого источника в нем могло отразиться далеко не все, а в результате его литературной природы само отражение было не прямым и автоматическим, а художественно опосредованным. Пользоваться таким источником приходится с максимальной осторожностью, помня, что перед нами не сборники цитат, подготовленных автором для будущих исследователей, а органическое целое, построенное по своим внутренним законам. Поскольку по характеру поставленной нами задачи мы будем реконструировать на основании художественного текста некоторую затекстовую реальность, нам придется прибегать к методам дешифровки.

Всякое подлинно художественное произведение многопланово. С разными группами читателей оно говорит по-разному. Особенно это существенно для таких произведений, как «Письма русского путешественника». Для того чтобы восстановить непонятное одним читателям и очень хорошо понятное другим, нам придется прибегать к детальному комментированию отдельных текстов.

Отношение Карамзина к реальной расстановке общественных сил в России конца XVIII в. рисуется обычно в следующем виде: сближение с новиковским кружком в 1780-е гг., затем разрыв, после которого наступает изоляция. Если мы можем указать круг личных и, отчасти, литературных связей Карамзина после возвращения из-за границы, то место его среди политических лагерей России той эпохи представляется совершенно неясным. Карамзин 1790-х гг. — одинокий мечтатель и сентиментальный меланхолик, который вдруг каким-то непонятным скачком превращается в 1802 г. в издателя «Вестника Европы» — пытливого наблюдателя и умного знатока европейской политики. Столь же неожиданно превращается он в 1811 г. в автора «Записки о древней и новой России».

Однако имели ли место такие резкие переходы в самом деле? Не подменяем ли мы подлинную эволюцию Карамзина сменой его литературных поз, настойчиво преподносимых читателю? Конечно, каждая литературная поза содержит какую-то проекцию реальной личности автора. Однако проекция — не личность во всей ее полноте. Нас же сейчас будут интересовать те аспекты, которые оставались в тени.

«Письма русского путешественника» закрепили в сознании читателей образ Карамзина как «русского путешественника» — любознательного визитера, посетителя достопримечательных мест и исторических памятников, собеседника философов и писателей, неглубокого, чувствительного, то прикидывающегося «северным скифом», вторым Анахарсисом, то вдруг обнаруживающего почти энциклопедическую осведомленность в самых различных сторонах истории, общественной жизни и культуры европейских стран. Создание такой маски повествователя входило в литературный расчет Карамзина. Бесспорно, что образу этому он отдал определенную часть своей личности, реальных впечатлений и что такие эпизоды, как описание встречи с Кантом или беседы с Виландом, вполне могут занять место в биографии Карамзина, а не только в пересказе литературных странствий его героя. Однако в целом «Письма русского путешественника» в качестве биографического источника весьма ненадежны.

Кроме описания реальных событий, свидетелем которых Карамзин был в действительности, в «Письмах русского путешественника» встречаются и эпизоды, имеющие чисто литературное происхождение. Так, в одном из писем из Парижа (главка «Тюльери») Карамзин описывает праздник Ордена св. Духа, свидетелем которого он, по его словам, был. Эпизод этот вызывает сильные сомнения: во-первых, хотя Карамзин не указывает даты праздника, высчитать ее нетрудно: Духов день — день, в который совершалось орденское торжество, в 1790 г. приходился на 25 мая. Поскольку 4 июня 1790 г. Карамзин написал Дмитриеву письмо уже из Лондона[1], то 25 мая он должен был быть в дороге. Самое же поразительное, что этот праздник, «очевидцем» которого был «русский путешественник», в 1790 г., как кажется, вообще не состоялся. Традиционно церемония совершалась в Версале, где ее и видели в последний перед революцией раз в 1789 г. Е. Ф. Комаровский и советник русского посольства Мошков[2]. Последний, безусловно, и рассказал о своих впечатлениях Карамзину, а Карамзин ввел в «Письма» как лично пережитый эпизод, перенеся действие в Париж, куда к этому времени вынуждена была переехать королевская семья.

Подобных эпизодов можно было бы привести целый ряд[3].

Особенно ясно свобода, с которой Карамзин обращается с реальными обстоятельствами своего заграничного «вояжа», проявилась в датировках. Так, последнее письмо из Лондона помечено сентябрем 1790 г. Однако

[1] См.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 13—14.

[2] См.: *Комаровский Е. Ф.* Записки. СПб., 1914. С. 8.

[3] Отсылаем читателя к комментариям в кн.: *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984.

документально установлено, что Карамзин прибыл в Петербург из Кронштадта 15 июля 1790 г.![1] В «Письмах русского путешественника» выезд из Женевы датирован точно: «Вот последняя строка из Женевы! — Марта 1»[2]. Однако письма Карамзина к Лафатеру документально подтверждают, что на самом деле он выехал из Женевы 14 марта 1790 г. Расхождение не может быть объяснено разницей в русском и европейском календарях: дав в Паланге двойную дату, Карамзин в дальнейших записях переходит на европейский календарь, которым, естественно, пользуется и помечая письма к Лафатеру (из Женевы в Цюрих).

Рассмотрение эпизодов «Писем русского путешественника» в их отношении к реальным событиям позволяет выделить четыре категории:

1. Эпизоды, в которых реальность отразилась без каких-либо существенных сдвигов.

2. Эпизоды, имеющие полностью книжное происхождение или целиком обязанные авторской фантазии, но описанные как якобы реально случившиеся[3].

3. Эпизоды, которые Карамзин хотел полностью скрыть от читателей и которые восстанавливаются лишь с помощью реконструкций.

4. Эпизоды, *частично* рассказанные Карамзиным и также нуждающиеся в реконструкции.

Мы полностью опускаем пункты 1 и 2, поскольку для нашей темы они имеют наименьшее значение. Центральными в пункте 3 будут масонские связи Карамзина за время его «вояжа». Вопрос этот в момент возвращения автора из-за границы сделался предметом интереса гонителей Новикова. Все связи этого рода сделались криминальными, и Карамзин вынужден был их тщательно маскировать. Основным здесь будет, конечно, отношение Карамзина в это время к А. М. Кутузову. Не менее существен для нашей темы пункт 4, который будет затрагивать широкий круг вопросов, связанных со многими заграничными встречами Карамзина, о которых, как можно полагать, он рассказал далеко не все.

---

[1] См.: *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. 1960. Т. 19. Вып. 2. С. 150.

[2] *Карамзин Н. М.* Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 330.

[3] Так, эпизод со слугой-самоубийцей, якобы рассказанный путешественнику его слугой Бидером, другом покойного, на самом деле заимствован из парижских газет и произошел еще до приезда Карамзина в Париж. Рассказывая этот эпизод, Карамзин отнес его ко времени своего пребывания в столице Франции: «Однажды Бидер пришел ко мне весь в слезах и сказал, подавая лист газет: „Читайте!“ Я взял и прочитал следующее: „Сего мая 28 дня в 5 часов утра, в улице Сен-Мери застрелился слуга господина ""“» (*Карамзин Н. М.* Избр. соч. С. 489). На самом деле французские газеты сообщали: «30 марта на улице Сен-Мерри было совершено одно из обдуманных самоубийств, примеры которых мы находим только в Англии. Некто Вилетт, слуга, в возрасте 26 лет, примерной честности, был человек прилежный в выполнении всех своих обязанностей» (Journal des Révolutions de l'Europe en 1789—1790. T. 8: A Neuwied sur le Rhin et à Stracburg. MDCCLXXXX. P. 50—52). Далее идет пересказ событий, почти точно совпадающий с эпизодом, рассказанным Карамзиным.

Если верить «Письмам русского путешественника», то Карамзин с Кутузовым во время своего заграничного путешествия не встречался. Он надеялся встретиться с ним в Берлине и, не застав его там, отправился в Саксонию. В Лейпциге он получил «вдруг два письма» от Кутузова, содержание которых, по его словам, было для него «очень неприятно»[1]. «Он едет в Париж на несколько недель и хочет, чтобы я дожидался его или в Мангейме, или в Стразбурге; но мне никак нельзя исполнить его желания»[2]. В приведенном отрывке столько неясностей, что невольно возникает мысль о стремлении автора больше скрыть, чем рассказать. Во-первых, поездка из Берлина в Саксонию, видимо, была предусмотрена планом путешествия, обсужденным еще в Москве. Иначе непонятно, каким образом Кутузов, не встретившись с Карамзиным в Берлине, мог узнать, что писать ему следует в Лейпциг. Далее, то, что Карамзин из Берлина направился в Саксонию, как кажется, свидетельствует о желании в дальнейшем продолжить путь на Прагу и Вену с тем, чтобы потом, через Тироль, отправиться в Швейцарию. С этим согласуются слова о том, что путешественнику «никак нельзя» по просьбе Кутузова отправиться в Мангейм, — это означало бы полную перемену плана поездки. Странным противоречием на этом фоне звучит фраза: «Я не найду его во Франкфурте», будто бы свидетельствующая, что Карамзин собирался с самого начала посетить Франкфурт-на-Майне.

Создается впечатление, что она вставлена сюда задним числом в попытке сгладить явные противоречия текста. Во-вторых, непонятно, почему Карамзин, заявив, что ему «никак нельзя» отправиться в Страсбург, тотчас же туда отправился. В-третьих, совершенно непонятно еще одно место в «Письмах»: посетив Мангейм, Карамзин замечает, что этот город показался ему особенно привлекательным. «Если бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель». Однако после этого заявления Карамзин совсем не едет в Швейцарию, в которую так «торопится», а отправляется во Францию, в Страсбург. В «Письмах» это странное противоречие никак не объясняется, но в автореферате, опубликованном в «Spectateur du Nord», Карамзин так объясняет свою поездку в Страсбург: во Франкфурте-на-Майне он узнал о революции в Париже и был ею «живо взволнован». *После этих известий* он отправился из Германии во Францию, но, столкнувшись в Эльзасе с грабежами, волнениями и слухами об убийствах, он якобы повернул, изменив первоначальное намерение, в Швейцарию. Следовательно, из Мангейма он «спешил» совсем не в Швейцарию, а во Францию. Достойно внимания и то, что по имеющимся в нашем распоряжении сведениям никаких особых волнений вокруг Страсбурга и в Эльзасе в ту пору не происходило. М. И. Невзоров и В. Я. Колокольников даже полтора года спустя, в ноябре 1790 г., когда события приняли более напряженный характер, писали из Страсбурга И. В. Лопухину: «Нам будет там в теперешних обстоятельствах Франции безопасно. Чужестранцы все, как в здешнем городе, так и во всей Франции,

[1] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. С. 168.
[2] Там же.

не только никакой, как сказывают, не имеют опасности, но еще особенно обезопашиваются»[1]. Это тем более примечательно, что через несколько месяцев Карамзин не побоялся поехать в действительно охваченный серьезными беспорядками Лион. Следует отметить, что именно со Страсбурга начинается расхождение на несколько недель между реальными датами и отмеченными в «Письмах». Наконец, самое существенное: судя по «Письмам», Карамзин не встречался с Кутузовым за границей. Между тем можно утверждать, что встреча эта имела место и, видимо, была не кратковременной. Известно, какой взрыв неприязни вызвало у масонов и особенно у Кутузова и Багрянского, то есть у тех двух лиц, которые находились летом 1789 г. в Париже и якобы не встречались с Карамзиным, известие о том, что «Рамзей» собирается издавать свой «журнал» (то есть дневник путешествия). В. В. Виноградов имел основания заключить: «Больше всего масоны боялись появления „Писем русского путешественника", описания заграничной поездки Карамзина»[2]. Кутузов тревожно писал Карамзину: «Опасно связываться с вашею братиею, авторами, тотчас попадешь в лабет («в дураки» — карточный термин, означающий проигрыш. — *Ю. Л.*). Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки; что ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистью?»[3] Каким образом Карамзин мог в своем «путевом журнале» «искусною кистью» изображать недостатки Кутузова, если они не встречались за границей? Прямым следствием этих слов является вывод о том, что Карамзин и Кутузов встречались за границей, что Кутузов боялся нескромности своего друга и не хотел, чтобы их встречи были известны публике, и что Карамзин скрыл от читателя эту сторону своего реального путешествия.

Вывод о том, что «Письма русского путешественника» очень свободно отражают реальное путешествие Карамзина и являются литературным произведением, имитирующим документальность, а не подлинными документами, не представляет чего-либо новаторского. Гораздо существеннее ответить на вопрос: где и когда Карамзин мог встретиться с Кутузовым? Ответ может быть только один: летом 1789 г. в Париже. Если предположить, что сообщение о возвращении из Страсбурга в Швейцарию неточно, что на самом деле Кутузов звал Карамзина не в Страсбург, а в Париж (что гораздо естественнее), что Карамзин откликнулся на этот зов, прибыл в Париж, оттуда направился в Швейцарию и после путешествия по ней снова поехал в столицу Франции, уже через Лион, то все смысловые и хронологические неувязки сами собой устранятся. Но тогда возникает естественный вопрос: зачем Кутузов отправился в Париж и почему Карамзин тщательно скрывал эту поездку? Нам, в отдаленной исторической перспективе, естественно предполагать, что в начале лета 1789 г. в Париж мог привести, скорее всего, интерес к революционным событиям и что эти же события вызывали необходимость скрывать поездку. Такое предположение следует отбросить: с точки зрения правительства Ека-

[1] Цит. по: *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915. С. 37.

[2] *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 255.

[3] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 55.

терины II, поездка в Париж летом 1789 г. ничего криминального собой не представляла — в столице Франции было много русских, но это не беспокоило ни русского посла, ни петербургские власти, которые склонны были рассматривать в эти дни парижские события как чисто французское дело и даже испытывали по этому поводу известное злорадное удовлетворение. Людовик XVI был несимпатичен Екатерине II, а из смут во Франции Россия надеялась извлечь дипломатические выгоды.

Совершенно иначе глядели в Петербурге на зарубежные масонские связи: это представлялось крайне опасным. Особенно активизировались преследования масонов в момент возвращения Карамзина из-за границы и публикации им «Писем». Известно, что следствие по делу Новикова специально интересовалось характером его «вояжа». Кутузов направлялся в Париж не для того, чтобы сделаться свидетелем взятия Бастилии, — совпадение этих событий, конечно, случайно. Но столь же несомненно, что его привлекали в столице Франции не возможности веселого времяпрепровождения. Друг Радищева и ближайший сотрудник Новикова, Кутузов находился за границей не для увеселительной прогулки — он был отправлен туда московскими масонами для поисков «тайн» и мистической мудрости. Миссия эта крайне его тяготила. В конечно счете он погиб, горько сознавая, что принесен московскими братьями в жертву, и вместе с тем не считая себя вправе даже в этом случае самовольно оставить свой пост. Что же могло заставить его совершить поездку в Париж?

На Вильгельмсбаденском конгрессе в 1782 г. Россия была признана восьмой полностью автономной провинцией масонского мира. Получение полной независимости было большой победой новиковского кружка. Однако этот же акт закрепил связи московских «мартинистов» с берлинским масонским центром. Не случайно Кутузов, бывший как бы послом новиковского кружка при европейском масонском движении, был послан в Берлин. Но к 1789 г. односторонние связи с берлинским масонством начали тяготить москвичей. Дело заключалось не только в том, что официальное положение и правительственные связи Влльнера и Бишофсвердера привлекали пристальное внимание правительства Екатерины II, которое, с одной стороны, находилось в весьма сложных отношениях с Пруссией, а с другой — крайне опасалось, что за московско-берлинскими масонскими связями скрываются тенденции сближения наследника Павла Петровича с Берлином, очень опасные в случае попыток дворцового переворота. Не менее важными были побуждения внутреннего порядка. В новиковском кружке нарастала оппозиция берлинскому направлению. Явно разочаровались в нем молодые братья Карамзин и Петров, захвачены теми же настроениями были и основные члены кружка. К ним, видимо, относился и Кутузов, во взглядах которого, насколько можно судить при крайней скудости фактических сведений, усиливались черты политического либерализма и социального утопизма. Рост этих настроений происходил на фоне острых дискуссий в Германии и Франции, резонанс которых вышел за пределы узких масонских кругов и захватил общество. Берлинский диктат вызвал в масонских кругах широкую оппозицию, связанную с настроением общественной активности, захватившим широкие круги

мыслящей Европы в конце 1780-х гг. Баварские иллюминаты были разгромлены, но иезуиты напрасно торжествовали победу над просветителями: иллюминаты рассеялись по немецким городам (центрами их стали Регенсбург, Нюрнберг и Франкфурт-на-Майне) и продолжали борьбу за соединение масонской организационной структуры и просветительской идеологии. Но и внутри ортодоксального масонства кипела борьба. Требования отказа от алхимии, демократизации орденской структуры, участия в общественной жизни выдвигались антиберлинским «Эклектическим союзом», возглавленным франкфуртской ложей «Единение». За пределами Германии царил такой же разброд: Франция составляла две масонские провинции; одна из них, имевшая центром Лион, поддерживала берлинское руководство, другая, со столицей в Париже, примкнула к его противникам. Парижские масонские круги были в наибольшей мере захвачены предреволюционными настроениями, которые выражались в стремлении к демократизации орденских целей и в конечном счете приводили к разрыву с масонством. Центром парижского масонства в 1789 г. была ложа «Объединенные друзья», втянутая в активную общественную жизнь. В недрах этой ложи созрел один из интереснейших социально-утопических союзов той эпохи — «Социальный кружок» Клода Фоше и Никола Боневиля[1].

Примечательную эволюцию проделал в эти годы один из столпов европейского масонства Луи-Клод Сен-Мартен. В 1780-х гг. он сошелся с главой лионской ложи Ж.-Б. Виллермозом, и ряд лет его жизни был связан с Лионом. В интересующее нас время Сен-Мартен порвал с масонством, разорвал связи с Виллермозом, покинул Лион и переселился сначала в Страсбург, а затем в Париж («Лион — мой ад. Париж — мое чистилище. Стразбург — мой рай», — говорил он). Сен-Мартен встретил революцию с недвусмысленным сочувствием, которое выразилось в его сочинении «Письма к другу»[2]. Склоняясь к утопическим идеям всеобщего братства людей и духовного единения просвещенного человечества, Сен-Мартен видел в революции законное сопротивление народа тирании. Духовный прогресс — закон человечества и бога. В нормальных условиях он осуществляется мирно. Но тирания препятствует его реализации, и в этом случае он неизбежно и законно принимает насильственные формы. Соединение гуманизма, мистицизма, «боевого эволюционизма», доходящего до оправдания насильственных действий, очень типично для настроений широких кругов европейских деятелей культуры в 1790-х гг.

Характерной особенностью жизни позднего Сен-Мартена была его связь с русскими деятелями: Сен-Мартен был в эти годы увлечен русскими, и из

---

[1] См.: *Алексеев-Попов В. С.* «Социальный кружок» и его политические и общественные требования // Из истории социально-политических идей. М., 1955. С. 297—339.

[2] Об идеях и деятельности Сен-Мартена в эти годы см.: *Secrecka M.* Louis-Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu. Wroclaw, 1968; *Secrecka M.* La nouvelle vision de la révolution dans l'oeuvres de Saint-Martin, le philosophe inconnu // La littérature des Lumières en France et en Pologne. Wroclaw. 1976. P. 131—147; *Chagriin N.* Le citoyen Louis-Claude de Saint-Martin, téosophe révolutionnaire // Dix-huitième siècle. 1975. N 6.

их числа составилось его ближайшее окружение[1]. В сочинении дневникового характера, изданном много лет спустя после его смерти, Сен-Мартен писал: «Кашелов, князь Репнин, Зиновьев, графиня Разумоский (так. — *Ю. Л.*), другая княгиня, о которой мне говорил Д. в одном из своих писем, двое Голицыных, господин Машков, господин Скавронский, посол в Неаполе, господин Воронцов, посол в Лондоне — таковы главные русские, которых я знал лично, исключая князя Репнина, с которым я был знаком лишь по переписке»[2]. Прокомментируем те из этих имен, которые нам понадобятся в дальнейшем. Прежде всего, следует остановиться на Василии Николаевиче Зиновьеве (1754—1827). Однокашник Радищева и Кутузова по Лейпцигскому университету, он «по своему возрасту не принадлежал к основному кружку студентов»[3] — в момент прибытия в Лейпциг ему исполнилось одиннадцать лет. Однако во время отъезда Радищева и Кутузова это был уже шестнадцатилетний юноша. Вероятно, и к нему относятся слова Радищева о студенческих связях лейпцигских лет: «Дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна»[4]. Видимо, именно с ним связан эпизод сближения в 1768 г. лейпцигских студентов с проезжавшими через Саксонию братьями Орловыми: Зиновьев и Орловы были двоюродными братьями, отец Орловых, генерал-майор Адлер, был женат на сестре генерала Зиновьева. Оба генерала жили в тесной дружбе и сменяли друг друга на посту коменданта Петропавловской крепости в Петербурге. После смерти Адлера Зиновьев, ставший опекуном племянников, посоветовал им сменить фамилию на Орловых. Связи В. Н. Зиновьева с Орловыми и в дальнейшем оставались исключительно прочными: службу он проходил при Г. Г. Орлове, сначала в должности флигель-адъютанта, а с 1775 г. получил звание генерал-адъютанта, состоя в его же штабе. Сближение увенчалось браком Г. Орлова с сестрой Зиновьева Екатериной в 1781 г. О разразившемся в связи с этим скандале речь пойдет ниже.

Во второй половине 1770-х—1780-е гг. Зиновьев почти непрерывно находился за границей, подолгу проживая в Англии. Здесь он сблизился с С. Р. Воронцовым, который в письме к брату А. Р. Воронцову выделил Зиновьева и Растопчина как наиболее близких к нему молодых людей. Возникшая между Зиновьевым и С. Р. Воронцовым тесная дружба была закреплена браком последнего с другой сестрой Зиновьева. Таким образом, Зиновьев был, с одной стороны, приятельски связан с кругом оппозиционных мыслителей типа Радищева или Кутузова, а с другой — с высокими вельможными кругами, которые в 1780-х гг. заметно отчуждались от правительства Екатерины II (оттесненные Потемкиным Орловы также переходили в лагерь недовольных; в этом отношении сближение их с Воронцовым, в котором Зиновьев сыграл, видимо, решающую роль, крайне симптоматично).

---

[1] Русские связи Сен-Мартена совершенно не изучены.

[2] *Saint-Martin L.-C. de.* Mon portrait historique et philosophique (1789—1803). Paris, 1961. P. 129.

[3] *Старцев А.* Университетские годы Радищева. М., 1956. С. 23.

[4] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 163.

Но Зиновьев был связан с еще одним родом общественных кругов: в 1784 г. он был принят в Берлине самим кронпринцем герцогом Брауншвейгским Фердинандом, Великим мастером Соединенных лож, в масоны. В дальнейшем он тесно сошелся с Сен-Мартеном и главой лионской ложи Виллермозом. С Сен-Мартеном он путешествовал по Италии и общался в конце 1780-х гг. в Париже и Лондоне. Видимо, именно он свел Сен-Мартена с С. Р. Воронцовым.

Кашелов — это, конечно, Р. А. Кошелев (1749—1827), русский вельможа, дом которого в Париже был сборным местом русских масонов за границей. Кошелев, его жена, Зиновьев и семья Голицыных упоминаются Е. Ф. Комаровским как центры русского Парижа перед революцией и в ее начале[1]. Сен-Мартен и Виллермоз — близкие знакомцы Кошелева. Однако у него есть и иные связи: он входит в ближайшее окружение герцогини Вюртембергской, матери Марии Федоровны. В дальнейшем он личный, интимный друг императора Александра I[2]. О нем в 1822 г. сказал Лабзин: «У Кошелева тайные съезды. И князь Голицын туда ездит. Черт их знает, что они там делают»[3]. Связь кругов, о которых мы говорим, с монбелярским (вюртембергским) двором и молодым двором в Павловске достойна всяческого внимания. Следует подчеркнуть, что упомянутая Сен-Мартеном «другая княгиня» — это жена наследника русского престола Павла Петровича Мария Федоровна.

Машков — первый секретарь русского посольства в Париже, тоже масон[4]. С ним в Париже встречался Карамзин.

Нити русских масонских связей за границей (в отличие от чисто берлинской ориентации московских розенкрейцеров) сходились в Париже. Кутузову было естественно при попытке вырваться из-под опеки Берлина направиться в Париж. Интересно отметить, что треугольник городов, который нам приходилось неоднократно упоминать выше, Лион — Страсбург — Париж, будет точно повторен в схеме путешествия Карамзина по Франции. О поездке его в Лондон будет сказано особо.

Общей чертой в настроениях того мира, с контурами которого мы соприкоснулись выше, в годы начала революции было ослабление интереса к мистике, охлаждение к организационным формам масонства (хотя случаи окончательного разрыва с тем и другим оставались редкими) и увеличение интереса к политике, напряженное внимание к событиям, которые начали развертываться во Франции. Сказанное имеет прямое отношение к политической позиции Карамзина во время заграничного «вояжа». Разрыв Карамзина и Кутузова произошел во время этой поездки: в начале путешествия, как это

---

[1] *Комаровский Е. Ф.* Записки. С. 10.

[2] См.: *Вел. кн. Николай Михайлович.* Император Александр I. Пг., 1914. С. 449—460.

[3] Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1898. Т. 4. С. 267.

[4] В списке, опубликованном в кн.: *Le Bihan A.* Franc-maçons parisiens, du Grand Orient de France (Fin du XVIII siècle). Paris, 1966. P. 344, — он числится как «брат» в ряде лож. В 1788—1790 гг. он входил в ложу «Объединенные друзья».

следует и из текста «Писем русского путешественника», отношения их были самыми дружественными, в конце — открыто враждебными.

Имелись ли у Карамзина в этот кризисный момент определенные политические воззрения? Ответ на этот вопрос требует двух отдельных исследований: одно должно выяснить, какое впечатление произвели на Карамзина события во Франции и наблюдения над общественной жизнью в Швейцарии и Англии[1]. Согласно теме нашей статьи мы в данной работе полностью устраняемся от анализа этой стороны проблемы. Другое исследование касается того, имелись ли у Карамзина в эти месяцы какие-либо конкретные представления о политическом будущем России. Был ли Карамзин одиноким чувствительным путешественником, каким он нарисовал себя в «Письмах», или же в его воззрениях присутствовали черты политического реализма, столь свойственные ему в период работы над «Историей»? Были ли утопизм и реализм двумя этапами эволюции Карамзина, или это были две тенденции, два полюса, в той или иной мере всегда свойственные его позиции и составлявшие ее своеобразие? Вопрос о соотношении Карамзина с теми или иными реальными политическими тенденциями еще далек от окончательного разрешения. Цель настоящей работы — коснуться лишь одной его части.

Основным и, по сути дела, единственным источником для суждений о том, что делал Карамзин за границей, являются «Письма русского путешественника». Но мы уже говорили, сколь опасно видеть в «Письмах» описание реального путешествия их автора. Мы видели, что Карамзин скрыл свое свидание с Кутузовым в Париже и что из этого вытекает факт не одного, а двух посещений Парижа. В другой работе мы восстанавливаем круг французских впечатлений Карамзина, показывая, в каком условно-стилизованном виде они попали на страницы «Писем»[2]. И все же из текста «Писем» можно извлечь многое, если доверчивую цитацию, якобы рисующую Карамзина во время путешествия, заменить методом последовательной дешифровки намеков и тех следов, которые реальные впечатления автора не могли не оставить на страницах его произведения, даже при сознательной установке на сокрытие и стилизацию.

Присмотримся внимательно к кругу русских, с которыми Карамзин встречался за границей, и к тем иностранцам, которые были так или иначе включены в русскую жизнь.

О первой из этих встреч в «Письмах» рассказано следующее: «На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: г. З., едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека.

---

[1] Представление о том, что фактическая сторона проблемы «Карамзин и французская революция» исчерпывающе изучена (такая мысль была в категорической форме высказана Е. Н. Купреяновой), является иллюзорным: ни точные даты пребывания Карамзина в Париже, ни круг его знакомств, ни перечень событий, свидетелем которых он был, не исследованы. Без этого теоретические заключения о данной проблеме часто оказываются преждевременными.

[2] См. в наст. изд. статью «„Письма русского путешественника“ Карамзина и их место в развитии русской культуры».

Он настращал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену»[1]. Прямым выводом из этого отрывка является то, что встреча была случайной, произошла на почтовой станции, а разговор носил самый незначительный характер. Однако если мы вспомним, что З. — это Зиновьев, который, бесспорно, имел сведения о Кутузове, а Карамзин ехал в Берлин, имея, как он сам признается, одной из целей повидать «сего любезного меланхолика», то мы вряд ли ошибемся, предположив, что разговор коснулся Кутузова и тех проблем, которые были связаны с его пребыванием за границей. Весьма большие сомнения вызывает случайный характер этой встречи. Зиновьев приехал в Петербург 8 сентября 1789 г. по ст. стилю[2]. Из записок Зиновьева, копия с которых хранится в архиве «Русской старины» (РО ИРЛИ), видно, что по пути он из-за болезни Кошелевой остановился в Нарве недель на пять-шесть. Карамзин прибыл в Ригу 31 мая, следовательно, встретился с Зиновьевым до этой даты. Невозможно предположить, чтобы Зиновьев из Риги в Нарву ехал два с лишним месяца. Скорее всего, он провел это время, поселившись с больной Кошелевой в одном из городов между Ригой и Нарвой (показательно, что Карамзин предпочел не называть точно места встречи). А если это было так, то почти наверняка Карамзин не случайно встретился с Зиновьевым, а специально к нему заехал. Сведения о месте пребывания Зиновьева в Петербурге наверняка знал А. Р. Воронцов. От него или из его окружения Карамзин мог получить эти данные.

О чем же могли говорить Карамзин и Зиновьев во время их «случайной» встречи? В «Письмах» упомянуто путешествие по Италии. Надо знать, что его Зиновьев совершил не один, а в обществе Сен-Мартена, переживавшего ломку своих философско-религиозных воззрений. Зная, какой интерес проявляли московские масоны к творчеству «неизвестного философа», невозможно предположить, чтобы Карамзин не задавал вопросов на этот счет. Он ведь в первый раз видел человека, который лично знал и, более того, был близким другом того, по имени кого друзья Новикова получили опасную кличку «мартинистов».

Естественно предположить, что разговор перешел на Англию и С. Р. Воронцова. Ведь самые свежие впечатления от общения с Сен-Мартеном были у Зиновьева именно английские и связанные с домом Воронцова. В дневнике 11 января 1787 г. Зиновьев записал: «Прибыл Сен-Мартен и остановился у г-на Тимана». И 12-го: «День моих именин; я его увидел (то есть Сен-Мартена [примечание, видимо, принадлежит редактору «Русской старины». — *Ю. Л.*]) вечером, и это свидание доставило мне великую радость». Приезд Сен-Мартена, по мнению Зиновьева, «имел случай произвесть бес-

---

[1] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 1. С. 85—86.

[2] Он ехал до Риги в обществе Кошелева и его жены Варвары Ивановны. По пути последняя заболела. Кошелев уехал вперед, а Зиновьев задержался, сопровождая больную. В «Ведомостях» петербургского обер-полицмейстера Рылеева значится прибытие «сентября 8 1789 из Риги отставного гвардии ротмистра Кошелева жены Варвары Ивановны» (ЦГАДА. Госархив XVI. № 534 I-а. Л. 102).

конечное добро»[1]. В свою очередь, С. Р. Воронцов произвел на Сен-Мартена значительное впечатление. Французский теософ был склонен видеть в нем идеал духовного человека будущего.

Но Зиновьева и Воронцова мистические вопросы интересовали отнюдь не в первую очередь. Это видно из ряда мест в «Журнале путешествий», выпущенных при публикации в «Русской старине». Весь «Журнал» написан в форме предполагаемых писем к Семену Романовичу и затрагивает ряд существенных проблем: в центре внимания Зиновьева — положение промышленности в России, средства подъема сельского хозяйства (в центре оказывается вопрос ограничения власти помещиков) и сравнение русского и английского суда. Места эти из «Журнала» Зиновьева следует привести, поскольку в них отразились те европейские впечатления, которые с большой вероятностью могли сделаться более интересной темой разговора, чем «песчаные прусские дороги».

«Гарнгет 16/27 июля 1786-го г.

Обещал тебе сказать о желании моем видеть мануфактуры в нашем отечестве и, несколько дней назад быв в Шефильде, я очень сожалел, что туда наше железо привозят, оное там обрабатывают, обратно к нам привозят и с нас вдесятеро, а может и более за самое то же железо берут; но теперь я по некоторым рассуждениям, которые мне представились, совсем иного об оном мнения, а именно: что в нашем отечестве в его теперешнем положении совсем иной главный предмет быть должен, нежели мануфактуры или торговля. Забудем сие, и следуй, пожалуй, порядку моих мыслей. Итак, я скажу тебе, что бы ты со мной предпринял, что мы в колонию приехали на пустынный остров, я спрошу тебя: о чем будет состоять наше первое попечение на нашем пустом острове с нашею колониею? Без всякого сомнения мы примем меры завесть хлебопашество и будем стараться приискать лучшие средства для умножения оного. Вот, любезный мой, положение нашего отечества, и оно в рассуждении сего совершенно на предположенный мной остров походит». Из этого Зиновьев делает вывод: «Первый по сему предмет нашего правительства я поставляю, чтобы оно устремило всю свою власть поощрять и размножать хлебопашество». Для достижения этой цели Зиновьев намечает план реальных мероприятий по ограничению крепостного права, смягчению крепостнических порядков в армии и — во внешней политике — отказа от разорительных агрессивных войн: «Все меры правительство должно взять, чтобы предупредить уменьшение народа. Для сего *1-ое* сделать учреждение, которое бы препятствовало помещикам употреблять во зло их власть и быть грабителями и тиранами их подданных. *2-ое*. Хорошим учреждением стараться установить порядок доведения рекрут в назначенное место, а чтобы те, которые их ведут, принуждены

[1] Журнал путешествия Василия Николаевича Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии (РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 1. № 21. Л. 131 об. и 134). Тиман — адъютант кн. Н. В. Репнина, знакомый по Москве Кутузову и Карамзину. Через него осуществлялась переписка Сен-Мартена и Репнина, до нас не дошедшая. Даты в дневнике Зиновьева даются по ст. ст. Именины его — день Василия Великого — 1 января — по н. ст.

были щадить сих несчастных и себе подобных. *3-ье.* Когда они доведены будут до места, чтобы командиры сим солдатам были бы некоторым образом обязаны облегчать по возможности и удобству их состояние. *4-ое.* Избегать всех ненужных войн». Особое внимание Зиновьева привлекает необходимость судебной реформы по английскому образцу: «Тебе известно, что у нас тьма законов, между которыми немалое число противоречащих, что, напр<имер>, гражданина (в значении «штатского». — *Ю. Л.*) судят часто по морским и военным уставам, что законы ни судье, ни преступнику, ни большей части публики, самим стряпчим и секретарям очень часто неизвестны и что они чрез беспорядок как бы находятся в закрытии и, по моему мнению, некоторым образом на инквизицию походят, ибо преступник, хотя знает, что он по закону обвинен, но ни он, ни судья, а часто секретарь, который по своей должности у нас тысячи законов знать обязан, не уверены — нет ли другого последнего закона, которым виновной оправдан быть должен? Приняв сие, ты видишь, как тяжело честному и чувствительному человеку быть у нас судьей»[1].

Особенно враждебен Зиновьеву деспотизм. Все симпатии его на стороне конституционно-монархического порядка английского образца. Увидав во дворце Harwood в одной из зал украшавшие ее античные бюсты Каракаллы, Коммода, Гомера и Фаустины, он записал в дневнике: «Есть ли тут какой-нибудь смысл, видеть в Англии двух чудовищ рода человеческого и делать ими украшение великолепной комнаты! Досадно! До крайности досадно! Что я с бюстами сих тиранов и оным подобными сделал бы — писать здесь длинно; но не лучше ли было бы вместо двух сих possédés[2] поставить бюст л<ор>да Чатама и достойного его сына В. Питта, а вместо Гомера и Фаустины — Мильтона и Елизаветы»[3].

Свиданье с Зиновьевым оставило в сознании Карамзина след. На это имеется в тексте «Писем» намек, много говоривший кругу посвященных.

В письме из Лозанны Карамзин сообщал: «Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Тут из черного мрамора сооружен памятник княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозанне, в объятиях нежного неутешного супруга. Сказывают, что она была прекрасна — прекрасна и чувствительна!.. Я благословил память ее»[4].

Для неосведомленного читателя это один из многих эпизодов «сентиментального путешествия». Однако читатели «Московского журнала» знали подробности, на которые намекал Карамзин, лучше, чем наши современники.

Княгиня Орлова — до замужества Екатерина Николаевна Зиновьева, родная сестра собеседника Карамзина[5]. История ее замужества и гибели в свое время пользовалась шумной известностью: бывший фаворит Екатерины II, отстранен-

---

[1] Журнал путешествия... Л. 108—110 об.

[2] Одержимых (*фр.*).

[3] Журнал путешествия... Л. 114.

[4] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 1. С. 277.

[5] Если бы даже, что крайне мало вероятно, Карамзин забыл об этом родстве, ему должен был напомнить его текст эпитафии: «Catharina princesse Orlow, née Sinowiew. le XIX Décembre 1758, morte le XXVII Juin 1781» (*Барсуков А.* Рассказы из русской истории XVIII века (по архивным документам). СПб., 1885. С. 186).

ный от дел Потемкиным и утративший былое влияние, Г. Г. Орлов влюбился в 18-летнюю фрейлину Е. Н. Зиновьеву. Последняя отличалась красотой и веселым, беззаботным нравом: Екатерина II в шутливых характеристиках своих придворных пророчила ей смерть от смеха[1]. Злые языки сообщали, однако, отнюдь не смешные подробности страсти бывшего фаворита. М. М. Щербатов сообщал об Орлове: «Тринадцатилетнюю двоюродную сестру свою Екатерину Николаевну З. иссильничал и, хотя после на ней женился, но не прикрыл тем порок свой, ибо уже всенародно оказал свое деяние и в самой женитьбе нарушал все священные и гражданские законы»[2].

«Священные и гражданские законы», о которых говорил Щербатов, это запрет по православным законам браков между двоюродными родственниками. Орлов венчался летом 1776 г. Брак этот вызвал скандал. Биография Г. Орлова, составленная, по всей вероятности, в кругах, близких к братьям Воронцовым (можно предположить, что А. Р. Воронцов принимал в составлении ее непосредственное участие), описывает резкий эпизод, происшедший в связи с этим между Г. Орловым и императрицей: «Когда ее величество Зиновьеву, бывшую при дворе фрейлиною, за ее непозволительное и обнаруженное с графом обращение при отъезде двора в Сарское Село с собою взять не позволила, то граф был сим до крайности огорчен и весьма в том досадовал. Так, что однажды при восставшей с императрицею распри отважился он выговорить в жару непростительно грубые слова, когда она настояла, чтобы Зиновьева с нею не ехала: „Черт тебя бери совсем!“ В оном следуем мы присланным к нам известиям и тем более поелику, как мы после увидим, на особливое просительное письмо всеми Святейшего синода членами подписанное, в котором они, при воспоследовавшей графу немилости, принесли публично на сей как духовным, так и светским законам противной поступок Правительствующему сенату жалобу»[3].

---

[1] Соч. имп. Екатерины II. СПб., 1907. Т. 12. С. 658.

[2] *Щербатов М. М.* Соч. СПб., 1898. Т. 2. Стб. 229.

[3] Анекдоты жизни князя Григория Григорьевича Орлова (ЛОИИ РАН. Архив Воронцовых. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 756/362. Л. 30 об.—31). Существует немецкое издание этой рукописи: Anekdoten zer Lebensgeschichte des Fürsten Gregorius Gregoriewitsch Orlow. Francfurt — Leipzig, 1791. Трудно сказать, является ли немецкая книга переводом с рукописи, хранящейся в воронцовском архиве, или, напротив, рукопись — перевод немецкой книги. Однако даже если книга составлена в Германии, то, как многократно подчеркивается в тексте, в основу ее положены сведения, полученные из высоких придворных кругов. Действительно, ряд эпизодов (вроде приведенного выше) мог быть известен лишь в узком кругу особо посвященных лиц. Общая тенденция соответствует отношению к Г. Орлову в оппозиционно-вельможных кругах екатерининского времени: на общую отрицательную оценку Орлова как фаворита наслаивается противопоставление его Потемкину. Переход братьев Орловых в лагерь умеренной оппозиции накладывает на общую отрицательную оценку смягчающие тона и заставляет выделять и их положительные стороны. Это характерно и для «Анекдотов», и для «О повреждении нравов в России» Щербатова. Однако некоторые детали текста выдают участие братьев Воронцовых. Таково, например, детальное описание ссоры двух их сестер, «славной княгини Дашковой» и «бывшей наложницы императора Петра III» (Л. 10—11). Отношение А. Р. Воронцова к роли сестры Дашковой в перевороте 1762 г. было отрицательным.

Дело о браке Орлова по жалобе Синода разбиралось в Совете. Враги падшего фаворита, желая угодить Екатерине, предлагали самые жестокие меры. «Члены Совета подали мнение о необходимости развести Орлова с женою и заключить обоих в монастырь»[1]. Екатерина II не утвердила этого решения, но предложила Орлову с женой навсегда покинуть пределы России. Вскоре Орлова умерла в Лозанне. Эти события не прошли без протестов, которые исходили из вполне определенного лагеря. В Совете в защиту Орлова выступил К. Г. Разумовский. На смерть Орловой Державин откликнулся стихами:

Как ангел красоты, являемый с небес,
Приятствами она и разумом блистала,
С нежнейшею душой геройски умирала,
Супруга и друзей повергла в море слез[2].

Стихотворение это было в 1792 г. опубликовано в «Московском журнале» Карамзина, там же, где появился и отрывок из «Писем». Поскольку смерть Орловой не была свежей новостью — с момента ее гибели прошло более десяти лет, в этих публикациях нельзя не усмотреть определенной демонстрации. В общественном смысле Карамзин этими публикациями примыкал к определенному лагерю критиков правительства, в личном — выражал сочувствие Зиновьеву. Ему, конечно, было известно, что последний исключительно остро пережил кончину сестры — именно это событие, усилив религиозно-мистические настроения, привело Зиновьева в лагерь масонов.

Другая веха в размышлениях Карамзина о реально-политических проблемах, стоящих перед Россией, связана с посещением Лафатера. Карамзин уделил в «Письмах» много страниц своим посещениям Лафатера, однако можно сомневаться в том, что все их разговоры отразились на страницах этого произведения. Естественно предположить, что в беседах швейцарского теософа и русского путешественника возникла тема посещения Лафатера другими визитерами из России. Самым выдающимся и наиболее запомнившимся из них был, конечно, «князь Северный» — наследник русского престола Павел Петрович. Лафатер описал в своем дневнике эту встречу. Поскольку, вероятно, в тех же или близких выражениях этот рассказ слышал Карамзин, его стоит воспроизвести:

«Тут заговорил он со мной о физиогномии... Как я дошел до этого? Он получил от своего лейб-медика некоторые отрывки для прочтения. Он был изумлен. Я должен ему предоставить некоторые данные о том, как я подошел к сущности?

Я отвечал то, что я уже должен был тысячи раз отвечать, — что в основу я кладу лоб, на котором я основываю существенные черты характера, из которых я вывожу все остальное и к чему я возвожу все остальное.

---

[1] *Барсуков А.* Рассказы из русской истории... С. 177.
[2] *Державин Г. Р.* Соч. СПб., 1864. Т. 1. С. 152.

Тут приложил он свою плоскую руку ко лбу и спросил с непередаваемой улыбкою: „ну а теперь, как обстоит дело здесь? Я полагаю, довольно плохо?"

— Сударь, — отвечал я ему улыбаясь и живо, — вы не имеете причин быть недовольным ни вашим лбом, ни вашей физиономией.

Он: Я не комплиментов жду от вас.

Я: Я не собираюсь говорить комплиментов. Это не моя специальность. Моя природа — искренность. Поверьте мне, я говорю не с великим князем, но с добрым человеком, которого я вижу перед собой. В князе я вижу только человека, а не в человеке — князя[1].

Он был доволен этим ответом и сказал мне: „Поговорим серьезно: мне было бы важно получить от вас добрые советы. Вы меня видели. Подайте этому лицу совет или поучение, которое ему подобает"». Далее Лафатер описывает, как он пытался уклониться от прямого ответа, ссылаясь на невозможность быстрого определения, однако Павел настойчиво вернул его к сущности разговора.

«Он: Однако еще раз: это для меня серьезно. Скажите мне что-либо, что мне особенно важно при моем характере и темпераменте.

Я: Без настоятельного требования, сударь, никогда не говорю людям в лицо об их лицах... Я нахожу крайне нескромным без нужды и обязанности хвалить или осуждать человека в лицо.

Он: Это я прекрасно понимаю. Но я прибыл сюда, чтобы с вашей помощью лучше познать самого себя. Итак, имейте доброту исполнить мою просьбу. Это мне необходимо для исправления моего „я". Вы не можете меня отвергнуть.

Я: Ну, тогда с Божьей помощью... Вы обратились ко мне с призывом, которому я не могу противостоять. Но облегчите мне задачу с помощью простых и определенных вопросов — тогда я буду вам перед лицом Бога отвечать как честный человек.

Он: Отлично! итак, начнем вопросы: гневлив ли я?

Я: Да, сударь, и в наивысшей степени. У вас достаточно причин следить за собой... (или нечто в этом роде).

Он: Как вы это увидели?

Я: По вашим глазам: по их цвету и рисунку.

Он: Это справедливо. Вы правы — дальше: есть ли у меня большой темперамент?

Я: Большой, очень большой!.. Вы в высшей мере горячи, быстры, бурны.

Он: Вы полностью правы. Дальше: расположен ли я к веселости (добродушен или, как он выразился, весел[2]).

Я: Природа создала вас веселым, так как вы добры. Но вам следует уметь пресекать многие дурные причуды. Вы легко и часто выпадаете в глубокие бездны от застенчивости, которая близко граничит порой с отчая-

[1] Весь текст на немецком языке, последняя фраза — на французском.
[2] Последние два слова — на французском.

нием. Ради Бога... не падайте духом в такие минуты!.. Не предпринимайте в них ничего! Позовите свою супругу! Прильните к ней! Темные тучи тотчас же рассеются. Скоро, очень скоро вы придете в себя, если не будете слишком долго предоставлены себе самому.

Он казался столь же изумленным, сколь взволнованным. „Вы говорите мне только истины, и истины очень важные..."»[1]

Интерес к личности наследника в оппозиционных кругах России не случаен. В широком и не имеющем единой программы, но явно переживающем подъем лагере противников правительства Екатерины II в конце 1780-х — начале 1790-х гг. все были согласны в необходимости срочных общественных перемен, хотя в чем состоят эти перемены, понималось разными группировками по-разному. Однако в обстановке подъема и надежд «великой весны девяностых годов» (Герцен) важно было не то, что разделяло, а то, что соединяло разнообразных противников существующего порядка. Показательно, что столь далекий от революционных настроений человек, как С. Р. Воронцов, встретил «Путешествие из Петербурга в Москву» в общем сочувственно, а расправу с писателем — с осуждением. Да и дружбу Радищева и А. Р. Воронцова, конечно, нельзя рассматривать как причуду чисто биографического характера. Оба они были слишком погружены в политику, чтобы отделять личные и общественные симпатии непреодолимой чертой. То же можно сказать и об отношениях Панина и Фонвизина. Каждый из них имел свою программу, но каждый понимал, что политический реализм требовал от них компромиссов.

Настроения политического реализма заставляли обращаться к фигуре наследника. Реформаторская деятельность проникнутого духом прогресса и идеями века государя казалась наиболее реальным выходом из политического тупика, в котором оказалась Россия (история иронически показала, что этот наиболее реалистический расчет оказался предельно ирреальным).

О Павле Петровиче знали мало, а то, что было известно, — внушало надежду. Знали о его доброте и прямодушии, ненависти к фаворитизму и расточительности матери. Было известно, что Никита Панин был поклонником твердых законов и противником деспотизма. Это тоже внушало надежды.

Екатерина II опасалась малейшего сближения общественных групп с наследником и жестоко наказала Новикова и его друзей за робкую попытку сблизиться с Павлом через Баженова. Но Сен-Мартен находился в деятельной переписке с Марией Федоровной и был своим человеком при дворе ее матери,

---

[1] *Strahlmann B.* Johann Caspar Lavater und die «Nordischen Herrschaften» // Oldenburger Jahrbuch. Bd 58, 1959. Teil 1. S. 204—206. Ср.: *Heier Ed.* Das Lavaterbild im geistigen Leben Rußlands des 18. Jahrhunderts // Kirche im Osten. 1977. Bd 20. S. 113—114. Считаю приятной обязанностью поблагодарить г-жу И. Ингольд-Ракуза, проф. К. Еймермахера и проф. П. Барага за содействие в розысках в архиве Лафатера (Цюрих) и в получении мной изданий, отсутствующих в библиотеках СССР.

те же связи характерны для Лафатера[1]. Ведущие русские дипломаты за границей (за исключением посла в Париже Симолина) недоброжелательствовали Екатерине II, сочувствовали Павлу и в той или иной мере оказывались связанными с тем либерально-мистическим движением, с которым соприкоснулся Павел за границей и тесную связь с которым имели вюртембергский дом и Мария Федоровна.

Интересно, что Екатерина с ее сухим умом практика и рационалиста до того самого момента, когда революция в Париже вступила в решающую фазу, более сочувствовала идеям понятных ей энциклопедистов, чем туманным и совершенно чуждым ей учениям мистического гуманизма. Первые не казались ей опасными, вторых она глубоко подозревала в заговорах и покушениях на ее власть.

Рассказ Лафатера, рисуя Павла Петровича человеком, стремящимся к самоусовершенствованию, твердо выслушивающим поучения из уст мудреца, указывающего принцу на его недостатки, импонировал оппозиционерам, поскольку ассоциировался с известными ситуациями из политико-воспитательных романов XVIII в.

Карамзин не упомянул о своих разговорах на эту опасную тему с Лафатером, но в другом месте, верный своему принципу оставлять известные следы интересовавших его серьезных вопросов, показал, с каким вниманием и осведомленностью собирал он данные о путешествии Павла по Европе. Посетив Шантильи, он «вспомнил то великолепное, беспримерное зрелище, которым принц Конде веселил здесь нашего Северного графа. Ночь превратилась в день; от бесчисленных огней казалось, что леса и воды горели; искры сыпались каскадами...»[2].

В Лондоне Карамзин явился к С. Р. Воронцову. Показательно, что в Париже он не счел нужным представиться русскому послу Симолину, хотя и имел контакты с масоном и другом Сен-Мартена советником русского посольства А. Машковым.

Воронцов, как и Карамзин, был внимательным наблюдателем французских событий, хотя относился к ним, вероятно, более критически, чем русский путешественник в 1790 г. Приведем письмо его к Безбородко об офицере русской службы Миранда, из которого видно, что «метафизические системы вольного правления» не вызывали у него враждебности и увлечение ими

[1] Тесная связь Лафатера с Павлом Петровичем и Марией Федоровной продолжалась и в дальнейшем: Лафатер находился с Марией Федоровной в деятельной переписке, часть из которой опубликована. См.: Johann Kaspar Lavater's Briefe an Kaiserin Maria Feodorowna. Über den Zustand der Seele nach dem Tode. St. Petersburg, 1858. Русский перевод: Письма Лафатера к государыне императрице Марии Федоровне, 1798. СПб., 1881 (оттиск из журнала «Христианское чтение», 1881, № 3—4. С. 1—35). Во время швейцарского похода Павел приказал Римскому-Корсакову посетить Лафатера и предложить ему на выбор — чин, орден или пенсию. При этом он поручал передать личное письмо, в котором свидетельствовал, что не забыл впечатление от их личной встречи. Поскольку Лафатер находился при смерти (он был ранен французским солдатом), письмо и милости не были переданы.

[2] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 1. С. 497.

пылким умом благородного человека он склонен был извинять, хотя попытки практического их осуществления им безусловно осуждались (необходимо сделать скидку на характер адресата и цель письма — оправдать в глазах петербургского правительства молодого вольнодумца, о котором Екатерина II получила неблагоприятные сведения): «Он имеет честной благородный нрав и преисполнен благодарности к Государыне, но в то же время я усматривал в нем, что острой и надмерно пылкой его Разум помрачал иногда его рассуждение и что безразборное чтение анциклопедических (так. — *Ю. Л.*) авторов и собеседие (во время его путешествия, когда он объезжал Европу) с Реналом, Кондорсетом и другими подобными ввело его в метафизические системы вольного правления, кои он не рассудил, что на действии они совсем не те, кои в умствовании ему кажутся»[1]. Следует отметить, что письмо это, написанное осенью 1792 г., отнюдь не соответствовало настроениям, царившим в это время в официальных кругах Петербурга. Но более существенно другое: относясь к французской революции с осуждением, он считал ее событием великим и неизбежным. Через два дня после процитированного письма Безбородко, 2/13 сентября 1792 г., он писал А. Р. Воронцову: «Франция не успокоится до тех пор, пока ее гнусные принципы не пустят корней и на этой земле; несмотря на превосходную конституцию здешней страны, зараза возьмет верх. Это, как я вам уже сказал, — война не на жизнь, а на смерть между теми, которые ничего не имеют, и владельцами собственности, а так как последних гораздо меньше, то в конце концов они неизбежно погибнут. Зараза станет всеобщей». Далее, говоря о неизбежности революции в России, он пишет: «Мы ее не увидим, ни вы, ни я; но мой сын ее увидит. Поэтому я решил обучить его какому-нибудь ремеслу, слесарному или столярному, чтобы, когда его крепостные скажут ему, что они его больше не хотят знать, а что земли его они разделят между собой, он мог зарабатывать себе на жизнь честным трудом и иметь честь сделаться одним из членов будущего пензенского или дмитровского муниципалитета»[2].

Глубокое убеждение в том, что, согласно Монтескье, деспотизм порождает анархию, а анархия — деспотизм, заставляло С. Р. Воронцова видеть средство предотвращения революции в России в устранении деспотизма Екатерины II. Надежды на Павла не были ему чужды.

Карамзин был принят С. Р. Воронцовым не как случайный приезжий: он многократно у него обедал в Лондоне, бывал на даче в Ричмонде, писал стихи его сыну Мишеньке и слушал, как Воронцов читает оды Ломоносова. Однако вряд ли разговоры их ограничивались одной поэзией. Возможно, что именно через С. Р. Воронцова Карамзин завязал связи с гамбургским журналом «Spectateur du Nord»: с начала 1797 г. послом России в Гамбурге стал И. М. Муравьев, с которым Воронцова связывали прочные узы единомыслия.

---

[1] ЛОИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 1253. Л. 20—20 об.

[2] Архив кн. Воронцова. М., 1876. Т. 9. С. 267—269 (оригинал на французском языке).

Итак, хотя основное внимание Карамзина во время путешествия было, бесспорно, привлечено к европейским делам, новым знакомствам и связям с разнообразными деятелями западной культуры и общественной жизни, на протяжении всего путешествия четко просматривается нить русских связей, за которыми вырисовываются контакты с определенными кругами русской оппозиции: Зиновьев — Кутузов — Воронцов и рядом с ними Лафатер и Сен-Мартен с их прочными связями с монбелярским двором, матерью Марии Федоровны, с самой Марией Федоровной. А это был единственный канал, через который можно было проложить дорогу к находящемуся под неусыпным надзором Павлу Петровичу.

В этой связи получает объяснение «Ода на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому», которую написал Карамзин в 1796 г. Ода полна актуальных намеков и представляет собой интересную программу, в которой выражены надежды, возлагаемые на Павла критиками политики его матери. Здесь следует отметить и многозначительный намек на незаконность длительного устранения Екатериной Павла от власти (попутно — опровержение слухов об акте лишения Павла наследственных прав на престол):

> Итак, на троне Павел Первый?
> Венец российские Минервы
> *Давно* назначен был ему... (курсив мой. — *Ю. Л.*)

Далее недвусмысленно указывается на необходимость твердых законов, то есть конституции:

> Он хочет счастья миллионов,
> Полезных обществу законов,

судебной реформы, смены государственного руководства с тем, чтобы была «отверста мудрым дверь», процветания наук и искусств (Карамзин, притесненный в последние годы царствования Екатерины II, конечно, думал о цензуре) во внутренних делах и утверждения мира как основы внешней политики. Ода не случайно — единственный пример во всем творчестве Карамзина! — написана в ломоносовской традиции как программа и поучение царям. Не о таком ли предназначении поэзии говорил Карамзину С. Р. Воронцов, когда читал ему в Лондоне Ломоносова?

В свете такого отношения к Павлу I в 1796—1797 гг. — смеси надежд и поучений — приобретает особый интерес одна остававшаяся до сих пор не замеченной статья, в авторстве которой у нас есть сильные основания подозревать Карамзина.

Журнал «Spectateur du Nord», выходивший во второй половине 1790-х гг. в Гамбурге на французском языке, был специфическим изданием. Хотя журнал выходил за пределами Франции, он не был по характеру «контрреволюционным». Это издание занимало «сменовеховскую» позицию: оно ставило целью примирить умеренную и реалистическую эмиграцию с Францией. Одновременно журнал стремился ознакомить французского читателя с культурно-литературной жизнью северной Европы: в нем печатались статьи об английской, немецкой, русской и прочих литературах. Умеренная политичес-

кая позиция журнала привела к тому, что первые годы он беспрепятственно распространялся во Франции.

«Русский» раздел журнала имеет совершенно специфический вид: он весь посвящен творчеству Карамзина и не упоминает каких-либо других русских писателей. Кроме переводов и исключительно комплиментарного отзыва о сочинениях Карамзина журнал опубликовал статью Карамзина «Lettre au Spectateur sur la littérature russe», содержащую ряд исключительно важных для позиции Карамзина положений. Авторство Карамзина для этой статьи было установлено после публикации Я. Гротом и П. Пекарским «Писем Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». Здесь в письме от 16 ноября 1797 г. содержалось следующее признание: «Издатель французского „Северного Зрителя" требовал от меня *чего-нибудь*. Я послал к нему: Un mot sur la littérature russe. Письмо мое напечатано в Октябре месяце журнала»[1]. Я. Грот и П. Пекарский опубликовали в приложении текст статьи по копии, снятой в Париже В. С. Порошиным, поскольку «в петербургских библиотеках не имеется экземпляра»[2], и заверили читателей, что статья «перепечатана здесь со всею точностию»[3]. Последнее сообщение неточно: статья перепечатана с погрешностями, одна из которых по крайней мере существенно меняет смысл высказывания. Однако важнее другое: категорическое заявление Я. Грота и П. Пекарского полностью пресекло попытки рассмотреть журнал за пределами их публикации. Между тем в библиотеках СССР нами обнаружены по крайней мере два комплекта журнала: в Библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве (из собрания бывш. Румянцевской библиотеки) и в библиотеке Тартуского университета (неполный экземпляр).

Просмотр всех номеров журнала позволил обнаружить еще одну статью, посвященную России. Статья эта опубликована в том же № 2 (февральском) за 1797 г., где был напечатан перевод «Юлии» Карамзина «Julie, nouvelle traduit du russe de Mr. Karamzin par. Mr. de Boulliers»[4]. По содержанию очевидно, что статья эта прислана в журнал из России (на это же имеется и прямое указание редактора). Под статьей стоит подпись «Путешественник» (Un Voyageur). Следует отметить, что прозвание «Путешественник» в это время прочно укрепилось за Карамзиным и не требовало пояснений. Когда автор анонимной сатиры «Галлоруссия» писал:

> Он: ...Вот путешественник, что кистию своей
> Французолюбие в нас вечное посеял.
> Я: При всем том грубый штиль и славянизм развеял[5],

то читатель не нуждался ни в каких дальнейших пояснениях. Итак:

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 82.

[2] Там же. С. 044.

[3] Там же. С. 0186.

[4] Глухое указание на этот перевод, без точной библиографической справки, было сделано В. Сопиковым и повторено С. Пономаревым (см.: *Пономарев С.* Материалы для библиографии литературы о Н. М. Карамзине. СПб., 1883. С. 12), однако не привлекло внимания дальнейших исследователей.

[5] Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 785.

1. Исключительность связей Карамзина с этим журналом,
2. Подпись под статьей,
3. Содержание статьи, тесно связанное с тем аспектом его позиции в вопросах «реальной политики», о котором мы говорили выше, — заставляют нас предположить авторство Карамзина.

Для того, чтобы последнее соображение приобрело убедительность, приведем эту статью в русском переводе (перевод наш):

Письмо в «Зритель» о Петре III

Г-н Зритель!

.....

.....[1]

Вы открываете в Вашем журнале, так сказать, многие двери для всего того, что может быть интересно или поучительно: я заметил одну, через которую охотно проникли бы благонамеренные обозреватели, принося разнообразные дани мудрых и острых мыслей и живые, одушевленные картины, которыми так прославлен «Английский Зритель» — драгоценный сборник, в котором Англия находила столько приятных уроков вкуса и полезных наставлений в нравственности. Правда, что превосходные авторы этого издания не оставили ни в одной стране последователей. Но, хотя кажется, что Французская республика разрушила республику словесности, еще имеются писатели, способные вместе с вами выполнить эту часть ваших намерений. В ожидании их появления примете ли вы краткую заметку правдивого путешественника? Ваши читатели потерпят ее за необычность и в силу обстоятельств.

O caecas hominum mentes...[2]

Иногда следовало бы изображать Славу, как и Фортуну, с завязанными глазами. Она торопится распространять то, что только что узнала, и сама ее скорость препятствует ей видеть и уточнять детали сведений, которые она распространяет, детали, без которых невозможно хорошо понять и оценить факты. Если каждому возможно прийти к этому заключению в условиях самых обыкновенных, то наибольшей меры истинности оно достигает в обстоятельствах, касающихся вельмож и царей, которые как бы бронзовой стеной укрыты от взоров истины. Прошло более тридцати лет с той поры, как печальной памяти Петр III сошел в могилу; и обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила, звалась — слабость. Он получал разнообразные указания на заговор, который плелся против него: покойный посол Пруссии граф Гольц

[1] Многоточие объясняется следующим редакторским примечанием в начале статьи: «Публикуя в этом журнале обращенные ко мне письма, если они входят в начертанный мною план журнала, я сохраняю за собой право исключать то, что ему не соответствует, и, в особенности, похвалы в мой адрес. Сколь бы они мне ни льстили, мне представляется непристойным быть их издателем. Именно из этих последних соображений я позволил себе убрать первый абзац публикуемого ниже письма. Оно прислано нам некоей особой, которая живо разделяет проявленное Павлом I желание реабилитировать память своего несчастного отца».

[2] О слепота человеческих мнений! (*Лат.*)

многократно его предупреждал об этом от имени своего государя: «Если вы хотите быть в числе моих друзей, не говорите мне более об этом», — отвечал он графу Гольцу.

Между тем заговор разразился. Низкие орудия мятежа и предательства, которые еще накануне звались его гвардией, в боевом порядке двигались по дороге на Ораниенбаум, где он тогда находился с частью своего двора. При этом известии император, слишком поздно выведенный из заблуждения, смутился и растерялся. Напрасно храбрый и верный полк гольштинцев предлагал ему идти навстречу мятежникам и, если потребуется, умереть за него. Он не осмелился поверить своим защитникам, число которых, действительно, не соответствовало опасности.

Кронштадтский порт, куда нельзя пройти по суше, казался ему более надежным прибежищем. В сопровождении своего двора он прибыл ко входу в порт и потребовал, чтобы ему открыли барьеры. Назвав себя, он получил ужасный ответ: «Императора больше не существует!» Ему даже пригрозили пустить на дно яхты, если они немедленно не выйдут в открытое море. Яхты подчинились, они принялись блуждать в широком устье Невы. Кто поверил бы, что в этот печальный момент одна из дам, сопровождавших императора, решилась пародировать остроту из комедии: «За каким чертом пошли мы на эту галеру?» История не должна упускать подобных черт — они рисуют многое в малых словах.

Самодержец всея России не находил аршина земли, на который он мог бы беспрепятственно поставить свою ногу. Престарелый маршал Миних, прославленный своими победами, двадцатилетней ссылкой в Сибири и уважаемый за свой великий ум, ему предлагал поднять паруса и отправиться в Германию, где ему было бы легко собрать огромную армию, во главе которой он смог бы в несколько месяцев вернуться в свою империю триумфатором и основать свою власть на надежном фундаменте силы. Петр III, погруженный в пучину своих мыслей, видел в этом проекте только трудности; он колебался, и вскоре ему блеснула надежда полюбовной сделки — он за нее ухватился и избрал тот единственный путь, которого ему следовало избегать: он сдался своим врагам.

Государь, который уже не был более государем, вскоре после этого подписал в тюрьме акт своего отречения. Можно ли его осуждать — это было сделано под угрозой силы и преступления. Говорят, что Петр III должен был предпочесть смерть такому унижению, — многие люди имеют жестокую наклонность сурово судить несчастья, которые им самим никогда не могут грозить. Сердце Петра III не могло подозревать предательства: он, без сомнения, надеялся, что насилие этим ограничится и что раскаяние или время рано или поздно изменят его участь... Оборвем рассказ на ужасной катастрофе, которая его увенчала.

За время своего краткого царствования он довел до предела свое восхищение Фридрихом Великим, но это восхищение перед столь могущественным государем может быть осуждено лишь за его преувеличения. Те же, кто его знал, могли оценить его редкую доброту. Она была полезна России: благодеяния, действие которых не прекращается, требуют за себя вечной благодарности.

Екатерина II взошла на царство, и слава ее наполнила мир. Философы были глашатаями этой славы. Друг истины не должен против этого возражать. Но разве ему не позволено счесть число мужчин, женщин и детей, которые заплатили жизнью за тридцать лет этого славного царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и

более всего в России? Он пытается счесть ужасное число этих жертв и находит их столь же бесчисленными, как и количество ассигнаций, — мрачное свидетельство богатств, поглощенных блеском этого прекрасного царствования.

Примите и проч.

Путешественник[1].

Статья примечательна во многих отношениях. Петр III избран в качестве ее героя не случайно: такие законодательные акты его правительства, как указ о вольности дворянской, уничтожение тайной канцелярии, прекращение гонений на старообрядцев, создали ему популярность в самых различных слоях населения. Последнее обусловило то, что имя его было присвоено рядом самозванцев, два первых вызвали в 1803 г. слова Карамзина: «Я, как русской и дворянин, желал видеть место, которое нравилось Петру III: он подписал два указа, славные и бессмертные!»[2]

В уничтожении тайной канцелярии видели меру по замене произвола законностью. На смену жестокому веку Петра, когда «жестокие обстоятельства заставили <...> прибегнуть к жестокому средству», когда исторический прогресс сочетался с деспотизмом и беззаконием, должен прийти век просвещенной мягкости нравов и законности. В специальной заметке «О тайной канцелярии» Карамзин писал: «Я чувствую великие дела Петровы и думаю: „Счастливы предки наши, которые были их свидетелями!“ однако ж — не завидую их счастию!»[3]

В указе же о вольности дворянства видели зародыши русской конституции. Следует помнить, что инициатива этого акта приписывалась отцу братьев Воронцовых[4].

В 1797 г. в «Письме» в «Spectateur du Nord» Карамзин говорил о том, что «французская нация прошла все ступени цивилизации для того, чтобы постичь точку на которой она ныне находится». Далее он обращает внимание на «быстрый полет нашего народа к той же цели»[5]. Из сказанного, конечно, не следует, что Карамзин ожидал в России повторения парижских событий. Однако из этих слов с очевидностью вытекает, что для Карамзина Франция и в годы революции оставалась эталоном цивилизации и мерилом прогресса. Высказанная здесь точка зрения весьма близка к «Очерку исторической картины прогресса человеческого разума» Кондорсе. Карамзин, очевидно, был знаком с Кондорсе в Париже, ос-

[1] Le Spectateur du Nord. 1797. N 2. P. 282—288. Журнал вообще относился с симпатией к Павлу I, хотя и предупреждал его, что «нынешние люди не могут быть управляемы, как люди двенадцатого века». В № 3 была опубликована рецензия на вышедшую в Париже неблагоприятную для Екатерины II книгу: Histoire ou Anecdotes sur la révolution de Russie en l'année 1762. Paris, 1797.

[2] *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 1. С. 451.

[3] Там же. С. 425.

[4] См.: *Щербатов М. М.* Соч. Т. 2. Стб. 224. В приведенной статье примечателен и ряд частных совпадений с позицией Карамзина. См., например: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 50.

[5] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 478.

ведомлен об обстоятельствах его гибели[1] и, вероятно, ознакомился с этим, посмертно опубликованным, итоговым произведением французского Просвещения. Основой концепции Кондорсе была вера в единство путей человеческого разума и безостановочность его прогрессивного шествия. С этой точки зрения любые кровавые и трагические эпизоды человеческой истории выглядели как «эксцессы», которые не могут лишить философа его оптимистической веры в Разум.

Однако вера в успехи цивилизации и совершенствование человека, к которой у Карамзина всегда примешивалась доля утопизма[2], не исключала стремления к политическому реализму, когда вопрос касался не абстрактно-философских, а конкретных проблем современной ему России. В этом отношении сближение Карамзина с С. Р. Воронцовым достойно серьезного внимания.

Последние два десятилетия царствования Екатерины II были отмечены широким недовольством, захватившим всю толщу общества. Конечно, реальные интересы и идеологические представления тех, кто ждал крестьянского царя, имеющего право сказать: «Всю землю своими ногами исходил и для дарования вам милосердия от создателя создан»[3], и просвещенных оппозиционеров типа адмирала П. В. Чичагова, писавшего: «Грязнейшее гнездо рабства находится в так называемом русском дворянстве. Конституционно в бедном моем отечестве одно лишь крепостничество, потому что это — единственное состояние, согласующееся с естественными наклонностями этой нации, коим дворянство служит истинною порукою»[4], — были разделены глубокой чертой.

Однако в последние годы полновластия Потемкина и особенно в период фавора П. Зубова общественная опора правительства значительно сузилась. Оттенки, разделявшие правительственных критиков различной ориентации, стали казаться менее существенными, а объединявшее их отрицательное отношение как к личности Екатерины II, так и к созданной ею системе — основным и главным. Оппозиционные настроения захватили и правительственные верхи. Особенно они ощущались в среде русских заграничных дипломатов. В этом сказывалась и традиция долгое время руководившего дипломатическим корпусом Н. Панина, и экстерриториальность положения, дававшая возможность обсуждать вопросы, которые в России оставались запретными даже для вельмож высшего ранга.

Следует отметить, что интересы практической политики в последней трети XVIII в. неоднократно сближали передовых общественных деятелей с оппозиционными вельможами: разница программ и убеждений показалась менее

---

[1] Доказательства знакомства Карамзина и Кондорсе см. в кн.: *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984.

[2] «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца», — писал он в «Письмах русского путешественника» (*Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 1. С. 382).

[3] Пугачевщина. Т. 1: Из архива Пугачева (манифесты, указы, переписка). М.; Л., 1926. С. 36.

[4] Архив адмирала П. В. Чичагова. СПб., 1885. Вып. 1. С. 45.

существенной, чем общность практического неприятия правительственного деспотизма. Дружба Фонвизина и Панина[1], Радищева и А. Р. Воронцова была фактом идейной жизни XVIII в., а не только фактом их биографий (в определенном смысле можно сказать, что Державин слил в своем лице оба элемента этого типологического союза). В этом же ряду следует рассматривать сближение Карамзина и С. Р. Воронцова.

С. Р. Воронцов был, бесспорно, самой выдающейся фигурой среди русских оппозиционных дипломатов, и одно время казалось, что ему предназначено крупное место в организации антидеспотического фронта. Образованный, много путешествовавший, блестящий собеседник, независимый в мнениях и следящий за всеми новинками публицистики 1790-х гг., С. Р. Воронцов в обществе доверенных лиц не скрывал своего критического отношения к положению политических дел в России. Его слово много значило в кругах, оппозиционных Екатерине II, а позже к нему явно тяготела группа «молодых», сплотившихся при Павле вокруг наследника престола. Отправляя своего сына, М. С. Воронцова, в Россию, он снабдил его письмом, в котором выразил свое политическое кредо: русский деспотизм не отличается от турецкого. Не следует обольщаться добротой нового царя (письмо писано в апреле 1801 г.), — не личная доброта, а непременные законы могут гарантировать от деспотизма: «Современное положение страны есть лишь временное облегчение от тирании, и наши соотечественники похожи на римских рабов во время сатурналий, после которых они снова становились рабами»[2].

Деспотизму Екатерины II братья Воронцовы склонны были противопоставлять подчеркивание положительных моментов в царствовании Петра III и надежды на наследника Павла Петровича. Известно, что Семен Романович в 1762 г., служа в лейб-гвардии Преображенском полку, пытался удержать полк на стороне Петра III. А. Р. Воронцов в записке, поданной в 1801 г. Александру I, подчеркивал, что указы Петра III о вольности дворянской и уничтожении тайной канцелярии, а также отмена монополий дают ему право на благодарность потомков. В противовес этому подчеркивалось, что «образ вступления на престол [Екатерины] заключал в себе многие неудобности, кои имели влияние и на все ее царствование». Перечисляя политические грехи бабки Александра («по сердцу и уму» которой новый император обещал править), А. Р. Воронцов заключал, что «люди едва ль уже не желали в 1796 году скорой перемены»[3].

Нельзя не заметить единства в позиции Воронцовых и «Путешественника», опубликовавшего статью в «Северном зрителе».

Надежды на Павла Петровича распространены были в самых различных общественных кругах. В 1770-е гг. в гвардии поговаривали: «Долго ли это

1 См.: *Гуковский Г. А.* Фонвизин // История русской литературы. М.; Л., 1947. Т. 4. С. 159—171; *Макогоненко Г. П.* Денис Фонвизин. М.; Л., 1961. Гл. VI и IX. Соотношение воззрений Радищева и А. Р. Воронцова и характер их дружбы еще ждут исследования.

2 Архив кн. Воронцова. М., 1780. Кн. XVIII. С. 6.

3 Там же. 1883. Кн. XXIX. С. 451—470.

будет? Надобно ее с престола свергнуть, а цесаревич уже в летах»[1]. В 1771 г. поднявшие на Камчатке восстание ссыльные во главе с Беневским «привели жителей к присяге императору Павлу», захватив галиот, подняли императорский флаг и назвались «Собранною компаниею для имени его императорского величества Павла Петровича»[2].

Однако не только народ, не только низы гвардии, но и Фонвизин, и Н. Панин, С. Р. Воронцов, и Карамзин, а также Новиков и его друзья возлагали на Павла надежды. Основой для них была вера в то, что воспитанник Панина заменит безграничное самодержавие конституционным правлением.

Можно высказать предположение, что «лучшие места из од Ломоносова», которые С. Р. Воронцов читал Карамзину наизусть[3], включали в себя и отрывки из од 1762 г. С. Н. Чернов, анализируя политический смысл этих деклараций Ломоносова, с основанием заключал: «В строфах 18 и 22 Екатерина могла вычитать и другое — угрозу судьбою Петра III, — на случай, если она вопреки своим обещаниям и надеждам поэта не станет любить своих „верных рабов“ и их „веру“ и даст им „тесноту“ вместо „льгот“»[4].

Сближение Карамзина с С. Р. Воронцовым и участие в «Северном зрителе» включало его во фронт реальных политиков. В этой же связи следует рассматривать и оду Павлу I.

Активности этой не суждено было развиться: царствование Павла I шло иначе, чем предполагали сторонники «твердых законов». Кружок С. Р. Воронцова распался — измена ловкого карьериста Ф. В. Растопчина ознаменовала конец надежд на активную политическую роль С. Р. Воронцова при новом императоре. Цензурные стеснения парализовали писательскую деятельность Карамзина. События эти оказали на Карамзина воздействие: политик перерождался в историка.

Переход этот был подготовлен.

Приведенная статья о Петре III интересна и с психологической стороны не меньше, чем с идеологической. Именно отразившиеся в ней настроения позволяют поставить ее у истоков деятельности Карамзина-историка.

Резкая смена двух царствований сопровождалась глубоким психологическим шоком. В последние годы царствования Екатерины II официальное ее восхваление приняло формы безудержной и ничем не ограниченной лжи. Эта ложь приняла характер обязательного ритуала. Смерть императрицы принесла отрезвление. Многое из того, что еще вчера подлежало прославлению, предстало в истинном и далеко не привлекательном виде. Результатом этого был призыв к истине и призыв к совести. Фигурой, противоположной придворному льстецу (а с ней сливалась и дискредитированная фигура придворного поэта),

---

[1] *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. СПб., [б. г.] Кн. VI. Стб. 1057.

[2] Там же. Стб. 1058—1059.

[3] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 1. С. 530.

[4] *Чернов С. Н.* М. В. Ломоносов в одах 1762 г. // XVIII век: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1935. С. 180.

становился независимый историк. Ему приписывалась задача *пересмотра* утвердившихся репутаций, разоблачения официальных легенд. В «Исторических воспоминаниях и замечаниях на пути к Троице» (1803) Карамзин писал: «Что принято, утверждено общим мнением, то делается некоторого рода святынею; и робкий историк, боясь заслужить имя дерзкого, без критики повторяет летописи. Таким образом, история делается иногда эхом злословия... Мысль горестная! Холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести... Что, если мы клевещем на сей пепел; если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?»[1]

Историческая задача критики источников сплетается с нравственной целью восстановления правды и разоблачения официальной лжи. Этим определяется поза историка-гражданина и одновременно политика-реалиста, сменившая во второй половине творческой жизни Карамзина привычную уже для читателей маску чувствительного путешественника.

1981

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 1. С. 486—487.

«Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры[1]

Трактовка роли великого деятеля, зачинателя исторической или культурной традиции, может быть двоякой: мифологической и исторической. Мифологическая трактовка подразумевает представление, согласно которому новатор — зачинатель традиции не имеет предшественников. Все его деяния рассматриваются как результат индивидуальных усилий, собственных изобретений и личной энергии. В предшествующей ему эпохе усматриваются лишь «темнота», «косность» — чисто негативные качества, противостоящие его творческому и созидательному гению. Предшественников у него не может быть — допускаются лишь «предтечи», ранние пророки, провозглашающие пришествие.

Исторический подход, как правило, ориентирован на установление «корней» и «истоков» деятельности реформатора. Перед ним вырастает целый лес предшественников, и историк в конце концов приходит к выводу, что реформа произошла задолго до появления реформатора, который лишь прикрыл своим именем свершившееся.

Каждый из этих подходов склонен отрицать противоположный.

Деятельность Карамзина с исключительной наглядностью убеждает, что историко-культурная реальность раскрывается лишь в свете двойной перспективы этих двух интерпретаций.

Доказывать научную актуальность исторического подхода нет надобности. Но и так называемый мифологический аспект не может игнорироваться историком культуры уже потому, что сами возникающие в ту или иную эпоху «мифы» представляют собой определенную историко-культурную и историко-психологическую реальность. Весомость каждого из этих аспектов применительно к тому или иному деятелю различна. Роль мифологических элементов возрастает в тех случаях, когда установка на биографическую легенду входит в код эпохи и становится фактом сознания и деятельности самого данного исторического лица. В этом случае анализ психологической установки исторического деятеля неотделим от анализа его исторической роли. Примерами такого рода в русской культуре XVIII в. могут быть Петр I и Карамзин. Уже то обстоятельство, что оба они могут в равной мере убедительно быть представлены и как новаторы-демиурги, создатели совершенно новой, до них не существовавшей традиции, и как эклектики-практики, энергично внедряющие и прикрывающие своим именем то, что практически было создано до них целым периодом ушедшей потом в тень исторической

[1] Статья написана совместно с Б. А. Успенским.

деятельности, — делает правомерным сопоставление их имен. Показательно и то, что полемика вокруг сыгранной ими обоими исторической роли не утихает в науке и публицистике до наших дней. Оценка их исторической деятельности все еще остается научной и общественной проблемой.

В подобных случаях особенную роль приобретает личность писателя, которая, выходя за рамки, обычно отводимые биографии, становится фактом общественной культурной жизни, влияет на поведение современников и на их восприятие литературных произведений. Последние существуют как бы в приложении к личности писателя. Одно не воспринимается без другого, одно служит ключом к другому.

Карамзин творил в эпоху предромантизма, когда значение человеческого облика писателя во всей европейской литературе резко возросло. Однако роль личного, человеческого элемента в восприятии его творчества современниками значительно превышала не только все известное в этом отношении в русской литературе, но и выходила за рамки европейской нормы.

Творя литературу, Карамзин творил самого себя, и поза для него становилась необходимым условием амплуа писателя. «Письма русского путешественника» в этом отношении особенно знаменательны. Их беллетристическая природа проявляется в ощутимой стилизации образа автора и подчеркнутости его литературной позы. В этом смысле они очевидно отличаются от дошедших до нас реальных писем Карамзина: в последних «образ автора» стерт, повествователь нейтрален. В особенности это заметно в интимной переписке Карамзина — его письмах к И. И. Дмитриеву и ко второй жене. Вместе с тем письма к императору пишутся от лица мудрого советника, историка, чьими устами говорит потомство, к невесте — от лица влюбленного в условно-литературном значении этого слова; показательно, что письма невесте пишутся по-французски, после свадьбы же Карамзин сразу и навсегда переходит на русский язык. Здесь реальная личность Карамзина подменялась его условным двойником.

Литературная поза Карамзина как автора «Писем русского путешественника» двоилась в расчете на два различных типа аудитории. В России, перед русским читателем, Карамзин представал в утрированной роли «европейца». В этом случае он не боялся произвести шокирующее впечатление, скорее даже стремился к этому. Не случайно переписка близких друзей и знакомых Карамзина (Плещеевы, Кутузов, Багрянский) по возвращении его из-за границы наполнена жалобами на то, что он вернулся «tout-à-fait changé de corps et d'âme»[1] и что «проклятые чужие краи» совсем его переменили[2]. Восприятие современниками молодого издателя «Московского журнала» как «нового человека» и «европейца» входило в его «игру» и составляло условие общественного резонанса для той деятельности реформатора, к которой Карамзин

[1] «Совершенно изменившимся телом и душой» (*фр.*).

[2] *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915. С. 86. Ср. в письме Н. Н. Трубецкого А. М. Кутузову: «Касательно до общего нашего приятеля Карамзина, то мне кажется, что он бабочку ловит и что чужие краи, надув его гордостию, соделали, что он теперь никуды не годится» (Там же. С. 94).

готовился. Однако в кругу своих европейских знакомцев Карамзин играл подчеркнутую роль «русского», резко отзываясь о тех своих соплеменниках, которые за границей стремятся походить на иностранцев[1]. Поскольку мы можем судить по «Письмам русского путешественника» (а как мы увидим дальше, «Письма» являются весьма сомнительным источником для реконструкции реальных биографических обстоятельств пребывания Карамзина за границей, однако можно полагать, что для суждений о *психологической* реальности и о стиле поведения автора они дают обильный и достоверный материал), его поведение в кругу иностранцев строилось по модели: «юный Анахарсис в Афинах». Однако, принимая позу скифа — искателя мудрости, он стремился поразить собеседников не простодушием, а обширностью и глубиной познаний, свидетельствуя тем самым о высоте уровня русского Просвещения. Выступая в Москве как проповедник, владеющий истиной, строгий судья и ценитель, Карамзин в кругу европейских ученых стилизует себя как посланца юной цивилизации, ищущего истину в кругу просвещенных мудрецов. Поза мнимого смирения, сопровождаемая демонстрацией энциклопедических познаний (к каждой встрече Карамзин, вероятно, готовился столь же старательно, как и к ее описанию в «Письмах», прибегая к помощи справочников и пособий), должна была подтверждать общие успехи молодой России на пути просвещения и личные успехи выдающегося «москвитянина».

Обе эти позы зафиксированы в «Письмах русского путешественника»: читатель их мог взглянуть на Карамзина-автора и «из Москвы», и «из Парижа». Это, с одной стороны, подготовляло литературу к восприятию контрапунктного использования точек зрения как принципа художественной прозы, а с другой — открывало возможность двойного истолкования жизненной позиции автора.

Новое в деятельности Карамзина как литератора, в частности, состояло в принципиальном слиянии литературы и поведения, жизни писателя: жизнь просматривалась сквозь призму литературы, а литература — сквозь призму быта. Первый аспект особенно ярко проявлялся во взгляде на литературу как на средство цивилизации читателя. Карамзин, видя в прогрессе закон развития человечества, считал, что Россия после реформ Петра I должна двигаться по европейскому пути. Однако прогресс цивилизации мыслился им не только в форме смены одних общественных институтов другими, но и как цепь постепенных успехов в развитии «ума и сердца», в совершенствовании душевного мира его современников: «Законы хороши; но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были щастливы <...> Англичане просвещены, знают наизусть свои истинные выгоды, и естьли бы какой нибудь

[1] «Русская» ориентация «Писем», в частности, проявилась в том, что они оказались единственным произведением Карамзина, не имевшим успеха у европейского читателя. См.: *Арзуманова М. А.* Перевод английской рецензии на «Письма русского путешественника» из бумаг А. С. Шишкова // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969; *Быкова Т. А.* Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе // Там же; *Cross A. G.* N. M. Karamzin. A Study of his Literary Career. 1783—1803. London; Amsterdam, 1971. P. 94—95.

Питт вздумал явно действовать против общей пользы, то он непременно бы лишился большинства голосов в Парламенте, как волшебник своего талисмана. И так не Конституция, а просвещение Англичан есть истинный их Палладиум»[1]. Тонкость чувств, нежность сердца, гуманность не только идей, но и эмоций делались мерилом цивилизованности общества, и их выражение становилось первейшей задачей литературы. Душевная же тонкость ассоциировалась со способностью к различению оттенков чувств (именно требование различения степеней и оттенков значений — критерия цивилизованности — выдвигало установку на «вкус», столь характерную впоследствии для карамзинистов). Но тонкость в различиях подразумевала способность расчленения впечатлений и эмоций для их сопоставления и сравнения. Такое расчленение достигалось называнием, превращением всего в слова. Поэтому словесный, литературный пересказ, описание необходимы Карамзину для того, чтобы тонко чувствовать. Пейзаж воспринимается через призму его литературного образа, любовное чувство — сквозь описание любви в стихах или прозе, жизнь — сквозь литературу. Поза тонкого, цивилизованного, чувствительного человека, человека гуманного и сочувствующего окружающим ассоциируется у Карамзина не с чувствительным дикарем Руссо, а с *читателем*, вспоминающим, глядя на мир, прочитанные строки, и *писателем*, переживающим жизнь по мере ее описания.

Но у взаимоотношений литературы и жизни, с позиции Карамзина, была и другая сторона: не только литература переливалась в жизнь, но и жизнь становилась формой литературного творчества. Поведение писателя становилось культурным фактом, оно как бы продолжало литературу, и читатель воспринимал их в нерасторжимом единстве. В этом аспекте намечался дуализм в литературной позе Карамзина.

Именно «Письма русского путешественника» создали для русского читателя Карамзина (напомним, что, печатаясь из номера в номер, они в значительной степени определяли лицо «Московского журнала», а кличка «путешественник» надолго закрепилась в литературных кругах за Карамзиным). Но «Письма» же закрепили двойственность его образа для читателей (европеец — русский; ученик — учитель; неискушенный юноша, читатель чужих сочинений, — писатель, законодатель литературных норм и проч.). Сам Карамзин в своем личном поведении представал перед читателями то одним, то другим своим лицом, свободно варьируя стилизуемые им культурные маски.

«Письмами» была задана определенная литературная поза, рассчитанная на то, чтобы шокировать современников, вызывать восторг или ненависть, будить крайние эмоции положительного или отрицательного свойства, но ни в коем случае не оставлять читателя в состоянии спокойного безразличия. Так началась поразительная литературная судьба Карамзина — судьба человека, стоящего вне борьбы, споров и эмоций, но провоцирующего борьбу, споры и эмоции читателей и потомков. При этом двойственность литератур-

[1] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника / Серия «Лит. памятники». Л., 1984. С. 382—383. (Далее: *Карамзин Н. М.* Письма...)

ного облика, исходно заданного образом автора «Писем», позволяла с самого начала «читать» его с противоположных позиций: как патриота и галломана, новатора и консерватора, чувствительного и холодного, мятежника и врага политики и мятежей.

Итак, именно «Письма русского путешественника» создали Карамзина как писателя и в значительной мере предопределили его литературную судьбу. Именно они задавали то двойное прочтение, которое в дальнейшем было свойственно всем литературным творениям Карамзина. Для читательской аудитории эта двойственность позиции определяла литературное *лицо* Карамзина. Для самого Карамзина она определяла его литературную *позу*.

Говоря о литературной позиции — или литературной позе — Карамзина, необходимо иметь в виду его принципиальный утопизм как характерную черту его идеологии. Карамзин выступает за самодержавие — но против самодержцев: он выступает за идеальное самодержавие, то есть за те формы правления, которых нет, но которые могли бы быть, — за ту идею, которая в них заложена. Точно так же Карамзин — за народ, но против «дебелого мужика»; он провозглашает необходимость ориентации литературного языка на разговорную речь, но не на реальную, а на идеальную речь, не на то, как *говорят*, а на то, как *должны* говорить. Это придает своеобразный, подчас парадоксальный смысл его декларациям и в ряде случаев может дать основание увидеть несоответствие программы и ее практического осуществления. Так, Карамзин, который в глазах других предстает галломаном (и, конечно, в некотором роде им является), может выступить против галломании; Карамзин-«западник» может написать статью «О любви к отечеству и народной гордости»; Карамзин, близкий к «щегольской» культуре (требования моды были для молодого Карамзина достаточно актуальны), может представать перед читателем как противник щегольства. При этом он как бы следует принципу, прямо сформулированному им в статье «Отчего в России мало авторских талантов?»: «давать старым <словам> некоторый новый смысл».

Этот утопизм идеологической позиции Карамзина сочетался с принятой им на себя миссией просветителя. Он одновременно теоретик-утопист и практик — деятель просвещения, популяризатор. Теоретик усматривал в любой реализации идеи ее плачевное уничижение, практик — профессионал литератор, журналист и широко читаемый писатель — осуждал «химеры» и видел в популяризации и просветительстве общественное служение. Однако оборотная сторона популяризации — банальность, трюизм, и эту опасность Карамзин очень остро ощущал. Он постоянно борется с возможностью тривиального, опошляющего истолкования его идеологической программы. Можно было бы сказать, что Карамзин находится в непрекращающейся полемике со своим двойником — карамзинистом. Общеизвестно, что всю свою жизнь Карамзин чуждался полемики с литературными противниками; в какой-то мере это компенсировалось его полемикой со своим alter ego. Целый ряд заявлений Карамзина имеет превентивный характер, предупреждая ту или иную крайность истолкования. Другие декларации высказаны им не от своего лица, а от лица некой литературной маски. Характерно в этом

отношении почти одновременное создание взаимоотрицающих произведений: «Моя исповедь» и «Рыцарь нашего времени». Одно осмеивает «Исповедь» Руссо — другое явно ориентируется на это произведение; одно — саморазоблачение «модного героя», другое — утверждение его в качестве «героя нашего времени». Карамзин может быть ироничен, говоря о том, к чему он относится серьезно, но он может с пафосом говорить об идеях, которые, вообще говоря, принадлежат не ему самому. Все это создает возможность игры точек зрения, обеспечивая насыщенность идеологической композиции, и вместе с тем делает прочтение карамзинского текста отнюдь не тривиальной задачей. Однако указанные особенности *текстов* Карамзина отнюдь не исключают внутренней последовательности его *личности*; можно сказать даже, что именно личность Карамзина оказывается организующим началом в этих текстах. Общий принцип чтения Карамзина может быть сформулирован приблизительно так: через тексты к личности автора и от личности — снова к тексту. Это особенно верно для «Писем русского путешественника» — произведения, объединяющего художественный, познавательный и философский аспекты. Интерес молодого Карамзина к физиогномике и его переписка с Лафатером имели целью выяснение одного общего вопроса, которому сам Карамзин придавал очень большое значение: как сосуществуют и взаимно влияют друг на друга душа и тело. Можно думать, что вопрос о сосуществовании и взаимовлиянии жизни и искусства укладывался для Карамзина в рамки той же проблемы. Из переписки с Лафатером Карамзин усвоил, что мир есть зеркало души и что познание души предполагает взгляд на себя со стороны. «Глаз наш не так устроен, чтобы видеть себя без зеркала, — а наше „я“ видит себя только в другом „ты“. Мы не имеем в себе точки зрения на самих себя», — писал Карамзину Лафатер в письме от 16 июня 1787 г. Литературная поза Карамзина-путешественника и была для него средством познания себя и своей страны, причем сам Карамзин не без основания мог рассматривать себя как эманацию русской культуры XVIII в.

***

Почти два века отделяют нас от времени создания «Писем русского путешественника». За это время оценки произведения Карамзина не раз менялись самым решительным образом. Так, Ф. И. Буслаев в 1866 г. видел в «Письмах русского путешественника» «необычайную цивилизирующую силу», «зеркало, в котором отразилась вся европейская цивилизация»[1]. А почти через сто лет Е. Н. Купреянова так оценивала «Письма русского путешественника»: «Это своего рода „окно“, прорубленное Карамзиным для русского читателя в культурно-историческую жизнь западноевропейских стран. Правда, „окно“ это находилось на относительно невысоком уровне интеллектуальных интересов и возможностей образованного дворянства того времени»[2].

[1] Московские университетские известия. 1867. № 3. С. 15.
[2] История русского романа: В 2-х т. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 69.

При очевидной противоположности оба эти мнения имеют общее основание: они в равной мере исходят из убеждения, что «Письма русского путешественника» представляют собой своего рода беллетризованный Бедекер, украшенный забавными сюжетами справочник для путешественников по Европе. Между тем уже тот факт, что произведение это и два века спустя находит своих читателей, свидетельствует, что перед нами не указатель достопримечательных мест, а литературное произведение, сохраняющее ценность и для совсем другой России, пытающейся определить свое отношение к совсем другой Европе.

Стремление не сводить значение «Писем» к «познавательному содержанию»[1], а увидеть в этом произведении целостный идеологический и художественный мир, в который Карамзин вводит читателя, высказывалось уже рядом авторов[2]. Такой подход представляется наиболее плодотворным. Однако и первый вряд ли можно просто отбросить как заблуждение — слишком глубокие корни он имеет в читательской традиции: Карамзин создал устойчивый культурный образ «русского путешественника» за границей, и влияние этого образа оказалось исключительно долговременным. В 1803—1804 гг. В. Л. Пушкин совершил поездку по Европе. В сознании путешественника это была не только заграничная поездка, не только паломничество по следам Карамзина, но и своеобразное перевоплощение в образ карамзинского «русского путешественника»[3]. Явная несостоятельность этих претензий заранее придала самому замыслу в глазах современников пародийно-комический характер[4]. Связь с определенной культурно-психологической традицией современники ощущали здесь бесспорно. Не будем перечислять всех ее последующих вех — укажем лишь на некоторые.

В 1839 г. М. Погодин, путешествуя за границей, посетил Париж. «Письма русского путешественника» присутствуют в его сознании как некая норма европейской жизни, которой он постоянно поверяет свои личные впечатления. Здесь и совпадения: «Не веришь себе и хочешь усомниться с К<арамзиным>, полно, жив ли я, не брежу ли я во сне?» Замечание «вспоминали Карамзина» попадается в его путевом дневнике неоднократно. Здесь же и расхождения: «Не те уже воспоминания возбуждает Палерояль, как во времена Карамзина»[5].

---

[1] История русского романа. Т. 1. С. 70.

[2] См.: *Ивинов М. В.* Мир Швейцарии в «Письмах русского путешественника» // XVIII век. Сб. 10. Л., 1975. С. 297.

[3] В. Л. Пушкин, как и Карамзин, писал мало реальных писем во время своего путешествия, однако сразу же начал публикацию в «Вестнике Европы» литературных писем (1803, ч. 10 и 11; перепеч. в кн.: *Пушкин В. Л.* Соч. СПб., 1895). Ср.: *Трубицын Н. Н.* Из поездки Василия Львовича Пушкина за границу, 1803—1804 // Пушкин и его современники. Пг., 1914. Вып. 19—20.

[4] См. стихотворение И. И. Дмитриева «Путешествие N N в Париж и Лондон» (Соч. СПб., 1893. Т. 1. С. 229—231); *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 55—56.

[5] *Погодин М.* Год в чужих краях, 1839: Дорожный дневник. М., 1844. Ч. 3. С. 6, 23, 5.

Сложное и в основном полемическое отношение Достоевского к образу «русского путешественника» подразумевает постоянную соотнесенность. Так, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский, вспоминая свое впечатление от Кельнского собора, пишет: «Я было хотел „на коленях просить у него прощения" за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом»[1]. Здесь сознательно полемическое использование слов Карамзина: «Я наслаждался — и готов был на коленях извиняться перед Реином в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением»[2]. Весь замысел толстовского «Люцерна», конечно, полемичен по отношению к эпизоду с бернским арфистом, которому у Карамзина был оказан столь радушный прием: «Сегодня за ужином бедный Италианской музыкант играл на арфе и пел. Англичане набросали ему целую тарелку серебряных денег»[3].

Перечень этот можно было бы значительно продолжить. Закончим одним сопоставлением: в 1925 г. Маяковский, уезжая из Парижа, написал стихотворение «Прощанье», которое заканчивалось словами:

Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сантиментальностью расквась!
Я хотел бы жить
и умереть в Париже,
Если б не было
такой земли —
Москва[4].

Слово «сантиментальность» совсем не случайно у Маяковского: стихи эти — весьма точная цитата. «Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции», — писал Карамзин, расставаясь с Парижем. Маяковский не только наизусть помнил эти слова, но и, прощаясь с Парижем, ощущал себя все тем же «русским путешественником» за границей. Параллель эта вызывала у него даже некоторую досаду, что видно из иронических в собственный адрес слов о сердце, расквашенном сентиментальностью.

Таким образом, если на самой поверхности текста Карамзин давал читателю перечень европейских достопримечательностей (их-то исследователи и называют «познавательным содержанием» книги), то в более глубоком слое мысли создан был образ «русского путешественника», который сделался реальным фактом русской культуры в ее отношении к Европе. Однако за этим стоял еще более глубинный пласт — соотношение России и Европы в

[1] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 48.
[2] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 113.
[3] Там же. С. 130.
[4] *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1957. Т. 6. С. 227.

едином процессе движения мировой цивилизации. Попробуем выяснить, что же своего внес Карамзин в эту вековую проблему.

***

Творчество Карамзина началось для читателей «Письмами русского путешественника» и завершилось «Историей государства Российского». В таком расположении при всей его историко-культурной и лично-биографической обусловленности скрыта красота строгого композиционного построения: Карамзин начал как писатель, показывающий читателям в зеркале своего творчества Европу и прогресс культуры, и завершил свой путь тем, что открыл перед ними Россию и ее историю.

«Письма русского путешественника» выражали мысли верящего в исторический прогресс просветителя. С этой точки зрения сегодняшний день Европы представлялся завтрашним днем России. Это имел в виду и Карамзин, когда в письме в «Spectateur du Nord» говорил о «быстром полете нашего народа к той же цели»[1]. Убеждение в единстве пути всех народов, шествующих по дороге цивилизации, продиктовало Кондорсе, который, скрываясь от преследований якобинского трибунала, писал итоговую книгу французского Просвещения — пронизанный оптимизмом «Опыт исторической картины прогресса человеческого разума», — следующие слова: «Движение других народов будет более быстрым и более надежным, чем наше, поскольку они получат от нас то, что мы принуждены были открыть первыми, и потому, что знание этих простых истин, этих методов, которых мы достигли лишь путем длительных блужданий, они смогут постичь, следуя развитию доказательств в наших речах и книгах»[2]. «Письма русского путешественника» были путешествием в будущее, «История государства Российского» — в прошлое.

Такое понимание значения «Писем» выдвигало на передний план аспекты, имевшие наиболее, с точки зрения Карамзина, близкое отношение к проблеме цивилизации и ее развития. Это, во-первых, опыт истории европейской культуры в двух основных — для конца XVIII в. — ее проявлениях: с точки зрения духовного обогащения человеческой личности (сюда входили вопросы литературы, развития искусств, все стороны духовной жизни человека) и с точки зрения социального прогресса (этот аспект был связан с мыслями о роли французской революции, о свободе и просвещении народа, о соотношении экономической и личной свободы и др.); и, во-вторых, проблемы реформы русского литературного языка и пересмотра отношений между литературным языком и литературой, органически связанные со всем комплексом размышлений, возникавших при попытках определения будущих путей русской культуры.

---

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 453.

[2] *Condorcet.* Esquisse d'un tableau historique des progrès de lésprit humain // Ouvrages posthumes. Nouv. éd. [S. l.], 1797. P. 257. Знакомство Карамзина с этим произведением, по крайней мере во время создания им окончательного текста «Писем», представляется весьма вероятным.

***

Чтобы определить сущность «Писем русского путешественника» как литературного произведения, необходимо выделить в этой книге «Dichtung» и «Wahrheit». Даже после исследования В. В. Сиповского, установившего, что «Письма русского путешественника» не могут рассматриваться в качестве сборника реальных писем[1], в научной литературе доминирует представление о «полубеллетристической природе»[2] этого произведения. Представление о господстве в книге непосредственных дорожных впечатлений Карамзина породило версию, согласно которой в ее основе лежит путевой дневник, хотя никаких следов дорожных записей у нас нет и самый факт их существования проблематичен. Однако дело даже не в наличии или отсутствии путевых дневников, а в принципах обработки автором реального материала и превращения его в факты художественного творчества. Соотношение реального путешествия Карамзина, его дорожных впечатлений и текста книги — сконструированного Карамзиным для русских читателей образа Европы — один из ключевых вопросов в понимании идейной и художественной природы этого текста. Ответить на этот вопрос не так уж легко: мы слишком мало знаем о реальном путешествии писателя. Стоит нам поставить перед собой задачу проверки текста «Писем», как обнаруживается, что, кроме самих «Писем русского путешественника», у нас нет об этом периоде никаких других сведений.

Причины, породившие самую идею путешествия, остаются для нас неясными. С одной стороны, существует версия, что за границу Карамзин был «отправлен» масонами. Слухи об этом носились в московском обществе 1790-х гг., эти же сведения Карамзин якобы подтвердил сам в беседе с Ф. Глинкой[3]. В литературе о Карамзине повторяется слух о том, что «программу» путешествия составил С. И. Гамалея. Однако есть и прямо противоположные данные: вопрос этот специально исследовался московскими властями во время «суда» над Новиковым. Следствие как будто приняло утверждение, что Карамзин путешествовал «не от общества», а вольным «вояжором» на собственные деньги. Существует ряд данных о том, что драматический разрыв с кружком московских «мартинистов» предшествовал заграничному вояжу, а не последовал за ним. Исключительно эмоционально описаны обстоятельства отъезда Карамзина в письмах А. И. Плещеевой А. М. Кутузову, рисующих картину в почти трагических тонах (при использовании этих документов следует учитывать склонность Плещеевой драматизировать ситуации). Однако письма эти не дают ясного представления о причинах и характере событий. Рамзей (прозвище Карамзина в дружеском московском кружке) вынужден

---

[1] См.: *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899. С. 158—237.

[2] *Brang P.* Über die Tagebuchfiktion in der russischen Literatur // Typologia Litterarum. Zürich; Freiburg, 1969. S. 444.

[3] *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине // Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка. 1960. Т. 19. Вып. 2. С. 150.

был, по ее словам, чуть ли не бежать из Москвы, она сама, «плакав пред ним, просила его ехать», «сие было нужно и надобно», хотя в принципе она всегда была «против оного вояжа». Причиной же был некий «злодей» и «Тартюф»[1]. А. И. Плещеева намекает Кутузову на то, что сознательно пишет темно, опасаясь перлюстрации писем. Душевная близость ее к Карамзину и степень осведомленности в его делах делают ее свидетельство особенно важным. Даже при учете ее склонности к преувеличениям высказывание это не может не привлечь нашего внимания. Расшифровать его мы пока бессильны: ни кто такой «Тартюф», ни в чем состояли его злодейства, сделавшие поездку необходимой, мы не знаем и не имеем оснований для построения обоснованных гипотез.

Когда Карамзин собирался за границу, у него, бесспорно, был план путешествия, а вероятнее — два плана. Как мы уже отмечали, какой-то план был составлен Гамалеей. Он, очевидно, не был реализован, поскольку в странствовании Карамзина не обнаруживается никаких черт путешествия масонского ученика с его специфическими чертами: длительным пребыванием в местах собрания масонских рукописей и их изучением с целью проникновения в таинства Духа и Натуры. Возможно, эта часть программы и была бы частично реализована, если бы весь план путешествия не изменился в результате письма А. М. Кутузова. К встрече с ним, по утверждению Карамзина, сам он искренне стремился. Следовательно, отношения их в этот период еще не были испорчены. В «Письмах русского путешественника» Карамзин так описал свое ожидание свидания с Кутузовым при приближении к Берлину: «Ночью всякия мечты воображения бывают живее, и я так ясно представил себе любезного А*, идущего ко мне на встречу с трубкой и кричащего: *кого вижу? брат Рамзей в Берлине?* что руки мои протянулись обнять его...»[2] Как мы покажем ниже, обстоятельства контактов Карамзина и Кутузова за границей не совсем ясны, но к моменту возвращения Карамзина из-за границы отношения их были уже более чем прохладными.

Кроме «масонского» плана Гамалеи у Карамзина был свой (разработанный совместно с Петровым или, по крайней мере, Петрову известный) план, в который были посвящены и Плещеевы. В общих чертах он соответствовал маршруту, описанному в «Письмах русского путешественника»: Германия — Швейцария — Франция — Англия. Петров в сентябре 1789 г. писал Карамзину: «Я думаю, <...> ты давно уже в Швейцарии». И в том же письме: «Я опасаюсь проезда твоего через Францию, где ныне такие неустройства»[3]. А. А. Плещеев пишет 7 (18) июля 1790 г. А. М. Кутузову: «Любезный наш Николай Михайлович должен уже месяц назад быть в своем любезном Лондоне, а как намерение его было сим городом кончить свое путешествие, то я надеюсь сего столь мне любезного человека в конце августа видеть у себя в Знаменском»[4].

---

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 5—6.

[2] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 32.

[3] Там же. С. 509.

[4] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 1. Ср. письмо Лафатеру (*Карамзин Н. М.* Письма... С. 477).

Таким образом, московские друзья Карамзина, находившиеся вне масонского кружка (Петров к этому времени охладел к своим масонским симпатиям и покинул дом Типографической компании, а Плещеевы, в особенности Анастасия Ивановна, которая и Кутузову пыталась «открыть глаза»[1], вообще стояли в оппозиции к кружку московских мистиков), были заранее посвящены в маршрут его заграничного путешествия.

Однако из сказанного еще нельзя сделать категорического вывода о том, что в ходе путешествия Карамзин не внес в маршрут изменений. Не встретив Кутузова в Берлине, Карамзин едет в Саксонию. То, что из столицы Пруссии автор «Писем» отправился в Дрезден, делает естественным предположение, что дальнейший путь его должен был лежать на Вену, откуда можно было проехать через Ломбардию или по дороге через Линц и Мюнхен в Швейцарию, с тем чтобы в дальнейшем через Францию и Англию вернуться в Петербург. В пользу такого маршрута говорит, в частности, то, что из Швейцарии Карамзин, видимо, отнюдь не собирался ехать прямо в Париж — в планы его входило посещение юга страны.

Практически все сложилось иначе. Из Дрездена Карамзин заехал в Лейпциг. Мы сейчас не можем судить, что это означало: было ли это небольшим отклонением в сторону ради посещения интересного культурного центра (возможны также и специальные масонские цели), или же речь шла о движении в Швейцарию по совсем иной трассе — через Нюрнберг и Констанц на Цюрих. Однако в Лейпциге Карамзин, как он подчеркивает, неожиданно для себя получил известия, изменившие его планы. В «Письмах» под датой «июля 19» он сообщает: «Ныне получил я вдруг два письма от А*, которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель и хочет, чтобы я дождался его или в Мангейме или в Стразбурге; но мне никак нельзя исполнить его желания»[2]. В приведенном отрывке столько неясностей, что невольно возникает мысль о стремлении автора больше скрыть, чем рассказать. Во-первых, очевидно, что путь из Берлина в Саксонию был предусмотрен еще в Москве, — иначе непонятно, каким образом Кутузов, не встретившись с Карамзиным в Берлине, знал, что следующее письмо следует писать в Лейпциг. Во-вторых, именно из того, что, узнав в Берлине об отъезде Кутузова во Франкфурт (на Майне), Карамзин все же поехал, согласно обдуманному еще дома плану, в Дрезден, можно заключить, что он не собирался спешить на Майн за своим другом. Фраза «Я не найду его во Франкфурте» звучит странно и, вероятно, должна сгладить для читателя post factum противоречия между планом и реальным путешествием. В-третьих, узнав, что Кутузов советует ему решительно изменить маршрут и ехать к французской границе и в Мангейме или в уже лежащем во Франции Страсбуре дожидаться его (о странности такого предложения — ниже), Карамзин пишет: «...мне никак нельзя исполнить его желания» —

[1] Кутузову она писала: «Я сколько-нибудь всех ваших друзей знаю и лучше хочу для них остаться при моем недоверчивом нраве, нежели с вашей легковерностью» (*Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 5).

[2] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 69.

и решительно примиряется с невозможностью встретиться с Кутузовым во время вояжа: «И таким образом во всем своем путешествии не увижу ни одного человека, близкого к моему сердцу!»[1] Однако он все же едет во Франкфурт, хотя этого было «никак нельзя» сделать, и из Франкфурта направляется в Страсбур. Такое неожиданное решение ничем не мотивируется в тексте «Писем» и остается для читателя непонятным.

Далее происходят еще более странные вещи: Карамзин, согласно «Письмам», приезжает в Мангейм, откуда едет в Страсбур. Ни в одном из этих городов он не встречает Кутузова и даже, как кажется, не ожидает встретить (во Франкфурте он узнает, что Кутузов в Париже, но об этом он знал еще из писем, полученных в Лейпциге). Зачем же он сюда приехал? Неясности продолжают громоздиться; в Мангейме, согласно тексту «Писем», он делает запись: «Естьли бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель: так полюбился мне Мангейм!»[2] Итак, он спешит в Швейцарию. Однако из Мангейма он направляется совсем не туда, а едет во Францию — в Страсбур. В «Письмах» это странное противоречие никак не объясняется. В первоначальном тексте произведения оно получило истолкование. В автореферате «Писем», опубликованном в «Spectateur du Nord», поездке в Страсбур дано недвусмысленное пояснение: указав, что во Франкфурте-на-Майне он узнал о революции во Франции и был ею «живо взволнован», Карамзин сообщает читателю, что его путешественник направился после *этих известий* из Германии во Францию, но, столкнувшись в Эльзасе с грабежами, волнениями и слухами об убийствах, повернул в Швейцарию, «чтобы там дышать воздухом мирной свободы»[3]. Таким образом, из Мангейма Карамзин «торопился» совсем не в Швейцарию, а во Францию.

Все эти противоречия рассеются, если предположить, что Кутузов, отправляясь из Франкфурта в Париж, звал туда и Карамзина. В таком предложении, высказанном еще до взятия Бастилии, не было ничего не только смелого или сомнительного, но даже необычного. Иначе выглядело оно в момент публикации «Писем», и его, естественно, приходилось тщательно маскировать.

Поездка А. М. Кутузова ранним летом 1789 г. в Париж остается для нас загадкою, как, впрочем, и почти все, что касается его пребывания за границей. Ясно только, что в дальнейшем Кутузов, имея в виду перлюстрацию писем в России, ее скрывал: он тщательно избегал в письмах к русским друзьям всего, что могло бы даже намекать на нее (упоминания имеют характер глухих и невольных обмолвок, см. письмо И. В. Лопухину[4]. Поездка, бесспорно, случайно совпала со знаменательными событиями. 19 июля (по европейскому календарю) Карамзин получил от Кутузова письмо о намерении последнего поехать «на несколько недель» в Париж. Сам Карамзин проделал путь от Лейпцига до Франкфурта за десять дней, письмо в обратном направлении, видимо, двигалось около этого времени. Следовательно, Кутузов

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 69.
[2] Там же. С. 92.
[3] Там же. С. 452. Курсив наш. — *Ю. Л., Б. У.*
[4] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 59.

выехал во Францию в начале июля 1789 г. и если не поспел к событиям 14 июля, то оказался в Париже, потрясенном их последствиями.

Карамзин, узнав во Франкфурте о начале революции, первым делом вспомнил, что в Париже находится Кутузов: «Вчера был я только у Виллемера, богатого здешнего Банкира. Мы говорили с ним о новых Парижских происшествиях. Что за дела там делаются! Думал ли наш А* (который уехал отсюда недели за две перед сим) видеть в Париже такия сцены?»[1] Можно предположить, что описание «сцен» Карамзин черпал именно из писем Кутузова, ждавших его во Франкфурте.

В условиях июля 1789 г. принять решение отправиться в Париж было весьма естественно. Было очевидно, что в Париже происходят события всемирно-исторического значения. А бояться каких-либо последствий такой поездки со стороны французов или со стороны русского правительства не могло и прийти в голову. Второе было куда более реально, но в Париже в эту пору было много русских путешественников, и правительство не выражало еще по этому поводу никакого беспокойства. Даже полтора года спустя, в ноябре 1790 г., в ответ на решительное запрещение со стороны И. В. Лопухина масонским стипендиатам М. И. Невзорову и В. Я. Колокольникову ездить в Париж «в рассуждении царствующей там ныне мятежности»[2] молодые люди протестовали: «Нам будет там в теперешних обстоятельствах Франции безопасно. Чужестранцы все, как в здешнем городе (Страсбуре. — *Ю. Л., Б. У.*), так и во всей Франции, не только никакой, как сказывают, не имеют опасности, но еще особенно обезопашиваются, и от двора нашего повеления нет выезжать из Франции, ибо здесь, кроме помянутых двух студентов петербургских, живут многие из России дворянские дети, как то: сын графа Разумовского, г-н Новосильцов и проч. Много, равным образом, как мы теперь слышали, находится русских в Париже»[3].

Если поставить себя в положение Карамзина, размышляющего в Страсбуре в июле 1789 г. о планах дальнейшей поездки (то есть восстановить до деталей все, что он знал в эти дни, и заставить себя забыть все, что ему еще не могло быть известно, все события, отделяющие его пребывание на пороге Франции от времени публикации «Писем русского путешественника»), то нам станет очевидно, что отказ от поездки в Париж нуждается в большем числе мотивировок, чем решение туда ехать.

Но все же поехал Карамзин из Страсбура в Париж или нет? «Письма русского путешественника» утверждают, что нет. Однако здесь уместно обратить внимание на странные неувязки в хронологии окончательного текста «Писем». Согласно этому тексту, Карамзин прибыл в Париж (из Швейцарии) 27 марта 1790 г. и оставил его в июне (даты этого месяца он упорно заменяет многоточиями) того же года.

Всякая попытка составить реальную хронологию пребывания Карамзина в Париже наталкивается на трудности, связанные с запутанностью дат, вернее

---

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 84.

[2] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 23.

[3] Там же. С. 37—38.

всего не случайной: так, под неопределенной датой «Париж, Мая...» (это первая майская помета, позволяющая думать, что описываемые здесь впечатления относятся к началу мая, однако анализ обнаруживает, что «письмо» это касается событий самого конца месяца) в главке «Тюльери» Карамзин утверждает, что был свидетелем праздника Ордена св. Духа. Праздник этот в 1790 г. приходился на 25 мая н. с. («Духов день») — время, когда Карамзин должен был находиться уже по дороге в Лондон. Самое же поразительное, что этот праздник, «очевидцем» которого был «русский путешественник», в 1790 г., как кажется, вообще не состоялся[1]. В письме, помеченном «Париж, Июня...» и описывающем посещение «Царской кладовой», Карамзин сообщает, что он уже «три месяца в Париже»[2]. Следовательно, речь идет о 27 июня. Однако мы располагаем его письмом из Лондона Дмитриеву, датированным 4 июня 1790 г.[3] Если к этому добавить, что в Париже им сделано пятнадцать записей, помеченных июнем (то есть, хотя даты нигде не указаны, читатель может предположить, что до середины этого месяца он был в Париже), а дорога из столицы Франции в Лондон тоже требовала времени, то картина спутанности дат окажется весьма выразительной. К этому можно добавить, что в эпизоде со слугой Бидером допущена характерная мистификация: дана ссылка на газету от 28 мая, между тем как описанное здесь событие произошло 30 марта и попало в газеты в первых числах апреля[4], — и что в письмах из Лондона путешественник делается «очевидцем» событий, заведомо произошедших в его отсутствие (например, выборы в Парламент[5]). Есть и другие факты хронологических несоответствий, из чего можно заключить, что даты в «Письмах русского путешественника» являются элементом организации литературного текста, а не документальными опорами реального путешествия их автора. Более того, литературному замыслу, видимо, предшествовало стремление утаить некоторые деликатные моменты реального путешествия.

Возвращение Карамзина в Петербург по «Письмам» приходится на осень 1790 г. (последнее «английское» письмо помечено: «Лондон, сентябрь... 1790»), однако, согласно опубликованным Г. П. Штормом данным петербургской полиции, Карамзин прибыл в столицу 15 июля![6] А. А. Плещеев писал Кутузову: «Любезной наш Николай Михайлович приехал в Россию еще в августе» (Плещеевы в своем Знаменском могли ошибаться в точной дате приезда Карамзина в Петербург)[7].

---

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 654, примеч.

[2] Там же. С. 305.

[3] См.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 13—14.

[4] См.: *Карамзин Н. М.* Письма... С. 664—665, примеч.

[5] Там же. С. 673, примеч.

[6] См.: *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине. С. 150. Г. П. Шторм ошибочно толкует выражение «из Москвы отставной поручик Николай Карамзин» как указание на то, что Карамзин прибыл в Петербург из Москвы: оно означает — «москвич», «жительствующий в Москве».

[7] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 30. Ср. расхождение *в две недели* между реальной датой отъезда из Швейцарии и той, которую находим в «Письмах» (*Карамзин Н. М.* Письма... С. 189).

Несколько недель очевидного расхождения между реальным и литературным сроком возвращения Карамзина на родину невольно приводят на память «несколько недель», которые должен был провести Кутузов в Париже, и «несколько недель», которые Карамзин охотно провел бы в Мангейме, если бы «не торопился». Эти несколько недель, выпав из хронологии «Писем», спутали всю их датировку. Если бы Карамзин указал в «Письмах» истинную дату своего приезда в Россию, то получилось бы, что в Лондон он лишь заглянул дня на два. Если бы он указал подлинное время своего прибытия в Лондон, то его пребывание в Париже показалось бы слишком кратковременным для серьезных суждений. Все эти сомнения отпадут, если предположить, что Карамзин поехал из Страсбура в Париж «на несколько недель», затем отправился в Швейцарию, откуда намеревался через Лион совершить путешествие на юг Франции. Узнав о крестьянских восстаниях в этом районе, он вторично прибыл в Париж и отсюда раньше, чем это указано в «Письмах», направился в Лондон. По каким-то неизвестным нам обстоятельствам он решил скрыть свое первое пребывание в столице Франции от читателей и властей в России, расширив в «Письмах» время пребывания в Швейцарии и удлинив сроки своего путешествия вообще. Косвенным подтверждением этих гипотез является то, что именно во время пребывания Карамзина за границей испортились его отношения с Кутузовым, превратившись из пламенно дружеских в почти враждебные со стороны Кутузова и прохладные со стороны Карамзина. Это выглядит весьма странно, если учесть, что официально они в это время не встречались. В. В. Виноградов был прав, когда писал: «Больше всего масоны боялись появления „Писем русского путешественника“, описания заграничной поездки Карамзина»[1].

Итак, «Письма русского путешественника» — не сумма бесхитростных дорожных записей. Вырисовывается факт отбора. Для выяснения позиции автора оказывается существенным не только то, что он включил в свою книгу, но и то, что он не включил, поскольку пропуски входят в активную архитектонику мысли, если они ощущаются читателем. Перед нами встанет задача: оживить для себя исторические впечатления, уже забытые нами, но ясные в уме и памяти читателей эпохи Карамзина.

---

[1] *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 255. Кутузов, узнав о намерении Карамзина издавать журнал (следует иметь в виду, что это слово обозначало одновременно и периодическое издание и дневник), решил, что приятель его хочет опубликовать подлинный путевой дневник, и встревожился именно этим, явно опасаясь проникновения в печать нежелательных сведений. Он писал Карамзину: «Опасно связываться с вашею братиею, авторами, тотчас попадешь в лабет («в дураки» — карточный термин, означающий проигрыш. — *Ю. Л., Б. У.*). Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки; что ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистью?» (*Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 55). Каким образом Карамзин мог в своем «путевом журнале» «искусною кистию» изображать недостатки Кутузова, если они не встречались за границей? Обмолвку Кутузова можно считать прямым доказательством факта встречи за границей, то есть поездки Карамзина в Париж в июле 1789 г.

Каковы были реальные события в Париже, свидетелем которых сделался Карамзин? Как ни странно, несмотря на обилие литературы, полностью посвященной проблеме «Карамзин и французская революция» или частично ее затрагивающей, вопрос этот даже не поставлен. Все писавшие ограничивались комментированием того, что написал на эту тему Карамзин, хотя очевидно, что без сопоставления с тем, что он знал и видал, читал и слышал в эти годы, выяснить подлинный смысл его писаний невозможно.

Если предположить, что Карамзин в первый раз был в Париже вместе с Кутузовым, то он должен был быть свидетелем первых триумфов революции: провозглашения Бальи (который в эту пору был для всех героем Залы для игры в мяч) мэром Парижа, а Лафайета — командующим национальной гвардией. Революция переживала свое радостное начало: 15 июля архиепископ парижский отслужил в соборе Парижской богоматери благодарственную мессу в честь взятия Бастилии. Король, отвергнув предложения бежать за принцами и Брейтелем и возглавить в Меце поход на Париж, принял из рук Бальи трехцветную кокарду. Английский посол Дорсет доносил своему правительству: «С этого момента мы можем рассматривать Францию как свободную страну, короля как монарха, чьи полномочия ограничены законами, а дворянство как низведенное до уровня нации»[1].

Париж клокотал от брошюр, разговоров в кафе, салонах (клубы также еще имели характер салонов, облик их изменился лишь весной — летом 1790 г.), но до событий 5—6 октября 1789 г., когда Карамзина в Париже наверняка не было, обстоятельства развивались вполне мирно. В тексте «Писем» есть одно место, которое бесспорно отсылало мысли читателя тех лет к Парижу августа 1789 г. и, может быть, является косвенным подтверждением гипотезы о первом посещении Карамзиным столицы Франции. Это описание постановки пьесы М.-Ж. Шенье «Карл IX». Холодно оценив художественные достоинства пьесы, Карамзин заметил: «Автор имел в виду новые происшествия, и всякое слово, относящееся к нынешнему состоянию Франции, было сопровождаемо плеском зрителей»[2]. Карамзин «прикрепил» этот эпизод к своему посещению Лиона. Однако читатели 1790—1800-х гг. еще живо помнили, что именно эта пьеса вызвала один из наиболее шумных общественных эксцессов лета 1789 г. Иоахим-Генрих Кампе — писатель и педагог, высоко чтимый в кружке Новикова и позже пропагандируемый карамзинским «Вестником Европы», посетил Париж в 1789 г. и выпустил «Письма из Парижа во время революции». Книга, сочувственно описывавшая события 1789 г., пользовалась большим успехом и к 1790 г. вышла уже тремя изданиями. Она была, конечно, известна и Карамзину, и его читателям. Здесь автор в письме, помеченном 26 августа 1789 г., описывает сцену в театре: публика устраивает театральной труппе обструкцию, срывая ход спектакля. «„Карл IX"! „Карл IX"! гремело от партера до галереи <...> Я воспользовался перерывом в спектакле, чтобы полюбопытствовать у соседа, что это все означает и, в

[1] *Mathiez A.* La Révolution française. Paris, 1928. T. 1. P. 61.
[2] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 205.

особенности, что имеют в виду крики о Карле IX? Он ответил мне следующее: „Существует уже около года трагедия под этим названием. Она написана г-м Шенье и посвящена Варфоломеевской ночи“»[1].

Кампе описал самый разгар конфликта, когда королевские актеры отказывались играть революционную пьесу, постановки которой от них требовал парижский зритель. Париж победил. В кипящей атмосфере 1789 г. этой победе приписывалось почти такое же значение, как и крупнейшим революционным событиям. «„Карл IX“, — пишет К. Н. Державин в специальном исследовании о театре французской революции, — стал яблоком раздора между различными социальными группировками французской общественности первых лет революции потому, что, имея в основе своей исторические факты (события, связанные с массовыми убийствами протестантов 24 августа 1572 г.), эта трагедия поднимала и своеобразно интерпретировала ряд волнующих вопросов современности. Борьба придворной камарильи за уничтожение еретиков-гугенотов, проблема королевской власти в ее отношении к народу, к вопросам засилия клерикализма, образ короля-народолюбца, на который намекала фигура Генриха Наваррского, и т. д. и т. д., — все эти элементы трагедии, обличавшей деспотизм, тиранию дурных королевских советников и, наконец, королевскую власть, поскольку она ставит себя выше интересов своих подданных, нашли живейший отклик у буржуазной общественности...»[2] По существующим преданиям, Демулен, сказав, что «Шенье нацепил Мельпомене национальную кокарду», добавил: «Эта пьеса двинет наше дело больше, чем октябрьские дни!» — а Дантон воскликнул на ее премьере: «Если Фигаро убил дворянство, то „Карл IX“ убьет королевскую власть»[3]. Ниже мы увидим, как напомнил об этой пьесе Мирабо с трибуны Национальной Ассамблеи, выступая в присутствии Карамзина. Упоминание о пьесе Шенье в тексте «Писем» характерно для поэтики отсылок и намеков на события, известность которых читателю подразумевается. Эту поэтику Карамзин положил в основу своего произведения.

Намеки на более раннее пребывание в Париже, чем это указывается по датировке «Писем», можно увидеть и в ряде других мест текста. В главе «Писем», помеченной «Лозанна», Карамзин рассказывает, как он завтракал «с двумя Французскими Маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о Парижских дамах, сказав, что некоторые из них, видя нагой труп нещастного дю-Фулона, терзаемый на улице бешеным народом, восклицали: *как же он был нежен и бел!* И Маркизы рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом!! У меня сердце поворотилось»[4]. Убийство Фулона и его зятя Бертье, принадлежавших к ненавистному парижанам интендантству, произошло непосредственно за взятием Бастилии. Смерть Фулона, одной из первых жертв революции, приковала всеобщее

[1] Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution geschrieben von Joahim Heinrich Campe. 3. Aufl. Braunschweig, 1790. S. 307.

[2] *Державин К. Н.* Театр французской революции. 1789—1799. Л.; М., 1937. С. 67.

[3] Там же. С. 69.

[4] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 154.

внимание. Потрясенный Бабеф писал жене: «Господа, вместо того, чтобы цивилизовать, превратили нас в варваров, потому что они сами варвары. Они пожинают и будут пожинать то, что сами посеяли»[1]. К началу октября 1789 г., когда парижские маркизы якобы приехали в Лозанну, смерть Фулона была заслонена уже множеством других, не менее драматичных эпизодов. Не естественнее ли предположить, что разговор маркиз Карамзин слышал в парижском салоне в августе, когда об этом только и говорили в столице Франции?

Допустив, что Карамзин навестил в первый раз Париж во время пребывания там Кутузова, мы берем на себя тем самым обязательство хотя бы предположительно высказать соображения о причинах, заставлявших его тщательно скрывать это путешествие.

В хронике событий конца лета 1789 г., относящихся к революции в Париже, мы тщетно будем искать чего-либо, что могло бы больше скомпрометировать русского путешественника, чем посещение центра революции в 1790 г., которого Карамзин, как известно, не скрывал. Здесь возможно лишь одно предположение, связанное не с Карамзиным, а с Кутузовым. Как мы уже говорили, А. М. Кутузов оказался в июле — августе (?) 1789 г. в Париже. Для такой поездки должны были быть веские причины. Друг Радищева и ближайший сотрудник Новикова, Кутузов находился за границей не для увеселительной прогулки: он был отправлен туда московскими масонами для поисков «тайн» и мистической мудрости. Миссия эта крайне его тяготила. В конечном счете он погиб, горько сознавая, что принесен московскими «братьями» в жертву, и вместе с тем не считая себя вправе даже в этом случае самовольно оставить вверенный ему пост[2]. Умонастроения этого грустного, одинокого (Карамзин называл его «любезным меланхоликом») и самоотверженного человека, бескорыстного искателя истины, были далеки от тех, которые приводили русских бар в Париж в поисках «веселостей». Только серьезные дела могли привести Кутузова в Париж. Разгадку природы этих дел следует искать не в революционных событиях, а в масонских исканиях.

На Вильгельмсбаденском конгрессе 1782 г. Россия была признана восьмой полностью автономной провинцией масонского мира. Получение полной независимости было большой победой новиковского кружка. Однако этот же акт закрепил связи московских «мартинистов» с берлинским масонским центром. Не случайно Кутузов, направленный на поиски древних знаний, с помощью которых масоны надеялись осуществить утопию гуманизации земного мира, и одновременно как бы аккредитованный русскими масонами при европейском движении, был послан в Берлин. Имеющиеся в нашем

---

[1] *Mathiez A.* La Révolution... P. 80.

[2] См.: *Лотман Ю. М., Фурсенко В. В.* «Сочувственник» А. Н. Радищева А. М. Кутузов и его письма к И. П. Тургеневу // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1963. Вып. 139 (Труды по русской и славянской филологии. Т. 6); *Лотман Ю. М.* Неизвестное письмо А. М. Кутузова И. П. Тургеневу // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1968. Вып. 209. (Там же. Т. 11.)

распоряжении данные позволяют предположить, что односторонние связи с берлинским масонством (к тому же подозрительные с точки зрения русского правительства) в 1789 г. начали тяготить москвичей. Кстати, известное отражение такого недовольства можно найти и в «Письмах». В письме от 19 июля Карамзин рассказывает историю Шрепфера, которого он именует «известным обманщиком». Между тем Бишофсвердер, бывший наряду с Велльнером руководителем берлинского масонства, признавал Шрепфера своим руководителем. Подробный рассказ об этом авантюристе в «Письмах», конечно, не случаен.

Если принять эту гипотезу, то поездка Кутузова может получить некоторые объяснения. Немецкое масонство находилось в 1789 г. в состоянии брожения. Баварские иллюминаты были уже разгромлены, но иезуиты напрасно торжествовали победу над просветителями: иллюминаты рассеялись по немецким городам (центрами их стали Регенсбург, Нюрнберг и Франкфурт-на-Майне) и продолжали борьбу за соединение масонской организации с просветительскими идеалами. Одновременно диктатура берлинских розенкрейцеров вызывала самое широкое недовольство. Борьбу за упрощение ритуала и отказ от алхимических увлечений, а также за демократизацию идеалов масонства возглавила франкфуртская ложа «Единение», связанная с антиберлинским «Эклектическим союзом» лож. В этих условиях появление Кутузова во Франкфурте едва ли было случайным. Что же могло привести его в Париж?

Роль масонов в событиях французской революции была незначительной, а в разгар революции большинство лож вообще прекратило работу[1]. Правда, в целом масоны в начале революции отнеслись к ней сочувственно. Возникла даже масонская легенда, согласно которой революция — это отмщение королям Франции за преступную расправу их с тамплиерами в начале XIV в.[2]

Центром парижского масонства в 1789 г. была ложа «Соединенных друзей», на заседаниях которой в эту пору возникали порой острые дискуссии. Членом ложи был Клод Фоше, в ближайшем будущем организатор «Соци-

---

[1] Литература по проблеме «французская революция и масонство» огромна, однако весьма низкокачественна и в массе научной ценности не имеет. Критический анализ ее см.: *Soboul A.* La franc-maçonnerie et la Révolution française // La Pensée. 1973. Août. № 170. См. также специальный номер: Annales historiques de la Révolution française. 1969. № 3 (La franc-maçonnerie et la Révolution française).

[2] Показательно и отнюдь не случайно появление в «Письмах» подробного описания казни тамплиеров: «Филипп Прекрасный (но только не душою) и папа Климент V, по доносу двух злодеев, осудили всех главных рыцарей на казнь и сожжение». В свете борьбы, которую вели французские масоны в 1788—1789 гг. с иезуитами, вряд ли случайно, что непосредственно перед историей тамплиеров Карамзин поместил в «Письмах» рассказ об организованном иезуитами убийстве Генриха IV. Связь культа тамплиеров с антидеспотическими настроениями присуща и некоторым декабристским документам. Дмитриев-Мамонов в программном документе своего общества «Краткие наставления русскому рыцарю» писал: «Виждь горсть Греков, претящих Персам одолеть ю у Фермопил. Обрати взоры свои на Север и виждь Петра при Полтаве и Новгородцев на месте Вечевом. Вспомни Храмовников, певших Гимны хвалебные на костре, кости их сжигавшем...» (Вестник ЛГУ. 1949. № 7. С. 138).

ального кружка», исключительно интересный социальный мыслитель-утопист, в уме которого масонские идеи трансформировались в программу социального преобразования на основах социалистического типа[1]. Карамзин был, видимо, в дальнейшем знаком с идеями «Социального кружка»: отражение их можно усмотреть в «Разных отрывках (из записок одного молодого россиянина)», произведении, которое было опубликовано в «Московском журнале», но из цензурных соображений не только не включено ни в одно из собраний сочинений, но даже выброшено из второго издания журнала[2]. «Социальный кружок» Фоше и Бонвиля возник в январе 1790 г., и Карамзин, весной и летом этого года находившийся в Париже, более чем вероятно был его посетителем. В дальнейшем осведомленность в деятельности «Социального кружка» проявил Дмитриев-Мамонов, хорошо знакомый с издаваемой им газетой «Железные уста».

«Социальный кружок» развивал социально-утопические идеи, следы которых можно обнаружить в творчестве Карамзина 1790-х гг. Ср. в «Записках одного молодого россиянина»: «Естьли бы я был старшим братом всех братьев сочеловеков моих и естьли бы они послушались старшего брата своего, то я созвал бы их всех <...> сказал бы им: братья!.. Тут слезы рекою быстрою полились бы из глаз моих; перервался бы голос мой, но красноречие слез моих размягчило бы сердца и Гуронов и Лапландцев... Братья! повторил бы я с сильнейшим движением души моей: братья! обнимите друг друга с пламенною, чистейшею любовию...»[3] Ср. у Фоше: «Великое братство людей на земле, преодоление вражды, которую сеют дурные законы и испорченные религии». Идеал этот реализуется как соединение мирного социального переустройства на основах равенства имуществ и трудовой собственности и «братских объятий» всех народов мира: «Каждый человек спокойно ступит ногой на землю, которая должна его кормить, и от всего сердца обнимет брата, которого он должен любить»[4].

Идею эту Карамзин поэтически развил в 1792 г. в «Песни мира»:

Миллионы, веселитесь,
Миллионы, обнимитесь,
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ![5]

Конечно, идеи этого рода были широко распространены в прогрессивной европейской публицистике конца XVIII в. (процитированные выше стихи с основанием сопоставлялись с «Песнью к радости» Шиллера)[6], однако уместно было бы напомнить, что в то же время Карамзин проявлял устойчивый

---

[1] *Алексеев-Попов В. С.* «Социальный кружок» и его политические и социальные требования // Из истории социально-политических идей. М., 1955. С. 297—339.

[2] См.: *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. С. 246—257.

[3] Московский журнал. 1792. Ч. 6. Кн. 1. С. 72.

[4] Цит. по: *Алексеев-Попов В. С.* «Социальный кружок»... С. 313.

[5] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 106.

[6] Там же. С. 22. См. также: *Neumann F. W.* Karamzins Verhältnis zu Schiller // Zeitschrift für slavische Philologie. 1932. Bd 9; *Rothe H.* N. M. Karamzins europäische Reise: der Beginn des russischen Romans. Bad-Homburg e. a. 1968. S. 82—125.

интерес к социально-утопическим идеям и утверждал, что «*утопия* будет всегда мечтою доброго сердца»[1].

«Социальный кружок» создал исключительно интересную программу, но политические идеи его на фоне последующих французских событий выглядели умеренными. Тем более ничего компрометирующего, с точки зрения современного исследователя, не могло бы быть усмотрено в контактах с парижским масонством, мирно-либеральным и политически пассивным. Совершенно иначе вопрос этот выглядел в Петербурге и Москве: преследования масонов входили в критическую стадию. Екатерина II — скептик и рационалист в сфере идей, прагматик и циник в политике — всегда была враждебна мистическому гуманизму, иррационализму и утопизму масонов. До определенного момента она расценивала их доктрину как глупость и считала, что насмешка — достаточное в данном случае оружие. Революционные события в Париже насторожили ее, особенно после того, когда в результате неудачного бегства короля в Варенн суд над ним был поставлен в повестку дня. В кругах кобленцской эмиграции все более резко высказывались суждения, возлагавшие вину за происходящее в Париже на деятелей антиклерикального и антидеспотического лагеря предшествующего периода. «Вольтерьянцы» и «мартинисты» смешивались в одну кучу не только московскими бригадирами и барынями, но и кобленцскими эмигрантами, вчерашними собеседниками Кондильяка и Дидро. Иезуиты подняли голову. Полным выражением этих настроений была появившаяся в Гамбурге в 1798 г. брошюра аббата Баррюэля «Памятная записка к истории якобинизма», оформившая миф о международном заговоре масонов как источнике всех революционных движений. Екатерина II была захвачена этими настроениями. К ним присоединилась давняя ненависть к Новикову, испуг при известии о сближении Новикова с наследником Павлом Петровичем. Не последнюю роль сыграл и московский главнокомандующий Прозоровский, из карьерных соображений мечтавший раскрыть какой-либо «заговор» и раздувавший опасения старевшей и терявшей политический такт императрицы. В этих условиях любой намек на причастность к масонству делался опасным (напомним, как старательно вычищал в этом отношении Карамзин письма Петрова, готовя их к печати[2], а любое соединение масонских связей с фактом посещения Парижа вело в крепость. Так, например, как ни маскировал доктор М. И. Багрянский свое пребывание в Париже в 1789 г. (видимо, вместе с Кутузовым) утверждениями, что он «прилежал тамо к повивальному искуству теоретическому и практическому», он попал с Новиковым в Шлиссельбургскую крепость (можно предположить, что упоминаемая в литературе «добровольность» этого заключения была не вполне безусловной), в то время как неизмеримо более видные деятели масонства отделались ссылками в свои деревни или даже, как И. В. Лопухин, отставкою с оставлением в Москве. С этими сравнительно мягкими мерами можно сопоставить судьбу Невзорова и Колокольникова — студентов, стипендиатов Новикова и Лопухина, посланных

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 227.
[2] Там же. С. 499 и след.

ими учиться за границу: оба они были по возвращении на родину арестованы, подвергнуты допросу в Петропавловской крепости Шешковским, после чего Колокольников вскоре скончался, а Невзоров был объявлен сумасшедшим и помещен в дом умалишенных, где и пробыл до самой смерти Екатерины II[1].

---

[1] *Попов А. Н.* Новые документы по делу Новикова // Сб. Русского Исторического общества. СПб., 1868. Т. 2. С. 133. Некоторый свет на поездку Кутузова в Париж могут пролить следующие соображения: документы обнаруживают тесную связь, которая установилась в 1780-е гг. между «неизвестным философом» Луи-Клодом Сен-Мартеном — одним из высших авторитетов у русских масонов, от имени которого они получили ставшую после столь опасной кличку «мартинистов», и любопытным кружком русских людей. В сочинении «Мой исторический и философский портрет» Сен-Мартен писал: «Кашелов, князь Репнин, Зиновьев, графиня Разумоский (так! — *Ю. Л., Б. У.*), другая княгиня, о которой мне говорил Д. в одном из своих писем, двое Голицыных, господин Машков, господин Скавронский, посол в Неаполе, господин Воронцов, посол в Лондоне, — таковы главные русские, которых я знал лично, исключая князя Репнина, с которым я был знаком лишь по переписке» (*Saint-Martin L.-C. de.* Mon portrait historique et philosophique (1789—1803). Paris, 1961. P. 129). В этом списке особенно привлекают внимание следующие лица. В. Н. Зиновьев (1754—1816?) — друг и однокашник по Лейпцигскому университету А. Н. Радищева и А. М. Кутузова, родственник С. Р. и А. Р. Воронцовых, принятый у них на правах ближайшего друга дома; в 1784 г. он был принят в Берлине в масонство кронпринцем герцогом Брауншвейгским Фердинандом, Великим мастером Соединенных лож; в дальнейшем он тесно сошелся с Сен-Мартеном и главой лионской ложи Ж.-Б. Виллермозом, с первым он путешествовал по Италии и общался в конце 1780-х гг. в Париже и Лондоне. Более чем естественно предположить наличие связей между Кутузовым и Зиновьевым во время заграничной миссии первого. Кашелов — Р. А. Кошелев (1749—1827), дом которого за границей был сборным местом для русских масонов, друг Сен-Мартена и Виллермоза, с одной стороны, но и друг матери Марии Федоровны, герцогини Вюртембергской, и ее самой, интимный друг Александра I (см.: *Николай Михайлович, вел. кн.* Император Александр I. Пг., 1914. С. 449—460 и др. по именному указателю). Машков — первый секретарь русского посольства в Париже, с которым потом встречался Карамзин. Двое Голицыных — Алексей Иванович (1765—1807), писатель и переводчик (в частности, перевел «Эдипа» Вольтера), и, возможно, Дмитрий-Августин Дмитриевич Голицын (1770—1840), принявший восьми лет католичество, друг детства нидерландского короля Вильгельма I, известный миссионерской деятельностью в Пенсильвании, где он основал колонию под именем патера Смита. «Другая княгиня» — вел. кн. Мария Федоровна, у матери которой в Монбельяре Сен-Мартен, Кошелев и Зиновьев подолгу гостили. Процитированный отрывок намекает на личное знакомство, которое могло произойти во время путешествия «князя и княгини Северных» (то есть Павла Петровича и Марии Федоровны) по Европе. Одновременно интересна особая роль в этом кружке гр. С. Р. Воронцова, который был для Сен-Мартена «преданным учеником, обладающим всеми данными для того, чтобы стать в точном смысле *взыскуемым человеком* («homme de désir» — по терминологии позднего Сен-Мартена, человек утопического будущего мира. — *Ю. Л., Б. У.*)» (*Sekrecka M.* Louis-Claude de Saint-Martin, le Philosophe inconnu, l'homme et l'oeuvre. Wroclaw, 1968. P. 118). Создается картина тесно переплетенных связей, из которых одни прямо идут к Кутузову (заметим, что и к Радищеву: Зиновьев и Воронцов — люди близкого Радищеву мира, а Кутузов находится с ним в деятельной — до сих пор не найденной — переписке), а другие тянутся к наследнику престола Павлу Петровичу и его окружению («монбелярские» связи в России были очень неприятны

«Вояж» Карамзина очень интересовал следователей по делу Новикова, и только твердые заявления масонов, что он вояжировал «от себя», избавили писателя от преследований, хотя и не сняли с него подозрений. Если «первое», совместное с Кутузовым, посещение Парижа Карамзиным имело место, то у него были все основания тщательно скрывать этот визит.

Что же увидел Карамзин, побывав в Париже в 1790 г.? Только представляя события тех дней с той мерой подробности, которая соответствовала бы осведомленности среднего русского читателя конца XVIII — начала XIX в., мы можем оценить текст «Писем»[1].

Весна — лето 1790 г. были временем относительно мирного развития событий в Париже. Король присягнул конституции и, как могло показаться, собирался

Екатерине II). При этом следует подчеркнуть, что Сен-Мартен именно в этот период переживает резкую смену взглядов: он отрекается от масонства ради идеи либерально-гуманной утопии, свободной от уз орденской организации, революцию он встречает сочувственно и записывает, что «эта революция была бы сделана Богом, если бы ее не совершили мы». В «Моем портрете» он писал, что смысл этого изречения ему самому сделался ясен лишь три года спустя: он означал, что революцию, сделанную людьми, следует дополнить революцией в сфере духа (Mon portrait... P. 366). Мысль Сен-Мартена развивалась в том же направлении, что и у теоретиков «Социального кружка». Такое движение мысли, видимо, было характерно и для окружавшего Сен-Мартена русского кружка, и для С. Р. Воронцова, который писал брату, что ждет в России революции и учит своего сына (будущего фельдмаршала М. С. Воронцова, пушкинского «полу-милорда») ремеслу, чтобы тот смог заработать себе хлеб в будущей России. Все сказанное создает совершенно новый контекст поездке Кутузова из Берлина в Париж. Может быть, не лишено значения и то, что встреча Карамзина и Кутузова должна была произойти, видимо, в Страсбуре — месте пребывания Сен-Мартена после его разрыва с масонством, городе, который он называл «моим раем». Он писал: «Во Франции три города, из которых один — мой рай, это Страсбур, другой мой ад, а третий — мое чистилище» (Mon portrait... P. 151). Чистилище — Париж, в который Сен-Мартен уехал незадолго до поездки Кутузова и Карамзина и куда (за ним?) они (оба?) последовали. Ад — Лион, где Сен-Мартен пребывал долгое время до разрыва с Виллермозом. Лион претендовал на руководящую роль во французском масонстве, придерживаясь «брауншвейгской» ориентации, в то время как парижский «восток» шел навстречу веяниям, создаваемым началом революции. То, что все углы треугольника сделались опорными точками пребывания Карамзина во Франции, а в Лондоне он поспешил к С. Р. Воронцову (парижского посла Симолина он, видимо, не удостоил своим визитом), представляется достойным внимания.

[1] Русский читатель получал обширную информацию о событиях в Париже в 1789—1792 гг. из газет (Санкт-Петербургские и Московские ведомости) — многочисленные парижские издания, в том числе и крайне революционные, свободно продавались в Петербурге и Москве (см.: *Штранге М. М.* Русское общество и французская революция 1789—1794. М., 1956; *Алифиренко П. К.* Правительство Екатерины II и французская буржуазная революция // Исторические записки. 1947. № 22; *Брикнер А. Г.* «С.-Петербургские ведомости» во время французской революции // Древняя и новая Россия. 1876. Кн. 1, 2; *Каганова А.* Французская буржуазная революция конца XVIII в. и современная ей русская пресса // Вопросы истории. 1947. № 7; *Кирпичников А.* «Московские ведомости» в 1789 г. и начало французской революции // Исторический вестник. 1882. № 9; *Пумпянский Л.* Великая французская революция в освещении екатерининских газет // Звезда. 1930. № 9/10).

добросовестно выполнять обязанности конституционного монарха. В начале 1790 г. Радищев издал брошюру «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», которая заканчивалась известным отрицанием совместимости суверенных прав народа и самого факта существования единодержавной власти: «Нет и до скончания мира примера может быт<ь> не будет чтобы Царь уступил добровольно что ли из своея власти, седяй на Престоле»[1]. К этим словам Радищев перед публикацией добавил примечание: «Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли».

Одновременно и Учредительное собрание, казалось, овладело ходом событий, взяв в свои руки народные общества и стихийное возмущение парижан. Имена Лафайета и Мирабо, несмотря на нападки Марата, еще ассоциировались с революцией. Силы, стремившиеся толкнуть события резко вправо или влево, до бегства в Варенн действовали за кулисами. Париж кипел от дебатов в Собрании и клубах, брошюр и листовок, однако казалось, что эти споры перерастут в «нормальные» парламентские прения, а не в эксцессы насильственных действий. Карамзин — не как условный «русский путешественник», а как реальное лицо — оказался погруженным в эту атмосферу. На первом месте здесь, конечно, стояли посещения Учредительного собрания. Даже из осторожного текста «Писем» видно, что он бывал там не раз. Какие впечатления он вынес?

«Московский журнал» прекратился прежде, чем Карамзин дошел до парижских сцен. Впервые «парижские главы» были пересказаны в авторецензии, опубликованной в гамбургском (на французском языке) журнале «Spectateur du Nord». Здесь читаем: «Наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальном Собрании, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори, глядя на них, как на Ахиллеса и Гектора»[2].

В тексте русского издания, появившегося, наконец, в 1801 г., эпизод изложен так, чтобы предельно снизить его значение: «...в другой раз высидел <я> в ложе 5 или 6 часов, и видел одно из самых бурных заседаний. Депутаты Духовенства предлагали, чтобы Католическую Религию признать единственною или главною во Франции. Мирабо оспоривал, говорил с жаром, и сказал: „я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медицис стрелял в Протестантов!“ Аббат Мори вскочил с места, и закричал: „вздор! ты отсюда не видишь его“. Члены и зрители захохотали во все горло. Такия непристойности бывают весьма часто. Вообще в заседаниях нет ни малой торжественности, никакого величия; но многие Риторы говорят красноречиво. Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор»[3].

Из этих цитат следует сделать вывод, что Карамзин был на знаменательном заседании 13 апреля 1790 г., во время которого обсуждались претензии

[1] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 151.
[2] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 453.
[3] Там же. С. 318—319.

католического клира на прерогативы государственной церкви Франции. Именно на этом заседании Мирабо произнес одну из своих самых блистательных речей. В заключительной главе «Путешествия из Петербурга в Москву», написанной не позже осени 1789 г., Радищев писал: «Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, изторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние горшее самыя смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие»[1]. Отрывок этот вызвал особенное раздражение Екатерины II, которая заметила на полях книги: «Тут вмещена хвала Мирабо, который не единой, но многие виселицы достоин»[2]. Естественно, что хвалить Мирабо в русской подцензурной печати ни при Екатерине, ни при Павле было невозможно. Очевидно, осторожные слова о том, что «многие риторы говорят красноречиво», относятся в первую очередь, поскольку речь идет о Национальном собрании 1790 г., к Мирабо. В речи 13 апреля 1790 г. Мирабо обрушился на средневековый фанатизм и церковную исключительность, в защиту свободы совести. Зная отношение Карамзина к этим вопросам, нельзя сомневаться в его сочувствии оратору. Речь эта запомнилась Карамзину настолько, что через несколько лет, скорее всего по памяти, он смог ее довольно близко пересказать. Отвергая ссылку на отмену Нантского эдикта Людовиком XIV как на юридическую и историческую основу прав католической церкви, Мирабо сказал: «Я считаю, что воспоминания о том, что творили тираны, не может служить образцом для представителей народа, желающего быть свободным. Но поскольку в данной связи прибегли к ссылкам на историю, я тоже позволю себе одну: вспомните, господа, что отсюда, с этой самой трибуны, на которой я сейчас говорю, я вижу то окно дворца (глаза и жест руки указывают направо), из которого заговорщики, подменяя своими корыстными интересами самые священные интересы религии, вложили в руки слабого короля роковой мушкет, давший сигнал варфоломеевской резне»[3].

Выступление Мирабо имело отношение не только к свободе совести: в Париже говорили о том, что придворная камарилья готовит новую Варфо-

---

[1] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 387.

[2] *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. М.; Л., 1935. С. 509. Екатерина питала к Мирабо личную ненависть, связанную с публикацией последним скандальной «Секретной истории берлинского двора», в которой, как с ужасом доносил Безбородко русский посол в Париже Симолин, австрийский император «назван коронованным палачом и унижен ужасным образом. Прусский король выставлен самым большим дураком <...> Его перо, полное желчи и всякой мерзости, не пощадило даже лица, занимающего самое высокое положение» (Лит. наследство. М., 1937. Т. 29/30. С. 389). «Лицо» это, т. е. Екатерина II, отплатило Мирабо взаимной ненавистью. Понятно, какой характер приобретало всякое упоминание его имени в русской печати.

[3] Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau ou choix des plus éloquens discours decet orateur célèbre. Paris, 1822. T. 1. P. 369—370.

ломеевскую ночь патриотам. Эмигрировавшие принцы открыто расточали такие неосторожные угрозы. Еще 12 июля 1789 г. в своей знаменитой речи в Пале-Рояле К. Демулен крикнул собравшейся толпе: «Может быть, уже в эту ночь они замышляют или даже уже организуют Варфоломеевскую ночь для патриотов!»[1] В этих условиях образы придворно-клерикального заговора, слабого короля, уступающего давлению заговорщиков, резни, учиненной фанатиками, вызывали не только религиозные, но и политические ассоциации. Карамзин сидел в зале и дышал его наэлектризованным воздухом. Вряд ли он был настроен иронически.

Слова о том, что Мирабо и Мори «*вечно* единоборствуют, как Ахиллес и Гектор (курсив наш. — *Ю. Л., Б. У.*)», заставляют нас попытаться определить, какие еще заседания Ассамблеи Карамзин посетил и при каких «единоборствах» он присутствовал. Таким могло быть заседание 19 апреля, обсуждавшее вопрос о границах власти Национальной Ассамблеи. Мори, аббат, основной оратор клерикалов и роялистов, задал вопрос, по какому праву депутаты, собранные с целью решать вопросы налогового обложения, присвоили себе полномочия представителей нации и образовали Национальный Конвент. Мирабо бросился к трибуне: «Я отвечаю: с того самого дня, как мы нашли зал, в котором должны были собираться, запертым, ощетинившимся и осквернённым штыками, мы устремились к первому попавшемуся месту, в котором могли соединиться, и поклялись скорее погибнуть, чем терпеть подобный порядок вещей. С этого дня мы сделались Национальным Конвентом, даже если не были им прежде»[2]. Речь Мирабо, утверждавшая революцию как исторический и юридический факт, была произнесена с огромной силой. Карамзина она могла привлечь еще и потому, что в ней Мирабо затронул интересовавший русского путешественника вопрос неизбежности языковых перемен в условиях исторических катаклизмов: «Стоит ли останавливаться на странном упреке в том, что мы пользуемся новым словом, чтобы выразить новые чувства и новые принципы, новые идеи и новые установления. Пусть поищут в пустом словаре публицистов определение такого слова, как Национальный Конвент!»[3] Пятого мая произошла острая дискуссия между Мирабо и Мори по вопросу о том, кому принадлежит право назначать судей: королю или народу. Спор шел о природе и границах суверенитета. Вероятно, присутствовал Карамзин и на заседании 20 мая, во время которого разгорелась острая дискуссия между Мирабо и Мори. И снова нет сомнений, что симпатии его были на стороне Мирабо. В 1790 г. из-за конфликта в Калифорнии вспыхнула война между Испанией и Англией. Франция была связана с Испанией «семейным договором». Возник вопрос о вступлении Франции в войну, вызвавший в Национальном Собрании дебаты о праве короля объявлять состояние войны. Мирабо произнес громовую речь против агрессивных войн, которые ведутся в защиту семейных интересов

[1] Oeuvres de Camille Desmoulins. Paris, 1890. T. 2. P. 91—92.
[2] Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau... P. 372.
[3] Ibid. P. 374.

тиранов, провозглашая миролюбие свободных народов. Переход власти в руки народа, по его словам, навсегда уничтожит войны между нациями и положит основание вечному миру. Под возмущенные крики правой стороны зала Мирабо заявил, что король, выступающий как инициатор агрессии, должен быть судим как преступник, виновный в оскорблении нации (измененный термин «оскорбление величества»). Достаточно знать, сколь устойчивы были пацифистские настроения Карамзина, чтобы представить себе его реакцию на эту речь. Не случайно вскоре после этого он провозгласил в Лондоне тост за вечный мир (в свете устойчивой политики Екатерины II — постоянно расширять границы с помощью победоносных агрессивных войн — такой тост имел отчетливо оппозиционный характер). Выступление Мори, отвечавшего Мирабо ссылками на «исторические права» короля, вряд ли показалось Карамзину столь же убедительным.

Однако споры Мирабо и Мори, происходившие на глазах Карамзина, дали ему еще один урок. Он видел перед собой маркиза Мирабо, аристократа, отпрыска старинного семейства, мота и расточителя, ведущего роскошный образ жизни и с трибуны Конституанты проповедующего идеи демократии и играющего роль народного трибуна. Одновременно он имел возможность наблюдать его противника аббата Мори. Выходец из бедной семьи сапожника-гугенота, лично испытавший тяготы фанатизма и препятствия, которые ставил старый режим на пути одаренного человека из народа, Мори, одаренный способностями богослова и общественного деятеля и талантом оратора, был снедаем неуемным честолюбием. Ему приписывают фразу: «Тут я погибну или добуду себе кардинальскую шляпу». Зрелище аристократа, выступающего от имени народа, и выходца из низов, защищающего папство и корону, толкало Карамзина к тому, чтобы за пафосом политических деклараций различать борьбу честолюбий, жажду власти и успеха. Позже Карамзин писал: «Аристократы, демократы, либералисты, сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностию? Вы все авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод»[1].

Оценивая отношение Карамзина к французской революции, обычно упускают из виду одно обстоятельство: в отличие от большинства своих русских современников, Карамзин знал деятелей революции не только по газетам и брошюрам — он знал их в лицо, мог представить себе жесты, мимику, интонации речи. Такое знание глубоко влияет на строй мыслей, толкая от абстракции к личному отношению к событиям. Возможно, здесь следует искать разгадку некоторых труднообъяснимых симпатий Карамзина. Мы имеем в виду прежде всего его отношение к Робеспьеру.

Пушкин писал о Радищеве: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера,

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 194.

этого сентиментального тигра»[1]. Применительно к Карамзину было бы справедливо прямо противоположное высказывание.

Многое в речах Мирабо, конечно, вызывало сочувственный отзвук в душе Карамзина, однако личность его не могла быть симпатичной автору «Писем русского путешественника», а Карамзин приходил к убеждению, что человеческий облик людей реальнее, чем те слова, которые они говорят.

Карамзин видел в Париже — наблюдая лицо, внешность, приемы общественного поведения — короля, королеву, Мирабо, Мори; можно быть уверенным, что он видел Лафайета, Бальи, Барнава, Робеспьера, наблюдая их во время уличных церемоний и на заседаниях Национальной Ассамблеи. Он был знаком с Кондорсе, Рабо де Сен-Этьеном, Роммом, Лавуазье; видимо, бывал в салоне г-жи Неккер, где должен был видеть, помимо самого Неккера, Сийеса, Талейрана, Жермену Неккер (будущую м-м де Сталь). Он, видимо, был знаком с Шамфором. Можно предположить его знакомство с Фоше и Бонвилем. Наконец, можно предположить по тому личному чувству, которое у него вызывало это имя, знакомство Карамзина с Робеспьером. Вообще, если «русский путешественник» посетил Париж 1790 г., не познакомившись ни с одним из ведущих деятелей политической жизни, то про его автора этого, видимо, сказать нельзя. Мы знаем, сколь решителен был Карамзин во время путешествия в завязывании новых знакомств с выдающимися людьми. Вкус к этому, вероятно, в отличие от его литературного двойника, не покинул его и в Париже.

Авторитетное свидетельство декабриста Николая Тургенева показывает, сколь сложным было отношение Карамзина к ведущим деятелям революции: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина[2] рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи»[3].

Комментируя это свидетельство, прежде всего следует подчеркнуть, что Карамзин знал Робеспьера не по книгам: если неясно, был ли он с ним знаком (слезы при известии о гибели, кажется, намекают на личное знакомство), то, по крайней мере, он безусловно его видел и слышал. В 1789 г. Робеспьер выступал в Учредительном собрании шестьдесят девять раз, в 1790-м — сто двадцать пять[4]. Выступления его падают и на те дни, когда присутствие Карамзина в зале весьма вероятно. Так, например, 3 мая 1790 г., когда конституционный комитет представил план организации муниципалитета Парижа, произошла полемика не только

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. [М.], 1949. Т. 12. С. 34.

[2] Видимо, Н. И. Тургенев имеет в виду И. И. Дмитриева.

[3] *Тургенев Н.* Россия и русские. М., 1915. С. 342.

[4] См.: *Робеспьер М.* Избр. произведения. М., 1965. Т. 1. С. 22.

между Мирабо и Мори, но и между Мирабо и Робеспьером. Значительно чаще и решительнее Робеспьер выступал в «Обществе друзей конституции» (Якобинском клубе), председателем которого он был избран. Ходил ли Карамзин туда слушать его выступления, мы не знаем (напомним, что до раскола и последовавшего за ним ухода фельянов летом 1791 г. Якобинский клуб не выделялся демократизмом и в факте его посещения не было ничего экстраординарного на фоне парижских событий тех дней). По крайней мере, ему были известны и скромные условия жизни Робеспьера в семье столяра Дюпле, и личные свойства его характера. «Уклад жизни людей той эпохи» — это, конечно, намек на образ жизни таких лидеров революции, как Мирабо или Дантон. С Робеспьером Карамзина мог познакомить Ромм.

Карамзин позже, в 1820 г., сочувственно отнесясь к революции в Испании, сформулировал свои опасения так: «Боюся крови и фраз». Для него «фразы» — ораторская риторика — были равносильны лжи и насилию, а сама ораторская сдержанность Робеспьера — тихий голос, скованность жестов, близорукость — была скорее привлекательна, чем отталкивающа. При этом следует подчеркнуть, что речь, конечно, шла не о сочувствии идеям якобинского лидера (Карамзин все более склонялся к скептическому отношению к любым программам), а о личном уважении, основанном на убеждении в том, что в водовороте революционных событий Робеспьер не искал ничего лично для себя. Не следует видеть в Карамзине 1790 г. того охладевшего скептика, отравленного горечью многих разочарований, которым он сделался в дальнейшем. Душевное состояние его в 1790 г. отличалось острейшими противоречиями, но в общем скорее было энтузиастическим, и парижские впечатления давали для его переживаний обильную пищу.

Для того чтобы продемонстрировать расхождение между «Dichtung» и «Wahrheit» в «Письмах», приведем еще один пример. В записи, помеченной «Лион... 1790» и относящейся к первой половине марта, Карамзин сообщает о своем решении не ехать на юг Франции, в Лангедок и Прованс, путешествие в которые, очевидно, было предусмотрено его московским планом. Отказ свой он мотивирует нежеланием расставаться с путевым приятелем, датчанином Беккером. «— *Нет*, — сказал я, встав со стула и обняв с чувствительностью Беккера, — *мы едем вместе!* Гробница нежной Лауры, прославленной Петрарком! Воклюзская пустыня, жилище страстных любовников! шумный, пенистый ключь, утолявший их жажду! я вас не увижу!..»[1]

Можно, однако, предположить, что причины изменения маршрута были более прозаическими. Юг Франции был охвачен волнениями. В марте 1790 г. роялисты и клерикалы попытались спровоцировать здесь восстания. Во время поста и пасхальных месс священники произносили проповеди, связывавшие революцию с ересью гугенотов. В Монтобане атмосфера накалилась

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 210—211.

уже в середине марта, что вылилось несколько позже в кровавую резню между католиками и протестантами. Для установления порядка пришлось вызывать национальных гвардейцев из Тулузы и Бордо. Кровавые столкновения произошли в Ниме и Авиньоне. Беспорядки, вызванные религиозным фанатизмом, на фоне продолжающихся крестьянских волнений, грабежей на дорогах заставили Карамзина изменить планы путешествия. Не случайно тема религиозного фанатизма доминирует в лионских «письмах» и сопровождает Карамзина в его дорожных размышлениях по пути в Париж.

Карамзин покинул Францию, однако события в этой стране оставались в центре его внимания, и это нельзя не учитывать, поскольку текст «Писем» окончательно сложился в эпоху завершения революции.

Вернувшийся из-за границы Карамзин поразил своих друзей переменами, произошедшими в его характере за столь короткий срок. А. И. Плещеева писала Кутузову: «Я всякий день его вижу, но вижу не того, который поехал от меня. Сердце его сто раз было нежнее и чувствительнее». «Перемена его состоит еще в том, что он более стал надежен на себя»[1]. Кутузов отвечал: «Видно, что путешествие его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть, в нем произошла французская революция»[2]. Проницательный А. М. Кутузов, как кажется, нашел исключительно точный образ.

Для того чтобы судить о динамике отношения Карамзина к событиям во Франции после его возвращения в Москву, мы располагаем скудными данными. Можно предположить, что отношение это было весьма далеким от официального. Екатерина II первоначально смотрела на парижские события не без доли злорадства: версальский двор был ей несимпатичен, а устранение Франции с дипломатической арены и вовлеченность в конфликт Австрии открывали перед Россией новые и заманчивые возможности. Императрица старалась убедить и себя и других, что «развратный французский пример» ее империи не угрожает. Однако дальнейший ход событий резко уменьшил ее оптимизм. Осенью 1791 г. враждебность Екатерины II к Франции резко усилилась, а в феврале 1792 г. русский посол в Париже Симолин был отозван (пока еще без формального разрыва отношений)[3]. Но еще 4 июня 1790 г. — в тот самый день, когда Карамзин письмом из Лондона Дмитриеву засвидетельствовал факт своего отъезда из Франции, — в Петербурге была подписана депеша, требовавшая, чтобы Симолин добивался выезда всех русских из Парижа. Очевидно, что Карамзин, над которым к тому же нависали подозрения в близости к новиковскому кружку, принужден был к сугубой осторожности. Тем не менее разбросанные в «Московском журнале» намеки не оставляют сомнений в его истинной позиции. Более того, из России, на удаленном от

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 29.

[2] Там же. С. 99.

[3] См.: *Лукин Н. М.* Избр. труды. М., 1960. Т. 1. С. 431—475. Ср.: Лит. наследство. М., 1937. Т. 29/30. С. 343—382.

центра событий расстоянии, Карамзину в 1791—1792 гг., видимо, яснее виделись именно положительные стороны французских событий. По крайней мере в «Московском журнале» он не только воздержался от какой-либо критики революции, но и допустил ряд сочувственных высказываний по ее поводу.

Прежде всего следует отметить раздел театральных рецензий журнала Карамзина. Сообщая читателям обзор новых постановок парижского театра, издатель «Московского журнала» Карамзин явно подбирал их с определенной тенденцией. Бросаются в глаза антиклерикальные пьесы: «Жестокости монастыря» («Les rigueurs du cloître») Ретиф де ла Бретона и «Монастырские жертвы» («Les victimes cloîtrées») Монвеля. Карамзин не скрывал своего отрицательного отношения к средневековой церковности и клерикальному фанатизму. Так, публикуя переводную статью «Жизнь и дела Иосифа Бальзамо, т. н. графа Калиостро» (публикация имела тактический характер: правительство демонстративно сваливало в одну кучу таинственных авантюристов вроде Калиостро, московских розенкрейцеров, иллюминатов и проч.; разоблачая шарлатана-алхимика, Карамзин как бы шел в русле правительственной пропаганды, а на самом деле скрыто с ней полемизировал), издатель «Московского журнала» сохранил авторское вступление: «Невежество Древних было гораздо безвреднее, нежели многоведение Новых. Человеколюбие, экономия, общественная свобода, равенство людей, общее благосостояние, религия, чистая мораль — суть обольщающия имена, которыми украшают всякое преступление». К этим словам Карамзин дал выразительное примечание: «Да, г. патер (или как тебя зовут иначе!), тебе очень досадно, что люди стали умнее и что вы не можете ныне делать того, что прежде делали»[1]. Тогда же в журнале появился отрывок «Писем» с описанием постановки «Карла IX» М.-Ж. Шенье. Полемика с церковным фанатизмом получала на страницах «Московского журнала» двойной смысл: будучи актуальной в контексте французских событий, она одновременно ассоциировалась с кампанией преследований новиковского кружка.

Другую группу рецензируемых Карамзиным пьес составляют имеющие непосредственно политическое звучание. Такова посвященная характерному для революционного театра культу Руссо пьеса «Ж.-Ж. Руссо в его последние мгновенья» («J.-J. Rousseau à ses derniers moments») и в особенности комедия Фабра д'Эглантина «Излеченный от дворянства» («Convalesent de qualité»). Смысл ее — в осмеянии старого аристократа, который провел последние годы в провинции и не знает о совершившейся в Париже революции. Приехав в Париж, верный сословным предрассудкам, он отказывает в руке дочери сватающемуся за нее добродетельному мещанину. «Знатной господин хочет приказать слугам своим выбросить мещанина в окошко; пишет письмо к

[1] Московский журнал. 1791. Ч. 4. Кн. 2. С. 206. Рецензия на «Жестокости монастыря» — Там же. Ч. 2. Кн. 1. С. 70; на «Монастырские жертвы» — Там же. Ч. 4. Кн. 3. С. 342.

lieutenant de police и требует у него lettre de cachet, чтобы и отца и сына посадить в *Бастилию*»[1]. Игра ведется на намеках на уже отмененные привилегии аристократов и уничтоженные революцией институты старого режима. Рецензия Карамзина построена по модели анекдота, который на заседании Учредительного собрания 3 мая 1790 г. Мирабо применил к Мори, рассказав об аристократе, восклицавшем в охваченном революцией Париже: «Верните мне мою Бастилию, верните мне моего Ленуара!» («Je veux ma Bastille, je veux mon Lenoir»)[2].

Но и в значительно более обострившейся обстановке 1792 г. Карамзин не изменил своих симпатий. Об этом свидетельствуют разбросанные в «Московском журнале» намеки. В первой книжке журнала за 1792 г. под рубрикой «О иностранных книгах» было помещено следующее: «„1. Les Ruines, ou Méditation sur les Révolutions des Empires". Par Mr. Volney. A Paris, 1791 — То есть „Развалины, или размышления о революциях Империи", соч. Г. Вольнея. 2. „De J.-J. Rousseau etc." par M. Mércier. A Paris, juin 1791. То есть „О Жан-Жаке Руссо и проч.", соч. Г. Мерсье. Сии две книги можно назвать важнейшими произведениями французской литературы в прошедшем году»[3]. Прежде всего, обращает на себя внимание краткость рецензии, в ней отсутствует обычный пересказ содержания. Однако иначе не могло и быть: обе книги — яркие образцы философской публицистики первого этапа революции и ни о каком пересказе содержания их в русской прессе не могло быть и речи. Даже полное название второй из них привести было невозможно — под скромным «etc.» («и проч.») скрывалось: «рассмотренный в качестве одного из первых писателей Революции». Книга Вольнея принадлежит к вершинам поздней просветительской публицистики. Книга Мерсье — более заурядное явление. Но и в ней можно было найти пассажи вроде: «Руссо можно было бы упрекнуть еще в том, что он *нигде не говорил о восстании*, о том законном средстве угнетенного народа, средстве, признанном самим Создателем, который дал силу человеку, как когти животному, чтобы отражать своих врагов. Восстание народа! Это удар хвоста кита, который топит челнок охотников. Только восстание спасло Париж в последнее время от резни, а Францию от разрушения. Это первое, самое прекрасное и самое неоспоримое право оскорбленного народа»[4]. Мерсье, книга которого вышла в июне 1791 г., видимо, имел в виду поход парижских женщин на Версаль 5—6 октября 1789 г., когда говорил о восстании,

---

[1] Московский журнал, 1791. Ч. 3. Кн. 3. С. 331—332. Курсив подчеркивал ироническое отношение автора рецензии. *Lieutenant de police* — начальник полиции Парижа. Должность эта, которую до революции занимал Ленуар, была уже уничтожена; *lettre de cachet* — «запечатанные письма» — одно из наиболее вопиющих злоупотреблений «старого режима»: королевские приказы о репрессиях с пропуском фамилии того, кого следовало подвергнуть наказанию. Такие письма выдавались в качестве награды, давая возможность придворной камарилье расправляться с личными врагами как с государственными преступниками.

[2] Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau... P. 376.

[3] Московский журнал. 1792. Ч. 5. Кн. 1. С. 150—151.

[4] *Mércier M.* De J.-J. Rousseau. Paris, 1791. T. 1. P. 61.

спасшем Париж от новой Варфоломеевской ночи. В книге, которую Карамзин рекомендовал своим читателям как «важнейшее произведение французской литературы», можно было прочесть: «Это только начало ниспровержения деспотических тронов на развалинах всех бастилий — в Шпандау и в Сибири»[1].

Усилия по организации интервенции во Францию не вызывали сочувствия у издателя «Московского журнала». Помещая рецензию на книгу Бартелеми «Путешествие младого Анахарсиса по Греции в середине четвертого века перед рождеством Христовым», Карамзин процитировал место из рецензируемой книги — «Пример нации, предпочитающей смерть рабству, достоин всего внимания, и умолчать о нем не возможно», снабдив цитату краткой ремаркой: «Г. Бартелеми прав»[2]. В подлиннике речь шла о греко-персидской войне, но в сознании читателей «Московского журнала» текст легко мог получить другое истолкование. Напомним, что Карамзин сам сравнивал себя с юным скифом Анахарсисом, а Грецию в романе Бартелеми — с Францией.

Внимательное прочтение сочинений Карамзина обнаруживает и многие другие намеки, темные для нас, но вполне понятные современникам. Ограничимся одним примером. В 1793 г. Карамзин написал стихотворение «Песнь Божеству» (опубликовано в 1794 г. в ч. 2 «Моих безделок»), снабдив его примечанием: «Сочиненная на тот случай, как безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: „Нет бога!“». На первый взгляд Карамзин во вполне благонамеренном и даже ортодоксальном духе перефразировал известное изречение Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна, экзарха Болгарского: «Рече безумец в сердце своем несть Бога». Однако для современников, которым было известно, кто такой Дюмон и по какому поводу он сказал процитированные Карамзиным слова, дело рисовалось в несколько ином свете. Андре Дюмон — видный деятель революции, в 1793 г. эбертист и «бешеный», заклятый враг Робеспьера, в дальнейшем термидорианец и контрреволюционер. Дюмон был активным деятелем «движения дехристианизации» и яростным противником религиозной реформы Робеспьера. Карамзин, видимо, сочувствовал попытке последнего ввести революцию под своды религиозно-этических доктрин деистического характера. Стихотворение Карамзина весьма далеко от ортодоксального православия и развивает положения «Исповедания веры савойского викария» Руссо. Бог здесь назван «Господь Природы» и характеризуется с помощью типично деистической лексики (характерно использование имени «Феб» для обозначения солнца, решительно невозможное в ряду православных понятий и терминов). Если в тосте за вечный мир и свободную торговлю, который Карамзин провозгласил в Лондоне, звучала полемика и с агрессивными речами в Конвенте, и с политикой ограничения свободы предпринимательства, то в полемике с Дюмоном

[1] *Mércier M.* De J.-J. Rousseau. T. 1. P. 108.
[2] Московский журнал. 1791. Ч. 3. Кн. 1. С. 103.

слышен был голос не только внимательного наблюдателя парижских событий, но и человека, стремящегося не отвергать их огульно, а выбирать из них все, что он мог принять.

Каковы же были общие воззрения Карамзина в этот период? Без ответа на этот вопрос нельзя понять и специфики его отношения к французской революции.

Традиции масонского утопизма, книги Руссо и Мабли, которыми Карамзин зачитывался в революционном Париже, настраивали его на утопический лад. Утопия рисовалась Карамзину в том облике, который придавали идеальному обществу Платон и Томас Мор. Оба эти писателя составляли любимое чтение Карамзина, и к их идеям он многократно возвращался, выделяя такие черты, как всеобщее равенство, царство суровой добродетели, строгая государственная регламентация жизни. Политика отождествлялась с эгоизмом и честолюбием, и ей противопоставлялась личная добродетель. Уже в первой части «Московского журнала» Карамзин дал подробную рецензию на русский перевод «Утопии» Т. Мора: «Сия книга содержит описание идеальной республики, подобной республике платоновой»[1]. Попытки государственной регламентации экономики в ходе революции с этой точки зрения могли истолковываться как шаги в сторону платоновской власти государства. Карамзин не верил в реализуемость этих идеалов, но не мог отказать им в уважении. Он колебался между эстетическим преклонением перед идеей всеобщего равенства и скептической усмешкой в адрес тех своих современников, которые «сравнивали Мабли с Жан-Жаком и сочиняли планы для новой Утопии»[2].

Для того чтобы понять отношение Карамзина к Робеспьеру, которого он оценивал не как политического деятеля, а как благородного мечтателя, нужно иметь в виду, что отрицательное отношение писателя к насилию, исходящему от толпы, улицы, шире — народа, не распространялось на насилие вообще. В 1798 г., набрасывая план работы о Петре I, Карамзин писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместно с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout[3]. Но иногда и чувствительность торжествовала»[4]. Соединение «некоторых жестокостей» с «чувствительностью» скорее характеризовало психологический облик Робеспьера, чем Петра I.

По мере того как росло скептическое сомнение во всех разновидностях утопизма, все большую ценность приобретало в глазах Карамзина развитие индивидуальной свободы.

В сознании Карамзина в годы революции боролись две концепции. Одна заставляла прославлять успехи промышленности, свободу торговли, видеть в игре экономических интересов залог свободы и цивилизации. Другая — третировать экономическую свободу как анархию эгоизма и

---

[1] Московский журнал. Ч. 1. Кн. 3. С. 359.

[2] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 224.

[3] Великие люди видят только всеобщее (*фр.*).

[4] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 202.

противопоставлять ей суровую нравственность и общую пользу. Обе исключали политику в узком смысле слова. Соответственно Карамзин колеблется между двумя концепциями истории, иногда пытаясь их эклектически примирить: одна, исторически связанная с Руссо, Мабли, Вольнеем, рассматривала социальное и этическое совершенство как исходную точку исторического развития. С этой позиции, человечеству предстояло вернуться к истоку или погибнуть. Другая, восходящая к Вольтеру, Гердеру и Кондорсе, исходила из идеи непрерывности исторического прогресса и поступательного развития человеческого разума и общества. С этой точки зрения, совершенное состояние человечества переносится в отдаленное будущее, а историческое движение приобретает смысл как постепенное приближение к нему.

Все более склоняясь к тому, что первобытное равенство — прекрасная, но несбыточная мечта, Карамзин переносил свои надежды в будущее, возлагая упования на прогрессивное движение человечества от тьмы и невежества к свету и Разуму. Наблюдая парижские события, он стремился отделить великий прогресс идей от случайных, как ему казалось, хотя и неизбежных эксцессов. Тем более тяжелый кризис ему пришлось пережить в период между маем и сентябрем 1793 г. Превращение революции в гражданскую войну, выступления санкюлотов, террор заставили Карамзина отказаться от веры в прогресс. Переживаемые им тяжелые настроения усугублялись все более открыто реакционным курсом русской внутренней политики. Сам он не мог чувствовать себя в безопасности. Настроения второй половины 1793 г. отразились во втором томе «Аглаи» (вышел в 1794 г.).

Первая часть альманаха, содержащая произведения, написанные до весны — начала лета 1793 г., отличается умеренным оптимизмом: Карамзин полемизирует с Руссо[1] и выражает твердую уверенность в том, что с успехами цивилизации «настанет златый век Поэтов, век благонравия — и там, где возвышаются теперь кровавые эшафоты, там сядет добродетель на светлом троне»[2].

Второй том отмечен печатью мрачного трагизма. В очерке «Мелодор к Филалету», открыто автобиографическом, Карамзин писал: «Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в Истории все благородные черты души человеческой, питали в груди своей эфирное пламя любви, которого веяние возносило нас к небесам, и, проливая сладкие слезы, восклицали: „Человек велик духом своим! Божество обитает в его сердце!“» И далее: «Кто более нашего славил преимущества осьмогонадесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость Правлений и проч. и проч.? <...> Осьмойнадесять век кончается: что же видишь ты на

[1] О сущности этой полемики см.: *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура XVIII в. // Эпоха Просвещения. Л., 1967. С. 272—274.

[2] Аглая. 1794. Т. 1. С. 75.

сцене мира? — Осьмойнадесять век кончается, и нещастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым, растерзанным сердцем своим, и закрыть глаза навеки!»[1] А. И. Герцен, переживший, в свою очередь, трагическое разочарование в революции 1848 г., назвал эти слова: «Выстраданные строки, огненные и полные слез»[2].

Эволюция отношения Карамзина к европейским событиям на этом не завершилась. Вера в прогресс вернулась к нему вместе с убеждением в том, что провидение таинственными путями ведет человечество к совершенству. Уже в 1797 г. он, резко контрастируя со всем, что в ту пору писалось в России, утверждал, что «французский народ прошел через все степени цивилизации, чтобы оказаться на той вершине, на которой он находится в настоящее время». И далее: «Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков»[3].

Неверие в «утопии идеологов» заставило Карамзина в дальнейшем предпочитать трезвый и цинический практицизм политики бонапартизма. Однако недоверие к политическим доктринам сочеталось у него с убеждением, что вне государственной компетенции, захватывающей лишь внешнюю сторону жизни, лежит область подлинного духовного прогресса. Великие исторические события — а французскую революцию он относил именно к великим историческим событиям — на поверхности реализуются в форме грубых и мелких человеческих страстей. Но тем, кто способен взглянуть глубже, раскрывается величественная картина духовного возвышения человечества. «И жизнь наша, и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертно в их успехах!»[4]

***

Уже заглавие «Письма русского путешественника» для книги, посвященной европейским путешествиям, ставило вопрос о соотношении России и Запада. В этом смысле книга Карамзина опиралась на давнюю литературную традицию. Древнерусская литература обладала развитым жанром путешествия. Жанр этот имел устойчивые, веками устоявшиеся признаки. Древнерусское путешествие было или паломничеством, или антипаломничеством, то есть конечной его целью могло быть «святое» или «грешное» место. Пространство обладало присущим ему признаком святости или греха. Быть «никаким» оно не могло. Соответственно движение путешественника, с одной стороны, обусловлено было его внутренней сущностью (грешник не мог направляться в святые места), а с другой — усиливало в нем интенсивность того или иного свойства: если человек по достоинству своему сподобился посетить святые места, то там он приобщался к некоей высшей святости и удостаивался прикосновения к благодати. Также и движение человека в плохие места, с

[1] Аглая. 1795. Т. 2. С. 65—67.
[2] *Герцен А. И.* Собр. соч: В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 12.
[3] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 253, 254.
[4] *Карамзин Н. М.* Соч.: В 3 т. СПб., 1848. Т. 3. С. 654.

одной стороны, было результатом его недостоинства, а с другой — вело его к конечной гибели[1]. Географическое пространство для русского средневековья было неотделимо от сакрально-этических характеристик. Одновременно средневековое путешествие имело и устойчивые, типовые маршруты. Приобщение к святости требовало перемещения в «святые земли» — на Афон, к византийским и палестинским святыням. По отношению к этим землям своя, Русская земля мыслилась как менее святая. «Плохие», грешные земли располагались на западе[2], что в принципе соответствовало средневековой ориентации: рай — на востоке, ад — на западе (соответственно движение на запад мыслилось как нисхождение по иерархии греха, а на восток — восхождение по лестнице святости).

После захвата святых земель турками и распространения идеи «Москва — третий Рим» антитеза «святые земли — грешные земли» подверглась трансформации: признак святости был приписан Русской земле, а чужие земли стали расцениваться как греховные.

Культура XVIII в. отвергла средневековые представления о географическом пространстве. Поколение людей типа «российского матроза Василия Кариотского» или И. И. Неплюева, мореходов и путешественников, не могло вместить свои жизненные впечатления в средневековые представления о географии.

Тем более интересно, что в определенных — и весьма существенных — показателях структура пространственных представлений повторяла средневековую, хотя и меняла местами положительные и отрицательные знаки, что естественно при безусловном субъективном отталкивании. Путешествие за благодатью заменилось путешествием за Разумом, знанием, просвещением. При этом путешествие отчетливо приобретало черты некоего «приобщения». Демонстративно «перевернутый» по отношению к традиции древнерусских паломничеств характер путешествий на запад в XVIII в. подчеркивался тем, что в нем присутствовали обе основные средневековые модели, хотя и в «вывернутой» форме. Во-первых, в поисках истины обращались не на восток (не в святые земли), а на запад (в земли грешные). Во-вторых, своя земля мыслилась не как просветленная светом истины, а как погруженная во тьму. Свет же в нее следовало занести извне, из тех земель, которые традиционно мыслились как обуянные тьмой.

В этом отношении уже «Великое посольство» Петра I имело характер не только демонстрации новой культурной ориентировки, но и открытого «поруганья заветных святынь», пользуясь выражением А. Блока. Не случайно именно с ним связывались в народе легенды о подмене царя Антихристом, вернувшимся на Русь с Запада в облике заложенного там на самом деле «в столб» Петра I[3]. Для традиции, которая была начата «Великим посольством»,

---

[1] См.: *Лотман Ю. М.* О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965. Вып. 181. (Труды по знаковым системам. Т. 2.)

[2] См.: *Попов А.* Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян, XI—XV вв. М., 1875.

[3] См.: *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967. С. 91—123.

путешествие в Европу (и в первую очередь во Францию) сделалось чем-то значительно большим, чем поездка из одного места в другое, перемещение в географическом пространстве. Оно приобрело черты подлинного паломничества. Сформированная в XVIII в. традиция эта оказалась весьма долговечной. В известном автобиографическом введении к главе IV книги «За рубежом» М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание». И далее: «В России — впрочем не столько в России, сколько специально в Петербурге — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели „образ жизни". Ходили на службу, в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для собеседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции»[1]. Такое отношение было возможно лишь потому, что Европа, и в первую очередь Франция, представлялась не реально географическим, а идеальным пространством, откуда, по выражению того же Салтыкова-Щедрина, «лилась на нас вера в человечество» и «воссияла нам уверенность, что „золотой век" находится не позади, а впереди нас»[2]. Не случайно для многих русских западников непосредственное столкновение с реальным Западом делалось источником горьких разочарований, а порой — как это было для Герцена — и подлинной духовной драмы.

Очень рано определился и противоположный штамп построения путешествия на Запад. Запад мыслился как страна погибельная. Средневековые представления о еретичестве и безверии латинян отчасти сохранялись, отчасти же трансформировались в идею неразумия и легкомыслия парижан, их абсолютной приверженности моде, мотовству и разврату. Подобно тому как в перспективе первого подхода достаточно было прикосновения к миру Запада, для того чтобы сподобиться света Разума, для второго характерно убеждение в том, что такого же прикосновения достаточно для гибели, потери нравственности и приобщения к «модной жизни» петиметров.

Оба подхода едины в том, что Запад — не бытовая и географическая реальность, а идеологический конструкт и что сущность этого конструкта может быть осмыслена лишь в антитезе русской действительности.

«Письма русского путешественника» были принципиально новым словом в споре о России и Западе. Карамзин вводил читателя в мир, где Россия и Запад не противостояли друг другу. Европа не была ни спасением, ни гибелью России, она не отождествлялась ни с Разумом, ни с Модой, ни с идеалами, ни с развратом, она стала обыкновенной, понятной, своей, а не чужой. Русский же путешественник перестал быть «любопытным скифом» в чуждом ему мире цивилизации — в такой же мере, как и язвительным обличителем

[1] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1972. Т. 14. С. 111.
[2] Там же. С. 112.

недостатков этого чуждого ему мира. Путешественник Карамзина осведомлен и любознателен, но абсолютно чужд изумления перед тем, что он видит. Это не случайно: то, что он видит, ему уже, как правило, наперед было известно из книг, картин, театральных постановок, которые он видел у себя на родине; зрелища новые, но культурная традиция общая, и поэтому путешествие доставляет ему радость узнавания давно известного, а не изумление перед открывшимся ему неслыханно новым миром. Реплика Карамзина в споре «Россия или Европа?» имела смысл: «Россия есть Европа».

Концепция соотношения России и Европы зиждется у Карамзина на убеждении в единстве пути развития человечества. Путь этот мыслится как движение от средневекового и первобытного невежества к единству и братству просвещенных народов. «Бедность разума человеческого в средних веках»[1] является для него, как и для любого просветителя XVIII в., аксиомой. В этом отношении Шишков, утверждавший наличие вечных черт национального характера и в связи с этим незакономерность влияния одной национальной культуры на другую, был ближе к романтическим концепциям XIX столетия, в то время как Карамзин продолжал разделять оптимистические надежды философского века. Наиболее точную формулу соотношения национального и европейского начал в мировоззрении Карамзина дал С. Ф. Платонов в краткой, но насыщенной мыслью речи 18 июля 1911 г.: «В произведениях своих Карамзин вовсе упразднил вековое противоположение Руси и Европы как различных и непримиримых миров; он мыслил Россию как одну из европейских стран и русский народ как одну из равнокачественных с прочими наций. Он не клял Запада во имя любви к родине, а поклонение западному просвещению не вызывало в нем глумления над отечественным невежеством». И далее: «Исходя из мысли о единстве человеческой культуры, Карамзин не устранял от культурной жизни и свой народ. Он признавал за ним право на моральное равенство в братской семье просвещенных народов. „Как человек, так и народ (писал он) начинает всегда подражанием, но должен со временем быть сам собой, чтобы сказать: я существую нравственно“»[2].

Эта позиция Карамзина была непонятна современникам из числа тех, кто отождествлял симпатии к европейской цивилизации с петиметрским преклонением перед модой. Упреки, которые затем неоднократно высказывались шишковистами, в первый раз раздались из масонского лагеря. Еще до знакомства с «Письмами» Карамзина Кутузов решительно предполагал в их авторе охлаждение к своей родине: «Ежели догадки мои справедливы, то отечество наше изображается им не в весьма выгодном виде. Но тем приятнее описаны прочие государствы»[3].

Но именно потому, что европейская жизнь представлялась Карамзину некоторым возможным будущим России, книга его не укладывалась в рамки серии путевых эпизодов — она имела целостную, единую концепцию.

---

1 *Карамзин Н. М.* Письма... С. 98.

2 *Платонов С. Ф.* Н. М. Карамзин. СПб., 1912. С. 8—9.

3 *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 99—100.

Раздел, посвященный Германии, вводит читателя в обстановку идейно-ф лософских споров. Он строится как ряд посещений и бесед с «великими умами Посещение Николаи в начале путешествия по Германии и рассуждение дармштадтском мистике Штарке в конце этого этапа странствия ассоциировали у читателя, близкого к масонским кругам, с многозначительными представл ниями. Николаи — просветитель, писатель и книгоиздатель, активный деяте. из числа берлинских гонителей католицизма и иезуитизма — и его дармштад ский оппонент Штарк, которого обвиняли в тайном католицизме и даже иез итизме, масон и основатель «тамплиерского клериката» (1767), были хоро известны полярностью своих воззрений (то, что Карамзин повидал первого не встретился со вторым, было для московских масонов отнюдь не нейтральнь поступком, а демонстрацией вряд ли приятной для них независимости авто «Писем»). Однако Карамзин увидал в этих антиподах общее — нетерпимос мнений, и это вызвало его осуждение: «Где искать терпимости, естьли сам Философы, самые просветители — а они так себя называют — оказыва столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? Тот есть для ме истинный Философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласн с его образом мыслей»[1].

Этой паре идеологов противостоит другая пара: встреча с Кантом открыва «немецкую часть» путешествия, встреча с Виландом предваряет ее заключен Кант и Виланд — скептики. Их сомнения разрушают предрассудки и фанатиз «Все сокрушающий Кант» и Виланд, которого «можно назвать скептиком», - добрые люди, уважающие не только свои идеи, но и личность своих противнико В разговоре с Кантом путешественник коснулся «до его неприятелей. „Вы узнаете, сказал он, и увидите, что они все добрые люди“»[2].

Человеческая мысль возвышается не правотою своих идей, утвержда Карамзин, а терпимостью по отношению к чужим идеям. Этот вывод ске тического гуманизма имел прямое отношение к опыту французской револ ции. Столь же непосредственно, хотя и столь же прикровенно, отнесены ней и описания Швейцарии и Англии.

Равнодушный к вопросам политики, Карамзин не был индифферентен социальным доктринам. В ходе французской революции столкнулись д социально-экономические идеи: радикальная идея государственной регламе тации экономики, подчинения рынка морали, введения максимума цен законодательной власти над производством и торговлей, с одной стороны и либеральная идея свободного экономического laisser faire, laisser passe основанного на беспрепятственном буржуазном развитии, — с другой.

Каждая из этих идей была по-своему привлекательна для Карамзин Первая ассоциировалась у него с концепцией платоновской Республик приверженность к идеалам которой он подчеркивал на протяжении вс жизни, и привлекала как царство регламентированной добродетели и об здания частного эгоизма. Вторая вызывала симпатии своей связью с личн

---

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 38.
[2] Там же. С. 21.

ой и либеральными представлениями о нерушимости прав отдельной
ти. Известно, сколь острые и кровавые коллизии породило столкно-
тих концепций в ходе французской революции. Карамзин предпочел
казываться по этому вопросу прямо, тем более что не отдавал безус-
о предпочтения ни той ни другой точке зрения. Он предпочел столкнуть
книге две утопии — утопию торжества морали и регламентации над
вом, воплотив ее в образе Швейцарии, и утопию свободного пред-
ательства в образе Англии.

удрые Цирихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом
сти и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою рес-
у. Мущины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья;
ины ни брилиантов, ни кружев; и даже в самую холодную зиму никто
ет надеть шубы, для того что меха здесь очень дороги. В городе
ено ездить в каретах, и потому здоровыя ноги здесь гораздо более
тся, нежели в других местах. Во внутренности домов не увидите вы
к богатых уборов — все просто и хорошо. Хотя чужестранныя вина
ивозятся, однакожь позволено употреблять не иначе, как в лекарство»[1].

ителях Швейцарии подчеркивается бедность, свободолюбие, равенство
рыстие. На этом фоне даже дети, которые, дурачась (а не из бедности),
милостыню, кажутся путешественнику опасным прецедентом: «Ма-
шалуны могут со временем сделаться большими — могут распро-
ть в своем отечестве опасную нравственную болезнь, от которой рано
дно умирает свобода в Республиках»[2].

о на английском берегу путешественник сразу же сталкивается с среб-
ем. «Один говорил: „Дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку,
ы сходил с пакет-бота"; другой: „дай мне шиллинг за то, что я поднял
твой, когда ты уронил его на землю"; третий: „дай мне два шиллинга
то я донес до трактира чемодан твой". Четвертый, пятый, шестый —
овали, все объявляли права свои на мой кошелек»[3]. Однако одновременно
твенник наблюдает и свободу личности, рост ремесла и торговли, гордую
имость характеров и патриотизм. В Англии вкусы путешественника
ьно меняются. Здесь он восклицает: «Я люблю большие города и много-
» — и провозглашает тост: «Вечный мир и цветущая торговля!»

лкивая эти два социальных мира, Карамзин оставляет вопрос откры-
не решает его в пользу ни того ни другого.

***

только непосредственные впечатления от европейского путешествия,
имательное чтение политической публицистики сделали из Карамзина
ателя, исключительно точно ориентированного в политической жизни
хи. Как позже Пушкин или Герцен, Карамзин ясно представлял себе

—

мзин Н. М. Письма... С. 120.
же. С. 126.
же. С. 328.

самые тонкие оттенки политических группировок, характеры вождей партий, игру высоких идей и личных интересов. Он видел больше, чем описал, и передумал больше, чем изложил в «Письмах». Придя к такому выводу, мы неизбежно оказываемся и перед важными следствиями.

Подобно тому как исследование В. В. Сиповского заставило нас отказаться от представления, что «Письма русского путешественника» — собрание реальных писем, реконструкция «вояжа» Карамзина убеждает, что и взгляд на это сочинение как на описание действительных путевых впечатлений иллюзорен. Карамзин был весьма далек от того, чтобы предлагать читателю отчет о своих подлинных, биографически реальных странствиях и переживаниях. «Письма русского путешественника» — не собрание писем и не переработанный для печати путевой дневник, это литературное произведение. И судить его надо по законам художественного текста. Включение или невключение в произведение тех или иных описаний или размышлений должно рассматриваться в контексте тех идейно-художественных задач, которые ставил перед собой автор. Карамзин слишком легко представлял как личные впечатления то, что почерпнул из литературных источников, и не описывал того, что видел своими глазами, чтобы заставить нас раз навсегда отказаться от взгляда на «Письма русского путешественника» как на подсобный материал для биографии писателя.

Что же представляют собой «Письма русского путешественника» как литературное произведение?

Прежде всего, не следует забывать, что читателю «Письма» были предложены как собрание реальных документов дружеской переписки. Литературное произведение имитировало нелитературность. Смысл такого решения нам станет понятным, если реконструируем некоторые основные черты поэтики Карамзина.

Карамзин 1790-х гг. воспринимал себя как новатора, создателя нового этапа в русской литературе. В стихотворении «Поэзия», перечисляя великих поэтов мира, он не назвал ни одного русского имени, недвусмысленно заявив, что великой русской поэзии еще предстоит родиться:

О россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В <Москве> блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать...[1]

Новая литература мыслилась Карамзиным как противостоящая традиции XVIII в. с ее отождествлением возвышенного и прекрасного. Однако, хотя Карамзин пережил увлечение штюрмерской поэзией, а А. Петров дразнил его кличкой «великой жени́», исключительное (в том числе исключительно безобразное или исключительно преступное) в большинстве случаев не подвергалось поэтизации в его творчестве. Прекрасное приравнивалось к обыденному. Подобно тому как в стихотворении «Странность любви, или Бессонница» идеалом женской красоты объявляется... отсутствие красоты, отсутствие исключительных

[1] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. С. 63.

тв ума (слово «красавица» Карамзин заменил другим — «милая») и це всего исключительного, в искусстве прекрасной становится безыскусность, а идеалом литературы делается нелитературность. Все, на чем стоит ь литературности, оказывается отлученным от литературы.

одной стороны, в литературу вводятся внелитературные бытовые доты, с другой — лежащая традиционно за пределами «изящной словесн» публицистика. «Лучше читать Юма, Гельвеция, Мабли, нежели в ых элегиях жаловаться на холодность или непостоянство красавиц», — Карамзин А. Вяземскому[1]. Признаки «нехудожественности» и жанрового синкретизма, ориентации не на какой-либо жанровый канон, а на дную смесь разнохарактерных в жанрово-стилистическом отношении вков создают иллюзию «непрофессиональности» произведения: автор не ной писатель, а «молодой человек» и «путешественник».

тобы мысль о том, что безыскусственная жизнь призвана сменить «искусную» литературу, не воспринималась читателем модернизированно, в духе о звучащих, но совсем иных по эстетической природе более поздних гов и программ, необходимо сделать существенную оговорку. В письме к грахову в 1872 г. Л. Н. Толстой нарисовал кривую русской литературы. мзина и себя он поставил симметрично — в начале и конце «поэтической юлы» пушкинского периода. Хотя в формулировке, предложенной выше ворческих принципов Карамзина, можно уловить черты сходства с идеями , столь близкими Л. Н. Толстому, смысл этих концепций глубоко различен: Руссо и Толстого был в *упрощении* культуры, в сведении ее к Природе, Карамзина — *в усложнении*, обогащении культуры. Требование реабили простой жизни — быта, языка, психологии — имело особый смысл: атура «опускается» до жизни, но жизнь должна «возвыситься» до литературы. атура опрощается, но к жизни начинают применяться чисто эстетические рии. Это приводило к тому, что «простота» карамзинизма уже через несколько илетий стала казаться манерностью. Но эта же особенность имела и другой — карамзинизм оказал огромное цивилизующее воздействие на русского еля: отказываясь от сложной иерархии требований, которые классицизм являл литературному произведению, он предъявлял исключительно высокие вания к читателю, обязав его смотреть на собственную жизнь как на род ества и оценивать свое поведение не только в привычных рамках церковной государственной этики, но и эстетически. Простой человек может быть атурным героем, но быть «простым человеком», по критериям Карамзина, отнюдь не просто. Для этого требовалась такая тонкость чувств, такое вное изящество, столь развитое переживание красоты, на которые читатели арамзина не смели и претендовать. Карамзин создал стандарт «простого ека», который был им властно навязан русскому читателю конца XVIII — а XIX в. Стандарт этот оказался чрезвычайно высоким. Именно он сделался психологическим фундаментом, на который потом опирались и душевное ство пушкинской Татьяны, и героизм поколения 1820-х гг.

сский архив. 1872. № 7/8. Стб. 1325.

Мы уже обнаружили, что «русский путешественник» «Писем» отнюдь не тождествен реальному их автору — Карамзину, хотя одновременно наделен внешними признаками, имитирующими автобиографизм повествования. Путешественник, прежде всего, дилетант, странствующий без какой-либо ясной цели. Он называет себя в одном месте Анахарсисом, но от юного скифа-искателя мудрости, он отличается тем, что посещения философов и великих поэтов свободно перемежаются в его «Письмах» с описаниями дорожных пустяков, не содержащих в себе ничего философски поучительного. Масонские наставники были шокированы именно отсутствием глубокомыслия, углубленности в аналитические размышления.

«Внешнее» путешествие искателя мудрости, совершающего паломничество от одного мудреца к другому, — с точки зрения масонов, лишь оболочка его «внутреннего» странствия по лабиринту собственной души. Только это второе и является тем подлинным путешествием, которое должен совершить ученик, ищущий источник света. А. М. Кутузов предупреждал А. А. Плещеева: «Может быть, занимаешься чтением лорда Рамзея? и к сему не прилепляйся слишком. Он не может описывать ничего иного, как внешнего внешним образом; но сие не есть упражнение человека, старающегося шествовать к цели человека»[1]. Стремление сосредоточить внимание на «внутреннем человеке» продиктовало Кутузову исключительно интересную формулу: «Не наружность жителей, не кавтаны и рединготы их, не домы, в которых они живут, не язык, которым они говорят, не горы, не моря, не восходящее или заходящее солнце суть предмет нашего внимания, но человек и его свойствы. Все жизненныя вещи могут также быть употребляемы, но не иначе, как токмо пособствия и средствы». Прямое отношение этих слов к «Письмам русского путешественника» раскрывается далее: «Мы читаем в древней гистории, что все великие мужи путешествовали, но забываем то, что цель путешествия их была искать мудрых мужей, от которых бы им можно было учиться. Иное дело путешествовать политику, купцу, военному человеку и художнику: иное дело — испытатель естества человеческого и нравоучитель; сии последние не имеют нужды выезжать из своего отечества: все то, чего они ищут, найдут в самих себе и в своих соотчичах»[2].

Излагаемые Кутузовым принципы предромантического субъективизма совсем не были чужды Карамзину и оказали на его творческую эволюцию глубокое влияние. Тем более приходится полагать, что в «Письмах» Карамзин игнорировал их сознательно.

Упреки в недостаточной серьезности содержания «Писем» и связанные с ними утверждения о мелкости авторского взгляда, недостаточности его умственного кругозора высказывались в дальнейшем неоднократно и с самых различных позиций. Они прозвучали сравнительно недавно в итоговой статье П. Н. Беркова, писавшего, что «Письма русского путешественника» в «конечном счете все-таки юношеское произведение»[3].

---

[1] *Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 100.

[2] Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1—2. С. 134.

[3] *Берков П. Н.* Державин и Карамзин в истории русской литературы // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969. С. 15.

го, что для высказывавших подобные упреки являлось недостатком, для ого Карамзина было принципиально. «История государства Российского» а итогом многолетних размышлений. Но, углубив в неизмеримой степени ı ранние исторические концепции, Карамзин в определенном отношении узил. Взгляд на историю, отразившийся в «Письмах русского путешест-ника», был «наивен» в том значении этого слова, которое применимо к рическим воззрениям Л. Н. Толстого. Не оценив должным образом этой юны «Писем русского путешественника», мы теряем историческое звено ду Новиковым и Толстым, что в итоге приводит к разрушению для нас этой линии культурной преемственности.

Новиков отказался от государственной службы, вызвав раздражение Ека-ины II (ранний отказ от службы был повторен потом Карамзиным и стым), поскольку считал, что путем общественного служения является не дарственная, а частная, личная, внеправительственная деятельность. Всту- в противоречие с петровско-ломоносовской традицией приравнивания дарственной службы и общественного служения, Новиков считал, что гресс совершается не в области правительственных распоряжений и за-ов, а в сфере частного существования, постепенного одухотворения не-редственной жизни. С этой точки зрения история переставала казаться ью правительственных актов, распоряжений царей или выступлений ора-ов. Акцент переносился на одухотворенность частного бытия — от высоких ов творческого сознания до бытовых проявлений благородства или паде-души человеческой. Линия эта (при учете идеологических трансформаций реплетений с другими культурными традициями) явственно прослежива- в дальнейшем, вливаясь в «толстовское направление»[1]. Л. Н. Толстой ршил в 1857 г. рассказ о бессердечном отношении англичан-туристов в йцарском городке Люцерн к бродячему певцу-тирольцу выводом: «Вот ытие, которое историки нашего времени должны записать огненными гладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глу-айший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях». И далее: о факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивили-ии»[2]. Последние слова могли бы послужить эпиграфом к «Письмам русского шественника» Карамзина. Книга эта, рисуя Европу в переломный момент —1790 гг., посвящена не «истории деяний людских», а «истории прогресса и лизации». Игнорирование первых выражает не недостаток умственного раз-я автора, а принципиальную природу его позиции. При этом, как и Толстой —1860-х гг., Карамзин — человек и мыслитель — живо интересуется совре-ой ему «историей деяний людских». Для того чтобы обосновать идеологически ходимое ему очищение текста от следов этих интересов, ему приходится ергать стилизации образ повествователя. Образ путешественника приобретал ы «российского вояжора». Не без расчета на эпатирование читателя, Карамзин

См.: *Лотман Ю. М.* Истоки «толстовского направления» в русской литературе -х годов // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1962. Вып. 119. (Труды по русской авянской филологии. Т. 5.)

Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 3. С. 25.

ффектировал в его литературном облике черты петиметра, как подчеркивал к в 1790-х гг. в своем жизненном поведении[1].

Параллель между «русским путешественником» Карамзина и странствующим етиметром, столь энергично подчеркиваемая современниками, питалась из еще дного источника. Масонские наставники Карамзина, как и вообще морализ-ически настроенные читатели, охотно согласились бы с отказом от изображения ден политической борьбы. Но одновременно они наложили бы запрет на писание всего «внешнего внешним образом». Вся бытовая, торгово-ремесленная, ещественная сторона жизни оказывалась отлученной. Интерес к ней категори-ески осуждался. Прогресс мыслился как чисто духовное движение, совместимое любыми условиями внешнего существования. Материальный прогресс мог казываться подозрительным, отвлекая человека от духовного сосредоточения. то создавало основу критическому противопоставлению Европы России. Ин-ерес к материальному, бытовому прогрессу Европы полемически отождествлялся петиметрским преклонением перед модами и вещами.

Для Карамзина прогресс включал в себя одновременно культурное одухотво-ение жизни и культурное же усовершенствование ее материально-бытовой сто-оны. Следует напомнить, что в «Записки одного молодого россиянина» Карамзин ставил полемический пересказ идеи Гельвеция: «На систему наших мыслей весьма ильно действует обед. Тотчас после стола человек мыслит не так, как перед бедом»[2]. Напомним, что вопрос о соединении души и тела был остро обсуждаем масонской публицистике. В «Письмах» находим: «Не читай нравоучений тому еловеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба»[3]. При таком взгляде ытовая реальность, как и область духа, попадала в высокую сферу прогресса. тказаться от интереса к ней даже под угрозой прослыть петиметром, «Попугаем безьяниным», как его зло прозвал Кутузов, Карамзин не мог.

Избрав в качестве точки зрения для своего повествования «молодого путе-ественника», «простодушного наблюдателя» и почти петиметра, Карамзин роизвел, однако, характерную подмену, которая, конечно, не укрылась от взора

---

[1] Подобно тому как Толстой, стилизуя свое литературное (а отчасти и житейское) оведение в духе условной маски «помещик-медведь за границей», полемически реа-илитировал эту маску (ср. поведение за границей кн. Щербацкого в «Анне Карени-ой»), Карамзин полемически демонстрировал позу «русский петиметр за границей», еабилитируя право путешественника не быть ни мудрецом, ни искателем истины, и желчным критиком Европы. Подобно тому как в «Люцерне» названная выше зторская маска «переливается» в другие, прямо ей противоположные, — демократ, враг условностей, «русский Руссо» и пр., маска путешественника-щеголя «играет» в Письмах русского путешественника», переходя в свои противоположности. К этому ледует добавить, что, как мы уже отмечали, «Люцерн» очевидно полемичен по гношению к одному из эпизодов карамзинских «Писем». Это приводило к тому, что образ повествователя, и реальное поведение Толстого в Швейцарии строились в войной перспективе: как отталкивание от героя «Писем русского путешественника» сближение с героем «Исповеди» Руссо.

[2] Московский журнал. 1792. Ч. 6. Кн. 1. С. 71.

[3] Ср. вопросы Карамзина Лафатеру о природе влияния души на тело (*Карамзин Н. М.* Письма... С. 472).

менников. Для того чтобы занять позицию «мыслителя» и «мудреца», елю надо было ознакомиться с философской, политической или мисти-ческой литературой эпохи; для того чтобы оказаться на уровне «про-шного наблюдателя» «Писем русского путешественника», следовало еть всей культурой в неслыханном дотоле масштабе. При этом огромный сведений переставал рассматриваться как удел небольшого слоя спе-истов или педантов, он превращался в естественный уровень «простого» ека. Человек Карамзина — это человек, погруженный в культуру.

связи с этим решительно меняется отношение к письменному источнику. лины замка, улицы незнакомого нам города становятся фактами культуры, существуют документы, освещающие их историю, связанные с ними пре-, их место в развитии цивилизации. Горы, реки, природа как таковая ают принадлежность к миру Культуры, если описаны в стихах, — поэт т с пейзажем то же, что земледелец с полем и садом. Обрабатывая его, лает его частью культуры. Поэтому путешественник Карамзина — это ественник с книгой в руках. Он смотрит на то, что уже знает по описаниям, стесняется книжных заимствований в своем произведении. Вся Европа илается перед ним, как обширный сборник цитат, и он наслаждается, ая уже знакомое и указывая неискушенному читателю на источники этих , овеществленных в городах, замках и исторических памятниках. В этой получает особый смысл стремление Карамзина в дальнейшем в таких ведениях, как «Записка о московских достопамятностях», «Путешествие т Москвы», «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице», же в примечаниях к «Истории государства Российского», связать и памят-русской старины с определенными историческими воспоминаниями и тем м ввести их в современную Карамзину культуру.

аким образом, печатный текст «Писем», с одной стороны, как бы перели-в жизненное поведение читателей, становясь фактом культуры чувств и пков людей, чья жизнь лежала за пределами искусства, а с другой — лся в синкретическое единство культуры, становясь словесным элементом бы «подписями к картинкам») ее целого — того культурного мира, в ый входили памятники архитектуры, живописи, всех форм человеческого и обжитого человеком пространства Европы, а прошлое и настоящее лись в неразрывности памяти.

***

сследуя жанр «путешествия» в литературе конца XVIII в., Т. Роболи яет в русских путешествиях две ориентации: «К моменту появления в и „Писем русского путешественника" Н. М. Карамзина, с которых по-нашему следует вести русскую родословную литературных путешествий, на е в этом жанре дифференцировались два основных типа: один собственно овский, где настоящего описания путешествий, в сущности, нет; и другой — Дюпати, представляющий гибридную форму, где этнографический, ис-еский и географический материал перемешан со сценками, рассуждения-ирическими отступлениями и проч. <...> „Письма русского путешествен-

ника" сконструированы по типу гибридному, но в отношении к своему образцу — Дюпати — сгущеннее как в смысле количества и разнообразия вводного материала, так и в смысле эпистолярности своего стиля; кроме того, „Путешествие" Дюпати стилистически однороднее. — У Карамзина чрезвычайной пестроте материала соответствует пестрота стиля»[1].

Эта точка зрения была воспринята последующей исследовательской традицией и поддержана авторитетом Г. А. Гуковского[2]. Однако следует заметить, что к моменту выхода «Писем» обе эти традиции давно потеряли для русского читателя прелесть новизны. Стернианская традиция успела уже спуститься в область массовой литературы. Так, например, в 1797 г. безымянный автор «Моей дорожной записки» (сочинения непрофессионального и не предназначенного для печати, то есть отчетливо принадлежащего к литературному фону эпохи) уже может выступить как эпигон Карамзина, интерпретирующий его традицию в отчетливо стернианском духе. Он снабдил свое сочинение не только чувствительным эпиграфом из «Вертера», но и «Предисловием», в котором заявил, как истинный карамзинист: «Моя дорожная записка мне нравится, может быть для того что моя, и что я могу смотреться в нее, как будто бы в зеркало»[3]. Влияние Стерна проявляется не только в настойчивом стремлении автора к капризной субъективности логики повествования, но и в его склонности соединять чувствительность с иронией. Вот как описывает автор дорожное происшествие. Коляска его застряла в ледяной луже. «Ночь была темная, ни одной звездочки не блистало на небе, ветер шумел уныло в сосновой роще; и в сию меланхолическую пору между тем, как люди мои трудились около повозки — я сидел посреди рощи на льду... один... и думал. Вы не угадаете, друзья мои, что занимало мои мысли. Я размышлял не о коловратностях судьбы <...> Нет, милые! Я думал, как живее и красноречивее представить вам мое похождение»[4].

Однако «Письма» Карамзина сложнее, насыщеннее и противоречивее, чем эта и другие «стернианские» их проекции. Но и сопоставление с традицией Дюпати не ведет нас к специфике карамзинского текста. Именно эта аналогия заставляла Г. А. Гуковского утверждать, что «информационная задача выдвинута в его [Карамзина] книге на первый план»[5]. Т. Роболи, останавливаясь на различиях между «Письмами» Карамзина и «Путешествием» Дюпати, отмечает «пестроту стиля»[6] в книге первого, ориентацию различных отрывков текста на разные историко-литературные традиции. Однако это лишь самый внешний и элементарный признак стиля «Писем» Карамзина, хотя преуменьшать значение стилистических сломов и контрастов в общем построении их художественного единства нет никакого основания. Но не менее важным является принцип семантической насыщенности и многоплановости каждого из отрывков. При-

---

[1] *Роболи Т.* Литература «путешествий» // Русская проза. Л., 1926. С. 48—50.

[2] См.: *Гуковский Г. А.* Карамзин // История русской литературы. М.; Л. Т. 5. С. 85.

[3] Щукинский сборник. М., 1903. Вып. 2. С. 216.

[4] Там же. С. 226.

[5] История русской литературы. Т. 5. С. 85.

[6] *Роболи Т.* Литература «путешествий». С. 50.

ведем пример. В письме из Лозанны есть такой отрывок: «Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Там из черного мрамора сооружен памятник Княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозане, в объятиях нежного, неутешного супруга. Сказывают, что она была прекрасна — прекрасна и чувствительна!.. Я благословил память ея»[1]. Читатель, фиксирующий один поверхностный слой смысла, увидит в этом отрывке лишь «сентиментальный эпизод», обычный в литературе «эпохи чувствительности». Однако читатель более осведомленный обнаружит здесь другой пласт смыслов: брак кн. Григория Орлова был связан с нашумевшей в свое время историей. «Орлов страстно влюбился в свою двоюродную сестру, фрейлину двора ее величества Екатерину Николаевну Зиновьеву <...> В июне 1776 г. они уже обвенчались, вопреки закона и обычая, строго воспрещающих браки на двоюродных сестрах»[2]. Православная церковь рассматривала такой брак как кровосмешение и требовала в этих случаях насильственного разведения супругов и церковного покаяния[3]. Строки в «Письмах» Карамзина представляли дерзкое штюрмерское эпатирование общепринятых норм морали, аналогичное апологии любви брата к сестре в «Острове Борнгольме», вызвавшей целую бурю откликов — от С. Боброва до Хлестакова, который со ссылкой на Карамзина и его «Остров Борнгольм» просил руки у замужней городничихи.

---

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 149.

[2] *Барсуков А.* Рассказы из русской истории XVIII века (по архивным документам). СПб., 1885. С. 176—177.

[3] «У князя Юрия Владимировича <Долгорукова> был старший брат, который женился на графине Бутурлиной, а несколько времени спустя на другой, младшей ее сестре женился сам Юрий Владимирович: первый брак считался законным, а второй не признавали, хотели развести» (*Благово Д.* Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком. СПб., 1885. С. 150). Мемуаристка (Е. П. Янькова) вспоминает далее, что брак младшего брата был юридически и церковно аннулирован, дети от этого брака считались детьми старшей пары; во время беременности младшей сестры старшая «обкладывалась подушками, и посторонние, видя их обеих в таковом положении, не догадывались, что одна в тягости заподлинно, а другая — притворно» (Там же). Дети от обоих браков считались детьми старшего брата, после смерти которого Ю. В. Долгоруков должен был добиваться высочайшего изволения на усыновление собственных детей. Сама мемуаристка находит этот запрет вполне нормальным и передает такой разговор со своим двоюродным братом гр. Толстым: «Однажды он говорил мне: „Ma cousine, что бы вы мне сказали, ежлиб я посватался за одну из ваших дочерей, за Agrippine?"

Я спрашиваю его: „Да что ты это в шутку мне говоришь?"

— Нет, ma cousine, очень серьезно, отвечает он.

— Ну и я скажу тебе серьезно, что мы слишком близкие родные, чтобы я согласилась отдать за тебя которую-нибудь из дочерей: твоя мать мне родная тетка, и вдруг Грушенька будет ей снохой: да этого брака и архиерей не разрешит» (Там же. С. 262). Ср. также историю флигель-адъютанта Мансурова, который просил у Александра I разрешения жениться на своей кузине Трубецкой. Царь отказал и советовал Мансурову уехать за границу на постоянное жительство и там обвенчаться. При этом Мансуров был предупрежден, что дети от этого брака будут считаться в России незаконными (см.: *Свербеев Д. Н.* Записки 1799—1826. М., 1899. Т. 1. С. 301).

Однако эпизод этот имел и еще более глубокий смысловой пласт — же не моральный, а политический. Поздняя и противозаконная любовь ригория Орлова была использована сторонниками Потемкина для того, тобы свести счеты с бывшим соперником. «Возникло целое дело о незаонном браке Орлова. Члены Совета подали мнение о необходимости азвести Орлова с женою и заключить обоих в монастыри. Граф Кирила ригорьевич Разумовский, возмущенный этою беспощадностью к человеку, тратившему первенствующее значение при дворе, напомнил своим товаищам о правиле, соблюдаемом при кулачных боях: лежачего не бьют. Еще недавно, — говорил он, — все мы считали бы себя счастливыми, жели бы Орлов пригласил нас на свою свадьбу; а теперь, когда он не меет прежней силы и власти, то стыдно и совестно нам нападать на его“»[1]. Совет не изменил, однако, своего мнения, а Екатерина II дозволила рлову с женой выехать за границу, что означало пожизненное изгнание. н. Орлова скончалась в Лозанне 16 июня 1781 г.

Политический смысл вступления Карамзина сделается бесспорным, если ы вспомним, что оно было лишь частью кампании, развернутой противиками Потемкина по этому поводу. Державин написал стихи на смерть р. Орловой, которые Карамзин опубликовал в «Московском журнале». тихотворение Державина было якобы доставлено Карамзину «при писье», также опубликованном в «Московском журнале», которое создавало округ покойной ореол жертвы несправедливых гонений. Вероятно, не лучайно рядом с рассказом о могиле Орловой в Лозанне упомянут «наш оотечественник, Граф Григорий Кирилович Разумовский, ученый Натуалист», автор многих сочинений по минералогии, который за несколько едель перед этим уехал в Россию[2]. Фамилия эта, с одной стороны, могла апомнить читателю об имевшем явно политический характер выступлении тца его в Совете в защиту Орлова, а с другой — намекала на аналогичный онфликт любви и предрассудка: молодой Г. К. Разумовский, нелюбимый естой сын гетмана К. Разумовского, избрав путь профессионального ченого, поселился в Швейцарии. Здесь он влюбился в Генриетту Мальсен в 1788 г. отправился в Петербург за отцовским благословлением, в отором ему было, однако, отказано из-за неравенства положения жениха невесты (хотя Мальсен была дочерью эльзасского барона, К. Разумовский читал ее происхождение слишком низким). Брак все же состоялся, хотя без разрешения отца. Он был несчастлив, в чем усматривали результат тцовского деспотизма. Карамзин явно рассчитывал на то, что аудитории то известно.

Наконец, для наиболее хорошо осведомленного читателя эпизод имел еще дин ярус смыслов: гр. Орлова, урожденная Зиновьева, была родной сестрой . Н. Зиновьева, друга юности Радищева и Кутузова, упомянутого нами выше. Именно кончина сестры была непосредственной причиной длительного духов-

[1] Барсуков А. Рассказы из русской истории. С. 177.
[2] См.: *Карамзин Н. М.* Письма... С. 149.

кризиса, который привел В. Н. Зиновьева в ряды масонов. О значении
й с зарубежным кружком Зиновьева — Кошелева — С. Р. Воронцова
утузова и Карамзина мы уже говорили. Таким образом, на примере
о, казалось бы, совершенно незначительного эпизода «Писем» можно
едить, какую сложную и многослойную смысловую нагрузку несет
Карамзина. Можно с уверенностью сказать, что в огромном числе
ев мы не можем прокомментировать всех смысловых ассоциаций и
кдены довольствоваться снятием наиболее поверхностного пласта
ла. «Письма русского путешественника» построены по законам эзо-
еской семантики: их могут читать и близкие и далекие, осведомленные
сведомленные читатели. Но чем читатель дальше от мира автора,
олее поверхностный слой смысла он извлекает из текста, тем более
гается вперед плоская «информационная задача». По мере прибли-
к миру Карамзина перед читателем раскрываются богатство и
ость ассоциаций, игра точками зрения, та многослойная структура
ла, которая делает «Письма русского путешественника» произведени-
посредственно предшествующим прозе Пушкина.
осле статьи Т. Роболи сложился стереотип европейского литературного
кста, с которым сопоставляются «Письма русского путешественника».
Сентиментальное путешествие» Стерна и «Письма об Италии» Дюпати.
но, странно было бы отрицать значение для Карамзина этих произве-
, тем более что ссылки и реминисценции из них играют существенную
в конструкции «Писем русского путешественника». Однако для осмыс-
самим Карамзиным и характера своей поездки, и своей собственной
ии в жизни и тексте «Писем», вероятно, важнее были другие произве-
— «Путешествие юного Анахарсиса» Бартелеми и «Философские (или,
ни стали в дальнейшем именоваться, «Английские») письма» Вольтера.
екста связывали путешествие с поисками идеалов истинного просвеще-
оба создавали образ искателя мудрости, оба были проникнуты верой в
есс цивилизации. Особенно важны для Карамзина были «Философские
а» Вольтера — плод путешествия изгнанного из Франции писателя за
анш. Здесь Карамзин встретил не только существенную для него веру
гресс в сочетании с ироническим скепсисом, вносящим коррективы в
е самую веру, но и модель сопоставления двух национальных характе-
– английского и французского. Важна была для него и идея связи,
твующей между природой той или иной цивилизации и характером
. В «Письмах русского путешественника» есть следы прямого воздей-
идей Вольтера. Въехав в Париж, путешественник Карамзина написал
ям: «Система Декартовых вихрей могла родиться только в голове
цуза, Парижского жителя». Это была понятная отсылка к «Философ-
письмам» Вольтера. Ср.: «Прибывающий в Лондон француз находит
офские дела столь же основательно изменившимися, как и все другое.
ставил мир наполненным, он находит его пустым. В Париже видят
ную состоящей из вихрей неуловимой материи, в Лондоне ничего
не видят» (письмо XIV «О Декарте и Ньютоне» в «Философских
ах» Вольтера). Однако идея Вольтера претерпела в сознании Карам-

зина существенные изменения. Дело не только в том, что схема «легкомысленный француз ⟷положительный англичанин» в силу композиционного места этих рассуждений в книге Карамзина трансформирована в другую: «легкомысленный француз ⟷ положительный швейцарец». Существенно более глубокое изменение: Вольтер строит концепцию *своей* национальной культуры путем сравнения ее с нефранцузским национально-психологическим и культурным типом. Карамзин сопоставляет две разновидности *европейской* культуры. Карамзина интересует не подчеркивание различий, а идея единства цивилизации, пробивающегося *сквозь* эти различия. Как различные нации Европы, сохраняя своеобразие своей духовной физиономии, темперамента и традиций, движутся по пути культурного прогресса, так и Россия должна найти свое место в этом общем движении. Противопоставление «Англия — Франция» для Вольтера вписывается в оппозицию «чужое — свое». Для Карамзина все типы европейских культур в определенном смысле относятся к миру «чужого» («свое» — мир России — подразумевается, а не описывается). Но они же с некоторой другой точки зрения укладываются в понятие «своего», ибо Россия для Карамзина — часть Европы и в каждом из европейских народов он находит некоторые черты, которые могли бы сходствовать с русской цивилизацией.

Размышления над соотношением единства цивилизации и прогресса, с одной стороны, и специфики национального типа — с другой, приближали к Карамзину вольтеровскую философию истории.

Перед Карамзиным были две концепции культуры, которые ассоциировались с двумя истолкованиями «начала» мира, акта творения. С позиции Руссо, мир выглядел как прекрасное, совершенное создание Природы. Начало его лежало далеко за пределами человеческой истории. Вторжение цивилизации в Природу возможно лишь как порча исконного прекрасного порядка. С позиции Вольтера, мир не может характеризоваться как совершенный, в нем заложены коренные недостатки: землетрясения, эпидемии, стихийные бедствия так же поражают мир Природы, как фанатизм, невежество и жестокость — мир человеческого общества. В этом отношении характерен спор между Вольтером и Руссо по поводу лиссабонского землетрясения. Вольтер увидал в нем страшное свидетельство несправедливости миропорядка, а Руссо — лишь гибельность искусственной цивилизации. Обвалы в горах и катастрофы в пустынях, говорил Руссо, не только не являются бедствиями, но проходят, как правило, незамеченными. Если бы зло цивилизации не собрало людей в противоестественную кучу, природный катаклизм не принес бы им большого вреда. С точки зрения Вольтера, лиссабонское землетрясение могло бы убедить человека, что Бог или не имеет сил, или лишен желания предотвратить мировое зло, то есть что он или зол, или слаб. Ставя читателя перед этой дилеммой, Вольтер-деист не соглашался ни с тем ни с другим решением. Выход он находил в представлении о том, что мир все еще находится в процессе творения и смотреть на него как на законченный неправомерно. Усовершенствование мира продолжается с помощью культурной деятельности человека, «обрабатывающего свой сад». Отсюда надежды на научно-тех-

ий прогресс, призванный победить зло Природы, и прогресс гуман-
который усовершенствует общество. Прогресс сделался для Воль-
воего рода верой, оказавшей огромное воздействие на весь ход
ующей европейской мысли, включая и Гете, и Карамзина. Поле-
Карамзина с Руссо в первом томе «Аглаи» несет на себе отчетливую
аргументов Вольтера.

я понимания позиции Карамзина существенно, что просветитель-
птимизм, связанный с концепцией прогресса, был настолько глубок,
превращаясь именно в символ веры, что мог выдерживать весьма
кие удары реальности. В частности, события французской револю-
VIII в. отнюдь не сразу и не легко освобождали просветителя от
тимистических иллюзий, и он склонен был порой предпринимать
сохранения усилия истинно героические. Напомним, что самая
я и аргументированная апология прогресса в духе философии ис-
Вольтера, проникнутая духом просветительского оптимизма, —
т Кондорсе — писалась за несколько недель до трагической гибели
, в дни, когда он скрывался от преследований якобинского три-
, не имея возможности даже ночью покидать свое убежище. Про-
я неизбежность победы разума, Кондорсе отчетливо видел перед
тень гильотины.

воря о соотношении концепции прогресса у Вольтера и Карамзина,
т отметить еще одну родственную черту. Вольтер был принципи-
м противником законченных доктрин и учений, претендующих на
овную истинность. В них он видел зерно той нетерпимости, которую
основным врагом гуманности и своим личным врагом. Скепсис и
ние Вольтер рассматривал как школу терпимости, философскую га-
о от фанатизма. Между верой в прогресс Вольтера и Кондорсе
ь существенное различие: самые дорогие для себя идеи Вольтер
вал иронией, подмешивал к ним сомнение. Так, вера в поступатель-
вижение человечества противоречиво сочеталась у него с горьким
сдением неизбывности человеческой глупости. В том, что вера и
ние, просветительский оптимизм и просветительский пессимизм со-
лись в его воззрениях, не сливаясь и не находя примирения, Вольтер
не недостаток, а гарантию от догматизма и фанатизма. Эта черта
ний Вольтера была близка Карамзину.

тешествие Карамзина по Европе становится удобной сюжетной ос-
столкновения не только разных национально-психологических типов,
различных идеологических концепций, которые противоречиво сопо-
гся без вынесения над ними окончательного авторского суда. Швей-
в значительной мере идет под знаком идей Руссо. Англия и Франция
коррективы, в значительной мере навеянные концепцией Вольтера.
ой ориентацией на Вольтера значительная часть «французских» писем
зина посвящена борьбе с фанатизмом, проповеди терпимости и —
мой перекличке с автором «Генриады» — апологии Генриха IV.
я Вольтера были настолько известны читателю тех лет, что, вне
сомнений, Карамзин явно отсылал к ним русских поклонников

«Писем русского путешественника», когда писал: «Я не хотел бы жить в улице *Ферронери*: какое ужасное воспоминание! Там Генрих IV пал от руки злодея — seul roi de qui le peuple ait gardé la mémoire[1], писал Вольтер». Прямая ссылка на «Генриаду» дает ключ к следующей за ней развернутой апологии Генриха IV. Но рядом — более сложный случай: «Кучер мой остановился и кричал: „Вот улица де-ла-Ферронери!" — „Нет, — отвечал я, — ступай далее!" Я боялся выйти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком». Смысл этих слов был до конца ясен лишь читателю, который помнил рассуждение в «Философском словаре» Вольтера (статья «Frivolité»): «Кто мог бы пройти по улице де-ла-Ферронери, не пролив слез и не содрогнувшись от ужаса от тех отвратительных и священных принципов, которые вонзили нож в сердце лучшего из людей и величайшего из королей. <...> К счастью, люди столь легкомысленны, столь суетны, столь погружены в настоящее, столь нечувствительны к прошлому, что из десяти тысяч едва ли найдутся двое-трое, кто предастся таким размышлениям». Карамзин явно хотел доказать своим читателям, что он не «frivole», а чувствителен и не относится к десяти тысячам легкомысленных парижан. Соединение легкомыслия и жестокости как черту национального характера французов Вольтер будет неоднократно подчеркивать в период борьбы с судьями Каласа и дю Белле. Эта мысль в значительной мере станет для Карамзина ключом для характеристики парижанина.

Англия для Вольтера — царство просвещения, семейных добродетелей, чувствительности и роскоши, с одной стороны, и мир эгоизма, грубых нравов, торгового расчета — с другой. Такой ее в значительной мере видит и Карамзин. Однако увлечение английской философией и английскими законами не находит у него отклика.

Так складываются те запасы идей и концепций, которые превращают бесхитростный по внешности перечень путевых впечатлений в единство, обладающее композиционной организацией.

***

Итак, перед нами имитация писем частного лица, «русского путешественника», непритязательно описывающего свои дорожные впечатления. Однако, как мы видели, под этим пластом вскрывается более глубинный: с одной стороны, частная жизнь человека и жизнь его сердца раскрывается как средоточие культурного движения, завоевание цивилизации и «осьмогонадесять века», с другой — сквозь эпизоды частной жизни путешественника постоянно просвечивает огромная толща многовековой культуры, неизменно присутствующая в сознании автора.

---

[1] Единственный король, память о котором народ сохранил (*фр.*). Подробнее о проблеме «Карамзин и Вольтер» см.: *Заборов П. Р.* Вольтер в России. Л., 1978.

Однако в книге Карамзина есть и еще более глубокий композиционный
:т. В кругу друзей Карамзина прозвали «лорд Рамзей»[1]. Прозвище это не
о, конечно, случайно: в дружеском кружке Плещеевых — Кутузова —
рова — Карамзина усматривалось какое-то сходство между франко-
ландским писателем Э. Рамзеем и Карамзиным. Прозвище Карамзина,
амо, намекало на увлечения Рамзея планами слияния масонского братства
юзом людей искусства, которые, объединившись вместе, преобразуют че-
чество[2]. Скептический, насмешливый герой Виланда Агатон был, вероятно,
подом энтузиастическому Рамзею. Но «лорд Рамзей», конечно, хорошо знал
авное, прославленное произведение своего «тезки» — дважды переведенный
VIII в. на русский язык роман о воспитательном путешествии юного Кира[3].
ан этот, дополнявший известную «Киропедию» Ксенофонта, был написан
адиции «Путешествия Телемака» Фенелона, другом и поклонником которого
Рамзей. Роман Рамзея построен как путешествие ищущего мудрости юного
а. Странствие его имеет философский и педагогический характер: он путе-
твует от мудреца к мудрецу и от одной политической системы к другой,
щает суровую, добродетельную Спарту и роскошные, цветущие искусствами
ны. Зароастр и Пифагор научают его таинственным знаниям, а у финикийцев
дивляется благодетельному воздействию торговли на общежитие.

Карамзин относился отрицательно к традиции политико-педагогического ро-
а Фенелона. Однако схема такого романа отчетливо просматривается в «Пись-
русского путешественника»: путешествие от мудреца к мудрецу, от одной
мы «гражданства» к другой, размышления о вольности, искусствах, торговле,
числение памятников искусства и культуры. Существенным при этом было,
данная глубинная схема противоречила и герою — «вояжору» и моднику, не
вно-схематическому, а наделенному слабостями «чувствительного человека»,
временной обстановке повествования, и его концовке: путешествие завершается
бретением истины, а сознанием ее призрачности и неоднозначности. Однако
поверхностный слой не отменяет глубинного: они сосуществуют, воздействуя
на друга. С одной стороны, частный, интимный, человеческий облик пове-
вания ощущается резче на фоне глубинной традиции обобщенного полити-
ого романа. С другой — стершаяся уже и перешедшая в массовую литературу

В исследовательской литературе прозвище «Рамзей» часто именуют «масонским име-
Карамзина, — это явная ошибка. Карамзин в масонстве не достиг степени более
кой, чем «брата», по простой иоанновской системе, а масонские имена давались
в сокровенных высших степенях (например, все московские розенкрейцеры получили
нские имена, хотя в большинстве отнеслись к этому ритуальному новшеству иронич-
и). Имена эти представляли собой латинские рыцарские девизы и были тайными.
звание же «лорд Рамзей» ничего общего не имело с ними по форме и было известно
зиционным по отношению к масонству друзьям Карамзина — Плещеевым. Это
такое же кружковое прозвание, каким сделалось для А. А. Петрова имя Агатона.
См.: *Cheral A.* Un avanturier religieux au XVIII siècle A.-M. Ramsey. Paris, 1926.

Новое Кронаставление, или Путешествия Кировы <...> соч. г. Рамзеем, с франц.
юсс. язык пер. Авраам Волков. М., 1765. Ч. 1—2; Новая Киропедия, или Путе-
твия Кировы <...> соч. Андреем Рамзеем. Изд. 2-е, испр. с англ. подлинника. М.,
. Ч. 1—2. (Перевод А. Волкова, исправленный по подлиннику С. С. Бобровым).

схема фенелоновско-рамзеевской идеологической и композиционной структуры оживает под влиянием включения в чуждую ей традицию, снова становится эстетически активной, придавая повествованию Карамзина философскую значимость без претензии на философию. Такая установка была сознательной. Начиная публикацию «Писем русского путешественника» в первом номере «Московского журнала», Карамзин дал программную рецензию на «философский роман» М. М. Хераскова «Кадм и Гармония». Здесь он писал: «Философ — не Поэт, пишет моральныя диссертации, иногда весьма сухия; Поэт сопровождает мораль свою пленительными образами, живит ее в лицах и производит более действия»[1].

Однако эта же рецензия намекнула на еще более глубинную традицию, просматривающуюся сквозь путевые письма русского путешественника. Критика Фенелона и его традиции в русской литературе второй половины XVIII в. шла по линии «освобождения» гомеровской основы его сюжета от модных французских наслоений «галантного века». Именно в этом направлении работала мысль Тредиаковского, когда он превратил роман Фенелона в написанную гекзаметрами поэму. Карамзин — совсем другим путем — идет к аналогичной цели: простая современная жизнь в ее патриархальных проявлениях ближе к миру Гомера, чем создания французских романистов. «Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова? Кто не чувствует великой разности между ими? Возьми какого-нибудь пастуха — Швейцарского или Русского, все равно, одень его в Греческое платье и назови его сыном Царя Итакского: он будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелонова воображения, которое есть ничто иное, как идеальный образ царевича Французского, ведомого не Греческою Минервою, а Французской Философиею»[2]. Поскольку неприкрашенная современность ближе к исконной древности, чем «философское столетие», «Письма русского путешественника» подразумевали глубинное соотношение и с сюжетом античного эпического путешествия, а сам «путешественник» получал еще добавочную смысловую подсветку.

«Письма русского путешественника» включаются в поиски нового литературного эпоса. Как «Тилемахида» относится к переводу «Илиады» Гнедича, «Письма русского путешественника» относятся к «Истории государства Российского».

***

«Письма русского путешественника» — этап не только в развитии русской литературы и общественной мысли, но и в истории русского литературного языка. Лингвистическая программа Карамзина является органической частью его общеидеологической позиции. Как литературная, так и языковая деятельность Карамзина непосредственно связаны с западноевропейским культурным влиянием. В лингвистическом аспекте это проявляется в стремлении организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы, то есть поставить литературный язык в такое же отношение к разговорной речи, какое имеет место в западноевропейских странах. Иными словами, дело идет *о стремлении перенести на русскую почву западноевропейскую языковую и литера-*

[1] Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 1. С. 80.
[2] Там же. С. 99.

турную ситуацию; непосредственным образцом при этом служит французский литературный язык. Отсюда закономерно следует принципиальная установка на разговорную речь, то есть на естественное употребление (usus loquendi), а не на искусственные книжные нормы (usus scribendi). Выдвигая в статье «Отчего в России мало авторских талантов?» (1802) программное требование «писать как говорят», Карамзин прямо ссылается на «французов», то есть на пример французского литературного языка: по его словам, «Французский язык весь в книгах <...> а Русской только отчасти: Французы пишут как говорят, а Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом»[1].

Таким образом, в идеале разговорная речь и литературный язык должны слиться, но основная роль при этом принадлежит именно разговорной стихии как естественному началу в языке.

Такой подход не исключает создания неологизмов (необходимых для выражения тех или иных понятий, заимствуемых из западных языков), но и само создание неологизмов в конечном счете мотивируется ссылкой на западноевропейскую языковую ситуацию — в данном случае на опыт немецкого языкового строительства. В письме к Ш. Бонне от 22 января 1790 г., помещенном в «Письмах русского путешественника», Карамзин пишет: «Надобно будет составлять или выдумывать новыя слова, подобно как составляли и выдумывали их Немцы, начав писать на собственном языке своем[2]. Однако усвоение неологизмов в принципе также предполагает апробацию в разговорной речи — или же критерий вкуса (языкового чутья), который по идее должен быть функционально эквивалентен апробации такого рода[3].

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 529.

[2] Ср. это место во французском оригинале: «Il faudra faire de nouvelles compositions, et même créer de nouveaux noms, ce que les Allemands ont été obligés de faire, quand ils sont commencé à écrire en leur langue» (см.: *Карамзин Н. М.* Письма... С. 170—171).

[3] Предложение Карамзина в этом отношении не оригинально: ср., например, в «Кошельке» Н. И. Новикова (1774. Л. 1) обсуждение возможности «с крайнею только осторожностию употреблять иностранные речения», а вместо этого «отыскивать коренные слова российские и сочинять вновь у нас не имевшихся, *по примеру немцев* (курсив наш. — *Ю. Л., Б. У.*)», причем специально подчеркивается, что «сие утвердиться не может, если не будет такая же строгость наблюдаема и в обыкновенном российском разговоре» (см.: Сатирические журналы Н. И. Новикова [«Трутень», 1769—1770, «Пустомеля», 1770, «Живописец», 1772—1773, «Кошелек», 1774]. Ред., вступ. ст. и коммент. П. Н. Беркова. М.; Л., 1951. С. 478—479). Эти предложения опираются вообще на достаточно устойчивую традицию калькирования немецких слов (ср.: *Тихонравов Н. С.* Русские драматические произведения 1672—1725 годов. СПб., 1874. Т. 1. С. XXI; Т. 2. С. 550—554; *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. 2-е изд. М., 1938. С. 29—30; *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Труды по русской и славянской филологии. Т. 24. Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 359. С. 210). Как выяснили исследования относительно недавнего времени, многие неологизмы, по традиции приписываемые Карамзину, существовали уже и до него; роль Карамзина в создании неологизмов нуждается вообще в радикальной переоценке (см.: *Hüttl-Worth G.* Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert. Wien, 1956).

Следует вообще оговориться, что карамзинисты ориентируются не на реальную, а, так сказать, на идеальную разговорную речь, апробированную критерием вкуса (это соответствует принципиальной утопичности идеологической позиции Карамзина, о которой мы уже говорили в начале данной статьи). «...Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом», — признается Карамзин, а его последователь П. И. Макаров замечает в рецензии на перевод романа Жанлис: «...надобно иногда писать так, как должно бы говорить, а не так, как говорят»[1]. Такая позиция, понятно, допускает известное несовпадение литературного языка и разговорной речи, которое, однако, никоим образом не обусловлено их принципиальным противопоставлением. Речь идет, напротив, о модификации и совершенствовании разговорной речи как средства создания литературного языка.

Подобный подход закономерно обусловливает повышение роли индивидуального творчества в процессах формирования и эволюции языка: в частности, эволюция литературного языка оказывается связанной с *модой* — через индивидуальное начало. Нетрудно усмотреть идейную связь этой концепции литературного языка с характерным для Карамзина пониманием натуры как «изящной украшенной природы»[2], что придает своеобразный смысл той установке на естественность, которую вообще декларирует Карамзин. Эстетизация природы подразумевает взгляд на естественное через призму искусственных текстов: так, пейзаж просматривается сквозь литературное его описание, великий человек

---

[1] Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 122.

[2] Ср., например, стихотворение «Дарования» (1796), где, обращаясь к Поэзии, Карамзин восклицает:

Натуры каждое явленье
И сердца каждое движенье
Есть кисти твоея предмет;
Как в светлом, явственном кристале,
Являешь ты в своем зерцале
Для глаз другой, прекрасный свет;
И часто прелесть в подражаньи
Милее, чем в Природе, нам:
Лесок, цветочек в описаньи
Еще приятнее очам.

Эту строфу автор снабжает следующим подстрочным примечанием: «Все прелести изящных Искусств суть не что иное, как подражание Натуре: но копия бывает иногда лучше оригинала, по крайней мере делает его для нас всегда занимательнее: мы имеем удовольствие сравнивать» (*Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. С. 219). В другом стихотворении того же времени («К бедному поэту») Карамзин писал:

Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой, — в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!
(Там же. С. 195).

современности — через литературный образ великого человека прошлого и т. п. Применительно к языку это означало бы облагораживание естественного употребления сквозь призму некоторой сложившейся языковой нормы. Но поскольку такой традиции не было, подчеркивалась роль моды, которая в отличие от культурных текстов давала образцы не прошлого, а *будущего* употребления.

Критерий вкуса имеет принципиально важное значение в эстетике Карамзина и в его подходе к лингвистическим проблемам[1]. Вкус понимается как «некоторое *эстетическое чувство*, нужное для любителей Литературы» («Цветок на гроб моего Агатона», 1793)[2], опирающееся на интуицию и «неизъяснимое для ума» («Речь, произнесенная в <...> Российской Академии», 1818)[3]; такое понимание противопоставляет «естественный вкус» просветительскому рационализму XVIII в. Изменяемость вкуса («вкус изменяется и в людях и в народах») оправдывает изменение как литературы, так и литературного языка, и это определяет отношение к языковому прогрессу. Изменения языка признаются естественным и неизбежным процессом и объясняются «естественным беспрестанным движением живого слова к дальнейшему совершенству»[4]. «Удержать язык в одном состоянии не возможно: такого чуда не бывало от начала света, — писал в этой связи П. И. Макаров, полемизируя с Шишковым (в рецензии на «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» А. С. Шишкова). — Придет время, когда и нынешний язык будет стар»[5].

***

Итак, языковая программа карамзинизма предполагает принципиальную установку на узус, а не на стабильную норму. Литературный язык в принципе ориентируется на разговорную речь и подчиняется ей в своем развитии. Естественным следствием такой установки является стремление избавиться от специфических книжных элементов, поскольку они осмысляются как таковые, — иначе говоря, от славянизмов, неупотребительных в разговорном общении и возможных лишь в письменном тексте[6].

---

[1] Ср.: *Левин В. Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика). М., 1964. С. 122—126.

[2] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 361—362.

[3] Там же. С. 646.

[4] Там же. С. 644.

[5] Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 162—163.

[6] Поскольку понятие «славянизм» приобретает при этом чисто функциональный смысл, отношение к конкретным лексическим славянизмам может довольно существенно варьироваться у разных авторов и в разные периоды. Об эволюции понятия славянизма во второй половине XVIII — начале XIX в. см.: *Зимкова В. В.* Славянизм как термин стилистики // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова. М., 1974; *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... О славянизмах у Карамзина см.: *Ковалевская Е. Г.* Славянизмы и русская архаическая лексика в произведениях Н. М. Карамзина // Учен. зап. Ленинградского пед. ин-та им. Герцена, 1958. Т. 173; *Левин В. Д.* Очерк стилистики... С. 245, 255 и след., 295 и след., ср. также с. 315—316.

При этом необходимо подчеркнуть, что то, что самими карамзинистами осмыслялось как сближение литературного языка с разговорной речью, языком общества, неизбежно понималось их противниками как отказ от национальной литературной традиции. Для Шишкова, в частности, язык общества вообще «не имел никакого отношения к языку литературы. Сама постановка вопроса об их взаимовлияниях лишена была для него смысла»[1]; такой же подход характерен в общем и для других «архаистов». Если в свое время разговорная речь не входила в систему литературного языка и осмыслялась как нечто прямо ему противоположное (такое понимание и сохраняется у Шишкова и его партии), то теперь, согласно концепции карамзинистов, она оказывается включенной в стилистический диапазон литературного языка[2]. Соответственно, если ранее понятия «книжного» и «литературного» языка в общем совпадали по своему содержанию, то теперь «книжный» язык приобретает новое, а именно более узкое значение по сравнению с «литературным» языком. «Книжное» начинает пониматься как то, что относится к литературному языку, но при этом невозможно в разговорной речи. В этом именно смысле карамзинисты борются с книжным языком: так, карамзинист П. И. Макаров, развивая мысль Карамзина, призывает в уже упоминавшейся рецензии на книгу Шишкова «писать как говорят, и говорить как пишут <...> чтобы совершенно уничтожить язык книжной»[3]. Речь идет при этом по существу не столько о борьбе непосредственно с церковнославянской языковой стихией, сколько вообще о борьбе с теми языковыми средствами, которые нельзя применять в разговорной речи. Поскольку, однако, в точности таким же образом карамзинисты могут понимать и «славянизмы» — а именно, как слова, невозможные в разговорной речи[4], — постольку понятия «книжного»

---

[1] *Левин В. Д.* Традиции высокого стиля в лексике русского литературного языка первой половины XIX в. // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1962. Т. 5. С. 187. Полемизируя со статьей «Отчего в России мало авторских талантов?», где Карамзин ссылается на французов и призывает писать, как говорят, и говорить, как пишут, Шишков замечает: «Расинов язык не тот, которым все говорят, иначе всякой бы был Расин» ([*Шишков А. С.*]. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. 2-е изд. СПб., 1818. С. 159).

[2] Весьма характерен протест Шишкова против стилистического нормирования разговорной речи. Отвечая на критику П. И. Макарова, Шишков писал в своих «Примечаниях на критику, изданную в „Московском Меркурии"...»: Макаров «думает, что мы разговариваем между собою простым, средним и высоким языком! Признаться, что я о таком разделении разговоров наших на различные слоги отроду в первый раз слышу» (Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова. СПб., 1824. Ч. 2. С. 432). Как отмечает В. В. Виноградов, «Шишков склонен относиться к устной стихии как к некоторому субстанциональному единству, которое строится на принципиально иных основах, чем язык литературы» (*Виноградов В. В.* Очерки по истории... С. 199).

[3] Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 180.

[4] Шишков не без основания отмечал в «Рассуждении о красноречии Священного Писания...», что карамзинисты основываются «на том мечтательном правиле, что которое слово употребляется в обыкновенных разговорах, так то Руское, а которое не употребляется, так то Славенское» (Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова. СПб., 1825. Ч. 4. С. 58).

и «славенского» для них совпадают. В результате антитеза «разговорного» и «книжного» соответствует антитезе «русского» и «славенского»[1].

Одновременно претерпевает изменение и понимание «литературы», ее объема и задач: если ранее *литература* означала «образованность», «ученость», «письменность» в широком смысле (в соответствии с этимологией этого слова, ср.: *homo litteratus* — «грамотный, образованный человек»), то с 1780-х гг. литература начинает пониматься как «изящная словесность» (*belles-lettres*). При этом слово «литература», оказываясь равнозначным слову «словесность», вытесняет у карамзинистов это последнее и начинает восприниматься вообще как галлицизм (ср. *фр.* littérature и *лат.* litteratura), вызывая нападки литературных противников Карамзина (см., например, возражения Шишкова)[2]. Тем самым если ранее «литература» не противопоставлялась «науке» и «литературные» тексты включали в себя научные, то постепенно эти понятия приобретают почти антагонистический смысл; вопрос об отличии писателя от ученого и о специфике художественной литературы, отличающей ее от научного текста, впервые в России поднимается в статье Карамзина 1791 г., посвященной херасковскому «Кадму и Гармонии»[3]. Противопоставляя в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (1793) «полезные искусства» и «изящные <или: приятные> искусства», Карамзин связывает первые со свойственным человеку стремлением «жить покойно», а вторые — с

---

[1] Соответственно в своей рецензии на прозаический перевод поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» Карамзин писал: «Слог нашего Переводчика <П. С. Молчанова> можно назвать изрядным; он не надут славянщизною и довольно чист» (Московский журнал. 1791. Ч. 2. С. 324); итак, чистота стиля связывается с отсутствием славянизмов. В рецензии на перевод «Клариссы» Ричардсона Карамзин иронически упоминал о «моде, введенной в Руской слог *големыми претолковниками NN., иже отревают все, еже есть Руское, и блещаются блаженне сиянием славяномудрия*» (Московский журнал. 1791. Ч. 4. С. 112); слово «големый» в этой фразе представляет собой, вероятно, отклик на «Лирическое послание» Н. П. Николева, где употреблено это слово (Новые ежемесячные сочинения. 1791. № 6. С. 33); ср. полемику И. И. Дмитриева и Николева относительно данного слова (см.: *Арзуманова М. А.* Из истории литературно-общественной борьбы 90-х годов XVIII в. Н. П. Николев и Н. М. Карамзин // Вестник ЛГУ. 1965. № 20. Серия истории, языка и литературы. Вып. 4. С. 74). Несколько менее показательны аналогичные замечания Карамзина по поводу славянизмов в пьесах, поскольку речь идет в данном случае не столько о стилистике, сколько о требовании реалистичности диалогической речи (см., например: Московский журнал. 1791. Ч. 1. С. 232—233, 357). Ср. также критические возражения Карамзина, касающиеся конкретных славянизмов, цитируемые у Виноградова (*Виноградов В. В.* Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. М.; Л., 1935. С. 47; *он же.* Очерки по истории... С. 175) или Левина (*Левин В. Д.* Очерк стилистики... С. 86—87, 200—201).

[2] [*Шишков А. С.*] Рассуждение о старом и новом слоге... С. 296—297, примеч.; ср.: *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972. С. 161—162; *Веселитский В. В.* Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972. С. 221—224.

[3] Московский журнал. 1791. Ч. 1. С. 80 и след. Ср.: *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 510.

желанием «жить приятно»[1]; таким образом, наука связывается прежде всего с прагматикой и оказывается вне эстетических критериев, которые принадлежат исключительно компетенции «изящных искусств», в частности литературы. Характерно, что если в первоначальной редакции «Писем русского путешественника» (1791) Карамзин пользуется выражением «изящные науки» для передачи значения французского beaux-arts[2], то в последующих изданиях Карамзин может заменять *Изящные Науки* на *Изящные Искусства*[3]; соответствующая правка относится к 1797 г., то есть появляется уже в первом отдельном издании «Писем»[4].

При этом противопоставление науки и литературы у карамзинистов находит соответствие в противопоставлении книжного и литературного языка: литературный язык призван обслуживать именно литературные тексты, тогда как книжный язык может употребляться в текстах научных и им подобных. Характерно, что когда Карамзин выступил со своей «Историей государства Российского», язык которой по сравнению с другими карамзинскими сочинениями должен быть квалифицирован как архаический, ее появление было воспринято противоположной партией как отказ от принципов «нового слога» и возвращение к предшествующей традиции. Шишков писал, например, в «Сравнении Сумарокова с Лафонтенем...», что Карамзин в «Истории государства Российского» хотя и «не образовал язык, но возвратился к нему, и умно сделал»[5]. Это мнение, как ни странно, разделяется и одним из самых проницательных исследователей литературно-языковой полемики начала XIX в. — Ю. Н. Тыняновым. «Не очень распространен <...> тот факт, — говорит Тынянов, — что не Карамзин победил Шишкова, а, напротив, Шишков Карамзина. По крайней мере в 20-х и 30-х годах было ясно многим, что в „Истории государства Российского" Карамзин сдал свои стилистические позиции своим врагам»[6]. Вряд ли можно с этим согласиться: необходимо помнить, что «История государства Российского» не является литературным произведением в традиционном смысле этого слова (хотя и создало целую литературную традицию и могло восприниматься современниками как sui generis[7] произведение художественное) — и именно в силу этого обстоятель-

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 381. Вместе с тем в стихотворении «Дарования» (1796) Карамзин писал:

Посредством милых Граций, Муз,
Приятность с *пользой* заключила
Навеки дружеский союз.
(*Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. С. 218)

[2] Московский журнал. 1791. Ч. 2. С. 23.

[3] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 40, 410.

[4] Выражение «Изящные Искусства» можно встретить у Карамзина уже в стихотворении «Дарования» 1796 г. (см.: *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. С. 219, примеч. 1).

[5] Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова. СПб., 1828. Ч. 12. С. 168.

[6] См. предисловие Ю. Н. Тынянова в кн.: *Кюхельбекер В. К.* Дневник. Л., 1929. С. 4. Ср. также: *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 292—293.

[7] Своего рода (*лат.*).

ства, с позиции карамзинистов, здесь вполне оправдано применение специфических книжных языковых средств. То, что было воспринято сторонниками Шишкова как победа, на самом деле входило в программу «нового слога».

***

Установка на разговорную речь определяет социолингвистический аспект языковой программы карамзинизма. В самом деле, противопоставление письменного и разговорного языка проявляется, в частности, в том, что первый имеет принципиально наддиалектный характер, тогда как второму свойственно диалектное дробление (на географические или социальные диалекты): первый стремится к единообразию, второй — к дифференциации. В том случае, когда литературный язык отчетливо противопоставляет себя разговорной речи, одни и те же нормы правильной речи призваны объединять самые разные слои общества (при том что степень владения соответствующими нормами может существенно различаться в разных социальных группах); напротив, ориентация литературного языка на разговорную речь естественно связывается с речевыми навыками определенного социума. Соответственно с отказом от единых критериев языковой правильности (объединяющих все общество в целом) закономерно возникает проблема *социального престижа* тех или иных речевых навыков: социальная норма выступает при этом как субститут книжной.

Язык карамзинистов явно ориентируется на разговорную речь светского общества или, иными словами, на социальный диалект дворянской элиты. В статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин ссылается прежде всего на речь «лучших домов», то есть beau monde'a, рассматривая совершенствование этой речи как необходимое условие создания литературного языка; по мысли Карамзина, «Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование <...> но и <...> тонкой вкус и знание света»; «хорошие Авторы» появятся в России только тогда, когда «увидим между светскими людьми более ученых, или между учеными более светских людей»[1]. По словам ближайшего сподвижника Карамзина, И. И. Дмитриева, Карамзин «по зрелом размышлении пошел своей дорогой и начал писать языком, подходящим к *разговорному образованного общества* семидесятых годов» («Взгляд на мою жизнь»)[2]. Между тем противник карамзинизма, Н. А. Полевой, писал о карамзинистах: «Эта школа не так многочисленна печатно, как словесно, и не столько действует она в литературе, сколько в так называемом лучшем обществе»[3]. Ср. в этой связи также призыв П. И. Макарова согласовать «книжный язык» «с языком хорошего общества» («Некоторые мысли издателей Меркурия»)[4]. Соответственно, полемизируя с Шишковым, П. И. Макаров предлагает последнему

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 528, 527, 531.

[2] *Дмитриев И. И.* Соч. / Ред. и примеч. А. А. Флоридова. СПб., 1893. Т. 2. С. 61. Курсив наш. — *Ю. Л., Б. У.*

[3] *Сухомлинов М. Н.* История Российской Академии. СПб., 1888. Вып. 8. С. 348.

[4] Московский Меркурий. 1803. Ч. 1. С. 10. Выражение «книжный язык» в данном случае означает «литературный язык».

попробовать перевести на «старый слог» разговоры «большого света» и таким образом проверить качество того языка, сторонником которого является Шишков[1].

Отсюда ясно, что языковая полемика «архаистов» («славянофилов») и «новаторов» (карамзинистов) имеет отчетливо выраженный социальный характер. Так, карамзинисты могут вести борьбу с церковнославянской языковой стихией под знаменем борьбы с «подьяческим» или «семинарским» языком, эксплицитно переводя языковую полемику в социолингвистический план: славянизмы осмысляются как семинаризмы или речевые признаки приказного сословия, то есть книжный язык фактически переосмысляется в социолингвистической перспективе в своего рода сословный жаргон[2]. Соответственно одни и те же оценочные характеристики могут иметь существенно различный смысл у карамзинистов и у их литературных противников: если у первых они выступают как социолингвистические оценки, то у вторых они фигурируют безотносительно к социальному расслоению общества. Такие эпитеты, как *благородный, простонародный* и т. п., применительно к характеристике языка (слога) употребляются в карамзинистской критике исключительно как социолингвистические оценки: эпитет благородный относится к языку светского общества, *простонародный* — к языку низших сословий. Между тем для Шишкова и его сторонников эпитет *благородный* в качестве стилистической характеристики равносилен «важному, высокому, книжному», тогда как *простонародное* может относиться к разговорному началу, характеризуя разговорную речь всех слоев общества, включая сюда и представителей светской элиты[3].

Итак, установка карамзинистов на разговорную речь предполагает ориентацию на речевые нормы элитарного общества. Мы знаем об этих нормах главным образом по их утрированным, карикатурным изображениям в сатирической литературе второй половины XVIII — начала XIX в., где они обычно именуются «щегольским наречием»[4]. Если отвлечься от преднамеренного сатирического утрирования и ряда стереотипных приемов изображения щеголя-пе-

---

[1] В рецензии на книгу А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» Макаров писал: «Вместо жалоб, что мы не любим своих обычаев, лучше бы приложить несколько переводов из тех Французских романов, которые наполнены разговорами большого света; или из тех легких сочинений, какими замысловатая Вольтерова Муза пленяла любезных Парижских Граций: тогда Читатели уверились бы, что старинный наш язык достаточен для выражения каждой мысли. Естьли же таких сочинений перевести не возможно, то по крайней мере надлежало бы доказать, что мы, переняв образ жизни чужестранной и желая показывать то же остроумие, каким блистают другие народы, не имеем однакожь надобности изъяснять понятий других народов» (Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 178—179).

[2] По всей видимости, именно в результате этого процесса появляется отрицательно-ироническое значение славянизмов в литературном языке — например, таких, как *пресловутый, оглашенный, осклабиться, распинаться* и т. п.

[3] См.: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 223, 232, 243—245.

[4] Вместе с тем внимательный анализ под соответствующим углом зрения позволит, можно думать, обнаружить декларации о языке, написанные с позиции самой «щегольской» культуры. Отметим в этой связи «Опыт о языке вообще и о Российском языке» неизвестного автора из Ярославля, опубликованный в октябрьском выпуске «Собрания новостей» за 1775 г., который написан, возможно, именно с этих позиций.

тиметра, «щегольское наречие» и может рассматриваться как дворянский социальный диалект *в его специфических формах*; иначе говоря, речь дворянства — постольку, поскольку она не нейтральна, социально маркирована, то есть противостоит (и в известных случаях сознательно противопоставляется) речи всего остального русского общества. Естественно, что эти специфические формы общения в первую очередь характерны для столичных салонов и отличаются прежде всего гетерогенностью, обусловленной влиянием со стороны западноевропейских языков: именно европеизмы, в первую очередь галлицизмы (заимствования и кальки), и создают наиболее очевидный социолингвистический барьер между речью дворян и речью остальных слоев общества[1].

По словам В. В. Виноградова, «изучение „наречия" „щеголей" и „щеголих" конца XVIII века нельзя отделять от вопроса о светском языке русской дворянской интеллигенции (столичной и находящейся под влиянием столиц — провинциальной), которая, разрывая связи с традициями церковной книжности, питалась французской „культурой" <...> Не будет парадоксальным утверждение, что диалект „щеголей" и „щеголих" XVIII века стал одной из социально-бытовых опор литературной речи русского дворянства конца XVIII — начала XIX века»[2].

Упорная — и, видимо, безуспешная — борьба с «щегольским наречием» в литературе второй половины XVIII — начала XIX в., может быть, ярче всего указывает на значимость этого феномена как культурно-исторического явления. Во всяком случае, влияние «щегольского наречия» отчетливо прослеживается в современном литературном языке, и это позволяет констатировать определенную *разговорную традицию*, которая первоначально была характерной исключительно для дворянского beau monde'a, а затем стала общим достоянием. Если такие, например, слова, как *интересный* (в значении «любопытный», «занимательный», но не «выгодный», «прибыльный»), *серьезный*,

---

[1] Это явление было в значительной мере обусловлено перенесением немецкой языковой ситуации на русскую почву. Галломания русского дворянского общества второй половины XVIII в. с известным правом может рассматриваться вообще как отражение языковой ситуации при немецких дворах: действительно, французско-русский макаронизм русской светской речи очень близко соответствует французско-немецкому макаронизму немецкого языка «эпохи модников» (à la mode-Zeit). Таким образом, если субъективно русские петиметры были ориентированы на французский язык и французскую культуру, то фактически они могли просто импортировать немецкую языковую ситуацию: немецкая языковая культура выполняла роль актуального посредника в русско-французских контактах. Ср. в этой связи позднее у Кюхельбекера в «Обозрении Российской словесности 1824 года» объединение «Германо-Россов и Русских Французов», которые противопоставляются «Славянам», то есть сторонникам Шишкова (см.: Литературные портфели. Л., 1923. [Вып.] 1. С. 74); полагаем, что при этом может иметься в виду не только литературная позиция (так, под «Германо-Россом» может подразумеваться, например, Жуковский, а под «Русским Французом» — Батюшков и т. п.), но и позиция языковая, которые вообще неразрывно слиты в литературно-языковом сознании того времени и особенно в сознании Кюхельбекера.

[2] *Виноградов В. В.* Язык Пушкина... С. 195—196.

развязный, — в свое время одиозные (социолингвистически маркированные) и характерные для стилизованной речи галломанов-петиметров в сатирической литературе XVIII в. — вошли в русский литературный язык как нейтральные выражения и совсем не ощущаются здесь как гетерогенные элементы, то мы обязаны этим именно традиции разговорной речи, идущей от «щегольского наречия»[1]. Это влияние не ограничивалось лексикой, распространяясь также на синтаксис и фонетику[2]. Значительная роль в адаптации соответствующих выражений и конструкций принадлежит именно карамзинистам, деятельность которых в определенной степени и узаконила данную традицию.

Связь карамзинизма с «щегольской» культурой не ограничивается социолингвистическим аспектом и проявляется даже в личном поведении. Целый ряд карамзинистов — начиная от самого Карамзина в молодости, а также таких типичных представителей этого движения, как П. И. Макаров, П. И. Шаликов или В. Л. Пушкин, — могли восприниматься как «щеголи»[3]. Во всяком случае бытовая речь Карамзина несла на себе явный отпечаток «щегольского наречия»[4].

---

[1] Конкретные примеры такого рода можно значительно умножить. См., в частности: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 248—250, 282—284 (примеч. 9, 13), 285 (примеч. 17), 286—287 (примеч. 20), 289—290 (примеч. 28, 30), 291 (примеч. 37), 292—294 (примеч. 45, 46), 294—295 (примеч. 52, 59), 297—298 (примеч. 67, 71), 299 (примеч. 83), 301—302 (примеч. 103), 306 (примеч. 124), 310—311 (примеч. 150), 315 (примеч. 185), 319 (примеч. 213).

[2] Ср. примеры синтаксических галлицизмов, вошедших в литературный язык, у А. В. Исаченко в его работах «Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов?» (Вопросы языкознания. 1958. № 3. С. 45) и «Borrowing or Loan Translation? A Note on Recent Inter-Slavic Linguistic Contacts» (Ann. de l'Inst. de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves. Bruxelles. 1968. T. 18, dédié à Boris Unbegaun. P. 182—184). К фонетическим признакам «щегольского наречия», которые получают в дальнейшем более или менее широкое распространение, относятся грассирование и манерное шепелявенье (свидетельство о том, что подобное произношение восходит именно к «щегольскому наречию», можно найти в «Живописце» (1772. Ч. 2. Л. 12), ср. в кн.: Сатирические журналы Н. И. Новикова... С. 418), так же как и особая фоностилистика иностранных слов (прононс и т. п.). Материал по «щегольскому наречию» можно найти в статье: *Биржакова Е. Э.* Щеголи и щегольской жаргон в русской комедии XVIII века // Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981. Высказанные в этой статье теоретические положения, как правило, не оригинальны и не обнаруживают достаточно ясного понимания существа проблемы.

[3] См.: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 250—251. Этому отнюдь не противоречат спорадические выпады Карамзина против щегольства и галломании — например, в «Письмах русского путешественника» или в статье «Странность» 1802 г. (*Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 609—610), — которые объясняются скорее всего тактическими соображениями, то есть служат ответом на реальную или возможную критику. Нам уже приходилось упоминать выше о том, что негативные выступления Карамзина в целом ряде случаев не столько свидетельствуют о действительных взглядах автора, сколько говорят об актуальности для него соответствующей проблематики.

[4] Ср. особенно впечатления Г. П. Каменева о бытовой речи Карамзина в его письме к С. А. Москотильникову от 10 октября 1800 г.: *Бобров Е.* Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки. Казань, 1902. Т. 3. С. 130; ср.: *Виноградов В. В.* Язык Пушкина... С. 196—197.

Черты «щегольского наречия» могут быть прослежены и в литературном творчестве карамзинистов, прежде всего в первом (журнальном) варианте «Писем русского путешественника». Уже первая фраза «Писем»: «Расстался я с вами, милые, расстался!» — должна была служить своеобразным сигналом, задавая тон всему сочинению и соответствующим образом ориентируя читателя: слово *милые* в подобном контексте воспринималось как модное, «щегольское» слово[1], в дальнейшем же это слово становится одним из типичных ярлыков карамзинизма[2].

В дальнейшем соответствующие черты могут отчасти устраняться из литературных текстов по мере того, как они осознаются как ненейтральные (в этом отношении показательна последующая авторская правка «Писем русского путешественника», в свое время рассмотренная — хотя и не исчерпывающим образом — В. В. Сиповским)[3]; однако в большинстве случаев подобные выражения и конструкции усваиваются в литературном языке,

---

[1] Это слово обычно для стилизованной речи петиметров в сатирической литературе XVIII в., например в журналах Новикова (см.: Сатирические журналы Новикова... С. 202—203) или в комедиях Княжнина (см.: *Княжнин Я. Б.* Избр. произведения / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Л. И. Кулаковой. Л., 1961. С. 547, 646). Шишков констатирует, что слово *милый*, как оно употребляется Карамзиным, является «одним модным словцом, каковыя по временам проявляются иногда в столицах» ([*Шишков А. С.*] Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. С. 176). Весьма характерен иронический отзыв М. И. Багрянского о Карамзине в письме к А. М. Кутузову от 29 января 1791 г.: «Pour vous donner quelques idées de son style excellent je vous citerai quelques morceaux des lettres qu'il adresse à ses *милые*» (*Барсков Я. Л.* Указ. соч. С. 86). Вообще Карамзин охарактеризован в этом письме (так же, как и в письме А. М. Кутузова того же года, — см.: Там же. С. 70—73) как типичный петиметр.

[2] См.: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 316—317 (примеч. 197); XVIII век. Сб. 10. Л., 1975. С. 100—101.

[3] *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899. С. 170—237. Соответствующая правка «Писем русского путешественника» в какой-то степени может быть связана и с изменчивостью «щегольского наречия» как социального диалекта дворянской элиты. «Щегольское наречие» характеризуется относительной нестабильностью и подвержено изменениям, связанным с фактором моды (это не мешает прослеживать здесь определенные традиции разговорной речи). Одновременно влияние разговорной речи дворянского общества на речь других сословий (прежде всего городского мещанства) обусловливает постоянное обновление «щегольского наречия», определяющееся стремлением элитарной речи к обособлению, — те или иные выражения, ранее принадлежавшие «щегольскому наречию», перестают употребляться его носителями, воспринимаясь теперь как «мещанские», устаревшие и т. п., то есть приобретая специальный стилистический или социолингвистический нюанс. Так, Шишков констатирует, что «обветшалыя иностранныя слова, как например: *авантажиться, манериться, компанию водить, куры строить, комедь играть* и проч. <...> прогнаны уже из большова света и переселились к купцам и купчихам» ([*Шишков А. С.*] Рассуждение о старом и новом слоге... С. 23, примеч.); все эти выражения были характерны в свое время для «щегольского наречия». Свидетельство о том, что галлицизмы попадают из языка светского общества на улицу, становясь достоянием мещанского просторечия, можно найти и в гоголевских «Мертвых душах» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1951. Т. 6. С. 164—165, 471—472; ср. также с. 182—183).

утрачивая специальный социолингвистический оттенок. Естественно, что в литературных текстах черты «щегольского наречия» как собственно разговорного явления прослеживаются все же в меньшей степени, нежели в обиходной речи (в этом плане показательно сопоставление языка «Писем русского путешественника» с языком подлинных писем молодого Карамзина — например, его писем к Дмитриеву, — иначе говоря, сопоставление литературных и эпистолярных текстов). Даже в условиях сознательной ориентации на разговорную языковую стихию литература предполагает определенный отбор средств выражения (с помощью критерия вкуса), и соответственно разговорная речь подвергается здесь известной фильтрации; наконец, необходимо помнить, что карамзинисты ориентируются не столько на реальное, сколько на идеальное состояние разговорной речи (см. выше).

Основные признаки карамзинского подхода к литературному языку, охарактеризованные еще в классической работе Я. К. Грота о Карамзине[1], а именно «ограничение <роли> славянизмов», «введение иностранных слов для новых понятий», «сообщение прежним словам нового значения» и «составление новых слов», находят соответствие в практике «щегольской» речи[2]. Если носители «щегольского наречия» в большинстве случаев и не ставили перед собой собственно литературных задач, то для них всегда были актуальны проблемы изящества, «приятности» речи. Известная карамзинская характеристика новой русской литературы в «Пантеоне российских авторов» 1801 г. — «*приятность слога*, называемая Французами

[1] См.: *Грот Я. К.* Карамзин в истории русского литературного языка. Пересмотр вопроса о начале «нового слога» // Грот Я. К. Труды. Т. 2: Филологические разыскания (1852—1892). СПб., 1899. С. 79—83.

[2] О том, что петиметры выдумывали новые слова и пускали их в обращение, см., например, у В. Покровского (Щеголихи в сатирической литературе XVIII века. М., 1903. С. 39—40, 54; приложение, с. 19), С. Порошина (Записки, служащие к истории его имп. высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича. 2-е изд. СПб., 1881. Стб. 295—296). Ср. близкие по духу рекомендации в уже упоминавшемся трактате «Опыт о языке...» (Собрание новостей. 1775. Окт.) неизвестного русского автора-галломана. Что касается придавания словам новых значений, то примером здесь могут служить такие слова, как «прелестный», «очаровательный», «обаятельный», «обожать» и т. п. Первоначально эти слова связывались со злым, колдовским или языческим началом; однако в речи щеголей они были сближены со своими французскими эквивалентами (charmant, séduisant, idolâtrer и т. д.) и стали употребляться в положительном смысле. Именно этот смысл и был воспринят карамзинистами; в этом значении они вошли и в современный литературный язык. Ср.: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 248—249, 301—302 (примеч. 103); см. также: *Виноградов В. В.* О некоторых вопросах русской исторической лексикологии // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1953. Т. 12. Вып. 3. С. 208—209; *Hüttl-Worth G.* Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert. S. 144—145; *Хютль-Ворт Г.* Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений // American Contributions to the 5th Intern. Congr. of Slavists (Sofia, 1963); The Hague, 1963, P. 145; *Хютль-Ворт Г.* О проблемах русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. // Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Sborník věnovaný Univ. Karlovou k 200. výročí narození Josefa Jungmanna. [Praha], 1974. S. 35.

Elegance»[1] — ближайшим образом соответствует требованиям «приятного вкуса», «приятства слуха» и т. п., выдвигавшимся для «щегольского наречия»[2]. Характерно, что выражение *приятные искусства* в фразеологии Карамзина (в статье «Нечто о науках, искусстве и просвещении» 1793 г.)[3] соответствует по значению термину *щегольские шуки* у В. Н. Татищева (в «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищ» 1730-х гг.)[4]: в обоих случаях имеются в виду «изящные искусства», и это связано вообще с важным для карамзинизма противопоставлением науки и искусства. Точно так же карамзинистов и представителей «щегольского наречия» объединяет ориентация на дамский язык и вкус[5] и отношение к языковой эволюции, в которой усматривается не порча языка, а прогрессивное явление, связываемое с совершенствованием вкуса. Все сказанное позволяет видеть в носителях «щегольской» речи ту культурную среду, которая способствовала возникновению карамзинизма. Не случайно Кюхельбекер мог считать, что язык карамзинистской литературы — это не что иное, как «un petit jargon de coterie» (см. его статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»)[6].

---

[1] *Карамзин Н. М.* Пантеон российских авторов. М., 1801. Ч. 1. С. к портрету Кантемира.

[2] См.: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 224—228. Цитированная фраза вызвала особенно резкие нападки оппонентов Карамзина; ср., например, пародирование ее у Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге Российского языка» (Цит. изд. С. 28, 165, 425, 434; ср. также с. 3—4, 16, 46) или у Д. И. Хвостова в эпиграмме «Госпожа и ткачи», направленной против Шаликова, которую Дмитриев, однако, принял на свой счет (ср. ответную эпиграмму Дмитриева «Без имя рифмодей глумился сколько мог...»; история этой полемики раскрыта в дневнике Хвостова, хранящемся в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР. Ф. 322. № 11. Л. 4, 26). Любопытно, что, перепечатывая «Пантеон российских авторов» в Собрании сочинений 1820 г., Карамзин устраняет слова «называемая Французами Elegance» — явно в связи с их откровенно эпатирующим характером. Ссылки на «приятность» слога вообще очень характерны для Карамзина и его последователей (см.: *Левин В. Д.* Очерк стилистики... С. 122—123). Слова «приятный», «приятность» выступают при этом в текстах конца XVIII в. как обычные соответствия к французским élégant, élégance (*Веселитский В. В.* Отвлеченная лексика... С. 165—166; *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 228, примеч. 112).

[3] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 393.

[4] *Татищев В. Н.* Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ. С предисл. и указ. Н. Попова // Чтения в Обществе истории и древностей российских при имп. Московском ун-те. 1887. Кн. 1. С. 82.

[5] См.: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 230—232; *Левин В. Д.* Очерк стилистики... С. 129—130; *Виноградов В. В.* Язык Пушкина... С. 209—220.

[6] Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 38. То же, по-видимому, говорит и Пушкин, когда характеризует язык карамзинистов как «язык условленный, избранный» (в статье «О поэтическом слоге» 1828 г.) и вместе с тем противопоставляет «щегольство речей» «простонародному слогу», принятому в «истинно дворянском обществе» (в статье «О новейших блюстителях нравственности» 1830 г. и в набросках к VIII главе «Евгения Онегина» того же времени). См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. [М.], 1949. Т. 11. С. 73, 98; Т. 6. С. 626—627.

Говоря о «щегольском наречии», целесообразно различать социальный жаргон и социальный диалект, поскольку данный термин фактически покрывает оба значения. Под социальным жаргоном понимается вообще речевая норма, приобретаемая в сознательном возрасте и связанная с вхождением в некоторую социальную корпорацию, к которой, по определению, нельзя принадлежать с самого рождения (примером могут служить всякого рода профессиональные арго, блатная речь и т. п.); пользование такой нормой предполагает осмысление себя членом данного социума, причем сам социум негласно регламентирует право на соответствующее речевое поведение. Овладение жаргоном всегда носит более или менее искусственный характер и связано с осознанным стремлением к обособлению и противопоставлению некоторой социальной группы всему остальному обществу. Однако «щегольское наречие» как социальный жаргон обнаруживает тенденцию превращаться в социальный диалект столичного дворянства, когда соответствующие формы общения органически усваиваются в процессе естественного обучения языку уже в детском возрасте и таким образом распространяются на все общество[1]. Тем самым в основе «щегольского наречия» как социального диалекта лежит «щегольское наречие» как социальный жаргон. Первое питается вторым, то есть жаргон постоянно обогащает диалект и в свою очередь постоянно обновляется, пытаясь обособиться от него. Жаргону вообще свойственна изменяемость, нестабильность, подчиненность моде, и эти его качества в конечном счете отражаются на диалекте.

Карамзинисты в принципе ориентировались на «щегольское наречие» как социальный *диалект*, тогда как объектом сатирических нападок в литературе XVIII — начала XIX в. служили прежде всего *жаргонные* явления. Точнее можно было бы сказать, что карамзинисты использовали такие средства выражения, которые, по их мнению, *могли бы стать* социальным диалектом дворянства; в этом отношении они могли, так сказать, предвосхищать события, то есть использовать жаргонные выражения, если в них усматривалась потенциальная возможность превращения в диалектные формы. Эта ориентация на диалект, а не на жаргон соответствует общей установке на естественное начало в языке, присущей вообще карамзинизму как интеллектуальному явлению. Вместе с тем для преобладающей части русского общества оба явления органически объединялись под именем «щегольского наречия»; вообще границы между жаргоном и диалектом были крайне нестабильны и могли по-разному интерпретироваться в зависимости от субъективной позиции и индивидуального опыта. Иначе говоря, карамзинисты, по-видимому, были склонны придавать термину «щегольское наречие» более специальное значение, нежели то, которое было вообще принято в языке. Соответственно сами карамзинисты, как правило, предпочитают не пользоваться терминами «щегольство», «щегольской» и т. п. в своих

[1] Это связано с тем обстоятельством, что основная роль в распространении и эволюции «щегольского наречия» принадлежала женщинам («щеголихам»), от которых дети уже естественно перенимали соответствующие речевые навыки.

стилистических характеристиках[1], между тем как другие могут воспринимать их как типичных представителей «щегольского наречия».

***

В свете сказанного не может не обратить на себя внимание характеристика в «Письмах русского путешественника» Жана Луи Геза де Бальзака, одного из законодателей хорошего тона и вкуса прециозных писателей, как «славного щеголя Французского языка (разумеется, по тогдашнему времени)»[2]. Следует иметь в виду, что прециозная литература — с ее утонченным стилем, противопоставляющим себя вульгарной речи, с ее установкой на causerie аристократических салонов и ориентацией на дамский вкус, наконец, с характерными для нее пасторальностью, риторической декламационностью и лирическими реминисценциями — обнаруживает явное типологическое сходство с карамзинизмом[3]. Вместе с тем так называемый «жаргон прециозниц» («jargon de précieuses») — с аффектацией языка, с постоянным обновлением словаря путем искусственного введения неологизмов, с использованием слов в переносном смысле и т. п.[4] — в целом ряде моментов оказывается сходным с русским «щегольским наречием», в формировании которого, кстати сказать, основная роль также принадлежала женщинам («щеголихам»)[5]. Характерис-

---

[1] Тем не менее в переводах П. И. Макарова (с французского) можно встретить такие выражения, как «щегольской слог» или «щегольские фразы» и т. п. (см.: Московский Меркурий. 1803. Ч. 1. С. 136; Ч. 2. С. 140; Ч. 3. С. 57). Так, в рецензии на книгу Сегюра читаем: «Мы не будем говорить о слоге: кто поверил бы, что сия книга писана Сегюром, естьли бы она не блистала щегольскими фразами, остроумием и вкусом — естьли бы тон любезного светского человека не оказывался в ней на каждой странице» (Там же. Ч. 3. С. 57). Ср. перевод отрывка из сочинения Сегюра «Об уме и вкусе»: «Начиная от щегольской разборчивости в уборах до правильности слога <...> все блистают посредством *Вкуса* или заблуждаются без него» (Там же. Ч. 1. С. 136).

[2] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 240.

[3] Характерно, что, говоря в «Письмах русского путешественника» от лица своего собеседника, некоего аббата Н* (явно условный персонаж, служащий для выражения взглядов самого автора), о золотом веке французской литературы, Карамзин называет прежде всего представителей прециозной литературы — таких, как Вуатюр, Менаж, Пелиссон, Саразен; по словам Карамзина, они «блистали остроумием, сыпали Аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса» (*Карамзин Н. М.* Письма... С. 224). Речь идет при этом об эпохе, когда во Франции было еще «хорошее общество (la bonne compagnie)». Об интересе к прециозной литературе явно свидетельствует и цитата из Брантома (Там же. С. 260—261; ср. также коммент. на с. 658).

[4] См.: *Somaize [A. B. de].* Le dictionnaire des precieuses. Nouv. éd. augm. de divers opuscules du même aut. relatifs aux Precieuses et d'une Clef historique et anecdotique par M. Ch.-L. Livet. Paris, 1956. T. 1. P. XLI—LXIV; *Lathuillère R.* La préciosité. Étude historque et linguistique. Genève, 1966. T. 1. P. 37—38.

[5] Ср. знаменательное высказывание мужчины-петиметра в «Живописце» Н. И. Новикова: «Необходимо <...> должен я <...> говорить *нынешним щегольским женским наречием*» (Сатирические журналы Н. И. Новикова... С. 293). Курсив наш. — *Ю. Л., Б. У.*

тика такого рода, бесспорно, свидетельствует о внимании к проблемам «щегольского наречия» в его отношении к литературному языку.

В этом же плане заслуживает внимания связь языковой программы Карамзина с идеями К.-Ф. Вожла: как известно, Вожла был непосредственно связан с представителями прециозной литературы и его знаменитые «Remarques sur la langue françoise» (1647) в значительной степени отражают взгляды салона мадам де Рамбулье.

Влияние Вожла и его последователей на Карамзина несомненно[1]. Заявления карамзинистов о соотношении литературного языка и разговорной речи, о необходимости ориентироваться на речевые навыки «лучших домов» (beau monde'a), наконец, о роли писателя, обладающего чувством вкуса, в образовании языковой нормы могут ближайшим образом напоминать положения Вожла[2]. Понятие «вкуса» у карамзинистов содержательно соответствует понятию «употребления» у Вожла; как отмечает В. Д. Левин, «опора на „вкус" собственно и означает опору на „общее употребление", на речевую практику образованного общества»[3]. П. И. Макаров «отсылает» в одном из своих критических разборов не понравившиеся ему слова и выражения (как правило, это славянизмы) к «Трибуналу Вкуса» (рецензия на перевод сочинения Лантье «Антеноровы путешествия по Греции и Азии»)[4], подобно тому как Вожла в свое время объявлял употребление «арбитром» при решении языковых проблем («Употребление <...> которое весь свет называет <...> арбитром или властителем языков»)[5]. В другой рецензии, говоря о необходимости согласовать литературный язык с общим употреблением («применяться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре»), Макаров призывает различать хорошее и дурное употребление: «...надлежало бы <...> подражать людям, которые говорят *хорошо*, а не тем, которые говорят *дурно*. Выражения простонародныя не должны Писателю служить правилом» (рецензия на перевод романа Жанлис «Матери-соперницы, или Клевета»[6]. Это в точности соответствует положению Вожла о двух употреблениях

---

[1] Ср.: *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение: Курс лекций. Л., 1959. С. 44—45.

[2] Ср., например, у Вожла: «...устной речи принадлежит первенство в ценностном и иерархическом плане, тогда как письменная — только лишь ее отражение. Но согласие хороших авторов — это как бы печать или проба, которая утверждает язык двора, отмечает доброе употребление и выносит вердикт в сомнительных случаях» («...la parole qui se prononce, est la premiere en ordre et en dignité, puis que celle qui est escrite n'est que son image. Mais le consentement des bon Autheurs est comme le sceau ou une verification, qui authorise le langage de la Cour, et qui marque le bon Usage, et decide ciluy qui est douteux». — [*Vaugelas C. F. de*]. Remarques sur la langue Françoise utiles a ceux qui veulent bien parler et bien escrire. Paris. 1647. Fol. 2). То, что Вожла говорит о «чувстве и практике лучших современных авторов» («le sentiment et la pratique des meilleurs Autheurs du temps». — Ibid. Fol. 8), вполне соответствует карамзинскому критерию вкуса. Наконец, Вожла может прямо сопоставлять языковое употребление с (гастрономическим) вкусом (Ibid. Fol. 4).

[3] *Левин В. Д.* Очерк стилистики... С. 125.

[4] Московский Меркурий. 1803. Ч. 2. С. 67.

[5] «Cet Usage <...> que tout le monde apelle <...> l'arbitre ou le maistre des langues» (*Vaugelas C. F. de.* Remarques... Fol. 1v).

в языке, ср.: «Есть, без сомнения, два вида употребления, доброе и дурное <...> Мы полагаем, что народ владеет лишь дурным употреблением, тогда как доброе употребление владеет нашим языком»[1]. Наконец, характерная для карамзинистов феминизация литературного языка, проявляющаяся в ориентации на язык и вкус светской дамы[2], обнаруживает разительное сходство с установкой Вожла[3]. Если в глазах Вожла достоинство женской речи определяется тем обстоятельством, что она свободна от влияния латинского языка[4], то карамзинисты призывают ориентироваться на женскую речь потому, что она свободна от церковнославянского влияния. Отношение Вожла к латыни, таким образом, соответствует отношению карамзинистов к церковнославянскому языку.

Необходимо подчеркнуть, что Вожла противопоставлял языковое употребление, как нечто немотивированное, рациональным грамматическим правилам: по его словам, употребление не поддается рациональному объяснению и может вступать в конфликт с правилами[5]. Вообще говорить в соответствии с правилами («parler grammaticalement»), с точки зрения Вожла, совсем не то же самое, что говорить по-французски («parler françois»). То же утверждают

---

[1] «Il y a sans doute deux sortes d'Usages, un bon et un mauvais <...> Selon nous, le peuple n'est le maistre que du mauvais Usage, et le bon Usage est le maistre de nostre langue» (*Vaugelas C. F. de.* Remarques... Fol. 1v, 9v). Ср.: *Père Buffier de la Compagnie de Jesus.* Grammaire Françoise sur un plan nouveau... Paris, 1754. P. 17. О юридических метафорах у Вожла см. специально: *Weinrich H.* Vaugelas und die Lehre vom guten Sprachgebrauch // Zeitschrift für romanische Philologie. 1960. Bd 76. H. 1/2. Вообще, как показывает Вейнрих, Вожла в значительной степени основывался в своей языковой концепции на понятиях и терминах обычного французского права его времени (но не римского права).

[2] См.: *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 230—233; *Левин В. Д.* Очерк стилистики... С. 129—130; *Виноградов В. В.* Язык Пушкина... С. 209 и след.

[3] Ср.: *Flutre L.-F.* Du rôle des femmes dans l'élaboration des Remarques de Vaugelas // Neophilologus. 1954. T. 38. № 4.

[4] Так, Вожла писал: «Из моих *Заметок* следует, что женщины и все те, чей язык не окрашен латынью, могут извлечь из этого выгоду» («J'ai conçu mes *Remarques* d'une sorte, que les femmes et tous ceux qui n'ont nulle teinture de la langue Latine en peuvent tirer du profit»). Ср. также: «Когда возникают сомнения по языковым вопросам, бывает лучше спрашивать мнение женщины или же тех, кто ничему не учился, чем советоваться с теми, кто весьма искушен в греческом и латыни» («Dans les doutes de la langue il vaut mieux pour l'ordinaire, consulter fes femmes et ceux qui n'ont point étudié, que ceux qui sont bien savants en la langue grecque et en latine»). См.: *Flutre L.-F.* Du rôle des femmes... P. 242; ср.: *Vaugelas C. F. de.* Remarques... Fol. 17v.

[5] См.: *Weinrich H.* Vaugelas und die Lehre... S. 4, 13—14. По словам Вожла, «глубоко заблуждаются и погрешают против главного принципа языка те, кто умствует о нашем языке и решительно осуждает общепринятый способ говорения на том основании, что он противоречит разуму, так как отнюдь не разум, а употребление и аналогию следует здесь принимать во внимание <...> Употребление творит многое, что <...> противно разуму» («...ceux- là se trompent lourdement, et pechent contre la premier principe de langues, qui veulent raisonner sur la nostre <langue>, et qui condamnent beaucoup de façons de parler généralement receuës, parce qu'elles sont contre la raison; car la raison n'y est point du tout considerée, il n'y a que l'Usage et l'Analogie <...> l'Usage fait beaucoup de choses <...> contre reison». — *Vaugelas C. F. de.* Remarques... Fol. 7—8).

и карамзинисты, провозглашая критерий «вкуса, неизъяснимого для ума» (речь Карамзина в Российской академии 1818 г.)[1], и соответственно противопоставляя «чувствование» «умничанью» (письмо А. А. Петрова к Карамзину от 1 августа 1787 г.)[2]; ср. также частые у карамзинистов выступления против «педантства», которое явно или неявно противопоставляется ориентации на употребление (см., например, в том же письме А. А. Петрова к Карамзину[3] или у П. И. Макарова в статье «Некоторые мысли издателей Меркурия»[4]). В статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин заявляет: «Все Французские Писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, *переправляли*, так сказать, школьную свою Реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и по чему»[5]. Это высказывание явно восходит к мысли Вожла о том, что чистота языка определяется употреблением, а не школьными правилами. Весьма характерны возражения Шишкова против подобной позиции; так, в «Рассуждении о красноречии Священного Писания...» изображается спор «Славянина» (шишковиста) с «Русским» (карамзинистом), причем «Русский» говорит: «Употребление тиранн: оно делает вкус, а против вкуса никто не пойдет», а «Славянин» ему возражает: «Мы последовали употреблению там, где рассудок одобрял его, или по крайней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них; ибо ежели употребление и вкус станут управлять умом, так кто же будет управлять ими?»[6] Нельзя не отметить, что карамзинистское понимание «вкуса» рассматривается здесь как производное от «употребления»; но особенно знаменательно то обстоятельство, что в уста своего оппонента — карамзиниста — Шишков фактически вкладывает слова Вожла, ср. у последнего: «употребление <...> которое весь свет называет <...> тираном»[7].

***

Истоки языковой концепции Карамзина (как и концепции Вожла) достаточно очевидны. Хотя ближайшей моделью, на которую ориентировались карамзинисты, служила западноевропейская языковая ситуация, корни этой концепции восходят несомненно к итальянским ренессансным спорам о языке, известным под названием «Questione della lingua». Западноевропейская — французская и отчасти немецкая — литературно-языковая традиция лишь способствовала усвоению ренессансных идей на русской почве. В самом деле, лингвистическая идеология Карамзина и его окружения ближайшим образом соответствует той, которая была сформулирована еще Данте и получила дальнейшее развитие в выступлениях таких его последователей, как Леон

[1] См.: *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 646.
[2] См.: *Карамзин Н. М.* Письма... С. 504—505.
[3] Там же. С. 505.
[4] Московский Меркурий. 1803. Ч. 1. С. 10.
[5] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 530.
[6] Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова. Ч. 4. С. 86.
[7] «Cet Usage <...> que tout le monde apelle <...> le Tyran» (*Vaugelas C. F. de.* Remarques... Fol. 1v).

Баттиста Альберти, Лоренцо де Медичи, Бальдассаре Кастильоне и др. Требование «писать как говорят», конечно, восходит к идеям дантовского «Пира» (I, 5—13): речь идет, в сущности, о достоинстве (dignitas) разговорной речи и возможности использования ее как средства литературного общения[1]. Как и для Альберти, для Карамзина достоинство разговорной речи зависит от того, кто ею пользуется, то есть престиж языка определяется скорее творческим («авторским») началом, нежели какими-либо имманентными свойствами. Если говорить вообще о достоинстве (dignitas) и норме (quidditas) литературного языка как основных аспектах итальянского «Questione della lingua»[2], то можно сказать, что проблема достоинства решается для Карамзина как проблема культурного *престижа*, а проблема нормы, то есть отбора языковых средств выражения, — как проблема *вкуса*; и то и другое в конечном счете восходит к Данте, ср. «О народном красноречии» (II, 1; I, 11 и след.)[3]. Необходимость обращения к естественному началу в языке была провозглашена Данте в первом же параграфе трактата «О народном красноречии» (I, 1)[4], причем здесь специально подчеркивается роль женщин в передаче естественных речевых навыков (ср. ориентацию карамзинистов на женскую речь). Уже Данте противопоставляет «употребление» (usus) «разуму» (ratio), причем это различие связывается у него с противопоставлением живых и мертвых языков: если нормы итальянского языка основываются на употреблении, то латынь основывается на разуме, то есть на рациональных грамматических правилах («Пир», I, 5)[5]. Совершенно так же Вожла определяет разницу между французским языком и латынью, а карамзинисты — разницу между русским и церковнославянским языком (ср. выше). Связь теории языка и теории литературы, размежевание книжного и литературного языка, противопоставление науки и искусства, столь важные для карамзинизма, также имеют вполне очевидное ренессансное происхождение.

Пожалуй, ближе всего языковая позиция карамзинистов соответствует позиции Кастильоне, который, выступая против того, чтобы письменная речь отличалась от устной, провозглашает требование изящества речи, явно сходное с карамзинским требованием «приятности слога». Требование изящества речи связано у Кастильоне, как в дальнейшем и у карамзинистов, с установкой на светское употребление (ср. аналогичные высказывания Данте в трактате «О народном красноречии», I, 18)[6]. В терминах итальянской языковой полемики («Questione della lingua») «щегольское наречие», столь актуальное для карамзинистов, — это не что иное, как «lingua cortegiana», описанный в трактате Кастильоне «Il libro del Cortegiano» (главы 28, 29). Как для Кастильоне, так и для карамзинистов критерием изящества (приятности) речи выступает утонченный вкус. Наконец, Кастильоне не только призывает из-

[1] См.: *Данте А.* Малые произведения. М., 1968. С. 119—133.

[2] Ср.: *Picchio R.* Introduction à une étude comparée de la question de la langue chez les Slaves // Picchio R. Etudes littéraires slavo-romanes. Firenze. 1978. P. 160.

[3] *Данте А.* Малые произведения. С. 288, 279—287.

[4] Там же. С. 270.

[5] Там же. С. 119—120.

[6] Там же. С. 286.

бегать архаизмов и вообще форм, не находящих опоры в живом употреблении, но и включает заимствованные формы (галлицизмы и испанизмы), поскольку они приняты в светской речи; это опять-таки соответствует теории и практике карамзинизма. Любопытно отметить, что, так же как у Кастильоне, языковая программа Карамзина направлена на расширение лексических и синтаксических возможностей. Вожла, оказавший столь большое влияние на Карамзина, продолжает именно линию Кастильоне.

Итак, карамзинская концепция литературного языка вполне укладывается в схему «Questione della lingua». Возможные колебания в рамках карамзинистской программы в общем и целом соответствуют путям, намеченным еще на итальянской почве[1].

Вместе с тем необходимо отметить, что ренессансные (в основе своей — дантовские) идеи, попадая на русскую почву, могут получать существенно иное содержание — иногда даже прямо противоположное тому, которое они первоначально имели. В самом деле, проникновение ренессансных идей очевидным образом связано с *европеизацией* русской культуры, в результате которой на русскую языковую ситуацию усваивается взгляд извне и ей приписывается чужая система ценностей. В ряде случаев это придает соответствующим идеям своеобразный, как бы «перевернутый» характер.

Так, выступления итальянских гуманистов связаны прежде всего с борьбой за *национальный* язык. Латынь воспринимается здесь как интернациональный язык культуры и цивилизации, тогда как противостоящая книжному языку разговорная речь становится знаменем национального самосознания. Латынь интернациональна, а разговорный язык национален, однако в масштабах нации написанное на латыни доступно лишь ученому сословию, а написанное на разговорном языке доступно всему обществу. Таким образом, сторонники латыни настаивают на *универсальности* литературного языка в рамках образованного сословия (ср., например, позицию Петрарки), тогда как сторонники национального языка выступают с требованием *демократизации* литературного языка, что, в свою очередь, связано с понятием общественной жизни, предполагающим в принципе равные права для всех граждан в обществе. Соответственно ориентация литературного языка на разговорную речь может мотивироваться в Италии чисто утилитарными задачами (ср. особенно выступления Альберти и Пальмиери). Фактически речь идет о расширении понятия общества за счет его дефеодализации: общественная жизнь должна учитывать интересы буржуазии и тем самым литературный язык должен обслуживать купцов и ремесленников в той же мере, как и представителей других сословий.

Между тем в русских условиях борьба с церковнославянской языковой стихией может приобретать прямо противоположное содержание. Именно церковнославянский язык связывается здесь с национальным началом, тогда как разговорная речь культурной элиты подчеркнуто космополитична. По-

[1] Ср. содержательный обзор различных аспектов итальянской языковой полемики в работе: *Picchio Simonelli M.* Aspects of the Language Question in Italy // Aquila. Chestnut Hill Studies in Modern Languages and Literatures. Chestnut Hill — The Hague, 1976. Vol. 3.

скольку ориентация литературного языка на разговорную речь связана вообще с европеизацией русской культуры, постольку разговорная речь европеизированной части русского общества имеет, по существу, интернациональный характер, будучи насыщена заимствованиями и семантическими кальками. Литературный язык этого рода не столько объединяет общество, сколько разъединяет его, и вместе с тем он явно способствует международным культурным контактам: литературный язык призван обеспечить прежде всего адекватную передачу того содержания, которое должно быть выражено на европейских языках. Мериме имел все основания считать, что «фраза Пушкина звучит совсем по-французски», и подозревать, что русские «бояре», перед тем как писать по-русски, думают по-французски[1]; не случайно Вяземский призывал (в предисловии к своему переводу «Адольфа» Бенжамена Констана) к намеренному использованию в литературном языке «галлицизмов понятий», то есть семантических калек с французского языка, «потому что они уже европеизмы»[2]. В этих условиях литературный язык, ориентированный на

[1] *Виноградов А. К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928. С. 99—100. Действительно, в письмах и заметках Пушкина значение того или иного русского слова очень часто поясняется в скобках соответствующим французским эквивалентом, как бы обнажающим французский языковой субстрат русской речи (см.: *Виноградов В. В.* Язык Пушкина... С. 262—266; *он же.* Очерки по истории... С. 239—240). Жуковский говорил П. А. Вяземскому про его отца, «что он [Жуковский] всегда удивлялся ловкости и сноровке, с которою в разговоре переводил он [кн. А. И. Вяземский] на русскую речь мысль, видимым образом, сложившуюся в уме его по-французски» (см. «Автобиографическое введение» в кн.: *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1878. Т. 1. С. LVIII). Ср. аналогичное наблюдение великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла Первого): «...иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят и в речах и в письме, например: „Vous avez trop de pénétration pour ne pas l'entrevoir", *вы очень много имеете проницания, чтоб этова не видеть*; „on prétend, qu'il n'est parti que ces jours-ci", *требуют, что он не поехал, как только на сих днях* и тому подобное» (*Порошин С.* Записки, служащие к истории его имп. высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича. СПб., 1881. Стб. 13).

[2] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. X. Ср. те же мысли у Вяземского в статье о Дмитриеве (Там же. Т. 1. С. 126), а также декларативное заявление П. И. Макарова в его полемическом выступлении против Шишкова: «Хотим сочинять фразы и производить слова <...> уметвуя, как Французы, как Немцы, как все нынешние просвещенные народы» (Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 169—170). Любопытно вместе с тем, что Жуковский отказывается считать кальки галлицизмами. В своих маргиналиях на принадлежащем ему экземпляре «Рассуждения о старом и новом слоге Российского языка» Шишкова он замечает: «*Сцена* есть французское слово, но почему *переворот* французское? <Шишков трактует *переворот* как кальку с révolution, см.: [*Шишков А. С.*] Рассуждения о старом и новом слоге... С. 27>. Оно изображает идеи, а идеи ни французские, ни русские. Душа народа может получать и выражать идеи прежде другого, другой выражает ее после него на своем языке». И в другом месте, где Шишков пишет, что «с одной стороны, в язык наш вводятся нелепыя новости, а с другой истребляются и забываются издревле принятыя и многими веками утвержденные понятия», — Жуковский восклицает: «Какие понятия? Разве слова понятия?» (*Капунова Ф. В., Янушкевич А. С.* В. А. Жуковский — читатель и критик А. С. Шишкова (по материалам библиотеки В. А. Жуковского) // Русская литература. 1975. № 4. С. 88—89).

разговорную речь дворянской интеллигенции, приобщает русскую культуру к западноевропейской цивилизации. В плане содержания (то есть на семантическом уровне) этот язык выступает как средство международного общения, объединяя просвещенные сословия в разных странах; однако в пределах нации он оказывается в полной мере доступным лишь избранной части общества. В этом смысле литературный язык данного типа скорее соответствует по своей функции латыни как интернациональному языку образованного общества, нежели национальному итальянскому языку. В отличие от латыни, церковнославянский язык отнюдь не рассматривается в данный период как язык культуры и цивилизации: поскольку культура мыслится как европеизация, эта роль приписывается французскому языку, на который и может ориентироваться теперь русский литературный язык. Одновременно изолированность церковнославянского языка от западноевропейского влияния заставляет воспринимать церковнославянскую языковую традицию в качестве национальной традиции. При этом представление о церковнославянском языке как о «коренном» языке-предке, а о русском языке как о результате порчи этого коренного языка в процессе повседневного употребления (которая ставится в прямую связь с разного рода иноязычными влияниями) обусловливает возможность объединения в языковом сознании славянизмов и архаических русизмов. В итоге западноевропейское влияние способствует консолидации церковнославянской и русской национальной стихии, объединению их в одну стилистическую систему[1]. Именно поэтому борьба с этим влиянием ведется в России — в самые разные исторические периоды — с позиций церковнославянского языка: вспышки пуризма периодически выражаются в славянизации языка, то есть проявляются в активизации славянизмов, мобилизации церковнославянских языковых моделей и т. п.[2] Дихотомия церковнославянского и русского языков может осмысляться, таким образом, в плане противопоставления: «национальное — интернациональное» или же «национальное — западноевропейское».

Остается отметить, что если в Италии борьба за литературный язык нового типа велась в большей степени в интересах буржуазии, то русская буржуазия (купечество) связана скорее с церковнославянской, нежели с западноевропейской языковой стихией. В русских пьесах речь купца или крестьянина, как правило, выделяется славянизмами, которые выполняют примерно ту же функцию, что галлицизмы в речи столичного дворянина как сценического персонажа.

Итак, при всей очевидности преемственной связи между идеями итальянских гуманистов и программой карамзинизма необходимо признать, что то,

---

[1] См.: *Хютль-Ворт Г.* О проблемах русского литературного языка... С. 36—37; *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке... С. 208 и след., 222 и след.

[2] Так, в XX в. «Петербург» закономерно преобразуется в «Петроград» (в 1915 г.) и затем последовательно в «Ленинград» (в 1924 г.); ср. между тем полногласный элемент в исконной форме «Новгород» и т. п. (ср.: *Unbegaun B. O.* Les noms des villes russes: la mode slavonne // Rev. des études slaves. 1936. T. 16); позднее «голкипер» меняется на «вратарь». Примеры такого рода нетрудно было бы умножить.

что в Италии воспринималось как «национальное» и «демократическое», приобретает в России прямо противоположное содержание. С пересадкой итальянских идей на русскую почву «национальное» претворяется в «европейское», а «демократическое» становится «кастовым».

Любопытно, что историки русского языка нередко связывают деятельность Карамзина с борьбой за демократизацию литературного языка и вместе с тем с борьбой за его национальные истоки; точно так же считается, что в результате карамзинской «реформы» расширяется сфера действия литературного языка как универсального для русской нации средства общения. Очень часто вообще, говоря о демократизации русского литературного языка, имеют в виду, в сущности, его секуляризацию. Подобные оценки представляют собой, разумеется, результат применения к русской языковой ситуации той концептуальной схемы, которая была выработана еще в Италии в эпоху Ренессанса. Кажется крайне знаменательным следующее обстоятельство: для того чтобы адекватно понять смысл оценок, которые прилагаются *сейчас* при характеристике деятельности Карамзина, оказывается необходимым углубиться в историю споров о языке, выходящую далеко за пределы собственно русской проблематики. Такого рода оценки свидетельствуют не только об истоках языковой концепции Карамзина, но — в известном смысле — и об актуальности языковой полемики конца XVIII — начала XIX в. еще для сегодняшнего языкового сознания; историки языка, повторяя соответствующие определения, явно примыкают к карамзинской программе и тем самым как бы включаются в языковую полемику тех лет, то есть становятся ее участниками.

***

Рассмотрение «Писем русского путешественника» на фоне литературной деятельности Карамзина периода их создания (1790—1801) позволяет сделать вывод, что, соотнося русскую и европейскую культуру, Карамзин вводил в сознание своих современников итоги духовной жизни в исключительно широком диапазоне: Ренессанс и культура «галантного века», Просвещение и предромантизм, масонские утопии и французская революция, как и многие другие факты и материалы, оказывались в поле зрения Карамзина и его читателей.

Однако «Письма русского путешественника» менее всего походят на энциклопедию или научный трактат. Карамзин был человеком глубоких и разнообразных знаний, хотя никогда не подчеркивал своей учености. «Упрощенность» же его изложения была результатом установки Карамзина на популяризацию. Карамзин принципиально стремился сделать культуру доступной и распространенной. Таким образом, литературное движение развивалось в двух направлениях: с одной стороны, вершинные достижения культуры облекались в доступную форму и вносились в сознание массового (по нормам той поры) читателя. С другой — мир массового читателя, его язык, интересы, нравственные идеалы, культурный кругозор поднимались на вершины культуры как высокоавторитетная норма. Правда, уже говорилось: это

был не реальный читатель, а его идеализованный двойник. Однако это не отменяло значения того факта, что норма ориентировалась не на «мудреца» или «жени́», а на «обычного человека». В ближайшей культурной перспективе это приводило к канонизации «щегольского наречия» или утверждению светской нормы культуры как национального по значению образца. Не случайно ближайшие последствия карамзинской «реформы» вызывали резкую и чаще всего обоснованную критику современников. Однако в тенденции утверждение употребления как нормы и реального как закономерного открывало возможность той широкой демократизации литературы и литературного языка, которая сделалась характерной чертой пушкинского и гоголевского периодов литературы.

В синхронном срезе салонность карамзинизма и народность его оппонентов представляли собой антагонистические тенденции, в исторической перспективе они представали как разные этапы одной и той же линии развития.

«Письма русского путешественника» лежат у истока многочисленных дискуссий, в них упираются разнообразные тенденции культурного движения. Тенденции эти предстают здесь в ранних, еще не дифференцированных формах. Они овеяны наивной верой и еще не пережили горечи утрат и разочарований. Эта книга принадлежит детству новой русской литературы: в этом ее наивная ограниченность, но в этом же и ее ценность. Детские воспоминания не случайно служат опорой для человека в трагические минуты его жизни — в них он черпает веру в себя и память о былой целостности своей личности. «Письма русского путешественника» во многом играют такую же роль: напоминая о далеком прошлом, они вселяют надежды на будущее.

1984

Колумб русской истории

Пушкин назвал Карамзина Колумбом, открывшим для своих читателей Древнюю Русь подобно тому, как знаменитый путешественник открыл европейцам Америку. Употребляя это сравнение, поэт сам не предполагал, до какой степени оно правильно.

Мы знаем теперь, что Колумб не был первым европейцем, достигшим берегов Америки, и что само его путешествие сделалось возможным лишь благодаря опыту, накопленному его предшественниками. Называя Карамзина первым русским историком, нельзя не вспомнить имен В. Н. Татищева, И. Н. Болтина, М. М. Щербатова, не упомянуть ряда публикаторов документов, которые, при всем несовершенстве их методов издания, привлекали внимание и будили интерес к прошлому России.

И все же слава открытия Америки по праву связывается с именем Колумба, а дата его мореплавания — одна из решающих вех мировой истории. Карамзин имел предшественников. Но только его «История государства Российского» сделалась не еще одним историческим трудом, а *первой историей России*. Открытие Колумба — событие мировой истории не только и не столько потому, что он обнаружил новые земли, а потому, что оно перевернуло все представления жителей старой Европы и изменило их способ мышления не меньше, чем идеи Коперника и Галилея. «История государства Российского» Карамзина не просто сообщила читателям плоды многолетних изысканий историка — она перевернула сознание русского читающего общества. Нельзя уже было думать о настоящем вне связи с прошлым и без дум о будущем. «История государства Российского» была не единственным фактором, сделавшим сознание людей XIX в. историческим: здесь решающую роль сыграли и война 1812 г., и творчество Пушкина, и общее движение философской мысли России и Европы тех лет. Но «История» Карамзина стоит в ряду *этих* событий. Поэтому значение ее не может быть оценено с какой-либо односторонней точки зрения.

— Является ли «История» Карамзина научным трудом, создающим целостную картину прошлого России от первых ее веков до кануна царствования Петра I? — В этом не может быть никаких сомнений. Для целого ряда поколений русских читателей труд Карамзина был основным источником знакомства с прошлым их родины. Великий русский историк С. М. Соловьев вспоминал: «Попала мне в руки и история Карамзина: до тринадцати лет, т. е. до поступления моего в гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз»[1]. Подобные свидетельства можно было бы умножить.

— Является ли «История» Карамзина плодом самостоятельных исторических изысканий и глубокого изучения источников? — И в этом невозможно сомневаться: примечания, в которых Карамзин сосредоточил документальный

[1] *Соловьев С. М.* Избр. труды. Записки. М., 1983. С. 231.

материал, послужили отправной точкой для значительного числа последующих исторических исследований, и до сих пор историки России постоянно к ним обращаются, не переставая изумляться громадности труда автора.

— Является ли «История» Карамзина замечательным литературным произведением? —Художественные достоинства ее также очевидны. Сам Карамзин однажды назвал свой труд «исторической поэмой», и в истории русской прозы первой четверти XIX в. труд Карамзина занимает одно из самых выдающихся мест. Декабрист А. Бестужев-Марлинский, рецензируя последние прижизненные тома «Истории» (десятый и одиннадцатый) как явления «изящной прозы», писал: «Смело можно сказать, что в литературном отношении мы нашли в них клад. Там видим мы свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности оборотов языка, столь послушного под рукою истинного дарования»[1].

Вероятно, можно было бы указать и на иные связи, с точки зрения которых «История государства Российского» есть явление замечательное. Но самое существенное состоит в том, что ни одной из них она не принадлежит нераздельно: «История государства Российского» — явление русской культуры в ее целостности и только так и должна рассматриваться.

31 ноября 1803 г. специальным указом Александра I Карамзин получил звание историографа. С этого момента он, по выражению П. А. Вяземского, «постригся в историки» и не бросал уже пера историка до последнего дыхания. Однако фактически исторические интересы Карамзина уходят корнями в более раннее его творчество. В 1802—1803 гг. в журнале «Вестник Европы» Карамзин опубликовал ряд статей, посвященных русской истории. Но и это не самое начало: сохранились выписки и подготовительные материалы по русской истории, относящиеся к началу века[2]. Однако и тут нельзя видеть истоки. 11 июня 1798 г. Карамзин набросал план «Похвального слова Петру I». Уже из этой записи видно, что речь шла о замысле обширного исторического исследования, а не риторического упражнения. На другой день он добавил следующую мысль, ясно показывающую, чему он рассчитывал посвятить себя в будущем: «Естьли Провидение пощадит меня; естьли не случится того, что для меня ужаснее смерти... (Карамзин болел и боялся ослепнуть. — *Ю. Л.*) займусь Историею. Начну с Джиллиса; после буду читать Фергусона, Гиббона, Робертсона — читать со вниманием и делать выписки; а там примусь за древних Авторов, особенно за Плутарха»[3]. Запись эта свидетельствует о сознании необходимости внести систему в исторические занятия, которые фактически уже идут весьма интенсивно. Именно в эти дни Карамзин читает Тацита, на мнения которого он будет неоднократно ссылаться в «Истории государства Российского», переводит для издаваемого им «Пантеона иностранной словесности» Цицерона и Саллюстия и борется с цензурой, запрещающей античных историков[4].

---

[1] *Бестужев-Марлинский А. А.* Соч.: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 552.

[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 205 и след.

[3] Там же. С. 203.

[4] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 97.

Конечно, мысль безраздельно посвятить себя истории еще далека от него. Замышляя похвальное слово Петру I, он не без кокетства пишет Дмитриеву: это «требует, чтобы я месяца три посвятил на чтение Руской истории и Голикова: едва ли возможное для меня дело! А там еще сколько надобно размышления!»[1]. Но все же планы сочинений на исторические темы постоянно возникают в голове писателя.

Однако можно предположить, что корни уходят еще глубже. Во второй половине 1810-х гг. Карамзин набросал «Мысли для Истории Отечественной Войны». Утверждая, что географическое положение России и Франции делает почти невероятным, чтобы они «могли непосредственно ударить одна на другую»[2], Карамзин указывал, что только полная перемена «всего политического состояния Европы» могла сделать эту войну возможной. И прямо назвал эту перемену: «Революция», добавив к этой исторической причине человеческую: «Характер Наполеона». Можно думать, что, когда Карамзин во Франкфурте-на-Майне впервые услышал о взятии Бастилии народом Парижа, когда позже он сидел в зале Национального собрания и слушал ораторов революции, когда следил за всеми шагами генерала Бонапарта к власти и слушал топот легионов Наполеона по дорогам Европы, он усваивал урок наблюдать современность глазами историка. Как историк он был свидетелем первых раскатов революции на улицах Парижа и последних пушечных залпов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Он рано и на всю жизнь почувствовал, что писатель, живущий в историческую эпоху, должен быть историком.

Общепринято деление творчества Карамзина на две эпохи: до 1803 г. Карамзин — писатель, позже — историк. Но мы имели возможность убедиться, что, с одной стороны, Карамзин и после пожалования его историографом не переставал быть писателем (А. Бестужев, П. Вяземский оценивали «Историю» как выдающееся явление русской прозы, и это, конечно, справедливо: «История» Карамзина в такой же мере принадлежит искусству, как и, например, «Былое и думы» Герцена), а с другой — «по уши влез в русскую историю» задолго до официального признания.

Однако для противопоставления двух периодов творчества есть другие, более веские, основания. Само как бы напрашивается сопоставление: основное произведение первой половины творчества — «Письма русского путешественника», второй — «История государства Российского». Многократные противопоставления, заключенные в заглавиях этих произведений, столь явны, что намеренность их не подлежит сомнению. Прежде всего: «руский» — «Российский». Здесь противопоставление стилистическое. Корень «рус» (через «у» и с одним «с») воспринимался как принадлежащий разговорной речи, а «росс» — высокому стилю. У Ломоносова в одах форма «руский» (еще Даль протестовал против того, что «русский» пишут с двумя «с»[3]) не встречается ни разу. Ее заменяет естественная для высокого стиля форма «росский»: «Победа,

1 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 102.

2 *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 192.

3 См.: *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 114.

Росская победа!» («На взятие Хотина»), «Красуйся светло Росский род» (ода 1745 г.) и др. Но если «росский» — стилистически высокий синоним для «руский», то «российский» включает и смысловой оттенок — в нем содержится семантика государственности. Так возникает другая антитеза: путешественник, частное лицо, и нарочито приватный документ — письма к друзьям, с одной стороны, и история государства — борьба за власть, летописи — с другой. Наконец, за всем этим возникает образ культуры Запада в одном случае и истории России — в другом. Исходя из этой системы противопоставлений, легко построить и схему эволюции автора: индивидуалист, сентименталист, либерал и «западник» в начале и патриот, сторонник традиции, консерватор и «государственник» в конце. Для такой схемы легко подобрать подтверждающие ее цитаты, тем более что некоторая, хотя весьма поверхностная, истина в ней есть. Взгляды Карамзина, конечно, менялись. Пушкин писал: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют»[1]. Например, в доказательство того, что эволюция Карамзина может быть определена как переход от «русского космополитизма» к «ярко выраженной национальной ограниченности»[2], обычно приводится отрывок из «Писем русского путешественника»: «...Петр двинул нас своею мощною рукою... Все жалкие *Иеремиады* об изменении Руского характера, о потере Руской нравственной физиогномии, или не что иное как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом высшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для Руских; и что Англичане или Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо *я* человек!»[3]

Цитаты, долженствующие подтвердить «реакционность» и «национализм» позднего Карамзина, извлекаются обычно из «Записки о древней и новой России», предисловия к «Истории государства Российского» или же из действительно колоритного эпизода с заключительной фразой проекта манифеста 12 декабря 1825 г., написанного от лица вступавшего на престол Николая I (новый царь забраковал текст Карамзина и опубликовал манифест в редакции Сперанского): Карамзин высказал в конце манифеста желание царя «стяжать благословение Божие и любовь народа Российского», но Николай и Сперанский заменили последнее выражение на «любовь народов Наших»[4].

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. [М.], 1937—1949. Т. 12. С. 34.

[2] Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. М.; Л., 1961. С. 71.

[3] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 254. (Далее: *Карамзин Н. М.* Письма...)

[4] Не следует, однако, торопиться с противопоставлением «консерватизма» Карамзина «либерализму» Сперанского и Николая I: в том же проекте манифеста Карамзин писал: «Да будет Престол Наш тверд Законом». Всякое упоминание о твердых законах Сперанский и Николай немедленно вычеркивали (см.: *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 19—20).

Дело, однако, не в наличии или отсутствии тех или иных подтверждающих цитат, а в возможности привести не менее яркие примеры, опровергающие эту схему. И в ранний период, в том числе и в «Письмах русского путешественника», Карамзин проявлял себя как патриот, остающийся за границей «*русским* путешественником». Не поздний Карамзин, а автор «Писем русского путешественника» написал такие слова: «...Англичане знают Французской язык, но не хотят говорить им... Какая разница с нами! У нас всякой, кто умеет только сказать: comment vous portez-vous? без всякой нужды коверкает Французской язык, чтобы с Руским не говорить по-Руски; а в нашем так называемом *хорошем обществе* без Французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? За чем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров право не хуже других...»[1]

Вместе с тем Карамзин никогда не отказывался от мысли о благодетельности влияния западного просвещения на культурную жизнь России. Уже на закате своих дней, работая над последними томами «Истории», он сочувственно отмечал стремление Бориса Годунова разрушить культурную изоляцию России (это при общем отрицательном отношении к личности этого царя!), а о Василии Шуйском, пытавшемся в огне государственной смуты наладить культурные связи с Западом, писал: «Угождая народу своею любовию к старым обычаям Русским, Василий не хотел однакожь, в угодность ему, гнать иноземцев: не оказывал к ним пристрастия, коим упрекали Расстригу и даже Годунова, но не давал их в обиду мятежной черни... старался милостию удержать всех честных Немцев в Москве и в Царской службе, как воинов, так и людей ученых, художников, ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для успехов его в России; одним словом, имел желание, не имел только времени сделаться просветителем отечества... и в какой век! в каких обстоятельствах ужасных!» (XII, 42—44)[2].

Упреки же, которые в этот период Карамзин высказывал в адрес Петра I, касались не самой европеизации, а деспотических ее методов и тиранического вмешательства царя в частную жизнь своих подданных — область, которую Карамзин всегда считал изъятой из-под государственного контроля. Карамзин, пожалуй, первым заметил роковую в истории России связь между прогрессом цивилизации и развитием государственного деспотизма.

Несмотря на то, что противопоставление двух периодов — «западнического» и «национального» — в творчестве Карамзина, как мы видели, не исчезло со страниц исследований, решение вопроса было дано еще в 1911 г. С. Ф. Платоновым в речи, произнесенной на открытии скромного памятника Карамзину в Остафьеве. Отметив, что в истории русской культуры сложилось противопоставление России Западу, С. Ф. Платонов указывал: «В произведениях своих Карамзин вовсе упразднил вековое противоположение Руси и Европы, как различных и непримиримых миров; он мыслил Россию, как

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 338.

[2] Здесь и далее в скобках даются ссылки на «Историю» Карамзина по изданию И. Эйнерлинга (СПб., 1842—1843. Кн. 1—3): римские цифры означают номер тома, арабские — страницы или номер примечания.

одну из европейских стран, и русский народ, как одну из равнокачественных с прочими наций. Он не клял Запада во имя любви к родине, а поклонение западному просвещению не вызывало в нем глумления над отечественным невежеством». «Исходя из мысли о единстве человеческой культуры, Карамзин не устранял от культурной жизни и свой народ. Он признавал за ним право на моральное равенство в братской семье просвещенных народов»[1].

«История государства Российского» ставит читателя перед рядом парадоксов. Прежде всего надо сказать о заглавии этого труда. На титуле его стоит «история государства». На основании этого Карамзина стали определять как «государственника» (да простит нам читатель это употребляемое некоторыми авторами странное слово!). Достаточно сравнить «Историю» Карамзина с трудами исследователей так называемой государственной школы Б. Н. Чичерина и К. Д. Кавелина (в предшественники которых Карамзина иногда, также основываясь на заглавии, зачисляют), чтобы увидеть, в какой мере Карамзину были чужды вопросы административно-юридической структуры, организации сословных институтов, то есть проблемы формально-государственной структуры общества, столь занимавшие «государственную школу». Более того, исходные предпосылки Карамзина и «государственной школы» прямо противоположны: по Чичерину, государство — административно-юридический аппарат, определяющий жизнь народов; именно оно, а не отдельные лица действуют в истории; история есть история государственных институтов: «Государство призвано к осуществлению верховных начал человеческой жизни; оно, как самостоятельное лицо, играет всемирно-историческую роль, участвует в решении судеб человечества»[2]. Такая постановка снимает вопрос о моральной ответственности личности как историческом явлении. Он оказывается просто за пределами истории. Для Карамзина же он всегда оставался основным. Для того чтобы уяснить, что Карамзин понимал под государством, следует, по необходимости кратко, рассмотреть общий характер его миросозерцания.

На воззрения Карамзина глубокий отпечаток наложили четыре года, проведенные им в кружке Н. И. Новикова. Отсюда молодой Карамзин вынес утопические чаянья, веру в прогресс и мечты о грядущем человеческом братстве под руководством мудрых наставников. Чтение Платона, Томаса Мора и Мабли также поддерживало убеждение в том, что «*Утопия* (к этому слову Карамзин сделал примечание: «Или *Царство щастия* сочинения Моруса». — *Ю. Л.*) будет всегда мечтою доброго сердца...»[3]. Порой эти мечты всерьез овладевали воображением Карамзина. В 1797 г. он писал А. И. Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей *Утопии*. Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив свое воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства»[4]. Утопия мыслилась Карамзиным в этот период в облике

---

[1] *Платонов С. Ф.* Н. М. Карамзин. СПб., 1912. С. 8—9.

[2] *Чичерин Б. Н.* О народном представительстве. М., 1866. С. 285.

[3] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 227.

[4] Русский архив. 1872. № 7/8. Стб. 1324.

Республики Платона как идеальное царство добродетели, подчиненное строгой регламентации мудрых философов-начальников.

Однако идеал этот рано начал подтачиваться скептическими сомнениями. Карамзин много раз подчеркивал позже, «что Платон сам чувствовал невозможность ее (блаженной республики. — Ю. Л.)»[1]. Кроме того, Карамзина привлекал и другой идеал, уходящий корнями в сочинения Вольтера, сильное влияние которого он испытал в эти годы: не суровый аскетизм, отказ от роскоши, искусства, успехов промышленности ради равенства и гражданских добродетелей, а расцвет искусств, прогресс цивилизации, гуманность и терпимость, облагораживание человеческих эмоций. Следуя дилемме Мабли, Карамзин разрывался между Спартой и Афинами. Если в первом случае его влекла суровая поэзия античного героизма, то во втором привлекал расцвет искусств, культ изящной любви, тонкое и образованное женское общество, красота как источник добра. Но и к тем и к другим надеждам рано начал добавляться горький привкус скептицизма, и не случайно дверь первого мыслителя, в которую постучался Карамзин во время заграничного путешествия, вела в кабинет «всеразрушающего» Канта.

Заграничное путешествие Карамзина совпало с началом Великой французской революции. Событие это оказало огромное влияние на все его дальнейшие размышления. Обычная схема: молодой русский путешественник сначала увлекся либеральными мечтами под влиянием первых недель революции, но позже испугался якобинского террора и перешел в лагерь ее противников — весьма далека от реальности. Прежде всего, следует отметить, что Карамзин, которого часто, но совершенно безосновательно отождествляют с его литературным двойником — повествователем из «Писем русского путешественника», не был поверхностным наблюдателем событий: он был постоянным посетителем Национальной ассамблеи, слушал речи Мирабо, аббата Мори, Рабо де Сент-Этьена, Робеспьера, Ламета. Он беседовал с Жильбером Роммом, Шамфором, Кондорсе, Лавуазье, вероятно, был знаком лично с Робеспьером; в Национальную ассамблею его провел Рабо де Сент-Этьен. Он посещал кафе, в которых ораторствовали Дантон, Сен-Юрюж и Камилл Демулен. Он видел Людовика XVI и Марию-Антуанетту, Лафайета и Бальи, видимо, посещал салон госпожи Неккер и Отейль госпожи Гельвеций, читал газеты и покупал эстампы, каждый день бывал в театрах, которые в это время бурлили не меньше, чем Национальное собрание. Можно полагать, что Жильбер Ромм ввел его в революционные клубы[2]. Можно с уверенностью сказать, что ни один из видных деятелей русской культуры не имел таких подробных и непосредственно личных впечатлений от Французской революции, как Карамзин. Он знал ее в лицо. Здесь он встретился с историей.

---

[1] Московский журнал. 1791. Ч. 3. С. 211 (рецензия на роман Бартелеми «Путешествие младого Анахарсиса по Греции»).

[2] Подробнее о парижских впечатлениях Карамзина см. в наст. изд. «Сотворение Карамзина».

Пушкин проницательно сказал о Радищеве: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не мог сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра»[1]. Не случайно Пушкин называл идеи Карамзина парадоксами: с ним произошло прямо противоположное. По авторитетным свидетельствам современников, Карамзин относился к Робеспьеру с глубоким уважением и разразился слезами при известии о его гибели. К Мирабо был холоден, хотя и пережил в 1790 г. обаяние его красноречия. Это может показаться неожиданным и требует разъяснений.

Начало революции было воспринято Карамзиным как исполнение обещаний философского столетия. «Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью», — писал Карамзин в середине 1790-х гг. («Мелодор к Филалету»). Идеалы общечеловеческой гармонии, надежды на всемирное братство людей оживились. В 1792 г. в «Московском журнале» Карамзин опубликовал «Разные отрывки (Из записок одного молодого Россианина)», где содержались следующие строки: «Естьли бы я был старшим братом всех братьев сочеловеков моих и естьли бы они послушались старшего брата своего, то я созвал бы их всех в одно место, на какой-нибудь большой равнине, которая найдется, может быть, в *новейшем* свете, — стал бы сам на каком-нибудь высоком холме, откуда бы мог обнять взором своим все миллионы, биллионы, триллионы моих разнородных и разноцветных родственников — стал бы и сказал им — таким голосом, который бы глубоко отозвался в сердцах их, — сказал бы им: *братья!*.. Тут слезы рекою быстрою полились бы из глаз моих; перервался бы голос мой, но красноречие слез моих размягчило бы сердца и Гуронов и Лапландцев... *Братья!* повторял бы я с сильнейшим движением души моей: *братья! обнимите друг друга с пламенною, чистейшею любовию, которую небесный Отец наш, творческим перстом своим, вложил в чувствительную грудь сынов своих; обнимите и нежнейшим лобзанием заключите священный союз всемирного дружества*, и когда бы обнялись они, когда бы клики дружелюбия загремели в неизмеримых пространствах воздуха; когда житель Отаити прижался к сердцу обитателя Галии и дикий Американец, забыв все прошедшее, назвал бы Гишпанца милым своим родственником; когда бы все народы земные погрузились в сладостное, глубокое чувство любви: тогда бы упал я на колена, воздел к небу руки свои и воскликнул: Господи! ныне отпущаеши сына твоего с миром! Сия минута вожделеннее столетий — я не могу перенести восторга своего, — прими дух мой — я умираю! — и смерть моя была бы счастливее жизни ангелов»[2].

Правда, публикуя этот отрывок в 1792 г., Карамзин добавил скептическую концовку: «Мечта!» («мечта» употреблено здесь в церковно-славянском значении слова: «пустое воображение, видение вещи без ее бытности»[3]), но в тот период его настроения были именно такими. Утопические надежды и человеколюбивые чаяния захватили его, и не случайно, узнав во Франкфурте-на-Майне о взятии

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 34.

[2] Московский журнал. 1972. Ч. 6. С. 73.

[3] *Алексеев П.* Церковный словарь. 4-е изд. СПб., 1818. Ч. 3. С. 19.

Бастилии, он кинулся читать «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера, а в Париже перечитывал Мабли и Томаса Мора.

Но при этом надо подчеркнуть одну особенность: Утопия для него — не царство определенных политических или общественных отношений, а царство добродетели; сияющее будущее зависит от высокой нравственности людей, а не от политики. Добродетель порождает свободу и равенство, а не свобода и равенство — добродетель. К любым формам политики Карамзин относился с недоверием.

В этом отношении заседания Национальной ассамблеи преподали Карамзину важные уроки. Он слышал бурные выступления Мирабо о том, что живо волновало Карамзина: о веротерпимости, связи деспотизма и агрессии, злоупотреблениях феодализма, слушал и его противника — аббата Мори. Даже в осторожной формулировке 1797 г.: «наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальном Собрании, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори...»[1] — видно предпочтение первому. Можно не сомневаться, что защита аббатом исторических прав католической церкви (в ответ на это Мирабо патетически вызвал тени жертв Варфоломеевской ночи) и феодального порядка не вызывала у Карамзина никакого сочувствия. Но именно здесь у него возникла важнейшая мысль о том, что истину словам придает лишь соответствие их внутреннему миру того, кто их произносит. В противном случае любые истины превращаются в столь ненавидимые Карамзиным в дальнейшем «фразы». Речи Мирабо заставляли Карамзина чувствовать «великий талант» оратора и, бесспорно, волновали его. Но он не мог забыть, что сам оратор — потомок древнего рода, маркиз, беспринципный авантюрист, занимающий роскошный особняк и ведущий бурную жизнь, скандальные подробности которой Карамзин услышал еще в Лионе. Мирабо мало напоминал героев античной добродетели, от сурового патриотизма которых можно было бы ждать превращения Франции в республику Платона. Но и его противник был не лучше: сын бедного сапожника-гугенота, снедаемый честолюбием, стремящийся любой ценой добиться шляпы кардинала, одаренный, но беспринципный Мори отрекся от веры отцов, семьи и родных, перешел в стан врагов и сделался их трибуном, демонстрируя в Национальном собрании красноречие, ум и цинизм.

Много позже Карамзин записал мысли, впервые мелькнувшие у него, возможно, в зале Национального собрания: «Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностию? Вы все Авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху[2]. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них

---

[1] *Карамзин Н. М.* Письма... С. 453.

[2] Имеются в виду слова Цицерона в трактате «О дивинации»: «Хорошо известны давние слова Катона, который говорил, что удивляется, как может удерживаться от смеха один гаруспик, когда смотрит на другого» (кн. II, гл. 24; ср. его же «О природе богов», кн. I, гл. 26. Цит. по: *Цицерон.* Философские трактаты. М., 1985. С. 261, 82). Римские жрецы авгуры предсказывали по полету птиц, гаруспики — по внутренностям жертвенных животных.

выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод»[1].

Карамзин, ценивший лишь искренность и нравственные качества политических деятелей, выделил из числа ораторов Ассамблеи близорукого и лишенного артистизма, но уже стяжавшего кличку «неподкупный» Робеспьера, сами недостатки ораторского искусства которого казались ему достоинствами. Робеспьер верил в Утопию, избегал театральных жестов и отождествлял нравственность с революцией. Умный циник Мирабо бросил о нем с характерным оттенком презрения: «Он пойдет далеко, потому что он верит в то, что говорит» (для Мирабо это было свидетельством умственной ограниченности).

Карамзин избрал Робеспьера. декабрист Николай Тургенев, не раз беседовавший с Карамзиным, вспоминал: «Робеспьер внушал ему благоговение <...> под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи»[2].

Часто повторяемые утверждения о том, что Карамзин «испугался» крови, нуждаются в уточнении. То, что торжество Разума вылилось в ожесточенную вражду и взаимное кровопролитие, было неожиданным и жестоким ударом для всех Просветителей, и Радищев страдал от этого не меньше, чем Шиллер или Карамзин. Однако напомним, что в 1798 г., набрасывая план похвального слова Петру I, Карамзин записал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместимо с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout. Но иногда и чувствительность торжествовала»[3]. Не следует забывать, что Карамзин смотрел на события глазами современника и очевидца и многое представлялось ему в неожиданной для нас перспективе. Он не отождествлял санкюлотов и конвент, улицу и трибуну, Марата и Робеспьера и видел в них противоборствующие стихии. Кровь, пролитая на улице самосудной толпой, вызвала у него ужас и отвращение, но «некоторые жестокости», на которые вынужден идти законодатель, жертвующий своей чувствительностью ради высокой цели, могли быть оправданы.

Слезы, которые пролил Карамзин на гроб Робеспьера, были последней данью мечте об Утопии, платоновской республике, государству Добродетели.

Фантастическое, мечтательное царствование Павла I («романтического нашего императора», как выразился Пушкин в своем дневнике[4]), пытавшегося воскресить рыцарский век, к тому же в формах, существовавших лишь в его воображении, довершило переворот в воззрениях Карамзина. Пережив мучительный кризис во второй половине 1790-х гг., Карамзин вышел из него холодным мыслителем с твердым умом и разочарованным сердцем. Он ос-

---

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 194.

[2] *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 1915. С. 342.

[3] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 202 (пер. с фр.: «Великие люди видят лишь общее»).

[4] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 330.

тается «республиканцем в душе», но верит теперь лишь государственной практике, власти, отвергающей любые теории и противопоставляющей эгоизму людей сильную волю и твердую руку. Идеалом его становится принципат, соединяющий республиканские институты и сильную власть, держащий равновесие между тиранией и анархией, а консул Бонапарт — реальное воплощение такого идеала в 1802—1803 гг.[1]

Теперь Карамзина привлекает политик-реалист. Печать отвержения с политики снята. Карамзин начинает издавать «Вестник Европы» — первый политический журнал в России.

На страницах «Вестника Европы», умело используя иностранные источники, подбирая и переводы (порой весьма вольно) таким образом, чтобы их языком выражать свои мысли, Карамзин развивает последовательную политическую доктрину. Люди по природе своей эгоисты: «Эгоизм — вот истинный враг общества», «к несчастью везде и все — эгоизм в человеке»[2]. Эгоизм превращает высокий идеал республики в недосягаемую мечту: «Без высокой народной добродетели Республика стоять не может. Вот почему монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой Республики падают»[3]. Бонапарт представляется Карамзину тем сильным правителем-реалистом, который строит систему управления не на «мечтательных» теориях, а на реальном уровне нравственности людей. Он вне партий. «Бонапарте не подражает Директории, не ищет союза той или другой партии, но ставит себя выше их и выбирает только способных людей, предпочитая иногда бывшего дворянина и роялиста искреннему республиканцу, иногда республиканца роялисту»[4]. «Бонапарте столь любим и столь нужен для счастия Франции, что один безумец может восстать против его благодетельной власти»[5]. Определяя консулат «истинной монархией», Карамзин подчеркивает, что ненаследственный характер власти Бонапарта и способ захвата им ее полностью оправдывается благодетельным характером его политики: «Бонапарте не есть похититель» власти, и история «не назовет его сим именем»[6]. «Роялисты должны безмолвствовать. Они не умели спасти своего доброго короля, не хотели погибнуть с оружием в руках, а хотят только возмущать умы слабых людей гнусными клеветами». «Франции не стыдно повиноваться Наполеону Бонапарте, когда она повиновалась госпоже Помпадур и Дю-Барри». «Мы не знаем предков консула, но знаем его — и довольно»[7].

---

[1] Бонапартизм в эти годы уживался с либерализмом. С. Н. Глинка вспоминал: «Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом» (*Глинка С. Н.* Записки. СПб., 1895. С. 194); бонапартистом был в эти годы герой Бородина А. А. Тучков; ср. образы Андрея Болконского и Пьера Безухова в «Войне и мире».

[2] Вестник Европы. 1803. № 9. С. 24—25.

[3] Там же. 1802. № 20. С. 319—320.

[4] Там же. № 9. С. 76.

[5] Там же. № 2. С. 90.

[6] Там же. № 16. С. 245.

[7] Там же. 1803. № 17. С. 79.

Любопытно отметить, что, следуя своей политической концепции, Карамзин в этот период высоко оценивает Бориса Годунова, причем словами, напоминающими характеристику первого консула: «Борис Годунов был один из тех людей, которые сами творят блестящую судьбу свою и доказывают чудесную силу Натуры. Род его не имел никакой знаменитости»[1]. В дальнейшем мы коснемся причин изменения этой оценки в «Истории».

О том, что наследственность не была для Карамзина в эти годы существенным фактором, свидетельствует настойчивое противопоставление на страницах «Вестника» энергичному ненаследственному диктатору отрицательного образа слабого, хотя и доброго, наследственного монарха, охваченного либеральными идеями. Играя на его метафизических умозрениях, хитрые вельможи создают олигархическое правление (таким изображается султан Селим; описывая бунт Пасвана-Оглу, Карамзин, под видом перевода, создает собственный текст, глубоко отличный от оригинала). За этими персонажами возникает явное для современников противопоставление: Бонапарт — Александр I. Позже оно будет прямо высказано в «Записке о древней и новой России».

Замысел «Истории» созрел в недрах «Вестника Европы». Об этом свидетельствует все возрастающее на страницах этого журнала количество материалов по русской истории. Но «Вестник Европы» был изданием отчетливо публицистического свойства: он противостоял планам реформ, о которых платонически мечтали Александр I и его «молодые друзья», и отстаивал программу сильной власти, твердого законодательства и народного просвещения. Исходя из принципа политического реализма, Карамзин отрицал эффектные замыслы, которые на практике (как это было с учреждением министерств) лишь усложняли административно-бюрократическую систему. «История» должна была противопоставить кабинетным планам знание России и ее прошлого.

Взгляды Карамзина на Наполеона менялись. Увлечение начало сменяться разочарованием. После превращения первого консула в императора французов Карамзин с горечью писал брату: «Наполеон Бонапарте променял титул великого человека на титул императора: власть показалась ему лучше славы»[2]. Но в одном он оставался человеком наполеоновской эпохи: идеал Утопии сменился импозантным образом государственного величия, а само это величие мыслилось неотделимым от пространственной обширности, военной мощи и внутреннего единства. Во внутренней жизни ему соответствовал «полный гордого доверия покой» — просвещение и административная устроенность. Так сложилось карамзинское понятие государства: единство территории и управления, связанное с понятиями мощи и величия. Конкретное содержание типа администрации сюда не входило. В понятие самодержавия, которым, по мнению Карамзина, создалась и укрепилась Россия, для него не включались механизмы управления или борьба общественных сил. Зато обязательными

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 1. С. 487.
[2] Атеней. 1858. Ч. 3. № 20. С. 255.

признаками его были переведенные на язык русских исторических понятий наполеоновская воля и якобинское «единая и неделимая».

Замысел «Истории» должен был показать, как Россия, пройдя через века раздробленности и бедствий, единством и силой вознеслась к славе и могуществу. Именно в этот период и возникло заглавие «история *государства*». В дальнейшем замысел претерпевал изменения. Но заглавия менять уже было нельзя.

Однако развитие государственности никогда не было для Карамзина *целью* человеческого общества. Оно представляло собой лишь *средство*. Целью же, как и когда-то, в годы пребывания в кружке Новикова, так и далее, на протяжении всей жизни, было движение человечества к нравственному совершенству. У Карамзина менялось представление о сущности прогресса, но вера в прогресс, дававшая смысл человеческой истории, оставалась неизменной. В самом общем виде прогресс для Карамзина заключался в развитии гуманности, цивилизации, просвещения и терпимости. В шутливой фразе, которой Карамзин заключил в «Вестнике Европы» статью о тайной канцелярии: «Гораздо веселее жить в то время, когда в Преображенском поливают землю не кровию, а водою для произведения овощей и салата» — для него был глубокий смысл.

Основную роль в гуманизации общества призвана сыграть литература. В 1790-е гг., после разрыва с масонами, Карамзин полагал, что именно изящная словесность, поэзия и романы будут этими великими цивилизаторами. Цивилизация — избавление от грубости чувств и мыслей. Она неотделима от тонких оттенков переживаний. Поэтому архимедовой точкой опоры в нравственном усовершенствовании общества является язык. Не сухие нравственные проповеди, а гибкость, тонкость и богатство языка улучшают моральную физиономию общества. Именно эти мысли имел в виду карамзинист поэт К. Н. Батюшков, когда указывал на «будущее богатство языка, столь тесно сопряженное с образованностию гражданскою, с просвещением и, следственно, — с благоденствием страны, славнейшей и обширнейшей в мире»[1].

Но в 1803 г., в то самое время, когда закипели отчаянные споры вокруг языковой реформы Карамзина, сам он думал уже шире. Реформа языка призвана была сделать русского читателя «общежительным», цивилизованным и гуманным. Теперь перед Карамзиным вставала другая задача — сделать его гражданином. А для этого, считал Карамзин, надо, чтобы он *имел историю* своей страны. Надо сделать его *человеком истории*. Именно поэтому Карамзин «постригся в историки».

Действительно: на поприще поэта, прозаика, журналиста можно было уже пожинать плоды долгих предшествующих трудов — на поприще историка приходилось все начинать сызнова, овладевать методическими навыками, учиться без малого в сорок лет как студент. Но Карамзин видел в этом свой долг, свой постриг. Истории у государства нет, пока историк не рассказал

---

[1] *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 8.

государству о его истории. Давая читателям историю России, Карамзин давал России историю. Если молодые сотрудники Александра торопливо стремились планами реформ заглянуть в будущее, то Карамзин противопоставлял им взгляд в прошлое как основу будущего.

...Однажды в Петербурге, на Фонтанке, в доме Е. Ф. Муравьевой, Карамзин читал близким друзьям отрывки из «Истории». Александр Иванович Тургенев так писал об этом брату Сергею: «Вчера Карамзин читал нам покорение Новгорода и еще раз свое предисловие. Право нет равного ему историка между живыми <...> Его Историю ни с какою сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России, т. е. она излилась из материалов и источников, совершенно свой особенный национальный характер имеющих. Не только это будет истинное начало нашей литературы; но и история его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического чувствования и, Бог даст, русской *возможной конституции*. Она объединит нам понятия о России или лучше даст нам оные. Мы узнаем, что мы были, как переходили до настоящего status quo, и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным преобразованиям»[1].

Взгляды А. И. Тургенева, арзамасца и карамзиниста, эклектика из доброты и дилетантского помощника Карамзина (Тургенев проходил свои исторические штудии в Геттингене под руководством Шлецера, а Карамзин никакого исторического образования не имел), не полностью совпадали с карамзинскими, и Карамзин вряд ли поставил бы свою подпись под этим письмом. Но одно Тургенев усвоил прочно: взгляд в будущее должен основываться на знании прошлого.

Бурные события прошлого Карамзину довелось описывать посреди бурных событий настоящего. В канун 1812 г. Карамзин работает над VI томом «Истории», завершая конец XV в. Приближение Наполеона к Москве прервало занятия. Карамзин «отправил жену и детей в Ярославль с брюхатою княгинею Вяземскою»[2], а сам переселился в Сокольники, в дом своего родственника по первой жене гр. Ф. В. Растопчина, ближе к источнику известий. Он проводил в армию Вяземского, Жуковского, молодого историка Калайдовича и сам готовился вступить в московское ополчение. Дмитриеву он писал: «Я простился и с Историею: лучший и полной экземпляр ее отдал жене, а другой в Архив Иностранной Коллегии»[3]. Хотя ему 46 лет, но ему «больно *издали* смотреть на происшествия решительные для нашего отечества». Он готов «сесть на своего серого коня». Однако судьба готовит ему иное: отъезд к семье в Нижний Новгород, смерть сына, гибель в Москве всего имущества и особенно драгоценной библиотеки. Дмитриеву он пишет: «Вся моя библиотека обратилась в пепел, но история цела: Камоэнс спас „Лузиаду“»[4].

---

[1] РО ИРЛИ. Архив бр. Тургеневых. № 124. Л. 272.
[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 164—165.
[3] Там же. С. 165.
[4] Там же. С. 166.

Последующие годы в погоревшей Москве были трудны и печальны, однако работа над «Историей» продолжается. К 1815 г. Карамзин закончил восемь томов, написал «Введение» и решил отправиться в Петербург для получения разрешения и средств на печатанье написанного.

В Петербурге Карамзина ждали новые трудности. Историк был восторженно встречен молодыми карамзинистами-арзамасцами, его радушно принимали царица Елизавета Алексеевна, умная и образованная, больная и фактически покинутая Александром I; вдовствующая императрица Мария Федоровна, великие княгини. Но Карамзин ждал другого — аудиенции у царя, который должен был решить судьбу «Истории». А царь не принимал, «душил на розах». 2 марта 1816 г. Карамзин писал жене: «Вчера, говоря с в<еликой> к<нягиней> Екатериною Павловною, я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно почти оскорбительным образом». «Если не удостоят меня *лицезрения*, то надобно забыть Петербург: докажем, что и в России есть благородная и Богу не противная гордость»[1]. Наконец Карамзину дали понять, что царь его не примет, пока историограф не нанесет визита всесильному Аракчееву. Карамзин колебался («Не заключат ли, что я пролаз и подлой искатель? Лучше, кажется, не ехать», — писал он жене) и отправился лишь после настоятельных просьб со стороны Аракчеева, так что поездка приобрела характер визита светской вежливости, а не хождения просителя. Не Карамзин, а Аракчеев чувствовал себя польщенным. После этого царь принял историографа, милостиво пожаловал 60 000 на печатанье истории, разрешив публиковать ее без цензуры. Печатать пришлось в Петербурге. Надо было перебираться туда со всей семьей. Для Карамзина начался новый период жизни.

В начале 1818 г. 3000 экземпляров первых восьми томов вышли в свет. Несмотря на то, что тираж был по тем временам огромным, издание разошлось в двадцать пять дней, тут же потребовалось второе, которое принял на себя книгопродавец Слёнин. Появление «Истории государства Российского» сделалось общественным событием. Откликов в печати было мало: критика Каченовским предисловия и мелочные замечания Арцыбашева прошли бы незамеченными, если бы карамзинисты не отвечали на них взрывом эпиграмм. Однако в письмах, разговорах, рукописях, не предназначенных для печати, «История» долгое время оставалась главным предметом споров. В декабристских кругах ее встретили критически. М. Орлов упрекал Карамзина за отсутствие лестных для патриотического чувства гипотез относительно начала русской истории (скептическая школа будет упрекать историка в противоположном). Наиболее основателен разбор Никиты Муравьева, критиковавший отношение Карамзина к исторической роли самодержавия. Грибоедов в путевых заметках 1819 г., наблюдая деспотизм в Иране, писал: «Рабы, мой любезный! И поделом им! Смеют ли они осуждать верховного их обладателя? <...> У них и историки панегиристы»[2]. Сопоставляя действия деспотизма в

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 163—166.
[2] *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 3. С. 50—51.

Иране и у себя на родине, Грибоедов в последних словах, конечно, думал о Карамзине. Однако все, кто нападали на «Историю» — справа и слева, — уже были ее читателями, они осуждали автора, но собственные выводы строили на его материале. Более того, именно факт появления «Истории» воздействовал на течение их мысли. Теперь уже ни один мыслящий человек России не мог мыслить вне общих перспектив русской истории.

А Карамзин шел дальше. Он работал над IX, X и XI томами «Истории» — временем опричнины, Бориса Годунова и Смуты. И эта вторая половина его труда заметно отличается от первой. Именно в этих томах Карамзин достиг непревзойденной высоты как прозаик: об этом свидетельствует сила обрисовки характеров, энергия повествования. Но не только это отличает Карамзина-историка последнего, «петербургского» периода его деятельности. До сих пор Карамзин считал, что успехи централизации, которые он связывал с образованием самодержавной власти князей московских, одновременно были успехами и цивилизации. В царствование Ивана III и Василия Ивановича не только укрепилась государственность, но и достигла успехов самобытная русская культура. В конце VII тома, в обзоре культуры XV—XVI вв., Карамзин с удовлетворением отмечал появление светской литературы — для него важного признака успехов образованности: «...видим, что предки наши занимались не только историческими или Богословскими сочинениями, но и романами; любили произведения остроумия и воображения» (VII, 139). Царствование Ивана Грозного поставило историка перед трудной ситуацией: усиление централизации и самодержавной власти приводило не к прогрессу, а к чудовищным злоупотреблениям деспотизма.

Более того, Карамзин не мог не отметить падения нравственности и губительного воздействия царствования Ивана Грозного на моральное будущее России. Грозный, пишет он, «хвалился правосудием», «глубокою мудростию государственною», «губительною рукою касаясь самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, Кромешников, им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если иго Батыево унизило дух Россиян, то без сомнения не возвысило его и царствование Иоанново» (IX, 260). По сути дела, Карамзин подошел к одному из труднейших вопросов русской истории XVI в. Все историки, которые прямолинейно признавали усиление государственности основной исторически прогрессивной чертой эпохи, фатально оказывались перед необходимостью оправдывать опричнину и террор Грозного как историческую необходимость. В жару полемики со славянофилами так высказался Белинский, и уже безоговорочно оправдал все действия Грозного К. Д. Кавелин. Исходя из идеи прогрессивности «государственных начал» в их борьбе с «родовым бытом», к этой позиции приблизился и С. М. Соловьев. О направленности террора Грозного против исторически обреченного землевладения бывших удельных княжат писал С. Ф. Платонов. На позиции поисков социально-прогрессивного смысла в опричнине и казнях Грозного стоял и П. А. Садиков. Традиция эта получила одиозное продолжение в исторических и художественных трудах 1940—1950-х гг., выразившись в восклицании, которое бросал Иван Грозный с экрана в фильме Эйзенштейна: «Нет напрасно осужденных!» Источник

идеализации Грозного в текстах этих лет очевиден. Н. К. Черкасов в своей книге «Записки советского актера» (М., 1953. С. 380) вспоминал о беседе И. В. Сталина с Эйзенштейном и им самим как исполнителем роли Грозного: «Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Иосиф Виссарионович отметил, что одна из его ошибок состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств, не довел до конца борьбу с феодалами, — если бы он это сделал, то на Руси не было бы смутного времени <...> И затем Иосиф Виссарионович с юмором добавил, что тут Ивану помешал бог: „Грозный ликвидирует одно семейство феодалов, один боярский род, а потом целый год кается и замаливает «грехи», тогда как ему надо было бы действовать еще решительнее!“»

Карамзин остановился в недоумении перед противоречием между усилением государственной консолидации и превращением патологии личности царя в трагедию народа и, безусловно оправдав первую тенденцию, категорически осудил вторую. Он не пытался найти государственный смысл в терроре Грозного. И если Погодин в этом отношении выступил продолжателем Карамзина, то Кавелин и многие последующие историки объявили взгляд Карамзина на Грозного устаревшим. Иначе отнесся к карамзинской концепции Грозного объективный и проницательный историк С. Б. Веселовский: «Большой заслугой Н. М. Карамзина следует признать то, что он, рассказывая про царствование Ивана IV, про его опалы и казни, про опричнину в частности, не фантазировал и не претендовал на широкие обобщения социологического характера. Как летописец, он спокойно и точно сообщил огромное количество фактов, впервые извлеченных им из архивных и библиотечных первоисточников. Если в оценке царя Ивана и его политики Карамзин морализирует и берет на себя роль судьи, то его изложение настолько ясно и добросовестно, что мы легко может выделить из рассказа сообщаемые им ценные сведения и отвергнуть тацитовский подход автора к историческим событиям»[1].

Следует отметить, что декабристы поддержали концепцию Карамзина и отношение прогрессивных кругов к «Истории» после появления IX тома резко изменилось. Рылеев писал: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита»[2]. Михаил Бестужев в крепости, получив IX том, «перечитывал — и читал снова каждую страницу»[3].

Отчетливо понимая, что устное чтение будет иметь значительно больший резонанс, чем книжная публикация, Карамзин, выходя из роли беспристрастного наблюдателя современности, несколько раз выступал с публичными чтениями отрывков из IX тома. А. И. Тургенев так описывал свое впечатление от одного из таких чтений: «Истинно грозный Тиран, какого никогда ни один народ не имел ни в древности, ни в наше время — этот Иоанн представлен нам с величайшею верностию и точно русским, а не римским

[1] *Веселовский С. Б.* Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 15.
[2] *Рылеев К. Ф.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 458.
[3] Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 114.

тираном»[1]. Когда Карамзин решил прочесть отрывок о казнях Грозного в шишковской академии, куда он был избран членом, Шишков смертельно перепугался. Карамзин так писал об этом П. А. Вяземскому: «Хочу на торжественном собрании пресловутой Российской Академии читать несколько страниц об ужасах Иоанновых: президент счел за нужное доложить о том через министра Государю!»[2] Следует иметь в виду, что письмо это написано во время, когда отношения Карамзина и Александра I сделались предельно напряженными. 29 декабря 1819 г. Карамзин написал записку «Для потомства», в которой изложил свой разговор с императором 17 октября, когда он сказал царю то, чего, вероятно, никто никогда ему не говорил: «Государь, Вы слишком самолюбивы... Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. То, что я сказал Вам, я сказал бы Вашему отцу... Государь, я презираю однодневных либералистов, я люблю лишь свободу, которой у меня не может отнять никакой тиран... Я более не прошу Вашего расположения. Может быть я обращаюсь к Вам в последний раз»[3].

С такими настроениями шел Карамзин на чтения в Российской Академии. Вот что вспоминал через сорок восемь лет митрополит Филарет: «Читающий и чтение были привлекательны: но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более бы покрыла тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть, положенными на имя русского царя»[4]. Декабрист Лорер рассказал в своих мемуарах, что вел. князь Николай Павлович, глядя из окна Аничкова дворца на идущего по Невскому историографа, спросил: «Это Карамзин? Негодяй, без которого народ не догадался бы, что между царями есть тираны»[5]. Известие это анекдотично: Карамзин и Николай Павлович познакомились еще в 1816 г. и отношения их имели совсем иной характер. Но и анекдоты важны для историка: в декабристском фольклоре Карамзин — автор IX тома и Николай Павлович запечатлелись как полярные противоположности.

Столкновение с дисгармонией между государственностью и нравственностью, видимо, потрясло самого Карамзина, и это отразилось на усилении морального пафоса последних томов. Особенно интересен пример метаморфозы в оценке Бориса Годунова. И в «Письмах русского путешественника», и в «Исторических воспоминаниях и замечаниях на пути к Троице» Карамзин именует Бориса Годунова русским Кромвелем, то есть цареубийцей, хотя в «Исторических воспоминаниях...» и оговаривает недоказанность его участия в смерти Димитрия. Тем не менее характеристика Годунова в «Исторических воспоминаниях...» — панегирик. Карамзин берет под сомнение достоверность тех самых источников, которые в «Истории» определят его позицию: «Не-

[1] РО ИРЛИ. Архив бр. Тургеневых. № 124. Л. 272.

[2] *Карамзин Н. М.* Письма к кн. П. А. Вяземскому, 1810—1826. СПб., 1897. С. 92.

[3] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 9.

[4] Чтения в имп. Московском обществе истории и древностей. М., 1880. [Вып.] 4. С. 12.

[5] *Лорер Н. И.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 60.

справедливость наших летописцев в рассуждении сего Царя заставила меня войти здесь в некоторые подробности». «Царские его заслуги столь важны, что Русскому Патриоту хотелось бы сомневаться в сем злодеянии: так больно ему гнушаться памятью человека, который имел редкий ум, мужественно противоборствовал государственным бедствиям и страстно хотел заслужить любовь народа! Но что принято, утверждено общим мнением, то делается некоторого роду святынею; и робкий Историк, боясь заслужить имя дерзкого, без критики повторяет летописи. Таким образом История делается иногда эхом злословия...»[1]

Итак, важность «царских заслуг» на первом месте. Моральная непогрешимость — как бы ее следствие. В «Истории» соотношение меняется и преступная совесть делает бесполезными все усилия государственного ума. Аморальное не может быть государственно полезным.

Эта нота настойчиво звучит в последних томах «Истории». Страницы, посвященные царствованию Бориса Годунова и Смутному времени, принадлежат к вершинам исторической живописи Карамзина, и не случайно именно они вдохновили Пушкина на создание «Бориса Годунова».

Карамзин последних лет настойчиво повторяет, что нравственное совершенство есть дело личных усилий и личной совести отдельного человека, независимое от тех непонятных и трагических путей, которыми Провидение ведет народы, и, следовательно, совершаемое вне хода государственного развития.

5 декабря 1818 г. Карамзин произнес в торжественном собрании Российской Академии речь (речь была написана раньше, еще осенью, в то самое время, когда историк отмечал: «Описываю злодейства Ивашки»). Здесь впервые он резко противопоставил государство и мораль, «державу» и «душу»: «Для того ли образуются, для того ли возносятся Державы на земном шаре, чтобы единственно изумлять нас грозным колоссом силы и его звучным падением; чтобы одна, низвергая другую, чрез несколько веков обширною своею могилою служила вместо подножия новой Державе, которая в чреду свою падет неминуемо? Нет! и жизнь наша и жизнь Империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души[2], все для ума и чувства; все бессмертно в их успехах! Сия мысль, среди гробов и тления, утешает нас каким-то великим утешением»[3]. Еще раньше, в 1815 г., похоронив дочь Наташу, Карамзин писал А. И. Тургеневу: «*Жить* есть не писать историю, не писать трагедии или комедии,

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 1. 486—487.

[2] Эти слова стали боевым кличем карамзинистов, но истолковывались по-разному; Жуковский записал в дневнике: «Мир существует только для души человеческой»; Вяземский же считал иначе, о чем свидетельствует его письмо к Тургеневу: «Конечно, у Жуковского все душа, и все для души. Но душа, свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздят для убиения народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии» (Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899. Т. 2. С. 170).

[3] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 654.

а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душею к его источнику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, — не исключаю и моих осьми или девяти томов»[1].

С этими настроениями связано очевидное разочарование Карамзина в труде, которому он отдал двадцать три года непрерывной работы. Еще более поразительно, что он, поставивший на титуле «история государства», не хочет писать о периоде, когда государство достигает больших успехов и действительно становится в центре исторической жизни, — о периоде Петра I. Видимо, даже царствование Алексея Михайловича его не привлекает. Восстание декабристов и смерть Александра поставили его перед необходимостью переосмыслить свою историческую концепцию, на что у него уже не было сил. Не случайно один из карамзинистов назвал восстание на Сенатской площади вооруженной критикой на «Историю государства Российского».

Карамзин пишет в последний день 1825 г., что серьезно думает об отставке и жизни в Москве или службе в дипломатической миссии за границей, «но прежде хотелось бы издать дюжинный том моей исторической поэмы»[2] («дюжинный» — двенадцатый том — посвящен Смуте и, видимо, должен был заканчиваться избранием Михаила Романова; поскольку в конце Карамзин хотел сказать «что-нибудь» об Александре, то, очевидно, этим бы «История» и завершилась). А через несколько недель, сообщая Вяземскому об обуревающей его жажде путешествий, Карамзин пишет: «Никак не мог бы я возвратиться к своим прежним занятиям, если бы здесь и выздоровел»[3].

Смерть, оборвавшая работу над «исторической поэмой», решила все вопросы.

Если говорить о значении «Истории государства Российского» в культуре начала XIX в. и о том, что в этом памятнике привлекает современного читателя, то уместно будет рассмотреть научный и художественный аспекты вопроса[4].

Заслуги Карамзина в обнаружении новых источников, создании широкой картины русской истории, сочетании ученого комментария с литературными достоинствами повествования не подвергаются сомнению. Однако научные достижения историка начали рано оспариваться. Первые критики Карамзина-историка: М. Т. Каченовский и Н. С. Арцыбашев — упрекали его в недостаточном критицизме. Но поскольку теоретические положения самих критиков (отрицание возможности существования русской культуры и государственности до XIII в., отрицание подлинности ряда бесспорно оригинальных текстов XI—XII вв. и др.) вскоре потеряли убедительность, не их возражения поколебали научный авторитет Карамзина и заставили историков-профессионалов говорить о его «устарелости». Первый шаг в этом направлении сделал Николай Полевой, а затем с разных позиций об этом

---

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 3. С. 737.

[2] *Карамзин Н. М.* Письма к кн. П. А. Вяземскому. С. 169.

[3] Там же. С. 173.

[4] Интересный опыт синтетического рассмотрения этих аспектов см. в книге Н. Я. Эйдельмана «Последний летописец» (М., 1983).

заговорили историки последующих школ и направлений. В этой критике была большая научная правда. Однако уже то, что каждое новое направление, прежде чем оформить свою научную позицию, должно быть ниспровергнуть Карамзина, говорит лучше всего о том месте, которое он, несмотря ни на что, занял в русской исторической науке. С ненужным не спорят, мелкое не опровергают, с мертвым не соревнуются. И то, что Н. А. Полевой, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский создавали труды, «отменяющие» «Историю» Карамзина, что вершина труда историка традиционно стала видеться как целостный опыт истории России, красноречивее всяких рассуждений.

Начиная с Полевого Карамзину предъявляется один главный упрек: отсутствие «высшего» (Полевой) или философского, как стали говорить позже, взгляда, эмпиризм, подчеркивание роли отдельных личностей и отсутствие понимания стихийной работы исторических законов. Если критика, которой подвергает Карамзина-историка П. Н. Милюков[1], поражает необъективностью и каким-то личным раздражением, то современный читатель может только присоединиться к словам Ключевского: «...лица у К<арамзина> окружены особой нравственной атмосферой: это — отвлеченные понятия долга, чести, добра, зла, страсти, порока, добродетели <...> К<арамзин> не заглядывает за исторические кулисы, не следит за исторической связью причин и следствий, даже как будто неясно представляет себе, из действия каких исторических сил слагается исторический процесс и как они действуют»[2].

Действительно, представление об истории как поле действия определенных закономерностей стало складываться в 1830-е гг. и было чуждо Карамзину. Идея исторической закономерности внесла подлинный переворот в науку, что дает известные основания относить все предшествующее в донаучный период. Однако где достижения, там и потери. Начиная с Полевого, Кавелина, С. Соловьева историк не мог уже уклониться от создания организующей концепции. А это стало порождать стремление пренебречь фактами, в концепцию не укладывающимися... И несколько ворчливые слова академика С. Б. Веселовского содержат гораздо больше истины, чем утверждение Милюкова о том, что Карамзин не оказал никакого влияния на историческую науку. С. Б. Веселовский писал: «Нет надобности говорить и спорить о том, что Карамзин как историк устарел во многих отношениях, но по своей авторской добросовестности и по неизменной воздержанности в предположениях и домыслах он до сих пор остается образцом, не досягаемым для многих последующих историков, у которых пренебрежение к фактам, нежелание их искать в источниках и обрабатывать соединяются с самомнением и с постоянными претензиями на широкие и преждевременные обобщения, не основанные на фактах»[3]. Действительно, если многие идеи Карамзина устарели, то сам он как образец научной честности, высокого чувства профессиональной ответственности перед истиной остается благородным примером.

---

[1] См.: *Милюков П. Н.* Главные течения русской исторической мысли. М., 1897. Т. 1. С. 114—200.

[2] *Ключевский В. О.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 134.

[3] *Веселовский С. Б.* Исследования по истории опричнины. С. 15.

Наконец, «нравственная атмосфера», о которой пишет Ключевский, также не только признак архаичности устарелых методов Карамзина, но и источник обаяния, особой прелести его создания. Никто не станет призывать к возврату к морализаторству и «нравственным урокам» истории, но взгляд на историю как на безликий автоматический процесс, действующий с фатальной детерминацией химической реакции, тоже устарел, и вопросы моральной ответственности человека и нравственного смысла истории оказываются определяющими не только для прошлого, но и для будущего исторической науки. Может быть, в этом — одна из причин «возвращения» Карамзина-историка.

Но «История государства Российкого» должна быть рассмотрена и в ряду произведений художественной литературы. Как литературное явление она принадлежит первой четверти XIX в. Это было время торжества поэзии. Победа школы Карамзина привела к тому, что понятия «литература» и «поэзия» отождествились. Все крупнейшие литераторы той поры: Жуковский, Батюшков, Вяземский, Денис Давыдов, Крылов, Грибоедов, Рылеев, молодой Пушкин — поэты. В поэзии же господствуют «малые жанры», лирика. Эпические поэмы отданы на откуп «беседчикам», осмеяны и поставлены как бы вне литературы (среди них такие значительные, как «Таврида» Боброва). Романы пишет только Нарежный, тоже поставленный критикой в положение «вне игры». Границы художественной прозы могут показаться для нас неожиданными: подобно тому как во Франции Бюффон — автор «Естественной истории» — труда по зоологии — считался образцовым стилистом, с точки зрения стиля оценивался, например, «Опыт теории партизанского действия» Дениса Давыдова — научное исследование по военной теории. Пушкин писал:

> Узнал я резкие черты
> Неподражаемого слога...

Но победа «легкой поэзии» стала ее поражением — литература повернула сначала к романтическим поэмам, а затем — к драме («Борис Годунов», «Горе от ума», драмы Кюхельбекера, замыслы Рылеева). У пушкинской драмы были вдохновители: Шекспир, летописи, «История государства Российского». Но Карамзин не был карамзинистом. Он никогда не был последователем и завоеванное им поле всегда оставлял другим. В 1803 г. он не отказался от литературы, а смело расширил ее границы. Среди малых жанров, легкой поэзии доонегинского периода выделяются два эпических замысла, которым трудно найти место в стандартной историко-литературной обойме (лучший признак значительности произведения). Это «Илиада» Гомера в переводе Гнедича и «История государства Российского» Карамзина. Оба замысла отличаются эпической величественностью, оба обращают читателя к истории и мифу, оба вместо романтического автора, прихотливо создающего сюжет игрой своего воображения, ставят в центр текста «почти не автора» — переводчика чужих легенд или пересказчика чужих летописей. Этот боковой путь вел в неизведанные литературные дебри. Через романтическую поэму шла дорога к «Онегину», поэмам Баратынского и дальше — к психологическому роману. От «Илиады» Гнедича путь вел к «Тарасу Бульбе», а от «Истории государства Российского» — к «Войне и миру». Конечно, большое

литературное произведение никогда не принадлежит какой-либо *одной* традиции и всегда стоит на перепутье многих дорог. Однако между «Историей» Карамзина и «Войной и миром» связь более глубокая, чем это может показаться.

Критики «Истории» напрасно упрекали Карамзина в том, что он не видел в движении событий глубокой идеи. Карамзин был проникнут мыслью, что история *имеет смысл*. Но смысл этот — замысел Провидения — скрыт от людей и не может быть предметом исторического описания. Историк описывает деяния человеческие, те поступки людей, за которые они несут моральную ответственность. Подлинный же смысл истории ноуменален. Его можно угадывать поэтически, но он лежит по ту сторону строгой истории. Это и есть подлинная причина «психологизма» и «морализма» Карамзина. Но именно это — сочетание таинственных объективных процессов и сознательной — судимой совестью — воли человека — отправная точка исторических рассуждений Толстого. И когда стареющий Карамзин записывает: «Мы все как *муха на возу*: важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий»[1], то автором этих строк вполне можно представить себе создателя «Войны и мира».

В 1803 г. Карамзин поднял на себя тяжелое бремя, вероятно еще не подозревая, каким «неудобьносимым» оно окажется. Он нес его сквозь горести и беды, сквозь пожар Москвы, через могилы своих детей, сквозь насмешки и дифирамбы — не оскорбляясь одними и не прельщаясь другими. Он нес свой труд и сложил его лишь с последним дыханием. Он часто думал о потомстве. После острого конфликта с Александром он в бумагах своих обратился к потомству: «Потомство! достоин ли я был имени гражданина Российского? Любил ли Отечество?»[2]

А одна из последних написанных его рукой бумаг кончается: «Потомству приветствие из гроба!»[3]

Настоящее издание[4] — знак того, что слова эти дошли до адресата. Карамзин возвращается.

1988

1 *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. С. 197.
2 Там же. С. 9.
3 Там же. С. 20.
4 Имеется в виду: *Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1988. Настоящая статья открывает 4-ю книгу указанного издания (С. 3—16).

«О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века

Судьба этого произведения удивительна: 177 лет прошло со времени его написания, давно отошли в прошлое отразившиеся в ней злободневные страсти, давно сделались достоянием печати произведения неизмеримо более смелые, а работа Карамзина все еще остается практически недоступной читателю. Попытки Пушкина опубликовать это произведение в «Современнике» натолкнулись на противодействие цензуры. Затем отрывки его были опубликованы во французском переводе в вышедшем в Брюсселе на французском языке сочинении декабриста Николая Тургенева «Россия и русские» (1847). В 1861 г. на русском языке вышло весьма небрежное издание в Берлине, но для русского читателя текст оставался запретным: в 1870 г. журнал «Русский архив» сделал попытку опубликовать это сочинение, однако все содержащие его страницы были вырезаны из тиража и уничтожены цензурой. В 1900 г. в третьем издании «Исторических очерков общественного движения в России при Александре I» А. Н. Пыпин сумел включить сочинение Карамзина в раздел «Приложений». Однако, когда в 1914 г. В. В. Сиповскому удалось осуществить первую в России отдельную публикацию (под утвердившимся уже неточным заглавием «Записка о древней и новой России»), на титуле издания значилось: «Печатается в ограниченном количестве экземпляров. Перепечатка воспрещается». Действительно, издание 1914 г. сразу же сделалось редкостью, мало доступной даже специалистам.

Еще более поразительно, что и в дальнейшем публикация этого произведения встречала цензурные трудности: все попытки ряда советских исследователей добиться ее издания (в том числе усилия, предпринимавшиеся в этом направлении покойным Г. П. Макогоненко и автором этих строк) не увенчались успехом. Одни цензоры боялись «резкости», другие — «реакционности» мнений Карамзина. Результат был один и тот же.

Несмотря на то, что текст «О древней и новой России» был известен лишь в извлечениях или дефектных публикациях, историки считали себя вправе высказывать об этом произведении категорические суждения. Во второй половине XIX в. оно неожиданно приобрело актуальность и сделалось предметом споров, наследие которых до сих пор препятствует объективной оценке этого памятника.

В 1866 г. праздновался столетний юбилей Карамзина. Как отмечал А. Н. Пыпин, юбилей Карамзина получил «тенденциозный охранительный характер»[1]. Это, в свою очередь, вызвало в либеральной и демократической прессе стремление «обличать» Карамзина, видеть в нем не деятеля русской культуры прошедшей эпохи, а живого представителя враждебного лагеря. Анализ общественно-литературной позиции Карамзина, данный Пыпиным в названной выше книге, — печальный, но характерный этому пример. Обычно академически объективный Пыпин излагает воззрения Карамзина с такой очевидной тенденциозностью, что делается просто непонятно, каким образом этот лукавый реакционер, прикрывавший сентиментальными фразами душу крепостника, презирающего народ, сумел ввести в заблуждение целое поколение передовых литераторов, видевших в нем своего рода моральный эталон. Свой анализ Пыпин завершил утверждением, что система Николая I явилась практической реализацией высказанных в этом документе идеалов Карамзина: «Есть немалые основания думать, что идеи Карамзина, воплотившиеся в «Записке», имели практическое влияние на высшие сферы нового наступившего периода. Когда русская общественная мысль в начале нового царствования переживала трагический кризис, Карамзин со всей нетерпимостью и ожесточением, какие производила его система, внушал свои идеи людям нового периода и возбуждал в них вражду к либеральным идеям прошлого царствования. Этими советами и внушениями он, с своей стороны, наносил свою долю зла начинавшемуся умственному пробуждению общества; он рекомендовал программу застоя и реакции»[2].

Конечно, простая хронологическая проверка обвинений, выдвинутых Пыпиным, убеждает в их несостоятельности: уже в первые недели царствования Николая I Карамзин был смертельно болен и никому не «внушал свои идеи». Если же речь идет о вредоносности идей, положенных в 1811 г. в основу трактата «О древней и новой России», то, как известно, Карамзин сохранял это сочинение в тайне, не предпринимая никаких шагов к его распространению. Здесь, видимо, апологетом «застоя и реакции» следует считать Пушкина, который не только пытался опубликовать трактат Карамзина в своем «Современнике», но и рекомендовал его читателю как «красноречивые страницы», написанные «со всею искренностию прекрасной души, со всею смелостию убеждения сильного и глубокого»[3]. Конечно, с точки зрения Пыпина, пропаганда Пушкиным идей трактата Карамзина не вызывает удивления, поскольку и Пушкин был для него в эти годы апологетом николаевского царствования: «Тот консервативный характер, какой приняли мысли Пушкина ко времени нового царствования, обнаружился как в его литературных представлениях, так и в теориях политических». «Это была та же готовая точка

---

[1] *Пыпин А. Н.* Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1908. С. 187.

[2] Там же. С. 259.

[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. [М.] 1949. Т. 12. С. 45.

зрения Карамзина и вместе Жуковского», в которую, по мнению Пыпина, Пушкин «уверовал» в эти годы[1].

Мы так подробно остановились на мнении А. Н. Пыпина потому, что именно к нему восходят оценки «О древней и новой России», дожившие до наших дней.

Попытаемся, не прибегая ни к предвзятым обвинениям, ни к столь же предвзятой апологетике, *понять* позицию Карамзина.

Либеральное мышление в исторической науке строится по следующей схеме: то или иное событие отрывается от предшествующих и последующих звеньев исторической цепи и как бы переносится в современность, оценивается с политической и моральной точек зрения эпохи, которой принадлежат историк и его читатели. Создается иллюзия актуальности, но при этом теряется подлинное понимание прошлого. Деятели ушедших эпох выступают перед историком как ученики, отвечающие на заданные вопросы. Если их ответы совпадают с мнениями самого историка, они получают поощрительную оценку, и наоборот. Применительно к интересующему нас времени вопрос ставится так: общественно-политические реформы есть благо и прогресс. Те, кто поддерживает их, — прогрессивны, те, кто оспаривает, — сторонники реакции. Время создания «О древней и новой России» — период проектов Сперанского. Отсюда сама собой напрашивается схема: Сперанский и Карамзин как воплощение прогресса и реакции. Как ни удобна эта картина, но историческая реальность сложнее.

«О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» — произведение очень сложное и по-разному рисующееся в различной исторической перспективе. Самая ближайшая — конкретная обстановка 1811 г. В этом аспекте позиция Карамзина представляется в следующем виде: он ясно видит приближение огромной по масштабам войны. В этой войне России придется столкнуться с противником опытным и полководцем гениальным (военный гений Наполеона Карамзин оценивал очень высоко). Военные же способности императора Александра I и его ближайшего окружения казались ему после Аустерлица более чем сомнительными[2]. Он считал, что Тильзитский мир вреден, поскольку втягивает Россию в орбиту наполеоновской политики, и что союз с Наполеоном приближает, а не отдаляет неизбежность военного столкновения. Сперанский же исходил из того, что союз с Наполеоном дарует России прочный мир, необходимый для проведения реформ. Связь реформаторских планов Сперанского с профранцузским курсом внешней политики в определенной мере повлияла на тон меморандума Карамзина.

Более глубинная причина — отношение Карамзина к реформаторским планам правительства Александра I. Карамзин внимательно следил за правительственными усилиями в этом направлении, и все они, от Негласного комитета

---

[1] *Пыпин А. Н.* Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов: Исторические очерки. СПб., 1909. С. 71, 80.

[2] На связь между «О древней и новой России» и опасениями, вызванными предчувствием войны, указал Н. Я. Эйдельман. См.: *Эйдельман Н.* Последний летописец. М., 1983. С. 69.

«дней Александровых прекрасного начала» до реформ Сперанского и военных поселений Аракчеева, вызывали у него отрицательное отношение. Был ли Карамзин вообще врагом государственных реформ? Видимо, нет. Он неизменно с глубочайшей похвалой отзывался о реформах Ивана III, одобрял в статьях 1803 г. реформы Бориса Годунова, высоко ценил мероприятия царя Алексея. Об отношении его к реформам Петра I скажем ниже. Идея исторического прогресса составляла одну из основ мировоззрения Карамзина, и именно этим он долгое время вызывал ненависть Шишкова и его окружения. Нет ничего более несправедливого, чем представлять его сторонником исторического застоя. Однако к реформаторству Александра I он действительно относился отрицательно.

Пушкин имел основания назвать политические воззрения Карамзина «парадоксами». С одной стороны, приверженец монархического правления, Карамзин многократно повторял, что в идеале предпочитает республику. С другой, подчеркивая свою приверженность Александру I, лично любя его как человека и не раз развивая перед ним свои политические идеи, он чрезвычайно низко ставил его как государственного деятеля, считал его исполненным благих намерений царем-неудачником, все планы которого обращаются во вред России. Видя обязанность патриота в том, чтобы в глаза царю критиковать разные стороны его политики, он с годами делал это со все возрастающим чувством усталости и безнадежности. В 1802—1803 гг. на страницах «Вестника Европы» он развернул завуалированную критику Негласного комитета и его реформаторских прожектов[1]. Конечно, не только прямая критика действий правительства в печати, но и простое обсуждение принятых им мер в журнале, по условиям тех лет, исключалось. В 1811 г. перед Карамзиным открылась исключительная возможность: лично, то есть без оглядки на цензуру и ограничения, которые неизбежны при обнародовании, изложить царю мнение о всей его деятельности как главы государства в целом. Трудно найти в истории пример человека, который бы использовал подобную возможность для того, чтобы высказать максимум горьких истин.

Реформаторскую деятельность Александра I Карамзин оценивает в свете всей традиции правительственных реформ в России после Петра I. XVIII в. называют веком переворотов, но его же можно было бы назвать эпохой неудачных реформ. Особенно это относится к царствованиям Екатерины II, Павла I, а в начале XIX в. и Александра I. Во всех случаях правительство сознавало неотложность преобразовательных мер. Результаты этого осознания были различны: блестящая выставка, парадный фасад просвещенной монархии, обращенный к Европе Екатериной II; нескончаемый поток распоряжений и регламентов, которыми Павел в течение всего своего краткого царствования оглушал Россию; кабинетные планы реформ, рождавшиеся в обстановке бюрократической тайны, мечтания Александра I, облеченные в пункты и параграфы законов, большинство из которых так никогда и не были приняты, — все это отражало разные стили правления и различные характеры самодержцев. Но одно оказалось у всех общим: ни один из законодательных

[1] Подробнее об этом см. в наст. изд. «Сотворение Карамзина». С. 274.

проектов не был доведен до конца, ни один не сделался реальностью в политической жизни страны. На протяжении десятилетий кипела деятельность, в которой принимали участие цари и вельможи, комитеты и комиссии, делались карьеры и получались награды, вспыхивали общественные надежды и опасения. *И ничего не было сделано.* Это и было отправной точкой того скептицизма, который определял отношение Карамзина к правительственным реформам.

Основная причина реформаторской импотенции правительств второй половины XVIII — начала XIX в. была скрыта в исходной презумпции: все изменить, ничего не меняя. С самого начала реформ Александра I как непременное условие было предположено, что инициатива, весь план и его реализация исходят от императора. На первых же заседаниях Негласного комитета было утверждено, что «эта реформа должна быть личным созданием императора»[1]. На заседании 1 мая 1801 г. было вновь подтверждено, что «только император лично владеет делом реформы»[2]. Реформаторские планы не должны задевать полноты императорской власти.

Этот же принцип был положен в основу проектов Сперанского, откликом на которые явилась «О древней и новой России». Первая глава «Прозкта уложения государственных законов Российской империи» (1809) гласила: «Державная власть во всем ее пространстве заключается в особе императора». И далее это положение раскрывалось: «По праву державной власти... император есть верховный законодатель», «он есть верховный охранитель правосудия», «он есть верховное начало силы исполнительной». Таким образом, в основу плана Сперанского сразу же было помещено положение, сводившее весь план на нет. Что же тогда оставалось? Оставалась система бюрократической упорядоченности фасада империи и суета честолюбий вокруг распределения новых государственных должностей. Именно то, что Карамзину было особенно ненавистно.

После Пыпина утвердилось представление, что основной удар Карамзина был направлен на Сперанского и даже что «О древней и новой России» явилась причиной отставки и ссылки русского реформатора. Это не совсем точно. Подававшиеся Сперанским государю проекты не отражали в полном объеме идей их автора. В 1802 г. Сперанский набросал отрывок «Еще нечто о свободе и рабстве», где сформулировал принципы свободы политической и гражданской. Политическая свобода состоит в равенстве всех перед законом и является вполне достижимой целью. Гражданская свобода есть социальное равенство и в принципе недостижима. Более того, в отрывке «О образе правления» (1804) он смело выразил парадоксальную мысль, что всякая социальная структура есть деспотизм[3] и «что различие образов правления

---

[1] *Николай Михайлович, вел. кн.* Граф Павел Александрович Строганов (1774—1817). СПб., 1903. Т. 2. С. 9 (оригинал здесь и далее на французском языке).

[2] Там же. С. 29.

[3] Сходные мысли развивал в XVIII в. Симон-Никола-Анри Ленге, публицист и адвокат, автор популярной в XVIII в. «Теории гражданских законов», писавший: «Общество — обширная тюрьма, где свободны только те, кто сторожат заключенных». Парадоксы этого поклонника Руссо не понравились Робеспьеру, и Ленге кончил жизнь на гильотине.

деспотического и республиканского состоит только в словах»[1]. Однако в Сперанском было две души: он был маркиз Поза, стремившийся завладеть умом и сердцем тирана и превратить его в свое орудие, и старательный столоначальник, умело превращающий идею начальника в округлые канцелярские формы. Сперанский умел гнуться, он облекал в параграфы мысли Александра, как позже распределял для Николая по разрядам «вины» декабристов. Идеи систематизированного бюрократического деспотизма, к которым в конечном итоге сводились проекты реформы, написаны были пером Сперанского, но вдохновителем их был царь, который, следуя своей обычной методе, прятался за спину очередного фаворита с тем, чтобы потом свалить на него ответственность перед обществом. Выступая против проекта реформ, Карамзин оспаривал идеи царя, и именно поэтому реакция Александра I на мнение историографа была столь болезненной[2].

Политические воззрения Карамзина сложились под влиянием идей Монтескье. Россию, как огромное по территории государство, он считал наиболее приспособленной для единовластия. Однако для того, чтобы власть эта была монархической, а не деспотической, необходимо просвещение граждан и высокоразвитое, хотя бы в политически активном меньшинстве, чувство чести. Взгляды эти могли казаться в начале XIX в. уже архаическими, но именно они позволяли Карамзину видеть за суетой бумаг, проектов и записок, предлагавших разнообразные административные и политические преобразования, борьбу честолюбий, карьеризм, самолюбие чиновников.

Критическое отношение Карамзина к преобразовательным планам Александра имело и более глубокие корни, вырастая из размышлений над всем послепетровским путем империи. Карамзин более, чем кто-либо из современников его, был человеком европейского просвещения. Обвинения в галломании преследовали его всю жизнь. Но именно Карамзин первым заметил, что прививка европейской администрации к русскому самодержавию порождает раковую опухоль бюрократизма. Вся реформаторская деятельность Александра I сводилась к мечтам о всеобщем благоустройстве государства и практической его бюрократизации. Именно эта — на самом деле любимейшая для императора — сторона государственных преобразований встретила в Карамзине непримиримого критика. Но именно это фатально не замечали Пыпин и его либеральные последователи, которые все простили бы Карамзину за еще один, обреченный остаться на бумаге, проект превращения России в республику, а русских крестьян — в «счастливых швейцаров», (то есть швейцарцев). Государь тоже был бы доволен «прекрасными чувствами» своего историографа, подарил бы ему свой портрет в бриллиантах, а проект положил бы под сукно. Вместо этого Карамзин с суровой беспристрастностью рассмотрел все государственные начинания императора и все осудил.

---

[1] *Сперанский М. М.* Проекты и записки. М.; Л., 1961. С. 142.

[2] Личность Александра I была необычайно сложной: он отличался и редкой терпимостью, и редкой злопамятностью. В отношении Карамзина проявилось и то и другое.

Учреждение министерств, Государственного совета, резкое увеличение бюрократической машины и бумажного производства осуждаются Карамзиным с неслыханной прямотой и резкостью: «Сие значит играть именами и формами, придавать им важность, какую имеют только вещи». «Вообще новые законодатели России славятся наукою письмоводства более, нежели наукою Государственною: издают проэкт Наказа Министерского, — что важнее и любопытнее?.. Тут, без сомнения, определена сфера деятельности, цель, способы, должности каждого Министра?.. Нет! брошено несколько слов о главном деле, а все другое относится к мелочам Канцелярским: сказывают, как переписываться Министерским Департаментам между собою, как входят и выходят бумаги, как Государь начинает и кончит свои рескрипты!»

Именно с сочинения «О древней и новой России» начинается в русской литературе борьба не с плохими чиновниками-взяточниками, а с бюрократией как таковой, с ее неудержимой тенденцией к безграничному самовоспроизводству: «Здесь три Генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5 мест жалование; всякому — столовые деньги... Непрестанно на Государственное иждивение ездят Инспекторы, Сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами». И вывод: «Надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жаловании».

Бюрократии Карамзин противопоставлял наивную мысль о семейной, патриархальной природе управления в России. Утопизм этого представления очевиден. Однако оно сыграло в истории русской общественной мысли слишком серьезную роль, чтобы можно было ограничиться такой оценкой. Идея «непосредственной» отеческой власти противостояла европеизированному бюрократическому деспотизму — прямому потомку петровского «регулярного государства». Наиболее близкими продолжателями Карамзина здесь были Гоголь и Л. Толстой.

Во второй том «Мертвых душ» Гоголь ввел помещика Кошкарева, воссоздав в миниатюре образ «регулярного государства»: «Вся деревня была вразброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то домы, в роде каких-то присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: *Депо земледельческих орудий;* на другом: *Главная счетная экспедиция;* далее *Комитет сельских дел; Школа нормального просвещения поселян.* Словом, чорт знает чего не было». «Чичиков решился, из любопытства, пойти с комиссионером смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел ее Хрулев был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский; но он тоже был куда-то откомандирован комиссией построения. Толкнулись они в департамент сельских дел — там переделка: разбудили какого-то пьяного, но не добрались от него никакого толку. „У нас бестолковщина“, сказал наконец Чичикову комиссионер. „Барина за нос водят. Всем у нас распоряжается комиссия построения: отрывает всех от дела, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения“. Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. И в

самом деле, взглянул Чичиков: все строится»[1]. Вся эта лихорадочная деятельность призрачна, так как реализуется «сквозь форму бумажного производства»[2].

Достаточно вспомнить идеализацию патриархальных отношений помещика и крепостного в «Двух гусарах» Л. Н. Толстого и толстовскую неприязнь к чиновнику, чтобы линия от Карамзина к молодому Толстому сделалась очевидной.

Осторожность Карамзина в решении вопроса крепостного права также нуждается в историческом контексте. Если взглянуть на позицию Карамзина глазами шестидесятника, то вывод может быть только один: ретроград и крепостник. Однако исторически вопрос представляется сложнее. В преддекабристском и раннедекабристском движении столкнулись две концепции. Николай Тургенев, считая крепостное право главным злом русской жизни, длительное время возражал против того, чтобы введение конституции совершилось до освобождения крестьян. «Эманципация сельских жителей» вызовет противодействие помещиков. Единственная реальная сила, которую можно им противопоставить, — императорский абсолютизм. Поэтому ограничение самодержавия до освобождения крестьян «по манию царя» лишь увековечит рабство. Только разочарование в способности Александра дать крестьянам волю убедило Н. Тургенева в том, что обе освободительные задачи должны решаться одновременно. Однако было и другое, более аристократическое, направление, которого придерживался, например, М. А. Дмитриев-Мамонов. Оно считало первостепенной задачей уничтожение самодержавного деспотизма и введение конституции. С этой точки зрения казалось, что освобождение крестьян подорвет политическую власть дворянства — основной силы в борьбе с самовластием — и безгранично усилит власть деспота. Крестьяне перестанут быть рабами, но все жители России сравняются в едином рабстве перед императором и его бюрократией. В обстановке первого десятилетия XIX в. общественные лагери еще не размежевались, и судить деятелей той поры судом второй половины XIX в. означает заведомо лишать себя возможности исторического понимания.

Угроза бюрократии была осознана публицистами эпохи Просвещения. Еще Руссо, а в России — Радищев указали лекарство — прямое, непосредственное народоправство. Демократия — средство против бюрократии. Демократическая идея прямого народного суверенитета совсем необязательно связывалась с революционностью. Нарисованная Гоголем сцена избрания кошевого в «Тарасе Бульбе» — самая яркая картина прямого народоправства в русской литературе, хотя, конечно, Гоголь никогда не был революционно мыслящим писателем. В прямой власти народа он видел антитезу петербургской власти бумаги, господству чиновничества.

Ни прямое проявление власти народа, ни идея народного суверенитета Карамзина не привлекали. Это была та сторона наследия Руссо, которая

[1] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1951. Т. 7. С. 62—64.
[2] Там же. С. 66.

прошла мимо него. Он противопоставлял бюрократии другую силу: человеческое достоинство — плод культуры, просвещенного самоуважения и внутренней свободы. Здесь начинался счет, который он предъявлял Петру I: Петр осуществил необходимую государственную реформу, но превысил полномочия государственной власти, вторгшись в сферу частной жизни, в область личного достоинства отдельного человека.

В этом отношении интересно сравнить критику реформы Петра Радищевым и Карамзиным.

Радищев: «...мог бы Петр славнея быть, возносяся сам и вознося отечество свое утверждая вольность частную»[1].

Карамзин: «Он велик без сомнения; но еще мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашел способ просветить умы Россиян без вреда для их гражданских добродетелей». Что понимал Карамзин под последними, видно из его слов: «Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два Государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные... Народ в первоначальном завете с Венценосцами (все же теория договорного происхождения государства! — *Ю. Л.*) сказал им: „блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого“, — но не сказал: „противуборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни“».

Итак, Радищев хотел бы дополнить реформу Петра свободой личности, Карамзин — уважением человеческого достоинства. Свобода дается структурой общества, человеческое достоинство — культурой общества и личности.

То, что главной мишенью Карамзина был не Сперанский, а Александр I, видно из настойчивости, с которой историк касался самых больных мест репутации императора. Так, Карамзин коснулся абсолютно запретной темы участия Александра в убийстве его отца. Вспомним, что одного намека на это событие в пушкинской оде «Вольность» было достаточно, чтобы превратить царя в неумолимого гонителя поэта. Безжалостно, не щадя самолюбия Александра, Карамзин остановился на его роли в поражении под Аустерлицем и в неудачах — военных и дипломатических — в отношениях с Наполеоном. Анализ Тильзитского мира и унизительных отношений Александра и французского императора также должен был болезненно задеть царя. Фактически историк не пощадил ни одного из начинаний Александра I, показав его полную несостоятельность как государственного деятеля.

Занимая во многом противоположные позиции, Карамзин в одном был прямым предшественником Чаадаева: положение личности, ее достоинство или унижение, презрение человека к себе или право его на самоуважение не составляло для него внешнего, второстепенного признака истории и цивилизации, а относилось к самой их сути. Поэтому вопрос о личных свойствах государственного деятеля не был для него исторически побочным. Злодей или честолюбец, низкий или преступный человек не мог для него быть хорошим политиком. В этом смысле примечательно, что, обращаясь к царю,

[1] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 151.

Карамзин не пощадил человеческих качеств ни одного из его предков. Применительно к Петру I формула: «умолчим о пороках личных» в сочетании со словами «худо воспитанный» и напоминанием: «Тайная Канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования Государственного» — была достаточно красноречива. Но для других царей, правивших в XVIII в., у Карамзина нашлись еще более горькие слова. «Злосчастная привязанность Анны к любимцу бездушному, низкому, омрачила и жизнь, и память ее в истории. Воскресла Тайная Канцелярия Преображенская с пытками; в ее вертепах и на площадях градских лились реки крови». «Лекарь Француз и несколько пьяных Гренадеров возвели дочь Петрову на престол величайшей Империи в мире». «Елисавета, праздная, сластолюбивая». Личные достоинства ее состояли в том, что она «имела любовников добродушных, страсть к веселью и нежным стихам». Далее — «несчастный Петр III» «с своими жалкими пороками». О Екатерине II: «Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно вспоминаем ее слабости и краснеем за человечество». «Богатства Государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лице красивое?» «Самое достоинство Государя терпит, когда он нарушает Устав благонравия: как люди ни развратны, но внутренно не могут уважать развратных». О Павле I: «...жалкое заблуждение ума», «презирая душу, уважал шляпы и воротники», «думал соорудить себе неприступный Дворец — и соорудил гробницу». И в итоге — дерзкие слова: «Заговоры да устрашают народ для спокойствия Государей! Да устрашают и Государей для спокойствия народов!» Можно представить себе, с каким чувством читал император эти строки.

Однако самым безжалостным из нарисованных Карамзиным был образ Александра I. Под пером писателя вставал портрет «любезного» монарха: «едва ли кто-нибудь столь мало ослеплялся блеском венца и столь умел быть человеком на троне»[1] — и, одновременно, человека, лишенного государственных способностей, преследуемого во всех начинаниях неудачами. Ни одно из любимых предприятий царя не было одобрено историком.

Почему же Карамзин избрал столь опасный путь?

Первая причина состояла в его убеждении, что собственное достоинство человека составляет не только его личную добродетель, но и долг, вклад в историю родной страны. Позже, когда Карамзина вынуждали нанести визит Аракчееву, он писал жене, что он не может поступиться своим долгом перед собственным нравственным достоинством. Уважение к себе — это долг по отношению к «моему сердцу, милой жене, детям, России и человечеству!»[2]

---

[1] Скрытая цитата из стихотворения Державина «На рождение в Севере порфирородного отрока», посвященного рождению Александра Павловича:

Но последний [гений-даритель], добродетель
Зарождаючи в нем, рек:
Будь страстей твоих владетель,
Будь на троне человек!

[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 152 и 173.

Говорить, что собственное достоинство — долг перед Россией и человечеством, можно было потому, что оно выступало в системе Карамзина (как и у Пушкина 1830-х гг. и позже у Л. Толстого) основным противовесом власти бюрократии:

Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

(*Пушкин. «Из Пиндемонти»*)

Но была и другая причина. Карамзин говорил с царем не только как человек, достигший полной внутренней свободы, но и как историк. В 1818 г. друг Карамзина поэт И. И. Дмитриев написал басню «История». Содержание ее таково. Вождь скифов, захватив город, увидал на площади статую с такою надписью:

«Блюстителю граждан
Отцу отечества, утехе смертных рода
От благодарного народа».

Скиф захотел узнать описание дел этого великого царя:

И вмиг толмач его, разгнув бытописанья,
Читает вслух: «Сей царь, бич подданных своих,
Родился к гибели и посрамленью их:
Под скипетром его железным
Закон безмолвствовал, дух доблести упал,
Достойный гражданин считался бесполезным,
А раб коварством путь к господству пролагал».
В таком-то образе Историей правдивой
Потомству предан был *отечества отец.*

«Чему же мне верить?» — спросил скиф, и вельможа ему ответил:

«Сей памятник в моих очах сооружался,
Когда еще тиран был бодр и в цвете лет;
А повесть, сколько я могу припомнить ныне,
О нем и прочем вышла в свет
Гораздо по его кончине»[1].

Историк говорит о современности с беспристрастием потомка. Он, как Тацит, судья «без гнева и пристрастия». Не случайно остряк Растопчин в беседе с великой княгиней назвал Карамзина «привратником, открывающим дверь в бессмертие»[2]. Историк — тот, кто заставляет современников при жизни выслушать, что скажет о них потомство. В этом его гражданский долг.

Можно изумляться беспримерной смелости Карамзина. Избрав такой стиль отношений с царем, он следовал прямоте и благородству своей натуры.

[1] *Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 204.
[2] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 149.

Однако это и тактически был лучший способ завоевать доверие Александра. Император был мнителен, презирал людей вообще и царедворцев особенно, мучился неуверенностью в себе и подозревал всех в корыстных видах. Но при этом он был самолюбив, злопамятен и жаждал признания. Он любил лесть, но презирал льстецов. Не выносил чужой независимости, но мог уважать только людей независимых. Карамзин инстинктом великой души занял единственно правильную позицию: полная личная независимость, никогда никаких просьб о себе и непререкаемая прямота мнений. Это часто оскорбляло царя, и он много раз пытался мелочно унизить своего историографа. Но он никогда не мог отказать ему в уважении и безмолвно утвердил за Карамзиным право быть не царедворцем, а голосом истории. Между ними сложились странные отношения, сущность которых резюмировал сам Карамзин в письме для потомства, написанном после смерти Александра I. Описывая беседы в «зеленом кабинете», как царь называл аллеи Екатерининского парка в Царском Селе, Карамзин вспоминал: «Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им, большею частию, и не следовал, так что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину Его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого Венценосца: ибо эти милость и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества... Я не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой Гурьевской системе Финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о Министерстве Просвещения или затемнения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, — о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, — наконец о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные»[1].

Отношения Карамзина и Александра I были далеко не идиллическими, порой они достигали крайней степени напряжения. Но Карамзин утвердил за собой право никогда не кривить душой. Однажды царю пришлось выслушать и такие слова: «Государь, вы слишком самолюбивы... Я не боюсь ничего — мы все равны перед Богом. То, что я сказал Вам, я сказал бы и Вашему отцу... Государь, я презираю скороспелых либералистов, я люблю лишь ту свободу, которой никакой тиран не в силах у меня отнять... Я не нуждаюсь более в Вашем благоволении. Может быть, мы говорим с Вами в последний раз»[2].

И однако Александр, видимо, испытывал необходимость в этих горьких истинах, в советах, которым следовать он не собирался. Говоря с царем от лица потомства, Карамзин как бы признавал его достойным услышать суд истории. Это поднимало царя в собственных глазах, царя, всегда не уверенного в себе и достаточно умного, чтобы знать цену придворной лести. Смелость историка как бы подразумевала величие души в собеседнике и удовлетворяла театральным наклонностям царя: он входил в роль Александра Македонского, выслушивающего наставления Аристотеля.

---

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 11—12.
[2] Там же. С. 9.

Можно думать, что Пушкин, когда пытался провести через цензуру «О древней и новой России», не только хотел довести до читателей содержание этого уникального по смелости документа, но и рассчитывал преподать Николаю I урок того, как царь должен выслушивать историка. Именно к такому приему прибег Вяземский, когда во втором томе «Современника», защищая «Ревизора» от нападок реакционной критики, напечатал милостивое письмо, написанное Нелединским-Мелецким по поручению Павла I Капнисту по поводу издания «Ябеды». Пушкин готовил «Историю Петра», и пример Карамзина мог подсказать ему тактическую линию поведения.

«О древней и новой России» — уникальный памятник русской публицистики. Задача историка не в том, чтобы апологетизировать то, что вчера огульно зачеркивалось. Задача историка в том, чтобы найти фактам прошлого их подлинное место и соотнести их со всей динамикой исторического процесса. Но для того, чтобы оценить документы, их *надо знать*.

1988

Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции

Несмотря на сравнительно обширную литературу на тему «Французская революция и русское общество»[1], вопрос этот долгое время не продвигался далее первоначального сбора материала. Применительно к двум ведущим мыслителям 1790-х гг. — Радищеву и Карамзину — в этой области сделано еще далеко не все. О Радищеве мы можем назвать, в первую очередь, небольшую заметку А. Старцева[2] и одну — правда, очень проницательную — работу В. В. Пугачева[3]. Относительно Карамзина основным источником исследовательских суждений много лет продолжала служить книга В. В. Сиповского «Карамзин — автор „Писем русского путешественника"», концепция которого казалась убедительной, поскольку никто не пробовал ее проверить. Некоторая попытка ввести новые материалы по этой теме была сделана в моей ранней статье «Эволюция мировоззрения Карамзина»[4]. Причем трудности при изучении взглядов Радищева и Карамзина по этому вопросу различны: если в первом случае речь может идти о недостатке фактического материала и, следовательно, о гипотетичности создаваемых построений, то во втором — сложность в обилии и противоречивости материала. Настоящая статья не преследует цели рассмотреть вопрос во всей полноте — речь пойдет в первую очередь о том, как приверженность каждого из этих мыслителей к определенной этической системе отразилась на восприятии ими событий революции.

Общая оценка событий Великой французской революции Радищевым изложена у В. В. Пугачева. Исследователь пишет: «Главным и решающим, на наш взгляд, было разочарование Радищева во французской революции. Она отнюдь не осуществила „царства разума" на земле, о котором мечтали французские просветители и Радищев. Французская революция, по его мнению, закончилась новым деспотизмом <...> Это было разочарование во

---

[1] См. сводку литературы в кн.: *Штранге М. М.* Русское общество и Французская революция. М., 1956.

[2] *Старцев А.* О западных связях Радищева // Интернациональная литература. 1940. № 7—8.

[3] *Пугачев В. В.* А. Н. Радищев и Французская революция // Учен. зап. Горьковского ун-та. Сер. историко-филологическая. 1961. № 52; см. также в его кн. «А. Н. Радищев: Эволюция общественно-политических взглядов» (Горький, 1960) главу «А. Н. Радищев и Французская буржуазная революция» (с. 83—98).

[4] См. ряд весьма ценных наблюдений в работах А. В. Предтеченского (Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в. М.; Л., 1961) и П. Н. Беркова и Г. П. Макогоненко (вступ. ст. к кн.: *Карамзин Н. М.* Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1).

французской революции с прогрессивных позиций»[1]. Несколько иначе сформулирован вывод в книге того же автора: «Итак, отрицательное отношение к некоторым сторонам французской революции в „Путешествии из Петербурга в Москву" определялось тем, что Радищев не мог примириться ни с какими ограничениями свободы печати, слова и т. д., не одобрял слишком большой политической самостоятельности низов и опасался, что все это приведет к восстановлению деспотизма. Симпатии Радищева на стороне Мирабо — более радикальные деятели неприемлемы для автора „Путешествия"»[2]. В этой формулировке возбуждают сомнения слова о неодобрении Радищевым «политической самостоятельности низов». Что касается остального, то оно возражений не вызывает. Возникает лишь вопрос — чем были обусловлены взгляды именно такого, а не иного политического оттенка?

Прежде всего остановимся на утверждении, что Радищев «не одобрял слишком большой политической самостоятельности низов». Основанием для него служит известное место из «Путешествия»: «Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, да восплачут французы о участи своей и с ними человечества! Мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их Государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд, за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей»[3].

Во-первых, следует учесть тот не отмеченный В. В. Пугачевым, но установленный еще в 1940 г. А. Старцевым факт, что процитированное место представляет собой защиту Марата от преследований со стороны Национального собрания. Но дело даже не в этом — Национальное собрание, подчеркивает Радищев, выступает самовластительно как деспот, ограничивая «свободу частную». И если, с точки зрения Руссо, это можно было оправдать тем, что, нарушая «волю всех», Национальное собрание выполняет «общую волю», то с позиций Радищева оно нарушало суверенитет народа. А поскольку Радищеву было безразлично, представлен администратор одним или сотней лиц («Не красна изба углами, а красна пирогами»)[4], то в данном случае он не видел разницы между самовластием короля или самовластием депутатов. Этим и вызвано восклицание о «Бастильских пропастях». Что касается слов о «необузданности и безначалии», то трудно в них увидать осуждение «активного вмешательства низов в ход революции»[5], ибо именно это «активное

---

[1] *Пугачев В. В.* А. Н. Радищев и Французская революция. С. 270.

[2] Там же. С. 88—89.

[3] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 347. Далее цитаты из сочинений Радищева даются по этому изданию с обозначением в тексте тома (римской цифрой) и страницы (арабской).

[4] Истолкование этого эпиграфа дано В. В. Пугачевым совершенно верно.

[5] *Пугачев В. В.* А. Н. Радищев и Французская революция. С. 85.

вмешательство» составляло для Радищева самый смысл общественного переустройства. Но в действиях парижских санкюлотов он мог не узнать своего теоретического представления о революционном народе-суверене, как отказался узнать его в облике пугачевцев.

Не приходится сомневаться в том, что отношение Радищева к французской революции в общих ее контурах было положительным. Гораздо сложнее вопрос об отношении его к якобинской диктатуре. В. В. Пугачеву принадлежит ценное наблюдение, что отрицательные высказывания о Робеспьере датируются совсем не временем якобинской диктатуры. Первое недвусмысленно критическое высказывание в адрес событий во Франции сделано по поводу директории — «пятиглавой и ненавистной всем гидры» (III, 523) — и относится к 1798 г. И только в конце жизни (не ранее весны 1802 г.) он прямо осудил Робеспьера, приравняв его к Сулле:

Сулла меч свой, обагренной
Кровию доселе чуждой,
Он простер во сердце Рима...
Нет, ничто не уравнится
Ему в лютости толикой,
Робеспьер дней наших разве... (I, 97)

На основании этого В. В. Пугачев заключает: «Вероятно, якобинская диктатура не испугала Радищева, хотя вряд ли он одобрял якобинский террор. Якобинцы не оттолкнули Радищева от французской революции. Это сделала директория»[1]. К этому в общем верному выводу возможны уточнения. Директорию, конечно, Радищев встретил с отвращением, увидя в ней начало контрреволюционной диктатуры. Однако молчание его о Робеспьере в годы ссылки может объясняться и другим: не имея достаточных сведений и понимая тенденциозность доходящих до него источников, он не торопился высказываться. Но когда ознакомление стало более полным, и осуждение было безусловным. Этому не следует удивляться — якобинцы развивали в наследии Руссо именно те стороны, которые для Радищева были неприемлемы, якобинцы были очень сдержанны и подозрительны по отношению к той материалистической гельвецианской традиции, на которой, как известно, зиждилась революционная теория Радищева. Наконец, из теории Руссо о том, что во имя общей воли можно осуществлять насилие над волей всех, якобинцы вывели теорию и практику революционной диктатуры, которая была направлена и против сил контрреволюции и интервенции, и против стихийного напора эгоизма буржуазных отношений, и против социальных требований народа — санкюлотов. Эта последняя сторона диктатуры якобинцев не могла укрыться от внимания Радищева, как она не укрывалась от Карамзина. Именно поэтому Радищев отвернулся от якобинцев. Его испугали не казни. Народ «в соборном своем лице» имеет право и на жизнь гражданина. Его испугала диктатура, которая противоречила всей системе идей русского демократа XVIII в.

[1] *Пугачев В. В.* А. Н. Радищев и Французская революция. С. 91.

Руссо был близок к мысли, что постоянное беспокойство — нормальное состояние гражданского общества. У Радищева эта мысль превратилась в цельную и стройную теорию. Однако перед Радищевым возникал и другой вопрос, так как подобная система настоятельно требовала критериев того, соблюдается ли общественный договор, или народный суверенитет попран администрацией. И именно «гельвецианская», а не «героико-аскетическая» мораль давала возможность сформулировать эти критерии. Общество создается для максимального блага отдельного человека, следовательно, благо человека — то, как общественный союз защищает права единицы, — показывает, сохранило ли оно первоначальный справедливый свой облик или превратилось в орудие деспотизма. «Права единственные (т. е. индивидуальные, «права человека». — *Ю. Л.*) имеем мы от природы, закон определяет безбедное только оных употребление». Такими правами объявлены «честь, вольность или жизнь». К ним Радищев прибавляет собственность, порождаемую уже гражданским состоянием, но также составляющую неотъемлемую часть прав человека. «Отъявый единое из сих прав у гражданина, государь нарушает первоначальное условие и теряет, имея скиптр в руках, право к престолу» (III, 12—15). Любопытно, что в главе «Спасская Полесть», после рассказа о несправедливых преследованиях купца, говорится, что в России отнимают безнаказанно у безвинного человека «имение, честь, жизнь» (формула эта, дословно совпадающая с приведенной выше, повторена дважды) и невозможно «достигнуть до слуха верховныя власти» (I, 247—248). Следовательно, в России общественный договор нарушен и слуги народа превратились в его угнетателей. Поэтому ошибочным представляется утверждение, что описания случаев насилия над отдельными людьми в первой части «Путешествия» — результат либеральных иллюзий путешественника. Насилие над отдельным человеком для Радищева — свидетельство порочности всей общественной системы в целом и достаточное основание к тому, чтобы суверен — народ отрешил от власти не оправдавшую его доверия администрацию. Вряд ли будет справедливо отрицать глубоко революционное содержание таких глав, как «Чудово».

Радищев сочувственно выписал мнение «Судии Гольма»: «Если человек заключается властию не законно, то сие есть достаточная причина всем для принятия его в защиту <...> Когда свобода подданного нарушается, то сие есть вызов на защиту ко всем английским подданным» (III, 44). Именно так и происходит восстание в главе «Зайцево». Здесь оскорблена, унижена *одна* крестьянская семья. Но это оскорбление стало возможно потому, что угнетены *все*, и *все* поднимаются на ее защиту. Так родилась стройная теория: проповедь «мужа тверда» при угнетении человека властью может превратить случай единичного насилия в искру, поджигающую пламя народного гнева и возвращающую общество к исходным справедливым основам. Пролить кровь вправе только суверен — народ «в соборном своем лице». Право это не передоверяется администрации.

Радищев не мог отбросить мораль, которая в основу свою клала защиту человеческой единицы, потому что в обществе, основанном на откровенном насилии, именно защита человека давала основание для наиболее револю-

ционных выводов, и не мог принять никакой идеи диктаторской власти общества над человеком, потому что в русских условиях это неизбежно привело бы к оправданию правительственного насилия.

Сложная диалектика восприятия такого противоречивого явления, как французская революция, людьми русской культуры великолепно иллюстрируется и на примере Карамзина.

***

Мировоззрение Карамзина, переживавшее на протяжении его жизни существенную эволюцию, развивалось в сложном притяжении и отталкивании от двух идейно-теоретических полюсов — утопизма и скептицизма.

Утопические учения мало привлекали внимание русских просветителей XVIII в. Интерес, проявленный Радищевым к идее земельных переделов, оказался не настолько глубоким, чтобы послужить основой для создания целостной теоретической концепции. Это явление легко объяснимо. Русская просветительская мысль XVIII в. усматривала основное общественное зло в феодальном насилии над человеком. Возвращение человеческому индивиду всей полноты его естественной свободы должно, по мнению Радищева, привести к созданию общества, гармонически сочетающего личные и общие интересы. Законы будущего общества возникнут сами из доброй природы человека. Такое умонастроение могло питать интерес к жизни «естественных» племен и робинзонадам, изучающим свободное бытие изолированного индивида. Стать основой интереса к утопическим учениям оно не могло. Русский утопизм XVIII в. возникал в той среде, которая, отрицая окружающее и боясь революции, жаждала мирного решения социальных конфликтов и одновременно искала средств от зла, порождаемого частной собственностью. Эта двойственная позиция была слабой и сильной одновременно. Она была лишена и боевого демократизма просветителей, и их оптимистических иллюзий. Это была позиция, характеризовавшая то направление в русском дворянском либерализме XVIII в., которое определялось именами Н. И. Новикова и А. М. Кутузова.

Первые шаги Карамзина как мыслителя были связаны именно с этими общественными кругами. Нравственное воздействие Новикова и Кутузова на молодого Карамзина, видимо, было очень глубоким.

Устойчивый интерес к утопическим учениям Карамзин сохранил и после разрыва с масонами. Борьбу между влечением к утопическим проектам и скептическими сомнениями можно проследить во взглядах Карамзина на протяжении многих лет. Так, в мартовской книжке «Московского журнала» за 1791 г. он поместил обширную и весьма интересную рецензию на русский перевод «Утопии» Томаса Мора. Карамзин считал, что «сия книга содержит описание идеальной республики, подобной республике Платоновой», и тут же высказывал убеждение, что принципы ее «никогда не могут быть произведены в действо»[1].

[1] Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 3. С. 359.

Рецензия эта представляет для нас большой интерес. Во-первых, она свидетельствует, что для Карамзина мысль об идеальном обществе переплеталась с представлениями о республике Платона. Это было очень устойчивое представление. Позже, в 1794 г., характеризуя свое разочарование во французской революции, Карамзин писал:

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет, —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

Ср. также:

Или Платонов воскрешая
И с ними ум свой изощряя,
Закон республики давай
И землю в небо превращай[1].

Карамзин многократно обращался к этому вопросу. В рецензии на «Путешествие младого Анахарсиса по Греции» он писал о «Платоновой республике мудрецов»: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине, и по конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее»[2]. А когда в 1796 — начале 1797 г. обстоятельства способствовали временному возрождению карамзинского оптимизма, он вспомнил и идеал утопической республики, и Платона. Он писал А. И. Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей Утопи. Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив свое воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства». О своих творческих планах он сообщал в этом письме, что «будет перелагать в стихи Кантову Метафизику с Платоновой республикой»[3].

Установление того, что республика для Карамзина — это «Платонова республика мудрецов», весьма существенно. В понятие идеальной республики Карамзин вкладывает платоновское понятие общественного порядка, дарующего все блаженство ценой отказа от личной свободы. Это строй, основанный на государственной добродетели и строгой регламентации. Управляющие «республикой» мудрецы строго регламентируют и личную жизнь граждан, и развитие искусств, самовластно отсекая все, вредное государству. Такой идеал имел определенные черты общности с тем, что Карамзин мог услышать из уст масонских наставников своей молодости[4].

Все это необходимо учитывать при осмыслении известных утверждений Карамзина, что он «республиканец в душе», или высказываний вроде следующего: «Без высокой добродетели Республика стоять не может. Вот почему

[1] *Карамзин Н. М.* Соч. Пг., 1917. Т. 1. С. 96 и 170.
[2] Московский журнал. 1791. Ч. 3. Кн. 2. С. 211.
[3] Русский архив. 1872. № 7/8 Стб. 1324.
[4] См.: *Вернадский Г. В.* Русское масонство XVIII в. Пг., 1917.

монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падают»[1]. Республика оставалась для Карамзина на протяжении всей его жизни идеалом, недосягаемой, но пленительной мечтой. Об этом знали и его друзья молодости, и молодые радикалы типа П. А. Вяземского, А. С. Пушкина или Н. И. Тургенева, с жаром оспаривавшие его «любимые парадоксы» (Пушкин). Но это не была ни вечевая республика — идеал Радищева, ни республика народного суверенитета французских демократов XVIII в., ни тем более буржуазная парламентская республика «либералистов» начала XIX столетия. Это была республика-утопия платоновского типа, управляемая мудрецами и гарантированная от эксцесса личного бунтарства.

Вторая важная сторона социально-политических воззрений Карамзина состояла именно в соединении идей республики и утопии. Вопрос республиканского управления был для Карамзина не только политическим, но и социальным. Его идеал подразумевал устранение социальной основы для конфликтов. При этом и в данном случае отсутствие регламентации ему представлялось бо́льшим злом, чем излишняя регламентация, и крепостное право страшило его меньше, чем свобода частной собственности. Не случайно в том самом письме, в котором он обещал А. И. Вяземскому воспеть «Кантову Метафизику с Платоновой республикой», он призывал «читать <...> Мабли». Интересно, что, как это следует из «Писем русского путешественника», Карамзин перечитывал Мабли в Париже. В рецензии на книгу Томаса Мора Карамзин осторожно, но достаточно определенно намекнул на мысль о том, что источником общественных пороков, по мнению автора, является собственность: «Он исследывает причины воровства и утверждает, что, пока не истребятся причины, до того и воровство не истребится, несмотря на всю жестокость наказания»[2]. Если вспомнить, что для Карамзина республика невозможна без добродетели, то слова эти весьма многозначительны.

Уяснение того, что республика для Карамзина была понятием не только политическим, но и социально-утопическим, а реальное наполнение этого утопизма было навеяно идеями Платона, многое раскрывает в позиции Карамзина. Оно объясняет одинаково отрицательное отношение писателя и к идее народоправства, и к деспотическому управлению. Напомним, что демократия и тирания, по Платону, — наиболее одиозные формы государственного управления. Идеи близкие к этим Карамзин мог найти и у Монтескье, и у русских дворянских либералов типа Н. Панина или Фонвизина. С этой точки зрения делается понятным устойчивое отрицание Карамзиным 1780—1790-х гг. идеи деспотического управления. В 1787 г. Карамзин опубликовал перевод «Юлия Цезаря» Шекспира, содержащий резкие тираноборческие ти-

[1] Вестник Европы. 1803. № 20. С. 319—320.

[2] Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 3. С. 360. Ср. горькое замечание Карамзина о русской действительности, сохраненное П. А. Вяземским: «Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать — „крадут“» (*Вяземский П.* Старая записная книжка. СПб., 1883. С. 89).

рады. Так, в одном из монологов Брут упоминает «глубокое чувство издыхающей вольности и пагубное положение времян наших» — результат тиранства[1].

Отношение Карамзина к Французской революции было значительно более сложным, чем это обычно представляется. Решение этой проблемы невозможно в пределах отвлеченных формулировок, хотя бы потому, что осведомленность Карамзина в парижских событиях была чрезвычайно детальной. Следует подчеркнуть, что политическая жизнь Франции революционных лет отнюдь не представала перед Карамзиным как нерасчленимое целое: он видел в ней по крайней мере три грани.

Первая отождествлялась с самой идеей революции, взятой вне каких-либо конкретных форм и тактических средств. Следует напомнить, что наше наполнение слова «революция» очень далеко от того, которое употреблялось в XVIII в. В последнем случае оно подразумевало быстрые перемены, но не включало в себя никакой тактической конкретизации. В XVIII в. слово «революция» могло восприниматься не как антитеза мирным «либеральным» переменам, а в качестве противопоставления состоянию устойчивости, консерватизма (сохранения) или реакции (попятного движения). Именно потому, что со словом «революция» еще не связывалось понятие о революционной тактике, его можно было использовать в геологии и других естественных науках (ср. книгу А. Бертрана «Lettres sur les révolutions du Globe»). Именно такое понимание термина позволило Карамзину отделить в революции саму идею общественных перемен от тех реальных политических сил, которые ее осуществляли. Отношение Карамзина к этой идее было устойчиво положительным. Это, видимо, сразу заметили современники.

Тонкий наблюдатель и критик, А. М. Кутузов в письме от 14 марта 1791 г. писал Плещеевой: «Что делает наш Рамзей <...> Видно, что путешествие его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть, и в нем произошла Французская революция»[2].

Грот со слов Блудова и Погодин со слов Сербиновича сообщают интересный эпизод: «Когда Карамзин, возвращаясь из своего заграничного путешествия, три недели оставался в Петербурге (в сентябре 1790 г. — *Ю. Л.*), то Дмитриев ввел его в дом Державина. Поэт пригласил приезжего писателя к обеду. За столом Карамзин сидел возле любезной и прекрасной хозяйки. Между прочим, речь зашла о французской революции; Карамзин, недавно бывший свидетелем некоторых явлений ее, отзывался о ней довольно снисходительно. Во время разговора Катерина Яковлевна несколько раз толкала ногой своего соседа, который, однако ж, никак не мог догадаться, что бы это значило. После обеда, отведя его в сторону, она ему объяснила, что хотела предостеречь его, так как тут же П. И. Новосильцев, петербургский вице-губернатор (некогда сослуживец Державина), жена его, рожденная Горуслова, была племянницей М. С. Перекусихиной, и неосторожные речи

[1] Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекспира. М., 1787. С. 40.

[2] *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII в. 1780—1792 гг. Пг., 1915. С. 100.

молодого путешественника могли в тот же день дойти до сведения императрицы»[1]. Однако, конечно, не полуанекдотические известия, подобные этому, должны послужить основой для изучения отношения Карамзина к французской революции.

Прежде всего необходимо отметить, что такой существенный компонент революционных идеалов, как борьба с властью церкви и фанатического духовенства, встречал со стороны Карамзина полную поддержку. Конечно, не случайно Карамзин прореферировал в «Московском журнале» такие постановки революционного парижского театра, как «Монастырские жертвы» («Les victimes cloîtrees») и «Монастырская жестокость» («Le rigneurs du cloître») Бретонна[2]. С особенной остротой эта сторона воззрений Карамзина проявилась в рецензии на один из наиболее ярких спектаклей революционного театра — по пьесе М.-Ж. Шенье «Карл IX». Карамзин холодно оценил художественные достоинства пьесы, противопоставив ее театру Шекспира, однако крайне сочувственно отозвался о пронизывающей ее борьбе с церковью, средневековьем и религиозным фанатизмом. Содержание пьесы в пересказе Карамзина выглядит так: «Слабый король, правимый своею суеверною матерью и чернодушным прелатом (который всегда говорит ему именем Неба), соглашается пролить кровь своих подданных, для того, что они не католики»[3]. Карамзин замечает сам, что «автор имел в виду новые происшествия». Карамзин тем живее это должен был чувствовать, что присутствовал в зале Национального собрания в день прений по вопросам о государственной религии. В его присутствии Мирабо заявил: «Я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медицис стрелял в протестантов». В 1791 г., издавая «Московский журнал», Карамзин недвусмысленно давал понять, что эта сторона революции пользуется его поддержкой. Читатель находил в «Письмах русского путешественника» эпизоды вроде такого: «Около вечера мы проплыли мимо города Треву, лежавшего на правой стороне Сены. Более всего известен он по „Memoires de Trevoux", антифилософическому, иезуитскому журналу, который, подобно черной молниеносной туче, метал страшные перуны на Вольтеров и д'Аламберов и грозил попалить священным огнем все произведения ума человеческого»[4]. При этом читателю было ясно не только то, что Карамзин противопоставляет «священный огонь» «произведениям ума человеческого», но и то, что все его симпатии на стороне этого последнего.

. Карамзин воспринимал революцию как «соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью», то есть как реализацию тех принципов равенства,

---

[1] *Державин Г. Р.* Соч. / Примеч. Я. Грота. СПб., 1880. Т. 8. С. 606—607.

[2] Московский журнал. 1791. Ч. 2. Кн. 1. С. 66; Ч. 4. Кн. 3. С. 342. Интересно, что когда в 1798 г. в цензуре оказался текст драмы «Монастырские жертвы», в 4-х действиях, поданный придворным актером Сандуновым, перевод с французского штабс-капитана Глинки, — московская цензура в лице цензора Прокоповича-Антонского нашла пьесу «сомнительной» и она, видимо, подверглась запрещению (ЦГИА. Ф. 1147. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 229).

[3] Московский журнал. 1791. Ч. 3. Кн. 1. С. 83.

[4] Там же. 1791. Ч. 8. Кн. 2. С. 310.

братства и гуманности, которые провозгласили просветители XVIII в. Именно поэтому он счел возможным в январском номере «Московского журнала» за 1792 г. рекомендовать русскому читателю как «важнейшие произведения французской литературы в прошедшем году»[1] такие яркие произведения революционной публицистики, как «Руины, или Размышления о революциях империй» Вольнея и «О Руссо как одном из первых писателей революции» С. Мерсье. Сочувствие к новому, возникающему во Франции обществу сквозило и в рецензии на антиаристократическую комедию Фабра д'Эглантина «Выздоравливающий от дворянства», и в реплике, брошенной в рецензии на «Путешествие Анахарсиса». Карамзин цитирует слова автора романа: «Пример нации, предпочитающей смерть рабству, достоин внимания и умолчать о нем невозможно», — и сопровождает их краткой репликой: «Г. Бартелеми прав». В июле 1791 г. слова эти звучали в достаточной мере определенно.

Однако революция не была простой инсценировкой идей просветителей XVIII в. Она с самого начала, и чем дальше — тем больше, раскрывалась перед современниками как историческая проверка и опровержение идей «философского века». Вера в господство разума, совершенствование человека и человечества, самое представление просветителей о народе — подверглись испытаниям. Та окраска революции, которую придавали ей санкюлоты, городской плебс Парижа, бурность, стихийность и размах народных выступлений были для Карамзина решительно неприемлемы. Они не связывались в его сознании с идеями XVIII в. Общепринятая в наши дни мысль о связи идей просветителей и революционной практики масс во Франции XVIII в. не укладывалась в сознании Карамзина. Он скорее склонен был считать их проявлениями враждебных, взаимоопровергающих исторических тенденций. Но, внимательный наблюдатель современности, Карамзин различал во французских событиях не только тенденцию, восходящую к идеям XVIII в., и стихийную практическую деятельность масс. Он видел еще один существенный компонент событий: борьбу политических партий и группировок, деятельность революционных клубов, столкновение вождей. Отношение Карамзина к этой стороне революции также было далеко от того благонамеренного ужаса, который уже с 1790 г. официально считался в России единственно дозволенной реакцией.

Историк, который попытался бы реконструировать отношение Карамзина к этому вопросу, исходя из распространенного взгляда на него как на умеренного либерала с консервативной окраской, мог был оказаться в затруднительном положении. Он должен был бы предположить сочувствие Карамзина к революционным вождям первого периода и, естественно, умозаключить об отрицательном отношении его к вождям якобинского типа. Это тем более было бы неудивительным, что даже Радищев относился к этому периоду революции отнюдь не прямолинейно. Пушкин имел веские причины сказать о Радищеве: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого

[1] Московский журнал. 1792. Ч. 8. Кн. 1. С. 84.

сентиментального тигра»[1]. Между тем реальный исторический материал дает иную и совершенно неожиданную картину. Явно сочувствуя революции, в такой мере, в какой ее можно было воспринять как реализацию гуманных идей литературы XVIII в., Карамзин нигде не высказал никаких симпатий каким-либо политическим деятелям той эпохи. Более того, он отказывался определять отношение к тому или иному современнику, исходя из его политических воззрений. В статье, опубликованной в 1797 г. на французском языке и предназначавшейся для европейского читателя, он писал: «Наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальной ассамблее, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори, глядя на них, как на Ахиллеса и Гектора»[2]. В соответствующем тексте «Писем русского путешественника», предназначенном для русского читателя (он смог появиться только в 1801 г.), Карамзин замаскировал явно звучащую во французской статье большую симпатию к Мирабо, чем к его реакционному противнику (русский текст гласит: «Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор»), но сохранил подчеркнутое равнодушие к политической сущности споров («Ни якобинцы, ни аристократы <...> не сделали мне никакого зла; я слышал споры, и не спорил»). Это не случайно. Карамзин никогда не считал политическую борьбу выражением основных общественных споров, а политические взгляды — существенной стороной характеристики человека. Позже он выразил эту мысль со всей определенностью (в 1790-х гг. она еще только формировалась в его сознании): «Аристократы, демократы, либералисты, сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Все вы Авгуры и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, сервилисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод...»[3] Вместе с тем совершенно неожиданным может показаться положительное отношение Карамзина к Робеспьеру. Можно было бы даже сомневаться в этом известии, если бы мы не располагали точными сведениями от столь осведомленного современника, каким был многолетний собеседник Карамзина Н. И. Тургенев: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина свидетельствовали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера»[4].

Для того чтобы понять отношение Карамзина к Робеспьеру, нужно иметь в виду, что отрицательное отношение писателя к насилию, исходящему от толпы, улицы, шире — народа, не распространялось на насилие вообще. В

---

[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. [М.], 1949. Т. 12. С. 34.

[2] *Карамзин Н. М.* Lettre au «Spectateur» sur la littérature russe // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 453, 460. Напомним, что о Мирабо Екатерина II говорила, что он «не единой, но многия виселицы достоин».

[3] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 194.

[4] *Тургенев Н.* Россия и русские. М., 1915. С. 342. «Друзья» — видимо, И. И. Дмитриев.

1789 г., набрасывая план работы о Петре I, Карамзин писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместимо с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout (великие люди видят только общее. — *Ю. Л.*). Но иногда и чувствительность торжествовала»[1]. Есть все основания предположить, что в правлении Робеспьера Карамзин усматривал опыт реализации социальной утопии, насильственного утверждения принудительной добродетели и равенства — того идеала платоновской республики, который и влек Карамзина, и казался ему несбыточной мечтой. Любопытно, что, решительно отвергая культурный пессимизм Руссо, позже подвергнув сомнению руссоистскую идею доброты человека[2], Карамзин никогда не подвергал сомнению идею Руссо о доминанте социального, общего над частным. Более того: именно ею Карамзин обосновывал необходимость построения общества по принципу диктатуры. Своеобразное «принятие» якобинской диктатуры было связано для Карамзина с его верой в принцип государственности. Не случайно явное перерастание власти директории в военную диктатуру, вызвавшее такое отвращение у Радищева, Карамзиным было воспринято сочувственно. Естественным следствием этого был его бонапартизм периода «Вестника Европы» (1802—1803). Если в Робеспьере он чтил утописта-мечтателя, попытавшегося силой диктатуры реализовать платоновскую республику, то в Бонапарте он уважал цинического практика, знающего подлинную цену человеку и управляющего государством методами спасительного насилия.

Таким образом, распространенное представление о том, что русский наблюдатель конца XVIII — начала XIX в. был «напуган» парижскими политическими событиями, нуждается в значительных уточнениях. Эксцессы сами по себе не оттолкнули ни Радищева, ни Карамзина. Произошло другое: именно в этих условиях начали противопоставляться в русской общественной

---

[1] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. Ч. 1. С. 202. Вряд ли мы ошибаемся, предположив, что Карамзин, дававший в 1798 г. характеристику Петра I как государственного человека, прибегавшего для осуществления великих целей к кровавым средствам, при котором, однако, «иногда и чувствительность торжествовала», не мог не думать и о Робеспьере. Интересно напомнить пушкинское сопоставление Петра и Робеспьера: «Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon (La Révolution incarnée) [Петр I — Робеспьер и Наполеон одновременно (Воплощенная революция)]» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 205). Вопрос об отношении Пушкина 1830-х гг. к политическим идеям Карамзина изучен недостаточно, что закономерно вытекает из втискивания сложной политической концепции Карамзина в тесные рамки плоского консерватизма и архаической чувствительности. Однако мысль Пушкина о том, что Петр I — одновременно диктатор-утопист и цинический политик-практик, что он, подобно Робеспьеру и Наполеону, не страшился крови, ломая старое, — невольно вызывает в памяти размышления Карамзина над итогами революции и Империи во Франции. Вряд ли можно сомневаться в том, что тема эта затрагивалась в беседах Карамзина и Пушкина.

[2] Полемика Карамзина с Руссо по этому вопросу освещена в статье «Пути развития русской прозы 1800—1810-х гг.» (см. наст. изд., с. 349—417).

мысли две тенденции: одна возлагала надежды на человека, другая — на государство. И парадокс состоял в том, что именно эта вторая, дворянская тенденция, конечно, не в лице тупых зубров реакции, а устами тонкого, проницательного и скептического Карамзина одобрила и руссоистские истоки якобинской диктатуры, и нравственный облик самого Робеспьера[1].

Это сложное переплетение политико-этических проблем интересно преломилось в сознании людей пушкинского поколения[2].

1990

---

[1] Для того чтобы понять трудности, с которыми сталкивался русский человек XVIII в., пытающийся осмыслить для себя события якобинской диктатуры, и всю меру неожиданности сближений, которые могли получаться при «переводе» одной системы идей (французской) в категории другой (русской), произведем одно сопоставление. Радищев, как известно, категорически отрицал всякое ограничение свободы слова, считая ее неотъемлемым правом человека, данным ему самой природой и не подлежащим регламентации со стороны общества (ср. рассуждение о кричащих младенцах в «Отрывке путешествия в... И*** Т***», а также в «Путешествии из Петербурга в Москву» главу «Торжок»). Карамзин, по свидетельству Пушкина, говорил, что если бы в России «была свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 167). Не следует толковать этих слов прямолинейно: Карамзин неоднократно осуждал русскую цензуру, но он, бесспорно, допускал необходимость законодательных ограничений, накладываемых государством на свободу печати. Представим же себе, как должно было выглядеть с позиции Радищева и с позиции Карамзина высказывание Робеспьера в его речи от 19 апреля 1793 г.: «Успех революции может требовать подавления заговора, *замышляемого посредством свободы печати*» (см.: *Серебровская Е. З.* Об эволюции мировоззрения М. Робеспьера // Из истории якобинской диктатуры. Одесса, 1962. С. 295. Курсив мой. — *Ю. Л.*).

[2] Об этом см. также: *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века» // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1958. С. 579—587.

Заметки и рецензии

Об одном читательском восприятии «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина

(К структуре массового сознания XVIII в.)

Читательское восприятие — всегда истолкование. Оно избирательно: одни элементы авторского замысла подчеркиваются, другие остаются незамеченными. Писатель обращается к аудитории, пользуясь «языком» определенной художественной системы. Язык этот может быть адекватен или неадекватен языку читательского восприятия. Во втором случае может происходить или овладение со стороны читателя языком авторской художественной структуры или (часто бессознательный) «перевод» текста на язык художественного мышления читателя. Изучение этого второго явления представляет двойной интерес: оно позволяет реконструировать структуру воспринимающего сознания и раскрывает те стороны авторской системы, которые делаются более явными в процессе переведений ее читателем в иную систему «кода».

***

3 августа 1799 г. А. Ф. Мерзляков писал Андрею Тургеневу: «Третьего дня был я на гулянье под Симоновым монастырем. Сначала было весело; народ, как море разливное <...> Осмотрев целый мир, который здесь уместился около монастыря, пошел я к озеру, где утопил Карамзин бедную Лизу. Выслушав, что говорила об ней каждая береза, сел я на берегу и хотел слушать разговор ветров, оплакивающих участь несчастной красавицы. — Натурально погрузился в задумчивость и спал бы долее, если бы не разбудил меня следующий разговор:

Мастеровой (лет в 20, в синем зипуне, одеваясь): В этом озере купаются от лихоманки. Сказывают, что вода эта помогает.

Мужик (лет в 40): Ой ли! брат, дак мне привести мою жену, которая хворает уже полгода.

Мастеровой: Не знаю, женам-то поможет ли? Бабы-то все здесь тонут.

Мужик: Как?..

Мастеровой: Лет за 18-ть здесь утонула прекрасная Лиза. От того-то все и тонут.

Мужик: А кто она была?

Мастеровой: Она, то есть, была девушка из у той деревни; мать-то ее торговала пятинками, а она цветами; носила их в город, то есть...

Мужик: Да почто же она утонула?

Мастеровой: То есть один раз встренься с нею барин. Продай-де, девушка, цветы! Да дает ей рубль. А она, бает, не надо-де мне. Я продаю по алтыну. Ну! он спросил, то есть, где она живет, да ходил к ней; потом он, то есть,

много истряс с нею сум<м>, то есть, дак и вздумал жениться! — она с тоски да и бросилась в воду... Да нет, лих, не то еще!.. Он ей и дал, знаешь, ты, на дорогу 10 червонных, то есть; она пошла, да и встрenься ей ее подружка. Она, то есть, ей деньги и отдала: на-де, ты, девять-то отнеси матушке, а десятой возьми себе. — Ну, то есть, пришла сюда, разделась да и бросилась в воду!..

Мужик: Ох, брат, по коже подирает!

Мастеровой: Это, брат, *любовь*!

Мужик: Любовь! (Помолчав). Да что же, брат, написано ли што ли это?

Мастеровой: Написано, как же, продается книжка, называется как-то, бездельничества ли, што ли, право, не помню. Прикрасная, брат. Как луги-та там называют, как озера-та, то есть! Ну вот нивесть как сладко. Мы, знаешь, золотим коностас в монастыре, дак нам монах дал почитать этой книжки!

Я ее и сам теперь купил и не жаль, брат!

Что может быть слаще для г. Карамзина? Что лучше сего панегирика? Мужики, мастеровые, монахи, солдаты — все о нем знают, все любят его!.. Завидую, брат»[1].

Пересказ Мерзлякова сделан по свежим следам, и сомневаться в его точности, видимо, нет оснований. Он рисует нам чрезвычайно любопытную трансформацию известного произведения Карамзина в читательском сознании, резко отличном от авторского.

Художественное мышление пересказывающего «Бедную Лизу» «мастерового» прежде всего сюжетно: произведение для него — это *рассказ о событиях*, и именно сюжет воспринимается как доминирующий элемент повествования. Этот принцип проводится с поразительной последовательностью. Существенные для повести Карамзина конфликты: социальный (дворянин — крестьянская девушка), психологический (добрый, но слабый и развращенный юноша и любовь чистой девушки) — для «мастерового» в его художественной системе не являются самыми характерными, и он их просто не замечает. Зато сюжетная сторона отразилась в его памяти с большой точностью. Однако и здесь произошло значительное переосмысление. «События», опорные пункты сюжета представляют в системе Карамзина вехи в развитии внутренней жизни героев и именно этим значительны. Основная жизнь — жизнь сердца, и «внешние» поступки важны как выражения, знаки этой жизни, позволяющие проникнуть в нее самое. В пересказе все действие расценивается иначе: это рассказ страшный и занимательный («по коже подирает»), причем страшное — одна из главных форм занимательного, а *занимательность* — основной признак, отличающий художественное сообщение от обычного.

Включаясь в иную систему, элементы сюжета «Бедной Лизы» подвергаются переосмыслению. Остановимся на таком элементе сюжета, как гибель героини. В системе Карамзина — это эпизод трагический, он является показателем того, что нарушен некий более справедливый порядок. Трагический ко-

[1] ЦГИАМ. Ф. 1094 (архив Тургеневых). Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 2 об. — 3 об.

нец — альтернатива благополучному, который мог бы наступить при ином поведении героя. Этот благополучный конец составляет то нереализуемое читательское желание и ожидание, на фоне которого гибель героини предстает как зло, трагическое нарушение, неправильность, а Эраст — как виновник этого зла.

Художественная структура «пересказа» подчиняется иным законам. Любовная история («Это, брат, *любовь*!») может оканчиваться в этой эстетической системе только смертью. Смерть — атрибут любви, и чувство, которое не увенчивается смертью, не может быть признано любовью. Поэтому у любовного сюжета окончание может быть только одним вне какой-либо альтернативы. Сам факт смерти героини получает иное значение: он неизбежен. Могут варьироваться и, следовательно, нагружаться значением лишь обстоятельства ее гибели. Смертельный исход не рассматривается как зло, поскольку, с одной стороны, представление о ценности индивидуального человека чуждо сознанию «мастерового», а с другой, смерть — это признак силы чувства, свидетельство того, что перед нами — «любовь», а «любовь» относится к разряду положительных ценностей. Поэтому «ужасная» и «жалостная» гибель героини (или героя) не воспринимается аудиторией как то, чего надо избегнуть, чтобы повествование можно было бы определить как счастливо оканчивающееся. Категории счастливого и трагического конца к этой системе не применимы, так как она не знает еще такого дифференциального признака. Одновременно с героя снимается «вина» (вместе с утратой социально-психологического дидактизма). Показательно, что очень точно пересказывающий сюжет «мастеровой» в этом месте допускает неточность — свидетельство того, что эти — существенные для Карамзина — детали для него лишены значения. У Карамзина Эраст, попав в армию, развратился (как позже Нехлюдов в «Воскресении»), проиграл большие суммы в карты и для поправки своих дел решил жениться на богатой, презрев чистую любовь бедной девушки. Все повествование ведется так, чтобы осудить героя. Но подобный подход чужд «мастеровому», и он изменяет сюжет на более «естественный» (с его точки зрения) и полностью лишенный налета дидактизма: «Потом он, то есть, много истряс с нею [Лизой] сум<м>, то есть, дак и вздумал жениться!»

Перед народным читателем «Бедной Лизы», который не воспринимал жанровой системы карамзинской повести, встала необходимость осмыслить текст в его принадлежности к определенной традиции. Возникала потребность перекодировки на уровне жанра.

Прежде всего следует отметить, что «мастеровой» и «мужик» воспринимают повесть Карамзина как «быль», рассказ о подлинных событиях. Стремление разделить явления словесного искусства на два больших класса с антитезой «выдуманное — не выдуманное» свойственно фольклорному мышлению, и каждому из этих классов соответствует особое, ему присущее эстетическое переживание. Подобная классификация применяется и к самому фольклору («Сказка — складка, песня — быль») и очень настойчиво проводится применительно к текстам, которые вводятся в мир фольклорной эстетики «со стороны». Мы не можем в пределах настоящей заметки останавливаться

на своеобразии того типа художественных переживаний, который свойствен каждому из этих классов. Укажу лишь на то, что «выдуманное» повествование подразумевает фантастичность сюжета и небытовую красивость деталей, а «невыдуманное» — отказ от фантастики и жестокость кровавых эпизодов (ср. «Горькую участь» Чулкова). В данном случае при переосмыслении произведения Карамзина в категориях этого типа сыграло роль то обстоятельство, что сам автор, исходя из совершенно иных художественных соображений и в борьбе с совершенно иной традицией, стремясь подчеркнуть психологическую правду своего рассказа, настоятельно подчеркивал, что его рассказ «быль». Точность географической приуроченности места действия заставила даже пересказывающих воспринять рассказ как местную легенду об озере у Симонова монастыря, а все повествование как определение свойства озера — «бабы-то все здесь тонут».

Любопытным свидетельством стремления «перевести» повесть Карамзина на язык иной, более понятной, художественной системы является замена сочетания «бедная Лиза» на «прекрасная Лиза». Заглавие «Бедная Лиза» существенно выражает структуру повествования Карамзина. Оно построено на соединении собственного имени героини с эпитетом, характеризующим отношение к ней повествователя. Таким образом, в заглавие оказывается введен не только мир объекта повествования, но и мир повествователя, между которыми установлено отношение сочувствия. Это, по сути дела, модель всей повести Карамзина. Эпитет «прекрасная» при женском имени в заглавии произведения не означал в XVIII в. отношения к героине. Это был постоянный эпитет, образовывавший неразделимое фразеологическое сочетание. Однако такого рода заглавия встречались лишь в определенной группе повествовательной прозы[1]. Называя героиню повести Карамзина «прекрасная Лиза», «мастеровой» тем самым осмыслял ее в ряду хорошо ему знакомых литературных персонажей, пользуясь сложившимся литературным штампом как меркой, под которую подгонялась повесть Карамзина.

Таким образом, повесть Карамзина осмыслялась как книжное произведение («Да что же, брат, написано ли што ли это?»), в основе которого лежит «быль», подлинное событие или местное устное предание, пересказанное в соответствии с нормами массовой литературной традиции XVIII в. — пове-

[1] Ср.: Поизмятая роза, или Забавное похождение *прекрасной* Ангелики с двумя удальцами. СПб., 1790 (в оригинале эпитета «прекрасная» нет); *Прекрасная* полонянка. Истинная повесть о кораблекрушении и плене девицы Аделины, графини де Сент Фаржель на шестнадцатом году ее возраста в краях Алжирского государства в 1782 году. М., 1787; *Прекрасная* россиянка. СПб., 1784. Ч. I—II. (2-е изд. — М., 1790; 3-е — М., 1796); Заида, *прекрасная* россиянка, Или низвержение с трона Махомета IV. Исторический отрывок г. Коцебу. Владимир, 1800; Ср. неопубликованный роман Я. А. Галинковского «Глафира, или *Прекрасная* валдайка» (см.: XVIII век. Сб. 4. М.; Л., 1959. С. 231); ср. также рукописные переводы XVIII в.: «История благоприятная о благородной и *прекрасной* Мелюзине» и «История о Алфоизе Рамире, короле гишпанском, и о *прекрасной* Ангелике, принцессе лонгобардской, именуемая Неистовый Ролянд».

ствования о страданиях и гибели прекрасной героини. «Мастеровой», видимо, склонен был улавливать в повести черты авантюрного жанра. По крайней мере именно так можно объяснить народную этимологию названия сборника «Мои безделки»: «...продается книжка, называется как-то, бездельничества ли, што ли»[1]. Определив то, как выглядел жанр «Бедной Лизы» в глазах массового читателя, мы можем и назвать его: перечисленным выше признакам удовлетворяла так называемая «полусправедливая повесть» — любопытный жанр русской прозы XVIII в., на необходимость изучения которого первым обратил внимание П. Н. Берков.

Однако «Бедная Лиза» не только изменялась в сознании массового читателя под влиянием свойственных ему норм художественного мышления, но и активно изменяла эти нормы. Это особенно заметно в оценке «мастеровым» пейзажа Карамзина.

Наконец, следует отметить, что подобное переосмысление характеризует не только структуру воспринимающего сознания, но и природу воспринимаемого объекта. Одной из наиболее важных сторон дарования Карамзина был его талант популяризатора. Карамзин обладал искусством излагать вершинные явления современной ему культуры так, что они легко перекодировались на язык неискушенного в вопросах культуры сознания. Это таило в себе угрозу опошления — не случайно цитатами из Карамзина говорят Хлестаков и другие герои Гоголя, — но это же позволяло широко популяризировать достижения культуры в массовой читательской аудитории, которая получала возможность, в зависимости от уровня своей подготовки, вычитывать в произведениях Карамзина содержание разной степени сложности — от самого примитивного до предвосхищающего идейные споры последующих эпох.

1966

[1] Интересно, что переводчик Лесажа А. Ключарев, издавший в 1804 г. книгу «Гузман д'Алфараш, истинная гишпанская повесть» (М., 1804. Ч. 1—4), в 1813 г., ориентируясь на массового читателя, заменил заглавие на «Шалости забавного Гусмана» (М., 1813). Слова «шалости», «шаль» имели в XVIII в. значительно более вульгарный оттенок.

[Рецензия на книгу Л. Г. Кислягиной «Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина (1785—1803 гг.)»[1]]

После того как в 1964 г. появилось издание «Избранных сочинений» Н. М. Карамзина в двух томах — единственная пока попытка дать современному читателю подбор текстов этого автора, — обсуждение проблем творчества Карамзина значительно активизировалось. В 1966 г. в связи с двухсотлетием со дня рождения писателя были организованы научные сессии в ИРЛИ АН (Пушкинском Доме) и Тартуском государственном университете. К юбилейной дате Библиотека поэта выпустила «Полное собрание стихотворений» Карамзина[2], Пушкинский Дом издал в серии «XVIII век» специальный сборник[3]. Появилось несколько полемических статей Г. П. Макогоненко, поставившего вопрос о необходимости переоценки ряда привычных характеристик Карамзина. Был защищен ряд диссертаций, авторы которых внесли в дискуссию о Карамзине новые аспекты и свежие идеи[4]. Наконец, вопросы мировоззрения и творчества Карамзина неоднократно затрагивались в связи с рассмотрением общих проблем эпохи[5]. Ряд заслуживающих внимания публикаций появился и за рубежом[6].

---

[1] Книга выпущена издательством МГУ в 1976 г.

[2] *Карамзин Н. М.* Пол. собр. стихотворений. М., 1966.

[3] Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начале XIX века // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969.

[4] *Макогоненко Г. П.* Литературная позиция Карамзина в XIX веке // Русская литература. 1962. № 1; *он же.* «Рядовой на Пинде воин» (Поэзия Ивана Дмитриева) // *Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1967; *Кочеткова Н. Д.* Н. М. Карамзин и русская поэзия конца 80-х — первой половины 90-х годов XVIII в.: Автореф. канд. дис. Л., 1964; *Лазарчук Р. М.* Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы: Автореф. канд. дис. Л., 1972; *Лузянина Л. Н.* Проблемы истории в русской литературе первой четверти XIX века (От «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина до трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»): Автореф. канд. дис. Л., 1972; *Канунова Ф. В.* Из истории русской повести. Томск, 1967.

[5] *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». М., 1972; *Павлович С. Э.* Пути развития русской сентиментальной прозы XVIII в. Саратов, 1974; *Лотман Ю. М.* Руссо в русской культуре XVIII века // Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967; *он же.* Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.

[6] Из большого числа публикаций английского исследователя А. Г. Кросса отметим его монографию: N. M. Karamsin. A study of his Literary Carrier 1783—1803. Amsterdam, 1971; см. также: *Rothe H. N.* M. Karamzins europeische Reise. Der Beginn des russischen Romans. Berlin; Zürich, 1968.

Однако именно на этом фоне все более очевидной становится недостаточность наших знаний по этой теме: неполнота материалов (многие из которых еще остаются в архивах, а другие опубликованы выборочно и неточно, без научного комментария), ненадежность и схематичность оценок, порой подкрепленных лишь инерцией исследовательской мысли и постоянством, с которым они переписываются из работы в работу.

Карамзин как писатель и общественный деятель в равной мере принадлежит и истории, и русской литературе, и общественной мысли России. Однако, если оставить в стороне специальную проблему «Карамзин как историк», то вклад исторической науки в изучение позиции этого деятеля окажется менее весомым, чем лепта, внесенная в это общее дело историками литературы. На фоне постоянного интереса историков к проблемам общественной мысли XVIII в. такой пробел особенно заметен.

Рецензируемая книга Л. Г. Кислягиной — серьезное исследование, разностороннее и объективное. Работа делится на краткое источниковедческое и археографическое введение и четыре главы. Первые две («Начало общественной и литературной деятельности Н. М. Карамзина» и «Мировоззрение Н. М. Карамзина в ранний период его деятельности. 1785—1792»), имеющие вводный характер, ориентируют читателя в круге проблем и материалов, связанных с началом общественно-литературной деятельности Карамзина. Третья и четвертая главы («Н. М. Карамзин и Великая французская буржуазная революция», «Оформление социально-политической программы Н. М. Карамзина») составляют проблемный центр книги.

Проблема «Карамзин и Великая французская революция XVIII в.», бесспорно, принадлежит к узловым при определении сущности позиции писателя. В литературе высказывалось мнение, что отношение Карамзина к французской революции было безусловно отрицательным[1]. А вместе с тем очень важно выделить во французских событиях аспекты, которые вызывали сочувствие Карамзина. Приведем частный, но характерный пример. В 1957 г. мне случилось обратить внимание на весьма сочувственные рецензии в «Московском журнале» на книги Вольнея «Руины, или Размышления о революциях империи» (Париж, 1791) и Мерсье «Ж.-Ж. Руссо, рассматриваемый как один из первых инициаторов революции» (Париж,1791)[2]. Карамзин назвал эти книги «важнейшими произведениями французской литературы в прошедшем году». Характерно, что, рекомендуя сочинения Вольнея и Мерсье русским читателям, Карамзин не мог даже привести в русской печати полностью их названий и вынужден был сократить титулы книг так, чтобы слово «революция» не упоминалось.

Карамзин был одним из наиболее осведомленных во французских делах русских общественных деятелей его эпохи. Этому способствовали личные впечатления, знакомства, встречи, пережитые им во время пребывания в

[1] См.: *Павлович С. Э.* Указ. соч.

[2] См. в наст. изд. статью «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803)». Ряд положений этой статьи ныне представляется неточным и скорректирован в последующих работах. См., например: *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. С. 12—21.

революционном Париже. Немногие из русских людей представляли себе в такой мере конкретно то, что происходило во Франции в эти годы. Автор рецензируемой книги стремится детализировать анализ впечатлений, вынесенных Карамзиным из путешествия в Париж, и установить динамику его отношения к событиям во Франции. Заслуживает внимания попытки Л. Г. Кислягиной определить момент перелома в отношении Карамзина к парижским событиям. Рассматривая программную статью из первого номера «Вестника Европы» (1802) «Всеобщее обозрение», она заключает: «В этой статье Карамзин различает два периода: с 1789 по август — сентябрь 1792 года и с августа — сентября 1792 года по 1801 год... Восстание 10 августа 1792 года положило конец идиллическим мечтам Карамзина о мирном пути развития революции, о близком установлении «царства разума» во Франции, которое мыслилось ему в форме просвещенной, вероятно, конституционной монархии» (с. 96—97). Изучая произведения Карамзина, так или иначе связанные с французской революцией, исследовательница приходит к выводу о том, что мировоззрение писателя характеризовалось, в основном, верой в исторический прогресс. Прогресс представлялся Карамзину в образе успехов в просвещении и нравственности. Революции казались ему грозными катастрофами, нежелательными и опасными, как кризисы в природе (в языке науки тех лет слово «революция» применялось и к геологическим катастрофам), но по-своему способствующими историческому прогрессу. С таким выводом следует согласиться. В целом глава, посвященная отношению Карамзина к французской революции, несмотря на некоторые частные неточности, удачна. Она, бесспорно, послужит отправной точкой для будущих исследователей этой проблемы.

Однако из сказанного не следует, что проблема уже решена или даже близка к окончательному разрешению. Более того, при обилии специальных работ, посвященных этому вопросу, можно лишь удивляться тому, как много остается еще сделать прежде, чем отношение Карамзина к революции в Париже прояснится. Заметим, что даже даты пребывания Карамзина в Париже неясны. Единственным источником наших сведений по этому вопросу являются «Письма русского путешественника». Однако неоднократно указывалось, что текст этого литературного произведения не может считаться надежным биографическим источником — отделить границы «Dichtung» и «Wahrheit» бывает в нем слишком трудно. Уже обращалось внимание на то, что даты, приведенные в этом тексте, мистифицированы: в «Письмах русского путешественника» время отъезда из Лондона на родину помечено сентябрем 1790 г., однако нам известно, что Карамзин уже 15 июля был в Петербурге[1]; по «Письмам», он был в мае — июне в Париже и в июле — в Лондоне, однако из письма к И. И. Дмитриеву ясно, что 4 июня он был уже в Лондоне[2]. Мотивы этой мистификации непонятны, однако вряд ли она была беспри-

[1] См.: *Шторм Г. П.* О намеренно ложной датировке «Писем русского путешественника» // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. 1960. Т. 19. Вып. 2. С. 149—151.

[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 13—14.

чинной и причины эти не были малозначительными. Здесь уместно высказать на этот счет догадки, но следует подчеркнуть, сколь безосновательно смотреть на «Письма русского путешественника» как на бесхитростный путевой дневник и надежный источник биографических сведений.

Но, даже если предположить, что пребывание Карамзина в Париже в определенной мере совпадает с указанными им датами, картина не делается более ясной: необходима хроника парижских событий за эти дни, необходим подбор летучих листков, появившихся в эти сроки, чтобы мы могли восстановить впечатления русского путешественника во всей их реальности и понять, насколько различаются точки зрения современника, наблюдающего калейдоскоп конкретных событий, и отдаленного потомка, оперирующего схемами, к тому же почерпнутыми из вторых рук. Только обогатив себя столь же конкретным видением революционного Парижа, каким обладал Карамзин, мы поймем ряд мест в «Письмах». Современному читателю может показаться, что в описании Парижа отсутствует мир злободневной политики. Так ли это? При описании Парижа Карамзин упоминает убийство Генриха IV Равальяком: «Кучер мой остановился и кричал: „Вот улица де ла Ферронери!“ — „Нет, — отвечал я, — ступай далее“. Я боялся выйти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком»[1]. Образ Генриха IV нужен Карамзину не только для того, чтобы процитировать слова Вольтера о том, что это был единственный король, память о котором сохранил народ, и тем самым подчеркнуть свою солидарность с культом Генриха IV, созданным философами XVIII в. Слова Вольтера, прославлявшего народного короля-просветителя, жертву религиозного фанатизма, приобретали особый смысл для читателя конца XVIII в. Карамзин пишет от лица путешественника, еще не знающего о печальном конце Людовика XVI, но читатель находится уже не в 1790 г. (глава опубликована в 1801 г.) и улавливает здесь и сочувствие королю-жертве, и напоминание, что не только революционный, но и средневековый церковный фанатизм не считал личность короля неприкосновенной. Из этого вытекало, что революционные грозы не дискредитировали для Карамзина прогресса, а в их характере он усматривал реакцию на преступления средневековья.

В последней главе Л. Г. Кислягина дает содержательный анализ воззрений Карамзина в конце XVIII — начале XIX в. Особенно удачными представляются страницы, на которых рассмотрено «Историческое похвальное слово Екатерине II» — произведение, не подвергавшееся ранее столь детальному анализу. Зато «Вестник Европы» заслуживал бы более подробного изучения. В свое время мне удалось, отыскав источники, из которых Карамзин черпал материалы для статей в своем журнале, и сопоставив их с переводами-переработками, установить тенденцию самого редактора. Продолжение этой работы сулит весьма интересные результаты. Хотелось бы пожелать также, чтобы эта глава была менее имманентной. Автор убедительно описал нам систему взглядов Карамзина в эти годы, однако подлинный смысл их, конечно,

[1] *Карамзин Н. М.* Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 429.

раскрывается в конкретном контексте общественной жизни и идеологии тех лет. Здесь необходима и скрупулезная комментаторская работа: сочинения Карамзина полны конкретных намеков, откликов и цитат, отсылающих нас к исключительно широкому кругу публицистических, философских и литературных текстов. Пока статьи Карамзина не прочтены глазами комментатора (это очень трудная работа, сделать которую неизмеримо сложнее, чем построить на основании карамзинских текстов ту или иную концепцию), мы не можем сказать, что они нам до конца понятны. А без этого любая интерпретация теряет в своей убедительности.

Рекомендуя читателю книгу Л. Г. Кислягиной как содержательную и полезную, рецензент не может не отметить некоторые неточности. Исследовательница пишет: «Карамзин в 1802 году говорит о конце 10-летней войны, следовательно, начало ее падает на 1792 год. Текст статьи позволяет определить его более точно. Оно совпадает с установлением республики во Франции» (с. 96). Нет никакой надобности вычислять время начала войны столь сложным образом — оно известно и никакого отношения к республике не имеет. Война, которой предшествовала длительная политическая борьба, началась 20 апреля 1792 г. по инициативе Людовика XVI и жирондистов (по предложению короля Ассамблея объявила войну Австрии), которые надеялись, каждый со своей стороны, извлечь из нее политические выгоды. Неточно и определение австрийского императора Леопольда как «вдохновителя военной коалиции против Франции» (с. 97). Император Леопольд, несмотря на неприкрытую неприязнь к революции, был сторонником осторожной политики и предпочитал закулисные интриги и широковещательные, но пустые заявления прямой военной интервенции. Связанный внутри Франции с Ламетами, он был противником перехода от угроз к действию. Именно его внезапная смерть 1 марта 1792 г. и воцарение молодого воинственного Франциска II способствовали торжеству в обоих лагерях «военной партии».

Книга Л. Г. Кислягиной — значительный шаг вперед в изучении общественно-политических воззрений Карамзина. Она интересна, насыщена фактическим материалом, продумана по концепции и легко читается. Однако было бы ошибкой утверждать, что с появлением этой монографии вопрос представляется исчерпанным. Остается еще сделать много. Прежде всего, нет научно проверенного, комментированного издания Карамзина. Предпринятое Академией наук перед первой мировой войной издание полного академического собрания сочинений остановилось на первом томе (вышел в 1917 г.). Такой важный текст, как «Записка о древней и новой России», был опубликован в 1914 г. с грифом: «Печатается в ограниченном количестве экземпляров. Перепечатка воспрещается». Запрет этот, кажется, продолжает гипнотизировать издателей до сих пор. Не собраны и не изданы полностью письма Карамзина — ценный культурный и литературный памятник. Тем более не проделана комментаторская работа.

Оправдан ли такой труд? Существенно ли исказится наше знание об эпохе, если мы ограничимся лишь некоторым приближением к пониманию позиции Карамзина? Карамзин был не только крупным деятелем русской культуры и литературы, он был и мыслителем, общественным деятелем.

Однако подлинных последователей у Карамзина не было ни в одном лагере. Карамзин был к моменту, когда его воззрения окончательно сложились, русским консерватором. Неразвитость консервативного лагеря в русской общественной мысли — факт примечательный. До тех пор, пока мы не будем различать лагерь реакции и лагерь консерваторов, мы ограничим себя схемами такой степени обобщенности, что при конкретном историческом анализе материала они не смогут служить полезными инструментами. В отличие от реакции, консервативный лагерь опирается не на физическую силу власти, а на идеологию, теорию, работу мысли. Поэтому, несмотря на его лояльность по отношению к самодержавию, последнее не может питать к нему доверия, с основанием считая его недостаточно контролируемым. В отличие от реакции, лагерь этот воспринимает самодержавие как идеальное понятие, порой весьма критически относясь к его реальным воплощениям. Нас не должно удивлять, что в этой группе мы будем встречать людей, чья высокая личная честность будет беспрекословно признаваться во всех общественных лагерях. А всякий, кто углублялся в историю самодержавного государства, знает, какую роль в общественных коллизиях играет «подвиг честного человека» (слова Пушкина о Карамзине). Контрастное освещение исторического процесса полезно лишь при первом к нему приближении. Затем наступает очередь более детализированного знания. Предшествующие исследования деятельности Карамзина подвели нас к этой черте.

1977

Приложение

Клио на распутье

Римляне говорили: «nomen est omen» — «имя — это предзнаменование». Поговорка эта, восходящая, кажется, к Плавту, необъяснимым образом оправдывается в исторической хронологии. Историческая хронология условна: границы веков, десятилетий, понятия «начало века», «конец столетия» определяются принятой в той или иной культуре точкой отсчета, казалось бы, совершенно внешней по отношению к историческим событиям. Однако и историки, и люди в своей житейской практике знают, что отличие одного десятилетия от другого, «лицо века» — вещи реальные, и люди, ощущающие себя зачинателями столетия, не похожи на тех, кому приходится подводить его итоги.

Переживаемое нами время есть время итогов, время «концов»: кончается XX век, кончается тысячелетие, прошедшее после крещения Руси — фактически первое тысячелетие русской культуры, кончается второе тысячелетие существования новой европейской культуры. А на фоне этого — более близкие нам «концы»: 300-летие Петровской реформы, настоятельно требующее ее осмысления, в 1990 г. — 200-летие «Путешествия из Петербурга в Москву» — время размышлений над итогами русского освободительного движения. А в 1990-е гг. в целом неизбежно ставят вопрос о том, что же дала народам Европы и мира Великая французская революция.

Но, конечно, дело не не только и не столько в датах. Подведение исторических итогов неизбежно связано с вопросом «куда идешь?». История — взгляд на прошлое из будущего, взгляд на произошедшее с точки зрения какого-то представления о «норме», «законе», «коде» — о том, что возводит происшествие в ранг исторического факта и заставляет воспринимать события как имеющие смысл. К этому следует добавить, что фундамент исторической науки покоится на идее закономерности и исторического процесса. Но сама идея закономерности событий принадлежит научному мышлению в целом и тоже подвержена изменениям. В своем неосознанно-распространенном (можно сказать, научно-бытовом) виде, принадлежащем не столько области идей, сколько сфере психологии ученых, идея закономерности сложилась под влиянием успехов в естественных науках в XVII—XVIII вв.

XVII—XVIII вв. были временем быстрых успехов химии и физики. Одно из существенных отличий химии от алхимии состояло в том, что алхимическая реакция в принципе представляла собой таинство: последующее не вытекало

с автоматической последовательностью из предыдущего, а лишь могло произойти при стечении определенных таинственных обстоятельств. Каждая реакция была уникальна и неповторима. Как и в искусстве, от наставника к ученику передавались опыт, знание технических приемов, «школа». Но простого усвоения их было недостаточно для получения «философского камня», требовалось еще «что-то». Поэтому неудачи не обескураживали алхимиков, как проигрыши не останавливают азартного игрока.

Химия основывалась на представлении об однозначных закономерностях. Химическая реакция подобна математическому уравнению: то, что записано в левой части — участники реакции,— может явиться причиной одного и только одного следствия — результата, который записывается в правой части уравнения. В пробирке события протекают во времени, но описание их, зафиксированное на листе бумаги, имеет чисто пространственный характер: там, где результат процесса однозначно предопределен, время фактически перестает играть решающую роль. Будущее предсказуемо вытекает из предшествующего. Эти две черты — повторяемость процесса и предсказуемость его результата — стали рассматриваться как неотъемлемые свойства причинности как таковой.

Перенесение такой концепции причинности на историю, уходящее корнями в Возрождение, привело к двум кардинальным последствиям. Во-первых, история стала восприниматься как взгляд в прошедшее из настоящего. Между рассказом о прошлом и образом «результата» установилась связь. История и утопия превратились в два звена единой цепи. Во-вторых, сложилось представление о некоей идеальной модели исторического развития, «правильном» решении задачи. Народы предстали как ученики, решающие одну и ту же задачу: одни решали ее близко к идеальному алгоритму, другие — с ошибками, одни находились в начальных классах, другие продвинулись далеко вперед.

Европейское Просвещение в трудах Вольтера и Кондорсе определило вектор исторического движения: от темы непросвещенности к свету истины и просвещения. В результате понятие истории оказалось неразрывно связано с идеей прогресса: относительное место того или иного факта мировой истории или целых национальных культур на отвлеченной шкале «предрассудки—просвещение» определяло степень их прогрессивности. Характеристика шкалы могла меняться и менялась, приобретая разные интерпретации у Гегеля или историков реставрации, но представление о единстве мировой лестницы и о том, что ее верхние ступеньки прогрессивнее нижних, оставалось как бы неизбежным признаком научного подхода к истории.

Развитие дарвинизма и выработанная на его основе модель эволюции как общей основы научного знания повлияли на историю в том же направлении, но и с существенными коррективами: если просветитель видел в истории результат сознательных усилий «темных» или «просвещенных» личностей, то наука XIX в. стала подчеркивать значение объективных факторов, ускользающих от воли и сознания отдельного человека. Эволюция мыслилась как процесс целесообразный и одновременно бессознательный, совершающийся через людей, но помимо их воли.

От просветителей через немецких философов, и в первую очередь Гегеля, до Тейяра де Шардена дошло представление о смысле истории как движении от бессознательного к сознательному. Однако сознательное при этом мыслилось как осознанное, как результат акта самопознания. Сознание есть способность системы, достигшей в мыслящем субъекте высшей точки развития, осознать свои собственные неизбежные законы, а не момент выбора. Поэтому акт самопознания мыслился как конец истории, между тем как, если понимать сознание как выбор пути, он оказывается началом совершенно нового ее этапа.

Так представление о «научной истории» накапливало идеи и открытия и одновременно привычки и предрассудки, складываясь в некий комплекс идей, происхождение которых забывалось и внутренняя противоречивость сглаживалась привычностью. Борьба с романтическими концепциями истории, противопоставляющими идею закономерности истории личной активности отдельного человека, толкала историческую науку к тому, чтобы отождествлять объективность с внеличностностью и бессознательностью исторических процессов. Это наложило печать и на историософию Гегеля, и на концепции историков реставрации, а также и на многие разновидности экономического материализма. В противовес им К. Маркс уже в «Тезисах о Фейербахе» высказал мысль об обратной связи, существующей между экономическими процессами и духовной жизнью общества, указывая на активность вторжения последней в историческое движение, одновременно с базисным характером экономики.

Однако в дальнейшем неразвитость гуманитарных наук, которые только к концу XIX — началу XX в. начали приобретать такие черты науки, как исследование собственных методов, внимание к аппарату научного описания, критическая переоценка своего опыта, поиски своего места в общей системе наук, привела к тому, что вопрос о влиянии материальных факторов на духовные и объективных процессов на их субъективное выражение подвергался многократному и основательному рассмотрению, а противоположные движения или привлекали лишь поздних последователей романтической методологии, или носили чисто декларативный характер. Так, например, если ограничить себя отечественной наукой, можно указать на парадоксальное положение: как бы само собой разумеется, что историк может быть дилетантом в вопросах исторической психологии. В равной мере речь может пойти и о других «науках о человеке». История общественных институтов, борьбы социальных сил, идеологических течений как бы отменила *историю людей*, отведя им роль статистов во всемирной драме человечества. Значение их, конечно, не отрицается, но напоминает театральную программку, где против ролей написано несколько фамилий исполнителей, которые могут с равным успехом сыграть одну и ту же роль в рамках одной пьесы. «История отобрала своим исполнителем для данной роли N.N., но ход ее не изменился бы, если бы на его месте оказался Z.Z. Оттенки, которые внес бы другой исполнитель роли, относятся к случайности, а история занимается закономерными процессами». Если редко кто в настоящее время именно так формулирует свои мысли, как правило, прибегая к эклектическому «учету» индивидуальных

свойств исторических лиц, как в старинных журналах раскрашивали от руки тираж черно-белых эстампов, то все же основание метода именно таково.

Более того, и в изучение «человека в истории» научная методология чаще всего проникает как отказ от внимания к «случайному» и «индивидуальному». Полагается, что, чтобы сделаться предметом исторического анализа, человек должен быть рассмотрен как *«представитель»* — «боярской оппозиции» или «посадского люда», «барокко» или «романтизма». То же, что делает его отличным от таких же «представителей» этой же категории, находится вне исторической науки и в лучшем случае может быть отдано специалистам по психопатологии или вписано в туманную область «индивидуальных особенностей».

Итак, историческая наука противопоставляет закономерное случайному и предметом своим, в строгом смысле, объявляет первое. К нему относятся «объективные» процессы: развитие производства, технический прогресс, социальная борьба, история политических конфликтов и пр. А ко вторым то, что в последнее время стали называть «человеческим фактором». При этом закономерность знака равенства между понятиями «субъективное» и «случайное» как бы не вызывает сомнений.

Нельзя, однако, не заметить, что закономерное в истории ведет себя (на фоне закономерностей, господствующих на других уровнях структуры мира) несколько неожиданным образом и ставит нас порой перед труднообъяснимыми парадоксами.

Закономерный процесс, развивающийся во времени, можно представить как повествовательный текст. Глубоко не случайно, что на наше бытовое представление об истории наложил отпечаток образ исторического повествования. Между цепью реальных событий, организованных причинно-следственной связью, лежащей в основе исторической закономерности, и цепью повествовательных эпизодов, организованных законами языка и логикой рассказа, как бы существуют отношения подобия. Между тем в любом связном тексте, как и в любом закономерном процессе, нарастает избыточность: чем больше пройденный нами отрезок, тем легче предсказать еще не пройденную часть траектории. Однако в области истории предсказуемость еще не совершившихся событий исключительно низка. Результаты нынешней футурологии даже при современных возможностях использования скоростной электронно-вычислительной техники не намного более обнадеживающи, чем предсказания дельфийских оракулов. Подобная ситуация возможна лишь в том случае, если в развивающуюся по внутренним закономерностям систему извне вторгаются возмущающие ее факторы. Но факторы, вторгающиеся извне, по отношению к системе выступают как случайность, и признать их постоянное воздействие на результат процесса означает потребовать внимания к той самой случайности, которая исключается из числа «факторов истории», и, казалось бы, подорвать доверие к самой идее закономерности истории.

Когда в 1830-е гг. европейские историки заявили, что предмет истории есть изучение исторических закономерностей, Николай Полевой с жаром неофита предался этой идее, —

как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную.

В ответ Пушкин, со свойственным ему сочетанием трезвости и глубины, писал: «Не говорите: *иначе нельзя было быть*. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть *случая* — мощного, мгновенного орудия провидения»[1].

Однако не только возмущающее вторжение случайных событий влияет на предсказуемость исторических процессов. Здесь придется говорить о принципиальном своеобразии закономерностей, действующих в процессе истории. В историческом движении можно различать процессы двух родов (конечно, само различение их условно: в реальной жизни они переплетаются и переливаются друг в друга). Одни совершаются по спонтанным законам и носят внеличностный характер, люди принимают в них участие, но фактически лишены при этом выбора. Так, тот или иной человек участвует в развитии языка или в истории экономических отношений, но он не является творцом ситуации, и выбор поведения зависит не от него. Другие явления совершаются через сознание людей и с помощью этого сознания. Здесь человек оказывается перед возможностью выбора поведения и неизменно соотносит свои действия с образом цели, представлением о результатах. Отношение этих видов исторического движения к проблеме предсказуемости различно. Так, например, динамика демографического развития, играющая такую важную роль в истории, принадлежит к областям, относительно хорошо предсказуемым; значительной надежностью отличаются прогнозы в области развития техники, в очень многих сферах общественно-политической или военной реальности трудность прогнозирования связана с недостатком информации о нынешнем состоянии и, следовательно, не имеет принципиального характера. Между тем прогнозирование в сфере искусства и вообще во всем, что связано с индивидуальным творчеством, представляет задачу совсем иной степени трудности. Более того, даже внутри творческой деятельности человека пролегает глубокая грань: там, где речь идет о раскрытии закономерностей, неизвестных человеку, но существующих до того, как они делаются человеку известны, то есть о научных открытиях и о технике, создаваемой на основе этих открытий, предсказуемость оказывается довольно высокой. В истории науки многочисленны случаи, когда то или иное открытие было предсказано задолго до того, как сделалось научно возможным. Не менее важны случаи одновременного совершения того или иного открытия независимыми друг от друга учеными. То же можно сказать и о технике. Между тем в области искусства и предсказание, и одновременное сотворение идентичных объектов — вещи практически невозможные.

[1] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. [М.,] 1949. Т. 11. С. 127.

Представим себе мысленный эксперимент: изобретатель ткацкого станка или астроном, открывший новую комету, умер в детстве, не совершив своего открытия. Совершенно очевидно, что эти открытия и конструкции рано или поздно будут реализованы другими людьми. Это произойдет скорее или с замедлением, но русло исторического течения от этого не переменится. Но если бы умерли в детстве Данте, Пушкин или Достоевский, не только не были бы никогда написаны их произведения, но и история Италии и России, в конечном счете история, по крайней мере, Европы потекла бы по другому направлению. Можно сказать, что в тех сферах истории, где люди играют роль частиц крупного размера, включенных в броуново движение гигантских сверхличностных процессов, законы причинности предстают в своих простых, можно сказать, механических формах. Там же, где история предстает как огромное множество альтернатив, выбор между которыми осуществляется интеллектуальной и волевой силой человека, необходимы поиски новых и более сложных формул причинности.

Речь должна идти именно о поисках новых моделей причинности, а не о возврате к романтическим формулам о гении как «беззаконной комете» и тем более к туманным разговорам о специфике художественной деятельности, якобы не поддающейся «убивающему» анализу новых Сальери.

Прежде всего отметим, что вопрос этот имеет общенаучный, а не только искусствоведческий характер. Тоннель копается с двух сторон. В то время как наука о человеке, в частности семиотика культуры, ищет закономерности культурного процесса и стремится осмыслить природу противоэнтропийных механизмов истории, на другом конце тоннеля слышатся мощные взрывы: появляются работы химика и физика, лауреата Нобелевской премии, бельгийца русского происхождения Ильи Пригожина, посвященные необратимым процессам в химии и физике, роли случайности и непредсказуемости в структуре мира как такового. Картина мира неслыханно усложняется, и искусствознание, культуроведение, да и наука о человеке в целом из области научной периферии превращается в общенаучный методологический полигон. Происходит как бы рокировка: причинности, знакомые нам по механике и иллюстрируемые развертыванием какой-либо одной доминирующей закономерности, исключающие случайность из области научного рассмотрения или полностью оттесняющие ее в область статистики, претендовали на представительство структуры мира в целом, а «капризной» сфере индивидуального творчества милостиво отводили уголок среди раритетов и монстров мировой кунсткамеры. Не окажется ли в скором времени, что привычные понятия закономерного окажутся, как и ньютоновская физика, частным случаем, а то, что казалось периферией, раскроется как универсальный структурный принцип?

История предстает перед нами не как клубок, разматываемый в бесконечную нить, а как лавина саморазвивающегося живого вещества. В ней противоборствуют механизмы возрастания энтропии и, следовательно, растущего ограничения выбора, сведéния альтернативных ситуаций к информационному нулю, с одной стороны, и постоянного увеличения «перекрестков», альтернатив, моментов выбора пути, моментов, когда нельзя предсказать,

куда потечет дальнейшее развитие. Здесь вступают в действие интеллект и личность человека, *осуществляющего выбор*. Это «минуты роковые», по Тютчеву, или «моменты бифуркации», по Пригожину[1]. Следовательно, интеллект человека не только пассивно отражает внележащую реальность, но и является активным фактором исторической и космической жизни. Отсюда роль — историческая и космическая — человеческой культуры, этого коллективного интеллекта человечества. Отсюда и роль культурологии.

История — не однолинейный процесс, а многофакторный поток. Когда достигается точка бифуркации, движение как бы останавливается в раздумье над *выбором пути*. Позволим себе процитировать описание сопоставимых явлений в химии, данное И. Пригожиным: описывая случай, когда в «точке бифуркации появляются два устойчивых решения», он замечает: «В связи с этим, естественно, возникает вопрос: по какому пути пойдет дальнейшее развитие системы после того, как мы достигнем точки бифуркации? У системы имеется «выбор»: она может отдать предпочтение одной из двух возможностей»[2]. В этот момент в историческом процессе в действие вступают интеллектуальные способности человека, дающие ему возможность осуществлять выбор. Как бы ни были бессильны при «нормальном» течении истории эти факторы, они оказываются решающими в момент, когда система «задумалась перед выбором». Но, вмешавшись в общий ход, они сразу же придают его изменениям *необратимый характер*. При ретроспективном описании это изменение неизбежно предстает как единственно возможная закономерность, то «иначе нельзя было быть», против которого восставал Пушкин.

Говоря о дисимметрии в природе — явлении, в котором Пастер видел сущность живого вещества, явлении, и до сих пор еще полностью не объясненном, в свое время волновавшем В. Вернадского[3], а сегодня И. Пригожина[4],— можно заметить, что, поскольку в историческом процессе случайность выступает, в частности, в образе сознательного выбора, осуществленного разумным существом, история человечества может быть рассмотрена как глубоко своеобразное явление в развитии космоса в целом и, возможно, этап этого развития.

Можно предположить, что в дальнейшем сфера активного участия человеческого разума в традиционно спонтанных процессах будет возрастать. Соответственно меняется и характер исторического процесса, и мышление

---

[1] Определение понятий бифуркации и флуктуации И. Пригожиным дается следующим образом: «Когда система, эволюционируя, достигает точки бифуркации, детерминистическое описание становится непригодным. Флуктуация вынуждает систему выбрать ту ветвь, по которой будет происходить дальнейшая эволюция системы. Переход через бифуркацию — такой же случайный процесс, как бросание монеты» (*Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. М., 1986. С. 236—237).

[2] *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. С. 218.

[3] *Вернадский В. И.* Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. М., 1965. С. 151—204.

[4] *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. С. 202. «Один из распространенных ответов на этот вопрос гласит: дисимметрия обусловлена единичным событием, случайным образом отдавшим предпочтение одному из двух возможных исходов».

историка. Основываясь на биологическом материале, но ставя вопросы, имеющие решающее значение для всех наук, изучающих эволюцию, Илья Пригожин показывает, что вблизи точек бифуркации (моментов, когда дальнейшее развитие может с равной вероятностью пойти по нескольким направлениям) включается аппарат флуктуации — отсечения одних вариантов и выбора других. Это избавляет эволюцию от автоматизма и позволяет ученому сформулировать вывод: «Необратимость и неустойчивость тесно связаны между собой: необратимое, ориентированное время может появиться только потому, что будущее не содержится в настоящем»[1], вернее, содержится в нем как одна из возможностей. «Железный сценарий» — мечта Эйзенштейна — не закон для эволюционных систем, в том числе для истории. Одно из следствий общего поворота научного мышления состоит в том, что историка начинают интересовать события не сами по себе, а на фоне поля нереализованных возможностей. Непройденные дороги для историка такая же реальность, как и пройденные. А то, что вызвало реализацию одних из них и нереализацию других, начиная с песчинки, изменившей направление лавины, делается историческим фактом. Но конечно, на одно из первых мест выдвигается мысль о том, что в сфере истории момент флуктуации осуществляется человеком в зависимости от его понимания мира, принадлежности к культурной традиции, включенности в комплекс общественной семиотики. Клио предстает не пассажиром в вагоне, катящемся по рельсам от одного пункта к другому, а странницей, идущей от перекрестка к перекрестку и *выбирающей путь*.

Такой подход не случайно возникает именно в наше время. Он связан не только с общим развитием естественнонаучных идей, но и со спецификой переживаемой нами эпохи. Время «концов» — время подведения итогов. Мы стоим на рубеже подведения итогов предшествующего мирового развития. Стремление разобраться в прошлом сделалось не только импульсом историка, но и подлинной потребностью — в том числе и эмоциональной — людей нашего времени. И дело не в том, чтобы найти ту или иную формулу, почерпнутую у какого-либо мыслителя прошлого (мы наблюдаем, как «ключ» ищут то у славянофилов, то у Чаадаева, то у Бердяева, то у Тейяра де Шардена), а понять, что не формула, а история эволюции есть и тайна, и разгадка истории.

И еще один аспект. Введение в теорию эволюции понятия точек выбора, моментов, в которых автоматическая предсказуемость перестает работать, вводит в арсенал историка еще один момент. Представление о том, что единственно реальными в истории являются спонтанные процессы, в которых люди выступают как инструменты исторических закономерностей, выводило вопрос о нравственной ответственности за пределы науки. Карамзин показался наивным и «ненаучным». Вопрос этот возвращается уже не в ореоле моралистических уроков, а как один из важнейших составляющих культуры, мощно воздействующих на выбор человечеством пути в будущее.

---

[1] *Пригожин И.* От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. М., 1985. С. 252.

Архаические символы — конденсаторы тысячелетнего опыта человечества: замкнутые фигуры — круг, треугольник, квадрат — символизируют высшие надчеловеческие силы: крест, перекресток уже в санскрите обозначал выбор, судьбу, человеческие начала: разум и совесть. Перепутье предоставляет выбор идущему. Клио вышла на перепутье.

1988

Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени

Светлой памяти Николая Ивановича Мордовченко

Введение

В истории русской передовой общественной мысли первое десятилетие XIX в. занимает особое место. Значение этого времени для характеристики истоков декабристского движения бесспорно. Однако, несмотря на очевидную важность этого периода — переходной эпохи от Радищева к декабристам, — рассмотрение его в исследовательской литературе все еще не может быть признано исчерпывающим.

Либеральная историческая наука культивировала легенду о решающем значении «правительственного либерализма» в формировании передовой общественной мысли первой четверти века. Считая, что «тайные общества и дело декабристов были естественным результатом брожения идей в александровское время», А. Н. Пыпин утверждал: «...само правительство питало более смелые планы, чем кто-либо из передовых людей тогдашнего общества»[1]. «Общество не имело тогда, да и долго потом, никакой политической жизни... — писал Н. Н. Булич. — Правительство со своими планами преобразований стояло совершенно одиноко»[2].

Результатом подобного подхода являлось сосредоточение внимания исследователей на правительственной деятельности «дней Александровых прекрасного начала».

Советская историческая и историко-литературная наука, рассматривая идейную жизнь общества как отражение классовой борьбы в данной конкретно-исторической ситуации, положила в основу изучения декабристского движения ленинскую характеристику трех основных этапов развития революционного движения. Отталкиваясь от порочной либерально-буржуазной концепции о декабризме как течении, развивающем тенденции «правительственного либерализма», советские исследователи обратили внимание на конкретные обстоятельства, обусловившие формирование дворянской революционности как идеологического явления. Вполне закономерно внимание привлекли основные вопросы: эволюция мировоззрения декабристов, развитие их общественно-политической и литературной программы, связи их с творчеством Пушкина и Грибоедова, значение 1812 г. в формировании их

---

[1] *Пыпин А. Н.* Исторические очерки. Общественное движение в России при Александре I. 4-е изд. СПб., 1908. С. II.

[2] *Булич Н. Н.* Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. 2-е изд. СПб., 1912. С. 24.

идеологической системы. Вопрос о корнях теоретических воззрений дворянских революционеров в более раннюю эпоху не привлек еще пристального внимания науки и ждет своего исследователя. Касаясь этой проблемы, авторы работ обычно ссылаются на преемственные связи с Радищевым, не делая, однако, этого существенного и весьма сложного вопроса предметом специального рассмотрения. В последние годы, в связи с появлением ряда новых работ и привлечением новых материалов по истории революционной мысли конца XVIII в., с одной стороны, и по истории развития декабристской идеологии, с другой, вопрос этот стал вполне научно-актуальным. «Идейные истоки тайного общества, — пишет М. В. Нечкина, — относятся к более раннему времени, чем принято думать. Вопрос об идейной атмосфере, в которой жило московское студенчество до 1812 г., представляет, оказывается, большой интерес и много поясняет об истоках декабризма...»[1]

Постановка данной научной темы требует, однако, не только методологического пересмотра работ буржуазно-либеральных историков — она подразумевает значительное расширение наших фактических сведений об этой эпохе, рассмотренной в дореволюционной литературе с отнюдь не исчерпывающей полнотой и явно тенденциозным подбором фактов. В этом отношении весьма значительное явление представила собой книга В. Н. Орлова «Русские просветители 1790—1800-х годов» (М., 1953). Хотя не все положения автора могут быть приняты безоговорочно, а часть его выводов представляется преувеличенной, книга имеет для разбираемого вопроса первостепенный интерес как итог многолетнего труда, обогатившего науку значительным количеством нового фактического материала. Тем не менее намеченная в конце книги схема: Радищев — «радищевцы» — декабристы не может не вызвать возражений, так как стремление автора заменить всю богатую и противоречивую картину возникающих и борющихся общественных тенденций первого десятилетия XIX в. рассмотрением одной, хотя и интересной, группировки объективно приводит к преувеличению ее общественного значения и искажению исторической перспективы. Необходимо всестороннее изучение *всей* полноты материала по истории общественной мысли этих лет. Теоретическое освещение вопроса в значительной мере оказывается в зависимости от появления исследований, уточняющих отдельные стороны общественно-политической и литературной жизни преддекабристской эпохи.

Настоящее исследование не ставит задачи решить общий вопрос об истоках сложного и противоречивого явления дворянской революционности, поскольку это потребовало бы привлечения значительно более широкого фактического материала. Однако автор надеется, что рассмотрение общественных и литературных воззрений незаслуженно забытого А. С. Кайсарова, расширив круг материала, которым располагает исследователь истории декабристской идеологии, в какой-то мере приблизит решение назревших актуальных вопросов науки.

---

[1] *Нечкина М. В.* Грибоедов и декабристы. М., 1947. С. 78.

Изучение жизненного пути А. С. Кайсарова имеет и другой, более частный, но не менее научно-актуальный смысл. Один из наиболее ранних преподавателей русского языка и словесности в стенах Тартуского университета, Андрей Сергеевич Кайсаров — хорошо подготовленный ученый-славист и выдающийся общественный деятель — сыграл заметную роль в укреплении дружественных связей между прогрессивной общественностью России и Прибалтики. В плане изучения русско-эстонских связей начала XIX в. рассмотрение деятельности Кайсарова приобретает особое значение.

Формирование общественно-политических и литературных воззрений А. С. Кайсарова падает на сложную эпоху первого десятилетия XIX в. Конец XVIII в., связанный с обострением классовой борьбы крепостных крестьян, вызвал резкое размежевание в области общественной мысли. На одном полюсе сформировалась революционная идеология Радищева, связанная с проповедью народной революции и имевшая отчетливо демократический характер, на другом — теоретические построения дворянских идеологов. Напряжение общественной борьбы обнаружило антидемократическую и антиреволюционную роль дворянского либерализма в таких его проявлениях, как масонство, карамзинизм и т. д. Сущность этих направлений не менялась от того, что они старательно отгораживались от оголтелой реакции, а эта последняя, в свою очередь, преследовала их, не делая принципиального различия между проявлениями демократической революционности и дворянского либерализма. Эти разногласия *внутри* дворянского лагеря общественной мысли качественно картины не меняли. Острота переживаемого страной социального кризиса определила четкость размежевания общественных лагерей.

Обращаясь к материалу первого десятилетия XIX в., исследователь сталкивается с картиной значительно более сложной. Новая ситуация, сложившаяся в эту эпоху и во внутриполитическом, и международном положении России, придавала расстановке сил в литературе новый характер.

Крестьянские восстания в России последней трети XVIII в. не привели, да и не могли привести, к разрушению феодально-крепостнического строя. Показав революционную энергию народа, его ненависть к помещикам и готовность к решительной борьбе за свободу, они вместе с тем наглядно обнаружили неорганизованность, раздробленность и наивную надежду на «доброго царя», свойственные крестьянской массе этой эпохи. Между тем, если первые массовые выступления народа в начале последней трети XVIII в. застали господствующие классы врасплох и повергли правительство в состояние растерянности, то к концу XVIII в., в результате целого ряда мероприятий правительств Екатерины II и Павла I, аппарат дворянского государства был значительно укреплен и находился в состоянии постоянной готовности подавить первое же проявление революционной энергии народа. Эту особенность необходимо учитывать при оценке общего положения в стране в начале XIX в. Советские историки собрали богатый фактический материал, восстанавливающий картину широкого размаха народных волне-

ний в интересующие нас годы[1]. Абсолютные цифры крестьянских восстаний весьма значительны и часто выше, а не ниже соответствующих цифровых показателей в 1780—1790 гг., но, если учитывать, что народному недовольству в этот период противостояли значительно более консолидированные силы дворянского государства, то станет ясно, что *относительная* мощь народного сопротивления угнетению в эту эпоху была значительно слабее. Она не могла обусловить непосредственной перспективы создания революционного кризиса в стране. Именно это имел в виду В. И. Ленин, характеризуя начало XIX в. словами: «крепостная Россия забита и неподвижна»[2]. К этому следует добавить, что и положение за рубежами России претерпело значительные изменения: бурная эпоха революционной ломки феодализма сменилась торжеством контрреволюционной директории, «пятиглавой и ненавистной всем гидры»[3], по характеристике А. Н. Радищева, а затем — единовластием консула Бонапарта. Если для части общества консул Бонапарт все еще оставался носителем революционных традиций («кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом», — вспоминал С. Глинка[4]), то, с другой стороны, крепло убеждение в контрреволюционном характере правительственных перемен во Франции. В 1800 г. Павел I на секретном докладе Растопчина против слов: «Бонапарт старается всячески снискать благорасположение Ваше...» — написал: «И может успеть»[5]. Как контрреволюционную силу рассматривал Бонапарта немного спустя и Карамзин, дававший ему в журнале «Вестник Европы» весьма сочувственную характеристику.

Таким образом, в начале XIX в. в России создалась весьма своеобразная ситуация. С одной стороны, демократическое движение народных масс не смогло победить; «великая весна 90-х гг.» (А. И. Герцен) прошла, и было ясно, что новый подъем наступит нескоро. С другой стороны, реакция не имела оснований торжествовать победу: ни подавить до конца крестьянские волнения в России, ни дискредитировать в глазах передовой части общества великие освободительные идеи, созданные демократическими движениями XVIII в., ей не удалось. Открыто реакционная политика Павла I в первую очередь показала бессилие правительства, пытавшегося задержать развитие общественной мысли мерами откровенного насилия.

Насущные вопросы русской жизни разрешены не были. Борьба с крепостным правом по-прежнему оставалась самой актуальной общественной проблемой. «Рабство» крестьян продолжало напоминать о себе многочисленными народными выступлениями, положение народа продолжало волновать

---

[1] См., напр.: *Игнатович И.* Крестьянские волнения первой четверти XIX в. // Вопросы истории, 1950, № 9.

[2] *Ленин В. И.* Соч. 4-е изд.: В 45 т. М., 1941—1967. Т. 19. С. 294.

[3] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л. 1952. Т. 3. С. 523.

[4] *Глинка С. Н.* Записки. СПб., 1895. С. 194.

[5] *Растопчин Ф. В.* Картина Европы в начале XIX столетия и отношение к ней России // Памятники новой русской истории. Сб. исторических статей и материалов, издаваемый В. Кашпировым. СПб., 1871. Т. 1. С. 107.

умы передовой части общества. Правительство вынуждено было прибегать к той сложной системе обещаний и маневров, которые составляли сущность «дней Александровых прекрасного начала».

Новая общественная ситуация не могла не обусловить изменения в расстановке литературно-общественных лагерей. Глава демократического лагеря в литературе конца XVIII в. А. Н. Радищев и в новых условиях сохраняет революционность программы. Короткий, но весьма интенсивный в творческом отношении период литературной деятельности Радищева в начале XIX в. продолжает социально-философские и революционные традиции творчества писателя 1790-х гг. Это не значит, однако, что позиция Радищева не претерпела изменений. В сознании Радищева в эти годы созревали новые черты, углублявшие его революционную программу. Иным было положение окружавших Радищева демократических писателей. Средний размер дарования, а главное, условия, в которых происходило формирование их воззрений, не давали им возможности возвыситься до революционной радищевской оценки современности. Формирование этих писателей происходило не в 1770—1780-е гг. — годы подъема крестьянского движения в России, как это было с Радищевым, а в период павловского царствования и в первые годы нового века. Отсутствие в стране атмосферы революционного кризиса неизбежно привело к потере деятелями демократического лагеря революционного характера программы, а вслед за этим и значительной деградации всей общественно-политической и эстетической системы воззрений. Этим объясняется то, что роль, исторически сыгранная даже наиболее радикальными деятелями «Вольного общества любителей словесности», не имела в первое десятилетие XIX в. того определяющего значения в общем ходе литературного развития, которое свойственно было деятельности Радищева. Сложная диалектика этого периода раскрыта в ленинских оценках истории революционного движения XIX в. Говоря о «забитости и неподвижности» народных масс в начале XIX в., В. И. Ленин подчеркивал, что в этих условиях демократическая интеллигенция еще не могла сыграть роли ведущей общественной силы. «Протестует ничтожное меньшинство дворян», — писал В. И. Ленин[1]. В начале XIX в. мы наблюдаем постепенное идеологическое отступление демократической группы писателей. Только в исторических условиях 1840—1860-х гг., на гребне новой волны крестьянского движения и уже на более высоком этапе его, демократическое направление в литературе смогло обрести и революционность программы, и центральное положение в литературно-общественной жизни своей эпохи. Последнее не значит, однако, что распространение демократической идеологии в литературе конца XVIII в. было лишено исторической перспективы. Ответ на это связан с решением не менее сложной проблемы — вопроса идейных истоков программы дворянских революционеров начала XIX в.

Как выступление декабристов разбудило поколение Герцена и Белинского, так демократические идеи XVIII в. будили дворянских революционеров 1820-х гг. Характер преемственности в обоих случаях был сложным: далеко

[1] *Ленин В. И.* Соч. Т. 19. С. 294.

не все в творческом наследии декабристов было приемлемо для демократов-революционеров 1840—1860-х гг. Не все можно было усваивать и развивать — многое приходилось преодолевать. Так, реалистическая эстетика 1840—1860-х гг. складывалась в известной мере в борьбе с эстетикой романтической, и не только пассивно-реакционной, но и декабристского толка. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с историей оценок Белинским творчества А. А. Бестужева-Марлинского или политической лирики молодого Пушкина.

Подобно этому широкое восприятие деятелями дворянской революционности демократических идей XVIII в., идей Радищева, просветительской философии и публицистики эпохи революции было процессом весьма сложным. Многое из самых основных принципов Радищева оставалось им чуждо. Однако этот избирательный характер усвоения демократических идей не снижает значения последних для формирования декабристской идеологии.

В. И. Ленин в докладе о революции 1905 г. указал, что декабристы «были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы во время наполеоновских войн»[1]. Бесспорно, что этот процесс «заражения соприкосновением с демократическими идеями» имел свою длительную историю и, конечно, не последнюю роль в нем сыграли демократические идеи русской литературы и философии XVIII в., влиявшие и непосредственно (большинство декабристов, бесспорно, было знакомо и с Радищевым, и с сатирической журналистикой, и с «Трумфом» И. А. Крылова), и через посредство педагогов и литераторов типа А. Х. Востокова, А. П. Куницына, А. Ф. Мерзлякова.

В первые годы XIX в. произведения писателей XVIII в. еще входили в фонд активного чтения[2]. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть объявления книжных лавок. Можно было бы привести значительное число примеров, рисующих широкую осведомленность дворянских революционеров 1820-х гг. в демократической литературе предшествовавшего столетия. Характерный случай: в 1816 г. Николай Иванович Тургенев прочел журнал «Живописец», сочувственно отметив, что «и тогда осмеивали ужасным образом рабство». Из всего материала журнала Н. И. Тургеневу, видимо, более всего запомнился «Отрывок путешествия в *** И *** Т ***». В марте 1821 г., побывав в Тургеневе, он писал Сергею Ивановичу: «Мое присутствие было нужно <...> Ребятишки не только от меня не бегали; напротив все за мною бегали»[3]. Любопытно, что и Сергей Иванович не нуждался в разъяснении намека — произведение было, видимо, отлично известно и ему.

---

[1] *Ленин В. И.* Соч. Т. 23. С. 237.

[2] См.: *Макогоненко Г. П.* Радищев и его время. М., 1956.

[3] *Тургенев Н. И.* Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 327. Ср. в «Отрывке путешествия в *** И *** Т ***»: «Нашел он [извозчик] там одного спрятавшегося мальчика, который ему сказал, что, увидев издалека пыль от моей коляски, подумали они [дети], что едет их барин, и для того от страха разбежались <...> Вскоре после того пришли два мальчика и две девочки от пяти до семи лет. Они все <...> столь были дики и застращены именем барина, что боялись подойти к моей коляске». И далее: «Ребятишки, подведены будучи близко к моей коляске, вдруг побежали назад, крича: „Ай, ай! берите все, что есть, только не бейте нас!“»

Бесспорно, что не менее широко было воздействие на дворянскую интеллигенцию демократических идей французской философии и публицистики XVIII в. Знакомство широкого круга русской читающей публики не только с произведениями философов-энциклопедистов, но и с публицистикой революционной эпохи засвидетельствовано многочисленными документами. Показательно, что даже те общественные силы, которым было глубоко чуждо антифеодальное содержание просветительской философии XVIII в. и которые боролись с этой философией, не могли ее игнорировать и вынуждены были зачастую облекать борьбу не в форму прямой полемики, а связывать ее со всякого рода попытками внутреннего перетолкования, прикрытого внешним копированием тех самых формул и положений, с которыми осуществлялась борьба. Это наглядно заметно на примере фразеологии и характера мотивировок в правительственных документах первого десятилетия XIX в. Естественное право сделалось официально преподаваемым предметом. Все это, конечно, свидетельствовало не о «доброй воле» правительства, а о невозможности бороться с демократической идеологией такими средствами, как прямое запрещение, или идеологическим оружием ортодоксального церковного учения и откровенного идеализма.

Находя в широком потоке демократических идей XVIII в. ответы на запросы сегодняшнего дня русской жизни, запросы, зазвучавшие особенно неотложно после наполеоновских войн, определенная часть дворянской молодежи усвоила идеи, чуждые классово-дворянской системе мировоззрения, вступавшие во внутреннюю борьбу со всем кругом дворянских идеологических представлений. На протяжении всей истории декабристской мысли можно наблюдать сложный процесс сосуществования и борьбы этих взаимопротиворечащих представлений в рамках того сложного идеологического единства, которое и определяется как явление дворянской революционности. В тех случаях, когда дворянская идеологическая основа мировоззрения брала верх, образовывалась та либеральная система идей, которая характерна была для правого крыла декабристского движения и идеологической периферии декабризма. Однако была и иная возможность: в ходе усиления демократических элементов в мировоззрении — полное преодоление дворянской идеологии и переход на классово иные позиции. Это был герценовский путь — путь, не проделанный в окончательном виде ни одним из декабристских деятелей в период до 14 декабря. Однако потенциальные возможности такого развития содержались в позиции большинства деятелей левого крыла декабризма.

Вместе с тем процесс усвоения демократических идей протекал весьма сложно, поскольку усваивающее сознание характеризовалось идеологическими чертами, принципиально отличными от усваиваемых идей. Например, литературные вкусы дворянской молодежи в первом десятилетии XIX в. формировались под знаком увлечения карамзинизмом. Постановка проблемы народности, возникновение интереса к политическим наукам и в связи с этим критика «легкой поэзии» — эти и другие характерные черты литературной программы декабризма могли возникнуть, с одной стороны, только в порядке преодоления карамзинизма, а с другой стороны, форма постановки этих вопросов и степень последовательности их решения определялись степенью

преодоления карамзинизма. На примере Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова мы сможем в дальнейшем наблюдать любопытный факт: антифеодальные идеи прав человеческой личности, равенства и братства людей окажутся им доступнее не в их непосредственном, законченном изложении в сочинениях французских просветителей, а в истолковании их Шиллером. Недоступен окажется им и освободительный смысл материалистической философии.

Не менее сложными были процессы, протекавшие в недворянском идеологическом лагере начала XIX в. Теоретики антифеодального направления в XVIII в. отвергали окружающую действительность во имя лучшего, «естественного» порядка. Истории противопоставлялась теория. Первая рассматривала «неразумную» реальность феодального общества, вторая противопоставляла ей идеал иного порядка, извлекаемого, как считали, из самой природы человека. Так, одна из характерных сторон художественной системы Радищева состоит в постоянном присутствии в произведении рядом с бытовыми картинами, описанием действительности — второго, теоретического плана, сопоставление с которым и придает описанию современности характер революционного отрицания. Это своеобразие в соотношении теории и действительности было очень тонко отмечено В. И. Засулич, писавшей: «...если в области природоведения для открытия истинных законов природы следовало изучать существующее, если в этой области для устранения ложной невежественной мысли отцов достаточно было противопоставить ей *то, что есть*, то в области права, политики, морали этого было недостаточно. Здесь мысль отцов воплотилась в самих фактах, кристаллизовалась в законах, обычаях и учреждениях. Презираемая всеми просвещенными людьми, эта застывшая мысль продолжала тем не менее извращать жизнь, стеснять деятельность. В этой области *то, что есть*, не может соответствовать законам природы»[1].

После революционных событий во Франции, явившихся великой практической проверкой теоретических построений философов XVIII в., в развитии демократической идеологии в России наступил новый этап. Идеал «естественного» порядка, основанного на природе человека, был отброшен. В качестве «нормального» начинает мыслиться не некий теоретический порядок, а реально существующий. Следствием такого подхода было временное ослабление пафоса революционной критики, что совпадало с отмеченным уже общим процессом политического «отступления» деятелей антидворянского лагеря в идейной жизни начала XIX в. Однако именно эти особенности, свидетельствуя о теоретической слабости демократического лагеря, вместе с тем в диалектически сложном процессе развития означали и огромный шаг вперед — к поискам теории, не противостоящей жизни, а из нее извлекаемой, к поискам историзма, «поэзии действительности».

---

[1] *Засулич В. И.* Сб. статей / Серия «Библиотека для всех» Б. г. Т. 1. С. 40. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

В такой сложной идейной обстановке протекало формирование идей дворянской революционности, с ранним, «утробным» этапом которой связана и деятельность Андрея Сергеевича Кайсарова.

***

Разносторонняя, кипучая деятельность, заполнившая короткую жизнь Андрея Сергеевича Кайсарова, делает его личность интересной для исследователей самых различных, казалось бы, далеких друг от друга областей. Кайсарова, как автора «Славянской мифологии», упоминают исследователи фольклористики и славяноведения; в качестве создателя антикрепостнической диссертации на латинском языке он известен историкам общественной мысли, правда обращавшимся, к сожалению, в большинстве случаев не к самому тексту книги, а к цитатам из нее в известном труде В. И. Семевского. Личностью Кайсарова интересовались также историки литературы, главным образом специализировавшиеся в области изучения творчества В. А. Жуковского и в связи с этим касавшиеся истории «Дружеского литературного общества». Авторы, интересовавшиеся историей Тартуского университета, также не могли обойти личности одного из наиболее ярких преподавателей его в первом десятилетии XIX в. К этому можно было бы добавить, что деятельность Кайсарова представляет незаурядный интерес для историков русского языкознания и исследователей Отечественной войны 1812 г.

Однако следует отметить, что разбросанные в различных работах беглые упоминания не создавали целостного образа. Не только не было определено место Кайсарова в литературно-общественной борьбе тех лет, но и сама личность его зачастую оказывалась позабытой. До сих пор мы не имеем ни одного исчерпывающего свода биографических данных о жизни этого незаурядного деятеля. Даже в специальной исследовательской литературе его сплошь и рядом путали с кем-либо из братьев.

Первой попыткой свести воедино печатные данные о Кайсарове явилась работа М. И. Сухомлинова[1]. Изучая историю русского просвещения и университетскую жизнь начала XIX в., Сухомлинов не мог пройти мимо яркой фигуры Кайсарова. Автор суммировал основные печатные материалы (некролог в «Сыне Отечества», журнале «Dörptische Beyträge», высказывания Добровского о «Мифологии» Кайсарова и др.), которые в дальнейшем явились основным фондом фактических сведений для большинства писавших на эту тему. Из рукописных материалов был привлечен архив Министерства народного просвещения, откуда позаимствованы некоторые данные о служебной деятельности Кайсарова и о его откомандировании в армию. Скудность источников не дала Сухомлинову возможности создать исчерпывающее исследование о жизни и деятельности Кайсарова.

Возможность создания полной научной характеристики Кайсарова зависела от дальнейших архивных разысканий. Одним из основных архивных

[1] *Сухомлинов М. И.* А. С. Кайсаров и его литературные друзья // Известия ОРЯС. СПб., 1897. Т. 2. Кн. I. С. 1—33.

фондов для биографа Кайсарова являются бумаги из собраний братьев Тургеневых. Публикации отдельных бумаг из этого архива начали появляться в различных изданиях второй половины XIX в.[1]

Первым из исследователей, получивших возможность более или менее подробно ознакомиться с тургеневским собранием, был А. А. Фомин. В статье «Новый историко-литературный клад» (Русская мысль. 1906. Апрель. С. 1—15) он дал ему подробную характеристику. Через некоторое время появился ряд статей-публикаций того же автора, основанных на материалах архива. Непосредственное отношение к интересующей нас теме имели две статьи. В «Русском библиофиле», в январском номере за 1912 г., была напечатана статья «Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. Новые данные о них по документам архива П. Н. Тургенева» (С. 7—39), а немного спустя, в № 4 за тот же год — монографический очерк «Андрей Сергеевич Кайсаров. 1782—1813» (С. 5—33).

В начале XX в. архив братьев Тургеневых был поднесен в дар Академии наук.

С образованием в Академии специальной комиссии, возглавленной академиком В. М. Истриным, началась работа по публикации материалов тургеневского архива. Все напечатанные выпуски имеют первостепенное значение для интересующей нас темы, частью воспроизводя тексты писем и некоторых сочинений Кайсарова, частью воссоздавая окружавшую его идейную атмосферу. К сожалению, значительная часть материалов, и среди них наиболее интересные для биографа Кайсарова, до настоящего времени все еще остаются в рукописях.

Следствием работы комиссии явился не только выпуск нескольких томов документов, но и появление ряда исследовательских статей, принадлежавших перу В. М. Истрина и опубликованных в «Журнале Министерства народного просвещения» в 1910-х гг.[2]

---

[1] Полный перечень см. в заметке В. И. Саитова в кн.: *Битюшков К. Н.* Соч.: В 3 т. СПб., 1885—1887. Т. 1; а также во вступительной статье к первому выпуску Архива братьев Тургеневых, изданному Академией наук в 1911 г.

[2] «Из Архива братьев Тургеневых. Смерть Андрея Ивановича Тургенева» (1910, № 3), «Дружеское литературное общество 1801 г. (По материалам Архива братьев Тургеневых)» (1910, № 8), «Из документов архива братьев Тургеневых. Дружеское литературное общество 1801 г. (Дополнение)» (1913, № 3), «К биографии Жуковского (По материалам Архива братьев Тургеневых). Дружеская переписка в августе—сентябре 1800» (1911, № 4), «Русские студенты в Геттингене в 1802—1804 гг.» (1910, № 7), «Русские путешественники по славянским землям в начале XIX в. (по документам Архива братьев Тургеневых)» (1912, № 9), «А. С. Кайсаров, профессор русской словесности, один из младшего тургеневского кружка» (1916, июль). Тем же автором была написана обширная вступительная статья «Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев» ко второму выпуску Архива братьев Тургеневых: «Письма и дневники Александра Ивановича Тургенева Геттингенского периода (1802—1804) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805—1811 г.» (СПб., 1911). В дальнейшем это издание указываем сокращенно: Архив бр. Тургеневых. Вып. 2.

Однако, как ни богато интересными для нас документами архивное собрание братьев Тургеневых, оно не может ответить на все вопросы, интересующие биографа Кайсарова. Дело в том, что часть архива, в частности некоторые бумаги Кайсарова, на какой-то стадии откололась от основного фонда рукописей и хранилась не в парижском собрании Н. И. Тургенева, а в других руках. Некоторые из них обнаружились (например, письма А. С. Кайсарова к А. И. Тургеневу оказались в руках П. А. Ефремова, от него попали к В. Е. Якушкину и были последним присоединены к основному собранию, хранившемуся в эту пору уже в Академии наук). Местонахождение других — например, дневников Кайсарова — до сих пор неизвестно, хотя относительно их мы знаем, что они находились в составе Тургеневского архива. Мы не знаем, в чьих руках оказались эти материалы после смерти Кайсарова, но в 1818 г. часть их была передана Александру Ивановичу Тургеневу. 12 февраля 1818 г. он сообщил об этом Жуковскому: «Весь журнал (т. е. дневник. — *Ю. Л.*) Андрея Сергеевича наполнен огненною дружбой к брату, и память Кайсарова сделалась для меня с тех пор священнее».

Не содержит Тургеневский архив также материалов, освещающих такие важные этапы деятельности Кайсарова, как пребывание его в Тарту и участие в Отечественной войне 1812 г. Здесь приходится искать других источников. Не изучались кайсаровские материалы в зарубежных архивах. На тему «Кайсаров в Англии» работ нет, но и авторы, исследовавшие немецкие связи Кайсарова, новых архивных материалов (в первую очередь, конечно, геттингенских) в научный оборот не ввели. Последняя по времени интересная работа на тему «Кайсаров в Германии» появилась несколько лет тому назад в Берлине (*Mohrmann H.* Zu Kaisarows Dissertatio inauguralis «De manumittendis per Russiam servis». Eine Studie zu den russisch-deutschen Beziehungen in der Geschichte des ökonomischen Denkens // Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. 1953/1954. Jahrg. 3. Gesellschafts-und sprachwissenschaftliche Reihe. H. 4. S. 271—276). Тартуский архив Кайсарова утерян. Рукописное собрание библиотеки Тартуского университета хранит лишь несколько деловых записок, адресованных Моргенштерну и касающихся приобретения новых книг. Университетский архив (Исторический архив в г. Тарту) заключает только официальное личное дело Кайсарова, уже использованное в научной литературе по истории Тартуского университета (работы Е. В. Петухова и Б. В. Правдина). Вопрос о местонахождении личных бумаг Кайсарова до сих пор еще неясен, хотя предпринятые нами архивные разыскания и дают в этой области известный материал. Еще в 1858 г. в «Чтении в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (Кн. 3. Раздел «Смесь». С. 142—147) был напечатан «Примерный устав нового предполагаемого общества переводчиков», сочиненный Кайсаровым в Тарту. Эта в высшей степени интересная публикация не привлекла внимания исследователей. Прошел мимо нее, как ни странно, и претендовавший на специальное рассмотрение темы «Кайсаров в Тарту» А. Любарский — автор поверхностного очерка «Свет русской науки».

Редакция «Чтений», публикуя рукопись Кайсарова, не указала ни автора публикации, ни источника получения документов. Тем не менее сам факт

публикации заставил предположить наличие в архиве «Чтений» и других документов Кайсарова. В результате поисков нам удалось обнаружить в архиве ОИДР[1] ряд материалов, видимо, восходящих к рассеянному после гибели Кайсарова тартускому собранию бумаг писателя.

Что касается пребывания Кайсарова в армии в 1812—1813 гг., то эта интереснейшая пора до сих пор остается темной. Возможно, дальнейшие архивные поиски обнаружат пока еще неизвестные материалы и прольют свет на деятельность вверенной Кайсарову походной типографии при штабе главнокомандующего, а также на обстоятельства гибели его в партизанском отряде брата, Паисия Кайсарова.

Глава I. «Дружеское литературное общество»

Андрей Сергеевич Кайсаров происходил из довольно старого[2] рода ярославских помещиков среднего достатка. Отец Кайсарова — секунд-майор Сергей Андреевич Кайсаров — имел четырех сыновей: Паисия (1783—1844), Андрея, Петра (1777—1854) и Михаила (1780—1825).

Сделавший успешную карьеру чиновника Петр Кайсаров был чужд другим братьям, зато оказался любимцем матери Андрея Сергеевича — женщины недалекой и властной. Александр Иванович Тургенев в письмах с неизменной враждебностью называл Петра «кривым». В одном из писем он писал: «Петр С<ергеевич> делает разные мерзости Михайле, который после Андрея лучше всех, да и сравним быть не может с извергом и глупцом Петром»[3]. Михаил Кайсаров, примыкавший к карамзинскому направлению, был в свое время сравнительно заметным литератором. «Он превосходно владел французским, немецким и английским языками, знал итальянский и имел обширные сведения в политической экономии»[4]. Имя его попало в бестужевский «Взгляд на старую и новую словесность в России». Яркую жизнь прожил Паисий Сергеевич Кайсаров — генерал, долгое время состоявший адъютантом Кутузова и ставший одним из его наиболее доверенных лиц.

Андрей Сергеевич Кайсаров родился 16 ноября 1782 г. (по ст. ст.). Сведения о раннем периоде жизни Кайсарова крайне скудны. По словам некролога в «Сыне отечества», он «на тринадцатом году от роду определен был в Московский университет». Однако учиться ему пришлось недолго — в 1796 г. вместе с другими молодыми дворянами он по повелению Павла I был вытребован на действительную службу в армию и зачислен сержантом в

---

[1] Российская государственная библиотека в Москве, отдел рукописей (далее: ОР РГБ. Архив ОИДР).

[2] «Российская родословная книга», изданная П. В. Долгоруковым, относит Кайсарова к «фамилиям, существовавшим в России прежде 1600 г.» (С. 24). По другому источнику, «родоначальником Кайсаровых оказался выходец из Золотой Орды <...> судя по степеням потомков, не позднее XV века» (*Петров П. Н.* Для немногих. СПб., 1871. С. 13).

[3] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 411.

[4] Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1889. Т. 3. Кн. 2. С. 450.

Семеновский полк. Позже он вспоминал, как «в царствующем граде Питере с тесачишком трюх, трюх и инде рысью[1] для утоления своей печали захаживал в лавку, в которой они [конфеты] продаются»[2]. Вскоре ему удалось добиться перевода в Москву. Окружавшая Кайсарова армейская среда отличалась низким уровнем интеллектуальных и нравственных интересов. Юноша веселого и насмешливого нрава, который привык, по собственной характеристике, «жить всегда в артели»[3], Кайсаров не был, однако, удовлетворен товарищами по казарме, интересы которых не простирались дальше попоек. В одной из недатированных записок периода московской военной службы он писал Андрею Тургеневу: «Ну, если б ты знал, какие чудеса чудесили мы вчера: до 3 часов прыгали, резвились и проч. Половина или лучше сказать все кроме Ушакова и меня дерут песни, бранятся по-матерну, дерутся и все, что можно вообразить»[4]. Кайсарова тянуло к литературным интересам и серьезному самообразованию. Особенно подобные настроения усилились после сближения с тургеневским кружком. Однако стремление выйти в отставку натолкнулось на сопротивление матери, прочившей Андрею Сергеевичу «обычную» карьеру молодого дворянина. В письме к другу он сообщал, что «просил у матушки позволения итти в отставку», добавляя: «Что делать мне в службе? Особливо в военной? Рваться бог знает из чего! Не те уж леты! Можно было так дурачиться в 13 лет, а теперь я слишком умен для того, чтоб <не> чувствовать, как это глупо»[5]. Можно добавить, что Кайсарову в эту пору было девятнадцать лет, а материальный достаток семьи был весьма средним, чтобы понять, что решение Кайсарова свидетельствует об известной степени самостоятельности. Подать заявление об отставке ему удалось лишь в декабре 1801 г.

Более детальные сведения об идейной эволюции Кайсарова имеются лишь начиная со времени знакомства его в 1798 г. с Андреем Тургеневым. После отъезда в 1801 г. Андрея Ивановича в Петербург оставшийся в Москве Кайсаров писал ему: «В 98 году мы познакомились, два года любили друг друга, или были только привязаны, 801 год любили друг друга...»[6] Дружба между молодыми людьми крепла. Сохранившиеся в Тургеневском архиве материалы доказывают, что, находясь в Москве, друзья виделись ежедневно, обмениваясь сверх того несколькими записками за день. Во время отлучек из Москвы завязывалась регулярная переписка. Дружеские споры носили бурный характер. В 1799 г., приглашая друга зайти, Андрей Кайсаров писал: «Эх, брат! А куда бы хорошо посидеть вечерок с тобой! Раза бы два-три друг на друга покричали!»[7]

---

[1] Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Карикатура».

[2] РО ИРЛИ. Тургеневский архив. Ф. 309. Ед. хр. 50. Л. 150. (Далее: Тургеневский архив).

[3] Там же. Л. 58.

[4] Там же. Л. 108.

[5] Там же. Л. 45 об.

[6] Там же. Л. 194.

[7] Там же. Л. 13.

Кружок друзей Андрея Тургенева и возникшее на его основе в 1801 г. «Дружеское литературное общество» неоднократно подвергались рассмотрению в специальной литературе. Однако ошибочность общих методологических позиций интересовавшихся этим вопросом авторов приводила к ложным выводам. Сам фактический материал, рассматриваемый сквозь призму предвзятых мнений, преподносился односторонне и истолковывался в вопиющем противоречии с подлинным смыслом документов. Наиболее поучительно в этом отношении рассмотрение работ В. М. Истрина, как представляющих, с одной стороны, наибольшую ценность по обилию вводимого им в научный оборот фактического материала, так и, с другой, характерных по наиболее четко проявившейся в них ошибочной методологии, свойственной и другим авторам (В. И. Резанов, А. Н. Веселовский).

Особенность всех упомянутых работ состоит в том, что жизнь «Дружеского литературного общества» выключается из общей цепи литературно-общественных событий конца XVIII — начала XIX в. и рассматривается лишь в узком аспекте происхождения творческих принципов Жуковского. Методологической основой названных работ является представление о некоем общем для данного времени психологическом «субстрате», определяющем и литературные интересы, и бытовой облик всей эпохи в целом. В рамках подобного единого «психологического субстрата» не остается места для отражения борьбы классовых интересов, так как за основу берутся не реальные противоречия борющихся общественных сил, а некий культурно-психологический тип, якобы характерный для данной эпохи вообще[1]. Подобный подход обусловил, в частности, перенесение центра внимания исследователей с историко-литературных произведений на памятники, восстанавливающие «психологический уклад» — любовную и дружески-интимную переписку, детали бытового окружения. Анализ литературной жизни, борьбы политических и философских идей рассматривался при этом не как основная задача иссле-

[1] Пытаясь теоретически сформулировать свою позицию, Истрин еще дальше ушел от историзма, подчеркнув первенствующее значение «вечной» психологической основы человеческого сознания: «Последние научные данные приводят к тому выводу, что в истории литературы изменяется лишь форма, а содержание остается всегда одно и то же, от первоначального лепета дикаря до высокого поэтического произведения. Однако каждая эпоха предлагает всякий раз и свое содержание, как же быть? Не будет ли новое содержание, вызванное той или другой определенной исторической эпохой, известным наростом? Не будет ли дело обстоять так, что стоит лишь снять этот нарост, как обнаружится такой элемент, который может быть прослежен от древнейших времени до настоящих дней?» Признав, после известных колебаний, теорию Овсянико-Куликовского о «душевной организации», которая определяется как «психологический уклад» «взятого нами поколения», автор не может скрыть бесперспективности подобной методологии при объяснении идейной борьбы внутри одного поколения. «Но как нам быть, когда мы имеем дело с двумя или несколькими поколениями одного времени, которые не понимают друг друга и резко между собою расходятся <...> История культуры пока не в силах объяснить такое явление!..» (*Истрин В. М.* Опыт методологического введения в историю русской литературы XIX века. СПб., 1907. Вып. 1. С. 22—24.

дователя, а лишь как источник дополнительного материала для психологической характеристики. Степень интереса к тому или иному деятелю определялась не историко-литературным или общественно-политическим значением его творчества, а лишь возможностью представить его в качестве выразителя «душевной организации» эпохи. В этом отношении любопытно то обстоятельство, что центр исследовательских интересов В. М. Истрина переместился на личность Александра Ивановича Тургенева как типичного представителя «литературного быта».

Характер «психологического уклада», выразившегося в «младшем тургеневском кружке», В. М. Истрин определяет как господство сентиментализма, культа чувствительной дружбы и нежных чувствований. Так, история увлечения Андрея Тургенева К. М. Соковниной используется в качестве материала для «характеристики любви сентименталистов начала XIX века»[1]. Подобный подход заставлял заранее определить литературные вкусы участников «младшего тургеневского кружка» как карамзинистские. Для доказательства этого положения автору приходится не только прибегать к тенденциозному отбору фактов, но и интерпретировать приводимые им материалы, вопреки очевидности, совершенно неожиданным образом. Так, приводя в высшей степени любопытную запись в дневнике Андрея Тургенева от 20 декабря 1800 г., содержащую (от имени Мерзлякова и автора дневника) резкую критику творческого метода Карамзина, Истрин предпринимает попытку доказать, что «Андрей Тургенев стоял на другой точке зрения», а «со стороны Мерзлякова такое отношение к деятельности Карамзина делается понятным, если обратим внимание на его последующую деятельность, как профессора красноречия, комментатора Россиады»[2]. При этом игнорируется тот бесспорно известный В. М. Истрину факт, что названная дневниковая запись почти дословно совпадает с программной речью Андрея Тургенева в «Дружеском литературном обществе». Не менее показателен другой пример: В. М. Истрину необходимо было разрешить противоречие между тезисом о «карамзинских» идеалах «Дружеского литературного общества» и появлением столь резкого антикарамзинского произведения А. Кайсарова, как «Описание свадьбы Карамзина». Для этого он оспорил правильное утверждение Галахова, что «Описание» было составлено «литературными противниками» Карамзина, доказывая, что «на самом же деле оно вышло из круга почитателей»[3].

Далее В. М. Истрин попытался опровергнуть авторство Андрея Кайсарова и приписать «Описание свадьбы» брату его Михаилу, игравшему в обществе значительно менее видную роль. Только после опубликования А. Фоминым в журнале «Русский библиофил» фотографического воспроизведения автографа Истрин в статье «А. Кайсаров, профессор русской словесности» признал авторство Андрея Кайсарова, но зато постарался усилить мысль о незначительности его роли в «Обществе». Совершенно нераскрытыми в работах Истрина оказались политические интересы членов кружка. Приведя большое

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 104.
[2] Там же. С. 75. Мерзляков не «комментировал», а осуждал «Россиаду».
[3] Там же. С. 76.

количество фактического материала, красноречиво свидетельствующего о ярких тираноборческих настроениях Андрея Тургенева, Истрин вдруг неожиданно сбрасывает им же собранные сведения со счета и, основываясь на предвзятом мнении о решающем значении традиции «безусловной покорности власти»[1] в идейном формировании старшего из братьев Тургеневых, отказывается рассматривать по существу эту сторону воззрения Андрея Тургенева, видя в них лишь увлечение литературной формой. В связи с этим совершенно закономерно нераскрытым оказалось и значение выступлений Воейкова.

Стремясь во что бы то ни стало увидеть в «Дружеском литературном обществе» проявление «сентименталистского культа дружбы», Истрин не мог, однако, не заметить борьбы мнений в этой литературной организации. Не обнаружив в «Дружеском обществе» дружества и полагая, что разногласия имели чисто личный характер, он встал на путь преуменьшения значения исследуемой им литературной организации, перенося центр внимания на предшествующую историю тургеневского кружка — «Собрание воспитанников Университетского Благородного пансиона» и дружескую переписку 1798—1800 гг., где черты «бытового сентиментализма» обнаружить легче. «Общество как таковое, — формулирует Истрин итоговый вывод исследования, — значения не имело, и о нем тот час же все забыли» — и далее: «Общество не может рассматриваться как нечто отдельное, цельное, но непременно — в связи со всей предшествовавшей жизнью кружка, как маленькая часть его»[2]. Любопытно отметить, что и в изучении предыстории «Дружеского литературного общества» Истрин подробнее рассматривает *форму* дружеских связей тургеневского кружка: ведение дневников, оживленную переписку и т. д., чем *идейное содержание* анализируемых им документов.

В исследованиях советской эпохи «Дружеское литературное общество» не делалось предметом специального изучения. В очерке А. А. Сабурова «Александр Тургенев»[3] «Дружескому литературному обществу» отводится полстраницы, причем оценка, основанная на разобранных нами работах, должна быть признана ошибочной. В. Н. Орлов в книге «Русские просветители 1790—1800-х годов» характеризует общество как «промежуточную группу» между «шишковистами и карамзинистами»[4], но сколь-либо подробного анализа этой литературной организации не дает. Краткие характеристики находим в отдельных работах, касающихся литературы первых лет XIX в.[5] Другие авторы вообще проходят мимо рассматриваемой нами темы. Между тем обращение к материалу истории «Общества» позволяет раскрыть в высшей степени любопытную картину идейно-литературной борьбы в его рядах и ус-

---

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 82.

[2] *Истрин В.* «Дружеское литературное общество» 1801 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1910. № 8. С. 306.

[3] В кн.: «Письма Александра Тургенева Булгаковым» (М., 1939).

[4] *Орлов В. Н.* Русские просветители 1790—1800-х годов. М. 1953. С. 329.

[5] См. вступ. статью Ц. Вольпе в кн.: *Жуковский В. А.* Стихотворения: В 2 т. Л., 1939. Т. 1. С. VII; статью А. Кучерова в кн.: *Карамзин Н., Дмитриев И.* Избр. стихотворения. Л., 1953.

тановить незаурядную роль его в формировании литературной программы дворянских революционеров первой четверти XIX в. Пересмотр традиционной точки зрения требует, прежде всего, расширения круга фактических материалов.

В. М. Истрин рассматривал «Дружеское литературное общество» как промежуточную ступень от «Дружеского ученого общества» и кружка московских масонов к карамзинистам «Арзамаса». Поскольку сам исследователь должен был признать, что документы не дают никаких оснований говорить о влиянии масонских идей на членов «Дружеского литературного общества», ему пришлось акцентировать генетические связи — рассматривать «Общество» как литературное выражение официальной тенденции Московского благородного пансиона. Вдохновителем подобных литературных организаций объявлялся директор пансиона, выученик масонов А. А. Прокопович-Антонский.

Рассмотрение материала убеждает в том, что значение авторитета Антонского и влияние его педагогической системы на кружок Андрея Тургенева значительно преувеличено. К 1800—1802 гг. — времени, когда воззрения ведущей группы друзей начали приобретать самостоятельность и определенность, от былого обаяния масонской педагогики Антонского не осталось и следа. В 1800 г. Андрей Тургенев сообщил в письме к Кайсарову о поступке Антонского, по-крепостнически расправившегося с провинившимся слугой. «Знаешь ли что? Антонский продает Сергея <...> Я не ожидал етова»[1]. Особенно резкими становятся отзывы об Антонском в связи с двусмысленной близостью его к Анне Федоровне Соковниной — матери «сестер-прелестниц», привлекавших в эти годы симпатии Андрея и Александра Тургеневых. На Антонского падали и подозрения в корыстных видах на состояние Соковниной. «Честный примиритель семейств, — писал Кайсаров в Петербург Андрею Тургеневу весной 1802 г., — утешитель страждущих, благообразный фарисей! И этот человек был моей моделью»[2]. В письме без даты (тоже 1802 г.) Тургенев отвечал ему: «Неужели я еще слишком хорошо думал о фарисее <...> А, горемычная чувствительность! Как я рад, что могу, естьли судьбе будет угодно, облегчить, может быть, осчастливить некогда судьбу бедных жертв холодности и проклятой сентиментальности»[3]. Как мы увидим дальше, Кайсарову и его друзьям приходилось даже бороться с Прокоповичем-Антонским за право постановки на пансионской сцене пьес боевого антикрепостнического содержания. Отношение к директору Благородного пансиона выходило за рамки личных антипатий — в данном случае немалую роль играло отношение Кайсарова и Андрея Тургенева к масонской традиции. Сохраняя бесспорное личное уважение к И. П. Тургеневу, И. В. Лопухину и другим членам масонского кружка 1780-х гг., они вместе с тем решительно отмежевывались от идеологического содержания масонского учения. Андрей Иванович вполне мог

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 840 (Письма А. И. Тургенева А. С. Кайсарову).

[2] Там же. Ед. хр. 50 (Письма А. С. Кайсарова А. И. Тургеневу). Л. 136.

[3] Там же. Ед. хр. 840. В цитате: «бедная жертва», «осчастливить» которую собирается Андрей Тургенев, — Екатерина Михайловна Соковнина, «холодность» — Анна Федоровна, «сентиментальность» — Прокопович-Антонский.

бы присоединиться к словам Александра Тургенева, писавшего в 1810 г. Николаю: «Я не принадлежу и не буду принадлежать ни к одной [ложе]»[1].

В свете изложенного становится возможным объяснить тот показавшийся странным В. М. Истрину факт, что «оба они [Андрей Тургенев и Мерзляков] почему-то не принимали участия в университетском кружке»[2]. Само основание «Дружеского литературного общества» Андреем Тургеневым и Мерзляковым приобретает в этом случае характер не продолжения пансионско-масонской традиции организации студенческих обществ, а противопоставления ей. «Дружеское литературное общество», видимо, возникло как попытка эмансипации от казенного мистицизма пансионских студенческих кружков. «Общество» просуществовало недолго: речь, произнесенная на первом собрании, помечена 12 января 1801 г., на последней стоит дата 1 июня. Тетрадь из Тургеневского архива, озаглавленная «Речи, говоренные в собрании Общества» (№ 618), сохранилась полностью в том объеме, в каком она была в 1801 г., и, следовательно, воспроизводит все тексты произнесенных в «Обществе» речей. Последнее устанавливается сравнением с письмом А. Кайсарова Андрею Тургеневу от 8 мая 1802 г. Здесь читаем: «Прислать ли тебе речи нашего собрания, которых всех 23!»[3] Речь, бесспорно, идет об указанной тетради, также содержащей двадцать три речи. Сказанное убеждает в том, что дата последней речи соответствует времени последнего заседания «Общества».

Кратковременность существования «Общества» отнюдь не снижает, вопреки предположениям В. М. Истрина, его значительности в общем ходе литературного процесса. «Общество» любопытно тем, что в нем в момент своего зарождения столкнулись три ведущие тенденции литературы допушкинского периода: направление мечтательного романтизма, связанное с именем Жуковского; представленное Мерзляковым направление, чуждое дворянской культуре и развивавшее традиции демократической литературы XVIII в., и, наконец, направление Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова (литературная и общественная позиция последнего находилась в эту пору в стадии формирования), в деятельности которых отчетливо проступают черты, подготавливающие литературную программу декабризма.

Источниками наших сведений о внутренней жизни «Общества» являются, прежде всего, тексты «Речей», затем устав, опубликованный Н. С. Тихонравовым, речь Андрея Тургенева на торжественном заседании 7 апреля 1801 г., считавшаяся утраченной[4] и обнаруженная нами в бумагах Андрея Тургенева в архиве Жуковского[5], а также упоминания в переписке Андрея Тургенева, Кайсарова, Жуковского и других участников дружеского кружка, частично

---

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 430.

[2] Там же. С. 38.

[3] Тургеневский архив. Ед. хр. 40. Л. 75 об.

[4] См.: *Истрин В. А.* «Дружеское литературное общество» 1801 г. С. 279.

[5] Российская национальная библиотека в С.-Петербурге, отдел рукописей (далее: ОР РНБ). См.: *Лотман Ю. М.* Стихотворение Андрея Тургенева «К отчеству» и его речь в «Дружеском литературном обществе» // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 372—389.

привлекавшиеся исследователями вопроса, частично используемые нами впервые. Наконец, существенным источником является литературная продукция членов «Общества». Утрата протоколов заседаний не позволяет восстановить во всей полноте картину внутренней жизни «Общества», которая, судя по требованиям устава, не ограничивалась чтением речей, включая также дискуссии на философские, политические и литературные темы, обсуждение литературных вопросов, сочинений и переводов самих членов «Общества». Однако даже та, далеко не полная картина, которую мы можем восстановить по перечисленным источникам, представляется в высшей степени любопытной.

Заседания «Общества» происходили еженедельно по субботам, участники собирались в 6 часов[1] в доме Воейкова на Девичьем поле в Москве. Воспоминание о «ветхом поддевичьем доме» будет связываться в дальнейшем всеми членами «Общества» с памятью дружеских собраний.

Литературные воззрения Кайсарова формировались в обстановке напряженных споров, составлявших характерную черту жизни «Дружеского литературного общества». К сожалению, материалы, которыми располагает исследователь, далеко не полностью воспроизводят картину литературных (как и политико-философских) дискуссий, раздиравших это литературное объединение. Согласно XIX пункту «Законов» «Общества», порядок заседаний должен быть следующим:

«1-е. Как скоро соберутся члены в назначенный час, то секретарь должен спросить у всякого из них, какую пиесу будет читать, и расположить их чтение по нижеписанному порядку:

2-е. Секретарь прочтет протокол и члены подпишут его.

3-е. Чередной оратор прочтет речь.

4-е. Философские и политические переводы.

5-е. Философские и политические переводы.

6-е. Беллетрические (так! — *Ю. Л.*) сочинения.

7-е. Беллетрические переводы.

8-е. Критика и опровержение философических пиес.

9-е. Критика и опровержение беллетрических пиес.

10-е. Предложения.

11-е. Чтение лучших иностранных и национальных авторов.

12-е. Президент назначает место, куда собираться для будущего заседания»[2].

Кроме того, «Законы» определяли порядок «критик и опровержений», которые должны были представляться членами «Общества» «непременно и без всяких отговорок»[3].

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 618: Речи, говоренные в собрании Общества. Л. 18 об. (Далее: Собрание речей...)

[2] Законы «Дружеского литературного общества» // Сб. Общества любителей российской словесности на 1891 г. М., 1891. С. 4.

[3] Там же. С. 3.

У нас нет никаких оснований полагать, что практика «Общества» сколько-либо существенно отличалась от намеченного в «Законах» порядка. Напротив, материалы речей «чередных» ораторов и дружеской переписки позволяют судить о весьма интенсивной жизни литературного объединения.

Первые же заседания «Общества» обнаружили принципиальное расхождение членов его в понимании задач и характера деятельности создаваемого литературного объединения. Расхождение мнений между отдельными членами «Общества» очень скоро переросло в раскол на два противоположных лагеря. «С сердечным сожалением вижу я, — отмечал Андрей Тургенев на собрании 16 февраля 1801 г., — что мы разделены на две части и та <и> другая порознь в короткой связи между собою, между тем как некоторые из нас недовольно еще между собою сближены»[1].

Каковы же были эти группы и в чем заключалось расхождение между ними? Отвечая на этот вопрос, следует, однако, не забывать, что по целому ряду причин борьба в кружке Андрея Тургенева — а она отражала степень развития противоречий в литературе 1800-х гг. — не достигла еще той поляризации, при которой теоретические столкновения приводят к разрыву личных дружеских связей.

Кроме того, на внутреннюю жизнь общества накладывала отпечаток крайняя молодость младшей группы участников, что, естественно, делало их взгляды недостаточно устойчивыми.

Первая из групп, о которых упоминает Андрей Тургенев, состояла из инициаторов возникновения «Общества». В нее входили он сам, Андрей Кайсаров и Мерзляков, позиция которого, как мы будем отмечать в дальнейшем, имела, впрочем, известные отличия. Близкую к ним и весьма любопытную позицию занимал в этот период А. Ф. Воейков. Не останавливаясь пока на этом вопросе детальнее, отметим, что общим для членов первой группы было стремление рассматривать литературу как средство пропаганды гражданственных, патриотических идей, а сама цель объединения мыслилась ими не только как литературная, но и как общественно-воспитательная[2]. «Разве нравственность и патриотизм не составляют также предмета наших упражнений?» — обращался Мерзляков к товарищам по «Обществу»[3].

Вторую группу составляли Жуковский, Михаил Кайсаров, позиция которого испытывала, однако, колебания, Александр Тургенев и, несколько позднее, Родзянко. Здесь господствовали связанные с карамзинской школой проповедь интимно-лирической тематики в поэзии, интерес к субъективно-идеалистической философии, проповедь резиньяции, а в речах Родзянко — прямой

[1] Собрание речей... Л. 43.

[2] Вопреки мнению В. М. Истрина, полагавшего, что интересы членов «Общества» не выходили за пределы беллетристики и собрания «носили характер исключительно литературный» (*Истрин В. М.* А. С. Кайсаров, профессор русской словесности, один из младшего тургеневского кружка // Журнал Министерства народного просвещения. 1916. Июль. С. III).

[3] Собрание речей... Л. 20 об.

пиетизм. Вполне естественно, что при такой противоположности воззрений не замедлила завязаться полемика.

По глухим намекам можно предполагать, что разногласия возникли уже в связи с первым актом деятельности «Общества» — избранием председателя. Об этом свидетельствуют разъяснения в речи Мерзлякова прав «первого члена», явно имеющие характер защиты от чьих-то нападок, и черновые наброски выступления Андрея Тургенева, хранящиеся в архиве Жуковского. Тургенев отводил высказанные кем-то (видимо, Воейковым) обвинения в «тирании» со стороны «первого члена». Однако основные столкновения связаны были с более принципиальными вопросами.

На первых двух заседаниях выступил с речами Мерзляков. Главное содержание обеих — проповедь гражданственного служения отечеству. Цель оратора — «возжечь» в слушателях «энтузиазм патриотизма». «Каждый из нас, — говорил Мерзляков, — человек, гражданин, каждый из нас сын отечества»[1]. Оратор доказывал необходимость не ограничиваться рамками чисто литературных споров и придать деятельности Собрания общественный характер.

«Мал тот, — продолжал он, — кто хочет быть только астрономом; нещастливые братья его на земле, а не на планете сатурновой; мал тот, кто хочет быть только героем; кровь не украсит лаврового венца его, когда станет он пред престолом правды, звук побед не заглушит проклятий разоренного, сердце его не согреется от бриллиантовой звезды, которая украшает его грудь; мал тот, кто хочет быть только оратором, стихотворцем, сочинения его холодны, если не воспламеняет их любовь сердечная, советы его не отрут слез угнетенной невинности, прекрасные мысли его не утолят голода нищему»[2].

Само «Дружеское литературное общество» рассматривалось Мерзляковым как средство не только литературного, но и политико-патриотического воспитания участников дружеского объединения, подготовки их к грядущей общественной деятельности. «Где и как воспитывались Эпаминонды, Тимолеоны, Периклы? — спрашивал он. — Где почерпнули они эту всепобеждающую силу любви к отечеству, которая не погасла среди бурей (так. — *Ю. Л.*), несчастья, в ссылках, на эшафотах, которая, кажется, и после смерти их не умирала? В дружеских беседах Сократа и Платона! В тех беседах, которых предметом было познание человека и его нравственности»[3].

Приведенная цитата проясняет смысл высказывания Мерзлякова, считавшего, что «каждое заседание открывает чередной оратор нравственною речью»[4]. В данном случае имелась в виду не отвлеченная морализация в масонском духе, а проповедь гражданских добродетелей. Мерзляков надеялся, что «эта и твердость и смелость в изъ<яв>лении своих чувств и мыслей родит в нас со временем оное великодушие, оную благоразумную гордость, которая возвращает престолам изгнанную правду и презирает угрозы тиранов, которая не боится смерти <...> Так, друзья! Мы будем честными гражданами.

---

[1] Собрание речей... Л. 12.
[2] Там же. Л. 15—15 об.
[3] Там же. Л. 8—8 об.
[4] Там же. Л. 18 об.

Так точно в матернем недре мужественные Спарты рождались герои»[1]. Важнейшим средством гражданственного воспитания Мерзляков считал «соревнование», пользуясь термином Андрея Кайсарова[2], патриотическим подвигам исторических деятелей прошлого. Герои древности «учились при подножии блистательных обелисков своих героев, подле бессмертных памятников Кодров, Мильтиадов и Аристидов! Мрамор и бронза, одушевленные гением любви к отечеству, внушали им презрение к смерти...»[3] Подобная тенденция, видимо, характерна была для выступлений Мерзлякова на заседаниях «Общества». По крайней мере, Андрей Тургенев позже, в своем заграничном дневнике, мечтая о повторении заседаний в «поддевичьем», вкладывает в уста Мерзлякова речи именно такого рода: «Мерзляков рассуждал бы или говорил о истории, о русских героях, я бы перебивал его иногда каким-нибудь бонмо, если не острым, то по крайней мере смешным <...> Воейков был бы с ними же, и брат, и Кайсаров»[4].

Две первые речи Мерзлякова определили дальнейший ход заседаний. Выступлением Мерзлякова инициаторы «Общества» недвусмысленно заявили о том, что рассмотрение литературных вопросов интересует их лишь как часть самовоспитания в духе гражданственности и патриотизма. В последовавшем за тем выступлении Воейкова вопросы литературы оказались вообще вне поля зрения оратора. На первый план выступила политика.

Воейков произнес речь, посвященную деятельности Петра III. Значение и смысл этого выступления в литературе в должной мере не оценены. В. М. Истрин характеризует ее как «сплошной панегирик»[5], причем на эту оценку, бесспорно, оказало влияние отношение к личности Воейкова в значительно более позднее время. Рассмотрение самого текста речи позволяет оценить ее иначе.

Прежде всего, следует остановиться на уточнении времени произнесения речи. В сборнике речей она помещена под № 3 без указания даты. Поскольку № 2 — речь Мерзлякова — помечена «19 генваря 1801 г.», а № 4 — речь Михаила Кайсарова — «26 генваря», то, если вспомнить, что заседания происходили раз в неделю, приходится сделать вывод, что речь Воейкова была, видимо, произнесена на том же заседании 19 января, на котором выступал и Мерзляков. Этим, по всей вероятности, и объясняется отсутствие на ней даты. Итак, речь Воейкова была произнесена в последние месяцы царствования Павла I. Тема речи не могла возбудить подозрения властей: реабилитация памяти Петра III соответствовала официальным тенденциям. Однако из этого не следует делать вывода, что речь Воейкова имела официозный характер. Дело в том, что характер правительственной деятельности Петра III подвергался в последней трети XVIII в. довольно часто весьма своеобразной интерпретации. К. В. Сивков на основании детального изучения

---

[1] Собрание речей... Л. 7.
[2] Там же. Л. 64 об.
[3] Там же. Л. 8 об.
[4] Тургеневский архив. Ед. хр. 1240 (Дневник Андрея Тургенева). Л. 23.
[5] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 51.

материалов Тайной Экспедиции приходит к выводу, что «неправильное толкование манифеста 18 февраля 1762 г. о дворянской вольности и свободе, как такого акта, за которым должно было последовать и освобождение крестьян от работы на помещика, указ о разрешении старообрядцам, бежавшим в Польшу и другие заграничные земли, возвратиться в Россию <...>, уничтожение Тайной Канцелярии <...> — все это создало ему [Петру III] своеобразную популярность и порождало надежды, что с возвращением его на престол осуществятся народные чаяния о воле, земле, освобождении от рекрутчины, тяжелых налогов и т. д. Отсюда многочисленные попытки использовать имя Петра III в классовой борьбе того времени»[1]. Не только крестьянская масса, но и некоторые представители передовой общественной мысли были склонны именно в таком направлении истолковывать образ деятельности мужа Екатерины II. Как указывает тот же автор в диссертации «Очерки по истории политических процессов в России последней трети XVIII в.», в бумагах Кречетова им была обнаружена интересная записка: «Объяснить великость дел Петра Третьего».

Однако для определения меры справедливости оценки В. М. Истриным речи Воейкова основным документом является сам ее текст. За что же прославляет Воейков Петра III? Прежде всего, за уничтожение Тайной Канцелярии. В условиях террористического режима Павла I он под видом прославления отца царствующего императора произносит смелый памфлет против ненавистного всем учреждения. Тайную Канцелярию он называет «тиранским трибуналом, в тысячу раз всякой инквизиции ужаснейшим», «в ужас сердца наши приводящим судилищем, обагрившим Россию реками крови». Призывая слушателей «бросить патриотический взор на Россию» до Петра III, оратор рисует красноречивую картину, бесспорно вызывавшую в эпоху Павла I ассоциации с современностью: «Мы увидим ее [Россию] обремененную цепями, рабствующую, не смеющую произнести ни одного слова, ни одного вопля против своих мучителей; она принуждена соплетать им лживые хвалы тогда, когда всеобщее проклятие возгреметь готово <...> Коварство и деспотизм, вооруженные сим варварским словом («слово и дело». — *Ю. Л.*) острили косу смерти, чтобы еще посекать цвет сынов России, еще продолжить царствование свое на престоле, из героев и костей невинных россиян воздвигнутом»[2].

Далее автор обращается к другой заслуге Петра III — дарованию вольности дворянской. Вопрос этот тоже звучал актуально: постоянное нарушение вольности дворянской Павлом I, стремившимся в страхе перед революцией подавить даже либерализм (например, известное дело прапорщика Рожнова), чрезвычайно раздражало общество. Нарушения эти становились как бы символом общего политического угнетения и усиливали столь типичную для павловского царствования атмосферу бесправия и неуверенности. Насколько

---

[1] *Сивков К. В.* Самозванчество в России последней трети XVIII в. // Исторические записки. М., 1950. Т. 6. С. 90.

[2] Собрание речей... Л. 27.

болезненными были эти вопросы, свидетельствует то, что одним из первых актов правительства Александра I было подтверждение жалованной грамоты дворянству и уничтожение Тайной Экспедиции[1].

Воейков не прошел и мимо важнейшего вопроса эпохи — крепостного права. Поводом для этого была тенденциозно истолкованная секуляризация церковных земель. Этот акт оратор объяснял как шаг к полному освобождению крестьян: «Мудрое, человеколюбивое, великое дело, поставляющее в храме добродетели имя Петра III подле имен величайших законодавцев, есть отобрание деревень монастырских: четвертая часть сынов России — миллионы полезных рук кормили праздных, паразитических членов Государства — монахов, и сии тунеядцы из любви ко... (многоточие в рукописи. — *Ю. Л.*) отягчали добрых, бесхитростных поселян тяжелыми цепями. Петр III, оживленный великими предприятиями, снял с них оковы, рек им: вы свободны»[2].

Свою речь Воейков заканчивал призывом встретить, в случае надобности, за отечество смерть на эшафоте — обращение, совершенно необъяснимое в речи, представляющей «сплошной панегирик». Обращаясь к Петру III, Воейков говорил: «Воззри на собравшихся здесь юных Россиян, оживленных пламенною любовию к Отечеству! И если нужна кровавая жертва для его счастия, вот сердца наши! Они не боятся кинжалов! Они гордятся такою смертию. Сам эшафот есть престол славы, когда должно умереть на нем за Отечество!»[3]

Подобные выступления имели настолько неприкрыто политический характер, что даже Андрей Тургенев, сам настроенный ярко тираноборчески, был вынужден напомнить об осторожности. На собрании 16 февраля 1801 г. он, возможно имея также в виду и неизвестные нам прения вокруг выступления Воейкова (вряд ли можно предположить, чтобы оно не вызвало откликов), предостерегал: «...о<т>чего говорим мы так часто о вольности, о рабстве, как будто собрались здесь для того, чтобы разбирать права человека?»[4]

Однако, как выясняется из дальнейшего текста его речи, Андрей Тургенев сам призывал товарищей по «Обществу» готовить себя к тому времени, «когда отечество наше, когда страждущая, притесненная бедность будет требовать нашей помощи»[5].

Проповедь политической активности резко звучит и в дальнейших выступлениях Воейкова. 8 марта 1801 г., за несколько дней до убийства Павла I, он произнес речь «О героизме», в которой идеалу «мирного философа» противопоставлялся героический образ гражданина-тираноборца, жертвующего жизнью ради освобождения отечества. Главная гражданская добродетель — героизм, презрение к смерти. «Чем заслужили бессмертную славу Тюрени, Евгении, Суворовы? Пренебрежением смерти. Чем увенчали добродетельные дела и бессмертные имена свои Сократы, Деции, Регулы? Пренебрежением

---

[1] 2(14) апреля 1801 г. (см.: Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1885—1916. Т. 26. С. 603—604).

[2] Собрание речей... Л. 28 об.

[3] Там же. Л. 29 об.—30.

[4] Там же. Л. 41.

[5] Там же. Л. 41—41 об.

смерти. Здесь, может быть, возразят мне, что Сократы, Леониды и Регулы не смертию, а примерною добродетельною жизнию заслужили благословение потомства. На сие я отвечаю, что честность не есть главное отличительное свойство великих, знаменитых людей, что они, будучи только честными, были <бы> забыты так, как миллионы честных философов, честных ремесленников <...> Золото дорого потому, что оно редко. Пренебрегающие смерть герои знамениты потому, что они редки»[1].

Видимо, не случаен интерес Воейкова и в дальнейшем к тираноборческим темам в литературе. А. Кайсаров в письме Андрею Тургеневу от 8 мая 1802 г. сообщал, что «Воейков перевел первое явление из „La mort de Cézar“»[2]. Любопытно сравнить это указание с использованием «Смерти Цезаря» в кружке Каховского для пропаганды идеи убийства Павла I. На одном из собраний кружков «стали читать вслух „Смерть Цезаря“» Вольтера и «злобу свою изъяснили чтением вышеозначеной трагедии». Во время чтения Каховский заметил: «Если б этак нашего»[3]. Последняя фраза вполне гармонирует с общим духом речей Воейкова в «Обществе».

В недатированном письме к Андрею Тургеневу (написанном уже после отъезда его в Петербург) Кайсаров рядом с характерным призывом из Шиллера разорвать оковы «Gelt es Gut und Blut» писал: «„Что это, братец! Неужели твердость наша будет только в одних девицах! Победим или умрем!“ — говорит Воейков»[4].

Если в условиях угнетающей атмосферы павловского царствования Воейков еще несколько затемнял политический смысл своих выступлений, то в речи 11 мая 1801 г., произнесенной, видимо не случайно, в день двухмесячной годовщины дворцового переворота, позиция оратора предельно ясна. Название речи («О предприимчивости») раскрывается в тексте, по духу весьма близком к «Оде достойным» Востокова. «Предприимчивость, — разъяснял Воейков содержание, вкладываемое им в заглавие речи, — свергает с престола тиранов, освобождает народы от рабства, обнажает хитрости обманщиков, открывает ослепленным народам в жрецах их коварных тунеядцев, в богах — истуканов...»[5] Далее в рукописи следует многоточие, возможно скрывающее пропуск еще более резко звучащего текста.

Для характеристики политических настроений Воейкова этого периода не лишено интереса напечатанное им в 1806 г. послание к Сперанскому. Стихотворение примечательно резко выраженным сочувствием государственному деятелю-разночинцу.

---

[1] Собрание речей... Л. 57 об.—58.

[2] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 75.

[3] *Сыпко Т. Г.* Новые материалы по истории общественного движения конца XVIII века // Вопросы истории. 1952. № 9. С. 117.

[4] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 147.

[5] Там же. Ед. хр. 618. Л. 110. Для выяснения семантики слова «предприимчивость» показательно употребление его в декабристских кругах. По свидетельству Г. Батенькова, в связи с убийством любовницы Аракчеева между ним и А. Бестужевым произошел разговор о тираноубийстве. «После обеда стали говорить о том, что у нас совершенно исчезли великие характеры и *люди предприимчивые* (курсив мой. — *Ю. Л.*)» (Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля. М., 1936. С. 215).

С <перанский>, друг людей, полезный гражданин,
Великий человек, хотя не дворянин!
Ты славно победил людей несправедливость,
Собою посрамил и барство, и кичливость,
Ты свой возвысил род, твой герб, твои чины
И слава — собственно тобой сотворены
.....
Напротив, не могу я вытерпеть никак,
Чтобы воспитанный французами дурак
Чужим достоинством бесстыдно украшался
И предков титлами пред светом величался[1].

Не следует, конечно, в данном случае преувеличивать радикализм позиции автора, считающего, что «нельзя дворянство вздором счесть», и занимающего в этом стихотворении значительно более умеренную позицию, чем в произведениях, не предназначенных для печати.

Все перечисленные факты проливают новый свет на этот период деятельности Воейкова, рассматривавшейся исследователями обычно под впечатлением неприглядной позиции его в значительно более позднее время. Оценки членов «Дружеского литературного общества» были иными. В недатированном письме Кайсарову из Петербурга (вероятно, 1802 г.) Андрей Тургенев писал: «Обрадуй, брат, будет ли Воейков с вами? Это неоцененный человек <...> Хотя мы и зовем друг друга ослами, однако ж я немногих люблю так как его»[2]. В другом месте он писал о Воейкове: «Я его обожаю! Славный характер!»[3] Все это позволяет не согласиться с В. М. Истриным, считавшим, что, привлекая членов «Дружеского литературного общества» «гостеприимством и живостью», Воейков играл роль лишь как хозяин «поддевиченских» собраний[4].

Итак, с первых же заседаний, руководящая группа членов «Общества» недвусмысленно заявила о своем желании придать его работе политико-воспитательный, патриотический и свободолюбивый характер. Любопытно, что — этого не заметили исследователи — именно данную сторону заседаний подчеркивали члены «Дружеского литературного общества» в позднейших воспоминаниях.

Жуковский в стихотворении «Вечер» вспоминал «песни пламенны и музам и *свободе*»[5] (курсив мой. — *Ю. Л.*). Воейков писал о дружеских встречах,

Где, распалив вином и спорами умы
И к человечеству любовью,
Хотели выкупить блаженство ближних кровью[6].

---

[1] Вестник Европы. 1806. № 19. С. 195.
[2] Тургеневский архив. Ед. хр. 840.
[3] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. Предисловие. С. 32.
[4] Там же. С. 54.
[5] *Жуковский В. А.* Стихотворения / Вступ. ст. и примеч. Ц. Вольпе. Т. 1. С. 9.
[6] *Воейков А. Ф.* Послание к жене и друзьям // Сын Отечества. 1821. Ч. 67. № 4. С. 179. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

Следует, однако, иметь в виду, что, при всей резкости политического звучания, сами по себе тираноборческие призывы еще не означали чего-либо качественно нового, выходящего за грани дворянских идеологических представлений XVIII в. Идея законности устранения государя-тирана путем дворянского переворота была сформулирована еще Сумароковым (например, в «Дмитрии Самозванце» и басне «Болван»). С предельной четкостью она прозвучала в известном «Рассуждении о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления», автор которого писал: «Тиран, где бы он ни был, есть тиран, и право народа спасать свое бытие пребывает вечно и везде непоколебимо». «В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное»[1]. Однако в понятие «нация» для автора входит не «мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся», который, «никем не предводимый, может привести [государство], так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели», а «руководимое одною честию дворянство», долженствующее «корпусом своим представлять нацию»[2].

Тираноборческие настроения в среде дворянской молодежи особенно усилились в годы царствования Павла I. Даже Н. М. Карамзин, при всей умеренности и осторожности его политической позиции, в стихотворении 1797 г. «Тацит» в зашифрованной форме выразил сочувствие тираноборческому акту. Позже, после событий 14 декабря 1825 г., Вяземский напомнил Карамзину заключительный стих этого произведения. «Какой смысл этого стиха? — спрашивал Вяземский. — На нем основываясь, заключаешь, что есть мера долготерпению»[3].

Итак, констатация наличия тираноборческих настроений еще недостаточна для того, чтобы рассматривать тот или иной кружок дворянской молодежи в качестве исторических предшественников декабристского движения. Сложное явление дворянской революционности подразумевало усвоение передовой частью дворянской интеллигенции элементов классово чуждой ей, демократической системы представлений. В области социально-политической это вызывало перенесение центра внимания с проблемы политической свободы личности на вопрос социального раскрепощения общества, положения народа, в конечном итоге, крепостного права. В литературном отношении это означало критику дворянского субъективизма, обращение от «угрюмых полей бесплодной мечтательности к важной действительности»[4], постановку проблемы народности литературы, критику эстетической системы карамзинизма. Подобное перерождение системы воззрений передовой дворянской интеллигенции, которое в отдаленной исторической перспективе создавало возмож-

---

[1] Цит. по: *Фонвизин Д. И.* Избр. соч. и письма / Подготовка текста и коммент. Л. Б. Светлова, общ. ред. Н. Л. Бродского. М., 1947. С. 185, 180.

[2] Там же. С. 186—187.

[3] См.: *Кутанов Н.* Декабрист без декабря // Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 270, 271.

[4] *Тургенев Н. И.* Проспект журнала «Архив политических наук» // Русский библиофил. 1914. № 5.

ность полного преодоления дворянских форм мировоззрения и перехода к демократизму, требовало, конечно, особых исторических условий. Важнейшим, бесспорно, явилась Отечественная война 1812 г., обратившая взгляды передовой части дворянства к народу. Это, однако, не значит, что «заражения дворян демократическими идеями», пользуясь определением В. И. Ленина, не происходило раньше.

В этом отношении представляет интерес та сторона деятельности ведущей группы «Дружеского литературного общества», которая свидетельствует об известном преодолении ограниченности дворянского мировоззрения. Особо стоит в этой связи остановиться на значении А. Ф. Мерзлякова. Разночинец по происхождению, Мерзляков принадлежал к иному кругу, чем остальные члены «Общества». Литературные связи его выводили членов «Общества» за пределы карамзинского лагеря. Не случайно именно у него на дому Андрей Тургенев встречался с Нарежным[1]. Литературные симпатии Мерзлякова оказали значительное воздействие на Андрея Тургенева и А. С. Кайсарова. Для того чтобы понять смысл борьбы в «Обществе» и значение ее для формирования творческой индивидуальности Кайсарова, надо остановиться на литературной программе ведущих деятелей дружеского объединения. Такими были Мерзляков и Андрей Тургенев.

Все сочинения членов «Общества» и тексты их выступлений, критик и антикритик должны были храниться у секретаря. Местонахождение их в настоящее время неизвестно. Это заставляет нас обращаться для восстановления литературной позиции основных деятелей «Общества» к их произведениям, связанным с более поздними периодами творчества.

Подобный подход требует осторожности и учета эволюции того или иного литературного деятеля. Вполне применим он к Мерзлякову, так как основные принципы его позиции как критика и теоретика литературы в этот период уже определились. Сверх того, надо иметь в виду, что ряд последующих критических выступлений Мерзлякова явился воспроизведением, а порой и точным повторением его «пиес», обсуждавшихся в «Дружеском литературном обществе». Так, Кайсаров в письме к Андрею Тургеневу в Петербург сообщал, что Мерзляков, «заленившись писать новую» речь, «выписал и сказал в своем собрании» произведение, читанное им прежде в «Дружеском литературном обществе»[2]. Сам Мерзляков любил подчеркивать значение «Дружеского литературного общества» для формирования своих воззрений. В статье, имеющей, бесспорно, программный характер и принадлежащей к числу наиболее принципиальных и острых, — разборе «Россиады» Хераскова Мерзляков писал (статья имеет форму послания к другу): «Я намерен изобразить здесь тогдашние наши размышления о Россиаде <...> в память бесценных бесед наших»[3]. В основу статьи положены, писал Мерзляков, «правила, которые

[1] Ср. запись в дневнике Андрея Тургенева: «Перед обедом был я у Мерзлякова и говорил о „Разбойниках“ с Нарежным» (Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. Предисловие. С. 80).

[2] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 75 об.

[3] *Мерзляков А. Ф.* Россиада, поэма эпическая г-на Хераскова (письмо к другу) // Амфион. 1815. Янв. С. 52.

приобрел я в незабвенном, может быть, уже не возвратимом для нас любознательном обществе словесности, где мы, поистине управляемы благороднейшею целию, все в цвете юности, в жару пылких лет, одушевленные единым благодетельным чувством дружбы, не отравляемые частными выгодами самолюбия, учили и судили друг друга в первых наших занятиях...»[1]. Засвидетельствованное самим автором тождество статьи, напечатанной в «Амфионе», с выступлением его в «Обществе» дает нам право, ввиду утраты соответствующих выступлений Мерзлякова в 1801 г., использовать статью о «Россиаде» для характеристики его позиции в «Дружеском литературном обществе». Нам придется для этой цели привлекать и другие статьи Мерзлякова, напечатанные в более позднее время, в той мере, в какой они могут способствовать выяснению позиции Мерзлякова в «Обществе».

Алексей Федорович Мерзляков был самым старшим в «Обществе» по возрасту, обладал значительно более основательной, чем у его друзей, академической подготовкой и наиболее определившейся системой воззрений. В ту пору, когда взгляды большинства друзей находились в стадии формирования, Мерзляков был уже популярным лектором Московского университета. В 1804 г. Александр Тургенев, доказывая отцу, что он «никогда не хотел занимать профессорской кафедры», писал: «Это же одним только Мерзляковым можно в такие лета иметь у себя полную аудиторию»[2]. Интерес к позиции Мерзлякова и его влиянию на членов «Общества» определяется и другим — самим характером его воззрений. Взгляды Мерзлякова, как мы увидим, противостояли всей традиции дворянской беллетристики, уходя корнями в демократическое направление русской литературы XVIII в. История идейного взаимодействия Мерзлякова с Андреем Ивановичем Тургеневым и Андреем Кайсаровым, во взглядах которых сказались тенденции зарождающейся дворянской революционности, представляет особенный интерес.

Первым вопросом, с которым приходится иметь дело, обращаясь к рассмотрению эстетической позиции Мерзлякова, является соотношение его взглядов и теоретической программы классицизма, запоздалым апологетом которого считали Мерзлякова не только многие из современников, но и ряд исследователей. В статьях Мерзлякова мы очень часто встретим утверждение о необходимости соизмерять творчество писателя с заранее установленной системой правил. Однако, взятые сами по себе, подобные требования мало что говорят для определения позиции критика. Необходимо выяснить, на какой философской основе возникали эти требования и каким реальным литературно-критическим содержанием заполнялись они в конкретных условиях борьбы мнений в литературе той эпохи.

В начале XIX в., когда формировалась эстетическая позиция Мерзлякова, картезианский рационализм, составлявший философскую основу теории классицизма, представлял собой явление безнадежно архаическое, всякая попытка возрождения которого была заранее обречена на неудачу. Начиная со второй

[1] *Мерзляков А. Ф.* Россиада... // Амфион. 1815. Янв. С. 50—51.
[2] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. Предисловие. С. 129.

половины XVIII в. учение сенсуалистического материализма занимает руководящее место в борьбе философских теорий в России. В 1769 г. появляется труд Я. П. Козельского «Философические предложения». Материалистические тенденции, наиболее полно проявившиеся в философском учении А. Н. Радищева, опирались на пафос опытного исследования, пафос, пронизывавший еще научные труды М. В. Ломоносова. Последнее обстоятельство особенно важно для Мерзлякова, взгляды которого формировались под сильным воздействием научных воззрений Ломоносова. Учение об опытном происхождении человеческих знаний было известно также русскому читателю и по переводным сочинениям: философским трудам французских материалистов, с одной стороны, и популяризаторскому изложению Кондильяка, с другой[1].

Чуждая теории классицизма мысль об опытной, чувственной основе теоретических воззрений проходит через всю систему литературных взглядов Мерзлякова. «Не может быть, — писал он, — того в уме, чего не было сперва в чувствах: они единственные питатели души нашей; они врата, через которые приобретает она свои сокровища»[2]. Прямо против классицистического утверждения об абстрактном логическом разуме как основе познания направлена мысль его в той же статье: «Когда воспламенено воображение, тронуто сердце, тогда что значит гордость холодного ума, облеченного в броню силлогизмов?» — служащая основой итогового вывода: «Чувство в поэзии все заменяет»[3].

В связи с чувственной основой познания, система наук строится, по мнению Мерзлякова, не дедуктивно: от общих, вечных, абстрактных истин к единичным явлениям, — а восходя от данных чувственного опыта, «посредством явлений зримых до причин таинственных всеобщего движения»[4].

Философская основа системы Мерзлякова, следовательно, коренным образом отличалась от теоретической базы классицистической эстетики. Это приводило к тому, что основные категории теории литературы, зачастую самим Мерзляковым воспринимавшиеся лишь как повторение общих догматов классицизма, по существу, заполнялись в системе его воззрений совершенно иным, новым содержанием. Так, например, как мы уже отмечали, Мерзляков неоднократно заявлял себя сторонником строгого следования правилам. «Искусство вообще есть следствие правил», — заявлял он[5]. В речи, открывшей первое заседание «Дружеского литературного общества», Мерзляков призывал «особенно заняться теориею изящных наук. Она покажет нам мачтаб всего изящного и будет служить ариадниной нитью в

---

[1] Андрей Тургенев писал Кайсарову в декабре 1802 г.: «Пришел из театра, где не так часто бываю, как прежде, читаю Кондильяка...» (Тургеневский архив. Ед. хр. 840).

[2] *Мерзляков А. Ф.* О талантах стихотворца // Вестник Европы. 1812. № 17. С. 207.

[3] Там же. С. 206, 222.

[4] *Мерзляков А. Ф.* Рассуждение о драме вообще // Труды Общества любителей российской словесности. М., 1820. Ч. XVII. С. 62. (Далее: ТОЛРС.)

[5] *Мерзляков А. Ф.* Об изящной словесности, ее пользе, цели и правилах // Вестник Европы. 1813. № 28. С. 225.

лабиринте юродствующего воображения»[1]. Однако рассмотрение эстетической позиции Мерзлякова убеждает, что само понятие «правил» приобретало у него, возможно неосознанно для самого критика, смысл, решительно отличный от обычного понимания его теоретиками классицизма и апологетами школьных пиитик.

«Правила» в понимании Мерзлякова оказываются не априорными нормами «разумного», противопоставленного «низменной» реальности, а научно построенным обобщением чувственного опыта.

«Что такое сии правила?» — спрашивал Мерзляков и отвечал: «Следствия наблюдений, сделанных человеком над собственными своими чувствами при воззрении на предметы занимательные»[2]. Поэтому сам характер правил перестает быть абсолютным, вечным. С позиций рационализма общие истины, составляющие основу «правил» в искусстве (или «метода» в картезианской философии), извлекаются не из опыта, а из природы разума. «Прежде всего, — писал Декарт в своем основополагающем труде «Рассуждение о методе», — я старался отыскать *вообще принципы* (курсив мой. — *Ю. Л.*), или первопричины, всего того, что есть или может быть в мире, не принимая во внимание для этой цели ничего, кроме одного Бога, который его создал, и выводя их только из некоторых зачатков истин, присущих от природы нашим душам». Исходя уже из этих общих истин, Декарт далее «захотел опуститься к более частным следствиям»[3]. Источник истины — врожденное понятие, в конечном итоге, проистекающее от Бога. «...Наши идеи, или понятия, представляя собой нечто реальное, исходящее от Бога, поскольку они ясны и отчетливы, могут быть во всем этом только истинными»[4]. Позиция Мерзлякова противоположна. В цитированной выше статье он писал: «Правила сии, как прежде я сказал, не внушены нам небом; Аполлон не диктовал их: мы сотворили их сами и превратили в законы»[5]. Еще определеннее высказался Мерзляков в «Речи о начале, ходе и успехах словесности». Здесь он писал: «Что такое наука?[6] Собрание правил, расположенных в известном порядке или системе. Все сии правила, как уже мы видели, произошли из наблюдений»[7].

Именно поэтому «правила», в представлении Мерзлякова, отнюдь не были защищены ореолом абсолютности и неизменности. Способность писателя нарушить утвержденные обычаем школьные нормы рассматривалась им

---

[1] Собрание речей... Л. 3 об. Ср. дословное повторение этого места в «Законах Дружеского литературного общества» (Сб. Общества любителей российской словесности на 1891 г. М., 1891. С. 1—2). Сравнение текстов обоих документов убеждает в том, что автором «Законов» был Мерзляков.

[2] *Мерзляков А. Ф.* Об изящной словесности... // Вестник Европы. 1813. № 18. С. 211.

[3] *Декарт Р.* Избр. произведения. М., 1950. С. 306.

[4] Там же. С. 287.

[5] *Мерзляков А. Ф.* Об изящной словесности... // Вестник Европы. 1813. № 18. С. 228.

[6] Имеется в виду «наука, которая подготовляет искусство» (Там же. С. 230), т. е., в данном случае, теория литературы.

[7] *Мерзляков А. Ф.* Речь о начале, ходе и успехах словесности // ТОЛРС. М., 1819. Ч. XIV. С. 38.

как достоинство, а не как недостаток. Мерзляков одобрительно отзывается о Державине, который «исторгнул» оду «из тесных пределов учебно-систематических сочинений, наполняемых общими риторическими местами и располагаемых единственно по обыкновенным формам: сей недостаток заметен и в великом Ломоносове, а в последователях его несравненно более»[1].

Раскрывающееся в результате анализа статей Мерзлякова своеобразие его позиции в данном вопросе позволяет разъяснить на первый взгляд странное противоречие в тексте речей Мерзлякова в «Дружеском литературном обществе». Как мы видели, уже в первой речи Мерзляков выступил с защитой «ариадниной нити» правил и даже внес этот пункт в «Законы» «Общества». Тезис этот защищался им и в дальнейшем на заседаниях «Общества». Тем более кажется неожиданным то, что в речи «О трудностях учения», говоря о препятствиях, стоящих на пути молодого разночинца, стремящегося к знанию, Мерзляков резко осудительно отзывается о правилах классицизма: «Правила о подражании древним весьма трудно написать, а еще труднее им последовать. Правила по сию пору имеют одно почти действие: они превращают всякой предмет в чудовище, все легкое — в трудное, все возможное в невозможное»[2]. Далее еще более определенно: «Отчего редко являются великие мудрецы? Не от того, чтобы природа ныне была скупее в дарах своих: но от того, что ныне дорогу к просвещению изрыли все эти ядовитые кроты, которые роются в древних архивах, выдумывают новые правила, новые способы, от того, что ныне в тысячу раз более потребно великодушия и твердости, чтоб выйти из среды обыкновенных людей...»[3] Однако, в свете изложенного, противоречие это находит себе объяснение: Мерзляков в требования «правил» вкладывает не представление об абстрактной догме, а понятие научного обоснования законов искусства. Будучи *по существу* (сам критик этого, возможно, и не ощущал) противоположно основным принципам классицизма, требование это имело и другой смысл: оно было направлено против дворянского дилетантизма в поэзии, определявшего образ поэта у писателей карамзинской школы. Идеалу поэта — «праздного ленивца», творящего по прихоти минутного вдохновения, противопоставляется образ поэта-ученого, теоретика и труженика. В статье «О талантах стихотворца» автор ставит целью «опровергнуть нелепое мнение тех, которые утверждают, что стихотворцу не нужно учение и что талант все заменяет»[4]. Особо следует отметить то, что протест против дилетантизма носит у Мерзлякова характер сознательного отрицания дворянского, барского отношения к литературе, а это последнее, в свою очередь, для него связано было с отрицанием карамзинского направления. В программной статье «Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии» Мерзляков выразил эту сторону своих воззрений наиболее определенно. Он писал:

---

[1] *Мерзляков А. Ф.* Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии // ТОЛРС. М., 1812. Ч. I. С. 68.

[2] Собрание речей... (Речь члена Мерзлякова «О трудностях учения»). Л. 103 об.—104.

[3] Там же. Л. 105 об.

[4] *Мерзляков А. Ф.* О талантах стихотворца. // Вестник Европы. 1812. № 17. С. 204.

«И что может быть другое тогда, когда основательная теория изящных наук неизвестна, когда мы незнакомы с главными образцами, когда не подозреваем даже, что начала литературы составляют науку обширную и глубокую, требующую трудов и тщания, когда Аристотеля, перекрестив в Аристота, почитаем французом! Самый высший класс народа смотрит на ученых с милостивою гордостию. Он ставит учение ниже своего сана <...> Богатая праздность и невежественная гордость чувствуют нужду в занятии, любят забавы словесности, но для чего? Для разсеяния и по странному честолюбию хотят казаться в них сведущими <...> Песенки, мадригалы, историйки, романы привязывают к себе всех как важное, но никто не думает, чтоб можно было в другом роде написать что-нибудь хорошее. Переводчики бросаются в романы, авторы в сочинение путешествий, книгопродавцы не хотят в руки взять книги, имеющей важное заглавие. В таком виде часто бывает литература, не подкрепленная науками»[1]. Последнее положение интересно не только прямыми полемическими намеками на творчество Карамзина (слова о сочинении «путешествий») и его последователей, но и общим принципиальным требованием обратиться от легкой поэзии, малых жанров, к произведениям «важным», с гражданственной, патриотической тематикой. В этом отношении любопытно принципиально отрицательное отношение Мерзлякова к любовной тематике. В статье о «Россиаде» он сурово осуждает автора за перенесение внимания с героико-патриотических эпизодов на любовно-авантюрные: «Для сих-то происшествий должны мы были потерять из виду знаменитое воинство, сражающееся за свободу Отечества! Какой роман»[2]. Представляет интерес заключительное восклицание, рассматривающее сравнение с романом как осуждение. В термин «роман» здесь вкладывается представление о пустой по содержанию повести на любовную тему, культивировавшейся карамзинистами, а также о связанных с этим же литературным направлением наводнивших русский читательский рынок переводах романов в духе Жанлис и Дюкре-Дюминиля. «Жаль, — писал Мерзляков в другой своей статье, — что *новорожденные пустые романы* (курсив мой. — *Ю. Л.*) часто теснят и гонят с полок старых почтенных детей литературной ревности, и даже нередко переводной Камоэнс, Мильтон, Телемак или Гомер служат обверткой вялых уродов Дюкредюмениля»[3]. Знаменательно и то, что если в первой цитате Мерзляков сближает Хераскова с писателями-«романистами», то во второй он, противопоставляя «важные» эпические произведения «малым жанрам» карамзинистов, демонстративно игнорирует имя признанного авторитета дворянской литературы, творца единственной получившей

---

[1] *Мерзляков А. Ф.* Рассуждение о российской словесности... // ТОЛРС. М., 1812. Ч. I. С. 81—82.

[2] *Мерзляков А. Ф.* Россиада... // Амфион. 1815. Февр. С. 61.

[3] *Мерзляков А. Ф.* Рассуждение о российской словесности... // ТОЛРС. М., 1812. Ч. I. С. 80. Ср. также: «Отчего главное богатство новейших произведений состоит токмо в романах, в эпиграммах, в шутливых посланиях, в водевилях, песенках и пиэсах, которые совсем не знаешь, к какому отнести роду?» (*Мерзляков А. Ф.* Россиада... // Амфион. 1815 Янв. С. 45—46).

официальное признание эпической поэмы Хераскова и называет осмеянного и зачисленного в «педанты» Тредиаковского[1].

Выступая против интимно-лирической тематики, легкой поэзии, Мерзляков ударял по центральному звену эстетической системы карамзинистов, поскольку определявший мировоззрение Кайсарова и его последователей субъективизм переносил центр внимания с действительности на авторское «я». Вполне закономерным поэтому явилось развитие карамзинистами лирической поэзии и отказ их от других жанров, в особенности от драмы. Если сам Карамзин делал попытки создания «лирической» прозы, отражающей не объективную действительность, а мир авторских переживаний (сб. «Аглая»), то в творчестве его последователей (в широком значении этого слова) «презренная проза» вообще не находила места. Не случайно поэтому борьба за преодоление традиций дворянской эстетики Карамзина связывалась с пропагандой прозы.

Позиция Мерзлякова противоположна господствовавшей в его эпоху карамзинской традиции. Он резко осуждает положение, при котором «мы имеем сочинения, относящиеся к одним изящным наукам и то более к стихотворству, нежели к прозе. Мы не можем представить почти никаких подлинных и даже переводных сочинений, принадлежащих к высшим философским наукам»[2]. Батюшков в речи «О влиянии легкой поэзии на язык» утверждал определяющее воздействие поэзии, и в первую очередь лирики, на формирование литературного языка. По мнению Мерзлякова, «стихотворцы, сколько бы они знамениты ни были, не совершают еще великого дела образования языка»[3].

Получается своеобразная картина: Мерзляков не разделяет коренных принципов классицизма. Как известно, он резко осуждал творчество признанных авторитетов русского классицизма Сумарокова и Хераскова и, как мы увидим в дальнейшем, весьма сдержанно оценивал деятельность запоздалых защитников дворянского искусства XVIII в. типа А. С. Шишкова. Но одновременно Мерзляков, вопреки мнению некоторых исследователей, не может быть отнесен и к карамзинскому направлению. Позицию Мерзлякова в этом отношении можно сравнить с позицией Крылова, высмеивавшего и дворянский классицизм («Трумф», борьба с Княжниным), и дворянский сентиментализм Карамзина, и архаистов из лагеря Шишкова. Мерзлякову, как и Крылову, была чужда *вся традиция дворянской литературы*, а не только какие-либо отдельные ее течения. Поэтому попытки осмыслить его в рамках какого-то из этих течений и объяснить эклектизмом те стороны его воззрений, которые не умещаются в прокрустово ложе дворянской эстетики конца XVIII — начала XIX в., заранее обречены на неудачу.

---

[1] «Переводной Телемак», поставленный в ряду эпических поэм, — это, конечно, «Тилемахида», а не какой-либо иной перевод прозаического философского романа Фенелона, не имеющего в оригинале никакого отношения к эпосу.

[2] *Мерзляков А. Ф.* Рассуждение о российской словесности... // ТОЛРС. М., 1812. Ч. I. С. 65.

[3] Там же. С. 66.

Эстетическая позиция литературной критики антидворянского лагеря была тесно связана с ее общественно-политической программой, поскольку художественную теорию, до конца самостоятельную, свободную от влияния чуждой дворянской идеологии, можно было построить только на основе революционного мировоззрения. Не случайно поэтому эстетические воззрения последовавшего за Радищевым поколения писателей антидворянского лагеря не отмечались такой самостоятельностью, не содержали таких отчетливых черт теории реализма, которые явственно ощутимы в воззрениях самого Радищева. Степень зрелости классовых противоречий в стране еще не давала возможности возникнуть эстетической теории реализма. Не будучи ни боевым, последовательным материалистом (черты материалистического мировоззрения лишь стихийно проявлялись в его литературных суждениях), ни мыслителем-революционером, Мерзляков сделал в ряде вопросов шаг назад от эстетической теории Радищева. Не будучи в состоянии противопоставить направлениям дворянской литературы (дворянский классицизм, карамзинизм) свою точку зрения, он часто обращался к традиции писателей XVIII в., противостоявших названным литературным течениям, и прежде всего к творчеству Ломоносова. Это не значит, однако, что программа Мерзлякова была архаична. Используя авторитет Ломоносова для критики карамзинской школы, Мерзляков не останавливался и перед резкими суждениями о произведениях первого. Не будучи в силах создать целостную *систему* новых воззрений на искусство, Мерзляков выдвинул, однако, ряд *принципов*, бесспорно сыгравших роль в подготовке теории реализма. Не случайно В. Г. Белинский писал, что «с Мерзлякова начинается новый период русской критики»[1].

На начало XIX в. приходится формирование художественной программы романтизма школы Жуковского, основывающегося на творческой деятельности Карамзина 1793—1800 гг. (альманах «Аглая», журнал «Пантеон иностранной словесности» и др.). Краеугольным камнем построений карамзинистов было противопоставление искусства жизни. Поэзия — вымысел, уводящий от несовершенства жизни. Это противопоставление проходит через ряд произведений Карамзина. В «Афинской жизни» ему придан обнаженно-декларативный характер осуждения революционной действительности. Эта же мысль лежала в основе таких программных произведений, как «И. И. Дмитриеву», «Бедному поэту». Если Радищев считал истину высшим достоинством художественного произведения, то Карамзин декларативно утверждал право поэзии на приятную ложь, отвлекающую от противоречий жизни.

Мы все лжецы:
Простые люди, мудрецы,
Непроницаемым туманом
Закрыта истина от нас...

[1] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. / Под ред. С. В. Венгерова и В. С. Спиридонова. Пг., 1917. Т. 11. С. 362.

Что есть поэт — искусный лжец,
Ему и слава и венец[1].

Этот тезис, воспринятый Жуковским, получил у него мистико-романтическую окраску: поэзия — средство проникновения в мистический потусторонний мир: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли». Расхождение Мерзлякова и Жуковского в понимании характера искусства проявилось уже в «Дружеском литературном обществе». Наиболее полно Мерзляков освещает этот коренной вопрос литературной теории в статье «Об изящной словесности, ее пользе, цели и правилах» (1813). Итоговое определение поэзии в конце статьи, подкрепленное цитатой из Тассо о сладком лекарстве, дается вполне в духе поэтики классицизма. Это свидетельствует о том, что сам критик порой не ощущал внутреннего противоречия между традиционной формулой и вкладываемым им в нее содержанием. Приемлемую и для классицизма формулу «поэзия — подражание природе» Мерзляков истолковывает в духе отражения в литературе реальной жизни, окружающей поэта. Всякое искусство, по мнению Мерзлякова, изображает природу (Мерзляков вкладывает в этот термин широкое понятие всей суммы окружающей действительности). В отличие от изобразительных искусств, которые делают *картину* природы, то есть изображают окружающее статически, «поэзия не есть только картина, но зеркало природы»[2]. Далее Мерзляков, развивая эту мысль, утверждает, что поэзия «повторяет предметы и действия предметов. Сие подражание верное и близкое». Итак, в основе суждений критика лежит мысль о реальности изображаемого в искусстве и о действительности как основе всякого произведения. С этим был связан вопрос о выборе предметов, достойных изображения. Поэтика классицизма, по иронической характеристике Пушкина, подчеркивала,

Что должен взять себе поэт
Всегда возвышенный предмет.

Мерзляков еще не решается окончательно отбросить деление традиционной школьной эстетики на предметы «высокие» и «низкие», но тем не менее одновременно он выдвигает плодотворный тезис о том, что *все* окружающее человека может явиться объектом изображения в искусстве.

В цитированной выше статье он утверждает, что «предмет изящных искусств не ограничен сам в себе»[3]. Детально это положение развито в «Речи о начале, ходе и успехах словесности». На вопрос, «каковы должны быть предметы, выбираемые в природе для подражания», он отвечает: «Все хороши, если только умеешь их представить». Мерзляков считает, что идеальным

---

[1] Ср. также:

Ах, не все нам слезы горькие
Лить о бедствиях существенных,
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов. (*Н. Карамзин. «Илья Муромец»*).

[2] *Мерзляков А. Ф.* Об изящной словесности... // Вестник Европы. 1813. № 18. С. 238.

[3] Там же. С. 239.

было бы положение литературы, при котором «не были бы мы принуждены делать жалких, унижающих нас разделений и подразделений в предметах на занимательные и незанимательные, на высокие и низкие, великие и малые, на благородные и неблагородные», и жалуется на состояние искусства, когда «вместо вселенной необъятной писатель-художник должен ограничить себя маленьким уголком землицы и маленьким обществом людей»[1]. Следует отметить, что там, где Мерзляков требовал «высокого» предмета для искусства, он чаще всего имел в виду противопоставление «блестящим безделкам» карамзинистов идеала гражданственной поэзии. В подобном контексте требование это, вопреки субъективному пониманию самого критика, исторически соотносилось не с мертвой догмой классицизма, а с живыми и исторически прогрессивными литературными процессами.

Позиция Мерзлякова в вопросе «высокой» поэзии может быть сопоставлена с деятельностью Гнедича, который сыграл выдающуюся роль в формировании декабристской поэзии.

Заполнение классицистической терминологии новым содержанием особенно заметно у Мерзлякова на примере его требований к построению характера в литературном произведении. Говоря об изображении человека в литературе, Мерзляков, на первый взгляд, исходит из классицистического требования «единства действия». Так, например, анализируя «Россиаду», он спрашивает: «Похож ли сам на себя Алей, с начала явившийся и на конце представленный?»[2] Однако смысл этого тезиса не будет нам понятен, если мы выключим его из всей системы борьбы с эстетикой карамзинистов. Мерзляков отстаивает *объективный* характер изображаемого. Образ героя должен развиваться по своим внутренним законам, а не по произволу автора. «Главное правило требует, чтобы, один раз определив характер, означив положение, уметь вымыслить для себя и для лица драматического и приличный образ суждений, и образ чувствований, и способ выражения, сходственный совершенно с ролею, которую я беру на себя или которую заставляю играть другого». При этом автор подчеркивал, что основой этого правила являются «наблюдения и опыт»[3]. Подобное толкование в первую очередь было направлено против романтической поэтики, и в частности, в русских условиях, против карамзинистов. Субъективизм в изображении характеров, становящихся «зеркалом души автора», был прокламирован Карамзиным, который любил называть окружающую поэта действительность «китайскими тенями моего воображения».

В таких произведениях Карамзина, как «Сиерра-Морена» или «Остров Борнгольм», образы окружающих автора персонажей имеют чисто условный характер. Служа цели характеристики мимолетных настроений авторского «я», они лишены самостоятельного художественного бытия. Наиболее последовательно Карамзин проводил этот принцип в лирических отрыв-

[1] *Мерзляков А. Ф.* Речь о начале, ходе и успехах словесности // ТОЛРС. М., 1819. Ч. XIV. С. 40—43.

[2] *Мерзляков А. Ф.* Россиада... // Амфион. 1815. Июнь. С. 12.

[3] *Мерзляков А. Ф.* Рассуждение о драме вообще // ТОЛРС. 1820. Ч. XVII. С. 92.

ках, по существу стихотворениях в прозе, типа «Цветка на гроб моего Агатона».

Направленные против автора «Россиады» слова Мерзлякова о том, что «герои Хераскова суть эфемеры, или лучше блестящие пылинки Санхониатона, которые сражаются между собою в каком-то темном мире, исчезают и родятся, но через это ни мало не показывают нам ни начала своего, ни сущности, ни качества»[1], в сочетании с требованиями «вероятных, естественных характеров»[2], одновременно звучали как осуждение литературной программы карамзинизма. Не следует, однако, полагать, что Мерзляков осуждал Хераскова за невыдержанность классицистического принципа, требовавшего воплощения в герое одной абстрактной черты характера. Напротив, именно это антиреалистическое построение образа осуждается критиком. Образ Иоанна в поэме Хераскова осуждается, так как в нем собраны все человеческие добродетели, и поэтому характер действующего лица лишен противоречивости. «Справедливо говорит Мармонтель: желая создать героя, делаем урода», — заключает критик. Достоинство того или иного образа определяется не верностью в следовании правилам классицизма, а жизненным правдоподобием. С несколько наивной прямолинейностью, однако, весьма решительно Мерзляков выступает против литературных условностей, нарушающих правдоподобие образа. Осуждая длинные рассуждения действующих лиц, прерывающие изложение событий в поэме Хераскова, он признает правомерность подобного приема только в том случае, если он вытекает из особенностей характера данного героя. Об одном из действующих лиц Илиады он пишет: «По крайней мере, естественно то, что носящий на челе своем морщины трех веков Нестор часто там, где дело не терпит ни малейшего замедления, начинает продолжительный рассказ о том, что он некогда видел или слышал»[3]. С подобных же позиций в «Рассуждении о драме вообще» ставится вопрос о допустимости монологов. Характерная особенность трагедии классицизма — обширный монолог — осуждается Мерзляковым, он высказывается в пользу диалога или полилога как основных драматургических элементов. Фактически это означало перенос центра с разговора на действие. Монолог допустим лишь там, где он связан с сильными переживаниями героя, поскольку не лишено вероятности то, что человек «в сильной страсти говорит сам с собою вслух». Однако и здесь Мерзляков спешит подчеркнуть, что «это не доказательство вероятности монолога, а только некоторое извинение»[4]. С этих позиций осуждается употребление монологов в драмах Ломоносова и Корнеля. Если к этому добавить и весьма сдержанное отношение к Сумарокову, то налицо отрицание всего театра классицизма.

---

[1] *Мерзляков А. Ф.* Россиада... // Амфион. 1815. Май. С. 114—115. Ср. также: «Гомер, Вергилий, Тасс и другие песнопевцы не представляли из действующих лиц поэмы таких китайских теней, без нужды сменяющих друг друга» (Амфион. 1815. Февр. С. 65).

[2] Там же. С. 102.

[3] Там же. Февр. С. 55.

[4] Мерзляков А. Ф. Рассуждение о драме вообще // ТОЛРС. 1820. Ч. XVII С. 99, 101.

Упрощенная, но тем не менее стихийно реалистическая постановка вопроса привела Мерзлякова к основополагающему выводу о том, что достоинство художественного произведения определяется его истинностью: «Где истина, там и красноречие»[1]. В соответствии с этим общий ход развития словесности понимался Мерзляковым как постепенный переход к простоте, верности действительности, прозе: «Все первые предания были стихотворные — напыщенный гиперболический слог равно приличен Востоку и Западу; он означает не страну, но время»[2]. Поэзия соответствует младенческой стадии просвещения, правильность и точность, свойственные прозе, — зрелым потребностям литературы. В другом произведении Мерзляков писал: «Когда с образованием общественного порядка, с умножением взаимных, частных отношений и связей гражданственных разграничились и пределы словесного искусства и обогатился язык, тогда обратились мы к правильности, простоте и точности; тогда слог повествовательный сделался всеобщим и главным, он сделался органом нужд наших, языком закона, судопроизводства, правительства, обращения светского, наук и искусств, языком всех потребностей, частных и общих»[3].

Намеченная Мерзляковым концепция развития литературы сочеталась с многократно подчеркиваемой мыслью о том, что искусство зародилось из требований практической жизни («первый изобретатель искусств есть *нужда*»[4]) и первыми законами имело потребности человеческой практики и плоды человеческих наблюдений. Оставляя в стороне весьма примечательную попытку исторически объяснить происхождение искусства, отметим лишь решительную противоположность позиции Мерзлякова и дворянских романтиков карамзинской школы. Карамзин считал, что «действительность бедна», и призывал «играть в душе своей мечтами». С этих позиций фантазии отводилось решающее место в поэзии:

Ложь, неправда, призрак истины,
Будь теперь моей богинею, —

писал Карамзин. Взгляды Мерзлякова, основанные на знакомых нам уже предпосылках, противоположны. Не отрицая значения вымысла, он отводит ему подчиненное место, отнюдь не рассматривая фантазию как неизбежное условие поэзии. Бесспорно имея в виду теоретические высказывания карамзинистов, Мерзляков писал: «Некоторые почитают вымыслы существом поэзии» — и тут же опровергал подобное утверждение: «Неужели природа сама по себе не довольно прекрасна, не довольно привлекательна без сих нарядов <...> вымысел не есть существенное свойство поэзии, потому, что предмет, живописуемый ею, может быть прекрасен по себе и не иметь никакой нужды в украшении»[5].

---

[1] *Мерзляков А. Ф.* О духе, отличительных свойствах поэзии первобытной и о влиянии, какое имела она на нравы, на благополучие народов: (В публичном собрании Имп. Московского университета, июня 30 дня 1808 г.) М., [1808]. С. 8.

[2] Там же. С. 7.

[3] *Мерзляков А. Ф.* Рассуждение о драме вообще // ТОЛРС. 1820. Ч. XVII. С. 87—88.

[4] Вестник Европы. 1813. № 18 С. 230. (Курсив мой. — *Ю. Л.*)

[5] *Мерзляков А. Ф.* Об изящной словесности... // Там же. С. 243. Любопытно влияние классицистической формулировки об «украшенной природе».

Решительно разойдясь со всей традицией предшествующей и современной ему дворянской поэзии, Мерзляков выдвинул требование национальной самобытности в литературе. В качестве пути к достижению этого он указывал на изучение народного творчества. «Фольклоризм» Мерзлякова имел глубокие основы и зиждился на принципиально иной базе, чем попытки приспособления народной поэзии к нуждам дворянской эстетики, предпринятые Львовым или Нелединским-Мелецким. Не случайно изучение народной песни выдвигалось Мерзляковым в качестве средства борьбы против «изящных безделок», то есть программных жанров карамзинизма. «О! Каких сокровищ мы себя лишаем! Собирая древности чуждые, не хотим заняться теми памятниками, которые оставили знаменитые предки наши! В русских песнях мы бы увидели русские нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть! — в них бы полюбили себя снова и не постыдились так называемого первобытного своего варварства. Но песни наши время от времени теряются, смешиваются, искажаются и, наконец, совсем уступают блестящим безделкам иноземных трубадуров»[1].

По воспоминаниям ученика Мерзлякова М. Б. Чистякова, «Мерзляков советовал» студентам «прислушиваться к народным песням и записывать их: в них вы услышите много народного горя»[2].

Подводя итоги рассмотрению эстетической позиции Мерзлякова, мы можем отметить следующее: программа писателя решительно отличается от всей традиции дворянского искусства XVIII — начала XIX в. — как классицизма, представленного именами Сумарокова и Хераскова, так и предромантизма, связанного с Карамзиным и получившего дальнейшее развитие в романтизме Жуковского. Корни воззрений Мерзлякова уходят в антидворянскую традицию, которая питала пеструю группировку деятелей недворянского лагеря начала XIX в., таких, как Крылов, Востоков, Гнедич и др.

Вместе с тем отрицание Мерзляковым дворянской эстетики носило стихийный характер и не опиралось на революционное мировоззрение, подобное радищевскому. В силу этого, равно как и в силу ряда иных исторических причин, положительная программа Мерзлякова не могла быть целостной. Там, где ему приходилось противопоставлять свои взгляды догмам классицизма, он, не будучи в силах сформулировать четкие реалистические тезисы, обращался к формулировкам романтизма (оценка творчества Державина, теория гения, не признающего правил, в статьях «О талантах стихотворца», «О гении...», «Державин» и даже карамзинский критерий «дамского вкуса» в «Рассуждении о российской словесности в нынешнем ее состоянии»); там же, где речь идет об отталкивании от карамзинизма, он использует классицистические формулировки. Но и в том и в другом случае он не сливается с требованиями соответствующих эстетических школ. Это отчетливо видно на примере его позиции как критика. Суровому суду Мерзлякова подвергаются Херасков и Сумароков, причем одновременно высоко оцениваются Ломоносов и Тредиаковский. С установками «Тилемахиды» последнего Мер-

[1] *Мерзляков А. Ф.* О духе, отличительных свойствах поэзии первобытной... С. 14.
[2] *Чистяков М. Б.* Народное предание о Брюсе // Русская старина. 1871. № 8. С. 167.

злякова сближает стремление ориентироваться в качестве образца не на эпические произведения французского классицизма, а на подлинную античность. Подбор эпических поэм, выделяемых Мерзляковым в качестве образца, показателен: высоко оценен Гомер, но осужден непререкаемый авторитет для классицизма — Вергилий[1]; в качестве образцов выделены Камоэнс, Мильтон, Тредиаковский, но нигде не упомянута «Генриада» Вольтера. Одновременно характерно резко отрицательное отношение к школе Карамзина — Жуковского. Слава «классика» и враждебное отношение к карамзинизму заставили писателей арзамасского лагеря полемически причислять Мерзлякова к группировке «Беседы». На самом деле это неточно. Позиция Шишкова не встречала у Мерзлякова сочувствия. В «Рассуждении о российской словесности в нынешнем ее состоянии» он решительно противопоставил практику «Беседы» творческим установкам Ломоносова и осудил нарочитый архаизм первой. «Возьмите оды и похвальные слова Ломоносова и сравните их с некоторыми нынешними стихотворными славено-российскими сочинениями. — Читая первого, я не могу остановиться ни на одном слове: все мои родные, все кстати, все прекрасны; читая других, останавливаюсь на каждом слове, как на чужом <...> Поздно уж заставлять нас писать языком славянским, осталось искусно им пользоваться. Вот особливое достоинство Ломоносова!» Восклицания же «Язык погиб! Искажен!» Мерзляков ядовито назвал «плодом неумеренного восторга»[2]. Более того, отгородив шишковистов от Ломоносова, Мерзляков сблизил их с карамзинистами, включив и тех и других в группу дворянских дилетантов, авторов «безделок» (кстати, такая же оценка сквозит и в разборе «Россиады», которая для Мерзлякова — не эпос, народный и героический, а «роман»). «В чем мы по сие время продвинулись? — Конечно *во множестве мелких приятных сочинений* (здесь курсив мой. — *Ю. Л.*), вообще в чистоте и наружной изящности слога. Но и в сем случае сомнения не решены еще. *Одни* укоряют других в излишнем употреблении слов славянских и в ослаблении языка, а *другие* в излишнем отступлении от славянских»[3].

Такова позиция «корифея»[4] «Дружеского литературного общества» А. Ф. Мерзлякова, оказавшая непосредственное влияние на развитие литературной программы Кайсарова. Другим центром кружка был Андрей Иванович Тургенев.

Позиция Андрея Тургенева особенно важна для Кайсарова — его ближайшего друга, развивавшегося и формировавшегося под непосредственным влиянием старшего из братьев Тургеневых.

---

[1] Надуманность характера — «вот причина, от чего Эней, столько во всем совершенный, мало нас трогает — опять обращусь к Гомеру, который умел не все черты (имеются в виду положительные. — *Ю. Л.*) брать для своего характера, но только особенные» (Россиада... // Амфион. 1815. Февр. С. 97).

[2] *Мерзляков А. Ф.* Рассуждение о российской словесности... // ТОЛРС. 1812. Ч. I. С. 72—73.

[3] *Мерзляков А. Ф.* Россиада... // Амфион. 1815. Янв. С. 45—46.

[4] Выражение Александра Ивановича Тургенева.

За свою короткую жизнь Андрей Тургенев проделал бурную, стремительную эволюцию. Он сравнительно быстро преодолел масонские влияния, шедшие от Ивана Петровича Тургенева и членов разгромленного кружка московских масонов 1780-х гг. (Лопухины, Невзоров и др.)[1]. Конец 1790-х гг. сделался для Андрея Ивановича временем увлечения творчеством Карамзина. Н. М. Карамзин в эту эпоху еще не был известен как создатель политических концепций («парадоксов», по характеристике Пушкина), проявившихся в статьях «Вестника Европы», а позже в «Записке о древней и новой России» и «Истории». Андрею Тургеневу, впервые познакомившемуся с Карамзиным в качестве читателя «Детского чтения», в эти годы наиболее близки были эстетические принципы, положенные в основу цикла произведений, включенных в две части альманаха «Аглая». В повестях и лирических отрывках «Аглаи» явственно чувствовалась та эстетика подчеркнутого субъективизма, углубления в лирическое «я» героя, связанного с принципиальным отказом от изображения действительности, которая легла позже в основу романтических представлений школы Жуковского. На Тургенева оказала влияние карамзинская субъективистская философия. О воздействии Карамзина на Андрея Тургенева в этот период свидетельствует не только восторженное письмо последнего, адресованное автору «Писем русского путешественника», хотя, видимо, неотправленное[2], но и дошедшие до нас в архиве Жуковского наброски произведений самого Андрея Ивановича. На отдельном листке сохранился отрывок философского рассуждения, доказывающего субъективность человеческих представлений об истине. «По большей части, — пишет Андрей Иванович Тургенев, — вещи кажутся нам хороши или худы не потому, что они таковы в самом деле, но по расположению души нашей»[3]. В другом неопубликованном отрывке, озаглавленном «Здоровая и кривая нога», проводится свойственная Карамзину мысль о субъективности, о бесполезности любых попыток общественного переустройства: «В мире есть два рода людей, которые наслаждаются равно здоровьем и богатством, — но одни счастливы, другие несчастны. — Это происходит большею частию от того, что они под различными точками зрения смотрят на вещи, на людей, на обстоятельства, и от действия, произведенного таким различием на их душу»[4]. Отсюда следовал вывод о необходимости изменения «точки зрения», а не объективной действительности.

Разобранная система воззрений определила и литературные вкусы начинающего писателя: Карамзин становится его оракулом, а «Цветок на гроб моего Агатона» — любимым произведением. К этому же периоду относится знакомство и сближение Андрея Тургенева с В. А. Жуковским. Однако, развитие политических и литературных воззрений Андрея Тургенева на этом не остановилось. К концу 1790-х гг. в творчестве его усиливаются свободо-

[1] Первые печатные переводы Андрея Тургенева выполнены по прямому заданию отца и мало характерны для позиции начинающего писателя.

[2] Письмо опубликовано В. М. Истриным в предисловии ко 2-му тому «Архива бр. Тургеневых».

[3] РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. 320.

[4] Там же.

любивые настроения, пока еще не выходящие за рамки дворянского либерализма левого крыла карамзинистов. К этому времени относится выступление Андрея Тургенева в защиту Карамзина от нападок яростного реакционера и крепостника П. И. Голенищева-Кутузова. Последний в 1799 г. в журнале «Иппокрена» (т. 4, с. 17—31) опубликовал стихотворение, содержащее доносительные намеки на Карамзина, тем более опасные, что правительство в эти годы смотрело на писателя весьма косо.

На стихотворный донос Голенищева-Кутузова Андрей Иванович откликнулся эпиграммой:

О сколь священная религия страдает,
Вольтер ее бранит — Кутузов защищает.

В борьбе с Кутузовым принял участие и Андрей Кайсаров. На это указывает письмо Андрея Тургенева Кайсарову от 29 октября 1799 г.: «Ну уж стихи — славные! Только „Патриот отечества" дурно; может, так:

„Кутузов, истинный и добрый патриот".

Пожалуйста, брат, в „Иппокрену". Место Кутузова поставим „Болтушкин", „Трещоткин" и проч. Ай же Анд<рей> Сергеевич; он и нас с заслуженного места собьет...»[1]

Для формирования литературной программы дворянской революционности не столь уж показательны высказывания, направленные против деятелей оголтелой реакции типа П. И. Голенищева-Кутузова или А. С. Шишкова, поскольку в первые годы XIX в. подобные голоса могли порой раздаваться и из лагеря очень умеренных либералов, зачастую недалеких от правительственного курса. Значительно интереснее в этом смысле критика дворянского *либерализма*, стремление в борьбе с последним выработать принципы собственного мировоззрения. Политическая теория карамзинистов органически вытекала из системы дворянского субъективизма, связана была с определенными этико-эстетическими установками, поэтому борьба за революционную точку зрения была органически связана с требованием пересмотра всей системы дворянской эстетики. Именно поэтому критика литературного карамзинизма, проводившаяся на разных исторических этапах Катениным, Грибоедовым, Пушкиным, Кюхельбекером, Рылеевым и Бестужевым, играла первостепенную роль в формировании идей декабризма. «Преодолеть ограниченность понятий романтизма, защищавшегося последователями карамзинской школы, значило подвергнуть критике субъективный принцип в поэзии, выступить против всякого рода подражательности и тем указать новые пути поэтическому творчеству. Попытка „переоценки ценностей" в романтизме во имя утверждения поэзии народной и „истинно-русской" была сделана в 1824 г. Кюхельбекером»[2]. Деятельность Андрея Кайсарова и Андрея Тургенева в «Дружеском литературном обществе» представляет один из первых шагов по этому пути.

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 2644. Текст стихотворения А. С. Кайсарова неизвестен.

[2] *Мордовченко Н. И.* Тезисы диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук, пункт 7-й.

Критика карамзинской школы в первые годы XIX в. могла вестись с разных позиций. Карамзина критиковали деятели дворянской реакции из шишковско-растопчинского лагеря, находившие, подобно П. И. Голенищеву-Кутузову, даже в «Марфе Посаднице» «якобинский яд». Это была критика *дворянского либерализма* с позиции *дворянской реакции*. Однако, когда мы говорим об отрицательном отношении к Карамзину со стороны Крылова, Востокова, Мерзлякова и позже Надеждина — людей, весьма разнообразных по своим общественно-литературным воззрениям, но сходившихся в неприятии творческих принципов Карамзина, — перед нами явление другого порядка: критика *дворянской* эстетики с позиции враждебного дворянству *стихийно-демократического мировоззрения*. Авторы этой группы не могли подняться до осуждения политической программы Карамзина, поскольку, как правило, сами не имели не только революционных, но и вообще сколь-либо четких положительных политических воззрений, однако, органически не принимая дворянской эстетики, они осуждали карамзинистов за салонный, антинародный и оторванный от жизни характер творчества.

Для формирования третьей позиции, с которой возможна была критика карамзинской школы, — позиции декабризма — эта вторая точка зрения сыграла существенную роль. Для того чтобы осудить *дворянский либерализм* с позиции *дворянской революционности*, мало было абстрактного романтического требования свободы личности. Необходимо было, преодолев в какой-то мере узкий субъективизм, перенести акцент с вопроса свободы мятежной индивидуальности на требование освобождения общества, на проблему народа и народности. Осуждение карамзинизма с позиций формирующейся дворянской революционности было делом исторически сложным, поскольку большинство литературных деятелей декабризма прошли через увлечение субъективистским романтизмом Жуковского и, так и не преодолев до конца романтизма, могли всегда найти в собственном творчестве черты, сходные с осуждаемыми ими принципами карамзинской школы. Не случайно отрицательное отношение к последней неизменно связано со степенью политической зрелости того или иного деятеля, с усилением реалистических элементов в эстетике и демократических в общественной позиции. В этом «заражении» передовой дворянской интеллигенции демократическими идеями, составлявшем характерную особенность формирования дворянской революционности, критика второго типа, сама не являясь революционной, сыграла выдающуюся роль. С этой точки зрения сближение Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова в начале 1800-х гг. с Мерзляковым — явление столь же показательное, как дружба с Жуковским в период увлечения Карамзиным.

При знакомстве Жуковского с Мерзляковым довольно скоро выяснилась противоположность их позиций. Хотя приятельские отношения между Мерзляковым и Жуковским сохранялись довольно долго, подлинной близости между ними не было. В начале 1806 г. Жуковский признавался в письме Александру Ивановичу Тургеневу: «Мне кажется, что Мерзляков (хотя с ним мне всегда было весело быть вместе, потому что он человек необыкновенный) не был со мною таков, каким бы я желал его видеть; например между нами не было искренности: если мы говорили друг с другом, то вообще всегда

говорили о посторонних материях; одним словом мне всегда казалось, что я мало для него значу, и от этого он мало на меня имел влияния. Может быть, этому причиною и то, что он не хотел иметь влияния <...> Между нами не было ничего общего»[1]. Резкий инцидент, разыгравшийся между приятелями, по сообщению М. А. Дмитриева, несколькими годами позже[2], по сути был подготовлен глубокой противоположностью творческих установок.

Если еще в октябре 1800 г. воззрения друзей были настолько близки, что они замышляли издать свои произведения общим сборником за подписью «М. Ж. Т.» (Мерзляков, Жуковский, Тургенев), то около 20 декабря 1800 г. произошел разговор о путях развития русской поэзии, разделивший дружеский кружок на два лагеря. Пробным камнем явилось отношение к Кайсарову.

Зафиксированные в дневнике Андрея Тургенева споры легли в основу речей последнего в «Дружеском литературном обществе». Литературная программа Андрея Тургенева, в том виде, в каком она выступает перед нами по его речам на заседаниях «Дружеского литературного общества», несет отпечаток влияния Мерзлякова, однако не равняется воззрениям последнего, по целому ряду основных принципов приближаясь к позднейшим высказываниям декабристов.

В основе высказываний Андрея Тургенева — требование «переоценки ценностей», решительное осуждение всей традиции предшествующей и современной ему дворянской литературы. Литература, по мнению Тургенева, должна быть выразителем «народного духа», должна быть связана с народом и носить печать национального своеобразия. Отрицательное отношение к дворянской литературной традиции заставляет Андрея Тургенева поставить под сомнение сам факт существования литературы в России[3].

«О русской литературе! — начал Андрей Тургенев одну из своих речей. — Можем ли мы употребить это слово? Не одно ли это пустое название, тогда когда вещи не существует. Есть литература французская, немецкая, английская, но есть ли русская? Читай английских поэтов — ты увидишь дух англичан; то же и с французскими и немецкими: по произведениям их можно судить о характере их нации. Но что можно узнать о русском народе, читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова, Карамзина. В одном только Державине очень малые оттенки русского, в прекрасной повести

---

[1] Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 21.

[2] См.: *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1854. С. 110—111.

[3] Это и некоторые другие положения подсказали исследователям (А. А. Фомин и др.) соблазнительную параллель между воззрениями Андрея Тургенева и Белинского в «Литературных мечтаниях». Однако подобное сравнение, при всей его увлекательности и видимой обоснованности, следует признать антиисторичным: Андрей Тургенев стоял у порога литературной программы дворянских революционеров; «Литературные мечтания» — первый шаг на пути формирования революционно-демократической эстетики. Сам же лозунг — «У нас нет литературы!» — встречался и до Белинского (Пушкин, Веневитинов и др.) и может быть оценен только в связи со всей позицией того или иного критика.

Карамзина „Илья Муромец" также увидишь русское название, русские стопы (у Фомина ошибочно „стоны". Исправляем по рукописи. — *Ю. Л.*) и больше ничего»[1].

Подражательной дворянской литературе противопоставляется народное творчество как подлинный выразитель «духа народа»: «Теперь только в одних сказках и песнях находим мы остатки русской литературы, в сих-то драгоценных остатках, а особливо в песнях, находим мы чувство и характер нашего народа <...> В большей части из них, особливо в печальных, встречается такая пленяющая унылость, такие красоты чувств, которых тщетно стали бы искать в новейших *подражательных* (курсив мой. — *Ю. Л.*) произведениях нашей литературы»[2].

Однако Тургенев не считает, что простое обращение дворянских писателей к народному творчеству может способствовать появлению «у нас истинно русской литературы». Весьма глубока и плодотворна мысль молодого критика о том, что причина коренится в самом порядке жизни и, следовательно, для оздоровления литературы одних литературных перемен недостаточно. «Для сего нужно, чтобы мы в обычаях и в образе жизни и в характере обратились к русской оригинальности, от которой удаляемся ежедневно...»[3]

В центре речи Андрея Тургенева — осуждение литературного направления Карамзина. Упреки, высказанные оратором, весьма показательны, поскольку близко напоминают позднейшую критику карамзинской школы декабристами. Отрицательно оценивается приверженность писателей карамзинской школы к мелочным темам и жанрам, отсутствие оригинальности и национальной самобытности, узкий, аристократический характер творчества, связанный с установкой на «развлекательность» и отказом от общественной тематики. Андрей Тургенев полагает, что в начинающемся столетии «будет более превосходных писателей в мелочах и что виноват в этом Карамзин». И далее: «Скажу откровенно: он более вреден, нежели полезен нашей литературе <...> Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они предметами важнейшими, писали бы оригинальнее»[4]. Карамзину противопоставляется (это интересно, если вспомнить позицию Мерзлякова) Ломоносов, как образец писателя-гражданина. «Мы имели Петра Великого, но такой человек для русской литературы должен быть теперь второй Ломоносов, а не Карамзин. Напитанный русскою оригинальностью, одаренный творческим даром должен дать другой оборот нашей литературе; иначе дерево увянет, покрывшись приятными цветами, но не показав ни широких листьев, ни сочных, питательных плодов»[5].

---

[1] *Фомин А. А.* Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров // Русский библиофил. 1912. № 1. С. 26.

[2] Там же. С. 26—29.

[3] Там же. С. 29.

[4] Там же.

[5] Там же. С. 30.

Отрицательно относясь к карамзинской школе, Андрей Тургенев не являлся одновременно и сторонником архаического классицизма. В этой же речи он резко осудил Сумарокова и его литературную школу за то, что они «вместо того, чтобы вникать в характер российского народа, в дух российской древности и потом в частные характеры наших древних героев, вместо того, чтобы показать нам, по крайней мере, на театре что-нибудь великое, важное и притом истинно-русское, нашли, что гораздо легче, изобразив на декорациях вид Москвы и Кремля, заставить действовать каких-то нежных, красноречивых французов, назвав их Труворами и даже Мининым и Пожарским и пр.»[1].

Стремление к народности, критический взгляд на дворянскую культуру — следствие воздействия демократических идей — соединялось у Андрея Тургенева с традицией дворянских тираноборческих настроений, которые в конце XVIII в. были представлены в литературе Княжниным, в общественной жизни — организациями типа смоленского кружка Каховских и представителем которых в «Дружеском обществе» был в эти годы Воейков. Неслучайно поэтому «новый Ломоносов», которого призывал Тургенев на смену Карамзину в речи «О русской литературе», должен был соединить одическую торжественность стиля с гражданственной, тираноборческой патетикой. В этом отношении характерно выступление Андрея Тургенева, которое оратор посвятил осуждению традиционной оды, прославляющей деяния царей.

«Отчего поэты, законодатели смертных, изъяснители таинств божества, теперь ничто иное, как подлые любимцы пышности, рабы суетности и тщеславия?» — спрашивал Тургенев[2]. Резко осуждались не только торжественные оды Хераскова и Державина, но даже и Ломоносова. «Смею сказать, что великий Ломоносов, творец Российской поэзии, истощая все свои дарования на похвалы монархам, много потерял для славы своей. Бессмертная муза его должна бы избрать и предметы столь же бессмертные, как она сама в глазах беспристрастного потомства...»[3] Попытку практически соединить торжественность формы с гражданственностью содержания Андрей Тургенев предпринял в стихотворении «К отечеству», которое является одним из наиболее ярких предвестий декабристской поэзии[4]. Возможно, с пародированием торжественной оды («Не возобновляй, — писал Тургенев в цитированной речи, — ежегодно торжественных песней на день их [царей] рождения, тезоименитства, вступления на престол»[5]) связан отмеченный Рогожиным факт написания Андреем Тургеневым «Оды на день моего

---

[1] *Фомин А. А.* Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров // Русский библиофил. 1912. № 1. С. 26.

[2] Собрание речей... Л. 72 об.

[3] Там же. Л. 73.

[4] См.: *Лотман Ю. М.* Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в «Дружеском литературном обществе» // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 372—389. Аналогичной попыткой являлось создание Мерзляковым цикла переводов из Тиртея.

[5] Собрание речей... Л. 73 об.

рождения». Ода не была одобрена московской цензурой, и текст ее нам неизвестен[1].

Именно в этой связи следует рассматривать бурное увлечение тираноборческой поэзией молодого Шиллера, пережитое Андреем Тургеневым в это время.

Таковы были творческие установки той группы членов «Общества», которая оказала непосредственное влияние на формирование воззрений Андрея Сергеевича Кайсарова.

При известном отличии в воззрениях Мерзлякова, Андрея Тургенева, Андрея Кайсарова и Воейкова, объединяющим было стремление придать заседаниям политический, общественно-воспитательный характер, отрицательное отношение к карамзинизму и требование перестройки русской литературы на началах народности. Позиция эта встретила сопротивление другой группы членов.

Андрей Тургенев имел все основания утверждать, что споры по вопросам политики «нарушают согласие нашего собрания»[2]. В самом деле, часть членов, разделявшая политико-философские воззрения Карамзина, не замедлила перейти в контрнаступление.

26 января, на следующем после выступления Воейкова заседании, произнес речь Михаил Кайсаров. Если Мерзляков, Андрей Тургенев, Воейков в своих речах привлекли внимание членов «Общества» к насущным вопросам политической и литературной жизни, к патриотическому служению общему благу, то М. Кайсаров с идеалистических позиций утверждал субъективность человеческих представлений, делая из этого вывод о бесцельности всякого рода общественной деятельности. Считая, что «удовольствия существенные в сравнении с теми благами, которыми воображение заставляет нас наслаждаться», не имеют никакой цены, М. Кайсаров отказывался признавать значение общественной деятельности: «Если бы я хотел входить в дальнейшие исследования, если бы хотел коснуться общественных постановлений, коснуться правил религии, тогда стал бы я утверждать систему Беркилаеву[3], который говорит, что все видимое, весь мир, все миры и мы все ничто иное как мечта»[4].

Мысли, высказываемые М. Кайсаровым, связаны с широко распространившейся в дворянской литературе тех лет тенденцией. В последние годы XVIII в., столь богатые революционными событиями в России[5] и на Западе и, с другой стороны, сопровождавшиеся усилением правительственной реакции, писатели карамзинского направления быстро эволюционировали вправо, в лагерь умеренного консерватизма. Одной из сторон этой эволюции было

---

[1] Ср. высказывание Андрея Кайсарова о рептильном поэте Тодорском, прославляющем Салтыкова: «Наконец сей лунь, во бранях поседелый, нашел стихотворца, в пьянстве состарившегося, достойно прославляющего его подвиги. Виват нашему просвещению!» (Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 59 об.).

[2] Собрание речей... Л. 41.

[3] То есть Беркли.

[4] Собрание речей... Л. 35.

[5] Укажем хотя бы на массовые выступления крестьян в 1796—1797 гг., которые Поздеев в письме Лопухину охарактеризовал как «готовящийся бунт, весьма похожий на Пугачевский» (*Де-Пуле М.* Крестьянское движение при императоре Павле // Русский архив. 1869. № 2. С. 531.

усиление субъективистских элементов в философии, сближение с агностическими воззрениями кружка А. М. Кутузова 1780-х гг. Сближение это четко обозначилось в «Аглае» и в дальнейшем, в годы павловского царствования, окончательно приобрело философскую определенность.

«Как не обманываться, — спрашивал Карамзин в статье «О заблуждениях», — наши понятия несправедливы, мнения неосновательны, знания неверны»[1]. Подобные рассуждения проходят через все издание. Впечатления человека определяются не объективными свойствами предметов, а субъективным состоянием наблюдателя: «Внутреннее расположение сердца изливается на наружные предметы»[2]. В записной книжке Карамзина за те же годы находим: «Время — это лишь последовательность наших мыслей»[3].

Из подобных предпосылок следовали совершенно определенные общественно-политические выводы. Их высказал Карамзин еще в послании «К Дмитриеву» (1794). Это — убеждение в бессмысленности попыток разумного переустройства мира и отказ от общественной деятельности. Внимание человека должно быть направлено не на объективную действительность, а лишь на внутренние, субъективные переживания[4].

Подобные взгляды не могли встретить сочувствия у людей типа Андрея Тургенева или Мерзлякова, относившихся в это время к позиции Карамзина резко отрицательно. Тем более декларативный характер приобретало выступление Жуковского 24 февраля 1801 г., пропагандирующее программные принципы Карамзина и пересыпанное цитатами из его произведений. Свое выступление Жуковский начал с пространной цитаты из послания Карамзина «К Дмитриеву». В дальнейшем Жуковский развивал центральные положения предисловия к альманаху «Аглая». Достаточно сравнить начало обоих документов.

У Жуковского: «Мы живем в печальном мире и должны — всякой в свою очередь — искать горести, назначенные нам судьбою...»

У Карамзина: «Мы живем в печальном мире, но кто имеет друга, тот пади на колени и благодари! Мы живем в печальном мире, где часто страдает невинность, где гибнет добродетель; но человек имеет утешение — любить — сладкое утешение!»

Ср.:

> Мы живем в печальном мире,
> Всякой горе испытал,
> В бедном рубище, в порфире...[5]

Выступление Жуковского не осталось без ответа. Интересный спор разгорелся вокруг понимания дружбы. Жуковский, с идеалистических позиций,

---

[1] *Карамзин Н. М.* О заблуждениях // Пантеон иностранной словесности. 1798. Ч. I. С. 225.

[2] Ленвиль и Фанни // Там же. С. 157.

[3] *Карамзин Н. М.* Неизд. соч. и переписка. СПб., 1862. С. 199 (подлинник на фр. яз.).

[4] Взгляды Карамзина переживали эволюцию. В данном случае мы имеем в виду лишь его мировоззрение 1793—1801 гг.

[5] *Карамзин Н. М.* Веселый час // Соч. М., 1803. Т. 1. С. 35.

считая жертву основой морали (а за этим стояло убеждение в исконной противоположности общих и частных интересов), отказывался признать дружбой любой союз, не основанный на «бескорыстном» самопожертвовании, отказе от собственных «эгоистических» интересов. «Вы, конечно, согласитесь со мною, — обращался он к членам «Общества», — что человек соединен родством, данным ему от природы, а может быть еще больше своими *собственными выгодами* <...> но согласитесь также, что сей союз, сколь впрочем он ни силен, *не может называться именем дружбы* (курсив мой. — *Ю. Л.*)»[1].

Против этого выступил Мерзляков, придерживавшийся, возможно не достаточно осознанно, материалистических представлений о пользе как основе морали. «Польза, — говорил он, — тот магнит, который собрал с концов мира рассеянное человечество <...> Польза, друзья мои, то существо, которое соединило нас здесь. — Мы одевали его, по обычаю всего света, в разные пышные одеяния, давали ему многоразличные имена, поклонялись ему под видом дружбы, под видом братства и проч. ... Может быть от того самого терял он свою силу. Полно мечтать о будущем! Перестанем искать причину нашей холодности или причину нашей привязанности к собранию в отдаленных облаках, рождаемых воображением нашим — что ж делать? *Надобно раскрыть пользу, которую всякий из нас надеется получить от собрания* (курсив мой. — *Ю. Л.*)»[2]. Перед нами характерное противоречие. Там, где Мерзляков стремится теоретически оформить свое бунтарское неприятие действительности, он обращается к Шиллеру (см. ниже) — радищевская последовательность, соединявшая материализм и революционность, ему не по плечу. В борьбе же с карамзинизмом, отрицанием общественного служения, художественным субъективизмом он обращается к аргументам из арсенала материалистической философии XVIII в. Позиции Мерзлякова и Андрея Тургенева в решении философских вопросов расходились — первый испытал более сильное влияние просветительской философии XVIII в. Однако разделяемая Жуковским карамзинская проповедь общественной пассивности была одинаково неприемлема и для того и для другого. Откровенную полемику с Жуковским представляло также выступление Андрея Тургенева, видимо, на заседании 22 марта[3], прямо направленное на развенчание Карамзина и являющееся продолжением устного спора, засвидетельствованного дневником Андрея Тургенева.

Борьба в «Обществе» усложнилась выступлениями Родзянко. Если Андрей Тургенев считал, что о религии «здесь, по моему мнению, никогда бы упоминать не должно»[4], и даже Михаил Кайсаров со скептических позиций выражал сомнение в бессмертии души и загробной жизни, то Родзянко был настроен откровенно мистически. Об отношении к нему ведущей группы членов свидетельствует высказывание А. Кайсарова в письме Андрею Ива-

---

[1] Собрание речей... Л. 45.

[2] Собрание речей... Л. 53—53 об.

[3] О датировке см.: *Фомин А. А.* Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров // Русский библиофил. 1912. № 1. С. 26.

[4] Собрание речей... Л. 41.

новичу: «Как бы ты думал, о чем мне случилось говорить с Родзянкою? О боге. Он много в[рал] и поэтому он не нашего поля ягода»[1].

Не остался в стороне от развернувшейся в «Обществе» борьбы и Андрей Кайсаров.

Дошедший до нас сборник речей сохранил три текста выступлений Андрея Сергеевича Кайсарова на заседаниях «Общества»[2]. Тексты речей Кайсарова позволяют проследить, как созревали, определялись его воззрения. Первая речь Кайсарова, произнесенная 9 февраля 1801 г., хотя и содержала призыв к готовности «умереть за добродетель», но в общем еще не выходила за рамки отвлеченного рассуждения на моралистическую тему. Вторая речь Кайсарова — «О том, что мнение о славе зависит от образа воспитания» — свидетельствует, что резкие тираноборческие выступления не прошли для него бесследно. Она приобретала особую остроту благодаря тому, что была произнесена 29 марта 1801 г., то есть вскоре после получения известия из Петербурга об убийстве императора Павла. В этих условиях выпады оратора против тиранов приобретали особый, вполне конкретный смысл. «Если развернуть, любезные друзья, книгу бытий мира, — говорил Кайсаров, — если прочесть имена всех тех, кого свет признает великими, то едва ли не найдем в том числе десятую часть, по справедливости заслуживающих такое имя, едва ли история прочих не будет написана кровию тысяч несчастных жертв, подпавших безумному их честолюбию. И сии-то кровожаждущие тигры почитаются великими»[3]. Весьма любопытна высказанная здесь Кайсаровым точка зрения на литературу. Задача поэзии состоит в воспитании у читателя гражданских чувств. Поэт избирает в истории «высокие» сюжеты, достойные «поревнования» читателей. Таков же подход Кайсарова в эти годы к истории. «Если б историк выводил на сцену одну только истинную добродетель и лестную ее награду, невольным бы образом юноша затверживал имена истинно великие, невольным бы образом возрождался в нем огнь поревнования, который вместе с летами больше и больше согревал кровь его»[4]. С этим связано идеалистическое преувеличение общественного значения литературы, характерное для гражданского романтизма. Однако с этим же связана проповедь патриотической, воспитательной поэзии. Кайсаров обрушивается на льстивую литературу, прославляющую тиранов, внушающую людям неправильные представления о добре и зле, как на основную причину общественной несправедливости. Желание славы, направляющее, по мнению Кайсарова, стремления людей, имело бы иной характер, «если бы поэты не употребляли во зло дара своего, если бы они не прославляли плачевного разорения целых

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 46. Конъектура В. М. Истрина. Возможно и другое чтение: «в[ерит]».

[2] Напомним, что сборник сохранил не все речи, произнесенные в «Обществе», а только выступления «чередных» ораторов, открывавших заседания. Так, Андрей Тургенев во время споров об обязанностях «первого члена» упоминал об еще одном выступлении Кайсарова, нам неизвестном.

[3] Собрание речей... Л. 68 об.

[4] Там же. Л. 69—69 об.

империй, не прославляли бы того пламени, которым пожжены несчастные жители целых деревень»[1].

В разбираемой нами речи весьма сильно чувствуется влияние Андрея Тургенева, с которым Кайсаров встречался и беседовал ежедневно. Видимо, не случайно, что вслед за речью Кайсарова, нападающей на поэтов, «употребляющих во зло дар свой», Андрей Тургенев произнес речь «О поэзии и о злоупотреблении оной», направленную против заказных восторгов одических поэтов.

Особенно интересна последняя из известных нам речей Кайсарова, в которой он вмешался в разгоревшуюся в «Обществе» полемику между Жуковским и Мерзляковым.

На одном из заседаний «Общества» Жуковский произнес речь «О счастии», в которой с обычных карамзинистских позиций доказывал субъективность любых представлений о счастье и, следовательно, бесполезность стремления к общественным переменам.

Свое выступление Жуковский начал с мрачной картины повсеместного торжества зла: «Куда ни обратишь унылый взор, повсюду видишь слезы, лиющиеся от горести, всюду слышишь укоризны, отчаяние против угнетающего рока»[2]. Но это вступление нужно оратору только затем, чтобы опровергнуть необходимость общественных перемен. Все, находящееся вне человека, объявляется призрачным. Действительность — «одни фантомы, которых страшный образ приводил меня в трепет и ужасал мое воображение»[3]. Человек должен искать свое счастье не в реальных условиях жизни, а «во внутреннем расположении своей души»: «Кто препятствует мне сделать себя независимым от людей, посреди которых рождаются беды и горести, кто препятствует мне, не отделяясь совершенно от мира, отделить от него свое счастие, очертить около себя круг, который бы житейские беды преступить не дерзали; мое счастье во мне, пускай оно во мне и останется, и оно будет едино — несмотря на все превратности, которые принужден буду я испытывать»[4]. Общий вывод всей речи был таков: страдания людей объясняются не объективными, а субъективными причинами и, следовательно, именно эти последние и подлежат изменению.

Выступление Жуковского вызвало резкую отповедь Мерзлякова: вскоре после этого он произнес одну из самых заостренных своих речей, в которой, открыто полемизируя с Жуковским, доказывал, что для бесправного и оскорбляемого человека необходимым условием счастья является изменение *реального* характера его существования. В речи «О трудностях учения», повествуя о препятствиях, стоящих на пути стремящегося к знанию разночинца, и указав на галломанию, презрение дворянства к России вообще и русской науке в частности, Мерзляков особое внимание обратил на бесправность и материальную необеспеченность талантливых выходцев из народа. «Величай-

[1] Собрание речей... Л. 69.
[2] Там же. Л. 83—83 об.
[3] Там же. Л. 87.
[4] Там же. Л. 86.

шие гении умирают при самом своем рождении. Бедность, зависть, *образ правления* (курсив мой. — *Ю. Л.*) — все вооружается против него — нельзя вместе думать о науках и о насущном хлебе; молодой человек берется за книгу и видит подле себя голодную мать и умирающих братьев на руках ее <...> Здесь видите вы молодого художника; он не имеет покровителей; блистательные ранние успехи его возбуждают внимание! Зависть от него требует всего того, чего сама не имеет; своенравный вельможа делает раба из его гения»[1].

Мерзляков пошел в этой речи дальше, чем обычно, высказавшись не только против дворянского презрения к национальной культуре и беззащитного положения художника-разночинца, но и указав на «образ правления» как причину слабых успехов искусств. Далее он разъяснил свою мысль еще более определенно: «Я не хочу говорить о правлении: еще лежат на российском пегасе тяжелые камни, не позволяющие ему возвыситься». Смысл последних высказываний раскрывается из сравнения со статьей Мерзлякова «О духе, отличительных свойствах поэзии первобытной...», в которой он ставит успехи античного искусства в зависимость от республиканского правления Древней Греции[2].

Речь Мерзлякова кончалась пессимистической оценкой положения человека науки в России. «Сказать по правде, мы живем в такое время, что плод, сорванный с дерева просвещения, слишком стал невкусен. Что ныне героизм? Что добродетель? Приобретай ее потом, кровию и жизнию и после за то, что приобрел ее, плати также потом, кровию и жизнию»[3].

Весь ход рассуждений Мерзлякова был объективно противоположен идеалистической концепции Жуковского, однако оратор вступил и в прямую полемику с последним. «Скажут мне, что он [угнетенный бедностью гений] *может находить сам в себе утешение* (курсив мой. — *Ю. Л.*). Бедное утешение пресмыкаться между тысячью сомнений, находить везде мертвую ужасную толпу, которая убивает душу, видеть повсюду предрассудки <...> Бедное утешение знать свою цену и унижаться перед нестоящими»[4].

Выступление Мерзлякова, явно полемичное против одного из важнейших принципов мировоззрения карамзинистов, вызвало отпор со стороны единомышленников Жуковского. Свою солидарность с последним в полемически заостренной форме выразил Александр Тургенев в речи «О том, что люди по большей части сами виновники своих несчастий и неудовольствий, случающихся в жизни». «Человек, ежели ты несчастлив, обвиняй самого себя», — говорил Жуковский[5]. «Кто источник зла, разлитого во вселенной?» — спрашивал Александр Тургенев и отвечал: «Ты сам, в тебе источник зла, испорченная воля твоя, *твое воображение* (курсив мой. — *Ю. Л.*)»[6].

---

[1] Собрание речей... Л. 106.
[2] *Мерзляков А. Ф.* О духе, отличительных свойствах поэзии первобытной... С. 16.
[3] Собрание речей... Л. 106 об.
[4] Там же.
[5] Там же. Л. 84.
[6] Собрание речей... Л. 115 об.

Андрей Кайсаров не остался в стороне от разгоревшейся и принявшей принципиальный характер полемики. Произнесенная Кайсаровым 1 июня речь имела явный характер защиты Мерзлякова. Тема и заглавие ее, видимо, определены направлением прений вокруг выступления последнего. Резкое осуждение окружающего, мрачный тон и пессимистическая концовка речи Мерзлякова, видимо, навлекли на него обвинение в «мизантропии». Это, по всей вероятности, обусловило заглавие речи Кайсарова «О том, что мизантропов несправедливо почитают бесчеловечными». Несправедливость, считает Кайсаров, не есть субъективное представление, рождающееся в «сердце желчного человека», и, следовательно, осуждение действительности есть признак любви, а не ненависти к людям. Мизантроп «родился с нежным сердцем, был готов любить ближних, как братий своих, но видя там угнетенную невинность, там достоинство ненагражденное, видя добродетель стенящую под тяжкими цепями тиранства, гения от нищеты умирающего (намек на содержание речи Мерзлякова. — *Ю. Л.*), одним словом, видя все ужасы, какие только может производить злоба людей, — он начинает опасаться их»[1]. Выступление Кайсарова, вероятно, было поддержано Андреем Тургеневым. По крайней мере, в его бумагах этих лет мы находим черновой отрывок стихотворения, и по теме, и по ходу мысли совпадающего с речью Кайсарова. Не лишено вероятности предположение, что Андрей Тургенев читал его на том же заседании.

Ты добр! Но пред тобой несчастный, угнетенный,
Невинный к небесам возносит тяжкой стон,
Злодей, и в почести, и в знатность облеченный,
Сияющий в крестах, и веру, и закон
В орудие злодейств своих преобращает.
Нет правосудия, защиты нет нигде,
Земные боги спят в беспечности...
И самый гром небес на время умолкает.
Ищи же счастья здесь, о добрый друг людей,
Или его себе[2].

Рассмотренный нами спор имел большое принципиальное значение — он вырабатывал *характер отношения начинающих писателей к действительности.* В юношеских спорах определялись основные тенденции мировоззрения — уход от действительности в мир субъективных переживаний у Жуковского и активное, критическое отношение к окружающему у Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова.

Вся история полемики в «Дружеском литературном обществе» вокруг творческих принципов Карамзина объясняет смысл написанного Андреем Кайсаровым литературного памфлета «Свадьба Карамзина»[3]. Созданный в

[1] Собрание речей... Л. 119 об.—120.

[2] Архив В. А. Жуковского. Оп. 2. Ед. хр. 330, листы не нумерованы. Рукопись представляет необработанный черновой набросок. Седьмой стих обрывается авторским многоточием.

[3] «Свадьба Карамзина» опубликована А. Д. Галаховым по рукописной копии начала XIX в. в «Русской старине» (1876. Сент. С. 176—181), а по автографу — А. А. Фоминым в «Русском библиофиле» (1912. Янв. С. 29—37).

1801 г. по поводу женитьбы Карамзина на Елизавете Ивановне Протасовой, памфлет этот высмеивал литературные принципы карамзинизма путем пародийного их снижения. Весь отрывок составлен из переделок или прямых цитат, извлеченных из произведений Карамзина. Комический эффект достигался при помощи конкретизации условно-перифрастических оборотов из произведений Карамзина в конкретно-бытовом плане. Условный авторский образ лирики Карамзина снижался сопоставлением с биографически известной всему кружку и вполне реальной личностью самого писателя. Например:

«По окончании же слова жрец вопросил: „Кроткий юноша! Хочешь ли ты соединить свою судьбу с судьбой этой девицы". На что К<арамзин> отвечал:

„Чином я не генерал
И богатства не имею,
Но любить тебя умею"».

Ср. с текстом Карамзина:

Лизе суженый сказал:
Чином я не генерал... *и т. д.*

Подстановка на место абстрактного образа «суженого» самого автора придавала всему стихотворению комический смысл. Это был тот же прием осмеяния карамзинских штампов при помощи сравнения их с реальными фактами действительности, который в социально значительно более заостренной форме использовал еще Крылов в «Каибе».

Далее Кайсаров составил из материала карамзинских цитат церковную службу, причем, видимо не случайно, использовал именно те программные высказывания Карамзина, которые пропагандировал Жуковский на заседании «Дружеского литературного общества». Соединение карамзинских оборотов со славянизмами церковной службы носило также пародийный характер: «Абие малая ектения, Грации приносят со слезами чашу чувствительности», «По сем жрец ведет их вокруг жертвенника и поет настоящие тропари, а за ним и оба лика».

По своему характеру «Свадьба Карамзина» должна быть сопоставлена с близким в хронологическом отношении произведением — «Новым Стерном» Шаховского. Она закономерно возникла на почве критики карамзинизма частью членов «Дружеского литературного общества».

Памфлет Кайсарова пользовался популярностью. Андрей Тургенев писал автору из Петербурга: «Забыл было написать тебе, в какой здесь vogue „Свадьба К.". В коллегии при мне два человека о ней поссорились, за то, что один обещал им дать ее списать и всякой хотел иметь прежде. Ей, ей так»[1].

Еще до отъезда Андрея Ивановича в Петербург друзья распространяли произведение в Москве. Кайсаров писал в записке Андрею Ивановичу: «Попроси у Александра „Свадьбу К." и пришли пожалуйста. Она мне очень нужна, просит Магницкий»[2]. Рукопись все время была на руках, и поймать

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 840.
[2] Там же. Ед. хр. 50. Л. 184 об.

ее даже автору было трудно. В другой записке Кайсаров замечает: «О свадьбе К<арамзина> — третий раз прошу»[1].

Возглавленная Андреем Тургеневым группа членов «Общества» играла в нем руководящую роль. Несмотря на сопротивление Жуковского, Александра Тургенева и мистически настроенного С. Родзянко, характер заседаний определялся не их воззрениями, а гражданственно-патриотической программой Андрея Тургенева, Мерзлякова и Андрея Кайсарова. Особенно ярко это проявилось во время торжественного заседания, посвященного отечеству. Пункт III «Законов» «Общества» предусматривал, что «всякие три месяца должны быть экстраординарные собрания или торжества. Каждый из сих праздников может носить на себе особенное имя — иной посвящается отечеству, другой которой-нибудь из добродетелей, третий напр. поэзии...»[2].

Речи, произносимые на торжественных заседаниях, не попали в тетрадь, хранящуюся в Тургеневском архиве, и остались нам неизвестны. В настоящее время мы можем установить только одно заседание — посвященное отечеству. Долгое время единственным источником наших знаний об этом событии являлась выдержка из письма Андрея Тургенева: «Вспомните этот холодный еще сумрачный апрельский день и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова[3], стихи Мерзлякова, вспомните себя, и если хотите, и речь мою»[4].

А между тем участники «Общества» неизменно обращались к этому торжеству как к наиболее яркой странице в истории дружеского объединения. В речи на последнем заседании, подводя итог деятельности «Общества», Андрей Тургенев из всех встреч выделил именно эту. «Неужели, — говорил он, — когда-нибудь забудем мы тот радостный день, в который детскими руками сыпали мы на алтарь отечества нежные цветы усердия, любви и преданности»[5].

Цитированное письмо Андрея Тургенева передает общую атмосферу заседания. Характерно, что с чтением речей и стихотворений на нем выступали представители только одного крыла: Мерзляков, Андрей Кайсаров и Андрей Тургенев. Гимн Кайсарова, к сожалению, не сохранился, стихотворение Мерзлякова — вероятно, «Слава». Считавшаяся же утерянной речь Андрея Тургенева обнаружена нами в архиве Жуковского. Знакомство с ней позволяет восстановить восторженную гражданственно-патриотическую атмосферу, царившую в торжественном собрании. Пламенная проповедь любви к родине сливалась у Андрея Тургенева с политическим вольномыслием. Патриотизм Андрея Тургенева был окрашен в свободолюбивые тона. «Не им ли, — вопрошал оратор, — одушевлены были величайшие герои древности, которых память, и поныне для нас священная, подобно чистому пламени воспламеняет нас к великим делам, заставляет презирать смерть, дабы или же здесь же

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 188.

[2] Сб. Общества любителей российской словесности на 1891 г. С. 10.

[3] Это произведение нам неизвестно.

[4] *Истрин В. М.* «Дружеское литературное общество» 1801 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1919. № 8. С. 277.

[5] Архив В. А. Жуковского. Оп. 2. Ед. хр. 326. Л. 6.

сделать отечество свое благополучным, или в небесах найти другое отечество»[1].

Речь Андрея Тургенева по своему идейному содержанию неразрывно связана со стихотворением «К отечеству». Пафос гражданственного служения отечеству пронизывает стихотворение:

Погибель за тебя [отечество] — блаженство,
И смерть — бессмертие для нас[2].

Идейная зрелость оратора проявилась в активно-свободолюбивом понимании патриотизма. Служение родине последовательно противопоставляется служению царям. Обращаясь к отечеству, Андрей Тургенев говорил: «О ты, пред которым в сии минуты благоговеют сердца наши в восторге радости! Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы, пусть ползают пред ними льстецы с мертвою душею, здесь пред тобою стоят сыны твои! Благослови все предприятия их! Внимай нашим священным клятвам! Мы будем жить для твоего блага; ты может быть забудешь, оставишь детей, но дети твои никогда, нигде тебя не забудут»[3].

Споры в «Дружеском литературном обществе» обусловили быстрое идейное созревание Андрея Тургенева, Мерзлякова и Андрея Кайсарова. Уже к 1800 г. воззрения друзей нельзя охарактеризовать иначе, как антиправительственные, проникнутые тираноборческими настроениями. Документы сохранили ряд направленных против деспотизма высказываний, прямо соотносимых с конкретными фактами русской жизни. В дневнике Андрея Тургенева уже в ноябре 1799 г. находим следующую запись: «Утро сегодня довольно приятное; идучи в архив, попалась мне крестьянка на извозчике. Ее окружала

---

[1] Цит. по: Лит. наследство. М., 1955. Т. 60. Ч. I. С. 334.

[2] Ранняя редакция этого стихотворения была опубликована без подписи в сборнике сочинений учащихся университетского пансиона «Разговоры о физических и нравственных предметах» (М., 1800). Книга была издана Бакаревичем (на титульном листе не указано).

[3] Лит. наследство. Т. 60. Ч. I. С. 336. Для характеристики настроений ведущей группы «Дружеского литературного общества» в этот период любопытен незавершенный черновой набросок стихотворения Андрея Тургенева, также отмеченный печатью активного свободолюбия (РНБ. Архив В. А. Жуковского Оп. 2. Ед. хр. 330).
В начале — набросок плана (знаком [ ] отмечено зачеркнутое):

«*Что [превосходнее милости]*
К царям
Но друзья! Какая бы ни была судьба наша — будем тверды».

Далее идет набросок строфы, раскрывающей тему героической гибели и бессмертия в памяти потомства:

«*Сойдем во гроб — но светлый луч,*
Сквозь мрак проникнув грозных туч,
Для нас над гробом воссияет».

[Вариант: «*Умрем, сойдем без трепета во гроб*»].
Далее идут стихи:

«*Умолкните на время стоны*
Несчастных, горьких матерей».

[Вариант: «*Умолкли стоны и на лицах*»].

толпа народу. Она выла по обыкновению крестьянских баб. Ее спросили, и она с воем же сказала, что у ней отдают в солдаты мужа и что остается трое детей. Я был очень тронут. — Царь народа русского! Сколько горьких слез, сколько крови на душе твоей». Характерно, что первоначально было более абстрактно: «Цари, цари, сколько горьких слез на душе вашей»[1]. А приблизительно через год, 3 октября 1801 г., он записал в дневнике: «Россия, Россия, дражайшее мое отечество, слезами кровавыми оплакиваю тебя; тридцать миллионов по тебе рыдают! Но пусть они рыдают и терзаются! От этого услаждаются два человека, их утучняет кровавый пот их; их утучняют горькие слезы их; они услаждаются; на что им заботиться!

Но если этот бесчисленный угнетенный народ, над которым вы так дерзко, так бесстыдно, так бесчеловечно ругаетесь, если он будет действовать так, как он мыслит и чувствует, вы, ты и бесчеловечная, сладострастная жена твоя, вы будете первыми жертвами! Вы бы могли облегчить его участь и это бы ничего вам не стоило! И при всем этом вы могли этого не хотеть». Далее в рукописи следует строка выразительных многоточий, не могущая, однако, завуалировать смысла последующего, которое нельзя истолковать иначе, как в связи с идеей тираноубийства: «Тебя наградят благословения миллионов. Тебя наградит совесть, которая тогда пробудится[2] для того, чтобы хвалить. Отважься! Достигай этой награды!»[3] Зная отношение Андрея Тургенева к Павлу I, а также и отношение его друзей по «Обществу» (Воейков, Мерзляков, Кайсаров) к царствующему императору, невозможно предположить, что «ты» до многоточия и после относятся к одному лицу. Осенью 1801 г. у Андрея Тургенева уже не было никаких иллюзий относительно подлинного характера правительственного курса.

Одновременно с политическим свободомыслием зрело и философское. Летом 1801 г. Андрей Тургенев записал в дневнике: «Боже мой! Перемени сердце мое. — Нет в сердце моем и веры пламенной»[4]. Параллельно в сознании друзей вырабатывалась мысль о том, что главная задача — не в исправлении своего собственного сердца, а в решении общественных вопросов. Так, рецензируя стихотворение Андрея Тургенева «С<ергею> И<вановичу> П<лещееву>», А. Кайсаров против строк:

Кто ум свой, просвещенье
К тому лишь устремляет,
Чтобы удобрить сердце, —

написал: «Свое или других? Это темно. Если свое, то мало. Это нехорошо»[5]. В сознание ведущей группы деятелей «Общества» входила идея внесословной ценности человеческой личности. Не случайно Андрей Тургенев в своем дневнике записал: «Хочу презирать богатство, чины»[6]. В бумагах Андрея Тургенева находим характерные выписки из Дидро и Мармонтеля, направленные

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 271. Л. 5.
[2] После «пробудится» в рукописи описка: второй раз «тогда».
[3] Тургеневский архив. Ед. хр. 271. Л. 72 об. — 74.
[4] Там же. Л. 64 об.
[5] РНБ. Архив В. А. Жуковского. Оп. 2. Ед. хр. 320.
[6] Тургеневский архив. Ед. хр. 271. Л. 74 об.

против трагедии классицизма именно с позиций утверждения буржуазного идеала свободной от феодальных пут личности простого, обыкновенного человека как высшей исторической ценности. «Имена государей и героев могут придать пиесе пышности и величества, но к трогательности они ни мало не способствуют. Несчастия тех, которых обстоятельства имеют сходство с нашими, натурально более проникают наше сердце, и если сожалеем о царях, то сожалеем о них как о человеках: если такое звание может сделать их несчастие важнее, но, вероятно, не интереснее. Пусть сплетена с ними судьба целого народа, наша симпатия (сострастие) требует одного особого предмета, и целое государство есть для наших чувств понятие слишком отвлеченное».

«Думать, — говорит Мармонтель, — что для натуры нужны высокие титулы, чтобы трогать и потрясать наше сердце, — значит не знать ее, значит оскорблять сердце человеческое. Священные имена друга, отца, любезного супруга, сына, матери и вообще человека гораздо трогательнее всех прочих, права их непременны и вечны. На что мне знать чин, фамилию, породу несчастного, которого снисходительность к недостойным друзьям и худые примеры завели в игру (имеется в виду Беверлей. — *Ю. Л.*)»[1].

В 1802 г. Пнин написал «Вопль невинности, отвергаемой законами»[2]. Аналогичный замысел — весьма характерный показатель влияния идей просветительской философии — возник у Андрея Тургенева еще летом 1801 г. В дневнике 2 июля он записал: «Несколько времени как пришла мне мысль написать послание побочного сына к отцу его. <...> Видал его в кругу вельмож, в пышности: между тем безвестный, но честный гражданин». Дальнейшая запись, видимо, представляет план продолжения стихотворения: «Сын законный — Возвращение нежности (в подлиннике эти два слова — на фр. яз. — *Ю. Л.*) — счастье в одной природе»[3]. В связи с этим характерно увлечение Руссо, не в том поверхностном истолковании, проявлявшемся в интересе к культу чувствительности, которое было весьма обычным в ту эпоху, а при ясном понимании освободительного значения его идей. Письма и дневники членов дружеского кружка позволяют установить не только знакомство с «Эмилем» и «Новой Элоизой»[4], но и увлечение «Общественным договором»[5].

---

[1] РНБ. Архив В. А. Жуковского. Оп. 2. Ед. хр. 320.

[2] См.: *Орлов В. Н.* Русские просветители 1790—1800-х годов. 1953. С. 117—125.

[3] Тургеневский архив. Ед. хр. 272. Л. 9.

[4] «Эмиль» упоминается неоднократно. «Новую Элоизу» Андрей Тургенев собирался переводить. «На той неделе надо взяться на Элоизу», — писал он Жуковскому из Петербурга (письмо без даты, видимо, 1802 г. Тургеневский архив. Ед. хр. 4759). Несколько позже: «Душа моя пуста, голова тоже, я в рассеянии и во все время, как здесь, больше ничего не делал, как только прочел „Новую Элоизу“» (там же). В дневнике 1801 г.: «„Новая Элоиза“ будет моим Code de morale во всем, в любви, в добродетели, в должностях общественной и частной жизни» (Там же. Ед. хр. 272. Л. 4 об.).

[5] В письме Жуковскому: «Я занемог лихорадкой не на шутку и намерен лечиться у одной природы, наблюдая диэту по Руссовому предписанию. Мы еще не читаем „Новой Элоизы“, а Contrat Social, который почти весь перевел П<етр> С<ергеевич Кайсаров?>» (Тургеневский архив. Ед. хр. 4759).

Широкое усвоение антифеодальных, демократических (то есть буржуазных) идей Андреем Тургеневым и Андреем Кайсаровым неопровержимо. Однако необходимо отметить и другое: далеко не все в сумме антифеодальных идей XVIII в. оказалось им доступным. Дело не только в том очевидном факте, что радищевская постановка вопроса о народной революции была от них бесконечно далека, но и в недоступности даже для передовых деятелей дворянского лагеря, испытавших сильное влияние идей равенства и свободы людей, той материалистической философии, которая составляла основу подобных представлений. На освободительное значение материалистических учений XVIII в. указывалось неоднократно. Но именно эта сторона оказалась чужда формирующейся системе идей ведущей группы «Дружеского литературного общества». Этика материалистов XVIII в. ими воспринималась как проповедь эгоизма. Борьба за удовлетворение материальных нужд человека, за его право на земное счастье часто заменяется идеей бескорыстного подвига, преодолением личного эгоизма. Стремление человека к *своей* свободе, как разъединяющее (с их точки зрения) людей, порой даже заменялось такими понятиями, как «энтузиазм», «всеобщая гармония», «деятельность», которые должны помочь всечеловеческому объединению людей. Борьба же за реальную свободу порой вытеснялась понятием «внутренней свободы» — независимости духа человека от деспотизма внешних условий. Возникает идеал бескорыстного героизма, активности, гражданственного самопожертвования. В своем венском дневнике Андрей Тургенев записал: «Деятельность, кажется, выше самой свободы. Ибо что такое свобода. Деятельность придает ей всю цену. Иначе она будет в тягость. И можно ли отнять свободу у ума и души человеческой»[1].

Права человека будут добыты не ценой кровавой борьбы, а путем всеобщего братского примирения людей:

Месть, прощеньем усладися,
Руку, падший друг, прими,
Человечество, проснися
И права свои возьми, —

писал Мерзляков в стихотворении «Слава»[2].

Демократический идеал свободной, полноправной, ярко проявляющейся личности (ср. самохарактеристику Андрея Тургенева: «союз добрых, здоровых, веселых молодых людей, чувствующих цену жизни, наслаждающихся жизнью»)[3], соединяясь с романтическим представлением об извечной противоположности личности и толпы, ложится в основу характеристики поэта как гениального безумца. Андрей Тургенев пишет: «Вчера был в концерте <...> видел сумасшедшего Дица! Сумасшедшего! Что такое сумасшествие! Может быть, сумасшествие *человека* делает торжество *артиста*. Что ж это. Разберите, психологи! Это достойно, очень достойно внимания! Нет, можно ли сметь называть это сумасшествием, когда от тех же причин, вероятно, он величайший человек в музыке.

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 1239. Л. 10.

[2] *Мерзляков А. Ф.* Стихотворения. Л., 1958. С. 213.

[3] Тургеневский архив. Ед. хр. 4759. Записка Жуковскому, видимо, 1800 г.

Его сумасшествие есть созревание совершенства гармонии, его сумасшествие выше ума умных, рассудительных людей!»[1]

Таким образом, комплекс антифеодальных идей XVIII в. не прямо воспринимался, а сложно преломлялся в сознании людей поколения Андрея Тургенева.

Образцом поэзии «высокой», вдохновенной, «важной» и одновременно свободолюбивой для Андрея Тургенева, Мерзлякова, Андрея Кайсарова был Шиллер. Увлечение бунтарской поэзией молодого Шиллера, его драмами «Разбойники», «Коварство и любовь», «Заговор Фиеско», «Дон Карлос» приобретало характер пламенного поклонения. Шиллер противопоставляется карамзинизму. «Что ни говори истощенный Кар<амзин>, — записывал Андрей Тургенев в дневнике осенью 1799 г, — но, как ни зрела душа его, он не Шиллер!»[2]

Открывая 19 января 1801 г. «Дружеское литературное общество», Мерзляков начал речь с чтения по-немецки гимна Шиллера «К радости». В дневнике Андрея Тургенева читаем: «Из всех писателей я обязан Шиллеру *величайшими* наслаждениями ума и сердца. Не помню, чтобы я что-нибудь читал с таким восторгом, как Cab<ale> u<nd> Liebe в первый раз и ничья философия так меня не услаждает <...>. А песнь к радости как на меня подействовала в 1-ый раз, этого я никогда не забуду»[3]. Особенное сочувствие вызывает бунтарство Карла Моора. В дневнике Андрея Тургенева находим характерную запись: «Нет, ни в какой французской трагедии не найду я того,

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 272. Л. 39.

[2] Там же. Ед. хр. 271. Л. 11. Это противопоставление было устойчивым. Андрей Кайсаров в письме Андрею Тургеневу в Петербург писал: «Что тебе сказать про Москву? Все в ней по-старому. Максим Иванович <Невзоров> по-старому бранит Шиллера, Карамзин по-старому любит соловьев и малиновок, что ты можешь видеть в его Пантеоне в статье о Никоне. Казалось уж тут-то бы всего меньше шло приклеить его птичие сентименты». (Там же. Ед. хр. 50. Л. 145).

[3] Там же. Ед. хр. 272. Л. 14 об. Ср. в более раннем дневнике (1799): «Почитавши стихов Göthe в Schillers Musensalmanach, принялся опять за его Вертера. Какое чувство! Точно как будто бы из неприятной, пустой, холодной, чужой земли приехал я на милую Родину. Опять Göthe, Göthe, пред которым надобно пасть на колени; опять тот же великой, любезной, важной — одним словом Göthe, каков он должен быть. Какой жар, сила, чувство натуры; как питательно, сильно, интересно! Göthe, Schiller!!! То же и после эпиграмм Шиллер<а> приняться за его Карлоса, Разб<ойников>, Cab<ale> u<nd> Liebe» (Там же. Ед. хр. 271. Л. 14); «Klage der Ceres — прекрасная пиеса» (Там же. Л. 11). Вместе с Мерзляковым Тургенев переводит «Коварство и любовь»: «Сегодня [9. III. 1800] поутру, сидя у Мерзлякова, услышал я, что Шушерин приехал, и что театр отдан актерам; и мы решились не оставлять Cab<ale> u<nd> Liebe» (Там же. Л. 51 об.), хочет переводить «Дона Карлоса» (Там же. Л. 70 об.). Отлучившись летом 1799 г. из Москвы в Симбирск, он пишет с дороги Жуковскому и Мерзлякову письмо, в котором призывает Жуковского «переводить прилежно» сцены из «Дона Карлоса» и спрашивает, «не переведет ли от досуга Мерзляков той сцены, где Поза говорит с Королем», добавляя: «а я все устраиваю свою Cabale und Liebe» (Там же. Ед. хр. 4759). Вероятно, был осуществлен перевод «Гимна радости» — в письме в Москву из Петербурга накануне отъезда Тургенева в Вену читаем: «A propos: сейчас слышу, что Мерзл<яков> послал ко мне критику на „Радость", но скажи, брат, что я к великому сожалению не получал ее. Как бы я ей порадовался!» (Там же).

что нахожу в Разбойниках». Тургенев готов вскричать К. Моору: «...брат мой! Я чувствовал в нем совершенно себя!»[1] С Мерзляковым он спорил о «разбойничьем чувстве». Андрей Кайсаров в недатированной записке Андрею Тургеневу, которыми обменивались друзья, живя в Москве, писал: «Ну, брат, прочел я Разбойников. Что это за пиеса? Случилось мне последний акт читать за обедом, совсем пропал на ту пору у меня аппетит к еде, кусок в горло не шел и волосы становились дыбом. Хват был покойник Карл Максимилианович!»[2]

Шиллер воспринимался как певец попранной человеческой свободы и прав личности. Услышав от Андрея Кайсарова об издевательстве командира над унтер-офицером, вынужденным молча смотреть на бесчестие собственной жены, Андрей Тургенев видит в этом частный случай издевательства над *человеком* (в унтер-офицере его привлекает противоречие между рабским положением и сердечной добротой) и записывает в дневнике рассказ Андрея Кайсарова о том, что «у них есть унтер-офицер, который имеет распутную жену, и когда его спрашивают, где она, то он приходит в бешенство и говорит, что если бы не была она брюхата, то он бы зарезал ее, что если она, родивши ребенка, не исправится, то он ее зарежет; половину бы жизни своей отдал, говорит он, если бы она исправилась». Смысл беседы разъясняется дальнейшим комментарием А. Тургенева, увидевшего в унтер-офицере поруганное человеческое достоинство и кипящую, благородную, но угнетенную рабством душу. «К этому характеру присоедини романтическое разгоряченное воображение, жену перемени в Луизу и не выйдет ли Фердинанд? Это достойно внимания. Этот унтер-офицер разжалован в солдаты. За что? К нему приходит офицер, который живет с ним вместе, велит жене его, лежащей с своим мужем, идти спасть с ним, и муж! Этот муж, должен молчать! Пусть это молчание описывает один Шиллер, один автор „Разбойников“ и „Cabale und Liebe“! И если бы он в этом терзательном, снедающем, адском молчании заколол его! Мог ли бы кто-нибудь, мог ли бы сам Бог обвинить его? Молчать! Запереть весь пламень клокочущей геены в своем сердце, скрежетать зубами как в аду, смотреть, видеть все и — молчать. Быть мучиму побоями, быть разжалованну по оклеветаниям этого же офицера! Дух Карла Моора! И в этом состоянии *раба, раба*, удрученного под тяжестью рабства, — какое сердце, какая нежность, какие чувства! „Зарезал бы — и отдал бы половину жизни своей, если бы она исправилась!“ Какое сердце! Если бы Шиллер, тот Шиллер, которого я называю моим Шиллером, описал

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 271. Л. 56 об.

[2] Там же. Ед. хр. 50. Л. 192 об. Ср. в письме Андрею Тургеневу от 5 декабря 1801 г.: «Еще желал бы слышать Карла Моора, говорящего: Meine Unschuld! И еще: Sie liebt mich, sie liebt mich! Желал бы видеть один раз „Разбойников“ и отказался бы от театра! Никогда, кажется мне, нельзя сыграть в совершенстве этой пиесы. Я б умер покойно, увидев ее. Ныне отпущаеши раба твоего с миром! — воскликнул бы я. Поверишь ли, что я не только говорить с кем-нибудь, но даже один думать не могу об ней без какого-то величайшего волнения в крови. Прекрасно!» (Там же. Л. 48 об.).

это молчание во всех обстоятельствах! Это описывать не Вольтеру и не Расину, я чувствую». И далее: «Это огненное, нежное сердце, давимое, терзаемое рукою деспотизма — лишенное всех прав любезнейших и священнейших человечества — деспотизм ругается *бессильной* его *ярости* и отнимает у него, отрывает все то, с чем Бог соединил его»[1].

Таким образом, антифеодальные, демократические идеи XVIII в. воспринимаются ведущей группой «Дружеского литературного общества» не в их непосредственном, наиболее последовательном варианте, представленном во Франции предреволюционной материалистической философией, в России — Радищевым, а в форме бунтарства и свободомыслия молодых Гете (Мерзляков и Тургенев переводят Вертера, восхищаются «Эгмонтом») и Шиллера. Революционная теория Радищева была неразрывно связана с общими принципами материализма. Не случайно развитие философской мысли Радищева началось с изучения Гельвеция: идея оправданности человеческого эгоизма, права индивидуума на максимальное счастье, которое, в условиях общественно-справедливого строя, обеспечит максимальное счастье и народу — сумме таких индивидуумов, — лежит в основе его этики. Материалистическая этика оказалась чужда деятелям «Дружеского литературного общества». Зато им было близко шиллеровское сочетание антифеодального демократического пафоса с осуждением материализма. Последний приравнивается Шиллером к скептицизму и объявляется порождением дряхлого феодального общества. Мысли о том, что «душа наша сгниет вместе с телом», а сущность человека «сводится к кровообращению», вкладываются в уста феодала и тирана Франца Моора. В 1793 г. в статье «О грации и достоинстве» Шиллер сочувственно говорил о том, что Канта не мог «не возмущать грубый материализм в моральных правилах, как подушка, подложенная недостойной услужливостью философов под голову дряблой эпохе»[2]. Положительный идеал воплощен в образе героической личности, наделенной полнотой сил, жаждой деятельности, пафосом социальной справедливости и жертвенной моралью стоического характера. Это республика героев, «рядом с которой и Рим и Спарта покажутся женскими монастырями», и вместе с тем — царство личного бескорыстия, жертвы, самоограничения как основы морали. В этом отношении любопытно, что имена философов-материалистов в сохранившихся дневниках и переписке членов «Общества» почти не упоминаются. В дневнике Андрея Тургенева зафиксирована беседа его с Мерзляковым, где первым дана резко отрицательная характеристика Вольтера[3].

Характерно, однако, что уже в 1803 г. Андрей Тургенев начал охладевать к Шиллеру и интересы его переместились в сторону творчества Шекспира. Отзывы о Шиллере делаются более сдержанными. В письме из Вены Жуков-

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 271. Л. 24 об. Через несколько дней он записал в дневнике: «А я все думаю об этом молчании» (Л. 25).

[2] *Шиллер Ф.* Статьи по эстетике // Вступ. ст. Г. Лукача. М.; Л., 1935. С. 115.

[3] «Дерзость, ругательства, эгоизм — главные черты его философии» (Тургеневский архив. Ед. хр. 271. Л. 9 об.).

скому он пишет: «Шиллер, которого все еще называю моим Шиллером, хотя и не с таким смелым в пользу его предубеждением»[1]. В феврале 1800 г. он в дневнике признавался: «Зачем я так мало читаю французских книг. Для того, что оне не попадаются мне, не попадаются от того, что я их не ищу. Надобно прочесть Расинов и Корнелев театр. Надобно прочесть Mably, Montesquieu»[2]. А в письме из Петербурга Андрею Кайсарову от 27 февраля 1803 г. он пишет: «Ты, чаю, знаешь, что Шиллеру дано словечко „von" императором. Важное приобретение. И певец радости мог этому обрадоваться. Вероятно. Я мало теперь читаю немецких книг, но больше занимаюсь французскими»[3].

Однако не французская литература, а именно Шекспир привлекает Андрея Тургенева в этот период в наибольшей степени. Еще в конце 1799 г. он познакомился с «Королем Лиром» в немецком переводе и был «поражен, остановлен» «великою мыслию». Затем, с немецкого же, перевел «Макбета» (перевод не сохранился). Позже он познакомился с английским оригиналом этой трагедии и писал Жуковскому: «Отчаяние берет меня, когда я сравню „Макбета" на русском (то есть свой перевод. — *Ю. Л.*) с «Макбетом» на английском. Какая сила в последнем!»[4] В Вене он решил переводить «Макбета» заново, уже с подлинника, сравнивая с французским переводом Дюсиса. Одновременно с разочарованием в Шиллере растет интерес к истории. В дневнике он записывает: «Двадцать лет жизни моей не стало! Где искать мне их в истории моей жизни. Двадцать лет я душевно проспал. В последние два года написал элегию; деятельнее ничего не было для моего разума. Что я читал. Коцебу и Шиллера! — Когда буду читать историю»[5].

Увлечение Шекспиром шло параллельно с изменением литературных взглядов. Если прежде герой интересовал Тургенева лишь как рупор свободолюбивых идей автора, то теперь его интересует вопрос психологического правдоподобия: «Вчера пришла мне прекрасная мысль. Ненадобно, чтобы греки и римляне (говоря в трагедиях, и не в одних трагедиях) давали вес словам: гражданин, права гражданина, отечество, свобода и пр. Надобно, чтоб это было для них нечто обыкновенное, чтобы они думали, что иначе и быть не может. От того и редко бы поминали о них; но весь ход их действий, всякая их мысль, каждый поступок показывал бы ясно, что они такое, и отливал бы, так сказать, их manière d'être en tout sens»[6].

Ранняя смерть не дала Андрею Тургеневу развить этот новый, чрезвычайно существенный этап его воззрений. Но и сохранившихся материалов достаточно для того, чтобы утверждать, что в лице Андрея Тургенева

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 4759. Письмо от 7(19) января 1803 г.
[2] Там же. Ед. хр. 271. Л. 48 об.
[3] Там же. Ед. хр. 840.
[4] Там же. Ед. хр. 4759. Без даты; видимо, конец 1802 г.
[5] Там же. Ед. хр. 1239. Л. 2.
[6] Там же. Л. 15 об.

мы имеем яркого и одаренного литературного деятеля, чья творческая судьба тесным образом связана с возникновением литературной программы декабризма.

Итак, «Дружеское литературное общество» — важный этап в формировании мировоззрения Андрея Сергеевича Кайсарова. Именно в этот период началось оформление политических и общественных идеалов, весьма близко напоминавших ранние стадии формирования декабристской идеологии.

«Дружеское общество» не было дружеским. Открывая торжественное заключительное заседание[1], Андрей Тургенев отметил остроту внутренней полемики как характерную черту жизни «Общества». Спорящие группировки не сближались, а расходились. В начале заседаний, как указал Тургенев, многие его члены «никогда не думали быть между собою друзьями, чувствовали даже от того и некоторое удаление и *может быть все сие так и осталось* (курсив мой. — *Ю. Л.*)[2]». Правда, последние, выделенные курсивом слова Тургенев поспешил густо зачеркнуть и закончил речь в примирительном духе, но подлинное положение в «Обществе» выражали именно они. Полемика в «Обществе» не принижает, однако, как это полагал Истрин, а увеличивает его значение — только в борьбе с карамзинизмом могла выработаться литературно-общественная программа дворянской революционности, ранними предшественниками которой были Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров.

Глава II. Формирование общественно-политической программы Кайсарова. Диссертация «О необходимости освобождения рабов в России»

Итогами идейного воспитания Кайсарова в «Дружеском литературном обществе» явились, как мы видели, во-первых, рост свободолюбивых настроений, усиление политического протеста и, во-вторых, критика идейно-литературной позиции Карамзина.

Одним из важнейших упреков, адресуемых Карамзину, было обвинение в отсутствии народности. Уже сама постановка этого вопроса указывала на степень зрелости молодых противников признанного руководителя дворянской литературы. Однако для того, чтобы противопоставить карамзинскому направлению *свою* точку зрения, необходимо было иметь значительно более основательное представление о народе. Тема народа, его характера и условий его существования становится основным «пафосом» дальнейшей деятельности Андрея Кайсарова. Если мысль о мятежной романтической индивидуальности, протест, даже самый резкий, против

[1] Окончательный текст речи не сохранился, черновой — в Архиве В. А. Жуковского. Оп. 2. Ед. хр. 324. Л. 4—6.

[2] Там же. Л. 4 об.

тиранического угнетения личности (в сфере реальной политики адекватом этого являлось требование политической свободы для дворянской интеллигенции, в конечном итоге — конституции) возможны были с позиций дворянского мировоззрения и не выходили за рамки дворянского либерализма (даже при таких острых, на первый взгляд, «бунтарских» формах выражения, какие он, например, находил в 1820-х гг. у кн. П. А. Вяземского), то постановка вопроса о народе и в области политики, и в области эстетики являлась пробным камнем формирования нового, противостоящего дворянскому либерализму явления — дворянской революционности. Чтобы данная тема могла быть поставлена с той степенью остроты, которая необходима для возникновения столь эпохального явления в истории общественной мысли русского дворянства, потребовалось неповторимое стечение обстоятельств, главнейшим в цепи которых явилась Отечественная война 1812 г. Однако, как мы видели, воздействие демократических идей на дворянскую интеллигенцию — неизбежное следствие острой классовой борьбы — наблюдалось и ранее, и это составляло ту реальную идеологическую почву, на которой в дальнейшем вырос декабризм.

Вопрос народа встал перед Андреем Сергеевичем Кайсаровым в эти годы в двух аспектах: с точки зрения изучения социальных условий существования народа, с одной стороны, и с точки зрения национального характера народа — с другой. Первое привело к известной антикрепостнической диссертации, второе послужило основой трудов Кайсарова как фольклориста, историка и слависта.

В июне 1802 г. Андрей Сергеевич Кайсаров вместе с Александром Ивановичем Тургеневым и группой студентов Московского университета выехал из Москвы. Будущим геттингенским студентам предстоял долгий путь: Можайск, Гжатск, Смоленск, Минск, Гродно, Варшава, Лейпциг. Двадцать четвертого сентября они были в Геттингене.

В жизни Андрея Кайсарова начался новый период — время упорной работы по расширению своего научного горизонта[1]. Первоначально, как отмечал еще академик Истрин, ни Кайсаров, ни Ал. Тургенев не имели достаточно ясного представления о ходе будущих занятий. Планы их не выходили за пределы уже вошедшего в обычаи дворянской молодежи путешествия по Европе, в котором специальная научная подготовка не занимала сколь-либо значительного места. «Ты спрашиваешь меня, любезный Андрей Иванович, — пишет Кайсаров Тургеневу в Вену, — что буду делать я в то время, как Александр Иванович будет занят в Геттингене своим курсом? В это время я тоже думаю кой-чем заняться, хотя сомневаюсь, чтобы мог в чем-нибудь довольно успеть <...>. Что будет, если

[1] Фактическая сторона биографии А. С. Кайсарова за время его пребывания в Геттингене и во время путешествия по славянским землям детально рассмотрена в работах академика В. М. Истрина. Мы не будем повторять этих, уже вошедших в научный оборот, сведений и отсылаем читателя к указанным статьям. См. рецензию на первую статью в журнале «Летопис матице српске» (година LXXXVI, кн. 271, свеска XI за годину 1910. У Новом Саду).

выеду на Русь хотя с лишним золотником против того, каков из нее выехал». В другом письме он сообщает о желании съездить «в Вену, в Париж, в мою милую Швейцарию и в Англию»[1], а также в Италию и даже в Пенсильванию.

Даже приступив к занятиям, Кайсаров сохранил еще обычное для дворянского дилетанта предубеждение против профессиональной научно-преподавательской деятельности: «Учились мы не для кафедры и не для Академии, но для самих себя и своих родителей. Выученное думали мы употребить в свободные часы от службы <...> Русский министр, верно, посмеялся от доброго сердца тому, что немецкий мечтатель рекомендует русского дворянина в профессора».

От ученых занятий путешествующего дилетанта до кафедры профессора Тартуского университета (до Кайсарова история образования в России знала лишь единственный случай, когда дворянин — это был Г. А. Глинка — занял профессорскую кафедру) был большой путь, связанный не только с накоплением определенного запаса фактических сведений, но и изменениями в мировоззрении, отказом от дворянского пренебрежения к профессиональному служению науке. Н. И. Греч в воспоминаниях своих писал, что родственники его «досадовали на то, что» он «избрал несовместимое с дворянским звание учителя». «Как можно дворянину, сыну благородных родителей, племяннику такого-то, внуку такой-то, вступить в должность учителя»[2]. Показательным в этом смысле является отношение к латинскому языку.

В XVIII в. прочно установилась традиция, рассматривавшая латинский язык как элемент углубленного образования ученого-разночинца. С одной стороны, знание латинского языка давало образование в стенах семинарии и Духовной академии — этот путь прошли многие разночинцы — деятели русской культуры XVIII в., с другой — это был профессиональный язык науки. Распространение латинского языка в среде разночинцев-чиновников доказывает факт создания в XVIII в. чиновниками Стрелевским и Буйдой латинской антиправительственной прокламации. Обычное воспитание молодого дворянина включало изучение не старославянского и латыни, а французского языка. «Латинский язык, — вспоминает Н. И. Греч, — называли лекарским, неприличным дворянству»[3]. Первые же шаги Кайсарова на научном поприще поставили его перед необходимостью углубленных занятий латинским языком.

Научные интересы Кайсарова быстро росли. Дилетантский идеал случайного посещения «любопытных» лекций сменяется кропотливым трудом по самообразованию. Программа была намечена очень широко. Он писал Андрею Тургеневу: «Я подумал, что не худо будет, если я буду ходить больше, нежели на две лекции, и хожу на шесть, подумал, что в полгода мало дела сделано, и положил остаться здесь на полтора года.

---

[1] *Истрин В. М.* Русские студенты в Геттингене в 1802—1804 гг. // Журнал Министерства народного просвещения. 1910. Июль. С. 90—91.

[2] *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 241, 267.

[3] Там же. С. 215.

Я слушаю здесь химию, древнюю и новую историю, логику, русскую историю у Шлецера; эстетику у того самого Бутверка, который написал Дон-Амара. Между тем учусь по-английски, немецки, итальянски, иногда по-латыне»[1].

Кайсаров широко использует обширный отдел Геттингенской библиотеки по русской и славянской истории и языкознанию. В письме к Ивану Петровичу Тургеневу (июль 1804 г.) он выразил охватившую его жажду научного труда: «Чтобы написать что-нибудь, надобно много учиться, много писать <...>. У меня как-то всякий раз, когда я входил в огромную Геттингенскую библиотеку, где около четырехсот тысяч томов парадируют, с отчаяния замирало сердце». Любопытно, что в области общественно-политической и экономической литературы те самые книги, которыми, судя по ссылкам в работах геттингенского периода, пользовался Кайсаров (*A. Smith.* Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations, trad. par Garmer. Paris, 1802; *Süssmilch.* Die Göttliche Ordnung. 1742; и др.), в дальнейшем привлекали Н. Тургенева[2].

О степени серьезности занятий Кайсарова как студента свидетельствует тот факт, что, покидая в мае 1806 г. стены Геттингенского университета, он получил, сверх ученой степени доктора философии, диплом, выданный ему профессором Бекманом и гласивший:

«Господин Андрей Сергеевич Кайсаров из Москвы не только с величайшим прилежанием посещал мои лекции по

сельскому хозяйству,

технологии,

теории коммерции,

полицейскому и камеральному праву,

но и с наилучшим успехом использовал их, о чем я настоящим, по его просьбе, свидетельствую, как и о наиглубочайших знаниях господина Кайсарова, хотя после того как он удостоился наивысшего звания в философии, ему, по статутам нашего университета, не нужно уже никаких свидетельств.

---

[1] В письме от 7(19) ноября 1802 г. Кайсаров писал Андрею Тургеневу: «Я, брат, немного начинаю понимать по-английски, хотя очень лениво учусь. По-италиански читаю комедии Albergati Capacelli один. По-немецки суюсь говорить со всяким; но все бы это отдал за одну латынь! Без нее ни к чему приступить нельзя. Такая причина» (Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 92). В дальнейшем Кайсаров изучил ряд славянских языков так, что читал и говорил на большинстве из них, а по-сербски писал. Андрей Тургенев даже испугался за здоровье друга: «Начто ты так много занимаешься? Я не могу себе представить, чтобы здоровье твое при этом не терпело. Правда, что вы окружены сокровищами и что удержаться трудно. Шлецер, Бутверк, Гейне. Какие имена! <...> Легко ли это: ты учишься 10 часов; и латынь пришла тебе в голову? Что тебе в логике? Прочел со вниманием Кондильяка и довольно» (Там же. Ед. хр. 840).

[2] См. список книг, которым пользовался последний в библиотеке Геттингенского университета: Архив бр. Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 1.

Пусть г. фон-Кайсаров и его отечество пользуются плодами моих лекций и его счастливейшего прилежания теперь и впредь.

Геттинген, 13 мая 1806 г.

Иоганн Бекман, тайный советник и профессор экономических наук»[1].

Однако скоро на общем фоне учебной программы начали вырисовываться контуры специальных научных интересов, основа которых была подсказана Кайсарову его предшествующим идейным развитием в кругу «Дружеского литературного общества». В центре внимания Кайсарова — проблема народа. Это определило его интерес к фольклору и этнографии, экономическим наукам (поскольку в них Кайсаров искал решения вопроса крепостного права), истории. Выраставший на основе патриотических настроений интерес к созданию народной культуры, стремление найти стихию, противостоящую антинародным принципам дворянской литературы, заставили его обратиться к проблемам славистики, понимаемым им чрезвычайно широко как комплексный интерес к культуре, быту, языку славянских народов. Здесь Кайсаров надеялся найти ответ на вопрос: какой должна быть построенная на национальной основе народная культура. Как мы увидим в дальнейшем, научные интересы шли рука об руку с интересами политическими. Если изучение политических наук и экономики послужило почвой для создания диссертации об освобождении крепостных крестьян в России, то на базе славистских интересов выросла идея борьбы за освобождение и объединение славян. Следствием интереса к народному творчеству явилась попытка Кайсарова еще в Москве создать книгу о русской мифологии. По крайней мере в руках Мерзлякова оставалась рукопись книги, предназначенной к изданию. Указание на это находим в письме Мерзлякова Кайсарову, опубликованном еще Сухомлиновым. В Геттингене Кайсаров, видимо, понял слабость научной основы своего труда: книга, вероятно, в переработанном виде появилась не в Москве, а в Геттингене на немецком языке.

Интерес к славяноведению вызвал необходимость путешествий. Но это были уже не обычные для дворянской молодежи путешествия в Париж. Вместо развлекательной прогулки по чужим землям Кайсаров и Тургенев предприняли научное путешествие по совершенно необычному в их эпоху маршруту: Лейпциг — Прага — Вена — Будапешт — Карловиц — Петервардин — Загреб — Белград — Фиуме — Венеция. Вернувшись из путешествия, Кайсаров с горечью писал: «Ездить в Париж и Лондон и веселее, и способнее. Там на каждом шагу встречаются новые забавы, новые удовольствия, но ехать в такие земли, где боязливое правительство опасается всякого иностранца (с чистой совестью правительство никого не боится), где иногда за любопытство надобно переносить множество неудовольствий — в такие земли немного находится охотников»[2].

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 568. Подлинник на нем. яз.

[2] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/14. Л. 4 об.

Путешествие обогатило Кайсарова массой новых сведений: он устанавливает связи с чешскими, лужицкими, сербскими учеными и деятелями культуры, собирает материалы по лингвистике, истории и фольклору. Одновременно крепнет и чувство близости к славянским народам и вера в их освобождение. «Мы все еще продолжаем славянствовать, — пишет он Ивану Петровичу Тургеневу, хотя и оговаривается: — но, право, не для кафедры, а для самого себя»[1]. «Пропустить такой случай, какой мы имеем, узнать своих сродников во всех оттенках, право, было бы русскому стыдно»[2]. Почувствовав себя «истинным славянином душою и телом»[3], Кайсаров особенно остро переживал режим политической реакции и национального угнетения, господствовавший в Австрии. Он осуждает систему наушничества, царившую в австрийских университетах, ядовито высмеивает духовенство и цензуру. Из Вены он пишет: «Здешняя библиотека богата разными рукописями; вообразите, что в ней считают около 15000 манускриптов и в том числе много славянских. Жаль только, что все эти сокровища в руках австрийских, у людей таких, которые редко из чего-нибудь доброго делают хорошее употребление. Кажется, и пять Иосифов сряду не могли бы истребить из них суеверия и прочих им свойственных добродетелей. Кто бы мог вообразить, что внутри просвещенной Европы есть такие цензоры, которые не выпускают в печать книги об инсектах, опасаясь, что это критика на монахов! Другой, когда ему принесли тригонометрию, не мог удержаться, чтобы не вскричать с досадою: „Как можно пропустить такую книгу, на заглавии которой тотчас стоит о С<вятой> троице!“ Вероятно, что trigonometria и trinitas в длинных ушах с<вятого> отца имели одинаковое значение. Нет! Это уж слишком много! Этого, кажется, не в состоянии были сделать и те цензоры, которые заставляют подписывать на книгах: перевод с иностранного»[4]. Последняя фраза знаменательна: Кайсаров явно намекает на русскую цензуру. Указанный Кайсаровым прием был обычным в русской литературе средством обхода цензурных рогаток; например, Пнин снабдил диалог «Сочинитель и цензор» предохранительным и одновременно ироническим подзаголовком «перевод с манжурского», а В. В. Попугаев антикрепостнический отрывок «Негр» — «перевод с испанского»; при перепечатке в 1807 г. в альманахе «Талия» это указание было снято. Размышления об австрийском деспотизме перекликались с мыслями о положении на родине. Не случайно идеи освобождения славян и раскрепощения русских крестьян зрели одновременно.

Путешествие послужило для Кайсарова толчком к новым, еще более углубленным, занятиям. После возвращения он, вопреки первоначальному

---

[1] Оговорка вызвана тем, что в семье Александра Ивановича были недовольны слишком «научным» характером интересов Александра Ивановича, предназначавшегося для дипломатической карьеры. Предложение Шлецера избрать для А. И. Тургенева карьеру профессионала-историка вызвало недовольство родителей. Кайсаров поэтому вынужден был защищать «ученый» характер путешествия.

[2] Архив бр. Тургеневых. Вып. 4. С. 35.

[3] Там же. С. 89.

[4] Там же. С. 35—36.

плану, не отправился в Париж, не поспешил в Москву, как Александр Иванович Тургенев, родители которого решили, что полученных знаний для чиновника канцелярии Новосильцева уже достаточно, а вновь вернулся в Геттинген и продолжил изучение славистики и политической экономии. В 1806 г. он защищал диссертацию на соискание ученой степени доктора философии. Темой было избрано доказательство необходимости уничтожения крепостного права в России.

Либерально-буржуазные исследователи, касавшиеся вскользь геттингенской диссертации Кайсарова, любили подчеркивать ее «отвлеченный характер», причем источником антикрепостнических настроений считались либеральные лекции Шлецера, а не знакомство с живыми условиями русской жизни. Кайсаров в московский период, по концепции Истрина, заурядный карамзинист, почитатель Жуковского, далекий от политики и освободительных идей, попал в атмосферу «либерального» германского университета, и следствием поверхностного влияния «отвлеченных» свободолюбивых идей явилась его антикрепостническая диссертация. Мы уже видели, сколь далека от истины эта концепция в части оценки Кайсарова московского периода. Факты убеждают в том, что подобная точка зрения несостоятельна и по отношению к деятельности Кайсарова в Геттингене.

У нас нет, конечно, оснований отрицать значение Геттингенского университета для формирования воззрений А. Кайсарова. Печать этого университета чувствовалась и на Н. И. Тургеневе, и на Куницыне. Это были те черты, которые Пушкин впоследствии выделил в Ленском, первоначально задуманном как «крикун, мятежник и поэт», «поклонник славы и свободы». Тем не менее наивно и ошибочно выводить декабризм Н. И. Тургенева и свободолюбие Кайсарова только лишь из лекций геттингенских профессоров (как это делал, например, Вишницер, считавший, что антикрепостническую диссертацию Кайсарова «следует рассматривать как результат исторических изучений под руководством Шлецера»)[1].

В Шлецере Кайсаров и Александр Тургенев ценили знатока русской истории и человека, настойчиво подчеркивавшего свои симпатии к России и русской культуре. «Профессор Шлецер мне отменно полюбился, — писал Ал. Тургенев родителям, — за свой образ преподавания и за то, что он любит Россию и говорит о ней с такою похвалой и с таким жаром, как бы

[1] *Wischnitzer M.* Die Universität Göttingen und die Entwicklung der liberalen Ideen in Russland im ersten wiertel des XIX Jahrhunderts // Historische Studien. H. LVIII. Berlin, 1907. S. 29. А. Кайсарову посвящены с. 26—33 в гл. I «Russische Studenten in Göttingen, vornehmlich in den Jahren 1800—1812». Автор не обратился к архиву Геттингенского университета, который, бесспорно, дал бы ему новый и ценный фактический материал, а ограничился пересказом уже известных в науке книжных источников. В методологическом отношении книга построена на спорном тезисе об определяющем влиянии Геттингенского университета на развитие освободительных идеалов целого поколения передовых деятелей России. См. также с. 204—208 в статье того же автора «Геттингенские годы Н. И. Тургенева» (Минувшие годы. 1904. № 4).

самой ревностной сын моего отечества»[1]. Однако, когда Шлецер опубликовал свои воспоминания, в которых в неблагоприятном свете выставил Ломоносова, Кайсаров и Ал. Тургенев не скрыли недовольства его поступком. Шлецер вызывал также симпатии студентов своими смелыми суждениями по вопросам политики. Ал. Тургенев, со слов Буле, записал рассказ о том, как ландграф Кассельский «узнал, что Шлецер в своей статистической лекции говорил о том, как продавал ландграф в американскую войну свое войско и что потерпела от этого земля его. Ландграф пишет Шлецеру письмо и изъявляет свое неудовольствие за сообщаемые им известия, которые, как он говорит, совсем несправедливы, примолвя при том, что, если он не знает чего о его владениях, то спрашивал бы у него. Шлецер отвечал на сие обидное для профессора статистики предложение à peu près» в сих словах: «Пользуясь вашим позволением, желал бы я узнать от вас, сколько получили вы за отдачу в наем войск ваших»[2]. Однако, при всем том, либерализм Шлецера был самого умеренного толка. Так, на одной из лекций он проповедовал «страшные истины для тиранов», но закончил словами о том, что «революция сопряжена всегда с такою опасностью, что лучше оставить и терпеть до тех пор, пока провидение само захочет освободить народ от железного скипетра».

Причины, обусловившие идейное формирование Кайсарова, следует в первую очередь искать в тех коренных вопросах русской жизни, которые породили в начале XIX в. широкое общественное брожение в умах передовой дворянской молодежи.

Сам Кайсаров в своей диссертации предостерег от преувеличенных надежд на значение иностранных университетов в деле распространения идеи освобождения крестьян в России. При этом Кайсаров писал: «Мне самому известны сыновья некоторых известнейших дворянских семей, которые учились в университете совместно со мною, но, проведя ряд лет за границей, все же не одобряли облегчения крестьянской участи»[3]. В данном случае Кайсаров, вероятно, имел в виду таких своих сотоварищей по Геттингену, как учившийся в 1801—1803 гг. гр. Ливен. Любопытно, что не только слушавший одни и те же с Кайсаровым лекции, но и постоянно встречавшийся и находившийся с ним в приятельских отношениях Александр Иванович Тургенев сохранил, и побывав в Геттингене, воззрения типичного карамзиниста, столь свойственные ему в период «Дружеского литературного общества». В том же 1806 г., в котором Кайсаров защищал свою диссертацию, Александр Иванович писал Жуковскому: «Покуда крестьяне сами без всякого шума не снимут с себя цепей, которые они сами на себя наложили (ибо дворяне не насильством присвоили себе право сие)[4], до тех пор им *рабство — драгоценный дар* (курсив мой. — *Ю. Л.*). Оставим действовать времени и происшествиям. Не будем

---

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 29.

[2] *Истрин В. М.* Русские студенты в Геттингене в 1802—1804 гг. С. 130.

[3] *Kaisarov A.* Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam servis. С. 31.

[4] Ср. совершенно противоположное объяснение происхождения крепостного права Кайсаровым.

скоропостижными. Естьли народ русский взойдет сам собою на ту степень нравственности, которая нужна для народа свободного, то цепь рабства, как оболочка зрелого плода, сама собою падет с него»[1].

Истоки позиции Александра Тургенева обнаружить нетрудно: это высказывания Карамзина. Так, например, в «Письме сельского жителя» (Вестник Европы. 1803. № 17) — программной статье по этому вопросу — издатель писал: «...для истинного благополучия землевладельцев наших желаю единственно того, чтобы они имели добрых господ и средства просвещения, которое *одно сделает все хорошее* (то есть освобождение. — *Ю. Л.*; курсив мой) *возможным*»[2]. Таким образом, корни позиции Александра Тургенева в этом важнейшем вопросе уходили еще в воззрения его периода «Дружеского литературного общества». То же самое можно сказать и относительно Кайсарова.

Обращение к материалу убеждает нас, что еще в 1801—1803 гг. проблема борьбы с рабством народа уже стояла перед Кайсаровым, Андреем Тургеневым и их единомышленниками по «Дружескому литературному обществу». В этом смысле показательна работа Андрея Тургенева над переводом пьесы Коцебу «Негры в неволе». Исследователи давно уже отмечали, что тема рабства негров в русской литературе конца XVIII — начала XIX в. неизменно заполнялась остроактуальным содержанием, ассоциируясь с вопросами крепостного права. Так, в «Вестнике Европы» Карамзина, в № 3 (февральском) 1802 г., в статье «Письмо из Балтиморы» утверждалось, что «Негр Северной Америки есть счастливый работник, имеющий все нужное для жены и детей своих и живущий без забот». Большой цикл статей и заметок о Тусене-Лювертюре в «Вестнике Европы» проводил мысль о том, что освобождению должно предшествовать длительное просвещение, что невозможно предоставить свободу «дикому», «непросвещенному» народу. В июньском номере «Вестника» за 1802 г. (№ 12) редактор сочувственно сообщал о постановлении консулов сохранить рабство во французских колониях, поскольку, объяснял журнал, восстание негров показало, что они не умеют пользоваться свободой.

Одновременно, однако, в русской литературе существовала и противоположная тенденция — обличения рабства негров, причем авторы прозрачно намекали на аналогичность положения русских крестьян. По этому принципу был написан отрывок В. В. Попугаева «Негр»[3]. Смысл интереса к положению негров обнажил Сергей Глинка. Заключая пересказ «Несчастья от кареты» Княжнина, он писал: «Была беда и от смычков гончих и борзых собак, на которых обменивали семьи крестьян; была беда от торгашей; переселяли на лице земли русской перекупы негров!»[4]

---

[1] Цит. по: *Тарасова Е. Н.* Декабрист Н. И. Тургенев в александровскую эпоху // Учен. известия Самарского ун-та. 1918. Вып. 1. С. 87.

[2] Вестник Европы. 1803. № 17. С. 52.

[3] Анализ этого отрывка, а также перечень аналогичных ему произведений см. в кн.: *Орлов В. Н.* Русские просветители 1790—1800-х годов. М., 1953. С. 264—269.

[4] *Глинка С. Н.* Записки. СПб., 1895. С. 95.

В ряду антикрепостнических памятников на тему о положении негров перевод Андреем Тургеневым пьесы А. Ф. Коцебу «Негры в неволе» занимает не последнее место. Политический и литературный облик Коцебу достаточно хорошо известен, поэтому в настоящем случае имеет смысл говорить не столько о самой пьесе, хотя и написанной — на это указывал сам автор — под прямым влиянием Рейналя, а об интерпретации ее русским читателем. Какое впечатление производили в России, и в частности в семье Тургеневых, наполняющие пьесу монологи против рабства, можно судить по дневнику Н. И. Тургенева. В феврале 1809 г. он записывал: «Сегодня читал с Рандом „Негры в неволе", соч<инение> Коцебу. Это чтение, хотя и приятное в некоторых отношениях, возродило во мне чрезвычайно неприятные мысли. О Россия, Россия! Естьли бы жизнь моя могла быть в сем случае полезна славному, доброму Русскому народу, сей час рад бы пожертвовать оною тысячу раз»[1].

В переводе Андрея Тургенева читатель находит и ужасающие картины угнетения рабов-негров, и яркие монологи о равенстве людей. Особенно острый смысл приобретало обращенное к неграм восклицание противника рабства Джона: «О, если б она (кровь негров. — *Ю. Л.*) закипела, если б отчаяние превратило ее в пламень и вы умертвили бы ваших тиранов»[2]. «Неволя подавляет всякую душевную способность», и, следовательно, никакое «просвещение» невозможно в условиях рабства. На утверждение рабовладельца: «Негры родятся невольниками» — следует ответ: «Неправда! Никто невольником не родится».

Текст Коцебу в переводе Тургенева получал особый смысл, так как не мог не вызывать и у переводчика, и у читателя тех ассоциаций, которые возникали у Николая Тургенева. Аналогию с положением крепостных в России вызывали и картины избиений негров плантаторами, и рассуждения об отсутствии у негров права собственности. На предложение искать правду в суде негр Труро отвечает: «Суда? мы не можем быть и свидетелями, не только доносчиками. Негр никогда не бывает прав. Всякой Европеец, даже иноземец, может бить его, не страшась наказания, а если негр только руку на него поднимает, то он должен умереть немедленно»[3].

Андрей Кайсаров, бесспорно, был в курсе литературного труда своего ближайшего друга, и вряд ли будет ошибкой полагать, что чувства, испытанные им при этом, не отличались от дневниковой записи Николая Тургенева.

У нас есть, однако, еще более значительное свидетельство интереса Кайсарова, так же как и его единомышленников по «Дружескому литературному обществу», еще в 1801 г. к теме крепостного права. Речь идет о постановке в любительском театре Благородного пансиона при Московском университете пьесы Н. Н. Сандунова «Солдатская школа».

Драма Сандунова впервые была упомянута в книге Н. В. Сушкова «Воспоминания о Московском университетском благородном пансионе»

---

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 1. С. 210.

[2] Негры в неволе. Историко-драматическая картина... М., 1803. С. 41—42.

[3] Там же. С. 43.

(М., 1848). Однако ни консервативно настроенный Сушков, ни основывавшийся на его указаниях В. И. Резанов, рассматривавший в своих разысканиях о Жуковском «Солдатскую школу» в ряду других пьес сборника «Детский театр», не подчеркнули боевой антикрепостнической направленности пьесы, оценив ее как художественное воплощение принципов масонской педагогики Прокоповича-Антонского. Советские исследователи литературного окружения Радищева, обратив в конце 1930-х гг. внимание на яркую антикрепостническую направленность пьесы, правильно связав ее с радищевской традицией, прошли, однако, мимо указаний Резанова, а издание «Солдатской школы» 1817 г. считали первым[1]. Пьеса была рассмотрена как анонимная. В таком виде она и вошла в литературу. В 1948 г. С. С. Данилов в «Очерках по истории русского драматического театра» коротко пересказал пьесу, не добавив к предыдущим исследованиям ничего, кроме нескольких неточностей (так, например, Иосиф и Стодум названы братьями, на самом деле второй приходится первому в пьесе сводным дядей). В дальнейшем ряд исследователей, основываясь на указании Сушкова, высказался в пользу авторства Сандунова, в литературе также указывалось на опубликование пьесы в 1802 г. в сборнике «Детский театр». Однако, поскольку никаких сведений о постановке пьесы в распоряжении исследователей не имелось, весьма затруднительна была оценка степени общественного воздействия этого произведения. Данные переписки Андрея Кайсарова и Андрея Тургенева позволяют уточнить обстоятельства, при которых ярко антикрепостническое произведение увидело свет рампы. Одновременно представляется возможность выявить один из путей влияния демократических, антикрепостнических идей на Кайсарова. Попутно бесспорно устанавливается авторство Сандунова.

Пьесы Сандунова привлекали внимание современников. С. П. Жихарев в своих воспоминаниях писал: «Н. Н. Сандунов посадил меня к себе, чтобы потолковать о литературе, стихах и прозе, о поэтах и прозаиках. Я всегда полагал, что Н. Н., несмотря на свое юридическое призвание, любит литературу и особенно театральную, чему доказательством служат его разные пьесы, которые мы разыгрывали на пансионском театре, не говоря уж о капитальном переводе Шиллеровых „Разбойников“»[2]. 12 июля 1801 г. Кайсаров писал Андрею Тургеневу в Петербург: «Я достал некоторые драмы Николая Сандунова и теперь их с Есиповым на скорую руку списываем»[3]. Пьесы произвели на молодых людей настолько значительное впечатление,

[1] См.: *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в. Л., 1938. С. 85—94.

[2] *Жихарев С. П.* Записки современника / Ред., статьи и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955. С. 75. О Н. Н. Сандунове см. также: *Переселенков С. А.* Затерявшиеся пьесы Н. Н. Сандунова // Бирюч петроградских государственных театров. Пг., 1920. Вып. 2 (исключенные цензурой места из пьесы «Капитан Хинхилла»); Описание дел Архива Министерства народного просвещения / Под ред. Н. С. Николаева и С. А. Переселенкова. Пг., 1921 (публикация списка пьес Сандунова из бумаг митрополита Евгения. С. 92).

[3] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 193 об. О Есипове см.: *Геннади Г. Н.* Справочный словарь о российских писателях и ученых. Берлин, 1876. Т. 1. С. 346.

что у них родилась мысль сценического воплощения самой боевой из них — «Солдатской школы».

Инициатива постановки, вероятно, исходила от Кайсарова и его друзей, а не от самого автора. Это можно предположить, поскольку участники постановки только пользовались сценой пансиона, а сами, по крайней мере в значительной части, к нему не принадлежали. Это видно из того, что А. А. Прокопович-Антонский в беседе с Кайсаровым предлагал последнему сцену как место для выступления той любительской группы, которую он назвал «партией» Кайсарова. «Я стороною заговорил, — писал Кайсаров в письме, — что мне хотелось бы играть где-нибудь „Бед<ность> и бла<городство души>". „А для чего же бы это не у нас? — спросил он. — Собирайтесь *своею* партиею и сыграйте у *нас*" (курсив мой. — *Ю. Л.*)».

Между тем если бы инициатива постановки исходила от Сандунова, то ему естественнее всего было бы обратиться к руководимой им драматической группе пансиона. Показателен и тот факт, что, когда на репетицию пришел Сандунов, дававший участникам указания, Кайсаров сообщил об этом Андрею Тургеневу как о чем-то необычайном. «Прошлую пятницу, — писал он, — была у нас проба, на которой был Ник<олай> Сандунов, который нас учил»[1].

Цитированные выше слова Прокоповича-Антонского, радушно предлагавшего пансионскую сцену в распоряжение «партии» Кайсарова, были произнесены уже после постановки «Солдатской школы», прошедшей очень удачно и одобренной директором университета И. П. Тургеневым, с мнением которого непосредственно подчиненный ему Антонский вынужден был считаться. Первоначально же, как это следует из писем Кайсарова, он чинил всяческие препятствия постановке пьесы, видимо испугавшись ее боевого антикрепостнического содержания.

Прокопович-Антонский тормозил работу над пьесой, на почве чего между ним и Кайсаровым возникали столкновения. 18 ноября 1801 г. последний с раздражением сообщал Андрею Тургеневу, что в прошлое воскресенье репетиция не состоялась: «Опять нашлись историко-энциклопедические причины» (Антонский преподавал «историю и энциклопедию»). «Но зато уж, — продолжал Кайсаров, — и я взбесил господина профессора! Рад, сказывают, был на стену лезть <...> По крайней мере уверяют, что в следующий раз будем играть непременно»[2]. То, что возражения директора пансиона, насаждавшего на пансионской сцене «нравственные» пьесы в духе обязательной религиозной морали, были направлены против социально-политического пафоса «Солдатской школы», следует из цитированного уже выше письма Кайсарова, сообщавшего о резкой перемене в отношении Антонского после блестящей удачи постановки. «Третьего дни из строгого Антон<ского>, которой боится развратить своих питомцев светскими пиесами, сделалось превращение в агнца»[3].

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 40 об. Письмо от 18 ноября 1841 г.

[2] Там же. Л. 40.

[3] Там же. Л. 58. Письмо от 19 декабря 1801 г.

Первая постановка «Солдатской школы», видимо, состоялась 8 декабря 1801 г. На другой день Кайсаров писал другу в Петербург: «Брат! Брат! для чего тебя тут не было. Для чего ты не был свидетелем моего триумфа? <...> Я играл вчера Стодума в Сол<датской> школ<е> — и уверяют, будто совершенно. Сам Санд<унов>, с которым мы незадолго перед этим крепко побранились, сам он прыгал от радости. Батюшка (И. П. Тургенев. — *Ю. Л.*) вчера сказал мне: ну, брат, Андрехан! Vous avez surpassé mes attentes»[1].

Успех был полный. 12 декабря Кайсаров сообщил Тургеневу: «Я задыхаюсь от восхищения! Как играл Вас<илий> Степанович! Ура! отпотчевали почтенную публику. Да видно хорошо — просили, чтобы о святках еще сыграть, и сыграем! пусть еще нас посмотрят!»[2]

Пьеса, постановку которой организовали А. Кайсаров и его друзья (к сожалению, точный состав исполнителей пока установить не удалось), принадлежит к числу ярких антикрепостнических выступлений в литературе конца XVIII в. Нет необходимости останавливаться на ее содержании, поскольку оно уже несколько раз пересказывалось в исследовательской литературе. Отметим только некоторые особенности произведения, существенные для дальнейшего формирования воззрения Кайсарова. Все произведение проникнуто решительным отрицанием крепостного права. Из пьесы трудно заключить, разделяет ли автор революционные идеалы Радищева, но бесспорно, что с точки зрения критики крепостнических установлений «Солдатская школа» стоит в первом ряду демократической литературы XVIII в. Приказ помещика старосте заставляет вспомнить Григория Сидоровича и его «указ» из «Трутня» Новикова: «Собрать тебе всех старых и нынешних недоимщиков, которые к батюшкину ангелу не прислали денег, пересечь их на сходке нещадно, разослать по нашим конским и винным заводам, домы их продать, коров приписать к нашим, а девок оставить до нашего приезда»[3].

Действующие лица резко делятся на два лагеря — крестьяне, носители благородных свойств человеческого характера, и их угнетатели, в первую очередь тунеядцы-дворяне. «Ой вы, щелкоперы, — говорит старый солдат Радушич молодому дворянчику Разнежину, — все для вас на свете, а вы ни для чего; на что ни взглянете, все ваше; кому ни прикажете, должен вам служить»[4].

Посвятив свое произведение от первого до последнего слова страданиям угнетенных крестьян, автор настойчиво намекает на возможность и законность отпора угнетению. Именно такой смысл имели слова Иосифа, сына преследуемого старостою крестьянина Бедона. Готовясь пожертвовать жизнью ради спасения отца и сестры, Иосиф говорит: «Есть зло, которое оправдывается само

---

[1] Тургеневский архив. Л. 50—51.

[2] Там же. Л. 145 об. Установить личность «Василия Степановича» нам не удалось.

[3] Солдатская школа. Драма в трех действиях // Детский театр. М., 1802. С. 143.

[4] Там же. С. 109.

собою, и насилия, которым одна только отчаянность противустоять может»[1]. Еще более показателен в этом отношении диалог Бедона и старосты Занозы.

«*Бедон.* ...Вон, вон! — Этой девки не видать ни тебе, ни барину; я лучше наложу на нее и на себя свои руки, коли его руки нет над нами (*сплеснув руками в крайней горести, устремился на него*).

Заноза. Ни мне, ни барину! Ни барину! Так чтоб ты над собой и над нею чего не сделал, сейчас же велю ее взять под караул, а тебя и по рукам и по ногам заковать в железы — вишь какой!

Бедон. Это тебе не удастся: вся деревня за нас вступится».

Смысл этих слов окончательно уточнен реакцией старосты:

Заноза. Что? бунтовать?..»[2]

Как мы увидим в дальнейшем, антикрепостническая пьеса Сандунова не прошла бесследно для воззрений одного из инициаторов постановки. Однако значение спектакля этим не исчерпывается: он познакомил сравнительно широкую аудиторию с ярким антикрепостническим произведением, дотоле похороненным на страницах малодоступных рукописных сборников. (О том, что пьесы Сандунова переписывались, свидетельствует цитированное выше письмо Кайсарова.) Можно полагать, что успех постановки открыл пьесе также и дорогу в печать. Как известно, «Солдатская школа» была написана еще в начале 1790-х гг. Однако для опубликования ее, видимо, возможностей не было. Вообще, наученный осторожности преследованиями писателей в конце XVIII в., Сандунов и в царствование Александра I предпочитал не отдавать своих произведений в печать. По крайней мере, в списке его сочинений, хранящемся в материалах Евгения Болховитинова, указано одиннадцать драматических произведений, одобренных цензурой, но ненапечатанных. Успех «Солдатской школы» оживил у автора стремление издать пьесу, а в равной степени подействовал на цензора (это был тот же Прокопович-Антонский), первоначально очень настороженно отнесшегося к произведению. Состав сборника, по всей вероятности, неслучаен. Сандунов поместил перед «Солдатской школой» несколько пьес, в полной мере безобидных с цензурной точки зрения, долженствующих отвлечь внимание недоброжелательного читателя. Таким образом, постановка «Солдатской школы», в которой Андрей Кайсаров принимал самое активное участие, сыграла важную роль в популяризации боевой антикрепостнической пьесы. Бесспорное влияние она оказала и на формирование воззрений самого Кайсарова.

Неприязненным отношением к дворянству, критикой дворянских моральных норм, дворянского искусства проникнуты и другие из дошедших до нас пьес Сандунова. Драма его «Отец семейства», известная Кайсарову и по рукописи, и по постановке в театре, противопоставляла отрицательным образам дворян положительную фигуру разночинца-художника. По силе обличительного тона она значительно уступает «Солдатской школе», что, воз-

[1] Солдатская школа. С. 208.
[2] Там же. С. 147.

можно, объясняется переводной основой произведения — пьеса построена как вольное воспроизведение драмы Геммингена (Gemmingen) «Der deutsche Hausvater», Mannheim, 1782)[1]. Однако Сандунов значительно усилил демократическую направленность произведения. Так, в немецком тексте отсутствуют слова гр. Чадолюбова: «Аршин полотна, вышедший из рук искусного живописца, для меня дороже многих наших грамот», подчеркивающие превосходство разночинца-художника над титулованной знатью. Введена Сандуновым, например, и следующая характеристика придворной жизни: «Мы должны искать и приобретать происками и просьбами, нехотя обижать иногда и быть самими обиженными, — нас давят, да и от нас стонут поминутно, куда ни обернись»[2]. Резко отразились в пьесе взгляды Сандунова на искусство, высказываемые устами живописца. Слова его: «На что и искусство, коли оно бесполезно» — в немецком тексте отсутствуют. Сандунов придавал им большое значение: недаром он поставил их в качестве эпиграфа ко всей драме. В отличие от немецкого текста, где художник говорит только об изображении на полотне чувств своей души («Hier, an der Staffelei, das große Gefühl der Kunst in meiner Seele, der Gedanke der Natur hier in der Hand die Farben, mit denen ich's wiedergeben kann, was ich so mächtig fühle...»), Сандунов подчеркнул истину как главное содержание искусства: «Здесь только, дочь моя, при моей работе, когда душа моя занимается природою, когда рука моя красками изображает мои чувства, когда нежный твой голос *кажется мне голосом истины, которую пишу я здесь* (курсив мой. — *Ю. Л.*)».

При анализе пьесы бросается в глаза еще одна деталь: в пьесе участвуют, в числе других персонажей, граф Добросердов и графиня Разумова. Называя героев традиционными «значащими» именами (в немецком тексте нейтральные «Monheim» и «Amaldi»), Сандунов пошел, однако, на значительное драматургическое новшество: Добросердов принадлежит в драме к числу отрицательных персонажей, а графиню Разумову никак разумной назвать нельзя. Это необходимо Сандунову для того, чтобы подчеркнуть социальный, а не психологический характер деления героев на положительных и отрицательных. Имя Добросердова подчеркивает способность графа к добрым поступкам, действия же его в пьесе должны подчеркнуть нереализованность этих возможностей и калечащее воздействие светской обстановки. То же самое следует сказать и о графине Разумовой. Недаром даже добродетельный граф Чадолюбов должен сознаться, что ему приходится «нехотя обижать» беззащитных бедняков. Имя же положительного героя художника — Иосиф Бедняков — подчеркивает именно его социальную характеристику. Среди дошедших до нас пьес Сандунова имеется весьма примечательная по резко выраженной ненависти к дворянству и сочувствию простому народу комедия «Губернаторство Санха Пансы на

[1] Пьеса Н. Н. Сандунова, написанная в 1793 г., издавалась два раза — в 1794 и 1816 гг. Сравнение с драмой Геммингена производилось по изданию: Deutsche National-Litteratur. Historisch-kritische Ausgabe. Bd 139, erste Abt.: Das Drama der klassischen Periode, II.

[2] *Сандунов Н.* Отец семейства. М., 1816. С. 101.

острове Баратории»[1], в которой Санчо Панса советует «этих всех бесполезных донов (понимай — дворян. — *Ю. Л.*) перевесить»[2]. Мы не останавливаемся на этой пьесе подробнее, поскольку она написана значительно позже, в 1810 г., однако она показательна для характеристики общей направленности воздействия Сандунова на Кайсарова.

Вероятно, через Сандунова (и брата его, известного актера Силу Сандунова) Кайсаров познакомился со средой московских артистов. В письмах его, переполненных оценками пьес и спектаклей, начинают появляться сочувственные замечания о положении актеров. «Театр отдан князю Волхонскому, — сообщает он А. Тургеневу. — Что это значит? За что отнимать хлеб у бедных актеров и откармливать сиятельного за их счет»[3]. Крепостной театр вызывает у него резко отрицательную оценку: «Завидно мне, что ты видишь прекрасные пиесы и хорошо игранные; а я принужден видеть чушь, в которой действуют как куклы рабы Волхонского»[4].

Конечно, не только пьесы Сандунова толкали Кайсарова к размышлению над положением русских крестьян: бесспорно, ему была хорошо известна в основных произведениях вся антикрепостническая традиция русской литературы XVIII в. Друг Кайсарова Николай Тургенев в раннем возрасте прочел «Путешествие из Петербурга в Москву», другой из его ближайших друзей — Мерзляков — был редактором первого собрания сочинений Радищева. Более чем неправдоподобно предположить, чтобы эта книга осталась неизвестной Андрею Кайсарову.

Однако для того, чтобы проникнуться ненавистью к крепостному праву, конечно, книжных впечатлений было недостаточно, — в первую очередь на Кайсарова воздействовали живые впечатления окружавшей его действительности. Вопрос положения народа волновал Кайсарова задолго до того, как он сел на студенческую скамью в аудитории Шлецера. Не случайно во время путешествия он так старательно наблюдает жизнь и положение крестьян[5].

Годы пребывания в Геттингене были заполнены напряженным трудом по изучению русской истории, славянских языков, народной поэзии. Однако о чем бы ни думал Кайсаров, мысль его все время обращалась к вопросу о положении народа. Об этом красноречиво свидетельствуют выписки из различных источников, сохранившихся в его геттингенской тетради.

Читая книгу Э.-М. Арндта «Дух времени», Кайсаров выписал цитату о рабстве как причине упадка Рима и тут же вспомнил положение русских крестьян. «Многие римляне, — выписывал Кайсаров, — имели от 1000 до

---

[1] Впервые рассмотрена в ст. М. К. Азадовского (Неизвестная пьеса о губернаторстве Санчо Пансы // Сервантес: Сб. статей. Л., 1948), не установившего автора пьесы. Авторство Сандунова, указанное в списке произведений, хранящемся в бумагах митрополита Евгения, впервые установлено П. Н. Берковым.

[2] ОР РНБ. Шифр: F XV № 75. Л. 4 об.

[3] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 55.

[4] Там же. Л. 70.

[5] См.: Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 5 (вторая пагинация).

2000 рабов лишь для роскоши и ремесла. Те же, кто еще пользовались свободой и именовали себя римлянами, превратились в конце концов благодаря иностранцам и вольноотпущенным в смесь всех национальностей, пестрое, выродившееся племя ублюдков (Bastardgeschlecht)». Выписка вызвала у Кайсарова знаменательную аналогию: «Настоящее изображение нашего любезного отечества. К чему дворяне наши употребляют рабов своих? Из кого состоит русское дворянство? — Русские, поляки, немцы проклятые, грузины, татары и даже французы!!!»[1]

Знаменательно, что Кайсаров значительно переосмыслил цитату Арндта. У последнего характеристика «пестрое, выродившееся племя ублюдков» относится не к рабовладельческой верхушке римского общества, а к римскому «пролетариату» — сброду из деклассированных элементов общества и вольноотпущенников, заменившему в качестве среднего сословия разоренное римское крестьянство. Кайсаров же переносит эту резкую оценку на русских дворян, что, согласуясь с другими его высказываниями (например, в диссертации), соответствует резко критическому отношению его к угнетателям крестьян — помещикам. В полной мере воззрения Кайсарова в этом вопросе проявились в его диссертации[2].

Диссертация Кайсарова не является произведением революционного мыслителя — она такой и не могла быть по самому характеру исторического момента. Отражая раннюю стадию формирования дворянской революционности, еще весьма незрелой, во многом не осознающей своего отличия от дворянских либералов, диссертация вместе с тем содержит определенные черты, позволяющие охарактеризовать ее как первую ступень в развитии именно революционной, декабристской мысли.

Через все сочинение Кайсарова проходит мысль о крестьянине как лучшем, достойнейшем человеке общества. Изучая знаменитый «Tripartium» — труд венгерского юриста XVI в. Werböczy, Кайсаров выписал то место, которое говорило, что в понятие нации, то есть в политико-юридическое представление о народе, входят как дворяне, так и простой народ. «Под именем и названием народа (populi) в этом смысле обычно понимают господ, прелатов, баронов

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 2052. Выписки Андрея Сергеевича Кайсарова. Цитаты из Арндта у Кайсарова приведены на немецком языке. В книге этому месту предшествует не менее знаменательное, бесспорно, также привлекавшее внимание Кайсарова место: «При императорах превратилась прекрасная Италия в пустыню, потому что землю больше не обрабатывали веселые и свободные руки добрых крестьян. Несмотря на свои миллионы рабов, некогда богатая Италия платила дань голоду, если запаздывали корабли из Египта и Африки» (Geist der Zeit von Ernst Moritz Arndt. 1806. S. 183).

[2] *Kaisarov A.* Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam servis. (Далее: Dissertatio...) Обычно переводится: «Об освобождении рабов в России». Б. В. Правдин в статье «Русская филология в Тартуском университете» (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 35. 1954. С. 133) переводит: «О необходимости освобождения крепостных в России», — данный перевод представляется более точным и в грамматическом (оттенок долженствования в форме gerundivum'a), и в смысловом отношении. За проверку перевода латинских текстов автор выражает благодарность Н. Забинковой.

и другую знать (magnates), равно как и вообще дворян, но не простой народ (ignobiles).

§ 1 Подобает в этот термин (народ) включать в равной мере всех дворян (Nobiles) и простонародье (ignobiles). Относительно простонародия (которое понимают под именем плебса) это само собой разумеется.

§ 2 Народ отличается, однако, от простонародья, как род от вида. Имя народа означает вообще дворян как знать, так и мелких (inferiores), а также простой народ. Название же плебса подразумевает только простонародье»[1].

Приведенная цитата не только не согласовывалась с официальной точкой зрения дворянского государства, для которого крестьянин был «в законе мертв» и рассматривался как вещь, но также решительно расходилась с представлением русских дворянских либералов XVIII в., считавших, что дворянство — «состояние», «долженствующее оборонять Отечество купно с государем и *корпусом своим представлять нацию* (курсив мой. — *Ю. Л.*)»[2].

Хотя, как мы видим, постановка вопроса в цитате решительно отличалась от позиции, сформулированной Фонвизиным, поскольку признавала за крестьянами и дворянством равное право «представлять нацию», но и она не удовлетворила Кайсарова. В диссертации он говорит о том, что подлинное лицо нации представляет именно трудящийся народ, и весьма резко оценивает «благородный корпус дворянства».

«Уже давно, — писал Кайсаров, — дворяне считают, что в них заключается высшая сила и крепость нации, но последние 20 лет приносят обильные доказательства, что она заключена во всем народе в целом, что им {дворянам} не следует приписывать почти никакого значения и что они зависят от простого народа. В составе нации гораздо больше следует ценить того, кто приносит какую-либо пользу государству, чем того, кто как трутень занят тем, что растрачивает плоды чужого труда. Кто же не понимает, что первое место в народе следует отвести крестьянину? Ибо он, сам ни в ком не нуждаясь, снабжает всех средствами к жизни. Он всегда бы имел всего в достаточном для существования количестве, если бы ему не ставилось никаких препятствий; все же то, что он производит своим неусыпным трудом, крайне необходимо для всех прочих; итак, значения его ни в коем случае нельзя умалять»[3]. Дворяне — не лучшая часть народа, а разноплеменный сброд, потомки «татар, немцев и поляков»[4], в моральном отношении они стоят бесконечно ниже крестьян, а их физические силы подорваны излишествами и развратом. Крестьянство, «вследствие того, что оно выделяется

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 2052. Л. 17. Выписка на латинском языке. Ср.: Tripartium. Opus juris consuetudinarii incliti Regni Hungariae. Stephani Werbeuzi, MDLXXXI. Pars secunda. P. LXIX et sq.

[2] *Фонвизин Д. И.* Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления//Избр. соч. и письма. М., 1947. С. 187.

[3] Dissertatio... С. 12.

[4] Там же. С. 5.

чистотою нравов, обладает телом, не изнеженным роскошью и негой; жена крестьянина и дети также участвуют в труде (не так, как обстоит дело у жен и детей дворян, которые состязуются между собой в расточительности)»[1]. «...Народ наш крепок, мощен, здоров, хотя и не настолько лишен человеческих слабостей, чтобы не болеть, но далеко не так часто и не такими заболеваниями, — иронически добавляет Кайсаров, — как дворяне»[2].

Чем выше ставил Кайсаров возможности народа, тем резче вырисовывалась перед ним нетерпимость угнетенного положения крестьян. Крепостное право не дает развернуться народным талантам. Кайсаров подчеркивает противоречие между душевными возможностями крепостного крестьянина и ужасными условиями его жизни: «Сколько должно было совпасть благодаря счастливой случайности благоприятных обстоятельств, чтобы появились Кулибины <...> и им подобные! Как часто исключительный ум подавляется рабством и не может проявить себя. Действительно, 100 лет тому назад (то есть в петровскую эпоху. — *Ю. Л.*) русский народ показал, что он не лишен силы и остроты разума, если же он будет провозглашен свободным, то затраты на его образование поистине в кратчайший срок окупятся сторицей»[3].

Описание условий жизни крепостного крестьянина совсем не носит «отвлеченного» характера и показывает в авторе отнюдь не книжное знакомство с русской действительностью. Кайсаров рисует облик крепостного, «тело которого ослаблено и изнурено постоянными чудовищными трудами, сокрушено скудной пищей, дух которого обеспокоен и согбен горестью из-за неотступных дум о нужде и бедности»[4]. Приводя случай «зверской свирепости помещиков» в Гольштинии, автор тут же добавляет, что они «могли бы поучиться у наших дворян»[5].

Даваемая Кайсаровым характеристика положения народа указывает не только на знакомство с бытом русской крепостной деревни (в этом нет ничего удивительного, удивительнее было бы, если бы Кайсаров не был с ним знаком, живя в атмосфере крепостничества), но и с русской и иностранной антикрепостнической литературой. В своей книге о славянской мифологии он использует сочинение Меркеля «Латыши, особенно в Ливонии...», ссылку на Меркеля находим и в опыте словаря древнерусских слов, над которым Кайсаров работал позже в Тарту[6]. Описание судьбы крестьянского младенца в диссертации живо напоминает соответствующее место «Отрывка путешествия в *** И *** Т ***». В диссертации читаем: «Пока родители подобно скоту выгнаны в поле для несения тяжелейших трудов, дети остаются дома, ползая в соломе среди скота, крича от голода (потому что мать, которая

[1] Dissertatio... С. 16.
[2] Там же. С. 18.
[3] Там же. С. 25—26. После фамилии Кулибина следует непонятное Szarovii (Царевы?). Возможно, это опечатка и следует читать «Захаровы».
[4] Там же. С. 13.
[5] Там же. С. 14.
[6] ОР РГБ. Архив ОИДР. № 210/15. Л. 1.

могла бы дать им молоко, отсутствует чуть не весь день), призывая мать, которая, когда, наконец, возвращается, изнуренная долгим трудом и обессиленная, домой, прикладывает их к груди, иссушенной зноем и горем».

Близость хода рассуждения чувствуется и в других местах у Кайсарова: «Хорошо известно, что для всех сельских трудов предписаны и установлены определенные сроки, а наибольшую часть этого времени крепостные вынуждены, работая, находиться в поле своего господина. Если погода для этих трудов благоприятна, то раб должен использовать ее на господском поле, вспахать его, собрать урожай и увезти в амбары, а если наступает плохая погода, господин разрешает позаботиться и о себе, себе пахать, жать и т. д., при этом его не тревожит, что солнечный зной, осыпающий зерна из его колоса, тот же убыток производит и на поле крестьянина и что тот же дождь, который приносит ущерб его полям, готовит пашням его крепостных ту же беду»[1].

---

[1] Dissertatio... С. 18, 10. «Отрывок путешествия в *** И *** Т ***» находил широкий отклик у читателей, о чем свидетельствуют как ряд перепечаток его в позднейшие годы (в составе «Живописца» и отдельно), так и реминисценции из него в других произведениях. Мы уже отмечали скрытую ссылку на него в письме Н. И. Тургенева Сергею Ивановичу. Можно было бы отметить еще один любопытный факт, возможно также связанный с влиянием «Отрывка путешествия в *** И *** Т ***», хотя и нет достаточных оснований для безоговорочного утверждения этого. В анонимной книжке «Путешествие моего двоюродного братца в карманы. Вольной перевод» (М., в губернской типографии у А. Решетникова, 1803) находим следующую картину: «Не плачь, не страдай, сын вельможи, естьли ты можешь это сделать, не заставляй же плакать и подобно тебе рождающихся! Не забудь, что в дымной избе поселянина часто один-одинехонек барахтается в люльке младенец, плачет — вопит и на крик его отвечают другие малютки своим криком. Не забудь, что не матернее небрежение и не отцовское хладнокровие тому причиною, но ты, ты сам!.. Они работают на тебя» (с. 73). Влияние «Отрывка» проявилось здесь не только в общей теме и общем отрицательном отношении к крепостному праву, но и в характерной детали: в «Отрывке» говорится о трех грудных младенцах в одной избе — случай очень редкий, но необходимый автору для доказательства трех неотъемлемых прав человека — в «Путешествии моего братца» «на вопль младенца отвечают другие малютки». Однако необходимо отметить, что из картины крепостнического угнетения автор делает не революционный — радищевский, а новиковский — просветительско-моралистический вывод. Тем не менее по остроте критики крепостного права книга примечательна. В ней говорится о том, что великолепие господского дома «куплено ценою его [крестьянина] крови, слез и трудов» (с. 74), что «бедняк, лишенный многих достояний, которые ему как *человеку* принадлежат, должен из милости влачить жизнь свою в состоянии *гражданина* <...> Он вынужден покупать землю, самый воздух, которым мог бы дышать на свободе» (с. 76). «Горе жестокому эгоисту, который растрогивается при чтении чувствительного романа, плачет об участи бедных в театральной ложе; между тем за порогом театра стоит семья *действительно* несчастных <...> Недостойная человечества чувствительность!» (с. 75—76). Книга обращает на себя внимание критикой «сантиментальности» (см. ироническое замечание на с. 98) и многочисленными выпадами против Карамзина (намеки на «Письма русского путешественника» на с. 8, на статьи Карамзина в «Вестнике Европы» на с. 45—46). На с. 58 читаем: «Верно, каждый имеет свою Лизу, которую норовит скорее сделать *бедною*. В конце книги,

Ср. в «Отрывке путешествия в *** И *** Т ***»: «У нашего барина такое, родимый, поверье, что как поспеет хлеб, так всегда его боярской убираем, а со своим-то де, изволит баять, вы поскорее уберетесь. Ну, а ты рассуди, кормилец, ведь мы себе не лиходеи: мы бы и рады убрать, да как захватят дожжи, так хлеб-то наш и пропадет»[1]. Не следует думать, что аналогичный ход рассуждений в приведенных случаях свидетельствует об обязательном воздействии на Кайсарова данного определенного текста. Для подобных утверждений бесспорных оснований нет. Зато очевидно другое: ход рассуждений Кайсарова идет в русле боевой антикрепостнической публицистики конца XVIII в., и если можно спорить по вопросу о знакомстве Кайсарова с тем или иным конкретным произведением, то осведомленность его во *всей традиции* антикрепостнической публицистики бесспорна.

Итак, отметив, что крестьянин составляет самую здоровую часть нации, Кайсаров констатирует, что, вопреки его идеалу государства, в котором бы «никакому сословию не было позволено обогащаться за счет убытка и ущерба других»[2], в России все плоды крестьянского труда отнимаются помещиками[3]. Автор диссертации понимает, что действия помещиков неизбежно породят отпор крестьян. На это Кайсаров, в той или иной степени прикровенно, настойчиво намекает во многих местах работы. Так, например, возмущаясь тем, что «помещикам позволено произвольно налагать кары на рабов, не ожидая суда», Кайсаров добавляет: «Если господа не будут лишены этого права, народ, увидишь, освободит себя от таких оков»[4]. Еще более опреде-

---

нападая на неоригинальность Карамзина, автор намекает, что программное вступление к «Аглае» — плод плагиата. «Московские ведомости» (1803, 11 марта), сообщая о выходе «Путешествия моего двоюродного братца», снабдили известие любопытной аннотацией: «Книжка сия есть из числа критических сочинений, а как произведения сего роду навлекают тем самым и на себя строжайшее суждение, то воздерживаюсь ото всякого оной одобрения». Полемично направлено против «чувствительного» синтаксиса Карамзина и его злоупотребления тире, многоточиями и восклицательными знаками предисловие книги, которое выглядит так:

! ! — — . . . . — — ! !
? . . ? . . ? . . ? . .? . .
— — — — — — — — —
. . . . . .
(?) (!) (!) (!)
! ! — — . . . . . — — ! !

Ср. в воспоминаниях Греча об учителе Д. И. Кудлае, который «любил везде ставить тире в подражание модному тогда Карамзину» (*Греч Н. И.* Записки о моей жизни. С. 168). Обращает на себя внимание, что книга была напечатана в той же типографии А. Решетникова, которая издала в 1806 г. анонимно весьма интересный и загадочный журнал «Московский собеседник». В статье Л. В. Крестовой (Исторические записки. 1953. № 44. С. 254—287) высказана любопытная гипотеза о Новикове как редакторе журнала, считать которую доказанной пока еще нет оснований.

[1] Сатирические журналы Н. И. Новикова / Ред., вступ. ст. и примеч. П. Н. Беркова. М.; Л., 1951. С. 331—332.

[2] Dissertatio... С. 7.

[3] См.: Там же. С. 17.

[4] *Там же. С. 26.*

ленно высказывается автор в другом месте: «Человек, попавший в такие условия (сделавшийся рабом. — *Ю. Л.*), угнетенный и мучимый тиранией, который уже оставил и оплакал всякую надежду освободиться от отягчающих его оков, сначала втайне скорбит о перемене своей судьбы, потом, когда его чувства притупляются, он как бы засыпает, глухой и безразличный ко всему; затем, когда тяжесть рабства становится еще невыносимее, он снова, собравшись с духом, начинает думать, как ему стряхнуть давящее его ярмо и чем можно отомстить жестокому тирану за свои слезы и стоны»[1]. Следует отметить также и то место, в котором Кайсаров, говоря о сравнительной роли дворянства и народа, явственно намекает на революционные события во Франции. Когда Кайсаров говорит, что «последние 20 лет принесли обильные доказательства, что она (крепость нации. — *Ю. Л.*) заключена во всем народе в целом, что им [дворянам] не следует приписывать почти никакого значения, но что они зависят от простого народа», — то неизбежно напрашивается вопрос: какие события он имеет в виду. Если отсчитать 20 лет от 1806 г. — времени написания рассматриваемой работы, мы получим 1786 г. — дату, мало что говорящую с точки зрения доказательства решающей роли народа. Вернее предположить, что ораторский оборот Кайсарова не следует понимать как точное хронологическое указание, — речь, вероятно, идет о событиях 1789 г., на самом деле доказавших всему миру, что дворянству «не следует приписывать почти никакого значения» и что народ, освободившийся от «благородного сословия», способен отстоять свои завоевания от сил внутренней и внешней контрреволюции.

Из приведенного, однако, не следует, что сложная проблема отношения Кайсарова к народному восстанию вообще и французской революции в частности решается как прямолинейное и безоговорочное признание. На самом деле вопрос обстоял значительно сложнее. Кайсаров, как мы видели, доказывал беззаконность угнетения и признавал закономерность и оправданность стремления народа к свободе. Но от принципиального признания этих положений до практической ориентации на революционную энергию народа было еще бесконечно далеко. Боязнь непосредственного развязывания народной борьбы, кровавых путей свержения угнетателей, свойственная дворянской революционности вообще, особенно чувствовалась на ранних этапах ее формирования, и в частности в воззрениях Кайсарова. Он настойчиво подчеркивает свое отрицательное отношение к якобинской диктатуре, которая, по его мнению, является извращением принципов революции; в результате ее «народы одели на себя новые, еще более тяжелые оковы»[2]. Диктатура Наполеона — наказание за «излишества» террора. Подобная концепция позже была весьма популярна в умеренных кругах «Союза благоденствия» и отразилась, например, в строках пушкинской оды «Вольность»:

---

[1] Dissertatio... С. 4.
[2] Там же. С. 1.

Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Кто же должен освободить народ? Ориентироваться на крестьянство, «ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел»[1], деятели дворянской революционности не могли по самой природе своих воззрений. Это порождало на ранних этапах формирования декабризма (а у деятелей умеренного крыла и позже) иллюзорную веру в освободительные возможности правительства. Н. Тургенев в 1816 г. писал: «Все в России должно быть сделано Правительством; ничто самим народом. Естьли Пр<авительст>во ничего не будет делать, то все должно быть предоставлено времени, ничто народу»[2]. Можно было привести ряд аналогичных высказываний других деятелей умеренного крыла декабризма. Со своеобразием этого этапа связана еще одна особенность диссертации Кайсарова: он не касается вопросов политической свободы, не требует ограничения самодержавия, сосредоточивая свое внимание на требовании освобождения крестьян. Он предупреждает, что в его труде речь идет «о гражданской свободе», истолковывая это понятие в антикрепостническом смысле. Последнее знаменательно: если дворянские либералы XVIII в. охотно выступали против «тирании» самодержца, расточали громы в адрес деспотизма, что практически означало требование политического ограничения самодержавия и введения «свобод» для верхушки «просвещенного дворянства», то вопрос крепостного права они предпочитали не затрагивать. Касаясь же положения крестьян, они переносили центр внимания на просвещение, которое якобы должно предшествовать освобождению.

Первые шаги дворянской революционности связаны были именно с перенесением центра внимания на интересы народа, на проблему освобождения крестьян. Если в надеждах на освобождение со стороны правительства проявилась идейная незрелость раннего этапа дворянской революционности, то вместе с тем сложная диалектика исторического процесса состояла в том, что в этом же заключалось и зерно будущего развития декабристской мысли — осознание противоречия между крестьянами и помещиками. Утопические надежды на правительство в деле освобождения крестьян были сложно связаны с трезвым пониманием противоположности интересов крестьян и помещиков и неспособности последних добровольно освободить народ. Не будучи революционной, эта концепция отличалась от воззрений дворянских либералов. Обращение к царю с указанием на необходимость освобождения крестьян, временный отказ от требования расширения политических свобод как средства расширения прав дворянства, увлечение политической экономией, сменившее характерное для XVIII в. увлечение политическими доктринами, — все это явления, связанные между собой и имевшие прямое отношение к критике помещичьего строя. Н. Тургенев писал: «В особенности не нужно терять *ни*

[1] Выражение П. А. Вяземского (Остафьевский архив кн. Вяземских. Т. 2. С. 21).
[2] Архив бр. Тургеневых. Вып. 3: Дневники Н. И. Тургенева за 1811—1816 годы. СПб., 1913. С. 333.

мало самодержавной власти прежде уничтожения рабства. Перы не ограничат ее, но усилят»[1]. Размышляя об английской Хартии вольности, он записал в дневнике: «Это, может быть, единственный пример в истории, что от ограничения власти верховной, выгодной для дворянства, пользовался вместе и простой народ»[2]. С наибольшей определенностью по этому вопросу Н. Тургенев высказался в статье «Нечто о состоянии крепостных крестьян в России». «Всякое распространение политических прав дворянства, — писал он, — было бы неминуемо сопряжено с пагубою для крестьян, в крепостном состоянии находящихся. В сем-то смысле власть самодержавия есть якорь спасения для отечества нашего. От нее и от нее одной мы можем надеяться освобождения наших братий от рабства, столь же несправедливого, как и бесполезного. *Грешно помышлять о политической свободе там, где миллионы не знают даже и свободы естественной*»[3] (курсив мой. — *Ю. Л.*).

Дальнейшее развитие декабристской мысли связано было с осознанием единства интересов царя и помещиков, что́ сопровождалось новым усилением тяги к борьбе против самодержавия, за расширение политической свободы, теперь уже в сочетании с антикрепостнической программой. Якушкин имел основания, процитировав требование «Зеленой книги» «споспешествовать благим намерениям правительства», заключить: «В этих словах была уже наполовину ложь, потому что никто из нас не верил в благие намерения правительства»[4].

На этом этапе деятели, сохранявшие веру в дарованное освобождение, оказывались оттиснутыми на правое крыло движения или вообще порывали с декабризмом, но для начального периода подобная постановка вопроса была неизбежной и закономерной ступенью в общей цепи развития идей дворянской революционности. Ее не следует смешивать с весьма распространенным в начале века стремлением подойти к освобождению крестьян с точки зрения увеличения рентабельности помещичьего хозяйства. Такая постановка вопроса тоже не ставила политических проблем, но, в отличие от кайсаровской, лишена была активного народолюбия и острой ненависти к угнетателям крестьян, лишена отрицания главенствующей роли дворянства в государстве.

Задача диссертации Кайсарова — пропаганда идеи освобождения крестьян. Это заставляет Кайсарова развернуть систему доказательств, обосновывающих необходимость освобождения. Крепостное право, по мнению Кайсарова, не может быть оправдано ссылками на историю. Крестьяне в России

---

1 Архив бр. Тургеневых. Вып. 3. С. 302.

2 Там же. С. 337.

3 Исторические материалы, извлеченные из архива собственной е. и. в. Канцелярии. СПб., 1891. Вып. IV. С. 51.

4 Записки, статьи, письма декабриста Н. Д. Якушкина / Ред. и коммент. С. Я. Штрайха. М., 1951. С. 19. Разумеется, намеченная эволюция политических воззрений декабристов не претендует на исчерпывающую полноту. Эволюция определенного течения декабристской мысли сложилась иначе: от обостренной постановки требования борьбы с политической тиранией (вплоть до тираноборческого акта) к осознанию необходимости решить коренной вопрос народной жизни — требованию уничтожения крепостного права.

были исконно свободными. Для доказательства этого он цитирует «Судебник» Ивана Васильевича, позволяющий крестьянам «отказываться из волости в волость или из села в село». «Отсюда ты не без оснований заключишь, что наши крестьяне, которые были согласно этому уложению приписаны к земле, были свободны»[1].

Что же касается до происхождения рабства вообще, то Кайсаров делает вывод, что «чем дальше углубляется разум в вопрос происхождения рабства и стремится добраться до его истоков, тем вероятнее, по сравнению с другими, нам кажется мнение, считающее, что *насилие и обман* породили это проклятое несчастие»[2].

В основе подобного суждения лежит весьма распространенное в демократической философии XVIII в. представление о свободе как исконном и неотъемлемом праве человека. Вступая в общество, человек преследует основную цель — собственное благо, следовательно, отказ от основного блага — свободы невозможен для человека, сознающего свои интересы и способного их защищать. Радищев в «Беседе о том, что есть сын отечества» говорил «о тех злосчастнейших, коих *коварство* или *насилие* лишило сего величественного преимущества (то есть свободы. — *Ю. Л.*) человека»[3].

В. Анастасевич, публикуя в 1809 г. перевод книги гр. В. Стройновского «Об условиях помещиков с крестьянами», в предисловии «От переводившего» подчеркнул ту же мысль, что освобождение крестьян «было бы только возвращением им того блага, коим они вообще наслаждались не слишком в давние времена, то есть менее 200 лет». Эту мысль он подкрепляет ссылкой на «Древнюю российскую библиофику», откуда приводится статья «Холопи и крестьяне», начинающаяся утверждением, что «крестьяне в древние времена в России были вольными».

Итак, рабство исторически «не опирается ни на какое право»[4], но оно не оправдывается никакими другими соображениями. Оно наносит ущерб государству, подрывая продуктивность сельского хозяйства. Интересы сельского хозяйства, которое «поддерживает жизнь всех граждан», «требуют и предписывают, чтобы крестьяне пользовались личной свободой и правом собственности». Положение это у Кайсарова подробно аргументировано. «Если крестьянин, — пишет Кайсаров, — скорбя и рыдая, принимается за возделывание земли, если борозды пашни он орошает своими слезами, которые исторгло сердечное страдание, тогда и сама земля, мать-кормилица, как бы в союзе с его скорбью, мстит за его пот и слезы <...>, если он трудится ради блага и выгоды своего господина, то с какими проклятиями бросает он в землю каждое зерно! Этот человек, почти задушенный и превращенный в скота чрезмерным, превосходящим силы напряжением, волочит соху. <...> Насколько противоположным всему этому, что я бегло охарактеризовал, выглядит крестьянин, охваченный чувством свободы! Ты увидишь

[1] Dissertatio... С. 6.
[2] Там же. С. 4.
[3] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 215.
[4] Dissertatio... С. 7.

его чуть не с пляской понукающим своих ретивых коней к начатию работы; кажется, сама земля раскрывает свои объятия, чтобы принять зерна и возвратить их сторицею». Ход мыслей Кайсарова весьма близко напоминает известное рассуждение в главе «Хотилов» «Путешествия из Петербурга в Москву», а также аналогичное место в оде «Вольность»[1]. Было бы, однако, преувеличением на основании этого видеть в ходе кайсаровского рассуждения «радищевские» черты, вкладывая в это понятие комплекс представлений о революционности и боевом демократизме. Подобные доказательства широко использовались противниками крепостного права и из числа не принадлежавших к радикальному лагерю. Следует только отметить, что Кайсаров в данном случае не стоит на позиции физиократов, рассматривавших продуктивность земледелия как самоцель, а в крестьянине видевших лишь средство для ее достижения. Кайсаров переносит центр внимания на положение крестьянина, охраняя интересы которого, закон должен позаботиться, «чтобы труд крестьянина не наталкивался на затруднения, чтобы то, что он по́том себе добывает, не отнималось, не похищалось бы у него»[2].

Далее Кайсаров говорит о гибельности воздействия крепостного права на прирост населения. Автор останавливается на значении нищенского, бесправного положения крепостных крестьян как тормоза для дальнейшего роста народонаселения. Повышению рождаемости препятствуют, однако, и прямые запрещения со стороны помещиков крестьянам вступать в браки. «Я сам помню, — продолжает Кайсаров, — что в моем отечестве слышал я о господах, столь бессовестных и злобных, что они всеми способами мешали бракам своих рабов, и я видел на моей родине множество девушек, которые, достигнув 30 лет или даже 50 лет, были вынуждены сохранять целомудрие потому, что их господин порицал браки»[3].

Приведенная цитата указывает на хорошее знакомство Кайсарова с распространенным злом крепостнического быта. Достаточно вспомнить хотя бы помещика Зверкова из «Записок охотника» Тургенева или, весьма близкое к кайсаровскому, описание в «Сатирическом вестнике» Страхова[4]. Запрещение

---

[1] Ср.: Как мачеха к чужеутробным
Исходит с видом всегда злобным,
Рабам так нива мзду дает,
Но дух свободы ниву греет,
Бесслезно поле вмиг тучнеет,
Себе всяк сеет, себе жнет.

[2] Dissertatio... С. 17.

[3] Там же. С. 14.

[4] В описании Страхова кружевницы, «лишены будучи способов ко вступлению в брачные обязательства, вместо того, чтобы в продолжении жизни своей иметь случай делать излияния на благо Правительства и человечества, ничего иного в весь свой век обществу и свету не производят, как только несколько десятков аршин филе. Мода есть их тиран, а филе, для которых барышня их полагает быть созданными, изнуряет их век и занимает место брачных уз» (цит. по: *Западов А. В.* Николай Страхов и его сатирические издания // Проблемы реализма в русской литературе XVIII в. М., 1940. С. 307.

вступать в брак крепостным девушкам, работающим на фабрике, наблюдал Н. Тургенев, посетив свою деревню.

Не проходит Кайсаров и мимо другого распространенного в крепостной деревне зла — неравных браков. «Часто мы видим, что мальчики 12 лет по приказу своих господ женятся на женщинах 25 лет и старше»[1]. Любопытно, что Кайсаров не рассматривает этот уродливый обычай как простое проявление самодурства и произвола помещиков, — он видит его экономическую основу. «Смысл этого, — пишет он, — следует искать единственно лишь в том, что труд по обработке земли в России только тогда возлагается на рабов, когда они вступают в брак»[2].

Кайсаров подчеркивает и то, что для увеличения прироста населения мало устранить препятствия для браков крестьян — надо устранить нищету, порождающую детскую смертность. «Допустим, что наши крепостные могут произвести много детей: но сколько из них, я спрашиваю, достигнут юности? Ведь такова бедность и нищета их родителей, что она поглощает все заботы, которые должны быть отданы детям. Поэтому не следует удивляться, что эти цветы, еще не раскрывшись, уже вянут и погибают <...> Так ребенок, ползающий в навозе, истощенный голодом, лишенный всего необходимого, подходит к юности и сразу же начинает проводить дальнейшую жизнь в полях и лесах, под открытым небом, подвергаясь свирепости дождей, зноя, снега, морозов и любой непогоды, и, таким образом, если юношеское тело не бывает сломлено суровостью климата, появляется муж, — с горькой иронией заключает автор, — достойный называться русским»[3]. Говоря о случаях заболеваний, Кайсаров подчеркивает, что только свобода явится «средством, которое освободит раба от болезней»[4].

Одиннадцатая глава диссертации Кайсарова посвящена вопросу приглашения в Россию иностранных колонистов — мере, широко практикуемой правительством начиная со второй половины XVIII в., для заселения пустующих земель. Кайсаров указывает на противоречие между привилегированным положением иностранцев и угнетенным состоянием русского крестьянина. «Как ты думаешь, — спрашивает Кайсаров, — с каким лицом смотрит русский на иностранца,

---

[1] Dissertatio... С. 15. Вопрос этот волновал Радищева (см.: Полн. собр. соч. Т. 1. С. 379) и Пушкина («История села Горюхина», «Путешествие из Москвы в Петербург»). Сводку пушкинских высказываний по этому вопросу см. в комментарии Н. О. Лернера (*Пушкин А. С.* [Соч.] / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1915. Т. 6. С. 242). Как указали Н. О. Лернер и Б. В. Томашевский (Генезис «Песен западных славян» // Атеней. Л., 1926. С. 41), с этим же связан замысел песни «Уродился я, бедный недоносок». Н. О. Лернер лишь указал на номер соответствующей песни в сб. М. Д. Чулкова, однако сравнения не производил. Между тем ясно, что именно чулковский текст лежит в основе произведения Пушкина. У Чулкова находим мы и объяснение строки «Недоростка меня бедного женили» (у Чулкова: «Недоростка меня матушка женила»), отсутствующей в рукописях Пушкина, но имевшейся в копии Лернера. Подбор народных песен с этим сюжетом см.: Русская баллада. Л., 1936. С. 211—215.

[2] Dissertatio... С. 15.

[3] Там же. С. 18.

[4] Там же.

обладающего такими привилегиями, о которых ему самому не позволено и мечтать»[1]. В случае освобождения крестьян, доказывает автор, не было бы нужды в искусственных мерах для заселения пустующих земель, равно как и в оскорбительном для национального достоинства предпочтении иностранцев: «Мы гораздо больше ценили бы колонии из наших собственных уроженцев. А это может иметь место не раньше, чем крестьяне получат свободу»[2].

Хотя Кайсаров и делает вид, что выступает против привилегий, предоставленных иностранным колонистам правительством Екатерины II, на самом деле — и это понятно было читателю — имелась в виду полемика против правительственной политики современного автору периода. Так, официозный «Санкт-петербургский журнал» в первом же номере (1804) опубликовал доклад графа В. П. Кочубея императору от 22 ноября 1802 г. о свободе, земле и привилегиях для иностранных колонистов. Кайсаров, внимательно следивший за законодательной деятельностью правительства, не мог этого не знать.

Разбираемая глава диссертации интересна и в другом отношении: в ней отчетливо сквозит мысль о том, что любые «проекты» улучшения земледелия бесполезны, пока не решен основной — освобождение крестьян. С осуществлением этого центрального требования остальные проблемы сельского хозяйства решатся сами по себе, благодаря творческой инициативе неугнетенного крестьянина: «Народ, не прикрепленный к земле, не нуждаясь почти ни в какой заботе со стороны высшей власти, сам по себе организует колонии в неосвоенных областях государства, что будет сделано безо всяких или с минимальными затратами со стороны правительства»[3].

Ход рассуждения А. Кайсарова показателен: для него политическая экономия — прежде всего наука, обосновывающая право человека на свободу. Именно это дает возможность Кайсарову сблизить таких, по существу, различных представителей экономической мысли, как Зюссмильх, Юсти, Бюш, Адам Смит, Артур Юм и др. Подход Кайсарова аналогичен здесь точке зрения, которую через десятилетие с небольшим отчетливо сформулирует Николай Тургенев:

«Кроме существенных выгод, которые доставляет политическая экономия, научая например не делать вреда, когда стремишься к пользе, она благотворна в своих действиях на *нравственность политическую* (здесь курсив мой. — *Ю. Л.*). Занимающийся политическою экономиею, рассматривая систему меркантилистов, невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности методы делать людей счастливыми, вопреки им самим. Проходя систему физиократов, он приучается любить правоту, свободу, уважать класс земледельцев <...>. Наконец, занимающийся политическою экономиею, проходя систему, называемою смитовою или критическою, научается <...> простому здравому смыслу и всему, что *естественно, непринужденно*. Он и здесь увидит, что *все благое основывается на свободе*»[4].

---

[1] Dissertatio... С. 20.
[2] Там же. С. 19.
[3] Там же. С. 22.
[4] *Тургенев Н.* Опыт теории налогов. 2-е изд. СПб., 1819. С. XVI—XVIII.

Интерес к политической экономии поставил Кайсарова перед вопросом о перспективах промышленного развития России. А это, в свою очередь, потребовало, уже с другой стороны, критики крепостнических отношений. В главе XII работы он поставил вопрос о необходимости освобождения крестьян для обеспечения фабрик и мануфактур рабочей силой. Практика промышленности на основе крепостного труда вызывает у него решительное осуждение. Так, он резко осуждает указ от 22 июля 1763 г., на основании которого «иностранным колонистам, которые собирались организовывать фабрики, было предоставлено высшим правительством право свободной покупки сел, вместе, разумеется, с населяющими их крепостными»[1]. Эта мера не только несправедлива по отношению к крестьянам, но и невыгодна для промышленности: «Если раб, а не свободный человек работает на фабрике, то он трудится по принуждению и, следовательно, каких плодов можно ожидать от его труда»[2]. Освобождение крестьян приведет к развитию промышленности, а это, в свою очередь, улучшит положение торговли, которая из пассивной превратится в активную, поскольку «вещь, которую произвела отечественная земля, вывозиться будет не сырой, а предварительно обработанной».

Отрицательное отношение Кайсарова к крепостной промышленности продиктовано, однако, не только низким уровнем производительности труда последней, но и сочувствием крестьянам, эксплуатация которых принимала в этом случае чудовищные формы. Ссылаясь на свои личные наблюдения, Кайсаров писал, что крепостные «деревни, в которых основаны фабрики, терпят жестокую нужду, поскольку жители в них отрываются от земледелия»[3].

Аналогичные впечатления зафиксировал в своем дневнике Н. Тургенев, побывав летом 1819 г. в своей деревне. «Работа фабричная, — писал он, — изнуряет людей еще в самом младенчестве».

Однако, по мнению Кайсарова, для успешного развития промышленности необходимо не только наличие свободных рабочих рук: требуется еще иметь свободное городское население — третье сословие, которое могло бы обеспечить сбыт продукции отечественной промышленности. Для этого необходимо обеспеченное и свободное население. В современной же России Кайсаров видит только крепостных, заботящихся лишь о том, чтобы иметь «достаточно пищи для поддержания жизни», и знать, которая «покупает только иностранные (exotici) товары»[4]. Пока не появилось третьего сословия, «наши города останутся городами только по имени»[5].

В период, когда революционные бури конца XVIII в. еще были свежи в сознании современников, Кайсаров не мог не понимать, что появление третьего сословия — вопрос, касающийся не только развития фабричного производства, но и широких общественно-политических проблем, однако предпо-

---

[1] Dissertatio... С. 23.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Ср. слова А. А. Бестужева о том, что в России «города существуют только на карте» (Из писем и показаний декабристов. СПб., 1906. С. 37).

читал этой стороны дела не затрагивать. Тем не менее в качестве подтекста в разбираемых главах постоянно присутствует мысль, сформулированная позже Н. Тургеневым, писавшим: «На что суровость феодального правления не могла подействовать, на то имели сильное влияние происхождение городов, сделавшихся убежищем независимости, распространение торговли, заведение фабрик и мануфактур, произведенное тем усовершенствование земледелия и, наконец, образование среднего состояния граждан, сделавшегося весьма важным в составе государственном»[1].

Рассмотрение экономических воззрений Кайсарова убеждает, что хотя он и не поднялся до оправдания революционного переустройства общества, однако идея отрицания системы феодально-крепостнических отношений была ему присуща.

Диссертация Кайсарова обнаруживает ряд черт, весьма показательных для умонастроений передовой дворянской молодежи раннего этапа развития декабризма. Она характерна как своими исторически обусловленными слабыми сторонами (вера в правительственную инициативу, туманность основных формулировок: так, например, отстаивая «собственность» крестьян, Кайсаров четко не определяет своего отношения к тому, с землей или без земли должен быть освобожден крестьянин), так и сильными (отрицанием крепостничества, резким осуждением помещиков, активным народолюбием и верой в творческие силы народа). Вместе с тем диссертацией Кайсаров завершил не только литературный, но и общественно-политический разрыв с карамзинизмом — идеологией, наиболее умело и последовательно защищавшей классовые интересы дворянства.

Интерес к политической экономии, отмеченный Пушкиным как отличительная черта умонастроений передовой дворянской молодежи 1818—1820 гг., не являлся следствием поверхностной моды — это было одно из проявлений поворота умов «от бесплодных полей мрачной мечтательности к важной действительности» (Н. Тургенев). Поколение, выросшее в атмосфере освободительных идей демократической философии XVIII в. и патриотического пафоса 1812 г., привыкло к мысли о свободе как неотъемлемом праве человека и, считая стремление к вольности «чертой века», сознательно и страстно противопоставляло себя людям эпохи, о которой «свежо предание, а верится с трудом».

Вера в то, что «столетие требует свободы», пронизывает всю диссертацию Кайсарова. Цитируя известное место из IV эклоги Вергилия о наступлении новой эры, он заключает: «Иное время требует новых нравов. И ведь засияло уже то время, тот благодатный день, который приказывает, обещает, требует нового, более счастливого порядка вещей»[2].

Историческая оценка места антикрепостнической диссертации Кайсарова в развитии общественной мысли в России возможна лишь при сравнении ее с сочинениями современных ему представителей основных направлений общественно-политической мысли.

---

[1] *Тургенев Н.* Опыт теории налогов. С. 5—6.
[2] Dissertatio...: С. 29.

Деятели лагеря откровенной реакции не сложили оружия. В том же 1806 г., в котором Кайсаров защищал диссертацию о необходимости освобождения крестьян, в Москве вышла брошюра Растопчина «Плуг и соха», возражавшая даже против чисто технических новшеств в сельском хозяйстве из боязни способствовать «склонности к новостям» «в образе мыслей». Как известно, непосредственным толчком к началу работы Кайсарова над диссертацией явился выход брошюры прибалтийского барона Вольдемара Унгерн-Штернберга, напечатанной в 1803 г. в Петербурге[1]. Написанная под влиянием панического ужаса, посеянного в среде прибалтийского «рыцарства» восстанием 1802 г. в поместье Каугури (при подавлении его была использована артиллерия), брошюра в цинически-развязном тоне проповедовала картечь как «предпочтительное средство при внутренних беспорядках», а философов — врагов крепостного права рекомендовала «вздернуть на виселице». На основании того, что брошюра была запрещена, а автору объявлено «негодование его величества за столь дерзновенный поступок»[2], В. И. Семевский сделал вывод о том, что якобы реакционные идеи, высказанные Вольдемаром Унгерн-Штернбергом, «противоречили либеральным намерениям правительства по крестьянскому вопросу вообще и, в частности, желанию улучшить быт крестьян в Лифляндии»[3]. Болезненность реакции правительства на брошюру объяснялась, конечно, не нежными чувствами его по отношению к крестьянам, хотя откровенная прямолинейность автора-крепостника могла неприятно подействовать на игравшее в либерализм правительство. Следует вспомнить, что в ежегодном отчете, составленном для Александра I видным деятелем «Негласного комитета» министром внутренних дел графом В. П. Кочубеем, решительно одобрялось применение оружия против крестьян в Каугурах.

«В Лифляндии крестьяне Вольмарского уезда, — читаем здесь, — при объявлении им высочайшего указа о сложении стационной подати, предавшись ложным толкованиям, возмечтали, что всем даруется им и совершенная от всех повинностей помещичьих свобода, и отложение от повиновения <...>. Воспаление умов столь было сильно, что не прежде возвратились непокорливые к порядку, как по истощении всех кротких средств со стороны правительства и когда уже признано было нужным образумить буйство действием силы»[4]. Высочайшее негодование было, видимо, вызвано другим (судить с достоверностью трудно, поскольку «Исторические сведения о цензуре», на данных которых, кстати, основывался и Семевский, очень скупо повествуют об этом эпизоде, найти же подлинное дело в фондах ЦГИА в Ленинграде нам не

[1] Ist die, von Einigen des Adels projektierte Einführung der Freiheit unter dem Bauernstande in Livland, den Staatsrechte Rußlands conform? Eine Abhandlung, den Landtag in Livland von 1803 betreffend von Woldemar Freyherr von Ungern-Sternberg verabschiedeten Major... St. Petersburg, 1803.

[2] Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862. С. 13.

[3] *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПб., 1888. Т. 1. С. 289.

[4] Доклад министра внутренних дел с представлением отчета с учреждения министерства за последние четыре месяца 1802 года // Санкт-петербургский журнал. 1804. № 1. С. 15—16.

удалось, возможно, оно уже не существует). Опасаясь распространения крестьянского движения, Александр I потребовал от дворянства обсудить на ближайшем ландтаге меры по изменению положения крестьян. В виду этой весьма определенно выраженной воли правительства, озлобленные ругательства Унгерн-Штернберга, называвшего сторонников любого улучшения в положении крестьян «тупоголовыми», приобретали определенно оскорбительный для правительства характер. Как намек на «Негласный комитет» могло быть воспринято написанное в вызывающей форме посвящение к книге. «Я посвящаю это рассуждение всем тупым головам, которые болтают о совершенстве, от которого они сами более всего удалены»[1].

Кайсаров, возмущение которого было продиктовано иными соображениями, чем руководившая Александром I смесь наигранного негодования с уязвленным самолюбием и стремлением встать в позу либерального преобразователя, писал, имея в виду Унгерн-Штернберга, что «появился человек выдающейся наглости — если только он заслуживает названия человека, и притом владелец какого-то поместья в Ливонии, который утверждает, что рабство исходит из природы, соответствует принципам человеческого разума и что русский народ по законам и предписаниям природы должен терпеть рабство». Кайсаров негодует по поводу советов автора сохранить «рабство, не ограниченное никакими пределами», и убеждений «принимать во имя сохранения и укрепления его жесточайшие воинские меры». «Голос, — комментирует Кайсаров, — поистине достойный жадного купца-англичанина, ради жажды золота отнимающего у рабов свободу, а не русского гражданина, да еще в XIX веке»[2].

Идеи, против которых выступил Кайсаров, были живучи. Через десять лет после защиты им диссертации, в 1816 г., в Харькове М. К. Грибовский, в будущем доносчик на «Союз благоденствия», отпечатал в университетской типографии брошюру «О состоянии господских крестьян в России». Главное своей целью он считал опровержение мнений, «утверждающих рабство противным вовсе уму и уничижающим природу человеческую»[3]. Если Кайсаров доказывал исконную свободу русского крестьянина, то для Грибовского «существование рабов в России в самые древние времена <...> не может быть подвержено никакому сомнению»[4]. Он цинически одобряет торговлю людьми, поскольку «почитая раба вещью, которою владетель располагает по воле своей, должно допустить и продажу его»[5]. На духовенство автор возлагает

---

[1] Ist die, von einigen des Adels... S. 3.

[2] Dissertatio... C. 2.

[3] О состоянии господских крестьян в России, соч. М. Грибовского. Харьков, 1816. С. 1. Книга была посвящена Аракчееву. Декабристы И. Г. Бурцев и Аврамов показывали при первом допросе, что источником их свободомыслия были «сочинения Грабовского (описка, надо — Грибовского) о свободе крестьян» (см.: Восстание декабристов. М.; Л., 1925. Т. 4. С. 43). Чтобы правильно понять это показание, следует учесть, что в этот период они «решительно отрицались» от участия в тайных обществах и указывали только «безопасные» источники своего вольномыслия. Рядом с книгой Грибовского они указали на возбуждающее влияние «некоторых действий правительства».

[4] О состоянии господских крестьян в России, соч. М. Грибовского. С. 5.

[5] Там же. С. 12.

обязанности «предостерегать крестьян против ложных разглашений и утверждать в повиновении владельцам, а в случае возмущения, — с удовлетворением отмечает он, — местное начальство тотчас подает руку помощи, и даже для усмирения посылаются воинские команды»[1]. Если Кайсарова рассуждение Арндта о римских рабах заставило вспомнить о крепостных в России, то Грибовский стремится доказать невозможность такой параллели[2].

Заостренность воззрений Кайсарова против идей реакционно-помещичьего лагеря, так же как и актуальность для эпохи начала XIX в. предпринятого им труда, предстает, таким образом, с полной очевидностью.

Такого же внимания требует рассмотрение соотношения воззрений Андрея Кайсарова с лагерем правительственным, поскольку в буржуазно-либеральной исследовательской науке укрепилось мнение о диссертации Кайсарова как о результате воздействия на автора либерального правительственного курса.

Настоящий очерк не может претендовать на сколь-либо детальное рассмотрение постановки крестьянского вопроса в правительственной политике начала 1800-х гг. Однако и указания на уже вошедшие в научный оборот сведения достаточно для того, чтобы убедиться в несостоятельности либерального искажения смысла деятельности Кайсарова.

Если за закрытыми дверями «Негласного комитета» молодые друзья Александра I любили рисоваться своим свободолюбием и резкостью оценок существующего в России порядка (правительство не препятствовало тому, чтобы неопределенные и неофициальные слухи об этом проникали в общество, и Александр не прочь был использовать искусственно создаваемый шум вокруг реформаторских намерений правительства для обмана демократически настроенной части общества, с одной стороны, и шантажирования склонной к идее аристократической конституции вельможной оппозиции — с другой), то *открытая* общественная дискуссия о положении русского крепостного не могла вызывать в Зимнем дворце никакого сочувствия. Поэтому одни и те же политические формулы, в зависимости от того, были ли они изложены в представленном правительству проекте или предложены на общественное обсуждение в книге, приобретали различный смысл и, соответственно, встречали различную оценку. Так получалось, что одно и то же произведение могло быть награждено бриллиантовым перстнем и запрещено цензурой.

Лейтмотивом всех обсуждений крестьянского вопроса в «Негласном комитете» являлась боязнь того, что любые шаги в сторону изменения существующего положения вызовут широкое народное движение. П. А. Строганов в заметке «Об определении положения крестьян» писал, что лучше вообще не пользоваться словом «свобода» «из-за боязни, чтобы оно не было ложно понято и не повлекло бы беспорядков»[3]. В другой заметке он говорил, что «задача состоит в том, чтобы предоставить им [крестьянам] эти права без всякого потрясения, поскольку в ином случае лучше не предпринимать ни-

[1] О состоянии господских крестьян в России, соч. М. Грибовского. С. 77.

[2] См.: Там же. С. 73.

[3] *Николай Михайлович, вел. кн.* Граф Павел Александрович Строганов (1774—1817). СПб., 1903. Т. 2. С. 43.

чего»[1]. Не случайно поэтому обсуждение вопроса в «Негласном комитете» не принесло никаких плодов. Одновременно в предназначенных для широкой аудитории заявлениях правительство решительно подчеркивало свое стремление сохранить основы существующего социального порядка. Не случайно перед опубликованием указа о вольных хлебопашцах в 1803 г. Кочубей в специальном циркуляре губернаторам разъяснял, что «никак не предполагается при сем ослабить порядок, ныне существующий между помещиком и крестьянином», а в следующем, 1804 г. правительственный «Санкт-петербургский журнал» опубликовал уже упоминавшийся нами отчет министра внутренних дел за 1802 г. Здесь читатель находил: «В короткое время управления моего министерством внутренних дел встретилось несколько случаев неповиновения крестьян к их помещикам. Зная, <...> сколь тщетны все своевольные заключения о свободе крестьян или другом порядке вещей, заблуждением или пристрастием рассеиваемые, равно как и то, сколь твердо ваше императорское величество желает удержать все нужные связи между разными классами подданных Ваших, не допускать, чтобы они выходили из пределов, законом для каждого положенных, я во всех случаях в переписке моей с начальниками губерний старался опровергнуть на самом деле нелепость сих заключений. Меры, принимаемые к обузданию и малейших на сие покушений, должны были еще сильнее их в том удостоверить»[2].

К 1806 г. — к моменту защиты Кайсаровым диссертации — ни печатное обсуждение вопросов крепостного права, ни требование немедленной его отмены ни в малой степени не входили в расчеты правительства. Исследователь цензурной политики этих лет отмечает, что «особенно обращали на себя внимание правительства суждения о крепостном праве, к которым оно чрезвычайно подозрительно относилось и всячески старалось стеснять, хотя и не решилось их категорически запрещать»[3]. Неудивительно поэтому, что русского текста диссертации в печати не появилось, хотя совершенно невероятно, чтобы Кайсаров не предпринимал усилий в этом направлении. Семевский, видимо, основательно считает, что причиной этому явились цензурные препятствия. Обнаружить архивные подтверждения данной мысли нам, однако, не удалось.

Таким образом, между позицией Кайсарова и правительственным курсом в крестьянском вопросе мы можем отметить коренное отличие: Кайсаров открыто и резко осуждает крепостное право, преследуя цель добиться практических и действенных мер по освобождению крестьян. При этом он субъективно исходит из интересов народа, неизменно противопоставляя крестьянина в качестве этического идеала и полезнейшего члена общества дворянским тунеядцам и бездельникам, подымаясь от осуждения отдельных сторон и отдельных представителей дворянского общества до отрицания самого принципа паразитарного существования. Для правительства же Александра I раз-

---

[1] *Николай Михайлович, вел. кн.* Граф Павел Александрович Строганов (1774—1817). Т. 2. С. 42.

[2] Санкт-петербургский журнал. 1804. № 1. С. 14—15.

[3] *Переселенков С. А.* Законодательство и цензурная политика в России в 1-ю четверть XIX-го века // Описание дел архива Министерства народного просвещения. Пг., 1921. Т. 2. С. XXIX.

говоры о свободе крестьян сводились к тактическому маневру в сложной игре, имеющей целью ввести в заблуждение передовую часть общества и укрепить дворянско-помещичий строй, отнюдь не в интересах крестьянина. Наконец, следует отметить и то, что, хотя Кайсаров, не будучи революционным мыслителем и возлагая надежды на Александра I, вынужден был идти на известные компромиссы и одобрять некоторые правительственные мероприятия (например, реформу в Лифляндии), делал он это в надежде на то, что вслед за данными ограниченными реформами последует широкое освобождение крестьян во внутренних губерниях России. Да и самую реформу в Лифляндии Кайсаров расценивал не как удовлетворительное решение вопроса, а лишь в качестве благоразумного по своей осторожности, но всего только первого шага. Необходимо указать и на то, что программа «дней Александровых прекрасного начала» явилась высшей точкой правительственного либерализма, от которого в дальнейшем наблюдалось резкое попятное движение, убедившее к исходу второго десятилетия XIX в. наиболее радикально настроенную часть дворянской интеллигенции в тщетности надежд на освобождение сверху. Для Кайсарова же, находившегося в начале своего бурного и рано оборвавшегося пути, пламенно сочувствовавшего народу и искренне искавшего путей к уничтожению рабства, изложенная им в диссертации система воззрений, бесспорно, представляла лишь первый шаг в формировании антикрепостнической системы идей.

Следует иметь в виду, что, хотя Кайсаров и обращался к правительству, не видя другой силы, способной освободить крестьян, но он был весьма далек от безоговорочного одобрения действий правительства. Об этом свидетельствуют его черновые записи геттингенского периода.

Выписывая запомнившиеся ему отрывки из различных книг, он процитировал французское изречение: «Когда-нибудь все будет хорошо — вот наша надежда; все хорошо сегодня — вот наше заблуждение»[1]. Любопытно и то, что, делая выписки из источников по римской истории, он особенное внимание уделил фальшивому либерализму Августа, который «положил основание императорской политики и старался обмануть народ, показывая, что он не нарушает его вольности»[2]. При разделяемом Кайсаровым подходе к истории как сумме примеров для «поревнования» и осуждения вполне вероятно, что образ Августа вызывал у него ассоциации с характером деятельности Александра I. Именно такой смысл имело использование характеристики Августа в «Песни исторической» Радищева.

Требуя освобождения крестьян, Кайсаров не становился на точку зрения русской буржуазии, поскольку в центре его внимания не судьбы промышленности и торговли (хотя, как мы видели, он уделяет этому вопросу много внимания), а положение народа. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить его диссертацию с французской брошюрой (также изданной в Геттингене)

[1] «Un jour tout sera bien, voilà notre est bien ajourd'hui, voilà l'illusion». (Тургеневский архив. № 2052. Л. 5 об.)
[2] Там же. Л. 42.

его товарища по университету Вильгельма Фрейганга. В изданной Фрейгангом книжке не нашлось места для размышлений о положении народа. «Среди преимуществ, которые дает уничтожение рабства, одно из наиболее значительных, — формулирует Фрейганг свой главный аргумент, — особенно при настоящем положении вещей, состоит в возрастании торговли, которое повлечет за собой увеличение циркуляции денег»[1]. Ни одного упоминания об угнетении крестьян, о праве крепостных на свободу в брошюре не содержится.

Для оценки позиции Кайсарова необходимо также соотнести его воззрения с трудами по крестьянскому вопросу деятелей, в той или иной степени продолжавших традиции русской демократической мысли XVIII в.

При не очень внимательном сравнении сочинений Пнина, Попугаева, с одной стороны, и Кайсарова, с другой, легко наметить схему, подчеркивающую совпадение основных идейно-теоретических принципов. И тот и другие были противниками крепостного права, и тот и другие, в отличие от дворянских либералов, подчеркивали, что никакое просвещение народа не может увенчаться успехом, пока крестьянин томится в цепях рабства; можно было бы указать также и на ряд совпадений в аргументации необходимости освобождения. Наконец, никто из перечисленных мыслителей не поднялся до революционного, радищевского взгляда на пути решения крестьянского вопроса. И Пнин, и Попугаев, и Кайсаров — в этом сказалась их общая ограниченность — поднесли свои антикрепостнические труды Александру I, а последние два даже посвятили их ему.

У нас нет оснований сбрасывать со счетов указанные линии сближения Кайсарова и современных ему представителей демократической мысли или объявить это сближение случайным, не имеющим научного значения. Однако ближайший анализ убеждает, что в позиции указанных деятелей существовали и глубокие различия, отражавшие различие в социальной сущности их мировоззрения.

Революционное мировоззрение Радищева логически последовательно было связано с его теоретико-философскими воззрениями. Материалистическая гносеология Радищева подводила его к выводу об определяющем воздействии внешних обстоятельств на формирование характера человека. Основные положения по этому вопросу, как известно, были изложены еще в философском приложении к «Житию Ф. В. Ушакова»[2]. Представление о том, что «общежитие вселяет в нас род своих мыслей», заставило Радищева сделать вывод об ответственности общественного порядка за нравственный облик человека и потребовать изменения социального строя, уродующего человека, который

---

[1] *Freygang G. de.* Sur l'affranchissement des serfs. Goettingue. P. 3.

[2] «Человек рождается ни добр, ни зол. Утверждая противное того и другого, надлежит утверждать врожденные понятия, небытие коих доказано с очевидностью», «...люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся». «Различное соитие внешних предметов, на нас действующих, должно неотменно производить различное чувствование» (*Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 191, 199). Подробно об этом см.: *Лотман Ю. М.* Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII века // Радищев: Сб. статей. Л., 1950.

способен, по своим потенциальным возможностям, «к прекрасному, величественному, высокому»[1]. Революционное мировоззрение вызвало к жизни те черты историзма, которые, проступая сквозь метафизичность теории договорного происхождения общества, составили своеобразие социологической концепции Радищева. «Человек — хамелеон, принимающий на себя цвет предметов, его окружающих»[2]. Следовательно, стремления людей определяются окружающими их условиями, а из этого вытекает, что в справедливом обществе, в котором условия существования всех людей одинаковы, интересы отдельной личности и общества совпадают:

Свою творю, творя всех волю.

Так возникала этическая теория, основанная на оправдании права человека на счастье и враждебная идеалистическому учению о жертве как основе морали. Теория договорного происхождения общества получала при подобном подходе революционное звучание. Человек, свободный в своем «дообщественном» состоянии, сохраняет полноту своей свободы и после вступления в общество, поскольку его стремление к счастью не ограничивается, а подкрепляется стремлением к счастью других членов общества. Поэтому никакое ограничение свободы человека не может быть оправдано общим благом (общее благо не противоречит частному), и всякий, даже единичный, случай угнетения есть показатель несправедливости всего строя и достаточное основание для революции.

В несправедливом обществе (объяснить материалистически происхождение угнетения Радищев не мог и склонен был искать его в невежестве народа, дающего обмануть себя тиранам, вооруженным религиозными «предрассуждениями») условия жизни угнетенных, «кормильцев тощеты и насытителей глада» всего общества, и их угнетателей не одинаковы. Следовательно, не одинаковы и их стремления. Из этого Радищев делал гениальный по глубине вывод о невозможности «убедить» тиранов и — отсюда — о необходимости революционной борьбы.

Эта стройная теория, органически соединявшая материалистическую гносеологию[3] с идеей народной революции, смогла быть воспринята ближайшими последователями Радищева далеко не в полном объеме. Сохранив и антикрепостнический пафос, и материалистический характер мировоззрения, они, по условиям эпохи, не смогли подняться до революционной целеустремленности Радищева. Особенно типична в этом отношении система воззрений И. П. Пнина.

Мировоззрение Пнина строилось на четкой материалистической основе. Вера в материальность мира и в способность человеческого разума на основе

---

[1] *Радищев А. Н.* Беседа о том, что есть сын отечества // Полн. собр. соч. Т. 1. С. 215.

[2] *Радищев А. Н.* Житие Ф. В. Ушакова // Там же. С. 200.

[3] Ср. представления материалистов XVIII в., охарактеризованные словами Маркса: «Если человек создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человечными» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 160).

опытного знания проникнуть в сокровенные тайны природы составляет основной пафос большого стихотворного цикла Пнина. Человек для него «на земле, что в небе бог»[1], —

...Снискавший мудрость сам собою
Чрез труд и опытность свою.

Если современная Пнину дворянская поэзия сосредоточивала свое внимание на субъективно-лирической тематике, то для Пнина характерен интерес к вопросам естественно-научного характера. В этом отношении показательны такие стихотворения, как «Время», «Солнце недвижно между планетами» и другие, продолжавшие естественно-научную лирику Ломоносова и решительно противоположные современной Пнину дворянской поэтической традиции XVIII в. Этико-политическая система Пнина также строилась на основании принципов, характерных для демократической философии XVIII в. Однако, следуя в понимании человека и общества за Радищевым, Пнин не сумел сделать революционных выводов, органически вытекавших из самой сути исповедуемых им взглядов. Это наложило на всю его систему печать половинчатости и нерешительности. Особенно характерно в этом отношении основное произведение автора — «Опыт о просвещении относительно к России».

В основе построений Пнина лежат представления сенсуалистического материализма. Это определило все политико-социологическое построение трактата. «Человек, — писал Пнин, — ни на одну минуту в жизни своей не может, так сказать, отделиться от самого себя; все, на что он покушается, что ни предпринимает, что ни делает, все это имеет предметом доставления себе какого-нибудь блага или избежания несчастия»[2]. Теория договорного происхождения общества понимается Пниным в радищевском духе, и из этого следует вывод о максимальной свободе личности как о высшем законе общественного союза. «Один лишь человек есть господин над самим собою: для безопасности своей живет он в обществе. Следовательно, общество должно каждому из членов своих обеспечить наслаждение самим собою, обеспечить свободно употребление законных его прав и владение вещей, чрез трудолюбие и промышленность им приобретаемых. Из чего следует, что никакая власть на земли не имеет права лишить человека свободы, которая не иное что есть, как способность трудиться для счастия своего согласно с правосудием, ни собственности, под коею разумеется все, что только человек имеет или доставляет себе чрез свои попечения, дарования, проворство»[3].

Понятие «собственности» у Пнина заполнено ярко выраженным антифеодальным содержанием. В понимании связи права собственности и личного труда Пнин развивал взгляды, характерные для русской демократической мысли конца XVIII в.: «Человек приобретает справедливые права на все те вещи, которые, дабы сделаться таковыми, каковы они есть, *требовали упот-*

---

[1] Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств / Ред. и коммент. Вл. Орлова. М., 1935. С. 184.

[2] *Пнин И.* Опыт о просвещении относительно к России. СПб., 1804. С. 13—14.

[3] Там же. С. 76—77.

ребления личных его способностей (курсив мой. — *Ю. Л.*). Его работа сливает его так сказать с вещью, которую брал он на себя труд образовать, усовершенствовать, сделать полезною, хотя бы то было для себя, хотя бы то было для других»[1]. В подобном контексте апология собственности представляла собой защиту права крестьян на полное пользование продуктом своего труда.

В исходных положениях рассуждений Пнина скрывалась возможность революционных выводов радищевского типа. Если «никакая власть на земли не имеет права лишать человека свободы», то сама природа общества требует уничтожения самодержавия. Если справедлива только собственность, основанная на личном труде, а сам труд полезен для общества только тогда, когда он свободен, то ни о каких средствах смягчения крепостного права не может быть и речи — необходимо полное его уничтожение. Тезис же о материальном интересе как ведущем стимуле человеческой деятельности (человек «что ни предпринимает, что ни делает, все то имеет предметом доставления себе какого-нибудь блага») при радищевском его истолковании естественно подсказывал вывод о невозможности ожидать «свободу сельских жителей» от «великих отчинников».

Итак, связь исходных принципов Пнина с мировоззрением радищевского типа бесспорна. Антикрепостнический характер его воззрений со всей очевидностью предстает даже из текста первого варианта его трактата. Однако, хотя признание спасительности и неизбежности народной революции само вытекало из последовательного применения основных принципов его труда, Пнин, решительно разойдясь с Радищевым, не сделал подобного вывода. Он не только не пришел к признанию права народа на революцию, но и решительно выступил против этого права. Он писал: «Сколь система, стремящаяся к распространению таких прав, ведет к погибели, поселяет дух раздоров, возжигает всеобщий пожар и потрясает самое основание царств <...> наконец оные ниспровергает. От семени сего первого их закона должно было непременно произрасти древу вольности, коего очаровательные по наружности своей плоды, заключив в себе сокровенный яд, который, силою своею победя силу рассудка, воспламеняя воображение, производит то бешенство и неистовство, в которых только Франция могла дать пример»[2]. Интересно, что для оправдания отрицательного отношения к революции Пнину пришлось прибегнуть к помощи аргументов, заимствованных из арсенала дворянского идеализма и находящихся в разительном противоречии с его собственными основными принципами. В поисках силы, способной перестроить общественный порядок, он обращается не к народу, а к правительству. «В России, — писал Пнин, — государь и есть законодатель. — Он все может, чего ни пожелает, и какой монарх находил препятствие к деланию добра? Снять оковы с народа, возвратить людей человечеству, граждан государству, есть такое благодеяние, которое делает царей бессмертными...»[3]

---

[1] *Пнин И.* Опыт о просвещении относительно к России. С. 78.

[2] Там же. С. 26.

[3] Цит. по: *Филиппов А. Н.* И. П. Пнин и его «Опыт о просвещении относительно к России» // Известия ОРЯС АН СССР. Л., 1929. Т. 2. Кн. 2. С. 515.

Общие положения Пнина были исполнены глубоких революционных потенций, но его практические выводы, в виду исторической невозможности опереться на народное движение широкого размаха, отличались нерешительностью и половинчатостью. В общей части своего труда он писал, что «все, требуемое от земледельца для пользы государства, есть сколько необходимое, столько и справедливое. Всякое же другое требование есть уже зло, для отвращения коего нужно законодательно употребить всю свою деятельность. Как можно, чтобы участь толико полезнейшего сословия граждан, от которых зависит могущество и богатство государства, состояла в неограниченной власти некоторого числа людей, которые, позабыв в них подобных себе человеков, человеков их питающих <...>, поступают с ними иногда хуже, нежели с скотами, им принадлежащими»[1]. Следствием подобных рассуждений, казалось бы, должно быть требование полного уничтожения крепостного права, однако, переходя к конкретной программе действий, Пнин требует лишь наделения крестьян правом владения движимой собственностью, с разрешением последующего выкупа. «Я, со своей стороны, — писал Пнин, — желал бы, *соображаясь с нынешними обстоятельствами* (курсив мой. — *Ю. Л.*), чтоб господские крестьяне имели хоть движимую собственность», выражая дальше надежду, что «за первым шагом следует другой»[2].

В. Попугаев принадлежал к числу наиболее решительных мыслителей демократического лагеря. В основе его суждений лежала мысль о том, что «человек, тем более народ не должен рабствовать»[3]. Радищевская философия общества была им воспринята более полно, чем кем-либо другим. Однако и он, в прямом противоречии со своими исходными принципами, тяготеет к мирному пути (хотя и угрожает помещикам возможностью революционного взрыва), ищет в конституции средства, уравновешивающего народ и власть, «сии две борющиеся силы»[4]. Ненавистник крепостного права, он, однако, не решается апеллировать к революционной энергии народа. «Не призывая открыто к народной революции, к насильственному свержению власти царя и помещика, как это делал Радищев, Попугаев сосредоточил свою энергию на резкой критике монопольных прав и привилегий дворянства, главным образом в области просвещения и воспитания»[5].

То же стремление сузить значение теоретических принципов демократической философии XVIII в. характерно и для мыслителей-демократов следующего поколения (Куницын, Арсеньев), также резко отрицательно относившихся к крепостному праву (причем это отношение закономерно вытекало из всей системы воззрений на договорную природу общества), но в равной мере уклоняющихся от революционных выводов.

---

[1] *Пнин И.* Опыт о просвещении относительно к России. С. 48.

[2] *Филиппов А. Н.* И. П. Пнин и его «Опыт о просвещении относительно к России». Известия ОРЯС АН СССР. Т. 2. Кн. 2. С. 516.

[3] *Попугаев В. В.* О благополучии народных тел // ОР ИРЛИ. Раздел II. Оп. I. № 326. Л. 8 об.

[4] Там же. Л. 38 об.

[5] *Орлов В. Н.* Русские просветители 1790—1800-х годов. С. 302.

По всей книге К. И. Арсеньева разбросаны высказывания, свидетельствующие о его отрицательном отношении к крепостному праву и недвусмысленно указывающие на социально-философские корни этого отношения. Так, охарактеризовав помещиков как класс «непроизводящий», а крестьян как основную производящую силу, он мимоходом бросает: «Весь класс непроизводящий в политико-экономическом отношении совершенно ничтожен»[1]. В другом месте он, сопровождая мысль осторожной ссылкой на официально одобренное сочинение Якоби, доказывает, что «крепостность земледельцев есть также великая преграда для улучшения состояния земледельцев»[2]. Для осуждения рабства крепостных крестьян Арсеньев прибегает к разным тактическим средствам: он цитирует резко осудительные высказывания иностранных писателей, а затем отмежевывается от них, но только наполовину. «Сии описания иностранцев, — заключает он, — увеличивают слишком много невыгоды крепостности, *но во многих отношениях имеют свои основания* (курсив мой. — *Ю. Л.*)»[3].

Однако выводы Арсеньева еще более ограниченны, чем у Пнина, не говоря уже о Попугаеве.

Таким образом, общая характеристика теоретических построений деятелей антидворянского лагеря рисуется в следующем виде: основой их взглядов является система воззрений материалистической философии XVIII в. В условиях наивысшего напряжения классовой борьбы крепостных крестьян в России 1790-х гг. — борьбы, совпавшей с революционным кризисом, потрясшим феодальные режимы Европы, оказалось возможным сделать из общих принципов материалистического мировоззрения объективно вытекавшие из них революционные выводы. В дальнейшем судьба демократической идеологии оказалась сложной: ее историческое развитие в период первой четверти XIX в. связано было с потерей боевой, последовательной революционной теории.

Мировоззрение Кайсарова вырастало на иной основе. Его социально-политические и философские взгляды не отличались такой определенностью, как воззрения Пнина или Попугаева. Юношеские годы Кайсарова, как и Андрея Тургенева, прошли в атмосфере масонского идеализма, который сменился субъективизмом Карамзина. Социальная база этих философских построений была одна: они выражали классовые интересы дворянства и политическим адекватом имели идеи дворянского либерализма. Однако, как мы видели, еще в Москве наметилось стремление Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова сблизиться с демократическими мыслителями, подвергнуть критике философские принципы карамзинизма. Навык критики философского субъективизма и стремление пробиться к философии действительности пригодились Кайсарову в Геттингене.

Геттингенский университет был цитаделью кантианства. Кайсаров, в частности, слушал лекции верного последователя Канта — Бутверка. Однако

---

[1] *Арсеньев К.* Начертание статистики Российского государства. СПб., 1818. Ч. I. С. 102.

[2] Там же. С. 106.

[3] Там же. Ч. II. С. 90.

агностические рассуждения профессора вызвали критику со стороны Кайсарова и Андрея Тургенева. Так, в письме от 10/22 декабря 1802 г. из Вены Андрей Тургенев спрашивал Кайсарова: «Скажи, брат, кантовой ли системе у вас следуют. Кажется, Бутверк от нее непрочь...»[1] Видимо, получив от Кайсарова подробную характеристику философского содержания лекции, Андрей Иванович в письме от 4/16 января 1803 г. выступил с развернутым опровержением агностицизма Бутверка, по которому действие ценно не своим объективным результатом, а субъективным отражением в сознании действующего. А. Тургенев писал: «В каком это духе, брат, твой и мой Бутверк писал к тебе, что: „Mensch als Mensch muß idealisieren. Aber er soll nicht begehren erfüllt zu werden, или à peu près". Так! Строить лестницы, чтобы никогда не всходить на их вершину? Шить сапоги, чтобы никогда их не носить, и т<ак> далее». Характерно продолжение письма, типичное для того стремления к активным действиям во имя народного блага, которое объединяло обоих друзей. «Если „idealisieren", — продолжал Андрей Тургенев, — значит составлять идеалы будущей жизни, т. е. делать планы и если не должно ждать их исполнения, то человек имеет еще и другую цель, благороднейшую и полезнейшую для него и для других. Он может действовать и должен действовать: к чему сон без усталости и забава без труда. *А умозрительность, не имеющая никакого влияния на действительность, есть праздное только состояние души, не приносит ни труда, ни усталости* (курсив мой. — *Ю. Л.*)»[2].

Для философской позиции Кайсарова в эти годы весьма показателен ряд рассуждений в его диссертации. Следует остановиться на одном из них. В главе IV, обосновывая необходимость уничтожения крепостного права, Кайсаров называет в качестве «вечного свойства государства» требование, чтобы «частная польза каждого уступала всеобщей»[3]. Тезис этот, сам по себе идеалистический, основанный на представлении о противоположности общественных и личных интересов, часто встречался в публицистике тех лет. Им оперировали защитники крепостного права для доказательства необходимости обуздания «эгоизма», стремящегося к «личному благу» народа во имя мнимой «общей пользы», под которой понимались интересы дворянского государства. Полемизируя с философами-материалистами и исходя из учения о врожденно злой природе человека, масонский журнал «Утренний свет» писал: «Если же душа, или, как последователи Гельвеция называют, прообразование первоначальных частиц, смертна <...>, тогда <...> общество свободных и мыслящих человеков есть ничто иное, как стадо волков» — и далее: «Если бы жизнь телесная единым была последним концом, то бы всеобщая брань всякому давала право споспешествовать благу своему во вред других»[4].

Из этого делался вывод о жертве как основе морали, и под видом осуждения эгоизма осуждалось стремление народа к освобождению и земному счастью.

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 840.
[2] Там же.
[3] Dissertatio... С. 7.
[4] Утренний свет. 1778. Ч. III. С. 106, 111.

Однако если предпосылки Кайсарова традиционны для дворянской общественной мысли (их широко использовал Карамзин для оправдания самодержавия как средства, ограничивающего «неразумный эгоизм» народа), то выводы оказываются совершенно неожиданными. Под общей пользой Кайсаров понимает не антинародные интересы дворянского государства, а интересы крестьянства. При такой постановке вопроса «частным» интересом, который подлежит ограничению, оказывается не стремление крестьян к свободе, а помещиков — к угнетению народа. «Нужно, — пишет Кайсаров, — тщательно остерегаться, чтобы частные интересы землевладельцев не причинили ущерба обществу и государству»[1].

Таким образом, формула дворянского идеализма оказывается переосмысленной изнутри, наполненной новым содержанием, направленным на защиту народных интересов от поползновений дворянства.

Этот пример очень поучителен для определения социальной позиции Кайсарова.

Приравнивать автора диссертации «О необходимости освобождения рабов в России» деятелям типа Пнина (не говоря уже о Попугаеве) с их философским материализмом и боевым демократизмом нет оснований. Его взгляды вырастали на основе иной общественной традиции — традиции дворянской общественной мысли. Вместе с тем на примере анализа воззрений Кайсарова мы проникаем в самые истоки того сложного процесса, в ходе которого передовые представители дворянской общественной мысли, под влиянием классовой борьбы крепостных крестьян и идейного воздействия демократического мировоззрения, обратились к народу и в сложном процессе самоотрицания, порывая еще живые нити, связывавшие их с идеологией дворянского либерализма, и борясь с этой идеологией, закладывали основы формирования сложной и противоречивой теории дворянской революционности.

Глава III. А. Кайсаров — профессор Тартуского (Дерптского) университета

Покидая Геттинген доктором философии, Кайсаров отнюдь не склонен был считать свое образование законченным. Он отправился в Данию, а оттуда морем в Лондон. Трудно сказать, что именно заставило Кайсарова избрать Англию местом продолжения своих научных занятий, поскольку документальные данные об этом периоде его биографии чрезвычайно скудны. Возможно, сыграл роль охвативший его в это время интерес к археологии, сведения в области которой он мог надеяться пополнить в Британском национальном музее. У нас также есть данные о желании его извлечь из английских архивов материалы по русской истории. Влияние на выбор, возможно, оказало и стремление познакомиться на месте с английским общественным строем и положением крестьян в Англии — стремление,

[1] Dissertatio... С. 8.

естественное в стороннике освобождения (еще не пришедшем к окончательному выводу: с землей или без земли надо пускать крестьян «на волю»), каким зарекомендовал себя Кайсаров в своей диссертации.

19(31) мая 1806 г. Кайсаров писал К. Я. Булгакову: «Я сижу теперь в датской пристани Гузуме и дожидаюсь уже 4 дня попутного ветра в Англию». Сообщив о том, что «пробыл целый год в Геттингене» (после путешествия по славянским землям), он продолжает: «Я не думаю, чтобы ты молчал от гордости передо мною: ты ведь только граф, а я, брат, сделан в Геттингене доктором философии. При этом случае написал я диссертацию о том, что нехудо бы было отпустить русских мужиков на волю — и посвятил ее государю»[1].

Научные занятия в Лондоне и Париже Кайсарову пришлось продолжать в трудных условиях. Позже, в назидание Сергею Тургеневу, учившемуся в Геттингене, он писал: «Если иногда немецкие карбонады и в душу нейдут, то пусть представишь ты себе 25-летнего молодца в роскошнейшей столице Европы, окруженного богатствами всего света — и питающегося целых пять месяцев одним хлебом и луком»[2], а Александр Иванович Тургенев, узнав в 1808 г. о возвращении Кайсарова в Россию, писал Н. И. Тургеневу: «А. С. Кайсаров скоро сюда будет; теперь он должен быть в Вене. Пора ему на Святую Русь; пошатался по белому свету и натерпелся нужды; испытал холод и голод. Приятно будет отогреться на русской лежанке или русскими щами»[3].

Несмотря на материальные трудности, Кайсаров занимался интенсивно, причем в круг его занятий попали также естественные науки. В Эдинбурге он защитил диссертацию на степень доктора медицины (текст диссертации нам неизвестен). Шотландский город Думфикс избрал его почетным гражданином. Научные занятия периода пребывания в Англии известны нам плохо, очевидно лишь, что сфера интересов Кайсарова неуклонно расширялась. Изучив обширные отделы «россики» и «славистики» геттингенской библиотеки, он продолжает разыскивать новые источники сведений. Его путевая книга периода путешествия по славянским землям заполнена библиографическими выписками на немецком, латинском, французском, чешском, польском и др. языках, заметками вроде: «спросить в Гет<тингенской> библиотеке Doctrina christiana composita dal R. Bellarimino на албанском языке[4]. В Праге спросить у Негедла речь Добровского Леопольду о так называемой грамоте, данной славянам Александром». За этой за-

[1] ОР РГБ. Архив Булгаковых. Ед. хр. 45/15. Л. 2.

[2] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 445.

[3] Там же. С. 370.

[4] Албанский язык заинтересовал Кайсарова: на л. 94 его путевой записной книжки (Тургеневский архив. Ед. хр. 2052) находим выписки из указанной албанской книги, «Отче наш» на том же языке и заметку: «Экземпляр, который я брал в Геттингенской библиотеке, принадлежал прежде Теофилю Зигфриду Баеру <...> Жаль, что не знаем, как должны выговариваться эти слова, иначе можно как-нибудь найти сходство сего языка с каким-нибудь другим».

меткой следует длинный список книг с указанием, какие из них можно достать в Вене, какие в Лейбахе и Эссексе. Письма Кайсарова к друзьям переполнены советами изучать языки, исторические науки, экономику и просьбами прислать те или иные книги по самым различным областям знания. В письмах к Андрею Ивановичу в Вену он диктует другу обширную программу учебных занятий, рекомендует литературу, просит о покупке и посылке книг, которых в Геттингене нет. В письме к А. Ф. Мерзлякову в конце 1802 г. он уговаривает его читать греческих поэтов и изучать греческий язык. Даже в письме К. Я. Булгакову, писанном с дороги, не зная еще, как сложится его жизнь в Англии, и находясь в стесненных материальных условиях, он просит: «Нет ли, брат, каких-нибудь новеньких книжек? Отпиши, брат, ко мне об этом. В Вене вышла история Валахии и Молдавии 1805 года, не худо бы ее достать»[1].

Приехав в Москву, Александр Иванович спешит сообщить другу в Геттинген, что его «Древняя Российская Вивлиофика» «у нас цела, я стану у нас на Площадке доискивать к ней продолжение и куплю <...>. У нас очень много книг, до Русской истории относящихся»[2].

Если о научных интересах Кайсарова этих лет мы знаем только по отдельным отрывочным сведениям, то для суждения об его впечатлениях от общественного порядка Англии у нас есть хотя и немногие, но красноречивые документы.

Еще в Геттингене Кайсаров интересовался политическим и общественным строем Англии. Резко отрицательно относясь к положению рабов в английских колониях, считая, что выступление Унгерн-Штернберга в защиту рабства — «голос, поистине достойный жадного купца-англичанина, из-за жажды золота лишающего рабов свободы, а не русского гражданина, да еще в XIX веке»[3], Кайсаров вместе с тем сочувственно относился к конституционному строю, считая, что «Британия — монархия, в которой, однако, в высшей степени охраняется свобода и безопасность граждан»[4].

Следует отметить, что Кайсаров был не одинок в своих иллюзиях относительно буржуазных свобод Англии. Даже не касаясь реакционного по существу англоманства фрондирующей аристократии (таких, как С. Р. Воронцов, Новосильцев и др.), следует отметить наличие симпатий к конституционным свободам Англии и среди демократически настроенных писателей начала XIX в. Так, даже наиболее радикальный из мыслителей «Вольного общества» В. Попугаев высоко оценивал парламентский строй Англии[5].

Пребывание в Англии и более близкое знакомство с характером буржуазных свобод заставило Кайсарова пересмотреть свои взгляды по этому

[1] ОР РГБ. Архив Булгаковых. Ед. хр. 45/15. Л. 2 об.
[2] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 330.
[3] Dissertatio... С. 2.
[4] Там же. С. 8—9.
[5] См.: *Попугаев В. В.* О благополучии народных тел // ОР ИРЛИ. II. Оп. I. № 326. Л. 6 об.

вопросу. Не имея возможности научно разобраться в противоречиях буржуазного общества, он тем не менее воочию убедился в том, насколько оно далеко от идеалов государства, защищающего народные интересы. Если Фрейганг в своей брошюре интересовался вопросом освобождения крестьян только с точки зрения поисков свободной рабочей силы для промышленности, то Кайсарова положение народа интересовало не как средство, а как цель. Именно поэтому его поразило характерное для Англии сочетание буржуазно-демократических свобод с нищетой трудовых масс. В бумагах Кайсарова сохранилась любопытная запись на отдельном листке, сопоставляющая положительную оценку социального порядка Англии в книге Венденборна «Statistische Beyträge zur nähern Kenntnis Großbritanniens» и в сочинениях известного геттингенского профессора Гёде (Göde) с его собственными впечатлениями.

«Гёде говорит (v. 76 sq.), что нет земли, где бы богатство так справедливо было разделено, как в Англии. В доказательство приводит, что самые бедные едят пшеничный хлеб. Но 1) разве он не видал английских нищих, 2) есть ли в Англии другой какой хлеб, кроме пшеничного? деревенский хлеб печется для домашнего употребления, а не для продажи...»[1]

От Кайсарова не укрылось характерное явление английской жизни этих лет: технический прогресс выбрасывает рабочих на улицу и увеличивает резервную армию труда.

«Английское правительство, — пишет он, — принимает совсем не хорошие меры против нищеты. Первое правило тех, которые должны заниматься пропитанием и промышленностью народа, есть то, чтоб естьли один род людей через изобретение какой-нибудь машины лишится хлеба, то [чтобы он] мог тотчас быть употреблен в другие работы. Английские нищие суть или работники, лишившиеся таким образом работы, или жены матросов и фабрикантов (то есть ремесленников. — *Ю. Л.*), преждевременно от своих занятий умерших. Для этого бы можно найти лекарства»[2]. Вместе с тем запись показывает, насколько Кайсаров, собиравшийся «найти лекарства» для улучшения положения народа, был далек от понимания объективного характера экономических законов.

Вернувшись в Россию, Кайсаров вынужден был некоторое время провести на родине в Саратове. К этому вынуждали и материальные обстоятельства, и, особенно, пошатнувшееся здоровье. Малярия, жестоко мучившая Кайсарова во время его путешествия по славянским землям, возобновилась. В это время Кайсаров особенно сблизился с трогательно ухаживавшим за ним младшим из братьев Тургеневых — Сергеем.

С Николаем Тургеневым Кайсаров сблизился еще раньше, во время приступа малярии весной 1802 г. Уже тогда он разглядел сходство характеров Николая и Андрея Тургеневых. В письме к последнему он отметил: «Николай имеет право на autorité уже потому только, что много на тебя похож». И через

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 2052.
[2] Там же.

несколько дней: «Николай молодец! То-то характер! Настоящий Андрей Иванович»[1]. Это сходство позже отметил и Александр Тургенев, писавший: «Николая не узнал, вырос чрезвычайно <...> похож на пок<ойного> брата чрезвычайно» — и дальше: «Я не могу смотреть на Николашу; он точный брат...»[2]

Умерший в молодости Сергей Иванович рано определился как мыслитель передового, близкого к декабризму направления. В переписке с М. Ф. Орловым он отстаивал освобождение крестьян без какой-либо компенсации помещикам, поскольку «владение мужиками никогда не может быть правом»[3]. В письме Кайсарову летом 1813 г. (письмо было написано, когда Кайсаров уже погиб) Сергей, говоря о братьях Александре и Николае, что «оба они философы, только противных систем»[4], отметил свою близость к последнему. В этом отношении сближение Кайсарова с Сергеем Тургеневым[5] представляет факт весьма знаменательный, бесспорно сыгравший не последнюю роль в формировании антикрепостнических и свободолюбивых воззрений младшего из братьев Тургеневых.

Пребывание в Саратове не прервало научных интересов Кайсарова, тем более что с саратовским дворянским обществом молодой противник крепостного права не сошелся. В стихотворении «Прости Саратову» это общество фигурировало как

Полдюжина почтеннейших мужей,
Плюмажем скрывшая ослину стать ушей.

Расставшись с Саратовом, Кайсаров, после короткого пребывания в Москве, отправился через Петербург в Тарту (Дерпт), где его ждало место профессора русского языка и истории, оставшееся вакантным после ухода в отставку Г. А. Глинки. Александр Тургенев сообщал в письме от 23 сентября 1810 г. Николаю в Геттинген: «Андрей Сергеевич должен скоро сюда быть, а потом поедет в Дерпт к своему профессорству, на которое он, кажется, уже там и избран». Далее в том же письме он сообщает эту новость уже утвердительно: «Андрея Сергеевича избрали уже в профессоры и послали к нему вокацию»[6]. О скором выезде Кайсарова на место назначения Ал. Тургенев сообщил в письме от 15 октября 1810 г. Десятого января 1811 г. он писал уже о приезде Кайсарова в Петербург: «Теперь здесь и Андрей

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 60 и 135 об.
[2] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 325.
[3] *Тургенев Н. И.* Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 22.
[4] Там же. С. 18.
[5] Письма Кайсарова Сергею Ивановичу написаны в тоне, свидетельствующем о близких дружеских отношениях. Летом 1810 г. он писал: «Здравствуй мой милый Сереженька! Ты, думаю, еще в Петербурге. Лихорадка моя оставила было меня на две недели, а теперь опять возвратилась. Наконец уж и скучно платить ей оброк всякой год раза по два и по три — но что делать? В жару иногда протягиваю к тебе руку, думаю, ты сидишь подле меня, но не тут-то было. Ты, бывало, ласкою облегчал болезнь мою, а теперь я совершенно один в степях саратовских» (Тургеневский архив. Ед. хр. 386. Л. 4).
[6] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 427.

Серг<еевич> и на сих днях вместе с Борисом, который со мною, отправляется в Дерпт профессором Р<усской> литер<атуры>»[1], 28 февраля 1811 г. он сообщил, что «Андрей Серг<еевич> уже профессорствует в Дерпте»[2].

Кайсаров выехал в Тарту в начале 1811 г., однако избрание его на должность профессора состоялось раньше. 25 августа 1810 г. он был избран, а, как следует из хранящегося в ЦГИА в Ленинграде «Дела об утверждении Кайсарова в звании ординарного профессора Дерптского университета», 8 сентября 1810 г. распоряжение о назначении его было уже подписано А. К. Разумовским[3].

В Тарту Кайсаров прибыл прекрасно подготовленным ученым, доктором двух наук, свободно владеющим основными европейскими, латынью и большинством славянских языков, к тому же ученым с широким кругозором, прошедшим школу исторического исследования, основанного на научной критике большого круга источников, археологом и лингвистом.

Однако Кайсаров прибыл в Тарту не только как квалифицированный ученый, но и как стремящийся к общественной деятельности противник рабства. Взгляды его в этой области если и изменились, то отнюдь не в сторону примирения с крепостничеством. В этом смысле любопытна характеристика, которую дал Кайсаров герою в наброске задуманного им в Саратове автобиографического романа: «Sohn der Natur с пламенным, добрым сердцем, страстным к свободе»[4].

Положение эстонских крестьян давало в этом отношении Кайсарову обильную пищу для размышлений. Судьба крепостных в Прибалтике интересовала Кайсарова и прежде: как мы видели, в Геттингене он с возмущением реагировал на выражавшую настроения прибалтийских баронов книгу Унгерн-Штернберга. В эту же пору он был уже знаком с известной книгой Меркеля «Латыши, особенно в Ливонии, в исходе философского столетия», ссылку на которую он дает в своей «Мифологии». Была она у него под

---

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 431. Приехавший в Тарту вместе с Кайсаровым и учившийся в университете во время профессорской деятельности Андрея Сергеевича Борис Тургенев был племянником И. П. Тургенева. Позже он был близко знаком со многими декабристами и А. С. Грибоедовым (см.: *Нечкина М. В.* А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1947. С. 74, 142). Вместе с тем не следует преувеличивать прогрессивности его общественно-политических устремлений. Неустойчивость характера Б. Тургенева отметил хорошо знавший его Кайсаров (они жили в Тарту в одной комнате), который писал летом 1811 г. Сергею Ивановичу: «Мы с Борисом поживаем! Бог знает, будет ли для него какая-нибудь польза. Я согласен с тобою, что он не имеет твердого характера, и это-то меня беспокоит <...> Но это недостаток всех почти наших соотечественников. Больше гораздо не нравится мне грубость в его нраве. Это происходит от того, что он думает этим заменить ту твердость, которой ему недостает» (Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 445). В том же духе, но еще определеннее высказался Николай Тургенев, назвавший двоюродного брата, по-крепостнически расправившегося со слугою, «гнусным Борисом» (*Тургенев Н. И.* Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 261).

[2] Там же. С. 432.

[3] ЦГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 33259. Л. 112.

[4] Тургеневский архив. Ед. хр. 568. Л. 1.

руками и в Тарту; работая в 1811 г. над словарем древнерусского языка, он в тексте рукописи делает ссылку на этот источник. Знакомство на месте с положением крепостных в Прибалтике должно было научить Кайсарова многому.

В период работы над диссертацией Кайсаров мог еще верить в освободительные намерения правительства, однако последующие события должны были рассеять его иллюзии: даже реформаторская деятельность Сперанского не предвещала в этом отношении никаких решительных мер по уничтожению крепостной зависимости. Ал. Тургенев в письме к брату Николаю в Геттинген цитировал, как показатель политической атмосферы в России, статью, напечатанную 31 августа 1809 г. в «Санкт-петербургских ведомостях»: «В предостережение легковерности признается нужным объяснить, что с некоторого времени прилежным надзором открыты и обнаружены здесь затеи праздных людей, старающихся для собственных видов озаботить ложными слухами внимание публики». К числу таких «ложных слухов» и «нелепых толков» статья относила разговоры о скором выходе указа, «ниспровергающего все отношения помещиков к поселянам»[1].

Если надежды на решение крестьянского вопроса правительством постепенно сходили на нет, то одновременно в связи с международными событиями (прежде всего, Тильзитским миром) авторитет Александра I в кругах передовой части общества пал очень низко.

Все это должно было определенным образом повлиять на сторонников свободы народа. Приезд Кайсарова в Тарту, бесспорно, должен был оказать также влияние на его оценку реформы, проведенной в Прибалтике в первом десятилетии XIX в. Он мог воочию убедиться, что положение крепостного, описанное в его диссертации, вполне соответствовало жизни крестьян Эстонии и после законов 1804 г. Указывая на наличие в России пустых земель и низкий прирост населения, Кайсаров в диссертации спрашивал: «Какое можно придумать этому (росту населения. — *Ю. Л.*) большее препятствие, чем если крестьянин, как это имеет место в России, лишен свободы и собственности»[2]. Нищета заставляет крестьян ограничивать браки. Наблюдавший положение эстонских крестьян человек отнюдь не революционных мыслей, а просто объективный чиновник, Арсеньев в донесении Кочубею рисовал картину, разительно напоминавшую описание судьбы крестьянина в диссертации Кайсарова. «Здесь, — писал Арсеньев, — приходится на квадратную версту около 1 1/2 ревизских душ — простора более чем достаточно. Сие обличает коренное притеснение, мешающее народу умножаться при таком множестве земли и способов к пропитанию <...> настоящая причина (малого количества детей. — *Ю. Л.*) есть бедственное состояние батраков, погруженных в глубину нищеты, да еще нищеты страдательной, измученной работами»[3].

---

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 399.

[2] Dissertatio... С. 13.

[3] *Чешихин Е. В.* Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Рига, 1877. Т. 1. С. 509—510.

Среди профессоров Тартуского университета Кайсаров мог найти людей, осуждавших крепостное право, беседы с которыми быстро ориентировали бы его в истинном положении эстонских крестьян.

В этом отношении любопытна история, разыгравшаяся в Тартуском университете в связи с книгой Г. Эверса «О состоянии крестьян в Лифляндии и Эстляндии» в декабре 1806 г. — почти одновременно с защитой Кайсаровым диссертации.

В конце лета и осенью 1805 г. по северной Эстонии прокатилась волна крестьянских возмущений, явившихся ответом на закон 1804 г. Перепуганное правительство пошло навстречу «рыцарству», подавлявшему ростки антикрепостнической мысли и эстонской национальной культуры. 4 июня 1807 г. попечитель учебного округа Клингер доносил министру просвещения учебного округа Завадовскому о том, что «Лифляндское губернское правление <...> по высочайшему повелению запретило издававшуюся в Дерпте на эстляндском языке газету», однако одновременно, по представлению совета университета, он протестовал против произвольного запрещения правлением изданного университетом «небольшого сочинения под заглавием „Von dem Zustande der Bauern in Lief- und Estland“»[1].

Содержание запрещенной книги примечательно с точки зрения развития антикрепостнической мысли в Прибалтике.

Выступления крепостных в 1805 г. вызвали оживление дебатов по крестьянскому вопросу. Для характеристики трусливой бюргерской оппозиции весьма показательно выступление Коцебу, опубликовавшего в печати некоторые сомнения относительно закона 1804 г. для Эстляндии, но, под давлением со стороны «гауптмана рыцарства» Розенталя, поспешившего печатно взять свои возражения обратно.

Книга Эверса интересна по содержанию. Автор, во-первых, издевается над трусливой позицией либералов, а во-вторых, в меру цензурных возможностей, раскрывает, что нес закон 1804 г. для эстонского крестьянина. Возможно, для того, чтобы сделать книгу менее уязвимой в цензурном отношении, Эверс противопоставляет положению эстонского крепостного более свободное положение крестьянина в Лифляндии, но внимание свое сосредоточивает не на последнем, а на острой критике «учреждения для крестьян Эстляндской губернии».

Первая часть книги представляет ядовитую насмешку над неуклюжими попытками Коцебу, стиль которого автор едко пародирует, оправдать «рыцарство», а заодно и свое отречение от собственных убеждений.

«Г. Коллежский советник фон-Коцебу, — пишет Эверс, — напечатал в периодическом издании под названием „Откровенный“ в прошлом году не-

[1] ЦГИА. Ф. 733. Оп. 118. Д. 9888 (1807 г.). Л. 1. В отношении совета университета Клингеру читаем: «Вследствие предписания вашего превосходительства от 24-го декабря 1806 года под № 281-м к ректору сего Университета запрещено университетскому типографщику Гренциусу продолжать печатание и продажу издаваемых здесь на эстляндском языке ведомостей для простого народа».

которые сомнения относительно нового учреждения для крестьян Эстляндской губернии. Но в 67 номере того же издания объявил он, что:

I. Г. Гауптман рыцарства фон-Розенталь имел благосклонность отвечать ему с величайшею вежливостью на его сомнения и возражения.

II. Что из того, более трех часов продолжавшегося собеседования, в первую очередь, выяснилось, 1) Что рыцарство в представлении своем его И. В. изъявило наипохвальнейшие намерения и что, следовательно,

а) нет никаких причин питать сомнения, ибо многое из того, что могло явиться причиною сомнений, должно пониматься лишь как возвещенное рыцарством, столь благородное, заслуживающее наивысших похвал намерение постепенно приступить к делу, б) потому, что многие другие сомнения объяснены новым законоположением, в) потому что опять-таки на многие пункты г. гауптман рыцарства фон-Розенталь доставил весьма достаточные разъяснения.

III. Что он (г. коллежский советник фон-Коцебу) с величайшим удовольствием убедился в некоторых ошибках, сделанных им при сравнении лифляндского учреждения с эстляндским».

Издеваясь над пустословием Коцебу, Эверс вместе с тем утверждал, что «рыцарство должно быть судимо не по словам, а по делам его», напоминая при этом, что «намерение постепенно приступить к делу очень похвально, только следовало бы начать его более удачно, чем это было сделано с эстляндским учреждением, если хотят предупредить плачевные происшествия, подобные случившемуся 3 октября 1805 г. в некоторых поместьях близ Ревеля». Из последней цитаты видно, что Эверс, хотя в сноске осторожно оговорил свое сожаление по поводу крестьянского восстания, причиною его считал несправедливость помещиков и жестокое угнетение крепостных.

«Г. фон-Коцебу, — пишет Эверс, заключая книгу, — говорит много о достохвальных намерениях Эстляндского рыцарства. Сочинитель настоящей книги не может судить о них, ибо один всевышний судит намерения. То, что рыцарство сделает доброго в будущем, не останется незамеченным, но что делает теперь, того нельзя оправдать надеждою на лучшее»[1].

Далее, комбинируя цитаты из различных законоположений, определявших обязанности эстонского крестьянина, Эверс рисует картину полного бесправия и закабаленности: «Крестьянин может быть продан без земли», «Крестьян можно брать в дворовые люди без их согласия», «Хозяин двора, равно как и все его работники, может быть подвергнут домашнему наказанию, которое может простираться до 30 ударов палками», «Помещик назначает рекрут по собственному усмотрению». Эверс показывает, что крестьянский суд в Эстонии фактически оказывается в руках помещиков: «В приходском суде присутствуют два крестьянина, дабы подтверждать справедливость приговора судей, хотя он [приговор] делается без их согласия, которого никогда не спрашивают». Средняя инстанция, куда переносит дело крестьянин, недо-

[1] Цит. по русскому переводу В. Языкова, хранящемуся в ЦГИА. Ф. 733. Оп. 118. Д. 9888 (1807 г.). Л. 21—26 об.

вольный приходским судом, «составлена из пяти дворян». «Комитет, избранный рыцарством, есть высшая инстанция, где решаются жалобы крестьян на помещиков».

Крестьянин бесправен: «Помещик может отбирать крестьянские земли», «Закон не дает права крестьянину покупать землю и владеть ею».

Положение крестьян, обрисованное Эверсом, было настолько безотрадным (хотя автор и уклонился от изложения своей положительной программы), а критика «добрых намерений» рыцарства столь язвительной, что появление книги вызвало настоящий переполох. Лифляндское губернское правление дало Дерптской полицейской управе предписание: «В доме типографщика Гренциуса все экземпляры сего сочинения захватить, отобрать и, запечатав, доставить в полицию». Предписание требовало также узнать от Гренциуса «имя сочинителя и донести об этом», но последний «отговорился неведением»[1].

Университетский совет увидел в этом действии полиции вмешательство во внутренние дела университета и через Клингера обратился к министру просвещения с жалобой.

Просьба университета дала, однако, обратный результат. Завадовский в письме Клингеру полностью одобрил действия губернского правления, книгу Эверса назвал «сочинением, в коем ощутительно кинуты семена к народному вознегодованию о своем состоянии»[2], и потребовал имени автора и цензора. Клингер струсил и, резко переменив курс, начал сваливать ответственность на совет университета, а последний в письме от 25 мая 1807 г. доносил, что «сочинитель его доктор философии Густав Эверс». Цензором, по сообщению совета, числился Паррот, однако книгу рассматривал не он, а весь университетский совет. При этом совет пытался оправдаться тем, что «тогда, когда издано сие малое сочинение, „Эстляндское положение" еще не было удостоено высочайшего утверждения». Это объяснение не удовлетворило Завадовского, который на полях карандашом написал: «Естл<яндское> положение утверждено 1804 авг. 27, а сочинение написано в декабре 1806 г.».

Узнав о разгоревшейся истории, Паррот обратился к Завадовскому с полным достоинства письмом, в котором изъявлял готовность полностью принять ответственность на себя. Это, видимо, спасло Эверса: Завадовский не захотел продолжать дело, грозившее перерасти в скандал, способный привлечь общественное внимание, и задержал уже заготовленное в его канцелярии резкое письмо Парроту. В деле читаем: «Г. Министр велел оставить, т. к. книга запрещена и не существует». Последнее неточно: полиции не удалось полностью изъять всех экземпляров книги. Один из них, например, хранится до сих пор в Фундаментальной библиотеке Тартуского университета.

Таким образом, антикрепостнические настроения не прошли мимо прогрессивной части профессуры. Кайсаров, ежедневно встречавшийся с Эверсом, еще до приезда в Тарту интересовавшийся его историческими трудами, не мог не знать нашумевшей истории с запрещенной книгой.

---

[1] ЦГИА. Ф. 733. Оп. 118. Д. 9888. Л. 5.
[2] Там же. Л. 8.

Однако в университете имелась и группа реакционных преподавателей, тесно связанных с прибалтийским «рыцарством» и всячески противившихся распространению в университете освободительных идей. Стремясь сохранить кастовые привилегии немецких баронов, они ожесточенно сопротивлялись попыткам Кайсарова наладить преподавание в университете русского языка и русской истории[1]. Именно их А. Тургенев в письме к Жуковскому и Воейкову от 25 ноября 1813 г. назвал «волками, которые все в лес смотрят»; «незабвенный Андрей, как верный сын России, сражался с ними беспрестанно...»[2].

Реакционную часть немецкой профессуры имел в виду Борис Тургенев, когда писал о «выписанных из-за моря» профессорах: «Два попугая, две лошади и собака теперь называются Mitglied или, по-моему, Kollege. Сии животные находятся под протекцией Академии. Правду сказать, — добавляет Б. Тургенев, — недостатку нет <и> у нас в животных»[3].

Итак, вскоре после приезда Кайсарова в Тарту определились основные контуры его будущей деятельности: сближение с прогрессивной частью профессуры и студенчества, пропаганда изучения русского языка, литературы и истории и борьба против реакционных профессоров, отражавших крепостнические настроения «рыцарства».

В начале весеннего семестра 1811 г. Кайсаров приступил к чтению лекций[4]. Свою преподавательскую деятельность он рассматривал как часть научной работы. В связи с этим небезынтересно будет остановиться на воззрениях Кайсарова — лингвиста, фольклориста и историка, тем более что в науке утвердился безосновательный взгляд на Кайсарова как на дилетанта, лишенного глубоких специальных знаний и научных интересов.

Филологические интересы Кайсарова начали формироваться рано. В Геттингене, как свидетельствуют его бумаги, он тщательно изучал лингвистические труды, в частности почти еще неизвестную в русской лингвистической науке грамматику Лудольфа. Здесь же он, совместно с Александром Тургеневым, начал изучение, наряду с обычными для дворянского образования западноевропейскими языками, славянских языков, отнюдь не попадавших в круг даже самого широкого «светского» образования. В дневнике Ал. Тургенева мы находим указания на «приватное» занятие русских студентов сербским и польским языками[5].

---

[1] О борьбе вокруг утверждения кандидатуры Кайсарова советом университета см.: *Правдин Б.* Русская филология в Тартуском университете // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 35. 1954. С. 133, а также личное дело Кайсарова в архиве университета (Центральный Исторический архив Эстонии в г. Тарту. Ф. 402. Оп. 3. Ед. хр. 705).

[2] *Веселовский А. Н.* Жуковский. СПб., 1804. С. 149.

[3] Тургеневский архив. Ед. хр. 386. Л. 1.

[4] См.: Годовой отчет университета за 1811 г. (Центральный Исторический архив Эстонии. Ф. 402: Tartu Ülikool. Оп. 4. Ед. хр. 248. Л. 19).

[5] См., например: Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 191. В 1805 г. он уже мог, после путешествия по славянским землям, вести переписку с Мушицким по-сербски (см.: *Ягич И. В.* Источники для истории славянской филологии. Кн. 2 // Сб. ОРЯС. СПб., 1897. Т. 62. С. 695—698).

Позже, путешествуя по славянским землям, Кайсаров приступил к работе над осуществлением широко задуманного плана лингвистических трудов. Он задумал создание сравнительного словаря всех славянских языков. В его рукописях начинают попадаться библиографические заметки по лексикографии. Так, он делает выписку из «Catalogue of Dictionaries, Vocabularies, Grammars and Alphabets...» (London, 1796), раздела «Slavonian Dialect», выписки интересующего его материала из лексикона Памвы Берынды, Vocabularum venedicum («словаря немецко-люнебургского, или полабского», как он сам переводит). К этому же времени относится запись молитвы по-русски, польски, чешски, хорватски, сербски, лужицки и на далматском наречии, а также по-славонски глаголицей. Видимо, под влиянием Шлецера, у Кайсарова, после возвращения из путешествия, возникает проект составления сравнительного словаря всех славянских языков. Вук Караджич писал, что «Шлецер жаловался Стратимовичу, что нет никакого словаря, ни грамматики сербского и болгарского языков»[1]. К началу такой работы, видимо, побуждал он и Кайсарова. По крайней мере, последний в письме Мушицкому писал: «Меня принуждают издать сравнительный словарь славянских наречий»[2]. Одновременно Кайсаров побуждает деятелей кружка Стратимовича к созданию грамматики сербского языка. Мушицкому он пишет: «Я надеюсь, что Ваша сербская грамматика скоро будет совершена; чем скорее, тем лучше. Стыдно великому сербскому народу оставаться без самонужнейших, начальных книг»[3]. Любопытно, что в качестве материала для своего словаря Кайсаров требовал от Мушицкого «слова написать мне простым сербским языком».

Кропотливо работая над сбором лексикологического материала в масштабах, совершенно новых для славистики начала XIX в., Кайсаров, однако, имел в виду не только лингвистическую, но и политическую сторону вопроса. В этом смысле любопытно написанное им в 1805 г. обширное вступление к предполагавшемуся словарю, существование которого не было известно до сих пор авторам, занимавшимся биографией Кайсарова.

Предисловие написано как публицистическая статья и затрагивает чрезвычайно широкий круг политических и научных вопросов.

В начале Кайсаров касается остро обсуждавшейся еще в «Дружеском литературном обществе» проблемы воспитания. Он осуждает «несчастный или посмеяния достойной обычай, который в ребячестве уже нашем знакомит нас с иноплеменниками. Едва еще начинающий чувствовать младенец русской счастливым почитает себя, если хотя некоторое сходство находит в себе с гордым галлом. Самый наружный вид его стараются родители образовать наподобие иноземца...». Этот тезис перекликается с уставным требованием «Союза благоденствия», предписывавшим бороться с учителями-иностранца-

---

[1] *Караджич В. С.* Скупльени граматички и полемички списи. Београд, 1898. Кн. III, свеска I. С. 68.

[2] *Ягич И. В.* Указ. соч. С. 697.

[3] Там же. С. 695. Желание Кайсарова осуществилось лишь год спустя после его смерти. В 1814 г. в Вене вышла «Писменица сербского езика по говору простого народа» В. Караджича.

ми, которые «внушают детям презрение к отечественному и привязанность к чужеземному». Предвосхищая требование декабристской педагогики, Кайсаров пропагандирует идею патриотического воспитания на материале героических примеров из славянской и русской истории. «Спросите сего невинного несчастливца (молодого воспитанника иностранных учителей. — *Ю. Л.*), и сколько прекрасных повествований расскажет он вам о Генрихах и Людовиках, но знает ли он, что некогда существовал Святополк Моравской, Стефан Сербской и даже Олег Русской?»[1] Патриотическое воспитание нужно не как самоцель: Кайсаров намекает, что оно должно явиться школой, подготавливающей к активной борьбе за освобождение. Нарочито завуалированная форма намека не дает оснований судить о том, подразумевал ли Кайсаров только борьбу за освобождение славян от иноплеменных угнетателей или же мысли его простирались и на проблемы внутренней жизни России. Если вспомнить, что в это самое время готовилась диссертация об освобождении русских крепостных, то можно предположить, что Кайсаров имел в виду оба вопроса, когда писал, обращаясь к воспитателям юношества: «Приготовились ли вы дать некогда отчет потомству в священном деле своем? Предвидите ли вы, что оно *потребует от вас некогда истинных сынов отечества? Или мнили, что ослепление будет вечно? Неужели могли вы думать, что кровь славянская может вечно течь медленно?* (курсив мой. — *Ю. Л.*)». И сама фразеология, и намек на приближающуюся минуту решительных действий знаменательны.

Кайсаров, как в будущем декабристы, мечтает о создании подлинно национальной культуры, основанной на исконно народных традициях. Характеристика, данная ему в воспоминаниях его тартуского друга, профессора Бурдаха, рисует образ, который заставляет вспомнить высказывания Кюхельбекера и Грибоедова о культуре, — высказывания, отразившиеся в монологах Чацкого. В своих мемуарах, характеризуя Кайсарова, Бурдах писал: «Истинного друга среди своих коллег приобрел я в одном русском профессоре Кайсарове. Это был благородный человек, принадлежавший к той части русской молодежи, которая, воодушевленная любовью к отечеству, поставила себе целью вознести ввысь славянскую национальность в ее свободном самобытном развитии. Россия не должна больше рабски подражать (nachäffen) ни германским, ни романским народам, не должна украшать себя формами какой-либо из чуждых культур, но через себя самое, через свою самобытность приближаться к идеалу общечеловеческого просвещения»[2]. Идеи и тон этого отрывка, бесспорно, воспроизводят собственные слова Кайсарова в его беседах с Бурдахом.

Национальная, самобытная культура, по мнению Кайсарова, должна возникнуть на основе обращения к изучению истории России и истории славянских народов, осознания общности их исторических интересов. «В XI столет<ии> знал Нестор, что и за Россиею есть славяне; Нестор оставил нам

[1] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/14. Л. 1 об.

[2] *Burdach K. F.* Blicke ins Leben. Bd 4: Selbstbiographie des Verfassers. Leipzig, 1848. S. 234—235.

свою летопись, но кто читал ее? Имеем мы и других отечественных бытописателей, и после Нестора занимавшихся состоянием рода словенского, но кто читал их?»[1]

Изучение славянских языков поможет очистить русский язык от чуждых его духу варваризмов, в чем Кайсаров видел важный элемент борьбы за национальную культуру. «Как редкие из нас могут понимать язык наших переводных романов? — писал он. — Час от часу язык наш отягчается чужестранными словами, час от часа отходим мы далее от нашего корня, но, может быть (чего всякой истинной русской вместе со мною пожелает), увидев из общего словаря, что нам гораздо приличнее занимать слова из родных нам языков, <...> мало-по-малу пришлецы эти получат отставку. Тогда язык наш сделается чисто словенским, а не смесью словенского, французского, немецкого, татарского и пр. О, если бы скорее исчезла эта пестрота!»[2]

Наконец, изучение славянских культур раскроет новые перспективы для русской исторической науки, а следовательно, и для патриотического воспитания. «Вникая в бытописания русские, уверился я самым опытом, что нельзя быть искусным русским историком, не зная других словен. Сколько самых неоспоримых исторических заключений можно сделать из одного сходства разных словенских наречий, знают даже чужестранцы, нашею историею занимавшиеся». «Какое пространное поле наблюдения! Сколько нового откроет он [историк], начав сравнивать обычаи словенина, на Кодьяке живущего, с обычаями брата его в Рагузе. Как удивится, нашед почти одни нравы у казака, в Сибири живущего, и словенина черногорского! Нашед то же простодушие, ту же храбрость в обоих, как удивится он, узнав, что те добродетели, которыми отличались словене за несколько столетий, сохранились ими доныне»[3].

Наряду с идеей борьбы за самобытную культуру, все предисловие пронизывает и политическая мысль: необходимость политического и национального освобождения славян, подчиненных Турции и Австрии, как важнейшее условие их культурного возрождения.

Противоречивость и незрелость общественно-политических воззрений Кайсарова проявились в его отношении к положению в Сербии. С одной стороны, он искренне привязан к столь умеренным деятелям национально-освободительного движения, как митрополит Стратимович, сыгравший самую некрасивую роль в истории подавления крестьянского восстания в Среме в 1807 г.[4] Кайсаров убежден в том, что залог национального возрождения сербов — лишь в приобщении их к самобытной, народной культуре, в просвещении. Мушицкому он писал: «Если бы можно, я бы переселился к вам и н<а ваши>х улицах всякой день кричал бы сербам: учитесь! учитесь!

---

[1] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/14. Л. 2.

[2] Там же. Л. 3.

[3] Там же. Л. 3, 2, 2 об.

[4] См.: *Зеленин В. В.* Восстание сербских крестьян в Среме в 1807 г. // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. М., 1955. № 14. С. 9.

Это один путь, по которому вы можете достигнуть своего счастья»[1]. Однако, с другой стороны, в тех же письмах Мушицкому Кайсаров проявляет живой интерес к народному движению под руководством Карагеоргия. В письме от 30 марта 1805 г. он по-сербски пишет: «Что се кажа, брате, за наши Сербы у Турску <...> Верло желим знать судьбу их? И что ради той Черни?» В следующем письме опять спрашивает о «любезных сербах в Турции»[2]. В предисловии же к своему словарю он не в просвещении видит путь к освобождению, а, напротив, в освобождении первое условие успехов просвещения. «Сербам, под турецким правлением живущим, есть один только способ получить грамматики, словари и все полезное. Этот способ теперь вместе с победоносным мечем словенским в руках Черного Георгия! Покажите мне грамматику болгарскую, долматийскую, босинскую, морлакскую?..»[3]

Кайсаров сочувственно относился к вспыхнувшему в 1804 г. освободительному движению сербов, «этого доброго, храброго народа». Освобождение славян от иностранного ига им мыслилось как возглавленное Россией широкое освободительное движение. Отзвуком этих настроений, видимо, является вскользь брошенная в письме Александра Тургенева Кайсарову фраза (письмо написано в 1806 г., после отхода Австрии от антинаполеоновской коалиции и капитуляции ее перед Францией): «Теперь бы нас, брат, надобно напустить на австрийцев. Мы бы сперва православных взбунтовали»[4].

Проповедуя освободительную роль России в борьбе балканских народов за независимость, Кайсаров откликался не на колонизаторские устремления правительственной верхушки, а на находившие отклик в передовой части русского общества широкие настроения угнетенных славянских народов. К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Серб, болгарин, боснийский рая, славянский крестьянин в Македонии и Фракии питают большую национальную симпатию к русским и имеют с ними больше точек соприкосновения, больше средств духовного общения, чем с говорящими на том же языке римско-католическими славянами»[5]. В борьбе за освобождение славян Кайсаров решающую роль отводил России. Однако не следует забывать, что одновременно он работал

---

[1] *Ягич И. В.* Указ. соч. С. 699.

[2] Там же. С. 698.

[3] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/14. Л. 4 об.

[4] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 351. Правительство Александра I не прочь было использовать борьбу южных славян для того, чтобы предстать перед общественным мнением в качестве защитника свободы народов (об этом царь прямо писал Новосильцеву в инструкции 1804 г.). Вместе с тем в сфере практической политики дело неизменно сводилось к проектам раздела турецких земель между европейскими державами при полном равнодушии (а порой и враждебной настороженности) к судьбам национально-освободительных движений. Так, Чарторыжский предлагал решить «славянский вопрос» передачей Австрии Хорватии, части Боснии, Белграда, Рагузы; России — Молдавии, Корфу и проливов; Франции и Англии — части Архипелага и земли в Азии и Африке. См.: *Vernadsky G.* Alexandre I et la problème slave pendant la première moitié de son règne // Revue des études slaves. 1927. T. 8. Fasc. 1 et 2. P. 94—98.

[5] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 9. С. 377.

над диссертацией об освобождении русских крепостных. Идеалом его была свободная Россия — центр освобожденного славянского мира. Таким образом, Кайсаров явился ранним предшественником пропагандировавшейся «Обществом соединенных славян» идеи, которая «состояла в том, чтобы соединить в одну Республику все славянские племена Южной Европы и присоединить их к России»[1]. Как мы видим, публицистическая часть «предисловия» отличалась широтой постановки вопроса. Не менее интересна собственно лингвистическая.

Идея словаря, подчеркивает Кайсаров, возникла у него из живого наблюдения грамматического и лексического сходства славянских языков. Следствием путешествия по славянским землям, пишет он в предисловии, «было час от часу усиливавшееся во мне желание показать моим соотечественникам на первый раз чрезвычайное сходство русского языка с прочими словенскими наречиями, для этого предлагаю здесь небольшой опыт сравнительного словаря словенских наречий»[2].

Задачу составления словаря Кайсаров понимал широко. Он не довольствовался простым сравнением лексики славянских языков, но поднимал вопрос о сравнительном изучении их грамматики. «Вместе с сочинением словаря не должно выпускать из вида общей словенской грамматики. Обе эти вещи так соединены тесно между собою, что одна без другой не может быть совершенна. Если только захотеть писать одни слова из разных наречий, если не заниматься притом этимологическими исследованиями, тогда, конечно, работа будет слишком обыкновенная. Известный по своим знаниям в словесности словенской Г. Антон говорит, что сравнивать языки надо более грамматически, нежели в виде словарей. Но я повторяю, что одно без другого совершенно быть не может»[3].

Кайсаров понимает, однако, что созданию такого широкого исследования по сравнительному изучению славянских языков должна предшествовать предварительная научная работа. «Где, например, грамматика простого сербского языка, где словарь его?» — спрашивает он. Поэтому, понимая, что «для большого словаря надобно сделать совсем другое начертание, которое было бы более основано на философии языков»[4], свой труд Кайсаров рассматривает как предварительный, долженствующий возбудить дальнейший научный интерес. «Может быть (надеяться всякому позволено), кроме меня, многие в любезном моем отечестве так же пламенно, так же слепо привязаны ко всему словенскому, как я; может быть, что этот недостаточный опыт

---

[1] Восстание декабристов. Материалы. М., 1950. Т. 9. С. 85. Кайсарову, вероятно, были известны проекты Стратимовича относительно освобождения Сербии с помощью России (см.: Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. М., 1868. Кн. 1. С. 238—256). Позиция Кайсарова глубоко отличалась от идей Стратимовича. Последний в основу клал идею религиозной общности и обходил очень значительный для Кайсарова вопрос о внутренних преобразованиях в общественной жизни России.

[2] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/14. Л. 3 об.

[3] Там же. Л. 7.

[4] Там же.

подаст им повод к дальнейшим исследованиям»[1]. Для решения намеченной им широкой научной программы Кайсаров выдвинул план объединения научных усилий всех лингвистов славянских народов. «Если Российская Академия соединится с учеными обществами Богемским, Варшавским, Карпато-Российским, с гимназиею Карловицкою, чего нельзя тогда надеяться?»[2] Последнее характерно для стремления Кайсарова связать научную работу с широкой по размаху общественной деятельностью. Недаром в одном из своих сочинений он с таким уважением отзывается о Н. И. Новикове.

Работа над сравнительным словарем славянских языков не была доведена Кайсаровым до конца. Однако мнение Истрина, считавшего, что дальше самого общего замысла дело не пошло, ошибочно. Исследователь ограничился материалами, хранящимися в Тургеневском архиве, и, не найдя там рукописей, относящихся к замыслу словаря, решил, что таковых вообще не было. Обнаружение предисловия к словарю позволяет установить, что работа над этим научным замыслом продолжалась и после возвращения из путешествия, а также убедиться в серьезности интереса Кайсарова к данной научной проблеме. Последнее обстоятельство заставляет сомневаться в справедливости мнения Истрина, который, не зная о существовании предисловия, предполагал, что интерес к словарю был мимолетным и прошел в творчестве Кайсарова бесследно. Дальнейшие поиски тартуских бумаг Кайсарова, возможно, дадут ответ на этот вопрос.

Педагогическая работа Кайсарова в Тарту натолкнула его на тему научного труда, нового по замыслу, но органически связанного со словарем. Будучи поставлен по ходу учебных занятий перед необходимостью читать со студентами памятники русской истории, Кайсаров обнаружил трудности, связанные с истолкованием слов древнерусского языка, усугублявшиеся тем, что студенты не всегда достаточно свободно владели практической русской речью. К решению этого вопроса Кайсаров подошел с присущей ему научной широтой: в 1811 г. в Тарту он начал работу над словарем древнерусского языка. Сама идея этого труда говорит о зрелости лингвистических воззрений Кайсарова, не отождествлявшего древнерусский и старославянский язык. Работа была поставлена широко. Для того чтобы представить круг привлекавшихся Кайсаровым источников, приведем составленный самим автором список использованных при работе исторических материалов:

«1. Древний летописец.

2. Древняя российская вивлиофика.

3. Таубертово издание Нестора, или первая часть библиотеки российской.

4. Codex Nestor in Museo Britannico. Список летописи Несторовой с прибавлениями в Музеуме Британском.

5. Татищева история.

6. Шлецеров Нестор.

7. Максимовича указатель российских законов.

---

[1] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 240/14. Л. 3.

[2] Там же. Л. 6.

8. Авраамия Палицына, об осаде Троицкого монастыря, по списку, находящемуся в Музеуме Британском.

9. Псалтырь.

10. Патерик печерский.

11. Судебник царя Ивана Васильевича.

12. Правда русская.

13. Сводный судебник.

14. Минеи Четия.

15. Летопись о многих мятежах и пр.

16. Слово о плъку игореве, Игоря сына Святослава, внука Ольгова, Москва, 1800.

17. Уложения царя Алексея Михайловича.

18. Духовная великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в летописи суздальской поучением. СПб., 1793, in 4⁰.

19. Летописец Двинский в Опыте трудов Вольного российского общества, часть I.

20. Летопись русская по Никонову списку.

21. Житие святейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем клириком, СПб., 1789 — 8⁰.

22. Розыск о раскольнической брынской вере С. Дмитрия. Москва, 1745.

23. Болтина примечания на историю Леклерка.

24. Новгородский летописец во 2-й части продолжения Древн. Росс. Вивл.

25. Летописец Новгородской, Москва, 1781, in 4⁰»[1].

В поле зрения Кайсарова оказались не только все основные источники, которыми располагала русская историческая наука тех лет, но и ряд рукописных материалов, самостоятельно собранных в архивах и монастырях во время путешествия по славянским землям и Англии.

Автограф словаря, о существовании которого в научной литературе до сих пор не упоминалось, представляет тетрадь, разбитую на буквы алфавита и озаглавленную: «Index vocabulorum Glossarii mediae et infimae Russitatis curavit Andreas de Kaisarov P. D. Linguae et Litteraturae Russicae P. P. O. in Universitate litterarum Caesarea, quae Dorpati constituta est. Anno MDCCCXI». Тетрадь содержит 465 древнерусских слов, сопровожденных объяснением и иллюстрированных цитатами из древних памятников. Не производя специального анализа работы Кайсарова, отметим, что это первый в истории русской науки опыт создания подобного словаря.

Начавшаяся в 1812 г. война с Наполеоном прекратила преподавательскую деятельность Кайсарова и оборвала его работу над словарем. Тартуский архив ученого затерялся, пропали, бесспорно имевшиеся у него, подготовительные материалы, которые позволили бы судить о том, на какой стадии оборвалась работа над словарем, и только обнаруженный нами в архиве Общества истории и древностей российских автограф тетради, куда Кайсаров заносил слова, работа над которыми была уже завер-

[1] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/15. Л. 96.

шена, остался памятником этой интереснейшей для истории русской лингвистики работы.

Кайсаров преподавал в Тартуском университете курс «Древняя русская история в памятниках языка». Это заставляет нас кратко остановиться на исторических воззрениях молодого профессора.

С большим уважением отзываясь о А. Л. Шлёцере, под руководством которого он прошел школу критического изучения исторических источников, Кайсаров вместе с тем далек был от слепого преклонения перед авторитетом автора «Нестора». В бумагах Кайсарова мы находим многочисленные заметки, критически оценивавшие как частные, так и общие положения Шлёцера. Особенно резко разошелся с Шлёцером Кайсаров в отношении к древнейшему периоду русской истории. Как известно, Шлёцер, вслед за Миллером, которого за это упрекал еще Ломоносов, вел начало русской государственности от варягов, не проявляя к предыдущему периоду научного интереса. Хотя в годы угрозы оккупации Германии войсками Наполеона Шлёцер занял позицию сторонника и доброжелателя России (именно это, наряду с широкой эрудицией, привлекало к нему симпатии Кайсарова и Тургенева), однако объективно стремление его начинать изложение русской истории с «призвания варягов» пропагандировало антинаучную «норманистскую теорию».

Научные интересы Кайсарова приковывали его внимание, в первую очередь, к вопросу древнейшей, «доваряжской» истории восточных славян. Еще в Геттингене плодом этого интереса явилась сохранившаяся в его черновых записях статья «О жилищах славян во время германцев», посвященная вопросу древнейших славянских поселений, и брошюра «Славянская мифология», напечатанная в 1804 г. на немецком языке в Геттингене. Причина интереса к первому вопросу раскрывается двумя заметками в черновой тетради геттингенского периода. «Начальным жилищем словен почитает Шлёцер берега Дуная: „Оттуда они вышли, согласно *моему* Нестору (курсив Кайсарова. — *Ю. Л.*)!“[1]. Это еще не доказательство: может быть, его Нестор утверждает это, а наш Нестор говорит просто: „ини же седоша по Дунаеве“. Оттуда, будучи утеснены римлянами, пошли некоторые из них в Россию»[2]. В другом месте он пишет: «Гиббон в своей Римс<кой> Истории часть I, глава 2, говоря о состоянии населения Р<имской> И<мперии>, говорит, что число ея жителей превосходило число жителей нынешней Европы; между прочим, для европейской России назначает не более 12 миллионов жителей. Переводчик его немецкой, Венк, желая его поправить, дает России 14 миллионов — оба попали!

Гиббон же во второй части, глава 9, в начале, говоря о границах Германии, полагает, что почти вся новая Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Лифляндия, Пруссия и большая часть Польши составляли древнюю Германию и были населены различными отраслями германского народа — а где же были славяне?»[3] Таким образом, по замыслу Кайсарова, его работа

[1] Цитата из Шлёцера в рукописи — на немецком языке.

[2] Тургеневский архив. Ед. хр. 2052. Л. 65.

[3] Там же. Л. 18—21.

должна была доказать на основании исторических источников автохтонность славян в Европе, широту их территориального распространения и, следовательно, наличие у них исторических прав на земли, в дальнейшем подвергавшиеся немецкой колонизации или порабощению со стороны турок. Этот интерес к историческим темам, имевшим остроактуальное звучание для современности, присущ Кайсарову. Столь же публицистичен был его интерес к политической истории Руси древнейшего периода. Еще в Геттингене Кайсаров выписал мнение Шлёцера о том, что «Рурик, Синав и Трувор были позваны славянами, чтоб быть их полководцами, но сделались в течение времени похитителями не принадлежащей им монаршей власти»[1].

Вопрос этот в начале века имел остродискуссионный характер и, переплетаясь с оценкой государственной системы Новгорода, непосредственно отражал политические симпатии авторов. Например, А. Н. Радищев, считая, что древнейший политический строй славян был вечевой республикой, осуществлявшей непосредственно верховную власть народа, рассматривал основателей самодержавия — варягов как иноземных захватчиков, силой отнявших у народа его суверенные права. Самодержавная власть, таким образом, своим происхождением обязана насилию, и, следовательно, свержение ее — лишь законное сопротивление народа захватчикам. Именно в этом плане следует истолковывать центральную мысль поэмы «Песни, петые на состязаниях».

Работе над поэмой предшествовало многолетнее изучение Радищевым исторических источников. Изучая «Повесть временных лет» (по книге «Летопись Нестерова с продолжателями по Кенигсбергскому списку». М., 1767; экземпляр с пометками Радищева хранится в библиотеке ИРЛИ), Радищев, в частности, чертой на полях выделил место, говорящее о древней общности славянских племен. В летописи Радищев искал подтверждения своей мысли о том, что свободное республиканское правление было исконной формой древней славянской государственности.

Изучая русскую историю, Радищев старательно подбирал случаи изгнания князей, в чем он усматривал проявление народного суверенитета. «Кн<язя> Всеволода, — записывал он, — н<ово>городцы, лиша правления, держали два месяца в заточении». И дальше: «С Ярославом Ярославичем в<еликим> кн<язем> н<овгородским> они сделали по войне письменное примирение, из коего видно, сколь мало они в<еликого> кн<язя> почитали»[2]. Особенно интересна следующая выписка: «Когда новгородцы в л. 1186 выгнали от себя Ярослава Володим<ировича>, а взяли Мстислава Давид<овича> княжить, то продолжатель Несторов говорит...»[3] На этом месте лист рукописи обрывается, однако обращение к соответствующему месту летописи позволяет установить, какие слова летописца привлекли внимание писателя. На с. 279 издания, которым пользовался Радищев, после слов: «выгнаша новгородцы Ярослава Володимеровича, а Мстислава Давыдовича пояша к себе княжити» — находим привлекшее Радищева резюме: «таков бо бе их обычай».

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 2052. Л. 40.
[2] *Радищев А. Н.* Избр. соч. М.; Л., 1949. С. 645.
[3] Там же. С. 642.

В этих словах писатель видел подтверждение своей мысли о том, что изгнание неугодных князей было не случайностью, а устойчивым обычаем в жизни древней Руси, непосредственным результатом верховного характера власти народа[1]. Вечевой строй не был исключительно новгородской чертой, по мнению Радищева. В Новгороде лишь дольше сохранилась эта исконная республиканская форма государственной жизни древних славян. «И в Киеве, — писал Радищев, — были народные собрания, называемые „вече", кои созывал тысяцкий». Князь присягал народу, «целовал им на то крест»[2]. Отягченные податьми володимирцы говорили: «Мы есмо вольные, а князей приняли к себе, и крест [они] целовали к нам на всем»[3]. В обобщенной форме Радищев выразил эту мысль в «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири»: «Вечевой колокол, палладиум вольности новгородской, и собрание народа, об общих нуждах судящего, кажется быть нечто в России древнее и роду славянскому сосущественно». В сноске он добавляет, что «собрания общественные в России были употребительны»[4].

Интерес к жизни Новгородской республики, таким образом, приобретал в начале XIX в. характер политически актуальный. Среди ряда произведений, касавшихся этой темы, отметим одно, до сих пор не привлекавшее специального внимания исследователей. Внимание к этому произведению тем более обосновано, что оно, бесспорно, находилось в поле зрения Кайсарова.

В 1808 г. в Москве в типографии Решетникова без указания автора была отпечатана книга «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода». Автором книги обычно считается Евгений Болховитинов, что подтверждал и сам он. Однако более близкое знакомство с книгой приводит к несколько неожиданным выводам: книга состоит из трех отдельных «разговоров». Первые два, касаясь деталей истории древнего Новгорода, носят обычный для Евгения мелочно-фактологический характер. Совершенно иначе написан третий — «Разговор о возвышении и упадке Великого Новгорода», который, как указано на титульном листе, был произнесен «в собрании Новгородской семинарии в Антониевском училищном монастыре студентами философии во время открытого их испытания в успехах, 1807 года декабря 20 дня». «Разговор» поражает читателя неожиданно острой публицистической формой и почти не замаскированными республиканскими симпатиями. Последнее обстоятельство заставляет поставить под сомнение авторство Евгения для последнего «Разговора». «Разговор», написанный в форме тройственного собеседования, прежде всего, устанавливает, «что они [новогородцы] до Рю-

---

[1] На идеологическую значимость этого вывода до Радищева обратил внимание еще средневековый летописец. Касаясь этого вопроса, акад. А. А. Шахматов пишет: «„Таков бо бе их обычай", замечает суздальский летописец, но прибавка москвича, уже мечтавшего о покорении Новгорода, свидетельствует о более раздраженном отношении к вольностям новгородским; он пишет: „так бе их обычай блядиных детей"» (*Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938. С. 39).

[2] *Радищев А. Н.* Избр. соч. С. 649.

[3] Там же. С. 642.

[4] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 145.

рика управлялись республиканским правлением». Один из собеседников выражает в этом сомнение, «потому что у них еще до Рюрика был князь Гостомысл», но другой опровергает это, говоря, что «Гостомысл в древней Новгородской летописи Иоанновой именуется не князем, а посадником», и проясняет разницу между этими понятиями: «Князья владели народами по породе и по наследству, а посадники по выбору народному и на определенное только время, а большей частью на год, так как в Риме консулы», «Славяне издревле привычны были к вольному республиканскому правлению». И в другом месте: «Князей собственно своих Славяне никогда не имели. Ибо Прокопий, шестого века историк, именно свидетельствует, что славяне не состояли ни под какою единодержавною властию, но имели с древних времен общенародное правление: почему о делах своих, до пользы общей касающихся, советовали (так! — *Ю. Л.*) всегда вместе». Даже «самое название князя не имеет ясного корня в языке славенском, а, вероятно, заимствовано из другого какого-нибудь»[1]. Автор явно опасается договаривать до конца и без того явную мысль: слово «князь» так же, как и принцип самодержавия, внесено в славянские языки захватившими власть иноземными насильниками.

Особенно подробно останавливаются «Разговоры» на характеристике веча, причем последнее истолковывается как орган, непосредственно осуществляющий верховную власть народа, — «посадники и княжие наместники, да и прочие чиновники в решения сии не должны были мешаться, ибо вечевой суд был собственно суд народный». Особенно подчеркивается, что князья и чиновники, которые «народу не угодны были», приговором веча низлагались, и их «часто даже выгоняли». Свободолюбивые новгородцы — истинные патриоты: они не принимают монет других русских княжеств XIV в., так как те «были большею частию с татарскими надписями, а потому-то новгородцы, никогда не считавшие себя порабощенными татарами, принимать их не хотели»[2].

Вече и князь — две противоположные, борющиеся силы, олицетворяющие народ и самодержавие. Автор детально останавливается на характере этой борьбы. Особенно интересует его вопрос о причинах падения Новгорода. Он решительно отвергает повторявшуюся дворянской публицистикой версию о том, что Новгород пал от внутренних мятежей — неизбежного якобы спутника республиканского правления. Эту мысль высказывает один из собеседников: «Мне кажется, что еще со времени прав и вольностей, данных новгородцам от Ярослава I, своевольство и внутренние несогласия начали уже расслаблять союз новгородский <...> многократные мятежи и бунты, заводившиеся от самой вечи новгородской, предзнаменовали уже падение государства сего». Однако мнение это приводится лишь для того, чтобы тут же его опровергнуть: «Нет: мятежи в цветущие времена новгородской республики бывали чаще всего за сохранение вольных прав и большею частию искореняли только

[1] Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода. М., 1808. С. 49, 50, 53.

[2] Там же. С. 52.

злоупотребление правительствующих властей или хищность богачей, но не ослабляли общей народной силы»[1]. Мысль о том, что гибель республики не была обусловлена каким-либо пороком ее внутреннего строя, а вызывалась чисто внешним насилием самодержавия, автором завуалирована. На вопрос о причине упадка Новгорода он предпочитает ответить намеком, хотя и достаточно ясным: «Цветущие и особливо великие республики, окруженные монархиями, вообще долго стоять не могут, и удивительно даже, что Новгород мог процветать около 600 лет»[2].

Политический итог «Разговора» ясен — народное благо связано с исконной славянской формой вечевой республики, самодержавие же — результат беззаконного ига, наложенного насильственно на народ захватчиками.

Для того чтобы понять остроту подобной постановки новгородской темы, полезно вспомнить о том, как она освещалась в умеренно-либеральной и консервативной публицистике тех лет. Если даже не касаться мракобесно-реакционной точки зрения, которая, например, была выражена в замечаниях Екатерины II на главу «Новогород» «Путешествия из Петербурга в Москву»[3] или в бездарной и рептильной пьеске П. П. Сумарокова «Марфа Посадница, или Покорение Нова-Города» (ср. также в его «Новгородской истории». М., 1890), столь ядовито осмеянной в рецензии И. А. Крылова, то достаточно рельефную картину даст позиция в этом вопросе Н. М. Карамзина. Для Карамзина республика — вечное царство анархических раздоров (объяснение карамзинского идеала «республиканца в душе» в данном случае не входит в нашу задачу). Государственный порядок может быть обеспечен только самодержавной властью. Он настоятельно подчеркивает историческую неизбежность провозглашения самодержавия и добровольный характер призвания народом князей. «Новгородцы лобызали ноги» Рюрика, «который примирил раздоры, <...> проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого»[4]. «Скандинавия <...> дала нашему отечеству государей, добровольно принятых славянскими и чудскими племенами, обитавшими на берегах Ильменя, Бела-Озера и реки Великой. „Идите, — сказали им Чудь и Славяне, наскучив своими внутренними междоусобиями, — идите княжить и властвовать над нами“» [5]. В соответствии с этим в истории Новгорода Карамзина привлекало лишь доказательство закономерности его падения (Марфа Посадница), а история России превращалась в историю самодержавного государства. Поэтому жизнь славян «до-княжеского периода» Карамзина не интересовала. Не случайно именно за это отсутствие интереса к древнейшему периоду истории славян упрекали Карамзина декабристы (Орлов, Муравьев).

Внимание Кайсарова, как мы уже говорили, было приковано именно к древнейшим периодам русской и славянской истории.

---

[1] Исторические разговоры... С. 66.
[2] Там же.
[3] Ср. также ее пьесу «Из жизни Рюрика».
[4] *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848. Т. 3. С. 169.
[5] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 1—2.

Прежде всего, характерно включенное им в подготавливаемый во время пребывания в Тарту словарь объяснение слова «вече».

«Вече — 1) Народное собрание, которое было не в одном Новгороде, но и в других местах.

2) Колокол, в который созывали на собрание.

1. „Тогож лета (1304) на Костроме бысть вече на бояр: на Давида Явидовича, да на Жеребца и на иных и убиша тогда Зерна и Александра.

Др<евний> Ле<тописец>, I, 84"

Тат<ищев> IV, 85

„Того же лета (1324) Новгородцы сотворише вече по старинному своему обычаю и избраша себе в Архиепископы Моисея, архимандрита Юрьевского, аще митрополит благословит.

Др<евний> Ле<тописец>, I, 113"

Тат<ищев> IV, 114

„И людие киевстии прибегоша к Киеву и сотвориша вече на торговище, и пославшеся к князем, глаголюще: се половцы расселись на земле, вдай княже оружия и кони, аще бьемся с ними... и идоша с вечья на гору.

Тауб<ертово издание Нестора>, 113.

2. И Онцыфарь с Матвеем зазвониша в вече у Святые Софии, а Федор и Андрей зазвониша в вече на Ярославле дворе".

Др<евний> Лет<описец>, I, 70»[1].

Привлеченная выписка любопытна, во-первых, подбором цитат, рисующих полноту власти веча в разнообразных проявлениях (народ осуществляет суверенное право на власть, казня неугодных ему бояр и избирая не только гражданских, но и духовных чиновников; народ вооружается для защиты родной земли); во-вторых, Кайсаров подбирает цитаты, подтверждающие его тезис о повсеместном распространении республиканских форм правления как исконной политической власти на Руси (Кострома, Киев, Новгород).

Любопытно и другое; как и автор «Разговоров», Кайсаров видит в Новгороде республику на манер античной. Во вступительной лекции перед студентами Тартуского университета он сказал: «Греки защищали свою вольность, но наш Новгород и Псков, но вся наша Россия разве менее за нее пролили крови?»[2]

Интерес к республиканским традициям заставил Кайсарова во вступительной лекции, читанной в Тарту, настойчиво проводить параллель между античным миром и древней Русью. Кайсаров призывал слушателей «поревновать» древним добродетелям: «Все народы родятся, младенчествуют, приходят в мужество и, достигнув своего предела, оканчивают свое поприще. Но Афины и Спарта, Рим и Карфаген еще не изгладились из памяти потомства! Не одни имена их внесены в книгу бытий — добродетели их доныне служат примером: ими мы восхищаемся, — им последовать тщимся!»[3]

---

[1] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/15. Л. 2.

[2] Там же. Ед. хр. 210/13. Л. 4.

[3] Там же. Л. 2.

Однако Кайсаров видит образцы республиканских добродетелей и гражданственного патриотизма и в древней Руси. Им-то и следует в первую очередь подражать, изучение их должно воспламенить патриотические чувства современников. «Полезно, — говорил он в той же речи, — заниматься историей других народов и так называемою историею всемирною, приятно видеть успехи людей, под другими законами живущих, другим языком свои чувства изъясняющих, другую веру исповедующих; приятно видеть успехи всего человеческого семейства, но сколь приятнее, сколь отраднее знать историю своих собственн<ых> успехов!

Многим добродетелям древних должны мы отдать справедливость, но простительно ли забывать добродетели своих праотцев? Спарта была славна своим мужеством — неужели Россия уступает ей в оном? Уже <ли> Термопильское сражение можно наряду поставить с Донским побоищем, с сражением под Полтавою <...> В поседевшей Москве, конечно, нет Капитолий, но есть древний Кремль, нет священного пути, но есть путь к монастырю Сергиеву; там не произносились пышные речи консулов и трибунов — одно слово простого гражданина: „пожертвуем женами и детьми для отечества!“ — достаточно было, чтобы воспламенить каждого»[1]. Из этого следовал характерный вывод: «Москва, Киев, Новгород для истинного русского священнее Афин и Рима!»

Плодом интереса Кайсарова к древнейшей «докняжеской» эпохе Руси, переплетавшегося для него с темой древней общности славян, явилось и его «Разыскание о славянской мифологии» (Versuch einer Slawischen Mythologie, 1804), появившееся в русском переводе под заглавием «Славянская и российская мифология. Соч. г. Кайсарова»[2].

В уже известном нам предисловии к сравнительному словарю славянских языков Кайсаров говорил, что многое мог бы «написать, если бы хотел доказать сходство нравов, обычаев и пр. между всеми славянскими народами, до сих пор существующее».

Работа преследовала именно эту цель. Вместе с тем Кайсаров старался, собрав все имевшиеся в исторических источниках указания на характер языческих верований славян, подвергнуть их научной критике, проверяя данные позднейших писателей летописями. Так, например, говоря о божестве «Дидо», он пишет: «Попов говорит, что сему божеству поклонялись в Киеве, Нестор же и не упоминает об имени его; а Леклерк, недовольный тем, вздумал еще утверждать, что он имел пребогатый храм в Киеве <...> Кому же поверить? Леклерку или честному Нестору?»[3] Однако исследование этого вопроса, лишенное в ту пору археолого-этнографической базы, находилось еще на столь низком уровне, что Кайсарову не удалось осуществить заду-

[1] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/13. Л. 4.

[2] Все цитаты даем по русскому переводу (2-е изд. М., 1810, в типографии Дубровина и Мерзлякова), т. к. это издание, осуществленное в типографии ближайшего друга Кайсарова в период, когда последний возвратился в Россию, бесспорно, предпринималось с ведома автора и, вероятно, было им просмотрено.

[3] *Кайсаров А.* Славянская и российская мифология. М., 1810. С. 79—80.

манной им научной разработки вопроса. Значительного влияния на дальнейшее развитие науки брошюра его не оказала[1]. Она интересна другим: Кайсаров указал, какое значение имеет для этого вопроса изучение русского народного творчества. Постановка данной проблемы свидетельствовала об исследовательском такте Кайсарова и вместе с тем перекликалась с рассуждениями в «Дружеском литературном обществе» о роли фольклора для выработки национально-самобытных основ культуры. Эта мысль вплотную подходила к декабристской постановке вопроса.

Перечислив основные источники для изучения славянской мифологии (обряды, памятники материальной культуры и т. д.), Кайсаров переходил к характеристике народного творчества. «Кроме сих, — пишет он, — хотя и недостаточных источников, есть у нас в России еще два посторонние источника, состоящие в наших песнях и так называемых народных сказках. — Невероятно, какое в сих двух предметах находится сокровище не только для нашей мифологии, но и во многих других отношениях. Жаль только, что это сокровище долго пребывало в неизвестности не только у иноземцев, но даже у соотечественников наших. Что касается до песней, то есть у нас многочисленные собрания их, которых число простирается до двадцати книг. Но во всех сих изданиях, даже в самых новейших, нет ни одного критического замечания <...> В русских песнях находится много характеристического, на многих остался отпечаток седой древности; иные ж из них происходят, вероятно, из языческих времен, потому, что в них упоминаются часто имена некоторых русских богов. Натурально, в них переменилось много от времени; но тем не менее остаются они драгоценными для россианина, который из них познает характер и обычаи добрых, мужественных своих предков». Далее Кайсаров говорит о сказках, в которых «с патриотическим жаром повествуются деяния героев древности»[2]. Интерес к народному творчеству, родной истории противопоставляется господствующим литературным вкусам дворянского общества: «Сии и многие другие сокровища долго уже скрываются, будучи написаны не à la Voltaire или à la Stern, или[3] à la ... Что ж из того следует? Что у россианина в девятнадцатом веке нет еще совсем российской истории». Имя, замененное многоточием, легко восстановить — это, очевидно, Карамзин (не случайно соседство Стерна). Противопоставление карамзинизма народности знакомо нам уже по «Дружескому литературному обществу». Замененное точками имя могло относиться только к писателю русскому и живому, а с другой стороны, влияние его должно было быть столь значительно, чтобы дать возможность сравнить его со Стерном. Если вспомнить предшествующие оценки Карамзина Кайсаровым, то наше предположение может показаться вполне вероятным.

---

[1] Это не мешало положительной оценке ее Й. Добровским.

[2] *Кайсаров А.* Славянская и российская мифология. С. 8—10. Ориентируясь на сказочные сборники XVIII в., Кайсаров не отделял собственно сказок от вольного прозаического пересказа былины.

[3] В издании 1810 г. искажающая смысл опечатка: вместо «или» — «но». Исправляем по немецкому изданию 1804 г.

Интерес Кайсарова к народному творчеству был связан не только с его историческими трудами и борьбой против карамзинского направления в литературе — он прямо соотносился с его свободолюбием, как в плане борьбы за освобождение славян, так и в связи с антикрепостническими настроениями ученого.

Показательно, что из сербского фольклора Кайсарова привлекла историческая песня о битве на Косовом поле, запись которой сохранилась в его бумагах. Еще более симптоматичен пример его работы над русскими пословицами. Одновременно с подготовкой диссертации «О необходимости освобождения рабов в России» Кайсаров занялся изучением русских пословиц. Об этом свидетельствует несколько выписок, хранящихся в его черновиках. Рассмотрение последних позволяет заключить, что книгой, над которой работал Кайсаров, явилось известное в XVIII в. «Собрание 4291 древних российских пословиц». Один из последних исследователей сборника заключает, что «в ряде мест „Собрания" обращает внимание подбор пословиц, в котором нельзя не увидеть определенной демократической тенденции»[1]. Однако Кайсаров не удовлетворился этим и, в свою очередь, выписал в значительной части те пословицы, которые могли служить доказательством антикрепостнических настроений народа или его тяжелой участи. Из семнадцати пословиц, сохранившихся в его черновых бумагах, одиннадцать имеют в этом отношении вполне недвусмысленный характер, остальные также связаны с характеристикой народного быта. Приведем первые:

1. Не бойся истца, бойся судьи.
2. Мирская шея толста.
3. Не будет пахатника, не будет и бархатника.
4. Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенскова ядят.
5. Неволя скачет, неволя пляшет, тому бы таково, кто заставляет.
6. Не все с хлыстом, иное и с свистом.
7. Не всякой хлеб пашет, да всякой его ест.
8. Невеяный хлеб не голод, а посконная рубашка не нагота.
9. Не гром то грянул, то бедной слово молвил.
10. Не ломайся овсянник, не быть калачом.
11. Не наша еда лимоны, есть их иному[2].

Обзор научных воззрений Кайсарова убеждает нас, что в его лице Тартуский университет приобрел прекрасно подготовленного специалиста и одновременно — ученого, вооруженного передовыми общественными взглядами. Именно это обстоятельство определило и вторую сторону его трудов во

---

[1] *Баранская Н. В.* «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и устное народное творчество XVIII в. // Известия АН СССР. Отд. лит. и языка. 1952. Т. 11. Вып. 5. С. 413. Выписки Кайсарова, видимо, сохранились лишь частично: до нас дошли только привлекшие внимание Кайсарова пословицы на «м» и «н», что соответствует страницам 132—156 указанной книги.

[2] Тургеневский архив. Ед. хр. 2052. Л. 13.

время пребывания в Тарту — Кайсаров выступил не только как преподаватель, но и как общественный деятель.

Преподавание русского языка в Тартуском университете рассматривалось Кайсаровым не только как обычное академическое поручение, но и как высокое общественное призвание. Кайсаров понимал, что для осуществления этого ему придется вступить в борьбу с прибалтийским «рыцарством».

Немецкие помещики в Прибалтике поставляли русскому самодержавию наиболее верных слуг, бенкендорфов и дуббельтов, но вместе с тем они боялись смыкания освободительной борьбы народа в России с освободительной борьбой народа в Прибалтике, боялись проникновения из России освободительных идей и поэтому весьма враждебно относились к распространению интереса к русскому языку и русской литературе.

В надежде закрепить свое положение эксплуататоров коренного эстонского и латышского населения, немецкие бароны враждебно встречали даже робкие попытки правительственной администрации регулировать произвол помещиков. Ссылаясь на «древние права рыцарства», они ревниво охраняли феодальную замкнутость культурной жизни Прибалтики. Насаждаемая немецкими помещиками «культура» в Латвии и Эстонии не являлась народной культурой, выражая кастовые интересы феодальной «рыцарской» верхушки. Борьба с ней объективно соответствовала интересам развития самостоятельной культуры угнетенных народов — эстонцев и латышей. Кайсаров, как впоследствии и большинство декабристов, по вполне понятным историческим причинам не смог подняться до идеи развития национальной культуры угнетенных народов, но борьба его — противника крепостного права — против помещичьей культуры баронов, ее сознательно замкнутого, обособленного характера имела глубоко прогрессивный смысл.

Любопытно отметить, что правительство Александра I не проявляло в этом отношении никакой заинтересованности. Когда прибалтийские бароны встревожились тем, не нарушит ли организация Тартуского университета искусственной замкнутости местной культурной жизни, Александр I настоятельно советовал университету найти с ними общий язык.

В первой же лекции, произнесенной в стенах университета (в отличие от Г. А. Глинки, читавшего по-французски, Кайсаров начал чтение лекций на русском языке), он демонстративно назвал средневековые немецкие рыцарские ордены в Прибалтике, традиции которых усиленно культивировались в среде «рыцарства», захватчиками и угнетателями. Для Кайсарова они — «крестоносные рыцари, имевшие только на груди, но не в сердце залог милосердия», вероломно «нарушавшие толикократ мирные постановления»[1]. В этой же речи Кайсаров, с открытым забралом выступив против «рыцарства», прямо осудил особые политические привилегии баронов и их стремление «охранить» прибалтийские провинции от влияния русской культуры. «Пускай, — сказал он, обращаясь к сидящим в аудитории слушателям, — пускай неблагомыслящие стараются отторгнуть вас от России, пускай тщатся они уверить вас

[1] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/13. Л. 2—2 об.

в том, что вы не рус<с>кие; пускай называю<т> край, вами обитаемый, особенным именем — называют его Остзейскими провинциями — хотят они образовать особенное общество, хотят, что еще пагубнее, — основать государство в государстве; вы посрамляете их своим поступком: вам приятно русское, вам приятно слышать язык русской, вы хотите быть русскими»[1].

Надо было обладать незаурядной смелостью, чтобы решиться одному, с первых же шагов преподавательской деятельности, открыто выступить против могущественного «рыцарства», тем более что рассчитывать в этой борьбе на какую-либо поддержку со стороны правительства не приходилось. Кайсаров не мог не знать нашумевшей истории с председателем рижской ревизионной комиссии В. И. Арсеньевым, далеким от передовых взглядов, но честным человеком, осмелившимся поднять голос в защиту крестьян от произвола «рыцарства». По требованию последнего он был несправедливо уволен от должности и отозван в Петербург.

Пафос борьбы Кайсарова против засилия немецкого языка в Эстонии имел смысл борьбы против антинародной, кастово-дворянской культуры. В этом отношении показательно, что он ставит его на одну доску с французским языком русских дворян, противопоставляя и тот и другой борьбе за народность культуры. В «Примерном уставе нового предполагаемого общества переводчиков» он писал: «Здесь, в Лифляндии, немецкий язык такую имеет употребительность, что после столетнего приобретения сего края нет ни одного человека, который бы умел сказать слово по-русски без чужеземного ударения. Там, в наших столицах, французский так завладел обычаями, что едва ли найдем одну женщину дворянского звания, которая бы умела связать десять слов русских правильно и без ошибки»[2]. Вместе с тем, конечно, ошибочно было бы полагать, что распространение немецкого языка в Прибалтике играло только отрицательную роль, способствуя оформлению лишь сословной «рыцарской» культуры. Против желания дворянской верхушки, немецкий язык выполнял роль посредника между зарождающейся молодой эстонской и латышской культурой и идеями передовой антифеодальной философии и публицистики Европы (в первую очередь, Франции).

Исследование связей поколения просветителей XVIII в. в Прибалтике с передовой русской культурой — тема, бесспорно, плодотворная, однако не следует забывать, что весьма значительный поток антифеодальных идей шел в этот период из Франции, как прямо, так и через посредство немецкой литературы. Но именно этой, передовой культуре XVIII в., с ее стремлением к универсальности, не была свойственна идея корпоративной замкнутости, отгороженности от всего человечества, противопоставлявшая правам человека и гражданина «исторические» права рыцарства. А как раз такой смысл ревнивого охранения «особых прав» баронов имела идея исключительной роли немецкого языка в культурной жизни Прибалтики. Страстный поклонник

[1] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/13. Л. 1.

[2] Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. М., 1858. Кн. III. С. 143 (далее — ЧОИДР).

Шиллера, студент и выученик Геттингенского университета, Кайсаров, конечно, не испытывал вражды к передовой немецкой культуре. Характерно, что Бурдах сразу же после характеристики Кайсарова как патриота и борца за самобытность славянской культуры отмечает: «К тому же он отнюдь не был односторонним патриотическим энтузиастом, он живо сочувствовал благоденствию человечества вообще»[1].

Важной вехой в борьбе Кайсарова за распространение русского языка явилась его вступительная речь к циклу лекций по курсу русской истории в источниках, обнаруженная нами в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве. Речь эта является для своей эпохи одним из наиболее ярких выступлений передовых деятелей России против злейших врагов эстонского народа — немецких помещиков.

Изложив аудитории план учебных занятий, Кайсаров особенно настойчиво подчеркнул общественный, политический смысл изучения русского языка в Тартуском университете. Следствием его должно быть «отчуждение от несправедливого и неблагодарного презрения ко всему русскому». «Блаженным почел бы я себя, — заключил он лекцию, — если бы, выходя из нашей беседы, вы всякой раз убеждались более и более в том, что народ русский заслуживает уважения иноплеменных своих сограждан...»[2] Рассматривая преподавание русского языка как долг патриота, Кайсаров надеялся, что его лекции не только сообщат студентам определенные сведения и навыки, но и возбудят их к активной общественной деятельности по дальнейшей пропаганде русского языка и культуры: «Подадим друг другу руки, составим священную цепь, пойдем к алтарю отечества и поклянемся быть верными его сынами! Распространим каждый в кругу своем любовь и уважение к языку русскому»[3]. О значении русского языка как средства патриотического объединения разноплеменных граждан России Кайсаров говорил и в своей речи «О любви к отечеству» — первом выступлении на русском языке на торжественном университетском акте.

«Но как утверждается между иноплеменными неразрывная связь? — спрашивал Кайсаров. — Что сближает их? Что к одной общей цели побуждает? Не буду говорить вам о действиях обычаев, законов, веры — языка токмо коснуся. Язык связует их, слушатели! Язык, которым они внятно могут выражать друг другу чувствования сердца, изъясняя души тончайшие движения <...> Счастливым бы я почел себя, если б слова мои коснулись не одного слуха, но и сердец ваших, и воспламенили бы в них должное уважение и привязанность к языку обильному, красотами исполненному, к языку, в Отечестве вашем господствующему. Счастлив был бы я, если б вы, юноши, ищущие здесь образовать ум и сердце ваше <...> увидели, сколь необходим для вас язык народа, величайшего в свете, язык вашего Отечества»[4].

---

[1] *Burdach K. F.* Op. cit. S. 235.

[2] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/13. Л. 1, 4 об.

[3] Там же.

[4] Речь о любви к Отечеству, на случай побед, одержанных русским воинством на правом берегу Дуная. Соч. Андрея Кайсарова. Дерпт, 1811. Речь полностью перепечатана в «Сыне Отечества» за 1813 г. № 27.

Деятельность Кайсарова вызвала сопротивление реакционной части профессуры, непосредственно связанной с интересами «рыцарства». Кайсаров, по словам Ал. Тургенева, «сражался с ними беспрестанно», хотя «прения его обращались во вред его здоровью»[1]. В работе В. Зюсса о Моргенштерне есть указания на то, какое сопротивление вызвала со стороны реакционной профессуры попытка Кайсарова активизировать интерес к русскому языку[2].

Однако ошибочно было бы представлять Кайсарова изолированным от студенческой массы и передовой общественности, борцом-одиночкой. Крепостнические идеи немецких помещиков встречали в стенах университета и до Кайсарова отпор и осуждение (ср., например, указанную выше историю с книгой Эверса). Об активном сочувствии известной части студенчества занятой Кайсаровым позиции говорит тот факт, что организация курса лекций на русском языке, вопреки надеждам его противников, осуществилась успешно: количество записавшихся для слушания курса было значительно и лекции шли при полной аудитории. Отмечая этот факт, Кайсаров говорил в своей первой лекции: «В первый раз один из здешних профессоров преподает на русском языке; ни одной науки не слыхали вы, сим языком излагаемой, и со всем тем вы не отказались быть моими слушателями. Счастливое предзнаменование! со страхом объявил я вам о моем намерении — с радостью вступаю на мою кафедру»[3].

При всей скудности источников мы можем определенно говорить о тесной дружеской связи Кайсарова с К. Ф. Бурдахом и Ф. Э. Рамбахом (последний был решительным противником крепостнических общественных отношений). Совместное решение Кайсарова и Рамбаха отправиться в 1812 г. в действующую армию могло возникнуть лишь на основании личной дружбы и близости общественных воззрений.

Если учесть, что именно в годы пребывания Кайсарова в Тарту Г. Эверс, о котором мы говорили как об авторе запрещенной книги, приступил к изучению русской истории, то станет почти невозможно предположить отсутствие каких-либо связей его с Кайсаровым, не только видным знатоком этого предмета, но и обладателем обширной коллекции материалов, как печатных, так и рукописных, собранных и скопированных в славянских землях и Англии. Весьма интересно было бы установить имена студентов, записавшихся на лекции Кайсарова, особенно прослушавших полный курс. К сожалению, известные нам материалы подобных данных не заключают.

Об укрепившемся авторитете Кайсарова в преподавательской среде говорит избрание его во время очередных выборов в конце мая 1812 г. на должность декана историко-филологического отделения философского факультета[4], что было весьма необычно, если учесть, что лекции Кайсарова начались лишь в середине февраля 1811 г. Особенно тесные дружеские отношения сложились у Кайсарова с одним из наиболее выдающихся ученых

---

[1] *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский. СПб., 1904. С. 149.

[2] См.: *Süss W.* Karl Morgenstern. Ein kulturhistorischer Versuch. Dörpt, 1928.

[3] ОР РГБ. Архив ОИДР. Ед. хр. 210/13. Л. 1.

[4] См.: Dörptische Beyträge... herausgegeben von Karl Morgenstern. 1813. Bd I. S. 220.

Тартуского университета тех лет — молодым физиологом Бурдахом. Здесь, в окружавшем молодых ученых кружке, видимо, созрела идея создания в Тарту широкой общественной организации, преследующей далеко идущие просветительские цели. Создание такой организации возможно было задумать, только опираясь на контакт со студенческой массой, который, видимо, начал налаживаться. Нельзя считать случайным тот факт, что находившиеся в тесной дружбе Кайсаров и Бурдах выступили в 1811 г. с одновременными проектами создания в Тарту Общества переводчиков и Медицинского общества. Хотя оба эти объединения практически организованы не были (Медицинское общество было запрещено еще до организации), но предполагаемые контуры их настолько интересны, что по крайней мере об одном из них, непосредственно задуманном Кайсаровым, необходимо сказать несколько слов. Составленный Кайсаровым устав общества был напечатан в «Чтениях ОИДР» в 1858 г. без указания имени публикатора и какой-либо характеристики рукописи, с которой производилась публикация. Путь, по которому документ попал в архив ОИДР, также не был разъяснен. Публикация осталась незамеченной даже авторами, касавшимися специально деятельности Кайсарова-профессора (Истрин, Петухов). В ходе предпринятых нами разысканий в архиве ОИДР удалось обнаружить несколько документов, восходящих, видимо, к собранию бумаг Кайсарова тартуского периода, однако автографа опубликованной в «Чтениях» рукописи и других материалов, посвященных данной теме, найти не удалось. В связи с этим мы лишены возможности судить о том, насколько продвинулась практическая организация общества.

Составленный Кайсаровым «Примерный устав нового предполагаемого Общества переводчиков» состоит из двух частей: первая посвящена обоснованию задач общества, вторая — характеристике его организационных принципов.

Первая часть представляет развернутую программу борьбы за национально-самобытную культуру. Нетрудно увидеть связь ее с выступлениями Андрея Тургенева и Мерзлякова в «Дружеском литературном обществе». Однако вместе с тем положения Кайсарова не являются простым повторением известного — они учитывают весь идейно-политический опыт Кайсарова: критику крепостного права, пропаганду идеи единой освобожденной славянской культуры, борьбу против немецкого «рыцарства» в Эстонии. Сформулированная Кайсаровым программа носит не революционный, а просветительный характер, однако широта постановки вопросов, обращение к общественной, а не правительственной инициативе и само содержание понятия «просвещение» делает ее весьма близкой к общественно-просветительской деятельности «Союза благоденствия».

Центральным тезисом первой части «Устава» является требование борьбы за народность литературы. Как в дальнейшем декабристы, Кайсаров одним из главных вопросов в этой борьбе считал ориентацию на народный язык. Причиной, замедляющей распространение просвещения, является «слишком сильное стремление к употреблению иностранных языков»[1]. Цель Кайсаро-

[1] ЧОИДР. С. 143.

ва — «образование народное». «Но ежели мы начнем и писать, и говорить, и думать на чужих языках, сие не будет ли ужаснейшим злоупотреблением?»[1] Важнейшим средством распространения «просвещения народного» является «отечественная словесность», а развитие ее требует обращения к народному языку: «Мы видим из примера Франции, Германии и других народов, что они не имели отечественной словесности до тех пор, пока все их ученые говорили и писали на латинском языке. То же явление предстоит и нам. Французский и немецкий языки занимают у нас место латинского не только в воспитании, но и в самом обращении жизни. Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, *а по-русски только молимся богу или ругаем наших служителей*»[2]. Последняя фраза особенно характерна и иронической постановкой в один ряд молитвы и брани, и переплетением критики антинародной культуры и крепостничества («ругаем *наших служителей*»). Вместе с тем она и идейно, и текстуально совпадает с многочисленными позднейшими высказываниями декабристов, например с известным бестужевским: «Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же мы попадем в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски?»[3]

Проблема народного просвещения в понимании Кайсарова оказывается непосредственно связанной с судьбами литературы. Внимание, уделяемое Кайсаровым вопросам языка и критике современной ему литературы, связано было не с простым противопоставлением русского языка пристрастию общества к французской речи. Подобная постановка вопроса была бы в начале XIX в. отнюдь не нова. Она известна еще в XVIII в. В 1802—1803 гг. она нашла энергичного поборника в Карамзине, резко осудившем (вопреки распространенному и безосновательному мнению о галломании Карамзина) пристрастие дворян к французскому языку. Однако в борьбе за национально-самобытную литературу Кайсаров выступил не как продолжатель Карамзина, возмущавшегося в статье «Отчего в России мало авторских талантов» засилием французского языка в светском обществе, а как полемист и борец против него. Дело в том, что карамзинская школа, в соответствии со всем комплексом своих идейно-эстетических установок, видела в литературе средство выражения субъективного, причем главным жанром становилась лирика. Карамзин был неразрывно связан с исключительным интересом к «легкой поэзии». От языка, в первую очередь, требовалось изящества.

Сдвиги в мировоззрении передовой дворянской молодежи в области литературы, в первую очередь, привели к перенесению внимания читателя с неопределенных и субъективных чувств автора на политическое содержание произведения. Это вызвало интерес к политическим наукам, прозе, «языку метафизическому», по терминологии М. Ф. Орлова. Н. И. Тургенев в «Мыслях о составлении общества» писал: «Где русский может почерпнуть нужные

---

[1] ЧОИДР. С. 143.

[2] Там же.

[3] *Бестужев А. А.* Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов // Бестужев А. А. Собр. стихотворений. М., 1948. С. 181.

общие правила гражданственности? Наша словесность ограничивается доныне почти одною поэзиею. Сочинения в прозе не касаются до предметов политики».

По представлению Кайсарова, новые пути русской литературы связаны с появлением научной и политической литературы на русском языке, что, в свою очередь, ускорит создание политической терминологии и языка «русской прозы». Средством к этому Кайсаров считал создание переводной политической литературы: книги, доступные на иностранных языках лишь избранной верхушке, станут достоянием «всего народа российского». Это «даст самой нашей словесности превосходный ход, и мы услышим русских, рассуждающих по-русски о науках и вещах, каких имена едва ли теперь известны»[1]. Для Карамзина литература исчерпывалась легкими жанрами, ориентированными на дворянский салон, поэтому у него борьба с французским языком сводилась к жалобе на то, что «в лучших домах», особенно «милые женщины», «говорят у нас более по-французски». Декабристская точка зрения подразумевала не требование изменения языка салона, а отказа от ориентировки на салонность вообще.

То, что стремление к развитию русской самобытной политической литературы вылилось в форму проекта создания общества переводчиков, отчасти связано с необходимостью борьбы против цензуры. Недаром Кайсаров настаивал на освобождении изданий создаваемого общества от цензуры, «чтобы можно было бы без дальнейшего *сопротивления цензуры* переводить и печатать на русском языке все книги чужестранные, коих впуск в Россию свободен, и чтобы действие цензоров было ограничено единственно наблюдением, чтобы в переводе не было ничего прибавляемо предосудительного»[2]. Смысл этого требования станет понятен, если мы вспомним, что в России (особенно в начале XIX в.) цензура на иностранные книги была значительно либеральнее, чем на их русские переводы. Классово-дворянский характер такой политики был вскрыт еще Радищевым в главе «Торжок».

Однако суть дела не в этом: идея создания общества переводчиков связана была со стремлением сделать доступной русскому читателю всю сумму передовых философских идей и тесно переплеталась с борьбой за создание «метафизического языка» и политической литературы. Следует вспомнить, что «Русская правда» Пестеля, по показаниям Бестужева-Рюмина, включала требование: «все знаменитые писатели, в каком бы то роде ни были, должны быть переведены на русском языке»[3].

В этом отношении проект Кайсарова находит интересную и отнюдь не случайную параллель в деятельности Михаила Орлова, причем именно в ту пору, когда Орлов был озабочен развитием русской политической прозы и философского, «метафизического» языка. Николай Тургенев в письме к брату от 8 мая 1820 г. писал: «Орлов прислал мне проект общества переводчиков

---

[1] ЧОИДР. С. 145.

[2] Там же.

[3] Восстание декабристов: Материалы. М., 1950. Т. 9. С. 59.

для перевода книг полезных иностранных на русский язык. В этом проекте, как и во всем, что пишет О<рлов>, много умного»[1].

От распространения «просвещения отечественного» Кайсаров ожидал непосредственных результатов не только для развития литературы, но и для решения коренных вопросов общественности. Хотя в этом и проявилась свойственная Кайсарову просветительская ограниченность, но то, как решается им этот вопрос, несомненно интересно, поскольку раскрывает политические симпатии молодого ученого. Русская литература лишена, по мнению Кайсарова, связи с народом. Это приводит автора, как некогда Андрея Тургенева, к тезису об отсутствии в России литературы: «У нас нет словесности от того, что нет отечественного воспитания, а нет воспитания от того, что все мы более или менее подвержены влиянию чужестранной словесности»[2]. Образование, почерпнутое из иностранных книг, воспитание в духе иностранных традиций и учение на иностранных языках приводит к потере чувства общности с народом; с другой стороны, люди, живущие одной жизнью с народом, получившие воспитание, не похожее на модное дворянское, но вместе с тем не получившие достаточной образовательной подготовки, лишены доступа к просвещению. Это порождает разрыв между дворянством — просвещенным и европеизированным, оторванным от народности меньшинством — и сильной связями с национальными традициями, но оторванной от культуры массой.

«Обращаясь в сем порочном кругу действия, Россияне разделяются на два, весьма отличные, разряда. Первой, принадлежащий к новому состоянию России, причастен общему образованию Европы. Другой, напротив того, оставшийся в прежнем невежестве, не имеет никаких средств к дальнейшему образованию. *Как соединить сии два разные народа в Русском народе?* Как сделать, чтобы образование одних могло служить к просвещению других?»[3]

Намеченное Кайсаровым деление весьма близко напоминает критику дворянской культуры декабристами и Грибоедовым. Достаточно в этом отношении вспомнить монологи Чацкого или, в особенности, прямо перекликающуюся с этим рассуждением Кайсарова «Загородную поездку». Грибоедов, называя дворян «поврежденным классом полуевропейцев», с которым «народ единокровный, наш народ разрознен», писал: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами».

Средством борьбы против этого зла Кайсаров считает просвещение, а путь к просвещению должно открыть общество переводчиков, которое мыслилось как широкая общественная организация, имеющая целью дать массовому читателю широкий выбор книг по различным отраслям знаний на русском языке. Это должно ускорить проникновение просвещения в

[1] *Тургенев Н. И.* Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 301.
[2] ЧОИДР. С. 144.
[3] Там же.

народ, с одной стороны, и избавить дворянство от необходимости воспитываться на иностранных источниках, с другой. При всей просветительской утопичности этого плана, ему нельзя отказать в широте замысла. Он интересен также как отражение резкой неудовлетворенности автора дворянской культурой. Хотя Кайсаров, обосновывая свою идею, ссылался на пример коллективного перевода «Велизария» двором Екатерины II, однако фактически замысел его восходит к другому источнику — просветительской деятельности Н. И. Новикова, «которому, — как отзывался сам Кайсаров в «Славянской мифологии», — российская история и словесность многим обязаны»[1].

Организационная сторона характеризуется стремлением подчеркнуть независимость от правительства («Общество должно быть вольно», «не должно быть пышного имени Академии» и т. д.) и внутренний демократизм организации («Общество принимает в сочлены свои особ всякого звания», «все дела в комиссии и комитете решаются по большинству голосов»). Сферу деятельности общества предполагалось расширить за пределы Тарту так, чтобы вовлечь в него и другие университеты, специально ориентируясь на студенчество. Пункт 4-й предлагал «испросить у правительства право переписываться с ректорами университетов, дабы студентов пригласить к сотрудничеству»[2]. Предполагалось организовать в обществе три отделения: переводов с древних, восточных и западных языков.

Широкой программе Кайсарова, по всей видимости, не суждено было осуществиться, требуемое разрешение правительства, вероятно, не было получено так же, как не увенчались успехом и аналогичные попытки Бурдаха. Возможно, Кайсаров и продолжал бы борьбу за реализацию своего плана, если бы начавшаяся война не заставила его резко переменить характер деятельности.

Предпринятая Кайсаровым попытка интересна и в другом отношении: она свидетельствует об определенных связях молодого профессора со студенческой массой, ибо весь план организации Общества переводчиков (как и в свое время издательская деятельность Н. И. Новикова) строится в расчете на активное участие студентов, а без наличия определенного, уже достигнутого контакта об этом не приходилось и думать.

В нашем распоряжении есть еще одно, правда весьма глухое, свидетельство о попытке Кайсарова нащупать в Тарту какую-то форму организации общественности. Бурдах в уже цитированных мемуарах сообщает: «В Дерпте нашел я в моих коллегах Кайсарове и Стиксе, равно как и в некоторых из горожан, ревностных фран-масонов, которые тогда подумывали об восстановлении запрещенной Павлом ложи»[3].

Кайсаров не был человеком религиозным, тем более мистиком. Хотя мы и не найдем в его произведениях прямо атеистических высказываний, однако его отношение к вере остается неизменно свободомыслящим, а к

---

[1] *Кайсаров А.* Славянская и российская мифология. С. 12.

[2] ЧОИДР. С. 144.

[3] *Burdach K. F.* Op. cit. S. 569.

церкви и попам — прямо ироническим. Мы видели, что пиетические устремления Родзянко не нашли сочувствия у руководящей группы членов «Дружеского литературного общества». У Кайсарова еще в Москве неоднократно бывали столкновения с матерью, требовавшей соблюдения официальной церковной обрядности. 18 ноября 1801 г. он жаловался в письме Андрею Тургеневу: «Третьего дни было мое рождение — и первая мне встреча была брань за то, что мне нельзя ехать к обедне <...> Недовольно того, что накануне заставили меня выслушать в церкви одну вечерню, одну всенощную и один молебен! О чем просить мне бога за обеднями?»[1] В другом письме он сообщает, что «по долгу христианина, а паче по наряду Катерины Семеновны (матери Тургеневых. — *Ю. Л.*) был у обедни»[2].

В «Славянской мифологии» Кайсаров с нескрываемым сарказмом пишет о жрецах, обманывавших народ. «При каждом жертвоприношении священники съедали мясо, а богине доставалась только кровь, которою обмазывали ей рот»[3]. Жертвенное вино жрец «давал отведывать идолу; но как вино никогда не нравилось Святовиду, то он сам опоражнивал рог, наливал его снова и опять вкладывал ему в руку»[4]. Язвительно отзывается Кайсаров не только о языческих жрецах, но и о христианских миссионерах, которыми владело «бешенство навязывать другому народу свою веру»[5]. В этой же брошюре Кайсаров попытался научно поставить вопрос о происхождении религии. «Каждая новая потребность, — писал он, — приносила с собою новое божество»[6]. Религиозные представления человека имеют, таким образом, земное происхождение и непосредственно связываются с практическими нуждами людей. Религиозное свободомыслие Кайсарова не простиралось, однако, до атеизма, хотя и связано было с резкой критикой обрядности и официальных церковных догм. Лучше всего его отношение к этому вопросу рисуется из письма к Андрею Тургеневу: «Пишу тебе, мой милой друг, в то время, как в спальней у матушки попы изо всей глотки кричат всенощную. Всякой своим образом хочет хвалить или благодарить бога — иной бьет лбом об землю, другой стоит как вкопанной, иной уже охрипшим от пьянства голосом гремит хвалу богу, другой шепчет себе под нос и делает такие хари, от которых бы и сами чудотворные иконы рассмеялись бы, если б они были не иконы». Однако здесь же он прибавляет: «Со всем тем я всегда лучше соглашусь жить с таким человеком, который делает все эти дурачества, нежели с тем, которой, называя все это суеверием, не делает, однако же, существенного»[7]. Правда, последняя фраза, возможно, прибавлена из опасения, что письмо попадет в руки отца Андрея, правоверного масона И. П. Тургенева, мнением которого

---

[1] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 39.
[2] Там же. Л. 76.
[3] *Кайсаров А.* Славянская и российская мифология. С. 93.
[4] Там же. С. 177.
[5] Там же. С. 165.
[6] Там же. С. 17.
[7] Тургеневский архив. Ед. хр. 50. Л. 72.

Кайсаров дорожил. Но по крайней мере, в дружеской переписке вопросов религии всегда касались лишь иронически[1].

Критическое отношение к обрядности само по себе, однако, еще не исключало возможности увлечения масонством (масоны, как известно, также отрицали церковный ритуал). Не менее существенно здесь глубокое отвращение, испытываемое Кайсаровым по отношению к мистицизму (это повлияло на его взаимоотношения с Родзянкой). Кайсарову были чужды идеалистические построения масонов. Не случайно его ближайший друг, имевший еще бóльшую возможность поддаться масонскому воздействию, Андрей Тургенев, как отмечает Истрин, решительно полемизировал с масонами. Истрин отмечает, что «ни в записках, ни в дневниках, ни в письмах молодого тургеневского кружка мы не находим ничего, что могло бы указать нам на интерес к масонскому направлению»[2]. В этом отношении указание Бурдаха вызывает недоумение (заподозрить ошибку в свидетельстве этого обычно точного мемуариста и близкого друга Кайсарова у нас нет оснований).

Объяснение, вероятно, следует искать в следующем: в масонскую ложу Кайсарова, по всей видимости, привели не мистические увлечения, а поиски форм общественной организации. Мы видели, как постепенно созревшие воззрения Кайсарова подвели его к идее широкой общественно-просветительской деятельности, а это, в свою очередь, толкнуло на путь поисков организационных форм для общественного движения. В этом отношении Кайсаров к 1811 г. проделал значительную эволюцию. «Дружеское литературное общество» представляло еще замкнутое в своей внутренней жизни объединение, не ставившее задачи широко влиять на окружающее общество и поэтому не проявлявшее заботы об увеличении своих рядов. В тартуский период Кайсаров охвачен жаждой общественной деятельности; усилия проектируемых им организаций направлены не вовнутрь, а на окружающую среду. Это заставляет проявлять интерес к формам *организации* общественного движения. Кайсаров и в этом отношении чутко отразил характернейшую черту общественной жизни начинающегося десятилетия.

В своем интересе к масонству как организационной форме Кайсаров не был одинок: через это прошло и большинство декабристов на ранней стадии своего развития (Дмитриев-Мамонов, Михаил Орлов, Федор Глинка, Пестель и т. д.).

Увлечение масонством представляло закономерный, но кратковременный этап в развитии декабристских организаций. Н. М. Дружинин пишет по этому поводу: «Масонские формы были быстро отброшены, и развитие

---

[1] Ср. в письме Андрея Тургенева Кайсарову: «Здравствуй, мой милой друг Андрей Сергеевич! Здорово ли ты доехал? Весело ли тебе в своей деревне? Но как же иначе? Ничего не делаешь, если сидишь, то сидишь с матушкой, если лежишь, то лежишь с ... (многоточие в подлиннике. — *Ю. Л.*). Стой, воображение! Но в том нет никакого сомнения, что тебе гораздо веселее меня. Вообрази себе: откуда я пришел? из церкви; куда опять через час пойду? В церковь; а там? — опять в церковь» (Тургеневский архив. Ед. хр. 570. Письмо 1800 г. без даты).

[2] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 33.

тайного общества пошло по самостоятельному организационному пути»[1]. Интерес Кайсарова к масонству, вероятно, возник после неудачи попыток организовать легальные просветительные общества и, по всей видимости, был кратковременным.

Профессорская деятельность Кайсарова развивалась в атмосфере резко усложнившейся международной обстановки. Время обучения Кайсарова в Геттингене совпало с началом антинаполеоновских войн. Кайсаров пристально следил за развитием событий. Кроме общего для передовой молодежи его круга патриотического чувства, у него были и специальные причины интереса: его брат Паисий — в эту пору уже адъютант Кутузова[2] — активный участник военных действий и, в частности, Аустерлицкого сражения. Александр Тургенев писал Кайсарову в Геттинген: «Паисий возвратился из сражения жив и здоров, он писал к нам, что государь сказал о нем: „Кайсаров — храброй офицер“»[3].

Сражение при Аустерлице потрясло общество и усилило патриотические настроения передовой его части. В неудаче винили царя, и авторитет правительства, даже в консервативной части дворянского общества, значительно пал. Вторжение Наполеона в Пруссию придвинуло театр военных действий непосредственно к русским границам. Впервые после почти векового перерыва возникла угроза перенесения военных действий в пределы России. Нависшая над страной опасность вынудила правительство провести ряд чрезвычайных мер. 30 ноября 1806 г. был подписан высочайший манифест об образовании народной милиции — «земского войска». Организация ополчения была воспринята в обществе как стремление развязать народную патриотическую инициативу. Характерно, что Александр, «прилепленный, — по выражению одного консервативного критика правительственной линии, — к одному только барабанному бою и солдатской амуниции»[4], был вынужден в инструкции предписать учить милиционеров фрунту, «без всякой однакож лишней солдатской вытяжки»[5]. Вместе с тем правительство опасалось чрезвычайных мер, связанных с вооружением народа. Инструкция предписывала «в случае нарушения порядка и спокойствия» «в самом корне отсечь покушения непокорливости», карая крестьян вплоть до «лишения живота»[6].

Официальный правительственный курс резко повернул вправо. Правительство, сближаясь с настроениями шишковско-растопчинской группы, попыталось направить патриотические настроения общества в реакционно-охранительном духе. В официозном «Санкт-Петербургском журнале» начали

---

[1] *Дружинин Н. М.* Масонские знаки П. И. Пестеля. М., 1929. С. 42.

[2] См. письмо Строганова Чарторыжскому из Ольмюца от 12/24 ноября 1805 г. в кн.: *Николай Михайлович, вел. кн.* Граф П. А. Строганов. Т. 2. С. 342. Автор ошибочно полагает, что упоминаемый в тексте письма Кайсаров — Андрей. На самом деле речь идет о Паисии.

[3] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 350.

[4] Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. / Собр. и издал П. И. Щукин. М., 1900. Ч. V. С. 278.

[5] Санкт-Петербургский журнал. 1807. № 1. С. 49.

[6] Там же. С. 41—42.

печататься статьи, истолковывавшие борьбу с Наполеоном как войну против «разрушительных идей» революции, «утверждавших, что все люди от природы равны и что всякой может в равной мере присваивать себе блага, от щедрой руки ее ниспосланные, <...> что неравная часть имения есть хищение, а неравная власть — угнетение»[1]. Появляются статьи в защиту религии против философского свободомыслия (статья «Нравственное состояние Европы в середине осьмого на десять столетия» и т. д).

Патриотические настроения общества развивались, однако, в направлении, правительством не предусмотренном. Патриотизм окрашивался в свободолюбивые тона. В этом отношении не случайна перепечатка стихотворения Андрея Тургенева «К отечеству». Примечательна также написанная до Тильзитского мира (в России она была перепечатана после, что придало ей особенную остроту) брошюра «Рассуждение об участии, приемлемом Россиею в нынешней войне, сочиненное другом политической свободы и взаимной независимости народов». На титульном листе указано, что брошюра написана в начале 1807 г. и отпечатана в Кельне. Брошюра вышла в двух вариантах, с параллельными русским, французским и немецким текстами. Сравнение текстов позволяет предположить, что оригинальным является немецкий, но в составлении русского перевода, очень чистого с точки зрения языка и написанного не без публицистического искусства, бесспорно, принимал участие русский автор. Эта догадка подтверждается фактом отдельной перепечатки только русского текста в том же 1807 г. в Петербурге. Тем не менее авторство брошюры остается загадочным. Можно предположить, что указание на Кельн как место издания фиктивно: резко антинаполеоновская брошюра вряд ли могла появиться в пределах Рейнского союза.

Автор брошюры, прежде всего, отделяет справедливые войны Французской республики от захватнических войн Империи. «Французское правительство, решась сделать Рейн естественною границею своего государства, окончило в то же время прежнюю *справедливую* войну и начало новую *завоевательную*»[2]. Войны против революционной Франции вызывают у автора осуждение: «Первая коалиция не имела оной священной цели общего защищения государства, напротив того, она несправедливым образом вмешивалась в права свободной нации»[3]. Следствием этого явилась «война, предпринятая Франциею для защищения национальной ея свободы от притязаний других держав, но вскоре потерявшая сию благородную цель»[4]. В 1807 г. вопросы международной политики «можно решить» лишь «основываясь на том положении, *что Франция ведет войну завоевательную*»[5]. За вторжением Наполеона в Пруссию последует, предсказывает автор, нападение его на Россию,

[1] Санкт-Петербургский журнал. 1807. № 2. С. 97.

[2] Рассуждение об участии, приемлемом Россиею в нынешней войне. Кёльн, 1807. С. 6—8. (Русский текст занимает четные страницы, французский — нечетные страницы.)

[3] Там же. С. 18—20.

[4] Там же. С. 4.

[5] Там же. С. 6.

причем Наполеон втянет в войну против России все население захваченной им Европы, «не заботясь, половина ли сего вынужденного союза или весь он погибнет от жестокости климата, от беспредельных степей или от непреодолимой твердости ея жителей»[1]. Смысл брошюры — призыв к решительному военному выступлению России против Наполеона. Битва при Прейсиш-Эйлау вызвала новый подъем патриотических настроений. Александр Тургенев писал Я. И. Булгакову: «Победа, победа! Как русской, как европеец, как человек поздравляю ваше превосходительство с победою <...> Русские — спасители Европы — воскресли! Смыто пятно аустерлицкое!»[2] Тем тяжелее воспринимался в обществе Тильзитский мир. Авторитет правительства пал как никогда низко, а патриотические настроения передовой части общества начали приобретать осознанно антиправительственный характер. Навязанный союз с Францией воспринимался как национальное унижение.

В период начала профессорской деятельности Кайсарова в Тарту официальная «дружба» с Наполеоном еще продолжалась. Летом 1810 г. кн. А. Куракин ездил в Париж в качестве чрезвычайного посла с поздравлением в связи с браком Наполеона и Марии-Луизы и был осыпан любезностями со стороны Наполеона, который подарил ему табакерку со своим портретом, богато оправленным в бриллианты. Однако относительно подлинных намерений французского императора иллюзий ни у кого не было. В то же лето 1810 г. рядовой русский путешественник, приглашая приятеля в Париж, писал: «Коли ехать, так ехать нынешней зимой, ибо у нас с французами война неизбежна»[3].

Как показатель общественных настроений, для нас особенно интересна записка, составленная в 1811 г. братом Кайсарова Паисием Сергеевичем. «Не безызвестны, — писал П. С. Кайсаров, — правительству патриотические чувствования, коими все члены целого тела России оживились при едином воззвании отечества (речь идет о распространившихся в 1810 г. слухах о внеочередной мобилизации рекрутов. — *Ю. Л.*) <...> Хотя мы еще не находимся в сей крайности, однако же, с одной стороны, упадок финансов и прекращение коммерции, с другой, явные оскорбления и притязания <...> настроили умы гордых Россиан к отважнейшим предприятиям до того, что сильны будучи надеждою на Бога, на свое правое дело, селы, города, столицы, одним словом, все состояния, ничего другого не требуют, кроме войны!» Любопытно, что П. Кайсаров, отметив патриотизм «всех сословий», «коих дети, пользуясь привилегиями, сопряженными с сим званием, передают из рода в род одно только закоренелое невежество и, не чувствуя надобности посвящать себя на пользу отечеству, проводят жизнь свою в тунеядстве и в вящем токмо отягощении крестьян, подпавших под иго их власти»[4].

---

[1] Рассуждение об участии... С. 82.

[2] Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 68.

[3] Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. Ч. VII. С. 229.

[4] ОР РНБ. Архив Шильдера. К-2, 1. 6. 13. Л. 213—223 об. См. также: Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1903 г. СПб., 1910. С. 116, 223.

Итак, мы видели, что в условиях 1810—1811 г. тема патриотизма приобрела особую актуальность и сделалась ареной борьбы между противоположными политическими тенденциями. В этих условиях Андрей Кайсаров 11 ноября 1811 г. произнес в торжественном собрании университета «Речь о любви к Отечеству».

Речь А. Кайсарова была посвящена победам Дунайской армии Кутузова. Выбор темы не был случаен: победы русских войск на Балканах резко меняли международное положение, которое до этого, если учесть возраставшую напряженность русско-французских отношений, складывалось для России весьма неблагоприятно. Более того, победа над турками воспринималась как определенный и победоносный этап борьбы с основным врагом — бонапартистской Францией. Симпатии и помощь, которую оказывал Наполеон Турции, ни для кого не были секретом. В 1806 г. наполеоновские войска оккупировали Далмацию, после чего началась планомерная подготовка прямого вмешательства Франции в балканские дела. Победа на Дунае, после поражений 1805 г. и Тильзитского мира, воспринималась как восстановление суворовской традиции. Ал. Тургенев писал брату Сергею: «Мы разбили турок славно. Кутузов времена древние вспомянул»[1]. Однако выступление Кайсарова имело и другой смысл.

Обстановка в штабе Кутузова была А. С. Кайсарову прекрасно известна. Летом 1811 г. он встретился в Петербурге с Паисием Сергеевичем, привезшим в столицу известия о победе и награжденным в связи с этим георгиевским крестом[2]. Паисий Сергеевич Кайсаров был не только адъютантом, но и лицом, пользовавшимся любовью и доверием Кутузова, которого он неизменно сопровождал во всех основных кампаниях 1805, 1811 и 1812 гг. А. Кайсаров не мог не знать крайне неприязненного отношения Александра I к Кутузову. Царь длительное время сопротивлялся назначению Кутузова главнокомандующим Дунайской армии. Советский историк военной кампании 1811 г. отмечает, что «в силу давнишней неприязни к полководцу, Александр I все время оставлял Кутузова в стороне от руководства армией. И только в 1811 г., когда военные действия зашли в тупик, а внешнеполитическая обстановка требовала эффективных результатов в войне с Турцией, Александр I вынужден был назначить Кутузова главнокомандующим молдавской армией»[3]. В этих условиях речь «О любви к Отечеству», героем которой был избран М. И. Кутузов, приобретала особый характер. Если в период диссертации надежды Кайсарова сосредоточились на Александре, то теперь авторитет правительства в его глазах упал: в области просвещения он рассчитывает на самостоятельные усилия общества, в области защиты отечества — на Кутузова, воплощающего суворовское начало, враждебное двору. Представления об интересах родины и правительственной политике не сливаются, а скорее, хотя в скрытой форме, противопоставляются друг другу.

---

[1] Архив бр. Тургеневых. Вып. 2. С. 444.

[2] См.: Там же. С. 447.

[3] *Жилин П. А.* Разгром турецкой армии в 1811 г. М., 1952. С. 13.

Лейтмотивом речи Кайсарова является мысль о приближающейся войне с Францией. Не высказывая ее прямо, Кайсаров вместе с тем прозрачно намекает на тильзитский позор, что в контексте похвал Кутузову звучало не только угрозой Наполеону, но и упреком Александру I. Как прямой намек на Тильзитский мир звучали, например, следующие слова оратора: «Горе! Горе оскорбляющим наше отечество! <...> Иногда обстоятельства требуют терпения, но вострубит ангел мести — и горе вам, легкомысленные оскорбители иноплеменных народов, оскорбители чуждого отечества <...> Так, слушатели, отмщение за оскорбления, нанесенные отечеству, связано неразрывною цепью с любовью к нему». Не случайно речь Кайсарова сохранила актуальность в условиях Отечественной войны, что вызвало перепечатку ее полного текста в 1813 г. в «Сыне Отечества» (№ 27).

Мы уже видели, что отношение Кайсарова к русскому дворянству еще в период защиты им диссертации было резко критическим. В официальной торжественной речи он не мог высказать своих суждений со всей откровенной прямотой. Однако, подчеркивая, что защита отечества есть дело *всего народа*, Кайсаров центр внимания перенес на пример *народного* патриотизма: «Мать древней Греции идущему на защиту отечества сыну с тем же чувством произносит: „На щите или со щитом", с каким умирающий римлянин издыхает последние слова: „Сладко умереть за отечество". Чувство сие не есть преимущество какого-либо состояния — все сыны отечества им одушевляются». И дальше: «Бросим взор на сего, одного из низких званий в обществе носящего, Минина! Какое чувство одушевляет его при первом известии об опасности отечества? „Если хотим избавить отечество, — восклицает он, — не должно нам жалеть ни нашего имущества, ни жен, ни детей наших"».

Потребовались события 1812 г. для того, чтобы передовой дворянской интеллигенции стало ясно в такой степени, в какой это выразил Волконский в знаменитой беседе с царем, что подлинным носителем патриотизма является народ. Сознание, заставившее Грибоедова записать в плане трагедии о 1812 г.: «всеобщее ополчение без дворян», могло родиться лишь в ходе осмысления опыта Отечественной войны. Этот опыт Кайсарову еще предстояло приобрести. Тем не менее важно отметить, что идея войны как общенародного, а не профессионально-военного дела уже присутствует в тартуской речи Кайсарова.

Вооруженное столкновение открыло перед Кайсаровым новое поле деятельности. 12 июня 1812 г. началась война между Россией и Францией, а 16 июля ректор университета Гриндель доносил попечителю Клингеру о том, что профессора Кайсаров и Рамбах выехали в расположение главной квартиры.

Деятельность Андрея Кайсарова в армии в 1812—1813 гг. принадлежит к интересным, но еще не прочитанным страницам истории Отечественной войны 1812 г. Современникам роль его представлялась отнюдь не заурядной. В некрологе, напечатанном в «Сыне Отечества» (перепечатан в 1838 г. в журнале Воейкова «Русский инвалид» 16 ноября, № 288, с. 1151—1152), читаем следующее: «В начале священной войны за отечество главнокомандующий 1-ю Западною армиею генерал Барклай-де-Толли почел нужным завести

полевую типографию. Профессор Кайсаров определен был ея директором. Великий воевода русских сил, князь М. И. Кутузов-Смоленский, уважая отличные дарования Кайсарова, поручил ему важные дела в своей канцелярии». Однако в обширной литературе, посвященной Отечественной войне 1812 г., не освещены, насколько нам известно, ни деятельность типографии Кайсарова, ни «важные дела», поручаемые ему в штабе Кутузова. К сожалению, в просмотренных нами архивных документах также не удалось обнаружить материалов, проливающих свет на этот вопрос. Картину деятельности Кайсарова в армии приходится восстанавливать по отдельным упоминаниям и обрывочным документам. И то, что нарисованная таким образом картина оказывается тем не менее не лишенной интереса, лучше всего свидетельствует о яркости и значительности военных трудов молодого профессора Тартуского университета.

В литературе, посвященной Кайсарову, о деятельности военной типографии сообщается только то, что она была заведена по инициативе Главной квартиры, распоряжением которой из Тарту были вызваны два профессора и доставлено типографское оборудование, а также и то, что существование типографии было непродолжительным. Обращение к архивным материалам позволяет представить картину в несколько ином свете.

Как мы видели, Кайсаров еще до начала войны рассматривал приближающееся столкновение как общенародное дело, которое не может быть решено усилиями правительственной верхушки. Подобное убеждение подвело его к пониманию необходимости широкого развязывания народной инициативы по образцу глубоко взволновавшей европейское общественное мнение народной войны испанских партизан. Средством к этому Кайсаров считал организацию при штабе армии агитационного центра. Роль его должна была выполнить типография, инициатором которой он явился. Нам не удалось обнаружить письма, в котором Кайсаров мотивировал, обращаясь к царю, необходимость подобной организации, но существование такого обращения не вызывает сомнения. То, что инициатива исходила от Кайсарова и Рамбаха, следует из текста отношения Барклая-де-Толли в Тартуский университет, в котором предлагалось Кайсарова и Рамбаха «немедленно отправить на время в гаупт-квартиру I Западной армии для препоручений *по известному им предположению* (курсив мой. — *Ю. Л.*), удостоенному высочайшего одобрения». Если идея создания типографии исходила не от тартуских профессоров (в первую очередь, видимо, от Кайсарова, поскольку именно он был назначен директором), то необъяснимо, каким образом дело могло быть им известно еще до каких-либо отношений из Главной квартиры в Тартуский университет. Слова «известное предположение», по-видимому, указывают на инициативу тартуских профессоров. В распоряжении Барклая-де-Толли университетскому совету предписывалось:

«1. Объявить г.г. профессорам Рамбаху и Кайсарову, чтобы они постарались как можно поспешнее отправиться в гаупт-квартиру и явились ко мне.

2. Чтоб вместе с собою взяли два стана для русской и немецкой печати, а также пригласили бы с собою двух переводчиков, четырех наборщиков и четырех печатников».

В пункте 4-м предписывалось «объясниться с г.г. профессорами насчет известного им поручения и оказывать им такое пособие, какое только нужно им будет к исполнению монаршей воли», причем указывалось на спешный характер поручения: «По возвращении сего фельдъегеря г.г. профессора могут выехать не позже одних суток»[1].

На то, что замысел организации типографии созрел у Кайсарова, указывает и хорошая осведомленность в этом вопросе его ближайшего друга Бурдаха. Это же, в не очень точных воспоминаниях, выделил и Александр Иванович Тургенев, писавший, что «Кутузов (?) *по его* [Кайсарова] *предложению* устроил походную типографию»[2].

Большой интерес для изучения первого периода деятельности типографии представляют воспоминания Г. Меркеля. При этом необходимо учитывать резко отрицательное отношение Меркеля к Рамбаху (в какой мере он был знаком с Кайсаровым, трудно установить). Рассматривая организацию типографии как авантюру и стремясь представить своего противника Рамбаха как главное ответственное лицо, Меркель преуменьшает роль Кайсарова, отводя ему место переводчика при не знавшем русского языка Рамбахе. Это вряд ли соответствовало действительности. Тем более интересно (поскольку Меркель склонен скорее отрицать действительную роль типографии, чем приписывать ей вымышленную) свидетельство его о выпуске одного номера армейской газеты — факт, не учтенный в истории русской периодики. Приведем отрывок из воспоминаний Меркеля: «Тот самый Рамбах, который был в Германии более известен по ядовитой насмешливой песне Фалька, чем по собственным тусклым сочинениям, был теперь профессором в Дерпте. Он связался, поскольку не понимал по-русски, с другим профессором, который был русским, и предложил свои услуги военному министру для издания военной газеты с целью ободрения народа и, в особенности, воодушевления войск. Он должен был писать, а его спутник переводить, что он напишет. Его предложение было принято и отпущена большая сумма на приобретение всего необходимого для полевой типографии. Рамбах купил или реквизировал в типографиях Лифляндии шрифты, наборные кассы и типографские прессы». По сообщению Меркеля, было нанято несколько человек типографских рабочих. Рамбах забрал в университетской библиотеке ряд книг, в том числе многотомную «Историю Германии» Шмидта. Несмотря на то, что Меркель недоумевал, «какую можно было извлечь оттуда пользу для полевой газеты, долженствующей воодушевлять русский народ и солдат», последнее показание ценно. Оно указывает на распределение обязанностей между Кайсаровым и Рамбахом. Кроме издания газеты и печатанья воззваний на русском языке типография должна была выпускать листовки, адресованные солдатам враждебной стороны. То, что в библиотеке университета Кайсаров взял книги по истории Франции и Польши, а Рамбах — Германии, указывает на определенную направленность деятельности каждого из них и еще раз опровергает

[1] ЦГИА. Ф. 733. Оп. 56. Д. 146. Л. 2 об.—3.
[2] Современник. 1841. № XXI. С. 51.

утверждение Меркеля о том, что Кайсарову отводилось скромное место переводчика. Ссылаясь на слова самого Рамбаха, который, по его словам, возвратился в Тарту уже в начале октября, Меркель в характерном для всего рассказа недружелюбном тоне сообщает любопытные данные о судьбе типографии. По его словам, Рамбах «вместе со своим спутником профессором Кайсаровым, своими печатниками и своим тяжелым обозом настиг армию, стоящую у Дриссы, отступил с ней к Витебску и выпустил там первый номер [газеты] под заглавием „Россиянин" с русским и немецким параллельным текстом и затем сопровождал армию, затерявшись в ее обозе, так и не выпустив второго номера, я полагаю, до Москвы»[1].

Одним из первых трудов типографии, видимо, явилось печатание известной листовки Штейна к населению Германии и германским солдатам в армии Наполеона. Листовка была опубликована в типографии 1-й Западной армии (то есть в типографии Кайсарова) за подписью Барклая-де-Толли. Рукопись ее была отредактирована Александром I, который потребовал удаления ряда казавшихся ему опасными мест. В частности, неприемлемым показалось царю противопоставление патриотизма народа трусости дворян и князей. Он вычеркнул следующее: «Хотя почти все ваши князья предали дело Отечества, вместо того, чтобы проливать за него кровь, хотя большинство ваших дворян и чиновников готово скорее потерять свои права, чем их защищать, подавляющее большинство вашего народа остается, однако, храбрым, набожным, презирающим ярмо иноземца, верным Богу и Отечеству»[2].

Тем не менее идея народной войны и ссылка на пример Испании в воззвании остались. Содержание листовки, бесспорно, импонировало Кайсарову. Можно предположить о состоявшемся в эту пору его знакомстве с Штейном.

Если обращение к народу Германии вызвало опасение царя, то тем настороженнее относились при дворе к идее превращения войны в пределах России в народную. Деятели типа Багратиона понимали, что «война теперь не обыкновенная, а национальная», но правительство и реакционное дворянство прекрасно сознавали, какое обоюдоострое оружие — вооружение народа. Известны слова Растопчина, сказавшего: «Мы еще не знаем, как повернется русский народ»[3]. Тем большее значение приобретало опубликование в типографии Кайсарова печатного призыва к крестьянам Псковской, Смоленской и Калужской губерний к развязыванию народной партизанской войны. Называя псковских, смоленских и калужских крестьян «истинными сынами отечества», листовка призывала последовать тем смоленским крестьянам, которые «пробудились уже от страха своего. Они вооружились в домах своих

[1] *Merkel G.* Die Geschichte meiner liefländischen Zeitschriften // Baltische Monatschrift / Hrsg. von Arnold von Tideböhl. Riga, 1898. Bd 45. S. 198—200.

[2] Цит. по кн.: *Pertz G. H.* Das Leben des Ministers Freiherrn von Stein. Berlin, 1851. S. 602. Пер. с фр. В параллельном немецком тексте сказано мягче: «Многие ваши князья».

[3] *Глинка С.* Записки. СПб., 1895. С. 255.

с мужеством, достойным русского, карают злодеев без всякой пощады. Подражайте им все, любящие себя, Отечество и государя!»[1]

Воззвание подписано Барклаем-де-Толли, однако это, бесспорно, не указывает на авторство. Ведь и листовка, составленная Штейном, была опубликована за подписью командующего. Подпись в данном случае означала лишь официальный характер обращения. Вполне вероятно предположить, что составление листовки было поручено Кайсарову, который, как человек, не сведущий в типографском деле, и профессор, известный правительству в качестве автора речи «О любви к отечеству» (экземпляр ее был поднесен Александру I), вряд ли был вызван из Тарту для технического руководства типографией.

О том, что Кайсарову была поручена работа по *составлению* листовок, причем не только на русском языке, свидетельствует одно косвенное указание. На основании распоряжения Барклая-де-Толли, Тартуский университет должен был обеспечить Кайсарова всем необходимым для выполнения порученного ему дела. В числе этого необходимого оказались не только типографские станки и шрифты, но и значительное количество книг, выданных лично Кайсарову[2]. Подбор книг знаменателен: это литература по истории европейских народов и дипломатической жизни конца XVIII — начала XIX в., которая могла понадобиться при составлении воззваний. Обращает внимание обилие книг по истории Польши, а также тот факт, что Кайсаров подбирал литературу, истолковывавшую антинаполеоновскую борьбу в плане оправдания законного стремления народов к политической и национальной свободе. Среди книг, которые взял из Тарту Кайсаров, следует отметить следующие: Arndt «Geist der Zeit», 1806 (антикрепостнические выписки из нее он делал еще в Геттингене); Legnitz «Historia Polona a Lecho in anno 1740»; «Vom Entstehen und Untergange der polnischen Constitution»; «Histoire de la Révolution de Pologne en 1794, par témoin»; Martens «Recueuil de Traités de paix, d'amitié, d'alliance etc. conclus entre la république française et les différentes puissances de

[1] Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. Ч. VII. С. 246.

[2] Этот факт устанавливается на основании прошения проректора Тартуского университета Стикса на имя Барклая-де-Толли: «По высочайшему его императорского величества повелению предписано вашим высокопревосходительством университету от 5 июня прошлого 1812 г., дабы отправить к главную квартиру обоих профессоров, Рамбаха и Кайсарова, снабдив их всем тем, чего они к исполнению высочайшей воли потребуют. По сему поводу отпустил университет сказанным профессорам изъясненные при сем в приложенном списке казенные вещи, которые господам профессорам Рамбаху и Кайсарову по их просьбе и выданы под их расписку от 17 августа 1812 г. Университет нашел нужным по случаю смерти профессора Кайсарова утруждать ваше высокопревосходительство нынешнею просьбою, приказать изъясненные в списке казенные вещи возвратить университету как необходимо нужные. 11 июля 1813» (ЦГВИА. Ф. 103. Оп. 208а. Св. 118. Д. 8. Л. 420—420 об.). На документе собственноручная резолюция Барклая-де-Толли: «Написать брату покойного Кайсарова, г. генерал-майору Кайсарову, чтобы выправился, точно ли остались после покойного книги, Дерптскому университету принадлежащие, и, буде найдутся, доставить сюда для отправления в Дерпт».

l'Europe», 4 vol., Paris, 1803; Martens «Droit de gens de l'Europe», à Götting., 1801[1].

Оценка роли Кайсарова в истории идеологической войны против Наполеона полностью сможет быть дана только после того, как будут суммированы все летучие издания походной типографии в период Отечественной войны.

Типография Главной квартиры, видимо, уже на первом этапе работала весьма активно. В дневнике Цезаря Ложье читаем: «19 июля [1812 г.]. Движение на Березино. Находим по дороге множество печатных прокламаций, оставленных для нас русскими; переписываю несколько отрывков: „Итальянские солдаты! Вас заставляют сражаться с нами <...> Вспомните, что вы находитесь за 400 миль от своих подкреплений. Не обманывайте себя относительно наших первых движений; вы слишком хорошо знаете русских, чтобы предположить, что они бегут от вас. Они примут сражение, и ваше отступление будет затруднительно. Как добрые товарищи, советуем вам возвратиться к себе; не верьте уверениям тех, которые говорят вам, что вы сражаетесь во имя мира. Нет, вы сражаетесь во имя ненасытного честолюбия государя, не желающего мира. Иначе он давно заключил бы его. Он играет кровью своих храбрых солдат...“»[2]

Вот когда Кайсарову пригодилось его знание итальянского языка, над изучением которого он, вопреки мнению Андрея Тургенева, считавшего, что «не стоит труда учиться по-итал<ьянски>»[3], упорно работал в Геттингене.

Таким образом, уже в первый период войны наметились те черты, которые станут характерными для листовок типографии Кайсарова в дальнейшем: проповедь народной войны, истолкование войны как освободительной.

Оригинал газеты нам неизвестен, возможно, он и не сохранился. Однако первый и, видимо, единственный номер этого издания был перепечатан по-немецки в рижской газете «Der Zuschauer» (1812, 29 августа, № 700)[4]. Ввиду важности этой заметки и особенно содержащейся в ней перепечатки приводим текст полностью в русском переводе: «Первый номер новой газеты „Россианин“, издаваемой по повелению военного министра в Главной Квартире, от 25 июля содержит следующее:

„Россианин (Der Russe)

С нами бог!

За веру, царя и отечество!

Мысль, что мы нашу газету начинаем радостным известием, воодушевляет нас. Упование на бога, на наше мудрое правительство и известную храбрость русских воинов убеждает нас в том, что наши читатели и в дальнейшем постоянно будут получать радостные известия. Мы надеемся заслужить до-

[1] ЦГВИА. Ф. 103. Оп. 208а. Св. 118. Д. 8. Л. 422.

[2] *Ложье Ц.* Дневник офицера великой армии в 1812 г. М., 1912. С. 38—39. Указание на этот источник было любезно дано мне А. В. Предтеченским.

[3] Тургеневский архив. Ед. хр. 840.

[4] Этим, как и рядом других указаний, я обязан любезности недавно скончавшегося сотрудника библиотеки Тартуского гос. ун-та Э. Вигеля, теплая память о котором сохранится у всех, пользовавшихся его доброжелательными указаниями.

верие наших соотечественников и заверяем их, что мы также не будем скрывать и горестных происшествий, если им суждено будет произойти. Война не может быть без потерь. Гражданин должен знать положение вещей, чтобы он мог предпринять необходимые действия и быть ко всему готовым. Он должен радоваться нашему продвижению, а в противном случае не малодушествовать, но действовать.

Война с турками закончена. Вопреки коварным интригам французского правительства, которое привыкло бросать между народами факел раздора, мир между Россией и Турцией подписан и ратифицирован обеими сторонами. Еще недавно высмеивали французские газеты возможность мира; точно так же, как незадолго до того они сомневались в том, что Россия сможет отбить насильственное нападение на свою империю и сохранить свои воинские силы. Теперь уничтожительно бросится наша увенчанная лаврами армия с берегов Дуная на нашего вечного врага. Естественно, что ему, который надеялся вооружить против нашего отечества всю вселенную, не может понравиться отпадение Турции. Мир с турками для нас очень важен. Мы приобрели часть турецких владений, которая вклинивалась в нашу границу. Наша Молдавская армия, как мы уже говорили выше, будет использована против нарушителя нашего покоя, и можно с уверенностью утверждать, даже не желая проникнуть в государственные тайны, что и турки вряд ли останутся хладнокровными наблюдателями этой войны. Турецкие владения граничат с французскими, в которых в нынешнем положении не может быть большого количества войск. Нападение на Далмацию может весьма обеспокоить французского императора. На другом конце Европы обстоятельства складываются весьма благоприятно для России. Объединенные английские и португальские войска заняли Бадахос и углубились уже во Францию, в которой из-за голода все более и более распространяется дух недовольства.

Большая часть немцев ожидает лишь счастливого момента, чтобы отмстить своим тиранам за многолетнее иго. Некоторые из них, те, которые находятся в числе французских войск, поворачивают при первом же случае свое оружие против этой, столь им ненавистной, нации. Россия находится в прямо противоположном положении: ее воины не наемники, они защищают свою веру, своего царя, свое отечество. В отдаленнейших уголках России горят ревностью все, все пожертвовать. Враг может победить в одной из битв, но победить Россию он не сможет. Сила бога поразит кровожадного и защитит доверившихся ему"»[1].

Содержание приведенного номера газеты знаменательно. Отчетливая связь его с речью Кайсарова в Тартуском университете, с одной стороны, и последующими листовками штаба Кутузова, выходившими уже после отъезда Рамбаха, опровергает свидетельство Меркеля (со слов Рамбаха) о Кайсарове как простом переводчике. Знаменательно то, что первый номер был приурочен

[1] Последний отрывок перепечатан в заметке «Die Felddruckerei und Feldzeitung der Dorpater Professoren Rambach und Kaissarow» (в кн.: 1812, Baltische Erinnerungsblätter / Hrsg. von Dr. Fr. Bienemann. Riga, 1912).

к подписанию мира с Турцией. Подчеркивание значения этого события, надежды на Молдавскую армию — все это не может быть истолковано иначе, как завуалированная пропаганда идеи приглашения Кутузова в действующую армию. Учитывая отношение Александра к Кутузову (Кайсаров — брат адъютанта Кутузова, вращаясь в самых высоких штабных кругах 1-й армии, конечно, был в курсе закулисной борьбы интересов) и то, что газета выходила как официальный орган штаба Барклая-де-Толли, следует удивляться не тому, что имя Кутузова не названо, а определенности, с которой редакторы газеты проводили свою идею.

Другая существенная мысль состояла в идее *сознательного* участия «граждан» России в судьбе своего отечества. Вместе с интересом к военным действиям в Испании это дает первую попытку провозглашения идеи народной войны, которую, как увидим дальше, будут упорно пропагандировать листовки типографии Кайсарова.

Сведения, которыми мы располагаем, о внутренней жизни типографии крайне скудны. Рамбах вскоре вернулся в Тарту. Возвращение его истолковывалось в литературе как признак ликвидации типографии. Так понял это и попечитель университета Клингер, доносивший Разумовскому, что «как профессор Рамбах давно уже возвратился в Университет, то должно думать, что обязанность их кончилась»[1]. Однако, видимо, дело обстояло иначе. По первоначальному замыслу типография должна была печатать обращения к населению пограничных европейских стран (Германии, Польши) и солдатам неприятельской армии, с одной стороны, и к своей армии, а также к населению захваченных неприятелем районов, с другой. В дальнейшем, когда фронт отдалился от западных границ России, листовки к немецкому населению оказалось удобнее печатать не в штабе армии, а в Риге. Видимо, это и вызвало отозвание Рамбаха в Тарту. По крайней мере, известно, что здесь он написал воззвание «An die Deutsche!», которое было отпечатано в 1812 г. в Риге. Вероятно, с этой листовкой связано письмо Александра I к Паулуччи от 6 декабря 1812 г.: «Я нахожу, что задуманное воззвание к немцам, которое вы мне прислали вместе с вашим рапортом от 25 ноября, может быть с пользой выпущено немедленно. Оно не должно быть подписано Вами»[2].

Нет никаких оснований полагать, чтобы деятельность типографии, оставшейся теперь полностью в ве́дении Кайсарова, прекратилась именно в тот момент, когда необходимость обращения к активности народа становилась все более очевидною.

Новые возможности открылись перед Кайсаровым после назначения М. И. Кутузова на пост главнокомандующего. Переход Кайсарова в штаб Кутузова был обусловлен не только доверенностью главнокомандующего по отношению к брату его Паисию Сергеевичу, хотя, возможно, и это имело

[1] ЦГИА. Ф. 733. Оп. 56. Д. 146. Л. 14.

[2] Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. Ч. IX. С. 153. Оригинал на французском языке.

известное значение. «Должность адъютанта у главнокомандующего, командующего армией, или начальника штаба требовала особой храбрости и презрения к опасности, ибо в ходе боя связь осуществлялась только при их помощи»[1]. В период Отечественной войны 1812 г. доверенность Кутузова к своему адъютанту еще более возросла. Это дало даже основание для клеветнических вымыслов Растопчина, писавшего после оставления Москвы, что «Кутузов ничего не видит; Кайсаров за него подписывает». «Судьба России и государь зависят от Кудашева и Кайсарова. Сей последний имеет препоручение подписывать под его руку»[2].

У нас нет почти никаких сведений о деятельности Андрея Кайсарова после образования объединенной армии. Несомненно только одно: в штабе Кутузова Кайсаров попал в атмосферу идей народной войны и оказался в центре непосредственной деятельности по ее организации. «Кутузов являлся не только организатором партизанских отрядов и иррегулярных войск, но и одним из вдохновителей крестьянской партизанской войны»[3].

Вместе со штабом Кутузова А. С. Кайсаров проделал самую трудную часть кампании 1812 г. Он принял участие в Бородинской битве. Его характерную фигуру отметил в сцене Бородинского боя Л. Н. Толстой в XXII главе части II третьего тома «Войны и мира». В одной из статей о творчестве Жуковского Н. С. Тихонравов отметил, что Кайсаров встретился с Жуковским во время ночного отступления к Москве. Знакомый Андрея Кайсарова еще по Геттингенскому университету Михайловский-Данилевский встретился с ним вновь в штабе Кутузова. Время совета в Филях и отступления через Москву они провели вместе. «Мы во весь вечер ходили взад и вперед по деревне Филям, плакали как дети». «На другой день, 2-го сентября, злополучнейший, какой я проводил до того во всю мою жизнь, мы встали очень рано; ужас и бледность были на лицах наших, никто не говорил ни слова. Я немедленно поехал в Москву, улицы были запружены всякого рода экипажами и повозками; толпы народные волновались, как волны морские. Когда мы выехали на простор, то зарыдали горько. Нас было пятеро: полковник Кайсаров, брат его Андрей, убитый в следующем году близ Бауцена, граф Сиверс и я; мы вспоминали о прошедшей славе отечества нашего, и все бедствия, нас ожидавшие, казались нам ничтожными в сравнении с потерею Москвы. Мы вошли в Успенский собор, чтобы в последний раз помолиться в нашей древней столице. Нельзя представить верно картины, которую я увидел в церкви; она была наполнена народом, смотревшим на нас с каким-то благоговением, но на лицах всех написано было отчаяние»[4]. Тот же источник сообщает, что А. Кайсаров и его спутники пытались навести порядок в отступающих частях: увидев в арсенале большое коли-

[1] *Окунь С. Б.* История СССР. Л., 1948. С. 370.

[2] Памятники новой русской истории: Сб. исторических статей и материалов изд. В. Кашпировым. СПб., 1872. Т. 2.

[3] *Окунь С. Б.* История СССР. С. 243.

[4] *Михайловский-Данилевский А. И.* Записки // Исторический вестник. 1890. Окт. С. 150.

чество брошенного оружия, они начали вооружать народ и «заколотили несколько пушек». Далее им пришлось стать свидетелями убийства Верещагина.

Деятельность типографии А. С. Кайсарова, видимо, оживилась в период Тарутинского лагеря. В штабе Кутузова в этот период собрались не только военные руководители, но и значительные литературные силы. Литературным знаменем кружка стал В. А. Жуковский, в агитационно-публицистической деятельности, вероятно, не последнюю роль играл Андрей Сергеевич Кайсаров. Враг крепостного права, доктор философии и медицины, профессор и директор походной типографии, человек огромной эрудиции, владевший почти всеми европейскими языками, он, конечно, был заметной фигурой в жизни штаба Кутузова.

В исследовательской литературе неоднократно рассматривалась публицистика 1812 г., как реакционно-правительственная, так и прогрессивная, «вскрывавшая роль народа в борьбе против Наполеона»[1]. К сожалению, при изучении последней недостаточно обращалось внимание на то, что штаб Кутузова играл роль не только военного центра армии, но и был втянут в напряженную идеологическую жизнь, причем позиция его хотя и ни в коей мере не может быть охарактеризована как антиправительственная (антиправительственного лагеря в передовой публицистике 1812 г. не существовало и существовать не могло), однако являлась самостоятельной и с официозной публицистикой не сливалась.

Прежде всего, необходимо попытаться установить круг документов, на которые историк имеет возможность опираться. Продукция типографии Кайсарова сохранилась плохо, что не вызывает удивления: листовки и воззвания быстро уничтожались в условиях походной жизни; в Петербург и Москву, где они могли бы задержаться в собраниях любителей, летучие издания попадали лишь в виде исключений, распространяясь чаще в виде перепечаток столичных типографий. Личный же архив Кайсарова этих лет бесследно затерялся после перехода его в партизанский отряд и гибели. Показательно, что такие важные документы, как воззвание Кутузова к жителям Смоленской губернии и Барклая-де-Толли к населению западных губерний, в оригиналах не сохранились. Первое, воспроизведенное впервые в сборнике документов и материалов «Фельдмаршал Кутузов» (М. 1947. С. 176—177), уцелело лишь в копии в составе рукописи Михайловского-Данилевского[2] — кстати, видимо, сотрудника Кайсарова в этот период, — второе воспроизведено в «Материалах» из собрания Щукина, по оригиналу ли печатного издания или копии с него — неизвестно. В обследованных нами книго- и архивохранилищах ни одного экземпляра воззвания Барклая обнаружить не удалось. Указаний на эти воззвания не находим и в известной книге Н. П. Лихачева «Каталог летучих изданий и перепечаток» (СПб., 1895).

---

[1] *Предтеченский А. В.* Отражение войн 1812—1814 гг. в сознании современников // Исторические записки. Т. 31. С. 231.

[2] Хранится в ЦГВИА. Ф. ВУА. Д. 3430. Ч. III. Л. 1511—1511 об.

Хотя перечисленные документы (равно как и упоминаемая Ложье листовка) и не сохранились, но текст их нам известен, и мы можем отнести их к печатной продукции типографии Кайсарова. Не менее существенно и другое: выделение из числа сохранившихся от 1812 г. летучих листков тех, которые могли быть в ней отпечатаны. К ним, в первую очередь, следует отнести документы, подписанные именем Кутузова и помеченные датами и географическими названиями, указывающими на штаб командующего. Это ряд летучих изданий под названием «Известия из армии» и приказы Кутузова. Подобные сообщения печатались не только на русском языке. Такова листовка «Nouvelles officielles de l'armée en date du 27 août». Известную помощь при определении места напечатания той или иной листовки может оказать изучение шрифта. Так, например, после отъезда Рамбаха, вероятно отозванного со специальной целью наладить печатанье немецких воззваний в Риге или Тарту, из типографии Кайсарова, видимо, был изъят готический шрифт. По крайней мере, нам не удалось найти за все время существования типографии Кайсарова ни одной листовки из числа бесспорно принадлежащих штабу Кутузова, которая была бы отпечатана готическим шрифтом. Латинским шрифтом было отпечатано известное воззвание к немцам (Aufruf an die Teutschen), опубликованное 13(25) марта 1813 г. в Калише и подписанное Кутузовым[1]. Поскольку латинский шрифт для воспроизведения немецкого текста был в ту пору еще явлением редким, то для листовок подобного типа, при условии, если анализ содержания также подводит к этому выводу, можно поставить вопрос о принадлежности их к числу напечатанных в штабе Кутузова. Такова, например, брошюра «Rückzug der Franzosen», о которой речь пойдет в дальнейшем. Типография печатала не только агитационную публицистику, но и агитационную поэзию. Так, в ней было впервые отпечатано стихотворение В. А. Жуковского «Вождю победителей». Листовка с текстом стихотворения не сохранилась, однако она была в руках издателей «Вестника Европы», которые, перепечатывая стихотворение, сопроводили текст пометкой: «С печатного в селе Романове 1812 года, ноября 10 в походной типографии». В примечании к «Певцу во стане русских воинов» П. А. Ефремов писал: «Указывают, будто существует издание 1812 г., сделанное в военно-походной канцелярии кн. Смоленского, но мы этого издания разыскать не могли»[2]. Относительно этого издания Ц. Вольпе полагал, что «существование его маловероятно»[3]. Однако, если учесть, что во главе типографии находился старинный друг Жуковского, что типография напечатала другое стихотворение Жуковского и что творчество Жуковского этих месяцев несет, как мы постараемся показать, бесспорную печать влияния публицистики штаба Кутузова и лично Кайсарова, факт опубликования последним «Певца во стане русских воинов» не покажется нам маловероятным. Отсутствие экземпляров этого издания не может служить аргументом: как мы видели, издания типо-

[1] В «Записках» С. Н. Глинки (СПб., 1895. С. 264) воззвание пересказано, но в качестве даты его выхода ошибочно указано 15 марта.

[2] *Жуковский В. А.* Соч. Под ред. П. А. Ефремова. 7-е изд. Т. 1. СПб., 1878. С. 501.

[3] *Жуковский В. А.* Стихотворения / Вступ. ст. и примеч. Ц. Вольпе. Л., 1939. С. 364.

графии Кайсарова вообще сохранились плохо, ведь и экземпляров «Вождю победителей» не сохранилось!

Изучение текстов печатных листовок, выпущенных типографией Кайсарова, позволяет установить характерное единство как излагаемых в них мыслей, так и стилистических приемов. Центральными идеями становятся мысль об освободительном и народном характере войны (в связи с этим возникает интерес к «малой войне» — действиям армейских партизан и вооруженных крестьянских отрядов) и прославление М. И. Кутузова, оправдание его тактики, указание на ведущую роль его в деле спасения родины. В условиях настороженного отношения правительства к идее вооружения народа и неприкрытой враждебности царя и придворной камарильи Кутузову, что после оставления Москвы почти не скрывалось, указанная позиция, конечно, не может быть охарактеризована как официозная. «Правительство Александра I не разделяло взглядов Кутузова на партизанскую войну, подолгу задерживало представления Кутузова к награждению и повышению в чинах некоторых партизанских начальников, пыталось использовать некоторые партизанские отряды не для вооружения, а для разоружения крестьян»[1]. Однако в дальнейшем, когда народное партизанское движение стало фактом, широко известным в России и вызвавшим отклики за границей, официальные манифесты и правительственные обращения отказались от игнорирования народной инициативы, пытаясь истолковать ее как проявление верноподданнических чувств крестьян. В манифесте от 4 ноября 1812 г. Александр I писал: «Сверх того из донесений главнокомандующего и других генералов с сердечным удовольствием видели мы, что во многих губерниях, а особливо в Московской и Калужской поселяне сами собой ополчились»[2]. Отношение к партизанскому движению в листовках штаба Кутузова было принципиально иным. Не говоря уже о том, что интерес к нему не был случайным и вынужденным, а идея народной войны систематически пропагандировалась, вопрос имел и другую сторону: вооруженное сопротивление крепостных крестьян захватчикам в разбираемых документах рассматривалось не как выполнение слепого долга повиновения, а как сознательный гражданский подвиг. В листовке Барклая крестьяне характеризуются как «истинные сыны отечества, верные подданные монарху своему и бесстрашные защитники собственности»[3] (к последней формуле мы еще вернемся). Почти в тех же выражениях говорит о крестьянах листовка «Известие об армии. Главная квартира, село Леташевка, Сентября 10-го дня 1812 года». Крестьяне «ежедневно приходят в Главную квартиру, прося убедительно огнестрельного оружия и патронов для защиты от врагов; просьбы сих почтенных крестьян — *истинных сынов отечества* — удовлетворяются по мере возможности, и их снабжают ружьями, пистолетами, порохом»[4].

---

[1] *Кочетков А. Н.* Кутузов — организатор армейских партизанских отрядов // Полководец Кутузов. М., 1955. С. 353.

[2] ЦГВИА. Ф. ВУА. № 3652. Л. 102—102 об.

[3] Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. Ч. VII. С. 246.

[4] ЦГВИА. Ф. 9190 (молдавская армия). Оп. 163 б. Связка 25. № 14. Л. 259 об.

В листовках систематически подчеркивалось равенство крестьян с другими сословиями в патриотическом деле спасения отечества. В «Известии из армии Ноября 4 дня, 1812 года» читаем: «Священный пламень любви к отечеству согревает все состояния. Недавно еще уведомили мы наших соотечественников о мужественных усилиях наших честных поселян к истреблению врага; ныне приятным долгом поставляем довести до всеобщего сведения деяния других сословий»[1]. В «Приказе по армиям октября 19-го дня 1812 года» говорилось, что «неприятелю нечего ждать» впереди ничего другого, как «продолжения *ужасной народной войны*, способной в краткое время уничтожить всю его армию». «Видя в каждом жителе воина», «предпринял он поспешное отступление вспять»[2]. Действия партизан описываются весьма подробно: «Крестьяне, горя любовию к родине, устраивают между собою ополчения; случается, что несколько соседних селений ставят на возвышенных местах и колокольнях часовых, которые, завидя неприятеля, ударяют в набат. При сем знаке крестьяне собираются, нападают на неприятеля с отчаянием и не сходят с места битвы, не одержав конечной победы»[3]. В листовке «Nouvelles officielles...» 27 августа 1812 г. особо выделялась «храбрость ополчений Смоленска и Москвы»[4]. В другой листовке крестьяне названы «почтенными гражданами». В анонимной брошюре «Rückzug der Franzosen» говорилось о том, что во время отступления французов «в лесах и болотах лежали на страже отряды вооруженных крестьян и побивали ежедневно многие сотни неприятелей, а те, кто избегал крестьян, попадал в руки казаков»[5].

Постоянное подчеркивание участия крестьян в освобождении родины как бы уравнивало их в глазах известной части современников в гражданском отношении с другими сословиями и перерастало из проблемы военной в политическую. Листовки постоянно говорили о праве народа на борьбу с тиранией за отстояние свободы. Термины «рабство», «самовластие», «тирания», «свобода» повторялись непрестанно. Наполеон — тиран и захватчик, борьба с ним — борьба за освобождение. Если в реакционных «афишках» Растопчина подчеркивалась связь Наполеона и революции, а в упрек императору французов ставилось, что он не «чистой царской крови», то в листовках штаба Кутузова союзники Наполеона именовались «несчастными рабами самовластия»[6]. В упомянутой выше немецкой брошюре война характеризо-

---

[1] ЦГВИА. Ф. ВУА. № 3652. Л. 71 об.

[2] Там же. Ф. 9190 (молдавская армия). Оп. 163 б. Св. 25. № 14. Л. 299.

[3] Там же. Л. 259—259 об.

[4] Там же. Ф. ВУА. № 3652. Л. 49.

[5] Там же. Rückzug der Franzosen. Брошюра на 36 страницах, без указания автора, места и времени издания, шрифт латинский. Брошюра охватывает период от Тарутина до Немана; дальнейший ход событий автору неизвестен. Чрезвычайная осведомленность автора в деталях передвижения войск и хода военных событий, а также подробное и сочувственное изложение тактики Кутузова, равно как наблюдения над характером шрифта, заставляет предположить связь ее с походной типографией объединенной армии. Не имел ли Кайсаров отношения к ее составлению?

[6] ЦГВИА. Ф. ВУА. № 3652. Л. 70.

валась как «последняя битва, от которой зависит свобода Европы». В печатном обращении Кутузова к жителям Германии при переходе русскими войсками ее границы мы находим ту же мысль: приближение русских войск возвещает «князьям и народам Германии возвращение свободы и независимости», лозунг русских войск — «честь и свобода»[1].

Конечно, надо иметь в виду, что в условиях борьбы с Наполеоном подчеркивание тиранического характера власти последнего и освободительного смысла войны входило в официальный курс правительственной пропаганды. Более того, порой самые консервативные силы антинаполеоновской коалиции сознательно оперировали весьма свободолюбивой фразеологией, отчасти даже перекликающейся с языком боевой публицистики революционной эпохи, понимая, как важно лишить Наполеона ореола генерала революции.

Однако война имела *действительно* освободительный характер, и поэтому то, что было тактической уловкой в словах официального манифеста, наполнялось для передовой части общества глубоким и прогрессивным содержанием. Употребление терминологии, насыщенной гражданственным содержанием, бесспорно, играло для читателя определенную политико-воспитательную роль.

Бросается в глаза и другая особенность: в листовках типографии Кайсарова время от времени появляется аргументация, прямо ведущая к политическим теориям XVIII в. В обращении Барклая-де-Толли крестьяне названы «бесстрашными защитниками *собственности*» (курсив здесь и далее мой. — *Ю. Л.*). В этой же листовке читаем: «Внемлите гласу, возвышающему вас к собственному успокоению вашему, к *собственной* безопасности вашей». Крестьяне призываются «подкреплять действия армии защитою *собственных* домов своих» от неприятеля, а также от «тех воинов наших, кои <...> дерзнут посягать на *собственность* вашу»[2]. Такое подчеркивание идеи собственности вытекало не из реально существовавших в России тех лет общественных отношений, поскольку крепостной крестьянин не только юридически собственником не являлся, но и фактически часто был ограблен помещиками до последней степени, а из идей просветительской философии XVIII в. о необходимости личной заинтересованности человека в добродетельных поступках и о собственности как священном, неотделимом праве личности.

Призыв бороться с неприятелем во имя защиты собственности естественно подводил и автора, и читателя к важному общественно-политическому вопросу, к праву крестьянина на безраздельное владение тем, что́ его призывали защищать. Трудно допустить, чтобы враг крепостного права А. С. Кайсаров, имевший прямое отношение к созданию листовки, если не как автор (предположение это нам не кажется лишенным оснований), то как издатель, упускал из виду эту сторону вопроса.

---

[1] ЦГВИА. Ф. 3857. Л. 80.

[2] Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. Ч. VII. С. 246.

Другой важнейшей темой агитационных произведений, выходивших из типографии Кайсарова, являлась популяризация роли Кутузова, его военной тактики. Так, в чрезвычайно ответственной листовке «Nouvelles officielles de l'armée en date 27 août», сообщавшей о результатах Бородинского сражения, настойчиво проводилась мысль о руководящей роли Кутузова и его популярности в войсках: «Князь Кутузов сразу же по прибытии на позицию собрал генералов и построил войска; он был встречен восклицаниями живейшего энтузиазма»[1]. То же и в названной немецкой брошюре. Естественно, что в тех документах, которые публиковались в качестве официальных сообщений от имени Кутузова, прославление его не могло иметь места. Вместе с тем именно этот пункт имел первостепенное значение. Понимание войны как народной прочно связывалось с фигурой Кутузова, а с другой стороны, оставление Москвы было воспринято в придворных кругах как сигнал к началу травли главнокомандующего. В рескрипте на имя Кутузова Александр I писал: «Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству о потере Москвы». В этих условиях защита авторитета Кутузова в армии лучше всего могла бы быть выполнена изданием литературных произведений, не имевших характера официальной штабной бумаги. Эту роль выполнили стихотворения Жуковского. Кутузов в них именовался «бодрым вождем» (в письме от 20 октября 1812 г. Растопчин писал: «Кутузов — самый гнусный эгоист, пришедший от лет и от разврата жизни почти в ребячество. Спит, ничего не делает»[2]).

Исполненными глубокого смысла были стихи:

С ним опыт, сын труда и лет,
Он бодр и с сединою,
Ему знаком победы след...
Доверенность к герою![3]

Как и автор брошюры «Rückzug der Franzosen», Жуковский оправдывал оставление Москвы. «Певец во стане русских воинов», написанный в сложное для Кутузова время, упоминал его имя сразу же за Александром I. После сражения под Красным, в листовке от 10 ноября 1812 г., Жуковский определил свою позицию решительнее: Кутузов назван вождем победителей и все стихотворение полностью посвящено ему. Александр I вообще не упоминается, если не считать того места в стихотворении, где по контрасту с победами Кутузова вспоминается как

...росс главу под низкий мир склонил[4].

Упоминание Тильзитского мира в контексте похвал Кутузову не могло звучать для современников иначе, как осуждение Александра I. Являясь

[1] ЦГВИА. Ф. ВУА. № 3652. Л. 48.

[2] Памятники новой русской истории. Т. 2. С. 186.

[3] *Жуковский В. А.* Соч. СПб., 1878. С. 254. (См. также: *Дурылин С.* Русские писатели в Отечественной войне 1812 г. М., 1943. С. 85—88.)

[4] Там же. С. 272.

важным этапом в деятельности типографии Кайсарова[1], оба эти стихотворения занимают особое место и в творчестве Жуковского.

Мы видели, как еще в «Дружеском литературном обществе» творческие принципы карамзинизма, отстаиваемые Жуковским, встретили резкую оппозицию со стороны Мерзлякова, Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова. Ведущая группа «Общества» защищала идею гражданственной, высокой поэзии и резко критиковала субъективный лиризм и приверженность к «безделкам» сторонников Карамзина. Теоретическая позиция Мерзлякова и Андрея Тургенева получила художественное воплощение в таких произведениях, как «К отечеству» Андрея Тургенева, «Слава», «На разрушение Вавилона», переводы из Тиртея Мерзлякова. Стихотворения эти были пронизаны идеей гражданского служения, вершина которого — смерть за отечество. Андрей Тургенев писал:

Тебя, отечество святое,
Тебя любить, тебе служить,
Вот наше звание прямое!
Мы жизнию своей купить
Твое готовы благоденство,
Погибель за тебя — блаженство.

Переводы из Тиртея Мерзлякова создавали героический образ «великого в мужах», который «пламенеет завидной страстью встретить смерть». Его «душа отечеством полна».

Не ждет врагов, он их сретает,
Не спросит тайно, сколько сил,
Когда отечество взывает —
Пришел, увидел, победил[2].

В период «Дружеского литературного общества» и в ближайшие последующие годы призывы к гражданской поэзии не увлекли Жуковского.

Начало антинаполеоновских войн и вызванный этим патриотический подъем в обществе оказали определенное влияние на Жуковского, заставив его внести коррективы в свою литературную программу. В конце 1806 г. им была написана «Песнь барда над гробом славян-победителей» (опубликовано в 1807 г., в том же году перепечатано стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству»). При опубликовании в примечании сообщалось, что стихотворение относится «к военным обстоятельствам того времени». Попытка создать произведение с общественной патриотической тематикой была для Жуковского бесспорным новшеством. Гражданская направленность стихотворения подчеркивалась эпиграфом из Делиля, противопоставлявшим «робкой лире» и «сладостным песням забав» «воинственного барда, который устремлялся

[1] Можно поставить вопрос о том, не были ли перепечатаны походной типографией некоторые из басен Крылова. Этим, может быть, объясняется факт широкой распространенности их в действующей армии, зафиксированный в письме Батюшкова Гнедичу от 30 октября 1813 г. Вряд ли можно предположить, что в армии, находящейся в непрерывных боях и походах, сколь-либо широко распространялись рукописные списки стихотворений или журнальные публикации.

[2] *Мерзляков А. Ф.* Подражания и переводы. М., 1826. Ч. II. С. 69—70.

отряда к отряду, воодушевляя юношество, грядущее на битву»[1]. Характерно, что в качестве образца поэта-гражданина называется Тиртей, которого переводил Мерзляков. Однако это еще не означало отхода от принципов карамзинизма. Попытка обращения к народности не пошла далее стремления придать стихотворению «северный», «оссиановский» колорит, а общий характер произведения скорей подготавливал историческую элегию Батюшкова, не героическую гражданственную поэзию. Показательно, что в 1810 г. Земский вынужден был печатно упрекать Жуковского по поводу выхода свет «Собрания русских стихотворений»: «Зачем не напечатали вы прекрасного перевода Мерзлякова Тиртеевых од»[2].

Стихотворения периода пребывания Жуковского в штабе Кутузова отличаются от его предыдущего творчества весьма резко. Это заставляло зачастую исследователей связывать их с влиянием традиции торжественной оды XVIII в. Так, Ц. Вольпе считает, что «нетрудно было бы установить <...> влияние „Певца" одической поэзии XVIII в. Самое построение „Певца" возвращает к принципам хвалебной песни классицизма с характерным для нее антифонным (два перекликающихся голоса) строением»[3]. Однако тип подобной «двухголосной» песни мало характерен для русского классицизма XVIII в. и уж никак не может быть связан с одой. Гораздо вероятнее, что Жуковский учел опыты по созданию образцов гражданской поэзии его друзьями из «Дружеского литературного общества», и в частности Мерзляковым. Деление на корифея и хор встречается в стихотворении последнего «Слава». Бесспорно ритмическое влияние переводов из Тиртея:

Друзья! страстям, порокам брань,
Гоните праздность, лесть!
Вся храбрых жизнь — отчизне дань,
Им пища — благо, честь!

Не случаен и образ поэта-борца, сотрудника воинов. Характерно, что в примечании к имени Бояна, открывающего галерею поэтов, среди которых мы не найдем ни одного представителя карамзинской традиции, Дашков писал: «Автор соглашается здесь со мнением некоторых писателей, приемлющих Бояна за великого стихотворца, который процветал во мрачные времена истории нашей и *подобно греческому Тиртею* (курсив мой. — *Ю. Л.*) возбуждал песнями своими мужество славянских воинов». Вряд ли прав Ц. Вольпе, когда видит в прославлении Кутузова и замалчивании роли Барклая (имени последнего Жуковский даже не упоминает) проявление того, что «в трактовке Отечества Жуковский целиком следовал за отечественной официозной литературой»[4]. Представления, о которых говорит исследователь, стали офици-

---

[1] Вестник Европы. 1807. № 24 (в оригинале на французском языке).
[2] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1878. С. 1.
[3] *Жуковский В. А.* Стихотворения. С. XX. Правда, тот же автор далее совершенно справедливо отмечает черты сходства «Певца» с гимном «К Радости» Ф. Шиллера. Можно, видимо, было бы говорить о влиянии шиллеровской традиции в творчестве Мерзлякова.
[4] Там же.

озными значительно позже, после смерти Кутузова и окончания войны, когда образ его был официально канонизирован. Для времени Тарутинского лагеря подобные настроения свойственны были именно атмосфере ставки Кутузова, а не духу правительственной интерпретации событий. Особенно показательно в этом отношении стихотворение «Вождю победителей».

Общее изменение творческой позиции Жуковского было определено, таким образом, тройственным влиянием общей атмосферы патриотического подъема 1812 г., обстановки штаба главнокомандующего и идейного воздействия сторонника народной, гражданственной, патриотической поэзии Андрея Кайсарова. Недаром стихотворение «Вождю победителей» оказалось включенным в традицию русской политической лирики[1]. В дальнейшем, попав в иное литературное окружение, Жуковский вернулся к элегической поэзии и более органичным для него карамзинским эстетическим принципам.

Участником литературного кружка штаба Кутузова был и Воейков. Здесь он написал стихотворения «Князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому» и «К Отечеству», примечательные патриотическим пафосом. «Будучи при Главной квартире, он добровольно вызвался и находился в отряде генерала-майора Кайсарова»[2].

С переходом армии через границу и прибытием в ставку Александра I атмосфера в штабе изменилась. Изменился и характер документов, публикуемых в типографии. Так, например, в период пребывания в Калише типография печатала приказы подобного рода: «Февраля 28 дня 1813, № 14. За развод сего числа, от гренадерского графа Аракчеева полка бывший, его императорское величество изъявляет высочайшее свое благоволение, нижним же чинам всемилостивейше жалует по рублю серебром на человека»[3]. Подобные приказы стали печататься в типографии регулярно. Кайсаров почувствовал себя лишним и перешел в отряд брата, также покинувшего к этому времени штаб и ставшего во главе партизанской «партии».

Активное участие народа в освобождении родины произвело огромное впечатление на передовую дворянскую интеллигенцию, вплотную поставив ее перед вопросом об исторических правах народа. Теоретически еще демократическая общественная мысль XVIII в. поставила вопрос о замене регулярной воинской силы, которая может стать орудием для достижения антинародных замыслов тирана, армией вооруженного народа. Освободительный смысл этой идеи ясен. Не случайно ее так энергично отстаивал Радищев.

---

[1] Так, строки:

Еще удар — и всей земле свобода,
И нет следов великого народа, —

характерно откликнулись в «Андрее Шенье» Пушкина:

...день один —
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа.

[2] Архив Шильдера. К-19. № 2. Л. 405.

[3] ЦГВИА. Ф. 103. 1813 г. Оп. 208-в. 52. Д. 4. Л. 152.

Революционная война, которую вела Французская республика, а затем освободительные войны народов Европы против Наполеона (прежде всего, испанского народа) одели эту идею плотью живых фактов и чрезвычайно способствовали ее популяризации в передовых кругах общества. Правительство, стремившееся к осуществлению прусско-павловского идеала «механического солдата», нерассуждающего исполнителя приказов, боялось не только этой постановки вопроса, но и стихийно-демократических требований воспитания инициативного и сознательного солдата, выдвинутых суворовской школой. На развязывание народной войны в 1812 г. правительство шло крайне неохотно, признавая как факт народное движение, остановить которое оно не имело сил[1]. Иначе относились к ней в среде передового офицерства. Убежденная в том, что «спорные дела государств решаются ныне не боем Горациев и Куриациев, не поединками полководцев <...> Ныне народ или народы восстают против народов»[2], передовая офицерская молодежь наблюдала рост народного движения, вспоминая освободительную войну испанского народа, когда «размеренные движения регулярной армии заменились, так сказать, *устроенным беспорядком* вооруженных поселян»[3]. Если для Кутузова интерес к народной войне был определен мудростью полководца, развивавшего в эпоху национальной угрозы стихийно-демократические принципы суворовской школы, то свободолюбивую молодежь в первую очередь увлекала поэзия «неограниченной страсти к независимости», как определил Д. Давыдов сущность партизанской борьбы. Партизанская война интересовала их не столько как военная, сколько как политическая проблема, причем воспринималась она сквозь призму романтического свободолюбия: «Сие исполненное поэзии поприще требует романтического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою прозаическою храбростию — это строфы Байрона»[4].

Энтузиаст и народолюбец А. С. Кайсаров, захваченный «поэзией великих подвигов» (Грибоедов), решил стать партизаном и добивался перевода в отряд брата. Своеобразная фигура профессора-партизана, бесспорно, заслу-

---

[1] Опасения правительства имели основания: народная война против Наполеона, сопровождаясь ростом политической активности крестьян, легко могла обернуться и против помещиков. Помещик В. Сойманов в частном письме писал: «Ежели Никольское еще существует, то это единственно по милости Гаврилы Анкудинова (старосты. — *Ю. Л.*), который, к совершенной неожиданности всех нас, сделался таким храбрым наездником и партизаном, что с дворовыми людьми своими и крестьянами убил 300 человек мародеров и фуражиров и 20 взяли в плен. Так что сии побродяги не смели более показываться к нему; в последнем на него нападении было с французами 2 пушки. По выходе однако же неприятеля некоторые из мужичонков подгадили по наущению попа своего; вступили было в наследники заживо старикова имения, вместе с своим наставником». Однако исправник, «испросив себе 50 казаков, тотчас усмирил шалунов тем, что пересек, а 2-х начинщиков... Бенкендорф расстрелял» (Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. Ч. IV. С. 347).

[2] *Давыдов Д.* Опыт теории партизанского действия. М., 1822. С. 46—47.

[3] Там же. С. 26.

[4] Там же. С. 83.

живает внимания военных историков 1812 г. К сожалению, этот период биографии А. С. Кайсарова остается документально не освещенным. У нас нет даже достоверного описания его героической гибели в битве при Гейнау 14 мая 1813 г. Приведем сохранившиеся данные об этом трагическом событии. Александр Иванович Тургенев много лет спустя вспоминал: «Неодолимое влечение в самом пылу народной войны умчало его от тихих муз в стан воинский, где Кутузов, по его предложению, устроил походную типографию. Но перу еще не было дела в стане русских воинов; в Андрее Кайсарове снова загорелся дух воинский, и в отряде брата взлетел он на воздух с пороховым ящиком»[1].

Воспоминания Бурдаха дают другую, видимо менее достоверную, картину гибели Кайсарова: «В то время, как Рамбах вернулся в Дерпт, перешел он [Кайсаров] в военную службу и когда после битвы у Лютцена и Бауцена началось вновь отступление, он был, как рассказывают, охвачен таким отчаянием, что взорвал себя вместе с артиллерийским обозом, которым он командовал»[2].

Смерть А. С. Кайсарова оставила след в официальной военной переписке. 15 мая 1813 г. Барклай-де-Толли доносил Александру: «Генерал-майор Кайсаров, коему предписано действовать с партиею в тылу неприятеля, напал вчерашнего числа между Герлицом и Рейхенбахом на неприятельский парк, взял два орудия, заклепал оных шесть, взорвал патронные и пороховые ящики, убил начальника парка полковника Лало и генерала, за парком следовавшего, положил на месте более 300 человек и взял в плен 80 чел<овек>. К сожалению, убит в сем деле дерптского университета профессор и московского ополчения майор Кайсаров»[3].

Смерть на поле боя оборвала короткую, но знаменательную деятельность тартуского профессора Андрея Сергеевича Кайсарова.

1958

---

[1] Современник. 1841. Т. XXI. С. 51.

[2] *Burdach K. F.* Op. cit. S. 266.

[3] Сб. исторических материалов, извлеченных из архива собственной его императ. вел. канцелярии // Сост. Н. Дубровин. Вып. 13. С. 153—154. Действия партизанского отряда П. Кайсарова 14 мая 1813 г. должны были быть отражены в донесении последнего Барклаю-Де-Толли. Однако обнаружить его в бумагах ЦГВИА нам не удалось.

От редакции

Читатель, уже поставивший на полку три тома сочинений Ю. М. Лотмана, выпущенных издательством «Искусство—СПБ» («Беседы о русской культуре», «Пушкин», «О поэтах и поэзии»), ждет следующей книги, объявленной в плане выпуска издательства — «О русской литературе». Предлагаемый том и является ее частью. Написанное Ю. М. Лотманом о русской литературе обширно, а его даже небольшие статьи или мелкие заметки столь значительны, что отказаться от тех или иных работ, ограничившись одной книгой, не представлялось возможным. Таким образом и выделился «персональный» карамзинский том.

Если Лотман-пушкинист известен каждому школьнику, то представление о Лотмане-карамзинисте не столь повсеместно, что отмечает в своей вступительной статье Б. Ф. Егоров, коллега и многолетний друг Лотмана. «Карамзин» — весомое доказательство того, что фигура русского историографа отнюдь не оставалась на периферии интересов Лотмана. Может быть, впервые молодые филологи и историки, педагоги, студенты и школьники, да и все, кому дорого «наше наследие», получат свод исследований о Карамзине, где научная фундаментальность соединяется с романтизмом, и строгая фактографичность с лирической интонацией.

Как и в «Пушкине», в «Карамзине» сама уникальность Ю. М. Лотмана как ученого объединяет написанное им в разные годы, для разной аудитории, с разными подходами. Самостроительство личности, самоопределение писателя, честь, как один из принципов человеческого существования, — эти идеи присутствуют в каждом исследовании Ю. М. Лотмана.

Издание вместило в себя все исследования о Карамзине, выпущенные Ю. М. Лотманом в период с 1957 по 1990 г. Естественно, что от публикации к публикации не только появлялись новые подходы, открывались новые факты, но и сохранялись исходные концепции. Однако перекличка или повторность некоторых положений не механистичны, всякий раз, в зависимости от контекста, они приобретают дополнительные смыслы. В основу структуры тома положен жанрово-хронологический принцип. Первый раздел включает выходившую отдельным изданием (в серии «Писатели о писателях») книгу «Сотворение Карамзина». Второй раздел содержит статьи монографического плана, третий — заметки и рецензии. В Приложение вошла одна из давних работ Лотмана, не переиздававшаяся, но имеющая до сих пор важнейшее значение для понимания истории русской литературы, — обширное исследование об Андрее Кайсарове. Приложенная к «карамзинским штудиям»,

она создает объемный образ эпохи. Небольшое эссе «Клио на распутье» открывает взгляды Лотмана на движение истории.

Одним из источников текста служило издание: *Лотман Ю. М.* Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992—1993 (далее ссылки на него даются сокращенно: *Избр. статьи*, том, страница.) Тексты этого издания сверялись в необходимых случаях с первой публикацией. Источником текста для статей, не вошедших в состав «Избранных статей», служила последняя прижизненная публикация.

По всем текстам проведена унификация: в подаче вспомогательных сведений, оформлении библиографических данных, подстрочных примечаний и цитат; написании различных наименований, условных сокращений и обозначений. В отдельных случаях проведена упорядоченность орфографии. Библиографические ссылки, где это необходимо, переведены на более поздние издания. Датировка статей дается, как было принято самим автором, по году выхода в свет соответствующего сборника.

Именной указатель подготовлен А. Ю. Балакиным.

К книге приложен альбом иллюстраций, где с возможной полнотой собран изобразительный материал, связанный с Н. М. Карамзиным и его окружением. Издательство пользуется случаем поблагодарить за предоставленные материалы и ценные консультации заведующую Литературным музеем ИРЛИ Т. А. Комарову и сотрудницу отдела эстампов РНБ И. Г. Ландер. С помощью И. Г. Ландер в альбом вошла часть иллюстраций из подборки О. Б. Враской, подготовленной ею в свое время по просьбе Ю. М. Лотмана.

I

Сотворение Карамзина — Печатается по отдельному изданию (М., 1987. 336 с.).

II

Эволюция мировоззрения Карамзина (1783—1803) — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1957. Вып. 51. С. 122—166.

Пути развития русской прозы 1800—1810-х гг. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1961. Вып. 104. С. 3—57.

Поэзия Карамзина — Печатается по «О поэтах и поэзии». Л., 1996. С. 285—323. Впервые — *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. [Вступ. статья]. С. 5—52; входило в состав: *Избр. статьи*. Т. 2. С. 159—193.

Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг.: (к генезису ист. концепции Карамзина) — XVIII век. Л., 1981. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII — нач. XIX в. С. 102—131.

«Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры — *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. [Вступ. статья; совм. с Б. А. Успенским]. С. 524—606.

Колумб русской истории — *Избр. статьи*. Т. 2. С. 206—227. Впервые — *Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1988. Кн. 4. С. 3—16.

«О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века — *Избр. статьи*. Т. 2. С. 194—205. Впервые — Лит. учеба. 1988, № 4. С. 88—95.

Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт французской революции — Великая французская революция и русская литература. Сб. статей. Л., 1990. С. 55—68.

III

Об одном читательском восприятии «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина (к структуре массового сознания XVIII в.) — XVII век. М.; Л., 1966. Сб. 6: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры: К 70-летию со дня рождения чл.-кор. АН СССР П. Н. Беркова. С. 280—285.

[Рецензия на книгу Л. Г. Кислягиной «Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина (1785—1803 гг.»] — История СССР. 1977, № 5. С. 197—200.

Приложение

Клио на распутье — Наше наследие. 1988, № 5, С. 1—4.

Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1958. Вып. 63. 192 с.

Произведения Н. М. Карамзина и основная литература о нем[1]

Карамзин Н. М. Сочинения: В 9 т. М., 1820.

Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1966.

Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Л., 1984.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. (Лит. памятники.)

Карамзин Н. М. История государства Российского. 2-е изд. СПб., 1818—1829. Т. 1—12; то же: В 6 кн., 12 т. М., 1993*.

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914; то же: Лит. учеба. 1988, № 4*.

Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Ч. 1.

[*Карамзин Н. М.*] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.

Из неизданных писем Карамзина (1793—1826). Публ. В. Э. Вацуро. Рус. лит. 1991, № 4*.

Письма Н. М. Карамзина к В. М. Карамзину (1795—1798). Публ. В. Э. Вацуро. Рус. лит. 1993, № 2*.

Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примеч. и объяснениями. М., 1866. Т. 1—2.

Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». Пб., 1899.

Эйхенбаум Б. М. Карамзин // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л., 1924.

Гуковский Г. А. Карамзин // История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. 5.

[1] В этот список, приложенный Ю. М. Лотманом к отдельному изданию «Сотворения Карамзина», редакция внесла несколько дополнений, они отмечены знаком *.

Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России первой четверти XIX века. М.; Л., 1957.

Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX в. // Русская литература. 1962. № 1.

Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л., 1969. (XVIII век. Сб. 8).

Ланда С. С. Дух революционных преобразований. 1816—1825. М., 1975.

Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». 2-е изд. М., 1986.

Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983.

Осетров Е. И. Три жизни Карамзина. М., 1985.

Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века // Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.

Пугачев В. В. Пушкин, Радищев и Карамзин. Саратов, 1992*.

Соловьев Е. А. Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский. Челябинск, 1994*.

Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения: к 200-летию со дня выхода в свет. М., 1995. [С воспроизведением текста первой публикации: «Московский журнал», ч. VI, 1792 г.]*.

Cross A. G. N. M. Karamzin. A Study of His Literary Career (1783—1803). London; Amsterdam, 1971.

Rothe H. N. M. Karamzins europäische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Ver. Gehlen, Bad Homburg v. d. H.; Berlin; Zürich. 1968.

Указатель имен

Абдуррахман III 450
Абеляр П. 378, 379
Август (Кай Юлий Цезарь Октавиан) 57, 271, 273, 414, 735
Аврамов И. Б. 732
Адлер Г. 463
Азадовский М. К. 716
Аксаков С. Т. 28
Александр 744
Александр I 14, 23, 25, 45, 78, 96, 110, 147, 160, 162, 176, 192, 244, 267, 268, 274—277, 282, 285, 292—297, 303, 335, 338, 341, 391, 394, 399, 407—409, 419, 429, 432, 451, 464, 481, 506, 533, 566, 576, 579, 582, 584, 587—593, 595, 596, 599, 637, 641, 660, 714, 731—736, 749, 757, 770, 781, 784, 785, 788, 789, 792, 796, 799, 802, 804
Александр II 161, 284
Александр Македонский 347, 599
Алексеев М. П. 45, 161, 182
Алексеев П. 572
Алексеев-Попов В. С. 426, 462, 504
Алексей Михайлович, царь 274, 339, 340, 379, 584, 591
Алиференко П. К. 318, 508
Альберти Л. Б. 559, 560
д'Альмера А. 147
Анастасевич В. Г. 725
Андерсен Х. К. 29
Андреев Л. Н. 56
Анкундинов Г. 803
Анна Иоанновна, царица 597
Анненков И. А. 243
Антон 758
Аракчеев А. А. 192, 284, 294, 296, 408, 409, 579, 591, 597, 661, 732, 802
д'Арвилль, г-жа 128
Арзумакова М. А. 168, 169, 486, 545
Ариосто Л. 545
Аристид 658
Аристотель 599, 669
д'Арлаш 126
Арндт (Arndt) Э. М. 287, 716, 717, 733, 789
Арсеньев В. И. 771
Арсеньев К. И. 740, 741, 749
Архаров И. П. 193
Архаров Н. П. 193
Арцыбашев Н. С. 579, 584
Ахматова А. А. 306

Бабеф Ф.-Н. 97, 502
Баггесен (Багзен) Й. 94, 95, 106
Багратион П. И. 278, 788
Багрянский М. И. 70, 73, 78, 320, 440, 460, 485, 505, 551
Баельвиц, барон 212
Баер Т. З. 744
Баженов В. И. 472
Базедов И. Б. 386
Базилевич Г. 74
Байрон Дж. Г. 221, 304
Баккаревич (Бакаревич) М. Н. 693
Бакстер А. 182
Бакунин М. А. 238
Бальзак Ж. Л. Г. де 555
Бальзак О. де 269
Бальи (Байи) Ж. С. 76, 97, 111, 113, 146, 500, 512, 571
Бантыш-Каменский Д. Н. 183, 261
Бараг П. 472
Баранская Н. В. 769
Баратынский Е. А. 11, 309, 586

Бардовский Я. И. 231
Барклай-де-Толли М. Б. 785, 786, 788, 789, 792, 794, 796, 798, 801, 804
Барнав А.-П.-Ж.-М. 111, 121, 124, 137, 160, 175, 512
Баррюэль О. 157, 505
Барсков Я. Л. 27, 30, 3638, 44, 52, 55, 62, 68—72, 74, 107, 204, 217, 218, 255, 316, 318, 320, 434, 441, 460, 485, 494—499, 514, 523, 528, 551, 608
Барсуков А. 468, 470, 533, 534
Барсуков Н. П. 393
Барсуков С. Г. 87, 236
Бартелеми (Barthelemy) Ж.-Ж. 20, 21, 120, 206, 223, 346, 377, 431, 517, 535, 571, 606, 610
Бартенев П. И. 174
Бартенева П. А. 261
Бархударов С. Г. 543
Барятинский, кн. 88
Барятинский Ф. 177
Баскаков, офицер 177
Баскин Ю. Я. 426
Батеньков Г. С. 661
Батый 580
Батюшков К. Н. 249, 305, 348, 381, 435, 454, 455, 549, 577, 586, 646, 670, 800, 801
Бахтин М. М. 308
Бедрага М. Г. 415
Безбородко А. А. 114, 173, 194, 473, 474, 509
Бейль П. 204, 209, 317
Бекетов А. Н. 31
Бекетов И. П. 31
Бекетов П. П. 31, 236
Беккариа Ч. 128
Беккер Г. 94, 100, 101, 162, 513
Бекман И. 704, 705
Бекфорд У. 132
Белинский В. Г. 138, 211, 295, 309, 312, 348, 359, 381, 382, 391, 399, 580, 641, 642, 681
Бениовский (Беневский) М. А. 482
Бенкендорф А. Х. 304, 770
Бентам И. 431
Бердяев Н. А. 635
Берк (Бурк) Э. 114, 509
Беркли Дж. 249, 684
Берков П. Н. 35, 122, 442, 528, 541, 545, 601, 620, 716, 721
Бернарден де Сен-Пьер Ж. А. 182, 431
Берни Ф. И. П. 88, 133, 157
Бертран А. 608
Бертье де Совиньи Л.-Б.-Ф. 76, 501
Берштейн Е. В. 234
Бестужев М. А. 416, 581
Бестужев-Марлинский А. А. 197, 291, 416, 566, 567, 642, 661, 679, 729, 775
Бестужев-Рюмин К. Н. 322
Бестужев-Рюмин М. П. 776
Бидер, слуга 151, 458, 498
Билинкис Я. С. 403
Бион 433
Биржакова Е. Э. 545, 550
Бицилли П. С. 189
Бишофсвердер И.-Р. 39, 461, 503
Благово (урожд. Янькова) А. Д. 533
Благово Д. Д. 533
Благой Д. Д. 54, 55, 60, 229, 380, 384
Блок А. А. 31, 56, 521
Блудов Д. Н. 194, 282, 284, 304, 318, 608
Бобринский А. Г. 45, 103, 170
Бобров Е. 550, 586
Бобров С. С. 188, 215, 316, 436, 533, 539, 541
Богданович И. Ф. 233
Болотов А. Т. 330
Болтин И. Н. 565, 760
Болховитинов Е. А. 714, 716, 763
Бомарше П. О. К. 139, 141, 168, 501
Бонне (Боннет) Ш. 22, 82, 95, 322, 423, 541
Бонневиль (Бонвиль, Боневиль) Н. 73, 462, 504, 512
Борис Годунов см. Годунов Б. Ф.
Бороздин А. К. 416
Бранкевич М. С. 362, 363
Брантом П. 555
Бреге (Брегет) А.-Л. 113
Бретейль Л.-О. 500
Бредихин, офицер 177
Брикнер А. Г. 508
Бродский Н. Л. 663

Броун, генерал-губернатор Риги и Ревеля 51
Брум Г. 168, 169
Бруннер, пастор 62
Брут Марк Юний 81, 108, 211, 214, 423, 608
Буало-Депрео Н. 195
Буйда, чиновник 703
Буйи Ж.-Н. 92, 93, 125, 142, 219
Булгаков А. Я. 278
Булгаков К. Я. 744, 745
Булгаков М. А. 300
Булгаков Я. И. 783
Булгаковы 652
Буле 708
Булич Н. Н. 637
Булье, переводчик 246, 476
Бурдах (Burdach) К. Ф. 755, 772, 774, 778, 780, 787, 804
Буринский З. А. 368
Бурцев И. Г. 732
Буслаев Ф. И. 489
Бутерверк (Бутверк) Ф. 213, 214, 217, 741, 742
Быкова Т. А. 168, 486
Бэкон Ф. 62, 202, 224, 322
Бюрк 158
Бюфлер, герцог 128
Бюффон Ж.-Л.-Л. 247, 249, 586
Бюш (Бюше) Ф.-Ж.-Б. 728

Вайан Ф. 201, 317
Варле Ж. 147
Василий III Иванович 580
Василий Шуйский *см.* Шуйский В. И.
Вацуро В. Э. 290, 305, 621
Вейлер, знакомая Карамзина 267
Вейнрих (Weinrich) Г. 557
Вельднер И.-К. 39, 65, 68, 73, 461
Вельяминов-Зернов В. Ф. 374
Венгеров С. А. 727
Веневитинов Д. В. 37, 681
Венк, переводчик 761
Вергилий 406, 433, 674, 677, 730
Верещагин М. Н. 279
Верещагина Е. И. 288
Вернадский В. И. 634
Вернадский Г. В. 35, 606, 757
Верне, историк 56, 99
Вертиляк 170
Веселитский В. В. 545, 553
Веселовский А. Н. 650, 753, 773
Веселовский С. Б. 581, 585
Вестрис-Аллар М.-О. 105, 106
Вигель Э. 790
Вико Дж. 231
Виланд Х. М. 22, 28, 52—55, 59, 60, 66, 67, 80, 99, 185, 423, 457, 524, 539
Вилетт, слуга 151, 153, 458
Виллемер И. Я. 497
Виллермоз Ж.-Б. 462, 464, 506
Вильгельм I 506
Винкельман И. И. 67
Виноградов А. К. 561
Виноградов В. В. 69, 202, 205, 212, 214, 225, 460, 499, 504, 541, 544, 545, 549, 550, 552, 553, 557, 561
Вишницер (Wischnitzer) М. 707
Владимир Мономах 760
Воейков А. Ф. 652, 655—662, 683, 684, 694, 753, 785, 802
Воейков П. П. 177, 178
Вожла (Vaugelas) К.-Ф. 556—558
Войнова Л. А. 545
Волгин В. П. 324
Волк С. С. 407
Волков А. С. 539
Волконский М. Н. 205
Волконский (Волхонский) П. М. 716
Вольней К.-Ф. 128, 206, 207, 210, 319, 331, 424, 429, 431, 516, 519, 610, 622
Вольпе Ц. С. 652, 662, 795, 801
Вольтер (Voltaire) 58, 73, 79, 80, 90, 94, 125, 129, 131, 132, 134, 141, 142, 152, 153, 155, 157, 171, 191, 219, 224, 228, 231, 269, 317, 322, 349, 369, 423, 451, 506, 519, 535—538, 548, 571, 609, 624, 629, 661, 677, 679, 699, 768
Вольцоген (Wolzogen) В. 162—164, 228, 443
Вольцоген К. 163
Воронихин А. Н. 96, 110, 159, 160
Воронцов А. Р. 44, 45, 51, 83, 171, 172, 194, 195, 274, 463, 466, 469, 472, 474, 481, 506, 507

Воронцов М. И. 171
Воронцов М. С. 172, 181, 193, 216, 474, 481, 507
Воронцов Р. И. 171, 479
Воронцов С. Р. 44, 46, 48—50, 83, 89, 161, 170—176, 178—182, 188, 194, 216, 463, 464, 466, 467, 472—475, 480—482, 506, 507, 535, 745
Воронцовы 46, 47, 49, 51, 89, 469, 481
Востоков А. Х. 642, 661, 676, 680
Вуатюр В. 129, 555
Вюртембергская, герцогиня 464, 506
Вяземская В. Ф. 578
Вяземский А. И. 120, 324, 325, 421, 422, 527, 561, 570, 606, 607
Вяземский П. А. 94, 128, 190, 192, 238, 251, 252, 278—280, 282, 285, 286, 289, 295, 296, 298, 299, 302—305, 327, 348, 383, 392, 393, 396, 399, 407—410, 413, 415, 423, 435, 561, 566, 567, 578, 582—584, 586, 600, 607, 663, 702, 723, 801

Гагарин, кн. 222
Галахов А. Д. 651, 690
Галилей Г. 565
Галинковский Я. А. 619
Галлер А. фон 78, 79, 95, 314, 315
Гальяни Ф. 128, 131
Гамалея С. И. 35, 42, 493, 494
Гаманн И. Г. 80
Гара 128
Гарве Х. 269
Гегель Г. В. Ф. 63, 123, 629, 630
Гёде (Göde) 746
Гейне Г. 258
Гейне Х. Г. 704
Геллерт Х. 423
Гельвеций К. А. 17, 36, 40, 46, 81, 131, 206, 207, 210, 317, 325, 527, 530, 699, 742
Гельвеций (Helvetius), г-жа 128, 571
Гемминген (Gemmingen), драматург 715
Геннади Г. Н. 236, 378
Гено Ф. 129
Генрих IV 90, 138, 141, 155, 156, 501, 503, 537, 538, 624
Гердер И. Г. 22, 56, 66, 67, 80, 82, 184, 223, 423, 519
Герцен А. И. 24, 47, 171, 228—231, 307, 308, 323, 386, 417, 428, 472, 520, 522, 525, 543, 567, 640, 641
Геснер С. 78, 79, 86, 154, 433
Гёте (Goethe) И. В. 35, 37, 41, 52, 53, 66, 67, 80, 81, 99, 197, 221—223, 257, 452, 532, 537, 697, 699
Гиббон Э. 566, 761
Гибер Ж.-А.-И. 133
Гиллельсон М. И. 290, 305, 621
Гиппиус Вас. В. 336
Гиппократ 59, 60
Глинка Г. А. 703, 747, 770
Глинка С. Н. 17, 211, 212, 271, 279, 318, 362, 575, 609, 640, 709, 788, 795
Глинка Ф. Н. 42, 153, 493, 780
Глоц (Glotz) М. 133, 198
Гнедич Н. И. 348, 358, 416, 435, 454, 540, 586, 673, 676, 800
Гнедич Т. Г. 64
Гоголь Н. В. 34, 58, 67, 297, 309, 359, 371, 403, 404, 417, 449, 454, 533, 551, 594, 595, 600, 620
Годунов Б. Ф. 569, 576, 580, 582, 583, 591, 621
Голенищев-Кутузов М. И. 8, 36, 67, 68, 648, 781, 784, 786, 787, 791—799, 801—803
Голенищев-Кутузов П. И. 253, 277, 278, 345, 679, 680
Голенищева-Кутузова Е. И. 36, 37, 68
Голенищевы-Кутузовы 37
Голиков И. И. 567
Голицын А. И. 48, 506
Голицын А. Н. 284, 285
Голицын Д.-А. Д. 48, 464, 506
Голицына Н. П. 45
Голицыны 159, 463, 464, 506
Головкин Ф. Г. 89
Гольбах П. 131, 133, 197
Гольц, прусский посол 91, 477, 478
Гомер 50, 57, 81, 321, 368, 406, 433, 468, 540, 586, 669, 674, 677

Гораций 433, 438
Гракхи 108
Граммон Ф. 129
Грёз Ж. Б. 358
Гренциус 750, 752
Гретри А.-Э.-М. 142, 219
Греч Н. И. 42, 329, 703, 721
Грибовский М. К. 732, 733
Грибоедов А. С. 12, 25, 67, 290, 348, 418, 579, 580, 586, 637, 638, 679, 748, 755, 777, 785, 803
Григорьев А. А. 305
Гримм Ф.-М. 88
Гриндель 785
Грот Я. К. 194, 318, 476, 552, 608, 609
Грумм-Гржимайло А. Г. 407
Груши 128
Гудар А. 431
Гуковский Г. А. 5, 25, 313, 370, 380, 481, 532, 711
Гурней М. де 258
Гурьев Д. А. 599
Гутенберг И. 150

Давыдов Д. В. 14, 286, 435, 586, 803
Даламбер Ж. Л. 125, 128, 130, 131, 133, 219, 317, 423, 609
Даль В. И. 204, 567
Данилов С. С. 711
Данте Алигьери 558, 559, 633
Дантон Ж. Ж. 73, 83, 139, 144, 147, 501, 513, 571
Дарвин Ч. 629
Дашков Д. В. 284
Дашкова Е. Р. 171, 469
Дебюк Е. 51
Декарт Р. 535, 667
Делиль Ж. 800
Демидов Г. А. 180
Демидова Е. П. 246
Демишель, гувернер 109
Демокрит 59, 60
Демосфен 114, 252, 413, 509
Демулен (Desmoulins) К. 73, 115, 139, 144, 147, 501, 510, 571
Демулен Л. 147
Де-Пуле М. 684
Державин Г. Р. 14, 58, 143, 168, 184, 188, 193—198, 205, 235, 239, 242, 244, 247, 274, 309, 316, 318, 352, 367, 434—438, 441, 470, 481, 528, 534, 597, 608, 609, 621, 668, 676, 681, 683
Державин К. Н. 135, 136, 140, 141, 155, 319, 501
Державина Е. Я. 193, 608
Деций Публий Мус 660
Джефферсон Т. 273
Джиллис Д. 566
Джунковский С. С. 180
Дидот Ф. А. 146
Дидро Д. 125, 128, 131, 135, 171, 219, 250, 358, 376, 394, 423, 441, 505, 694
Диккенс Ч. 181
св. Дионисий 132
Диц, музыкант 696
Дмитревский Д. И. 205
Дмитриев А. И. 43
Дмитриев И. И. 14, 20, 24, 27, 31—33, 43, 75, 118, 120, 162, 166, 167, 183, 184, 190, 193, 199, 205, 226, 233—236, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 248, 252, 253, 260, 261, 264, 266, 267, 274, 280, 281, 283—285, 289, 292—295, 297, 299, 301, 303, 312, 323, 324, 328, 347, 383, 408, 414, 419, 425, 428, 435, 443, 444, 446, 448, 449, 457, 476, 479, 485, 490, 498, 512, 514, 545, 547, 552, 553, 561, 566, 567, 578, 598, 608, 611, 621, 623, 649, 652, 671, 685
Дмитриев М. А. 490, 681
Дмитриев-Мамонов М. А. 158, 503, 504, 595, 780
Добровский 645, 744
Добролюбов Н. А. 210
Долгоруков В. В. 533
Долгоруков И. М. 437
Долкоруков П. В. 648
Долгоруков Ю. В. 533
Долгорукова В. А. 533
Долгорукова Е. А. 533
Дорсет *см.* Саквилль
Достоевский Ф. М. 25, 56, 306—309, 348, 387, 417, 491, 633
Достоевские 308
Дре-Брезе, маркиз 137

Дружинин Н. М. 288, 781
Дубельт Л. В. 770
Дубровский, владелец типографии 767
Дубровский П. П. 45, 161
Дурылин С. 799
Дьюи Х. В. 381
Дю Барри М.-Ж. Г. 272, 575
Дю Белле 538
Дюбрейль 97, 109
Дю Дефан (Дюдефан; du Deffand) М.-В.-Ш. 130, 132, 133
Дюкло Ш. П. 128
Дюкре-Дюмениль Ф.-Г. 269, 374, 669
Дюлоран А. 355
Дю Мен, герцогиня 132
Дюмон А. 121, 122, 427, 517
Дюмурье Ш.-Ф. 227
Дю Радье Д. 152
Дюпати (дю-Пати) Ш. 73, 125, 128, 220, 531, 532, 535
Дюпле М. 130
Дюпле Э. 130, 513
Дюпор А. 124
Дюринг Е. 40

Евгений *см.* Болховитинов Е. А.
Евгений Савойский 660
Еврипид 433
Еймермахер К. 472
Екатерина II 24, 34, 39, 45—47, 77, 84, 88, 90, 92, 93, 103, 104, 110, 114, 117, 130, 132, 160, 171—174, 178, 179, 192—194, 205, 232, 234, 244, 245, 268, 318, 320, 324, 346, 425, 429, 430, 441, 443, 450, 461, 463, 469, 470, 472—475, 478—482, 505—509, 511, 514, 529, 534, 591, 597, 609, 611, 624, 639, 728, 765, 778
Екатерина Медичи 113, 508, 609
Екатерина Павловна, вел. кн. 244, 296, 407, 579
Елагин И. П. 39
Елизавета Алексеевна, императрица 292, 409, 579
Елизавета Петровна, императрица 171, 176, 177, 597
Елизавета Тюдор, англ. королева 50, 468
Еремеев Лука (псевдоним) 342, 343
Еремин И. П. 400, 402
Ермолов А. П. 45
Есипов А. 711
Ефремов П. А. 647, 795

Жанлис С.-Ф. 269, 374, 542, 556, 669
Жилин П. А. 784
Жирмунский В. М. 132
Жихарев С. П. 711
Жоффрен М.-Т. 88, 128, 130132
Жуковский В. А. 17, 172, 183, 238, 243, 249, 259, 278, 280, 282, 284, 285, 301, 304, 309, 328, 330, 332, 348, 381, 432, 435, 446, 454, 455, 549, 561, 578, 583, 586, 590, 645—647, 650, 654, 656, 657, 662, 671, 672, 676—678, 680, 681, 685, 686, 688—697, 699—701, 707, 708, 711, 753, 773, 793—795, 799 802

Забинкова Н. 717
Заборов П. Р. 538
Завадовский П. В. 171, 274, 750
Загряжская Н. К. 171
Замкова В. В. 543
Занд К.-Л. 408
Западов А. В. 726
Запольский В. И. 308
Засулич В. И. 644
Зейдер, пастор 252
Зеленин В. В. 756
Зенон 241, 323
Зиновьев В. Н. 45—50, 54, 88, 172, 180, 195, 463, 464, 466—468, 470, 475, 506, 507, 534, 535
Зиновьев Н. 463
Зиновьева (Орлова) Е. Н. 46, 47, 463, 468—470, 533, 534
Зорин А. Л. 307
Зороастр (Зароастр) 539
Зотов Н. М. (Конон Зотов) 55
Зубов П. А. 180, 181, 232, 274, 480
Зюсс (Süss) В. 773
Зюссмильх (Зюсмильх) И.-П. 728

Иванов М. В. 490
Иванов Ф. Ф. 345
Игнатович И. 640
Игорь, кн. 760
Измайлов А. Е. 222, 362, 364, 365
Измайлов П. И. 177
Илья, слуга Карамзина 26
Ингольд-Ракуза И. 472
Индова Е. И. 171
Иоанн III 278, 580, 591, 725, 760
Иоанн IV Грозный 94, 170, 276, 280, 289, 291, 307, 347, 367, 395, 398, 400, 409, 411, 412, 414—416, 580—583
Иоани Дамаскин 517
Иоанн, экзарх Болгарский 517
Иосиф 706
Исаченко А. В. 550
Истрин В. М. 646, 650—654, 656, 658, 659, 662, 678, 687, 692, 702, 703, 707, 708, 759, 774, 780

Кабанис П.-Ж-Ж. 73, 128
Кавелин К. Д. 570, 580, 581, 585
Каганова А. 318, 508
Казот Ж. 40, 132
Казотти П. 379, 380
Кайсаров А. С. 8, 17, 19, 282, 637—804
Кайсаров М. С. 648, 651, 656, 658, 684, 686
Кайсаров Паисий С. 648, 781, 783, 784, 792, 793, 804
Кайсаров Петр С. 648, 695
Кайсаров С. А. 648
Калайдович К. Ф. 278, 578
Калас Ж. 231, 538
Калигула 414
Калиостро А. (Бальзамо Дж.) 158, 202, 515
Каменев Г. П. 550
Камоэнс Л. 578, 669, 677
Кампе (Campe) И.-Г. 138, 500, 501
Кант И. 22, 23, 37, 54, 60—66, 79, 8082, 99, 120, 164, 184, 204, 211, 223, 227, 248, 325, 392, 421—423, 441, 457, 524, 571, 606, 607, 699, 741, 742
Канунова Ф. В. 561, 621
Капнист В. В. 435, 600
Каподистрия И. А. 15, 409
Карагеоргий 757
Караджич В. С. 754
Каразин В. Н. 413
Каракалла (Карракала) 50, 468
Карамзин Андрей Н. (1814—1854) 153
Карамзин Андрей Н. (ум. 1813) 278
Карамзин Василий. М. 234, 235
Карамзин Владимир М. 294
Карамзин М. 31, 33
Карамзина (урожд. Колыванова) Е. А. 7, 12, 16, 259, 285, 289, 294, 295, 408, 485, 578, 597
Карамзина (урожд. Протасова) Е. И. 17, 19, 253, 254, 261, 691
Карамзина Н. М. 280, 583
Карамзина С. Н. 261
Карамзины 31, 278, 293
Кара-Мурза 30
Карамышев А. М. 262
Карл V 398
Карл IX 106, 113, 115, 126, 136, 138, 139, 424, 500, 501, 509, 515, 609
Карл X (д'Артуа) 181
Карл, герцог Зюдерманландский 39
Карл Вильгельм Фердинанд, герцог Брауншвейгский 47, 73, 148, 464, 506
Кастильоне Б. 559, 560
Катенин П. А. 190, 679
Катон Марк Порций 211, 214, 251, 262, 276, 413, 573
Кафенгауз Б. Б. 407
Каховские 683
Каховский П. Г. 661
Качеповский М. Т. 185, 293, 584
Кашпиров В. 793
Киреевский И. В. 348
Кирпичников А. И. 508
Киселев Д. И. 267
Кислягина Л. Г. 28, 621—626
Клемент VI 100
Клермонский, епископ 136
Климент V 156, 503
Клингер 750, 752, 785, 792
Клоотц (Клоотс) А. 128, 150, 158, 431

Клопшток Ф. Г. 60, 79, 245, 423, 433, 433
Ключарев Ф. П. 205
Ключевский В. О. 7, 35, 40, 297, 585, 586
Княжнин Я. Б. 258, 551, 670, 683, 709
Ковалевская Е. Г. 543
Кодр 658
Козельский Я. П. 339, 343, 666
Козлов В. И. 43
Козловский М. И. 107, 160
Козодавлев О. П. 242
Кола ди Риенцо 158
Колардо Ш.-П. 379
Колло д'Эрбуа 147
Колокольников В. Я. 56, 74, 459, 497, 505
Колумб Х. 218, 295, 306, 565
Комаров М. 372, 373
Комаровский Е. Ф. 45, 46, 103, 147, 167, 170, 180, 457, 464
Коммод 50, 468
Конде Генрих II, принц 88, 473
Кондильяк Э. Б. де 17, 80, 249, 262, 322, 390, 423, 441, 505, 666, 704
Кондорсе (Condorset) М.-Ж.-А.-Н. К. 73, 123, 128, 191, 207, 223, 231, 474, 479, 480, 492, 512, 519, 537, 571, 629
Констан Б. 561
Константин Павлович, вел. кн. 45, 147, 232
Коперник Н. 219, 565
Корвин-Круковские 257
Корнель П. 674, 700
Корнилович А. О. 407
Кочетков А. Н. 796
Кочеткова Н. Д. 205, 621
Кочубей В. П. 180, 181, 274, 728, 731, 749
Коцебу А.-Ф.-Ф. фон 408, 619, 700, 709, 710, 750, 751
Кошелев Р. А. 45, 46, 48, 161, 285, 463, 464, 506, 535
Кошелева В. И. 45, 46, 464, 466
Креки (Crequy) де Фрулэ Р.-К. 157, 158
Крестова Л. В. 721
Кречетов В. И. 659
Кривцов Н. И. 408
Криницкий П. В. 160, 161
Кромвель О. 105, 158, 582
Кропотов А. Ф. 360, 362
Кросс (Cross) А. Г. 167, 168, 180, 182, 206, 486, 621
Крылов И. А. 7, 17, 233, 348, 349, 367, 399, 400, 435, 586, 642, 670, 676, 680, 691, 765, 800
Ксенофонт 539
Кудашев Н. Д. 793
Кудлай Д. М. 329, 721
Кулакова Л. И. 551
Кулибин И. П. 719
Куницын А. П. 642, 707, 740
Кунклер, знакомый Карамзина 75, 99, 124
Купреянова Е. Н. 465, 489
Куракин А. Б. 39, 783
Куракины 222
Курбский А. М. 414
Кутайсов А. И. 278
Кутанов Н. 327, 663
Кутина Л. Л. 545
Кутузов А. М. 5, 20, 22, 27, 30, 35—38, 40, 42, 44—46, 61, 62, 65—74, 76—79, 94, 97, 107, 119, 128, 172, 184, 195, 204, 213, 2162—18, 248, 254—256, 301, 313—316, 318, 320, 321, 328, 333, 386, 419, 420, 429, 433, 434, 440, 458—461, 463, 464, 466, 475, 485, 493—500, 502, 503, 505—507, 514, 523, 528, 530, 534, 535, 539, 551, 605, 608, 685
Кутузов М. И. *см.* Голенищев-Кутузов М. И.
Кучеров А. Я. 312, 652
Кюстин А. де 76
Кюхельбекер В. К. 128, 291, 348, 400, 413, 415, 546, 549, 553, 586, 679, 755

Лабзин А. Ф. 464
Лабзина (Карамышева) А. Е. 221, 262
Лавуазье А.-Л. 22, 223, 229, 512
Лагарп Ж.-Ф. 40, 130
Лазарчук Р. М. 621
Лазовский 147

Лаланд Ж.-Ж. 73
Лалли-Толлиндаль 77
Лало, полковник 804
Ламет А. 124, 571
Ламет, братья 118, 121, 625
Ламетри Ж. О. 317
Ланкло А. (Н.) де 129, 133
Ланской 65
Лантье Э.-Ф. де 556
Ла-Пренс-де-Бомон 259
Ларив (ла-Рив) Ж. 134, 135
Лафайет Ж. 76, 97, 104, 105, 112, 113, 122, 123, 146, 500, 508, 512, 571, 602
Лафатер (Lavater) И.-К. 53, 61—66, 75, 78, 80—82, 84—89, 94—96, 99, 184, 204, 248, 394, 423, 458, 470, 471, 473, 475, 489, 494, 530
Лафонтен Ж. 253, 546
Левад Л. 97
Левин В. Д. 543—545, 553, 556, 557
Леклерк Н. Г. 760, 767
Ленге С.-Н.-А. 592
Ленин В. И. 325, 334, 426, 640—642, 664, 772
Ленуар П. 145, 516
Ленц Ф.-Д. 52, 53
Ленц Я. 35, 37, 52, 53, 61, 62, 66, 79, 99
Леонид 661
Леопольд 744
Леопольд II 206, 625
Лепелетье де Сен-Фаржо Л. М. 158
Лермонтов М. Ю. 67, 190
Лернер Н. О. 727
Лесаж А. Р. 620
Лессинг Г. Э. 38, 52, 60, 63, 80, 134, 135, 423
Леспинас Ж.-Ж.-Э. 131
Лефорт Ф. Я. 219
Лефранк, аббат 157
Ливен, гр. 708
Линецкая Э. Л. 195
Липс И. Г. 200
Литке Ф. П. 280, 409
Лихачев Д. С. 400
Лихачев Н. П. 794
Лихтвер М. Г. 202
Ло Дж. 41
Ложье Ц. 790, 795
Локк Дж. 314, 322
Ломоносов М. В. 142, 143, 173, 174, 176, 188, 282, 320, 436, 452, 474, 475, 482, 567, 666, 668, 671, 674, 676, 677, 681—683, 708, 761
Лонгинов М. Н. 35, 267
Лопухин И. В. 48, 67, 68, 70, 74, 204, 244, 318, 459, 496, 497, 505, 653, 684
Лопухина А. 254
Лопухины 678
Лорер Н. И. 291, 416, 582
Лорм М. де 129
Лотман Ю. М. 58, 49, 158, 188, 211, 212, 252, 282, 289, 316, 344, 408, 409, 423, 502, 519, 521, 529, 541, 543, 548, 550—553, 557, 562, 612, 613, 621, 622, 654, 683, 736
Лудольф 753
Лузянина Л. Н. 621
Лукан М. Анней 251, 262
Лукач Г. 699
Лукин Н. М. 514
Лустало 98
Львов Н. А. 242, 436, 676
Льюис М. Г. 374
Лэйа, драматург 136
Любарский А. 647
Людовик XIV 77, 114, 129, 130, 224, 509
Людовик XV 154, 171
Людовик XVI 76, 112, 148, 149, 156—158, 169, 181, 206, 322, 461, 500, 508, 512, 571, 624, 625
Людовик XVIII 112, 149

Мабли (Mably) Г.-Б. 46, 129, 165, 224, 228, 325, 397, 422, 518, 519, 527, 570, 571, 573, 607, 700
Магницкий М. Л. 691
Мазарини Дж. 257
Майков В. И. 437
Макаров П. И. 542—544, 547, 548, 550, 555, 556, 558, 561
Макогоненко Г. П. 35, 442, 481, 588, 601, 621, 642
Максимович Л. М. 759

Малиновский А. Ф. 180, 395
Малиновский В. Ф. 180, 182, 431
Мальсен Г. 534
Мандевиль Б. 314
Мансуров Н. П. 533
Манфред А. З. 116, 122
Марат Ж.-П. 83, 112, 113, 121, 130, 136, 139, 141, 227, 231, 322, 508, 574, 602
Марешаль С. де 355—356
Мариво П. К. 149
Марин А. Н. 286
Марин С. Н. 286
Мария Антуанетта 105, 106, 112, 148, 149, 158, 512, 571
Мария-Луиза 783
Мария Павловна, вел. кн. 162
Мария Федоровна, императрица 48, 62, 63, 84, 86, 88, 161, 292, 464, 472, 473, 475, 506, 507, 579
Маркс К. 8, 40, 314, 630, 737, 757
Мармонтель Ж.-Ф. 93, 125, 128, 130, 131, 241, 246, 674, 694, 695
Машков (Мошков) А. 48, 49, 161, 167, 457, 463, 464, 473, 506
Маяковский В. В. 13, 218, 306, 307, 491
Медичи Л. де 559
Мелиссино И. И. 270
Мельгунов С. П. 73
Меморский М. Ф. 350, 354
Менаж Ж. 129, 555
Мендельсон М. 61—63, 65, 80
Меньшиков, офицер 178
Мер (Maire) М. 133, 198
Мерзляков А. Ф. 348, 359, 382, 432, 616, 617, 642, 651, 654, 656—658, 664—678, 680—686, 688—690, 692—694, 696—699, 705, 716, 745, 767, 774, 800, 801
Мериме П. 561
Меркель (Merkel) Г. 719, 787, 791
Мерсье (Mercier) С. 28, 136, 206—208, 224, 319, 424, 429, 516, 610, 622
Местр Ж. де 272
Метастазио П. 260
Меценат Гай Цильний 57
Миллер Г. Ф. 761
Милонов М. В. 286, 415
Мильтиад 658
Мильтон Д. 37, 50, 79, 187, 433, 468, 669, 677
Милюков П. Н. 585
Минин К. З. 683, 785
Миних Б.-Х. 91, 175
Минкина А. Ф. 661
Минц З. Г. 236
Мирабо (Mirabeau) Г. О.-Р. 77, 80, 104, 105, 111—118, 121, 124, 125, 128, 137, 145, 146, 149, 150, 158, 159, 195, 201, 206, 223, 231, 324, 425, 426, 508, 509, 511—513, 516, 571—574, 602, 609, 610, 611
Миранда, офицер 473
Мирза-Якуб (Маркарян Я.) 12
Мискетти 236
Михаил Федорович, царь 584
Михайловский-Данилевский А. И. 793, 794
Моле Ж.-Б. 156, 158
Молчанов П. С. 545
Мольер Ж. Б. 30, 91, 117, 257
Мольтке А. Г. 94, 95, 106
Монвель Ж.-М.-Б. 140, 318, 515
Монморанси 76
Монтемар, герцог 76
Монтескье (Montesquieu) Ш. Л. 83, 118, 130—132, 422, 423, 593, 607, 700
Мор Т. 119, 165, 420, 432, 518, 570, 573, 605, 607
Моргенштерн (Morgenstern) К. 773
Мордвинов Н. С. 274
Мордовченко Н. И. 5, 313, 637, 679
Мореле 128
Морелли, аббат 131
Морен (Morin) Ж. 102, 106
Мори Ж. С. 113—118, 136, 146, 223, 425, 426, 508, 510—513, 516, 571, 611
Мориц К. Ф. 66
Мосин А. 153
Москотильников С. А. 550
Мосх 433
Мотт А. де-ла 76
Мстислав Давыдович, вел. кн. 762
Муравьев А. М. 288
Муравьев И. М. 474

Муравьев М. Н. 287, 435
Муравьев Н. М. 212, 286, 287, 291, 579, 765
Муравьев Н. Н. 378
Муравьева Е. Ф. 287, 289, 578
Мушицкий 753, 754, 756, 757
Мюссе А. 211, 221

Надеждин Н. И. 348, 680
Наполеон I Бонапарт 14, 15, 17, 25, 110, 144, 157, 235, 270—274, 276, 278, 302, 391, 394, 432, 451, 452, 567, 572, 576, 578, 590, 596, 612, 640, 722, 760, 761, 781—785, 788, 794, 797, 798, 803
Нарежный В. Т. 358, 359, 365—372, 416, 586, 664
Невзоров М. И. 56, 74, 459, 497, 505, 678, 697
Негедл 744
Неккер Ж. 98, 112, 126, 158, 512
Неккер (Necker) , г-жа 125, 127, 128, 133, 512, 571
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 242, 435, 600, 676
Неллер Г. 169
Неплюев И. И. 31
Нерон 24, 414, 453
Нечкина М. В. 308, 638, 748
Никитенко А. В. 305
Николаев Н. С. 711
Николаи Г.-Л. фон 386, 524
Николаи К. Ф. 66
Николай I 172, 245, 284, 302, 304, 416, 568, 582, 589, 593, 600
Николай Михайлович, вел. кн. 96, 108, 110, 112, 160, 338, 464, 592, 733, 781
Николев Н. П. 545
Николь, аббат 237
Никон 697, 760
Ноай (Ноайль) Л.-М.-А. де 76
Новиков Н. И. 5, 16, 20—22, 27, 29, 30, 33—35, 37—40, 44, 47, 56, 67, 68, 70, 73, 74, 77, 78, 119, 175, 183, 185, 192, 193, 204, 205, 219, 244, 260, 265, 270, 305, 314, 323, 352—355, 419, 420, 428—430, 458, 461, 466, 472, 482, 493, 500, 502, 505, 506, 515, 529, 541, 550, 551, 555, 570, 577, 605, 713, 721, 759, 778
Новосильцев Н. Н. 110, 274, 293, 707
Новосильцев П. И. 194, 497, 608, 745
Нодэ Ж.-Б.-Ж.-М. 139
Ньютон И. 81, 219, 224, 322, 535

Овидий 433
Огарев Н. П. 308
Одоевский А. И. 243
Окунь С. Б. 793
Олар (Aulard) А. 83, 111, 115—118, 123, 141, 155
Олег, кн. 755
Оленина В. А. 212
Оливье Г. А. 274, 340, 341
Орлеанский, герцог 158, 159
Орлов А. Г. 171
Орлов В. Н. 326, 638, 652, 695, 709, 738, 740
Орлов Г. Г. 46, 47, 463, 469, 470, 533, 534
Орлов М. Ф. 7, 408, 419, 579, 765, 775—777, 780
Орловы 175, 463
Остерман А. И. 393—394
Остолопов Н. Ф. 364, 365
Оссиан 79, 388, 433

Павел I 24, 25, 39, 48, 62, 63, 84—90, 93, 94, 110, 114, 120, 161, 176, 179, 193, 242, 244, 250, 253, 254, 267, 270, 318, 324, 327, 332, 419, 421, 423, 432, 441, 442, 450, 451, 461, 470, 471, 473—475, 477, 479, 481, 482, 505, 506, 509, 552, 561, 574, 591, 596, 597, 600, 639, 640, 648, 658—661, 663, 684, 687, 694, 778
Павлов, дипломат 167
Павлович С. Э. 621, 622
Палицын А. 760
Пальмиери М. 560
Памва Берында 75
Панин Н. И. 24, 39, 84, 89, 174, 423, 472, 480—482, 607
Панины 83, 222
Паррот, цензор 752

Пасван-Оглу 273—275, 339—341, 576
Пастернак Б. Л. 15, 123
Патер 202
Паулучи Ф. О. 792
Пекарский П. П. 35, 55, 476
Пелиссон П. 129, 555
Пенн В. 431
Перекусихина М. С. 194, 608
Переселенков С. А. 711, 734
Перикл 657
Перу (Perroud) К. 108, 160
Перцов В. Н. 73
Песталоцци И.-Г. 386
Пестель И. Б. 70, 255
Пестель П. И. 243, 776, 780, 781
Петион 121
Петр I 31, 34, 55, 57, 112, 142, 169, 177, 218, 219, 223, 224, 229, 292, 392, 393, 426, 479, 484, 486, 518, 521, 565—569, 574, 584, 591, 594, 596, 597, 600, 612, 628, 682
Петр III 90—93, 171, 173—179, 247, 469, 477—479, 481, 482, 597, 658—660
Петрарка Ф. 71, 100, 513, 560
Петров А. А. 16, 20, 26, 27, 32, 35, 37, 38, 48, 52, 59, 60, 66, 69, 77, 78, 80, 205, 226—229, 248, 249, 322, 325, 419, 430, 440, 494, 505, 526, 539, 558
Петров В. П. 436
Петров П. Н. 648
Петухов Е. В. 647, 774
Пигоде-Лебрюн 360
Пилат Понтий 100
Пиль М. А. 43
Питт У. Младший 50, 468
Питт У. Старший 50, 114, 468, 487, 509
Питтак 241
Пифагор 539
Плавт Тит Макций 628
Платнер Э. 22, 45
Платон 120, 121, 189, 241, 267, 325, 346, 347, 420—423, 432, 518, 570, 571, 573, 605—607, 657
Платонов С. Ф. 523, 569, 570, 580
Плеханов Г. В. 137
Плещеев Александр Александрович 243
Плещеев Александр Алексеевич 236—238, 243
Плещеев Алексей Александрович (старший) 27, 30, 38, 44, 235, 237, 255, 256, 316, 433, 498, 528
Плещеев Алексей Александрович (младший) 243
Плещеев С. И. 694
Плещеева Александра А. 243, 256
Плещеева А. (Н.) И. 19, 20, 27, 30, 62, 68—72, 107, 184, 226, 236—238, 243, 253—255, 256, 259, 260, 261, 320, 493—495, 514, 608
Плещеевы 19, 27, 37, 66, 69, 179, 186, 199, 227, 232, 235, 237, 239, 243, 254, 260, 485, 494, 495, 498, 539
Плутарх 211, 566
Пнин И. П. 326, 695, 706, 736—741, 743
Погодин М. П. 32, 38, 43, 166, 184, 193, 226, 278, 318, 322, 336, 490, 581, 608
Подшивалов В. С. 252
Пожарский Д. М. 683
Поздеев 684
Покровский В. 552
Полевой К. А. 279
Полевой Н. А. 197, 279, 305, 348, 381, 547, 584, 585, 631
Полиньяк М. 132
Помпадур Ж.-А. П. 272, 575
Пономарев С. 476
Понятовский С.-А. 88, 132
Попов А. Н. 506, 521
Попов В. С. 194
Попов Н. А. 553, 767
Попугаев В. В. 706, 709, 736, 740, 741, 743, 745
Порошин В. С. 476, 552, 561
Порталис 337—339
Поспелов Г. Н. 336
Потемкин Г. А. 47, 84, 179, 463, 469, 480, 534
Походящин Г. М. 34
Правдин Б. В. 647, 717, 753

Предтеченский А. В. 274, 601, 790, 794
Пригожин И. 633635
Прованский, граф *см.* Людовик XVIII
Прозоровский А. А. 70, 208, 320
Прокопий 764
Прокопович-Антонский А. А. 609, 653, 711, 712, 714
Пропп В. Я. 372
Протасова (Воейкова) А. А. 238
Протасова Е. А. 238
Протасова М. А. 238
Пугачев В. В. 601—603
Пугачев Е. И. 14, 302, 381, 480
Пукалов 294
Пумпянский Л. 508
Пушкин А. М. 383
Пушкин А. С. 6, 7, 12, 14, 21, 23, 25, 30, 32, 33, 39, 42, 43, 58, 67, 104, 110, 115, 121, 122, 158, 159, 171, 173, 175, 182, 183, 185, 190, 192, 198, 199, 219, 221, 232, 243, 258, 261, 265, 266, 269, 279, 282, 284—286, 288, 289, 291, 292, 294, 295, 301, 302, 304, 307, 309, 312, 343, 345, 348, 359, 370, 372, 381, 386, 398, 401, 407, 408, 416, 418, 419, 425, 429, 435, 445, 458, 493, 498, 507, 511, 525, 527, 549, 550, 553, 561, 565, 568, 572, 574, 583, 586, 588—591, 596, 598, 600, 607, 610—613, 621, 626, 632—634, 637, 642, 672, 679, 681, 707, 722, 727, 802
Пушкин В. Л. 283, 306, 490, 550
Пушкин, сосед Карамзиных 31
Пушкина, графиня 20
Пущин И. И. 252, 327, 661
Пыпин А. Н. 46, 588—590, 592, 593, 637
Пюр, аббат 258

Рабо де Сент-Этьен (Rabaut de Saint-Etienne) Ж. П. 111, 512, 571
Равальяк Ф. 155, 538, 624
Радищев А. Н. 5, 35, 36, 38, 39, 40, 44—47, 49, 51, 58, 67, 68, 71, 77, 78, 82, 83, 112—114, 121, 140, 171, 172, 174, 194, 195, 204, 210—212, 229, 244, 250, 289, 316, 318, 321, 326, 328, 334, 335, 338, 339, 342, 344, 347—349, 355, 360, 366, 384, 386, 412, 420, 421, 425, 430, 435, 436, 450, 461, 463, 472, 481, 502, 506—509, 511, 534, 572, 574, 595, 601—605, 607, 610, 612, 613, 628, 637, 638, 640—642, 644, 666, 671, 699, 716, 725—727, 735—740, 762, 763, 765, 769, 776
Радклиф А. 240, 374, 375
Разумовская, графиня 48, 463, 506
Разумовский А. К. 277, 497, 748, 792
Разумовский Г. К. 534
Разумовский К. Г. 470, 534
Рамбах (Rambach), профессор 785—789, 791, 795, 804
Рамбуйе (Рамбулье) Е. 220, 259, 556
Рамзей (Рамсей; Ramsey) Э. 19, 20, 28, 60, 94, 157, 539
Рамлер К. В. 66
Расин Ж. 93, 125, 544, 699, 700
Рашид Рейс Эффенди 273, 274
Ревуненков В. Г. 158
Регул Марк Атиллий 214, 660, 661
Резанов В. И. 650, 711
Реизов Б. Г. 404, 406
Рейн, боксер 180
Рейналь Г.-Т.-Ф. 131, 349, 474
Рейнуар Ф.-Ж.-М. 157
Рейхель, масон 39
Ренан Э. 14
Реньяр Ж. Ф. 149
Репнин Н. В. 48, 463, 467, 506
Ретиф де ла Бретон Н.-Э. 140, 208, 318, 424, 515, 609
Решетников А. 720, 721, 763
Ривароль А. 128, 139
Римский-Корсаков А. М. 473
Рихтер И. Г. 168, 184
Ричардсон С. 105, 545
Ришелье А. Ж. Д. 269, 451
Робертсон У. 398, 566
Робеспьер (Robespierre) М. 23, 83, 111, 116—119, 121, 122, 130, 136, 141, 158, 175, 211, 229, 231, 234, 394, 422, 425—427, 451, 511—513, 517, 518, 571, 572, 574, 592, 603, 610—613
Роболи Т. 220, 531, 532, 535

Рогожин В. Н. 683
Родзянко С. Е. 656, 686, 687, 692, 780
Рожнов, прапорщик 659
Розанов М. Н. 52
Розенталь 750, 751
Рокур (Ронкур) М.-А. 134
Роллень Ш. 31
Ромм (Romme) Ж. 23, 56, 73, 75, 95—97, 99, 108—110, 115, 118, 121, 124, 159, 160, 211, 212, 512, 513, 571
Ростопчин (Растопчин) Ф. В. 178—180, 253, 278, 279, 407, 463, 482, 578, 598, 640, 731, 781, 793, 797, 799
Роте (Rothe) Г. 60—62, 504, 621
Рубановская Е. В. 36
Рулье 98
Румянцев Н. П. 274
Румянцев П. А. 176, 178
Румянцев С. П. 274
Рунич Д. П. 376
Руссо (Rousseau) Ж.-Ж. 40, 46, 58, 60, 66, 78—80, 108, 116, 129—131, 133, 145, 152, 154, 160, 161, 182, 191, 197, 206—208, 212, 213, 221, 224, 225, 228, 231, 247, 250, 271, 304, 307, 314, 317, 319, 320, 322, 324, 343, 344, 349, 359, 369, 378, 384—386, 422—424, 427, 428, 431, 441, 487, 489, 515—519, 527, 530, 536, 537, 592, 595, 596, 603, 604, 610, 612, 621, 622, 695
Руссо Т. 119
Рылеев К. Ф. 58, 290, 348, 401, 415, 416, 455, 581, 586, 679
Рылеев Н. И. 46, 239, 466

Саблуков Н. А. 383
Сабуров А. А. 652
Садиков П. А. 580
Саитов В. И. 378, 646
Саквилль Дж. Ф., граф Дорсет 77, 500
Саллюстий Гай Крисп 252, 413, 566
Салтыков 684
Салтыков-Щедрин М. Е. 522
Сальери А. 141, 633
Сандунов Н. Н. 318, 609, 710—716
Саразень Ж.-Ф. 129, 555
Сафо 437
Сведенборг (Шведенбург) Э. 61, 82
Свербеев Д. Н. 533
Светлов Л. Б. 663
Свистунов П. Н. 243
Святополк Моравский 755
Сегюр (Segur) П. 88, 130, 555
Селивановский Н. С. 44
Селим III 273, 340, 341, 576
Семевский В. И. 645, 731, 734
Семенников В. П. 44, 45
Сенека Луций Анней 152
Сен-Ламбер 128
Сен-Мартен (Saint-Martin) Л.-К. 47—49, 161, 462—464, 466, 467, 472, 473, 475, 506, 507
Сен-Пьер Ж. А. *см.* Бернарден де Сен-Пьер Ж. А.
Сент-Эвримон Ш. де 129
Сент-Юрюж 83, 571
Сербинович К. С. 194, 318, 608
Сервантес Сааведра М. 54, 233, 299, 300, 393, 716
Сервен (Сервиень) А. 231
Сергей, слуга А. А. Прокоповича-Антонского 653
Серебровская Е. З. 613
Сивков К. В. 658, 659
Сигал Н. А. 132
Сидоров Н. П. 73
Сийес Э.-Ж. 73, 111, 128, 158, 207, 277, 512
Симолин И.-М. 114, 159, 160, 208, 318, 473, 507, 509, 514, 515
Синявин (Сенявин) Г. А. 180
Сиповский В. В. 28, 153, 493, 526, 551, 588, 601
Сирано де Бержерак С. 91
Скабический А. М. 246
Скавронский П. М. 48, 463, 506
Скотт В. 359
Сиверс, гр. 793
Слёнин, книготорговец 579
Смирнов Я. 180
Смит (Smith) А. 293, 704, 728
Снытко Т. Г. 661
Соболевский С. А. 561
Сойманов В. 803

Соковнина А. Ф. 653
Соковнина Е. (К.) М. 651, 653
Сократ 214, 657, 660, 661
Соловьев Н. В. 238
Соловьев С. М. 7, 297, 482, 565, 580, 585
Сологуб Ф. 56
Сопиков В. С. 476
Софокл 433
Сохацкий П. А. 270, 275
Сперанский М. М. 274, 568, 590—593, 596, 661, 662
Спиноза Б. 80, 281
Сталин И. В. 581
Сталь (Staël) Ж. де 17, 88, 127—129, 133, 242, 267, 512
Станкевич Н. В. 37
Старцев А. 463, 601, 602
Старчевский А. В. 42
Стенгерс И. 634
Стерн (Stern) Л. 28, 63, 64, 75, 96, 197, 220, 221, 267, 299, 423, 532, 535, 691, 768
Стефан Сербский 755
Стикс, знакомый К. Ф. Бурдалаха 778, 789
Стратимович 754, 756, 758
Страхов Н. Н. 352, 527, 726
Стрелевский, чиновник 703
Строганов А. 88, 108, 110, 112
Строганов П. А. 56, 95, 96, 99, 108—110, 112, 115, 118, 159, 160, 274, 337, 338, 592, 733, 781
Стройновский В. 725
Стурдза А. С. 285, 408, 436
Суворов А. В. 660
Сулла 603
Сумароков А. П. 219, 434, 546, 663, 670, 674, 676, 681, 683
Сумароков П. И. 345, 765
Сумароков П. П. 360
Сухомлинов М. И. 547, 645, 705
Сушков Н. Н. 710, 711
де-ла-Сюз, графиня 129

Талейран-Перигор Ш. М. 128, 272, 512
Таллеман (Тальман) П. 220
Тальма Ф.-Ж. 139, 157
Тарасова Е. Н. 709
Тассо Т. 672, 674
Татищев В. Н. 553, 565, 759, 766
Тацит Корнелий 25, 211, 251, 290, 381, 413—416, 423, 442, 450, 566, 581, 598, 663
Тейяр де Шарден П. 630, 635
Теруань де Мерикур 110
Тиандер К. 95
Тиберий 414
Тиман 466, 467
Тимолеон 657
Тиртей 683, 800, 801
Тихонравов Н. С. 35, 313, 541; 654, 793
Тодорский И. С. 684
Толль Э. Г. 661
Толстой А. К. 401
Толстой Л. Н. 25, 58, 67, 271, 292, 306, 359, 403, 404, 417, 432, 454, 491, 527, 529, 530, 575, 587, 594, 595, 598, 618, 793
Толстой Ф. П. 533
Томашевский Б. В. 290, 408, 556, 727
Томсон Дж. 79, 187, 433
Тончи С. 383
Тредиаковский В. К. 31, 219, 220, 436, 540, 670, 676, 677
Трощинский Д. П. 274
Трубецкая А. И. 533
Трубецкие 244
Трубецкой Н. Н. 320, 434, 485
Трубицын Н. Н. 490
Туманский В. И. 43
Туманский Ф. О. 252, 253
Тургенев Ал. И. 6, 33, 279, 280, 282, 284—286, 289, 402, 409, 578, 581, 583, 646, 647, 653, 654, 656, 665, 680, 681, 689, 691, 692, 702, 706—709, 744, 745, 747, 749, 753, 757, 761, 773, 781, 783, 784, 787, 804
Тургенев Ан. И. 8, 16, 19, 37, 282, 286, 337, 348, 367, 616, 644, 646, 647, 649—654, 656—658, 660—662, 664, 677—688, 690—704, 710—713, 716, 741, 742, 745—747, 753, 774, 777, 779, 780, 782, 790, 800

Тургенев Б. 748, 753
Тургенев И. А. 409
Тургенев И. П. 33, 40, 62, 67, 204, 205, 244, 316, 323, 419, 502, 653, 665, 678, 704, 706, 712, 713, 748, 779
Тургенев И. С. 189, 307, 386, 726
Тургенев Н. И. 118, 119, 130, 285—287, 290, 347, 356, 394, 408, 419, 426, 512, 574, 588, 595, 607, 611, 642, 647, 654, 663, 704, 707, 709, 710, 716, 720, 723, 724, 727—730, 746—749, 775—777
Тургенев П. Н. 19, 646
Тургенев С. И. 286, 287, 289, 408, 578, 642, 720, 744, 747, 748, 777, 784
Тургенева Е. С. 779
Тургеневы 33, 282, 646, 647
Туссен-Лювертюр П. Д. 273, 709
Тучков А. А. 271, 575
Тучковы 278
Тынянов Ю. Н. 7, 12, 546
Тьеполо Дж. Б. 57
Тюрго А.-Р.-Ж. 128, 130, 131
Тюренн (Тюрень) А. 660
Тютчев Ф. И. 309

Уваров С. С. 284
Унгерн-Штернберг В. 731, 732, 745, 748
Уолпол (Walpole) О. (Г.) 132
Успенский Б. А. 184, 188, 189, 219, 484, 541, 543, 548, 550—553, 557, 562
Ушаков, знакомый А. С. Кайсарова 649
Ушаков Д. Н. 302
Ушаков Ф. В. 46, 429, 736, 737

Фабр д'Эглантин Ф. 144, 145, 208, 318, 424, 515
Фаврас Т.-М. 112, 149
Фалес 241
Фальконе Э.-М. 112
Фаустина 50, 468
Федоров Н. Ф. 13
Фейербах Л. 334, 630
Фенелон Ф. С. 20, 28, 321, 539, 540, 669, 670
Феокрит 433
Феофан Прокопович 393
Фергюсон (Фергусон) А. 566
Ферте-Эмбо М.-Т. 88, 130—132
Филарет, митрополит 280, 409, 582
Филипп Красивый (Прекрасный) 156, 157, 503
Филиппов А. Н. 739, 740
Фитингоф, барон 52
Фишер К. 61
Флери, актер 138, 139
Флориан Ж.-П. К. 93, 246
Флоридов А. А. 547
Фовицкий И. М. 415, 416
Фокс Ч.-Дж. 114, 509
Фомин А. А. 19, 282, 646, 651, 681, 682, 686, 690
Фонвизин Д. И. 21, 38, 83, 174, 352, 355, 369, 416, 423, 472, 481, 482, 607, 663, 718
Фонтенель Б. 139, 219
Фон-Ферельтц С. 350
Фоше К. 73, 128, 462, 503, 504, 512
Франклин Б. 73
Франциск II 625
Фрейганг (Freygang) В. 736, 756
Фридрих II Великий 91, 92, 478
Фулон Ж.-Ф. 76, 97, 123, 501, 502
Фурсенко В. В. 502
Фуше Ж. 234, 272

Харо Л. де 257
Хвостов Д. И. 553
Херасков М. М. 201, 205, 221, 242, 258, 320, 321, 373, 438, 540, 545, 651, 664, 669, 670, 673, 674, 676, 677, 681, 683
Хераскова Е. В. 221
Храповицкий А. В. 152
Хютль-Ворт (Hüttl-Worth) Г. 552, 562

Цезарь Гай Юлий 81, 413, 607, 608
Цинциннат Л. Квинкций 211
Цицерон Марк Туллий 114, 247, 252, 413, 509, 566, 573
Цявловский М. А. 286

Чаадаев П. Я. 6, 10, 15, 190, 282, 310, 348, 392, 596, 635

Чарторижский (Чарторыжский) А. Е. 274, 338, 757
Чатам *см.* Питт У. Старший
Челеди-Эффенди 273, 274
Черкасов Н. К. 581
Чернов С. Н. 174, 482
Чехов А. П. 53, 219, 403
Чешихин Е. В. 749
Чистов К. В. 521
Чистяков М. Б. 676
Чичагов П. В. 480
Чичерин А. В. 403
Чичерин Б. Н. 570
Чулков М. Д. 372, 373, 619, 727

Шабо 147
Шаден И. М. 31, 37, 419
Шаликов П. И. 222, 283, 550, 553
Шамфор Н.-С. Р. 128, 150, 201, 229, 512, 571
Шаркова И. С. 99, 128
Шатинье, карикатурист 154
Шатле, герцог 76
Шатобриан Ф.-Р. 272, 273, 404, 405, 406
Шахматов А. А. 763
Шаховская, кн. 159
Шаховской А. А. 367, 691
Шварц И. Г. (Е.) 37, 39, 67
Шекспир У. 12, 37, 38, 64, 79, 134, 135, 145, 187, 319, 367, 423, 433, 439, 586, 607—609, 699, 700
Шенье А. 802
Шенье М.-Ж. 95, 106, 115, 125, 126, 136, 138, 319, 424, 500, 501, 515, 609
Шефтсбери А. Э. К. 204, 209, 217
Шешковский С. И. 36, 194, 506
Шиллер (Shiller) Ф. 16, 35, 53, 66, 67, 74, 78, 79, 145, 163—165, 211, 212, 242, 293, 356, 357, 367, 370, 376, 431, 432, 442, 443, 504, 574, 644, 661, 664, 684, 686, 697—700, 711, 772, 801
Шиллер Ш. 163
Шильдер Н. К. 341, 464, 783, 802
Ширинский-Шихматов С. А. 289
Шишков А. С. 5, 14, 17, 168, 169, 231, 263, 280, 282, 289, 305, 392, 407, 409, 486, 523, 543—549, 551, 553, 558, 561, 582, 591, 670, 677, 679, 781
Шкловский В. Б. 373
Шлегель Ф. 123
Шлёцер А. Л. 578, 704, 706—708, 716, 754, 759, 761, 762
Шмидт, историк 787
Шнор И. К. 120
Шолье Г.-А. 267
Шредер Г. Я. 39, 42, 68
Шрепфер И. Г. 503
Штарк И. А. 524
Штейн 788, 789
Штейнгель В. И. 291, 415, 416
Шторм Г. П. 42, 166, 239, 458, 493, 498, 623
Штрайх С. Я. 724
Штранге М. М. 208, 324, 508, 601
Шуйский В. И. 569
Шулепников М. 169

Щербатов М. М. 46, 47, 469, 479, 565
Щукин П. И. 781

Эверс Г. 750—752
д'Эгийон А. В. Д. Р. 76, 130, 131
Эйдельман Н. Я. 245, 288, 290, 584, 590
Эйзенштейн С. М. 580, 581, 635
Эйнерлинг И. 569
Эйхенбаум Б. М. 6, 313, 330, 381, 385, 399, 711
Эмпедокл 214
Энгельс Ф. 40, 314, 325, 377, 737, 757
Эно 131
Эпаминонд 657
Эпиктет 215

Юм А. 728
Юм Д. 267, 281, 325, 392, 398, 527
Юнг Э. 37, 79, 187, 314, 316, 433
Юсти, экономист 728

Ягич И. В. 753, 754
Языков В. 751
Якоби Ф. Г. 80, 741
Якушкин В. Е. 647
Якушкин И. Д. 724

Янушкевич А. С. 561
Янькова Е. П. 533
Ярослав I 764
Ярослав Владимирович, вел. кн. 762
Ярослав Ярославич, вел. кн. 762

Amadou R. 48
Andrews R. 211
Arago F. 123
Argenson M.-R. 127
Balayé S. 267
Bardoux A. 105
Belissort A. 132
Bellarimino R. 744
Bienemann F. 791
Brang P. 493
Capacelli A. 704
Chagrin N. 48, 462
Chapuis L. O. 113
Charléty S. 102
Cyzevsky D. 62
Dantry J. 211
Dickenmann E. 62
Eggli Ed. 376
Fazy H. 98
Flutre L.-F. 557
Galante-Garrone A. 97, 108, 109
Gerný V. 143
Gross A. G. 132
Guillois A. 128, 150
Harder H.-B. 163
d'Haussonville 127
Heier E. 63, 472
Holbrook W. C. 108
Hutti-Worth G. 541
Lathuillére R. 257, 555
Le Bihau A. 161, 464
Legnitz 789
Lifar S. 105
Livet M. Ch.-L. 555
Martens 789, 790
Mathiez A. 500, 502
Méaudis A. 98
Mohrmann H. 647
Motléon A. Q. de 102
Neumann F. W. 431, 504
Pertz G. H. 788
Picchio R. 559
Picchio Simonelli M. 560
Rousselot J. 105
Saint-Germain J. 127
Sekrecka M. 48, 462, 506
Soboul A. 157, 503
Somaize A. B. de 555
Steyert A. 102
Strahlmann B. 63, 87, 472
Süssmilch 704
Thiers M. A. 115
Thransene-Roseneck 51
Unbegaun B. O. 550, 562
Vissac M. de 108
Werböczy 717

Содержание

Б. Ф. Егоров. Биография души 5

СОТВОРЕНИЕ КАРАМЗИНА

Роман-реконструкция 10
Не унижая своей личности 14
Карамзин творит Карамзина 16
Два путешественника 26
Перед отъездом 30
Начало пути 42
В Германии у Канта 54
Дорога 66
Рамзей и Велокс 67
В Швейцарии 78
Куда может завести физиогномика 82
Продолжение путешествия по Швейцарии 94
В Лионе 99
«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» 107
В театральных креслах Парижа 134
Шум города 146
Земляки 159
Мечтатели 162
В Англию 166
Домой 183
Программа: прогресс и независимость 191

«Московский журнал» ... 199
Что такое человек? ... 210
Автобиография и построение самого себя ... 216
Кризис ... 227
В Знаменском ... 232
В павловское царствование ... 244
На рубеже ... 266
Политик ... 269
Отрывки из документов ... 277
Одинокое путешествие ... 281
Итоги ... 297
Эпилог ... 304
Эпилог эпилога ... 306

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803) ... 312
Пути развития русской прозы 1800—1810-х гг. ... 349
Поэзия Карамзина ... 418
Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (К генезису исторической концепции Карамзина) ... 456
«Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры (*совместно с Б. А. Успенским*) ... 484
Колумб русской истории ... 565
«О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века ... 588
Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции ... 601

ЗАМЕТКИ И РЕЦЕНЗИИ

Об одном читательском восприятии «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина (К структуре массового сознания XVIII в.) ... 616
[Рецензия на книгу Л. Г. Кислягиной «Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина (1785—1803 гг.)»] ... 621

ПРИЛОЖЕНИЕ

Клио на распутье ... 628

Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени ... 637

ОТ РЕДАКЦИИ ... 805

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ... 809

Лотман Ю. М.

Л80 Карамзин. — С.-Петербург: Искусство—СПБ, 1997. — 832 с., 3 л. ил.

ISBN 5-210-01517-3

В книге впервые собраны все работы Ю. М. Лотмана, посвященные жизни и творчеству великого русского писателя, поэта, публициста, историка Н. М. Карамзина. Том состоит из четырех разделов: первый — «Сотворение Карамзина» — монография о жизни и деятельности писателя; второй — статьи и исследования, посвященные отдельным произведениям Карамзина либо определенным этапам его творческого пути; третий — заметки и рецензии. В раздел «Приложение» включены две работы Ю. М. Лотмана, тесно переплетающиеся с темой «Карамзин и его время».

Вступительная статья известного филолога Б. Ф. Егорова рассказывает о Ю. М. Лотмане — исследователе творчества Карамзина.

Книга адресована специалистам-филологам, педагогам и учащимся вузов и школ, а также всем интересующимся литературой и историей.

Л $\frac{4603010000\text{–}002}{025(01)\text{–}97}$ без объявл.

ББК 83.3(2)1

Юрий Михайлович Лотман

Карамзин

Сотворение Карамзина
Статьи и исследования
Заметки и рецензии

Главный редактор *В. С. Дзяк*
Редакторы *О. Н. Нечипуренко, Н. Г. Николаюк*
Художественный редактор *А. В. Дзяк*
Компьютерная верстка *С. Л. Пилипенко*
Компьютерный набор *Г. П. Жуковой*
Корректоры *Л. Н. Борисова, Т. А. Румянцева*

Подписано в печать 05.05.97. Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 71,5. Усл. кр.-отт. 71,83. Уч.-изд. л. 72,25. Тираж 10000 экз. Изд. № 868. Заказ 590.
Издательство «Искусство—СПБ». 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 28.
Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор» Комитета РФ по печати. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Готовятся к выпуску:

Ю. М. Лотман. О русской литературе.

Исследования по истории русской литературы — от «Слова о полку Игореве» до «Мастера и Маргариты» М. Булгакова.

5-й том собрания сочинений Ю. М. Лотмана.

М. Барышников.

Деловой мир России. Энциклопедический справочник.

Энциклопедический справочник является первым универсальным изданием, в котором подробно излагается история становления и деятельности в дореволюционной России известных купеческих династий, отдельных промышленных и торговых фирм, страховых обществ и банков, бирж и ярмарок, общественных организаций и политических партий предпринимателей. В справочник введены статьи, раскрывающие особенности отечественного предпринимательского права, благотворительности, участие деловых людей в культурной жизни страны.

История, культура и быт России.
Иллюстрированная энциклопедия в 2-х томах.
Подготовлена Российским этнографическим музеем.

Том 1. Русский традиционный костюм.

Настоящее издание — первое достаточно полное и систематизированное изложение сведений о русском народном костюме, который принято называть традиционным или национальным. Это костюм крестьянский, бытовавший в России в последней трети XVIII — первой четверти XX века.

Том 2. Русская изба. Пространство. Убранство. Утварь.

Книга построена по принципу энциклопедического словаря, позволяющего составить представление о русской избе XV — первой четверти XX в. В ней рассматривается организация пространства жилого дома, его меблировка, убранство, утварь, использовавшиеся в домашнем и хозяйственном обиходе крестьян.

Наш адрес:
191186, С.-Петербург, Невский пр., 28.
Издательство «Искусство—СПБ»
Тел. коммерческой службы издательства
(812) 219-49-09; (812) 219-62-95; факс (812) 311-87-45

Н. М. Карамзин.
Гравюра Ал. Флорова с рис. В. Тропинина 1814 г.

Герб рода Карамзиных.
М. П. Погодин, первый биограф *К.*, сообщает: «Род симбирских дворян Карамзиных происходит от татарского мурзы по имени Кара-Мурза, который при царях поступил на службу Москвы, принял св. крещение и получил земли в нижегородской губернии, подобно многим другим выходцам, сделавшимся родоначальниками дворянских русских фамилий. Отец Карамзина — Михаил Егорович — человек очень добрый и простой, служил в молодости в Оренбурге, при Неплюеве, в легком полевом батальоне, уволен капитаном и пожалован был впоследствии, наравне с прочими офицерами, землею в Оренбургской губ.». Сын Николай родился 1(12) декабря 1766 г. Его мать Екатерина Петровна, из рода Пазухиных, скончалась во время его младенчества.

Н. М. Карамзин в молодости.
Неизвестный худ. Нач. 1780-х гг.
И. И. Дмитриев, бывший на шесть лет старше *К.*, описывает первую встречу их, когда 17-летний *К.* приехал после окончания пансиона в Петербург, в гвардейский Преображенский полк: «Однажды я, будучи еще сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретив меня на крыльце, сказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу, вижу миловидного румяного юношу, который с приятной улыбкой вручает мне письмо от моего родителя».

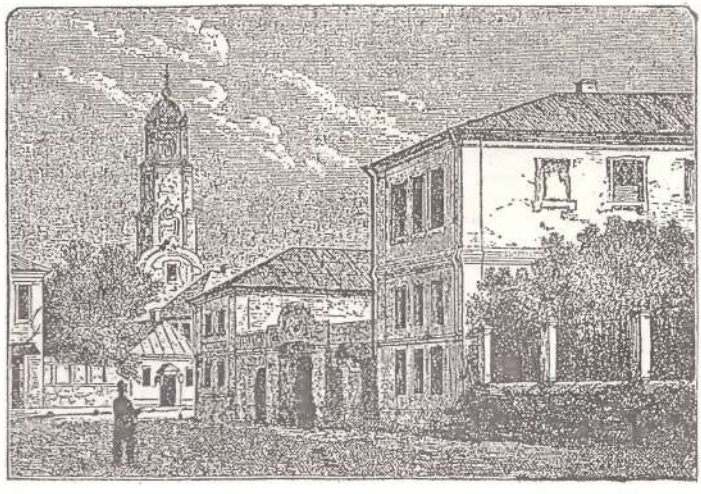
И. И. Дмитриев (1760—1837).
Худ. Д. Г. Левицкий. 1790-е гг.
Поэт и гос. деятель, происходил из старинной дворянской семьи, был связан с *К.* родственными узами. С 1782 г., т. е. с того момента, когда юный *К.* появился в доме Дмитриева, завязалась их многолетняя личная и творческая дружба. Известность Дмитриева как литератора началась с публикаций в карамзинском «Московском журнале». Переписка с *К.*, длившаяся до смерти последнего, запечатлела эволюцию их духовного общения.

Московский въезд.
Худ. А. Горностаев.
В 1779 г. в Москву, через Рогожскую заставу, въехала кибитка с 13-летним подростком, проделавшим долгий путь из Симбирска. *К.* явился в Москву с тем, чтобы продолжить образование, и поступил в частный пансион И. М. Шадена, немецкого профессора, приглашенного в Московский университет. Пансионеры жили в его доме в Лефортово, наставник их, приверженец европейского сентиментализма, основное внимание уделял гуманитарным дисциплинам. За 3 года обучения *К.* стал знатоком немецкой литературы и философии, прекрасно усвоил несколько языков. Якоб Ленц, масонский товарищ *К.*, позднее отмечал: «Он особенно любит немецкий язык; говорит и пишет на нем как природный немец».

И. П. Тургенев (1752—1807).
Через посредство И. П. Тургенева, старого друга семьи, *К.*, вернувшийся из Петербурга в Симбирск в связи со смертью отца (1783), сблизился с масонами, был принят в основанную И. П. Тургеневым симбирскую ложу «Златого венца». По его предложению и вместе с ним *К.*, погрузившийся на время в светскую жизнь, едет в Москву, где Тургенев сводит его с окружением своего друга Н. И. Новикова. А. С. Пушкин так писал о типе людей, к которым принадлежали Тургенев и Новиков: «В то время существовали в России люди, известные под именем *мартинистов*. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философского вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, к которому они принадлежали».

Н. И. Новиков (1744—1818).
Миниатюра на эмали с ориг. Д. Левицкого. Ок. 1797 г.
Писатель, журналист и издатель, просветитель-практик: организатор типографий, библиотек и школ в Москве, книжных магазинов во многих городах России. С 1770-х гг. — масон. Ю. М. Лотман характеризует его: «Практическая хватка его была исключительной. Он мог, начав с копейки, взятой в долг, в короткий срок организовать дело, оборот которого исчислялся сотнями тысяч. Однако вся эта кипучая практическая деятельность имела для него смысл лишь потому, что с ее помощью он надеялся превратить Россию в прекрасное царство просвещения и братства. ...Он умел находить и привлекать к себе талантливых людей. Пожалуй, во всей русской истории XVIII в. только Петр I мог соперничать с ним в умении с одного взгляда определить, в чем состоит талант человека и к какому делу *его лучше всего привлечь. Именно эта* способность помогла Новикову разглядеть в приехавшем из Симбирска молодом человеке писателя-журналиста».

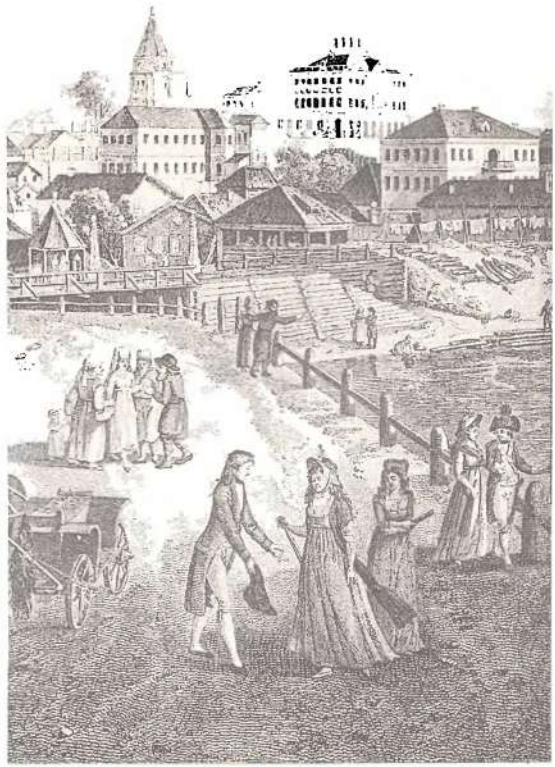
С. И. Гамалея (1743—1822). Масонский «наставник» *К.*, о котором В. Ключевский писал: «...для изображения Сем. Ив. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика».



Екатерина II, Павел I и Александр I в медальоне.
С гравюры Ф. Болта. 1814.

Три эпохи российской истории вместила жизнь *К.* Ему было 20 лет, когда век Екатерины вступил в завершающее десятилетие, а время его ухода совпало с началом правления Николая I. «Последний летописец» (определение А. Пушкина) свидетельствовал в «Записке о древней и новой России» о своих современниках-императорах: «Главное дело ее (Екатерины) — смягчение самодержавия... исчезли страхи Тайной канцелярии, дух рабства... Внешняя политика ее достойна особой похвалы... Последние годы мы более осуждали, нежели хвалили Екатерину. Павел... начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти. Россияне смотрели на сего монарха как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней». И далее *К.* обращается к Александру I: «...Теперь буду говорить о настоящем с моей совестью и с государем... Чего хочу? С добрым намерением испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история».

Вид на Яузский мост в Москве.
С ориг. Ж. Делабарта. Фрагмент гравюры. 1797.



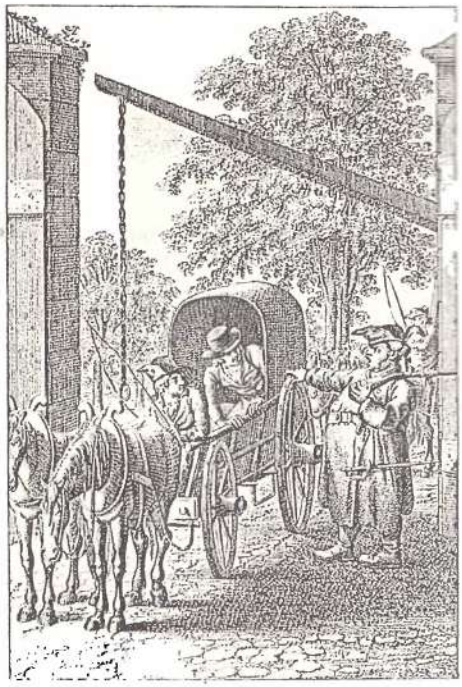
←

Москва. Кривоколенный переулок. Дом «Дружеского общества» (Масонский дом).
Литография сер. XIX в.

В 1785 г. *К.* вернулся из Симбирска в Москву и остановился в доме Тургеневых, позднее 4 года прожил в доме «Дружеского общества». Рядом располагалась городская усадьба А. Д. Меншикова с церковью-колокольней, построенной по проекту И. П. Зарудного, которую москвичи называли «Меншикова башня» и «Сестра Ивана Великого». Ю. М. Лотман сообщает подробности об этом периоде: «На деньги организованной на счет братских пожертвований „Типографической компании“ был куплен в Кривоколенном переулке дом, где находилась типография и проживали многие «братья». Здесь помещались С. И. Гамалея, А. М. Кутузов, А. А. Петров и нашедший приют у московских масонов полубезумный немецкий поэт, друг Шиллера и Гете, Якоб Ленц. Здесь же, в мансарде третьего этажа, разделенной перегородками на три светелки, вместе с А. А. Петровым поселился Карамзин».

Фронтиспис немецкого издания «Писем русского путешественника».

Путешественник сообщает своим адресатам о первых впечатлениях от Пруссии, с которой началась заграничная часть путешествия. При въезде в Кенигсберг экипаж был остановлен «толстобрюхим часовым», который «страшнейшим голосом закричал: „Wer seyd ihr?“ („Кто вы такие?“). Несколько раз надлежало мне сказывать мою фамилию, и при всяком разе шатал он головою, дивясь чудному русскому имени».



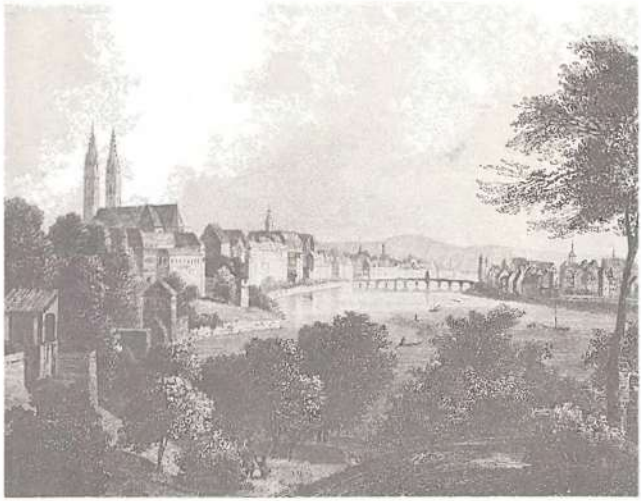
И. Кант (1724—1804).

В 1789 г. 23-летний *К.* встретился с 65-летним немецким философом, проф. ун-та в Кенигсберге, безусловно будучи знакомым с его полемическими «Грезами духовидца, объясненными грезами метафизика», направленными против адептов мистического опыта. (Сочинение это появилось в год рождения *К.* — в 1766 г.) Посещение Канта не случайно оказалось первым пунктом европейского путешествия *К.*, если учесть, что в кругах московских мистиков — наставников *К.* кантовская философия чистого эмпиризма вызывала неприятие. «Любопытный скиф», войдя в дом «глубокомысленного, тонкого метафизика», произнес: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту».

К.-М. Виланд (1733—1813).
Путешествуя по Германии, *К.* два дня провел в Веймаре, где намеревался побеседовать с первыми величинами немецкой культуры: Виландом, Гердером и Гёте. Что касается Виланда, то тут русский путешественник проявил немалую настойчивость и добился беседы, несмотря на холодный прием и недовольную гримасу Виланда, к которому он нагрянул в восемь часов утра. Философская проблематика Гердера и скептицизм Виланда были для *К.* предметами более важными, чем радушие и гостеприимство. Позднее, на страницах «Московского журнала» *К.* пропагандировал творчество Виланда.

И.-Г. Гердер (1744—1803).
В «Письмах» *К.* изложил свои впечатления от встречи с немецким философом, критиком, теоретиком «Бури и натиска», другом И.-В. Гёте: «Приятно, милые друзья мои, видеть наконец того человека, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям... Теперь, мне кажется, я еще с большим удовольствием буду читать произведения Гердерова ума, вспоминая вид и голос автора».

И.-В. Гёте (1749—1832).
Роман «Страдания молодого Вертера», заложивший основы немецкой литературы нового времени, был издан в России в 1781 г. и многое определил в умонастроениях русской читающей публики.
К. планировал встречу с Гёте, однако она не состоялась, для ее осуществления путешественник проявил гораздо менее энергии, чем добиваясь встречи с Виландом и Гердером. В письмах он отметил: «Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, где живет Гёте, видел я его смотрящего в окно, — остановился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо! Ныне я заходил к нему; но мне сказали, что он рано уехал в Йену».

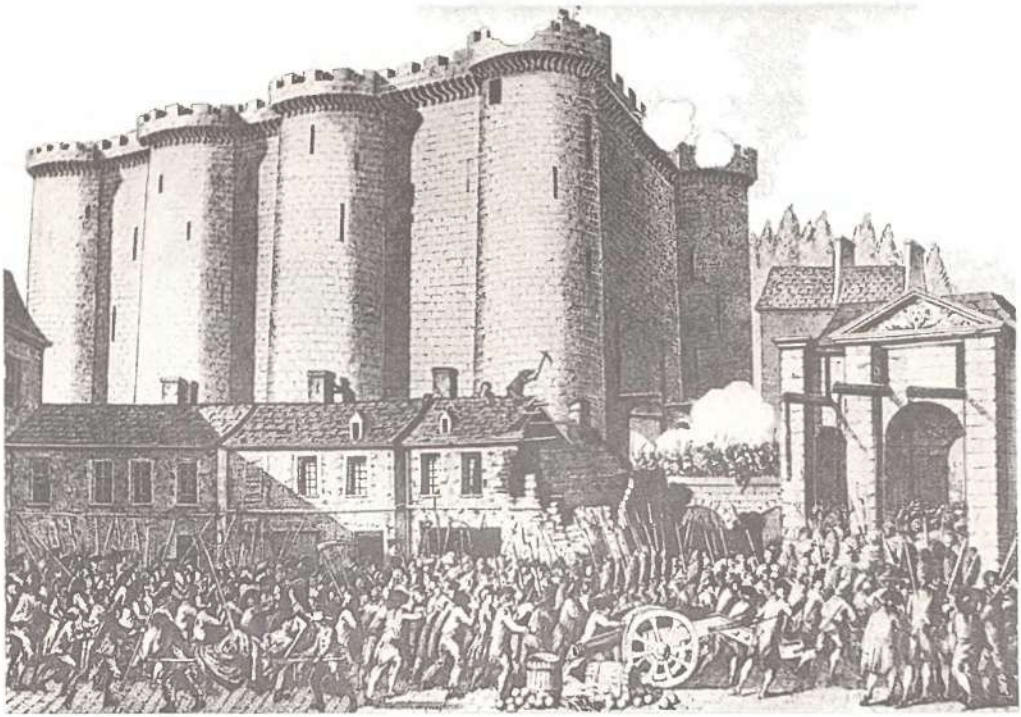


Вид Базеля.
С Базеля началось путешествие *К.* по Швейцарии, в «Письмах» он передает свое первое ощущение: «Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее; дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве». *К.* посетил публичную библиотеку Базеля, с ее богатой коллекцией древностей, но внимание его привлекли картины «славного Гольбеина». «Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечере! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде. В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно».

И.-К. Лафатер (1741—1801) на прогулке с сыном.
В 1775—78 гг. швейцарский философ и поэт опубликовал свой знаменитый трактат по физиогномике «Физиогномические фрагменты». Еще до своего путешествия *К.* переписывался с Лафатером, и поездка его в Швейцарию, в Цюрих, была запланирована. В своем первом письме к Лафатеру *К.* восторженно обращается к нему: «Знаете ли Вы, что один русский юноша имел счастие читать Ваши сочинения... Как велик должен быть их автор, думал он про себя. О, если б я мог увидеть этого великого человека! Каким счастливцем, о, каким счастливцем считал бы я себя тогда!..» Увлечение лафатеровской физиогномикой не помешало *К.* назвать его после личной встречи и долгих бесед «физиогномическим колдуном», а в «Письмах» зафиксировать иронический отзыв Канта о Лафатере, часто «ослепляющемся мечтами» и верящем в магнетизм.

Вид Женевы.
В Женеве *К.* решил обосноваться надолго, снял комнату и завел «маленькое хозяйство». О своем «новом образе жизни» он сообщает в «Письмах»: «Встав рано поутру и надев свой походный сертук, выхожу из города, гуляю по берегу гладкого озера или шумящей Роны, между садов и прекрасных сельских домиков...»

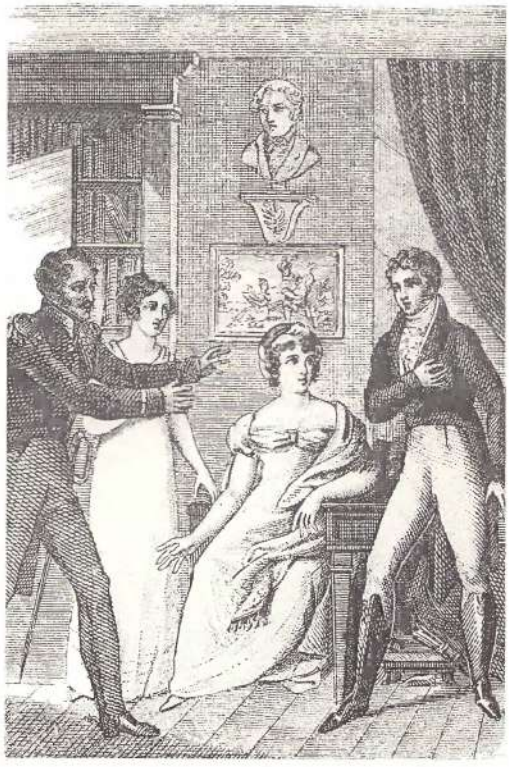
Взятие Бастилии. 14 июля 1789 г.
Весть о начале Французской революции застала *К.* во Франкфурте-на-Майне. Не столько сообщения газет, сколько письма его товарища по масонскому кружку Алексея Кутузова, бывшего в то время в Париже, дали *К.* представление о событиях, последовавших за попыткой разгона Учредительного собрания.



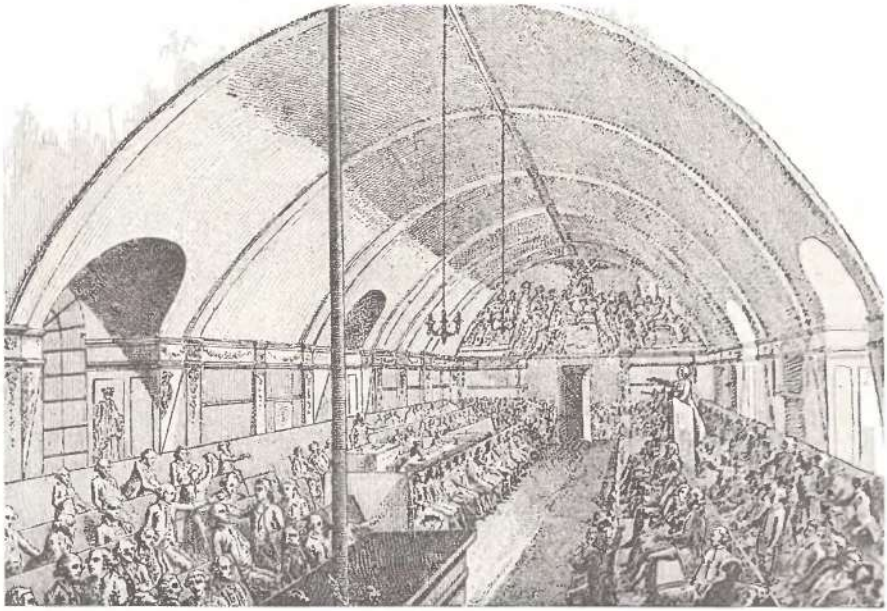
М.-Ж. Лафайет (1754—1834).
Лафайет, еще до революции прославивший себя как участник войны за независимость в Сев. Америке, в первые дни ее был назначен командующим национальной гвардией. Он и Мирабо — самые заметные фигуры первой волны революции, это единственное, что объединяло их. За политическим противостоянием двух маркизов, двух блестящих ораторов следила вся Франция.

О.-Г.-Р. Мирабо (1749—1791).
К. присутствовал на заседании национального собрания 13 апр. 1790 г., когда маркиз Мирабо, депутат Генеральных штатов от третьего сословия, блестящий оратор, произнес свою знаменитую речь в защиту свободы совести. *К.*, став свидетелем постоянных схваток между Мирабо и аббатом Мори, сравнивал их с Ахиллесом и Гектором. И для аристократа Мирабо, играющего роль народного трибуна, и для сына сапожника Мори — защитника королевской власти, на первом месте оставалась жажда успеха и выгод. Позже *К.* писал: «Аристократы, сервелисты хотят старого порядка, ибо он им выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод».

К. Демулен выступает перед парижанами.



Мадам де Сталь (1766—1817).
В «Письмах» подробно описан парижский салон госпожи Гло*, где обсуждаются последние политические новости, вопросы литературы и искусства, философские теории. Его вымышленную хозяйку можно соотнести со многими хозяйками известных в ту пору литературных салонов — это могла быть и госпожа Неккер, и ее дочь Жермена де Сталь, и мадам Гельвеций.
В 1812 г. Жермена де Сталь посетила Россию и встречалась в Москве с *К.*, о котором оставила короткую запись в своих заметках: «Сухой француз — вот и все».



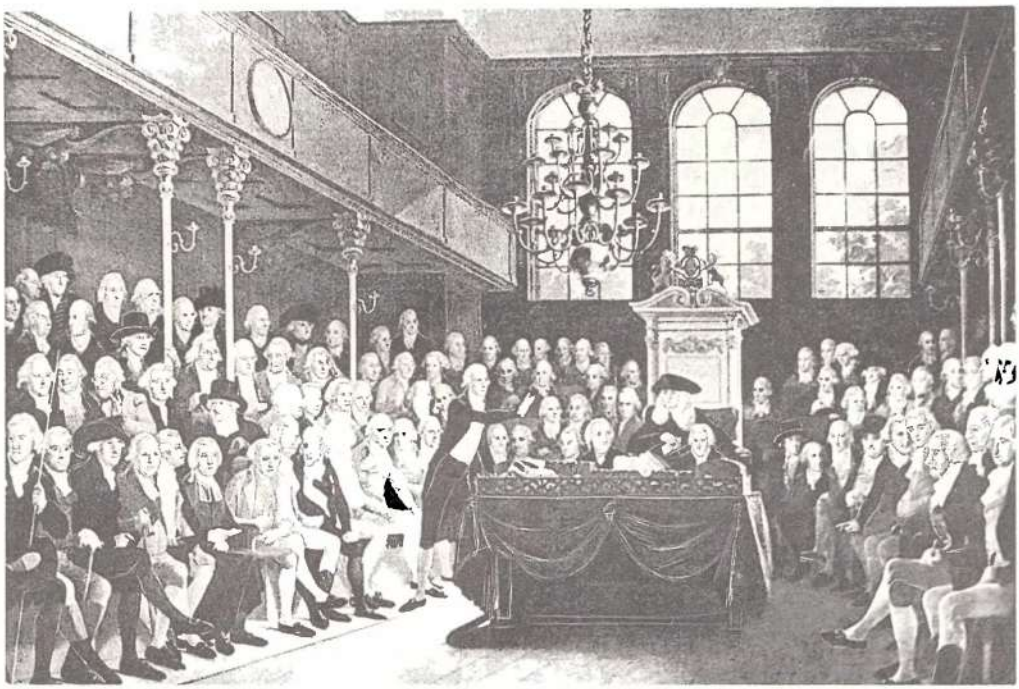
Якобинский клуб.
В Париже *К.* встречался с Ж. Роммом, П. А. Строгановым, А. Н. Воронихиным — активными членами Якобинского клуба. Ю. М. Лотман предполагает, что *К.* посещал его заседания, где выступали Дантон и уже знакомые по Национальному собранию Мирабо и Робеспьер и где накал политических страстей выражался более открыто.

М. Робеспьер (1758—1794).
Николай Тургенев в своей книге «Россия и русские» вспоминал: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья *К.* рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости характера его и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам *К.*, контраст с укладом жизни людей той эпохи».

Ж.-Ж. Дантон (1759—1794).

С. Р. Воронцов (1744—1832).
К. встречался с ним в июне 1790 г. в Лондоне, отметив в «Письмах»: «...всего чаще обедаю у нашего посла, графа Семена Романовича Воронцова, человека умного, достойного, приветливого, который живет совершенно по-английски, любит англичан и любим ими...» И рядом другое наблюдение: «Обхождение Графа приятно и ласково, без всякой излишней короткости. Он истинный патриот, знает хорошо русскую историю, литературу и читал мне наизусть лучшие места из Од Ломоносова».

Палата Общин Английского парламента.
В Лондоне *К.* с увлечением вникает в общественно-политическое устройство Англии, в «Письмах» дает подробное описание суда присяжных и заседаний парламента: «Розница между парижским народным собранием и английским парламентом есть та, что первое шумнее; впрочем, и парламентские собрания довольно беспорядочны. Члены беспрестанно встают... бегают вон и проч. — Их числом 558; налицо же не бывает никогда и трех сот. Едва ли 50 человек говорят когда-нибудь; все прочие немы, иные, может быть, и глухи — но дела идут своим порядком, и хорошо».



Н. М. Карамзин.
Гравюра И. Липса по ориг. Кюнеля. Ок. 1791 г.
Один из современников (Д. П. Рунич) вспоминал *К.* начала 1790-х гг.: «Карамзин был красив собою и весьма любезен; много курил, говорил обо всем, любил засиживаться далеко за полночь, беседовать, слушать рассказы, хорошо поесть и всласть попить чаю...»

«Московский журнал». Титульный лист.
Издавался с янв. 1791 по дек. 1972 г. В «Московских ведомостях» (6 нояб. 1790 г.) *К.* сделал объявление о выходе своего журнала и изложил его программу: читателям были обещаны «лучшие сочинения в стихах и прозе», «небольшие иностранные сочинения в чистых переводах», «критические рассматривания русских книг», «известия о театральных пиесах», «описание разных происшествий и разные анекдоты, а особливо из жизни новых славных писателей». «Журналу надобно дать имя; он будет издаваем в Москве, итак имя готово: Московский журнал...» Сблизившись к этому времени с Г. Р. Державиным, *К.* объявляет о его участии в журнале. Основные сотрудники: И. И. Дмитриев, М. М. Херасков, Ф. П. Ключарев, Д. И. Дмитревский.
Из номера в номер публиковались «Письма русского путешественника», напечатаны: «Бедная Лиза» (1792, ч. 6, кн. 3), «Наталья, боярская дочь» (1792, ч. 8), «Фрол Силин, благодетельный человек» (1791, ч. 3, кн. 1), «Людор» (1792, ч. 5, кн. 3).
Позднее П. Вяземский дает свою оценку: «С „Московского журнала“, не во гнев старозаконникам будь сказано, начинается новое летоисчисление в языке нашем...»

МОСКОВСКОЙ

ЖУРНАЛЪ.

Pleasures are ever in our hands or eyes.
Pope.

Часть I.

МОСКВА,
Въ Университетской Типографіи,
у В. Окорокова.
1791 года.

Г. Р. Державин (1743—1816).
Гравюра А. Тейхеля с ориг. В. Боровиковского. Конец XVIII в.
«Возвратясь в Петербург осенью 1790 года... *К.* был введен И. И. Дмитриевым в дом славного Державина и умными, любопытными рассказами обратил на себя внимание. Державин одобрил его намерение издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочинения» (свидетельствовал Д. Бантыш-Каменский). *К.* провел после заграничного путешествия три недели в Петербурге. Творческое и дружеское общение с Державиным продолжалось долгие годы, *К.* даже взялся за издание сочинений Державина. Тот в свою очередь относился к нему более чем дружественно, что засвидетельствовал С. Жихарев в дневниковой записи за 1807 г.: *К.* «восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою».

Г. Р. ДЕРЖАВИНЪ.

М. М. Херасков (1733—1807).
С Михаилом Матвеевичем Херасковым, поэтом, драматургом, государственным человеком (директор, затем куратор Московского университета), *К.* познакомился в пору своего участия в «Дружеском обществе», поскольку Херасков, кроме прочего, был видным деятелем русского масонства. Однако предметом, соединившим их, была, конечно, литература. Классицист, стоящий одновременно у истоков сентиментализма, патриарх современных ему поэтов, Херасков принимал их у себя в доме, своего рода «доме писателей», в их числе оказался и *К.* В свою очередь «партиарх» участвовал в его издательских начинаниях — «Московском журнале», альманахе «Аониды». Представители разных поколений, они совпали в оценках главного политического события уходящего века — Великой французской революции. Под словами Хераскова, видевшего в ней «ужас безначальственного правления, пагубу междуусобий, бешенство мнимой свободы и безумное алкание равенства», мог подписаться *К.*

«Аониды» (1796—1799). Титульный лист.
Три книги альманаха, выпущенные *К.*, были своего рода ежегодниками русской поэзии. *К.* писал И. Дмитриеву: «Дней пять занимаюсь я новым планом: выдать к новому году русский Almanach des Muses в маленькой формат, на голландской бумаге и проч. Надеюсь на твою Музу: она может произвести к тому времени довольно хорошего. Михайло Матвеевич <Херасков>, Нелединский и проч. что-нибудь напишут; а ты мог бы в Петербурге сказать о том Гав<риле> Романовичу <Державину>, Львову, Козодавлеву и прочим. Они бы также дали нам несколько пиес <...> Откроем сцену для русских стихотворцев, где бы они могли без стыда показываться публике. Отгоним прочь всех уродов, но призовем тех, которые имеют какой-нибудь талант! Естьли мало наберется *хорошего*, поместим *изрядное*; но подлого, нечистого, каррикатурного нам не надобно. Таким образом всякий год могли бы мы выдавать маленькую книжечку стихов — и дамам нашим не стыдно было б носить ее в кармане».

АОНИДЫ,
ИЛИ
СОБРАНІЕ РАЗНЫХЪ,
НОВЫХЪ
СТИХОТВОРЕНІЙ.

Книжка I.

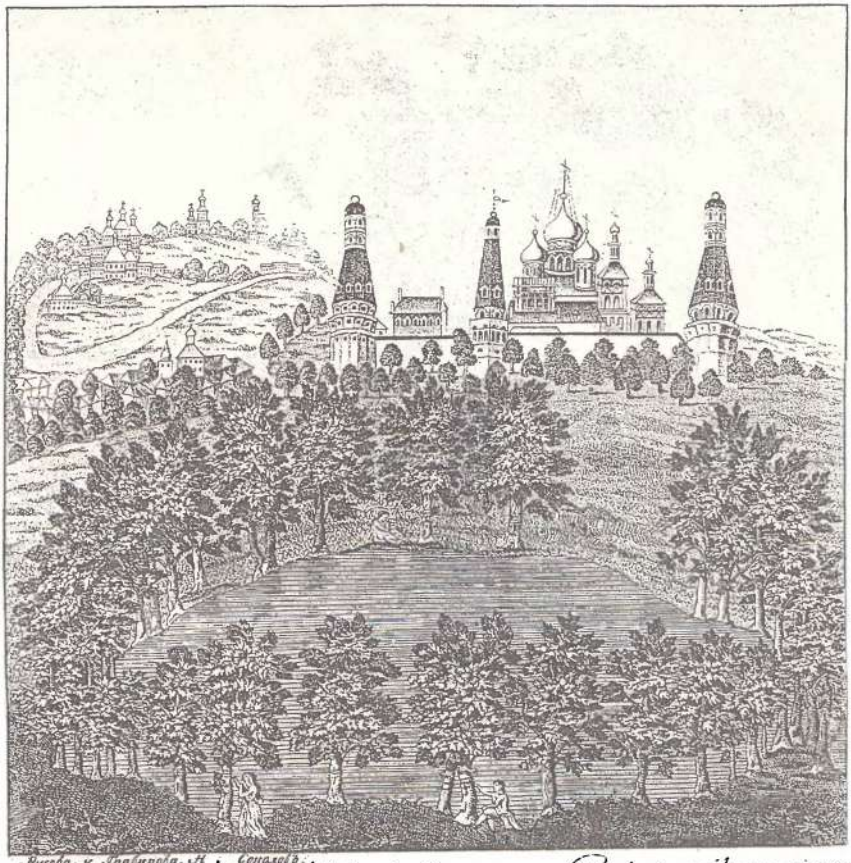
1796.

Cherissons le rival qui peut nous surpasser;
Montrez moi mon vainqueur, & je cours l'embrasser.

МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи,
у Рѣдигера и Клаудія.

Ю. А. Нелединский-Мелецкий (1752—1829).
Автор од, песен (одна из них — «Выйду ль я на реченьку...» поется и доныне, считается «народной»). Разделял литературную позицию *К.*, за что позже упрекнул его Белинский, назвав это «румянами сентиментализма». Сотрудничал с *К.* в «Аонидах», «Московском журнале», «Вестнике Европы».

Н. А. Львов (1751—1804).
Литография с ориг. В. Л. Боровиковского. Ок. 1794.
В многосторонней деятельности Львова (архитектор, график, ботаник) литература занимала заметное место. Вокруг него группировались В. Капнист, Г. Державин, И. Дмитриев, М. Н. Муравьев. *К.* ценил его как поэта. Не без влияния Львова, опубликовавшего две летописи Древней Руси, формировался интерес *К.* к прошлому России.



Рисов. и Гравиров. А. Соколовъ.

Въ Москалыкахъ саженяхъ отъ ствъ Симонова Монастыря, по кошировской дорогѣ, есть старинной прудъ окруженный деревами. Пылкое воображеніе читателей видитъ утопающую въ немъ бѣдную Лизу: и на каждомъ почти изъ окрестныхъ деревъ, любопытныя посѣтители, на разныхъ языкахъ, изобразили чувства своего сострадания къ несчастной красавицѣ и уваженія къ Сочинителю ея повѣсти. На прим: на одномъ деревѣ вырѣзано:

Въ струяхъ сихъ бѣдная скончила Лиза дни;
Коль мы чувствителенъ, прохожій! возможны.

На другомъ, нѣжная можетъ быть рука начертала:

Любезному Карамзину!
Въ изгибахъ сердца ——— сокровенныхъ,
Я сплету тебѣ Вѣнецъ:
Нѣжнѣйшихъ чувствія души твоей плѣненныхъ
. . . . . .
Сколько нельзя разобрать, стерлось.

Сей Памятникъ чувствительности Московскихъ Читателей и нѣжнаго ихъ вкуса въ Литтературѣ, здѣсь изображаетъ, ождивеніемъ и вымыслами одного ея любителя. 1796.

Симонов монастырь и Лизин пруд. Фронтиспис первого отдельного издания «Бедной Лизы». Гравюра Н. Соколова. 1796.

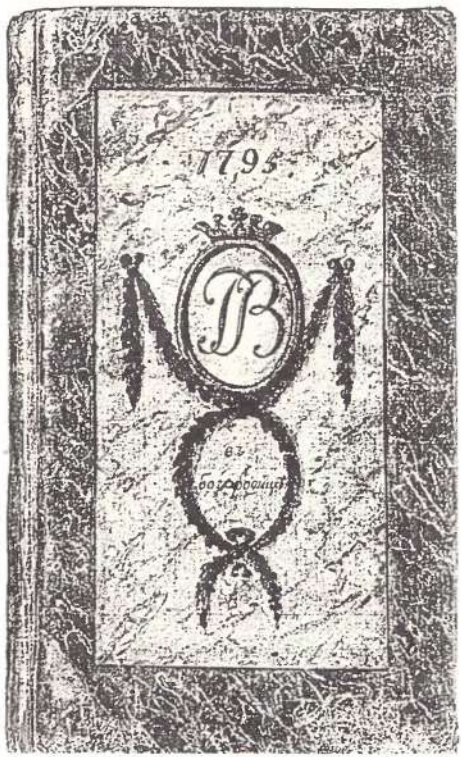
К тому времени, когда иждивением Любителя Литературы было выпущено отдельное издание, украшенное фронтисписом с трогательным пояснительным текстом, пруд стал местом паломничества. Еще при своем появлении на страницах «Московского журнала» (1792 г.) повесть столь сильно подействовала на сердца юных читательниц, что они, возомнив себя героиней *К.*, бросались в пруды и реки. Это явление было отмечено эпиграммой 1792 г.:

Здесь бросилася в пруд Эрастова невеста.
Топитесь, девушки: в пруду довольно места.

3 авг. 1799 г. А. Ф. Мерзляков писал Андрею Тургеневу: «Третьего дня был я на гулянье под Симоновым монастырем. ...Осмотрев целый мир, который здесь уместился около монастыря, пошел я к озеру, где утопил Карамзин бедную Лизу. Выслушав, что говорила об ней каждая береза, сел я на берегу и хотел слушать разговор ветров, оплакивающих участь несчастной красавицы».

Беседка Карамзина в саду близ Симонова монастыря.
Видимо, та самая «развалившаяся хижина», на которую однажды набрел *К.* Он нередко прогуливался возле монастыря и всякий раз приходил к этой хижине. Возможно, она и заронила в воображение поэтическую мысль, из которой выросла повесть «Бедная Лиза».
Для многих поклонниц *К.* окрестности Симонова монастыря стали местом уединенных сентиментальных прогулок.

«Аглая» (1794—1795). Переплет худ. П. А. Болотова.
С июня 1793 г. по дек. 1795 г. *К.* подолгу живет в орловском поместье Плещеевых — Настасьи Ивановны, многолетнего и близкого друга, и ее мужа, Алексея Александровича. В Знаменском *К.* написал и подготовил к печати основные материалы двух томов альманаха. Название его посвящено Плещеевой. Аглая, к которой обращается герой карамзинской повести «Лиодор», соотносилась современниками с Настасьей Ивановной. В альманах вошли повести *К.* «Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Афинская жизнь». В 1796 г. оба тома вышли вторым изданием.



«Письма русского путешественника». Титульный лист первого отдельного издания. 1797.
Публиковались из номера в номер в «Московском журнале» (1791—1792), в «Аглае». Издание 1797 г. включило первые 4 части. Полностью вышли в 1801 г. Издание было посвящено Плещеевым. Текст (не во всех экз.): «Семейству друзей ПЛЩВХ. К вам писанное — вам и посвящаю. *Н. К.*».

ПИСЬМА
РУСКАГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА.
Кто въ мирѣ и любви умѣетъ жить съ собою,
Тотъ радость и любовь во всѣхъ странахъ найдетъ.
ЧАСТЬ I.
МОСКВА,
Въ Университетской Типографіи,
у Хр. Риднгера и Хр. Клаудія.
1797.

«Письма русского путешественника». Leipzig, 1801—1803. Фронтиспис и титульный лист.
В 1799—1804 гг. «Письма» переводятся на нем., польск., англ. языки. Лейпцигское издание Рихтера (карманного формата) было проиллюстрировано Кюнелем (гравировалось Липсом). Липс встречался с *К.* в Швейцарии, поэтому черты портретного сходства *К.* и Путешественника на иллюстрациях ему удались. Он же, по оригиналу Кюнеля, гравировал и портрет *К.* для этого издания. Перевод готовился под наблюдением *К.* и был им авторизован.

Briefe
eines
reisenden Russen.
von Karamsin.
Aus dem Russischen
von
Johann Richter.
Zweytes Bändchen.
Zweyte revidirte Auflage, mit zwey Kupfern.
Leipzig 1802.
bey Johann Friedrich Hartknoch.

Иллюстрации Кюнеля к лейпцигскому изданию «Писем русского путешественника».

ВѢСТНИКЪ

ЕВРОПЫ,

издаваемый

Николаемъ Карамзинымъ.

ЧАСТЬ I

МОСКВА, 1802.

Въ Университетской Типографіи

у Любі, Гарїя и Попова.

«Вестник Европы». Титульный лист.

С янв. 1802 г. по дек. 1803 г. издавался *К.*, впоследствии редакторами были П. П. Сумароков, В. А. Жуковский, с 1805 по 1830-е гг. — М. Т. Каченовский. Первый русский журнал (двухнедельный), куда помимо литературы входили статьи о внешней и внутренней политике, истории. В «Московских ведомостях» (нояб. 1801 г.) *К.* анонсировал его выход: «С будущего января 1802 года намерен я издавать журнал под именем „Вестник Европы“, который будет извлечением из 12 лучших английских, французских и немецких журналов. Литература и политика составят две главные части его. Первая часть украсится всеми цветами новых произведений ума и чувства в Европе... Политические известия будут сообщены в некотором систематическом порядке и как можно скорее». В нем печатались Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, Ю. Нелединский-Мелецкий, появились и новые имена — В. Жуковский, В. Л. Пушкин, К. Батюшков, П. Вяземский, Андрей Тургенев и Денис Давыдов.

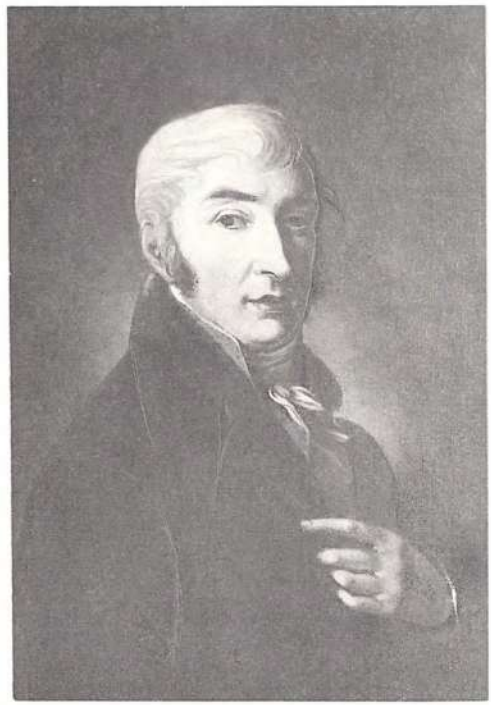
В. Л. Пушкин (1770—1830).
Рис. И.-Е. де Шатобрена. 1823 (?)
Был заметной фигурой в кругу карамзинских литературных друзей. В 1797 г., освободившись от военной службы, отдался любимому занятию — сочинению поэтических посланий, мадригалов, эпиграмм. В них прослеживается влияние И. Дмитриева и *К.*, горячим защитником которых он выступал в устных полемиках и в стихах. Позднее борьбу с Шишковым и Шаховским он продолжил, став членом «Арзамаса».

А. С. Шишков (1754—1841).
Гравюра Н. Уткина с ориг. Д. Доу. 1820-е гг.
Поэт и адмирал, автор книги «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» (1803), положившей начало долгой журнальной полемике «архаистов» с «новаторами». Главным объектом нападок был *К.* В 1811 г. Шишков основал в Петербурге литературное общество «Беседа любителей русского слова», видя его назначение в защите российской словесности от Карамзина и карамзинизма. *К.* в этой борьбе участия не принимал и, оказавшись как-то на обеде у Г. Державина (вместе с Шишковым возглавлявшего «Беседу»), встретил там почти всех своих «смешных неприятелей», о которых с иронией писал И. Дмитриеву: «есмь один посреде вас и не устрашуся!»

С. Л. Пушкин (1767—1848).
Худ. К. Гампельн. 1824.
«Сергей Львович был в приятельских сношениях с *К.* и Дмитриевым и сам, по тогдашнему обычаю, получил если не ученое, то, по крайней мере, литературное образование», — писал П. Вяземский. Дарование его сына зрело в «атмосфере, благоприятно проникнутой тогдашней московской жизнию».

Е. А. Карамзина (1780—1851).
Худ. Беннер. 1817.
Екатерина Андреевна Колыванова — внебрачная дочь А. И. Вяземского и гр. Елизаветы Карловны Сиверс. Фамилия дана ей отцом по месту рождения — Ревель (старинная Колывань). Воспитывалась в семье родственницы — кн. Е. А. Оболенской, позже — в доме отца. В янв. 1804 г. стала женой *К.* Общеизвестно описание ее внешности, оставленное Ф. Вигелем: «Если бы в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости». Была на протяжении всех лет совместной жизни вернейшей помощницей *К.*, участвовала в чтении корректур «Истории», в издании (после смерти мужа) 12-го тома. По отношению к детям была, по словам мемуариста, «необыкновенно нежной матерью».

Н. М. Карамзин.
Копия Н. И. Аргунова с ориг. Д.-Б. Дамона-Ортолани. 1805.
Весной 1805 г. в Остафьево должен был приехать известный итальянский живописец Дамон-Ортолани писать портрет *К.* «Лучший здешний живописец Дамон обещает весною ехать с нами в деревню и написать мой портрет сходно на досуге; тогда немедленно доставлю его вам», — писал *К.* брату, по просьбе которого был заказан портрет. Поездка не случилась, и портрет писался в Москве, в доме Вяземского. В ноябре 1805 г. портрет был закончен. Существует немало копий с этого портрета, одна из них была сделана Екатериной Андреевной Карамзиной.



А. С. Пушкин (1799—1837).
Гравюра Е. Гейтмана с ориг. неизвестного худ. (С. Г. Чиринов). 1810-е.

Сергей Львович, вспоминая о визитах *К.* в их московский дом, утверждал, что Александр по-особому реагировал на его появления. К этим сведениям весьма скептически отнесся П. А. Вяземский. Он же сообщал, что в марте 1816 г. Пушкина в Лицее навестили он и *К.*, не называя при этом В. А. Жуковского, Ал. И. Тургенева, В. Л. Пушкина, которые, по другим сведениям, были вместе с ними. Летом 1816 г. семнадцатилетний Пушкин все свободное время проводил в «китайском домике» у Карамзиных. Близость к их семье положила начало легенде о Екатерине Андреевне как «первой любви Пушкина» (А. Керн), версии П. И. Бартенева о любовной записке, посланной ей Пушкиным. Гипотеза о ранней влюбленности его — в основе статьи Ю. Тынянова «Безымянная любовь».

С. Н. Карамзина.
Худ. П. Орлов. 1820-е гг.

Дочь *К.* от первого брака (1801) с Елизаветой Ивановной Протасовой, скончавшейся ровно через год после замужества. Вторая жена *К.* — Екатерина Андреевна заменила Софии мать. Подлинно родственная близость связывала их всю жизнь.

Н. М. Карамзин.
Худ. А. Молинари. Ок. 1810 г.

М. Н. Муравьев (1757—1807).
Гравюра Н. Уткина с ориг. Ж.-Л. Монье. 1801.

Друг *К.* и, по праву старшинства, покровитель. Благодаря усилиям М. Н. Муравьева, занявшего в 1803 г. пост товарища министра народного просвещения и попечителя Московского университета, *К.* смог приступить к своему замыслу — написать «Историю государства Российского». В 1801 г. он обратился с письмом к Муравьеву, где просил его о содействии. Ходатайство Муравьева было успешным. А в 1803 г. последовал указ Александра I о назначении *К.* историографом с жалованьем 2000 руб. в год. Как литератор Муравьев был предшественником *К.* на стезе сентиментализма.

Милостивый Государь!

Принявъ съ благоговѣніемъ Знакъ Монаршей Милости, спѣшу изъявить вамъ, какъ Его Исполнителю, сердечную мою признательность. Милостивый Государь! я чувствую цѣну того, что вамъ угодно было сдѣлать для меня. Естьли природа или какой нибудь талантъ, то отнынѣ еще съ большею ревностію посвящу ихъ нашему любезному Отечеству, которая слава неразлучна со славою Монарха. Исторія Россіи будетъ предметомъ усердныхъ трудовъ моихъ. Сколь щастливымъ почту себя, естьли Судьба дозволитъ мнѣ описать, послѣ вѣка Екатерины Великой, и то высокое радостное чувство, съ которымъ Россіяне увидятъ на тронѣ Александра, и всѣ ихъ надежды, и щастливое исполненіе сихъ надежд!

Съ вѣчною благодарностію и съ истиннымъ почитаніемъ имѣю честь быть,

Милостивый Государь!

Вашъ покорнѣйшій слуга
Николай Карамзинъ.

Москва,
8 Апрѣля, 1801.

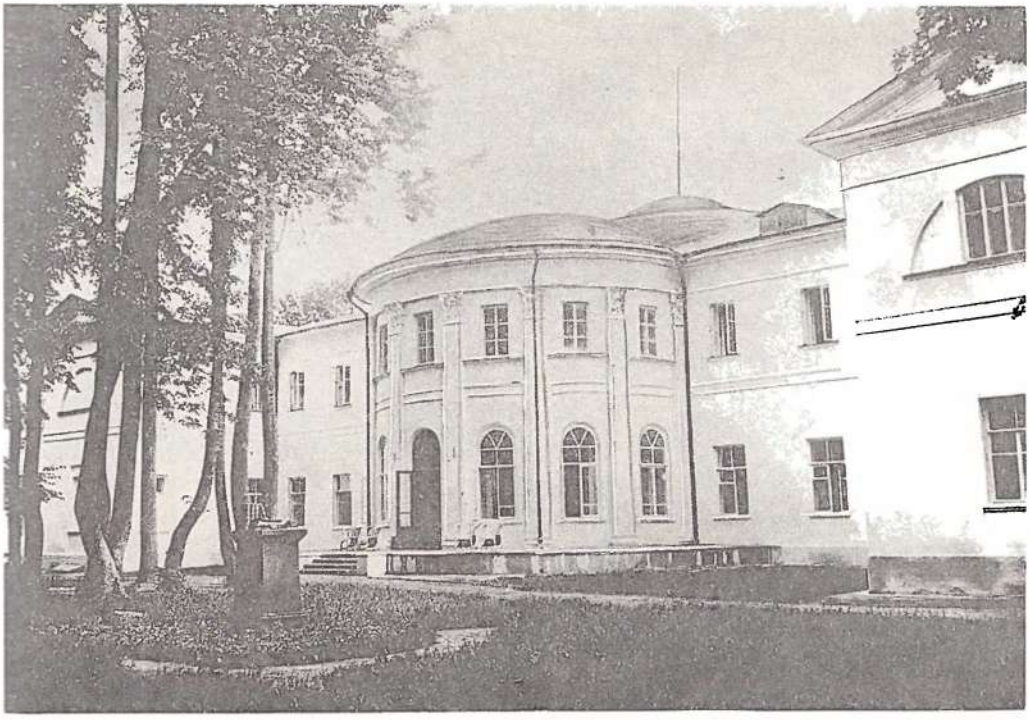
Письмо Карамзина М. Н. Муравьеву.
8 апр. 1801 г. Карамзин с благодарностью писал Муравьеву о своем отношении к поворотному в его жизни моменту и готовности служить Отечеству в качестве историографа.

А. И. Вяземский (1750—1807).
Худ. Ж.-Л. Вуаль. 1774.

Остафьево. Главный усадебный дом. Фотография 1907 г.
Остафьево, расположенное в 30 *км* на юг от Москвы, было куплено А. И. Вяземским в 1792 г. Главный усадебный дом строился под руководством самого А. И. Вяземского и в основном был закончен к 1804 г. (завершен в 1806). В семейство Вяземских *К.* вошел в 1804 г., женившись в январе на дочери А. И. — Е. А. Колывановой. В середине дек. 1815 г. *К.* навсегда покинул Остафьево. О своем десятилетнем затворничестве *К.* вспоминал: «Остафьево достопамятно для моего сердца; мы там наслаждались всею приятностию жизни, немало и грустили; там текли средние, едва ли не лучшие лета моего века, посвященные семейству, трудам и чувствам общего доброжелательства...»

→

П. А. Вяземский (1792—1878).
Худ. П. Соколов. 1818 (?)
Петр Андреевич Вяземский, называя *К.* «вторым отцом», имел в виду не только литературное «отцовство». В 1807 г. *К.* стал опекуном пятнадцатилетнего Петра, выполняя предсмертную волю Андрея Вяземского: «руководствовать к приобретению нужных для него [Петра] познаний и до совершеннолетнего возраста быть ему во всех случаях наставником и путеводителем». В начале же 1810-х гг. *К.* сам оказался в роли опекаемого: «Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед и защитником Карамзина от неприятелей, и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их» (Ф. Вигель). С ранней юности Вяземский находится в литературном и дружеском окружении *К.* В 1807 г., «по возвращении из пансиона нашел я у нас Дмитриева, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского и других писателей», — вспоминал он. Позднее завязались дружеские отношения с К. Батюшковым, Ал. Тургеневым, Д. Дашковым, А. С. Пушкиным. В 1815 г. он — один из инициаторов «Арзамаса».



1815
Петербургъ

К. Н. Батюшков (1787—1855).
Худ. О. Кипренский. 1815.
Племянник М. Н. Муравьева (в доме которого он жил с 1802 г.). Поэзия Муравьева и его друзей — Г. Р. Державина, Н. А. Львова сформировала дарование Батюшкова. В круг московских литераторов он вошел в 1809 г., после получения отставки, сблизился с В. Жуковским, П. Вяземским, В. Л. Пушкиным, позднее с Ю. Нелединским-Мелецким. Знакомство с *К.* приходится на 1810 г., когда три недели провел он в Остафьеве и покинул его с убеждением, что *К.* — писатель, «которым может похвалиться и гордиться наше отечество». В Петербурге, где с 1812 г. он служил в Публичной библиотеке, судьба его вновь пересеклась с кругом *К.* — С. Уваровым, Д. Блудовым, Д. Дашковым, братьями Тургеневыми, с И. Дмитриевым. В 1815 г. он заочно избран членом «Арзамаса» за заслуги против «шишковистов» (сатиры: «Видение на берегах Леты» и совм. с А. Измайловым «Певец в Беседе любителей русского слова», 1813).

Карамзинская комната на втором этаже главного усадебного дома в Остафьеве.
Фотография 1907 г.
Запечатленная на фотографии Карамзинская комната представляет собой часть музейной экспозиции. С. Д. Шереметев, которому в конце 1890-х гг. продал усадьбу сын Петра Андреевича Вяземского, Павел, превратил ее в музей. В 1899 г. усадьба открылась для широкой публики. В этот период, как пишет сам Шереметев, «в Карамзинскую комнату были сосредоточены со всего дома портреты и вещи, связанные с семейными, литературными и историческими воспоминаниями кн. Петра Андреевича и его друзей». Первозданный облик комнаты дан в описании М. П. Погодина: «Голые оштукатуренные стены, выкрашенные белой краской, широкий сосновый стол, в переднем углу под окнами стоящий, ничем не прикрытый, простой деревянный стул, несколько козлов с наложенными досками, на которых разложены рукописи, книги, тетради, бумаги; не было ни одного шкапа, ни кресел, ни диванов, ни этажерок... Несколько ветхих стульев у стен в беспорядке...»

В. А. Жуковский (1783—1852).
Худ. О.-И. Эстеррейх. 1820.
С *К.* связано начало литературной деятельности Жуковского. В 1801 г. он перевел элегию английского поэта Т. Грея «Сельское кладбище», а в 1802 г. переработал ее по предложению *К.*, принявшего горячее участие в судьбе юного поэта. «Сельская элегия» была опубликована в «Вестнике Европы» (1802, № 24) и принесла ему известность и читательский успех. Позднее (1808—1809) он стал редактором «В. Е.». Именно *К.* пробудил в нем интерес к истории. Жуковский восторженно относился к *К.*, он писал И. И. Дмитриеву: «Можно сказать, что у меня в душе есть особенное хорошее свойство, которое называется *Карамзиным*: тут соединено все, что есть во мне доброго и лучшего». Позднее Жуковский стал душой «Арзамаса», который противостоял антикарамзинистам.

А. И. Тургенев (1784—1845).
Худ. П. Соколов. 1816.

Александр Иванович — один из сыновей Ивана Петровича Тургенева, с семьей которого *К.* связан с юности, в чьем московском доме он был своим человеком. Александр один из самых горячих приверженцев *К.* Как и многие из окружения историографа, он посильно помогает ему, присылая из Геттингена (где учился в 1802—04 гг.) необходимые книги. Он в числе тех, кому по мере написания читал *К.* свою «Историю». После одного из таких чтений Тургенев отмечал в письме: «Право, нет равного ему историка между живыми...» Став в 1815 г. членом «Арзамаса», он, как и все его участники, защищает *К.* от нападок «беседчиков». После смерти *К.* остается преданным другом семьи.

Д. Н. Блудов (1785—1864).
Худ. П. Соколов. 1816.

Родственник Г. Р. Державина и драматурга В. Озерова, с юности оказался в центре литературной жизни. Сблизился с И. И. Дмитриевым, Ал. Тургеневым, В. Жуковским, К. Батюшковым. Один из самых ревностных защитников *К.* от нападок А. Шишкова и А. Шаховского. В 1809 г. появилась его эпиграмма:

Угодно ль, господа, меж русскими певцами
Вам видеть записных Карамзина врагов!
Вот комик Шаховской с плачевными стихами
И вот бледнеющий над святцами Шишков.
Они умом равны, обоих зависть мучит.
Но одного сушит она, другого пучит.

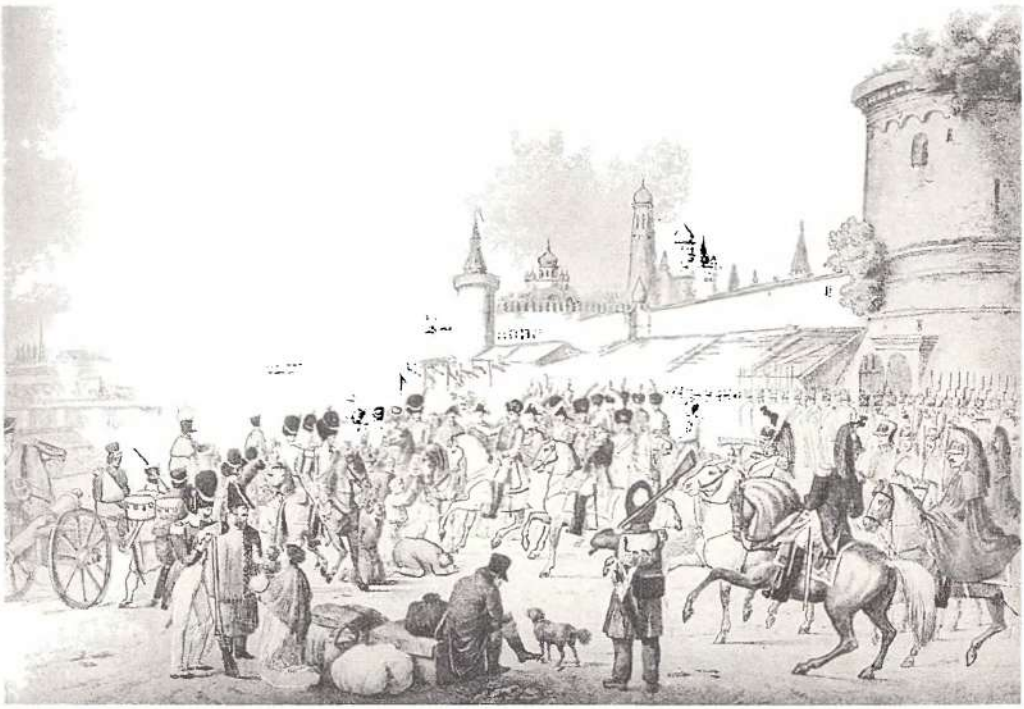
В 1815 г. он стал инициатором появления общества «Арзамас», высмеивающего антикарамзинистов. Блудов многое сделал для выхода 12-го тома «Истории» (1828 г.). После 1825 г., когда он принял участие в Следственной комиссии по делу декабристов, дружеские связи с арзамасцами резко оборвались.

Вел. кн. Екатерина Павловна (1782—1819).
С ориг. Дитриха.
С вел. кн. *К.* познакомился в 1810 г., в Москве. Он разделял оппозиционные настроения вел. кн. по отношению к реформам М. М. Сперанского. По просьбе Екатерины Павловны он готовит «Записку о древней и новой России». «Записка» была подана Александру I в марте 1811 г. Она не встретила сочувствия, и отношение к историографу утратило былую дружественность.

Тверской дворец. Резиденция вел. кн. Екатерины Павловны.
Здесь по приглашению сестры Александра I несколько раз бывал *К.*, читал в присутствии императора уже написанные страницы «Истории».

А. И. Мусин-Пушкин (1744—1817). С ориг. И.-Б. Лампи. 1794.
Работая над «Историей», *К.* постоянно прибегал к помощи Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, одного из первых в России коллекционеров древностей. Собранные им памятники отечественной истории: «Лаврентьевская летопись», список «Русской правды», «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», в том числе и неопубликованные им «манускрипты», были целиком в распоряжении *К.* Значительная часть коллекции Мусина-Пушкина погибла во время московского пожара 1812 г. Уцелели документы, находившиеся в Остафьеве, «в работе» у *К.*

Пожар Москвы в 1812 г.
Неизв. худ. Нач. 1820-х гг.
В московском пожаре погибла библиотека *К.*, которую он собирал 25 лет, привезя первые ее тома из заграничного путешествия. Он писал А. И. Тургеневу: «Библиотека моя имела честь обратиться в пепел вместе с грановитою палатою, однако ж рукописи мои уцелели в Остафьеве. Жаль пушкинских манускриптов [А. И. Мусина-Пушкина], они все сгорели, кроме бывших у меня. Потеря невозвратимая для нашей истории».



ОТВѢТЪ МОЕМУ ПРІЯТЕЛЮ, КОТОРОЙ ХОТѢЛЪ, ЧТОБЫ Я НАПИСАЛЪ ПОХВАЛЬНУЮ ОДУ ВЕЛИКОЙ ЕКАТЕРИНѢ.

Мнѣ ли славить тихой лирой
Ту, которая порфирой
Скоро весь обнимет свѣтъ?
Лишь безумецъ зажигаетъ
Свѣчку тамъ, гдѣ Фебъ сіяетъ,
Бѣдной чижикъ не дерзнетъ
Пѣть гремящей Зевса славы:
Онъ любовь одну поетъ;
Съ нею въ рощѣ живетъ.

Блескъ Россійскія державы
Очи бренныя слѣпитъ:
Тамъ на первомъ въ свѣтѣ тронѣ,
Въ лучезарнѣйшей коронѣ
Мать отечества сидитъ,
Правитъ царствъ земныхъ судьбами,
Правитъ міромъ и сердцами,
Скиптромъ щастіе даритъ,
Взоромъ бури укрощаетъ,
Словомъ милость изливаетъ
И улыбкой все живитъ.

Корректура 2-го издания Сочинений Карамзина (1814) с его правкой.

Вся «черновая» работа, связанная с подготовкой в печать своих журналов, альманахов, сочинений, типографские хлопоты — все ложилось на плечи *К.* Нагрузка эта стала почти непосильной, когда печаталась «История». В письмах периода (1816—17 гг.) к брату В. Михайловичу *К.* сетует: «Беспрес чтение корректур тупит мое зре еще целый год читать!» «...Хло типографиями; с утра до вечера з юсь корректурами». «Читаю кор до обмороков».

Н. М. Карамзин.
Худ. В. Тропинин. 1818.

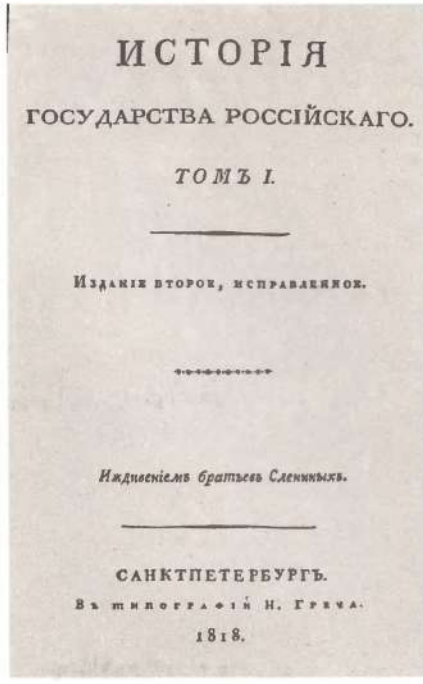
Н. М. Карамзин.
Рис. П. Соколова. 1816.

П. Вяземский прилагал немало усилий к тому, чтобы П. Соколовым были сделаны портреты Екатерины Андреевны (утрачен) и *К.* Видимо, время для этого нашлось после завершения огромного этапа работы над «Историей». В 1816 г. «Сын Отечества» (24 марта, № 12) писал: «Можем известить публику, уже давно с нетерпением ожидающую Истории Российской, сочиненной г. Карамзиным, что он окончил и совершенно изготовил к напечатанию 8 томов. ...Ныне занимается он 9-м томом и надеется кончить до издания в свет первых осьми. Вся История печататься будет в Санкт-Петербурге, под смотрением самого автора, и все девять томов выйдут вдруг. Печатание продолжится года полтора». Этот портрет пополнил иконографию *К.* лишь в 1993 г. Атрибуция принадлежит Н. Н. Гончаровой (Труды ГИМ. Вып. 87. М., 1995. С. 289—294).

Фонтанка. Аничков мост.
Худ. М.-Ф. Дамам-Демартре. 1813.

Топография пребывания *К.* в Петербурге практически замыкается Фонтанкой и прилегающими улицами. По приезде в Петербург (2 февр. 1816 г.) *К.* остановился в доме Екатерины Федоровны Муравьевой, матери Никиты и Александра, будущих декабристов (Фонтанка, 25). Осенью 1818 г. он, уже с семьей, поселился в этом доме и покинул его в 1823 г., в связи с женитьбой Н. Муравьева, переехав на Фонтанку, 26, в дом Мижуева. В доме № 20 по Фонтанке жили Ал. и Н. Тургеневы, у которых собирались члены «Арзамаса».

«История государства Российского». Титульный лист.
12 год работал *К.* над «Историей». Большую часть из них — в Москве и Остафьеве, где были написаны первые 8 томов. В течение 12 лет, начиная с 1804 г., *К.* каждое лето проводил с семьей в Остафьеве... Сюда присылали и привозили необходимые ему для изучения книги, манускрипты, летописи из архивов иностранной коллегии, Синода, Эрмитажа, Академии наук, Московского университета, Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавр, многих других монастырей, частных собраний, из архивов и библиотек Оксфорда, Парижа, Геттингена. По выходе первых 8 томов (в февр. 1818 г.) «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили», — писал Пушкин.



ИСТОРІЯ

ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

ТОМЪ I.

Изданіе второе, исправленное.

Иждивеніемъ братьевъ Сленниныхъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи Н. Греча.

1818.

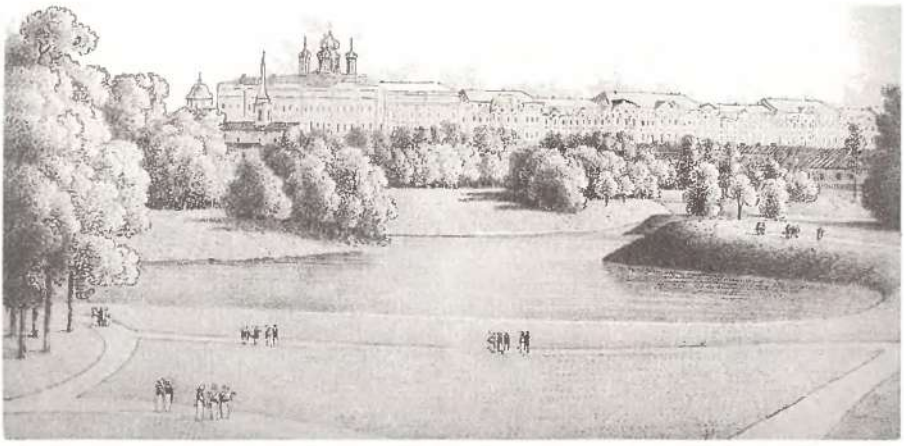
Н. М. Муравьев (1796—1843).
Худ. О. Кипренский. 1815.
Один из создателей «Союза спасения», сын близких друзей *К.* — Михаила Никитича и Веры Федоровны Муравьевых. Несмотря на дружеские, почти родственные отношения (5 лет *К.* прожил в доме В. Ф., переехавшей в Петербург после смерти мужа), Никита Муравьев принадлежал к тем критикам «Истории» *К.*, о которых Пушкин писал: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что *К.* печатал „Историю“ свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на *К.* обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что „История“ есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

Дом Тургеневых. Фонтанка, 20.
Современная фотография.
В доме Александра и Николая Тургеневых встречались арзамасцы: В. Жуковский, В. Л. Пушкин, П. Вяземский, К. Батюшков, Н. Муравьев, Ф. Вигель, Д. Блудов. «Здесь из мужчин всех любезнее для меня Арзамасцы: вот истинная Русская Академия, составленная из молодых людей умных и с талантом!» — писал *К.* жене.

Н. И. Тургенев (1789—1871).
Худ. А. Зенефельдер с ориг. Антонена. 1820-е.
Сын И. П. Тургенева, декабрист. Прежде чем стать идеологом «Союза благоденствия» (вступил в него в 1818 г.), был членом арзамасского братства, собравшегося под знаменем карамзинизма. Один из главных критиков («молодых якобинцев») исторической концепции *К.* Имея в виду членов тайного общества, *К.* писал: «Многие... удостаивали меня своей ненависти или, по крайней мере, не любили; а я кажется не враг ни отечеству, ни человечеству».

С. С. Уваров (1786—1855).
Худ. О. Кипренский. 1815—1816.
Входил в «арзамасское» окружение *К.* Сфера его интересов не замыкалась государственной службой (1811—22 — попечитель Петербургского учебного округа), он опубликовал несколько работ по древнегреческой литературе, археологии. После декабрьского восстания он, как и другой «арзамасец» Д. Н. Блудов, порвал связи с прежними друзьями. Будучи в николаевскую эпоху министром народного просвещения (1833—49), выдвинул идею «православия, самодержавия, народности». Как автор теории «официальной народности» он и остался в истории.

Д. В. Дашков (1788—1839).
Входил в ближайшее литературное окружение *К.* Начиная с 1810-х гг. включился в полемику с «шишковистами» как защитник карамзинской языковой программы. Его критические выступления в печати, направленные против А. Шишкова и А. Шаховского, высоко ценились В. Жуковским, Д. Блудовым, К. Батюшковым, П. Вяземским. Был близок И. Дмитриеву и как его подчиненный (служил под его началом в Министерстве юстиции), и как литератор. В 1815 г. стал одним из основателей «Арзамаса».

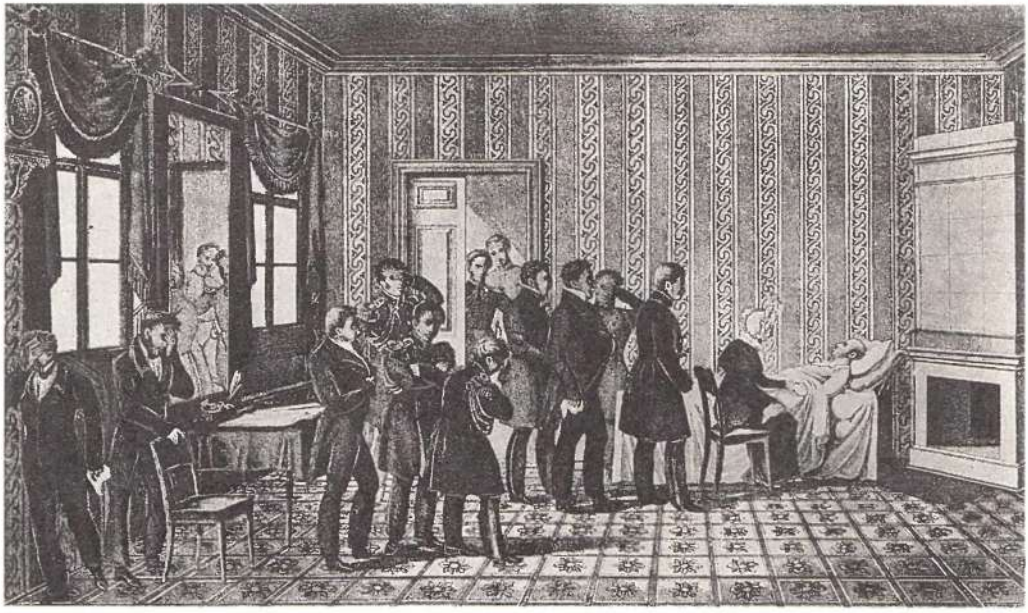


Царское Село.
Литография А. Мартынова. 1821—1822.
26 мая 1816 г. *К.* привез свою семью из Москвы в Царское Село, где по распоряжению Александра I ему был предоставлен один из домов в «китайской деревне». С 1816 г. *К.* с семьей стал ежегодно проводить лето и осень в Царском Селе. Здесь он занимался корректурами и продолжал работу над следующими томами «Истории». Он постоянный собеседник Александра I в его «зеленом кабинете», т. е. во время утренних прогулок по аллеям царскосельского парка, частый гость у вдовствующей и царствующей императриц, великих князей и великих княгинь.

И. А. Каподистрия (1776—1831).
Худ. А. Брюлов. 1820-е гг.
Статс-секретарь по иностранным делам в Коллегии иностранных дел (1816—22), Каподистрия, не будучи литератором, в петербургский период жизни *К.* (до своего отъезда в Грецию в 1822 г.) оставался его доверительным другом. В марте 1821 г. *К.* сообщал в письме: «Никого не вижу, кроме графа Каподистрии, Северина...» Вместе они ходатайствовали перед Александром I за Пушкина (в 1820 г.). Именно ему было адресовано письмо, в котором *К.* подводил итог своей жизни и своих трудов: «Приближаясь к концу своей деятельности, я благодарю Бога за свою судьбу. Может быть, я заблуждаюсь, но совесть моя покойна. Любезное Отечество ни в чем не может меня упрекнуть. Я всегда готов был служить ему, не унижая своей личности, за которую я в ответе перед той же Россией».

Н. М. Карамзин.
Гравюра Н. Уткина с ориг. А. Варнека. 1818.
Портрет готовился Н. Уткиным по заказу книгоиздателей Слениных и должен был украсить 4-й том «Истории». Н. Уткин, побочный сын М. Н. Муравьева, некоторое время жил в петербургском доме Е. П. Муравьевой, где встречался с *К.* Ближайшее окружение *К.* считало этот портрет наиболее удачным. И. Дмитриев писал Ал. Тургеневу: «Скажите Николаю Михайловичу, что я в первый раз доволен его протретом (Уткина). Он очень сходен. Глядя на него, я как будто вижу и слышу самого историографа».

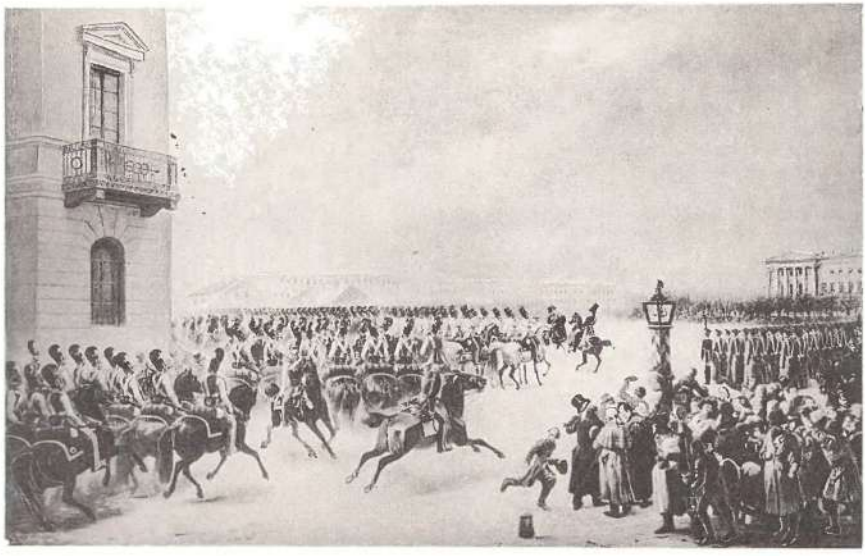
Дом Мижуева. Фонтанка, 26.
Последним пристанищем *К.* стал дом 26 по Фонтанке, дом купца Мижуева, второй стороной он выходил на Моховую (д. 41). В этом втором дворе и была снята квартира. «Ближайшее общество Карамзина в Петербурге составляли одновременно и разновременно: Александр Тургенев, Жуковский, Батюшков, Дмитрий Николаевич Блудов, Полетика, Северин, Дашков, Николай Кривцов, а летом, в Царском Селе, и Александр Пушкин, тогда еще лицеист, который проводил в его доме каждый вечер», — писал П. Вяземский. В доме Мижуева были написаны *К.* 10-й и 11-й тома «Истории». Вышедшие тома продавались прямо на квартире. В 1824 г. А. Тургенев писал П. Вяземскому: «На Семеновском мосту только и встречаешь, что навьюченных томами Карамзина «Истории». Уж 900 экземпляров в три дни продано».



Смерть императора Александра I в Таганроге в 1825 г.
Гравюра А. Афанасьева.

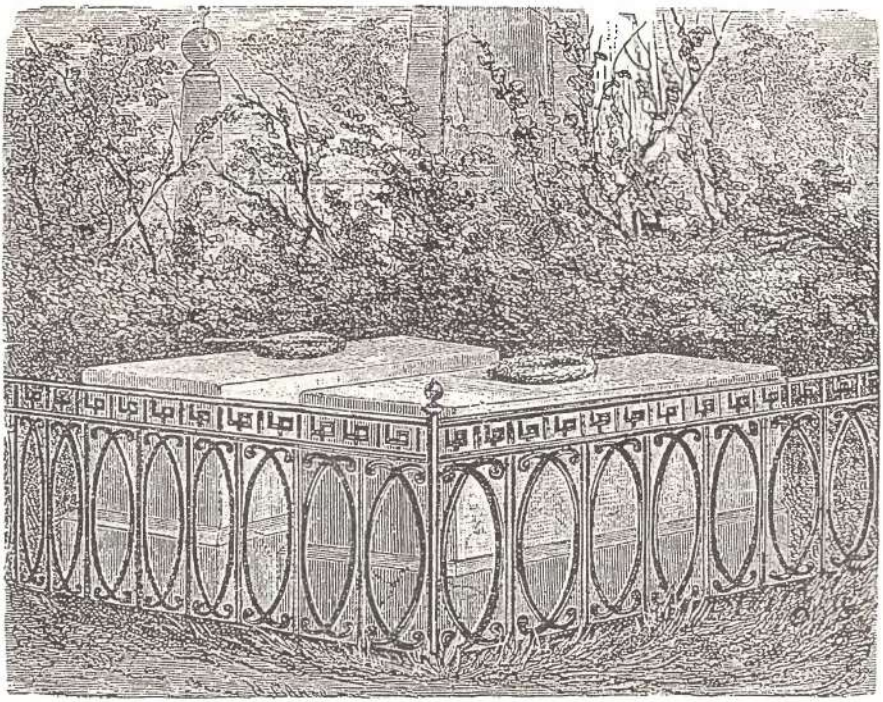
С Александром связано начало работы над «Историей» (Указ от 31 окт. 1803 г. о назначении *К.* историографом) и выпуск первых восьми томов ее (1818 г.). Смерть Александра, как свидетельствовали близкие и друзья *К.*, глубоко потрясла его. Сам *К.* писал: «Я любил его искренно и нежно, иногда негодовал, досадовал на монарха, и все любил как человека... Не боюсь встретиться с ним на том свете, о котором мы так часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба веря Богу и добродетели».

Сенатская площадь. Восстание 14 дек. 1825 г.
Литография В. Тимма.



Николай I (1796—1855).
С ориг. О. Кипренского 1818 г.
Дочь *К.*, Е. Мещерская, оставила в своем дневнике запись (30 сент. 1826 г.) о беседах, которые происходили между молодым императором и первым историографом России: «Горячо, пламенно любя Родину, он возвращался из дворца со взором, горящим (даже для него) сверхъестественным блеском, с румянцем на лице той лихорадки, которая верно уже тогда его изнуряла и придавала ему ту бодрость, ту силу, ту выразительность чувств, столь необычные для слуха молодого государя, который внимал ему с изумлением. То была последняя дань, которую приносила благородной возлюбленной Родине его прекрасная возвышенная душа».

Могилы Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в С.-Петербурге.
На надгробии белого мрамора высечено — на одной стороне: даты рождения и кончины *К.*, на другой: «Блажени чистия сердцем, яко тии Бога узрят». Памятник огорожен железной решеткой, за которой друзья *К.* — П. А. Вяземский, В. А. Жуковский и А. И. Тургенев посадили несколько кустов сирени.



А. С. Пушкин.
Худ. Ж. Вивьен. Конец 1826 — нач. 1827 г.

В 1825 г. Пушкин писал о *К.* в связи с «Борисом Годуновым»: «...Трагедия моя уже известна почти всем тем, мнением которых дорожу. Одного не доставало в числе моих слушателей: того, кому я обязан мыслию моей трагедии, чей гений одушевлял и поддержал меня, чье одобрение представлялось воображению моему сладкой наградой и единственно развлекало посреди уединенного труда».

Е. А. Карамзина.
Неизв. художник. 1830-е гг.

С. Н. Карамзина.
Акварель Т. Райта. 1844.
После смерти *К.* литературно-общественный кружок, сложившийся при нем, продолжал собираться в доме *К.* Душой его стали вдова и старшая дочь. «Рекамье этого салона была С. Н. Карамзина, к которой все известные наши поэты считали долгом писать послания», — иронизировал И. Панаев. К старым друзьям семьи — В. Жуковскому, Д. Блудову, Д. Дашкову, А. Тургеневу, прибавились новые, и среди них, с 1838 г., М. Лермонтов. «Карамзинский салон» оставался общепризнанным центром общественной, культурной жизни Петербурга на протяжении долгих лет. Н. Гоголь читал здесь первые главы «Мертвых душ». С 1826 г. в числе ближайших друзей — А. Пушкин, о нем и семье Карамзиных писала Е. П. Растопчина:

Он отдыхал в беседе непритворной,
Он находил свободу и простор,
И кров как будто свой, и быт семейный...

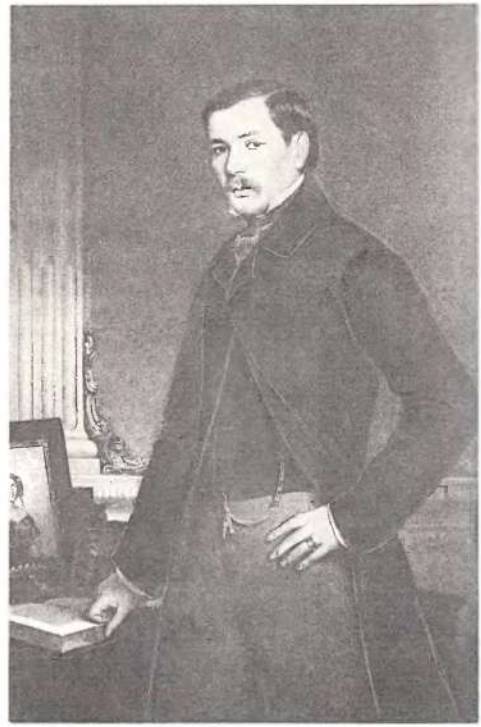
В. А. Жуковский и Ал. И. Тургенев.
Гравюра. 1820-е.

Екатерина Николаевна Карамзина, в замужестве Мещерская (1806—1867).
Копия Е. Барсуковой с ориг. Барди.
Дружеские узы связывали ее с А. С. Пушкиным, А. И. Тургеневым, П. А. Вяземским, М. Ю. Лермонтовым. Рассказ о дуэли и смерти Пушкина содержится в одном из ее писем. Он свидетельствует о глубоком и верном понимании разворачивавшейся на ее глазах драмы.

Андрей Николаевич Карамзин (1814—1854).

Литография А. Вагнера.

Учился в Дерптском университете, после окончания которого в 1833 г. поступил на военную службу (гвардейская конная артиллерия). Некоторое время лечился за границей, его письма на родину были высоко оценены друзьями его отца — В. Жуковским, А. Тургеневым, П. Вяземским, как образцы эпистолярного жанра. Женившись на вдове П. Н. Демидова, А. К. Шернваль, он вышел в отставку и принял на себя управление заводами Демидова в Нижнем Тагиле, где о нем сохранилась добрая память — на одной из площадей ему был поставлен памятник. В 1854 г., с началом Крымской войны вернулся в армию и был убит в бою под Четати, в Валахии, в том же году. В широко известной «Тагильской находке» И. Андронникова речь идет о найденных там письмах Карамзиных.



Александр Николаевич Карамзии (1815—1888).

Фрагмент картины «Субботнее собрание у Жуковского». 1834—1836. Худ. Г. К. Михайлов, А. Н. Мокрицкий и др. Налево от камина — Ф. Ф. Вигель и Ал. Н. Карамзин.

Одновременно со старшим братом учился в Дерптском университете и служил в конной артиллерии (в Красном Селе). Был особенно близок с семьей Пушкина, сестрами Наталии Николаевны. Был постоянным участником светских приемов, балов, литературных вечеров — знаменитых суббот у Жуковского. Пробовал себя на поприще литературы, но без особого успеха, вряд ли современному читателю известна его повесть в стихах «Борис Ульин» (изд. в 1839 г.). Считается, что он один из прототипов лермонтовского Печорина. Однако его жизнь после женитьбы и выхода в отставку заставляет вспомнить других литературных героев: он занимался сельским хозяйством в своем имении в Нижегородской губ. и служил предводителем дворянства.

Владимир Николаевич Карамзин (1819—1879).
Литография Л. Вагнера. 1846.
Закончил юридический факультет Петербургского университета, как государственный чиновник участвовал в подготовке крестьянской и судебной реформ.

Елизавета Николаевна Карамзина (1821—1891).
Фото 1880-х гг.
Младшая дочь *К.* С 1839 г. и до конца дней — фрейлина при дворе.

Памятник Н. М. Карамзину в Симбирске.
По эскизам С. И. Гальберга. Бюст *К.* (в пьедестале) исполнен Н. А. Рамазановым, использовавшим гравюру Н. И. Уткина с оригинала А. Г. Варнека. Муза истории Клио выполнена А. А. Ивановым и П. А. Ставассером. Пьедестал — по проекту архитектора К. А. Тона. По этой модели (1840) П. К. Клодтом отлит памятник и установлен в Симбирске в 1845 г.
Рельефы на памятнике выполнены по экскизам Н. А. Рамазанова и К. М. Климченко.

«На площади, называемой Дворцовой, или Карамзинской, находится памятник, воздвигнутый знаменитому симбирскому уроженцу, нашему знаменитому историографу *Н. М. К.* На гранитном пьедестале возвышается бронзовая статуя: муза истории, Клио, стоит опершись на скрижаль и держа в руках трубу. На одной стороне пьедестала под бюстом *К.*, помещенным в углублении, значится надпись: „*Н. М. К.*, историографу Российского государства повелением императора Николая I". <...> Весь памятник в 5 сажен вышины и обнесен бронзовою решеткой, которую поставила вдова сына покойного историографа. При изображении *К.* художник не смог отрешиться от академической рутины и на обоих барельефах представил *К.* не в современной одежде, но нагим по пояс, что разумеется вовсе не вяжется ни с климатом, ни с обычаями нашей страны и является каким-то диким неправдоподобием. Здесь кстати упомянуть, что в 1866 г., 1 декабря, в Симбирске торжественно праздновалась столетняя годовщина дня рождения *К.*, а в 1830 г. было положено начало Публичной Карамзинской библиотеке» («Живописная Россия», т. 8, ч. 1, с. 184—185. СПб., 1901).

Рельеф Н. А. Рамазанова.
Карамзин читает свою «Историю» императору Александру I.

Рельеф К. М. Климченко.
Немезида, воздающая по делам, утешает умирающего историографа среди родных и сыплет милости на его сирот.

«Бедная Лиза».
Гравюры А. Зубчанинова по рис. Н. Соколова.

„Бѣдная Лиза", Н. М. Карамзина.
ИЛЛЮСТРАЦІИ КЪ НАШИМЪ ЛУЧШИМЪ ПИСАТЕЛЯМЪ.
(Рисунокъ Н. Н. Соколова, грав. А. Зубчаниновъ.)

Памятник Н. М. Карамзину. 1911.
Архитектор Н. З. Панов.

Открытие памятника Н. М. Карамзину.
Фотография 1911 г.
В июле 1911 г. в остафьевском парке по проекту Н. З. Панова Шереметевы установили памятник *К.* На пьедестале из красного гранита, украшенном бронзовым барельефом историка, лежат отлитые из бронзы несколько томов «Истории». Торжественное открытие было приурочено к столетней годовщине написания *К.* «Записки о древней и новой России». На открытии памятника присутствовали многочисленные гости из Москвы, Петербурга, Киева и др. городов.

Ю.М. ЛОТМАН

Карамзин

Ю.М. ЛОТМАН Карамзин